

Министерство  
образования  
Российской Федерации

Российский  
государственный  
педагогический  
университет  
им. А.И. Герцена

Ставропольский  
государственный  
университет

Санкт-Петербург  
Ставрополь  
**2004**

***Этот сборник посвящается нашему ректору —  
доктору социологических наук  
профессору Владимиру Александровичу Шаповалову,  
творческие усилия которого  
вселяют надежды на лучшее будущее России.***

# ЭТИКА И СОЦИОЛОГИЯ ТЕКСТА

Научно-методический семинар «Textus»

Сборник статей  
Выпуск 10

Санкт-Петербург  
Ставрополь  
2003

УДК 800.1  
ББК 81  
Э 90

Э 90 **Этика и социология текста:** Сборник статей научно-методического семинара «TEXTUS». – Вып. 10 / Под ред. д-ра филол. наук проф. К.Э. Штайн. – Санкт-Петербург – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2004. – 574 с. ISBN 588648-430-2

*В статьях сборника отражены результаты многоаспектного исследования проблемы этических и социальных установок текста, его функционирования в обществе. Рассматриваются вопросы взаимодействия текста и социума, этики интерпретации и перевода текста, взаимоотношения морального сознания автора и героя, социальных аспектов дискурса и др. Представлены два типа текста – современные научные исследования дополняются дневниками, заметками, литературными произведениями, которые выступают в качестве живых «голосов времени», воплощающих этические и социальные черты эпохи. Адресован ученым, аспирантам, студентам и всем интересующимся проблемами этики и социологии текста.*

УДК 800.1  
ББК 81

Редакционная коллегия:

*К.Э. Штайн (ответственный редактор),  
Л.П. Егорова, Л.П. Ефанова,  
Р.М. Байрамуков, К.В. Зуев (ответственные за выпуск)*

Подготовка и редактирование текста:

*Р.М. Байрамуков, К.В. Зуев,  
Т.П. Пенина, Е.Н. Сороченко,  
Е.В. Филиппова, В.П. Ходус, К.Э. Штайн*

Обложка, дизайн, верстка:

*Я.В. Грибачев*

**Редакционная коллегия выражает глубокую признательность ректору Ставропольского государственного университета доктору социологических наук профессору В.А. Шаповалову за издание этого сборника.**

ISBN 588648-430-2

© Научно-методический семинар «TEXTUS», 2004  
© Издательство Ставропольского  
государственного университета, 2004  
© Грибачев Я.В., оформление, 2004

## СОДЕРЖАНИЕ

### I. Философия и текст: этические и социологические проблемы

- 12/ К.Э. Штайн / Ставрополь / Повседневное — художественное мышление: отечественная ономапоэтическая парадигма
- 24/ Н.А. Кузьмина / Омск / Тексты влияния как феномен языкового существования
- 30/ Ю.И. Леденев / Ставрополь / Соотношение индивидуального и социального в речи
- 36/ А.А. Ворожбитова / Сочи / «Этическое» и «эстетическое» в структуре литературной личности как детерминанте лингвориторической организации текста
- 42/ И.Н. Иванова / Ставрополь / Ирония и этика текста

### Голоса времени. Дж. Кавальканти

- 48/ Дж. Кавальканти / Благоразумие
- 58/ И.А. Краснова / Ставрополь / Человек и закон в обыденном сознании Флорентийской республики (по материалам политико-морального трактата Джованни Кавальканти)

### II. Язык этики

- 66/ Н.Е. Сулименко / Санкт-Петербург / Этическое пространство текстового слова
- 71/ Р. Токарски / Люблин, Польша / Семантика и культура. Слово в поэтическом тексте
- 76/ К.В. Томашевская / Санкт-Петербург / Этика и модель экономики: лексический аспект
- 79/ А.А. Буров, Я.А. Фрикке / Пятигорск / Вербальная этика лингвистической идеологии антропоцентризма в пространстве художественного дискурса
- 84/ Г.Ф. Гаврилова / Ростов-на-Дону / Грамматическое отрицание как средство выражения социальных и этических авторских оценок
- 88/ Кулешова Л.Н. / Черкассы / Модальность истинности текста как средство убеждения

### Голоса времени. В. Соколовский

- 94/ В. Соколовский / Рассказы Сибиряка
- 112/ В.Н. Кравченко / Ставрополь / О В. Соколовском
- 114/ К.Э. Штайн, Р.М. Байрамуков / Ставрополь / Владимир Соколовский: Счастье было!

### III. Этика интерпретации и перевода текста

- 118/ Л.П. Егорова / Ставрополь / Социология художественного текста вчера и сегодня
- 128/ В.Д. Черняк, М.А. Черняк / Санкт-Петербург / Трансформация классического текста как феномен современной массовой культуры
- 133/ К.Ф. Седов / Саратов / Опыт прагма-семиотической интерпретации текста повести Ф.М. Достоевского «Записки из подполья»
- 139/ А.Н. Силантьев / Ставрополь / К проблеме методики анализа плана содержания «бессмыслицы» в лирике обериута А.И. Введенского
- 141/ Н.И. Колодина / Тамбов / Типы интерпретаций и множественность интерпретаций
- 144/ Т.Е. Беньковская / Оренбург / Литература в зеркале социологии и формирование читательского сознания
- 148/ А. Диомидова / Каунас, Литва / Поле долженствования в «Фаусте» И.В. Гете и переводе «Фауста» Б.Л. Пастернака
- 152/ А.Т. Грязнова / Москва / Соотношение вольности и адекватности в переводе М.Ю. Лермонтова «Из Гете»

### IV. Моральное сознание автора и героя

- 160/ Л.П. Ефанова / Ставрополь / Оценки Аввакума сквозь призму языка и этики
- 166/ А.Х. Гольденберг / Волгоград / О формах выражения этической позиции автора в гоголевском тексте
- 172/ С.Т. Баранов / Ставрополь / Ф.М. Достоевский о единстве права и морали
- 175/ Л.Н. Чурилина / Санкт-Петербург / «Есть ли такой закон природы, чтобы любить человечество?» (любовь как лексическая тема романа «БК»)
- 181/ Е.Ю. Коломийцева / Армавир / Формирование особенностей сюжетно-композиционной организации литературной антиутопии в романе Н.С. Лескова «Чёртовы куклы»
- 186/ М.С. Максименко / Краснодар / Русский самоубийца как литературный архетип
- 188/ Р. Войтехович / Тарту, Эстония / Цветаева о «спартанстве»
- 193/ С.В. Видергольд / Челябинск / Фразеологизмы как средство выражения моральной позиции автора в повести М.И. Цветаевой
- 197/ А.В. Свиридова / Челябинск / Религиозно-этическая символика в литературном произведении
- 200/ И.А. Тарасова / Саратов / Георгий Иванов: summa ethicae
- 204/ Л.И. Бронская / Ставрополь / Духовно-нравственная концепция И.С. Шмелева
- 209/ О.Н. Мороз / Краснодар / Н. Заболоцкий и его концепция «воспитания души»
- 214/ Я.В. Погребная / Ставрополь / Принцип соответствия героя и мира как этическая проблема в романе В.В. Набокова «Лолита»

- 223/ С.А. Ахмадеева / Краснодар / **Апplikативная метафора как способ выражения этических и эстетических воззрений автора** (на примере рабочих тетрадей Г.М. Козинцева)
- 231/ Г.П. Толпаева / Ставрополь / **Интонация как средство выражения авторского сознания в повести А.И. Солженицына «Адлг Швенкиттен»**
- 233/ В.В. Десятов / Барнаул / **Этика и социология паноптизма**
- 237/ И.В. Столярова / Санкт-Петербург / **Аспекты морального сознания автора в произведениях женской прозы**

## V. Этические концепты в разных типах текста

- 242/ Э.Р. Лассан / Вильнюс, Литва / **Надежда — этический концепт?**
- 250/ И.А. Мартынова / Санкт-Петербург / **Интерпретация концептов «Вера», «Надежда», «Любовь» в «Эстетике мышления» М.К. Мамардашвили**
- 253/ Е.В. Сергеева / Санкт-Петербург / **Этический концепт «Вера» в религиозно-философском дискурсе школы всеединства**
- 258/ В.А. Рыбникова / Краснодар / **Концепт «успех» в современной английской дидактике**
- 262/ Т.Н. Долотова / **Коцепт «добро» в концептосфере Шукшина-художника**
- 265/ Л.Ю. Буянова / Краснодар / **Концепт «душа» как основа русской ментальности: особенности речевой реализации**
- 270/ В.А. Новосельцева / Краснодар / **Об этических концептах в ценностной картине мира А.П. Чехова**
- 273/ О.Н. Буянова / Краснодар / **Текст и особенности реализации этического и эстетического: концепт «любовь»**
- 276/ И.И. Коган, Н.В. Козловская / Санкт-Петербург / **Лексикографическое представление имени концепта «Родина» (по данным русских словарей)**

## VI. Этика масс-медиа

- 280/ И. Корженевска-Берчинска / Варшава, Польша / **Синдром военизации в современном публицистическом дискурсе. Российское социополитическое пространство на фоне польской действительности**
- 284/ А.Б. Лихачева / Вильнюс, Литва / **К вопросу о языке современных масс-медиа: информационные и аналитические программы российского телевидения**
- 292/ Т.Д. Михайленко / Москва / **Реклама как комплексная семиотическая система современного социума**
- 296/ А. Григораш / Киев, Украина / **Социолнгвистический аспект возникновения новой фразеологии общественно-политического характера**
- 300/ Т.В. Чернышова / Барнаул / **«Конфликтотенные» тексты как результат взаимодействия языкового и неязыкового в сфере газетной публицистики**
- 304/ Е.С. Попова / Екатеринбург / **Манипулятивная стратегия как средство гармонизации общения в рамках рекламного текста**

## Голоса времени. Т.С. Фисенко

- 308/ Т.С. Фисенко / Ставрополь / **Дневники 70-80-х годов**
- 340/ К.Э. Штайн, Р.М. Байрамуков / Ставрополь / **Нравственные императивы художника Татьяны Фисенко**

## VII. Этика и социология коммуникации

- 344/ М.П. Котюрова / Пермь / **Толерантность в научной коммуникации**
- 351/ Л.В. Енина / Екатеринбург / **Лозунги протеста: утоление страстей или падение нравов?**
- 356/ Н.Д. Голев / Барнаул / **Текст как воплощение энергии конфликта: опыт одной типологии антропотекстов и языковых личностей**
- 360/ В.А. Маслова / Витебск, Беларусь / **Молчание: модель и интерпретация в тексте**
- 364/ С.Ю. Данилов / Екатеринбург / **Этика текста в аспекте категории темы**
- 371/ Н.Ю. Хачатурова / Сочи / **Лингвориторическая стратегия и тактика оперирования этическими концептами**
- 374/ Н.Б. Лебедева / Барнаул / **Семиотическая модель естественной письменной речи**
- 370/ З.И. Гурьева / Краснодар / **Место языковой коммуникации в системе знакового общения**
- 385/ Е.В. Филиппова / Ставрополь / **Социальные функции застольной беседы и чаепития в художественном тексте (на примере рассказов 60-80-х годов XX века)**
- 394/ Е.Н. Сороченко / Ставрополь / **Дружеский визит: скучающий герой сквозь призму речевого этикета**

## VIII. Этносоциокультурные проблемы текста

- 398/ Т. Щербовский / Краков, Польша / **Контекст и значение в этнографической теории языка Бронислава Малиновского**
- 402/ Д. Пазио / Варшава, Польша / **Языковая картина двенадцатых праздников зеркалом церковно-государственных отношений**
- 407/ Н. Ярош / Люблин, Польша / **Двор в польском и русском языках. Культурный релятивизм в переводческой практике поэтического текста**
- 413/ Л.Н. Дяченко-Лысенко / Черкассы, Украина / **Языковая деятельность социумов украинцев, русских и азербайджанцев: фиксация сферы растений в текстах народных сказок**
- 416/ И.В. Привалова / Москва / **Художественный текст как способ фиксации национально-культурных ценностей**

**420/** А. Нарлох / Познань / Термины цветообозначения в русском и польском языках  
(на примере цвета кузова автомобилей)

**424/** А.В. Колмогорова / Новокузнецк / О цвете некоторых социальных феноменов и явлений

### **Голоса времени. А. Ре**

**430/** А. Ре / Ставрополь / Дорога в куда

**460/** К.Э. Штайн, Р.М. Байрамуков / Ставрополь / Исповедь блудного сына: феномен искренности

### **IX. Социальные аспекты дискурса**

**464/** Н.Ф. Алефиренко / Волгоград / Дискурсивные основы вторичного семиозиса

**470/** И.А. Манкевич / Санкт-Петербург / Литературная культура как социально-коммуникационная система:  
текст — контекст — интертекст

**475/** Г.Д. Чеснокова / Санкт-Петербург / Научность, нравственность и правда, или некоторые тонкости языка и  
стиля исторических документов Ставропольского края

**482/** Е.Н. Атарщикова / Ставрополь / Становление проблемы взаимосвязи языка и права

**490/** О.М. Бочарова, Л.Ю. Буянова / Краснодар / Гендер как когнития:  
становление и перспективы развития в лингвистике текста

**493/** Г.Д. Гриценко / Ставрополь / Право как текст: некоторые подходы к проблеме

### **X. Искусство в условиях тоталитарных режимов**

**498/** Н.Н. Тропкина / Волгоград / Идеи «позтархии» в русской поэзии 1917-1921 годов

**502/** Е.Г. Романова / Барнаул / Политический подтекст классических реминисценций в  
произведениях Н.Р. Эрдмана

**505/** Н.В. Губина / Барнаул / Пространство Власти в ранних повестях Е.И. Замятина «Уездное», «На куличках»

**508/** П.К. Чекалов / Ставрополь / Личность В.И. Ленина в эпопее А.И. Солженицына

**513/** Т.Д. Куликова / Ставрополь / Солженицын и власть

**523/** Ф. Листван / Краков, Польша / В мире антиутопии — «Москва 2042» В. Войновича

**528/** И. Папай / Краков, Польша / Проза Владимира Войновича как документ времени

**534/** К.В. Зуев / Ставрополь / Отражение идеологического прессинга в публицистике  
(на материале статей Тихона Холодного, опубликованных в газете «Власть Советов» за март—май 1922 года)

### **XI. Обзоры**

**540/** Е.Г. Новикова / Ставрополь / Этика Интернета

### **XII. Круглый стол**

**548/** К.Б. Жогина / Ставрополь / Круглый стол «Этика и социология текста»

### **XIII. Врачебная этика. Тексты**

**558/** В.В. Хуснутдинов / Ставрополь / Индивидуальная библиотерапия (воздействие текстом)  
с элементами аудио- и видеоподдержки

**564/** В.В. Хуснутдинов / Ставрополь / Искусство над этикой текста (из личных наблюдений)

**565/** К.Э. Штайн, Р.М. Байрамуков / Ставрополь / Мышление в стиле «постмодерн»

### **XIV. Рецензии**

**568/** С.Ю. Данилов / Екатеринбург / Салимовский. Жанры речи в функционально-стилистическом освещении  
(научный академический текст. — Пермь: изд-во Перм. ун-та, 2002. — 236 с.  
Научный редактор - проф. Н.А. Купина)

textus



## ПРЕДИСЛОВИЕ

Трудно представить более тривиальную проблему, чем этика и социология художественного текста, если учитывать, что мы прожили почти весь двадцатый век под прессингом декларирования известных этических и социальных установок, в том числе, а может быть и в первую очередь, для создания разных типов текста. Текст, в отличие от текущей речевой реальности, не просто фиксирует ценностные установки. Печатное слово — мощный стимул воздействия, что было хорошо прописано в советской идеологии. Доминанта этой идеологии — подчиненность художника и его текста пролетарскому делу. Установки к написанию текстов были определенными и четкими: «Искусство **принадлежит** народу. Оно **должно уходить** своими глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс. Оно **должно быть понятно** этим массам и любимо ими. Оно **должно объединять** чувства, мысль и волю этих масс, подымать их. Оно **должно пробуждать** в них художников и развивать их (выделено нами. — *К.Ш., Р.Б.*)» (В.И. Ленин). Не следует высмеивать подобные императивы: они были органичны для своего времени, для нашей социальной среды. Беспокойству власти всегда противостоит высшее спокойствие художника, так как художественное творчество — это один из самых продуктивных способов познания действительности и взаимоотношения человека с миром. По-видимому, проблемы этики и социальной действительности, несомненно важные для художника, в творимой им новой воображаемой реальности приобретают «здоровые» черты, обнаруживаются продуктивные способы взаимодействия писателя и читателя. Эстетическое, прекрасное, являющееся основой художественного, критерием совершенства, неведомым нам образом переплавляет этические и социальные проблемы в горниле эстетического сознания художника, когда «единым сплавом в слово сплочены слова» (Б.Л. Пастернак).

В сборнике мы бы хотели актуализировать мысль, свойственную именно российскому языковому сознанию, основанному на книжной цивилизации, об «очистительном» и «учительном» характере высокой литературы, потому что «эстетическая реальность», по меткому выражению Иосифа Бродского, «уточняет для человека его реальность этическую»: «Ибо человек со вкусом, в частности литературным, менее восприимчив к повторам и ритмическим заклинаниям, свойственным любой форме политической демагогии. Дело не столько в том, что добродетель не является гарантией создания шедевра, сколько в том, что зло, особенно политическое, всегда плохой стилист. Чем богаче эстетический опыт индивидуума, тем тверже его вкус, тем четче его нравственный выбор, тем он свободнее — хотя, возможно, и не счастливее» (Нобелевская лекция). Труды писателей, ученых не только обогащают язык нации, совершенствуя его, но и ее языковое сознание — то, что В. фон Гумбольдт и А.А. Потебня называли духом народа.

В сборнике нам хотелось осуществить срез знаний и мнений по поводу этих вечных и всегда новых проблем. Он включает труды очных и заочных участников семинара «TEXTUS», в которых рассматривается ряд вопросов, связанных со взаимодействием текста и социума: философия и текст; язык этики; этика интерпретации и перевода текста; моральное сознание автора и героя; этические концепты в разных типах текста; этика масс-медиа; этика и социология коммуникации; этносоциокультурные проблемы текста; социальные аспекты дискурса; искусство в условиях тоталитарных режимов.

Но наука — это только один из способов познания мира и, может быть, не самый определяющий. Поэтому в сборнике публикуются философский трактат пятнадцатого века Дж. Кавальканти, литературное сочинение «Рассказы сибиряка» В.И. Соколовского (1834 г.), дневники 70-80-х гг. 20 века художника Т.С. Фисенко, путевые заметки конца 90-х гг. 20 века художника А.Е. Реутова. Как нам кажется, эти произведения, с одной стороны, представляют свое время, а с другой — репрезентируют индивидуальные установки автора, которые тем не менее в сознании честного художника всегда перетекают в мир больших идей. Читателем, в особенности «читателем-потомком», эти идеи воспринимаются как выражение нравственных и эстетических ценностей эпохи, тем самым сглаживаются противоречия между мироощущением художника и его современников. Произведение искусства становится живым *голосом* своего *времени*. В комментариях к «голосам времени», представленным в сборнике, мы пытаемся проследить, каким образом в тексте осуществляется взаимодействие этических и эстетических установок автора, его эпохи и читателя. Взаимодействие научных, философских, художественных текстов составляют естественное многоголосие, представляющее разные аспекты и возможности для осмысления поставленной проблемы. «Голоса времени», представленные на дальних связях, тем не менее имеют местный уклон: Соколовский — писатель-сибиряк, живший и умерший в Ставрополе, Фисенко и Реутов — наши современники, с которыми мы общаемся, видим, как они бьются над разрешением вечных вопросов в личной судьбе.

В результате и наш сборник, созданный усилиями большого творческого коллектива (более 90) авторов из разных регионов России и зарубежья), может быть, тоже станет одним из голосов своего времени.

# I. ФИЛОСОФИЯ И ТЕКСТ: ЭТИЧЕСКИЕ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

- 1/ К.Э. Штайн / Ставрополь / Повседневное — художественное мышление: отечественная оноματοпоэтическая парадигма
- 2/ Н.А. Кузьмина / Омск / Тексты влияния как феномен языкового существования
- 3/ Ю.И. Леденев / Ставрополь / Соотношение индивидуального и социального в речи
- 4/ А.А. Ворожбитова / Сочи / «Этическое» и «эстетическое» в структуре литературной личности как детерминанте лингвориторической организации текста
- 5/ И.Н. Иванова / Ставрополь / Ирония и этика текста



ства, которую задалась целью создать символисты, имела твердую платформу — исследования А.А. Потебни, так как именно они были в определенной степени адекватными и изоморфными словесному творчеству, были как бы продолжением его. А. Белый об этой особенности теории Потебни говорит очень четко: ученый рассматривает искания науки — «деятельность языка» — «произведение поэзии» как «продукты единого творчества». В этом единстве обнаруживается та живая диалектика, которая присуща и языку, и производству искусства, и научному творчеству.

В этом двусторонняя детерминированность языка и искусства: язык дает импульс для создания произведения художественного творчества, результаты которого, в свою очередь, обогащают язык. Язык и искусство детерминировали появление теории Потебни, а она, в свою очередь, стала основой для теорий творчества символизма, теорий авангарда, а также множества других метапоэтических (автоматадискриптивных) теорий. Как одна из самых убедительных в новейшее время перед нами предстает теория И.А. Бродского — выдающегося поэта XX века.

А. Белый пишет: «Две величины: одна — творческая энергия речи; другая — поэтическая энергия народов, выражающаяся в фигурах и тропах речи. Из произведений первой энергии рождается слово, осознаваемое как мысль; из произведений второй энергии рождается поэтический миф, осознаваемый как мирозерцание; обе энергии, анализируемые со стороны форм проявления, в процессе исторического образования подчиняются тем же законам; две величины, порознь равные одной и той же третьей, в этом смысле равны; на установление этой аналогии Потебня отдал всю свою жизнь, приложил весь блеск ученой своей эрудиции, обнаружив при этом необычайную тонкость и проницательность; он явил нам в своей личности редкое соединение психолога, лингвиста с поэтом и проницательным эстетиком, задолго до современной критики перекинул он мост между исканиями науки и пламенной проповедью независимости художественного творчества современных новаторов искусства объединением произведений, деятельности языка и произведений как продуктов единого творчества. В этом смысле он является для нас тем, чем некогда являлся для Ницше Яков Бургхардт; многие взгляды Вячеслава Иванова на происхождение мифа из художественного символа, Брюсова — на художественную ценность слов и словесных сочетаний являются прямым продолжением, а иногда лишь перепевом мысли Потебни, подкрепленной его кропотливыми исследованиями» (1, с. 245).

Следует добавить, что основополагающие произведения А. Белого о художественном творчестве пронизаны мыслью А.А. Потебни, подкреплены выдержками из работ других представителей оноματοпоэтического направления: В. фон Гумбольдта, Г. Штейнталя. Велико значение учения оноματοпоэтического направления и для акмеистов, футуристов. Они ссылаются на исследования Потебни, мощной

подпиткой для их творчества служили работы В. фон Гумбольдта. П.А. Флоренский полуиронично, но зорко наблюдал за своими современниками футуристами. Вот что он отмечал: «Как выступили футуристы — это было главным. Мысли, давно продуманные языковедами, психологами и словесниками в тиши кабинетов, подобились инфекции в запаянных колбочках. Умы иммунизированные остались холодными, хотя и обращались с острейшим из ферментов духа. Но речь, пробужденная от спячки, — крепче всякого вина, и слово, само по себе представленное, опьяняет и исступляет. Когда речь была понята футуристами как речетворчество и в слове ощутили они энергию жизни, тогда, опьяненные вновь обретенным даром, они заголосили, забормотали, запели. <...> Но и Малларме, пытавшийся воплотить эти начала в речетворчество, не был их открывателем: первоисточник их — тот же Вильгельм Гумбольдт. Имею в виду главным образом его понимание речи как непрерывного целого, отдельные элементы коего рождаются на этом лоне и, следовательно, подчиняются ритмической закономерности целого, но не — образуют, напротив, целое своею суммой» (18, с. 171, 172, 177).

Итак, оноματοпоэтическая теория А.А. Потебни, опирающаяся на труды В. фон Гумбольдта, Г. Штейнталя, прошла двойную проверку: она была востребована художниками в творчестве и стала основой для построения теории творчества самими художниками.

Поставленные нами вопросы о связи этики и социологии текста с эстетикой словесного творчества и о том, какое выражение это находит в таких комплексных лингвоэстетических теориях, как оноματοпоэтическая, имеют древнейшую основу, которая кроется еще в учении пифагорейцев.

Гармония, в понимании пифагорейцев, характеризуется такими качествами, как истина, красота и симметрия: «Лжи же вовсе не принимает в себя природа числа и гармонии. Ибо [ложь] им чужда. Ложь и зависть присущи природе беспредельного, бессмысленного и неразумного». Порядок и симметрия прекрасны и полезны, беспорядок же и асимметрия безобразны и вредны» (цит. по: 20, с. 25). Выступая против космологизма пифагорейцев, Платон выдвинул универсальное понимание гармонии, в одинаковой степени относящееся как к строению космоса, так и к нравственной, и вообще духовной жизни человека. Во всех этих областях гармония — основа красоты. «Добро — прекрасно, — говорит Платон, — но нет ничего прекрасного без гармонии» (20, с. 32). Как и прочие эстетические формы, гармония у Платона главным образом проявляется в душе и в небе. Но гармония может проявляться и в области нравственных качеств человека. Так, Платон называет гармонией и «целомудрие», и «справедливость», поскольку она есть равновесие всех трех добродетелей и как раз заставляет каждую «заниматься своим и не многодельничать». Гармонией является вообще всякая добродетель, так как она характеризует гармонически настроенного человека. Под гармонией понимается соответствие внешнего и внут-

ренного, несоразмерность — это синоним безобразия, отсутствие красоты и гармонии. Во всех случаях определения гармонии мы видим связь данной категории с этическими категориями, так как художественное произведение, являясь новой — воображаемой — реальностью, в определенной степени отображает данные связи реальной жизни, хотя не всегда диктуется ими.

Идеи, высказанные в древности, особенно идеи Платона, в качестве инвариантных входят во все последующие эстетические теории. Так, И.А. Бродский в «Нобелевской лекции» (1987) подчеркивает, что «подлинной опасностью для писателя является не столько возможность (часто реальность) преследования со стороны государства, сколько возможность оказаться загипнотизированным его, государства, монструозными или претерпевающими изменения к лучшему — но всегда временными — очертаниями. Философия государства, его этика, не говоря о его эстетике, — всегда «вчера»; язык, литература — всегда «сегодня», и часто — особенно в случае ортодоксальности той или иной политической системы — даже и «завтра» (3, с. 8).

В данной метапоэтической работе И.А. Бродского твердо расставлены этические, социологические и эстетические акценты. Эстетическая реальность текста поднимает его на новую этическую и социологическую высоту. Я бы сказала даже, что этическое и социологическое «переплавляется» эстетическим, в эстетике художественного текста заложены потенции этического и социологического, обусловленные категориями прекрасного, а значит, духовного и социально целесообразного. Художественный текст, помимо гармонии его элементов, — это гармонизированное пространство, где духовность искусства выражается во взаимообусловленности этического и социального эстетическим, то есть реализует высшую меру гармонии как критерия совершенства.

Выводя проблему взаимоотношения быденного языка и языка литературы, а также литературного языка, в одну из наиболее значимых, И.А. Бродский на основе данного критерия проясняет взаимоотношения этического, социального и эстетического: «На сегодняшний день чрезвычайно распространено убеждение, будто писатель, поэт в особенности, должен пользоваться в своих произведениях языком улицы, языком толпы. При всей кажущейся демократичности и осязаемых практических выгодах для писателя, утверждение это вздорно и представляет собой попытку подчинить искусство, в данном случае литературу, истории. Только если мы решили, что «сапиенсу» пора остановиться в своем развитии, следует литературе говорить на языке народа. В противном случае народу следует говорить на языке литературы. Всякая новая эстетическая реальность уточняет для человека его реальность этическую. Ибо эстетика — мать этики; понятия «хорошо» и «плохо» — понятия прежде всего эстетические, предвещающие категории «добра» и «зла». В этике не «все позволено» именно потому, что в эстетике не «все позволено», потому что количество цветов в спектре ограничено. <...>

Эстетический выбор всегда индивидуален, и эстетическое переживание — всегда переживание частное. Всякая новая эстетическая реальность делает человека, ее переживающего, лицом все более частным, и частность эта, обретающая порою форму литературного (или какого-либо иного) вкуса, уже сама по себе может оказаться если не гарантией, то формой защиты от порабощения. Ибо человек со вкусом, в частности, литературным, менее восприимчив к повторам и ритмическим заклинаниям, свойственным любой форме политической демагогии. Дело не столько в том, что добродетель не является гарантией создания шедевра, сколько в том, что зло, особенно политическое, всегда плохой стилист. Чем богаче эстетический опыт индивидуума, чем тверже его вкус, тем четче его нравственный выбор, тем он свободнее — хотя, возможно, и не счастливее. Именно в этом, скорее прикладном, чем платоническом, смысле следует понимать замечание Достоевского, что «красота спасет мир» или высказывание Мэтью Арнолда, что «нас спасет поэзия». <...> Если тем, что отличает нас от прочих представителей животного царства, является речь, то литература — и, в частности, поэзия, будучи высшей формой словесности, — представляет собой, грубо говоря, нашу видовую цель» (3, с. 9-10).

По Бродскому, поэт — «средство осуществления языка». И все же язык «к этическому выбору не способен». Это делает поэт, находящийся, по мнению Бродского, на путеводной нити языка, ибо художественный текст изоморфен языку (аналитический, интуитивный методы, откровение в языке и поэзии). «Человек, находящийся в полной зависимости от языка, я полагаю, и называется поэтом», — пишет Бродский (там же, с. 15), теоретически возобновляя идеи, заложенные в его же языке и тексте, но это и идеи В. фон Гумбольдта и его русских последователей, включая и тех художников, которые, пользуясь возможностями эстетики языка, усовершенствовали художественную практику, возводя посредством своих текстов его на более высокий уровень (символисты, например), ибо, как верно отмечал В. фон Гумбольдт, — язык достигает высот в своем развитии в пору расцвета философии и искусства, в частности, литературного: «Недаром и к совершенству в своем развитии тоже всего больше способны языки, где по крайней мере в одну определенную эпоху царил дух философии и поэзии, особенно если его господство выросло из внутреннего импульса, а не было заимствовано извне», — пишет В. фон Гумбольдт (4, с. 106).

Сама идея лингвистической относительности, лежащая в основе ономапоэтической теории и воспроизведенная (явно или неявно) И.А. Бродским, следовавшим путем истинных художественных практик и теорий, — гарантия того, что эстетическое становится основой этического и социально корректного в тексте.

Что же мы находим у В. фон Гумбольдта, который вырабатывал основы комплексного подхода к исследованию словесного творчества? У Гумбольдта еще нет теории, синтезирующей все аспекты языка и худо-

жественного творчества. Но в то же время его теория содержит к этому все предпосылки, так как деятельностная концепция языка ведет к деятельностной концепции творчества. Кроме того, именно язык выступает как творческая созидательная деятельность, энергия, выражающая дух народа. В этом синтез и единство этического, социального и эстетического, так как, помимо национального самосознания, язык несет позитивное духовное начало, выражающее себя в творчестве, которое, в свою очередь, опять-таки обогащает язык. Как отмечает Г.В. Рамишвили, «Гумбольдт постепенно вырабатывает метод, посредством которого можно подойти к изначальному единству языка и мышления, а также к единству феноменов культуры, заложив тем самым лингвистический фундамент для объединения наук о культуре» (15, с. 7), ибо достоинством и недостатком того или иного языка, по Гумбольдту, нужно считать не то, что «способен выразить данный язык, а то, на что этот язык вдохновляет и к чему побуждает благодаря собственной внутренней силе» (там же, с. 32).

Изучая эстетику текста, в частности, говоря о воздействии поэмы «Герман и Доротея» Гете, Гумбольдт показывает, что художественный мир текста не равен реальному миру — это «образ мира и человечества» (работа «Эстетические опыты» была опубликована в 1798 году). Безыскусная простота описываемого предмета, сила и глубина производимого ею воздействия — вот что непосредственно прежде всего вызывает восхищение читателей в «Германе и Доротее» Гете, считает ученый. Перед нами оказывается противоположное, которое удастся связать лишь художественному гению, да и то лишь в минуту счастливого настроения, — «образы, истинные и индивидуальные, какие только способна дать природа, живая реальность, и одновременно чистые и идеальные, какие никогда не способна представить действительность. В безыскусном описании простого действия мы узнаем верный и полный образ мира и человечества» (5, с. 165-166).

В антиномии (а на антиномии языка и делал установку Гумбольдт) «живая реальность» и «идеальное», какое не способна представить живая реальность, заложено зерно взаимоотношения художественного текста и реальной действительности. Последняя определенным образом претворяется в мышлении художника, и между реальным и идеальным, именно в этом пространстве, формируются все грани воображаемого мира художника — эти «знакомые незнакомцы» — типы, герои, языковые личности, которые говорят на понятном и в то же время отличном от непосредственной повседневности языке. Гумбольдт постоянно говорит о воздействующей эстетической реальности художественного произведения: «Ибо прекрасное предназначение поэта состоит в том, чтобы, пользуясь отдельными образами фантазии, поднимать дух на такую высоту, откуда перед нами открывается широкий обзор: производить посредством последовательного ограничения материала безграничное и бесконечное воздействие, удовлетворять идею, изображая отдельную личность и открывая с определенной

точки зрения целый мир явлений. ...поэт, стремясь удовлетворить этому своему предназначению, близок к тому, чтобы исполнить и самое высшее свое предназначение — возвыситься до идеалов и достичь известной всеохватности» (5, с. 167).

Таким образом, эстетическое порождает этические потенции, ибо идеал, его достижение и постижение в искусстве делает «царство фантазии», прямо противоположным «царству действительности» (5, с. 169), так как «идеально то, чего не может достичь действительность и чего не может исчерпать словесное выражение. Художник может даже рабски следовать природе и все же добиться воздействия, потому что воздействие не зависит от отдельных черт, от отдельных перемен, а только от цвета, от освещения, приданных произведению, лишь от того, что он придает произведению единство и форму, которые непосредственно обращаются к нашей фантазии, непосредственно являют нам предмет и как чистое произведение воображения, и как полностью реальное, всецело согласное с законами природы и нашей души, то есть именно как идеальное» (5, с. 171). Это феноменологическая постановка вопроса, связанная с интендированием художником и читателем художественного предмета на основе корреляции «переживания предметности» и адекватности его с миром. По Гумбольдту, любое произведение принадлежит художнику как совершенно новое создание, и предмет претерпевает перемену своей сущности и возносится на новую высоту. При этом Гумбольдт постоянно, во всех работах затрагивает проблемы этического и социально-философского характера, связанные с понятиями народ, язык, наука, государство.

В работе «Идеи к опыту, определяющему принципы деятельности государства» (1792) имеется глава VIII — «Исправление нравов», где Гумбольдт говорит об энергии как «единственной добродетели человека». Энергию как созидательное начало Гумбольдт видит не только в языке, но и в искусстве, так как искусство непосредственно дает идеи или возбуждает чувства, настраивает душу определенным образом, обогащает, возвышает силы души. Гумбольдт говорит о духовном творчестве, рассматривая искусство как его разновидность. «И если моральный закон требует, чтобы каждый человек рассматривался как самодовлеющая цель, то этому способствует и чувство прекрасного» (5, с. 83). Чувство прекрасного не служит моральным импульсом, оно «открывает» более разнообразные применения морального закона. «Народ создает свой язык как орудие человеческой деятельности, позволяя ему свободно развернуться из своих глубин, и вместе с тем ищет и обретает нечто реальное, нечто новое и высшее; а достигая этого на путях поэтического творчества и философских предвидений, он в свою очередь оказывает обратное воздействие на свой язык. И если первые, самые примитивные устремления можно назвать литературой, то язык развивается в неразрывной связи с ней» (4, с. 68).

Г.Г. Шпет, анализируя теорию В. фон Гумбольдта, отмечает, что языки развиваются в обществе, испытывая

на себе воздействие всего целого: социальной организации и среды, — и сами становятся «социальной вещью среди других социальных вещей», входят в общую историю и имеют свою собственную специфическую историю» (21, с. 41). Г.Г. Шпет подмечает важную посылку теории Гумбольдта, который различает язык и поэзию, лингвистику и эстетику, но видит между ними аналогию, основой которой является признание «наличия, с одной стороны, внутренней языковой формы, с другой стороны, внутренней поэтической формы, также языковой, конечно, но специфической, быть может, модифицированной по сравнению с первой» (там же, с. 60).

Таким образом, внутренняя форма языка и внутренняя поэтическая форма художественного текста оказываются коррелирующими, изоморфными по структуре. При этом «первичная» внутренняя форма языка является основой для «вторичной» — поэтической, и вообще художественной, но последняя качественно отличается от нее. Гумбольдтом впервые был намечен ход, впоследствии углубленный А.А. Потебней и развитый в русской ономактопоэтической традиции Д.Н. Овсяннико-Куликовским: речь идет о соотношении обыденного языка и художественного произведения, и наоборот — художественного произведения и обыденного языка.

А.А. Потебня строит свою теорию в психологическом ракурсе, но она выходит за рамки психологизма: не случайно А.Ф. Лосев определял метод ученого не как психологический, а как конструктивно-феноменологический (8, с. 605). В 1926 году в предисловии к работе «Философия имени» А.Ф. Лосев отмечает, что теории языка и имени не повезло в России: «Прекрасные концепции языка, вроде тех, каковы, например, К. Аксакова и А. Потебни, прошли малозаметно и почти не повлияли на академическую традицию» (8, с. 12). Далее в примечаниях Лосев говорит о своей «диалектике человеческого слова» в связи с тем, что она «ближе всего подходит к тому конгломерату феноменологических, психологических, логических и лингвистических идей и методов, который характерен для прекрасного исследования А.А. Потебни. Мысль и язык. Харьк<ов>, 1913, внося в него, однако, диалектический смысл и систему» (8, с. 191). Обратим внимание на то, что А.Ф. Лосев в качестве своих предшественников по феноменологическому методу называет не Гуссерля и Кассирера, а именно Потебню, который в своем учении о внутренней форме слова и художественного текста подошел к идеям, близким к идеям феноменологии Гуссерля задолго до ее появления. В этом был пробор ученого в будущее развитие философии языка и лингвистической поэтики, так как феноменология, с ее учением об эйдосах, во многом отталкивается от языка. Лингвистический поворот в русской философии произошел в этом смысле в середине XIX века («Мысль и язык», 1862) и был осуществлен А.А. Потебней.

Целостная теория языка и художественного творчества А.А. Потебни, в их взаимной детерминированнос-

ти и изоморфизме, имеет эстетическую направленность: Потебня находит тождественное в слове и произведении искусства, и все это обусловлено «работой духа», находящей выражение в том и другом: «Язык во всем своем объеме и каждое отдельное слово соответствует искусству, притом не только по своим стихиям, но и по способу их соединения» (13, с. 165). В центре теории Потебни — творящий субъект. По Потебне, и слово и текст — средство создания мысли, которая развивается в «понимающем». «Между произведением искусства и природою, — пишет А.А. Потебня, — стоит мысль человека; только под этим условием искусство может быть творчеством» (там же, с. 169).

Потебня говорит, опираясь на Гумбольдта, об успокоительном действии искусства, которое «условливается именно тем, что оно идеально (подчеркнуто мной. — К.Ш.), что оно, связывая между собой явления, очищая и упрощая мысль, дает и обзор, и сознание прежде всего самому художнику, подобно тому как «успокоительная сила слова есть следствие представления образа». Представление, или идеал, воздействуют, «разлагая» чувство, уничтожают его власть. «Необъективированное состояние души» покоряется объективированному в слове сознанию в произведении искусства, «ложится в основание дальнейшей душевной жизни», отсюда искусство — «орган самосознания» (13, с. 176). Здесь кроется глобальная этическая проблема, развитая впоследствии русскими философами конца 19 — начала 20 века. Так, в работе «О назначении человека» (1931) Н.А. Бердяев обращается к этике творчества именно в заданном А.А. Потебней ключе. Он рассуждает об этике творчества в соотношении его, с одной стороны, с моральным законом, с другой, с инстинктом. Сила творческого воображения, по Бердяеву, — это принцип таланта в нравственной жизни, этика творчества — это этика энергетическая. «Этика творчества» и освобождает инстинкты, подавленные законом, и в то же время преодолевает их, борется с ними «во имя высшей жизни». Для человека «новым и вечным является стремление к свободе, состраданию и творчеству. Поэтому новая этика может быть лишь этикой свободы, сострадательства и творчества» (2, с. 138). Таким образом, творчество преобразует человека, освобождая в нем энергию красоты.

Потебня заостряет противопоставление «обыденной мысли и поэзии», но в то же время диалектика Потебни необычайно парадоксальна: в одном из рассуждений он противопоставляет обыденную мысль и речь образованного человека, измеренную научным знанием, с «будничным языком простонародья». Именно в этом «первичном знании и языке» видит Потебня цельность мировоззрения, «недостижимую для нас». Наука раздробляет знание и только предполагает их связь и гармонию, но народ, пользующийся языком народной поэзии, обладает связью действительной, так как для народной поэзии эта связь «осязательно существует». Поэтому должны быть «нормальные» отношения между поэзией и наукой: «Как мифы прини-

мают в себя научные положения, так наука не изгоняет ни поэзии, ни веры, а существует рядом с ними...» (13, с. 182). В этом неустойчивом равновесии формируется язык со всеми его функциями. Говоря о том, что слово для самого говорящего «есть средство объективировать свою мысль», Потебня высказывает интересное положение о том, что слово и язык вообще нужны прежде всего для самого говорящего (там же, с. 213). И если рассматривать слово со стороны его нужности для говорящего, то оно для него «средство объединения образа, обобщения, анализа образа» даже в обыденной жизни (там же, с. 225). Язык развивается только в обществе, и поэтому другая сторона жизни слова состоит в его понимании слушающим. Уединенная работа мысли может быть успешна только на значительной ступени развития и при пользовании некоторыми «суррогатами общества» — письмом, книгами. Потебня до предела заостряет эту мысль, приводя в пример тех, кто подвергается одиночному заключению. Отсутствие коммуникации понижает уровень развития и может довести человека до тупоумия, до сумасшествия. «Одушевление спора», убеждение, что нас понимают, возражают или соглашаются с нами, служит стимулом для говорящего и рождает «новые достоинства речи». «Усовершенствование языка стоит в прямом отношении к степени живости обмена мыслей в обществе, — обмена; который обуславливается сходством человеческой природы и еще более сходством между лицами, составляющими известные отдели человечества (племя, народ)» (13, с. 225).

При этом Потебня, ссылаясь на Гумбольдта, утверждает, что всякое понимание есть вместе с тем непонимание, а всякое согласие — несогласие. Таким образом, в разговоре идет порождение мысли и нет никогда истины в последней инстанции. Потебня конкретизирует многие положения В. фон Гумбольдта, в частности то, что коммуникация — творческий процесс, и проблема понимания связана именно с этим: «Каждое лицо с психологической стороны есть нечто вполне замкнутое, в котором нет ничего, кроме произведенного им самодеятельно. Эта самодеятельность, без сомнения, может быть вызвана чем-то извне. Чтобы думать, нужно создать ... содержание своей мысли, и, таким образом, при понимании мысль говорящего не передается, но слушающий, понимая, создает свою мысль. <...> Рассмотрение процесса понимания служит лишь разъяснением того, что язык есть средство или, лучше, система средств видоизменения или создания мысли. Если бы язык был выражением готовой, уже сложившейся мысли, то он имел бы значение только для своего создателя, то есть понимание состояло бы только в передаче мысли, а не в ее возбуждении, что, по сказанному выше, немислимо» (13, с. 226-227). Таким образом, мысля, мы творим, говоря, совершенствуем свой ум и язык. А так как поэзия и проза — явления языка, с этим связано и то, что язык есть деятельность, способ мышления, поэтому и поэзия и проза — тоже способы мышления, «приемы мысли». Важно и то, что язык, являясь деятельностью, является и средст-

вом познания и человека и языка, так как художественное творчество — это и рефлексия о языке, особенно о языке повседневном. Проблема понимания текста, творческая его (понимания) природа была рассмотрена впоследствии в метапоэтических работах символистов (А. Белого, В.Я. Брюсова, А.А. Блока и др.) именно в этом ракурсе.

Работа А.А. Потебни «Мысль и язык» впервые опубликована в 1862 году, в это время в России были популярны идеи немецких философов, особенно Г.В. Шеллинга. В творческой среде обсуждалась «Философия искусства» (1859), в которой эмпиризм объявлялся источником всего непоэтического, источником всего нефилософского, так как он (эмпиризм — читай: материализм) рассматривался как невозможность признать что-либо за истинное и реальное, если оно не дано в опыте. Поэтический же смысл если возможен, значит, безусловно, действителен, «подобно тому, как в философии то, что идеально — реально» (19, с. 340). Хотя в некоторых случаях у Шеллинга и говорится о прекрасном как об объединении реального и идеального, сфера философии искусства для него — сфера высшей рефлексии, и в ней нет речи об эмпирическом искусстве.

В работе «Из записок по теории словесности», опубликованной учениками уже в 1905 году, А.А. Потебня обращается к обыденному мышлению и обыденному языку и говорит о них как об источнике развития языка и художественного мышления: «... одновременное существование в языке слов образных и безобразных условлено свойствами нашей мысли, зависимой от прошедшего и стремящейся в будущее. Развитие языка совершается при посредстве *затемнения, представления и возникновения* (курсив автора. — К.Ш.) в силу этого и в силу новых восприятий новых образных слов. Надо думать, что в отдельных лицах, говорящих тем же языком, количественная разница между образными и безобразными словами может быть очень велика, но что должны быть средние пределы колебаний, выход из коих возможен лишь при ненормальном состоянии народа» (14, с. 303). Потебня показывает, что существует связь между разговорной и письменной речью, поэтому нужно, чтобы «разговор предшествовал письму и оставался мерилем во время писания» (14, с. 304). Именно обыденная речь — источник образного мышления: «Поэзия, как и наука, есть лишь способ мышления, употребляемый взрослыми и детьми, цивилизованными и дикими, нравственными и безнравственными. Они не только там, где великие произведения (как электричество не только там, где гроза), а, как видно уже из ее эмбриональной формы, то есть слова, — везде, ежечасно и ежеминутно, где говорят и думают» (14, с. 332). И в то же время подлинное произведение искусства выходит за пределы повседневности, обыденности, основа его — поэтический образ, который может быть верным воспроизведением действительности, но в то же время не заключает «повседневного, ничтожного по своей стоимости для нас восприятия» (14, с. 340). Вот где «пересечение» идей



великого ученого 19 века и великого поэта 20 века И.А. Бродского!

Потебня проводит своеобразный лингвистический эксперимент на проверку художественного поэтического текста обыденным мышлением и речью, показывая, какая дистанция лежит между ними: «Так, в стихотворении Фета:

*Облаком волнистым Вижу: кто-то скачет  
Пыль встает вдали; На лихом коне.  
Конный или пеший — Друг мой, друг далекий,  
Не видать в пыли. Вспомни обо мне! —*

только форма настраивает нас так, что мы видим здесь не изображение единичного случая, совершенно необычного по своей обычности (подчеркнуто нами. — К.Ш.), а знак или символ неопределенного ряда подобных положений и связанных с ним чувств. Чтобы убедиться в этом, достаточно разрушить форму. С каким изумлением и сомнением в здравомыслии автора и редактора встретили бы мы на особой странице журнала следующее: «Вот что-то пылит по дороге, и не разберешь, едет ли кто или идет. А теперь — видно... Хорошо бы, если бы заехал такой-то!» (14, с. 340). Прав и ученый и художник! Заговори Фет на таком языке — и нет поэта.

А.А. Потебня рассмотрел многие средства создания художественного образа, в том числе тропеические, фигуративные (фигуры речи). Он увидел тончайшие нюансы соотношения обыденного и художественного мышления. Объединяющим здесь, по Потебне, является то, что язык и искусство — это способы познания природы, человека, общества. С этим связано понимание образа — «со свойствами понимающего, степенью понимающего, с мгновенным настроением» (там же, с. 344).

Потебня разработал понятие художественной типичности образа. При этом понимающий узнает в них знакомое, а образ в то же время «является открытием, колумбовым яйцом» (14, с. 342). Таковы парадоксы этого удивительного мыслителя: «Необычное по своей обычности» художественное мышление, знакомое и в то же время это «открытие» художественного образа.

В работах Д.Н. Овсяннико-Куликовского теория А.А. Потебни получила наиболее развернутое продолжение, а также подтверждение в ходе анализа произведений русских художников слова. Художественный текст рассматривается им в коммуникативном плане. Так, появление «Горя от ума» А.С. Грибоедова, по мнению Овсяннико-Куликовского, с одной стороны, «сразу обнаружило свое тесное родство с обыденным художественным мышлением довольно широких кругов читающей публики», с другой, «пьеса была принята, как нечто небывалое, как редкостная новинка, не имевшая прецедентов» (12, с. 12).

Овсяннико-Куликовский в своих работах четко сформулировал важнейшую социальную философскую и филологическую проблему — связь «высшего художественного мышления» с обыденным, которая и образует, по мнению Д.Н. Овсяннико-Куликовского, психологическую основу реального искусства. Благодаря этой связи «обыватель» получает возможность интимно понять произведение художни-

ка — по крайней мере те образы, которые в обыденном мышлении уже получили некоторую «разработку и стали «ходячими типами» (12, с. 13). Овсяннико-Куликовский, вслед за Потебней, утверждает, что в этом случае происходит процесс «обобщенной апперцепции»: то, что было смутно, неопределенно в обыденном мышлении, становится новым, определенным, ярким: «Так, например, читатели отлично знали Фамусовых и Молчалиных, но Грибоедов пролил неожиданный свет на эти фигуры и заставил читателей знать их по-новому — смотреть на них и судить о них не по-обыденно, а с точки зрения той высшей человеческой морали (подчеркнуто нами. — К.Ш.), которая присуща искусству. Не все читатели одинаково были способны возвыситься до высшей морали, и — как это всегда бывает — комедия Грибоедова в разных умах и натурах отражалась различно, возгораясь всем своим светом в одних, тускнея в других, опошляваясь в третьих. Этот обычный процесс взаимодействия между высшими продуктами творчества поэтов и обыденно-художественным мышлением публики улавливается и прослеживается на судьбах комедии Грибоедова с особой наглядностью» (12, с. 13-14).

Овсяннико-Куликовский приводит в доказательство высказывания Гончарова и Пушкина, которые подтверждают процесс взаимодействия высшего художественного мышления с обыденным. Гончаров говорит о том, что грамотный читатель, общественность расхвотала рукопись «на ключья, на стихи, полустигиша, разнеся всю соль и мудрость пьесы в разговорной речи, точно обратила мильон в гривенники, и до того испестрила грибоедовскими поговорками разговор, что буквально истаскала комедию до пресыщения» (12, с. 14).

Овсяннико-Куликовский показывает этот органичный процесс взаимодействия языка — художника — текста — читателя: используемые обороты существовали в речи, были «ходячей монетой языка». «Теперь, использованные поэтом для обрисовки типов, они возвращались обратно в обыденную речь, в стихию языка, еще более отечканенные, приуроченные к определенным художественным образам, впитав в себя из этих образов новое содержание или новые оттенки значения» (12, с. 14). Такова живая диалектика формирования русского литературного языка. Обыденное художественное мышление читателей благодаря Грибоедову принимало характер своеобразного протеста и явно «критического» отношения к действительности (12, с. 15), что, конечно же, находило выражение в языке.

При этом, основываясь на посылах языка, художник как действующий субъект достигает эстетических высот: «Поэт достиг столь блестящих результатов благодаря тому, что в борьбе с формой, в своих муках творчества, сумел дать перевес творческой работе над литературным сочинительством» (12, с. 38). Исследователь приводит слова А.С. Грибоедова: «Я как живу, так и пишу свободно и свободно» (12, с. 38). Д.Н. Овсяннико-Куликовский в обыденном языке видит выражение коллективного (общественного) самосознания, считая, что картины

и образы и связанные с ними настроения, чувства, думы были принадлежностью коллективной художественной и общественной мысли целого поколения. Великие поэты явились их выразителями. Они делали общее достояние предметом высшего творчества!

Развивая идеи А.А. Потебни о слове как произведении искусства, Д.Н. Овсяннико-Куликовский ставит вопрос о взаимосвязи быденного языка, быденного мышления и произведения искусства. Он подчеркивает наличие разных ступеней возвышения быденного мышления и быденной речи к художественному мышлению и речи, то есть говорит об иерархии их: «Наблюдениям в этой области мы можем подвести такой итог: если станем задерживать в сознании ходячие понятия, которыми мы орудуем повседневно, то не замедлит обнаружиться художественный строй многих из них, состоящий в том, что они воплощаются в конкретные образы большей или меньшей типичности. Нетрудно видеть, что степень этой художественности наших понятий будет весьма и весьма различна, начиная образами очень тусклыми, несовершенными, случайными, и кончая такими, которые по праву могут быть названы художественно-типичными» (11, с. 87). Художественное творчество — наивысшая степень типизации, имеющая зачатки в быденной речи: «Творческая работа художника — все равно, будет ли он поэт, или живописец, или скульптор... есть не что иное, как повторение и возведение на высшую ступень той же самой работы мысли, какую проводили мы все в нашей быденной жизни» (там же, с.88). На этом пути образ, не переставая быть средством познания, получает в то же время и свою, «личную ценность». Здесь обнаруживает себя лингвистическая относительность: «Эти интимные узы (связь быденного с художественным. — К.Ш.) даны в языке, в речи человеческой. Язык изобилует художественными элементами, и быденные понятия преобразуются в художественные образы не иначе как через посредство слова» (11, с. 90).

Д.Н. Овсяннико-Куликовский не погружает язык в мир повседневности, язык манифестирует, обобщает и, в принципе обнаруживает границы этого мира. Возникает вопрос: зачем нужно изучать повседневность? Думается, что изучение повседневности необходимо для того, чтобы социально-научное знание не теряло из виду своей укорененности в повседневной жизни и своей постоянной и глубокой обусловленности ею. Повседневность является основой и необходимой предпосылкой исследования не только в социальных науках, но и в филологии, хотя почти никогда не бывает для последней особой темой. Попытка тематизации повседневности выявляет глубинные основания социально-научного знания и художественного мышления. Прояснение связи категорий повседневной интерпретации, понятий науки, а также художественного мышления, — тема, требующая особого рассмотрения. Здесь можно лишь сказать, что такая методологическая рефлексия и последующее «воссоединение» науки и повседневности должны иметь

своим следствием преодоление принципиального разрыва между миром человеческой практики и миром социальной теории. Это означало бы и для социолога, и для филолога отказ от позиций непогрешимого учительства, от ощущения всезнания и всемогущества, от чувства превосходства человека, вооруженного передовой теорией, по отношению к человеку, опирающемуся лишь на здравый смысл. Теория А.А. Потебни, Д.Н. Овсяннико-Куликовского спускает нас из заоблачных высот, и мы понимаем, что пренебрегаемый наукой здравый смысл — не явление низшего порядка. Искомое «воссоединение» открывает новые возможности участия социальной науки, филологии в человеческой жизни, ибо иное определение наукой быденного мышления и языка — это и иной мир, открывающий новые возможности реализации наших устремлений.

Обыденный язык, с его первичным творчеством, обуславливает само творчество, но художественная реальность — это реальность иного порядка, и она не совсем «прозрачна» по отношению к быденному языку и повседневной жизни. Обыденный язык обуславливает иная логика. Это аристотелева логика исключенного третьего. В художественное мышление она входит только как частный случай логики повседневного (эмпирического) опыта — «логики твердых тел». Поэтическая, или художественная логика — это логика «воображаемая», Н-измерений, для которой антиномичное мышление — естественное положение дел.

И в то же время существует феноменологическая заданность нашего быденного мышления, интендирующая «художественные образы» — картины, виды, сцены — возникающее «переживание предметности». Уже оно способствует социальной типизации, внутренняя эстетизация образов связана с этическими послылками, и наоборот. Д.Н. Овсяннико-Куликовский хорошо раскрыл этот процесс, свойственный быденному мышлению, фиксирующемуся в быденном языке: «Лишь только начнем думать о себе, о близких, о людях вообще, о разных обстоятельствах нашей жизни, лишь только начнем погружаться в воспоминания о прошлом, — сейчас же вынырнут в нашем сознании образы, на этот раз не ускользающие, а нарочито задерживаемые в мысли, и эти образы сгруппируются в целые картины жизни. При этом мы не будем безучастными и случайными зрителями этих картин: они, несомненно, будут окрашены в известные настроения, с которыми мы их созерцаем, они вызовут в нас ряд различных чувств, натолкнут нас на новые мысли, даже могут привести нас к какому-либо общему воззрению на жизнь, на окружающую среду, на людей, с которыми мы сталкивались, на себя самих. На этом пути подымутся и некоторые вопросы нравственного сознания. Заговорит совесть и новые, может быть, неожиданные чувства. Зашевелится грусть, навернется слеза, или вдруг промелькнет ирония, послышится смех» (11, с. 93).

Социологи культуры говорят о типизации в повседневности, упоминая, в частности, жанры речи М.М. Бахтина. Типы повседневных взаимоотношений — это

типы ситуаций, личностей, мотиваций. Они выражаются в категориях обыденного языка, воплощающих человеческий опыт предшествующих поколений. Поэтому человек рождается в этот мир «типических определенностей» и уже на ранних стадиях развития, усваивая язык, учится воспринимать явления, предметы, существа в мире как типы, а не как сочетания уникальных и неповторимых качеств человека: «...всякая типологическая интерпретация влечет за собой целую систему других типов (типические личности, типические мотивы, типические ситуации), в своей совокупности составляющих житейско-практическую версию социальной структуры общества в целом. Если событие состоялось, и следовательно, взаимное типологическое понимание достигнуто, то значит, повседневные версии социальных структур, содержащихся в сознании участников, совпали, образовав тем самым взаимоприемлемую основу дальнейшей совместной деятельности» (6, с. 91). Жизненную «типизацию» Д.Н. Овсянико-Куликовский видит в дневниках, мемуарах как обобщениях жизненного опыта, в них возникают первичные элементы художественности. Они также имеют феноменологическую заданность. Интересны эти художественные практики, существующие в обыденной жизни, в них ясно обнаруживается присущая обыденному мышлению образность, которая «скрадывается» и ускользает в деловой практике жизни.

Мы всю жизнь смотрим на себя со стороны, даже если не пишем дневников. Это своего рода «художественное произведение», или, по меньшей мере, его элементы. Перед нами набросок «поэзии», отрывок из «романа», бытовая картина, не без «психологического анализа»: тут же и штрихи юмористического или даже сатирического характера, тут же «немножко лирики». «И можно утверждать, что в этих «неписанных» произведениях обыкновенного обывательского раздумья окажется гораздо больше поэзии и творчества, чем в иных манерных и деланных продуктах головоломного сочинительства» (11, с.93-94).

В большинстве случаев обыденная мысль «обывателя» вращается в тесном круге. Ее кругозор ограничен. «Мыслитель», живущий в душе каждого из нас, большей частью закрепощен текущей жизнью, и когда он обнаруживается, то ему трудно выйти из рамок этой жизни. Овсянико-Куликовский говорит о стереотипах (шаблонах) повседневной жизни, в которой человек вращается, с которой он сроднился. «Поэтому в «неписанных дневниках и мемуарах» и вообще в обывательском «творчестве» мы встретим чаще всего узкие критерии, более или менее негуманные, — классовые, сословные, профессиональные, узконациональные и т.д. «Читая» такой «дневник», мы сразу узнаем в его «авторе», например, дворянина, купца, помещика, дельца, мещанина, чиновника и т.д.» (11, с. 94).

Философы начали пристально исследовать в конце XIX века мир повседневной жизни, или «жизненный мир», по Гуссерлю. Он представляет собой совокупность первичных фундирующих (термин Гуссерля) интенций, его изучение должно раскрыть процесс

возникновения из него различных систем знания, в том числе объективных наук, объяснить отношение последних к жизненному миру и тем самым наделять их столь недостающим человеческим содержанием.

А. Шюц, ученик Гуссерля, рассматривает жизненный мир как «пред-данное». Науке, если она действительно желает быть «строгой», необходима не столько формальная строгость, то есть логическая формализация и так называемые научные методы, сколько выяснение ее генезиса и обусловленности миром пред-данного, из которого она рождается и в котором живет. Это мир, предшествующий объективирующей научной рефлексии, — мир человеческой непосредственности, феноменальный (в гуссерлевском смысле) мир чувствования, стремления, фантазирования, желания, сомнения, утверждения, воспоминания о прошлом и предвосхищения будущего и т.п., короче, это жизненный мир. Шюц определяет его как мир, в котором «мы, как человеческие существа среди себе подобных, живем в обществе и культуре, зависим от их объектов, которые воздействуют на нас и, в свою очередь, подвергаются нашему воздействию» (6, с. 72). Л.Г. Ионин отмечает, что «это понятие (жизненный мир. — К.Ш.) применяется в социологии, как правило, интуитивно, ему недостает строгой определенности, иногда жизненный мир отождествляется с тем, что можно назвать обыденной жизнью, а иногда — с миром культуры» (6, с. 73).

Не следует ставить знака равенства между общественной, культурной и повседневной жизнью, хотя общественная жизнь и бытовая повседневность образуют две нераздельные стороны единого целого в человеческой жизни. Общественная жизнь, культура связаны с бытом потому, что воплощены в людях, и лишь в деятельности людей осуществляются «коренные ее процессы — производство, классовая борьба, социальные отношения, культура». Люди живут в домах, окружены «своими», их «продолжающими и их выражающими вещами», пользуются орудиями труда, руководствуются привычками и нормами. Они участвуют в жизни общества, движимые не биологическим инстинктом, а повседневными человеческими потребностями — в частности, и «необходимостью облегчить жизнедеятельность свою и близких, привязанностью к своему укладу бытия и людям, в которых он воплощен, к составляющим его вещам, обыкновенным, ценностям, стремлением защитить и улучшить этот свой мир, ненавистью к его врагам. Не входя сами по себе в административное устройство или право, в войну или идеологию, повседневная среда и быт образуют их подпочву и подсознание. Нет и не может быть общества вне людей, и нет людей вне быта» (7, с. 7).

Интересно, что историки и социологи пользуются понятием внутренней формы, характерной для оноματοпоэтической парадигмы. Эту тенденцию можно обнаружить в интересной работе Г.С. Кнабе: «Древний Рим: история и повседневность» (1986), посвященной проблемам социальной истории: «В последней трети прошлого века складывается и быс-

тро приобретает универсальный характер представление, согласно которому мир состоит не только из предметов, людей, фактов, атомов, вообще не только дискретен, но может быть более глубоко и адекватно описан как своеобразное поле напряжения, что самое важное интересное в нем — не событие или предмет, вообще не замкнутая единичность, а заполняющая пространство между ними, их связывающая и приводящая в движение среда, которая ощущается теперь не как пустота, а как энергия, поле, свет, воля, настроение. Представление это обнаруживается в основе столь далеких друг от друга явлений, как импрессионизм в живописи или поэзии и Максвеллова теория поля, драматургия Ибсена или Чехова и приобретение богатством дематериализованных финансовых форм, — пишет Г.С. Кнабе. — Такие представления не исчерпываются своей логической структурой и носят в большей или меньшей степени образный характер. Они близки в этом смысле тому, что в языкознании называется внутренней формой (подчеркнуто нами. — *К.Ш.*), — образу, лежащему в основе значения слова, ясно воспринимающемуся в своем единстве, но плохо поддающемуся логическому анализу. Так, слова «расторгать», «восторг» и «терзать» имеют общую внутреннюю форму, которая строится на сильно окрашенном эмоционально и трудноопределимом ощущении разъединения, слома, разрыва с непосредственно существующим. Разнообразные представления в области культуры можно, по-видимому, по аналогии обозначать как ее внутренние формы» (7, с. 196).

Механизм формирования и передачи таких внутренних форм, считает Кнабе, неясен. Объяснить их совпадение в разных областях науки или искусства как осознанное заимствование нельзя. Вряд ли можно видеть во внутренней форме культуры «прямое отражение экономических процессов и помнить, будто монадология Лейбница порождена без дальнейших околичностей развитием конкуренции в торговле и промышленности. Дело обстоит гораздо сложнее. <...> Пока что приходится просто признать, что в отдельные периоды истории культуры различные формы общественного сознания и весьма удаленные друг от друга направления в науке, искусстве, материальном производстве подчас обнаруживают очевидную связь с некоторым единым для них образом действительности и что такой образ составляет мало известную характеристику целостного исторического бытия данного народа и данной эпохи» (7, с. 198).

Кнабе рассматривает отношения между бытом и историей, они в определенной степени соотносятся с культурой. Бытовая повседневность и исторический процесс неразрывно связаны друг с другом и в то же время глубоко различны, ни одна из этих сфер непонятна до конца без другой, но подход к ним с одинаковыми критериями ничего не дает. Кнабе обнаруживает, что самые разные проявления повседневной жизни древних римлян — их отношение к воде и их восприятие одежды, неприязнь к людям, передвигающимся по городу в но-

силках, любовь к дружеским трапезам, восприятие уличной и жилищной тесноты как ценности — «связаны в конечном счете с одним и тем же вполне определенным ощущением действительности. Это ощущение состояло в том, что в основе всего лежит некоторый известный и неизменный строй существования. Он образует не только источник и фон общественного бытия, но также и его идеальную модель, точку отсчета и парадигму ценностей. В своем повседневном быту римлянин живет и действует в этом противоречии идеальной исходной нормы и ее реальных нарушений... <...> Это противоречие и этот синтез образуют внутреннюю форму не только культуры Рима, но и существование римлянина». Отмечается характерная изоморфность быта и истории (7, с. 196, 198, 199). Таким образом, глобальное находит выражение в «тотальном», в человеческом существовании, и наоборот.

Это видели еще представители ономапоэтического направления: «Человек — не сумма частей, а их психологический синтез», — считает Д.Н. Овсяннико-Куликовский. Этот синтез нельзя получить простым суммированием душевных элементов — его нужно создать; для этого и требуются приемы художественного мышления в обыденной жизни. В основу изучения природы искусства и психологии художественного творчества он поставил положение, «гласящее, что между художественным творчеством, в собственном смысле, и нашим обыденным, житейским мышлением существует тесное психологическое сродство: основы первого даны в художественных элементах второго» (11, с. 100).

Обыденное мышление, по Овсяннико-Куликовскому, реалистично. Это «наивный реализм». В чем же состоит отличие художественного образа от обыденного? Оно состоит в том, что первый, оставаясь индивидуальным, в то же время типичен, второй по преимуществу индивидуален, и в нем типичные черты заслонены случайными или совсем не характерными деталями. Задача художника, по мнению Овсяннико-Куликовского, сводится к очистке обыденных образов от случайного и к усилению типических черт. Производя эту работу, художник обобщает действительность. Читатель легко узнает в них собственные обыденные образы (какими мы располагаем или можем располагать). И в то же время «многие сложные и тонкие душевные движения, не улавливаемые и не передаваемые обыденным языком, улавливаются и передаются тем высшим порядком языком, который называется искусством. В особенности удается это различным видам лирического творчества» (11, с. 110). Усваивая с детства язык, богатый тропами и другими образными элементами, мы являемся наследниками «художественного капитала», и наша обыденно-художественная мысль — это только «процент» от этого «капитала». «Художественный пошиб нашего обыденного, обывательского мышления есть функция художественных приемов мысли многих поколений, — приемов, результаты которых веками накопились и «сложены» в язык». Овсяннико-Куликовский подчеркивает взаимообусловленность высшего творчества как функции обыденной художественности мышления и обыденной

художественности, которая, в свою очередь, — функция художественных элементов языка. Обыденное творчество стоит гораздо ближе к языку, чем высшее; «оно даже как бы сливается с языком, и их взаимные отношения, их воздействие друг на друга гораздо теснее, и вместе с тем проще, «обыденнее», чем взаимоотношения между языком и высшим искусством» (11, с. 117-118).

Интересны мысли Овсяннико-Куликовского о преобразующей силе художественного мышления, в котором имеет место не просто слово, а осуществление «слова-события». Художник ищет «слова», то есть ищет осуществления своей мысли. Только в «настоящем слове» эта мысль загорается ярким светом. Если волна вдохновения не выбросит это «слово» из глубины души, — его приходится искать, и притом так, чтобы не найти его искусственно, а чтобы оно само естественно нашлось. Тогда оно и явится не делом сочинительства, а поэтическим событием. «Излишне пояснять, — пишет Овсяннико-Куликовский, — что «слово-событие», о котором идет речь, в иных случаях является отдельным словом в собственном смысле, но по большей части это — группы, сочетания слов, «словесная живопись», «словесная пластика», заставляющая наше воображение воспроизводить данные образы и их сочетания, а нашу мысль — работать в том же направлении и духе, в котором работала мысль художника» (11, с. 122). Наука, по мысли Овсяннико-Куликовского, также взаимодействует с обыденным мышлением. Ученый, созидая свою высшую мысль, вступает, подобно художнику, в «борьбу» со словом. «Между верхами художественного творчества и низами обыденной мысли нет пропасти», — считает Д.Н. Овсяннико-Куликовский, хотя расстояние между ними велико: оно заполняется промежуточными ступенями (11, с. 126).

В современной социологии культуры обращается внимание на примеры обыденной интерпретации — собственного повседневности стандартного метода превращения непонятного и невозможного в понятное и возможное. Исследователи изучают термины повседневной жизни — выявляют логику повседневности, типологические интерпретационные схемы, лежащие в основе повседневной жизни.

Основатель социальной феноменологии А. Шюц именно в предметно-телесной закреплённости видел «преимущества» повседневности по сравнению с другими сферами человеческого опыта, которые он называл конечными областями значений. Это религия, сон, игра, научное теоретизирование, художественное творчество, мир душевной болезни и т.п. Они замкнуты в себе, и переход из одной области в другую требует определенного усилия, предполагает своего рода смысловой скачок в «иную реальность». Эти системы относительно мало пересекаются, поэтому верховная власть повседневности обеспечивается именно связью повседневных дел и забот с физической телесностью действующего индивида (6, с. 82).

Интересны конфликтные ситуации в интерпретации художественного текста, осуществляющиеся на основе логики повседневности. Удивительно, но такое осо-

бенно часто встречается, например, с лермонтовскими текстами. Это, может быть, и естественно, так как Лермонтову было свойственно антиномичное, неклассическое мышление. Язык, которым мы пользуемся в жизни, в обыденном опыте, связанном со здоровым смыслом, налагает свои особенности на прочтение поэтического произведения буквальным образом. Здоровый лингвистический опыт, как правило, конфликтует с реальным языковым фактом в поэтическом тексте, имеющим обусловленный поэтической системой характер, метафорический или символический по сути. Метафора чаще всего рассматривается как одно из наиболее продуктивных средств вторичных наименований. Этот уровень понимания, сложившийся в повседневной жизни, отражает уровень опыта и, в свою очередь, находит реализацию в знаковой системе языка. Так, А. Эйнштейн справедливо предостерегал от обыденного обращения с таким сложнейшим общекультурным понятием, как символ. «Большинство ошибок в философии и в логике, — писал он, — происходит из-за того, что человеческий разум склонен воспринимать символ как нечто реальное» (22, с. 143). Речь здесь не о том, что символ не связан с реальностью, он не может быть с реалией непосредственно отождествлен. А непосредственное отождествление с реалией идет обычно через первичное значение и обозначение обыденной ситуации. Результатом, как правило, является буквальное прочтение и соответствующее этому прочтению поведение — либо непринятие произведения читателем, либо ошибочное истолкование исследователем, ибо каждый в большей или меньшей степени подвержен этой инерции, которую в определенной мере представляет уже так называемое «предзнание», то есть некоторые исходные сведения, связанные с произведением, автором, поэтической системой в целом. Такие заблуждения имеют даже определенную ценность, если, конечно, они искренни и не являются социально деформированными. Известен, например парадокс прочтения стихотворения М.Ю. Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива...». Г.И. Успенский прочитал его буквально и отверг лермонтовский способ мышления: «Тут, ради экстренного случая, — писал он, — перемешаны и климаты и времена года, и все так произвольно выбрано, что невольно рождается сомнение в искренности поэта. И то думается, вникая в его произведение, увидел ли бы он бога в небесах и разошлись бы его морщины и т.д., если бы природа предстала бы перед ним не в виде каких-то отборных фруктов, при особенном освещении, а в более обыкновенном и простом виде?» (17, с. 36). Вывод Успенского весьма категоричен: «В конце концов вы видите, что поэт — случайный знакомец природы, что у него нет с ней кровной связи, иначе бы не стал выбирать из нее отборные фрукты да приукрашивать их и размещать по собственному усмотрению» (там же).

Интересно, что даже такой тонкий исследователь, как Б.М. Эйхенбаум, относил это же стихотворение к «ослабленным»: «В них нет (речь идет об «Ангеле», «Ветке Палестины» и др. — К.Ш.) этой скульптурной судорожности, они кажутся живыми, но зато вмес-

то крови в них течет какая-то лимфатическая жидкость — и жизнь их призрачна» (23, с. 140).

Д. Максимов, напротив утверждает, что «в таком смешении не художественная ошибка Лермонтова, а проявление его метода, в данном случае направленного к широкому обобщению... Такой принцип отбора и акцентировки характерен не только для индивидуального стиля Лермонтова с обязательным для него преобладанием творческой личности над предметом, но для идеи романтизма вообще» (10, с. 35).

В относительно замкнутом языковом пространстве произведения возникает качественно новое, гармоническое соотношение между элементами — гармоническое целое. Гумбольдт справедливо отмечал, что поэту, жизнь которого столь богата различными отношениями, «оказывается достаточным лишь несколько развить случайно воспринятый материал и несколько индивидуализировать намеченные фигуры. Тогда он на каждом шагу будет наткнуться на такие жилы, которые можно сделать важными для духа, и постепенно может исчерпать всю массу предметов, которые предстают и раскрываются его взгляду» (5, с. 174). Итак, повседневное мышление

— основа художественного творчества и одновременно повод к заблуждениям.

Исследования XX века в области аналитической философии показали, что обыденное мышление метафорично. Дж. Лакофф, М. Джонсон в знаменитой работе «Метафоры, которыми мы живем» убедительно показывают, что понятийная система играет центральную роль в определении повседневной реальности. И она носит преимущественно метафорический характер, поэтому наше мышление, повседневный опыт и поведение в значительной степени обусловлены метафорой, которая закрепляется в языке (9, с. 387). К сожалению, данные отечественных исследователей в области функционирования повседневного языка и мышления оказываются до сих пор не востребованными.

Основываясь на изумительных по смелости и точности работах отечественных представителей ономапоэтической парадигмы, предстоит по-настоящему изучить «метафоры, которыми мы живем» и метафоры художественного воображения в их связи и взаимодействии..

#### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Белый А. Потебня А.А. Мысль и язык (Философия языка А.А. Потебни) // Логос. — М., 1910. — Кн. 2. — С. 240-258.
2. Бердяев И.А. О назначении человека. — М., 1998.
3. Бродский И.А. Нобелевская лекция // Сочинения Иосифа Бродского. — СПб., 1997. — Т. 1.
4. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. — М., 1984.
5. Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры. — М., 1985.
6. Ионин Л.Г. Социология культуры. — М., 1996.
7. Кнабе Г.С. Древний Рим — история и повседневность. — М., 1986.
8. Лосев А.Ф. Философия имени // Лосев А.Ф. Из ранних произведений. — М., 1990.
9. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры. — М., 1990.
10. Максимов Д. Поэзия Лермонтова. — М.-Л., 1974.
11. Овсяннико-Куликовский Д.Н. Психология мысли и чувства. Художественное творчество // Овсяннико-Куликовский Д.Н. Литературно-критические работы: В 2 т. — М., 1989. — Т. 1. — С. 26-190.
12. Овсяннико-Куликовский Д.Н. Из истории русской интеллигенции // Овсяннико-Куликовский Д.Н. Литературно-критические работы: В 2 т. — М., 1989. — Т. 2. — С. 4-292.
13. Потебня А.А. Мысль и язык // Потебня А.А. Слово и миф. — М., 1989.
14. Потебня А.А. Эстетика и поэтика. — М., 1976.
15. Рамишвили Г.В. Вильгельм фон Гумбольдт — основоположник теоретического языкознания // Вильгельм фон Гумбольдт. Избранные труды по языкознанию. — М., 1984. — С. 5-33.
16. Сапорта С. Применение лингвистики в изучении поэтического языка // Новое в зарубежной лингвистике. — М., 1980. — Вып. IX: Лингвостилистика.
17. Успенский Г.И. Крестьяне и крестьянский труд // Успенский Г.И. Собр. соч.: В 10 т. — М., 1956. — Т. 5.
18. Флоренский П.А. У водоразделов мысли // П.А. Флоренский Соч.: В 2 т. — М., 1990. — Т. 2.
19. Шеллинг Г.В. Философия искусства. — М., 1966.
20. Шестаков В.П. Гармония как эстетическая категория. — М., 1973.
21. Шпет Г.Г. Внутренняя форма слова. — М., 1927.
22. Эйхштейн А. Собрание научных трудов: В 4 т. — М., 1967. — Т. 4.
23. Эйхенбаум Б.М. Мелодика русского лирического стиха // Эйхенбаум Б.М. О поэзии. — М., 1973.

## ТЕКСТЫ ВЛИЯНИЯ КАК ФЕНОМЕН ЯЗЫКОВОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ

Н.А. Кузьмина  
Омск

В статье предпринимается попытка применить основные положения энергетической теории интертекста к анализу текстов влияния, их роли в культуре и воздействию на языковое существование. Интертекст понимается как объективно существующая информационная реальность, являющаяся продуктом творческой деятельности человека, способная бесконечно самогенерировать по стреле исторического времени. Это познавательная модель, призванная определить закономерности продвижения текстов во времени.

*Текст*, рассмотренный в разные фазы своего существования в интертексте, является то метатекстом (текстом о тексте, текстом «во второй степени»), то прототекстом (исходным, базовым текстом) — в интертексте происходит непрерывное означивание, в ходе которого означиваемое становится означаемым, которое вновь означивается, etc. Этот процесс «безостановочен» и разворачивается по стреле времени.

Интертекст в целом находится в состоянии хаоса, и создание произведения знаменует процесс перехода от хаоса к порядку. Чтобы этот процесс осуществился, интертекст должен обладать некоторой энергией. Энергия текста складывается из суммы энергий прототекста (прототекстов) и автора, которые выступают в качестве источников энергии. Создание нового текста описывается как энергетический резонанс, возникающий между автором и прототекстом, в результате которого происходит спонтанный выброс энергии-материи по стреле времени, означающий рождение нового текста.

Таким образом, для описания динамических процессов в интертексте введено понятие энергии. Энергия определяется как способность текста или субъекта производить работу по генерации смыслов. Энергия — комплексная величина, состоящая из эксплицитной и имплицитной части. Эксплицитная часть направлена на сохранение стабильности интертекста, на передачу информации из поколения в поколение. Эта компонента не подвержена изменениям во времени. Имплицитная составляющая — переменная, зависящая от времени и модели мира индивида как своего рода фильтров. Она определяет разное понимание сообщения от субъекта к субъекту во времени и пространстве. Тексты, в которых преобладает эксплицитная энергия, легче и быстрее продвигаются в интертексте, но больше зависят от внешних обстоятельств — энергии самой среды. Имплицитная энергия обеспечивает устойчивость существования текста в интертексте. Энергия продвигается от текста к тексту по закону случайных чисел, причем энергия исходного текста, проходя через промежуточный, не рассеивается, хотя обязательно изменяется качественно. Итак, понятие энергии ориентировано на творящую личность (Автор/Читатель) и на восприятие текста Читателем (читателями) по мере движения в интертексте (соответственно — во времени).

**Влиянием** в аспекте излагаемой теории называется процесс энергетического воздействия одного текста (субъекта) на другой субъект (текст), совершающийся в интертексте при определенных когнитивных условиях, вызывающий изменения в когнитивной системе воспринимающего (опосредованно — в порождаемых им речевых произведениях). **Тексты влияния** — сильные (энергетически емкие) тексты, вступающие в резонанс с читателем и рождающие новые метатексты. Под метатекстами мы понимаем вторичные речевые произведения разного стиля и жанра: переводы (включая перевод на языки других семиотических систем), критические литературоведческие отклики (не обязательно положительные), речевые (и идеологические) реакции власти (такие, как знаменитое постановление партии о Зощенко и Ахматовой, организованная газетная травля Солженицына, Бродского, а чуть раньше Пастернака), научные разборы (статьи и даже диссертации), пародии, анекдоты (ибо пародия всегда означает признание значимости пародируемого явления — в данном случае текста), включение свернутых цитатных знаков (собственных имен, пропозиций, собственно цитат) в разговорную речь, наконец, внутрилитературная цитация в ее классическом варианте.

**Резонанс** определяется как совпадение ритмов пульсаций энергии текста и субъекта, дающее спонтанное многократное ее усиление. Говоря о ритме пульсации энергии, мы имеем в виду, что энергия (текста, автора) есть функция времени: она меняется в зависимости от ряда начальных условий. Существует три группы условий соответственно трем субстанциям интертекста: Человек, Текст и Время. Сосредоточимся только на двух последних. Среди параметров **текста**, влияющих на понимание (резонанс), назовем *жесткость/мягкость* текста, которая определяется числом возможных интерпретаций, *простоту/сложность* (многослойность, многомерность, наличие имплицитной информации) (7, с. 20; 2, с. 136) и *начальный энергетический потенциал* текста, о котором речь ниже.

**Время** также создает предпосылки для резонанса. Социальная структура общества и его политическое устройство определяют состояние умов читательской массы, формируют «горизонт ожидания» читателя. При совпадении ритмов пульсации энергии писателя и общества в некоторый момент времени происходит резонанс. Если ритмы не совпадают, энергообмен невозможен, и дальнейшая траектория текста зависит от его собственной энергоемкости: слабый текст диссипирует и распадается, сильный — уходит в локальные области интертекста, откуда может быть востребован при изменении времени и определяемых им условий. Это достаточно сложный многофакторный процесс, достойный отдельного исследования. Приведу только один исторический пример — феномен социального заказа, действующий в советской литературе начиная с 20-х

годов теперь уже прошлого столетия. Явление это прекрасно исследовано в недавних работах М. Чудаковой. Первоначально социальный заказ выступал в виде некоторых сигналов внешней среды, определявших направление упорядочивания хаоса. «Заказ был следующим после «музыки революции», услышанной Блоком, — упорядочиванием музыкального хаоса в определенные, но пока еще позволявшие вариации «гармонии», — пишет М. Чудакова (8, с. 316). Он ощущался писателем как «ветер» времени — естественные условия, сложившиеся под влиянием революции, на которые необходимо было откликнуться (Маяковский, Зощенко, Пастернак периода «Лейтенанта Шмидта», Платонов, Катаев и др.). Но вскоре под воздействием господствующей идеологии социальный заказ превращается в своего рода норму-запрет, шлагбаум, который перекрывает дорогу к читателю всему тому, что не укладывается в прокрустово ложе жестких требований.

Социальный заказ выступает в виде некоторого шаблона, предписывающего соответствующие темы, принципы оценки событий и характеров, регламентирующего языковую форму, рассчитанную на нового массового неподготовленного читателя и провозглашающего в качестве обязательного доступность произведения. С другой стороны, социальный заказ формирует вкусы читателя, создавая соответствующий горизонт ожидания. Наконец, он обеспечивает техническую поддержку произведения — высокие тиражи печатных изданий, в которых публикуется то, что проходит сквозь идеологическое сито. Таким образом создаются условия для резонанса. Произведениям, отвечающим некоему образцу, обеспечено продвижение к читателю и — соответственно — энергообмен, их собственная энергия (иногда весьма незначительная) многократно усиливается, проходя через массовую читательскую аудиторию. Назову «Мать» Горького («своевременная книга!»), романы Гладкова или Панферова, «Как закалялась сталь» Островского, «Повесть о настоящем человеке» Полевого, «Разгром» и «Молодую гвардию» Фадеева, стихи Михалкова или пьесы Анатолия Софронова — список может быть увеличен. Социальный заказ — пример искусственно созданных условий, обеспечивающих продвижение текста в интертексте и создающих *тексты влияния*.

Коль скоро понятие влияния ориентировано в первую очередь на фигуру читателя (реципиента), следовательно, квалификация того или иного речевого произведения как текста влияния определяется точкой зрения наблюдателя, своеобразием его личности, его позицией в интертексте, его пространственно-временными координатами. То, что выступает в качестве текста влияния для отдельной личности или определенной национальной, профессиональной, социальной, возрастной, гендерной и т.д. группы, может и не восприниматься в этом качестве другим субъектом или языковым коллективом. Следовательно, можно говорить о текстах влияния внутри определенной референтной группы и текстах влияния для некоторого социума в конкретный временной отрезок.

Яркий пример первых — тексты науки. В русской филологии 70-80-х гг. текстами влияния можно назвать работы Д.С. Лихачева, Ю.М. Лотмана, Н.Д. Арутюновой, Ю.Д. Апресяна, А. Вежбицкой и др. Кстати сказать, доказательством именно этого качества текстов является их превращение в так называемые прецедентные субтексты научного текста (по Е.А. Баженовой) — свернутые номинативные знаки, входящие в другие научные произведения (*метатекст* Анны Вежбицкой, *языковая личность*, по Караулову; *образ автора* у В.В. Виноградова, *сემиосфера* Ю.М. Лотмана и т.п.).

Аудитория, для которой научные тексты являются текстами влияния, маркирована в профессиональном отношении. Пример иного рода — феномен так называемой авторской, или бардовской, песни 60-70-х гг., круг слушателей и почитателей которой определяли возрастные и социальные критерии. Как пишет в своей статье Е. Бершин, «это направление, рожденное технической интеллигенцией, проводившей свои отпуска в дальних походах» (цит. по: 5, с. 15). Авторская песня была своеобразной «антитоталитарной речевой реакцией» (Н.А. Купина), подобной анекдотам, «лагерной» поэзии, ироническим стихам Игоря Губермана («гарикам») или монограммам Жванецкого. Именно поэтому она имела сильный резонанс в определенной среде, а ее язык складывался как особый код, система символов, понятных лишь тому, кто вхож в этот круг. Поскольку жанровая специфика авторской песни формируется именно в результате сопротивления официозу, как форма протеста, речевой реакции на социальное (и языковое) явление, исчезновение соответствующей социальной среды неизбежно приводит к ее «мутации» (Белла Езерская). Следовательно, как текст влияния авторская песня может быть квалифицирована, пожалуй, только в «свое время» — 60-70 гг.

Вместе с тем существуют также тексты влияния в границах социума, выходящие за рамки узкой референтной группы и имеющие адресатом массового читателя.

По нашему мнению, среди текстов влияния такого рода может быть выделено три слоя: **тексты культуры, политические тексты и реклама**.

О том, что это действительно тексты влияния, можно судить по их освоению и «присвоению» носителями языка — встраиванию в «чужую» речь в качестве прототекстов, что означает также вхождение в когнитивную систему субъекта. Объективными показателями этого процесса могут служить переводы, включая «переводы» на языки других искусств, превращение в прототекст для новых метатекстов (реклама, СМИ, разговорная речь, городской фольклор, массовая литература, «серьезная» литература etc.), включение в школьную программу, демонстрирующее сознательный отбор и как бы канонизирующее высокую эстетическую (и энергетическую) ценность, наконец, тиражи изданий.

В 2000 году мы провели небольшой лингвистический эксперимент, цель которого — установить состав прецедентной области молодежного тезауруса и, следовательно, определить, какого рода тексты являются «сильными» для современных, достаточно образо-



ванных молодых людей. В эксперименте приняло участие 86 человек. По социальному и возрастному статусу они характеризуются относительной однородностью: это студенты филологического факультета ОмГУ (специальности «филология» и «журналистика») и факультета иностранных языков в возрасте 18-20 лет. Результаты выглядят следующим образом: общий список приведенных прецедентных высказываний 815 (в среднем каждый участник эксперимента назвал около 10 цитат), из них: тексты культуры (весьма неоднородная часть, в которую входят и афоризмы, и тексты классической литературы, и тексты масс-культуры — прежде всего шлягеры) — 71%, политика — 8%, реклама — 21%.

Если коротко интерпретировать результаты эксперимента, то можно отметить, что практически отсутствует (или является слабой) корреляция между художественными достоинствами цитаты и ее активным бытованием в социуме в качестве прецедентного высказывания. Среди цитат, называемых первыми (т.е. входящих в «светлое поле сознания», по Щербе), — «Ну, Тиккурилла, блин, дает!» (ТВ-реклама), «Хрустящее, хрустящее счастье в шоколаде «Кэдбери» (реклама), «Мочить в сортире» (В. Путин), «Вороны-москвички меня разбудили» (Земфира), «Не сыпь мне соль на рану» (песня) и подобные, хотя есть, разумеется, и анкеты, в которых первыми вспоминаются литературные цитаты и афоризмы.

Что касается литературной части тезауруса, то цитируется Грибоедов, Пушкин, Чехов, Достоевский, Гоголь, Булгаков, Сент-Экзюпери, Тютчев и др. Поскольку аудитория преимущественно филологическая, стремящаяся (несмотря на полную анонимность анкеты) «самовыразиться», некоторые старались вспомнить сравнительно редко воспроизводимые цитаты из античной литературы (1 курс!), латинские изречения, среди авторов встречаются Л. Кэрролл, И. Бродский, Ш. Бодлер, Л. Филатов, В. Шекспир, М. Кундера, С. Довлатов, Ф. Саган, Ж. Деррида, Ж. Делез и др.

Безусловно, эксперимент, проведенный в другой по социальному, профессиональному, возрастному составу аудитории, даст иные результаты и иное процентное соотношение текстов влияния, но, на наш взгляд, три основных источника массовых текстов влияния — политика, реклама и культура — останутся постоянными.

Рассмотрим траекторию движения разных типов текстов влияния (сильных текстов) в интертексте. Начальная энергия любого только что написанного текста (метатекста) складывается из суммы энергий прототекстов и автора. Это потенциальная энергия текста. У трех названных выше типов текста начальная энергия различна.

Введем критерий **эстетической ценности текста**. Эстетическая ценность — это качество, внутренне присущее тексту, сущностно, так сказать, свойственное («ценностное значение формы» у Бахтина, «текст, который сам себя зиждет» у Гадамера и т.п.). Если вспомнить определение поэтической (эстетической) функции у Якобсона, то это «направленность на сообщение как таковое, сосредоточение

внимания на сообщении ради него самого» (10, с. 202). Однако выявляется это качество текста лишь в момент, когда произведение «размыкается» — вступает в контакт с читателем и, таким образом, включается в действительность во всех ее аспектах — экономическом, социальном, политическом, религиозном, нравственном, то есть «приобщается к единству культуры» (М. Бахтин).

С позиций энергетической теории, эстетическая ценность — это постоянный источник энергии, как бы встроенный в текст, имманентное свойство текста, которое определяет имплицитную составляющую энергии («мягкость» и «сложность» текста — вариативность интерпретаций) и тем самым создает **естественные** условия для резонанса.

В физике есть понятие «пьедестала» — малоизменяющейся, стабильной во времени части энергии. В высокохудожественных текстах этот пьедестал поддерживается естественным путем (внутренним генератором): их энергия, конечно, колеблется в соответствии с изменяющимися социальными условиями, но не опускается ниже этого самого пьедестала. Такой текст не знает резких «пиков» энергии (за исключением начального). В том случае, когда текст квалифицируется как сильный в течение достаточно длительного времени не одним поколением читателей, т.е. когда есть трансляция, передача, наследование, вступает в силу закон самоорганизации системы: сильный текст читается, а потому восполняет и увеличивает свою энергию. Кстати, Гадамер писал о «длящемся настоящем», «особом временном настоящем», в котором живут художественные (эстетически ценные) тексты. Их существование во времени континуально, хотя конкретный характер траектории варьирует.

В том случае, когда такой текст не вступает в резонанс — не находит в силу различных внешних причин своего читателя — его энергия не увеличивается, но и не затухает, поддерживаемая этим самым «внутренним генератором». Это так называемые «забытые» тексты. «Забытый» текст, как ни парадоксально, тоже сильный, но это текст в анабиозе, он локализован в какой-то области интертекста и не осуществляет энергообмен с читателями. Впрочем, он может быть вызван из забвения в том случае, если изменятся условия восприятия.

Интересны в этом отношении размышления Н.Я. Мандельштам о судьбе стихов ее мужа: прошло более сорока лет с тех пор, как вышла последняя книга О.Э. Мандельштама, весь тираж девяти книг — не более тридцати тысяч экземпляров, а стихи его, казалось бы затоптанные и уничтоженные, выжили и пробили себе дорогу через Самиздат в «таинственных каналах самозародившихся читателей», появившихся тогда, когда никакой надежды уже не оставалось. «Стихи вещь летучая», — пишет Надежда Мандельштам (6, с. 13-14). «Стихи обладают огромной энергией, возникшей в результате резонанса творческой личности с интертекстом», — скажем мы. Их энергия не исчезает, а лишь ждет своего часа, чтобы вступить в резонанс с читателем в изменившихся условиях. «Вторая книга» Надежды Мандельштам, откуда взята эта цитата, написана в 1970 г. Между тем наше время дало

ярчайшие свидетельства справедливости закона сохранения энергии в интертексте — феномен «возрожденных имен». И. Бродский, А. Солженицын, Е. Замятин, Б. Пильняк, М. Булгаков, В. Гроссман, так называемые «полочные» фильмы, много лет пылившиеся в хранилищах Госфильмофонда во времена действия социального заказа, нашли своего читателя и зрителя в изменившемся мире именно благодаря чрезвычайно высокой собственной энергии (в особенности ее имплицитной составляющей), обеспечившей резонанс в момент, когда социальные условия для него сложились благоприятно.

Есть, впрочем, примеры иного рода. Писатель Аркадий Белинков в 1944 г. был арестован за роман «Черновик чувств», а позднее, в лагере, получил второй срок за произведения, написанные уже там, которые, соответственно, были изъяты и до последнего времени считались утраченными. Через четверть века после смерти автора и через полвека после того, как эти работы были написаны, их удалось обнаружить в архивах бывшего КГБ и опубликовать (1). В предисловии к книге жена художника сетует на то, что многие реалии — имена, события, факты, а важнее всего — самый дух времени — не может быть уловлен и понят сегодняшним читателем, живущим пусть в тех же географических широтах, но в другую историческую эпоху, в государстве с иным политическим устройством и иной системой ценностей. «Необходимое условие полноправной жизни художественного произведения — нарушено. Живая связь между читателем и писателем утеряна навсегда», — пишет Н.А. Белинкова-Яблокова (1, с. 6). Выражаясь в терминах «энергетической» теории интертекста, сегодня эти произведения вызовут лишь слабый отклик-резонанс по сравнению с тем, который могли бы вызвать, если бы ритмы пульсации времени были иными. Характеризуя траекторию движения русской литературы советского периода в пространстве интертекста, М. Чудакова говорит о ее судорожно-спазматическом, пульсирующем, а мы добавим — *но непрерывном* характере (8).

Вместе с тем хочется возразить против окончательного приговора: *связь утеряна навсегда*. Если произведение обладает высокой художественной ценностью, а следовательно, согласно нашей теории, собственным генератором энергии, оно вполне может быть востребовано при изменении социальных условий, если собственные ритмы его пульсации в интертексте совпадут с ритмами пульсации энергии нового читателя. Естественно, интерпретация произведения читателем-современником и потомком будет различной, но ведь это — всеобщий закон интерпретации. Феномен такого рода достаточно хорошо известен: периодический интерес русского общества к Чехову, Достоевскому, Гоголю (о чем можно судить хотя бы по репертуару театров), рост популярности романов Ремарка (в частности «Черного обелиска») в период инфляции 1992-93 гг. или антиутопий Оруэлла и Замятина в начале перестройки и т.п.

Теперь обратимся к тем типам дискурса, для которых эстетический критерий не является определяющим, но которые, тем не менее, способны накапливать

энергию, продвигаясь в интертексте, т.е. становиться текстами влияния — политическими и рекламными. Эти тексты, по определению, являются жесткими и простыми, они не допускают вариативности понимания: есть одна и только одна допускаемая интерпретация. Таким образом, в них преобладает эксплицитная энергия.

Могут ли рассматриваемые тексты вступать в резонанс и достигать максимума энергии, т.е. становиться текстами влияния? Могут, но лишь тогда, когда условия для резонанса формируются **искусственно**. Имплицитная энергия таких текстов сравнительно мала, поэтому-то они сами не создают условий для резонанса, их необходимо обеспечить извне. Когда такие условия формируются, текст начинает быстро накапливать большую энергию, поскольку «техническая поддержка» обеспечивает ему массовую, тотальную рецепцию — энергообмен. Если эстетически ценный текст сам формирует читательскую аудиторию (Читатель — alter ego автора), то в последнем случае читательская аудитория рекрутируется насильственно, вне зависимости от качеств самого текста.

Может возникнуть вопрос об эстетической ценности рекламных текстов. На наш взгляд, жесткая утилитарная ориентированность рекламной продукции противоречит самой сути эстетического как самоценного, самодовлеющего. Реклама — это манипулятивный дискурс, использующий приемы языковой демагогии для достижения коммуникативного и — в конечном итоге — коммерческого эффекта. Начальная энергия рекламных текстов слабо варьирует в зависимости от таланта коллективного Автора. Интересно, что создатели рекламы, стремясь увеличить начальную энергию текста, обращаются к прототекстам (мы уже говорили, что энергия текста складывается из энергии автора и энергии использованных им прототекстов). Однако если в литературе прототекст привносит в метатекст свою имплицитную энергию, создавая глубину и многомерность произведения, то в рекламе имплицитная энергия прототекста автоматически превращается в эксплицитную. Ср. *Вот в чем фасоль!* (реклама фасоли «Бондюэль»); *Буря мглою небо кроет. Ну и пусть она там воет. Двери и окна компании «Акция»; Уж тает снег, бегут ручьи. А вы запаслись резиновой обувью?* (ТЦ «Омский»); *«Вико»... как много в этом звуке* (корпорация «Вико»).

Мощная рекламная кампания эксплуатирует известную психологическую зависимость: запоминание (подсознательное) сигнала прямо пропорционально частоте и продолжительности его воздействия.

Далее вступает в силу фактор времени. Внешние, искусственно созданные условия не могут действовать постоянно. Исчезает «техническая» поддержка — энергия текста резко падает и может опуститься ниже критических значений — тексты распадаются, уходят в локальные области интертекста, где не происходит энергообмен — нет рецепции. Такие речевые произведения, естественно, утрачивают присущее им на предшествующем этапе качество текстов влияния.

Опознаете ли вы, сегодняшние читатели этой статьи, рекламные прототексты в следующих метатекстах, записанных в 2000 году: *Что делать? Может, не вызовут?*

(речь студентки-первокурсницы, прототекст — реклама шампуня «Head and Shoulders») *Это просто, как раз, два, три* (речь мужчины 25-27 лет, цитата из рекламы бритвы «Жиллет»)? А вот примеры из прессы, относящиеся уже к июню нынешнего года: *Пожалуй, главное, что объединяет творения Линча и фон Триера, — это неопределенная развязка. Зло обнаружило себя, но оно не уничтожено. «А вообще все только начинается!»* (прототекст — реклама «Нескафе») — газета «Комок» № 24. 19.06.01.; заглавие статьи в журнале «Лиза» — *«Обтягивающее не носить?»* (прототекст — реклама прокладок «Libresse»). Вызовет ли сегодня смех шутка КВНщиков, использовавших в 1998 г. для описания «газовой проблемы» России и Украины следующий рекламный текст: «Они никогда не платят» (реклама батончика «Сникерс»)?

Конечно, интересно было бы выявить период распада рекламных текстов, определить, как долго они сохраняются в памяти после прекращения технической поддержки. Любопытно также установить, каково количество новых фразеологизмов или фразеологизированных выражений типа *два в одном* или *сладкая парочка*, имеющих источником рекламу. Заметим, однако, что рекламный текст практически не способен продвигаться в интертексте. Он может быть использован в качестве прототекста лишь в тот крайне незначительный промежуток времени, пока реклама еще жива в памяти воспринимателей. Те отдельные фрагменты рекламных текстов, которые продвигаются во времени, превращаются в речевые стереотипы, готовые речевые блоки (в смысле Б.М. Гаспарова), происхождение которых для носителя языка несущественно.

Политические тексты в сущности во многом схожи с рекламными — факт, достаточно ясно осознанный лишь в последнее время. Заметим, что мы говорим именно о политическом (идеологическом) дискурсе, а отнюдь не о философском или, скажем, церковно-религиозном функциональном стиле (его предложила выделить О.А. Крылова) (4).

Политические тексты в принципе лишены эстетической ценности, но все мы помним время, когда цитирование, например, Программы КПСС, работ Ленина, а чуть раньше Сталина в СССР было обязательным даже в лекциях по лингвистике. Ю.Н. Караулов упоминает о подобной же ситуации, сложившейся в Испании времен Франко, когда в университетах существовал обязательный предмет «Формирование национального духа», где изучалась доктрина основателя Фаланги — Хосе Антонио Примо-и-Ривера (3, 44). Нечего уже и говорить о периоде «культурной революции» в Китае и хунвэйбинах с обязательными цитатниками Мао-Цзедун. Здесь собственная энергия текста практически нулевая, но мощное идеологическое давление обеспечивает функционирование данного текста как обязательного прототекста и тем самым восполняет недостаток энергии. Политическое устройство государства, социальная структура общества, культивируемая в нем система ценностных идеологических ориентиров и идеалов в духовной сфере создает соответствующие условия для продвижения их в читательские массы и, следовательно, для резонанса.

Пример политических текстов влияния другой эпохи — речи

М.С. Горбачева на заре перестройки, в которых высказывались необычные, крамольные, согласно предшествующей идеологии, мысли о собственности, о свободе совести, о возвращении в Москву А.Д. Сахарова. Еще более свежий пример — знаменитое интервью В.В. Путина журналистам о необходимости усилить борьбу с чеченскими террористами, в котором прозвучала крылатая фраза *«мочить в сортире»*, мгновенно перешедшая в разряд прецедентных феноменов и цитировавшаяся с разным имплицитным смыслом полярными по политическим, возрастным и иным критериям ораторами. Достаточно сказать, что она упоминалась (и оценивалась по-разному) едва ли не в каждом докладе на проходившей вскоре в Екатеринбурге научной конференции, посвященной культурно-речевой ситуации в современной России.

Естественно, что степень влияния политических текстов на умы граждан значительно варьирует в зависимости от типа политического режима, степени «политизированности» общества, состояния умов etc. Итак, в качестве **текстов влияния** выступают **энергетически сильные тексты вне зависимости от их эстетической ценности**, постоянно вступающие в резонанс с массами читателей.

Попробуем соотнести понятие *текстов влияния* с уже известным понятием *прецедентных* текстов, введенным Ю.Н. Карауловым. На наш взгляд, прецедентность — фаза существования сильного текста. Прецедентный текст — это актуально-оперативный текст (по Ю.Н. Караулову), соотнесенный с настоящим и актуальным для широкого круга читателей (и для отдельной личности) в данный момент времени. Таким образом, прецедентные тексты дискретны, их жизнь ограничена периодом рецепции и рецитации. Повидимому, любой эстетически ценный текст в определенные периоды выступает как прецедентный, в то время как для сильного текста, не удовлетворяющего аксиологическому критерию, прецедентность — единственная форма существования. Так, например, роман «Мастер и Маргарита» Булгакова, возможно, еще не вышел из прецедентной фазы, хотя пик его популярности приходится на 1965-1967 гг., а «Архипелаг ГУЛАГ» или «Один день Ивана Денисовича» Солженицына, будучи сильными текстами, свою прецедентную фазу уже миновали. Область прецедентных текстов динамична, она содержит устойчивое ядро, которое составляют эстетически ценные тексты (предпосылки для резонанса создаются качествами самого текста), и подвижную периферию, где расположены тексты, вступающие в резонанс благодаря условиям, связанным со временем (часто искусственно созданным).

Таким образом, с позиций излагаемой теории интертекста, **текст влияния — это не просто сильный текст, но энергетически сильный текст в прецедентной фазе существования в интертексте.**

В целом, как нам представляется, применение общей теории интертекста к анализу текстов влияния позволяет вскрыть закономерности их возникновения и способа существования в интертексте в зависимости от ряда объективных и субъективных факторов, определить качественное своеобразие текстов влияния и их соотношение с другими явлениями языка.

**БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК**

---

1. Белинков А. Россия и Черт. — СПб., 2000.
2. Брудный А.А. Психологическая герменевтика. — М., 1998.
3. Караулов Ю.Н. Активная грамматика и ассоциативно-вербальная сеть. — М., 1999.
4. Крылова О.А. Толерантность, речевые жанры и функциональные стили современного русского литературного языка // Лингвокультурологические проблемы толерантности. Тезисы докладов Международной конференции. — Екатеринбург, 2001.
5. Курилов Д.Н. Авторская песня как жанр русской поэзии советской эпохи (60-е-70-е гг.). Дисс. ... канд. филол. наук. — М., 1999.
6. Мандельштам Н.Я. Вторая книга. — М., 1990.
7. Мурзин Л.Н., Штерн А.С. Текст и его восприятие. — Свердловск, 1991.
8. Чудакова М.О. Литература советского прошлого. — М., 2000.
9. Чудакова М. Спазматическая литература // XX век. Литература. Стиль. — Екатеринбург, 1999. — Вып. 4.
10. Якобсон Р.О. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против». — М., 1975.

## СООТНОШЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И СОЦИАЛЬНОГО В РЕЧИ

Ю.И. Леденев  
Ставрополь

В лингвистической науке уже давно существует проблема соотношения между языком народа (социума) и речью отдельного его носителя. Эта проблема имеет две стороны. Во-первых, язык народа в то же время является достоянием каждого отдельного человека, который им пользуется. Каждый носитель русского языка в праве сказать, что это его язык. Во-вторых, никто из носителей конкретного языка не владеет им в полной мере, не использует всех его ресурсов и, кроме того, имеет некоторые специфические особенности в использовании тех языковых ресурсов, которыми он активно владеет в индивидуально-речевой практике. Поэтому отождествлять или, напротив, противопоставлять язык народа и речь отдельного человека было бы неправомерно. На этот счет в науке не существует колебаний. Сформулированная Ф. де Соссюром антиномия «язык — социальное, а речь — индивидуальное» в этом плане является справедливой в такой же мере, как и положение о том, что с философских позиций язык можно рассматривать как общее, а речь как отдельное.

В то же время понятийное содержание термина «речь» нуждается в уточнении, так как этот термин является в лингвистике неоднозначным. С одной стороны, речь — это форма проявления языка в процессе общения, поскольку язык реализуется через нее и существует реально в форме речи. В этом плане речь представляет процесс реализации языка. Выполняя эту функцию, речь служит средством превращения общенародного языка в ту форму взаимодействия индивидуумов, которая проявляется при обмене мыслями. С другой стороны, речь — это совокупность тех языковых средств, которыми владеет и пользуется данный индивидуум в процессе общения.

Впрочем, и термин «язык» не обладает однозначностью. Долгое время им пользовались недифференцированно. В частности, с помощью этого термина обозначали индивидуальные особенности употребления языковых средств отдельными писателями (язык А.С.Пушкина, язык Ф.М. Достоевского и т.д.), для обозначения характерных особенностей произведений литературы (язык романа «Война и мир», язык поэзии В.В. Маяковского) и даже для обозначения индивидуальных речевых особенностей персонажей литературных произведений (язык Фамусова, язык Молчалина и под.). Такая многозначность побудила к введению целого ряда терминов типа «слог», например, «слог И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского), «стиль», «идиостиль». Эти термины призваны отразить те феноменологические особенности, которые характерны для творческой манеры того или иного писателя.

Не вдаваясь в подробности обсуждения этой несомненно важной и интересной проблемы лингвистики и даже филологии в целом как интегративной науки, мы хотели бы остановиться на рассмотрении тех фундаментальных понятий, которые имеют основополагающее значение для оценки функцио-

нирования языка как общенародного достояния членов определенного социума и того, что определяет речь отдельных людей как носителей этого языка, коснуться тех сторон этих соотношений, которые проявляются в последнее время и вызывают целый ряд вопросов теоретического и практического характера.

В самом общем виде соотношения между языком в целом и речью каждого носителя, как мы уже отметили, можно представить как соотношения между общим и отдельным, между целым и частным его проявлением. Ни один из носителей языка не в состоянии использовать в речевой практике все ресурсы своего языка и обходиться лишь минимумом, который определен реальными условиями.

Остановимся на тех факторах, которые обуславливают особенности индивидуальной речи. Прежде всего, отметим, что они обнаруживаются во всех сферах речи, но ярче всего проявляются на лексико-семантическом уровне и в сфере фразеологии, в грамматике различия в основном сказываются в частотности определенных конструкций и в степени соответствия грамматическим нормам.

Среди факторов, оказывающих влияние на формирование характерных черт индивидуальной речи, следует разграничивать социальные, ситуативные и индивидуальные. Первые и последние носят постоянный характер, являются устойчивыми, а вторые отличаются кратковременностью, непродолжительностью влияния, хотя они и оставляют след в последующем речевом поведении человека.

Действие социальных факторов объясняется тем, что каждый человек живет в условиях определенного социума, и его речь отражает характерные черты окружающей среды, будь то социум в широком смысле (макросоциум) или в узком смысле непосредственное окружение (микросоциум). К социальным факторам нужно отнести признаки того языка, который, собственно, и определяет речь отдельного человека. Чтобы на нем общаться, человек должен овладеть его основами, наиболее употребительной частью словаря и грамматики, фонетики и интонации, идиоматики и сочетаемости. Это то главное для данного языка, что в основном свойственно речи каждого его носителя. Но и в этом главном у каждого имеются частные различия.

К числу социальных факторов относится принадлежность человека к определенной социальной группе людей, к тому или иному классу, от этого во многом зависит его имущественное положение, культурный уровень, грамотность, осведомленность об окружающем мире. От этого зависит, владеет ли он кодифицированным литературным языком или пользуется просторечием или даже арго. В рамках этих социальных категорий находится и та профессия, которой владеет человек и свойственный ему род занятий, предопределяющий преимущественное использование слов, свойственных носителям этой профессии. Естественно, что в речи шахтера чаще встречаются слова, связанные с его работой

и жизнью. В речи учителя чаще звучат слова, относящиеся к его педагогической деятельности.

Среди социальных факторов нельзя не упомянуть и принадлежность к определенному территориальному диалекту. Ведь диалект — это микроязык, в недрах которого созревает речь человека, и черты этого диалекта сохраняются порой в течение всей его жизни. К социальным факторам относится также и роль того микроколлектива, в котором живет человек. Таким микросоциумом может быть и его семья, и тот круг людей, с которыми он постоянно общается. Всем известно, что имеются слова и выражения, которые употребляются только в узком кругу людей. Не следует исключать из социальных факторов различные увлечения.

Немаловажную роль в формировании речи человека играют ситуативные факторы. Эти факторы обусловлены той ситуацией, которая во многом может определять речевое поведение. Поскольку речь выполняет контактоустанавливающие функции, то каждый говорящий приспосабливается к тем условиям, в которых в данный момент осуществляется его высказывание. Эта приспособляемость обнаруживает как социальные, так и индивидуальные стороны. Сама направленность на общение отражает социальную сторону речи. Но наряду с этим здесь присутствует и индивидуальный момент, проявляющийся в спонтанности высказывания, в перехватывании мыслей и слов собеседника, в учете того, кто является собеседником. Люди говорят неодинаково с детьми или взрослыми, с молодыми или пожилыми, с мужчинами или женщинами, с друзьями или противниками, в официальной или доверительной обстановке.

Важное место принадлежит и тем индивидуальным факторам, которые тоже влияют на речь человека и которые зависят от его личностных особенностей, принадлежности к полу, что стало предметом изучения гендерной лингвистики, принадлежности к определенной возрастной группе, темперамент, особенности характера, интеллектуальное развитие, степень образованности, культуры, психолингвистический статус личности и т.д. К числу индивидуальных факторов необходимо отнести и такое личностное свойство, как внимание, восприимчивость и память. Все эти стороны влияют на развитие речевых способностей и речевых потребностей личности.

Таким образом, при характеристике причин, определяющих уровень речевых способностей человека должны учитываться три ряда факторов: 1) личностные, 2) ситуативные, 3) социальные. Ситуативные факторы занимают как бы промежуточное положение между социальными и индивидуальными. Особое значение в числе факторов формирования речи человека выполняет его социальное окружение, включая и макросоциум и микросоциум, и та роль, которую он выполняет. В то же время существенно влияние и той исторической эпохи, которая влияет на жизнь людей и в определенной мере нивелирует их речь. Ситуация речевого поведения может быть типичной или ситуативной. В условиях типичных речевых ситуаций вырабатываются при-

вычки речевого поведения, речевые стереотипы. Совокупность социальных, ситуативных и индивидуальных факторов создает условия для формирования языковых вкусов и языковой моды.

Речь индивидуальна по воспроизведению, по говорению, по выбору пригодных для сообщения средств, по манере говорения, но она социальна по ориентации, потому что любое высказывание, любое проявление речи имеет направленный характер, имеет адресат, предназначена для сообщения, общения, для коммуникации. И даже выбор речевых средств тоже подчинен социальной потребности передать содержание сообщения максимально точно, максимально эффективно, поскольку говорящий всегда желает вызвать определенное впечатление от своего сообщения. Речь оперирует языковыми категориями, то есть теми категориями, которые изначально проявляют себя как явления социальные, предназначенные для общения. Речь — это эмоционально-экспрессивный процесс, во многом отражающий психолингвистические особенности личности. Можно согласиться с теми, кто определяет ее как особое поведение личности в ситуации общения. Она обнаруживает творческие способности говорящего человека и в этом смысле феноменальна. Однако другие функции речи — фатическая, апеллятивная, коммуникативная, организационная, конативная, волюнтаривная, эпистемическая — непосредственно детерминированы ситуацией общения и заключают в себе социальную мотивацию. В зависимости от намерений говорящего или от его осведомленности речь может быть достоверной или недостоверной, по исполнению она может быть яркой или бледной, выразительной или вялой, по содержанию богатой или бедной. Однако обогащение речи осуществляется не только творческим гением говорящего, но и влиянием языковых ресурсов, то есть тоже связано с социальным фактором.

Со времен Ф. де Соссюра утвердилось в лингвистике положение о том, что одним из важнейших различий языка и речи является принадлежность языка к явлениям социальным, а речи к индивидуальным. Это противопоставление стало одной из основ антиномии языка и речи, которая с тех пор поддерживалась многими авторами. Названное противопоставление мыслилось не изолированно, а входило в целую систему различий между языком и речью: язык общенароден — речь индивидуальна, язык устойчив — речь динамична, язык системен — речь асистемна, язык абстрактен — речь конкретна, язык есть форма — речь содержание, язык есть сущность — речь явление, язык общее — речь отдельное и т.д.

Однако все эти критерии служат для отграничения языка и речи прежде всего с функциональных и формальных позиций. Более фундаментальным, на наш взгляд, является определение речи как соседства реализации языка в процессе общения, хотя и это определение не является исчерпывающим и не отражает всех сторон соотношения между этими многогранными явлениями.

Перечисление существенных различий между языком и речью можно было бы продолжить и некоторых мы еще коснемся. Но несмотря на их наличие нужно отметить и то, что роднит эти явления и делает их объектом одной науки — языкознания, хотя и в неодинаковой мере интересуют различные научные дисциплины, входящие в состав этой науки. Между явлениями «язык» и «речь» имеется и много общего. Прежде всего и язык и речь оперируют одними и теми же единицами, одним и тем же инвентарем, который обладает в условиях языка и речи специфическими особенностями. Так, речь проявляется в виде слов, которые входят в словарный состав языка. Речь пользуется теми же звуками, которые служат реализацией исторически сложившихся фонем. В речи функционируют те же морфемы, словоформы, синтаксемы и т.д., которые свойственны данному языку. В ней языковые единицы получают материализацию и конкретизацию. Не только сегментные, но и суперсегментные средства языка и речи находятся не только в коррелятивных, но и в конверсионных отношениях.

Индивидуальность речи заключается в том, что говорящий в процессе коммуникации выбирает из ресурсов, предоставленных ему языком, именно те, которые, по его мнению или ощущению являются наиболее соответствующими или по каким-либо основаниям более предпочтительными. При этом сказываются многие антропогенные факторы: привычки, манеры изъяснения, культурный уровень, психология говорящего, эмоциональное состояние и многие другие факторы внутреннего порядка, обуславливающие речевое поведение человека. Индивидуальность, антропоцентризм речи проявляется в возможности варьирования, в возможности выбора речевых средств, соответствующих характеру высказывания, особенностям индивидуальной реакции на ситуацию и даже на прогнозируемую реакцию со стороны собеседника.

В остальном же речь оперирует теми средствами, которые сформировались в социуме, в том или ином коллективе, который является носителем языка. Каждый отдельный его представитель с неизбежностью тоже является носителем этого же языка. Его речь детерминирована нормами и требованиями языка.

И в то же время было бы неправомерно недооценивать значение всего того, что составляет дифференциальные речевые признаки. Дело в том, что в условиях социума речевая индивидуальность приобретает социально значимый характер, подобно тому как личность тоже обладает социальной значимостью, представляет собой феномен, который может в полной мере проявиться только в условиях социальной среды, во взаимодействии с другими феноменами. Богатство любого языка в конечном счете определяется не только тем, каким количеством слов, фразеологизмов и грамматических средств исчисляются его ресурсы, а еще и тем, как им пользуются отдельные носители этого языка. Богатство языка А.С. Пушкина измеряется не теми двадцатью с небольшим тысячами слов, которые отражены в «Словаре языка Пушкина», а тем пора-

зительным мастерством их использования, которым прославился этот гений.

В конечном счете развитость и богатство языка зависит от того, какое развитие получила стилистическая система языка, от уровня образованности общества и от многих других социальных причин. Каждый носитель языка в процессе речевой деятельности свободен лишь в тех пределах, которые допускаются нормами языка, потому что нарушение этих норм, этих исторически сложившихся и сформировавшихся в языковой памяти народа правил, в его языковой психологии возможно только до определенных пределов. Вариативное соблюдение правил языка не должно препятствовать взаимопониманию. В этом и проявляется допустимый предел колебаний, которые не препятствовали бы целям общения.

Факторы, влияющие на вариативность высказывания, могут быть чрезвычайно разнообразными. Они могут зависеть от обстановки высказывания, от состояния или настроения говорящего, от его образованности или осведомленности, от воспитания, от его отношения к сообщаемому, от того, какую он прогнозирует реакцию со стороны собеседника на свои слова. Что касается общих, нормативных тенденций, которые всегда существуют в речи, то они определяются временем, эпохой, к которой относится высказывание (эпоха А.С. Пушкина или середина XX века), жанром, стилем речи. Они могут зависеть от знания говорящим законов языка.

При разграничении языка и речи часто обращается внимание на то, что язык нормативен, а речь характеризуется отклонениями от нормы. Это нашло свое выражение в противопоставлении кодифицированного литературного языка и разговорной речи. Кодифицированный литературный язык характеризуется системой общепризнанных норм, тогда как разговорная речь обнаруживает разнообразные отклонения от них. Однако такое противопоставление может быть принято только лишь применительно к тем языкам, которые обладают литературной нормой. Разговорная речь отличается от кодифицированного литературного языка не отсутствием норм, а лишь уровнем нормативности, тем, что в не кодифицированной речи эти нормы носят иной характер. Здесь различия носят не качественный, а в первую очередь количественный характер. Литературный язык является результатом целенаправленной деятельности его создателей, в то время как разговорная речь приближается к естественному узусу общения. У нее имеются свои, не кодифицированные и потому размытые нормативы.

Таим образом, при разграничении кодифицированного литературного языка и разговорной речи должно приниматься во внимание не отсутствие во втором из этих объектов норм, а лишь их отличие от норм литературного языка.

В процессе исторического развития язык выработал средства выражения модальности, т.е. выражение реальности/ирреальности, достоверности/недостоверности, желательности/нежелательности и других показателей, которые приближают высказывание к статусу речи. Существуют также различные средства выражения речевых намерений и

других состояний иллокутивности, которые в их совокупности можно назвать речевыми приемами, существующими в языке. Таким образом, с точки зрения выражения определенного содержания, существует некоторая зона переходности между собственно языковыми и речевыми средствами. Язык, располагая определенной совокупностью лексических, грамматических и иных средств, располагает возможностями для передачи различных видов информации. С точки зрения языка несущественна логическая последовательность, правильность, достоверность. Эти моменты уже находятся в зоне функционирования речи. Таким образом, появляются как бы два плана соотношений между языком и речью: с одной стороны, речь пользуется языковыми средствами, в ней практически нет ничего такого, чего нет в языке, исключая, может быть какие-либо индивидуальные новообразования. С другой стороны, язык реально существует только в речи, через нее, благодаря ей представляет собой некоторый инвариант, на который ориентируется индивидуальная речь различных людей.

Речь также можно рассматривать как способ подачи информации. С точки зрения способа подачи информации в области речи могут проявляться самые разнообразные соотношения и оппозиции. Речь может быть громкой и тихой, быстрой и медленной, четкой и неразборчивой. что влияет на возможность ее восприятия. Она может быть выразительной и невыразительной, живой и сухой, от чего зависит эмоциональная реакция на нее. Она может быть логически последовательной или сумбурной, убедительной и неубедительной, отчего во многом зависит уровень ее интеллектуального воздействия.

Высказывание может быть передано через различные формы речи — в устной, письменной, а теперь и в электронной форме.

Отмечая, что «словарь и грамматика, т.е. языковая система данного языка, обыкновенно отождествлялись с психофизиологической организацией человека, которая рассматривалась как система потенциальных языковых представлений», Щерба высказывает мысль, что «Эта речевая организация человека никак не может просто равняться сумме речевого опыта (подразумеваю под эти и говорение и понимание) данного индивида, а должна быть какой-то своеобразной переработкой этого опыта. Эта речевая организация человека может быть только ...психофизиологической... Сама эта психофизиологическая речевая организация индивида вместе с обусловленной его речевой деятельностью является социальным продуктом».

Речевая организация — это, по Щербе, первый аспект языка. Второй аспект — это умозаключение, которое делается на основании всех (в теории) актов говорения и понимания, имевших место в определенную эпоху жизни той или иной общей группы». Такая выявленная в результате умозаключения «языковая деятельность — есть второй аспект языка» (3).

Вот что такое язык по Штейнталю:

*«Он — не покоящаяся сущность, а протекающая деятельность. Мы должны рассматривать его, по существу, не как подручное орудие, которое можно использовать, но*

*которое имеет свое собственное бытие (Dasein) даже тогда, когда оно не применяется; он выступает как свойство (Kraft) или способность... Язык не есть нечто существующее, как порох, но процесс (Ereignis), как взрыв...»* (H. Steintal. Abriss der Sprachwissenschaft, S.85. — цит. по: 3).

Положение о том, что «ни мысль, ни язык не составляют особого царства», а являются двумя сторонами общего развития, уже утвердилось в философии и лингвистике. Однако признание тесного диалектического единства между языком и мышлением еще не служит основанием для отрицания приоритета одного из этих явлений над другим. Так, представители различных психологических направлений склонны признавать первичность мышления над языком (Ср. книгу А.А. Потебни «Мысль и язык»); сторонники же социальных теорий в языке на первое место выдвигают язык в рамках языка и мышления. В этом единстве «язык и мышление» каждый компонент обладает материальной основой в виде звуков и различных языковых единиц, состоящих из звуков (морфема, слово, предложение). Мышление относится к плану содержания и к накоплению языковых единиц в процессе речевой деятельности. Таким образом, язык есть означающее. т.е. план выражения, форма, знак. а мышление — это означаемое. т.е. то, что передается при помощи означающих. Существование одного без другого невозможно, поскольку всякая мысль должна иметь языковое воплощение.

но термин «мышление» связывают не только с идеальной стороной языка, но и рассматривают как процесс формирования мысли, как ее предварительную подготовку к выражению языковыми средствами. Этот процесс называют речевой деятельностью или речемыслительным процессом, в результате которого возникает речь, которая делает содержание мысли доступным для восприятия другими людьми. Речь, в зависимости от способа ее проявления, определяют как устную, письменную, причем последняя в зависимости от способа ее воспроизведения может быть отражена не только на бумаге, но и на магнитных носителях (магнитная, компьютерная запись). Но возникает речь как особое, недоступное для других людей явление или даже состояние. Она рождается как внутренняя речь, доступная лишь для того, кто ее формулирует. Она в одно и то же время есть результат, продукт мышления и форма ее существования. Превращение внутренней речи в устную есть результат экспликации имплицитного содержания.

Между моментом оформления содержания внутренней речи и моментом преобразования в устную речь и моментом ее преобразования в устную речь могут существовать двойные отношения. 1) Между оформлением и устным выражением речи может существовать отрезок времени любой продолжительности, в течение которого сформулированная мысль хранится в памяти человека. При этом свойственна «языковая оформленность». 2) Формулируемая мысль сразу же превращается в устную речь и транслируется в воздушную среду. При этом ее формулирование лишь на какие-то доли



секунды опережает произношение. Но и в том, и в другом случае создается впечатление, что мысль может существовать до ее оформления языковыми средствами. вероятно на это опирается житейский афоризм «Сначала подумай, потом говори» Однако временной зазор между актом порождения речи и ее звуковым выражением бывает настолько ничтожно мал, что практически процесс построения и выражения мысли вслух совпадает, а этап внутренней речи даже отсутствует. Речевой акт предстает как целостная речемыслительная операция, которая осуществляется вследствие комплексной деятельности центральной нервной системы, памяти, центра речи, психофизиологического аппарата, ответственного за произношение звуков и слов и многих других элементов и средств речевой деятельности. Можно согласиться с Н.И. Жинкиным, который утверждает, что речь не является простой манифестацией языка, что она имеет собственную структурную и функциональную специфику (2). Таким образом, спонтанная речь характеризуется тесным взаимодействием и четким распределением обязанностей между собственно органами речи и «органами мысли». Материализация мысли обеспечивается, с одной стороны, участием «особым образом организованной материи мозга» и тесно скоординированной с ним работой всех частей речевого аппарата.

Сложность этого процесса должна приниматься во внимание при установлении критериев взаимодействия и разграничения языка и речи. В самом деле операционный механизм речи появляется как элемент языкового поведения определенной личности отдельно взятого человека и носит индивидуальный характер. Но речь предназначается для общения с другими людьми и поэтому все индивидуальное в ней должно быть подчинено требованиям языка. обслуживающего ту общность людей, к которой принадлежит каждый из участников речевого общения. Таким образом, на первый план выдвигаются не те индивидуально-психологические особенности формулирования и оформления мысли, которые свойственны индивидууму, а те интегративные требования, которые обеспечивают единство смыслового оформления речи одним человеком и ее понимания другими людьми. Из этого следует, что правила формирования и выражения мысли у каждого носителя языка должны быть обусловлены социальными потребностями общения.

Из сказанного не следует однако, что мы ставим под сомнение важнейшую роль антропоцентрического фактора формирования речи. Но признавая существование индивидуальной психико-физиологической доминанты, характерные для речи, мы хотели бы подчеркнуть, что на всех этапах речевой деятельности в ней присутствует, а иногда и преобладает социальный момент, благодаря которому речь способна выполнять коммуникативную функцию. Одним из частных проявлений социальной составляющей в речи служит то, что вопреки господствующему мнению, речь не настолько асистемна, как полагал Ф. де Соссюр, (см.: 4). Наличие элементов системности в речи обусловлено ее со-

циальным предназначением для понимания другими людьми.

Когнитивный аспект функционирования языка проявляется и в речи. Речь может служить либо средством передачи когнитивной информации для других людей (и тогда ее социальная роль очевидна), либо средством осознания, осмысления, углубленного понимания интересующего объекта самим говорящим (и в этих случаях процесс индивидуального познания тоже опирается на социальный опыт).

Речи свойственны изобразительная и выразительная функции, тесно связанные с индивидуальным видением мира говорящим. Здесь, как ни в какой другой сфере проявляется языковая картина мира говорящей личности. обнаруживается его творческий феномен. Благодаря особенностям личностного восприятия цвета, формы, звучания, движений, характеров изображаемых предметов, людей, объектов природы и т.д., создается речевая неповторимость их интерпретаций. Но и здесь изобразительная сторона в речи не исчерпывается потребностями самой говорящей личности. Речевая картина создается не для самого говорящего и пишущего. Не только писатели, мастера слова, но и рядовые носители языка, независимо от их возраста, пола, образованности, профессии, подбирая слова и другие средства изображения описываемых ими предметов ставят перед собой задачу рассказать о них другим людям, акцентировав внимание на тех деталях, которые бросились им в глаза. Эти акценты могут носить как объективный, так и субъективный характер. Но в любом случае и здесь речь не носит социальную предназначенность, так как она адресована другому человеку.

Л.С. Выготский писал: «... Психика человека социальна... разгадку ее специфических особенностей нужно искать не в биологии человека и не в независимых законах «духа», а в истории человечества, в истории общества (1, с. 4). По мнению А.А. Леонтьева, «лишь рассматривая язык в процессе речевой деятельности, мы способны вскрыть реальный механизм общественного функционирования языка» (3, с. 14).

Система языка — достояние социума, часто весьма многочисленного. Изменения в системе языка поэтому носят диахронический, исторически обусловленный характер. Вариативность речевой системы тоже подчиняется требованиям времени, особенно, когда они касаются основных параметров, определяемых развитием языка в целом. Но в то же время вариативность речевой системы наблюдается и в синхронном аспекте в силу того, что ее носителями являются многочисленные коммуниканты, которые не в одинаковой мере соблюдают нормы языка, находятся в неодинаковых речевых ситуациях, включая их прагматическую и эмоционально-экспрессивную оценку предмета речи. Но при этом речь сохраняет свое отношение к языку как варианта к инварианту, как отдельного к общему (Т.П. Ломтев), как явления к сущности. Из сказанного следует, что проблема соотношений между различными аспектами языка и речи требует дальнейшего всестороннего рассмотрения.

**БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК**

---

1. Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. — М., 1960.
2. Жинкин Н.И. Механизмы речи. — М., 1958.
3. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. — М., 1969.
4. Леденев Ю.И. Обладает ли речь системными признаками? // Человек в контексте культуры. Сб. научных и учебно-метод. статей. — М., 2002. — Вып. 5 (2). — С. 5-7.
5. Щерба Л.В. О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании // История языкознания 19-20вв. в очерках и извлечениях. — М., 1969. — Ч. 2.

## «ЭТИЧЕСКОЕ» И «ЭСТЕТИЧЕСКОЕ» В СТРУКТУРЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ КАК ДЕТЕРМИНАНТЕ ЛИНГВОРИТОРИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКСТА

А.А. Ворожбитова  
Сочи

Языковая личность адресанта (языковая личность<sup>1</sup>) применительно к сфере литературно-художественной коммуникации приобретает статус *литературной личности*. Феномен литературной личности, ее становление, диалектическое соотношение с биографической личностью писателя привлекали внимание ряда мыслителей. Так, например, словосочетание «литературная личность» употребляется Н.В. Гоголем в контексте высказываний о Соллогубе в письме к А.М. Виельгорской от 14 мая 1846 г., молодым Достоевском и др. В терминологическом ключе литературная личность манифестировалась русской формальной школой и в современных исследованиях рассматривается именно в связи с наследием В. Шкловского и Ю. Тынянова (12).

Создание адекватной теории литературной личности представляется одной из важнейших задач филологической науки. При этом наряду с традиционным литературоведческим подходом особую актуальность приобретает лингвориторический, позволяющий углубиться под внешний слой литературной личности, непосредственно выраженный в художественной ткани ее произведений (концептуальное богатство, стилевое своеобразие, языковое мастерство и т.д.), в ее сокровенную номенологию — те сущностные силы, которые выступают антрополингвистическими носителями феномена литературности. Структура языковой личности, разрабатываемая в рамках антропоцентрической лингвистики, выступает психолингвистическим ядром-инвариантом литературной личности. Соответственно последняя обладает: 1) детерминирующей ее идиостиль ассоциативно-вербальной сетью; 2) тезаурусом, конституирующим ценностную иерархию понятий, идей, концептов, мировоззренческих установок, идеологических стереотипов, в совокупности образующих лингвориторическую картину мира литературной личности. Ее (картину) можно представить как идиолектно структурированную базу данных в рамках этнолингвистического космоса; 3) прагматикомом, доминирующей деятельностно-коммуникативной потребностью которого выступает стремление к творческой самоактуализации. При этом художник слова является сильной языковой личностью, то есть обладающей — интуитивно или осознанно — высокой лингвориторической компетенцией. Последняя, как было показано ранее, структурируется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к языковой личности этапами универсального идеоречецикла. Вводимые в качестве универсальных в рамки идеоречецикла этапы ориентировки (преддиспозиции) и редактирования также представляют собой не только дискурсивный план: их экспликаторами на текстовой уровне являются обусловленные целями коммуникации жанровая форма, способы адресации, доминирующие стиль и тип речи в первом случае и наличие, помимо итогового текста, черновых редакций,

позволяющих проследить процесс лингвориторической рефлексии во втором случае.

Соответственно механизмами реализации лингвориторической компетенции литературной личности, выступающими в реальном мыслеречевом процессе как единое психолингвистическое образование, являются уже рассмотренные в главе 3-й механизмы. Перечислим их, отметив некоторые специфические моменты процесса литературного творчества:

- *ориентировочный*, на базе которого зреет замысел будущего произведения и в процессе восприятия жизненного материала накапливаются необходимые для реализации этого замысла элементы;
- *инвентивный*, обуславливающий когнитивно-экспрессивную стратегию мыслеречевой деятельности литературной личности по отбору и сортировке содержательных компонентов произведения;
- *диспозитивный* как проводник коммуникативной стратегии, учитывающий фактор адресата, объективные законы восприятия и на этой основе формирующий архитектуру произведения;
- *элокутивный*, благодаря которому конструируется парадигматика и синтагматика языкового слоя в рамках функционально-метаболической стратегии языковой личности<sup>1</sup>, обуславливающей специфику ее идиостиля;
- *редакционно-рефлексивный* как осуществление текущего (инвентивного, диспозитивного, элокутивного) и итогового редактирования, а также в посткоммуникативного — в случае наличия обратной связи с читателями и внесения автором изменений в литературное произведение, вызванных не учтенными ранее особенностями восприятия читающей аудитории;
- *мнемонический* (диалектическое взаимодействие кратковременной и долговременной памяти, активизация ее глубинных пластов в процессе работы над литературным произведением);
- *акциональный*, отвечающий за непосредственный процесс письма (печатания) произведения, а также проговаривания вслух или чтения — целиком или отдельных фрагментов и т.д.;
- *психориторический* (в случае возможности обратной связи с адресатом, например, при чтении фрагментов рукописи на литературных встречах, обсуждении нового произведения на читательских конференциях и т.п.).

Некоторые исследователи, стремясь применить активные в настоящее время категории «языковая личность», «ритор» к литературоведческому анализу, говорят о существовании двух типов языковой личности как творца текста — поэта и ритора, что представляется более чем спорным. В данном случае имеет место явное смешение видового и родового понятий. Как же быть в таком случае с феноменом ораторского стиха, с исследованием «любовной риторики романтиков» (Н. Маров) и т.п.? Поэт, как и прозаик, тоже ритор; классическая риторика, в связи с разработкой универсального алгоритма мыслеречевой деятель-

ности, получила в наши дни статус «античной психолингвистики». Этапы универсального идеоречевого цикла не были бы универсальными, если бы не структурировали как прозаическую, так и поэтическую фиксацию универсума. Проведенный нами анализ автобиографических и дневниковых текстов, содержащих данные о творческой лаборатории писателя, позволяет обосновать два типа идеоречевого цикла:

«*прозаический*», интеллектуально-ментальный, при котором этапы «от мысли к слову» располагаются в традиционном порядке (преддиспозиция (ориентировка), инвенция, диспозиция, элокуция, редактирование);

«*поэтический*», эмоционально-аффективный, «неправильный». Поскольку роль ориентировочного этапа играет порыв «божественного исступления» (Платон), метаболическая инвенция в форме тропов и фигур является одновременно диспозицией и элокуцией, а редактирование этой образной «фотографии» конкретного эмоционального состояния представлено минимально.

В целом прозаический текст структурно представляет собой в большей степени инвентивно-диспозитивный каркас с элокутивным наполнителем, а поэтический — единую метаболическую элокутивно-диспозитивную инвенцию, в результате которой «... Минута — и стихи свободно потекут» (А.С. Пушкин). Наглядный материал для анализа специфики протекания дискурсии при работе над литературным произведением дают опубликованные самохарактеристики и свидетельства о нюансах протекания творческого процесса целого ряда советских писателей — А. Толстого, А. Серафимовича, Б. Горбатова, К. Паустовского, М. Пришвина, Н. Тихонова и др. Яркой иллюстрацией специфики поэтического типа идеоречевого цикла является, например, творческая рефлексия Б. Пастернака в его «Охранной грамоте» и заметках о художественном творчестве (13).

Соответственно типам дискурсивно-текстообразующего процесса можно предложить и *типологию литературной личности*: риторы с ярко выраженной поэтической или прозаической ориентацией, а также смешанного типа. Классификация литературных текстов может быть уточнена с опорой на объективно-индивидуальные модификации идеоречевого цикла, реализующиеся в процессе дискурсивной практики литературной личности. Так, по определению А.Ф. Лосева, «художественный стиль есть принцип конструирования всего потенциала произведения на основе его тех или иных надструктурных и внехудожественных заданностей и его первичных моделей, ощущаемых, однако, имманентно самим художественным структурам произведения» (10, с. 226). Эти заданности и модели в рамках лингвориторической парадигмы можно конкретизировать следующим образом. «Основные истоки художественности», «первичную жизненную модель», «регулятив, возникающий у поэта в результате его первичных жизненных впечатлений, ориентировок и оценок» (А.Ф. Лосев), которые лежат в основе феномена индивидуального художественного стиля, создают, на наш взгляд, именно главные структурные характеристики литературной личности:

— многомерный синтез индивидуализированной структуры языковой личности писателей (различное, зачастую полярное наполнение их мотивационных уровней, специфика тезаурусов, особенности ассоциативно-вербальных сетей);

— присущий (врожденный?) каждому способ творческой мыслеречевой деятельности, т.е. тип идеоречевого цикла как метода по-стижения и художественного отражения действительности;

— личный «удельный вес» этосного, логосного, пафосного начал идеологии дискурсивного процесса.

В текстовом массиве, этой «видимой части айсберга» дискурса, неизбежно застывают экспликации пересечений уровней языковой личности автора, индивидуально преломленных этоса, логоса и пафоса, этапов универсального идеоречевого цикла, которые литературная личность проходит в дискурсивно-текстообразующем процессе.

Актуальной для лингвориторической поэтики является и проблема соотношения категории *литературной личности* с имплицитными составляющими произведения — *образом автора* и *субъектом речи* в их диалектической взаимосвязи. По В.В. Виноградову, образ автора не тождествен субъекту речи, т.к. в литературном произведении имеют место моменты художественной игры, литературного актерства автора. В то же время, очевидно, что и субъект речи, и образ автора сливаются в категории литературной личности, т.к. все разнообразие приемов языкового выражения есть результат генерируемого ею дискурсивно-текстообразующего процесса. При этом субъект речи — как бы ее внутренняя ипостась, «литературная личность для себя», а образ автора — внешняя ипостась — «литературная личность для читателя», и в их ни на миг не прекращающемся диалоге также можно усматривать истоки «двухголосности слова» (М.М. Бахтин). Ведь и литературная игра, и авторское актерство — неотъемлемые атрибуты того же субъекта речи, если не ограничиваться только «бытовыми» коннотациями этого понятия, а рассматривать его как синоним языковой личности, выступающей первичным «материальным носителем» творческого этически-эстетического заряда и обладающей потенциалом эффективной мыслеречевой деятельности, что в совокупности превращает ее в литературную личность.

Соглашаясь с тем, что образ автора — это организующая сила произведения, объединяющая в единое целое его отдельные части, пронизывающая его единым сознанием, единым мировоззрением (В.В. Виноградов)<sup>1</sup>, отметим, что все перечисленные атрибуты имплицитно содержат определение образа автора как персонификации, «олицетворения» авторской интенции. По Ю.Н. Карулову, образ автора в широком понимании — «концентрированное воплощение сути произведения», в узком смысле — собственно авторская речь на фоне всей системы речевых структур персонажей. «Образ автора для любого читателя — это необходимая пресуппозиция всякого текста» (9, с. 152); образ автора — «способы вмешательства в процесс понимания читателем текста. Открытие этих способов есть открытие лингвопрагматических средств воздействия на читателя» (9, с. 153).

Помимо структурного ядра уровней языковой личности, слоя интегральной лингвориторической компетенции и типа идеоречецикла мы выделяем в структуре литературной личности *риторский и собственно литературный (художественно-эстетический) статусы*, т.е. компоненты, обеспечивающие ее ориентацию на социально значимый, этически ответственный речевой поступок и художественно-эстетическую значимость его результата.

Рассмотрим *риторский статус литературной личности*. Ритором — «с заглавной буквы», т.е. в подлинном смысле этого слова — в лингвориторической парадигме является не просто сильная языковая личность, обладающая высокой лингвориторической компетенцией, но прежде всего ориентированная на социально значимый идиодискурс в рамках этически ответственного речевого поступка. Очевидно, что риторский статус выступает неотъемлемым атрибутом и подлинной литературной личности. Эволюцию отечественного риторического идеала, воплощенного в образе идеального писателя, идеальной литературной личности, реконструируемой из высказываний ряда ученых-филологов, можно проследить в работе В.В. Виноградова «Поэтика и риторика» (5).

Проблема этосного обеспечения лингвориторической деятельности литературной личности заставляет обратиться к риторическим категориям образа ритора и этоса. Как уже подчеркивалось, центральной категорией риторики является языковая личность — ритор и аудитория как сообщество людей, получающих высказывание и принимающих решение (Волков 1996). Краеугольным камнем риторики, которая, «в отличие от других филологических дисциплин, представляет собой персоналистическое учение об отношении речи к мысли» (Там же), традиционно выступает этос. Классический афоризм гласит: лучший способ иметь ораторскую мораль — иметь мораль подлинную. А.К. Михальская пишет: в «античной риторической традиции, воспринятой отечественными риторами», «оратор есть прежде всего и во всем истинный гражданин (*aner politikos*, как называли гражданина древние греки), добродетельный муж, (*vir bonus*, как обозначали это понятие древние римляне), — человек, радеющий о благе отечества и государства, трибун, поражающий порок и защищающий добродетель. В этой традиции задача оратора — это задача нравственная: помочь согражданам отделить зерна от плевел, добро от зла, прекрасное от постыдного, посоветовать принять верное решение, сделать правильный выбор, благотворный для общества. <...> Для того, чтобы выполнить свой нравственный долг, говорящий должен встать на позицию правды — добыть самостоятельно и предоставить слушателю некую истину» (11, с. 262). Размышления «о смысле отечественной речевой традиции, русского риторического идеала, а значит о долге оратора», о «главной цели — высокой, нравственной, которая диктуется историей развития русской риторической культуры любому человеку, дерзнувшему обратиться свою речь, свое слово к публике» (А.К. Михаль-

ская) пронизывают и упомянутую выше работу В.В. Виноградова «Поэтика и риторика». В главе «Из истории и теории риторики» представлен ретроспективный анализ отечественных интерпретаций идеального ритора-автора, в которых этическая речевого поступка предстает как инвариант литературно-эстетического риторического идеала.

В связи с этим вдвойне сложным представляется положение литературной личности в жестких подцензурных условиях автократического общества. Двойственность позиции эксплицируется в форме дневниковой автокоммуникации, выполняющей роль своего рода отдушину, дающей возможность высказывать, что думаешь. В то же время суждения о необходимости полноценного этосного обеспечения элокуции (без использования терминов) традиционны для советского литературоведения. Симптоматично, например, название статьи С.Г. Синенко о М. Пришвине — «Этическая позиция писателя как проблема стиля». Поиск писателем точного слова, образа неотделим от общего поиска им жизненной правды (ср. анализ поисков «честного языка»: (14). — А.В.), и это подтверждается раздумьями самого писателя: «Сказать от души, от себя самого и полным голосом — вот единственная мораль художника». Художественные достоинства произведения Пришвин также ставил в зависимость от поведения.

Для самой литературной личности, судя по высказываниям писателей, риторический этос реализуется прежде всего в осознании того, что говоришь искренне, говоришь правду (О. Берггольц: «... Скажу в полный голос и не дам портить»; А. Довженко: «Я написал *честно*, как я вижу боль и страдания своего народа»). Правдивость вербализации референта как важнейшая деятельностно-коммуникативная потребность литературной личности подробно рассмотрена нами на материале советского дискурса (6, с. 192-202).

В связи с проблемой риторского статуса актуализируются импликации «лингвориторики этоса» в философском анализе текста литературного произведения М.М. Бахтина (Бахтин 1976), его манифесте 20-х гг. «Искусство и ответственность», работе «К философии поступка». По Бахтину, «внутреннюю связь элементов личности» гарантирует «только единство ответственности. За то, что я пережил и понял в искусстве, я должен отвечать своей жизнью, чтобы все пережитое и понятое не осталось бездейственным в ней. (...) Личность должна стать сплошь ответственной: все ее моменты должны не только укладываться рядом во временном ряду ее жизни, но проникать друг в друга в единстве вины и ответственности» (1, с. 7).

Этосный императив детерминирует однозначную трактовку пафоса, что создает *этосно-пафосную координацию* как необходимую составляющую полноценного акта литературного творчества: «И нечего для оправдания безответственности ссылаться на «вдохновенье». Вдохновенье, которое игнорирует жизнь и само игнорируется жизнью, не вдохновение, а одержание. Правильный, не самозванный смысл всех старых вопросов о взаимоотношении искусств-

ва и жизни, чистом искусстве и проч., истинный пафос их только в том, что и искусство и жизнь взаимно хотят облегчить свою задачу, снять свою ответственность, ибо легче творить, не отвечая за жизнь, и легче жить, не считаясь с искусством» (1, с. 8).

При выходе в более широкий контекст социокультурной коммуникации, вплоть до повседневной, бытовой речевой деятельности индивидуальной языковой личности, актуализируется понимание как поступка не только вербализованного высказывания, но даже мыслительного шага, что соответствует современному акцентированию речевой деятельности именно как мыслеречевой, диалектически сочетающей довербальную и вербальную фазы: «Каждая мысль моя с ее содержанием есть мой индивидуально-ответственный поступок, один из поступков, из которых слагается вся моя единственная жизнь как сплошное поступление, ибо вся жизнь в целом может быть рассмотрена как некоторый сложный поступок: я поступаю всей своей жизнью, каждый акт и переживание есть момент моей жизни — поступления» (2, с. 12).

Теперь рассмотрим *художественно-эстетический* (собственно литературный) статус литературной личности. Помимо риторского статуса, важнейшей характеристикой литературной личности является художественно-эстетическая значимость ее произведений, которая в рамках целостной структуры литературной личности придает ей статус литературности. По В.В. Виноградову, изучение восходящего развития языковой личности приводит к языку художественной литературы. Проиллюстрируем специфику реализации универсального идеоречевого цикла литературной личностью на примере трансформации фразеологизмов в публицистике А. Толстого и Л. Леонова. Когда фразеологическая единица — бинарная когнитивная структура — претерпевает трансформацию под пером писателя, то читатель расшифровывает этот «намек на фразеологизм», опираясь на семантику слов и суггестивную помощь контекста, т.е. на потенциал своей ассоциативно-вербальной сети. По словам Ю.Н. Караулова, публицистичность публицистичности рознь, и подлинная художественность требует соединения публицистичности с изобразительностью и образностью, что мы всегда и обнаруживаем у подлинного мастера. Это мастерство можно проследить, в частности, на уровне лексико-фразеологических операций в рамках работы элокутивно-экспрессивного механизма реализации лингвориторической компетенции таких двух художников слова, как А. Толстой и Л. Леонов. Специфика работы данного механизма оказывает наиболее непосредственное воздействие на идиостиль художников слова, теоретически осмысленный в следующих рефлексивных высказываниях самих авторов: «Необходимо, чтобы фраза возбуждала в мозгу зрителя, подобно вспышке света в фотоаппарате, ясное и четкое образное представление» (А. Толстой). Каждое произведение должно быть «изобретением по форме» и «открытием по содержанию» (Л. Леонов).

Экстраполируя выводы, касающиеся художественной прозы авторов, на их творческий метод в целом, в

том числе как военных публицистов, в лингвориторическом аспекте из вышесказанного можно сделать следующие выводы: при коммуникативной установке «на наблюдение» фразеологизированный слой элокутивной ткани обслуживает в идиодискурсе А. Толстого преимущественно описательный, фактографический слой аргументов «к очевидному», образно воссоздает большей частью содержательно-концептуальную информацию. Так, А. Толстой приспособливает обобщенные по семантике фразеологизмы к конкретной ситуации (*кивнуть лицом, бровями, шляпкой* — вместо *головой* и т.п.). У Леонова же трансформация фразеологизма подчинена задаче выражения содержательно-концептуальной информации, благодаря чему возникает симбиоз установок на наблюдение и на размышление, что в целом является более высоким уровнем языкового мастерства в лингво-когнитивном его аспекте. Специфика элокутивной стратегии в этом отношении обусловлена своеобразием не только прагматикона и тезауруса, но и ассоциативно-вербальной сети языковой личности. Это своеобразие, естественно, диктует писателям и полярно противоположные формулировки их художественного метода. Если А. Толстой считает, что его задача — «создать мир и впустить туда читателя», то есть воплощает в своем творчестве внутреннюю установку на непосредственное изображение действительности, то Л. Леонов убежден: «нужно не конструировать для читателя в полный рост дерево, а бросить в его душу семя дерева». Соответственно отличается протекание универсального идеоречевого цикла «от мысли к слову» у обеих литературных личностей, обеспечивая специфическую инвентивно-элокутивную координацию также в их публицистических идиодискурсах.

Фразеологизмы в своей когнитивной функции принадлежат тезаурусу языковой личности, т.к. помимо новизны в синтагматическом плане они несут и новое понятийное содержание, элементы нового знания (Ю.Н. Караулов). Творческая трансформация фразеологизмов — специфическое свойство литературной личности, реализующееся во взаимодействии элокутивного и инвентивного механизмов реализации ее лингвориторической компетенции. Из эксперимента «Пушкин читает Маканина» Ю.Н. Караулов, в частности, делает вывод: «творческая личность в своих произведениях старается избегать стандартных, шаблонных выражений, даже и таких эмоционально и когнитивно богатых, как фразеологизмы» (9). В полной мере это свойственно таким мастерам слова, как А. Толстой и Л. Леонов: сопоставление характерных для них фразеологических модификаций демонстрирует не только различие, но даже во многом «полярность» индивидуальных инвентивно-элокутивных стратегий.

Итак, *лингвориторическая поэтика* призвана анализировать художественное творчество в точках пересечения параметров литературной личности и дискурсивно-текстообразующего процесса, схематически реконструируя «лингвориторический портрет» литературной личности из элокутивной ткани ее произведений, в фокусе иллокутивной силы которых реа-

лизуется идиодискурс. Его процесс обеспечивается индивидуальным преломлением в структуре литературной личности конститутивных дискурсивных триад — идеологической, идеоречевой, функционально-языковой, логико-диалектической, метабо-

лической и др. Творчество писателя может быть проанализировано в точках пересечения параметров литературной личности и осуществляемого ею дискурсивно-текстообразующего процесса, схематически представленных в таблице 1:

| Таблица 1   | «Лингвориторический портрет» литературной личности   |  |
|---|--|--|
| ПАРАМЕТРЫ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ   | ПАРАМЕТРЫ ДИСКУРСИВНО-ТЕКСТООБРАЗУЮЩЕГО ПРОЦЕССА (ДТП)   |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ядерный слой языковой личности, его уровни:               <ul style="list-style-type: none"> <li>— вербально-семантический (ассоциативно-вербальная сеть);</li> <li>— лингво-когнитивный (тезаурус);</li> <li>— мотивационный (прагматикон).</li> </ul> </li> <li>2. Механизмы профессиональной ЛР-компетенции:               <ul style="list-style-type: none"> <li>— ориентировочный;</li> <li>— инвентивный;</li> <li>— диспозитивный;</li> <li>— элокутивный;</li> <li>— редакционно-рефлексивный;</li> <li>— мнемонический;</li> <li>— акциональный;</li> <li>— психориторический.</li> </ul> </li> <li>3. Идеоречевой слой как свойственный литературной личности тип идеоречецикла:               <ul style="list-style-type: none"> <li>— прозаический (интеллектуальный, «классический»);</li> <li>— поэтический (эмоциональный, «обратный»);</li> <li>— «смешанный».</li> </ul> </li> <li>4. Слой риторского статуса как ориентация на идиодискурс:               <ul style="list-style-type: none"> <li>— социально значимый;</li> <li>— этически ответственный.</li> </ul> </li> <li>5. Слой художественно-литературного статуса:               <ul style="list-style-type: none"> <li>— эстетическая ценность текста;</li> <li>— специфика диалектического соотношения субъекта речи и образа автора.</li> </ul> </li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Интенция как пусковой механизм ДТП.</li> <li>2. Реализация интенции в ДТП:               <ol style="list-style-type: none"> <li>а) динамический дискурсивный аспект:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>— воплощение этоса, логоса, пафоса на этапах универсального идеоречевого цикла:                       <ul style="list-style-type: none"> <li>— преддиспозиция;</li> <li>— инвенция;</li> <li>— диспозиция;</li> <li>— элокуция.</li> </ul> </li> <li>— редактирование — благодаря базовым подфункциям риторической метафункции языка:                       <ul style="list-style-type: none"> <li>— когнитивной;</li> <li>— коммуникативной.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>— эмоционально-экспрессивной — реализующимся в единицах мыслеречи — понятиях, суждениях, умозаключениях и их образных коррелятах — с помощью приемов эффективной мыслеречевой деятельности:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>— металогизмов, метасемем, метатаксем.</li> </ul> </li> <li>б) статический текстовой аспект:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>— парадигматика (идиолект);</li> <li>— синтагматика (идиостиль);</li> <li>— энергетика (идиодискурсивные импликации);</li> <li>— инвентивно-диспозитивный каркас и его элокутивное наполнение;</li> <li>— метаболическая инвенция в форме тропов, фигур как параллельная диспозиция и элокуция.</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol> |  |

Таким образом, категория *литературная личность*, в отличие от *языковой личности*, подразумевает специфические наслоения на инвариантном ядре последней в виде: профессиональной, значительно превышающий обычный уровень лингвориторической компетенции, реализующей тот или иной тип идеоречецикла; риторского статуса, литературного статуса. Соотношение данных категорий можно наглядно представить формулой: **ЯЛ+ЛРК+РС+ЛС = ЛЛ**, т.е. языковая личность + лингвориторическая компетенция (тип идеоречецикла) + риторский статус + литературный статус = литературная личность (с ее диалектическими гранями «субъект речи — образ автора»).

По выражению Н.М. Бахтина, «человек дан самому себе как текучее и неоформленное множество противоречивых и смутных тенденций, но *задан* себе — как заверщенное и божественно простое единство иерархически соподчиненных сил» (4). Это вечное противоречие в прагматиконе литературной личности, пронизанное лучами Этоса, Логоса и Пафоса (конституирующих три ипостаси как авторской интенции — в диалектическом соотношении в рамках языковой личности<sup>1</sup> «субъекта речи» и «образа автора», так и читательской интенциональности, обусловленной стилем восприятия языковой личности<sup>2</sup>), является одним — «в двух лицах» — из триггеров текста как синергетической структуры.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Упомянем в связи с этим, что С.Г. Ильенко подчеркивает аспектность виноградовского видения образа автора и анализирует три таких аспекта: 1) общеметодологический, 2) функционально-стилистический, связанный с характеристикой литературных школ и направлений, 3) конкретно текстообразовательный (см.: 7, с. 41).

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Бахтин М.М. Искусство и ответственность // Бахтин М.М. Работы 20-х годов. — Киев, 1994. — С. 7-8.
2. Бахтин М.М. К философии поступка // Бахтин М.М. Работы 20-х годов. — Киев, 1994. — С. 11-68.
3. Бахтин М.М. Проблема текста. Опыт философского анализа // Вопросы литературы. — 1976. — № 10. — С. 122-151.
4. Бахтин Н.М. Из жизни идей. Статьи. Эссе. Диалоги. — М., 1995.
5. Виноградов В.В. Поэтика и риторика // Избранные труды. О языке художественной прозы. — М., 1980. — С. 98-145.
6. Волков. Риторика в филологическом образовании // Вестн. МГУ. Сер. 9, Филология. — М., 1996. — № 4. — С. 112-124.
6. Ворожбитова А.А. Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные аспекты: Монография. — Сочи, 2000.
7. Ильенко С. Г. Возвращаясь к концепции образа автора В.В. Виноградова // Русистика: лингвистическая парадигма конца XX века:

Матер. науч. конф., посвящ. 80-летию филол. ф-та РГПУ им. А.И. Герцена и 75-летию проф. С. Г. Ильенко (Санкт-Петербург, 17-19 ноября 1998 г.). — СПб., 1999. — С. 41-43.

8. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. — М., 1987.
9. Караулов Ю.Н. Словарь Пушкина и эволюция русский языковой способности. — М., 1992.
10. Лосев А.Ф. Проблема художественного стиля. — Киев, 1994.
11. Михальская А.К. Основы риторики: Мысль и слово: Учеб. пособие для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. учреждений. — М., 1996.
12. Панченко О.Н. Виктор Шкловский: Текст — миф — реальность (к проблеме литературной и языковой личности). — Щецин, 1997.
13. Пастернак Б. Об искусстве. «Охранная грамота» и заметки о художественном творчестве. — М., 1990.
14. Серио П. О языке власти: критический анализ // Философия языка: в границах и вне границ. — Харьков, 1993. — Т. I. — С. 83-100.



## ИРОНИЯ И ЭТИКА ТЕКСТА: К ИСТОРИИ ВОПРОСА

И.Н. Иванова  
Ставрополь

В современной теории иронии наиболее разработанными вопросами являются проблема лингвистического выражения иронии и эволюция ее исторических типов (сократовская, романтическая, постмодернистская и т.п.). Практически не исследована одна из интереснейших, на наш взгляд, проблем — соотношение иронии и этики текста (художественного, философского, идеологического, политического и др.).

«Взаимоотношения» иронии и этики всегда складывались достаточно напряженно и даже драматично. Конкретно-исторические причины этого противостояния менялись, но неизменно присутствовала основная: принципиальная, органическая взаимная «неприязнь» иронии и этики. Дело в том, что любая этика по природе своей есть устойчивая система убеждений, нравственных постулатов, аксиом и т.д. (смена одной этической системы другой — отдельный вопрос, но внутри себя этика должна быть непротиворечива и устойчива к агрессивной иронии со стороны своих критиков — сторонников иных систем). Ирония же есть нечто, изначально направленное на разрушение любой незыблемой системы, подвергающее сомнению любую попытку монополии на истину, и, следовательно, ирония по определению непримиримый противник этики.

Все это, конечно, не значит, что ирония несовместима с этикой (напротив, приверженность одной этической системе почти неизбежно сопровождается иронией в адрес других), и тем более не означает аморальности или антиморальности ироников (любимый упрек их оппонентов всех времен и народов). Но ведущая интенция иронии, действительно представляющей собой опасность для любых спекулятивных этических построений, всегда остро ощущалась и почти всегда высказывалась как самими ирониками (теоретиками и практиками), так и их противниками.

История иронии дает немало примеров изначального антагонизма иронии и этики. Самый известный и самый печальный — пример Сократа, его жизни философа и смерти героя. Как известно, Сократ не создавал письменных текстов, но уже сама его жизнь может восприниматься и воспринимается его бесчисленными исследователями и последователями как текст, эстетически заверченный именно такой смертью. Кроме того, Сократ создал парадигму принципиально нового типа текста, воспроизводимую потом во множестве философских, политических, литературных «диалогов», текста, организующим началом которого стала его знаменитая ирония. Мы не будем говорить здесь о механизме работы сократовской иронии, так как для нашей темы более интересны обвинения, предъявленные философу, и тот конфликт иронии и этики, который постепенно высвечивается, когда заинтересованный читатель знакомится с документами процесса.

Основных обвинений было два (причем оба сформулированы в категориях этики!): в разращении юно-

шества (не физическом, разумеется, — как раз за это в тогдашних Афинах никого не осуждали), неуважении к чтимым полисом богам. Формально обвинители не были правы, и Сократ легко мог оправдаться, если бы пожелал играть по правилам. Но то, что в конце концов восстановило против него судей и решило его участь, имело как раз непосредственное отношение к области этики. Это поведение Сократа в течение всей жизни и в процессе суда, т.е. радикальное несовпадение самого текста его жизни и философии, определяемого той самой иронией, с этикой полиса. Обвинение в разращении юношества вовсе не так уж абсурдно, как может показаться на первый взгляд. Сократ учил мыслить самостоятельно, т.е. сомневаться, а ведь свобода мысли отдельных граждан (отнюдь не только «свободомыслие» в позднейшем социально-политическом смысле) прямо противоречит государственным интересам. Кстати, именно последнее убеждение, разделяемое Аристофаном и воплощенное им в комедиях с участием Сократа, подготовило афинскую публику к осуждению последнего. В обвинении очень удачно совпали личное самолюбие главного обвинителя Анита, одного из многочисленных жертв иронии Сократа, с позицией государства, мягко говоря, не поощряющего инакомыслие и непохожесть на других отдельных его граждан. В этом смысле Сократ действительно был «дурным примером» (парадокс — будучи при этом законопослушным гражданином, в прошлом — доблестным воином и патриотом Афин до самой смерти!). Причем любопытно, что обвинение, исходящее от государства (и не только в случае Сократа), как правило, прибегает к этическим формулировкам, зачастую штампованным, привлекая некую официальную коллективную этику в качестве союзника (трудно удержаться от соблазна близких исторических аналогий).

Надо заметить, что еще до Сократа в греческом обществе существовало предубеждение против иронии, связанное прежде всего с деятельностью софистов. Последние, как правило, воспринимались публикой как разрушители этики, ниспровергатели существующей системы ценностей, может быть, как актеры, но актеры, опасные для общественной морали и нравственности. У того же Аристофана под иронией понимается «оскорбительная речь», а слова «ироник» и «мошенник», «обманщик» употребляются как синонимы. Дошедшие до нас тексты софистов действительно часто демонстрируют логические фокусы и словесные игры (вроде знаменитого: «Ты — сын отца, твой пес — отец, так как у него есть щенята, значит, ты — сын своего пса»), но этим софистика не ограничивается. Много сделавшие для развития логики, риторики, философии софисты все же оставили о себе недобрую память тем, что первыми открыли возможности и разрушительную силу иронии, тем самым сразу же поставив под сомнение абсолютно все претендующие на истину высказывания. Естест-

венно, что одной из первых мишеней должна была стать и стала полисная этика. Обучение у софистов предполагало, что есть некоторые ораторские приемы и правила словесной игры, овладев которыми, ученик может добиться успеха в обществе, причем совершенно не обязательно самому проникнуться пафосом своей успешной речи и верить в декларируемые в ней ценности. Так, о Горгии рассказывали, что «выступив с обратными речами, он убедил собрание в один день, что Елена — самая виновная из женщин, а назавтра — что она сама невинность. Эта история ни правдивая, ни лживая, полна смысла: имя Елены может служить эмблемой софистической позиции в дискурсе, в противовес позиции философской или онтологической» (3, с. 52).

Разумеется, софисты не избежали упреков в цинизме (в современном, а не античном понимании) и враждебности публики (впрочем, готовой восхищаться виртуозностью их иронии), но всегда вызывали интерес как современников, так и позднейших исследователей. «С той минуты, как «за» и «против» поддерживаются с одинаковым правом, всякая мысль является в одно и то же время истинной и ложной; всякая достоверность исчезает, истина становится призраком, попытки достигнуть ее — безумием. Ужасно это могущество мышления... в гордой жажде истины оно истощает одну за другой лучшие свои способности, обращает свое оружие против самого себя и, от изнеможения и отчаяния, кончает самоубийством» (1, с. 13). Понятно, что ни с одной этической системой, кроме, может быть, абсолютного релятивизма, этот разгул иронии не в состоянии «ужиться».

В последнее время появляются новые работы о софистическом дискурсе, возвращающие софистике ее роль в развитии мировой культуры, несправедливо преуменьшенную. Так, в работе Барбары Кассен, где софистика предстает альтернативной стороной развития человеческой мысли вообще, заостряется именно рассматриваемая проблема: «Вся совокупность сил обычной философии... добивается нового установления над правилами языка суверенитета этики... Если ориентация на эффект способна перехитрить ориентацию на интенцию, то только потому, что она не подчиняется дихотомии хорошего и плохого, истинного и ложного: перед лицом поляризованной двойственности интенции эффект... просто либо есть, либо его нет» (3, с. 12). Таким образом, софисты, во многом предвосхитившие современную проблематику и — без преувеличения — явившиеся отдаленными в пространстве-времени предшественниками постмодернистов и деконструктивистов, поставившие иронию в центр своей деятельности, тем самым задали проблему конфликта иронии и этики, проявившуюся в истории осуждения Сократа и в той или иной форме проявляющуюся и по сей день.

После смерти Сократа отношения между иронией и этикой еще более обострились. Аристотель не считает Сократа примером и осуждает его «eironeia», в которой видит способ скрывать свои способности от полиса, что ничуть не лучше противоположной ей

«alazoneia» — хвастливого преувеличения этих способностей. И то и другое вводит в заблуждение граждан и государство, значит, не должно быть терпимо. В том же этико-политическом духе (как злонамеренное укрывательство политических и общественных способностей с целью уклониться от своего долга) понимают иронию Демосфен и Теофраст. В римских риториках этот оттенок значения постепенно утрачивается, лишь Квинтилиан упоминает, наряду с тропом иронии, ироническую жизненную установку (тем самым вновь сталкивая иронию и этику).

В эпоху средневековья, как кажется, не особенно интересовались этой проблемой. С одной стороны, церковно-государственный этический дискурс, максимально серьезный и регламентированный, не оставлял места для иронии (в противном случае она дорого обходилась иронизирующему), с другой, — в сфере карнавальная культура торжествовала более грубые формы смеха. Даже эпоха Возрождения, не лишенная вкуса к иронии и по-новому ставящая традиционные проблемы этики, не сводила их на общей территории.

Новый расцвет иронии связан с веком Просвещения, что вполне естественно: пересмотр существующих этических систем с позиций торжествующего ratio, критика религии и основанной на ее догматике повседневной этики, изменение антропологических представлений, создание новой философии и литературы, расцвет афористической моралистики, сатиры, «романа воспитания» — все это не могло вновь не столкнуть иронию и этику в самых неожиданных аспектах. Интересно, что в век, когда разум стремился дать законы всему (включая и область иррационального), ирония выступала в качестве одного из его собственных законов (у Канта и Гете) в новой для себя роли — своего рода ревизора, рецензента блестящих спекуляций разума. Тем неожиданнее и интереснее оказалась следующая эпоха в истории иронии, породившая качественно новый ее тип — романтическую иронию.

Провозгласив вслед за Фихте свободно играющее человеческое Я вершиной творения, а форму этой игры, т.е. романтическую иронию, — госпожой действительности, романтики, по мнению их критиков, слишком увлеклись. Если Я строит и разрушает целые вселенные, подчиняясь лишь своему произволу, кто или что может заставить его следовать каким бы то ни было этическим нормам и моральным ограничениям, к тому же придуманным до него и в конечном счете ему навязанным? По словам Ф. Шлегеля, ирония «с высоты оглядывает все вещи, бесконечно возвышаясь над всем обусловленным, включая сюда и собственное свое искусство, и добродетель, и гениальность» (5, с. 52). Естественно, что с такой точки зрения достойными иронического отношения кажутся не только отдельные несовершенства этого мира, но и вообще все его ценности (а ведь мораль и этика — всего лишь «слишком человеческое»). Романтическая ирония, с брезгливой насмешкой относящаяся к миру филистеров с его плоской буржуазной этикой, тем не менее не могла дать ироническому

субъекту (тоже, между прочим, не богу, а человеку), действительной опоры в бытии, земном бытии среди людей.

Именно эта изначальная слабость романтической иронии (очень скоро понятая самими романтиками — Гейне, Гофманом) стала предметом критики главных оппонентов романтиков — Гете, Гегеля и особенно Кьеркегора. Все они упрекают романтиков в этическом релятивизме и предупреждают об опасности последнего. По Гегелю, романтическая ирония «заключается в том, что все, обнаруживающее себя как прекрасное, *благородное*, интересное, вслед за тем разрушает себя и заканчивается противоположным» (2, с. 445). Гете, назвавший иронию щепоткой соли, без которой блюдо несъедобно, однако, не советует «пересаливать» и считает, что в любом случае субъект должен контролировать собственную иронию, но никак не наоборот.

Философом, наиболее радикально противопоставившим иронию и этику, буквально сталкивающим их в пределах почти каждого своего текста и поместившим это столкновение в самый центр своей проблематики (впервые за всю историю иронии), был Серен Кьеркегор. Свои тексты (важнейшие из интересующих нас в аспекте данной темы — «О понятии иронии» и особенно «Или — или») Кьеркегор строит на жесткой оппозиции Этики и Эстетики, каждая из которых представлена определенным типом личности, ведущим скрытую или явную полемичку с оппонентом.

Отношение Кьеркегора к иронии двойственно. Его творческое Я как бы раздваивается на Этика (он же Христианин или Счастливый семьянин) и Эстетика (он же Романтик, Отчаявшийся, Обольститель, и, что особенно для нас важно, — Ироник). Ирония, будь то романтическая, или сократовская, или иная форма иронии, есть апофеоз субъективности. Ироник пытается создать свой мир из себя самого, вне зависимости от чего бы то ни было, но и без опоры во внешней ценности (без чего немислима этика). Какое-то время иронизирующий субъект по рецепту романтиков находит удовлетворение в собственном артистизме, впечатлениях минуты, особенно эротических, интеллектуальных играх с собственной субъективностью, смене масок, интригующих других людей, и тому подобных развлечениях. Однако Счастливый семьянин, старший и мудрый друг молодого Эстетика, в письме к последнему предупреждает, чем заканчиваются эти игры: разочарованием, мрачным отчаянием, безнадежной скукой. Ирония уже не поможет. Единственное спасение — выбор между Этикой и Эстетикой, причем только в пользу Этики, поскольку не может быть сознательного эстетического выбора. Кьеркегоровский Этик прекрасно понимает, что, поскольку его «юный друг» живет не в пустыне, а среди людей, ему приходится считаться с требованиями общества. Поэтому Эстетик-Ироник стремится «отменить конституирующее в действительности, то, что упорядочивает и скрепляет ее: *мораль и добродетель*» (4, с. 192). Ироник вовсе не обязательно должен быть чудовищем порока. Так, он «обольщает» девушек, но больше из соображений эстетических, фи-

зическое обладание интересуется его как раз меньше всего («Дневник обольстителя» очень напоминает историю Печорина и Мери). Конечно, его игры дорого обходятся окружающим (несчастливая Корделия, как и Мери, никогда не залечит рану), но героя отчасти извиняет то, что страдания героини — плата за пробуждение личности, за выход на новый, качественно иной уровень бытия, за самостоятельное этическое творчество, а это — процесс болезненный.

Парадокс творчества Кьеркегора в том, что, настаивая на необходимости этического выбора и будучи человеком глубоко и проблематически религиозным, он с такой поразительной глубиной и знанием дела изобразил отвергаемый путь Эстетика-Ироника, так явно «изнутри», что читатель просто не может поверить в его Ироника. И творчество, и личная жизнь Кьеркегора, апологета семейных ценностей, так и не решившегося на брак с любимой (которому ничто внешнее не препятствовало), не позволяют полностью согласиться со столь, казалось бы, солидной и убедительной этикой мудрого Семьянина.

В итоге Кьеркегор приходит к выводу о необходимости для интеллектуального «правильно настроенного индивида» ограничить собственную иронию. Совсем обойтись без нее, отказаться от ее роскошных возможностей, похоже, даже «правильному» индивиду, почувствовавшему ее вкус, не под силу. Зрелая интеллектуальная личность в своем этическом творчестве должна пройти «очистительное крещение иронией», но, признавая обаяние и власть последней, не должна поддаваться ее соблазнам.

XX век, принципиально изменивший представление человечества о многих вещах, кардинально пересмотревший основы мышления, может быть назван веком иронии. При всем различии функций и оттенков иронии в творчестве властителей дум XX века — Кафки, Пруста, Джойса, Т. Манна, Музиля, Гессе, Сартра, Бродского, Набокова и других — можно выделить некоторые принципиальные моменты, позволяющие говорить об иронии XX века как об определенном, отличном от предшествующих типе иронии. Ян Папиор, современный польский ученый, исследующий этот тип иронии, постоянно обращается к этическим проблемам и пользуется терминологией этики, чтобы описать ее (иронии) качественные характеристики. Он подчеркивает невозможность для человека любой предшествующей XX веку эпохи вообще помыслить что-либо вне основной онтологической оппозиции. Одним из ее полюсов всегда был человек в его меняющейся саморефлексии, «другой можно назвать по-разному: Истина, Бог, Не-Я, Идеал... Этим вторым полюсом всегда было нечто абсолютное, что стоит над человеком и чем он может и должен «измеряться» (7, с. 48). Любая этика строится, исходя из факта наличия этого полюса (кроме перечисленных Папиором, можно назвать также Социум (Коллектив), Другого, Великую Историческую Цель — в зависимости от конкретного дискурса). В XX веке, считает исследователь, полярность расширяется, полюса размываются, и чело-

век уже не может строить свою картину мира на основании какой либо полярности, к чему был приучен веками. Тем самым у этики выбивается почва из-под ног, и человек оказывается в непривычном и пугающем состоянии «онтологического разлада». Появляется новый герой — герой эпохи модерна, «человек без свойств», которого такая ситуация превращает либо в потенциального самоубийцу, либо в беспринципного, аморального типа, которому «все позволено». Этот тип иронии — «онтологическая ирония» — еще оглядывается на какие-то ценности, более того, герой-ироник иногда — по старой памяти и внутренне усмехаясь — еще пытается конструировать для себя этические системы, но, разумеется, без особого успеха.

В отличие от него, постмодернистский иронический герой уже не может и не хочет выбирать (даже «свободно») определенную этическую систему. Он существует как таковой только в ситуации «радикальной плюральности», и его этическая установка — в понимании условности, конвенциональности и исторической детерминированности любой этической установки. Если искусство уже не «учебник жизни», а поэт — не «больше чем поэт», то требовать от литературного произведения «разумного, доброго, вечного» и от писателя — непременно гуманистических идеалов представляется чем-то по меньшей мере наивным. Гуманистическая этика — всего лишь одна из возможных, и почему автор должен выбрать именно ее? Отсюда главный упрек всех недоброжелателей постмодернизма — в этическом релятивизме, беспринципности и откровен-

ном цинизме. Ситуация усугубляется еще и тем, что писатели постмодернистской ориентации, вопреки декларируемому принципу «нонселекции», имеют явное пристрастие к «фекально-генитальному» дискурсу. Но такой подход к «моральному облику» постмодернистских героев (и особенно авторов) кажется нам несколько односторонним, а проблема — некорректно поставленной. На самом деле нет человека более толерантного, более уважающего свободу личности и выбора Другого, чем постмодернист. Его этическая индифферентность — скорее кажущаяся. Наверное, все же можно говорить о возможности постмодернистской этики, причем не только негативной. Интересным опытом построения такой этики является книга Р. Рорти «Случайность. Ирония. Солидарность» (6), где автор, поставивший иронию в центр своей этической концепции, выводит из традиционного набора постмодернистских терминов отнюдь не цинический индивидуализм в духе «все позволено», а новый гуманизм и новую солидарность. Его «либеральный ироник» надеется, что жестокость будет сведена к минимуму, он стремится никому не делать зла, поскольку его идеал — личная свобода и взаимная терпимость — осуществим лишь при наличии этого условия. Относительность всех «конечных словарей», невозможность монополизации истины и в то же время сознание хрупкости и конечности отдельной человеческой личности приводят автора к признанию этики необходимой, а иронии — неожиданно, но вполне органично — неотъемлемой составляющей новой этики.

#### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Brentano T.F. Древние и новые софисты. — СПб., 1886.
2. Гегель Г.В.Ф. Эстетика: В 4 т. — М., 1973. — Т. 4.
3. Кассен Б. Эффект софистики. — М.-СПб., 2000.
4. Кьеркегор С. О понятии иронии // Логос. — 1993 — № 4.
5. Литературные манифесты западноевропейских романтиков. — М., 1980.
6. Рорти Р. Случайность. Ирония. Солидарность. — М., 1996.
7. Papior J. Die Ironie in der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts (in Theorie und Gestaltung). — Poznan, 1979.

# ГОЛОСА ВРЕМЕНИ. ДЖ. КАВАЛЬКАНТИ

1/ Дж. Кавальканти / **Благоразумие**

2/ И.А. Краснова / Ставрополь / **Человек и закон в обыденном сознании Флорентийской республики** (по материалам политико-морального трактата Джованни Кавальканти)

## БЛАГОРАЗУМИЕ

Дж. Кавальканти

Много есть таких, которые чувствуют, но не понимают, и много есть таких, которые предостерегают других людей от того, что те намереваются предпринять, не зная [чем это может кончиться]. Они ценят краткость согласно поговорке: *Brevis oratio penetra celum*<sup>1</sup>; другими словами: в немногих словах заключается краткость, столь угодная вульгарному плембу. Это происходит, поскольку они осознают, что потребность в речах более длинных и более коротких обусловлена теми, кто слушает, а не теми, кто говорит. По воле Господа мудрый прекрасно понимает сказанное и в немногих словах, а невежественный не понимает и сказанного пространно. И кого же можно считать мудрым, как не того, кто никогда не пренебрегает познанием? И кто же является таковым, если не сам Господь. Ведь немногие слова лучше вняты ему, чем народу — многие. Но мы не будем говорить о Боге, но только о смертных людях, понимание которых ограничено. К тому же, нельзя порицать и пространную речь, если она не превышает тот предел, который позволяет понять сентенцию говорящего.

Итак, поскольку благоразумие есть главная доблесть, которая больше всего нужна тому, кто управляет республикой, мы рассмотрим ее составляющие, ибо без них какая-либо другая добродетель не может действовать, поскольку все другие добрые качества проистекают из благоразумия. Философы настаивают<sup>2</sup>, что благоразумие состоит из трех основных частей, из которых вытекают еще пять. Следовательно, в сумме составляющих частей этой добродетели всего восемь, из которых самая главная — память (*Memoria*). По воле Бога она обретается в голове, которая властвует над всеми другими частями тела, так что и память является властелином и главой всех других частей рассматриваемого благоразумия. Но если мы хотим следовать порядку нашего трактата, то нам подобает посвятить памяти специальную речь.

По воле Господа память служит особую службу в прошедшем времени, и, следуя избранному порядку, это будет первое, о чем мы скажем. Наставляя людей, желающих жить правильно, Сенека говорил в письме к Луцилию<sup>3</sup>, начинающемся словами *Vig bonus esse*, о том, что каждый в своей жизни должен выбрать себе в качестве образца человека, в соответствии с поведением которого он будет управлять своими желаниями. Я утверждаю, что если ты<sup>4</sup> желаешь снискать расположение твоих сограждан, ты должен спросить о жизни и нравах Спинелло<sup>5</sup>, который состарился, охраняя богатства республики. И в момент его смерти не нашлось у него даже простыни, которой можно было бы обернуть его тело.

А если ты хочешь прославиться среди народа верностью, выбери для образца Оттобоно.<sup>6</sup> В давние времена наша республика захватила крепость Мутроне, из-за которой мы имели большие неприятности; и в то время, когда был заключен мир с городом Пизой, республики Флоренция и

Пиза устроили генеральный совет, на котором одна сторона оскорбляла другую [из-за этой крепости]. В конце концов, наша республика решила согласиться с советом Оттобоно, который предложил снести Мутроне до основания, чтобы эта крепость не служила больше поводом для наносимых нам оскорблений и обид; но то же самое было решено и нашими врагами, хотя и различные причины привели к одному и тому же решению. И наши враги постановили, что если Мутроне будет разрушена, то им не нужно ожидать опасности с этой стороны, но если она останется стоять, то им придется испытывать бесконечные тревоги. И они заключили, что просьбы и деньги, направленные Оттобоно, поспособствуют тому, чтобы он подал совет сравнять крепость с землей — не зная, что наше решение уже совпало с их желанием. Я утверждаю, что немало денег с письмом передавалось в руки нашего славного гражданина, который деньги эти заставил отписать в казну Коммуны, устранил свой прежний совет, и по его настоянию крепость сохранили. И как раньше хотели обе республики разрушить крепость, так и теперь согласились они последовать совету [Оттобоно] и сохранить ее<sup>7</sup>.

Составная часть благоразумия есть умение осмысливать воспоминание о прошлых событиях, без какового невозможно понять настоящее и предвидеть будущее, и об этом мы довольно сказали. По воле Господа из всех вещей более всего необходимо выбрать человека по его разуму и нравам, чтобы у тебя был образец доброго образа жизни политика, ибо благодаря доброму образу жизни будешь ты превосходить всякого другого гражданина. Помимо этого общего правила, давая определение в частности, я назвал тебе Отто и Спинелло, и каждый сияет, будучи увенчанным выдающейся доблестью. И они дают начало и основу противостояния тому качеству, которое пятнает большую часть дурных людей и является самым главным пороком нашей республики. Это порок жадности и нелюбви к отечеству, и если ваши сограждане не перестанут стараться, насколько мне известно, превращать его [отечество] в гнездилище всяких мерзостей, то враждебные варвары будут призваны для разрушения ваших земель и людей. И даже если сила худших граждан превысит в этом отношении умолкнувшую справедливость, получится так, что, разорванные силами варваров, не останутся порочные уста безнаказанными. Эта много раз допускаемая безнаказанность становится в разных государствах причиной того, что именно порочные люди выделяются и особенно ценятся в их республиках. Не меньше следует порицать того, кто не достигает степени безумства в своей распущенности, чем того, который предается сумасшествию; Господь Бог порицает не столько безумца, сколько того, кто подает дурной пример народу. Желает Господь, чтобы вернулся твой дед, как суровый мститель за несправедливости по отноше-

нию к Коммуне, поскольку такие обманы и столько незаконно погубленных людей не должны оставаться без праведного отмщения<sup>8</sup>. Так, следуя правилам, изложенным в данной речи, будь благоразумен в той мере, в какой надлежит, чтобы понять то, о чем сейчас сказано.

Та составная часть благоразумия, которую надлежит рассмотреть в настоящей речи, называется «предусмотрительность» (*Providentia*), каковая предназначена для того, чтобы предугадывать вещи, которые должны случиться, с целью принять меры для предотвращения будущих неприятностей и получения наибольшей выгоды от дел процветающих. И поэтому предусмотрительность тесно связана с частью, называемой «память», и без этой памяти, то есть воспоминания, предусмотрительность не может действовать, поскольку по событиям прошедшим мы судим о будущих. Никакое явление не может повториться в изначальном виде во второй раз, но [повторяется] в других условиях, образах, формах и местах, каковые и являются признаками, дающими нам понимание о явлении, и о том, как последовать тому, что нам надлежит сделать. По воле Бога не от знака (символа) проистекает вещь, а от вещи знак. По следам уже прошедших событий следует предусматривать события настоящего; ибо таков ход вещей, что знаки предшествуют явлениям. И вывод, к которому мы пришли здесь, имеет немалое значение, поскольку учит нас предугадывать. Угодно Богу, чтобы в этой книге я показал тебе, как во времена римских раздоров рождались львиные детеныши от человеческих чресл, или в других образах, не менее поразительных: после их рождения следовало умиротворение граждан. Равным образом, если ты хорошо знаешь «Новые истории»<sup>9</sup>, ты можешь убедиться, что не следует слушать тревожных предвещаний дурных предсказателей, например: птицы над войском Никколо, ужасная битва, вызванная ими<sup>10</sup>, а также чудовищный монстр, рожденный на берегах Лукардо в нижнем его течении.<sup>11</sup> Совсем недавно, в декабре 1448 г. в крепости Сан Кашано, в Дечимо родился ребенок с человеческим лицом, но с ослиными членами. И хотя эти события воистину чудесны и даже могут воздействовать на людей впечатлительных, на самом деле они случаются очень редко, и природа не предназначает их для предсказания перемен, обусловленных различными обстоятельствами

Также руководствуйся правилом, что всякая вещь, изначально происходящая от мерзостного истока, будет и к своему концу клониться с отвратительным разложением. Убедись в этом на примере Гваданы, которые всегда находились у истоков потрясений нашей республики<sup>12</sup>, и причиной тому были не жестокие превратности судьбы, а только снедающее их дьявольское беспокойство<sup>13</sup>. Мессер Боккино да Вольгерра избрал Мильоре (Гваданы), чтобы тот помогал ему поддерживать мир, а Мильоре отрубил ему голову.<sup>14</sup> Затем он стал разрушителем правления знатных в нашем городе, когда держали власть Уччоне ди Риччар-

до и Пьеро ди Филиппо, а ведь именно в это время наилучшим образом управлялся наш город.<sup>15</sup> По воле Господа каждый из них искал случая опередить другого в достижении общего блага. И так, не найдется никого, кто мог бы действовать вопреки божественному достоинству, ибо Он в своем священном предвидении всегда увенчает любой грех карой. И об этом очень хорошо сказал наш Данте в своей поэме, приведя идиому, изложенную в рифме: «Небесный меч ни медленно сечет, ни быстро, разве лишь в глазах иного, кто с нетерпением или со страхом ждет».<sup>16</sup>

Был наш город Флоренция управляем Пьеро ди Филиппо дельи Альбицци и Угуччоне ди Риччардо де Риччи, и эти два гражданина в равной степени служили примером для всей республики.<sup>17</sup> Пьеро ди Филиппо был очень любим, поскольку отличался милосердием и всегда оказывал помощь тому, кто его об этом учтиво просил. Уччоне был суров и тверд, и никакое обстоятельство не могло его отвратить от правосудия: ни друг, ни враг не могли заставить его отказаться от правосудия ради сострадания. И хотя они были столь разными по обычаям и образу, их цель состояла в возрастании величия республики: по воле Бога каждый из них стремился превзойти в соревновании славу другого.<sup>18</sup>

Итак, вследствие стремления Уччоне к величию, разделяемого мессером Лапо ди Кастильонкьо и другими гвельфами из его партии<sup>19</sup>, сделалось так, что капитанам партии даны были полномочия, в соответствии с которыми они могли отделять гвельфов от гибеллинов, чтобы режим стал единым как одна душа и воля; показывая, что они добиваются этого, сторонники Уччоне стремились, чтобы их глава оставался единым правителем всей республики. По воле Бога получилось так, что предки мессера Пьеро ди Филиппо и его консортов в прошлом были изгнаны как гибеллины из Ареццо. (Думается, что положение и настрой духа у людей зависят от условий места не менее, чем от их собственной воли. Это видно по всеобщему опыту и становится ясным при наблюдении не только за людьми, но и за животными. Убедись в этом на примере лошадей Апулии, условия [жизни] которых очень отличаются от [условий] наших тосканских [лошадей] из приморских областей. Что делает их столь покорными слугами по сравнению со свирепостью тех, которые происходят из Руеки (*Ruecha*)? И по этому же признаку различаются обычаи людей). Стало известно Пьеро ди Филиппо, что злые козни устраиваются ему в доме Альдобрандини, и, проливая обильные слезы, отправился он к мессеру Томмазо Корсини<sup>20</sup>, каковой был женат на его сестре. И просил помощи советом: как и каким образом найти средство [для спасения]. В ответ на эти мольбы и слезы мессер Томмазо сказал: «О, шурин мой, как хорошо сказал Сенека в письме к Луцилию, в котором он писал, что никакое проклятие не будет худшим предсказанием, нежели то, которое гласит, что ты должен полностью изменить свою жизнь без сопротивления. Я до сих

пор считал тебя человеком выдающимся, а теперь, видя тебя залитым столь обильными слезами, я понимаю, что ошибался. Знай, что поскольку в битвах побеждают люди сильные, таким же должен быть и тот, кто защищает себя от тревог и испытаний. С твердостью подави свои тревоги, и там, где Уччоне и его партия стараются в свою пользу, и ты приложи все усилия и предусмотрительность, стараясь для самого себя. Когда будут утверждать блюстителей новых законов, добивайся, чтобы на каждого одного из партии Уччоне приходились два твоих. Богу угодно, чтобы ту милость, которую ты получал в этой жизни, ты оплатил бы своими заслугами, тогда как известно, что если ты поменяешь место и имя, то изменишь тем самым свое положение и душу».

Если ты усвоил число глав, прилегающих к главной составной части благоразумия, ты смог хорошо понять их из этой короткой речи, поэтому уже достаточно говорить о такой важной части как память или воспоминание, то есть хватит вести речь о прошедших вещах. Итак, желая следовать тому, что требует порядок изложения вещей, нужно обратиться к настоящему. Всякому периоду времени соответствуют три условия, то есть три предела, выражаемых терминами «настоящее», «прошлое» и «будущее»; об этих условиях, образах и периодах времени мы в краткой речи сказали достаточно. Итак, побуждаемые фактом необходимости, то есть, желая исполнить наше намерение, мы обращаемся теперь к той части благоразумия, которая называется «*Heubolia*». Она относится к тому, как надо советовать; наши предки знали ее и пользовались ею, и в достоверных писаниях благородных мужей можно прочитать об истинных испытаниях древних римлян, когда дали достойный ответ послам, присланным варваром Ганнибалом.<sup>21</sup> Ганнибал предоставил римскому сенату право выкупить римлян, захваченных в сражении. Сенат пренебрег предложенным условием, заявив в ответ, что если бы такое множество вооруженных юношей захотело бы с почетом погибнуть, то их бы не захватили [в плен] столь постыдным образом. Относительно этого события я не скажу иного, кроме того, что это было великим позором для тех [кто попал в плен]: раз их родина не может ни в чем на них положиться, следовательно, и враг может ни в чем их не бояться. Поэтому Ганнибал и считал незначительным делом, что они станут вновь против него сражаться. А сенат считал еще менее значимым и ничтожным делом, будут ли они или нет сражаться против отечества. И с таким ответом ушли варвары. Отсюда следует, что всем знатным гражданам необходимо дать совет идти по пути благоразумия вплоть до решимости (*heubolia*) умереть за свою республику.<sup>22</sup>

В большей степени для защиты нашей свободы, чем для обид, чинимых нашему врагу, держим мы наши крепости, разбросанные во многих местах Ломбардии, и по причине немалой важности, по нужде, вызванной войной, мессер Джованни Акуто, капитан наших войск, решил отправиться

в путь, чтобы обсудить с коллегией «Десяти» множество секретных дел.<sup>23</sup> Он вернулся в Сан Антонио внутри стен Фаэнцы. Этот выдающийся человек рано утром явился беседовать с нашей коллегией «Десяти»: ведь много раз этот капитан посылал сообщения, но сам он не получал никаких известий от «Десяти». Он не пришел бы, если бы не был тем, кто заботится о нашем благе. Случилось так, что уже несколько дней этот благородный воин не имел обычного визита [посланца от «Десяти»] и не получил никаких известий. Поэтому, побуждаемый тревожным удивлением, он сам отправился с визитом к «Десяти». И сказал, что прошло уже много дней, а он не имел никакого известия от своих шпионов, и это представляется ему скорее невероятным, чем возможным, поскольку он видит, что война сурова и опасна настолько, насколько это возможно между столь могущественными сторонами, и чревата гибелью многих людей. Затем, умолчав о своих опасениях, он спросил у «Десяти», каковы новости. Те ответили, что новостей нет, но что они очень опасаются, поскольку Джованни д'Аццо достиг Сиены<sup>24</sup>, имея 600 всадников, и это является дурной новостью и вызывает у них большой страх. От этих сообщений знаменитый капитан пришел в волнение и после нескольких слов сказал: «С того времени, как я перевалил горы, не находилось человека столь выдающегося, который хотя бы дал мне понять то, о чем вы сказали, а именно, что вы придаете мне так мало значения. Приготовьтесь же выдерживать трудности не малые, но неисчислимы. Поверьте мне, что не пройдет много времени, как я покажу вам, что у него [Джованни д'Аццо] будет 1000 копий, лучших из тех, которые есть у вашего врага, чтобы вы его еще более оценили». И, действительно, заявление, сделанное капитаном, оказалось истиной, потому что в короткое время он прибыл в Сиену с более чем 600 всадниками. Из-за этих опасных обстоятельств указанные «Десять» вместе со всеми, кто управлял, очень испугались: по причине этого страха провели много военных советов. Видя, что никакой из созванных советов не указывает средства спасения республики, решили упомянутые «Десять» призвать граждан, не находящихся в правительстве, объясняя это тем, что по их суждению, для городского управления кончились блага фортуны, и надо узнать мнение людей [призванных], уповая на милость Божью, ибо если она отступает, то все становится другим.

Среди этих призванных в большом числе граждан находился и наш гражданин, которого звали Маффео де Либри. Он был искусен в самых изощренных предсказаниях, и у него спросили совета. И он ответил, что следующей ночью, во время первого сна, они должны принять некоего Маттео-чистильщика, а чтобы он появился, они позовут его, и он придет на их голоса и даст тогда совет наилучший и спасительный для их республики. И все было сделано, как сказано, и послали «Десять» за вышеупомянутым Маффео, каковой повернулся



к чистильщику, сказавшему ему: «Пиши». И затем тот сказал: «Синьор мой! Если умирать по 100 раз на дню естественно для вас, то я стремлюсь только к тому, чтобы моя смерть спасла вас от злой судьбы. Извещаю вас, что задумано презренное предательство одним из ваших кондотьеров; и как только вы ступите на дорогу, ведущую во Флоренцию, вас предадут смерти. А поскольку мое сообщение очень секретное, а от грозящей вам опасности надо скорее защититься, не ищите более [доказательств заговора], ведь через некоторое время вы обо всем узнаете». После написания письмо было отдано шпиону, который, как только открылись ворота Сиены, передал его лично в руки самого мессера Джованни. Он был на коне со всем своим отрядом и готов пройти все наши земли, но задержался по вышеупомянутым доводам, и мы спаслись от неминуемой и смертельной опасности. Знай, о Джино, что этот Маттео был молочным братом указанного капитана. Я не хочу сказать ничего другого, кроме того, чтобы ты ценил людей, которые находятся ниже круга вашего правления, но могут быть сведущи в таких вещах, в каких не сведущи вы. Процветание же порождает гордость, а нужда — кротость. Итак, знай, что добродетели присущи не гордым, но кротким и мягким.

Поскольку предусмотрительность очень способствовала нашему спасению, поэтому она необходима каждому знатному гражданину, как для него самого, так и для свободы республики. О том, что она была в обычае древних, свидетельствует мудрый варвар Ганнибал. Этот лютый враг всей провинции Италии проявил предусмотрительность; пребывая в морях близ Сицилии и видя огромный флот римского народа, а также и многочисленное войско, направляющееся для вторжения в Африку с надеждой разгромить силы карфагенян, Ганнибал не просто догадывался, но точно знал [об этих действиях римлян]: но, несмотря на это знание, он счел наиболее спасительным средством вступить в сражение. Вступив в битву и будучи разбит, Ганнибал оказался в отчаянном положении, ведь получилось так, что этот хитроумный человек спасся с небольшим количеством людей.

Ганнибал изучил извращенные обычаи варварского народа и проявил в политике мудрость, продиктованную изначальным благоразумием. Благодаря этому обстоятельству, он решил положиться на свои политические предвидения; и потому призвал одного очень опытного и доверенного человека, умеющего сделать вид, что он не знает того, что знает. И этому варвару он поручил посольство и отправил его в Карфаген, чтобы он мог в действительности осуществить совет и сказать о поражении варварскому сенату. И тот, прибыв в Карфаген, держал речь таким образом, сказав: «Синьоры карфагеняне! Если бы Ганнибал видел флот римлян, направляющийся сюда, чтобы захватить вашу Африку, то какое средство показалось бы вам наилучшим: сражаться или стоять и смотреть, в какой степени ваша судьба будет благосклонна к римским завоеваниям?» В один голос

варварский сенат прокричал: «Пусть сражается! Ибо того, кто дерзает, фортуна часто делает победителем, а трусость производит такой переворот, при котором процветание превращается в скорбь!» И на эти возгласы посол с великой дерзостью крикнул: «Молчите же, ибо Ганнибал осуществил свое намерение согласно вашей воле и был разбит!» И благодаря такой осмотрительности, или, лучше сказать, хитрости, карфагенянам пришлось закрыть рот, и Ганнибал был спасен от ярости этих варваров. Следовательно, и знатным гражданам, которые держат в своих руках руководство республикой, очень полезна эта добродетель, то есть предусмотрительность в управлении собой и другими, ибо является средством спасения от тревожных сомнений, что они могут быть подвергнуты ярости народной.

Во владении Персией наследовал Киру его сын Камбиз, каковой, испугавшись мрачного сновидения, поручил Комифу (Comithe), своему лучшему другу, умертвить Мерджи (Mergî), своего брата, а затем сам себя убил, терзаясь виной, как убийца.<sup>25</sup> Поскольку погиб Мерджи, Хоропаст (Horo-paste), его брат, стал царем. Но некий перс по имени Орфани (Orthani), человек знатный, возымел подозрение, что этот вновь избранный не был настоящим царем. Испытывая сомнение, он обратился с просьбой к одной из своих дочерей, которая состояла в числе царских конкубин (наложниц) проверить, является ли этот царь истинным сыном Кира. Не получив вразумительных сведений, он подучил ее, чтобы, как только царь заснет, она проверила, имеются ли у него на голове уши, ибо Камбиз ему их отрезал. И после того, как это было проверено, он публично объявил, что это не настоящий царь. Из-за столь жестокого обмана вельможи Персидского царства убили Хоропаста.

Далее случилось так, что, оставшись без царя и опасаясь быть обманутыми в избрании нового царя, они доверили религии удостоверять его законность, а также решили положиться на судьбу, однако, с весьма важным условием: каждый из могущественных вельмож пусть пошлет коня на главную площадь города, и чей конь заржет первым, то его хозяин и будет тем, кого признают как истинного царя. Столь знаменательное условие возложили на лошадь не без соответствующей причины, поскольку персы считали, что кони были посвящены солнцу, каковое они почитали как истинного Бога. Среди этих вельмож был Дарий, сын Гиптаза, а тот, который правил его конем, ближайшей ночью, предшествующей назначенному для испытания дню, привел в указанное место кобылу и укрыл ее неподалеку от того места, где должен был стоять его конь. Итак, в назначенный день собрались все лошади с их всадниками, и вышеуказанный конь, встав на то место, где он стоял накануне вечером, сразу испустил многократное ржание. И благодаря проявленной им предусмотрительности, Дарий из обычного гражданина сделался царем Персии. Ясно, насколько полезно обладать рассматриваемой добродетелью, ведь

именно поэтому Дарий из обычного гражданина поднялся до состояния царского величия. Равным образом, по той же самой причине, следует помнить, что каждый знатный гражданин должен иметь человека, которому он мог бы доверить свои намерения, ибо, если он не знает каких-либо вещей, другой мог бы вразумить его.

Не менее, чем древние римляне, этой добродетелью предусмотрительности обладают и наши граждане. Об этом открыто свидетельствует нам хитроумная прозорливость нашего благородного кавалера мессера Мазо дельи Альбицци<sup>26</sup>. Он сумел найти средство при проявлении коварной дерзости Бонаккорсо<sup>27</sup>, когда тот стал возбуждать мятеж против древнего подчинения людей из Вальдамбры, которым они были обязаны Рикасоли, и решил оказывать покровительство тем, кто желал выступить против этой обязанности. Главой мятежников стал аббат этой местности, действующий в пользу Бонаккорсо, который обещал поддержку вышеназванному аббату. Побуждаемый злыми устремлениями, чтобы больше опорочить род Рикасоли, под предлогом охраны его [аббата] безопасности, потребовал Бонаккорсо у нашей Синьории стражника. Однажды темной ночью с величайшей наглостью сын этого Бонаккорсо с некоторыми домочадцами стали избивать этого стражника. И они вопили при этом громкими голосами: «Карло, дай ему!»<sup>28</sup> Отомстим за козни этого аббата!» Они также добавляли: «Скажи Бонаккорсо, чтобы он облегчил их [побои] тебе!» И с этими криками они избивали стражника, а также не пощадили и аббата, которому не оставалось ничего другого, как терпеливо сносить это ради вреда, наносимого Рикасоли.

По всему городу этой ночью стали кричать, что Карло ди Рикасоли избил человека Синьории. Когда столь опасная клевета дошла до ушей Карло, он бросился в Палаццо и умолял, чтобы во имя Господа Синьория не оставила без внимания такую подлую несправедливость. И добавил, что он всегда питал уважение к городскому управлению, и немалой тому причиной было их благородство, а то благородство, которым они обладают, свидетельствует и о благородстве республики. Эта жалоба вызвала у нашей Синьории двойной гнев и негодование, причем как у синьоров, так и у сената. Итак, возмущенный столь злыми преступлениями, весь народ выступил с враждебными угрозами, которые пугали даже невиновных.

Итак, Бонаккорсо, напуганный этими ужасными выкриками, со слезами на глазах и скорбью на устах, с глубоким поклоном просил у доблестного кавалера [Мазо дельи Альбицци] помощи и совета, обнаружив свою безумную дерзость. Доблестный воин ответил: «Все болезни, которые гнездятся в теле человеческом, можно вылечить, за исключением зверства. И это очень хорошо доказал Христос, ибо умирая, он одарил светом слепых, вернул слух глухим, а также выпрямил павших, но ничего не сказано о том, что он вылечил хотя бы одного безумного, а ты никто иной как безумец и остаешься таковым. Иди, ожидай

меня в Палаццо». И придя следом за Бонаккорсо, этот кавалер предложил синьорам в немногих словах следующее условие: «Синьоры, я не знаю, как лучше рассудить, то ли говорить об этом чудовищном оскорблении, нанесенном всей республике, то ли лучше молчать о нем, поскольку не имеется никакого в законном порядке установленного средства, чтобы обнаруживать преступных людей. Возьмите на себя труд установить, что если кто-нибудь разоблачит злостное преступление, то пусть общий для всех высший закон предписывает, чтобы никто не мог ничего предпринять против разоблачителя». Сделав это предложение, он добился его принятия, утвержденного нотариусом, и вышел. И по его совету выступил Бонаккорсо, раскрыл весь заговор, и благодаря этому спас своего сына; компании готовились выслать его как возглавившего заговор. Заметь, Джино, что таковая предусмотрительность не умалила расположения к отцу и не сделала более суровым осуждение сына<sup>29</sup>.

Это условие доблести — решить то, что следует сделать, и древние считали это своей обязанностью, как свидетельствуют об этом их великие авторы. Согласно тому, что я прочитал у древних нотариусов, в старом законодательстве города Афины, при освобождении раба, или лучше сказать, при обнаружении его свободы в судебной тяжбе победил хозяин, чьим рабом он являлся, благодаря только тому, что раб проявил неблагодарность в ответ на такой дар, каким явилась предоставленная ему свобода. И руководствуясь фактом этой неосознанности, судья решил, что раб не будет более гражданином, раз он столь дурно ценил такое великое благо, как данная ему свобода. Также следовало из этого процесса, что никоим образом нельзя думать, будто станет полезным гражданином тот, который столь мерзко ведет себя в своем доме. «Итак, выйдя отсюда, ты снова станешь рабом, потому что ты не умеешь быть свободным, и не заслуживаешь этого».

По воле Господа я признаю то, что, как утверждают некоторые, этот случай относится скорее к юстиции, чем к благородию, и полагаю, что нельзя двигаться дальше вперед, не разрешив имеющегося сомнения. Я утверждаю, что тяжба, безусловно, является обязанностью правосудия, но воздаяние за неблагодарность — это уже условие благородия (*senesis*)<sup>30</sup>. Поэтому, позаботься о том, чтобы твои решения по большей части соразмерялись с властью неких запретов, налагаемых благородием. Если ты хорошо понял, ты согласишься, что благородие и есть та добродетель, обладая которой, человек будет иметь и благо правосудия и благо здравомыслия. И *eubolia* есть составная часть благородия. Следуя этому, принимай решения, во всем обусловленные предусмотрительностью, а не одним лишь только правосудием, хотя одна добродетель и предусматривает другую. Но в другом месте ты поймешь это более основательно, поскольку я раскрою тебе смысл, и особенно там, где речь пойдет о добродетели, прозванной *senesis*.

Народ города Тира вел свое происхождение от финикийцев. Эти финикийцы, побуждаемые непрерывными землетрясениями, покинули свое отечество и пошли обитать на сирийское побережье, устремляясь к тому морю, которое окажется ближайшим. В этом месте заложили они город, который назвали Сидон. Это название проистекает от величайшего избытка рыбы, поскольку этим словом финикийцы обозначали рыбу — «Sidon». Затем, спустя многие годы, царь Скалонниере вынудил их выйти в море, чтобы сменить страну и место обитания, на новом месте они основали город Тир. И это произошло за год до того, как была разрушена Троя. И в этом месте благодаря счастливой фортуны они стали победителями во многих войнах с Персией.

Случилось, однако, так, что стали приходиться в упадок горожане [Тира], и оставшиеся были жестоко умерщвлены их рабами, которые имелись у них в величайшем переизбытке. Овладев городом, рабы узурпировали жен и произвели на свет свободных сыновей там, где отцы были рабами: в этом восстании рабов оказался лишь один, движимый милосердием к своему господину, поскольку тот относился к нему, как к своему сыну, по каковой причине раб не убил его, но, наоборот, спрятал как можно более потаенно. Предав всех остальных [рабовладельцев] очень жестокой смерти, решили рабы отказаться от республиканского способа правления и избрать нового царя, но с условием: кто первым увидит встающее солнце, тот и будет новым царем. И это условие стало известно Стратону [тому, кто был спрятан своим рабом]. «Смотри на запад» — сказал Стратон. Все остальные полагали, веря не без посредства глупости, что солнце пойдет скорее в противоположную сторону, чем в сторону своего рождения. Когда настал назначенный день, этот раб с очень высоких домов показал небесный блеск. Столь совершенная очевидность не свойственна была множеству дел, творимых рабами. Наученный устами того, кто знал природную доктрину, раб объяснил, что все узнал от своего господина. Этот факт доказывает, что рабы могут быть побеждены хитростью, мудростью и благоразумием господ. Итак, вследствие мятежа рабов, Стратон стал царем, а за ним наследовали царское достоинство его сын, потом и внук.<sup>31</sup> Ты убедился, что эта добродетель благоразумия делает горожан царями, отсюда следует, что необходимо быть благоразумным, потому что, если ты будешь таковым, ты станешь справедливым, сильным и храбрым.

О, сколь заслуженно будешь порицать меня ты, Джино, если я оставлю благоразумные предвидения наших граждан, чтобы заняться тайными поступками людей, вызывающими омерзение. Итак, чтобы не давать тебе поводов к осуждению, я не стану судить о том, что на самом деле является клеветой, но я не собираюсь умалчивать о великих делах благородного рыцаря дельи Альбицици<sup>32</sup>. Я утверждаю, что на незаконных основаниях случилась война между нашей республикой и королем

Владиславом, которую осуждали многие горожане<sup>33</sup>. И особенно ее ненавидели знатные граждане из гвельфов, на стороне которых находился и вышеуказанный кавалер. К этому большинству примешался и Бонаккорсо Питти с братьями, надеясь, благодаря этому делу, сделаться у нас своим и оказаться в числе знатных, или заручиться у них поддержкой. По обнаружившемся факту злословия все облеченные властью, побуждаемые людьми из фамилии Рикасоли, заставили Экзекутора<sup>34</sup> схватить Бонаккорсо и Бартоломео с намерением лишить их головы: и известие об этом распоряжении дошло до благородного кавалера. Этим благородным воином был извещен [Бонаккорсо], которому было сказано, чтобы этим вечером он шел в добрый час домой и ничего не предпринимал для защиты, поскольку будет взят [под стражу], но как только это случится, пусть поскорее известит его и ничего не боится. И Бонаккорсо подчинился всему тому, о чем был предупрежден. Когда поздним вечером он был схвачен, женщины его дома были подучены, чтобы утром со всеми детьми, с кормилицами и с младенцами (а если своих не имеется, то должны позаимствовать у соседей) идти в церковь Сан Пьеро Скераджо в назначенный час. В каковой церкви они обнаружат большое количество собравшихся сограждан, у которых с воплями и скорбными возгласами должны просить милосердия. А когда окончатся их слезные жалобы, достойный кавалер все приведет к доброму концу.

Все было исполнено, как приказано. Утром в положенный час большое число облеченных властью и с ними указанный кавалер услышали жалобы женщин и плач детей, которые вымаливали милосердие для их мужей. И когда они кончили вопить, благородный кавалер сказал несколько слов, а именно: «Синьоры квириты! Никакое обстоятельство не кажется мне более незаконным, чем желание идти против законов природы, поэтому не защитит невинность наших сограждан представляется мне недостойным делом. Ведь никакое другое явление не может быть столь опасным для республики, как наказание одного за вину многих. Вы знаете, что народ придерживается двух противоположных мнений: поэтому может случиться так, что если те погибнут, то все знатные будут поставлены под удар и особенно ортодоксальные гвельфы, от которых зависит все величие республики. Следуя этому столь естественному заключению, я прошу вас всех выступить в их защиту».

Согласившись, все квириты вместе пошли в Синьорию, и там стали заступаться за арестованных; а мессеру Ринальдо Джанфильяцци, достойному кавалеру, поручили сказать за всех: он славился своей великой справедливостью и больше всех сделал для ареста тех [Бонаккорсо и его сына Бартоломео]<sup>35</sup>. Женщины [из дома Питти], напуганные этим обстоятельством, со слезами на глазах стали жаловаться мессеру Мазо. На что кавалер сказал: «Сдержите ваши опасения и предоставьте мне действовать ради освобождения ва-

ших мужчин. Если уж их недруг выступает за их спасение, то друг не выскажется за их погибель». Итак, пришедшие в Палаццо [Бонакcorso Питти и его сын Бартоломео] были посланы Синьорией к Ректору, который их освободил, и закончим теперь говорить об этом. Трудно сказать, насколько одно превышает другое: прославленная справедливость кавалера, или неблагодарность к нему, проявленная в тридцать четвертом году.<sup>36</sup> Служи, но берегись дерзких выскочек.

*Giopomin* есть род добродетели, который позволяет судить некоторым образом за пределами общего обычая, но в частности о различных способах и о различных случаях и доводах. Известен пример того, что случилось с персидскими женщинами. Персы вели тяжелые войны с мидянами, в ходе которых народы решились выйти на битву. Итак, как с одной стороны, так и с другой были выведены люди к сражению; но, как всегда бывает с явлениями, подвластными фортуне, одна сторона оказалась сильнее, а другая слабее, поэтому персы были разгромлены и обратились в бегство. Их женщины, видя столь безнадежное бегство от ударов их фортуны, обратились к этому качеству — *Giopomin* более, чем к хитрой предосторожности. Они выбежали из города, стали поднимать на себе одежды и наиболее постыдные части тела показывать этим беглецам. Они кричали громкими голосами: «О, вы, которые мало похожи на мужчин, идите же в наши чресла, откуда вы вышли, а нам предоставьте сразиться с мидянами!»<sup>37</sup> И это столь мерзкое посрамление заставило воинов повернуть назад и из побежденных превратиться в победителей. Это и есть суждение о той составной части благоразумия, которая называется *giopomin*. И поэтому ты, Джино, накапливай все эти случаи и держи их в уме, а когда возникнет у тебя нужда, ты и воспользуешься ими; ибо ничто не понимается само по себе, но все лишь в сравнении.

До этого мы вели речь о спекулятивном благоразумии, каковое для молодых представляет род принципа, слишком запутанного, поэтому будет полезно написать в краткой речи о благоразумии практическом, которое также молодым необходимо. Постольку в практической жизни людей и молодые становятся опытными, поскольку они приобретают [опытность] благодаря доктрине не меньше, чем благодаря публичной школе.<sup>38</sup>

Главный принцип: всегда держать в уме человека, который в толпе народа выделяется лучшими качествами, и смотреть, чем он отличается от других, действующих на практике. Когда он посоветует тебе не быть среди первых, значит, постарайся оказаться в числе последних. Сделать так следует по той причине, чтобы ты понимал, о чем говорят другие, а другие не могли бы понять, что у тебя на уме. Таким способом можно стать более внимательным, но не в меньшей степени следует слушаться наставляющих тебя: оба условия дают прекрасную возможность завоевать уважение среди людей и овладеть искусством речи. Когда ты займешь достойные должности в республике,

более всего стремись понимать то, о чем говорят, поскольку тот станет добрым танцором, кто скорее научится понимать музыку, чем легко прыгать. То же самое требуется от тебя и от других в искусстве управления республикой: более полезно научиться понимать, чем уметь отвечать. Ведь часто случается так, что ответы приносят неприятности, а не благо. Следуя правилу разумного молчания, тебе не часто придется поступать против твоей совести.

Не стремись устанавливать налоги.<sup>39</sup> Не стремись быть продавцом благ, которые тебе не принадлежат<sup>40</sup>. Избегай отягощать какую-либо персону. Бери в жизни пример с тех, кто сохраняет репутацию наиболее достойных и благородных, они-то ведь не стремятся стать оценщиками благ, принадлежащих другим. Не противопоставляй себя воле народа. Люби народ, почитай знатных. Будь добр к злым и люби добрых. Водись со стариками и избегай мерзостей молодежи. Не добивайся той вещи, обрета которую, ты поймешь, что она тебе не нужна. Все происходящее обдумывай как можно лучше. Превыше всех благ люби республику. Не суди о том, чего не знаешь. Отдыхай от дел, но без чрезмерных удовольствий. Говори мало, но разумей много. Если ты не будешь хвастуном, то не станешь и лгуном. Если будешь смеяться прежде других, то другие станут насмехаться над тобой: ведь безумен тот, кто подставляет себя, чтобы доставить развлечение другим. Не страшись угроз и не надейся на месть. Избегай гневных слов. Стремись быть великодушным. Не лови рыбу, чтобы самому не быть пойманным. Бесчестные слова равны грязным поступкам. Старайся избегать нечистой наживы, также как и незаконных трат. Всегда делай больше, а говори меньше. Тот на самом деле является живым, кто живет добродетельно, а кто живет иначе, тот все равно, что мертвец. Не может быть ничего хуже того, чтобы при жизни стать мертвецом. Не заботиться ни о чем есть верх безумия. Ешь и пей столько, чтобы поддерживать жизнь, но не подчиняй жизнь тому, чтобы только есть и пить. Кто ничего не делает, тот убивает в себе всякий талант. Постарайся, чтобы несчастье другого не доставляло тебе радости. Говори так, чтобы быть приятным, но никогда не делай ничего противозаконного. Недостаток другого, если он имеется, постарайся не заметить, и никогда ничего не порицай в другом человеке. Тщетно требовать милосердия у того, от кого ожидаешь наказания. Никогда не желай сделать другим то, чего бы ты не хотел для себя. Кто обучает, тот учится. Кто не учится, тот забывает. По воле Бога все вещи, которые имеют начало, имеющее начало, ожидает конец. Значит, и мне следует замолчать после стольких наставлений. Я полагаю, что и с имеющимися поучениями ты сможешь в достаточной степени понять, в чем состоит значимость добродетели благоразумия применительно к искусству управления республикой. Теперь следует приступить к новому трактату о том, в чем значимость добродетели правосудия.

## КОММЕНТАРИЙ

1. Краткая речь достигает неба.
2. Имеются в виду античные философы и, прежде всего, Аристотель.
3. Кавальканти ошибочно приписывает это письмо Сенеке, хотя этот философ высказывал подобные взгляды.
4. Имеется в виду молодой Джинно ди Нери Капони, представитель знатной семьи, входящей в круг правящей олигархии, которому Кавальканти посвятил свой морально-политический трактат.
5. Спинелло — видный флорентийский юрист, который жил в конце XIV в., и по его инициативе была нанята «Компания Сан Джорджо» — военный отряд под командованием кондотьера англичанина Джованни Акуто (Джон Хауквуд). Она считалась одной из сильнейших в Италии 70-80 годов XIV в.
6. Оттобона — Альдобрандино дельи Оттобони — известный и влиятельный старейшина-анциан во Флоренции 50 годов XIII в. Описываемые Кавальканти события произошли в 1256 г. после войны Флоренции с Луккой. Об этом эпизоде рассказывал хронист Джованни Виллани (1274-1348 гг.) в «Новой хронике»: Виллани указывает сумму, с помощью которой пытались подкупить доблестного анциана — 4000 флоринов, тогда как он «не располагал большим богатством». Виллани одобряет поступок Альдобрандино Оттобони не менее, чем Джованни Кавальканти: «поступил как честный и добропорядочный гражданин», «проявил великую воздержность и преданность своей Коммуне», «должно лелеять память о его достоинствах», «образец... как надо хранить верность Коммуне и предпочитать добрую славу преходящему богатству». После смерти ему соорудили надгробие в церкви Св. Репараты на общий счет, чтобы «из благодарности почтить его память». Когда во Флоренцию вернулись победившие в 1260 г. гибеллины, они приказали извлечь из гробницы останки, покоившиеся там уже три года, протащить их по городу и бросить в сточную канаву, поскольку Оттобони были верными приверженцами партии гвельфов (см.: 1, с. 172-173).
7. Виллани не указывал на то, что флорентийцы спрашивали мнения жителей Лукки.
8. Джинно ди Нери де Капони (1350-1421 гг.) — выдающийся политический деятель Флоренции начала XV в., администратор, военный, дипломат. Внес большой вклад в дело завоевания Пизы, которую Флоренция окончательно присоединила в 1406 г. Он приходился родным дедом Джинно Капони, которому Кавальканти посвятил свой трактат. В этом фрагменте впервые встречается резкая критика недостатков коммунального режима, которые автор негласно связывал с политикой правящей фамилии Медичи.
9. Современные историки признают Джованни Кавальканти автором трех сочинений: самое раннее из них «Истории Флоренции», затем следуют «Новые истории» или «Новые труды», затем «Морально-политический трактат», никак не озаглавленный автором, глава из которого здесь приводится. В «Историях Флоренции» Джованни Кавальканти прославлял «божественного Козимо», тогда как в «Новых историях» резко осуждал его за установление тиранического режима и посягательство на флорентийскую свободу, заявляя, что прежние похвалы относятся к народу Флоренции (см.: 4; 5).
10. Никколо да Толентино — кондотьер, находящийся на службе у герцога Миланского.
11. Рождение монстров истолковывалось как предвестие несчастий у многих хронистов Флоренции (см.: 6).
12. Мильоре Гваданы (1342-1383) — богатый владелец боттег по производству шерсти. Играл видную роль в руководстве гвельфской партии в 70 годы XIV в. Как и другие архи-гвельфы подвергал людей аммонциям (осуждениям по подозрению в гибеллинизме), что влекло за собой запрет занимать государственные должности или высылку. О его деятельности в качестве одного из капитанов Партии см.: 7, Rubr. 775. Он был выслан из Флоренции в 1378 г. во время восстания чомпи.
13. Возможно, автор имеет в виду политические интриги в 70 годы XIV в., когда за власть в городе ожесточенно боролись кланы Риччи и Альбицци. Мильоре Гваданы находился на стороне Риччи и, став гонфалоньером справедливости в 1372 г., принял ряд установлений против Альбицци: чтобы на протяжении 5 лет никто из Альбицци не мог занимать государственные должности и другие (см.: 7, Rubr. 733).
14. Боккино де Бельфорте (или Бельфредотти) правил Вольгеррой, когда город был захвачен Флоренцией в 1362 г. Мильоре Гваданы назначили туда на должность подеста, и вскоре он приказал обезглавить Боккино де Бельфорте.
15. Пьеро ди Филиппо Альбицци (ум. в 1379 г.) занимал ведущие позиции в руководстве Партией гвельфов наряду с Лапо ди Кастильонкьо и Карло дельи Строчци. Закон 1358 г. об аммонциях, дающий капитанам партии почти неограниченное право любого человека заподозрить в гибеллинизме и подвергнуть репрессиям, породил тенденции к установлению диктатуры Партии в обществе. Это вызывало ненависть к заправилам Партии среди флорентийских граждан. В 1372 г. он был отстранен на 5 лет от участия в государственном управлении (установления Мильоре Гваданы). В 1378 г. он был выслан из Флоренции восставшими чомпи, а в 1379 г. обезглавлен как участник заговора, целью которого была передача города в руки герцога Карло Дураццо. Угуччоне ди Риккардо де Риччи (ум. в 1383 г.) — представитель рода «новых граждан», то есть, возможно, недавних выходцев из контадо. Семья не отличалась значительным богатством. Риччи подчеркивали свои пополанские позиции. Вопреки заверениям Джованни Кавальканти о пренебрежительном отношении к богатству, принципиальности, твердости характера Угуччоне де Риччи, тот пошел на союз со своими врагами Альбицци, будучи просто подкуплен Пьеро ди Филиппо Альбицци. Риччи искал возможности поправить пошатнувшиеся во время кризиса 1371 г. финансовые дела своей семьи. Циничный альянс Риччи с Альбицци, которым он столько лет противостоял в оппозиции, вызвал негативный резонанс в обществе. В 1372 г. Угуччоне Риччи был отстранен от участия в коммунальном правлении, в 1375 г. этот срок был продлен для него на 10 лет. В 1383 г. он умер в бедности (см.: 7, Rubr. 730-731).
16. См.: 2.
17. Джованни Кавальканти идеализировал не только образы Пьеро ди Альбицци и Угуччоне Риччи, но и период 1350-1378 гг., в течение которого им приходилось действовать. Флорентийская республика переживала в это время далеко не лучшие времена: засилье капитанов гвельфской партии, закон 1358 г., аммониии многих граждан, достаточно обратиться к хронике М. Стефани, который являлся современником описываемых событий (см.: 7, Rubr. 775, 776, 778, 779, 781).
18. М. Стефани придерживался другого взгляда. Он подчеркивал, что оба политика стремились к усилению личного влияния на государственные дела, причем добивались этого весьма недостойными способами, оказывая нажим на Синьорию, запугивая аммонциями членов Советов и угрожая им. См.: Stefani M. Cronaca fiorentina. Rubr. 730-731. Описываемая Кавальканти ситуация имела место в 1354 г. Однако в отличие от Кавальканти, который считал гибеллинское происхождение Альбицци установившим фактом, Донато Веллутти и Маркбонне Стефани утверждали, что это были лишь слухи, распускаемые Риччи (см.: 7, Rubr. 665; 8, p. 243).
19. Лапо ди Кастильонкьо (ум. в 1381 г.) — один из капитанов партии гвельфов, оказывающий значительное влияние на дела в республике в период с 1350 по 1378 гг. Выходец из очень знатной семьи грандов. Он был образован, сведущ в классической литературе, учился в Болонском университете и имел диплом юриста. Он был сторонником Альбицци, а не Риччи — в данном случае Кавальканти допустил ошибку.
20. Возможно, имеется в виду мессер Томмазо ди Дуччо Корсини, юрист со специальным образованием, известный знаток законов.
21. Ганнибал (247 / 246 — 183 гг. до н. э.) — карфагенский полководец, который прославился своими решительными действиями во Второй Пунической войне, нанеся несколько поражений римской армии, в том числе и при Каннах (216 г. до н. э.), вторгся в Италию, угрожал Риму. В 202 г. до н. э. потерпел поражение от римлян в битве у местечка Зама, после этого Карфаген утратил значение великой державы. После неудачной попытки провести в Карфагене демократические реформы, Ганнибалу пришлось покинуть Африку. В 183 г. до н. э. Ганнибал отравился в Вифинии, когда Рим потребовал его выдачи. Сведения по римской истории

- Джованни Кавальканти черпал главным образом из морально-философского труда Валерия Максима (первая половина I в. н. э.), который назывался «Достопримечательные деяния и высказывания» в девяти книгах и был посвящен императору Тиберию.
22. «Neubolia» – термин Аристотеля.
23. Под «нашим врагом» имеется в виду миланский герцог Джангалеаццо Висконти, с которым Флоренция вела войну с 1390 по 1402 гг. Джованни Агуто (Джон Хауквуд, ум. в 1394 г.) – ранее упоминаемый здесь кондотьер, который находился на военной службе у республики Флоренции с конца 70 годов, а к началу 90 охранял флорентийские крепости на территории Ломбардии. Коллегия Десяти (полное название «Баляя Десяти войны») – чрезвычайный орган, избираемый во Флоренции на время войны, состояла из десяти членов, наиболее авторитетных в обществе. Коллегия несла ответственность за проведение военных действий, снабжение войск, найм новых военных отрядов, ее полномочия были очень широки. Кондотьеры отчитывались непосредственно перед этой коллегией.
24. Джованни д'Аццо дельи Убальдини (ум. в 1390 г.) – выходец из очень знатного феодального рода Убальдини, обширные земельные владения которого до XII в. находились в контадо (округе) Флоренции. С начала XII в. коммуна Флоренция вела войну с синьорами этого дома, которой суждено было растянуться на столетия, несмотря на то, что все их замки в округе Флоренции были снесены по постановлению коммуны. Представители этого рода обычно служили врагам Флорентийской республики, в данном случае они находились на военной службе у Миланского герцога Висконти, а ранее, у его союзника Франческо II да Каррара, герцога Падуи.
25. Кир II Великий – персидский царь, правил с 558 по 529 гг. до н. э., основал мощную персидскую державу. Описание его жизни принадлежит Геродоту. Историю о наследниках Кира II автор почерпнул из сочинений Геродота. Дарий I (522 – 486 гг. до н. э.) – персидский царь, который укрепил созданную Киrom II огромную державу. В сфере внутренней политики он усовершенствовал административный аппарат, упорядочил взимание налогов, ввел устойчивую монету (дарики), строил дороги и каналы, образовал сильное боеспособное войско. Во внешней политике пытался завоевать Северную Грецию и предпринял наступление на Афины, где его войско потерпело поражение в 490 г. до н. э. в знаменитой битве при Марафоне.
26. Мазо дельи Альбицци (ум. в 1417 г.) – один из крупнейших олигархов Флоренции в период с 1382 по 1434 гг. Он в течение 35 лет постоянно находился у руля власти, занимая государственные должности, как и другие представители прославленного «триумvirата» Альбицци-Каппони-Уццано. При сохранении значения всех республиканских структур внутри их распоряжались главным образом члены этих фамилий. «Золотым веком» флорентийской олигархии не уставали восхищаться последующие историки, в частности, через 100 лет Франческо Гвиччардини. Мазо дельи Альбицци сплотил вокруг себя 70 оптиматов, пользуясь огромным уважением всех граждан города за твердость, сдержанность, умение стойко переносить несчастия (в гербе Альбицци – рыба, как символ молчаливого терпения). Кавальканти делает Мазо дельи Адьбицци и его сына Ринальдо благородными героями Флоренции в противовес Медичи, которых он ненавидел (эта фамилия ни разу не встречается на страницах трактата). Моущество семьи было уничтожено в 1434 г. Козимо Медичи Старым, который выслал из города Ринальдо ди Мазо дельи Альбицци и его консортов.
27. Бонаккорсо ди Нери Питти (1358-1434 гг.) – выходец из знатной, но небогатой семьи, отчаянно стремящийся удержаться в рядах правящей олигархии, что далеко не всегда ему удавалось по причине дерзости духа, авантюризма и неконформизма, которые всегда его отличали. Кавальканти не указывает, за что конкретно он так ненавидел Бонаккорсо Питти. Они принадлежали к одним и тем же кругам и даже входили в одну политическую группировку, выступающую против войны с неаполитанским королем Владиславом. Сам Бонаккорсо Питти в своей «Хронике» не упоминает о Джованни Кавальканти. Неудивительно, что Бонаккорсо Питти снискал ненависть не только со стороны Кавальканти, подобные же чувства питал к нему Никколо Уццано – виднейший флорентийский олигарх, трезвомыслие, сдержанность и спокойствие которого вошли во Флоренции в поговорку (см.: 3).
28. Бонаккорсо Питти в своей Хронике описывает этот эпизод иначе, хотя и не скрывает, что имел в этом деле личную заинтересованность: аббат Вальдамбры дал поручительство в том, что после его смерти его церковный бенефиций перейдет к одному из сыновей Питти. Однако, желая показать себя в лучшем свете, он утверждает, что аббат монастыря Сан Пьеро Руота в Вальдамбре был ложно обвинен Рикасоли как глава заговора, целью которого была передача округа Вальдамбры феодальной фамилии Убертини. Но, скорее всего, дело заключалось в том, что на этот же бенефиций претендовал один из консортов фамилии Рикасоли. Дело дошло до того, что судебной тяжбой занимался сам Папа, который отверг притязания Питти на бенефиций и выпустил несколько грозных булл, в которых требовал немедленного ареста аббата и всех, кто оказывает ему покровительство. Аббат, его доверенное лицо священник Джулиано и другие его люди проживали в это время в доме Бонаккорсо Питти. Сам он о папских угрозах сообщил с залихватской гордостью: ему нечего было опасаться, пока он находился под защитой флорентийской Синьории, которая по его просьбе предоставила им стражника для охраны аббата. Более того, он даже имел намерение переиграть тяжбу в свою пользу вопреки мнению Папы: для этого и задумал опорочить Альбертаччо и Карло Рикасоли, разыграв сцену нападения на аббата и стражника. Бонаккорсо в своей Хронике приписывал замысел Джулиано, священнику из свиты аббата, который уже несколько месяцев проживал у него в доме.
29. Действительно, закон, о котором идет речь, был принят Синьорией в 1407 г., но неизвестно, был ли его инициатором Мазо дельи Альбицци. Бонаккорсо Питти в своей Хронике заявляет, что их с сыном освободили благодаря «новому закону», то есть по причине «раскрытия заговора» и выдачи сообщников: Джулиано, слуги Санти и Лапо ди Рикасоли, который осуществлял личную месть против своих родственников. Обвинительные судебные документы по этому делу полностью подтверждают версию Бонаккорсо Питти. Он не пишет о той роли, которую, якобы, сыграл в его деле Мазо дельи Альбицци, лишь упоминает его в числе своих сторонников (см.: 3, с. 129).
30. Очевидно, с афинским законодательством Кавальканти ознакомился на основании вышеупомянутого труда Валерия Максима. Senesis – составная часть добродетели благоразумия.
31. Тир – финикийский приморский город, после 1200 г. до н. э. стал одним из могущественных городов Финикии. Сидон – также финикийский приморский город на побережье Сирии, который пережил свое могущество в более раннюю эпоху.
32. Речь снова идет о Мазо дельи Альбицци.
33. Война с королем Владиславом (1409-1411 гг.). Неаполитанский король Владислав (1386-1414) вел агрессивную политику, захватив Рим и часть территорий Тосканы, в частности, Перуджу и Кортону, угрожал Сиене и Ареццо. Против него выступил блок городов-государств в составе Флоренции, Сиены, Болоньи, а также герцога Луи II Анжуйского, французского претендента на неаполитанский престол, Папы Александра V и кардинала Бальдассаре Косса, который был тогда папским легатом в Болонье. Флоренция хотела не только защитить свои территории, но и захватить порт Ливорно, который принадлежал Генуе. Мир с Владиславом был заключен в 1411 г. Одним из полномочных послов Флоренции при выработке этого мирного договора был Луиджи ди Нери Питти, брат Бонаккорсо. Ситуация внутри Флоренции была очень напряженной: сторонники и противники этой войны вели между собой бесконечные дискуссии и прибегали к интригам. Следствием этих интриг стало обвинение Луиджи Питти в измене путем передачи Владиславу некоторых государственных тайн.
34. Джованни Кавальканти возвращается к истории Бонаккорсо Питти, о которой речь шла ранее. Экзекутор – должностное лицо в республике, облеченное исполнительной судебной властью.
35. Ринальдо Джанфиляцци – один из представителей олигархии, выдающийся дипломат. Сам Питти признавал, что Ринальдо Джанфиляцци оказывал им поддержку, несмотря на то, что он являлся тестем Альбертаччо Рикасоли, главного врага Питти. См.: Питти Б. Хроника. С. 122.
36. Речь идет о высылке многих представителей дома Альбицци в 1434 г., после возвращения Козимо Медичи и прихода к власти его сторонников. Их список возглавлял Ринальдо ди Мазо дельи Альбицци, сын «прославленного кавалера». Ринальдо являлся самым могущественным политическим соперником Козимо Медичи.

37. Giopomii – одна из составных частей добродетели благоразумия. Этот эпизод из древней истории встречается в «Флорентийских историях» Кавальканти. Он включается в речь Пуччо Пуччи, который настойчиво призывал флорентийцев к храброму сопротивлению после того, как в 1440 г. кондотьер Пиччинино захватил Муджелло в контадо Флоренции (см.: 4, V, II, р. 284).
38. В данном случае имеется в виду общественная жизнь в городе (publica scuola). Флорентийцы с юных лет привыкли значительную часть времени проводить на улицах, площадях, в соборах, близ правительственных зданий, занимаясь политическими беседами, устраивая диспуты, делясь новостями.
39. Джованни Кавальканти 10 лет провел в долговой тюрьме Стинке, имея задолженность по уплате коммунальных налогов. Из всех законов, которые принимались в республике, он положительно характеризует прежде всего установления о снижении и упорядочивании налогов, облегчении долгового бремени.
40. Имеется в виду особая комиссия, куда выбирали граждан для распродажи конфискованного Коммуной имущества сосланных или казненных по обвинениям в заговоре против государства или измене. Участие в ней было делом небезопасным: сосланные могли вернуться и начать мстить, также это могли сделать и родственники казненных людей.

#### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Виллани Джованни. Новая хроника, или История Флоренции. VI, 62 / Пер. М.А. Юсима. – М., 1997.
2. Данте Алигьери. Божественная Комедия / Пер. М. Лозинского. – Москва, 1972.
3. Питти Б. Хроника / Пер. с ит. З.В. Гуковской. – Л., 1972.
4. Cavalcanti G. Istorie fiorentine. – Firenze, 1838. – V. 1-2.
5. Cavalcanti G. Trattato politico-morale // Grendler M. The «Trattato politico-morale» of Giovanni Cavalcanti. – Geneve, 1973.
6. Landucci L. Diario fiorentino dal 1450 al 1516. – Firenze, 1883.
7. Stefani M. Cronaca fiorentina. A cura di N. Rodolico // Rerum italicarum scriptores. – Citta di Castello, 1903-1913. – T. XXX.
8. Velluti D. La cronica domestica, scritta tra il 1367 e il 1370. A cura di I Del Lungo e C. Volpi. – Firenze, 1914.

*И.А. Краснова*

## ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН В ОБЫДЕННОМ СОЗНАНИИ ФЛОРЕНТИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(по материалам политико-морального трактата Джованни Кавальканти)<sup>1</sup>

И.А. Краснова  
Ставрополь

Джованни Кавальканти (1381-1451) был выходцем из очень знатного и древнего рода Флоренции, который дал известных представителей, в частности, знаменитого поэта «нового сладостного стиля» Гвидо Кавальканти. В первой половине XV в. фамилия эта продолжала гордиться своей знатностью, однако члены ее отличались бедностью. Джованни Кавальканти выпало жить в нелегкие времена политических перемен, что заставило его однажды полностью поменять ориентацию. Его «Истории Флоренции» свидетельствуют, что он был сторонником Козимо Медичи, прославляя добродетели представителей этого рода. Однако позже он становится убежденным противником режима Медичи в лице Козимо Старого, что отражается на страницах его другого сочинения, названного «Новые труды» (11, с. 849). На перемену политических пристрастий повлияли не только идеологические расхождения и принципиальные соображения, направленные против единоличного правления как пути к тирании, но и перипетии личной судьбы автора. Администрацией Медичи он был за коммунальные долги заключен в тюрьму Стинке, которая, к крайней его досаде, являлась когда-то родовым замком дома Кавальканти, конфискованным Коммуной и превращенным в долговую тюрьму, в которой представителю этого дома предстояло провести 10 лет. Джованни Кавальканти был весьма талантливым хронистом, и его «Истории Флоренции» по праву считаются ценнейшим источником периода 1420-1447 гг. Он обладал способностью персонифицировать исторический фон, воспроизводя монологи и полемики широкого круга исторических лиц, их речи в Синьории и просто разговоры среди сограждан. Его повествование насыщено конкретными ситуациями, в которых раскрывается поведение и отношение к происходящему героев, оцениваются их поступки как персонально автором, так и со стороны общественного мнения. «Новые труды» и политико-моральный трактат, который он не озаглавил, автор писал, вернувшись из Стинке, с целью ответить на злостные обвинения «завистливых людей». Прежде всего он объявил, что панегирик, который он пел в «Историях» «божественному Козимо», на самом деле относится не к нему, а ко всему флорентийскому народу (11, с. 849).

Но можно ли считать Джованни Кавальканти писателем-гуманистом? Автор питает интерес к античной истории и культуре и демонстрирует знание этого предмета. Он склонен к анализу исторического материала, сравнивая героев античной эпохи с гражданами республики Флоренции. Кроме того, с идеологами гражданского гуманизма его объединяет цель и тематика его труда, который написан ради прославления гражданских добродетелей во имя общего блага и могущества города-государства (7). Но содержание трактата состоит из «новелл», в которых отражаются коллизии общест-

венной жизни Флоренции и межличностных отношений граждан, заканчивающиеся морально-дидактическими сентенциями. Это роднит трактат Кавальканти скорее с писателями-новеллистами, подобными Франко Саккетти. В силу этого обстоятельства рассматриваемый труд является ценным источником, в котором отражается повседневное существование и обыденное сознание граждан самого демократического в средневековой Европе общества.

Однако при чтении само собой напрашивается сравнение с сочинением, написанным в начале XVI в. выдающимся Никколо Макиавелли, «Рассуждением о первой декаде Тита Ливия» (3). Еще в начале XIX в. это сходство было замечено, что привело к выводу о том, что политический трактат Кавальканти послужил источником и прообразом для труда Макиавелли. Это доказывает использование одного и того же метода — сравнение и поиск аналогий между событиями флорентийской истории и ситуациями, почерпнутыми у античных авторов, описание внутренней политики Флорентийского государства через полемики, диалоги, речи действующих персонажей, отдельные исторические казусы и др. (8, с. 75-80; 14, с. 112-113; 15, с. 254).

При ближайшем рассмотрении в глаза бросается существенное отличие трактата Кавальканти и «Рассуждений о первой декаде Тита Ливия». Макиавелли выступает главным образом как широкий аналитик, исследующий различные республиканские режимы с точки зрения их достоинств и недостатков, убежденный в том, что смена форм правления — закономерный процесс. Кавальканти исходит из неизменности превосходства режима Флорентийской республики, в которой должны утверждаться раз и навсегда данные гражданские доблести, стоящие вне времени и имеющие абсолютную и непреложную ценность. Макиавелли стремится воссоздать сложную диалектическую картину, когда одни и те же качества при определенных обстоятельствах проявляются как добродетели, но в других случаях превращаются в собственную противоположность: милосердие может обернуться жестокостью, щедрость — расточительностью (5, с. 449). Кавальканти более склонен к описательности. Его примеры из античной истории, но главным образом — из жизни Флоренции как отдаленного прошлого (XIII в.), так и настоящего, являются новеллами, подробно воспроизводимыми политические или иные казусы. Зачастую в поле его зрения попадают, на первый взгляд, малозначимые ситуации, которые не смогли бы заинтересовать Никколо Макиавелли и послужить материалом для его философско-политических обобщений. Кавальканти они привлекают ради заключенного в них морально-дидактического смысла. Этим труд Кавальканти исключительно ценен для историка повседневности: частные ситуации, касающиеся межличностных отношений, невозмож-



но обнаружить на страницах флорентийских хроник, описывающих события и явления более глобального масштаба.

Трактат Кавальканти состоит из следующих частей: «Основание Флоренции и Фьезоле», «Флорентийская знать», «Старая и новая религии» (имеется в виду язычество и христианство). Далее следует рассмотрение основных гражданских добродетелей: «Благоразумие» (*Prudenza*), «Правосудие» (*Giustizia*), «Мужество» (*Fortitudine*) и «Умеренность» (*Temperanza*). Структура изложения материала остается в некотором роде схоластической: каждая добродетель разбивается на составные части и по частям исследуется. Например, благоразумие включает три составные: память — запоминание уроков прошлого, чтобы находить там образцы для подражания, предвидение — способность предусматривать будущее разумом, и умение на основании первых двух способностей подать оптимальный совет в той или иной сложной политической ситуации. В заявленной статье рассмотрены будут главным образом два раздела: «Благоразумие» и «Правосудие».

Примеры, приводимые Джованни Кавальканти, позволяют в некоторой степени реконструировать действие законов в городском обществе Флоренции, отношение к ним граждан, выявить степень законопослушности и уважения к законам в повседневной жизни. Естественно, главное внимание будет направлено на те примеры, которые относятся к тому времени, в котором жил автор, или на события обозримого для него прошлого, удержавшиеся в памяти и актуальные для Флоренции первой половины XV в. Хронисты и биографы с большей степенью достоверности писали о событиях современности, чтобы не быть уличенными непосредственными свидетелями в недобросовестности и тенденциозности.

Оценки Джованни Кавальканти отличались оригинальностью. Они могли совпадать с общепринятыми, как, например, в истории об Альдобрандино Оттобони. В 1256 г. после окончания войны с Пизой флорентийский совет принял решение снести приморскую крепость Мутроне, что совпадало и с желанием пизанцев. Не зная, что такое решение уже принято, они попытались подкупить большой суммой денег Оттобони, чтобы он предложил разрушить эту крепость до основания. Но честный поплаз заставил внести предложенные ему деньги в коммунальную казну и настоял на том, чтобы принять решение о сохранении крепости, опасаясь, что ее разрушение пизанцам принесет больше пользы, чем Флоренции, хотя спокойно мог присвоить 4000 флоринов. Эта история описана в «Новой хронике» Джованни Виллани, который восхищался неподкупностью и предусмотрительностью Оттобони не меньше, чем Кавальканти (7, с. 118-119).<sup>2</sup>

Но чаще автор судит вразрез с традициями. Он не устает восхищаться правлением Угучьоне де Риччи (ум. в 1383 г.) и Пьеро ди Филиппо де Альбицци (ум. в 1379 г.), которые вершили политические дела в городе в 60 — первой половине 70 годов XIV в. При-

знавая факт их соперничества, Кавальканти полагал, что оно приносило большую пользу Флоренции, поскольку оба стремились превзойти друг друга в действиях ради общего блага: «В их время наилучшим образом управлялся город», «каждый искал случая опередить другого, следуя общему благу» (7, с. 122-123). Хвалебные сентенции Кавальканти можно не только считать субъективными и преувеличенными, но и отличающимися от традиционных оценок, складывающихся к тому времени у хронистов и историков города. Современник этих персонажей хронист М. Стефани убедительно показал, что Риччи и Альбицци действовали против общего блага, преследуя собственные эгоистические цели. Они стремились единолично влиять на государственные дела, причем добивались этого весьма недостойными способами, оказывая нажим на членов Синьории и советов, запугивая и угрожая (13, с. 279-282).<sup>3</sup> Тенденциозность трактата Кавальканти очевидна: республиканское правление далеко не лучшего для истории Флоренции периода засилья гвельфской партии автор явно приукрашивает. Он прибегает к идеализации при описании любого явления в жизни государства, которое негласно противопоставляется медичейскому режиму. О его отношении к Медичи свидетельствует «фигура умолчания»: на протяжении пространного трактата ни разу не упоминаются Медичи, тогда как во времена Кавальканти все образцы доблести демонстрировались на примерах членов этой фамилии. В дальнейшем будут рассматриваться главным образом те примеры, в которых речь идет о современниках автора.

В качестве сугубо отрицательного примера приводится «экземпляр» о самоуправстве флорентийского гражданина, лично ненавидимого автором рассматриваемого трактата, Бонаккорсо ди Нери деи Питти. Эта история тем более представляет интерес, что о ней очень подробно рассказывается в «Хронике» самого Бонаккорсо Питти (14, с. 118-129). Трудно сказать, чем объяснялась личная неприязнь Джованни Кавальканти к мессеру Бонаккорсо, поскольку они принадлежали к одним и тем же олигархическим кругам, водили дружбу с влиятельными Альбицци и даже входили в одну политическую группировку — сторонников мира с королем Владиславом (4, с. 133).<sup>4</sup> В изложении Кавальканти история выглядела следующим образом: Питти решили взбунтовать против враждебных Альбертаччо и Карло Рикасоли крестьян Вальдамбры, которые были обязаны Рикасоли «древней верностью». Главой мятежников стал тамошний аббат, которому Бонаккорсо Питти оказывал всяческое покровительство, как подтверждает «Хроника» Питти, отнюдь не бескорыстное: аббат дал поручительство в том, что его бенефиций отойдет к одному из сыновей Бонаккорсо. В конце концов дело было передано в папскую канцелярию, и тяжба продолжалась при дворе римского понтифика. Она решилась не в пользу Питти, и Папа издал несколько булл, в которых приказывал немедленно арестовать аббата, а также тех, кто будет ему оказывать содействие. Бенефиций был пере-

дан родственникам Рикасоли. Все это время аббат со своей свитой имел приют в доме Бонаккорсо Питти, находясь под его защитой. И тот, насколько не опасаясь ареста, даже испросил у Синьории специальную охрану для аббата в лице одного городского стражника, который должен был сопровождать духовное лицо повсюду. Невзирая на грозные буллы Папы, Бонаккорсо Питти не только чувствовал себя в безопасности, но искал способов, чтобы переиграть дело в свою пользу, а для этого задумал опорочить Рикасоли и их консорт перед лицом Синьории. «Однажды темной ночью Бонаккорсо отрядил своего сына вместе с домочадцами нарочно напасть на аббата и охранявшего его стражника под видом Рикасоли с возгласами: «Карло! Дай ему!», — а потом бежать по улицам и кричать, что Рикасоли избили аббата и должностное лицо Синьории» (7, с. 127-128). Однако сам Карло Рикасоли, узнав о возводимой на него напраслине, тут же поспешил в Синьорию жаловаться на злобный навет. По всему городу членам семьи Питти стали угрожать расправой. Перепуганный мессер Бонаккорсо бросился за советом и поддержкой к Мазо дельи Альбицци, который, желая помочь ему, предложил принять новый закон, согласно которому разоблачитель заговора или преступления, как бы он ни был виноват, должен освобождался от всякой ответственности, и такой закон был принят. Бонаккорсо и его сын были арестованы по обвинению в злословии и клевете. Мессер Мазо дельи Альбицци принял дополнительные меры. Он пошел в дом Питти и приказал женщинам взять детей и грудных младенцев, а если своих не достает, то собрать по соседям, и идти в одну из церквей, чтобы, производя как можно больше воплей, плача и шума, молить о прощении арестованных. Сам же он привел в эту церковь большинство членов Синьории, чтобы наиболее убедительно заступиться за Бонаккорсо и его сына. После таких подготовительных действий Бонаккорсо Питти признался в содеянном, выдав своего слугу Санти, человека из свиты аббата — некоего Джулиано, и одного из отколовшихся консорт семейства Рикасоли, который из мести своим родственникам также принимал участие в ночной инсценировке. Сам Бонаккорсо и его сын были оправданы по новому закону. Кавальканти крайне возмущены злокозненными действиями и мошенничеством Питти, но восхищены мудростью и предусмотрительностью Мазо дельи Альбицци, который выручал друзей с помощью своего хитроумия (7, с. 128).

Сам Питти, естественно, описывает эту историю иначе, хотя и он не скрывает своей корысти и материальной заинтересованности в церковном землевладении. Однако всю вину в случившемся он перекладывает на упомянутого Джулиано, поверенного аббата, который попросил у него в помощь слугу Санти для каких-то таинственных дел, якобы утаив смысл своих намерений. В версию Питти с трудом верится, учитывая тот факт, что и аббат и Джулиано уже более месяца проживали в доме Бонаккорсо, и тот не мог не видеть приготовлений к ин-

сценировке, тем более именно в этот вечер Лапо ди Рикасоли, враг Карло, «ужинал с нами». Сам Бонаккорсо Питти отнюдь не отличался созерцательным нравом, он был необычайно деятелен в достижении своих целей и склонен к авантюризму. Наконец, он сразу же спрятал всех виновников ночного происшествия, но потом выдал Синьории, где они находятся, чтобы спасти себя и своего сына от изгнания. Наконец, Бонаккорсо не упоминал о столь выдающейся роли Мазо дельи Альбицци в их спасении и тем более о том, что специально ради них был принят новый закон, хотя не скрывал, что избавление пришло только благодаря «новому закону», которым он воспользовался, выдав своих соратников (4, с. 118-129).

Для тех, кто исследует повседневную политическую жизнь флорентийских граждан в их республике, этот эпизод интересен тем, что законность и правопорядок в этом обществе соблюдались в относительной степени. Традиции семейно-родового права еще явно не изжиты, члены городского социума ищут возможностей осуществить личную месть, а не только прибегать к коммунальному законодательству. В данном случае заметен произвол личности, желающей вопреки общественным установлениям во что бы то ни стало настоять на своем, который, как выяснится из дальнейшего, был не таким уж редким явлением во Флоренции. Сам автор осуждает Питти не столько за то, что он вершит произвол и не считается с общеустановленными нормами, сколько за то, что он действует с помощью обмана и мошенничества, а потом еще и предаст своих пособников. Сохраняются обычаи зрелищного, эмоционального воздействия на представителей власти для принятия нужного решения. С этой целью Мазо дельи Альбицци и организует в церкви спектакль с заемными младенцами. Член Синьории выступает с законодательной инициативой ради спасения своего друга. Исследования Д. Кент подтверждают, что межличностные отношения — дружба, соседство — действительно в значительной степени влияли на политику города-государства (10).

При этом мы имеем дело с обществом, далеким от анархии, поскольку в нем высок авторитет Синьории и действительна ее власть. Даже такой нонконформист и авантюрист, как Питти, который совершенно не считается с папскими буллами, требующими его ареста, трепещет перед судом Синьории. Он настолько убежден в ее могуществе, что даже намерен вопреки решению Рима вернуть себе бенефиций, «если решит Синьория». Чувствуя за спиной поддержку флорентийского государства, также мало считающегося с грозными посланиями Папы, он получает от Синьории стражника для охраны аббата.

Сложившаяся ситуация в некоторой степени объясняется особенностями складывания флорентийского законодательства. Механизм формирования законов отличался сложностью, которая была предопределена кратковременностью срока полномочий главных должностных лиц: всего лишь два месяца. Очень многие законы так и оставались

проектами, изложенными в петициях. Их начинала рассматривать Синьория в одном составе, но после окончания ее полномочий приходили к власти другие, и проект никогда не становился законом. Неудивительно, что законы в этом обществе часто менялись, складывались различные их виды: долгий период времени действующие статуты, установления (*ordinamenti*) с более коротким сроком действия, провизии — нормативные постановления приората, многие из которых вливались в статуты. И, наконец, банды — распоряжения различных магистратов, не выходящие из сферы их компетенции. Правовое поле, которое создавалось совокупностью норм столь разного статуса, не отличалось определенностью и неизменностью. Коммунальное общество города-республики вряд ли можно считать в полном смысле этого слова правовым и законопослушным. В нем сохранялись пережитки семейно-родового права, а механизмы предотвращения произвола одной личности были еще слабы и несовершенно (9, с. 51-54).

Тем не менее законодательной деятельности Джованни Кавальканти отводил исключительно важную роль. Он с большим почтением повествует о гражданах, отличившихся в этой области. Выдающимся законодателем он считал Нери ди Джино Каппони, отца Джино ди Нери, которому автор посвятил свой трактат. По мнению Джованни Кавальканти, этот политический деятель был облечен огромной властью: он командовал всеми вооруженными силами республики в 1447-1448 гг., во время войны с королем Альфонсо Арагонским. Несмотря на тяжкое бремя забот и ответственности он предлагал самые справедливые законы и решения, поскольку умел различать преступления, совершенные по небрежности или по неведению от сознательных злодеяний, а также полагал необходимым учитывать разницу между преступными намерениями, которые только вынашивались, и осуществленными на практике (7, с. 156). Однако в качестве наиболее положительного образца он приводит одиозную фигуру Микеле ди Ландо, вознесенного к власти в августе 1378 г. в результате восстания чомпи. Пожалуй, автор исследуемого трактата — единственный человек своей эпохи, который восхваляет вождя мятежных чомпи как мудрого законодателя. Это не мешает ему порицать само выступление «тощего народа»: «Омерзительные толпы из чесальщиков и мойщиков, трепальщиков и других ремесленников цеха Лана». Но об их лидере Микеле ди Ландо он пишет: «Рожденный в среде бесполезных плебеев, за свои добродетели удостоился он того, чтобы предотвратить дальнейшие преступления и установить мир в этой земле» (7, с. 135). Кавальканти считал, что Микеле ди Ландо был избран самым законным образом: «Тогда не смотрели ни на знатность происхождения, ни на количество богатств, ни на авторитет в республике, а только на качества самого этого человека». Автор трактата проявляет большое сочувствие в отношении Микеле ди Ландо, которого выслали из охваченного мятежом города, и он умер в изгнании (7, с. 135). Мотивация оценок такого ро-

да отчасти заключается в том, что автор трактата имеет тенденцию всех «антигероев» медичейского режима превращать в героев. Но есть и другая причина, которая кроется в содержании законов, предложенных и проводимых Синьорией, возглавляемой Микеле ди Ландо.

Эти законы Кавальканти приравнивал к порядкам, установленным в Спарте Ликургом: «Если Ликург стал создателем столь справедливых законов, он заслуживает великого одобрения, но намного более заслуживает его Микеле ди Ландо, поскольку Ликург создал законы, будучи человеком, сведущим в этом, а Микеле ди Ландо был чесальщиком шерсти» (7, с. 137). Из дальнейшего повествования выясняется, что Кавальканти больше всего нравились те законы, в которых Синьория чомпи пыталась ограничить долговые обязательства и снизить налоги. По той же самой причине он одобрял законы, проводимые в жизнь Мазо дельи Альбицци: они были направлены на облегчение налогового бремени, ограничение спекуляций продуктами первой необходимости, в частности, солью, прощение налоговых недоимок жителям контадо, чтобы они не разбредались в другие земли (7, с. 139). Не следует забывать, что сын Мазо Ринальдо деи Альбицци был главным антагонистом Козимо Медичи. Однако Джованни Кавальканти отдавал себе отчет в том, что даже самый справедливый и совершенный закон может быть извращен в процессе его реального применения. В этой связи он одобрял Филиппо Гаччето — законодателя, предложившего принять налоговый Кадастр 1427 г., согласно которому представители патрициата облагались дополнительными ставками налогообложения. Он также приводил в пример закон о *Specchio* — особом списке, куда вносились должники Коммуны, которые в этом случае не допускались к государственным должностям. Этот закон приписывался в трактате Бенедетто дельи Альберти: «справедливый и блестящий закон, каковой привел к несправедливой и бесчестной тирании» (7, с. 157-158). Автора можно понять, поскольку он сам пострадал от того, что его имя попало в *Specchio*. Итак, этот флорентинец, как и другие его современники, осознавал, что дело не только в мудром, компетентном и бескорыстном законодателе, но и в механизме исполнения и практике применения государственных законов, которые в республике были далеки от совершенства.

При запутанной системе большого числа коммунальных магистратов и советов не приходится говорить о разделении властей: законодательной инициативой в республике обладали не только гонфалоньер справедливости и члены приората, другие должностные лица могли предложить новые законы в виде петиций. После того как новые законы были предложены, ими занимался нотариус реформ (*riformagione*), который приводил их в систему на основе юридической науки. Затем их утверждала Синьория, которая выносила их на апробацию Совета народа и Совета Коммуны. И в случае одобрения Советами они внедрялись в практику. Процесс был затяжным и громоздким.

Закон 1408 г. несколько упрощал его, утверждая, что выносить один законопроект в Советы народа и Коммуны можно не более 15 раз. Но с 1410 г. вводится также апробация на Совете 200. На разных ступенях прохождения законопроекта требовалось разное большинство голосов: гонфалоньер и приорат должны были утверждать закон абсолютным большинством голосов (8 из 9), от 16 гонфалоньеров и «12 добрых людей» требовалось подать  $\frac{2}{3}$  голосов. После 1325 г. статуты во Флоренции подвергались ревизии трижды в год, чтобы изъять из обращения те законы, которые уже изжили себя (9, с. 62). Путь от законопроекта к закону был весьма долог и тернист, законы не отличались устойчивостью и часто менялись. Говорить о диктате закона в гражданском обществе Флоренции первой половины XV в. было бы преждевременно и неправомерно.

Исполнение и применение законов, осуществление правосудия становятся ведущими темами в политическом трактате, в тех его частях, которые касаются Флоренции. В этой связи автор обращается к одному из своих родственников Джаноццо Кавальканти, прославляя его суровость и принципиальность. Один из его сыновей, Якопо, «был бесчестен и жил как животное», за что отец по собственной инициативе заключил его в тюрьму пожизненно, «до скончания века». Но Джаноццо вынужден был посылать в тюрьму средства для содержания сына, которых было столько, что хватало не только Якопо, но и еще нескольким арестантам, ставшим его «рабами и вассалами». Однажды, когда Якопо Кавальканти затеял ссору с одним заключенным «из доброй фамилии», его компаньоны схватили и связали последнего, а сам Якопо «вырезал ему ножом на лице шахматные клетки». Узнав об этом, отец забрал сына из тюрьмы, приказал другим своим сыновьям связать его и положить на стол, а затем собственноручно перерезал ему сухожилия на обеих ногах. Такого рода «акт справедливости» вызывает восторг Джованни Кавальканти: наказание было равно преступлению сына, осуществлено добровольно, а не под принуждением, при этом Джаноццо не привлекал других консортов, не причинял им хлопот, избавляя их от страданий видеть такую жестокость и беря всю ответственность на себя одного. Кроме того, этим актом возмездия были полностью удовлетворены родственники пострадавшего в тюрьме юноши, которые отказались от кровной мести за нанесенную им обиду. Автор восхваляет «суровое правосудие» отца и его «упорство» в стремлении исправить и покарать сына. Он высоко оценивал воспитательную функцию этой чудовищной экзекуции: «Наказание Якопо оказалось очень действенным примером для всех порочных юнцов. Угодно было Богу, чтобы многие из них не замедлили с исправлением» (7, с. 142-143). Опять-таки здесь поражает то обстоятельство, что сведущего в политике и праве гражданина не смущает факт «вынесения приговора и приведения его в исполнение» вне сферы государственного законодательства и официальных судебных органов Коммуны. Для него в порядке ве-

щей, что правосудие над сыном вершит глава семьи. Даже в первой половине XV в., в «золотую эпоху» правления флорентийской олигархии, которую воспевают за торжество порядка и законности, сохранялись черты патриархально-родового права итальянских больших семей — консортерий в коммунальном обществе.

Однако автор воздаст должное и официальным правовым отношениям, описывая деятельность тех, кто получал полномочия подесты — должностных лиц, посылаемых республикой управлять в городки и крепости контадо Флоренции. Они имели достаточно широкие полномочия, среди которых были и судебные. Кавальканти изображает целый ряд проявивших доблесть в этой должности. Благородный кавалер из фамилии Бостики, будучи подестой в Камерино, должен был рассудить тяжбу «некоего знаменитого прелата» с мясником, у которого священник весь год брал в кредит мясо и «нагло отказался» расплатиться по счету, когда пришел срок, вследствие чего «они наговорили друг другу много бранных слов». Каноник, «будучи человеком гордым и безрассудным», схватил лежавший на прилавке нож и убил мясника. Подеста Бостики приказал взять его и заключить под стражу. Но в дело вмешался синод, требуя у подесты выдать священника на церковный суд согласно каноническому праву и папским декреталиям. Члены синода обратились к архиепископу города, указывая на неподсудность служителя церкви светской власти. Архиепископ, в свою очередь, апеллировал к синьору этого места, и тот приказал Бостики выдать арестованного клирика на суд архиепископа. Преступный прелат был немедленно освобожден и приговорен всего лишь к покаянию, внесению 100 лир штрафа в епископальную казну и такой же суммы в казну синьора, а также ему воспретили служить мессы в течение 1 года, пока не окончится срок покаяния. «Клирик разгуливал по городу свободным и веселым», вызывая ненависть у родственников убитого им мясника, которые готовились сами осуществить месть — «изрезать священника на куски, как мясо на колоде». Узнав об этом, подеста призвал к себе двенадцатилетнего сына убитого и его брата и предложил им свободно исполнить задуманное, взяв всю ответственность за дальнейшее на себя. Они «зарезали прелата тем же самым ножом, когда он проходил мимо их прилавка», и сейчас же были схвачены стражниками подеста. По поводу такого оборота дел «священство пришло в злобное отчаяние» и потребовало выдачи виновников или чрезвычайно сурового для них приговора. Но подеста изрек свою сентенцию: «Должно подчиняться людям церкви в божественных предписаниях и законах, поэтому в той мере, в какой архиепископ отмерил клирику, будет отмерено и мясникам», то есть он приговорил убийц к уплате 100 лир в кассу синьора и столько же в коммунальную казну и «на 1 год запретил им рубить мясо». Автор резюмирует: «Столь справедливым судом был удовлетворен каждый в этой земле» (7, с. 143-145).

Таким образом, становится ясно, что факты расправ, самосуда и личной мести не только имели место в

коммунальном обществе XV в., но органически вписывались в контекст повседневного существования. Официальные власти, конечно, боролись против этих явлений, но и вполне естественно использовали их в своих целях. «Мудрые подесты» часто судили, руководствуясь не только писаными нормами государственного законодательства, но скорее по своему произволу. Автор делает упор не столько на неукоснительное исполнение законов, сколько восхищается хитростью и изворотливостью правителей. Об этом свидетельствуют и другие казусы, приводимые Джованни Кавальканти.

Того же самого Бостики, снискавшего славу «доблестного подесты», призвали исполнять эту должность в Перуджу, поскольку «его правление было желанным для всех республик». В Перудже бесчинствовала шайка некоего преступника, который жег, грабил, убивал, «не имея никакого сострадания к невинным». Бостики схватил злодея вместе с членами его банды. Но тут за него стали заступаться «именитые люди города», которые, как оказалось, его руками сводили счеты со своими политическими противниками. Однако подеста «предпочел вызвать в свой адрес гнев и угрозы могущественных граждан» и отыскал в законах Перуджи тот, который позволял ему наказать преступника. Этот закон гласил: тот, который причинит смерть другому человеку, должен заплатить в коммунальную казну 3000 лир. Подеста данной ему властью утвердил закон и осудил разбойника на смерть, а после приведения приговора в исполнение начал судебный процесс против самого себя и приговорил себя к уплате штрафа в 3000 лир (7, с. 146-147).

Можно предположить, что полномочия подесты предоставляли этому должностному лицу возможность произвольного толкования существующего комплекса законов: он выбирал из имеющихся те, которые ему были наиболее полезны, утверждал их и применял с определенной долей самоволия. В коммунальных статутах, которые определяли объем власти подесты, им предоставлялись довольно широкие и размытые полномочия в сфере уголовного и податного права, а также в тех казусах, которые касались отдельных личностей и межличностных отношений (9, с. 72-74).

Наконец, следует обратиться еще к одному доблестному подеста — Кардинале Ручеллаи из Сан-Кашано (ум. в 1428 г.). Тому пришлось также противостоять прелату, «подобному скорее злему разбойнику, нежели набожному клирику». Ручеллаи требовал от этого духовного лица удовлетворять всех кредиторов «и даже крестьян», которым он не желал платить за их труд. И хотя «злокозненный прелат» требовал суда епископа, подеста приказал схватить его и поместить в тюрьму, заставив тем самым уплатить за труд обиженному крестьянину. Когда клирик потребовал передать его на суд епископа, подеста объявил, что он сам «кардинал» (игра слов: производное от имени «Кардинале»), поэтому епископ ему не указ (7, с. 167-168).

Среди образцовых подеста фигурирует и Ринальдо ди Мазо дельи Альбицци, который исполнял свои обязанности в Прато. Он приводится в пример как миро-

сердный, человечный и справедливый судья. Ему пришлось за долги заключить в тюрьму некоего возчика, которому никто не мог помочь выплатить долг. Это беспокоило молодого подесту, и он сам отправился к заключенному, чтобы выяснить, нет ли каких средств для его спасения. И тут выяснилось, что возчик не может расплатиться с долгами, поскольку ему в свою очередь должен за двух мулов некий человек, имя которого он долго отказывался называть, поскольку «он гораздо сильнее меня». Подеста проявил настойчивость и в конце концов выяснил, что должником возчика является его собственный отец Мазо дельи Альбицци. Сын быстро дал ход делу: Мазо возвратил забытый долг, и возчика выпустили на свободу. Автор восхищается этим поступком, полагая, что Ринальдо поступил более справедливо, нежели Порций Катон в отношении Люция Фламиния, поскольку ему пришлось востребовать деньги у своего собственного отца, «поэтому его человечность равнялась твердости его правосудия» (7, с. 166-167). Зачастую подестам приходилось улаживать уличные ссоры: мессер Манно из Пор Сан Пьеро увидел, как некий монах схватил связку дроздов у торговки без намерения платить за них. Щедрый подеста сам уплатил за товар, исчерпав тем самым уличный эпизод. Хотя автор признает, что «случай мелкий», но полагает, что он свидетельствует о том, насколько великодушен был мессер Манно (7, с. 211). Во всех описанных случаях Джованни Кавальканти усматривает истинное правосудие не в строгом выполнении должностными лицами определенных законов, а в проявлении личных добродетелей: изощренности ума, принципиальности и мужества, великодушия и человечности, щедрости.

Однако в политическом трактате утверждается необходимость обязательного соблюдения законов. Автор описывает ситуации, когда законодатели оказывались в силках собственных установлений и вынуждены были их выполнять. Это произошло с гонфалоньером справедливости Доффо ди Неро Спино, который исполнял эту должность в марте-апреле 1432 г. Он предложил принять и утвердил закон против содомитов, который предусматривал создание специального магистрата для борьбы с этим пороком. Доффо ди Спино одним из первых пал жертвой этого закона, он умер в изгнании «с позором, вызывающим омерзение». Представителю рода Кавальканти, очень осуждавшему содомию, казалось, что изданный им закон так хорош, что Доффо, сам повинный в этом грехе, заслуживал снисхождения (7, с. 160-161; 6, с. 203-204; 12, с. 145-146). С позиций строгого морализатора он вообще осуждал произвол в сфере семейно-брачного права, в котором далеко не во всех случаях царил закон. Такому порицанию подверглись, например, братья Гваданы, которые украли супругу у Антонио Джанфильяцци (7, с. 161). В трактате приводится много примеров всеобщего равенства перед законом, которое должно распространяться и на самих законодателей, и на правителей и судей, и на тех, кто занимает самое высокое положение у кормила власти (7, с. 141-142).<sup>5</sup>

Политический трактат Джованни Кавальканти дает определенный материал для представлений о правовых

отношениях в повседневной жизни Флорентийской республики. Обращаясь к дневникам, домашним хроникам и мемуарам представителей попопанской среды, следует обратить внимание на то, что, наставляя в лояльности и гражданской добродетели, они почти всегда имеют в виду не подчинение диктату закона, не неукоснительное соблюдение норм права, а верность правящей партии или находящимся у власти лицам, от которых зависело, какие законы будут приняты, сохранены для исполнения или аннулированы. В сознании граждан республики гарантией правопорядка и социальной стабильности являлась мудрая и справедливая политика очередного состава Синьории или кланов и политических группировок, пользующихся на данном этапе особенно значительным влиянием, а не соблюдение твердо установленных законов. Подобные представления обуславливались соответствующими формами законодательной и исполнительной власти: отсутствием системы разделения властей, частой сменой состава Синьории и старших магистратур, несовершенным механизмом утверждения законов, произвольностью их толкования и применения на практике. Это состояние дел отразилось в примерах, которые приводил Джованни Кавальканти, пытаясь анализировать социально-политический опыт гражданского общества коммуны Флоренции.

Несмотря на то, что соблюдение законности и обеспечение правопорядка в городе-республике носили весьма относительный характер, в нем не царил анархия и хаос. Власть Синьории и других коммунальных структур была достаточно действенной и эффективной, если они могли противостоять такой силе, как церковь и папство: горожанин совсем не озабочен тем, что грозные папские буллы требуют его ареста, но зато трепещет перед постановлени-

ями своей Синьории, которые немедленно приводятся в исполнение. Не следует забывать также и о том, что, невзирая ни на какие потрясения во внешней и внутренней политике, Установления справедливости 1293 г. сохраняли свое значение основного закона общественной жизни, хотя и видоизменялись постоянно. В обыденном сознании представителей общества утверждались идеи о необходимости соблюдения норм права, о равенстве перед законом всех людей: долги в равной степени должны платить и священник и мирянин, и бедный виллан, и могущественный Мазо дельи Альбицци. Эти принципы получали идеологическое обоснование в культуре гражданского гуманизма, в речах и трактатах Колуччо Салютати, Леонардо Бруни, Маттео Пальмиери (1, с. 105, 123, 126).

Флорентийские граждане были убеждены в приоритете светской власти над церковной, гражданского права над каноническим. Это отразилось в источниках разных типов, от неприятельных новелл до хроник и гуманистических трактатов. Не напрасно в историях о доблестных подестах преобладают коллизии, связанные с посрамлением церковных структур, над которыми брали верх в осуществлении правосудия изворотливость и хитроумие светских должностных лиц.

Трактат Кавальканти важен тем, что в нем ставятся проблемы о роли законов в обществе, о правилах их применения в судебной и иной практике, о необходимости их соблюдения, о соотношении светского и церковного права на уровне обыденного сознания и повседневной жизни. Он позволяет лучше понять противоречивость городского коммунального общества, в котором только прокладывал себе дорогу процесс становления правопорядка и законности, одолевая множество препятствий.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Статья подготовлена к печати при финансовой поддержке фонда РГНФ, проект № 01 — 01 — 00031а.
2. Этот эпизод описан в «Новой хронике» Джованни Виллани несколько иначе, хотя и хронист XIV в. отмечал «честность и добродетельность этого гражданина, лишённого алчности и своекорыстия» (2, VI, 62, р. 172-173).
3. В 1371 г. «неподкупный» Угучьоне де Риччи был подкуплен главой дома Альбицци и вступил со своим заклятым врагом в альянс, забыв о суровой принципиальности, восхваляемой Джованни Кавальканти, что «привело всю Флоренцию в оцепенение».
4. Луиджи Питти, брат Бонаккорсо, был послан вести переговоры с королем Владиславом и при его непосредственном участии был заключен мир в 1410 г. (см.: 4, с. 133).
5. Он доказывает равенство всех граждан перед законом на примерах из античного общества. Он приводит в качестве образца флорентийского гражданина Джакопо Росси, который приказал казнить своего сына за то, что тот нарушил установленный отцом закон. У Джованни Виллани описан этот эпизод (см.: 2, IV, 31).

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Брагина Л.М. Итальянский гуманизм. Этические учения XIV-XV веков. — М., 1977.
2. Виллани Джованни. Новая хроника, или История Флоренции. — М., 1997.
3. Макиавелли Н. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. Государь. — М., 2002.
4. Питти Бонаккорсо. Хроника. — Л., 1972.
5. Юсим М. А. Последовательность Макиавелли // Макиавелли Н. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. Государь — М., 2002.
6. Brucker G. The Society of Renaissance Florence. — N.Y., 1971.
7. Cavalcanti G. Trattato politico — morale. De vita civile // Grendler M. The «Trattato politico — morale» of Giovanni Cavalcanti. — Geneve, 1973.
8. Gervinus G. G. Geschichte der Florentinischen Historiographia bis zum sechzehnten Jahrhundert. — Frankfurt-am-Mein, 1833.
9. Guidi G. Il governo della città — Repubblica di Firenze del primo quattrocento. — Firenze, 1981. — Т. I: Politica e diritto pubblico.
10. Kent D. The Rise of the Medici faction in Florence 1426-1434. — Oxford, 1978.
11. Monti A. Les chroniques florentines de la premiere revolte populaire a la fin de la commune (1345-1434). — Lille, 1983.
12. Origo I. The World of San Bernardino. — London, 1964.
13. Stefani M. Cronaca fiorentina di Marchionne di Coppo Stefani. A cura di N. Rodolico // Recrum Italicarum Scriptores. — Citta di Castello, 1903-1913. — Т. XXX. — Rubr. 730-731. — P. 279-282.
14. Varese C. Storia e politica nella prosa del Quattrocento. — Torino, 1961.
15. Villari P. Niccolo Machiavelli e suoi tempi. — Milano, 1914.

## II. ЯЗЫК ЭТИКИ

- 1/ Н.Е. Сулименко / Санкт-Петербург / **Этическое пространство текстового слова**
- 2/ Р. Токарски / Люблин, Польша / **Семантика и культура. Слово в поэтическом тексте**
- 3/ К.В. Томашевская / Санкт-Петербург / **Этика и модель экономики: лексический аспект**
- 4/ А.А. Буров, Я.А. Фрикке / Пятигорск / **Вербальная этика лингвистической идеологии антропоцентризма в пространстве художественного дискурса**
- 5/ Г.Ф. Гаврилова / Ростов-на-Дону / **Грамматическое отрицание как средство выражения социальных и этических авторских оценок**
- 6/ Кулешова Л.Н. / Черкассы, Украина / **Модальность истинности текста как средство убеждения**

## ЭТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ТЕКСТОВОГО СЛОВА

Н.Е. Сулименко  
Санкт-Петербург

Осознание субъекта во всех формах его деятельности по освоению мира (включая речевую) центральной фигурой мироздания сделало актуальной для исследования не столько референтную, сколько ценностную картину мира носителей языка, одной из важнейших составляющих которой выступают этические ценности и нормы. Эти нормы бытия находят отражение и в «наивной» этике, представленной прежде всего на уровне слова в словаре, и в научной интерпретации аксиологических ценностей, и в различных иных их преломлениях, имеющих в качестве первичной текстовую форму выражения. Помимо общенаучных и собственно лингвистических предпосылок, такое изменение угла зрения на факты языка, признание интерпретационного характера семантики слова усугубляется и теми глобальными переменами, которые происходят в мировой цивилизации и в жизни страны.

Корни ценностной картины мира человека помогает понять и его биологическая природа. Так, согласно Конраду Лоренцу, человек — это «перманентно незавершенное существо, перманентно же недоадаптированное и недоструктурированное, но постоянно открытое миру, постоянно становящееся» (7, с. 26). Здесь прогнозируется и открытый, динамичный характер этических норм и ценностей, и их направленность на общую ориентацию человека в мире и его преобразование. Биологические корни знания, как и других ментальных структур, усматривают в механизмах саморегуляции и самоорганизации также психолингвисты и психологи. Без обращения к их работам трудно говорить об этическом пространстве слова и текста. Так, представляется продуктивным методологически значимое положение, выдвигаемое А.А. Залевской (4), о необходимости сочетания в изучении процессов порождения и восприятия, понимания текста деятельности и недеятелиности подхода, эвристических установок и возможностей других современных научных теорий и прежде всего когнитивистики. Для исследования единства когнитивных и аксиологических механизмов очень важна мысль о единстве психических процессов при построении и восприятии текста (мышления, речи, памяти, восприятия), о непрерывности осознаваемого и неосознаваемого, об использовании разных видов опор, стратегий (включая и последовательную компрессию, интеграцию смысла), разных видов репрезентации знания (опора на признаки, признаки признаков в процессах глубинной предикации, на перцептивный, когнитивный, эмоционально-оценочный опыт, на одновременное переживание знания и отношения к нему, учет принципа смысловых замен — вербальных и невербальных, выводного знания). Поскольку личностный тезаурус носителя языка представляет собой единую информационную систему, совмещающую знания о мире и языковые знания, средством доступа к этой единой информационной базе может служить лексикон человека как «динамичес-

кая, самоорганизующаяся система с чисто языковыми параметрами» (4, с. 57). И если иметь в виду «двойное кодирование» содержания слова при его хранении в памяти «в виде некоего вербального кода и в форме образа» (8, с. 52), то можно не только понять, почему самые абстрактные идеи всегда имеют чувственную привязку, и толковать денотат как типовой образ предмета при характеристике структуры лексического значения, но и предположить, что образы любой модальности (слуховые, визуальные, тактильные, вкусовые) могут приобретать в тексте этический компонент значения. Применительно к системе языка подобные факты уже описаны, например, в оценке Ю.Д. Апресяном способов концептуализации эмоций в связи с идеей света и блеска (визуальных образов) или при характеристике переносных значений имен прилагательных, обозначающих признаки предметов, воспринимаемых с помощью органов чувств человека, и в других случаях. И если значение, личностные смыслы выступают единицами психики, сознания, имеющими вербальные и невербальные формы своего существования, обнаруживаемые в переходах от образного кода к вербальному и наоборот в разных видах речевой деятельности, то особый смысл приобретает анализ ассоциативных связей в лексической структуре текста, в том числе ассоциативных полей номинантов этических концептов, характеризующихся особой «пристрастностью», мотивами, установками, эмоциями говорящего, соединенными с чувственной тканью (представлениями, наглядными образами, впечатлениями). Отсюда значимость ассоциаций в механизмах психологической «сцепки» языкового и внеязыкового знания, ближайшего и дальнейшего значения слова, как и способность этических представлений субъекта оказывать влияние на его сознание в целом и трансформировать текстовые смыслы, влияя через интенциональную основу на степень глубины текстовой информации при ее порождении и восприятии на всех уровнях (содержательно-фактуальном, содержательно-концептуальном и содержательно-подтекстовом). При этом необходимым представляется различать этику в восприятии объекта текстовой информации говорящим и этику интерпретации текста адресатом при наличии и общей составляющей — необходимости самоорганизации этической сферы субъекта, «наведения» морального порядка. Представляет интерес в этом плане анализ концептов «страсть» и «любовь» в разработке лексической темы персонажа Б. Райского в романе И.А. Гончарова «Обрыв» в сравнении с их авторской интерпретацией (см.: 2). И если вслед за В.С. Выготским и А.А. Залевской понимать значение как путь от мысли к слову (а это основа «активной» лексикологии) и видеть в значении средство выхода «на личностно переживаемую индивидуальную картину мира» (4, с. 132), добавим — и этическую тоже, то естественным кажется вывод



о том, что определенные этические представления могут искажать обычные ассоциативные связи слов, подобно тому, как это происходит с аффективной окраской слов, замыкающей эти связи вокруг определенной аффективной области (см. 8). Можно говорить о генерализации той или иной этической установки в тексте, имея в виду под установкой «определенное досознательное состояние готовности организма к некоторому поведению» (4, с. 49), сменяющееся актом объективации с последующим возвращением к установке. Этика толерантного поведения, общения в «щадящем режиме» требует в ряде случаев разрыва связей слов по этическому компоненту в текстовом пространстве и возвращения к сближениям по денотативному макрокомпоненту, обеспечивающему непредвзятое развертывание темы. Этические аспекты реагирования на чужой текст в письменном диалогическом общении рассмотрены на лексическом материале текстов переписки газеты с читателем в (12). Интересный в этом отношении материал содержат тексты рубрики «Жизнеспособность полисубъектов» газеты «Аргументы и факты». Так, в серии диалогов под общим заглавием «Федеральная крыша» (АиФ, 2002, № 4) представлены разные способы лексической экспликации этического пространства носителей языка, элементов «наивной» этики, отражающей не столько знание о мире, сколько мнение о нем, специфичное для разных культур и этносов. Одна из этических норм — «голым на людях ходить неприлично» — актуализирована с опорой на лексическую многозначность слова, реализацию его прототипического значения (в противоположность переносному) в привычных словосочетаниях:

«**Е. Примаков:** *«Согласились бы вы на то, чтобы вместо наших двух общественных организаций (ЗАО «Шестой телеканал» и РСПП. — Ред.) присутствовали бы голые предприниматели — двое?»*

*Показывать по ТВ-6 голых предпринимателей — это, конечно, сильный рекламный ход (ироническая попытка переинтерпретации поступка. — Н.С.). Но лично мы предпочли бы видеть голых предпринимательниц, не достигших возраста Евгения Максимовича».*

Смена объекта на более привлекательный, на взгляд соавторов-мужчин, изменила бы ситуацию в лучшую сторону, не столь оскорбляющую этические и эстетические чувства. Воровство как этически осуждаемое явление рисуется путем замены компонента фразеологизма как прецедентного текста, резко меняющей смысл ответной реплики:

«**М. Прусак,** новгородский губернатор: *«Владимир Владимирович — мужик, конечно, терпеливый, но и ему когда-то надоест тянуть воз в одиночку». Тем более что большинство предпочитает тянуть с воза».*

Социальному осуждению подлежит разного рода шовинизм, порицание другого человека, социума, нации. Их экспликация в ответных репликах авторов, выведение на поверхность неосознаваемых морально-ценностных предпочтений политиков осуществляется разными приемами и лексическими средствами, одно из которых — антонимическая замена слов в речевых оценках, создающая

фигуру-перевертыш и вносящая в текст ответной реплики пародийную струю, ведущую к дискредитации оппонента:

«**А. Илларионов:** *«Они (американцы. — Ред.) богатые, а когда такие богатые, им позволено быть такими, скажем так мягко, не очень умными».*

*Поневоле задумаешься: если они, мягко говоря, не очень умные, то почему они, грубо выражаясь (отметим несоотнесенность текстовых смыслов глаголов одного семантического поля. — Н.С.), такие богатые?»*

Другой способ преодоления штампов шовинистического сознания — использование эффекта бумеранга с актуализацией национально маркированных компонентов морфемной структуры слова:

«**А. Ткачев,** краснодарский губернатор: *«Фамилии, оканчивающиеся на «ян», «цзе», «швили» и «оглы», — незаконны, так же как и их носители. А «ов», «ин», «их» — наоборот».*

А как получилось, что носитель фамилии «Ткачёв» (авторами выделена графическая форма. — Н.С.) не входит ни в одну категорию? Так же, как и его предшественник — КондратЕНКО.

Способом представления коррупции во властных структурах как разновидности воровства выступают текстовые номинации «федеральный рэкет» и «федеральная «крыша», выявляющие с опорой на выводные знания адресата его знания семантики жаргонных слов и смыслы предшествующей реплики глобальную коррумпированность чиновничества снизу доверху, криминальную основу бизнеса:

«**А. Кудрин:** *«Мы добиваемся того, чтобы местные власти не зажимали малый бизнес. Это рэкет, это так называемая проблема «крыш». Вот это тоже мы собираемся решить в рамках федеральной целевой программы. То есть программ будет как минимум две: «Федеральный рэкет» и «Федеральная крыша».*

Столкновение реплик в диалогических единствах рассмотренного текста позволяет увидеть, как этический компонент семантики текстового слова (явный или скрытый) каузирует перестройку системы текстовых смыслов и выход их в комментирующей реплике на новый уровень самоорганизации во внутри-текстовом лексическом пространстве, обусловленный и обусловливающий содержательно-концептуальную и подтекстовую информацию.

Таким образом, этический компонент не только осуществляет переинтерпретацию политических реалий, но и участвует в регуляции познавательной деятельности и поведения участников коммуникации, их ценностных приоритетов.

Показательна в этом отношении попытка экспликации этических основ явления глобализации в лексической структуре статьи А. Панарина «Православная цивилизация в глобальном мире» (Москва, 2001, № 10). Глобализация оправдывается в случае установления «международного консенсуса — постепенной выработки общепризнанных культурных универсалий, следование которым не сопровождается ни нигилистическим отщепенством, ни комплексами предательства и вины». В этом случае «глобализм представляет собой культурно насыщенную, социально и морально упорядоченную

среду, в чем-то содержательно превосходящую прежние изолированные национальные среды». В противном случае «мы имеем дело с **промискуитетом** нового типа — неупорядоченной и неустойчивой контактностью, не сопровождающейся свойственными человеку как социальному существу **привязанностью** и **ответственностью**. Эти пространства, выпавшие из сферы **социальной и моральной ответственности**», включающие «**отщепенцев**, которых может связывать только одна **круговая порука**, которых «трудно будет отличить от **вселенной мафии**», формируют «**асоциальную среду**», реализующую «**самые непредсказуемые** типы поведения». Этот текст, лексическая структура которого во многом сформирована сближениями слов по социально-этическому компоненту их лексических значений, показывает не только то, как коннотации, выражаясь словами Т.Г. Винокур, «сдвигают смысл», генерализуя этическую установку, но и вскрывает содержание этой установки, объясняющее нагнетание оценочной лексики, преимущественно негативной: «В этих **джунглях** уже не слышится **материнский голос природы**, они порождают **тоскливо-озлобленное космическое сиротство постмодернистской личности**. Не знают **современные маргиналы** и **Христа** как **источника высшего милосердия**». В реализации авторских интенций этические коннотации получают даже те слова, которые лишены их в системе языка (постмодернистская личность, маргиналы), становясь ситуативно-речевыми синонимами. Здесь набор личностных конструктов, связанных с созданием когнитивного образа мира в сознании текстового субъекта, не вполне отражает сложность затрагиваемой содержательной области, с недостаточной силой ее дифференцирует, поэтому ценностная аргументация, прагматическая по своей природе, превалирует над аргументацией истинностной. Личностные конструкты, имплицитная картина мира субъекта (см.: 8), включающая и этические концепты, влияя на поведение человека в целом, не может не влиять и на выбор им лексических средств при текстопорождении. Этический компонент значения, предполагающий оценку явления с точки зрения определенных социально-этических норм, входя в структуру личностных конструктов как наиболее устойчивых представлений субъекта о мире, подчиняющих себе все другие, как определенной когнитивной сетки, сквозь которую видится все многообразие мира, используется для категоризации межличностных и социальных связей и может отражаться в системе текстовых антонимов. Так, в вышеприведенном тексте словам с негативными оценочными коннотациями противостоят полярные по этическому компоненту их значения (материнский, Христос, милосердие).

Ядерным компонентом этического пространства текста можно считать собственно этонимы как обозначения этических концептов, околядерные номинации содержат этические признаки в качестве выводимых из ядерных и, наконец, периферию текстового пространства образуют номинации с потенциальными или наведенными этическими се-

мами. В целом этическое пространство текста можно представить как совокупность этических концептов и стратегий пользования ими, имеющих лексическую экспликацию в совокупности ключевых лексем, замыкающих на себе ассоциативные поля текста. Это пространство служит для представления ценностной картины мира субъекта как составляющей его информационного тезауруса, для выражения его знаний, мнений, установок, личностных конструктов.

По словам В.Ф. Петренко, «значение текста раскрывается только в контексте некоего ментального пространства, в рамках категоризации, присущей субъекту, социальной общности или человечеству как совокупному культурно-историческому субъекту» (8, с. 27), поэтому позиция субъекта определяет интерпретацию знака, естественно, особой «пристрастностью» отличаются ценностные приоритеты.

Свои ориентиры в изучении этического пространства текстового слова создает анализ языков этики в рамках логического анализа языка (6). В указанной коллективной монографии описана лингвистическая метаэтикаречевая стратегия и тактика, типы речевого поведения, типы воздействия на адресата, речевого реагирования на полученный стимул, стили общения, типы речевого акта в их соотношении с этическими нормами (предостережение и менее категоричные формы общения). Опорными в анализе выступают понятия «этические референты» и «этические концепты», последние рассматриваются как социо-оценочные, регулирующие отношение человека к другому и находящиеся в психическом пространстве между сознанием и волей. К ним Н.Д. Арутюнова относит, например, страх и стыд.

Особый интерес привлекает культурологическая интерпретация этических концептов, присваиваемых субъектом текстовой деятельности и преломляемых через его систему ценностей. Компоненты общекультурного ментального пространства (совокупности значений, образов, символов, пропозиций), включающего и систему ценностных представлений, не напрямую задают отношение субъекта к реальности, а через его личностные смыслы, которые вместе с тем интериоризуют определенные установки культуры, те или иные ее национально-специфические черты. И это понятно, если учесть, что знания о мире — это прежде всего культурные знания, включающие и такие культурные концепты, связанные с общечеловеческими ценностями, как истина, добро и красота. Ключевыми словами этических и аксиологических учений В.И. Постовалова считает добродетель, благо и др., а необходимым направлением характеристики человеческой личности в аксиологическом пространстве сущее — должное — «с позиций ценностных координат добро — зло, хорошее — плохое, правильное — неправильное» (9, с. 407). Концептуальные оппозиции, моделирующие этическое пространство в наивной картине мира по типу физического (кривое — прямое, крутить и править, движение — состояние, левый — правый и под.) и действующие в лексике, предлагается счи-

тать проявлением глобального противопоставления хаос — порядок. Кроме того, Й. ван Лейвен-Турновцова отмечает «гомологичность отношений между внутренней формой лексем со значением «правый» и «левый», структурой их полисемии и символикой этих категорий в культурной практике европейского ареала» (5, с. 137). Для лексиколога очень важно, что доказательства пантопических и панхронических явлений, отражающих универсальные тенденции культурных процессов, ищутся в «моделях изомии». Предметом внимания исследователей становятся и такие специфические особенности национального самосознания, создающие свои проекции в этическое пространство, как противопоставление справедливости и законности, демократии в русской языковой культуре, значимость синкретизма древнерусских концептов, идущего от библейской традиции, и роль в процессах концептуализации единства корнеслова как отражение синкретизма архаической картины мира; ориентация на православный канон, десять заповедей Моисея как первый по времени нравственный кодекс, соединивший христианские, старозаветные, новозаветные представления и синкретизм архаического мышления (см. 3). Отмеченные особенности характеризуют и этическое пространство текста, создаваемое его лексическим структурированием.

Так, в статье О. Мандельштама «Пшеница человеческая» политика выступает как символ хаоса, разрушения, катастрофы, тогда как экономика становится символом накопления добра во всех его ипостасях. Включая добро в ассоциативное поле концепта порядок (его можно назвать суперконцептом), автор вслед за языком преодолевает в слове добро разрыв между верхом и низом, возвращает его к первоначальной синкрете, воскрешает этимологическую память слова: «**Добро в значении этическом и добро в значении хозяйственном**, то есть совокупности утварей, орудий производства, горбом тысячелетий нажитого вселенского скарба — сейчас одно и то же».

Особенности этической картины мира этноса описываются в прозе О. Мандельштама и с опорой на базовое в народной культуре противопоставление «свое — чужое», повлекшее создание окказионализма «чужелюбие»: «**Чужелюбие** вообще не входит в число наших **добродетелей**. Народы СССР сожигают как школьники. Они знакомы лишь по классной парте да по большой перемене, пока крошится мел» (Путешествие в Армению).

Ранее уже отмечалось, что и современные авторы ведут лексическую разработку этических концептов и норм с позиций христианских ценностей и заповедей. Это относится к разножанровым текстам, имеющим в качестве приоритетной стратегии изменить мировосприятие адресата, привлечь на свою сторону, убедить в безальтернативности православного канона. Таковы, например, тексты разделов в книге Александра Миронова под общим заглавием «Сущностное восприятие слова», вышедшей в серии «Знание о знании. Развивающее чтение» (СПб., 2000). Ряд ее разделов непо-

средственно посвящен этическим концептам, например, концепту милосердие:

*«Оно несет в себе только **любовь**, которая пронизывает собою ум, душу и даже сердце человека. В результате в нем нет места как **гордыне**, так и **унынию**. Наоборот, в нем царствует только твердое знание о своем полном **единении со всем миром**, в котором нет ничего **пропущено**, а есть только **радость бытия и созидания**. Всё же **горестное** человек **милосердный** воспринимает **смирненно** и только как неизбежное и необходимое **средство к восхождению в Царство Небесное... жалость, сочувствие и сострадание** — это только последовательные этапы становления одного и того же — **милосердия**, которое, в свою очередь, уже несет в себе непреходящее качество — качество **любви**»* (раздел «О милосердии, сострадании, сочувствии и жалости»).

Перед нами своеобразная проповедь, выстраивающая иерархию этических концептов, выступающих опорными в организации лексической структуры текста и получающих экспликацию в словах — этонимах. В околоядерное пространство в раскрытии этической темы попадают слова — ассоциаты, содержащие этический признак в качестве дифференциального (гордыня, уныние, единение, радость, горестное, смирение, Царство Небесное, непреходящее и др.). К периферии этического пространства можно отнести абсолютно неспецифические номинации, получающие этическое звучание в общей структуре текста (ум, душа, сердце, знание, мир, бытие, созидание, средство, восхождение, этапы, становление, качество). Таким образом, этические ценности получают свое истолкование с опорой на библейские тексты и с учетом атеистического мировосприятия современника, выводя его на новую категоризацию мира, управляя его пониманием.

Сходные когнитивные стратегии использует автор и в лексической разработке другого этического концепта — грех, привлекая в качестве дополнительного аргумента и данные толковых словарей, и психологические знания носителей языка. В разделе «Что такое **грех**?» автор пишет:

*«В толковом словаре русского языка слово **грех** представлено как нарушение **религиозно-нравственных предписаний**, как **предосудительный поступок, преступление**. Получается, что **грех** — это **отклонение от нормы**. Впрочем, это только внешнее проявление **греха**... что же толкает человека ко **греху**? Желание снять внутреннее напряжение? Вероятно. Неверное представление о мире и себе? Тоже справедливо. Отсутствие самовладения? Бесспорно. Таким образом, **грех** — это продукт внутреннего дискомфорта, отсутствия знания и самостоятельности. Перефразируя последнее, получаем: **грех** — это внешнее проявление неодолимого внутреннего дискомфорта личности через выход ее поведения за пределы одобряемого».*

В ассоциативное поле ключевого слова текста как номинации этического концепта попадают не только лексические сигналы связи его с аксиологической картиной мира, выступающие в авторской семантизации слова (ср. нарушение религиозно-нравственных предписаний, предосудительный, преступление, отклонение от нормы, выход за пределы

одобряемого), но и те номинации, которые служат выражением причинных связей ключевого слова (внутреннее напряжение, внутренний дискомфорт, неверное представление о мире и себе, отсутствие самовладения, отсутствие знания и самостоятельности). Показательно, что в один ряд здесь попадают указания на разные уровни проявления психической активности субъекта (ментальную сферу, эмоциональное состояние, волевой статус и т.д.). Базовая роль концепта грех в национальном самосознании подтверждается и тем, что на нем замыкается толкование других ценностных понятий: «**Вина** — это осознанный **грех**, и ничего более» (раздел «Что такое вина?», предваряемый эпиграфом: «Кто Богу не **грешен**, царю не **виноват**.» В.И. Даль); «**погрешность** является производным от слова грех. Получается, что **грех** и **ошибка** где-то рядом по смыслу... **ошибка** — это продукт **греховности**» (раздел «Что такое ошибка?»). Основа интерпретации — семантическая близость слов ошибка и погрешность в лексической системе языка и деривационная общность слов погрешность и грех.

Еще более отчетливо связь с библейской традицией, с константами русской культуры (11) ощущается в истолковании этического концепта смирение:

*«смирняющий себя начинает вдруг проникать в саму суть*

*и природу всех людей, явлений и вещей... именно смирение как предпосылка и цель развития становится для человека абсолютной ценностью. Ведь именно смирение сначала лечит, а затем и спасает его. Поэтому-то Нагорная проповедь Иисуса Христа и открывается очень непростой фразой «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Ведь дух как личная особенность, как ни странно, закрывает путь в Царство Небесное. А вы говорите, что смирение — это унижение (умаление) себя. Нет и нет. Смирение — это преодоление себя. Вроде бы и немного, но попробуйте сделать хотя бы шаг, и вы ощутите блаженство» (раздел «Смирение как предпосылка и цель развития»).*

Полемическая струя текста поддерживается не только синтаксическими фигурами отрицания, противосто- и сопоставления, но и фиксацией полярных точек этического пространства, разных личностных конструктов с помощью ситуативно-речевых антонимов (смирение — унижение, умаление), а также ситуативно-речевыми сближениями (смирение — ценность, цель развития, преодоление себя, блаженство, предпосылка развития, лечит, спасает).

Не случайно внимание лингвистов всё чаще привлекает ценностная основа национальной культуры и языка (13, 1), всё чаще они говорят о культурно-языковой норме, в языковой форме эксплицирующей стабильные элементы культуры (10).

#### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Васильева Г.М. Лингвокультурологические аспекты русской неологии. Автореф. дисс. ... док-ра филол. наук. — СПб., 2001.
2. Гапеева Е.Л. Лексическое структура текстовых фрагментов с монологической речью персонажа (на материале романа И.А. Гончарова «Обрыв»). Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. — СПб., 2001.
3. Герасимова И.А. Деонтическая логика и когнитивные установки // Логический анализ языка. Языки этики. — М., 2000.
4. Залевская А.А. Введение в психолингвистику. — М., 1999.
5. Лейвен-Турновцова Й. ван. Панстратические и пантопические аспекты семантизации отклонений от норм в стандарте и нестандарте европейских языков // Логический анализ языка. Языки этики. — М., 2000.
6. Логический анализ языка. Языки этики. — М., 2000.
7. Лоренц К. Кантовская концепция а priori в свете современной биологии // Эволюция. Язык. Познание. — М., 2000.
8. Петренко В.Ф. Основы психосемантики. — М., 1997.
9. Постовалова В.И. Этическая оценка другого и самооценка в православной духовной традиции // Логический анализ языка. Языки этики. — М., 2000.
10. Стемковская Ю.Е. Образ человека в чешской культуре // Язык как средство трансляции культуры. — М., 2000.
11. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. — М., 1997.
12. Суховой Е.А. Лексические средства адресации в газетном тексте переписки с читателем. Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. — СПб., 1999.
13. Трипольская Т.А. Эмотивно-оценочный дискурс: когнитивный и прагматический аспекты. — Новосибирск, 1999.

## СЕМАНТИКА И КУЛЬТУРА. СЛОВО В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ

Р. Токарски  
Люблин, Польша

Современные исследования по лексической семантике, и прежде всего исследования, касающиеся понимания значения и создания семантической дефиниции слова, до сих пор, вообще говоря, велись в двух разных направлениях. Первое из них, назовем его досистемным, стремится к обнаружению максимально инвариантных, устойчивых смысловых компонентов, что в аналитической практике приводит к констатированию достаточных и необходимых признаков при попытке описания конкретных лексических единиц. Вторая же перспектива, определяемая нами как перспектива дотекстовая, концентрируется прежде всего вокруг семантической потенции слова в тексте.<sup>1</sup> Следует заметить, что упомянутое направление стремится не только дать ответ на вопрос о смысловой особенности данной лексической единицы, но также свидетельствует о том, как эта же единица может быть интерпретирована в конкретном тексте и в конкретной ситуации говорящими на данном языке. Поэтому в случае творческих текстов, а именно текстов артистических, в которых восприятие нестандартных словесных сочетаний и укрытых в них картин представляется главным интерпретационным условием текста, особенно важным является подчеркивание семантической потенциальности слова и высказывания, что присуще такому научному течению, как семантика понимания.<sup>2</sup>

Именно проблемы семантической интерпретации слова в артистическом тексте будут целью настоящей статьи. Мы хотим попытаться найти ответ на вопрос, как распознавать семантические текстовые признаки, которые зачастую расшатаны и мимолетны, а также как устанавливать их достоверность по отношению к языку и культуре. И все это нужно для того, чтобы наши интерпретации не оказались случайными и крайне субъективными.

В анализе мы будем пользоваться теорией семантических коннотаций, т.е. теорией, описывающей те смысловые признаки, которые вследствие своей факультативности не входят в состав так называемого лексического значения. Они образуют своеобразную семантико-культурную оболочку реализуемого в тексте слова, а в словарях они обычно отсутствуют ввиду своей семантической потенциальности, нечеткости, а также невыполнения, наконец, дифференциальной словарной функции. Из вышесказанного следует, что принятое здесь основное положение описания является близким по отношению к дотекстовой перспективе, а также открытой семантической дефиниции, которая предусматривает как лексическое значение, так смысловые коннотации (1, с. 47-61).

Приведем в начале широко известную дефиницию семантической коннотации: «Лексическая коннотация лексической единицы L — это определенная характеристика, которую L приписывает своему референту и которая не входит в состав ее дефиниции» (4, с. 17). Согласно такому мышлению, коннотации составляют внешний, факультативный

слой значения, руководствуются иными правилами и имеют другой познавательный статус в отличие от обязательных составляющих лексического значения. Нет необходимости приводить все возможные мотивы богатой литературы, касающейся этой исследовательской концепции. Остановимся только на проблеме, решение которой, как поначалу казалось, являлось наименее дискуссионным, но в перспективе текстологических исследований стало довольно проблематичным. Речь идет о критериях верификации коннотационных признаков. В цитированном научном трактате авторства *Jordanskiej* и *Mielczuka*, а также в работах многих других, тоже польских, исследователей, единодушно подчеркивалось, что конкретная коннотация, если она является истинно реальным языковым фактом, должна подчиняться верификации в процессе стандартных, конвенциональных применений языка. Если мы предположительно хотим приписать какой-либо лексеме детальный коннотационный признак, то в качестве верификационных методов могут выступать словообразовательные и семантические дериваты, стабильные метафоры и фразеологизмы, в какой-то мере пословицы и поговорки, а также различного рода смысловые тесты. Вследствие такого положения в польском существительном *zielen* (зелень) или прилагательном *zielony* (зеленый) обоснованным можно считать выделение коннотации 'незрелости, неопытности' либо 'радости, надежды' в случае, когда в языке можно отыскать привычные языковые факты типа *byc zielonym w jakiejś dziedzinie* (быть зеленым в какой-то области), *zielona głowa* (зеленая голова), *zielone lata* (зеленые годы), *miec zielono w głowie* (иметь зелено в голове), *grac w zielone* (играть в зеленое), *zielono mi!* (зелено мне!) и т.п. Согласно постулатам структурального анализа, релевантность коннотационных признаков можно определить только в процессе воздействия на язык.

Предлагаемые техники верификации смысловых признаков имеют как преимущества, так и существенные дефекты. С одной стороны, они являются методологически ясными, т.е. не оставляют никаких сомнений в случае релевантности предполагаемого коннотационного признака. Привычные факты из области деривации, фразеологизмов и т.п. подтверждают существование коннотации, зато их отсутствие доказывает небытие того же признака.

Это мнимое методологическое преимущество, так сказать — ясность и элегантность метода, которые объективизируют предлагаемые гипотезы — несет с собой, однако, очень существенные ограничения. Говоря метафорически: исследователь, одобряющий подобного рода анализы, может точно ориентироваться единственно в пределах пространства, очерченного стенами. И хотя он знает, что за одной из этих стен происходит что-то интересное, не может однако найти конкретных интерпретационных инструментов, чтобы туда проник-

нуть. Особым случаем такого пространства, сложного для структурального анализа, являются творческие тексты, и прежде всего тексты артистические. Например:

*Zielono nam w głowie i fiolki w niej kwitną,  
Na klombach mych myśli sadzone za młodu.  
Pod słońcem, co dało mi duszę błękitną  
I ktore mi świeci bez trosk i zachodu.*

*Obnoszę po ludziach moj us miech, i bukiety  
Rozdaje wokół i jestem radosna  
Wichurą zachwytu i szczęścia poety,  
Co zamiast człowiekiem, powinien być wiosną.  
K. Wierzyński<sup>3</sup>*

Что же может значить выражение *błękitna dusza* (голубая душа)? Несомненно, ключом к интерпретации этой метафоры являются коннотации наименования *błękitny* (голубой) (а также очень близкого по смыслу прилагательного *niebieski* (синий)).<sup>4</sup> Однако если бы описание смысловых коннотаций этих наименований мы оценили только через призму традиционных, вышеупомянутых верификационных техник, то в случае отсутствия формальных коннотационных показателей эти же наименования были бы практически лишены своих признаков, и, следовательно, выражение *błękitna dusza* (голубая душа) нужно было бы признать девядцией.

С подобной трудностью мы сталкиваемся при описании текстовых значений слова *bluszcz* (плющ) — 'вид декоративного растения, обвивающего вокруг иное растение, подпоры и т.д.' J. Puzynina, описывая значение этого слова в текстах Norwida (6, с. 54 и след.), отметила присутствие множества коннотаций, начиная от положительных — 'легкости' и 'воздушности', вплоть до отрицательных коннотационных признаков 'смерти'. Так же, как в предыдущем случае, все эти коннотации, хотя и существенные по отношению к тексту, не удалось раскрыть при помощи формальных методов идентификации признаков. В польской языковедческой традиции именно по примеру Puzyniny взяло свое начало отличие семантических системных коннотаций от семантических коннотаций текстовых. Эти первые — как признаки прочно закрепленные в языке, и прежде всего в языке разговорном, можно сравнительно легко обнаружить при помощи классических методов верификации признаков. Однако эти же методы не находят своего оправдания в описании текстовых коннотаций, которые в разговорном языке зафиксированы слабо и которые в свою очередь составляют интерпретационную основу для творческих языковых употреблений, различного рода словесных игр либо артистических текстов.

Резюмируя полученные до сих пор рассуждения, мы хотим сформулировать несколько частичных выводов. Банальным является утверждение, что в процессе создания семантической дефиниции слова (здесь: дефиниции, понимаемой нами не как конструкции, создаваемой для потребности лексикографического компендиума общепринятого языка, но как дефиниции, которая осознает, как чело-

век может понимать данное наименование; дефиниции, восстанавливающей определенную концептуальную модель, связанную с этим же наименованием) принятие во внимание семантических коннотаций оказывается конечным. И далее эти коннотации не составляют однородного множества, они имеют градационный характер в том смысле, что возле признаков, прочно зафиксированных в языке, существуют также признаки, слабо закрепленные, реализованные порою в конкретном тексте, группе текстов или текстах конкретного автора. И наконец, очень важно для нас будет следующее положение: принимаемые в структуралистической методологии методы верификации этих признаков оправдываются только в случае признаков, прочно закрепленных в языке, однако они ненадежны при интерпретации признаков слабых. Если бы доступные нам методы верификации коннотационных признаков ограничить только до формальных показателей, то семантическая картина слова оказалась бы довольно случайной и неполной, и, что очень важно, — лишенной внутренней логики, раскрывающей связи и взаимосвязи между отдельными слагаемыми целостной структуры значения.

Следовательно, существенной проблемой становится способ верификации текстовых гипотез в процессе «прочтения» (обнаружения) коннотации слова. Чем располагает исследователь или, скажем, обычный читатель артистического текста, если не оправдываются наиболее навязывающиеся показатели обоснованности возможных восприятий (перцепции) текста? «Зачем тогда строго придерживаться формальных правил при обозначении коннотации? Может, достаточной здесь окажется только языковая интуиция, проверяемая у других потребителей языка, которая в сомнительных случаях имела бы основу в анкетных исследованиях?» (6, с. 55).

Естественно, как утверждает Puzynina, интуиция интерпретатора должна быть обоснована анализом более либо менее близких и далеких контекстов слова. В приведенном выше стихотворении Wierzyńskiego *błękitna dusza* (голубая душа) сосуществует возле ряда определений, составляющих целостное описание эмоционального состояния человека. Выражение *miecz zielono w głowie* (иметь зелено в голове) подчеркивает определенную незрелость, неопытность, юношескую оценку мира, — незрелость, лишенную однозначной отрицательной оценки. Это своего рода натуральная неопытность молодого человека, связанная неразрывно со свойственным ему радостным, оптимистическим постижением мира. В этом контексте становится обоснованным сочетание такого типа эмоционального состояния с возрождающейся растительностью и радостью *wesny*, которая в качестве названия времени года не только была предсказана в общих предпосылках текста, но также *explicite* появляется в конце стихотворения. Картину весны дополнительно подчеркивают *цветущие фиалки*, хотя, несомненно, на дальнем фоне является намек на разговорный фразеологизм *mieć fioła* (иметь фиалку). Словари польского языка

обычно определяют *fiola* следующим образом — 'причуда, странность, чудачество, мания', хотя как подбор синонимов-дефиниенсов, так и поясняющее заглавное слово цитаты подсказывают отсутствие решительно отрицательной оценки, зато более выразительно подчеркивают элементы определенной дистанции, превосходства, быть может, — пренебрежения описываемого состояния. Следует заметить, что семантически соразмерны два упомянутые выше выражения: с одной стороны, они экспонируют радость, вызванную весной и цветами, а с другой, — жизнь в ином мире, который, быть может, не совсем действителен, но, несомненно, лишен реальных забот и хлопот. В парадигматическом ряду определений, связанных с описуемым эмоциональным состоянием, появляются, наконец, выражения типа *brak trosk* (отсутствие забот), *usmiech* (улыбка), *radosna wichura zachwytu* (радостный шторм восхищения), *szczęście poety* (счастье поэта) и т.п. Уже на основании этих данных, даже без более далекого и глубокого анализа, мы можем установить круг потенциальных коннотаций, вносимых с помощью метафорического эпитета *blekitny* (голубой) в выражении *blekitna dusza* (голубая душа). *blekit* (голубизна) определяет 'совершенство', 'радость', 'свободу', 'волю', 'увольнение от земных забот' и т.п.

Однако помимо обоснованной текстом интуиции, современная лингвистика отдает в распоряжение интерпретатору еще один довольно эффективный исследовательский инструмент, а именно: широко понимаемую культуру, в которой язык исполняет одну из возможных функций, т.е. является кодом. И прежде всего, когнитивизм предлагает особый способ постижения значений слов: он связывает эти же значения с человеческим познанием, а также проводит параллель между смыслом слова и антропологически понимаемой культурой, сопоставляя значение с индивидуальным и общественным опытом. J.R. Taylor пишет: «По существу каждый клочок познания, причудливый и странный, может быть поглощен всецело рамой, создавая при этом ассоциации, общие для большинства людей» (7, с. 89). Понимание языка в этом случае является частью понимания (перцепции) мира, а в его пределах — частью постижения человека и определения его места в окружающей действительности. Языкознание постепенно теряет переоцениваемую в структурализме автономию и совместно со многими другими дисциплинами стремится ответить на вопрос о способах категоризации и оценивания мира. В автономической лингвистике бесследно исчезает традиционное разграничение языковых и внеязыковых знаний, а человеческие познание и опыт, зафиксированные в языке и других культурных кодах, взаимно проникаются и дополняют друг друга.

В процессе интерпретации выражения *blekitna dusza* (голубая душа) мы должны, следовательно, обращаться не только к языковым данным, но также к богатым познаниям о функционировании этого же цвета в жизни человека. Общественная практика употребления синего (голубого) цвета либо предме-

тов, имеющих этот цвет, затрагивает различные сферы нашего опыта.<sup>5</sup> Мы приведем здесь только один пример, который выводится из очень вдохновляющей, пронизанной культурными элементами, принадлежащей XIX веку «Науки о цвете» J.W. Goethego. «Подобно желтому цвету, о котором мы говорим, что он всегда заключает в себе свет, так и о синем цвете можно сказать, что он обладает особенностями чего-то темного. Этот цвет на человеческий глаз оказывает особое влияние, и это явление точно не определимо. Как цвет он является энергией, однако он присущ отрицательной стороне и в своей наиболее чистой форме определяется в некоторой степени брэнностью (небытием), которая возбуждает. Смотря на него, мы обнаруживаем противоречие между возбуждением и спокойствием. Подобно высокому небу и отдаленным горам, которые кажутся нам голубыми, синяя поверхность как будто от нас убегает. Мы охотно гонимся за уклоняющимся от нас милым предметом и обращаем свое внимание на голубизну не потому, что она бросается нам в глаза, но потому, что она нас притягивает. Голубизна вызывает в нас чувство холода, а также напоминает тень... Помещения, оклеянные совершенно синими обоями, кажутся нам в определенном смысле более пространственными, но в действительности они пусты и холодны. Синее стекло вызывает такое ощущение, что какие-либо предметы изображаются в грустном свете» (2, с. 299-300).

Интерпретационные мысли Goethego, казалось бы, не относятся к вышеуказанным текстовым коннотациям 'радости, свободы, воли, избавления от земных забот'. Они подчеркивают преимущество ассоциаций, связанных с темнотой и холодом<sup>6</sup>, а также отрицательных эмоциональных состояний. Однако этому цвету присущи тоже элементы, которые дают возможность положительных коннотаций. Описание предполагает (что подтверждают и лингвистические исследования) связь между наименованием синий (голубой) и ясным, безоблачным небом; подчеркивает особенность открывания безграничного пространства неба посредством синего цвета, который манит за собой человека и воскрешает мечты о дали. Не чужда ему, наконец, аксиологическая амбивалентность, проявляющаяся в воспроизведении радости и грусти, возбуждения и одновременно спокойствия.

На семантическую форму слова (это также подчеркивает современная лингвистика) существенное влияние оказывает физический и культурный опыт человека. Представьте себе человека, который не сводит глаз с чистого, голубого неба. Ничем не ограниченное, безбрежное пространство способно вызвать в нем отрицательные ассоциации, проявляющиеся в осознании ничтожности людского существования, и далее — брэнности мысли о смерти. Однако в конечном счете оппозиция *небо — земля* вместе с вписанной в нее аксиологической метафорой «верх — низ» позволяет установить также иное коннотационное направление. Земная жизнь, особенно в случае, когда актуальной становится оппозиция в отношении неба и пространст-

ва, очень часто ассоциируется с заботами и страданиями, невозможностью избавления от маразма, с картиной физического существования в реальном мире, причем мире довольно неинтересном. Этот факт подтверждают многие языковые выражения типа *ziemski padół* (земная юдоль), *przyziemne myśli* (обыденные мысли), *stać twardo na ziemi* (стоять твердо на земле) и т.п. Небо (и голубая душа) — по принципу противоположности — могут создавать интересный, совершенный мир, который увлекает за собой человека. К проблеме мотивировки коннотационных признаков мы еще вернемся в конце этой статьи.

Интуиция и самонаблюдение, которые необходимы при смысловом описании слабо зафиксированной в языке коннотации, несут однако за собой некоторую опасность, вытекающую из субъективности этой же коннотации. Нередко подчеркивается мимолетность единичного опыта, а также связанные с этим проблемы в конструировании интерсубъективных суждений на тему языка: «Главная трудность заключается в том, что самонаблюденческий метод не дает нам возможности объективной проверки подлинности чьих-либо впечатлений. Люди вообще способны по-разному осмысливать то, что с ними происходит, и нет ничего удивительного в том, что они могут также по-разному анализировать свои впечатления в процессе мышления. Единственно данные самонаблюдения — это реляции с их личного жизненного опыта» (З, с. 196). По правде говоря, современная семантика признает свой субъективный характер, однако между культурно детерминированной формой понятия и его возможными текстовыми трансформациями, с одной стороны, и индивидуальным людским опытом, с другой, существует принципиальная разница. Если мы хотим при интерпретации текстов предложить такого рода дефиницию, которая фиксировала бы даже мимолетные единичные впечатления, то сама интуиция либо самонаблюдение были бы недостаточны. Следовательно, возможной кажется формулировка вывода: в случае слабых коннотаций, когда подводят предлагаемые формальные показатели релеванции признаков, необходимо, чтобы интуиция или самонаблюдение интерпретирующего текст находили поддержку во всем том, что традиционная лингвистика отвергала как так называемое внеязыковое познание. Натуральный язык является лишь одним из показателей восприятия и осмысления окружающего мира, а многосторонний взгляд на мир поможет избежать ненужного интерпретационного субъективизма.

Этот интерпретационный субъективизм, проявляющийся в предложениях единичных индивидуальных коннотаций, можно элиминировать посредством межтекстовых сравнений. Как уже упоминалось выше в стихотворении Wierzyńskiego, коннотации, по правде говоря, не появляются в общепринятом языке, однако очень часто они встречаются в поэтических текстах.

Представленный до сих пор читателям общий план описания коннотаций прилагательного *blekitny* (голу-

бой) не является полным. И тут речь идет не о том, что была указана только одна коннотационная тропа, касающаяся положительных эмоций, а также о том, что выделенные коннотации 'радости', 'совершенства', 'избавления от земных забот' и т.п. имеют единственно приближенное достоинство и требуют, быть может, более точного метаязыка. Для нашей статьи это второстепенные вопросы. Прежде всего речь идет о том, что предлагаемому описанию присуще еще мышление, характерное для структуральной лингвистики: понимание значения как конъюнктуры признаков. В представленном описании значение прилагательного *blekitny* (голубой) является суммой признаков лексического значения и отдельных коннотаций.

Я хотел бы здесь обратить внимание еще на один возможный способ объективизации данных самонаблюдения, который относится к положению о внутреннем, необязательно конъюнктивном порядке структуры понятия. Я обращаюсь в данном случае к исследованиям структуры понятий в рамках психологии и искусственного интеллекта: к концепции фреймов М. Минского. Согласно этой концепции, целостный понятийный образец, относящийся к данной единице, имеет многоуровневую структуру, а между частичными уровнями существует сеть взаимных зависимостей и соотношений. Наивысший уровень рамы открывает один либо более «узлов» («slots»), которые являются конкретизациями этого же наивысшего уровня. И далее, каждый отдельный, более низкий уровень соединяется с соответствующей высшей ступенью, отчасти вытекает из нее, является ее развитием, благодаря чему полученная модель характеризуется сплоченностью и иерархией (5).

Перенесенную на уровень языковых описаний тезу Minsky'ego я сформулировал как принцип внутренней мотивировки (предвидения) коннотационных признаков значения (11; 8). Она должна в принципе исполнять функцию одного из основных лингвистических критериев, устанавливающих достоверность семантической интуиции интерпретатора. Внутренняя мотивировка смысловой картины слова позволяет обосновать языковую релеванцию не только системных коннотаций (это кажется наиболее простой задачей), но также коннотаций слабых, текстовых. Однако этот принцип я хотел бы рассмотреть более широко: он позволяет реконструировать языковую категоризацию мира, иначе говоря, — процесс создания посредством языка картины какого-нибудь явления, предмета и т.п., который был бы близок когнитивному пониманию задач семантики, т.е. показанию того, как понимается (или даже: как может пониматься!) конкретное языковое выражение. Главным образом речь идет о том, чтобы каждый предлагаемый составной элемент значения превратился в интегральную частицу, входящую в состав целостной семантической картины слова, и при этом не являлся, так сказать, добавленным по принципу конъюнкции элементом сравнительно большей группы признаков. Более того, каждая предлагаемая при описании коннотация не может быть слу-



чайным признаком в том смысле, что она имеет определенное место в многослойной семантической картине слова, а ее содержание (суть) является вторичным (производным) и вытекает из всех иных семантических элементов.

Принцип внутренней мотивировки (предвидения) семантических признаков был протестирован в том числе и на польских наименованиях цветов.<sup>7</sup> Не обсуждая более подробно представленный в данной работе анализ, коротко скажу, что коннотации наименования *blekitny* (голубой) не составляют качественно случайного множества, но проистекают из высшего уровня, т.е. лексического значения слова либо коннотации значительно большей степени обобщения. Они мотивированы лексическим значением или иными коннотациями. Ключом к их пониманию является прототипный образец цвета, т.е. *небо* (*синий* вступает в формальную связь с *небом*, *голубой* и *синий* — это близкие синонимы и с *небом* они связаны семантически, ср., например, частую голубизну как метонимическое определение неба).

Коннотации существительного *небо* и цвета *голубой* сосуществуют параллельно. *Небо* в значении 'место пребывания Бога, ангелов, души человека, спасенной от смерти' коннотирует 'счастье, совершенство', и такие же коннотации повторяются в семантически мотивированном посредством неба прилагательном *голубой*. *Небо* в значении 'открытое пространство над нашими головами, небосклон' коннотирует 'свободу', 'увольнение от земных забот' (ср. *chodźcie z głową w chmurach* / *ходить с головой в облаках*, *bujas w obłokach* / *витать в облаках*), и эти коннотации можно без большого труда определить в наименовании *голубой*. Коннотации 'радости' остаются в тесной связи с двумя лексическими значениями *неба* и вытекают из него вместе с прочими вышеупомянутыми коннотациями. Определение взаимных зависимостей между составляющими элементами целостной модели значения позволяет обусловить даже наиболее слабый коннотационный признак в том смысле, что он является логическим результатом этой же целостной модели.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Более подробно об этих направлениях, а также о соответствующем им отличию понятий дефиниции и экспликации см. в работе: 1, с. 47-61.
2. Предпринимаемые шаги в рамках семантики понимания как одного из многих течений когнитивной семантики обусловлены различными теоретическими положениями, среди которых особенно многообещающей является семантика интерпретационных фреймов (*frame semantics*). С более подробным описанием основных положений этой теории можно встретиться в работах: 12, с. 121-132; 10, с. 261-272.
3. Зелено мне в голове и фиалки в ней цветут,  
На клумбах моих мыслей они посажены еще в молодости.  
Под солнцем, которое дало мне голубую душу  
И которое светит для меня без забот и хлопот.  
  
Я показываю людям мою улыбку, и букеты цветов  
Я раздаю вокруг и я — это радостный  
Шторм восхищения и счастья поэта,  
Который вместо человека должен зваться весной.
4. О сходствах лексического значения и семантических коннотаций *niebieskiego* (*синего*) и *blekitnego* (*голубого*) более подробно в работе автора: 9, с. 17.
5. В качестве внеязыковых аргументов, поддерживающих семантические описания наименований цветов, можно использовать такие информации, которые несут за собой археология, история искусства, фольклористика, а также хромотерапия или феномен моды, ср. работу: 9, с. 17.
6. Также в художественных колористических теориях синий краситель относится к группе холодных оттенков.
7. См.: 9. Этот принцип используют также в практическом анализе в еще не опубликованных, написанных под моим руководством докторских диссертациях, посвященных натуральным видам: наименованиям птиц и видам птиц (D. Кера), а также избранным наименованиям цветков (D. Piekarczyk).

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Bartmiski J., Tokarski R. Definicja semantyczna: CZEGO i DLA KOGO? // O definicjach i definiowaniu / Ред. J. Bartmiski, R. Tokarski. — Lublin, 1993. — С. 47-61.
2. Goethe I.W. Wybor pism estetycznych. — Warszawa, 1981.
3. Huttenlocher J. Język a myślenie // Język w świetle nauki / Ред. B. Stanosz. — Warszawa, 1980.
4. Jordanskaja L., Mielczuk I. Konotacja w semantyce leksykalnej i leksykografii // Konotacja / Ред. J. Bartmiski. — Lublin, 1988.
5. Minsky M. Framework for Representing Knowledge // Frame Conceptions and Text Understanding, ed. D. Metzger. — Berlin-New York, 1980.
6. Puzynina J. Słowo Norwida. — Wrocław, 1990.
7. Taylor J.R. Linguistic Categorization. Prototypes in Linguistic Theory. — Oxford, 1989.
8. Tokarski R. Ramy interpretacyjne a problemy kategoryzacji // Językowa kategoryzacja świata / Ред. A. Pajdzinska, R. Grzegorzczkowska. — Lublin, 1996.
9. Tokarski R. Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie. — Lublin, 1995.
10. Tokarski R. Semantyka ram interpretacyjnych w leksykologii // «Annales» UMCS. — vol. XVIII, sectio FF. — Lublin, 2000. — С. 261-272.
11. Tokarski R. The linguistic picture of the world and some assumptions of cognitivism // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LI. — 1995.
12. Waszakowa K. Rola kontekstu i sytuacji w rozumieniu neologizmów // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LIII. — 1997. — С. 121-132.

## ЭТИКА И МОДЕЛЬ ЭКОНОМИКИ: ЛЕКСИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

К.В. Томашевская  
Санкт-Петербург

Творческие и духовные искания школы всеединства в области цельного знания имеют особое значение для современности, особенно в связи с тем, что в наши дни проблема единства знания и веры, знания и образа жизни стала вновь актуальной для культуры, ибо современный человек утрачивает цельность, а «духовный мир, некогда такой гармоничный и единый, по сути дела, превратился в разбегающуюся вселенную» (4, с. 5).

Экономика, политика, искусство и другие сферы жизнедеятельности определяют жизнь общества и отдельного человека.

В этой перспективе рассмотрим некоторые экономические «метадискурсы», прогнозирующие судьбы макроэкономики с учетом их лексических маркеров.

«С начала перестройки, — пишет В. Шердаков, — широко пропагандируется утверждение, согласно которому экономика, политика, право развиваются по своим законам, и поэтому не следует навязывать им мировоззренческие, идеологические рамки. Нельзя-де подходить к экономике с нравственными критериями, у нее свой критерий — эффективность. Утверждение о том, что есть какие-то непреложные экономические законы, которые не подвластны нравственным требованиям, — это выдумка для оправдания существования рабов и господ, богатых и бедных» (6, с. 74). Появилось новое объяснение в виде науки политической экономии, открывшей законы, по которым выходит, что распределение труда и пользование им зависит от спроса и предложения, от капитала и ренты, заработной платы, ценности и прибыли. Нет экономических законов, которые были бы обязательны для людей и в том случае, когда они противоречат нравственности. Конечно, существующие экономические системы могут принудить человека пренебречь велениями совести. Но это зависит от того, какая система, какая **модель экономики** создана. Отсюда следует, что не нужно ни мириться, ни создавать такие системы экономики, которые вынуждали бы человека поступаться велениями нравственности ради прибыли или наживы в любой ее форме.

Экономический дискурс и его лексическая организация позволяют проследить не только за тем, какая модель экономики создается в обществе, но и за тем, какие представления о человеке закрепляются той или иной моделью (это результаты выживания нации и «качества жизни» этноса).

Экономика — часть культуры с ее нравственными ориентирами. Эта же мысль содержится в рассуждениях Александра Неклессы: «Порожденный веком Просвещения привычный образ прогресса, осуществляемого человечеством на основе коллективного согласия относительно целей и ценностей общественного развития, оказался в настоящее время существенно поколеблен. В социальном универсуме и сознании людей вместо идеалов гражданского общества и рационально-созидательных форм поведения утверждается примат анонимных сти-

хийных сил, существующих и действующих независимо от человеческой воли, творящих вне рамок осознанных намерений общества принципиально непостижимую, спонтанную версию реальности.

Уходящая куда-то в бесконечность «темная» мировая конструкция создает, между тем, свою систему социальной регуляции, основанную на скрупулезной денежно-финансовой фиксации поведения индивида и соответствующей формализации жизни. Новый социальный проект обладает и собственным мировоззренческим комплексом, и даже отчасти метафизикой — развилшейся из идолопоклонства «священной корове» экономического либерализма, «невидимой руке» рынка» (3, с. 120).

Концепт «рынок» в его современной интерпретации опирается на взгляды Адама Смита, который считал, что «благое в своей основе мироустройство требует от человека естественного поведения, следования должному (не нарушая при этом норм закона и правил общественной морали)», полагая, что из суммы правильных и разумных в каждом конкретном случае действий может проистекать лишь общий позитивный результат. При этом истина реализует себя в достаточной мере независимо от индивидуальной воли и намерений (иногда ошибочных), проявляясь в сумме свободных и конструктивных действий всего человечества. В том числе и даже в первую очередь — в экономической сфере жизни. «Каждому человеку, пока он не нарушает законов справедливости, — писал Адам Смит, — предоставляется совершенно свободно преследовать по собственному разумению свои интересы и конкурировать своим трудом и капиталом с трудом и капиталом любого другого лица и целого класса». Таким образом, основой экономики оказывался синтез общественной морали и естественного желания человека улучшить условия своего существования. Образовавшийся же в современном обществе метафизический вакуум заполняют, по выражению А. Неклессы, безумные стихии, по-античному роковые «силы рынка», выстраивающие собственную, никому до конца не ведомую версию дольного мира. «В таком варианте, — пишет он, — принцип «невидимой руки» утверждает диктат своеволия и антиобщественных интересов, слишком часто прямо попирающих именно законы справедливости» (3, с. 120).

Распад привычного культурно-исторического ландшафта, торжество эклектичной «глобальной иллюзии» сопровождаются прогрессирующим уплощением, стерилизацией и одновременно невротизацией личности, выводимой, по А. Неклессе, за пределы культурного контекста и прямых человеческих связей. Ведь становление индивида, критически важные условия его внутреннего роста, предполагают произнесение слов и совершение действий, имеющих персонифицированный характер, порождающих отклик, результат в рамках некоей осязаемой общности. Массовость же и анонимность уходящих в бесконечность социальных схем и информационных конструкций многоликого «планетарного субъекта» есть некоторым образом мера кор-

розии общества. Эти же факторы продуцируют, как утверждает А. Неклесса, *perpetuum mobile* современного блуждания народов, генезис нового варварства, растекающегося по унифицированным коридорам глобального мира.

В пространствах, прежде всего на границах пространств языка и мышления, человек оказывается в ситуации выбора между различными «возможными мирами» и сам создает новые. Такой выбор часто имеет сугубо личностный характер, однако вряд ли реализуется «без последствий» для бытия, поскольку существенно расширяет его пределы через создание новых миров или принципов их создания. Даже те возможные миры, которые создаются благодаря обнаружению новых смыслов слов, в игре с их **сочетаемостью**, дают возможность проявить и соотнести свою волю с бытием, возникают в своеобразном волевом усилии.

Из всех средств построения семантики возможных миров лексические средства являются особенно важными. Писатель, как и всякий человек, привлекает к осмыслению действительности свое образование, жизненный опыт и воображение, ищет аналогии, рассуждает, сравнивает. Для того чтобы адекватно передать свои впечатления и выводы, он строит возможные обстоятельства, воссоздает характеры и их реакцию на ситуацию отыскивает в жизни и литературе.

В современной литературе видное место занимает публицист и писатель Юлия Латынина, автор экономико-социально-паракриминальных репортажей и экономических романов, создающая в них возможный мир, преступное государство с феодальной продуктивной экономикой. «Это государство у нас преступное и заставляет бизнесмена, чтобы выжить, нарушать закон» (2, с. 18). Ю. Латынина как бы возражает А. Чубайсу, заявившему в интервью газете «Известия»: «Считал и считаю, что государство должно быть выше бизнеса, что никто, даже крупный капитал, не должен расставлять министров, диктовать правительству». Тема неизбежной и по-своему продуктивной экономической феодализации современной России у Латыниной давняя. Описывая борьбу финансово-промышленных группировок за обладание Кочканарским горно-обогатительным комбинатом (ГОК) в Свердловской области, она заканчивает так:

*«По возвращении с Урала я рассказала биографию ГОКа одному из своих интеллигентных друзей, и он пришел в ужас: «Да это же упыри какие-то, они всем поотрывали головы, и это, по-твоему, хорошо? Только потому, что у них завод работает, а у других нет?..». Печально, но это именно так. Феодализация российской экономики достигла такой степени, что ... российские предприниматели, как и средневековые бароны, [не способны] на элементарную законопослушность. Когда тушат пожар — не смотрят, чиста ли вода. Единственным маяком в стране распадающейся морали может служить эффективность хозяина. Ворует хозяин для завода или у завода — вот и все критерии... Это история зарождения предельно жестоких и предельно эффективных собственников. Что поделаешь — в нашей стране и трассирующая очередь сойдет за луч» (2, с. 56).*

Реальный мир Латыниной характеризуется лексикой, подчеркивающей его экстремальное состояние: пожар, полная темнота, трассирующая очередь, как единственный источник света, страна распадающейся морали. Противопоставляется реальному миру возможный, где «воровство во благо», где есть «эффективность хозяина», «предельно эффективные, хотя и жестокие собственники». Латынина подводит к мысли, что единственная возможность выжить — сделать возможный мир реальным любыми способами, не заботясь о «чистоте воды». Для этого и условия все созданы — **законопослушным уже быть нельзя**, а в противозаконных способах нужно только скорректировать цели — «воровать для завода, а не у завода». Феодальное состояние экономики подчеркивается сравнением российских предпринимателей со средневековыми баронами.

Еще в романе «Бандит» Латынина подчеркивает сходство рэкетирского налогообложения с той данью, что платили крестьяне своим высокородным защитникам в средневековой Японии. А генерального директора градообразующего предприятия постоянно сравнивает с ханом, князем или герцогом. Борьба разворачивается между финансовым (в определенном смысле виртуальным) и производственным (реальным) капиталом. Государство — не более, чем оруженосец банкиров, инвестирующих, подобно банкирам средневековой Италии, деньги не в производство, а во власть; оно — пособник противника, а не сам противник. Вот портрет финансового олигарха, по совместительству — высокого чиновника:

*«Этот человек воплощал в себе все, что ненавидел Извольский: федеральную власть, используемую как высокодоходный финансовый инструмент, близость к Кремлю, абсолютную бессовестность и редкое умение осуществлять многоходовые операции, в процессе которых стратегические интересы страны преобразовывались в финансовые интересы автора комбинации».*

Опираясь на созданные контекстуальные синонимы: власть — финансовый инструмент, Латынина создает типичный для нашего времени психологический портрет с отрицательной оцененностью человека типа Березовского.

Главный же герой говорит о себе:

*«Я не банкир. И вообще я не люблю банки... Я производитель. У меня карманные банки. А банкир — это у которого карманные заводы».*

Используется новое переносное значение прилагательного **карманный**. Если в «Словаре русского языка» С.И. Ожегова (1970) оно дается только в сочетаниях «карманный вор», «карманные часы», то в «Толковом словаре русского языка конца XX в.» под редакцией Г.Н. Складневской (1998) появляется: перен. — *«послушно выполняющий чужую волю, зависимый в материальном, политическом отношении».*

Положительность главного героя подчеркивается тем, что финансовые средства, находящиеся в банках, он использует на развитие производства, а его антитипод, извлекая из «своих» заводов прибыль, наполняет свои счета в банках.

Надежность предприятий противопоставляется «ветренности» банков.

*«Банк и предприятие по-разному устроены ... Что такое деньги банка? Это просто записи на счетах ... Они сейчас здесь, через минуту — в Америке, через две минуты на Кипре ... Дунул — и все, бабки улетели в оффшор. А предприятие так не может. У него основные фонды. Я домну при всем желании на корреспондентский счет не переведу и через спутник на Багамы не сброшу».*

Создаются контекстуальные антонимы: просто записи — основные фонды. Несущественность первых подчеркнута наречием *просто* в значении «ничего особенного», в термине «основные фонды» подразумевается акцент на прилагательном «основные», то есть «главные, надежные». Наряду со специальной лексикой — счета, банки, оффшор, основные фонды, перевести на корреспондентский счет — используются разговорные выражения — «дунул, и бабки улетели», чем подчеркивается не-серьезное, пренебрежительное отношение к финансовым воротилам.

Латынина нарисовала абрис нашей «средневековой экономики», ее герои «подобно мелкому барону, обиженному соседом-герцогом, принялись искать сюзерена покруче». Но чувствуется ностальгия и по другому средневековью, где давали клятвы верности и получали посвящение в рыцари, но в стране «распадающейся морали» такие отношения невозможны, и одиночки-романтики гибнут от неминуемого общемирового поглощения «призрачной неэкономикой финансовых технологий» (3, с. 123).

Ирина Роднянская считает, что у нас в стране — бескрайняя экономическая «правизна», экономический либерализм, надеющийся вытащить себя — и всю страну — за волосы, не прибегая к санкциям морали и производного от нее права (5, с. 4). Безданность ситуации подчеркивается сравнением с попыткой известного фантазера барона Мюнхгаузена вытащить себя из болота за волосы, что в реальной жизни невозможно.

Она мечтает, чтобы в «национальном государстве», противостоящем «призрачной неэкономике», государственные законы мешали жить по понятиям и «феодалам», и «олигархам». А в остальном — свобода. «Это тоже позиция «справа», но не правее Чубайса», — пишет она.

Однако не потому ли Ю. Латынина подчеркивает свой крайний **экономизм**, что в стране, в социуме исчерпана «строительная энергия идеализма»?!

В текстовой деятельности и в существующем массиве текстов, в первую очередь, художественных, находит обоснование наличие поппулистского и актуалистского подходов к проблеме возможных миров.

Семиотика искусства знает широкое разнообразие решений соотношения возможного и действительного. З. Шмидт, выясняя вопрос «достижимости» действительного мира из мира художественно возможного, отмечает следующие теории художественной литературы:

**1.** Идеалистические теории, постулатом которых является абсолютная автономность литературных произведений. Эти теории отвергают прямую соотношенность художественного и актуального миров, но не отрицают достижимость литературного мира из мира актуального;

**2.** Марксистские теории «отражения». Они трактуют возможный художественный мир как более или менее правдивое и политически акцентированное описание положения дел в мире актуальном в определенный период времени;

**3.** Теории негативной эстетики (эстетики отрицания). Ими оценивается возможный художественный мир как отрицание странного, эксцентричного актуального мира, как лучшая альтернатива последнему;

**4.** Теории *poiesis*. Приверженцы этих теорий предлагают рассматривать порождение художественного мира как процесс изобретения разнообразных возможных миров с всевозможными отношениями между художественными мирами и актуальным миром с целью расширить границы воображения — найти альтернативы актуальному миру или его частям;

**5.** Теории конкретного и концептуального направлений. Они пытаются показать правила и элементы устройства мира как такового, представляют средства и «языки» вместо содержания (1, с. 95).

При анализе вышеперечисленных теорий выясняется, что в большинстве случаев художественный текст рассматривается как обозначающий возможный мир, и в большинстве эстетических направлений не снимается вопрос достижимости актуального мира из мира возможного. Иными словами, если в формальных логических системах в равной мере допустимы и поппулистский, и актуалистский подходы, то в сфере действия естественного языка и его пользователей преобладает актуалистский подход, что и доказывает его большую состоятельность.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Баранов А.Н. Путеводитель по дискурсивным словам русского языка. — М., 1993.
2. Латынина Ю. Бандит. — М., 1996.
3. Неклесса А. Пакс. Экономика, или эпилог истории. Размышление у дверей третьего тысячелетия // Новый мир. — 1999. — № 9. — С. 118-136.
4. Никитин Е.П. Духовный мир: ограниченный космос или разбегающаяся вселенная // Вопросы философии. — 1991. — № 8. — С. 45-54.
5. Роднянская И. Этот мир придуман не нами // Новый мир. — 1999. — № 8. — С. 121-132.
6. Шердаков В. По законам нравственности // Октябрь. — 1996. — № 6. — С. 131-144.

## ВЕРБАЛЬНАЯ ЭТИКА ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ АНТРОПОЦЕНТРИЗМА В ПРОСТРАНСТВЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА

А.А. Буров  
Я.А. Фрикке  
Пятигорск

Имя — гость сущности.

Лао Цзе

Следует только с удовлетворением констатировать, что филология новейшего времени в большинстве своих методологических, теоретических и практических сторон и граней обратилась к исследованию человеческого феномена. Так, лингвокультурология как одна из этих сторон предпринимает серьезные попытки определить важнейшие корреляции между языком и культурой (11, с. 9). Постепенно мы подходим к воплощению мысли, высказанной в свое время К. Леви-Стросом: «... язык можно рассматривать как фундамент, предназначенный для установления на его основе структур, иногда и более сложных, но аналогичного ему типа, соответствующих культуре, рассматриваемой в ее различных аспектах» (8, с. 74).

Антропоцентризм, провозглашенный еще эпохой Возрождения и утвержденный веком Просвещения как смысл, цель и метод познания мира и признания в нем «Его» человекотитана, в отличие от божества античности, спускающегося с небес к людям в их образе и подобию, на рубеже XX и XXI веков переживает время своей качественной реинновации. На русскоязычной почве это явление (традиционно, видимо) окрашено в нравственно-ментальные тона и подкреплено философской мотивацией самого различного (зачастую сомнительного) идеолого-политического и религиозного толка (ср.: 3 и 6).

С точки зрения языка как имманентно-перманентного социально-индивидуального организма антропоцентризм выступает вполне ясной и четкой **лингвистической идеологией**. Смысл данной терминологической синтагмы заключается, по нашему мнению, в такой специализации «внутренней формы» сложного концепта «**совокупность** связанных между собой идей и требований, выступающих как основа конкретных условий, решений и т.п.» (2, с. 375), которая делает речевое поведение языковой личности (ЯЛ) обусловленным определенными прагматическими установками, лежащими в основе языковой картины мира (ЯКМ).

Языковая (лингвистическая) идеология интересна тем, что, опираясь на общегуманитарные принципы, универсальные и традиционно мотивированные, глубоко субъективна, индивидуальна, ориентирована на **внутреннюю свободу**, духовную имманентность ЯЛ каждого конкретного этнического или неэтнического носителя языка. К традиционно уже выделяемым признакам ЯЛ — полноте владения родным языком, языковой и коммуникативной компетенции, личностным интересам и способностям к определенной профессиональной деятельности, творческим данным (см.: 10, с. 112; 7) — мы должны обязательно добавить момент лингвоидеологический, во многом определяющий уровень того, что мы называем **вербальной этикой**. В ней отражается качество диалогичности культур, пред-

ставляющих поликультурное пространство, в котором формируется ЯЛ и складывается ее ЯКМ.

К. Леви-строс считает основной задачей антропологии познание человека, призванное выявить те «тайные силы», которые приводят в движение «присутствующего, хотя и не приглашенного на наши споры гостя: человеческий дух» (7, с. 87). Думается, выявление сил «человеческого духа» (скорее, может быть, их мобилизация) и лежит в основе формирования вербальной этики. Особую роль при этом играет пространство — эстетического уровня эпохи (в широком смысле), речевого жанра (более узко) и художественного дискурса как производного авторского семиозиса (сугубо индивидуально, субъективно ощущаемого).

Попытаемся показать, как формируется вербальная этика языковой идеологии антропоцентризма ЯЛ в пространстве художественного дискурса.

Дискурс художественного повествования (нарратив) интересен прежде всего планом выражения индивидуальности ЯЛ автора. При этом речь идет о задействовании высших дискурсных сфер — того, что принято считать «суперслоем» дискурса (5, с. 5). Этот надвербальный план, определяющий достижение катартической реакции — того, что определяет погружение в план содержания текста и достижение гармонии восприятия, открывается только индивидуально, субъективно. Энергетический уровень катарсиса во многом определяется принципами и способами номинации, важнейшим из которых представляется **номинационно-синтаксический**. Он позволяет не просто «раскрепостить» пространство наименования в его стремлении уравновесить план содержания и план выражения, но и реализовать те моменты дискурса, которые являются духовными, имманентными и ориентированы на восприятие суперслоя высказывания.

Мы смеем предположить, что в художественном дискурсе состояние катарсиса возникает только тогда, когда наименование выходит за пределы «лексикоцентризма» и выступает в пространстве текста как синтаксическая номинация (СН). Именно на этом уровне открывается возможность для реализации **через номинацию**, причем как однословную, так и расчлененную, всех лингвокультурологических категорий — и прежде всего ЯЛ автора, с его идеологией, ментальностью и идиостилем.

В самом деле, рассмотрим следующий пример:

*«Кто придумал этот обряд <«октябрины»> — остается неизвестным. Ашхен с Ванванчем на руках вступила в цех под звуки заводского духового оркестра, игравшего не очень слаженно «Вихри враждебные веют над нами...» Станки были остановлены. Работницы стояли плотным полукругом. Пожилой представитель партийного комитета сказал речь. Он сказал так: «Мы отвергаем всякие бывшие церковные крестины, когда ребенка попы оку-*

нали в воду и все это был обман. Теперь мы будем наших детей октябрь и без всяких попов. Да здравствует мировая революция!..»

А Ванванч сладко спал в своем фланелевом конвертике, не подозревая, что благодаря ему и с его помощью утверждаются новые громогласные традиции господствующего класса» (Окуджава).

Осмысляемое с позиций номинационно-синтаксического семиозиса новообразование «октябрь» выступает доминантой дискурса благодаря авторской организации связного текста. Сложная гештальтная фактура этой номинации четко фреймирована за счет текстовой оппозиции «октябрь — крестить», а также контекстуальной антимотивации. Фатическая, возникающая непосредственно в тексте, функция словоупотребления вступает в оппозицию с ритуальной функцией — сакральностью темы, характеризующейся имманентной ментальностью. Фрагмент ЯКМ, формирующийся при этом, несет колоссальную лингвоидеологическую нагрузку.

Мы предполагаем, что нерасчлененная и расчлененная номинации, возникая в тексте и формируя пространство дискурса, фиксируют деструкцию, соответственно, плана содержания и плана выражения (5). Однословная номинация деструктивна в той же мере, что и лексический семиосимвол: он типизирует, обобщает, а следовательно — нейтрализует действие фактора индивидуальной ощущаемости, субъективности, а шире — диалогичности. Пространство знака при этом монологично, но статично; это оно вызывает вечную дисгармонию ЯЛ («...подходящее где взять?»).

Другое дело — номинация расчлененная: ее деструктивизм имеет иную природу, поскольку нарушает привычную — узуальную — статику обозначения. В приведенном нами примере таково употребление последнего словосочетания «новые громогласные традиции господствующего класса» — СН, которая тяжеловесным расчлененным пространством отрицает этическую ментальную ценность обозначаемого. Однако только благодаря номинационно-синтаксической конверсии и семиозису наименования в тексте сложная «внутренняя форма» номинации обретает право на «попытку» получить адекватную «внешнюю форму». Естественно, достичь гармонии при этом не удастся, да это, впрочем, и невозможно: деструкция предполагает неизбежность амбивалентности семиозиса. В известном смысле любая СН гротескна, и ее возникновение и употребление очень напоминает характеристику, данную М.М. Бахтиным телесности. В самом деле, любой знак, и прежде всего динамический, телесен (как, впрочем, и сам дискурс). Его функциональная прагматика, в основе которой лежит известный принцип асимметричного дуализма (С.О. Карцевский), одновременно дисгармонична и гармонична, причем это не просто единство и борьба противоположностей (план содержания и план выражения), а прежде всего отрицание отрицания, то есть утверждение нового. Мы предполагаем, что номинационное «тело» СН — «вечно негативное, вечно творимое и творящее

тело», это «два тела в одном: одно — рождающее и отмирающее, другое — зачинаемое, вынашиваемое, рождаемое» (1, с. 33). Индивидуальность, внутренне бесконечная, здесь «в стадии переплавки», а само тело космично, представляя «весь материально-телесный мир во всех его элементах (стихиях)...» (1, с. 34).

Таким образом, антропоцентрический подход к индивидуализации номинации и ЯКМ в художественном тексте задействует производные номинационно-синтаксического семиозиса, что наиболее адекватно диалогической сущности общения и позволяет поэтому вскрыть человеческий фактор, показать уровень и характер языковой ментальности.

Сложный концепт всегда требует особого гештальта, тот — соответствующего фреймирования и семиосимволического выражения — адекватного знака в дискурсе текста. Текст выступает знаковым энергетическим полем, которое является аккумулятором как словаря языка, так и языка в целом. Энергетическое взаимодействие лексико-фразеологических «курпускул» ведет к переходу номинационного потенциала в кинетику дискурса. Конверсионная трансформация «словарь → НС-семиозис → текст ⊖ → дискурс», где ⊖ — кинетический энергетический «выброс» функционально-прагматического уровня, определяется **характером номинации**. Номинация есть вербальный и метавербальный (паравербальный) процесс вхождения «Его» (ЯЛ) в пространство мира, когда реализуется динамика бахтинской диалогической связи «Я ? не-Я (ДРУГОЙ)». Номинация, дирижируя процессом означивания, выступает и регулятором динамического равновесия плана содержания и плана выражения, концептосферы и семиосферы. При этом задействуется и антропологический фактор: «Я» познает в номинации **не мир, а его отражение**, выступая своеобразным «зеркалом отражений». По сути, говорящий и мыслящий субъект познает самого себя, в соответствии со своей лингвистической идеологией. Отсюда, с одной стороны, возникает проблема «зеркала» и «зазеркалья» в номинации, а с другой — вопрос о статусе в номинационно-синтаксического семиозиса и возможности исследования как его динамики, так и его производных. Отсюда — и осознание амбивалентности текста («ДРУГОЙ») как номинационного знака, — его одновременное рождение и умирание. Трансформация «зеркало — зазеркалье» означает смерть номинации одного измерения (общего) и рождение номинации другого измерения (индивидуально ощущаемого), причем граница между этими измерениями проходит не только в сфере функциональной прагматики, но прежде всего в том антропологическом плане, который определяет организацию и самоорганизацию дискурса и сам обусловлен лингвистической идеологией.

Без осознания необходимости выделения и анализа того звена, которое определяет включение ЯЛ в организацию пространства дискурса и ее энергетическое задействование, невозможно определить вербально-этический порог текста и обеспечить

его включение в коммуникативное пространство диалогической динамики.

Таким звеном мы и считаем СН. Именно она определяет тот одновременно и дискретный, и бесконечный фрагмент семиосферы, который может быть рассмотрен в качестве минимальной корпускулы ЯКМ. Именно СН позволяет «Я» выйти в «не — Я», зеркально отразиться в «ДРУГОМ», уйти от общего (лексическая номинация) в индивидуальное, в «за-зеркалье». Именно СН поддерживает определенное динамически уравновешенное состояние **пространства номинации** как акта. Открывается своеобразная «дверь» для проникновения в суть денотата, в его микромир, который жестко фреймирован в лексической номинации. Нежесткий «выход» открывает момент истины, останавливает мгновения бытия, вызывает **катарсис номинации**, путь в параллельные миры «Его».

Приведем несколько примеров, иллюстрирующих функционально-прагматические «реакции» ЯЛ автора, запечатленные с помощью производных номинационно-синтаксического семизиса и лингвоидеологически маркированных (см.: 4).

В пространстве СН могут встретиться такие случаи осложнения атрибутивного компонента, когда номинация функционально «перерастает» в сложную знаковую форму. Линейное («горизонтальное») развертывание в пространстве СН деталей обозначаемого путем их «цепного нанизывания» связано с решением **дескрипционно-распространительных** функциональных задач. С позиционным («вертикальным») осложнением контаминационного типа, ведущим к образованию СН синкретического типа, связано **дескрипционно-гипотетическое** употребление СН. Если в первом случае потенциально не ограниченное синтаксическое пространство наименования позволяет автору задействовать ровно столько непосредственно и опосредованно характеризующих денотат атрибутов, сколько представляется ему достаточным для полноты восприятия денотата, то во втором — решаются задачи снятия неопределенности выражения предметной сущности посредством столкновения нескольких наименований одного и того же денотата, причем одно из них — гипотетическое — выступает аппликативно по отношению к базовому. Сопоставьте:

а) *Он избирал всегда один и тот же путь, круговой, мимо двух деревень, разделенных сосновым лесом, и потом по шоссе, между полей, и домой, через большое село Воскресенск, что лежит на реке Оредеж, воспетой Рылеевым (Набоков).*

б) — *Почему в Шекспире я усматриваю то, что так удачно назвали романтикой (Виноградов). Иногда ему хотелось закричать и всех прогнать вон и остаться наедине с тем загадочным и холодным, что всего несколько часов назад было его отцом (Проскурин).*

Функционально-прагматическая специфика СН, как видим, во многом определяется особенностями его структуры, пространственного насыщения. В этом можно еще раз убедиться, если обратиться к употреблению фразовых наименований (ФН) — придаточных, вводимых в текст сложноподчиненного

предложения (СПП) местоименно-соотносительным блоком, осложненным субстантивами.

**Номинативно-распространительная (оценочная) функция** — одна из основных функций осложненных ФН. Придаточная часть не просто наполняет своим содержанием коррелят, но и уточняет, распространяет субстантиват, конкретизируя его семантику. Часто данная функция осложняется качественно-оценочным моментом, осознающимся благодаря СТ. Ср.:

а) *Это было то новое, что случилось с Таней. Она никого не полюбила. Она просто разлюбила его (Гофф).*

б) *В ту майскую ночь, полную запахов мокрой молодой майской коры, Алексей почувствовал в себе что-то нежное, до странности хрупкое, что, казалось, можно было разбить одним неосторожным движением (Бондарев).*

Даже в тех случаях, когда во ФН, выполняющем номинативно-распространительную функцию, имеется непредикативное средство обозначения называемого описательно, именно конкретизация описания предмета или явления и его качественная оценка (а не сопоставление различных наименований с целью выявить существо обозначаемого, не выбор возможных «вариантов» наименования) являются основными задачами употребления. Ср.: **То весьма в сущности неважное, что произошло с братом и что казалось тогда всей нашей семье ужасным**, пережито было мной не сразу, но все-таки пережито и даже послужило к моей зрелости (Бунин).

**Номинативно-эвфемистическая (оценочная) функция**, выполняемая осложненным ФН, позволяет описательным наименованиям восполнить индивидуально ощущаемую конвенциональную недостаточность словарных наименований. ФН вызывает представление о предмете или явлении, узуальное обозначение которого нежелательно по причинам этического или эстетического характера. Ср.: Левинсон хотел было назвать одним словом **то единственное, что оставалось им**, но, видно, слово это было настолько трудным, что он не смог его выговорить. Сташинский взглянул на него с опаской и удивлением и... понял.

Не глядя друг на друга, дрожа и запинаясь и мучаясь этим, они заговорили **о том, что уже было понятно им обоим, но чего они не решались назвать одним словом, хотя оно могло бы сразу все выразить и прекратить их мучения.**

*«Они хотят убить его...» — сообразил Мечик и побледнел (Фадеев).*

Обозначаемое перифразами воспринимается в данном случае чисто ассоциативно. Одиночный интерпозитивный субстантиват «единственное» является «намекающим» конкретизатором, однако не только не снимает напряженности, но и усиливает ее. Дискурс, в котором функционирует ФН, вносит частичную разрядку и способствует дальнейшей конкретизации субстантивного значения перифразы за счет обозначения деталей, связанных с называемым косвенно или намекающих на него.

Если, с одной стороны, предикативное наименование, употребляющееся в номинативно-эвфемистической функции, стремится к конкретизации (в нашем случае — двойной: через субстантиват и через

придаточную часть) субстантивного значения в тексте, то, с другой стороны, конкретизация эта исключается, поскольку предцизируемый сказуемым придаточной части признак связан с обозначаемым опосредованно и способствует выражению недоговоренности. Поэтому эвфемистическое употребление ведет к неременному возникновению напряженности, которая проявляется в эмоционально-волевом (лингвоидеологическом) воздействии ЯЛ говорящего на ЯЛ слушающего и служит показателем образно-эстетической насыщенности текста. Ср. еще: К ночи попадья напилась, и тогда началось для о. Василия **то самое страшное, омерзительное и жалкое, о чем он не мог думать без целомудренного ужаса и нестерпимого стыда**. В болезненной темноте закрытых ставен, среди чудовищных грез, рожденных алкоголем, под тягучие речи о погибшем первенце — у жены его явилась безумная мысль: родить нового сына (Андреев).

Как видим, обозначая явление завуалированно, ФН своим употреблением вызывает представление о называемом описательно за счет не только своего пространства, но и более широкого окружения, в котором весьма существенную роль играет ряд субстантиватов, осложняющий местоименно-соотнесительный блок.

Текстовое пространство, как бы ни называли мы его — дискурсом, диалогом, нарративом или организованным повествованием, неизбежно выступает речевым производным мыслительной, психофизиологической, ассоциативно-интуитивной и прочей деятельности коммуникантов, построенным на вербальной, метавербальной или и паравербальной комбинаторике семного характера. Это речевое пространство является динамическим, регулируя отношения между элементами концептосферы и их знаковыми символами, направляя развитие этих отношений в том или ином стилевом узусе, регулируемом кодификацией, в направлении, удобном, выгодном или необходимом для ЯЛ говорящего.

«Фрагменты» речевой действительности, рассматриваемые в их имманентности, и составляет основу ЯКМ как некоего инвариантного начала, раскрывающегося во множестве индивидуальных ЯКМ<sup>2</sup>, которые мы назовем **речевыми картинами мира** (РКМ). Очевидно динамическое сосуществование субъективных РКМ — своеобразных речевых вариантов, причем с универсальной ЯКМ соотносятся собственно языковые (узуальные) ЯКМ, характерные для каждого языка (диалекта). Можно предположить следующее:

|   |   |   |                          |                    |                      |
|---|---|---|--------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Реальный и виртуальный МИР</b><br>(космос) | → | <b>ЯЗЫК</b>   |                          | <b>РЕЧЬ</b>        | Речевая коммуникация |
|   |   | {<br>План содержания<br><b>номинация</b><br>план<br>выражения | ( ЯКМ <sup>1</sup> )     | → РКМ <sup>1</sup> |                      |
|   |   |   | ( ЯКМ ЯКМ <sup>2</sup> ) | → РКМ <sup>2</sup> |                      |
|   |   |   | ( ..... )                | → РКМ <sup>3</sup> |                      |
|   |   |   | ( ЯКМ <sup>n</sup> )     | → РКМ <sup>4</sup> |                      |
|   |   | ( ..... )   | → .....                  | → РКМ <sup>n</sup> |                      |

Таким образом, в нашем языковом сознании, в котором формируется лингвистическая идеология, сосуществуют образы бесконечного количества языковых пространств, а значит — и выходов в параллельные речевые подпространства. Некоторые из этих подпространств (микромиров) заполнены адекватными картинами мира, некоторые — нет. Переход из одного подпространства в другое происходит совершенно естественно, но одновременно и спонтанно, и намеренно (своеобразная амбивалентность). То, что «само» приходит к ЯЛ как демиургу текста, имеет непроизвольный характер, оно спонтанно и кажется случайным, стихийным. Однако это «само» приходящее неизбежно оказывается в плену сложившихся стереотипов, стратегий, тактик, в том числе и **лингвоидеологических**.

Думается, та же феноменология, при всей привлекательности и объясняющей силе ее антропоцентризма (13, с. 15), как метод познания в этом случае нуждается в структурно-семиотическом подкреплении для объяснения, пусть и когнитивного, феномена отражения окружающего космоса (и прежде всего — внутреннего мира «Его» ЯЛ) в языковом сознании говорящего. Индивидуальное немислимо вне языковой системы и ее структурных моделей, реализующихся в речи и означающих концептосферу и ее гештальты. Вот почему лингвистическая идеология определяется типом именуемой рече-

вой модели языка. Для русского языка, как и для многих европейских, эта модель имеет номинационно-синтаксический характер.

«Между мыслью и сказанным словом существует зазор, куда может внедриться намерение; что-то останется за рамками, и на свет появится ложь. Между мыслью и мысленным посланием такого зазора нет; они рождаются одновременно, и места для лжи не остается» (9, с. 259). В этом замечании У. ле Гуин, как нам кажется, могут заинтересовать два момента. Первый связан с поиском и определением так называемого этического «порога» лингвистической идеологичности. «Мысль изреченная есть ложь» — эта яркая дефиниция является описательной метафорой, не более того. Конечно же, существуют этические границы, причем весьма относительные, этой лживости (и, соответственно, правдивости). Именно эти границы ощущаются в речи субъективно, индивидуально; именно они определяют формирование ЯКМ, участвуя в ее речевой реализации (РКМ), в моделировании ЯЛ, ее вербального (речевого) поведения, а значит — и его направленности, идеологичности, как стратегически, так и тактически, когда из смыслов рождаются семиосимволы, имеющие зачастую архетипические, базовые концепты; однако, вместе с тем, могут формироваться и квазисмыслы, которые приводят к разрушению (мутациям) даже семантические примитивы.



«Пороговость» вербальной этики амбивалентна: «порог» барражирует в каждом индивидуальном случае, будучи под действием антиномических сил. При всей их множественности, есть два духовных силовых энергетических «узла» — это самые личност-

ные и сугубо индивидуальные проявления: с одной стороны — страх смерти, а с другой — утверждение жизни. Их столкновение определяет и общее движение телесности и духовности, и языковую идеологию Homo Verbalis.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

1. Исследования многих современных ученых (в частности — постструктуралистского направления) свидетельствует, что между формой письма и формой мышления возникает вполне естественное противоречие. Так, Ж. Деррида считает, что линейность и замкнутость текста разрушаются под действием внутритекстовых процессов, когда образуются бесконечные звенья и цепочки, «сети» элементов, переплетение которых и формирует **ткань** текста (textile). См.: 14. Ср. его же: 15.
2. См., например, оригинальную точку зрения по проблеме соотношения миров в реальной речи и в художественном тексте в работе: 12.

#### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Бахтин М.М. Творчество Ф. Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. — М., 1990.
2. Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С.А. Кузнецов — СПб., 2000.
3. Бубер М. Проблема человека. — Киев, 1998.
4. Буров А.А. Синтаксические аспекты субстантивной номинации в современном русском языке. — Ставрополь-Пятигорск, 1999. — Ч. III. — С. 135-145.
5. Буров А.А. Номинационно-синтаксический семиозис в современном русскоязычном дискурсе: новая реальность словаря // Вестник ПГЛУ. — 2001. — № 4. — С. 5-9.
6. Дрокин С.М. «Русская идея» и языковое сознание // Вестник ПГЛУ. — 2001. — № 3. — С. 57-61.
7. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. — М., 1987.
8. Леви-Строс К. Структурная антропология. — М., 2001.
9. Ле Гуин У. Ожерелье планет Экумены: Фантастические произведения. — М., 2001.
10. Львов М.Р. Риторика. Культура речи. — М., 2002.
11. Маслова В.А. Лингвокультурология: Учебное пособие для вузов. — М., 2001.
12. Новицова Н.С., Черемисина Н.В. Многомирие в реалии и общая типология языковых картин мира // Филологические науки. — 2000. — № 1. — С. 40-49.
13. Штайн К.Э. «Глубокие истины» на службе филологии // Принципы и методы исследований в филологии: Конец XX века. «TEXTUS». — СПб.-Ставрополь, 2001. — Вып. 6. — С. 9-25.
14. Derrida J. De la grammatologie. — P., 1967.
15. Derrida J. Le desementation. — P., 1972.

## ГРАММАТИЧЕСКОЕ ОТРИЦАНИЕ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭТИЧЕСКИХ АВТОРСКИХ ОЦЕНОК

Г.Ф. Гаврилова  
Ростов-на-Дону

Отрицательные конструкции, обычно широко используемые в художественной речи, являются одним из языковых средств ее эмоциональности, активного воздействия содержания текста на настроение читателя. Как отмечал еще К.Д. Дондуа в отношении отрицания, «особенность данной категории в том, что она вплетена в самую ткань языка, составляет органическую его часть. Этим объясняется тот факт, что отрицательное настроение распространяется на все предложение или ряд предложений в определенном отрезке речи» (2, с. 185).

Когнитивной основой отрицания, употребления отрицательных конструкций является не только знание об отсутствии какого-либо факта (утверждение в отрицательной форме: «мне не спится»; «не хочу говорить»; «он еще не рассказал об отце»), но и противопоставление тому положительному знанию, что существует в сознании адресата, его менталитете.

Отрицательные конструкции, как правило, экспрессивны, ибо цель их — воздействие на эмоции и сознание адресата. Отрицать в основном можно лишь предмет, факт утверждения, который существует в когнитивных знаниях собеседника (читателя).

В художественном монологическом тексте автор апеллирует к коллективному знанию. «Грамматическое же отрицание представляет собой одну из множества составных частей коллективного выявления коллективного сознания или осознания» (2, с. 184).

Способы выражения отрицания, во-первых, однообразны, что свидетельствует об их древнем происхождении, а во-вторых, служат прекрасным средством дополнительной экспрессии текста, ибо неизбежно ведут к повтору. И качество это с успехом используется писателями.

Акад. В.В. Виноградов обоснованно замечал, что «современному русскому языку не чужды модальные значения отрицательных частиц». Далее он пишет: «Разные оттенки степени, в русском языке органически связанные с категорией модальности, несомненно, присущи отрицанию» (1, с. 504-505), т. е. категория отрицания близка к категории модальности, к категории объективно-субъективной, выражающей и отношение автора речи к сообщаемым им фактам действительности.

Отсюда активное использование отрицательных высказываний в художественном тексте, имеющее своей целью выражение авторских социальных, этических оценок в форме отрицания того, что неизбежно должно присутствовать в действительности в соответствии с коллективными знаниями читателей о тех или иных фактах, нормах их проявления, однако отсутствует в изображаемом писателем мире.

Отрицательные конструкции как нельзя лучше подходят для таких оценок. Ведь они выполняют «роль «чистой», истинностной оценки, указывающей на соответствие или несоответствие некоторого мнения действительности» (5, с. 23).

Цель их не только информация об отсутствии в действительности какого-либо факта, но и, прежде всего, воздействие на адресата, что основано на нали-

чие в их семантике волевого начала, а следовательно, экспрессии.

Важной функцией отрицательных конструкций является создание эффекта негативной оценки фактов, противоречащих представлению читателя о добре, добрых отношениях между людьми, добрых поступках. В сознании читателя присутствуют ценностные представления о добре, долге, и все, что противоречит этому представлению, оценивается им негативно. «Особенность моральных оценок в том, что они непосредственно воспринимаются и переживаются самим оценивающим субъектом как над- или внесубъективные по своим основаниям и критериям, и в этом смысле объективные» (4, с. 22). Это, естественно, приводит к тому, что любой читатель, воспринимающий художественный текст, неизбежно оценивает описываемые в нем факты с позитивной или негативной позиций. Эффекту же негативной оценки наиболее оптимально соответствует изображение фактов, противоречащих позитивным оценочным установкам, существующим в когнициях читателя и влекущих за собой оценки негативного плана. «Кроме того, такие оценки обычно выполняют и экспрессивную функцию...» (4, с. 22), ибо моральная оценка неизбежно сопровождается определенными чувствами, аффектами. В таких случаях функции отрицательных высказываний еще более осложняются. Кроме информативной, они несут в себе еще и функции модально-оценочную и экспрессивную, что в художественном тексте соответственно имеет своим результатом его выразительность.

Морально-этическое представление о позитивном и негативном в поведении людей, их отношениях выполняет особую роль в межличностном, социальном общении. Это легко проследить на примерах использования отрицательных конструкций с целью таких негативных оценок в художественных текстах, где содержание их призвано воздействовать на интеллект и эмоции читателя, в когнитивных знаниях которого присутствует субъективная уверенность в объективности добра и соответствующих ему норм поведения. Автор же сообщает о фактах нарушения этих норм.

В этом плане наиболее наглядно использование категории отрицания можно показать на примере языка произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы». Данная категория является одной из доминант текста писателя (на 295 страниц текста приходится 1282 конструкции с прямо или косвенно выраженным отрицанием).

Категория отрицания, способы ее выражения чаще всего используются при освещении ситуаций, изображение которых призвано отразить социальные этические и эстетические оценки и пристрастия автора или его персонажей. Именно с помощью данной категории автор стремится показать отсутствие у своих персонажей элементарных человеческих качеств, которые в социуме считаются необходимой нормой нравственного и физического

существования человека, нормой, которая формировалась и культивировалась веками.

Уже с первых страниц романа автор характеризует свою главную героиню Арину Петровну, употребляя следующее высказывание с явным косвенным отрицанием:

*«У нее (Арины Петровны) была слишком независимая натура, чтобы она могла видеть в детях что-то, кроме лишней обуви»,* т. е. она не видела в своих детях ничего, кроме лишней обуви.

С помощью явного отрицания Салтыков-Щедрин характеризует как типаж образ Иудушки, подчеркивая противоестественность, антиобщественность такого типа людей:

*«... таких людей довольно на свете, и все они живут особняком, не умея и не желая к чему-нибудь приютиться, не зная, что ожидает их в следующую минуту ... Нет у них дружеских связей... нет и деловых связей».*

Функционально-образные возможности категории отрицания гениально используются автором при описании динамики развития личности персонажей, кончающейся их крахом. Так, нравственное и физическое описание Степки-Балбеса изображается как отсутствие у него всякой реакции на окружающее. Этому служит использование ментальных глаголов с частицей «не»: «не видел, не чувствовал, не слышал, не думал, не отвечал» и др.

Во внутренней, несобственно-прямой речи героев, состоянии которых близко к самоубийству (и кончается им), преобладают безличные модели со словом «нет» или его синонимами: так, в речи Любиньки, Иудушки находим: «нет расчета жить, нет (на свете) близкого существа, ничего не видится (нет) впереди, не осталось и пера (от родового гнезда)» и т. п. Видимо, такой способ выражения отрицания наиболее категоричен, а следовательно, и наиболее выразителен.

Отрицательными конструкциями богаты и монологи Иудушки, в которых он выносит приговор своим сыновьям. Категория отрицания блестяще используется автором при создании стилистических фигур: антитезы, усиления, градационного противопоставления и т.п. Так, Павел Головлев, человек, «лишенный поступков», социально беспомощный, характеризуется с помощью развернутой антитезы:

*«Может быть он был добр, но никому добра не сделал. Может быть, был и не глуп, но во всю жизнь ни одного поступка не совершил».*

Функционально-семантическая категория отрицания, возможность реализации ее воздействующей роли в художественном тексте представляет собой тот языковой и стилистический потенциал, который максимально используется большими художниками слова.

Широко использует грамматическое отрицание А.П. Чехов в повести «Моя жизнь». Отрицание в произведении Чехова — средство для выражения отрицательного отношения к обывательщине, лени, унижению ниже стоящих на социальной лестнице. Повествование в повести ведется от первого лица персонажа, который протестует против пошлости, мещанства, зависимости людей неимущих от имущих. О своем городе он говорит:

*«Я не понимал, для чего и чем живут все эти шестьдесят пять тысяч людей... И как жили эти люди, стыдно сказать! Ни сада, ни театра, ни порядочного оркестра, городская и клубная библиотека посещались только евреями-подростками, так что журналы и новые книги лежали неразрезанными... Ели невкусно, пили нездоровую воду».*

И там же:

*«Город наш существует уже сотни лет, и за все это время он не дал родине ни одного полезного человека — ни одного!... Ненужный, бесполезный город, о котором не пожалела бы ни одна душа...»*

Средства выражения негации в значительной мере однообразны, и повтор их неизбежен. Отсюда его роль как усилителя, нагнетания определенного эмоционального настроения читателя. Кроме того, как и всякий повтор, они способствуют ритмике повествования, т. е. несут эстетическую функцию его гармонизации.

Сочувствие к людям физического труда, к их нелегкой жизни выражено А. Чеховым и в изображении отсутствия нормальных условий их существования, передается с помощью повторяющегося грамматического отрицания:

*«Весь август непрерывно шли дожди, было сыро и холодно, с полей не свозили хлеба... пшеница лежала не в копнах, а в кучах. Работать было трудно, ливень портил все, что мы успевали сделать. Жить и спать в станционных зданиях нам не позволялось... и по ночам я не мог спать от холода».*

И далее:

*«Само собой, ни о каких правах не могло быть и речи, и свои заработанные деньги мы должны были каждый раз выпрашивать как милостыню, стоя у черного крыльца без шапок».*

Социальные оценки в данной повести тесно переплетаются с морально-этическими, нравственными, с протестом против всего того, что унижает человека, заставляет его страдать.

Проблема преждевременного угасания и смерти человека, проблема нравственно-этическая и социальная, также решается талантливейшими писателями с помощью изображения фактов, противоречащих присутствующему в сознании читателя представлению о норме их проявления. Цель такого изображения — заставить читателя сопереживать персонажу, вызвать в его сознании отрицательную ментальную и эмоциональную оценку изображаемого. Достигается же такой эффект в значительной степени за счет нанизывания отрицательных конструкций.

Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить фрагменты, взятые из произведений М.Е. Салыткова-Щедрина «Господа Головлевы» и романа М.А. Шолохова «Тихий Дон».

Судьба Арины Петровны у Салтыкова-Щедрина, финал ее жизни в основном одинаковы с жизненным финалом Ильиничны. Несмотря на то, что они стоят на разных ступенях социальной иерархии, причина их конца в принципе одна и та же.

Перед нами социально-этическая проблема: человек не может жить без социальных связей, без привычных семейных связей, без повседневных обязанностей и деятельности. Обе же наши героини отлучены от

этого; фактически потеряли семьи, лишились имущества и своего положения хозяйки и главы семьи (хотя причины такого положения совершенно разные). И вот одинаковый финал — полное нравственное и физическое угасание. Все, что с ними делается, неприемлемо для сознания читателя. В сознании его другие нормы существования человека — человек-деятель, человек-творец, нужный другим людям. И естественно, и М.Е. Салтыков-Щедрин и М.А. Шолохов прибегают в изображении конца своих героинь к одному приему — неоднократному использованию отрицательных конструкций:

*«Она (Арина Петровна. — Г.Г.) вглядывалась в полевую даль... Но при этом она ни о чем не думала... мысли до того разорванные ни на чем не могли остановиться... Иногда она, по-видимому, припоминала, но память прошлого возвращалась без связи... Внимание ни на чем не могло сосредоточиться».*

И тем же приемом отрицания изображает М. Шолохов последние дни Ильиничны:

*«Нескончаемо тянулись длинные летние дни. Жарко свежело солнце, но Ильиничну уже не согревали колючие солнечные лучи. Она подолгу сидела на крыльце, неподвижная и безучастная ко всему окружающему. Это была уже не прежняя хлопотливая и рачительная хозяйка. Ей ничего не хотелось делать. Все это было ни к чему и казалось теперь ненужным и нестоящим, да и сил не хватало...».*

Нагнетание отрицаний как бы усиливает картину внезапно го угасания, причины которого в прямо противоположных когнициях человека обстоятельствах: социальные, семейные связи, постоянная деятельность, труд — основа жизни человека, без них жизни нет.

Отрицательные высказывания способны вызывать разные сопереживания, эмпатию читателя. Они могут вызывать сочувствие тем негативным социальным, этическим оценкам, которые дает фактам автор или персонаж; могут создавать элегическое, минорное настроение, созвучное настроению повествователя. В данном плане характерен рассказ А.П. Чехова «О любви», который весь как бы «пронизан» определенными конструкциями. Тема его — горе неразделенной обоюдной любви. Герои его — люди этического, нравственного долга перед семьей, дорогими им людьми, во имя чего они и жертвуют своим счастьем.

Почти каждое предложение здесь — отрицательное высказывание:

*«До сих пор о любви была сказана только одна неоспоримая правда, а именно, что «тайна сия велика есть»; все же остальное... было не решением, а только постановкой вопроса, который так и остался неразрешенным».*

И там же:

*«То объяснение, которое, казалось бы, годится для одного случая, не годится для десяти других...».*

И далее:

*«В городе уже говорили о нас бог знает что, но из всего, что говорили, не было ни одного слова правды».*

Как видно из примеров, отрицание в них противопоставляется утверждению, т. е. они приближаются к антитезе, что еще более усиливает значимость отрицания... При этом противопоставляется общераспространенный взгляд на жизненные факты и их истинное понимание.

В рассказе «О любви» псевдоавтор-повествователь своим жизненным кредо считает долг чести, ради которого он жертвует своей любовью. А долг чести — это «когда стимулом для жертвенной деятельности X-а выступает... некая система правил P, которой X стремится следовать, например, кодекс чести...» (З, с. 124).

Но следование этому кодексу делает героя несчастным, лишает его веры в благотворное действие любви, и это чувство он пытается передать собеседникам через сплошные отрицания. В связи с этим все произведение носит грустную, элегическую окраску сожаления героя о прошедшей мимо него большой любви.

В художественных текстах отрицание часто используется в диалогах как средство, обеспечивающее фактическое общение.

Так, в диалогах М. Шолохова отрицательные высказывания используются персонажами для скрытого, ненавязчивого приглашения:

*«— Ты чего ж к старикам не заглянешь? — смущенно обегая ее (Наталью) глазами, заговорил старик» (Тихий Дон).*

Скрытое отрицание может выражать попытку оправдаться или смягченный отрицательный ответ на вопрос собеседника:

*«— Привязалась к старику, дуреха! — накинулся Пантелей Прокофьевич. — Я-то почему знала? — смутилась Ильинична» (М. Шолохов. Тихий Дон);*

*«— Толк-то будет, бабуня? —*

*Толк? А кто ж его знает, славный мой» (там же).*

Отрицание, противопоставленное утверждению, антитеза широко используются в разного рода категорических утверждениях персонажей по поводу социальных, семейных отношений. Так, в «Тихом Доне» Петр говорит о Наталье:

*«— Тут дело полюбовное: хочет — живет, а не хочет — ступай с богом!»*

Или дед Гришака о себе:

*«— Мы люди по всему округу известные.*

*Не голутьба, а хозяйева».*

Ненавязчивое сообщение о своем предположительном мнении также этикетно может быть представлено в виде отрицания-вопроса:

*«— Не находите ли вы, что если бы силу воли, это напряжение, всю эту потенцию вы бы затратили на что-нибудь другое... то ваша жизнь захватывала бы шире и глубже...» (А.Чехов. Моя жизнь);*

*«Вы не находите, что этот монолог несколько длинен? — спросила Мурашкина, поднимая глаза» (А. Чехов. Драма).*

Этикетная часть высказывания представляет собой вежливое клише, употребление которого позволяет не навязывать своего мнения собеседнику.

Этикетные формы общения помогают сохранить самоуважение и уважение собеседника, а следовательно, продолжить коммуникативное общение, диалог с адресатом, без чего он бы, вероятно, не состоялся, а писатель должен был бы ограничиться монологической формой повествования. Между тем, как известно, диалог — одна из наиболее динамичных форм художественной речи.

Грамматическое отрицание является и одним из средств создания композиционного единства фрагментов текста (а иногда и целого текста). Обусловлено это неизбежным повтором средств отрицания, как правило, несущих одно значение — оценки (чаще

всего негативной) тех фактов, о которых повествует автор монологического художественного текста, цель которого — создать у читателя определенное настроение, добиться эффекта неприятия читателем того негативного, о чем идет речь. То есть отрицание еще и средство гармонизации текста, которая, как отмечает К.Э. Штайн, является неотъемлемым признаком его художественности (6).

Отрицательные конструкции могут способствовать образованию большого «колюра» (по терминологии, используемой Е.И. Дибровой). Примером его может служить рассказ А.П. Чехова «О любви», где отрицательные конструкции пронизывают весь текст повествования. Малый колюр мы находим в повести А.П. Чехова «Моя жизнь», в которой все фрагменты, содержащие критику социальных отношений, бытовых вкусов и взглядов мещанского «интеллигентного» общества, характеризуются повтором грамматической негации. А рассказ «Анна на шее» содержит круговой колюр. В начале и в конце его повторяется нанизывание фраз, содержащих отрицание. Анна, упиваясь своим успехом, пришедшим

к ней богатством, забыла о своей несчастной семье, которая живет по-прежнему в нищете:

*«Петр Леонтьевич запивал сильнее прежнего, денег не было. Мальчишки теперь не отпускали его одного на улицу и все следили за ним, чтобы он не упал».*

В результате в представлении читателя полностью развенчивается образ юной Анны, испорченной внезапным богатством, эгоистичной и черствой, равнодушной к горю близких людей. Несколькими штрихами с помощью отрицательных конструкций автор дает убийственную нравственно-эстетическую характеристику и оценку поведения героини.

Итак, грамматическое отрицание в художественном тексте многофункционально. В монологической авторской речи, кроме функции негативной социальной или этически-нравственной оценки, оно несет еще и композиционную функцию, а также функцию гармонизации текста.

В диалогической же речи — функция его этикетная, в целом положительно характеризующая персонажа как человека, владеющего стратегией и тактикой общения.

#### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Виноградов В.В. Современный русский язык. — М., 1938.
2. Дондуа К.Д. Грамматическое отрицание // Язык и мышление. — М.-Л., 1948. — Вып. XI.
3. Кошелев А.Д. О языковом концепте долг // Логический анализ языка: Языки этики. — М., 2000.
4. Максимов Л.В. О дефинициях добра // Логический анализ языка: Языки этики. — М., 2000.
5. Труб В.М. О коммуникативных аспектах отрицания как негативной оценки истинности // Вопросы языкознания. — 1994. — № 1.
6. Штайн К.Э. «Глубокие истины» на службе филологии // Принципы и методы исследования в филологии: Конец XX века. «TEXTUS». — СПб.-Ставрополь, 2001. — Вып. 6.

## МОДАЛЬНОСТЬ ИСТИННОСТИ ТЕКСТА КАК СРЕДСТВО УБЕЖДЕНИЯ

Л.Н. Кулешова  
Черкассы, Украина

Модальностью в языке называют интеллектуальную, эмоциональную или коммуникативную оценку автором высказывания его содержания. Оценка истинности содержания высказывания целесообразно называть модальностью истинности. Чаще всего языковую модальность рассматривают как явление, реализуемое внутри отдельного предложения (2). Однако следует признать, что и формы организации текста несут в себе те или иные модальные значения (4), в том числе оценку истинности его содержания.

Коммуникативной функцией языковой модальности является согласование оценок говорящего и реципиента на содержание высказывания. Естественно предположить, что и текстовая модальность истинности выступает в качестве одного из способов убеждения реципиента текста в истинности или (как правило, частичной) ложности последнего. Чтобы понимать текст, воспринимать его как целое, реципиент вынужден принимать для себя за исходную авторскую точку зрения на истинность содержания текста.

Ниже рассматриваются основные средства актуализации оценки истинности текста в сознании реципиента.

**Текстовые модальные модификаторы.** Среди текстовых средств выражения модальности истинности прежде всего рассмотрим текстовые модальные модификаторы, выраженные лексемами или лексическими группами (вводные слова и словосочетания, модальные глаголы, наречия, имена прилагательные и существительные). Они могут распространять свое действие за пределы предложения, охватывая сверхфразовое единство (СФЕ), в котором они присутствуют, или целый текст. Предложения и группы предложений также могут служить в качестве текстовых модальных модификаторов.

В любом случае модальные модификаторы представляют собой средство внутритекстовой когезии, связывая оценкой часть текста либо текст в целом. Целесообразно выделить две их семантические функции: 1) выражение оценки (указание на то, что последующий или предшествующий текст истинен, ложен, имеет промежуточное истинностное значение); 2) выражение того, что оценка относится к данной части текста или ко всему тексту в целом. Выражение оценки и указание на область ее действия может быть разделено. К средствам реализации второй из указанных функций относятся эксплицитные маркеры начала или конца СФЕ с модальным значением. Таковы модальные слова и словосочетания, связывающие части текста причинно-следственными или формальными связями — *итак, следовательно, таким образом* и др. Модальные фразы, как правило, реализуют обе указанные функции — и оценочную, и выделяющую — находясь при этом также в позиции начала или конца СФЕ (*Ясно одно...; Очевидно следующее...*). Модальные фразы могут включать предикаты пропозициональных установок, тогда они требуют наличия субъекта и выражают персонализирован-

ную оценку (*Я думаю, что следующее не вызывает сомнений...; А теперь я расскажу, как было на самом деле.*). Область действия такого маркера связывается единством лица и оценки истинности.

Текстовые модальные модификаторы позволяют эксплицитно выразить разнообразные оттенки истинности. Лексемы с перцептивным элементом в своей семантике, такие как *очевидно, ясно, понятно*, выражают значения *истины высказываний (veritas de dicto)*, если находятся в позиции предиката и имеют либо предполагают одушевленный субъект (*Для меня очевидно, что...; Ему ясно, что...*). В случае, когда они находятся во вводной позиции или не предполагают одушевленного субъекта, они выражают значения *истины вещей (veritas de re)*. Персонализированные высказывания с предикатами пропозициональных установок задают модальное значение *veritas de dicto*.

Особый случай — цитирования чужого текста в виде косвенной или прямой речи. Если в таких конструкциях модальная оценка входит в состав авторских слов, то она выражает значения *veritas de dicto*. *Аналитическую истинность* придают единицам текста слова и словосочетания *соответственно, из сказанного вытекает* и т.д. Истину, понимаемую как сущность того или иного фрагмента действительности (*истину сущности*) вводят начальные и конечные фразы сверхфразового единства *истина такова...; истина в том, что...; ...такова истинная суть дела* и др.).

Текстовые модальные модификаторы придают области их действия разные оттенки значений *истина* — *ложь*. Возможны как прямые, точные оценки, так и смягченные либо неопределенные (*то, о чем здесь было сказано — истина; ...не совсем истинно; ...не похоже на истину; ...очевидная неправда*). Как правило, для текстов от первого лица не характерна оценка *ложь*, но вполне обычным является выражение сомнения (*Я не уверена, что все сказанное — правда, но...*). Оценка своих слов как ложных вступает в противоречие с презумпцией истинности авторской речи (автор может ошибаться, но, как предполагается, никогда не говорит того, что сам не считает истиной). Преодоление этой презумпции требует специального объяснения со стороны говорящего причин обмана им реципиента. Без такого объяснения оцениваться как ложная может естественным образом только чужая речь (*Он мне сказал, что..., и это была неправда* — здесь достаточно констатации лжи, хотя не исключено и объяснение ее причин). Не требует пояснений и оценка *ложь* в модальности *de re*, более обычная в конце сверхфразового единства, после изложения какого-либо факта (*Очевидно, что это не соответствует действительности*).

То, что говорилось об оценке *ложь*, следует отнести и к значению бессмысленности, непонятности, т.е. *внеистинности*. Такие оценки уместны либо для характеристики чужой речи, либо в модальности *de re* (*Она сказала, что..., но это совершенная бессмыслица; Все описанное кажется неправдоподобным*).

Текстовые модальные модификаторы могут играть роль фактора, усиливающего модальное значение истинности — как позитивное, так и негативное — той части текста, к которой они относятся. Если выраженная ими модальная оценка позитивна, усиление модального значения отдельных высказываний происходит независимо от того, совпадает ли значение модальных текстовых модификаторов с модальностью соотносимого с ними текста. Усиливаются сразу все оценки (в том числе разнонаправленные), содержащиеся в отдельных высказываниях в составе последующего или предшествующего текста.

Если модальное значение текстовых модальных модификаторов негативно, модальная оценка в отдельных высказываниях соотносимой с ними части текста меняется на противоположную (*истина* на *ложь*, *ложь* на *истину*). Промежуточная оценка истинности меняется на крайнюю, причем в сторону более отдаленную от данного значения (*сомнительность* на *несомненность*, то есть на близкую к истине оценку; *вероятность* на *невероятность*, то есть на близкую к лжи оценку; *маловероятность* на *высокую вероятность* близкую к истине). В случае выражения сомнения, вероятности, неполного знания, соотносимого с текстом, модальная оценка в высказываниях ослабляется, если она позитивна либо негативна, и усиливается, если она совпадает со значением текстовых модальных модификаторов.

*Текстовые повторы как фактор, влияющий на модальность истинности.* Одним из средств когезии текста, используемым для модальной истинностной оценки, являются лексические повторы. Повторы слов, словосочетаний, фраз в измененном окружении, в других частях текста помимо связности создают единый модальный смысл. Повторы модальных средств (модальных слов, модальных фраз) при разном содержании, которое оценивается, характеризуют не столько содержание текста, сколько позицию автора, прагматический аспект текста. Интереснее в этом плане повторы объектов модальной оценки. Ранее полученное ими значение переносится в иную часть текста, охватывая и свое новое окружение. Происходит своего рода интерференция модального значения. Все связанное с уже установленным фактом или истинным высказыванием приобретает некоторый ореол истины. Таким образом, модальная оценка при повторах распространяется за пределы повторяющегося элемента текста и охватывает связанное с ним по смыслу текстовое окружение (СФЕ).

Одной из разновидностей повторов являются повторы отдельных пропозиций — автоцитирование, дословное повторение высказывания или группы высказываний. Часто на такое автоцитирование указывают вводные фразы: *Как мы уже говорили, ...; Как уже было сказано, ...* и т.д. Подчеркнутым автоцитированием являются повторы в виде рефрена, занимающего положение в начале или конце СФЕ. Внутри СФЕ повторяющиеся элементы должны быть интегрированы в окружающий микрореконтекст с помощью союзов, частиц и т.д.

Повтор усиливает любое модальное значение — *истины, лжи, сомнения, знания, незнания* и т.д. В случае,

когда модальная оценка в повторяющемся элементе текста не эксплицирована, повтор предполагает усиление позитивной оценки истинности (значение *истины*). Если при первом появлении в тексте содержание языковой единицы оценивается как мнение автора, то второе вхождение придает ему, как правило, смысловой оттенок установленного положения дел, а при последующих вхождениях к нему апеллируют как к непреложному факту или истине аксиоматического характера.

По типу повторяющихся объектов следует выделить повтор референтов или, следуя концепции актуального членения предложения, повтор темы. Референт или группа референтов получают при этом новые дескрипции, субъекты высказываний соотносятся с новыми предикатами. Выявленный ранее уровень истинности референта получает характер пресуппозиции, он сохраняется, если в высказывании нет специальных модальных средств его опровержения. Модально немаркированная новая дескрипция получает значение ранее установленное для референта. Возможен и обратный случай — повтор дескрипции (предиката), т.е. превращение ремы в повторяющуюся тему в других частях текста. Это означает, что одна и та же дескрипция относится к разным референтам. С точки зрения логики субъект высказывания, как правило, индивиден, а предикат представляет класс абстрактных сущностей. Поэтому истинностная оценка дескрипции менее валидна при переносе на иной референт. И все же некоторое усиление истинностного значения (от возможного к вероятному) можно наблюдать и здесь.

Все сказанное верно, когда нет коллизии между модальными значениями повторяющихся элементов текста. Но можно себе представить обратный случай, когда при повторном введении в текст пропозиции, референта или дескрипции производится отрицание данной ранее модальной оценки. Это приводит к ослаблению и одновременно к двусмысленности как повторной, так и предыдущей оценки. Однако такой эффект проявляется не равномерно. Тут действует психологическая закономерность большего влияния последней по времени поступления информации, она кажется и более достоверной.

Повторы в тексте могут влиять на любой оттенок истинностных значений. Иногда при этом способе связывания текста происходит инвертирование истинностных оттенков. Так, при прямом формальном цитировании или ссылке, вводимой словами: *как я говорил, ...* модальность *de re* переходит в модальность *de dicto*. Обратный процесс может происходить, когда чьи-то слова подаются как факт, без вводных конструкций и персонализированной оценки. Значения *de re* и *de dicto* могут приобретать оттенки значений *истины сущности* либо *аналитической истины* при наличии соответствующих модальных фраз в повторных высказываниях (*Истина заключается в том, что...; Смысл сказанного в том, что...*).

*Анафорические средства модальной оценки истинности в тексте.* Еще одним средством когезии текста, используемым для модальной оценки, является ана-

фора. Формально анафора отличается от повтора наличием дейктических языковых единиц (слов, словосочетаний), т.е. не дословным повторением сказанного. Однако есть и содержательные отличия. Во-первых, анафора относится не только к данной пропозиции, референту, дескрипции, но и к их контексту. Например, описать в некотором тексте случившийся где-то пожар и потом, далее по тексту, употребить слово *пожар* означает референцию только к самому факту пожара. Сказать же *то, что произошло* (анафорическое имя пожара) означает референцию не только к факту, но и ко всем деталям события. Если модальная оценка обоих элементов содержания (факта и совокупности деталей) одинакова, то различия в цитационном и анафорическом повторе не заметны. Но если модальная оценка различна (например, факт пожара считается установленным, а описываемые детали сомнительными), то анафора фиксирует истинностную двойственность, а повтор — только истину факта.

Во-вторых, анафора изменяет смысл (*интенционал, сигнификат*) языковой единицы. Сказать *Л.Н. Гумилев* или сказать *этот ученый*, согласно точке зрения, идущей от Г. Фреге и Б. Рассела, значит выразить разный смысл. Иначе говоря, дейктическая отсылка к некоторому объекту выделяет в нем другую сторону. В то же время предыдущая истинностная оценка могла относиться и к объекту в целом, и к одной из его сторон, ипостасей — в первом случае ни анафора, ни дословный повтор не изменят заданного ранее модального значения, во втором случае анафора это значение изменяет.

Дейктические языковые единицы могут заменять пропозицию в целом, группу пропозиций, а также только субъект или предикат. Для обобщенной характеристики в основном избираются местоимения, которые вбирают в себя все модальные значения, часто бывая модально амбивалентными. В наибольшей степени нейтральны и восприимчивы к модальным влияниям указательные местоимения *это* и *то*. В разном контексте они могут приобретать соответствующие смысловые оттенки (*это обстоятельство, этот факт* скорее указывает на истину *de re*; *в этом смысле, по этим соображениям* — на истину *de dicto* или аналитическую истину). Для уточняющих характеристик естественен перенос модального значения на новое пропозициональное содержание. Если мы уверены в существовании *Л.Н. Гумилева* и называем его *ученым*, то мы уверены в существовании ученого.

При наличии в анафорических элементах текста модальных маркеров с позитивной, негативной или промежуточной истинностью предыдущая истинностная оценка соответственно усиливается, меняется на противоположную, ослабляется. При этом истинностная оценка, содержащаяся в анафоре, если она не совпадает с предыдущей оценкой, доминирует в тексте как более поздняя. При отсутствии эксплицитных модальных маркеров на анафору переносится истинностная оценка того элемента текста, на который она указывает.

Близким к анафоре средством связывания частей текста является перифраза. Для перифрастических ха-

рактеристик объектов предшествующей модальной оценки справедливо то, что было сказано об анафоре в плане переноса модального значения.

*Аллюзии и ссылки как средства реализации модальности истинности.* Для каждого текста в целом, а равным образом и для каждого элемента текста, существует контекст. Контекст находится в области пресуппозиции, воспринимается, как правило, некритично, как данное. Поэтому обращение к контексту представляет собой средство модальной оценки истинности той части текста, которая связывается с контекстом. Мы будем различать два типа таких обращений: *аллюзии и ссылки*. *Аллюзия* — неявное указание на контекст, который предполагается хорошо известным всем. Поэтому не указывается источник аллюзии, автор, передается не все используемое содержание, часто аллюзия сводится к одному слову. *Ссылка* — явное указание на некий факт, мнение, идею, имеющиеся в другом тексте с обозначением текста — источника, его автора, более или менее подробным изложением содержания, иногда дословным изложением — *цитированием*.

Аллюзии можно разделить на два вида — общекультурные и специальные. Общекультурные апеллируют к фактам и мыслям, ставшим достоянием общечеловеческой или национальной культуры; эти факты и мысли, как предполагается, известны любому культурному читателю. Часто аллюзии данного вида приобретают характер символов, выражаются в виде крылатых слов, пословиц и поговорок. Они используются как не вызывающие сомнений в своей истинности, притом в силу обобщенности связь их с данным текстом, как правило, не референтная, а дескриптивная. Представленный в определенной части текста референт относится к классу объектов, обладающих теми же свойствами, что и некоторый общеизвестный факт или идея, а иногда, напротив, противопоставляется им. В силу своей достоверности последние оказываются средствами истинностной оценки указанного объекта. Эта оценка имеет до некоторой степени условный характер; абсолютно достоверен лишь источник аллюзии, если описываемый в тексте объект подобен объекту-источнику, то он также достоверен. Мера подобия, однако, остается на усмотрение автора текста. Следует добавить, что общекультурные аллюзии можно интерпретировать через микрополе истины сущности, поскольку они являются для данного текста эталонным объектом.

Как правило, общекультурные аллюзии усиливают истинностную оценку той части текста, с которой они связаны по смыслу. Общеизвестные положения редко оцениваются в целом как ложные или сомнительные. В то же время аллюзии могут содержать утверждения, оцениваемые как ложные или сомнительные. В этих случаях они используются для подтверждения ложности или сомнительности связанной с ними части текста.

Общепринятые мнения предпочтительно интерпретировать в модальности *de dicto*; утверждения об общем порядке вещей — *в модальности истины сущности*; высказывания об известных фактах — в модально-



сти *de re*; высказывания о значении языковых единиц — в модальности *аналитической истинности*.

Специальные аллюзии обращены к сведениям известным в той или иной области знания (например, в какой-либо научной дисциплине) и рассчитаны на подготовленного читателя. Факты и идеи, истинность которых признается определенным кругом лиц (например, структура категории времени в русском языке) придают оттенок мнения, а не знания оцениваемому с их помощью содержанию даже если их истинность и не оспаривается. Связь текста с ними более прямая и непосредственная, чем при общекультурных аллюзиях, часто это связь референтная — в данном тексте описывается с иной стороны те же самые, а не подобные факты или идеи. Поэтому оценка с помощью источника аллюзии здесь адекватна оценке источника аллюзии. Обычно это безапелляционное, хотя и субъективное признание истинности, а иногда ложности или сомнительности объекта, сообщаемое языковому выражению конвенциональное значение установленного и общепринятого мнения относительно того, о чем сообщается. Такое признание можно интерпретировать как информацию о существовании объекта, т.е. в плане истины *de re*. Особой разновидностью специальных аллюзий является обращение к принятым толкованиям терминов, которое несет в себе аналитические истинностные значения.

Специальные аллюзии, как и общекультурные, направлены, как правило, на усиление истинностной оценки (позитивной, негативной, промежуточной) того, о чем говорится в тексте.

*Ссылки* могут оформляться в виде косвенной или прямой речи. В любом случае они относятся к модальности *veritas de dicto*. Оцениваемая с их помощью часть текста, впрочем, может интерпретироваться в любом микрополе модальности истинности.

*Ссылки* могут вводиться без авторских слов или с ними; первое несущественно для истинностной оценки, второе весьма существенно влияет на такую оценку. Прямое (без комментариев) введение текста ссылки формально выделяется кавычками и отсылкой к источнику (в научных работах сейчас принято давать отсылку в скобках с указанием автора и года издания). Прямое введение предполагает полную солидарность автора с цитируемым источником. То, что это чужая речь, усиливает модальное значение истинности. К собственно изложению содержания здесь добавляется смысловой оттенок *согласия* автора с не принадлежащим ему изначально элементом текста, чего нет, когда автор ведет речь *от себя* (согласия с собой не требуется). Если само цитируемое высказывание может относиться только к модальности *de dicto* и несет в себе абсолютно позитивную оценку истинности, то внутри высказывания возможны самые разнообразные оценки (сомнение, отрицание истины и т.д.). Таким же образом и связанная с цитатой часть текста может принимать разные истинностные значения, соотносясь не с истиной формы цитирования, а с истинностной модальностью цитируемого содержания. Если цитата оценивается в

модальности *de dicto*, то связанная с нею часть текста может оцениваться в модальности *de re*.

Введение ссылки с комментарием разделяет мнение автора и мнение источника. Отношения между ними могут быть установлены эксплицитно, с помощью вводных слов и словосочетаний. Такие отношения весьма разнообразны (например, совпадение — *как верно сказал...*; апелляция к авторитету — *как отметил такой авторитетный свидетель, как...*; критика — *трудно согласиться, что...*; сомнение — *не выглядит достоверным, что...*; нейтральное отношение — *по словам...*). Так же как и содержание цитаты, связанная с ней часть текста оценивается двояко с точки зрения автора и источника. Разумеется, оценка может не совпадать, причем, понятно, что в последнем случае доминирующей является авторская модальность. Не исключены, впрочем, и случаи коллизии оценок, если цитируется авторитетное или устоявшееся, общепринятое мнение.

*Структура текста как средство реализации модальности истинности.* Структура текста, т.е. последовательность и отношение между относительно законченными частями текста также является средством модальной оценки истинности. В лингвистике текста употребляется термин *континуум*, под которым подразумевается связанное последовательное изложение текста (1, с. 87-97). В пределах континуума модальное значение истинности остается неизменным, если отсутствуют модальные модификаторы, изменяющие значения отдельных частей (СФЕ, фраз). Разумно предположить, что эта неизменность не просто допускается, а создается и поддерживается континуумом текста. Если континуум разрывается, модальное значение предыдущей части текста не переносится на последующую.

Существуют, однако, однородные тексты, в которых максимально проявляется действие рассматриваемого явления. Таковы, в частности, научные произведения. Каждое СФЕ здесь развертывается из предыдущего, имеет с ним что-то общее (тему). Текст характеризуется линейным построением (3, с. 121). Каждая тема несет в себе определенное модальное значение, оно не изменяется самопроизвольно, следовательно переносится на рему СФЕ в силу необходимого модального согласования темы и ремы, а также в силу модального доминирования темы как *известного* по сравнению с новой, заранее неизвестной информацией ремы. Создается общий модально-истинностный тон текста.

Когда фактическое содержание данного СФЕ противоречит предыдущему или одному из предыдущих, возникает необходимость введения специальных модальных средств для фиксации изменения модального тона текста (элементарными средствами являются противительные союзы *но, однако, впрочем* и т.д.). Сама по себе модальность текстового континуума не изменяется, поэтому без эксплицитных маркеров модального изменения противоречивое содержание делает текст бессмысленным.

Существуют тексты со сложной дискретно-континуальной структурой; в основном это художественные произведения, но иногда и научные — когда в них рассматривается ряд связанных, но разнородных

тем. При «полифонической структуре» текста (З, с. 121) каждый его дискретный отрезок имеет, как правило, свое истинностное значение, причем «свое» не в плане отличий по степени и качеству истинности, а в плане привязки его к данному отрезку текста. Даже одинаковые модальные значения двух смежных дискретных отрезков текста явным образом не взаимодействуют, не переносятся друг на друга, принадлежат только одному определенному отрезку и характеризуют только его.

Для любого связного текста или части текста, если в них отсутствуют эксплицитные модальные маркеры, предполагается наличие позитивной истинностной оценки их содержания. Эта общая оценка усиливает любые модальные значения (в том числе негативные и промежуточные), выраженные в отдельных высказываниях. Можно, например, говорить об истинности ложности или сомнительности содержания части высказываний.

#### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

---

1. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. — М., 1981.
2. Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность. — Л., 1990.
3. Тураева З.Я. Лингвистика текста: (Текст: структура и семантика). — М., 1986.
4. Тураева З.Я. Лингвистика текста и категория модальности // Вопросы языкознания. — 1994. — № 3. — С. 105-114.

# ГОЛОСА ВРЕМЕНИ. В. И. СОКОЛОВСКИЙ

- 1/ В.И. Соколовский / Рассказы Сибиряка
- 2/ В.Н. Кравченко / Ставрополь / О В. И. Соколовском
- 3/ К.Э. Штайн, Р.М. Байрамуков / Ставрополь / Владимир Соколовский: **Счастье было!**

## РАЗСКАЗЫ СИБИРЯКА

В.И. Соколовский

Печатать позволяется  
съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлены  
были въ Ценсурный Комитетъ три экземпляра.

Москва,  
Декабря 15 дня,  
1832 года.  
Ценсоръ  
Левъ Цвѣтаевъ.

## ПРЕЛЕСТНОЙ БРЮНЕТКѢ

Въ типографіи Лазаревыхъ  
Института Восточныхъ Языковъ.

Я-ль виноватъ, что тебя черноокою  
Больше чѣмъ душу люблю?

А. Вельтманъ

Слова высокой притчи правы!  
Всему есть время: для труда,  
Для слезъ, для смѣха, для забавы, —  
И вотъ вамъ шалость, Господа!

## РАЗСКАЗЪ ПЕРВЫЙ

Лнивьій прежде и безпечный,  
Я сталъ другой, увидя васъ, —  
И вотъ вамъ первой мой рассказъ,  
Но не Сибирскій — а сердечный.

## РАЗСКАЗЪ ПЕРВЫЙ

Честъ имѣю рекомендовать вамъ прелестная... Вотъ  
хорошо!.. чуть было не сказалъ: прелестная Ка-  
тинька... Конечно, тихомолкомъ вы можете  
быть и согласитесь со мною, что такая простота  
сердца чрезвычайно мила,

Но тутъ поставить надо: но,  
За тѣмъ, что простота въ смѣшное  
Обращена людьми давно,  
И мы — мы чувствуемъ одно,  
А говоримъ совсѣмъ другое.  
Всѣ, кажется, живутъ въ ладу,  
Но сердце съ языкомъ въ разладѣ,  
И все друзья, да на бѣду  
Мы съ этимъ кладомъ всѣ въ накладѣ.

Съ инымъ заговори поди:  
Вѣдь какъ прикинется безбожно!  
Еще отъ скуки слушать можно,  
А въ ротъ ужъ пальца не клади...  
Семь мудрецовъ во всякомъ дѣлѣ  
Споткнулись нынѣ бы какъ разъ,  
За тѣмъ, что мы теперь у насъ  
Начтемъ семь пятницъ на недѣлѣ.

Мнѣ кажется, что изъ всѣхъ моихъ знакомыхъ въ  
двухъ частяхъ свѣта, (простите господа знако-  
мые!) только у одной особы, что на умѣ — то и на  
языкѣ, и эта особа разумѣется — вы; есть еще  
одинъ человекъ, (и это разумѣется — я,) но кто  
же хвалитъ самого себя?..

Когда мнѣ случается думать о васъ, (а я это дѣлаю без-  
престанно съ тѣхъ поръ, какъ недавно увидѣлся  
съ вами въ первый разъ въ жизни;) когда я вспом-

ню ваши розовыя уста, такъ очаровательно  
обрисованныя, то я никакъ не могу представить  
себѣ, чтобы

Уста невинной красоты  
Хоть на смѣхъ иногда солгали,  
И не сердечныя мечты  
Въ волшебныхъ звукахъ изливали...  
Скажите, къ ангельскимъ словамъ  
Я быть довѣрчивымъ могу ли?..  
О! какъ прелестно вы взглянули:

Я вѣрю этимъ небесамъ! —  
Чтожь до меня, то я сначала  
Кажусь на грѣшника похожь,  
И вотъ во мнѣ что только ложь,  
А впрочемъ я предобрый малой!..  
Но если дѣло пошло уже па правду, мнѣ должно сказать  
вамъ откровенно:

Я думывалъ о васъ и прежде,  
Когда въ плѣнительной надеждѣ,  
Въ подлунномъ мирѣ я искалъ  
Красотъ высокихъ идеалъ;  
Отъ васъ онъ отроженъ въ Поэтѣ,  
Въ васъ все прекрасное слито,  
И признаюсь, въ одномъ портретѣ  
Я съ васъ списалъ ужъ кое-что...

Однако, вѣдь надобно же называть васъ какънибудь...  
Знаете ли что?.. Положимъ, что вы совсѣмъ не  
Катинька и что будто бы я только придумалъ это  
имя для шутки, за тѣмъ, чтобы васъ не узнали...

Хоть эта шутка и трудна:  
Какъ вы не прячетесь за толпами  
На васъ покажутъ всѣ руками  
И скажутъ мнѣ: да вотъ она!

Если я говорю, что я придумалъ это имя, такъ я ра-  
зумѣю не то, чтобы я въ самомъ дѣлѣ его придумалъ.  
Оно навѣрно было и въ допотопныхъ свят-  
цахъ, (если только до потопа издавались свят-  
цы;) но тутъ сила вотъ въ чемъ: если я скажу сло-  
во придумалъ, то я непремѣнно обману всѣхъ пре-  
лестныхъ моихъ читательницъ и благоразум-  
ныхъ моихъ читателей. Всѣ могутъ предпола-  
гать, что васъ зовутъ не Катинькой, а какънибудь  
иначе, и ваше инкогнито останется непроницае-  
мымъ, несмотря на то, что я буду называть васъ

настоящимъ вашимъ именемъ и прилагать къ нему эпитетъ *прелестной*, который вы такъ рѣшительно заслуживаете.

Теперь, когда мы условились о главномъ, мнѣ остается рекомендовать себя окончательно; впрочемъ я увѣренъ, что вы уважаете людей, а не имена, и что ни вашей любви, ни даже вашего вниманія

За эту цѣну не куплю,

Когда я вамъ открою: кто я;

Я вамъ родня, мы всѣ отъ Ноя,

Но больше всѣхъ я васъ люблю.

Мнѣ кажется, что этого довольно, по крайней мѣрѣ на первый случай; потому что, любя васъ самой пламенной любовью, — такъ, какъ никого еще я не любилъ, я почитаю себя вправѣ посвящать вамъ мои труды, а это для меня чрезвычайно важно: я во сто разъ охотнѣе принимаюсь за перо, и вѣрно въ десять пишу скорѣе обыкновеннаго.

Я вамъ сказалъ, что я васъ такъ люблю, какъ никого еще не любилъ.... Послѣ этого выходить мнѣ нужно вывести себя на чистую воду; тогда увидя мою откровенность, вы можете быть повѣрите, что душа моя совершенно наполнена вами, и что въ ней, не только чьи нибудь образы, но даже и самыя идеи о тѣхъ образахъ, не могутъ существовать съ тѣхъ поръ, какъ я такъ счастливо нашель васъ на жизненномъ пути.

Когда не знаешь васъ — простительно грѣшить;

Но познакомившись — тутъ дѣло ужъ иное:

Для васъ забылъ я все земное,

А васъ нельзя ни для кого забыть!

Притомъ же, прелестная Катинька, я вамъ признаюсь во всемъ такъ чистосердечно, что вы вѣрно будете ко мнѣ снисходительны.

Я вамъ покаюсь, чѣмъ жизнь моя грѣшна,

Я вамъ перескажу интригъ минувшихъ повѣсть,

Тогда вы скажете, прощая шалуна:

«Ну, въ этомъ есть по крайней мѣрѣ совесть!»...

Если вы это скажете, то отгадаете, какъ не лъзя болѣе: у меня точно, удивительно какъ много совѣсти....

Я не дался въ *иныхъ*...

Да! нынчѣ совѣсть стала дивомъ;

Объ ней безсовѣстно твердятъ,

А вѣрно совѣсть есть наврядъ

Въ иномъ ханжѣ краснорѣчивомъ.

Начните-ка просить друзей

Похлопотать, замолвить слово, —

Вамъ возраженіе готово:

«Намъ право совѣстно, ей! ей!

«Но это сдѣлать невозможно;

«Ну чтобы ранше вамъ успеть!»

Скажите прежде — и безбожно

Вамъ стали бѣ ту же пѣсню пѣть...

Но это въ сторону; послушайте лучше о моихъ сердечныхъ тайнахъ...

Кто важно въ свѣтъ вступилъ при шагѣ,

Кто много нѣжностей читаль,

Тотъ хочеть вдругъ, при первомъ шагѣ,

Сыскать для сердца *идеаль*...

«Мнѣ жизнь — печаль, мнѣ свѣтъ — пустыня!»

«Съ кѣмъ подѣлюся я душой?»

Твердитъ мечтатель пылкій мой, —

И вотъ является богиня.

Ужъ разумѣется, она

По милости воображенія,

Тотчасъ же фениксомъ творенья

Въ посланьи къ другу названа;

Тутъ на людей пойдутъ нападки,

И, въ духѣ рыцарскихъ времёнъ

Онъ бросить всѣмъ готовъ перчатки,

Зачѣмъ не бредятъ всѣ, какъ онъ...

Какой онъ вздоръ въ стихахъ туруситъ!

Въ нихъ смѣсь всего и ничего:

Онъ понялъ всѣхъ, а ужъ его

Никто навѣрно не раскуситъ;

Всѣ жалки, холодны какъ ледь,

У всѣхъ на мѣсто сердца — камень,

И только въ немъ небесный пламень

Отъ скуки ангель стережётъ...

Потомъ, бѣснуясь страстью оба,

Ничтожный міръ забыть хотятъ,

И наизусть изъ книгъ твердятъ:

«Любовь и за предѣломъ гроба!»...

Потомъ, по правиламъ любви,

Несчастливымъ предстоитъ разлука;

Вотъ тутъ-то плохо: въ сердцѣ мука,

И холодъ гробовой въ крови.

Онъ сталъ элегіей ходячей,

Онъ чуждъ веселостей чужихъ,

И въ этой горькой неудачѣ,

Остался бѣдный *при своихъ*...

Вотъ вамъ симптомы и припадки

Сердечной глупой лихорадки...

Хоть стыдъ сказать, а грѣхъ таить!

Былое дѣло: поневолѣ

И я дежурилъ въ этой школѣ,

Чтобы другихъ собой смѣшить;

Была проказа и со мною,

Но ужъ исчезнулъ вздорный сонъ,

Когда française и котильонъ

Меня счастливили собою.

Я курсъ любви давно прошёлъ;

Я отолстѣлъ, я облѣнился,

И мишурой не ослѣпился,

И на подъёмъ я сталъ тяжёлъ.

Теперь душа инаго просить;

Я записался въ старики,

И ужъ пожатіе руки

Меня высоко не заноситъ,

И право, только для проказъ,

Влюблялся я двѣнадцать разъ.

Видите ли какъ немного, но я бы никакъ не начёлъ и

этой дюжины, если бы

Тогда пришлось мнѣ видѣть васъ,

Когда я былъ еще моложе;

Ахъ! сколькихъ бы тогда, мой Боже!

Не напроказилъ я проказъ!

Тогда бѣ я не бродилъ въ Сибири,

Въ тайгахъ, и по степямъ пустымъ,

Гдѣ радости легки, какъ дымъ,

И тяжелы часы, какъ гири;

Но вы на сердце залегли

Мечтой прекрасною къ Поэту —

И вотъ страдалецъ на земли,

Я васъ отыскивалъ по свѣту.

Порой я видѣлъ, какъ вдали,

Ну точно вы въ толпѣ мелькали,  
И пробужденныя мечтой  
Во мнѣ надежды оживали  
Привѣтной счастья зарей...  
Я вслѣдъ иду. Какъ все в ней мило!  
Что за головка!.. Что за стань!..  
Такъ я нашёлъ? — Не тутъ то было!  
До этихъ поръ все былъ обманъ...  
Когда поразсмотрѣлъ я ближе  
Любимицъ вѣтренной мечты —  
Узналъ, что всѣ ихъ красоты,  
Далѣко противъ вашихъ ниже;  
И нѣтъ у нихъ, такъ какъ у васъ  
Неизъяснимаго *чего-то*,  
Чѣмъ любоваться всякій разъ  
Такъ и берётъ меня охота...  
Такимъ образомъ исторія моихъ заблуждений и ошибокъ кончилась довольно хорошо, особенно для васъ, и знаете ли почему? — Потому что всѣ красоты, о которыхъ я сказалъ теперь, и которыя принадлежать мнѣ только какъ созданія моей мечты, составляютъ вашу прекрасную, заманчивую собственность... Впрочемъ и на мою долю пришлось чрезвычайно много выгодъ: во первыхъ, напимѣрь, я отыскалъ васъ...

Легко сказать: языкъ безъ кости,  
А пусть-ка кто увидитъ васъ,—  
Такъ ужъ завистливый тотчасъ  
Навѣрно кашлянетъ отъ злости;  
Къ тому же вѣтренность моя  
Съ тѣхъ поръ какъ будто не бывала:  
Я подражаю вамъ — такъ стало  
И во сто разъ умнѣе я.

Согласитесь, что такая прибавка не бездѣлица.  
Во вторыхъ: когда я отыскивалъ васъ на краю свѣта, то въ одномъ городѣ, одинъ почтенный мой знакомецъ — Ориенталистъ, подарилъ мнѣ одну тетрадку своихъ выписокъ изъ духовныхъ Монгольскихъ книгъ о Мифологическихъ преданіяхъ и о вѣрѣ этихъ чудаковъ — Монголовъ. Приобрѣтеніе очень важное... Наконецъ третья выгода та, что я нашёлъ теперь прекраснѣйшій случай, пересказать все это прелестнѣйшей дѣвушкѣ въ цѣломъ свѣтѣ; — а случай точно пресчастливый... (Тутъ опять слѣдуетъ та же исторія, то есть: *во первыхъ, во вторыхъ* и т. д.)

Во первыхъ вы со мной не говорите ни полслова, слѣдственно не будете бранить меня за дерзость; во вторыхъ — вы не обращаете на меня никакого вниманія, стало быть вамъ все равно: говорю ли я, не говорю ли я, а для меня, какая же разница!.. говорить съ кѣмънибудь и говорить съ вами... съ вами?.. Боже ты мой!..

И если бѣ только утомить  
Я васъ разговоромъ не боялся,  
Чѣму бы доброму тутъ быть? —  
Да я бѣ до смерти заболтался...  
Въ третьихъ, вы даже можете быть не будете знать, что я тружусь только для однѣхъ васъ, что я однѣмъ вамъ посвящаю мои томительные дни и мои безсонныя ночи, а когда вы не будете знать, слѣдовательно вамъ нѣтъ до меня никакого дѣла, тогда какъ я имѣю до васъ очень важное...

О! если бы вы только знали,  
Что я в васъ по уши влюблѣнъ,  
Тогда, быть можетъ, (сладкій сонъ!)  
Меня бѣ вы ручкой приласкали,  
А я тотчасъ еѣ бы сжалъ  
Въ пылу кипящаго мечтанья,  
И вплоть до самаго вѣнчанья  
Никакъ изъ рукъ не выпускалъ.  
Когда такимъ образомъ всѣ обстоятельства расположены въ мою пользу, я торжественно приступаю къ своимъ рассказамъ: но прежде, нежели начну, я долженъ открыть вамъ по долгу моей совѣсти, (вотъ видите ли, — вездѣ совѣсть!) такія вещи, которыя послужатъ вмѣсто предисловія. Подобныя предварительныя статьи весьма важны почти во всѣхъ житейскихъ случаяхъ, — особенно въ трехъ: когда издаешь книгу, когда ищешь руки и когда занимаешь деньги.

Да! въ кодексѣ мірскихъ условій  
Давно введенъ законъ такой,  
И только мужъ съ своей женой  
Обходится безъ предисловія...

Надобно признаться, что странички двѣ тому назадъ, рассказывая вамъ, что в одномъ городѣ, одинъ мой почтенный знакомецъ — Ориенталистъ, подарилъ мнѣ одну тетрадку своихъ выписокъ изъ духовныхъ Монгольскихъ книгъ, — я выразился довольно темно... Вы тотчасъ пожалуй подумаете, что этѣ выписки были сдѣланы на Монгольскомъ языкѣ, и что я между дѣломъ перевелъ ихъ и для васъ выдаю теперь въ свѣтъ. — Ни чуть не бывало! — Я столько же знаю по Монгольски, сколько Царь Соломонъ, (человѣкъ впрочемъ почтенный и умный,) зналъ по Французски. Выписки этѣ переведены самимъ почтеннымъ моимъ знакомцемъ — Ориенталистомъ, подарены мнѣ и слѣдственно составляютъ мою собственность. Онѣ пролежали у меня нѣсколько лѣтъ; теперь, облекая ихъ въ новую форму по своему вкусу, я хочу ихъ напечатать, и это такъ естественно, какъ не лъзя болѣе. Скажите, зачѣмъ же имъ лежать даромъ на моемъ письменномъ столѣ?

Пускай на судъ людской молвы  
Идутъ мои беседы съ вами,  
Но я, божуся вамъ богами,  
Я занимаюсь только вами,  
Да мной займётесь-ли то вы?...

Имѣя очень дурную память, я что-то никакъ не могу припомнить, просилъ ли меня этотъ почтенный знакомецъ — Ориенталистъ, чтобы я озаботился обнародованіемъ его выписокъ; впрочемъ для меня это рѣшительно все равно. Да если онъ и не просилъ — ему же лучше! Это будетъ прекрасный сюрпризъ, а я смерть люблю сюрпризы.

И мнѣ недавно былъ сюрпризъ:  
На дняхъ, я какъ-то, въ среду что-ли  
Гулялъ ли, шёлъ ли противъ воли, —  
Вдругъ вы откуда невозьмись.  
Я ну готовить рѣчь для встрѣчи,  
И что жъ? — къ досадѣ и тоскѣ,  
На непослушномъ языкѣ  
Вотъ такъ и замирають рѣчи;

Тогда, какъ будто бѣ я любилъ  
Уединенныя прогулки —  
Я шастъ въ глухіе переулки...  
Бѣжать, бѣжать — и слѣдъ простыль!  
Нравится ли вамъ моя смѣтливость и умѣнье пользо-  
ваться обстоятельствами!.. Вы смѣтаете; но,  
сдѣлайте милость, скажите мнѣ, не уже ли есть  
на свѣтѣ такіе невѣжды въ изящномъ, которые  
увидя васъ или не убѣждали бы безъ оглядки, или  
не остановились на мѣстѣ, какъ вкопанные?..  
Вотъ когда вы отъ меня за версту — это дѣло деся-  
тое! — Тогда я вовсе не застѣнчивъ и такъ разго-  
ворчивъ, какъ не лѣзя болѣе... Напримѣръ те-  
перь пылкая мечта моя создала прекрасный  
вашъ призракъ; я подвигаю къ моему стулу дру-  
гой, гораздо покойнѣе; беру васъ за ручку и са-  
жаю подлѣ себя... Что-жъ вы покраснѣли?.. пол-  
ноте!.. взгляните-ка на меня...

Ахъ, Катинька! да какъ вы хороши!  
Но ради Бога вы держитесь прямѣе:  
Мнѣ такъ не видать... за то глаза виднѣе,  
А вѣдъ въ глазахъ огонь безсмертія души...  
Сидите-же и слушайте мои рассказы.  
Вы будете меня слушать?.. не правда ли? — «Извольте, я  
готова!» — Какъ вы добры! Какъ вы милы!.. поз-  
вольте я васъ разцѣлую... Да не улетайте! это од-  
на невинная шутка... Я начинаю... Виноватъ: по-  
забылъ сказать еще нѣсколько словъ.

Если, (чего Боже сохрани!) вы знаете по Монгольски, то  
всѣ промахи противъ Монгольскаго правописанія  
сваливайте на писца и наборщиковъ; мое дѣло со-  
вершенно стороне: я знать не знаю, вѣдать не  
вѣдаю, — меньше сплетней, какъ говорятъ мои  
земляки Сибиряки... Мнѣ нѣтъ никакой нужды,

Чшо, если кто нибудь незваный, напримѣръ,  
Здѣсь вздумаетъ считать Монгольскія ошибки;  
Я все пишу для ангельской улыбки,  
А тамъ... а тамъ: *vogue la galere*.

## РАЗСКАЗЪ ВТОРЫЙ

*Не лѣзя-ль начать съ конца? — «Никакъ!» —  
Такъ съ середины что-ли? — «Мало!» —  
Эге! да я попалъ въ просякъ:  
Приходится начать — съ начала!..*

## РАЗСКАЗЪ ВТОРЫЙ

Знаете-ли, прелестная Катинька, отъ чего кругомъ  
насъ такая суета?.. Отъ чего всѣ люди, разумѣет-  
ся выключая только васъ однѣхъ, дѣлаютъ столь-  
ко дурачествъ?.. Знаете ли отъ чего

Всегда подлѣ палкою судьбы,  
Они, невѣжества рабы,  
То съ полудурья вдругъ заскачутъ,  
То отъ бездѣлья закричатъ,  
То отъ насилія заплачутъ,  
То отъ безсилія смолчатъ?..

Все это именно отъ того, что люди почти никогда не  
начинаютъ своихъ дѣлъ съ начала. Отъ этого-то  
и выходитъ вся путаница, всѣ ошибки, всѣ наши  
несчастія. Возьмите въ примѣръ любовь:

Когда мы ангела найдемъ,  
Услышимъ сердца звукъ отвѣтный,

Тогда невольно, непримѣтно,  
Влюбляемся въ одинъ пріемъ.  
Начало страсти очень страстно:  
Всѣ чувства дивно оживутъ  
И образъ дѣвушки прекрасной  
Куда не сунься — тутъ какъ тутъ!  
Я вамъ сказалъ, что надъ собою  
Я испыталъ все это самъ;  
Не то по днямъ, и по ночамъ  
Нѣтъ отъ волшебницы отбою;  
Ты-бъ закусилъ, да задремаль, —  
Куда тебѣ! — ужъ надъ тобою,  
Блестя одеждою цвѣтною,  
Парить волшебный идеаль...  
Такъ, посреди очарованья,  
Проходитъ первый періодъ,  
За тѣмъ, друзья! что цѣль желанья  
И видитъ глазъ, да зубъ неймётъ.  
Одно имъ дѣло: *дѣлать глазки*,  
(У нихъ вѣдъ вся душа въ глазахъ,) —  
И въ сихъ таинственныхъ связяхъ  
Ждутъ не дождутся до развязки.  
Потомъ съ восторгомъ подъ вѣнецъ:  
Тутъ, вѣрно ужъ не безъ причины,  
Съ полгода держатся середины,  
И что жъ выходитъ наконецъ?..  
То, съ чего бы надо было начать — холодная учтивость.

Впрочемъ,  
Такіе-ль случаи бываютъ?  
Еще бы сносно было такъ,  
А то сначала *вступятъ въ бракъ*,  
А тамъ въ него — же *поступаютъ*.  
То есть: или мужъ, или жена, заботятся о разнообразіи;  
конечно, разнообразіе прекрасная вещь, — толь-  
ко не въ супружествѣ.  
Чтобы доказать вамъ, что я человѣкъ точный, я начну  
свои рассказы о нынѣшней вѣрѣ Монголовъ съ  
самаго начала.

Если всякое духовное ученіе, принятое вародами,  
должно называться по имени своего законодате-  
ля, то и вѣра Монголовъ есть Шагя-муніанская, а  
не Далай-Ламская. Нѣкто Шагя-муни, о кото-  
ромъ я вамъ скажу послѣ, пересоздалъ её изъ  
древней Брагминской, Зная можетъ быть, что  
этотъ почтенный мужъ родился въ Индіи, при  
источникахъ Ганга, вы конечно спросите меня  
когда и какимъ образомъ ученіе его проникло въ  
Монголію? —

«Да, ужъ потрудитесь, пожалуйста, рассказать мнѣ объ  
этомъ.» —

Ну, прелестная Катинька, задали вы мнѣ задачу!.. Я чи-  
таль и перечитываль всѣ книги, какія только бы-  
ли у меня подлѣ рукою и все таки не добился тол-  
ку: кто въ лѣсъ, кто по дрова. Я былъ бы рѣшите-  
льно затрудненъ отвѣчать вамъ на этотъ во-  
просъ, если бы къ счастью не пришла мнѣ теперь  
въ голову замысловатая увертка всѣхъ господъ  
разскащиковъ: начало *того-то* теряется во мракѣ  
неизвѣстности. И коротко, и ясно, и удовлетво-  
рительно; къ тому же въ этотъ мракъ никакъ не  
лѣзя подать свѣчей, стало быть всѣ изслѣдо-  
ванія, справки и повѣрки невозможны. Однако  
жъ въ послѣдствіи можно кое-какъ напасть на

слѣды Шагя-мунизма,... Такимъ образомъ иные говорятъ, что первые отпрыски сей вѣры стали приниматься на Монгольской почвѣ въ концѣ XII и въ началѣ XIII столѣтій. Тогда, въ политическомъ быту сего государства хозяйничалъ Халхаскій Князь Демучинъ, извѣстный и вамъ и всѣмъ подъ именемъ Чингисъ-Хана. Вы знаете, что это былъ человѣкъ, который не любил шутить. Загляните въ любую Монгольскую книгу, гдѣ только говорится объ немъ, и вы увидите, что въ то время не было недостатка въ больныхъ и раненыхъ. Разумѣется, понадобились лекари; а сами посудите, откуда было взять ихъ? — Ни Академій, ни Университетовъ...

Тогда умѣлъ любой повѣса

И носъ, и уши обрубить,

Но въ мудрому таинствѣ *лечить*

Не смыслилъ вѣрно ни бельмѣса,

И даже, самага аза,

Тогда не зналъ никто въ глаза.

Какое золотое время для иныхъ! Различія, существующія между умнымъ и глупцомъ, между ученымъ и неучемъ, совершенно уничтожались тогда передъ господствующими раздѣленіями народа: сильный и безсильный, богатый и бѣдный... Да, прелестная Катинька, Монголы въ XII вѣкѣ не имѣли еще собственной грамоты, слѣдственно, какіе тутъ лекари?... Шаманы проповѣдывали имъ свое ученіе изустно, по преданіямъ, и были очень плохи въ Медицинѣ. Объ этомъ вѣрно какъ нибудь провѣдали Тибетскіе Ламы, смѣкнули дѣломъ и очень умно воспользовались своими посильными знаніями древней Индійской Медицины, и тѣми лекарствами, которыя получили они изъ Индіи и Китая.

Судя по многому, я думаю, что человѣкъ — всегда человекъ.

Всѣ тотъ же онъ, мои друзья,

Вчера, и завтра, и сегодня:

Все тажъ надъ нимъ любовь Господня,

И тоже въ немъ изъ ада — я.

Ламы пришли съ такимъ соблазнительнымъ запасомъ, съ такою вкрадчивою, обязательною услужливостію; они стали пользоваться больныхъ, а вѣдь *пользоваться* не то, что *лечить*, такъ какъ же не *пользоваться*? Къ тому же этимъ совершенно удовлетворялось Монгольское я; Ламы такъ много заботились объ нихъ въ это время, такъ искусно угождали ихъ прихотямъ, что мои Монголы разнѣжились по неволѣ, и стали охотно вслушиваться въ рассказы жрецовъ Шагя-мунизма; однимъ словомъ, Ламы употребляли всѣ средства, чтобы увѣнчать успѣхомъ свое тайное предпріятіе. Ученіе ихъ, хотя исподволь, но надѣжно укоренялось въ Монголіи. Непримѣтно распространялось число поклонниковъ Шагя-муни, и хвалы ему, раздавшись сперва въ бѣдныхъ войлочныхъ юртахъ простыхъ Монголовъ, проникли наконецъ до богатыхъ шатровъ Чингиса; однакожь ни онъ, ни сынъ его Угудэй-Ханъ не измѣнили, кажется, своей Шаманской вѣры. Судьба распорядилась иначе.

Меня увѣрялъ одинъ почтенный мой знакомецъ, че-

ловѣкъ самый достовѣрный, что первымъ Шагя-мунианцомъ изъ Монгольскихъ Государей былъ Гуюкъ-Ханъ (Гаюкъ), старшій сынъ Угудэевъ, царствовавшій съ 1246 по 1248 годъ... Бѣдняжку мучила водяная... Скажите мнѣ, прелестная Катинька,

Кому жъ по сердцу гость незванный?

И, не на счетъ того сего,

Не хорошо-жъ, какъ про кого

Всѣ закричатъ: да онъ водяной!

И вотъ, любезный мой Гуюкъ,

Спаситесь вѣрой вздумалъ вдругъ.

Онъ принялся за Шаманство — и не отшаманился. Пришлось вызвать изъ Индіи Ламу: Сакія-Гунге-Гиладжана... Что жъ вы такъ иронически улыбаетесь, господа Ориенталисты?.. Вѣрно я переименовалъ это варварское имя; но вспомните, ради Бога! вспомните знаменитаго Фернейскаго часовщика; потрудитесь развернуть его *Essai sur l'histoire universelle*; посмотрите только, какъ онъ жалуетъ Бориса Годунова въ *Boris Gudenuou*, и Гришку Отрепьева въ *Griska Outropouia*; полюбуйтесь этимъ — и будьте ко мнѣ снисходительны...

Но если я назвалъ не такъ,

Вы можете смѣяться смѣло:

Теперь о томъ идетъ все дѣло,

Что Сакій не попалъ въ просакъ.

Онъ вылѣчилъ Гуюка, и тотъ изъ благодарности, изъ уваженія, изъ суетвѣрія, изъ чего вамъ угодно, принялъ Шагя-мунианство.

По смерти Гуюка, послѣ трехлѣтняго междуцарствія, властелиномъ Монголіи сделался Мынге-Ханъ, внукъ Чингиса, отъ младшаго его сына Толая. Что этотъ Мынге точно былъ Шагя-мунианцомъ, это не подвержено никакому сомнѣнію: не даромъ-же онъ въ исходѣ 1251 года изволилъ дать одному Тибетскому Ламѣ Намо титулъ *Царскаго учителя*, и сдѣлалъ его главою новой религіи?.. Однакожь сія послѣдняя, какъ говорилъ мнѣ тотъ же почтенный мой знакомецъ, сдѣлалась совершенно господствующею въ Монголіи, только при братѣ и преемникѣ Мынгѣ-Хубилай-Ханѣ, то есть въ 1260-хъ годахъ.

Ни изъ мифологическихъ, ни изъ свѣтскихъ Монгольскихъ книгъ не видно, чтобъ какіе нибудь тѣлесные недуги осмѣлились беспокоить Его Ханское Величество Хубилая-Хана; но за то,

Причину скрытную найду я,

Её Исторья сберегла:

У Хана, видите ль, была

Жена любимая Чумбуя.

Держу закладъ, что ужъ она,

Была навѣрно недурна;

Она Шамановъ не любила

И, ослѣпляясь новизной,

У мужа своего съ мольбой

За вѣру новую просила.

Тогда мужья, какъ въ наши дни,

Прекраснымъ женамъ уступали, —

И вотъ и онъ, и все приняли

Ученіе Шагя-муни.

Оно было передано Государю, его супругѣ и главнымъ



чинамъ государства, знаменитымъ Ламою Мадидочжуа, который извѣстенъ, (только мнѣ неизвестно кому,) подъ именемъ Ламы Пакбы, или Паксбы, какъ называютъ его иные. Онъ былъ человекъ дѣльный, потому что умѣлъ пользоваться чужимъ, и изъ чужаго составилъ такую Монгольскую грамоту, что я, говоря по совѣсти, ничего въ ней не понимаю. Нѣтъ спора, я бы могъ рассказать вамъ кое-какія подробности о томъ, какъ этотъ Паксба смастерилъ Монгольскую азбуку, но во первыхъ это вовсе не касается до Шагя-Муни, о которомъ мнѣ хочется сей часъ говорить съ вами, и во вторыхъ, всякому любителю чрезвычайно легко отыскать самому очень любопытную статью объ этомъ предметѣ: стоитъ только перебрать и прочесть всѣ Русскіе журналы съ 1815 года по настоящее время.

Еще нѣсколько словъ о распространеніи Шагя-мунизма въ Монголіи и дѣло съ концемъ!.. Случайно мнѣ попались на глаза отрывки Монгольской исторіи, переведенные съ Китайскаго. Изъ нихъ то и увидѣлъ я, что вѣра Фоевская начинала существовать въ Монголіи не только въ XII и XI вѣкахъ, но даже въ IV; а вѣдь Китайскій Фо и Монгольскій Шагя-муни есть одно и то же лице; и Фоисты и Шагя-мунианцы имѣютъ однѣ и тѣ же основныя правила, вѣрятъ однѣмъ и тѣмъ же истинамъ, и заблуждаются ни чуть не хуже другъ друга; вся разница въ однихъ наружныхъ обрядахъ... Хотите ли вы, или не хотите повѣрить этимъ отрывкамъ, это совершенно не мое дѣло.

Теперь, прелестная Катинька, когда вы знаете, какимъ образомъ ученіе Шагя-муни перешло съ береговъ Ганга въ Монголію, теперь можно поговорить съ вами и о самомъ законодателѣ; но прежде потрудитесь перенестись мысленно въ хаосъ Индійскаго мистицизма и миФовъ.

Слишкомъ за двѣ тысячи лѣтъ до Р. X. явилось въ Индіи ученіе Будгы или Будды. Вы спросите меня: кто такой этотъ Будга? — Онъ есть Вишну, второе свойство Индійскаго Божества: это хранительная сила природы; Брагма, первое свойство сего божества, есть сила творческая, и наконецъ Сива или Шива есть третіе свойство, и мнѣ кажется не разрушительная сила, какъ говорятъ иные, но только преобразующая разрушеніемъ. Всѣ три свойства вмѣстѣ называются общимъ именемъ: Брагмъ (1). Отсюда ученіе Брагминовъ, Брамминовъ, или по Тибетски и по Монгольски: Бирмановъ.

Вѣрованіе Будгистовъ есть расколъ первобытной вѣры Бирмановъ, и, если относительно появленія первой въ Индіи помириться, ровно на двѣ тысячи лѣтъ до Р. X., то какова же должна быть древность ученія Брагмы?.. Тутъ по неволѣ прибѣгнешь къ душеспасительному мраку неизвестности.

Индійцы толкуютъ, что Вишну, какъ хранительная сила всего существующаго; видя, что порокъ растетъ на землѣ не по днямъ, а по часамъ, девять разъ подъ разными именами принимался сходить къ людямъ, чтобы своимъ примѣромъ, своимъ ученіемъ исправить развратившихся.

Но мнѣ сдается, что напрасно  
Такъ хлопоталъ Индійскій богъ:

Индійцы всё шалятъ ужасно...

Охъ, родъ людской! куда ты плохъ!...

Въ девятомъ и послѣднемъ аватарѣ, то есть въ девятомъ сошествіи своемъ, онъ называется Будга. Иные историки рассказываютъ, что Будга явился въ Тибетъ за 2214 лѣтъ до Р. X. въ одномъ Брагминскомъ родѣ, по имени Шагя, и былъ сыномъ Магадійскаго Царя Содадана или Судадана, и супруги его Махамай или Махамай; другіе, соглашаясь съ первыми о времени, отца Будги называютъ Царемъ Арюкь-И-Дету, а мать Царицею Чжими. Изъ уваженія къ вамъ, я принимаю послѣднѣе, потому что эти имена гораздо пріятнѣе для слуха...

И что такой за Содаданъ?

А мать-то, что за Махамай?

Но впрочемъ важность небольшая

Узнать, кѣмъ онъ на свѣтъ созданъ.

Главное дѣло въ самомъ Шагя-муни, не правда ли?

Въ какомъ-то усыплении сладкомъ

Царекъ вступилъ на Божій свѣтъ,

И ровно двадцать осемь лѣтъ

Онъ въ немъ повѣсничаль порядкомъ...

Ужъ чѣмъ онъ не былъ окружень?

Чего ему не доставало?

Но даже осемь тысячъ жёнъ

Ему еще казалось мало;

Да! осемь тысячъ! не шутя,

И какъ?.. повѣрите ли? — слишкомъ!..

Меня бъ считать взяла одышка,

А я давно ужъ не дитя.

Другіе Монгольскіе писатели увѣряютъ, что Шагя-муни имѣлъ не 8400 женъ, а 84,000.

Но это черезъ чуръ ужъ много,

Тутъ свестъ концы премудрено,

Къ тому же этакъ лгать грѣшно,

И надо-жъ побояться Бога.

Какъ вздоръ такой нагородить?

Ну посудите же вы сами...

Ахъ, нѣтъ!.. я виноватъ предъ вами:

Объ этомъ вамъ не лъзя судить.

То есть не лъзя потому, что некогда: вамъ надобно теперь потрудиться выслушать одну справку...

Охъ, этѣ справки мнѣ; признаться!

Никакъ, не справлюсь съ ними я!

Къ тому жъ опять, мои друзья,

Ей, ей! не лъзя не удивляться,

Что всѣ справляются какъ я,

А не желаютъ исправляться...

Но, Богъ съ ними!.. поговоримте о справкѣ. — Нѣкоторые изъ восточныхъ писателей передаютъ намъ совѣмъ другія сказанія о первыхъ лѣтахъ жизни Ардашиди (имя данное Шагя-муни при его рожденіи.) Они увѣряютъ, что этотъ прекрасный отрокъ, одаренный тридцатью двумя подобіями красоты и осмидесятью красотами, имѣлъ всѣ возможные душевныя совершенства; что на десятомъ, или на одиннадцатомъ году, онъ решительно заткнулъ запоясь почтеннаго Багу-Бурепа-Бакчи, который былъ сдѣланъ его наставникомъ, и что наконецъ онъ не только ненавидѣлъ многоженство, но черезъ-силу женился и на одной, и

то потому, что для него приискали красавицу-невѣсту, съ тридцатью двумя добродѣтелями.

Ну, если-бъ вздумалось судьбѣ,  
Чтобъ мы въ тотъ вѣкъ существовали, —  
Тогда-бъ не миновать бѣдѣ:  
Всѣ-бъ замыслы Шага пропали!  
Онъ сѣлъ бы у меня на мѣль,  
И чуть бы къ вамъ приволочился,  
Я-бъ вспыхнулъ весь, разгорячился,  
И всѣхъ бы вызвалъ на дуэль.  
Впрочемъ, я не буду говорить ничего болѣе объ этѣхъ  
сказаніяхъ; мнѣ кажется, что одно слово: *муни*,  
то есть: *раскаившійся*, опровергаетъ ихъ (2)... Да!  
вѣрно господинъ Ардашиди пришаливалъ съ мо-  
лода, иначе въ чѣмъ бы ему раскаиваться?.. Ко-  
нечно, нѣтъ правила безъ исключенія...

И вотъ одно по вашей части  
Хоть виноваты только вы,  
Что я отъ васъ безъ головы,  
А я же каюся вамъ въ страсти.  
Но это большая разница... И такъ я стану продолжать,  
слѣдуя первымъ историкамъ.  
Мнѣ должно сказать вамъ, что только одни высокія, ду-  
шевные наслажденія могутъ быть безконечны,  
какъ сама душа;

Но вѣчность — не удѣлъ земли!  
Въ неиспытанной дали —  
Тамъ, за дверями гробовыми,  
Невыразимой красоты  
Восторговъ волны разлиты,  
И духъ нашъ просіяетъ ими.  
А кто за чувственность продалъ  
Высокій подвигъ здѣшной жизни, —  
Тотъ самъ на грудь свою поднялъ  
Кинжалъ позорной укоризны.  
Такъ случилось и съ Шага-муни. На двадцать девятомъ го-  
ду отъ роду онъ сталъ изнегать подъ страшною тя-  
гостію душевной пустоты. Однажды, одинокій,  
вдали отъ своего дворца, онъ погрузился въ  
нѣмое, болезненное уныніе... Сильно страдало его  
сердце отъ убійственныхъ угрызений совести...

Вдругъ дивной радугою свѣше  
Въ нѣмъ лучъ спасенья просвѣтлѣлъ,  
И буря сердца стала тише,  
И онъ таинственно прозрѣлъ.  
Онъ понялъ ясно жизнь земную  
Отъ колыбелей до могилъ,  
И мысль спасенія святую  
Въ себѣ глубоко заронилъ;  
Онъ человѣчество увидѣлъ  
Съ его печальной нищетой,  
И обновленною душой  
Порокъ и зло возненавидѣлъ...  
Ему казалось тогда,  
Что мы подъ четырьмя бѣдами  
Обречены страдать судьбами:  
*Рожденіе* — первая бѣда;  
*Болѣзни* намъ бѣда вторая:  
Какъ сильно мучать насъ онѣ,  
Всю радость жизни отравляя!  
Какъ утомительны тѣ дни,  
Когда въ тоскѣ лежишь на ложѣ  
И ждешь: — вотъ новый день придѣтъ,

Онъ мнѣ отраду принесѣтъ;  
Приходитъ завтра — снова то-же!..  
Ты просишь смерти — смерти нѣтъ!  
Еще не всѣ ты зналъ страданья  
Въ тернистомъ полѣ испытанья,  
И *старость*, съ тяжелой ношей лѣтъ,  
Печальная, полу-живая,  
Есть третія бѣда мирская:  
Всѣ дни до гроба сочтены,  
Отверсты въ неизвестность двери,  
И мы, минувшія потери  
Оплакивать осуждены...  
О! если-бъ жизнь возобновилась,  
Чтобъ пережить свой вѣкъ былой!  
Но *смерть* пришла — и надъ тобой  
Бѣда четвертая свершилась.  
Такъ думалъ Шага-муни, не озаренный, какъ мы, высо-  
кимъ духовнымъ свѣтомъ, и потому *рожденіе*,  
*болѣзни*, *старость* и *смерть* онъ называлъ четырь-  
мя бѣдственными истинами. Увидѣвъ во всей  
ужасной се наготѣ ту бездну разврата, въ которой  
онъ погибалъ, онъ оставилъ свой дворецъ и на-  
всегда обрѣкъ себя затворничеству. Изнуряя  
тѣло, онъ провѣлъ въ пустынѣ остальную часть  
жизни своей, какъ образецъ добродѣтели. Въ это  
время онъ составилъ главныя правила своего  
ученія, которыя въ послѣдствіи пространно из-  
ложены пятью его учениками въ ста осьми кни-  
гахъ Ганжура; то есть: словеснаго ученія, называе-  
мого *опорою вѣры*. Тогда-же учредилъ онъ ре-  
лигіозные обряды, и наконецъ ввѣлъ то богослу-  
женіе, которое и теперь оглашаетъ храмы Сѣвер-  
ной Индіи, Тибета и Монголіи; которое приняли  
многія орды Калмыцкія и За-Байкальски Буряты.  
Ламы суть жрецы и учителя Шага-мунизма.  
2134-ый годъ до Рождества Христова есть годъ смерти  
Шага-муни, и начало эры его послѣдователей, а  
потому нашъ настоящій 1833-й годъ считается у  
нихъ 3967-ымъ.  
Вотъ вамъ, прелестная Катинька, въ короткихъ сло-  
вахъ все то, что только говорили о Шага-муни  
его историки.

Не поминайте лихомъ вы  
Его истлѣвшей головы.  
Сначала онъ шалилъ, нѣтъ спору,  
За то вы видѣли потомъ,  
Какъ развязался онъ съ грѣхомъ,  
И какъ остепенился впору;  
Но, впрочемъ, кто-же, кромѣ васъ,  
Хоть раза два, хоть только разъ,  
А чѣмъ нибудь да не былъ грѣшенъ?  
Кому-же мишурой своей  
Не ослѣплялъ сей міръ очей?  
Кто не былъ въ суету замѣшанъ?  
И всѣмъ ли счастье, какъ мнѣ?  
Я васъ нашѣлъ въ толпѣ народной, —  
И быстро, думой благородной,  
Отъ зла вознесся къ вышинѣ...  
Такъ не судите-же вы строго,  
Что грѣшными земля полна:  
Такихъ какъ вы, ей, ей! одна,  
А интересныхъ — очень много!

## РАЗСКАЗЪ ТРЕТІЙ

*Вниманья, Катинька! вниманья!  
— «Его-то и не вѣдѣть вамъ», —  
Хоть не ко мнѣ; къ моимъ словамъ:  
Вотъ вамъ процессъ міросозданья! (3).*

## РАЗСКАЗЪ ТРЕТІЙ

«Сначала былъ хаосъ». — Смѣлѣе!  
Ну, что-жь? сначала былъ хаосъ —  
«Тамъ въ немъ движенье родилось»...  
— А это что за ахинея?  
Однако-жь дальше, продолжай!  
«И то начальное движенье  
Произошло отъ дуновенья...»  
Ты не хлебнулъли черезъ край?  
Такъ разговаривалъ я не очень давно съ однимъ Забай-  
кальскимъ Ламою, моимъ хорошимъ пріятелемъ.  
Человѣкъ онъ кажется дѣльный и начитанный,  
А какъ забывчивъ, думалъ я,  
И что-же вышло на повѣрку? —  
Что намъ другихъ судить не лъзя  
На нашу собственную мѣрку...  
Онъ очень хорошо помнилъ наизусть свое Шагя-  
мунианское писаніе. Теперь, когда я навелъ справ-  
ку объ этомъ предметѣ въ моей драгоцѣнной те-  
традкѣ, я увидѣлъ, что и въ ней ни дать, ни  
взять, то-же самое; и такъ я продолжаю за него.  
Отъ движенія дуновенья составилось  
облако; изъ облака родились воды,  
Потомъ изъ водъ — земля и камень;  
Потомъ отъ тренья сихъ началъ  
Во тѣмѣ хаоса просіялъ  
Неугасимый, яркій пламень.  
Наконецъ, то-ли изъ грубаго вещества, то-ли изъ пѣны,  
какъ говорятъ иные, составила величайшая го-  
ра Сюммеръ. Она видна только до половины, но  
и этого довольно съ насъ грѣшныхъ. Вообразите  
себѣ, что отъ поверхности воды до вершины  
этой горы, Монголы считаютъ ровно 64000  
верстъ... *Дистанція огромнаго размѣра!* сказалъ бы  
почтенный Скалозубъ, если-бы ему удалось насъ  
подслушать. Другая половина Сюммера находит-  
ся въ водѣ и лежитъ своимъ основаніемъ на не-  
объятной златоцвѣтной черепахѣ.  
Въ то-же время около Сюммера образовались четыре  
великихъ міра: одинъ на Сѣверѣ, другой на  
Югѣ, третій на Западѣ, и четвертый, разумѣет-  
ся, на Востокѣ.»... — «Скажите-же мнѣ, гос-  
подинъ расказчикъ, который изъ нихъ наша зем-  
ля, какъ её зовутъ по Монгольски, и въ которой  
она сторонѣ? да только, пожалуйста, по короче!»  
— Ахъ! прелестная Катинька,  
Какъ въ васъ порывисты желанья!  
Какъ о землѣ сказать вамъ вдругъ,  
Что Самбу-Тибъ ея названье  
И что лежитъ она на Югѣ?  
Согласитесь, что это довольно трудно; но передъ вами  
уничтожаются всѣ препятствія... Вамъ стоитъ за-  
хотѣть, попросить...  
Нѣтъ! вы приказывайте смѣло!  
И вотъ, — для пробы хоть одной,  
Скажите мнѣ: «Будь мужъ ты мой». —

И тотчасъ будетъ въ шляпѣ дѣло.  
Однако-жь, послѣ такой волшебной силы вашихъ  
словъ, мнѣ какъ-то невольнo хочется  
Поразспросить васъ кой о чѣмъ...  
Пусть мы, на этой грязной глыбѣ,  
За грѣшныя дѣла живемъ;  
Но вы зачѣмъ на Самбу-Тибѣ?  
Для васъ-бы могъ Шагя-муни  
Отвѣсть на Сюммерѣ квартиру,  
Гдѣ-бы, блистая, ваши дни  
Текли какъ звѣзды по эфиру;  
Васъ освѣняль-бы вѣчный свѣтъ,  
Вы-бъ наслажденьями дышали,  
И только ими, числа лѣтъ  
Въ прелестной думѣ повѣряли.  
Порой, быть можетъ, съ той горы,  
Взглянувъ на грѣшниковъ съ участіемъ,  
Вы-бъ насъ знакомили со счастьемъ...  
А!.. понимаю: — Вы добры!  
Вамъ стало жалко насъ страдальцевъ,  
О нашемъ благѣ вы пеклись,  
И изъ далѣка принеслись  
Земныхъ утешить постояльцевъ.  
Но вы можетъ быть спросите меня о фигурѣ нашего  
Самбу-Тибѣ? Или вы можетъ быть скажете: «Да  
это ужъ извѣстно, что онъ шарообразенъ, что  
онъ сжатъ у Полюсовъ и возвышенъ подъ Эквато-  
ромъ.» — Заблужденіе, прелестная Катинька!..  
Весь нашъ ученый міръ въ страшномъ заблуж-  
деніи... Какіе тутъ Полюсы? и что такой за Эква-  
торъ?.. Земля наша есть просто треугольникъ...  
Вы не вѣрите? Такъ загляните-же въ любую мифо-  
логическую Монгольскую книгу, и вы увидите,  
что это самая непокосновенная истина...

Я думаю, когда Шагя-муни  
Открылъ, что міръ нашъ треуголенъ,  
Навѣрно сряду онъ три дни  
Собой ужасно былъ доволенъ.  
Да, разсудя по моему,  
Съ нимъ не могло и быть иначе:  
Онъ слѣпо ввѣрился уму —  
Такъ стало вѣроваль удачѣ.  
Но въ сторону сомнѣнія: это статья уже рѣшенная.  
Всѣмъ извѣстно, что по срединѣ вселенной на-  
ходится высочайшая гора Сюммеръ; что на Югѣ  
отъ нея лежитъ нашъ треугольный Самбу-Тибъ;  
на Востокъ круглый Улюмчжи-Біиту — Тибъ, то  
есть *земля прекрасныхъ лицъ*.  
Ужъ вы, мой Ангель, на Самбу  
Не гостя-ли съ Біита-Тибѣ!  
Тогда, благодаря судьбу,  
Я-бъ ей сказалъ за васъ спасибо...  
Вотъ хорошо!.. Я и забылъ,  
Что люди тамъ аршиновъ въ осемь;  
Ай, да Шагя! покорно просимъ,  
Какъ онъ ихъ ростомъ наградил!..  
На Западѣ отъ Сюммера, третій міръ, имѣющій видъ  
полумѣсяца, называется: Укэръ-Эддекчи-Тибъ,  
то есть: *земля привольная для розатаго скота*.  
Что если, Господи прости!  
Шагя придумаль, для примѣра,  
На тучныхъ пастбищахъ Укэра

Всѣ лбы рогатые пасти?  
Тогда, по смерти, безъ сомненья,  
Какъ многихъ не увижу я  
Изъ васъ, знакомцы и друзья,  
Чуть самъ умру безъ украшенья.  
Квадратный Модушу-Тибъ есть четвертый міръ, находящийся на Сѣверѣ. Здѣсь, и по сію пору тридцати-двухъ аршинные великаны живутъ по десяти столѣтій. Вотъ жизнь — такъ жизнь!

Наконецъ я вамъ долженъ сказать, что у каждаго изъ этихъ четырехъ главныхъ Тибовъ, есть по два маленькихъ спутника; стало быть вся система состоитъ изъ двѣнадцати разнокалиберныхъ міровъ... Люблю за это: и уютно, и покойно!.. Однакожь, вѣрно Шагя-муни думаль и о потомствѣ: онъ разлилъ вокругъ Сюммера четыре океана: къ Сѣверу желтый, къ Югу синій, къ Востоку бѣлый и къ Западу красный. Такимъ образомъ,

Создавши новую природу,  
Чтобъ избѣжать проверки словъ, —  
Онъ всѣ в концы своихъ міровъ  
Благополучно спряталъ въ воду.  
Окружность вселенной простирается до 30,000,000 верствъ, разумѣется, выключая солнце, луну и звѣзды, которыя сотворены послѣ и то по особенному случаю; я вамъ расскажу объ немъ въ другое время, а теперь поговоримте о Сюммерѣ.  
На нижней полосѣ этой горы живутъ злые духи. Они... но вамъ страшно Катинька? — Подыдемся на середину... Видите-ли вы Ассири?.. Это существа среднія между человѣкомъ и демономъ, то есть они сбиваютъ и на того; и на другого.... Однакожь, посмотрите... проклятыя начинаютъ волочиться за вами, — полетимте, пожалуйста, на верхъ... Какъ тутъ все хорошо! Какое разнообразіе въ великолѣпіи и красотахъ! Какія необъятныя, блистательныя картины!.. Мнѣ чрезвычайно пріятно, что все это такъ занимаетъ васъ...

Прекрасное во всемъ любя,  
Вы рады каждой здѣсь бездѣлкѣ:  
Вы здѣсь какъ дома у себя,  
А я такъ не въ своей тарелкѣ;  
Въ странѣ невыразимыхъ благъ,  
Вездѣ вамъ ровная дорога;  
Я спотыкаюсь каждый шагъ —  
Мнѣ какъ-то совѣстно не много...  
Въ этакомъ случаѣ всего лучше смотрѣть вверхъ, будто чему-то удивляешься... а чему тутъ удивляться?

Есть-ли у васъ, мой прелестный ангелъ, какая нибудь любимая звѣздочка?.. Вѣрно есть!.. Это и въ модѣ, и къ тому-же, не знаю отъ чего, всегда, какъ только увидишь её, на сердцѣ делается такъ тепло, такъ весело!.. Намъ надобно еще взглянуть на самую вершину Сюммера, и потому потрудитесь вообразить, что вы отыскиваете свѣтлую свою любимицу...

Закиньте вверхъ свою головку...  
Какъ вы въ приѣмахъ хороши!  
Но мнѣ васъ жалко отъ души;  
Вамъ этакъ, можетъ быть, не ловко?  
— «Нѣтъ, ничего». — Я очень радъ!  
Взгляните-же, какъ онъ парадень;

Ну, что? каковъ собой ва взглядь?  
— «Изрядень». — Только что изрядень?  
Странно!.. Такъ вамъ не понравился Шагя-муни?.. Боже мой! вѣдь я и позабылъ, что онъ передъ смертію постился пятьдесятъ два года: до красоты-ли тутъ?

Да! не воротится она,  
Хоть онъ и сѣлъ на пышномъ тронѣ;  
За то, какъ будто на ладонѣ  
Ему вселенная видна.  
Оттуда судить онъ и рядить  
Своихъ Монголовъ и Бурятъ,  
И около себя сподрядъ  
За выслугу и службу садить,  
— «По этому у него можно выслуживаться?» — По этому можно; только я никакъ не могу говорить обо всемъ въ одно и то же время... Сперва узнайте понятия Монгольцовъ о *минувшемъ и будущемъ*, относительно природы.

Если міры когда-то составились, говорятъ Шагя-мунианскіе мудрецы, то они непременно должны когда нибудь и разрушиться. Все что имѣетъ начало, имѣетъ и конецъ... Дѣло!.. Но этотъ неизбѣжный, бедственный случай, рассказанъ у нихъ еще замысловатѣе, нежели процессъ созданія.

Вотъ какъ случится это чудо:  
Неведомо когда, откуда,  
За чѣмъ, и почему, и какъ,  
Вдругъ солнце, (сверху безъ сомнѣнья,)  
Какъ злобный демонъ разрушенья,  
На всѣ міры, съ размаха — брякъ!  
— «Они и разлетятся стало?» —  
Нѣтъ, одного толчка имъ мало,  
Имъ такъ достанется, что страхъ,  
За то, что крѣпки на ногахъ.  
Послѣ этого перваго солнца упадетъ другое по больше, тамъ третье еще больше; наконецъ седьмое доконаетъ вселенную.

Другіе рассказываютъ объ этомъ происшествіи совершенно иначе.

Они, въ острастку для народа,  
Безъ умолку твердятъ ему,  
Что онъ по сердцу и уму  
Все будетъ хуже годъ отъ года;  
Что ждетъ его конецъ одинъ;  
Что онъ и ростомъ меньше станеть,  
И хорошо, когда дотянетъ,  
Чтобъ быть ему хотя съ аршинъ.  
А жизнь? — умора да и только!  
Какъ десять лѣтъ?.. Вѣдь курамъ смѣхъ!  
Хоть-бы прибавили для всѣхъ  
Еще-бы столько, да полстолько;  
И что потомъ, какъ родъ людской  
Дойдетъ совсѣмъ до развращенья,  
Тогда, предтечей разрушенья,  
Прольѣтся голодь надъ землѣй.  
Семь лѣтъ продлится испытанье,  
Потомъ — въ послѣдніе семь дней,  
Слетятъ на землю семь мечей, —  
И все живущее созданье,  
И весь людской грѣховной родъ,  
Подъ этой казнію умретъ.

На каждомъ изъ опустошенныхъ міровъ останется только по одному добродѣтельному семейству. По окончаніи кутерьмы, они выйдутъ на бѣлый свѣтъ, и станутъ себѣ жить, да поживать, Лѣта ихъ жизни будутъ постепенно увеличиваться, потомъ опять уменьшаться, и наконецъ снова та-же исторія. Весь этотъ промежутокъ отъ одного разрушенія до другаго называется Гал-абъ; пятьдесятъ шесть Гал-абовъ составляютъ Гал-абъ-эрчиху, то есть всеобщее разрушеніе самыхъ міровъ.

На ряду съ подобными гипотезами, вы встрѣтите у нихъ понятія о безначальности и безконечности; но этого еще мало. Въ слѣдующемъ предположеніи они развиваютъ идею, что въ пространствѣ не можетъ быть пустоты. Какъ созданіе существующихъ нынѣ міровъ было не первое, то и разрушеніе ихъ будетъ не последнее: въ цѣлой бѣзконечности одно станетъ замѣняться другимъ. Затѣйливо сказано, но впрочемъ

Я эту мысль не принимаю,

Она — нелѣпая мечта.

И я, по опыту я знаю,

Что есть *въ пространствѣ пустота*:

Въ немъ важно мѣсто занимаю,

Торчитъ иная голова,

И умной кажется сперва,

А вѣдь какая ужъ *пустая*.

Во всемъ собаку съѣлъ иной,

А смотришь — сохнетъ и худѣетъ,

За тѣмъ, что съ полной головой,

*Пустой* желудокъ онъ имѣетъ.

Иной вездѣ нашель обманъ,

Не удается все иному,

И онъ хлопочетъ *по пустому*

За тѣмъ, что *пустъ* его карманъ.

Да! Странно племя все людское!

Нашъ путь житейскій страхъ смѣшонъ!

Какъ ни смотри, со всѣхъ сторонъ —

Льютъ изъ *порожнаго* въ *пустое*.

Станемте продолжать. Послѣ великой мысли о возобновленіи міровъ... Какъ вы думаете, что вы найдете послѣ этой мысли?.. Что вмѣстѣ съ мірами будутъ перемѣняться и боги... О Шагя-муни! Шагя-муни!

Твоя система управленья

Въ накладъ товарищамъ твоимъ,

И послѣ свѣтапреставленья

Гдѣ дашь ты мѣсто отставнымъ?

Но это ужъ его дѣло, а мнѣ остается только сказать вамъ, что въ слѣдствіе такого порядка вещей, и самые Верховные Существа, судя по времени, имѣютъ особенныя названія. Такимъ образомъ всѣ боги, которые управляли мірами, существовавшими прежде, называются: О-ме-то-фо; то, которое управляетъ нынѣшними — есть: Ши-кеа-фо; а всѣ тѣ божества, которыя будутъ владычествовать надъ новыми вселенными, называются теперь Ме-ли-фо.

Въ настоящее время Шагя-муни, какъ Ши-ка-фо нашей вселенной, сосредоточивъ въ себѣ всю возможность власти общаго управленія надъ существующими теперь мірами, пріятельски подѣлялся съ другими Бурханами, относительно частей. Такъ, напри-мѣръ Бурхану Мандари и будущему

преемнику его Мандзошири, онъ препоручилъ наблюдать, чтобы въ мірѣ шло своимъ порядкомъ: Бурханъ Хурмуста долженъ хлопотать о благѣ всѣхъ тварей; грѣшники сдаются на руки Эрлыкъ-Номунъ-Хану; Очирбани завѣдываетъ бурями, мятелями, ураганами и т.д.

У Бурхановъ, которые начальствуютъ надъ водою во всѣхъ возможныхъ ея измѣненіяхъ, состоятъ въ распоряженіи ужасные драконы, Отъ нечего — дѣлать водяные цари позволяютъ имъ гулять по поднебесью: тутъ-то пиръ горой!.. Эти чудовища летаютъ такъ быстро, что слѣдомъ за ними вспыхиваетъ огонь, а намъ кажется, что это зарница или молнія;

Когда-же, разыгравшись часомъ,

Въ потьмахъ, разгульи дождевомъ,

Они *ау* затянутъ басомъ —

Мы думаемъ, что это громъ.

Дно океана есть зимняя квартира этихъ чудовищъ. Благополучно царствующіе нынѣ Богдо-Ханы Манжуйской, Данчинской (т.е. воинственной) династїи, признали изображеніе ихъ своимъ гербомъ.

Адъ...

Ахъ, Боже мой! да что за чудо!

Со мной всегда одно и тожь:

Опять проклятая простуда, —

Вотъ такъ и пронимаетъ дрожь!

— «Да вы не ада-ли боитесь?» —

Нѣтъ! что вы?.. Боже сохрани!

Но, видите-ль какіе дни.

Такъ я, ужъ вы не осердитесь,

Здоровье черезъ чуръ любя,

Я плащъ накину на себя.

И такъ адъ, или царство Таму, раздѣляется по мнѣнію послѣдователей Шагя-мунизма на 16 отдѣленій.

Такъ, напри-мѣръ, у нихъ въ одномъ

Согрѣютъ грѣшниковъ огнемъ;

Въ другомъ морозомъ ихъ прошколятъ;

А тамъ, отъ скуки, попилятъ;

А тамъ хоть радъ, или нерадъ —

Держать діету приневолятъ.

И такъ далѣе...

Но кто-жъ придумаль, наконецъ,

Шестнадцать этихъ отдѣленій? —

Онъ вѣрно былъ въ добрѣ — глупецъ,

А въ злости — превосходный геній.

Тамъ-то Эрлыкъ-Номунъ-Ханъ покажетъ себя! Главное, онъ озаботится тѣмъ, чтобы грѣшныя Монголы раскаялись въ прежнихъ своихъ проказахъ; но я бы сказала этому Эрлыку Номуну-Хану:

«Послушай, мой почтенный князь,

Твоихъ трудовъ мнѣ право жалко;

Я что-то не слыхаль родясь,

Чтобъ кто разнѣжилъ подъ палкой.»

У Эрлыка-Номуна-Хана, также какъ и у Плутона, прехорошенькая жена... «Сдѣлайте милость, растолкуйте мнѣ этотъ мифъ.»...

Тутъ я бы могъ кончить мой третій рассказъ, но совѣсть моя заставляетъ меня сдѣлать напередъ поправку въ первомъ. И знаете-ли до кого касается моя ошибка?.. До васъ... Вы удивлены? однако-жъ къ несчастію я говорю правду... Не знаю, чего я долженъ ожидать: гнѣва или милости?.. Я ду-

маю гнѣва... Нѣтъ! вы ангель — и виноватый  
ожидаетъ пощады.

Простите несчастливца вы,  
Онъ васъ слезами умоляетъ,  
А вѣдь повинной головы  
И даже мечъ не отсѣкаетъ...

— «Въ чемъ-же дѣло?» — Вотъ въ чемъ, прелестная  
Катинька; когда говорилъ я на 11 страницѣ о  
вашихъ глазахъ, мнѣ пришло на мысль выразить-  
ся: «я вѣрю этимъ небесамъ!»... Признаюсь, тогда я  
точно твердо былъ увѣренъ, что у васъ голубые  
глаза. Я рассказывалъ всѣмъ знатокамъ, любите-  
лямъ и цѣнителямъ изящнаго, что небесный  
цвѣтъ вашихъ очей, несравненно лучше настоя-  
щаго небеснаго цвѣта

И что-жъ?.. не дальше, какъ вчера,  
Собравшись видѣть васъ съ утра,  
Я ждалъ васъ у священной двери,  
Какъ будто грѣховодникъ Дивъ  
Влюбленный въ миленькую Пери;  
Я былъ тогда ни мертвъ, ни живъ;  
Вдругъ вы въ толпѣ другихъ явились,  
Вашъ взоръ былъ грѣшнику гроза:

Я вспыхнулъ весь, мои глаза  
Къ землѣ невольно опустились;  
Но укрѣпилъ меня мой Богъ:  
Я робость въ сердцѣ перебогъ,  
Таинственно о свѣтлой цѣли  
Какой-то голосъ мнѣ шепнулъ,  
Я прямо въ очи вамъ взглянулъ —  
Они сіяли и чертѣли...  
Взглянулъ — и не видалъ потомъ  
Того, что дѣлалось кругомъ.  
Всѣ эти лица и одежды,  
Вся этой смѣси пестрота,  
Была, какъ темная мечта  
Предъ свѣтлымъ призракомъ надежды;  
Весь этотъ гулъ пустыхъ рѣчей,  
Безцвѣтныхъ, приторныхъ желаній,  
И шумъ привѣтовъ и лобзаній  
Я пренебрѣгъ душой моей.  
Толпа безумно лепетала  
Урокъ приличій заказной,  
И непримѣтно за собой  
Васъ, милый ангель, увлекала.  
Я былъ недвиженъ, я грустил...  
И безотчетливо за вами,  
Своими скорбными очами  
Въ нѣмомъ раздуміи слѣдилъ.  
Вдругъ съ кѣмъ-то вы отъ всѣхъ отстали,  
И очи, полныя огня,  
Вы устремили на меня  
И будто тайну узнавали:  
Скрѣпясь, я чудно устоялъ  
Противъ сего огня святаго,  
Но вы еще взглянули снова

<...>

Видите-ли, прелестная Катинька, какъ затруднительно  
бываетъ мое положеніе, когда я осмѣливаюсь къ  
вамъ приближаться... Видите-ли, что только  
одинъ особенный случай открылъ мнѣ, что у

васъ не голубые, но очаровательные, черные гла-  
за... Между тѣмъ это было четвертое наше сви-  
даніе, что-же могъ я увидѣть въ первые три?.. Я  
такъ неожиданно васъ нашель! я былъ такъ обра-  
дованъ! такъ ослѣпленъ! однимъ словомъ...

На васъ не могъ взглянуть я смѣло,  
Я счелъ, что вижу все во снѣ,  
Да и до глазъ-ли было мнѣ,  
Когда въ моихъ глазахъ темнѣло.  
Не уже ли и послѣ этого вы не простите мнѣ моей  
ошибки?.. Вы прощаете?.. Я въ восхищеніи!.. Од-  
нако-жъ,  
Хоть я смѣюся и шучу,  
Но сквозь мишурность прибаутокъ  
Серьёзно я сказать хочу,  
Что я влюбился въ васъ безъ шутокъ.

#### РАЗСКАЗЪ ЧЕТВЕРТЫЙ

*«Да долго-ли у васъ, скажите,  
«Порожнякомъ мірамъ стоять?»  
— А вотъ я стану, погодите,  
Ихъ помаленьку заселять.»*

#### РАЗСКАЗЪ ЧЕТВЕРТЫЙ

За нѣсколько сотъ тысячъ вѣковъ... «Помилуйте,  
«Вѣдь это ужасъ какъ давно!»  
— По моему, такъ это мало;  
Къ тому-жъ для насъ не все-ль равно:  
Все что прошло — *ниши пропало!*  
И такъ, за нѣсколько сотъ тысячъ вѣковъ прежде, неже-  
ли на Самбу-Тибѣ сталъ существовать грѣшный  
человѣчскій родъ, далеко, далеко отъ насъ, на  
сѣдмьомъ небѣ, жили себѣ припѣваючи без-  
смертные духи Генгери. Никому не извѣстно, ког-  
да, какъ и кѣмъ они созданы, но за то я смѣло мо-  
гу васъ уверить, что блаженство ихъ было неопи-  
санное, потому что его никто не описывалъ. Вотъ  
они жили, жили, наконецъ однимъ изъ нихъ при-  
шла престранная мысль: «Семь подеремся!»...  
Сказано-сдѣлано!.. Началась потасовка то-ли за  
дѣло, то-ли ни за-что-ни про-что, и кончилась  
тѣмъ, что Ассури, какъ побѣжденные, сперва по-  
давай Богъ ноги, а потомъ дали тягу на Сюммеръ,  
и тутъ только спаслись отъ преслѣдованія... Прав-  
да, велика гора Сюммеръ, да и народу-то привали-  
ла бездна, къ тому-же Ассури, хоть и сами собою, а  
все-таки размножились; съ другой стороны опять,  
на свѣтлой вершинѣ Сюммера, какъ на подножіи  
престола великаго Шагя-муни изволили поселить-  
ся блаженные Тенгери, чтобы для вѣса и для боль-  
шей важности окружать своего повелителя; вотъ  
бѣднымъ Ассури сдѣлалось тѣсно и нѣкото-  
рые изъ нихъ стали по маленьку переселяться на  
Самбу-Тибѣ. Здѣсь; по словамъ иныхъ, они назва-  
лись духами Аминами, и съ этихъ-то поръ начина-  
ется рассказъ, который рѣшительно не подвер-  
женъ никакому сомнѣнію. Всѣ послѣдующія со-  
бытія доказаны у Шагя-муніанцовъ вѣрнѣйшими  
историческими актами; тутъ не зачѣмъ ходить  
ощупью: истина ясна, какъ день.

Но напередъ вы знать должны,  
Что по особенной причинѣ,

Въ то время не было въ поминѣ  
 Ни звѣздъ, ни солнца, ни луны.  
 — «Выходить свѣчи подавали;  
 «Не темнѣть-же была у нихъ?» —  
 Конечно! — Но они не знали  
 Заводовъ сальныхъ и свѣчныхъ.  
 — «Такъ вѣрно лѣсу не жалѣли  
 «И жгли огромные костры?  
 «Да что жъ вы, будто, онѣмѣли?  
 «Скажите!.. будьте-же добры!»  
 — У женщинъ вѣчно та же сказка,  
 У нихъ ужъ такъ заведено:  
 Чуть тайна есть, — такъ есть и ласка,  
 Охъ, вы!.. вотъ то-то и оно!..  
 А чтобы приласкать меня прежде?.. тогда бы я просто  
 сказалъ вамъ, что для этихъ Аминовъ не нужно  
 было посторонняго свѣта: они сияли сами и освѣ-  
 щали собою всѣ пространство... Но этого еще ма-  
 ло... вообразите, они летали!.. Какое завидное по-  
 ложеніе!.. Такимъ образомъ, вы можете себѣ  
 представить, прелестная Катинька; что они были,  
 Въ неугасимомъ днѣ безъ ночи,  
 Легки, какъ крылья эфемеръ,  
 Свѣтлы, какъ... что бы напримѣръ?..  
 Ну, напримѣръ, какъ ваши очи!..  
 Видите-ли, какая необъятная бездна свѣта?.. и какого  
 свѣта!..  
 Одна любовь и красота  
 Могла имъ только освѣщаться,  
 И должно, кажется, признаться,  
 Тотъ свѣтъ не нашему чета.  
 И такъ, чтобъ вамъ узнать-бы то-же  
 Сей блескъ духовнаго огня,  
 Вамъ стоитъ полюбить. — «Кого-же?»  
 — Да разумѣется меня!  
 Впрочемъ, съ послѣдняго нашего свиданія, я, по нѣко-  
 торымъ примѣтамъ сужу о васъ совершенно ина-  
 че:  
 Хоть мнѣ и жалко головы,  
 А я свихнусь на этой точкѣ:  
 Мнѣ кажется, что Аминъ вы,  
 Въ земной, прелестной оболочкѣ.  
 Напримѣръ теперь, посмотрите, какъ много волшебст-  
 ва въ этомъ пламенномъ, пронизательномъ  
 взглядѣ, который вы устремили на меня! Посмо-  
 трите мнѣ въ душу..  
 Она открыта передъ вами:  
 Какъ въ ней торжественно свѣтло!  
 Но безнадежности мечтами  
 Сей дивный свѣтъ заволокло..  
 Однако-жъ, другъ мой, ради Бога..  
 — «Вотъ это мило! что за другъ?» —  
 Да опустите вы немного  
 Своихъ рѣсницъ блестящій пухъ;  
 А то ей! ей! собьюсь я съ толку:  
 Монголовъ позабуду я,  
 И все о васъ, звѣзда моя,  
 Твердить я буду безъ умолку.  
 Вотъ такъ!.. очень хорошо!.. прелестно!.. теперь из-  
 вольте слушать.  
 Хотя Амины утратили большую половину первой чистоты своей, первыхъ своихъ наслаждений; но какъ еще много оставалось для нихъ!.. Вѣчная

любовь; вѣчное согласіе; собственный, неугаси-  
 мый свѣтъ; быстрый, легкий, вольный полетъ по  
 всему Самбу-Тибу; сладкая, эфирная пища, и дол-  
 гая, долгая жизнь... А какъ вы думаете, по сколь-  
 ку они живали? — «Я думаю по 1000 лѣтъ.»... — Из-  
 вините меня, прелестная Катинька!.. Амины жи-  
 ли... страшно выговорить... по 80 тысячь лѣтъ.  
 Согласитесь, тутъ было когда пожить...

О! если-бы тогда на свѣтъ  
 Случилось мнѣ и вамъ родиться,  
 Да я-бы сорокъ тысячь лѣтъ  
 Все сталь за вами волочиться.  
 Въ то время, они имѣли еще надежду получить обрат-  
 но прежнее свое блаженство; а какого тягостна-  
 го изгнанія не украситъ надежда?... Проходили  
 сотни тысячь лѣтъ; казалось, что бывое опять  
 начинаетъ вѣять на нихъ своимъ упоеніемъ,  
 вдругъ одинъ изъ духовъ нашель *Шиме*, или *зем-  
 ное масло*, какъ называютъ другіе. (4) Монгольскія  
 книги не говорятъ ни полслова, какимъ обра-  
 зомъ лукавый помогъ ему найти это масло, а по-  
 тому я рѣшительно не знаю,  
 Какъ этотъ плодъ явился чудной,  
 Отсюда близко-ль, далеко;  
 Но что иному очень трудно,  
 То для *нелегкаго* легко.  
 Главное дѣло въ томъ, что духъ нашель запрещенный  
 плодъ; конечно,  
 Найти, оно и ничего-бы,  
 Вѣдь онъ его и не искалъ;  
 Да вотъ въ чемъ Аминъ маху далъ:  
 Онъ скушалъ маслица — для пробы.  
 Ну, разумѣется, послѣ этого онъ тотчасъ озаботился  
 соблазнить родныхъ, товарищей, знакомыхъ — и  
 пошла круговая порука.  
 И что-же вышло напоследокъ? —  
 Что въ нѣсколько печальныхъ дней,  
 Находкой масляной своей  
 Умаслилъ всѣхъ Монгольскій предокъ:  
 Идти — невидно ничего,  
 Летѣть — къ землѣ невольно тянеть,  
 И вѣрно Амина того  
 Никто добромъ не вспомнятъ.  
 Тутъ понадобились и солнце, и луна, и звѣзды, и все это бы-  
 ло тотчасъ же сотворено. Весь Самбу-Тибъ дышалъ  
 новизною: новая жизнь, новыя чувства, новыя на-  
 слаждения; но уже лѣта этой жизни были сочтены въ  
 половину. Впрочемъ и сорокъ тысячь лѣтъ,  
 Хоть передъ вѣчностью ничто,  
 А выжить право не бездѣлка;  
 По крайней мѣрѣ все-жъ не то,  
 Что нынче наша скороспѣлка.  
 Казалось-бы, что на этомъ мѣстѣ должна кончиться  
 вся история: новый порядокъ вещей въ теченіи  
 нѣсколькихъ сотъ вѣковъ по неволѣ сдѣлался  
 старымъ; забывая утраченное, Амины помалень-  
 ку привыкли пользоваться настоящимъ: все шло  
 какъ нельзя лучше. Еще не было словъ: *порокъ*,  
*слабость*, *зло*; добродѣтель царствовала повсюду:  
 она была неизчерпаемымъ родникомъ, изъ кото-  
 раго изливались тихія, чистыя, продолжитель-  
 ныя удовольствія души...

Чего-бы кажется имь надо?  
 Ну жить-бы, жить, да поживать!  
 Так нѣтъ, вот видите-ль, опять...  
 Ей! ей! за нихъ беретъ досада!..  
 — «Да что-жь опять? не ужто плодъ?»  
 — Да что-же иначе быть можетъ?...  
 Какъ жаль, что нашъ грѣховный родъ  
 Всегда завѣтное тревожитъ!..  
 — «Нельзя-ль мнѣ это рассказать!  
 — «Вы потрудитесь?» — Безъ сомнѣнья;  
 Но вамъ чужія прегрѣшенья  
 Пришла-жь охота узнавать!  
 — «Не спорьте!» — Слушаю-сь! — Однажды,  
 (А какъ случилось это зло,  
 До насъ въ разказахъ не дошло.)  
 И такъ, отъ голодалъ, отъ жажды,  
 Какой-то Аминь молодой,  
 Отъ всѣхъ своихъ знакомыхъ тайно  
 Нашель какой-то плодъ случайно,  
 Который назывался: Ой...  
 На всѣмъ пространствѣ Самбу-Тибѣ,  
 Родясь, сладости такой  
 Не ѣлъ мой Аминь удалой —  
 Что въ ротъ — такъ тотчасъ и спасибо!  
 Вотъ онъ поѣлъ немножко, — глядь?  
 Ему чего-то стыдно стало,  
 И хотъ онъ скушалъ очень мало,  
 А вдругъ позыва нѣтъ опять...  
 — «Ахъ это страхъ какъ интересно!» —  
 Вамъ интересно?.. очень радъ!  
 Но я побьюся объ закладъ,  
 Что остальное вамъ извѣстно...  
 — «А кто-жь расскажетъ это мнѣ?» —  
 Да тутъ не надобно разказа;  
 Вѣдь это старая проказа —  
 Такъ и послѣдствія однѣ...  
 Смѣкнувъ тогда, что сдѣлалъ худо,  
 Онъ въ лѣсъ — гдѣ гуще, гдѣ темнѣй,  
 И ну перекликать оттуда  
 По очредно всѣхъ друзей:  
 Сюда! здѣсь ужинъ вамъ богатый!  
 Я вещь чудесную нашёлъ!..  
 И вотъ на зовъ одинъ пришёлъ,  
 Пришёлъ другой, пришёлъ десятый;  
 И нечего таить грѣха,  
 Хотъ и безъ умыслу — а ѣли...  
 — «Что-жь вышло?» — Вышло, что на дѣлѣ  
 Развязка черезъ чуръ плоха...  
 Когда былъ конченъ сытный ужинъ,  
 Тогда узналъ любой изъ нихъ,  
 Что различать примѣты ихъ  
 Не очень зоркій глазъ былъ нужень...  
 — «Мнѣ это что-то мудрено;  
 «Такъ разнища была навѣрно?» —  
 Какъ рассказать-бы вамъ, примѣрно,  
 Не очень ясно, не темно?..  
 Да вотъ положимте, что вы находитесь въ обществѣ дѣву-  
 шекъ и мужчинъ: сперва стали обнимать васъ ваши по-  
 други, потомъ обнялъ я, я, и я, потому что мнѣ не  
 лъзя же позволять, чтобы каждый обнималъ васъ  
 сколько ему угодно... Теперь сравните наши объятія...  
 Нашли-ль вы разнищу? — «Нашла!» —  
 Такъ и для нихъ, за преступленья,

Пора тяжелая пришла  
 Вамъ неизвѣстнаго влеченья...  
 Съ тѣхъ поръ, какъ на Самбу-Тибѣ понадобились  
 мѣстоименія: онъ и она, съ тѣхъ поръ начались  
 всѣ бѣдствія. Жизнь укоротилась въ половину, и  
 потомъ, въ послѣдствіи, стала убавляться посте-  
 пенно...  
 Съ тѣхъ поръ все становилось плоше,  
 На мѣсто правды вкралась ложь.  
 Тогда и самый-то хорошій  
 Не слишкомъ больно былъ хорошъ,  
 Всѣ упадать душою стали,  
 Въ сердцахъ зашевелилось зло,  
 И тутъ-же на бѣду сыскали  
 Еще какой-то плодъ: Сало.  
 Въ этомъ проклятомъ Сало, или Салло, или Салу, за-  
 ключался корень всѣхъ пороковъ, и первое  
 бѣдствіе, постигшее обитателей Самбу-Тибѣ въ  
 несчастное время, было — утрата чистой, духов-  
 ной пищи, эфирное тѣло ихъ сдѣлалось грубымъ  
 и требовало земнаго. Долго употребляли они:  
 Масло, Ой, и Салу...  
 Вдругъ наконецъ одинъ изъ нихъ...  
 — «Не ужто снова напроказилъ?» —  
 Да! онъ остатокъ счастья сглазилъ,  
 За тѣмъ, что ѣлъ плотнѣй другихъ...  
 — «Опять мнѣ новая загадка!» —  
 На этотъ разъ загадки нѣтъ  
 Однажды, сѣвши за обѣдъ,  
 Поѣлъ онъ, знаете-ли, сладко;  
 Ну что-бъ ему потомъ вздремнуть  
 Въ тѣни древеснаго наклона,  
 Или пройтись для моціона,  
 Или заняться чѣмъ нибудь;  
 А онъ — онъ былъ въ большой заботѣ,  
 И запрещеннаго плода  
 Припряталъ къ ужину тогда,  
 Но какъ ошибся онъ въ расчѣтѣ!  
 Такая жадность прогнѣвила судьбу, и уже никто съ  
 тѣхъ поръ не находилъ болѣе на Самбу-Тибѣ ни  
 Сало, ни Оя, ни Масла...  
 Въ такой негданной бѣдѣ  
 Всѣмъ грѣшнымъ было не до шутки,  
 За тѣмъ, что въ потѣ и трудѣ  
 Пришлось кормить свои желудки.  
 Оно-бъ еще въ ворота шло,  
 Когда бы кончилось все этимъ;  
 Но мы тотчасъ другое зло  
 Въ минувшомъ не хотя замѣтимъ.  
 Жадность одного породила порокъ любостыжанія во  
 всѣхъ; впрочемъ порицать этого порока я не хо-  
 чу и не могу, а кто не хочеть и не можетъ, тотъ  
 вѣрно и не станеть.  
 Я самъ въ любостыжаньи грѣшенъ...  
 Положимте, что какъ нибудь,  
 Мой пылъ любви, палящій грудь,  
 У васъ — отвѣтомъ сердца взвѣшенъ;  
 Что мнѣ, какъ счастья звѣзда,  
 Горить въ немъ пламенное: да!  
 Что звукъ тотъ, полный упоенья,  
 Изъ вашихъ устъ я самъ узналъ, —  
 Тогда, не медля ни мгновенья.  
 Я-бъ васъ съ любовію стяжалъ...



Трудовая пища была очень груба. Кто употреблял ее болѣе других, у того непременно портился цвѣтъ лица; кто меньше — у того онъ дышалъ свѣжестію...

Когда, въ какой-то нѣтъ сладкой,  
На вашъ румянецъ засмотрюсь,  
Тогда ему, отъ васъ украдкой,  
Дивлюсь — и все не надивлюсь!  
Мнѣ все сдаётся отъ чего-то,  
Что тутъ должно чему-то быть,  
И что заветное вкусить  
Вамъ не пришла-бъ тогда охота.  
— «Не льстите, господинъ Поэтъ;  
«Хвалить въ глаза — смѣяться значить.»

— Ну, признаюсь, такой отвѣтъ  
Хоть не меня — такъ озадачить!  
Да не уже-ли мнѣ молчать?  
— «Вотъ за глаза, какъ вамъ угодно...»

— Какъ вы сказали безподобно!  
Нельзя прелестнѣе сказать!..  
И точно! я согласенъ съ вами:  
Какъ ни прекрасенъ цвѣтъ ланить,  
Но кто-жъ, и какъ его сравнить  
Съ волшебнѣ-свѣтлыми глазами?..  
И такъ, вашъ нынѣшній приказъ  
Я никогда не позабуду,  
И съ этихъ поръ — при васъ, безъ васъ  
Все за глаза хвалить васъ буду.

Повѣрите-ли вы, прелестная Катинька, что разность въ цвѣтѣ лица породила ужасный грѣхъ гордости?.. Между тѣмъ толки о дѣлежѣ плодородныхъ земель довели къ спорамъ; отъ споровъ дѣло дошло до серьезнаго дѣла, то есть до драки; а ужъ отъ драки великъ-ли переходъ до смертоубійства?.. Наконецъ вѣнцомъ всего зла была ядовитая зависть: чужой успѣхъ, чужой урожай, чужія выгоды — и грызли, и томили ненасытныхъ.

Къ счастью всѣхъ обитателей Самбу-Тибя, явился тогда между ними: *нѣкто*, который чудесно сберегъ въ душѣ своей всю красоту непорочности и правды... Прекрасная, величественная наружность; тонкій, пронизательный, глубокомысленный умъ; мягкій и кроткій нравъ; — однимъ словомъ все давало ему пальму первенства между Монгольскими предками. Онъ сталъ всеобщимъ судьей — и судъ его почитался священнымъ. Его любовь, его уваженіе, были высочайшею наградою добродѣтельныхъ и справедливыхъ; но за то какъ жестоко наказывалъ онъ порочныхъ, — онъ ихъ презиралъ!.. Мнѣ кажется, что для чловека, который мыслить и чувствуетъ, не можетъ быть ничего ужаснѣе презрѣнія.

Жѣлая отворотить и на будущее время безпорядки и ссоры, онъ надѣлилъ каждого равнымъ участкомъ земли. Всѣ были довольны — и благодарность поднесла ему титулъ: Князя всѣхъ духовъ... Но вы можетъ быть захотите знать имя того,

Кого всѣ въ мірѣ уважали,  
Кто былъ преступниковъ гроза?  
Его по Эйнеткекски звали:  
Ма-ха-самада-Рануза...  
Мнѣ должно-бы сказать: Рануза,  
Чтобъ удареніе сберечь;

Но орифмованная рѣчь  
Подъ часъ тяжелая обуза.  
Вы вѣрно знаете, что Индія и Эйнеткекъ — одно и то-же.  
Теперь потрудитесь выговорить Тибетское названіе то-го-же самага Князя...

Оно конечно трудновато  
Сказать: Мангбай-Кгурби-Джалбу;  
Но вы пѣняйте на судьбу,  
А я ужъ тутъ невиноватой.

Мнѣ сказывали, будто по нашему, по Русски, это значить: всѣми избранный царь; впрочемъ я не ручаюсь за вѣрность перевода... И такъ, прелестная Катинька, вотъ гдѣ начало властей. — Тотъ Джалбу, или Рануза, титуловался священнымъ именемъ: Великаго обладателя вселенной. Подданные и потомки его стали называться: чловеками.

Я не сказалъ: людьми, за тѣмъ,  
Что въ люди не выходятъ скоро;  
И потому, что въ свѣтѣ семь,  
Всѣ эти выскочки — умора!

Мнѣ-бы очень пріятно было бесѣдовать съ вами; но сами посудите: возможно-ли это?.. Мой эстетической сосѣдъ держитъ, вѣроятно для голоса, какъ вы думаете кого? — безхвостаго павлина!

Однако-жъ во всякомъ худѣ есть добро, какъ вы это сами видите... Прежде, я былъ не въ состояніи постигнуть, что-бы могло заставить слить въ одну идею и ужасъ и хорошее; теперь,

Понятна эта мнѣ причина;  
Я глубоко въ нее проникъ,  
Когда услышалъ крикъ павлина:  
Вотъ крикъ — такъ настоящий крикъ!  
Прошу тутъ выразиться просто?  
Что этой рѣчью объяснишь?  
Невольно скажешь: ты безхвостой  
Ужасно хорошо кричишь!..  
Но онъ часъ отъ часу сильнѣе;  
Ахъ! отодвиньте дальше стулъ;  
Закройте уши по скорѣе;  
Закрыли?.. Рѣжутъ!.. Карауль!..

## РАЗСКАЗЪ ПЯТЫЙ

*Ухъ!.. какъ гора свалилась с плечь!  
На нашей сторонѣ побѣда!..  
Однакожъ надо подстеречь  
Ужо затѣйника — сосѣда!..*

## РАЗСКАЗЪ ПЯТЫЙ

«Здоровы ль вы?» — Все слава Богу!  
— «Да чтожъ у васъ за эпиграфъ?» —  
А вотъ я буду тотчасъ правъ,  
Какъ расскажу все по немногу.  
Сбылся, сбился мой сладкій сонъ!  
Не даромъ онъ три noci снился:  
Я отъ павлина открестился,  
Да, тотъ варваръ — подаренъ!  
— «Павлинъ?.. вы шутите?.. кому-же?»  
— Сосѣдъ невѣстѣ подарилъ;  
Вотъ, признаюсь, разодолжилъ!  
Я весель за нее и вчужѣ.  
Такимъ образомъ мой эпиграфъ есть порывъ неукротимой радости, и какъ не радоваться, когда всѣ до-

вольны?.. Состѣдъ — изобрѣтательностию въ сюр-  
призахъ; невѣста — подаркомъ, а я... мнѣ кажет-  
ся я довольнѣе всѣхъ.

Теперь могу я на просторѣ  
Разсказъ мой снова продолжать,  
А тамъ павлинь изволь кричать:  
Я въ сторонѣ... мнѣ что за горе?

Шагя-мунианцы признають, что душа безсмертна, но  
какъ они признають это?.. Не по убѣжденію  
просвѣщенной вѣры, какъ мы, а по внушенію  
невѣжественнаго суевѣрія, какъ многіе. Высокая  
мысль о жизни въ безконечности искажена у  
нихъ всегдашнимъ соединеніемъ души и матеріи.  
Они ни какъ не могутъ различить безсмертнаго  
духа разумѣнія, которой проявленъ только въ од-  
номъ человѣкѣ отъ неистощимаго духа жизни,  
который, подъ всѣми возможными формами,  
такъ блистательно проявляется въ природѣ; од-  
нимъ словомъ — они вѣрятъ переселенію душъ.

Однако-же, по ихъ мнѣнію, самую высочайшею награ-  
дою добродетели будетъ степень праведнаго или  
бурхана, которую они получаютъ на томъ свѣтѣ. —  
«Такъ Бурханъ, значитъ праведный?» — Извини-  
те меня! вы не отгадали!.. Бур, есть сокращеніе  
слова: Буринъ, т.е. всецѣлый, (какъ вы) совер-  
шенный, (какъ вы) безъ недостатковъ, (какъ вы);  
а слова Ханъ, по нашему — Царь. Стало бытъ Бур-  
ханъ значитъ: всесовершенный Царь. Мнѣ-бы  
хотѣлось впрочемъ привести къ вамъ любого  
изъ этихъ фениксовъ: я бы посмотрѣлъ тогда,  
какъ-бы онъ началъ сравнивать свои совершенст-  
ва съ вашими, и Боже его сохрани, если-бы онъ,  
какънибудь зазнавшись,

Разсказывать мнѣ важно стало,  
Что онъ и передъ вами: *буринъ*,  
Тогда-бы я ему сказалъ,  
Да ты, голубчикъ, просто: *дуренъ!*

Впрочемъ, многимъ-ли удастся попасть въ Бурханы? —  
У многихъ-ли формуляръ души такъ чистъ, какъ у  
васъ? — Потому-то Шагя-мунианцы и вѣруютъ въ  
постепенность наградъ и въ постепенность нака-  
заній. Напримѣръ: богатый повѣса можетъ пере-  
родиться въ страдальца нищаго, надутый вельмо-  
жа, (прошу его не прогнѣваться,) — въ осла; ка-  
койнибудь хвастунъ — въ зайца, какаянибудь чо-  
порная болтуня — въ дворняшку и т.д. Если-бы,  
паче чаянія, дѣло дошло до меня, то я желалъ-бы  
въ особенности избѣгнуть только двухъ вещей:

Чтобы не быть мнѣ въ жизни новой  
Слугой покорнымъ дурака,  
Да лошадыю еще почтовой  
У разбитнаго ямщика.

Въ разсужденіи наградъ низшаго достоинства, у нихъ  
почти та-же самая исторія: безобразный можетъ  
переродиться въ красавца; человѣкъ мѣлкій — въ  
крупнаго; человѣкъ недостаточный — въ богача.

Но тѣмъ, кто всѣ на свѣтѣ дни  
Провель, какъ слѣдуетъ, въ законѣ,  
Для тѣхъ въ Амголонту — Оронѣ (5)  
Набралъ чудесъ Шагя-муни;  
Тамъ вся возможность наслажденья;  
Тамъ рай, и не одинъ — а пять,  
И я объ нихъ безъ замедленья

Могу теперь-же разсказать...

Главнѣйшій рай есть: Сукувада,  
(Такъ ужъ назначила судьба,)  
И тамъ, очей и душъ отрада,  
Сидитъ Бурханъ: Абидаба.  
Въ другихъ владѣютъ Аичжиба,  
Берозана, Раднасамбава,  
И въ пятомъ Амуги Свдиджъ:  
Ну ужъ фамильи! что за дичь!  
Насилу выговоришь право!  
За то ужъ въ райскихъ сторонахъ,  
Что за мѣста предорогія!  
Тамъ на серебряныхъ древахъ  
Развились вѣтви золотыя,  
И ярко свѣтятся на нихъ  
Плоды изъ камней дорогихъ;  
Тамъ нѣту мрака и тумана;  
Тамъ благовонно и свѣтло,  
И дивно тамъ струи Аршана (6)  
Горятъ и блещутъ какъ стекло!

Однако-жь позвольте перемѣнить матерію, а то у меня  
только по напрасну разгораются зубы.

Я недавно говорилъ о перерожденіяхъ. Признаться-ли  
вамъ, прелестная Катинька, что этѣ Мон-  
гольскія бредни нравятся мнѣ чрезвычайно. —  
«Отъ чего-же?» — Отъ того что не дальше, какъ  
со мной случилось недавно то-же самое. — «Что  
вы говорите?..» вотъ прелюбопытная вещь! Раз-  
сказывайте-же пожалуйста, я васъ слушаю.» — Я  
готовъ, но чуръ прежде согласиться на одно ус-  
ловіе, — «Боже мой! какъ это скучно!... говорите!»  
— Если какойнибудь злой человѣкъ, желая поссо-  
рить насъ, вздумаетъ вамъ шепнуть, что это об-  
стоятельство случилось со мною давно, и что я  
де разсказывалъ объ немъ прежде, такъ вы не  
вѣрите Бога ради этому злему человѣку. Вы, зна-  
ете, притворитесь что вы разсердились; взгляни-  
те на него по серьзѣнѣ — н онъ вѣрно будетъ  
нѣмъ, какъ рыба. Потрудитесь на всякій случай  
повторить эту сцену.

Нахмурьте личико для пробы...  
Вотъ такъ его!.. вишь онъ какой!..  
Однако-жь, милый ангель мой,  
Нельзя-ль сердитѣй быть еще-бы;  
А то въ лицо вамъ посмотрѣвъ,  
Я будто съ рѣвности тоскую;  
За тѣмъ, что этотъ милый гнѣвъ  
Ну такъ и манитъ къ поцѣлуу.  
Теперь когда все такъ тонко предусмотрѣно, все такъ  
мастерски придумано, — теперь я могу начать...

## I

Не видали-ль вы прелестная.  
Не видали ль вы порой,  
Какъ идетъ гроза небесная  
Надъ испуганной землѣй?

Какъ огнемъ опустошенія  
И громовъ своихъ полна,  
В блѣдномъ тусклѣ отдаленія  
Зачерееетъ она?

Все таинственно затихнуло!

Вдруг ударъ в дали гремитъ,  
Вѣтер свистнул, в небѣ вспыхнуло,  
Ливень хлынулъ и шумить...

Подъ грозою дня печальнаго  
Нѣтъ ни тѣней, ни цвѣтовъ,  
Нѣтъ ни близкаго, ни дальнаго,  
Все — какъ сумрачность гробовъ!

Нестерпима казнь ужасная  
Грозныхъ Божіихъ мечей,  
И земля, земля несчастная,  
Ждетъ погибели своей.

Такъ терзали страсти злобныя  
Обожателя мечты,  
И какъ надписи надгробныя  
Мнѣ минувшаго листы!

Все потери! все страданія!  
И, какъ бѣдный, жалкій рабъ  
Ненасытнаго желанія,  
Я былъ немощенъ и слабъ.

В мигъ ужасный пробужденія,  
Цѣпь грѣха я грызъ и рвалъ,  
И опять самозабвенія  
Ядъ губительный глоталъ.

Даже радость и минутную  
Не заманивалъ я въ грудь,  
И бывало, въ душу смутную,  
Я боялся заглянуть.

Гасло на сердцѣ священное  
И высокое въ умѣ,  
Какъ сіянье отдаленное,  
Чуть мелькнувшее во тмѣ.

Зачерствѣли, закалилися  
Чувства въ дикомъ забытїи,  
И бѣдою заклеимилися  
Дни печальные мои.

Иногда мятежъ губительной  
Въ несчастливцѣ затихалъ,  
И надеждою спасительной,  
Я доверчиво дышалъ.

Но надежда не сбывалася,  
И тогда, въ душѣ моей,  
Только снова собиралася  
Буря гибельныхъ страстей.

Такъ подъ дымомъ закрывается  
Свирѣпящій пожаръ,  
Такъ въ затишьи зарождается  
Въ тучахъ бѣдственный ударъ!

## II

Но за чѣмъ души тоскою  
Помрачать вамъ радость дней,  
И агать своихъ очей

Отуманивать слезою?..  
Дѣва! дѣва-красота!  
Предо мной теперъ не вы-ли  
Ароматныя уста  
Будто розу растворили?  
И слышнѣють мнѣ едва  
Ваши сладкія слова;  
Какъ волшебнаго въ нихъ много!  
Не звучать имъ для земли,  
И въ таинственной дали  
Долетятъ они до Бога!  
Тамъ найдется мѣсто имъ:  
Тамъ въ фіалѣ упоенья  
Сбережетъ ихъ отъ забвенья  
Дивно свѣтлый Серафимъ...  
Вижу я какъ съ небесами  
Говорите вы очами, —  
И высокая мечта,  
Будто огонь звѣзды небесной  
Въ нихъ свѣтлѣется чудесно  
Дѣва, дѣва-красота!..  
Но зачѣмъ души тоскою  
Помрачать вамъ радость дней  
И агать своихъ очей  
Отуманивать слезою?..  
Неужель мнѣ доверять  
Нѣтъ чистаго мечтанья,  
Что отраду состраданья  
Могъ я опытомъ узнать?  
Что и мнѣ, и мнѣ мой Боже!  
Ниспослать ты благодать,  
И не стану я на ложѣ  
Ночь безсонную вздыхать?..  
Такъ! я счастливъ!.. этѣ слѣзы  
Изъ потускнвшихъ очей,  
И безъ сладостныхъ рѣчей  
Усть поблекнувшія розы —  
Много, много говорить!  
Я услышалъ откликъ нѣжный —  
И печали безнадежной  
Не придти ко мнѣ назадъ...  
Кто-же мой спаситель милый?  
Кто подвигъ меня собой,  
Какъ волшебною волной,  
На высокой подвигъ силы?  
Кто-же снялъ съ моей главы,  
Безъ презрѣнья, безъ боязни,  
Тернъ колючій строгой казни?..  
Дѣва! — радость! — это вы!

## III

Взгляните, любуйтесь, прелестная дѣва,  
Какъ тучи далеко за горы слились,  
Какъ сладкою тайной наполнилась вьсь!  
Взгляните! любуйтесь! какъ зелень живая  
Раскинулася пышно, листьями играя:  
Живые алмазы на листьяхъ горять,  
И роскошно льется цвѣтовъ аромат!..  
Вгляните на воды! любуйтесь водами!  
Какъ вспѣнили влагу и вѣтръ, и гроза,  
И влага та дышетъ и плещетъ волнами:  
Тамъ съ золотомъ солнца, небесъ бирюза!  
Взгляните на воды! любуйтесь водами!

Какъ свѣтлая пѣна, носясь по зыбямъ,  
 Жемчужной фатою скользить къ берегамъ,  
 И берегъ цѣлуетъ своими устами!..  
 Вотъ сладилась влага и чудно блеститъ:  
 Любуйтесь на этотъ торжественный видъ!  
 Туда, на средину, взвѣсьте мечтою:  
 Взгляните: гдѣ-жъ море? — изчезло оно!  
 И бездна, и небо, — все слилось въ одно,  
 И вѣтъ отвсюду отрадой святою!..  
 Одни мы въ пространствѣ... въ безбрежной дали  
 Отторглись мы съ вами отъ скучной земли!  
 Взгляните-жъ высоко, на яхонтъ эфира:  
 Вы видите-ль чудо?.. любуйтесь имъ!  
 То знаменье блещетъ небеснаго мира,  
 То неба улыбка на радость земнымъ!..  
 Дуги семицвѣтной священно сіянье:  
 Въ немъ вѣра въ спасенье для грѣшныхъ слита,  
 И мнѣ какъ-то въ душу запало мечтанье,  
 Что радуга въ небо для добрыхъ врата!..

## IV

Такъ со мною; но сначала  
 Долго былъ страдальцемъ я,  
 И въ страстяхъ душа моя  
 Сиротствуя погибала;  
 Ядовитый гласъ молвы  
 Обличалъ позоръ паденья,  
 Вдругъ, какъ ангель искупленья,  
 Предо мной явились вы!..  
 Нѣтъ!.. кипящими мечтами  
 До того не вознесусь,  
 Чтобъ сказать вамъ про союзъ  
 Со святыми небесами!  
 Нѣтъ! я въ звуки не солью  
 Все, что такъ для сердца мило,  
 Что блаженствомъ озарило  
 Жизнь печальную мою!..  
 Помню, помню я мгновенье:  
 Вы слетѣли, какъ съ небесъ,  
 И во мнѣ порокъ изчезъ  
 Будто злое привидѣнье.  
 Какъ туманы разнеслись  
 Въ сердце чувственности смуты,  
 И страстей презрѣнныхъ пути  
 То слабѣли, то рвались;  
 Отдыхала и свѣтлѣла  
 Изнемогшая душа,  
 И свободою дыша  
 Въ ясныхъ думахъ закипѣла;  
 Духъ восторженный нашѣлъ  
 Пищу дивную высоко,  
 И развѣвъ крылье широко  
 Онъ вознесся, какъ орѣлъ;  
 Отъ священнаго элея.  
 Въ сердцѣ быстро накипъ зла  
 Будто ржавчина сошла,  
 И надежда, сладко вѣя  
 Изъ надзвѣздной высоты,  
 На восторги не земные,  
 Зажигала огневая,  
 Вдохновенныя мечты...  
 Я загладилъ все бывшее  
 Въ очистительномъ огнѣ,

И доступно стало мнѣ  
 Наслажденіе святое:  
 Рай души воскреснулъ вновь,  
 Красотой небесъ сіяя,  
 И какъ радуга цвѣтная  
 Въ немъ затеплилась любовь!..

## V

Взгляните, любуйтесь, прелестная дѣва,  
 Какъ стихнула буря небеснаго гнѣва!..  
 Не вы-ли, не вы-ли страдальца земли  
 Своимъ появленьемъ чудесно спасли?  
 Какъ скоро свершили мое обновенье:  
 Таинственный пламень блестящихъ очей,  
 Гармонія звуковъ волшебныхъ рѣчей,  
 И легкое, дымки ревнивой волненье,  
 И эта улыбка, въ которую слить  
 Улыбки небесной пленительный видъ!..  
 Склоните-жъ, о дѣва! свой взоръ вдохновенный  
 На счастье святое души обновленной;  
 Вы можете взвѣснить прекрасное въ ней:  
 Чиста, непорочна прелестная младость,  
 Какъ мысль вдохновенья, какъ дѣтская радость;  
 Взгляните-жъ мнѣ въ душу душою своей!..  
 Тамъ все, что намъ красить земное изгнанье:  
 Поэзіи пламень, святая любовь,  
 И геній надежды, и геній мечтанья  
 Съ плѣнительной вязью нетлѣнныхъ цвѣтовъ!..

Такъ, прелестная моя спасительница, такъ совершилось мое перерожденіе!.. Я узналъ новую, прекрасную жизнь; но вы, поддержите-ли вы меня на этомъ скользкомъ пути своею любовью?.. Вы вздыхаете... вы не говорите мнѣ ни слова...

И молчанье это я  
 Въ знакъ приму согласія,  
 Но какая-жъ тутъ, друзья,  
 Вышла котовассія!..

Вотъ, видите-ль, въ чемъ дѣло...  
 Когда Поэзіи фіаль  
 Мнѣ подаль Геній вдохновенья,  
 И я, рассказывать вамъ сталъ  
 Про чудеса перерожденья,  
 Про ужасъ гибельной грозы, —  
 Я какъ-то встрѣтилъ очи дѣвы,  
 И что-жъ?.. о выраженья!.. гдѣ вы?..  
 Я видѣлъ тамъ жемчугъ слезы.  
 Какъ я доволенъ былъ собою!  
 Какъ былъ признателенъ къ судьбѣ!  
 И одураченный мечтою,  
 Вотъ я и думаю себѣ:  
 Ага! что значить сила рѣчи!..  
 А это... говорить-ли вамъ?  
 А это нагорѣли свѣчи,  
 Такъ стало тяжело глазамъ...  
 Пора и мнѣ не быть повѣсой,  
 Подумалъ я и снесъ ударъ:  
 Спокойно снялъ себѣ нагаръ,  
 И снова занялся піесой.  
 Читаю, кончилъ наконецъ,  
 Услышалъ вздохъ и жду отвѣта;

Но каково-же для Поэта?  
 Какъ я не умеръ, мой Творецъ?  
 Какъ обмануться такъ позорно?..  
 Я весь въ мечтаньяхъ утонуль,  
 А онъ, мой ангель, онъ — уснуль!  
 Да, онъ уснуль, прошу покорно!..

Можетъ быть иной скажетъ, что въ этомъ разказѣ  
 чрезвычайно мало ориентализма; какъ быть! я-бы  
 и готовъ продолжать, но сами посудите, можно-  
 ли потревожить прелестную Катиньку?.. Разой-  
 демте-сь-ка лучше господа! меня и самого что-то  
 клонить ко сну...

Послушай, Моисей! погаси-ка свѣчку, да пожалуйста не  
 стучи, какъ лошадь: ты этакъ разбудишь мою Ка-  
 тиньку. — «Какую, сударь, Катиньку? здѣсь кажет-  
 ся никого не видно.» — Глупецъ! развѣ ты не слы-  
 шаль ея гармоническаго голоса?..

— «Да голосъ вашъ совсѣмъ не женскій,  
 А онъ одинъ и слышенъ былъ.» —  
 Ахъ, виновать! я и забылъ,

Что ты брать олухъ деревенскій.  
 Гдѣ-жь тебѣ увидѣть этотъ священный призракъ! сту-  
 пай и спи!.. Э... о... о... а... о... а... ахъ! Господи,  
 прости мои согрѣшенія!..

#### ПОСЛѢСЛОВІЕ

*Вотъ въ ваши миленькія фуки*

*Моя піеса: что она*

*Не коротка, и не длинна*

*Я Музу приведу въ поруки,*

*И я желаю, чтобъ она*

*Васъ заняла порой отъ скуки.*

А знаете-ли на сколько-бы хорошихъ строкъ я поми-  
 рился?.. О! въ какомъ былъ-бы я восторгѣ, если-  
 бы вамъ понравилось

По пяти на сто, но пяти на сто!

И тогда хоть для пробы

Написаль я ещѣ бы;

А не то — басто! а не то — басто!

#### ПОЯСНЕНІЯ

1. Путешествіе въ Китай чрезъ Монголію, Ч. III. Стран. 2 письма.
2. Путешествіе въ Китай чрезъ Монголію, Том. III. стр. 409.
3. По ученью Шагя-муни.
4. Путешествіе въ Китай чрезъ Монголію, Т. III. стр. 569 и начертаніе Цсрковно-Библсйской Исторіи Преосвящ. Филарета.
5. Блаженныя жилища.
6. Вода жизни.

## ВЛАДИМИР ИГНАТЬЕВИЧ СОКОЛОВСКИЙ

В. Н. Кравченко  
Ставрополь

Владимир Игнатъевич Соколовский родился в 1808 году. Отец его, Игнатий Иванович, не обладая «ни родовым, ни благоприобретенным» состоянием, вышел в отставку подполковником Селенгинского мушкетерского полка, с 1818 года был председателем Томского губернского правления. Десяти лет мальчика отдали в 1-й Кадетский корпус в Петербурге. Но за «неспособность по болезни к военной службе выпущен из корпуса для определения к статским делам с награждением за успехи в науках чином 12 класса, 1826 года мая 31». Из Петербурга он едет в Томск к отцу, где определяется на службу в штат канцелярии общего губернского правления. Весной 1828 года «вследствие прошения его перемещен в канцелярию Енисейского общего губернского правления с определением на вакансию экзекутора». В этой должности судебного чиновника коллежский секретарь Соколовский за три года исколесил всю Енисейскую губернию. Служил он под началом А.П. Степанова, первого енисейского гражданского губернатора. Собранные Соколовским статистические сведения А. Степанов активно использовал для написания двухтомника «Енисейская губерния», за что автор удостоен половины престижной Демидовской премии. Тогда же В. Соколовский написал устав для «Красноярской литературной беседы» сотрудничая в «Енисейском альманахе». Впервые его имя появляется в печати под стихотворением «Прощание» в журнале «Галатей» за 1830 год.

Летом 1831 года по желанию служить в Великороссийских губерниях, Соколовский в чине титулярного советника увольняется со службы и покидает Сибирь. В начале следующего года поэт появляется в Москве, проживая некоторое время у Н.М. Сатина, а летом уезжает к Н.А. Степанову, сыну енисейского губернатора, в калужское имение — село Троцкое. Занятия литературным трудом приносят ему успех. Вскоре выходят отдельной книгой поэма «Мироздание», написанная на библейскую тему, тепло воспринятая читателями и критикой, и «Рассказы сибиряка». А еще через год автобиографический роман «Одна или две, или любовь поэта». Но материального достатка они не дают, и Владимир Игнатъевич вынужден опять устраиваться на государственную службу. В марте 1834 года он выезжает в Петербург, где его принимают на должность помощника секретаря в канцелярию военного генерал-губернатора П.К. Эссена. Однако служба в северной столице продолжалась недолго. Уже в июле московская полиция арестовала группу молодых людей, певших на вечеринке дерзкие куплеты. Сочинителем стихов и скандальной песни «Русский император» был назван В. Соколовский. В пении он сознался, но авторство свое отрицал, на допросах держался стойко, что не помешало властям доставить его из Петербурга в Москву и продержать в тюремном остроге более восьми месяцев. Соколовского признали виновным по делу «о лицах, певших в Москве паск-

вильные стихи». Николай I утвердил приговор: «... оставить года на три в Шлиссельбурге и потом допустить к службе в отдаленных местах».

В одиночной камере Шлиссельбургской крепости Владимир Игнатъевич провел более полутора лет, нажив там тяжелую хроническую болезнь. Узнав о заключении в крепость, за него начинают хлопотать старшие братья: Александр Соколовский, инженер-подполковник, и Николай Игнатъевич, капитан Московского кадетского корпуса. После продолжительных ходатайств в декабре 1836 года Соколовский вышел на свободу. В предписании Санкт-Петербургскому обер-полицмейстеру утверждалось, что Соколовский «освобожден от заключения для определения его на службу в отдаленную губернию...». Наступивший год стал для Соколовского самым удачным. Еще в крепости он закончил драматическую поэму «Хеверь», изучил древнееврейский язык и начал работать над поэмой «Альма». Отрывки из нее были напечатаны во втором номере «Современника» за 1837 год, одновременно с лермонтовским стихотворением «Бородино». Вторым изданием выходит поэма «Мироздание». А. Герцен подчеркивал, что «Соколовский, автор «Мироздания», «Хевери» и других довольно хороших стихотворений, имел от природы большой поэтический талант».

22 сентября поступило требование «... немедленно выехать из Санкт-Петербурга в Вологду и явиться к тамошнему господину военному губернатору». Вологодский губернатор Д.Н. Болговский определил поэта чиновником особых поручений и поставил задачу организовать первую газету — «Вологодские губернские ведомости». Кроме того, Владимир Игнатъевич создал в Вологде литературный кружок, сблизившись с местными литераторами. В ссылке поэт много работает. Он пишет поэму «Разрушение Вавилона», а в Петербурге тем временем выходит из печати поэма «Хеверь». Более года Соколовский руководил газетой. «Вологодские ведомости» той поры были лучшей провинциальной газетой в России, а ее редактор вошел в историю русской журналистики, — такую оценку дал Владимир Чивилихин в своей книге «Память».

Между тем здоровье поэта продолжало ухудшаться. В августе 1838 года он обращается в III отделение канцелярии Его Императорского Величества с просьбой оставить службу и жить у родной сестры в Москве или «... если я недостоин ей милости, несмотря на то, что гибель моя неизбежна, я осмеливаюсь просить у Вашего Превосходительства, чтобы меня перевели на Кавказ». К письму прилагались медицинские свидетельства и подтверждение губернатора. Разрешение ему дают, и 23 декабря 1838 года поэт покидает холодную Вологду.

По приезду в Москву Владимир Игнатъевич «сделался болен горячкой и 13 числа января был помещен в больницу, откуда по выздоровлению 12 числа апреля вышел и два дня жил у зятя своего, поручика здешнего кадетского корпуса Линевица (мужа сес-

тры — прим. авт.), а 14 числа отправился в город Ставрополь Кавказской области, куда прибыл 18 мая. Приехал Соколовский безнадежно больным, только через неделю поступает заявление: Страдая с давнего времени болезнью гипертрофизма «имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство приказать освидетельствовать меня медицинским чиновником и потом отправить в Пятигорск для пользования минеральными водами на счет казны». В начале июня поэта отправляют в Пятигорский военный госпиталь. Одновременно гражданский губернатор А. Семенов зачисляет Соколовского «6 штат чиновников общего областного управления до открытия вакансии с зачетом служ-

бы его со дня прибытия сюда». Говоря сегодняшним медицинским языком, Соколовский страдал водяночным отеком, это могла быть почечная или сердечная недостаточность, и минеральные воды вряд ли могли принести ему облегчение. Вернувшись в Ставрополь, он «как не совершенно выздоровевший, был отправлен в заведение Кавказского приказа общественного призрения и там во вторник, 17 октября (стар. ст. — прим. авт.), умер». Прожил он на свете всего 31 год.

19 ноября 1839 года «Санкт-Петербургские ведомости» поместили краткое извещение: «17 октября скончался в Ставрополе (Кавказском) известный русский поэт В.И. Соколовский...».

## ВЛАДИМИР СОКОЛОВСКИЙ: СЧАСТЬЕ БЫЛО!

К.Э. Штайн  
Р.М. Байрамуков  
Ставрополь

Произведение Владимира Игнатьевича Соколовского «Рассказы сибиряка» (1834) представляется нам чрезвычайно интересным не только в качестве голоса своего времени, но и в качестве текста, который не случайно «всплывает» и становится интересным в наше время.

В.И. Соколовский прожил очень короткую жизнь, в то же время наполненную яркими, переломными событиями: поступление в десятилетнем возрасте в Кадетский корпус, служба в канцелярии Енисейского губернского управления и одновременно литературная деятельность, сочинение «пасквильных стихов» и заключение в Шлиссельбургской крепости, организация газеты «Вологодские губернские ведомости» и многое другое. Он был участником декабристского движения, был знаком и достаточно тесно общался со многими выдающимися людьми. Как отмечает А.В. Попов, в их числе «мы видим разжалованного в солдаты вольнолюбивого поэта А.И. Полежаева, участника ряда экспедиций на Кавказе, друга и родственника Лермонтова С.А. Раевского, Н.М. Сатина, А.И. Герцена, Ф.А. Кони» (3, с. 159).

Когда пишут о короткой жизни Соколовского, подчеркивают, что его яркая одаренная личность, поэтические произведения, которые были широко известны в 30-е годы XIX в., оставили «глубокий след и в душах современников поэта» (2, с. 4). Его судьба рассматривается, в понимании наших современников, как цепь «тяжких испытаний: арест, одиночное заключение в Шлиссельбургской крепости, ссылка, несчастная любовь, болезни, безвременная смерть... <...> Судьба обошлась жестоко с поэтом и после его кончины: могила Соколовского не сохранилась, творения не переиздавались, имя постепенно забывалось» (там же).

Судьба поэта в XIX веке, выбравшего себе дорогу сочувствия декабризму, строилась как текст и была обречена стать трагической в силу противоречия взглядов официальной идеологии. Но художественные тексты В.И. Соколовского, которые раскрывают нам его воображаемый мир, строятся по отношению к трагическому тексту жизни по принципу дополнительности: придуманное представляется нам гармоничным, это особое «жизнеустройство» и «жизнетворчество», в котором позитивный процесс творчества, полетное существование в воображаемых мирах компенсирует издержки судьбы. По Соколовскому получается, что в любом, даже вымышленном мире, человек остается самим собой — грешит, лжет, иногда идет на поводу у низменных чувств. Все скрашивается возможностями фантазии, построением миров-оборотней, в которых противоречивость внешнего мира гармонически преодолевается светлой духовностью творца, возможностью фантазии превысить невзгоды обыденности и противоречия в вымышленном мире, преодолеть их искрометной иронией, мягким юмором, снисходительностью к человеку как существу дерзающему, но несовершенному.

«Записки сибиряка» неожиданно органично входят в контекст «состояния постмодерна» и современной постмодернистской литературы, когда мы обнаруживаем явную возможность познания как творчества, предполагающего использование не только интеллектуально-рациональных, но и иррациональных, («художественных») способов философствования» (4). Когда возникают механизмы защиты от логоцентризма, некое архиписьмо, закрепляющее знаковую игру завуалированных различий, смещений, следов. Когда возникает нелинейный, многомерный способ философствования, несовместимый с косностью, узостью, догматизмом, тоталитаризмом в сфере мышления и когда создаются все новые «конфигурации письма» как бесконечного, не знающего покоя поиска «недостижимого единства смысла».

Когда читаешь «Рассказы сибиряка», опубликованные в 1834 году, не покидает ощущение постмодернистского задора и раскованности. Дерзость Соколовского в разрушении канонов литературы — конечно же, это не жест постмодерниста. Писатель, скорее, мыслит в русле идей романтиков, «постмодернистов» своего времени, с одной стороны, создающих усложненную систему повествования, а с другой, — использующих разнообразные иронические отступления от нее. В «Рассказах сибиряка» есть моменты автометадескрипции:

«Я былъ бы рѣшительно затрудненъ отвечатьъ вамъ на этотъ вопросъ, если бы къ счастью не пришла мнѣ теперь в голову замысловатая увертка всѣхъ господъ рассказиковъ: начало того-то теряется во мракѣ неизвѣстности. И коротко, и ясно, и удовлетворительно; къ тому же въ этотъ мракъ никакъ не лзя подать свѣчей, стало быть всѣ изслѣдованія, справки и повѣрки невозможны. Однако жъ въ последствіи можно кое-какъ напасть на слѣды Шагя-мунизма...»

Тогда относительная незавершенность текста, выведение его во все новые и новые лабиринты смысла, не имеющие завершенности, компенсируется опорой на восточные религиозно-философские системы, научные источники, в результате общее здание произведения оказывается многомерным. У Соколовского есть и установка на разработку глубины текста с опорой на различные когнитивные артефакты (созданные произведения, фольклорные источники), таким образом, текст оказывается завершенным и незавершенным одновременно.

По своему строению «Рассказы сибиряка» представляют собой многомерный текст, в котором обнаруживаются принципы явно выраженного авторского артистизма, когда позиция автора находит выражение скорее в формальных принципах построения произведения (эпиграфы, композиция, текст в тексте). Рассказчика по типу речевого поведения нельзя отождествить с автором в силу некоторой раскованности, некоторой «пошловатости», выступающей объектом авторской иронии. Может быть,



это и есть «псевдоромантический мир подражания романтизма» (подражание подражанию) (1, с. 345). Эксцентричные переходы от прозаического текста к поэтическому, мира русского к миру восточному были свойственны романтизму. Вот как Л. Тик пишет о «поэмах Круглого стола»: «... в этих нежных песнях веет духом Востока, и Персии и Индии, события тянутся туда, чудесное перестает быть приключенческим, но становится волшебнее, герои теряют кровожадность, снижается их грозность, но томление и любовь награждают их прекрасным настроением и окружают их светом и блеском; эпическая правда и ясность исчезают, но зато чудесные краски и тона вводят душу в такое волшебное царство чистоты и мечтаний, что он чувствует себя прикованным и скоро осваивается в этом мире» (5, с. 111-112).

Поражает обилие адресатов неимоверно оживленного и общительного рассказчика... Текст с необработанными краями, нечеткими границами между европейским и восточным мирами, текст Соколовского может быть воспринят как графоманский, так велико желание автора творить, находиться в комфортной для него речевой среде.

Создается впечатление, что порой сознание не руководит бессознательным потоком фантазии:

«Признаться-ли вамъ, прелестная Катинька, что этѣ Монгольскія бредни нравятся мнѣ чрезвычайно», — сознается рассказчик.

Исследователями, в том числе Ю.М. Лотманом, отмечается «литературность» поведения романтиков-декабристов. Несмотря на то, что они были людьми действия, «главной формой действия парадоксально оказалось речевое поведение декабриста». Соколовский находился в русле речевого мышления, свойственного декабристу как «особому типу русского человека». Самими художниками первой половины XIX века, исследователями отмечается «разговорчивость», стремление к словесному закреплению своих чувств и мыслей, что приводит впоследствии к обвинению декабристов во фразерстве и замене дел словами (1, с. 334). В то же время этому типу поведения свойственно нарочитое игнорирование жесткого рече-

вого приличия. Не случайно В.И. Соколовский в обращении к читателю делает установку на некоторую языковую игру, определяя «Рассказы сибиряка» как «шалость». В этом тексте, как и во многих других произведениях Соколовского, наблюдается соединение игрового и серьезного, потому что сфера фактических жизненных поступков смещена из области обыденного, реального в сферу собственных речевых поступков — написания текстов. Ведь поводом для события, определившего судьбу Соколовского — заключения в Шлиссельбургскую крепость, — согласно обвинительному заключению, стали сочинение и декламация «пасквильных стихов».

Коммуникация в дворянской среде носила не бытовой, а именно литературный характер. Она осуществлялась с помощью поэтических посланий, критических возражений и других разнообразных по жанру литературных произведений. За системой рассказчиков, адресатов Соколовского чувствуется не несчастный, скитающийся по ссылкам, болезненный человек (которым, по-видимому, он и был), а человек, обладающий внутренним душевным здоровьем, кипящей фантазией, для которого «подлинным покоем» и счастьем было творение фантазийного мира, в котором, правда, не всегда все сходится. Вспоминается Ф. Шеллинг, который считал эмпиризм источником всего нефилософского, всего непозитического, а подлинно поэтическим — возможное, воображаемое, которое, как ни парадоксально, и является, по его мнению, «безусловно действительным» (6, с. 340).

В этой игре, переключении с серьезной тональности на смешную, незлобivosti, шутке, может быть, и высвечивается подлинный душевный строй Соколовского. Безудержная фантазия и постоянный контроль, иронический взгляд и одевание критических масок — в результате перед нами достаточно зрелый и серьезный художник, все-таки нашедший примирение с миром. Это примирение — в игре воображения с реальностью. Было вдохновение, было творчество, были читатели, и как утверждают, даже восторженные. А значит, счастье все же было...

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. — СПб., 1994.
2. Маркелов Н.В. О В.И. Соколовском // В. Соколовский. «Ни разу счастьем я не был упоен»... — Ставрополь, 2001.
3. Попов А.В. Декабристы-литераторы на Кавказе. — Ставрополь, 1963.
4. Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература. — М., 2002.
5. Тик Л. Любовные песни немецких миннезингеров // Литературные манифесты западноевропейских романтиков. — М., 1980. — С. 108-117.
6. Шеллинг Ф.В. Философия искусства. — М., 1966.

### III. ЭТИКА ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ПЕРЕВОДА ТЕКСТА

- 1/ Л.П. Егорова / Ставрополь / **Социология художественного текста вчера и сегодня**
- 2/ В.Д. Черняк, М.А. Черняк / Санкт-Петербург / **Трансформация классического текста как феномен современной массовой культуры**
- 3/ К.Ф. Седов / Саратов / **Опыт прагма-семиотической интерпретации текста повести Ф.М. Достоевского «Записки из подполья»**
- 4/ А.Н. Силантьев / Ставрополь / **К проблеме методики анализа плана содержания «бессмыслицы» в лирике обериута А.И. Введенского**
- 5/ Н.И. Колодина / Тамбов / **Типы интерпретаций и множественность интерпретаций**
- 6/ Т.Е. Беньковская / Оренбург / **Литература в зеркале социологии и формирование читательского сознания**
- 7/ А. Диомидова / Каунас, Литва / **Поле долженствования в «Фаусте» И.В. Гете и переводе «Фауста» Б.Л. Пастернака**
- 8/ А.Т. Грязнова / Москва / **Соотношение вольности и адекватности в переводе М.Ю. Лермонтова «Из Гете»**

## 1

Социология текста, т.е. изучение его как феномена социального и, в свою очередь, влияющего на жизнь социума, имеет давнюю историю. Подтверждением этой мысли может служить содержание капитального труда Ю.Н. Давыдова «Искусство как социологический феномен. К характеристике эстетико-политических взглядов Платона и Аристотеля» (М., 1968). Не противопоставляя друг другу социальную и эстетическую функции искусства, Ю. Давыдов вычленил интересующий нас аспект, подчеркнув, что и в платоновском, и в аристотелевском описании образ художника не всегда оставался равным самому себе: «Подчас он как бы разрывается и выступает перед нами в виде двуликого Януса — либо в том смысле, что оба его лица выступают одновременно, либо в том смысле, что появление одного из них неизбежно (хотя и молчаливо) предполагает — и вызывает к жизни — представление о другом, остающемся в тени до поры, до времени» (7, с. 282-283). Эта «двуликость» особенно ясно должна осознаваться современным литературоведением, когда после некоторого разочарования в текстоцентричности литературоведческих штудий исследователи вновь возвращаются к антропоцентричности художественной литературы и, следовательно, к ее социологичности<sup>1</sup>, не забывая при этом всего того, что было наработано в области изучения литературы как феномена художественного познания.

Необходимость изучения традиций заставляет нас вспомнить и вклад в литературоведение культурно-исторической школы. Трудно переоценить популярный в России трактат Ипполита Тэна «Философия искусства» (1865-1869), положивший конец господству нормативной эстетики. Историзм в понимании закономерностей литературно-исторического развития, его генезиса, обусловленного «расой, средой, моментом», сказался в трактовке художественного произведения, в котором и ныне на первый план выступают вопросы этнонациональной идентичности, социальной среды и времени. Последнее следует понимать как время включенности писателя в историко-литературный процесс, ибо «момент» предопределяет и уровень художественный (произведения Пушкина не были бы «пушкинскими», родился писатель на столетие раньше).

Мировоззрение и нравы эпохи как первопричины появления (и понимания) произведения стали главным предметом изучения отечественной культурно-исторической школы, основателем которой был А.Н. Пыпин (1833-1904.). При всех издержках концепций этой школы (влияние на нее позитивистской философии, взгляд на художественное произведение прежде всего как на источник познания, недооценка самостоятельности искусства, специфики его влияния на жизнь), приводивших к отождествлению истории литературы с историей общественной мысли, гражданской историей, культурно-историческая школа оказала колоссальное влияние на развитие русского лите-

ратуроведения в XX веке и прежде всего на литературоведение марксистское. (На Западе основоположники марксизма к И. Тэну относились довольно сдержанно, там линия преемственности шла от Гегеля<sup>2</sup>).

Марксистское литературоведение, поставившее как глобальную проблему «Литература и общество» было еще более социологическим, хотя в отличие от социализма О. Конта его формулировки были не столь жесткими. «Обстоятельства изменяются вместе с людьми», — писал Маркс в «Тезисах о Фейербахе», стремясь подчеркнуть диалектическое взаимодействие человека и общества. Однако в «Капитале» личность капиталиста или земельного собственника является для автора лишь «олицетворением экономических категорий, носителем определенных классовых отношений и интересов». Это заставляет вспомнить реплику горьковского героя пьесы «Враги»: «И добрый — хозяин, и злой — хозяин. Болезнь людей не разбирает». «Врагов» высоко ценил Г.В. Плеханов<sup>3</sup>, наиболее жестко ориентированный социологист, который стоял у истоков марксистского литературоведения в России. (Хотя сама по себе крайность любой позиции не представляет угрозы объективному рассмотрению явлений. Важно, что она не навязывалась как единственно верная).

Однако нельзя не заметить последующего сведения оригинальных идей-первопроходцев темы к штампам: литература — «зеркало», а писатель в этом случае выглядит только как этнограф-бытописатель. Вот что пишут современные специалисты в области социологии литературы:

«Марксизм, оказавший сильное влияние на социологию литературы, внес в сложный социокультурный мир обманчивый порядок, установив иерархию базиса и надстройки (...) В свое время основоположники марксистского подхода понимали обусловленность духовных явлений способом производства как сложно опосредованную структуру различных по природе, силе и механизму факторов взаимодействия. Зато их последователи уже трактовали отношения между надстройкой (сферой искусства, литературы) и базисом (экономикой) как жестко и однозначно детерминированные.<sup>4</sup> И если Плеханов признавал значение промежуточных культурно-идеологических структур (мифология, религия, обычай) для интерпретации художественных явлений, то ортодоксальные литературоведы-марксисты — П. Лафарг, Ф. Меринг, А. Луначарский, В. Фриче и другие — видели в произведении непосредственное выражение идеологии и интересов тех или иных социальных групп» (6, с. 7-8, 13-14).

Нельзя не вспомнить и политический парадокс литературоведения советского периода. Социологическое по своему существу, оно, тем не менее, категорически отвергло социологическую школу 20-х гг. (В. Фриче, В. Переверзев). Официальные обвинения в вульгарном социологизме, очевидно, имели основания, но не к ним только сводилось существо социологической школы (этот вопрос выходит за рамки нашей статьи). Истинная причина не просто

идеологических, но и политических репрессий по отношению к литературоведам-социологам (а не к формалистам, например, хотя в прессе их критиковали очень жестко) имела далекую от литературоведения подоплеку: ЦК РКП(б) выступил против социологической школы и критиков РАПП, громивших Переверзева, так как и та, и другие претендовали на монопольное марксистское истолкование литературных явлений. Руководство ЦК правящей партии страны только себя считало гегемоном литературного развития и ни с кем, в том числе и с РАПП, своей властью делиться не хотело. Прямую угрозу своему владычеству ЦК видел именно в социологических исследованиях литературы. Фактически ликвидируя крестьянство как класс, Сталин не мог мириться, например, с интересом В. Переверзева к крестьянской литературе, поэтому разгром его школы и «год великого перелома» прились на один — 1929 год.

Обратимся непосредственно к материалам, давно ставшим библиографической редкостью, где откровенно подчеркивалось, что переверзизанство стремилось к гегемонии в области литературоведения, оно перестало быть «спутником марксизма-ленинизма, но подменило его собою» (23, с. 5). Переверзева обвиняли в ревизии марксизма за его утверждение образной природы искусства. В предисловии к материалам дискуссии с негодованием подчеркивалось: «Переверзев полагает, что объектом искусства, его предметом является социальный характер, «система поведения», воспроизводимая в образе», тогда как по мнению его оппонентов, с точки зрения марксизма (явно вульгаризированной) объектом всякой идеологии, в том числе и искусства, является окружающая действительность» (22, с. 7). Верноподданническую критику возмущало и стремление Переверзева к изучению стиля. Одним из главных обвинений, предъявленных ученому, стали следующие слова из его работы «Марксизм и литературоведение», в которых современному читателю трудно усмотреть что-либо крамольное:

*«Рассматривая художественное произведение как образ, а образ — как проекцию социального характера, неизбежно приходишь к признанию понятия стиля основной литературоведческой категорией. В стиле и обнаруживается детерминированность, ограничение, отсутствие произвола в сфере искусства... С этой точки зрения изучить художественное произведение, значит через отнесение его к общим категориям творчества и стиля раскрыть его социальную обусловленность, потому что именно стиль и является художественным эквивалентом социальной закономерности»* (22, с. 26).

Здесь можно посчитать дискуссионной лишь фразу об эквивалентности художественного социальному, но критиков Переверзева интересовало вовсе не это. Для них было неприемлемым само отношение стиля к «основным литературоведческим категориям»: они к последним относили прежде всего мировоззрение писателя, воплощаемое в идее произведения. Негодование вызывали фразы Переверзева: «Литературная эволюция сводится к смене литературных стилей», и то, что политике и классово-борьбе в переверзевской классификации «отведена второсте-

пенная роль, а на деле ее влияние сводится к нулю» (22, с. 31), и т.д. Лишний раз досталось Переверзеву за то, что не осудил «реакционную клевету на революцию» в творчестве Ф.М. Достоевского».

И хотя выступивший вслед за основным докладчиком Переверзев показал его несостоятельность и поддержки, а первый же выступающий сравнил доклад со студенческим выступлением в силу малой компетентности его автора, участь Переверзева была решена, несмотря на попытки его сторонников защитить учителя. Переверзеву не удалось закончить свое обстоятельное заключительное слово: ему стало плохо. Дальнейшее заключительное слово главного «обвинителя», а главное — «Резолюция Президиума Коммунистической Академии о литературоведческой концепции В.Ф. Переверзева» (она заняла три убористых страницы печатного текста) — избивали политическими обвинениями, напоминаниями о меньшевистском прошлом ученого. Отталкиваясь от действительного дискуссионного момента в программе Переверзева: «... Всякий художник в состоянии познать и отразить действительность лишь своего класса или общественной прослойки», — резолюция подчеркивала, что переверзевская теория «особенно вредна и опасна», что она направлена, с одной стороны, против пролетарской литературы, а с другой стороны — против литературной политики в отношении крестьянской и попутнической литературы (22, с. 200). Резолюция явно соответствовала политике фактического уничтожения крестьянской литературы — с конечной целью ЦК РК ВКПб. И она была выполнена на сто процентов: вспомним судьбу так называемых крестьянских писателей — С. Клычкова, Н. Клюева, П. Орешина и др.

## 2

При рассмотрении социологии текста нельзя миновать имя крупнейшего русского мыслителя М. Бахтина. Его написанный, очевидно, в соавторстве с П.Н. Медведевым труд «Формальный метод в литературоведении» (1928) был направлен против концепции ОПОЯЗа как формальной школы. Очередные задачи литературоведения определялись в нем как отражение идеологической среды в содержании литературного произведения, а художественная структура последнего рассматривалась лишь в соотносении с отражением идеологического кругозора писателя (не будем забывать, что прямолинейность формулировок «марксистского литературоведения», репрезентированного в данном труде, явно принадлежит П.Н. Медведеву). Тем не менее критику вульгарных представлений о литературе как отражении идеологической среды, когда литература — «самостоятельная и своеобразная идеология — сводилась к другим идеологиям и без остатка в них растворялась» (16, с. 25), автор, и, очевидно, это — уже Бахтин, относит и к марксистским литературоведческим штудиям того времени. Бахтин подчеркивал:

*«Для историка литературы — марксиста наиболее существенным является отражение бытия в формах самой литературы как таковой, т.е. социальная жизнь, выраженная на специфическом языке поэтического произведения»* (16, с. 26; курсив мой — Л.Е.).

Автор не допускал проецирования любого структурного элемента художественного произведения — например, героя или сюжета — непосредственно в реальную жизнь: «Для настоящего социолога герой романа и событие сюжета, конечно, гораздо больше скажут именно как элементы художественной структуры, т.е. на своем собственном художественном языке, чем их наивные непосредственные проекции в жизни» (16, с. 27), что подробно и конкретно было показано на примере образа тургеневского Базарова:

*«Так трудно отделить лежащую в его основе внехудожественную идеологию от опутывающей ее чисто художественной ткани... И художественная структура романа в целом, и художественные функции каждого из его элементов сами по себе не менее идеологичны и не менее социологичны, чем включенные в них этические, философские или политические идеологии. Но художественная идеологичность романа для исследователя литературы непосредственной, первичней, чем только отраженные в нем и дважды переломленные внехудожественные идеологии»* (16, с. 28-29).

В книге Медведева-Бахтина подробно раскрываются предмет, задачи и метод социологической поэтики. Критикуются «ложные представления о художественных явлениях, как о каких-то... отрешенных от социальной действительности самодовлеющих идейных сущностях, точно идеи могут рождаться вне социального общения» (16, с. 39). Художественная структура для М. Бахтина не может быть «внутренне несоциальной», а именно такой она предстает в «социологических поэтиках» 20-х гг., которые и критикуются им за «полный разрыв между идеологическими (нелитературными) и художественными требованиями и подходами» (16, с. 43). Социальное задание, по Бахтину, должно переводиться на язык самой поэзии, оно должно предстать как «поэтическое задание», которое лишь в конечном счете обретет социальный смысл. Учиться «понимать язык поэзии как с начала до конца социальный язык» должны не только писатели, но и литературные критики. Атака на формализм (а этому посвящены три части книги из четырех) ведется Бахтиным именно с этой позиции, так как ОПОЯЗ отстаивал несоциальность художественной структуры как таковой.

Однако в рассматриваемой книге социологизм трактовки художественной литературы лежит, как говорится, на поверхности. Более глубоко его раскрывает концепция диалогизма Бахтина: «Его понятие «диалогичности», — пишут современные исследователи, — ... лучше всего определяет бесконечную систему связей между литературными текстами». В свете идей Бахтина для отношений литература / общество «открываются новые аналитические перспективы, причем применительно не только к настоящему, но и к прошлому, так как бахтинское «диалогичное видение» глубоко исторично и позволяет проследить как от эпохи к эпохе менялось само понятие литературы и трансформировались литературные стили и жанры» (6, с. 70).

Не менее популярным в 20-е годы был труд П.Н. Сакулина «Социологический метод в литературоведении» (1925). Исследователь начинал работу в рамках

культурно-исторической школы и стремился синтезировать ее достижения с постреволюционными трактовками литературы как явлениями общественного сознания. Им дан обстоятельный обзор вариаций социологизма в трудах зарубежных и отечественных ученых и общественных деятелей, включая не только Плеханова, но и Троцкого (30). Как и Бахтин, Сакулин не прибегал к прямолинейным «классовым» трактовкам, а говорил об «идеологической окрашенности художественных произведений и искусства в целом», так что его социологизм, как и социологизм Бахтина, носил «культурологический характер» — Сакулиным также подробно рассматривался вопрос о «литературной среде».

Особенно выделяя такие проблемы, как социология формы, литература как социальный фактор, Сакулин подчеркивал рациональность двух подходов к проблеме: рассмотрение литературы как функции социального прогресса литературы как фактора, в свою очередь влияющего на социальный, культурно-исторический процессы — идеи востребованные и современной научной мыслью.

В этот период — в 20-30-е гг. — преобладала социологическая критика, тяготеющая к своему непосредственному объекту — социологическому роману, преобладающему в современной литературе. Здесь необходимо выделить статью Н. Берковского «О социальном романе» (1929). Полемизируя с Переверзевым (дань политической ситуации), он дал такую характеристику предмету своего исследования: «В социальном романе людской матерьял современности размещается по признакам общественного класса, острая полемика классов и групп кладется угольным камнем». Берковский дал подробную классификацию всех параметров социального романа, которая не устарела и в наши дни (1).

Теоретиков литературы привлекала соотнесенность социологического и исторического методов. Б. Эйхенбаум еще в 1914 г. писал:

*«Исторический метод я не смешиваю с социологическим, а считаю, что последний восходит к первому. Хотя бы цель исследования была по существу и социологической, метод... все равно остается историческим, идея развития все равно стоит в центре»* (37).

### 3

Как вариант социоцентризма марксизм продолжал свое развитие в XX веке, и не только в России, но и на Западе, где реализовался подход к литературе как совокупности идеальных и идеологически опосредованных систем отражения социальной действительности. Он был обоснован в трудах Г. Лукача и его последователей.<sup>5</sup> Интерес к социологии текста особенно возрос на Западе, начиная со второй половины 50-х гг. XX века.<sup>6</sup> Появилась книга Р. Эскарпи «Социология литературы» (1958), в 1960 г. был создан литературно-социологический центр под руководством Р. Эскарпи и Н. Робин. В Германии с конца 80-х гг. был начат выпуск серии «Социологические тезисы», а в 1968 г. в Бонне вышла антология Г.-Н. Фюгена «Пути литературной социологии», куда были включены и статьи марксистов — Г. Плеханова, В. Ленина, Ф. Меринга, Д. Лукача. Фюген

стремился определить социологию литературы как область социологии, которая, во-первых, исследует литературу как объективацию социального отношения и социального опыта, а во-вторых, направлена своим познавательным интересом на взаимоотношения между людьми, которые обуславливают представления, традицию, проникновение и способ создания литературы и ее содержания.

Обращение к марксистской социологии у литературоведов Запада было достаточно плодотворным. Так как в отличие от советской России, где марксизм понимался догматически и подменялся политическими ярлыками, за рубежом творческая свобода теоретиков литературы ничем не ограничивалась. Если Эскарпи и Фюген были позитивистами, то Т. Адорно (1903-1969) был крупнейшей фигурой марксистки ориентированной литературной социологии. Марксистские феномены «овеществления» и «отчуждения» Адорно распространял не только на капиталистическую культуру, но на все этапы ее развития. В изданной посмертно капитальной «Эстетической теории» (1970), он, пользуясь категориями марксистской философии, раскрывал идеологическое содержание эстетики; им много сказано и об автономности (имманентности) произведения искусства, понимаемого, однако, как социальный феномен. Адорно полагал, что любая общность, например, лирического произведения, несомненно является по своей сути общественной («Речь о лирике и обществе»).

Работавший во Франции и Бельгии Л. Гольдман (1913-1970), разрабатывал идеи, близкие концепции В. Фриче и В. Переверзева. О своих неомарксистских позициях в социологии литературы заявлял А. Хаузер (1892-1980), эмигрировавший из-за нацистских преследований из Австрии в Англию, так что его труды, например, «Социология искусства» (1974), выходили одновременно в Англии и Германии. В трудах указанных авторов — и немарксистской и марксистской ориентации — выработывались концепции производства, распределения и потребления художественных ценностей. Различные причины такого обращения к социологической проблематике были в свое время активно рассмотрены Г. Фридлендером (33).

Представители рецептивной эстетики Х. Яусс, В. Изер связали социологические проблемы текста со сменой его восприятия, с дифференциацией категорий читателей. Интересно, что Яусс синтезировал социологические идеи с наследием формальной школы. В работе «Средневековая литература и история жанра» он подчеркивал, что введение Ю. Тыняновым доминанты, организующей сложную систему произведения, позволяет придать чрезвычайную методологическую продуктивность явлению, которое Яусс называл «смешением жанров», «межжанровыми связями». Он поставил вопрос о различии жанровых структур 1) с независимой функцией и 2) с функцией зависимой или сопутствующей (иногда структура жанра выявляет себя лишь в сопутствующей функции). Яусс предложил определять жанр «не в логическом смысле», но уточняя состав жанровых групп в соответствии с тем, насколько жанр спосо-

бен самостоятельно конституировать конкретные тексты (как в синхронии, так и в диахронии). Жанрология Яусса принципиально важна как для западной рецептивной эстетики, так и для ее отечественного аналога — историко-функционального изучения литературы. Подчеркивая социальную функцию жанра, значимость *жанрового горизонта ожидания* (понятие, близкое к тому, что Бахтин называл «памятью жанра»), Яусс раскрывает их роль в *понимании* жанра читателем, что является важной (но далеко не единственной) предпосылкой интерпретации художественного текста.

В ГДР и в России — после долгого перерыва — также начинает развиваться литературная социология. Это коллективная монография «Общество — литература — чтение» (Weimar, 1973) под редакцией М. Намана, где рассматривалась роль адресата художественного произведения, и этапный, не утративший своего значения труд «Литература и социология» (М, 1977) под редакцией В.Я. Канторовича и Ю.Б. Кузьменко. В последний были включены статьи как общеметодологического уровня — о пределах социологического изучения произведений искусства Ю. Суровцева, — так и исследования эмпирического характера — В. Канторовича, В. Переведенцева. Важность эмпирических исследований утверждалась такими важными для советской науки трудами сотрудников Российской государственной библиотеки (тогда — ГБЛ), как «Книга и чтение в жизни небольших городов» (М., 1973), «Проблема чтения и формирования человека развитого социалистического общества» (М., 1973). Данная тема интересовала и Комиссию АН СССР по взаимосвязям литературы, искусства и науки под руководством Б. Мейлаха.

Накопленный эмпирический материал требовал теоретических и методологических обобщений, о чем свидетельствовало появление изданного «Наукой» сборника «Вопросы социологии искусства» (М., 1979). Функции художественной культуры рассматривались в нем в основном на материале музыки и киноискусства. Но такие проблемы как соотношение социологии и искусствознания (статья И. Левшиной), ценностно-нормативного «согласия» в художественной культуре (статья Ю. Перова), специальная публикация библиографии по социологии искусства с 1961 по 1973 гг. сделали эту книгу интересной и для литературоведов. Вышла в свет и монография Ю.В. Перова «Художественная жизнь общества как объект социологии искусства» (Л., 1980), где впервые было теоретически обосновано понятие «художественная жизнь», рассмотрены ее динамика, структура, взаимосвязь субъектов художественной деятельности — художника и публики. Здесь же впервые были обозначены проблемы массовой литературы. Книга Перова подводила необходимые для данного этапа развития науки многолетние дискуссии о социологии художественного творчества, расширяла кругозор литературоведов, углубляя их понимание проблемы. Эти труды, однако, не давали основу для конкретной литературоведческой (а не социологической) практики. Социологический подход к изучению литературы и в 80-е

годы сводился к проблеме отражения в художественном творчестве ситуаций и конфликтов социальной жизни без обогащения методики такого изучения, без осознания и выявления специфики художественного открытия тех или иных явлений в жизни общества. Отсутствие особых успехов в области социологического литературоведения было достаточно закономерным: наука о литературе в целом переживала эйфорию от ставших доступными и «не запретными» трудов формалистов, структуралистов, как отечественных, так и зарубежных. Переиздание книг трудов социологов 20-х г. не были не столь популярны, а возобновление интереса к ним носило в основном характер заполнения белых пятен в истории отечественного литературоведения и не более.

#### 4

Новый всплеск интереса к социологии искусства в литературоведческом ее варианте (т.е. когда предметом исследований является не публика и не социальные условия функционирования литературы, а сама литература) обозначила книга Б. Дубина, Л. Гудкова «Литература как социальный институт. Статьи по социологии литературы» (М., 1994). В дальнейшем авторский коллектив стал международным: мы имеем в виду брошюру Л. Гудкова, Б. Дубина, В. Страды «Литература и общество: введение в социологию литературы» (М., 1998). Авторы рассматривают ряд вопросов казалось бы традиционных (подчеркивается влияние Гегеля на марксистскую и неомарксистскую эстетику), но осмысленных по-новому. Российские и итальянский исследователи, дав обстоятельный очерк развития социологического литературоведения в России и за рубежом, подчеркнули особую сложность проблемы, которая предстает уже в обозначении связи между двумя понятиями. Сеть связей литературы с обществом и с другими социальными его институтами поистине безгранична, их динамическая совокупность и составляет культуру. Далее связи между литературой и обществом разграничиваются авторами согласно типам этого общества: традиционные, тоталитарные (коммунистические или нацистские, где литература подчиняется предельно разросшейся власти) и современные демократические, где «власть рассредоточена и мобильна», а воздействие на литературу оказывает не столько власть, сколько рынок. В последнем случае отношения литературы и общества «бесконечно разнообразятся» (6, с. 10). Пафос рассматриваемой работы — в отказе от популярных в прошлом узко социологических трактовок, когда писатель того или иного исторического периода модернизировался в духе так называемых задач текущего момента, превращался в рупор определенных классов и политических сил, а его концепция подгонялась под заголовки свежих газет. Современные литературоведы осмысливают проблему социального в контексте общечеловеческого: «... Общество, отраженное в одно и то же время Достоевским, Толстым, Тургеневым и другими, можно бы считать разве что некоей результирующей этого процесса отражения отражений, способной так или иначе упорядочить различные зеркальные образы. В дей-

ствительности, «мир Достоевского», «мир Толстого», «мир Тургенева» и т.п. — это части изменчивого, постоянно развивающегося космоса — не столько России на определенной фазе XIX в., хотя именно на ее почве каждый из этих миров и возник, сколько человеческой истории в Большом времени, которое перекрывает любое определенное Малое время и впадает в Вечность» (там же).

Современная социология актуализирует такое понятие, как творческий (художественный) мир, и хотя подчеркивает его функцию «определения» (отражения) реальности, но оговаривает особое целостное отношение писателя к действительности, «определенной и пережитой таким образом». Акцент на базовом отношении между литературой и обществом, лежащим в основе творческого мира каждого отдельного писателя, — лишь одна составляющая современной социологической концепции, которая здесь же дополняется второй (раньше эти стороны обычно репрезентировались в разных работах). Эта вторая — проблема литературного рынка: издательств, авторских прав, книжных магазинов, рекламы, и эта проблема, по мнению международного научного коллектива, тесно переплетается со сферой эстетики. После того, как произведение издано, оно из сферы производства переходит в сферу потребления. В последнем выделяется два уровня: 1) успеха (неуспеха) и распространения произведения среди обычных читателей и 2) интерпретация и оценка критики.

Л. Гудков, Б. Дубин, В. Страда пытаются соединить социологический подход со структурализмом и его предшественницей — формальной школой: «между этими «до» и «после» по отношению к художественному произведению лежит, по выражению русских формалистов, «литературная техника» — то, как произведение «сделано» и как этот процесс «литературной выделки» меняется во времени. Современные социологи литературы, таким образом, не чуждаются вопросов художественной структуры и литературной эволюции» (6, с. 11).

В традиционном изучении литературных вкусов публики авторы видят определенную рутинность, ибо в них игнорируются литературная техника условного изображения (в том числе и социальных феноменов). Литературная действительность неявно и негласно отождествлялась с социальной. Оптимальной в их работе представляется «размытость» грани между социологией литературы и собственно литературоведением. Эту грань авторы определяют как некую общую зону исследовательских интересов, не умаляющих статус ни одной, ни другой науки.

Функциональные особенности классики, которая в период «резкого социального изменения... превращается из мифологемы ушедшего золотого века в утопическую проекцию нового мира» (6, с. 39). (Как здесь не вспомнить замечания И. Роднянской и Р. Гальцевой о том, что «Медный всадник» Пушкина в период перестройки выполнял функцию текущей литературы). Авторы рассматриваемого труда выделяют в сложившейся жанровой системе роман как жанр, формирующий широкую читательскую публику и вне ее не существующий. Это позволяет поставить вопрос об учении как о социокультурном

феномене. Еще более углубляется рассмотрение в главе «Массовая литература как социальный феномен», где анализируется социальная организация «массового успеха» и сам феномен массовости (6, с. 54). При этом рассмотрение социологической проблематики массовой литературы опирается на системный анализ ее поэтики и на специфику функционирования (6, с. 48-52). Констатируя раскол литературы на авангардную, классическую и массовую (признак индустриального и постиндустриального общества), авторы тем не менее подчеркивают, что противопоставление элитарного и массового с середины XX века окончательно теряет принципиальную остроту, массовое искусство и само обрело признанных и изучаемых классиков (6, с. 56). Поэтому в массовой литературе собственно социолог видит прежде всего внутрикультурную проблему — проблему определенного уровня культуры, тогда как для литературоведа она интересна как определенный раздел словесности.

Л. Гудков, Б. Дубин, В. Страда дали подробную структурную характеристику социальному институту литературы. Ее социальная система складывается из совокупности социальных ролей и сети устойчивых каналов коммуникации, но наряду с этим важно и «групповое» ее измерение: конкуренция и борьба разных групп, в том числе и «поколений», за признание публики, критики, издателей.<sup>7</sup> Эти группы вытесняются с центра на обочину (и наоборот), меняются литературные вожди и литературные каноны, происходит смена доминирующих жанров и поэтик. В этом процессе большую роль играют литературная критика и библиотеки. Литературная система той или иной страны (с учетом ее исторических и региональных особенностей) — это предмет социологически ориентированного литературоведения, и в данном труде интересны сопоставительные характеристики литературных систем Франции, США, СССР. В конечном итоге можно увидеть связь, казалось бы, таких экстралитературных факторов, как издательские стратегии, оформительские и типографские решения, на собственно литературную (жанрово-стилевую) эволюцию, особенно при переводах и переделках (29), однако в отечественном литературоведении эти вопросы практически не рассматривались.

Мы столь подробно останавливались на коллективном труде Л. Гудкова, Б. Дубина, В. Страды потому, что это единственный пока современный **обобщающий** труд на тему «Литература и общество». И до, и после него появлялись работы, рассматривавшие отдельные частные проблемы: читательского восприятия произведений А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, Д.С. Мережковского и др. (32), социологический анализ чтения в современной России (17), коммуникативная функция литературы (3).

## 5

Сегодня особенностью российского литературоведения является его открытость зарубежным исканиям, явственно общих методологических стыков, освобождение от страха перед «чуждыми влияниями», что вовсе не мешает самостоятельности научных

поисков в соответствии с российской ментальностью и с традициями. Недавно прошедшие дискуссии о «новом историзме» в редакции журнала «Новое литературное обозрение» (см. 2001, № 47) и о «научной критике» в редакции «Вестника МГУ» (сер. 9, 2000, № 5) подтвердили, во-первых, приверженность западного и российского литературоведения к антропоцентрической парадигме: акцентирование общечеловеческого содержания литературных образов и сегодняшняя тяга литературоведения к антропоцентризму обусловлены неудовлетворенностью имманентным анализом, исчерпанностью структурализма и постструктурализма. Во-вторых, дискуссии позволили увидеть точки пересечения в, казалось бы, абсолютно не связанных друг с другом научных поисках. Надо сказать, что в обеих дискуссиях антропоцентризм литературоведения во главу угла не ставится, а дискутируется методология исследований, давшая название дискуссиям. В «Вестнике МГУ» — это «научная критика» — термин, предложенный самим М. Макеевым (15) — автором обсуждаемой книги «Спор о человеке в русской литературе 60-70 гг. XIX века: Литературный персонаж как познавательная модель человека» (М., 1999). В «Новом литературном обозрении» рубрика названа «Споры о «новом историзме», т.е. о направлении в американском литературоведении конца 80 — начала 90-х гг. (Оно находится уже за пределами энциклопедического словаря «Современное зарубежное литературоведение» (1996) И.А. Ильина и Е.А. Цургановой).

Итак, вначале скажем о «новом историзме», который является наиболее идеологизированным аспектом современного антропоцентрического литературоведения. Он заявил о себе в начале 80-х гг. и пришел в Россию статьями Стивена Гринблатта (5), Луи Монроза (19) на страницах «Нового литературного обозрения». Новое направление пропагандируется благодаря усилиям одного из редакторов журнала — Сергея Козлова (12; 13).

Исходным моментом «нового историзма» является преодоление страха перед идеологией, чему способствовали публикации К. Гирца и прежде всего наиболее известная из них, вышедшая в 1973 г., «Идеология как культурная система» (4). В силу своей антропоцентричности «новый историзм» легализует прямые сопоставления между идеями автора и его жизни, между теориями эпохи, опредмеченными в художественных текстах, и ее практиками (11, 13). Понятие «новый историзм» вошло в американский «Словарь литературоведческих терминов» Абрамса (1993, 1998) (эта словарная статья воспроизводится С. Козловым (15, с. 7-8). Называя тех, чьи идеи повлияли на «ново-историческую концепцию» — Луи Альтюссера (марксистского мыслителя ревизиониста), М. Фуко, М. Бахтина, известного социолога и антрополога Клиффорда Гирца — Абрамс подчеркнул, что в 90-е годы «новый историзм» занял место деконструкции как господствующая форма исследовательской практики.

Корни «нового историзма», который сейчас воспринимается как направление американской мысли, находятся в английской литературной критике 70-х



годов, хотя там он более известен под названием «культурный материализм» (Р. Уильямс, Д. Доллинмор и Э. Сифилд). Считается, что культурный материализм обязан своим появлением марксизму, но создал свою методологию, опираясь на различные подходы, в том числе и постструктуралистские. «Культурный материализм» рассматривает литературное произведение в контексте, включающем в себя социальные, политические и экономические элементы. Отражая специфику европейского менталитета, «культурный материализм» порой соперничает с «новым историзмом», однако их многое сближает, и прежде всего интерес к литературной презентации идеологии, внимание к взаимодействию текста и контекста, так что линия разграничения здесь весьма условна (28, с. 12). По определению С. Козлова, американский «новый историзм» и его английское ответвление были с самого начала насквозь проникнуты просветительски-марксистским пафосом разоблачения социальных иллюзий..., все определялось установкой на демистификацию властных отношений» (13, с. 124).

Формулируя кредо «нового историзма», исследователи выделяют два подхода к социологии художественного текста: 1) рассмотрение его в идеологическом контексте, созданном социальными и политическими событиями; историческое своеобразие в данном случае обнаруживается чрез детали рецепций; 2) рассмотрение лингвистической модели текста под указанным углом зрения (27).

В России предметом дискуссии, однако, стали не базовые сведения об англо-американском «новом историзме», а статья А. Эткинда «Новый историзм: русская версия» (38). Российскому читателю надо учесть, что полемический пафос такого яркого сторонника «нового историзма», как А. Эткин, направлен не против отечественных современных литературоведческих практик, а против западных теоретиков раннего постмодернизма и деконструктивизма, ибо в тексте, по его мнению, надо искать не логические противоречия а la Деррида, но воплощение ситуативных проблем во времени.

Методология «нового историзма», по Эткинду, сочетает три компонента: 1) интертекстуальный анализ текста, который размыкает границы текста, связывая его с многообразием других текстов — его предшественников и последователей (это, что на наш взгляд, связывает новую теорию с новым постмодернизмом); 2) дискурсивный анализ, который размыкает границы жанра, реконструируя прошлое как единый многоструйный поток текстов (т.е. для Эткинды становятся неважными жанровые дефиниции, которые обычно ограничивают исследования спецификой одного жанра, и в этом отличие «нового историзма» от рецептивной эстетики Яусса); 3) биографический анализ, который размыкает границы жизни, связывая ее с дискурсами и текстами, среди которых она проходит и которые она продуцирует (явное воскрешение памятных моему поколению рубрик «Литература и жизнь»).

В связи с обсуждением проблем «нового историзма» актуализируется целый ряд частных и общих методологических задач: необходимость разработки тео-

рии прототипов (И. Смирнов), ограничение презумпции интертекстуальности, которая не должна отрицать реальности вне текста (А. Эткин). Особенно подробно Эткин выделяет способность текста изменять реальность — то есть человека и окружающую его среду, и здесь важно включение текста в идеологический и общекультурный дискурс. Задержанный текст, текст вне дискурса «остается памятником эпохи; включенный в дискурс, текст оказывается субъектом истории». Если бы, утверждает Эткин, такие тексты, как «Что делать?», «Архипелаг ГУЛАГ», не были прочитаны, русская история была бы иной: «Эпоху делает публика, а публику делает чтение», «власть над обществом обеспечивается властью над текстом и принадлежит она интерпретатору...» (38, с. 16). Для Эткинды литературный текст — посредник между предшествующими и последующими событиями, между прошлым и будущим. Эпистемология наблюдений над преобразованием жизни в текст (текстостремительный, по определению Эткинды, подход) и текста в жизнь (текстобежный) ждет своего критика.

Эткин признает, что «новый историзм» по необходимости эклектичен и междисциплинарен. Одной из очевидных его целей является разрушение границ между текстом и не-текстом, литературой и не-литературой. В этом он особенно противоположен русской формальной школе, структурализму, так как для последних центральным пунктом была уникальность эстетического своеобразия литературного произведения. Кстати, о несовместимости «нового историзма» с принципами тыняновской поэтики, говорили и С. Козлов, и оппоненты Эткинды — Л. Гудков и Б. Дубин. Последние подчеркнули крах ОПОЯЗа в том, что была заблокирована сама возможность, сама культурная ценность субъективности и ее операциональное, дисциплинарно-антропологическое выражение в методике познания. Вывод «новоисториков» неоправданно категоричен: если русский филолог готов оставить Тынянова в стороне, то его дорога облегчается. Русский филолог изначально приучен мыслить историю литературы в тыняновских категориях, а в рамках «нового историзма» для такой истории нет места; тыняновская парадигма, по мнению С. Козлова, плохо совместима с сегодняшними гуманитарными задачами (15). Кстати в защиту Ю. Тынянова — справедливо — и против концепции «нового историзма» — излишне резко, на наш взгляд, — выступил И. Шайтанов (35).

Что же тогда общего у «нового историзма» и русской филологии, той, которая к традициям формальной школы не сводится? В русском контексте, говорит Эткин, «новый историзм» может выглядеть просто как возвращение к историческому материалу, к здравому смыслу, к детали: к тому, что всегда было увлекательно в истории и, в частности, в истории литературы. Дополняя это суждение аргументами участника дискуссии С. Козлова, надо подчеркнуть, что сам по себе историзм всегда был важен для культурно-исторической школы и для марксистского литературоведения. Это базовая установка и базовая ценность для исследовательского сознания. Поэтому цель публикаций по поводу

«нового историзма», подчеркивает С. Козлов, — поставить русского читателя в положение Журдена: парадигма, которой практически наш литературовед владеет, называется «новым историзмом». Есть, однако, и различия: русские привыкли соотносить текст с жанровым контекстом, а не социальными институтами; социология литературы в строгом смысле этого слова у нас пока не развита. Однако «новый историзм» пересекается с семиотикой культуры Лотмана — не со структуральной поэтикой, а с его статьями о семиотике поведения, и с его трактовкой образа Хлестакова. Козлов формулирует, чем эта позиция Лотмана близка новому историзму: 1) Лотман соотносит литературу с другими типами дискурса и недискурсивными практиками; 2) затрагивает тему власти и властных отношений; 3) работы Лотмана соотносимы с идеями предшественника «нового историзма» К. Гирца. В конечном итоге Лотман оказывается близок «новому историзму», его идее анализировать синхронные отношения между размытыми видами текста в пределах одной культурной системы. Эта особенность интертекстуального анализа *avant la lettre* (впереди литературы) действительно предложена Лотманом (14, с. 293-325) в его интерпретации образа Хлестакова. Декабрист Ипполит Завалишин, корнет Роман Медокс, о которых ведет речь Лотман, — это не прототипы образа Хлестакова, а *разные* тексты одной культурной системы.

Образцом «нового историзма», хотя и не называемого автором, считается также книга О. Проскурина «Литературные скандалы пушкинской эпохи» (2000). Ее автор подвергает критике текстологию советской эпохи, результаты которой зависели от идеологического контекста текстологической деятельности.<sup>8</sup>

В таком «новоисторическом» ключе было бы, наверно, заманчиво подробно рассмотреть образы фонвизинского Митрофанушки и пушкинского Петруши Гринёва, которых Ключевский в свое время причислил к одному историческому типу, а современные пушкиноведы с этим полемизируют. Из современных работ назовем книги И. Паперно «Семиотика поведения: Николай Чернышевский — человек эпохи реализма» (М., 1996) и «Самоубийство как культурный институт» (М., 1999). В последней, как уже говорилось на том же обсуждении, метафоризация суицида в дискурсе о нем исследуется наряду с воплощением таких «метафор» в людских судьбах. В капитальном труде А. Эткинды «Хлыст. Секты, литература и революция» (М., 1998) грани между собственно литературоведением и социологией, историей явно стираются, автор сам признает, что лучшие образцы «нового историзма» уже не кажутся филологией. Эткинды называет это самоотречением филологии, полагая что «новый историзм» дает шанс филологии на иную жизнь — более творческую, связанную с важнейшими из чувств читателей (37, с. 112). Однако вопрос о «самоотречении» филологии, повторяем, представляется нам спорным.

При всем том, что статья Эткинды подверглась резкой критике со стороны Л. Гудкова и Б. Дубина за упро-

щение проблемы, одним она близка российскому читателю: в ней ощущаются близкие «новому историзму» традиции культурно-исторической школы и марксистского литературоведения. Но в коллизии «Новый историзм» / *русская филология* одни и те же импульсы порождают совершенно разные эффекты. Внимание к господству / подчинению — это компенсация социального бессилия и там, и у нас. Но американские исследователи фактически отождествляют культуру и политику, а русские их противопоставляют, что соответствует ментальности и традиции русского литературоведения. Близость позиций американских и русских исследователей связана с выбором материала и методикой исследования, разница — в существе позиции и пафосе исследователя. Если на Западе марксистские теории активно дополнялись неопрейдизмом, то в России современные литературоведы лишь стремятся уйти от крайностей и догматизма его советского варианта, а в ряде случаев лишь ограничивается заменой идеологических постулатов.

Можно согласиться с теми, кто считает, что «новый историзм» долгое время будет единственным полем взаимодействия русской и американских культур, взаимной диффузией двух дискурсов. Подтверждением является, на наш взгляд, книга М. Макеева «Спор о человеке в русской литературе 60-70 гг. XIX века: Литературный персонаж как познавательная модель человека» (М., 1999). Хотя в ней не встречается термин «новый историзм», но есть ссылки на работы Гирца «Идеология как культурная система» и на послесловие к ней Зорина. Изучение художественного произведения в работах «нового историзма» и в книге Макеева почти рядом. Макеев также ориентируется на исторический и идеологический дискурсы (с апелляцией к Овсяннико-Куликовскому), у него имеет место резкий разрыв с формальными и структуралистскими подходами к тексту, есть так же выпады против формальной школы, в частности, против Б. Томашевского, для которого персонаж лишь подсобное средство для классификации и упорядочения мотивов. Критикуется в этом плане и французский структуралист, и постструктуралист Р. Барт. Но Макеев возражает и против «теории отражения» как слишком прямолинейного понимания идей Маркса: в «теории отражения» искусство теряет свое познавательное значение, а образ сводится к иллюстрации. По Макееву, литература закрепляет явления жизни и возвращает их ей. Таким образом, здесь главной остается проблема восприятия, которая, как мы говорили выше, является центральной проблемой функционального изучения литературы.

Макеев исходит из того факта, что писатель неизбежно является носителем определенной идеологии и проецирует в тексте как ее возможности, так и ее заблуждения. Автор обсуждаемой книги неоднократно повторяет, что вымышленный мир произведения должен соотноситься с образом человека, конструируемым идеологией (15, с. 31). Персонаж как модель человека должен соотноситься со структурой идеологии; только исследуя послед-

нию, мы можем понять структуру литературного персонажа. Вторая составляющая его концепции — эстетические требования красоты, целесообразности, гармонии. Это соотношение, конечно, потенциально конфликтное (здесь, на наш взгляд, слышится отзвук былого антиномичного разделения формы и содержания). Поэтому Макеев предпочитает называть свой труд не литературоведением, а критикой, но критикой научной. Таким образом, в книге Макеева можно увидеть близость к позиции «нового историзма», но без его фрейдистской «закваски».

Выступавшие в дискуссии, соглашаясь с Макеевым, отмечали, что понимание изображенного в тексте человека не может быть ограничено эстетическими требованиями, как бы они ни понимались. И хотя «использовать литературу как материал для «разговора о жизни» безумно сложно и в разных отношениях опасно, но почему-то все-таки хочется...» (20). Сколь ни очевидна ненаучность на сегодня В.О. Ключевского, искавшего «и нашедшего» в русской жизни предков Онегина, или наивность К. Леонтьева, выбиравшего между графом Вронским и графом Толстым, их обаяние, по мнению современных исследователей, и сейчас живо (20). Выступавшие отметили и то, что литература в книге Макеева не уподобляется идеологии, так как репрезентирует живую сложность человека и проблемы его понимания.

Думается, что обе дискуссии — о «новом историзме» и «научной критике» — свидетельствуют о возможностях разных исследовательских подходов, о плодотворности многообразия поисков в науке о литературе.

Есть и другие более специфичные аспекты социологии текста: мы имеем в виду феминистки ориентированное литературоведение (36) и гендерное литературоведение в целом, которое в основном развивается на Западе, но в последние годы заявило о себе и в России. На базе Московского государственного лингвистического университета регулярно проводятся международные научные конференции «Гендер: язык, культура, коммуникация» (1999, 2001), где рассматриваются, в частности, проблемы «Гендер как социокультурный феномен», «Текст и дискурс: гендерные аспекты анализа» и др. Гендерные аспекты литературоведения рассматривались докладчиками не только тематически, не только по линии так называемой «женской» поэзии или прозы, но и на уровне структуры произведений. Был сделан вывод, что за имплицитными концепциями «мужского» и «женского» поэтических текстов стоят устойчивые стереотипы, фиксирующие различия гендерных ролей самопрезентации (Г. Иванченко). Надо отметить специальный выпуск журнала «Филологические науки» (2000, № 3), где представлены образцы гендерного подхода к произведениям писателей разных эпох и уровней — Е. Ган, А. Толстого, А. Марининой и др.

Традиционное социологическое литературоведение, будучи сейчас «не в чести», не утрачивает своего реального значения для познания феномена художественного текста. Мы можем сослаться на собственный опыт социологической интерпретации по-

вести А. Платонова «Котлован» (9). Из других отдельных публикаций современного социологического литературоведения выделим также статью Д. Хикс «Как сделана «Баня» М. Зощенко: Газетно-журнальный контекст рассказов писателя 20-х гг.». Автор досконально рассматривает «газетный аспект» творчества писателя, его установки на документ и на факт, предопределившие введение в рассказ фельетонных приемов, построение сюжета на основе фактов подчеркнутых из читательских и рабкоровских писем. В частности, Д. Хикс усматривает параллели к «Бане» в публикациях журнала «Красный ворон» и видит в них основу зощенковской пародии, сказа, сатиры. Социологический подход, по мнению автора, позволяет постичь истинный характер дарования Зощенко, чего нельзя сказать об исследованиях последних лет. Например, в книге «Михаил Зощенко: поэтика недоверия» (1999) А. Жолковский, стремясь к преодолению культурно-социологических трактовок и делая из Зощенко писателя общечеловеческой психологической проблематики, уводит от творческого своеобразия зощенковской прозы (34).

Отвергая классовый подход к литературе, который оставался за пределами историко-литературного изучения многие истинно художественные ценности («Мастер и Маргарита» Булгакова, «Чевенгур» Платонова и т.д.), искажал и вульгаризировал произведение советской классики, мы, тем не менее, полагаем, что сам по себе социологический подход не ответственен за искажения и вульгаризацию, имевшие место в советском литературоведении. Это объективный научный метод изучения литературы, соотносящий художественный феномен с исторической жизнью, жизнью современного социума с его философскими и нравственными исканиями.. Это важно подчеркнуть не только потому, что без этого трудно объяснить деформацию литературного процесса, имевшую место в 30-40-е гг., но и потому, что в наши дни обновилась парадигма философско-этической интерпретации текста, пересматриваются социологические трактовки. Тем самым открываются широкие возможности для нового понимания историко-литературного процесса в России в XX веке и обновления методологии исследования<sup>9</sup>. Думается, что социологический подход приемлем и для учебных курсов истории литературы, что будет плодотворной интерпретация художественного текста и через призму социологии. (Разумеется, студенты должны при этом хорошо ориентироваться в других областях литературоведения — в исторической поэтике, в мифопоэтике, в сравнительном литературоведении.) Нельзя не согласиться с теми, кто считает: социология художественного текста — наиболее устойчивая и непреходящая доминанта российского литературоведения. Обновляется и будет обновляться далее ее методика, ее соотношение с другими направлениями научной мысли, но остается вечной проблема «Литература и общество», привлекающая внимание исследователей на каждом новом этапе развития истории страны, судьбы народа и отдельной личности.

**ПРИМЕЧАНИЯ**

1. На первый взгляд, социо- и антропоцентризм — понятия антиномичные, что очевидно уже из сопоставления позиций Конта и Спенсера. Однако в первом случае речь идет о влиянии общества на формирование человека, то есть человеческое объясняется социальным, а во втором парадигма, согласно которой человек есть центральное звено и конечная цель мироздания, природа человека изначально мыслится социальной. Но и в том и в другом случае, социальное выступает как необходимое звено в цепи умозаключений. «В споре антропо- и социоцентризма не может быть победителей!» и «поляризация сознания — норма, а не патология» (29, с. 24).
2. Достаточно сказать, что в известном двухтомнике «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве» (М., 1983) имя Гегеля упоминается более 70-ти раз.
3. Напомним читателям такие известные его работы, как «Письма без адреса» (1899-1900), «Французская драматическая литература и французская живопись XVIII в. с точки зрения социологии» (1905), «К психологии рабочего движения» М. Горький «Враги» (1907), «Искусство и общественная жизнь» (1912).
4. Сошлемся на новейшие исследования и оценки «возвращенных» концепций социологов: 12; 24; 26; 27. См. также: 9; 21 и т.д.
5. Вышедшая в 1923 г. работа Г. Лукача «История и классовое сознание» сыграла большую роль в становлении социально-философских аспектов искусствознания. Последователями Лукача были: в СССР — М. Лившиц с его группой, сплотившейся в 30-е гг. вокруг журнала «Литературный критик»; во Франции — Л. Гольдман и социокритики, в Германии — Л. Левенталь.
6. В ряду зарубежных социологических исследований отметим и труды Абраама Моля и прежде всего его «Социодинамику культуры» (М., 1973), рассматривающие указанную проблему с точки зрения информационно-кибернетического подхода. А. Моль формирует представление о социокультурном цикле, важнейшим компонентом которого (в свете теории массовых коммуникаций) является функционирование культурных ценностей в обществе: «...Социодинамика должна быть направлена не на содержательную сторону культуры — идею Бога, идею Родины или идею Холодильника, — а не саму эволюцию» (с. 320). То есть речь идет об ускорении или замедлении эволюции культуры. Поскольку Моль не учитывает содержательный компонент художественного произведения, его концепция в социологическом литературоведении практически не используется.
7. Эти идеи интересно развивает и Ю. Никуличев в статье «К социальной истории русской литературы» (Вопросы литературы. — 1998. — № 6), в частности он разграничивает на материале русской литературы XIX века парадигмы социально-биографические и социально-литературные.
8. Свою позицию в полемике с ниспровергателями его книги Проскурин изложил в статье «История литературы и идеологические контексты» (Новое литературное обозрение. — 2001. — № 50), что тут же вызвало негативную реакцию И. Шайтанова (35, с. 21-23).
9. Примечательно сравнительно недавнее интервью обозревателя журнала «Звезда», взятое у писателя, культуролога и журналиста Михаила Берга. «Социальное отношение — вот что интересовало Берга. Это нормально. «Текстом» уже не интересуется никто», — такова исходная посылка журнала, которую, конечно, нельзя абсолютизировать, но нельзя и не прислушаться к мнению М. Берга: «Если мы убираем социальный фон, то искусство превращается в один из способов самореализации, интересной разве что для рутинных психологов» (31, с. 232).

**БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК**

1. Берковский Н. Мир, создаваемый литературой. — М., 1989.
2. Боров Ю. Критика современных буржуазных эстетических концепций. — М., 1977.
3. Вейдемман Р. Литература как послание // Вышгород-Таллинн. — 1977. — № 4-5.
4. Гирц К. Идеология как культурная система // Новое литературное обозрение. — 1998. — № 29. (Русский перевод фрагмента книги, вышедшей в 1973 г.)
5. Гринблатт С. Формирование «Я» в эпоху Ренессанса // Новое литературное обозрение. — 1999. — № 35.
6. Гудков Л., Дубин Б., Страда В. Литература и общество: введение в социологию литературы. — М., 1998.
7. Давыдов Ю.Н. Искусство как социологический феномен. — М., 1968.
8. Днепров В. Потери: Г.В. Плеханов и эстетика 30-х годов // Литературное обозрение. — 1989. — № 4.
9. Егорова Л.П. Зловещая реальность утопии (опыт социологической интерпретации повести А. Платонова «Котлован») // Анализ художественного текста на школьном уроке (теория и практика). — СПб.-Ставрополь, 1996. — Вып. 2.
10. Живая мысль. К столетию со дня рождения Г.Н. Пospelова. — М., 1999.
11. Зорин А. Идеология и семантика в интерпретации Клиффорда Гирца // Новое литературное обозрение. — 1998. — № 29. (Русский перевод фрагмента книги, изданной автором в 1978 г.)
12. Козлов С. На rendez-vous с «новым историзмом» // Новое литературное обозрение. — 2000. — № 42.
13. Козлов С. Наши «новые историки» // Новое литературное обозрение. — 2001. — № 50.
14. Лотман Ю.М. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. — М., 1988.
15. Макеев М.С. «Спор о человеке» в русской литературе 60-70 гг. XIX века: Литературный персонаж как познавательная модель человека. — М., 1999.
16. Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении (Серия «Бахтин под маской»). — М., 1993.
17. Мелихов А. Если соль перестает быть соленой // Октябрь. — 1999. — № 4.
18. Михайлова М.В. Становление марксистской методологии литературоведческого анализа // Историко-литературный процесс. Методологические аспекты. — Рига, 1989.
19. Монроз Л. Изучение ренессанса: Поэтика и политика культуры // Новое литературное обозрение. — 2000. — № 42.
20. Мотенонайте И.В. «Выпьем за человека, Барон!» // Вестник МГУ. Сер. 9. — 2000. — № 5.
21. Николаев П. Марксистское литературоведение. — М., 1983.
22. Против механистического литературоведения. Дискуссия о концепции В.Ф. Переверзева. — М., 1930.
23. Раков В.П. Из истории советского литературоведения. — Иваново, 1983.
24. Раков В.П. О В.Ф. Переверзеве — по-новому // Контекст-1992. — М., 1993.
25. Садыкова Л. Во времени, в России и в пространстве: Современный читатель в поисках новых прочтений классики // Литературная учеба. — 2001. — № 1.
26. Семенов Е.В. Эвристическое значение оппозиции антропо- и социоцентризма // Психологический журнал. — Т. 15. — 1994. — № 6.
27. Соловьева Н. Английский «новый историзм» // Литературоведение на пороге XXI века. — М., 1998.
28. Соловьева Н.А. «Культурный материализм» — приближение к марксизму? // Вестник МГУ. Сер. 9. — 2001. — № 5.
29. Тартье Р. Автор в системе книгопечатания // Новое литературное обозрение. — 1995. — № 13.
30. Троцкий Л. Литература и революция (Напечатано по изданию 1923 года.) — М., 1991.
31. Труд и референт: Интервью М. Берга журналу «Звезда». Подготовила Надежда Григорьева // Звезда. — 2000. — № 2. — С. 232.
32. Федяев Д.М. Литературные формы приобщения к бытию. — Омск, 1998.
33. Фридлиндер Г.М. Социологические аспекты литературоведения // Фридлиндер Г.М. Методология литературоведческого исследования. — Л., 1984.
34. Хикс Д. Как сделана «Баня» М. Зощенко: Газетно-журнальный контекст рассказов писателя 20-х гг. // Филологические записки (Воронеж). — 2000. — № 14.
35. Шайтанов И. «Бытовая» история // Вопросы литературы. — 2002. — № 2.
36. Шоре Э. Феминистское литературоведение на пороге XXI века. К постановке проблемы (на материале русской литературы XIX в.) // Литературоведение на пороге XXI века. — М., 1998.
37. Эйхенбаум В. Письмо А.С. Долинину от 20. 02. 1914 г. // Звезда. — 1996. — № 5.
38. Эткинд А. «Новый историзм»: русская версия // Новое литературное обозрение. — 2001. — № 47. (В дискуссии по статье также приняли участие И. Смирнов, И. Козлов, Л. Гудков и Б. Дубин.)

## ТРАНСФОРМАЦИЯ КЛАССИЧЕСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОЙ МАССОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В.Д. Черняк  
М.А. Черняк  
Санкт-Петербург

Интертекстуальность является одной из наиболее ярких примет современной литературы, демонстрирующей различные способы оперирования классическим текстом. Говоря о карнавализации языка как отражении карнавализации сознания, В.Г. Костомаров и Н.Д. Бурвикова подчеркивают, что современная проза богата маскарадными иносказаниями, рефлексивными играми, демонстративной цитатностью (5, с. 14). Понятие прецедентного текста становится одним из определяющих в характеристике современной языковой личности и современной языковой ситуации. Представляется важным, что, по данным психолингвистических экспериментов, специфическими аксиологическими знаками, важными в этнических портретах и автопортретах русских, являются антропонимы Пушкин, Толстой, Достоевский, Гоголь, Бунин, Лермонтов, Ломоносов, Тургенев, Солженицын (антропонимы расположены в порядке убывания их частотности в анкетах) (16).

На этом фоне особого внимания заслуживает явление, отчетливо обозначившееся в последние годы: жанровые поиски современной массовой литературы оказались в значительной степени связанными с игровым использованием классического наследия. Литература обнаруживает склонность к созданию вторичных произведений (дайджесты, адаптированные пересказы, комиксы по классическим текстам); заимствуются названия, имитируется стиль, жанр, пишутся продолжения.

В прозе 90-х годов появился целый ряд произведений, отсылающих к классическим образцам: «Накануне накануне» Е. Попова, «Кавказский пленный» и «Андеграунд, или герой нашего времени» В. Маканина, «Новое под солнцем» В. Чайковской, «Последний коммунист» В. Золотухи и др. В этих разных по замыслу и по своим художественным достоинствам произведениях очевиден напряженный диалог авторов с классическим текстом, обеспечивающий их художественную самостоятельность.

В то же время в последние годы в литературе вслед за кинематографом получил распространение жанр ремейка. Ремейк, как правило, не пародирует классическое произведение и не цитирует его, а воспроизводит, наполняя новым, актуальным содержанием: повторяются основные сюжетные ходы, практически не изменяются типы характеров, а иногда и имена героев, но другими оказываются доминантные символы времени. В ремейке неизбежно упрощение классического текста, его сокращение, изменение формальных примет хронотопа. Распространение ремейка, несомненно, является ответом на запросы определенной части читателей. Это «свидетельствует о том, что, с одной стороны, непосредственное восприятие прецедентных текстов становится затрудненным для среднего носителя культуры, но, с другой стороны, знакомство с ним (хотя бы поверхностное) по-прежнему считается желательным для полноценного общения. Ли-

тературная форма, т.е. фактор, сделавший текст прецедентным, может утратить свою актуальность, что не мешает концепту текста функционировать в качестве культурного символа» (15, с. 84).

Анализ круга чтения сегодняшних школьников свидетельствует о печальном факте: десятки имен, создающих многомерное поле культуры, для них не значат ничего, поскольку они им просто не знакомы. Разрастается трещина, связанная с взаимопониманием поколений. Это не может не сказаться и на способности общаться, вести конструктивный диалог.

Прагматический запрос «нового русского читателя» на упрощенное представление необходимых культурных символов выразительно представлен в повести Антона Уткина «Самоучки». Герой повести нанимает студента-филолога, который должен во время поездок по Москве просвещать своего работодателя, пересказывая ему хрестоматийные литературные произведения:

— *Слушай, есть одно дело. Есть один клиент, короче. Сможешь ему растолковать, что там написано, в книгах в смысле? Что за писатель, когда жил, про кого написал? В двух словах. Возможно такое?*

— *Что автор хотел сказать своим произведением, — добавил я, подавив зевок.*

— *Именно, — ответил Павел с ноткой восхищения, показавшего, что я верно угадал требования «клиента».*

— *Ну и кто он такой, чем занимается? — осведомился я. <...>*

— *Да это я, — произнес он, улыбаясь смущенной и вместе с тем счастливой улыбкой человека, делающего сюрприз, прежде всего приятный ему самому. — Я.*

— *А тебе-то зачем?*

— *Нужно, — коротко сказал он. — Мне нужно. Табула раша, — неожиданно произнес он с изяществом младшего Катона.*

— *Как ты сказал? — переспросил я озадаченно. Он повторил.*

— *Кто же это тебя научил таким словам?*

*Паша порылся в кармане и вручил мне затасканный, потертый на сгибах листок, на котором была начертана транскрипция этого древнего изречения.*

— *А то я как баран, — мужественно признался Павел. — Москва все-таки и вообще...*

— *Да ну. Глупости. — Я снял с полки несколько увесистых томов.*

— *Вот, — сказал я и хлопнул ладонью по переплету, — «Война и мир»... — Я вопросительно взглянул на него.*

— *Слышал, — кивнул он, но книги не принял.*

— *Ты что, читать не умеешь? — рассердился я.*

— *Умею вроде, — как-то не слишком уверенно произнес он, — но не могу. Даже газет не читаю. Только платежки — еще куда ни шло (17).*

Резкое снижение уровня читательской компетенции, колоссальное количество культурных лакун, препятствующих общению, в значительной степени вызваны усилением роли аудиовизуальных средств массовой информации. Значительная часть обще-

ства привыкла обучаться не по книгам, а по преподносимым ей с экрана картинкам. Соответственно меняется тип культуры; новым идеям предпочитают новости, размышлениям — зримость факта, телевизионная картинка в силу своей общедоступности становится убедительнее книжного слова.

В одном из ремейков («Отцы и дети» И. Сергеева) автор предлагает описание «читательского багажа» одного из героев, создавая в то же время представление о культурной компетенции своего потенциального читателя:

*Вокзалов сказал:*

— Ты умный человек. Ты читал писателя Астафьева?

— Не. Только слышал. Айтматова слышал. Аксенова слышал. Алешу слышал. Ахмадулина писателя слышал. Шолохова читал. Островского читал. Солженицына читал, у нас в сельпо восемь томов купил и прочитал. Астафьева — только слышал.

Размышляя о падении гуманитарной культуры и о школьном преподавании отечественной словесности, С.Г. Ильенко пишет: «... Прочитанное, прочувствованное и осмысленное создание творца должно быть усвоено (а лучше — *духовно присвоено*) читающими потомками. Увы, читающих потомков становится все меньше и меньше. И ситуация в этом отношении в последние годы не улучшается, несмотря на появление новых интересных учебников по литературе. Более того, наша терпимость к пошлости и нравственной безответственности делает возможным появление многочисленных изданий, способствующих воспроизведению этой самой пошлости и нравственной безответственности» (4, с. 245).

Перераспределение культурных ценностей в литературе, адресованной массовому читателю, изменение репертуара классических культурных ролей предельно четко проявилось в серии «Новый русский роман» издательства «Захаров», предложившего своим читателям книги анонимных авторов: «Федора Михайлова «Идиот», Льва Николаева «Анна Каренина», Ивана Сергеева «Отцы и дети». Эти тексты-трансформы и будут предметом нашего внимания, поскольку они, как своего рода экспериментальный материал, с одной стороны, великолепно демонстрируют разрушительные последствия любого вторжения в целостную ткань художественного текста, а с другой — представляют те модели трансформации, которые, по мнению издателей, должны ответить на запросы гипотетического массового читателя».

Сам издатель Игорь Захаров в интервью журналисту «Огонька» прокомментировал первый роман серии — нового «Идиота» — так: «Современный текст. Из Америки возвращается русский юноша. Знакомится с «братком», потом с фотомоделью, потом с банкиром. И оказывается погружен в гущу страстей: деньги, любовь, жалость, криминал, безумство. Такой триллер с элементами мелодрамы. Или мелодрама с элементами триллера. Если кто-то в этом угадает что-то знакомое, Захарова не касается.... Если люди прочитают моего «Идиота», может, они вернуться к Достоевскому. Я вытаскиваю всем известные книжки из библиотек, из музеев на улицу. Да, при этом книжки пачкаются. Но

я же не запрещаю тебе ходить в музеи. Я думаю, что тексты не должны требовать от человека усилий к их употреблению» (Огонек, 2000, 4 дек.).

Примитивная трансформация, как ржавчина, разъедает все текстовое пространство, уничтожая его смысл и не оставляя места даже для иронии. Игровое начало просматривается, пожалуй, лишь в авторском структурировании текста. Если в романе Ф.М. Достоевского главы не названы, а лишь пронумерованы, то названия глав нового «Идиота» — прецедентные тексты, являющиеся важной частью коллективного современного языкового сознания: «Здравствуйте, я ваша тетя», «Три девицы», «История девушки Мэри, которая любила, да не вышла замуж», «Торг здесь не уместен!», «Генерал Иволгин и рядовой Бельдыев», «Добро пожаловать в высшее общество», «Кто украл бумажник?», «Кто украл бумажник-2?», «Смерть графини Дюбари» и т.д. Названия глав напоминают структуру заглавий массовой литературы, которые также часто строятся на основе прецедентных текстов.

Три трансформированных текста представляют сходные способы оперирования классическим материалом. Наиболее чистый эксперимент по разрушению «вертикального контекста», «контекста эпохи», представляющего совокупность фоновых знаний (2), отражен в книге «Анна Каренина» Льва Николаева. «Анна Каренина-2001» сократилась на одну книгу, поскольку линии Левина в новой версии нет. Перекодировка произведения осуществляется откровенно элементарным способом: при сохранении основных сюжетных линий, имен персонажей (в некоторых случаях они лишь осовремениваются: Долли → Даша, Кити → Катя) идет сокращение и упрощение текста, причем во многих текстовых фрагментах толстовский текст воспроизводится почти дословно. Автор ремейка вносит лишь отдельные, весьма показательные изменения, прежде всего на лексическом уровне.

Для иллюстрации механизмов трансформации рассмотрим начало «Анны Карениной» и «Анны Карениной — 2001»:

*Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме француженкою-гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами семьи, и домочадцами. Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их сожительстве и что на каждом постоялом дворе случайно сошедшие люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день не было дома. Дети бегали по всему дому, как потерянные; англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар ушел еще вчера со двора, во время обеда; черная кухарка и кухер просили расчета.*

*На третий день после ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то есть в восемь часов утра, проснулся не в спальне*

жены, а в своем кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное, выхолненное тело на пружинах дивана, как бы желая опять заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку и прижался к ней щекой; но вдруг вскочил, сел на диван и открыл глаза.

«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да, как это было? Да! Алабин давал обед в Дармштадте; нет, не в Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах, да, — и столы пели: *Il mio tesoro*, и не *Il mio tesoro*, а что-то лучше, и какие-то маленькие графинчики, и они же женщины», — вспоминал он. (Л.Н. Толстой. Анна Каренина).

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с приходившей к детям учительницей английского, и объявила мужу, что не может жить вместе с ним. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно ощущалось и самими супругами, и всеми членами семьи, и родственниками. Все чувствовали, что нет смысла в их сожительстве и что в любой гостинице случайно сошедшиеся люди более связаны между собой, чем они, члены семейства Облонских. Жена почти не выходила из своей комнаты и не брала трубку, мужа третий день не было дома. Дети бегали по огромной квартире московской высотки как потерянные.

На третий день после ссоры Степан Аркадьич Облонский в обычный час, то есть в семь часов утра, проснулся не в спальне, а в своем кабинете, на кожаном диване. Он повернул свое полное, выхолненное тело на пружинах дивана, как бы желая опять заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку и прижался к ней щекой; но вдруг вскочил, сел на диван и открыл глаза.

«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да, как это было? Да! Алабин давал обед в Давосе; нет, не в Давосе, а что-то американское. Да, но там Давос был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах, да, — и столы пели: «Я твой зайка!», или нет, не «Я твой зайка!», а что-то лучше, и какие-то маленькие графинчики, и они же женщины», — вспоминал он. (Лев Николаев. Анна Каренина) (полужирным выделены части текста, подвергшиеся изменениям. — В.Ч., М.Ч.).

Очевидно, что изменения идут по нескольким направлениям:

— элементы лексической структуры текста приспособляются к отражению современной действительности (нередко на уровне наивного сознания):

Стива проснулся в восемь часов утра не в спальне жены → Степан Аркадьич проснулся в семь утра не в спальне; французская гувернантка → учительница английского языка; постоялый двор → гостиница; комнаты → комната; Дети бегали по всему дому → Дети бегали по огромной квартире московской высотки;

— потенциально агнонимичная для современного читателя лексика (9) заменяется или вообще исключается из текста; сафьянный диван → кожаный диван, — осуществляется замена собственных имен на актуальные для современного читателя: Дармштадт → Давос;

— осуществляется замена прецедентных текстов: *Il mio tesoro* → «Я твой зайка!».

В результате подобных замен нового вертикального контекста не создается, отдельные маркеры эпохи остаются лишь этикетками, «фишками»<sup>1</sup>. Ср. в «Анне Карениной»: «прошлогодний дефолт», суперавтомобиль «порше», коробочка «Коркунова», глянцевые журналы, «Каренин был важным лицом в Смольном», Левин в провинции «уже пять лет занимался чем-то вроде «обустройства России» по Солженицыну», «Вронский отправился на Ленинградский вокзал», Гриша «разбирал по слогам «Трое из Простоквашино», «Сереза рассказывал матери о том, как мальчик из класса дал ему новую компьютерную игру», «Вронский нашел у себя на автоответчике послание от Анны», «в Москве их уже ждала подготовленная Степаном Аркадьичем трехкомнатная квартира в новом доме лужковской архитектуры на улице Стасовой» и т. п.

«Ориентация на адресата определяет особый характер сигналов (прежде всего лексические единицы), к которым прибегает автор. Эти сигналы возбуждают читательское воображение, вызывают образы соответствующей ситуации», — пишет Н.С. Болотнова (1, с. 222), однако в трансформациях, подобных приведенным выше, образ примитивного читателя, на которого ориентируется автор, заведомо исключает какую-либо установку на создание многомерного текстового пространства и не предполагает актуализации читательского воображения.

В тексте «Отцов и детей» Ивана Сергеева иронически обыгрывается сам феномен ремейка.<sup>2</sup> Герой романа Евгений Вокзалов описывает новинки сетевой литературы:

— Вот Слава Курицын в своем журнале пишет, будто какой-то сетевой автор сочинил типа римейк «Отцов и детей». Процентом на восемьдесят все там оставлено, как было, но многое освежено. К примеру, Базаров и Аркадий приезжают к Кирсановым с мобильным телефоном и ноутбуком — прикинь, прямо как мы с тобой, — Вокзалов кивнул Николаше.

— Клонированные «Отцы и дети», — покачал головой Константин Петрович. — Лучше оставили все как было, а не переписывали на двадцать процентов.

В «клонированном» тексте автор делает установку на восприятие лишь поверхностного смысла — иной при трансформации просто уничтожается. Слегка трансформированные цитаты в начале и в конце романа, переключки собственных имен (Аркаша — Николаша, Николай Петрович — Максим Петрович, Евгений Базаров — Евгений Вокзалов, Анна Сергеевна Одинцова — Елизавета Сергеевна Леденцова и т.п.) и некоторых сюжетных линий — вот, пожалуй, и все, что связывает исходный классический текст и его современную трансформацию. Остальное — примитивный сюжет, лишённые какой-либо мотивации поступки героев — служит своего рода рамкой для китчевых вставок, этикеток времени. Ср., например: «сотовый телефон Motorola», «серебристый Volvo», «запотевшая жестянка Pepsi», «мебель из магазина IKEA», «плисовые джинсы и плисовая же зеленая куртка с эмблемой Nike»; «американцы расшифровали геном человека»; «перед концертом предложили гостям

аперитив, а по окончании концерта, переходя к танцам, — фуршет».

«Пародирование, вышучивание, травестирование лозунгов, призывов, всем известных фраз — это одно из самых частых средств выразительности», — пишет Е.А. Земская во введении к книге «Русский язык конца XX столетия», относя эту характеристику прежде всего к языку СМИ (13, с. 22), однако эти же процессы наблюдаются и при обращении к массовой литературе последнего десятилетия.

Отмечая особую значимость интертекстуальных переключений в современной литературе, М. Эпштейн пишет: «...теперь кавычки уже так впитались в плоть каждого слова, что оно само, без кавычек, несет в себе привкус вторичности, который стал просто необходим, чтобы на его фоне стала ощутима свежесть его повторного употребления» (19, с. 281). Однако для достижения отмеченного эстетического эффекта («ощущения свежести от повторного употребления») необходимо, как минимум, наличие необходимой текстовой компетенции у читателя. Нельзя не учитывать, что «элитарный читатель отличается от массового не отбором текстов, а способностью к критическому осмыслению любого из них. В его эстетической компетенции находятся и тривиальные, и фундаментальные тексты, и переходные — такие, в которых за простотой форм может скрываться интеллектуальное содержание, или такие, в которых сложная стилевая структура не подкреплена в содержательном плане. Массовый читатель — более бедный интерпретатор: его литература — это только тривиальные тексты и «тривиальный слой» в переходных образцах» (7, с. 119).

Внешние признаки интертекстуальной игры в рассматриваемых произведениях есть. Так, в «Анне Карениной-2001» Анна достает из сумочки «роман немецкого писателя о парижской жизни XVIII века, чрезвычайно модный в Европе лет десять назад»; передавая то, как Анна «следит за отражением жизни других людей», Лев Николаев предлагает пересказ романа П. Зюскинда «Парфюмер». В романе Ивана Сергеева «Отцы и дети» попытка интертекстуальной переключки начинается уже с посвящения. Роман И.С. Тургенева «посвящается памяти Виссариона Григорьевича Белинского»; роман Ивана Сергеева — «памяти Сергея Анатольевича Курехина», музыканта, смело трансформировавшего классические мотивы в ультрасовременных композициях, однако в сконструированном антиэстетичном текстовом пространстве, несмотря на почти дословные совпадения с текстом-источником в начале и в конце книги, интертекстуальность оказывается нелепым украшением.

Как известно, СМИ, в первую очередь, телевидение, стали теми мощными каналами, через которые идет массированное вторжение субстандарта в лексикон современной языковой личности. Ключевое слово «массовый», указанием на адресата объединяющее средства массовой информации и массовую литера-

туру, определяет многие сущностные качества текста и, в первую очередь, его язык. Нельзя не согласиться с тем, что «к концу столетия язык художественной литературы утрачивает нормотворческую значимость. Восприимчиком этой функции становится язык медиальных средств», ориентация на массовую аудиторию требует максимального приближения вербальной оболочки текстов к узусу массовой аудитории, «усреднения», «массовизации» речевого стандарта, «подбора общедоступных, общепонятных средств» (11, с. 100). Современная массовая литература отражает этот процесс, воплощая примитивизацию языка и, как следствие, примитивизацию картины мира. Выразителен в этом отношении фрагмент из «Отцов и детей» И. Сергеева:

*Лизе хотелось успеть выяснить напоследок что-то важнейшее, про что не решалась она во все истекшие дни заговорить с Евгением.*

*— Женя, за что ты ненавидишь Окуджаву? — тихо спросила она.*

*— За то, что знает: надеяться не на что, все лажа, будет еще хуже, а вам говорит: «Возьмемся за руки, друзья». Какие друзья?! Ты знаешь, кто эту песенку поет? Ее Гамлет поет корешам своим Гильденстерну и Розенкранцу, которые его предали, но он, хитрожопый, нашел у них письмо со смертным приговором ему, Гамлету, — и подменил, и теперь их самих порешат. «Офелия всех нас помянет», — он им поет; ну да, она тоже ведь из их тусовки...<...> Так ведь и она Гамлета предала, струсила! Каждый предатель, каждый трус и лжец, но держатся за ручки — и все типа нормально...*

Несмотря на обилие текстовых реминисценций, «осознанных vs. неосознанных, точных vs. преобразованных цитат или иного рода отсылок к более или менее известным ранее произведенным текстам в составе более позднего текста» (17, с. 17), никакой постмодернистской игры мы здесь не наблюдаем. Налицо перевод одного художественного кода в другой на смысловом уровне, это уже не цитация, а деформация текста. По отношению к рассмотренным текстам вполне справедливы слова Ю.М. Лютмана: «Суррогаты искусства вредны своей агрессивностью. Они имеют тенденцию обволакивать подлинное искусство и вытеснять его» (6, с. 18). В очень точной рецензии на роман Ф. Михайлова «Идиот» С. Иванова пишет: «Что же получилось в результате этого эксперимента? Получилась очень плохая литература. Герои переместились отнюдь не в «наши дни», а в некое мертвое поле, пространство компьютерной игры, фигуранты которой — просто куклы, сделанные неумелой рукой. Они все существуют в каком-то вакуумном времени, в лакуне, внеположной любому представлению о литературе, какой бы она ни была» (3). «Новый русский роман», лишившись неповторимых качеств классического текста, не стал и явлением массовой культуры, поскольку образ адресата, читателя оказался столь же аморфным, сколь и образ анонимного автора.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. ФИШКА, 7. Мол. Какая-л. особенность, сущность, специфическая черта чего-л., тенденция и т.п. Сергей Лемов в последнем альбоме использовал этнические фишки. ОРТ, 21.11.96 (8, с. 628)
2. «Толковый словарь иностранных слов» Л.П. Крысина отмечает орфографическую вариантность: ремейк и римейк, наблюдаемую и в рассмотренных нами текстах.



**БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК**

1. Болотова Н.С., Бабенко Н.И., Васильева А.А. и др. Коммуникативная стилистика художественного текста: лексическая структура и идиостиль. — Томск, 2001.
2. Гоббенет И.В. Основы филологической интерпретации литературно-художественных текстов. — М., 1991.
3. Иванова С. Новый русский идиот. Федор Михайлов. Идиот. Роман. М., «Захаров», 2001, 429 стр. // Новый мир. — 2002. — № 2.
4. Ильенко С.Г. Феномен Грандисона и его противоядие (о недугах школьного обучения отечественной словесности) // Образование и культура Северо-Запада России. — СПб., 1999. — Вып. 4.
5. Костомаров В.Г., Бурвикова Н.Д. Старые мехи и молодое вино. Из наблюдений над русским словоупотреблением конца XX века. — СПб., 2001.
6. Лотман Ю.М. Культура и взрыв. — М., 1992.
7. Маркасова О.А. Тексты массовой литературы в когнитивном аспекте // Проблемы интерпретационной лингвистики: автор — текст — адресат. — Новосибирск, 2001.
8. Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Большой словарь русского жаргона. — СПб., 2000.
9. Морковкин В.В., Морковкина А.В. Русские агнонимы (слова, которые мы не знаем). — М., 1997.
10. Михайлов Ф. Идиот. — М., 2001.
11. Нещименко Г.И. Динамика речевого стандарта современной публичной вербальной коммуникации: проблемы, тенденции развития // Вопросы языкознания. — 2001. — № 1.
12. Николаев Л. Анна Каренина. — М., 2001.
13. Русский язык конца XX столетия (1985-1995). — М., 2000.
14. Сергеев И. Отцы и дети. — М., 2001.
15. Слышкин Г.Г. От текста к символу: Лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании и дискурсе. — М., 2000.
16. Сорокин Ю.А. Речевые маркеры этнических и институциональных портретов и автопортретов (Какими мы видим себя и других) // Вопросы языкознания. — 1995. — № 6.
17. Супрун А.Е. Текстовые реминисценции как языковое явление // Вопросы языкознания. — 1995. — № 6.
18. Уткин А. Самоучки // Новый мир. — 1998. — № 12.
19. Эпштейн М. Постмодерн в России. — М., 2000.

## ОПЫТ ПРАГМА-СЕМИОТИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕКСТА ПОВЕСТИ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «ЗАПИСКИ ИЗ ПОДПОЛЬЯ»

К.Ф. Седов  
Саратов

В соответствии с методологическими установками, заявленными в названии статьи, мы рассматриваем текст — первичную и исходную данность любого гуманитарного исследования — как высказывание, дискурс, в структуре которого выражена особая форма взаимоотношений творца и созерцателей. «Эстетический объект, — писал М.М. Бахтин, — никогда не дан как готовая вещь. Он всегда задан, задан как интенция, как направленность художественно-творческой работы и художественно-созерцательного созерцания. Вещно-словесная данность произведения является, таким образом, лишь материальной средой общения, в которой только и реализуется эстетический объект, является лишь суммой стимулов художественного впечатления (выделено нами. — К.С.)» (2, с. 502-503).

Система изобразительных средств литературного произведения призвана одновременно выполнить несколько коммуникативных заданий. Прежде всего, это задачи моделирования действительности. Иными словами, за текстом всегда стоит целостная идеальная модель действительности (хронотоп), которая имеет пространственно-временные характеристики. Она возникает в сознании творца в ходе порождения текста, и она же должна (в идеале) возникнуть в воспринимающем сознании в процессе эстетической коммуникации. Пространственно-временной континуум образует внешнюю среду обитания героев с их субъективными кругозорами. Герой литературного произведения — «упорствующая (упругая, непроницаемая) реальность» (1, с. 173), которая противостоит авторскому своеволию и живет в соответствии с «логикой характера». Перемещения героев, поступки, ими совершаемые, составляют то, что традиционно носит название фабулы произведения, а характер представления фабулы в тексте — его сюжета.

И герои с их внутренними кругозорами, и внешнее окружение действующих лиц «обываются» (М.М. Бахтин) авторским ценностным кругозором. В литературном произведении художественный мир показан воспринимающему через аксиологическую призму, систему категорий индивидуального авторского видения мира. Авторский кругозор не затрагивает художественного мира, но каждый момент восприятия этого мира интонирован автором, пронизан авторским отношением. Воплощая в себе мироотношение создателя текста, авторское начало несет в себе центральную предпосылку эстетической целостности произведения.

Указанные компоненты художественного дискурса, так или иначе, входят в поле зрения читателя (интерпретатора). Важно подчеркнуть, что процесс эстетической коммуникации протекает отнюдь не стихийно: он (иногда — не вполне осознанно) планируется автором в момент создания произведения, и установка на адресата становится фактором, имманентным художественному тексту. И в этой связи художественный текст мы рассматриваем как оформленную в соответствии с эстетическими ка-

нонами программу восприятия, в которой очеловеченная, одушевленная модель действительности дана созерцателю через призму аксиологического видения автора (подробнее см.: 11).

В соответствии с различной функциональной природой внутритекстовых элементов организации художественного восприятия можно выделить уровни текстовой структуры. Охарактеризуем эти уровни.

**1.** Уровень денотативный, элементы которого выполняют задания моделирования целостного в пространственно-временном отношении мира произведения, организации фабульно-сюжетного движения повествования.

**2.** Уровень психологический включает в себя все, что связано с восприятием героя, его внешнего облика и внутреннего мира.

**3.** Уровень аксиологический, содержанием которого выступает система принципов передачи авторского отношения к изображаемому, формы проявления авторского кругозора.

Поуровневое погружение в текст, на наш взгляд, есть путь понимания (интерпретации) произведения в его эстетической целостности. Он совмещает в себе задачи реконструкции художественного мира и постижение способов демонстрации этого мира адресату текста.

Для работы с текстом как материальным образованием необходим инструмент композиционного анализа, позволяющий сегментировать дискурс, манипулировать компонентами, его составляющими. Такой методикой интерпретации текста является подход, известный как «учение о точке зрения». Со времен П. Лаббока (16), впервые заявившего о нем в своей работе, это направление широко распространилось в науке о литературе (см.: 6; 9; 15). Нужно сказать, что само возникновение учения о точке зрения обязано кинематографической практике, ибо уже в начале 20-го века пионеры кино (Л. Кулешов, С. Эйзенштейн, Б. Балаш и мн. др.) широко использовали словосочетание «точка зрения» в своих работах (см.: 12).

Под термином «точка зрения» мы понимаем точку зрения читателя, способную перемещаться во времени и в пространстве художественного мира произведения, проникать во внутренний кругозор персонажей, подниматься в мир авторских этических ценностей. В качестве единицы изучения мы будем рассматривать сегмент текста, выполняющий единое функциональное задание на одном из уровней повествовательной структуры. Многоуровневая система меняющихся точек зрения, воплощающая в себе модель читательского восприятия, составляет композицию художественного произведения. Техника понимания текста должна строиться по принципу герменевтического круга: сегмент текста, реализующий прагматическое задание, всегда рассматривается как часть целого, как элемент художественного единства.

Обратимся, наконец, к тексту повести Ф.М. Достоевского. Неоднократно отмечалось, что «Записки из подполья» играют в творческой эволюции писателя роль этапного произведения, свидетельствующего о переходе к качественно новой стадии формирования

поэтики. Именно в нем писатель нащупал особую манеру повествования, разработал и впервые использовал особые художественные принципы организации взаимоотношений «автор — герой — читатель». В нем же он нашел своего героя — идеолога с расщепленным сознанием. А.Б. Креницын, обобщая признаки этого типа героя Достоевского, выделяет у него следующие черты личности: «Это одновременная способность к добру и злу, при крайней противоречивости стихийных порывов. Необыкновенно усиленное самосознание (от книг), возмещающее отсутствие реальной жизни («усиленно самопознающая мышь»). Беспрестанная саморефлексия, презрение к себе и комплекс неполноценности, стыд самого себя, «отвлеченность», «книжность» мышления. Бесхарактерность и неспособность к действию из-за раздвоенности и разнородности побуждений (новоявленный гамлетизм). Человеческая ненавистничество и озлобленная агрессия, провоцирующие многочисленные скандалы» (7, с. 25).

Знаменая новую ступень художественного мастерства писателя, повесть вошла в русскую литературу как законченный шедевр малой формы, как произведение новаторское и уникальное по своим эстетическим особенностям. Необычность принципов построения текста долгое время заставляли читателей и достаточно искушенных критиков отождествлять героя-повествователя и автора повести. Одним из первых, кто дал ключ к пониманию соотношения этих компонентов художественного мира повести, был А.П. Скафтымов. «Записки из подполья», — указывал исследователь, — произведение полемическое. Это было замечено давно. Совершенно верно также, что роль обличителя и разрушителя здесь во многом вверена подпольному человеку, от лица которого излагаются «Записки». Но ведь столь же очевидно, что подпольный человек в «Записках» не только обличитель, но и обличаемый. Общая концепция «Записок» совершенно ясно говорит, где Достоевский сливается с обличителем-героем и в чем, наоборот, обличает его и противопоставляет его мироотношению свое, авторское» (13, с. 90).

Весьма оригинально начало повести: «Я человек больной... Я злой человек. Непривлекательный я человек. Я думаю, что у меня болит печень. Впрочем, я ни шиша не смыслю в моей болезни и не знаю наверное, что у меня болит...» (т. V, с. 99).<sup>1</sup> Оно несет в себе нарушение канонов зачина, того, что в лингвистике текста получило название нормы текстовости. Читатель не находит в нем обычных для текстового зачина обозначений границ хронотопа художественного мира, ему не представлен герой, чей голос он как бы слышит за пустым кадром.

По своей структуре повесть состоит из двух неравных частей: I часть — «Подполье» (здесь повествователь описывает свое подполье, полемизирует с философией рационализма и верой в прогресс); II часть — «По поводу мокрого снега» — включает в себя (1) рассказ о «поединке» с офицером, (2) описание встречи с товарищами, (3) сцену проводов одноклассника Зверкова, (4) сцену в публичном доме (знакомство с Лизой), (5) сцену посещения Лизой рассказчика.

Первая часть повествования («Подполье») представляет собой диатрибу — разговор с отсутствующим (вообра-

жаемым) собеседником. Эта исповедальная разновидность рассказа от первого лица (Icherzahlung), в котором динамика восприятия строится на внутренней диалогичности рассказа. Лучше всего эту двуголосность слова повествователя охарактеризовал М.М. Бахтин. «Уже с первой фразы, — пишет исследователь, — речь героя начинает корчиться, ломаться под влиянием предвосхищаемого чужого слова, с которым он с первого же шага вступает в напряженнейшую внутреннюю полемику. <...> Это предвосхищение обладает своеобразной структурной особенностью: оно стремится к дурной бесконечности. Тенденция этих предвосхищений сводится к тому, чтобы непременно сохранить за собой последнее слово. Это последнее слово должно выражать полную независимость героя от чужого взгляда и слова, совершенное равнодушие к чужому мнению и чужой оценке» (3, с. 392-394).

Действительно, нет ничего из того, чего бы герой не знал о себе, не предвосхищал в возможном о себе слове читателя.

*«— И это не стыдно, и это не унижительно! — может быть, скажете вы мне, презрительно покачивая головами. — Вы ждете жизни и сами разрешаете жизненные вопросы логической путаницей. И как назойливы, как дерзки ваши выходки, и в то же время как вы боитесь! <...> Вам, может быть, действительно случалось страдать, но вы нисколько не уважаете своего страдания. В вас есть и правда, но в вас нет целомудрия; вы сами из мелкого тщеславия несете вашу правду на показ, на позор, на рынок... <...> Разумеется, все эти ваши слова я сам теперь сочинил. Это тоже из подполья» (т. V, с. 121-122).*

В работах достоевцев (10; 13; 14; и др.) подробно прокомментирована первая часть повести, где повествователь излагает свою этическую философию. Советские литературоведы неоднократно писали о критических выпадах против революционеров-разночинцев, которые присутствуют в рассуждениях рассказчика, о его скрытой полемике с Н.Г. Чернышевским и М.Е. Салтыковым-Щедринным. Более того, в своей отрицающей, критикующей части размышления подпольного антигероя очень близки мыслям самого Достоевского. Прежде всего, это относится к отрицанию писателем возможности построения всеобщего счастья путем подавления свободы личности. Именно эта полемика с революционерами-демократами стала причиной достаточно прохладного отношения советского достоевеведения к повести. Однако, как лучше всего показал А.П. Скафтымов, критика рационализма и, отчасти, романтического утопизма героем проводится с позиций, чуждых общей тональности последней части повести: с точки зрения крайнего индивидуализма.

Первая часть повести имеет большое значение для введения читателя в мир произведения. В письме брату (от 26 марта), жалуясь на произвол цензоров, писатель сам определяет место первой части в структуре повести: «Свиньи цензора, там, где я глумился над всем и иногда богохульствовал для виду, — то пропущено, а где из всего этого я вывел потребность веры и Христа — то запрещено» (т. XXVIII (2), с. 73). Иными словами, писатель говорит о том, что роль первой части состоит не в ее философско-идеологическом содержании высказываемых по-

вествователем суждений, а в выполнении задач введения читателя в мир произведения, создания динамики художественного восприятия.

Точка зрения читателя при первых словах повествования как бы лишена денотативного содержания; она реализуется лишь на уровне героя (психологическом). Читатель (вместе с рассказчиком) как бы находится в метапространстве и метавремени по отношению к хронотопу повести. Подобный прием организации восприятия уместно сравнить с закадровым комментарием, который кинозритель слышит при пустом, затемненном экране. При этом с самых первых слов повествования точка зрения читателя не совмещается с точкой зрения героя (повествователя) — она противопоставлена ей. Рассказчик примеряет читателю разные маски, роли, приписывает ему мнения, оценки и спорит с созданными в собственном воображении позициями, стремясь развенчать их. Однако, моделируя возможные точки зрения своих возможных читателей, адресатов публичной исповеди, создавая высокий градус саморазоблачения и самобичевания, повествование добивается эффекта введения читателя в субъективный психологический кругозор героя.

Читатель поначалу сталкивается с повествователем лишь с одной стороны — с тем, что в антропоцентрической лингвистике получило название «языковая личность», т.е. человек в его способности к коммуникации, к совершению речевых действий (см.: 5). Не видя героя-повествователя, читатель лишь слышит его речь. При этом повествование строится не на основе сказовой манеры, моделирующей (или стилизующей) особенности устной речи действующего лица. Исповедальный монолог организован по законам речи письменной. Подобный тип построения дискурса в современной антропоцентрической лингвистике получил название естественной письменной речи, т.е. письменной спонтанной (неподготовленной) речи. Именно этим художественно мотивирована необработанность стиля повести, кажущееся «небрежение словом» (см.: 8).

Еще не видя действующего героя, читатель погружается в его идеологический кругозор. Он узнает о содержании мыслей и переживаний персонажа-повествователя, о его представлениях о мире и о себе в этом мире, т.е. сталкивается с аксиологическим слоем сознания изображаемого человека. Как и любое языковое сознание, сознание повествователя наполнено чужими голосами: прецедентными фразами, цитатами, реминисценциями, аллюзиями и т.п. Читатель отсылается к различным социальным сферам, философским направлениям, публицистическим произведениям. Так, например, одной из частотных реминисценций в тексте выступают словосочетания, типичные для эстетических трактатов философов-романтиков («все прекрасное и высокое» (т. V, с. 102) и т.д.). Другой пример — самоцитация; здесь выражение, характерное для публицистики журналов «Время» и «Эпоха», приводится в кавычках:

*«Я вас прошу, господа, прислушайтесь когда-нибудь к стонам образованного человека девятнадцатого столетия, страдающего зубами <...>, когда он начнет стонать*

*<...>, не так, как какой-нибудь грубый мужик, а так, как человек, тронутый развитием и европейской цивилизацией стонет, как человек «отрешившийся от почвы и народных начал», как теперь выражаются» (т. V, с. 107).*

Цитаты и аллюзии дополняются введением собственной терминологии. При этом в рассуждениях героя деталь, приведенная для иллюстрации какого-либо положения, приобретает обобщающе-символическую семантику.

*«<...> может быть, что вся-то цель на земле, к которой человечество стремится, только и заключается в этой беспрерывности прогресса достижения, иначе сказать — в самой жизни, а не собственно в цели, которая, разумеется, должна быть не что иное, как дважды два четыре, то есть формула, а ведь дважды два четыре есть уже не жизнь, господа, а начало смерти. <...> Дважды два четыре — ведь это, по моему мнению, только нахальство-с. Дважды два четыре стоит фертом, стоит поперек вашей дороги руки в боки и плюется <...>» (т. V, с. 118-119).*

Особую роль в структуре повествования играет курсив, при помощи которого писатель как бы расставляет акценты, выделяет наиболее важные для подпольного парадоксалиста мысли («<...> хотеть можно и против собственной выгоды, а иногда и положительно должно (это уж моя идея)» — т. V, с. 113).

Первая глава создает эффект многоголосия в одном голосе, того, что М.М. Бахтин называл самораскрытием, раскрытием сознания действующего лица. Читатель и герой поначалу как бы беседуют один на один, с глазу на глаз, находясь в метатекстовом слое художественного мира, который выступает будущим по отношению к основным событиям сюжета.

В конце первой части герой-рассказчик как бы дает ключ к дальнейшему пониманию текста, раскрывает основную мотив повествования, обнажает причину, побудившую его взяться за перо:

*«<...> может быть, я от записывания действительно получу облегчение. Вот нынче, например, меня особенно давит одно давнишнее воспоминание. Припомнилось оно мне ясно еще на днях и с тех пор осталось со мною, как досадный музыкальный мотив, который не хочет отвяжаться. <...> Я почему-то верю, что если я его запишу, то оно и отвяжется. Отчего же не испробовать» (т. V, с. 123).*

Здесь мы наблюдаем эффект, схожий с эффектом психоаналитического сеанса: пытаюсь вызвать те же чувства, которые рассказчик испытал однажды, он стремится освободиться от мучительных воспоминаний, от чувства вины...

Переход от первой ко второй части содержит в себе плавное изменение способа повествования. Достоевский сравнивал его с принципом изменения темы в музыкальном произведении. «Ты понимаешь, — писал он брату 13-14 апреля 1864 г., — что такое переход в музыке. Точно так и тут. В 1-й главе, по-видимому, болтовня; но вдруг эта болтовня в последних 2-х главах разрешается неожиданной катастрофой» (т. XXVIII (2), с. 85).

В начале второй части рассказ постепенно обретает зримые контуры: к приемам построения точки зрения на психологическом уровне подключается денотативный ряд. Прежде всего, это находит выражение в эпизоде с офицером, оскорбившим повествователя в бильярдной, в описании вынашивания мес-

ти и самой «месты» (столкновения на Невском проспекте). Изменение «тона» повествования приводит к изменению соотношения точек зрения рассказчика и читателя: почти незаметно исчезает противопоставление читателя и героя, читатель как бы начинает вместе с повествователем созерцать первые сюжетные события. Однако нужно еще раз подчеркнуть, что изменения тона не носят резкого характера. Сам рассказ об офицере пока еще дается в косвенных формах. События еще не имеют четкой привязки к реальному времени.

*«Раз, проходя ночью мимо одного трактиришка, я увидел в освещенное окно, как господа киями дрались у биллиарда и как одного из них в окно спустили»* (т. V, с. 128).

Здесь больше комментариев, чем изображений конкретных событий; отсутствует прямая речь действующих лиц, почти нет описаний интерьера, портретов и т.п. Значительную часть текста этой главы составляют рассуждения, анализ внутренних переживаний героя и т.п. Точка зрения читателя пока еще находится вне моделируемого хронотопа. Читатель созерцает описываемые события из метатекстового мира сорокалетнего героя, с точки зрения будущего по отношению к создаваемой реальности.

Однако уже в описании истории с офицером рассказ обретает вещность: мимолетные характеристики внешности людей («Я испугался того, что меня все присутствующие, начиная от нахала маркера до последнего протухлого и угреватого чиновника, тут же увивавшегося, с воротником из сала, — не поймут и осмеют, когда я буду протестовать и заговорю с ними языком литературным» — т. V, с. 129), описание некоторых деталей одежды («Черные перчатки казались мне солиднее и бонтоннее, чем лимонные, на которые я посягал сначала. «Цвет слишком резкий, слишком как будто выставиться хочет человек», и я не взял лимонных» — т. V, с. 131) и т.п.

В следующей, самой большей части повести (рассказ о встрече героя с одноклассниками и история с Лизой), тон повествования меняется еще больше: в нем начинают появляться изобразительные регистры речи. Рассуждения и анализ переживаний остаются, но уходят на периферию рассказа. Здесь уже мы имеем дело не столько с рассказом о событиях, сколько с показом событий вербальными средствами. Меняется способ моделирования действительности: точка зрения созерцателя на денотативном уровне плавно перемещается внутрь изображаемого хронотопа. Теперь она начинает сопровождать героя «на коротком приводе» (Д.С. Лихачев), следуя за ним в том же пространстве и времени. Вместе с тем в рассказе появляются изображения портретов, интерьеров; в описании действия все большую роль начинает играть речь действующих лиц, их диалоги.

*«Из двух гостей Симонова один был Ферфичкин, из русских немцев, — маленький ростом, с обезьяньим лицом, всех пересмеивающий глупец, фафаронишка и игравший в самую щекотливую амбициозность, хотя, разумеется, трусишка в душе. <...> Другой гость Симонова, Трудолюбов, была личность незамечательная, военный парень, высокого роста, с холодной физиономией, довольно честный, но преклоняющийся перед всяким успехом и способный рассуждать только об одном производстве»* (т. V, с. 137).

Меняется тон рассказа и на психологическом уровне повествовательной структуры: исчезает сорокапятый герой, вспоминающий о своем прошлом, на его место приходит двадцатичетырехлетний молодой человек с его поступками, чувствами, мыслями и т.п. Основной принцип повествования во второй части повести, основная задача организации художественного восприятия состоит в постепенном переключении точки зрения читателя на уровне психологии на точку зрения героя таким образом, чтобы читатель как бы начал созерцать события, составляющие фабулу произведения, глазами героя, испытывать те же чувства, что испытывает герой. В кинематографе подобный прием киноповествования называется «эффектом субъективной камеры», когда глаз зрителя отождествляется с камерой (обычно подобный эффект достигается изменением ракурса изображения, повторами, манипуляциями со светом и т.д.).

Слияние точек зрения читателя и рассказчика на психологическом уровне происходит методом наращивания динамики восприятия: чем выше градус психологического напряжения описываемого события, тем больше субъективизируется точка зрения читателя. При этом сюжетное развитие образует своеобразный пульсирующий темпоритм: рассказ достигает психологического апогея, потом напряжение спадает и опять постепенно нарастает до кульминации.

Указанная тенденция развития действия хорошо прослеживается в изменении повествовательной манеры от сцены встречи с одноклассниками до финала проводов Зверкова. Сначала читатель лишь «слышит» диалог действующих лиц. Затем в рассказе появляется изображение внутренней речи подпольного героя:

*«— Ведь дернуло же, дернуло же выскочить! — скрежетал я зубами, шагая по улице»* (т. V, с. 138).

Дальнейший рассказ показывает усиление психологического напряжения переживаний героя, его раздражение оттого, что он оказывается в ресторане раньше других гостей и т.п. В сцене прощания с Зверковым он напивается и пытается устроить скандал. Перемещение точки зрения читателя в кругозор героя осуществляется вкраплением прямой речи в повествование о событиях.

*«Все меня бросили, и я сидел раздавленный и униженный. «Господи, мое ли это общество! — думал я. — И каким дураком я выставил себя перед ними»* (т. V, с. 144).

*«Всеми силами я хотел показать, что могу и без них обойтись; а между тем нарочно стучал сапогами, становясь на каблуки. <...> «Так хожу себе, и никто не может мне запретить»* (т. V, с. 147).

В дальнейшем комментарий от повествователя превращается в диалогизированный поток сознания пьянеющего человека.

*«— Так вот оно, так вот, наконец, столкновение-то с действительностью, — бормотал я, сбегаю стремглав с лестницы. — Это, знать, уже не папа, оставляющий Рим и уезжающий в Бразилию; это, знать, уже не бал на островах Комо!*

*«Подлец ты! — пронеслось в моей голове, — коли над этим смеешься»* (т. V, с. 148).

И дальше:

*«Как войду, так и дам. Надобно сказать перед пощечиной несколько слов в виде представления? Нет! Просто войду»*

и дам. Они все будут видеть в зале, а он на диване с Олимпией. Проклятая Олимпия! Она смеялась над моим лицом и отказалась от меня. Я оттащу Олимпию за волосы, а Зверкова за уши! Нет, лучше за одно ухо и за ухо проведу его по всей комнате...» (т. V, с. 149).

После того, как рассказ достигает психологической кульминации, взвинченность атмосферы резко спадает и в дальнейшем сюжет развивается более спокойно. При этом пульсация сохраняется: напряжение то появляется (и тогда читатель опять начинает смотреть на происходящее глазами героя), то понижается (и тогда точка зрения читателя отстраняется от точки зрения действующего лица, оставаясь, впрочем, в одном с ним времени и пространстве).

Следующая сцена представляет собой диалог героя с Лизой, а точнее — его диалогизированный монолог, в котором он пытается «растравить» душу Лизы, разбудить ее самосознание, и, в итоге, дает ей свой адрес и приглашает прийти. Точка зрения читателя в этом эпизоде по-прежнему находится в субъективно-психологическом кругозоре рассказчика. Достигается это тем, что монолог героя сопровождается его же внутренним комментарием.

*«Картинками, вот этими картинками тебя надо! — подумал я про себя, хотя, ей-богу, с чувством говорил, и вдруг покраснел. — А ну если она вдруг расхохочется, куда я тогда полезу?» — Эта идея привела меня в бешенство»* (т. V, с. 158).

Важным средством совмещения точек зрения читателя и героя на психологическом уровне, представленном в этом эпизоде, становится уменьшение аналитичности повествования таким образом, что знание читателя о мотивах поступков героя ограничивается знанием самого героя на момент совершения каких-то действий. Подобное ограничение проявляется в рассказе о первом знакомстве героя с Лизой, в сцене, описывающей его разговор с героиней.

*«Бог знает, почему я не уходил»* (т. V, с. 153).

*«Что-то вдруг во мне загорелось, какая-то цель «явилась»* (т. V, с. 155).

Приведенные выше принципы совмещения точек зрения читателя и героя присутствуют и в последней главе второй части.

Итак, еще раз отметим: на психологическом уровне повествовательной структуры писатель стремится совместить точки зрения читателя и героя. Именно этот эффект сопереживания читателем герою и называл Достоевский словом «поэзия»<sup>2</sup>, и именно в этом — одно из художественных открытий писателя, которое потом он будет использовать во всех своих поздних романах.

Следующий этап, шаг в интерпретации художественного произведения — это обращение к авторскому кругозору, к аксиологическому уровню художественного текста. Здесь мы тоже сталкиваемся с художественными открытиями писателя. На протяжении всего повествования автор нигде не проявляет своей оценки. Только один раз он показывает свое лицо, давая небольшую подсказку, создавая установку в восприятии: началу повествования предшествует сноска от автора, где от своего собственного имени он предупреждает читателя о том, что «автор записок и самые «Записки», разумеется, вымышлены» (т. V, с. 99). Дальше везде источником оценки выступает сам подпольный герой.

Однако необыкновенно важно подчеркнуть: на уровне авторского кругозора (аксиологический уровень) точка зрения читателя принципиально не сливается с точкой зрения действующего лица. На протяжении всего рассказа намечается как бы некоторая дистанция между героем и читателем. Лучше всего этот принцип организации восприятия повести сформулировала Л.М. Розенблюм: «<...> в «Записках из подполья» ироническому тону повествователя противостоит ироническая позиция автора» (10, с. 257).

Отношения с читателем на уровне авторского кругозора у Достоевского восходят к пушкинской традиции. Суть этой традиции в том, что писатель побуждает читателя к самостоятельным размышлениям, активным рефлексивным усилиям по поводу изображенных событий и размышлений героя-повествователя. По ходу повествования прямо авторское присутствие в тексте повести практически нигде не обнаруживается. Но при этом можно сказать, что авторская позиция проявляется в неявно выраженных формах. Писатель как бы подталкивает читателя к анализу мыслей подпольного героя. Прежде всего, это находит выражение в том, что «автор обычно дает понять читателю, что повествователь замечает то или иное противоречие своей мысли, но пытается его игнорировать, опасаясь, что не сумеет свести концы с концами» (10, с. 249).

И действительно, рассказ изобилует противоречиями. Начнем с того, что в нем можно отметить явное несоответствие между теорией и поступками героя. В первой главе подпольный рассказчик декларирует право личности на свободу, ратует против идеала социалистов, против социал-детерминизма и т. п. В своих же поступках он постоянно демонстрирует социальную обусловленность поведения, когда он делает что-то как бы против своей воли, согласно законам статусно-ролевого общения. О своем однокласснике Симонове он пишет: *«Он знал меня наизусть. Меня взбесило, что он знает меня наизусть»* (т. V, с. 137).

Придя в ресторан раньше своих одноклассников, он дает комментарий: *«Я еще накануне знал, что приду первый»* (т. V, с. 141).

Герой сам знает о заданности своего поведения. Это бесит его, но справиться с ней он не в силах.

Другая особенность повествования, о которой у нас уже шла речь, — это недоговорки, ограничивающие знание мотивов поведения героя. На психологическом уровне структуры повествования такой прием приводит к эффекту слияния точек зрения читателя и автора; на уровне аксиологическом, в рамках авторского кругозора — он становится стимулом интеллектуального начала восприятия.

*«Что-то не умирало во мне внутри, в глубине сердца и совести, не хотело умереть и сказывалось жгучей тоской. <...> Что-то подымалось в душе непрерывно, с болью, и не хотело уgomониться»* (т. V, с. 165).

Так описывает он свои переживания после первого свидания с Лизой. Неопределенные местоимения ставят перед читателем вопрос о причинах переживаний героя, о том, почему вдруг стала беспокойной его совесть.

Другим способом увеличения дистанции между точками зрения повествователя и читателя на аксиологиче-

ском уровне текстовой структуры выступает резкое изменение изобразительного регистра повествования (от имени двадцатичетырехлетнего участника действия), на регистр аналитический (с точки зрения сорокалетнего человека, вспоминающего о прошлом). Так, например, в сцене первого свидания героя с Лизой в рассказ «на коротком приводе» вдруг вкрапливается метатекстовый комментарий.

*«Я и не понял, что она нарочно маскировалась в насмешку, что это обыкновенная последняя уловка стыдливых и целомудренных сердцем людей, которым грубо и навязчиво лезут в душу и которые до последней минуты не сдают от гордости и боятся перед вами высказать свое чувство. <...> Но я не догадался, и злое чувство обхватило меня» (т. V, с. 159).*

В эпизоде последнего свидания рассказчика с Лизой также вдруг звучит комментарий «от автора из будущего», который содержит анализ поведения героини.

*«<...> Лиза, оскорбленная и раздавленная мною, поняла гораздо больше, чем я воображал себе. Она поняла из всего этого то, что женщина всегда прежде всего поймет, если искренне любит, а именно: что я сам несчастлив» (т. V, с. 174).*

Динамика в организации повествования на уровне авторской оценки строится и на демонстрации противоречивых мотивов поведения самого повествователя. В его сознании как бы борются благородные и низменные мотивы. Так, в сцене первого свидания героя с Лизой слова его выдают стремление к игре, в основе которой лежит желание власти над душой героини.

*«Черт возьми, это любопытно, это — сродни, думал я, — чуть не потирая себе руки. — Да и как с молодой такой душой не справиться?..»*

*Более всего меня игра увлекала» (т. V, с. 156).*

Однако после того как герой достиг своей цели и, по его собственным словам, «перевернул всю ее душу и разбил ее сердце» (т. V, с. 162), после того, как Лиза стыдливо показала ему письмо от студента с объяснением в любви, — в конце эпизода тон рассказа меняется.

*«Бедненькая, она хранила письмо этого студента как драгоценность и сбежала за этой единственной своей драгоценностью, не желая, чтоб я ушел, не узнав о том, что ее любят честно и искренно, что с ней говорят почтительно. <...>» (т. V, с. 163).*

Чтение повести не позволяет читателю вынести однозначную оценку героя по двубальной системе «хороший / плохой». Подпольный парадоксалист не

плохой и не хороший, точнее — хороший и плохой одновременно. Повествование не содержит морали, оценочных рассуждений. Воспоминания героя завершаются на тягостной, мучительной ноте.

*«Так мне мерещилось, когда я сидел в тот вечер у себя дома, едва живой от душевной боли. Никогда я не выносил столько страдания и раскаяния» (т. V, с. 178).*

Точка зрения читателя вновь перемещается на денотативном уровне: она возвращается в метапространство и метавремя повествователя, в его сорокалетнее существование. В финальном абзаце меняется и тон повествования. Здесь герой полностью критичен к себе; он уже не ерничает, не играет с читателем, примеряя ему ролевые маски. Подпольный парадоксалист спокойно и трезво оценивает себя как антигероя, признавая свою оторванность от «живой жизни».

Глубокое прочтение повести дает возможность читателю приблизиться к пониманию ее пафоса, «поэзии». Основная задача, которую ставил перед собой Достоевский в повести, заключается не в полемике с революционерами-демократами, а в стремлении изобразить разомкнутое страдающее и мыслящее сознание, в котором происходит борьба двух начал: светлого и темного. Стремясь победить в душе своей зло, подпольный герой обращается к одному из постыдных и мучительных воспоминаний своей юности. Совмещая точки зрения читателя и героя на психологическом уровне повествовательной структуры, втягивая его в мир переживаний героя, Достоевский как бы заставляет читателя испытать все те же переживания, что испытывает герой. Писатель «протаскивает» адресата художественного произведения через психологически надрывные воспоминания подпольного парадоксалиста, заставляет испытать те же нравственные муки. Результатом такого соприкосновения с душой героя становится катарсис, очищение, которое испытывает читатель в ходе эстетической перцепции.

Сопереживая герою в его душевных метаниях, читатель, стимулируемый писателем к встречной мыслительной активности, поднимается к ценностям авторского кругозора. Проходя вместе с героем путь очищения, он приходит к осознанию вечного антагонизма добра и зла, Бога и Дьявола в душе человека, к пониманию необходимости веры в победу сил добра над злом.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Здесь и далее цитаты по изданию: 4. Римская цифра в квадратных скобках обозначает номер тома, арабская — номер страницы.
2. В ходе работы над повестью он писал старшему брату (письмо от 20 марта 1864 г.): «Гораздо трудней ее (повесть) писать, чем я думал. А между тем непременно надо, чтоб она была хороша, самому мне это надобно. По тону своему она слишком странная, и тон резок и дик: может не понравиться; следовательно, надобно, чтоб поэзия все смягчила и вынесла (разрядка наша. — К.С.)» (т. XXVIII (2), с. 70).

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. — М., 1979. — С. 7-180.
2. Бахтин М.М. О границах поэтики и лингвистики // Бахтин М.М. (под маской) Фрейдизм. Формальный метод в литературоведении. Марксизм и философия языка. Статьи. — М., 2000. — С. 487-514.
3. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. — М., 1972.
4. Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. — Л., 1972-1987. — Т. 1-30.
5. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. — М., 1987.
6. Корман Б.О. Изучение текста художественного произведения. — М., 1972.
7. Криницын А.Б. Исповедь подпольного человека. К антропологии Ф.М. Достоевского. — М., 2001.
8. Лихачев Д.С. «Небрежение словом» у Достоевского // Лихачев Д.С. Литература — реальность — литература: Статьи. — Л., 1984. — С. 60-79.
9. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. — М., 1970.
10. Розенблюм Л.М. Творческие дневники Достоевского. — М., 1981.
11. Седов К.Ф. О природе художественного текста // АРТ. Альманах исследований по искусству. — Саратов, 1993. — Вып.1. — С. 5-15.

## К ПРОБЛЕМЕ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ПЛАНА СОДЕРЖАНИЯ «БЕССМЫСЛИЦЫ» В ЛИРИКЕ ОБЕРИУТА А.И. ВВЕДЕНСКОГО

А.Н. Силантьев  
Ставрополь

Вопрос о том, «с чего начать» в анализе этического и социологического компонентов содержания текста, принадлежащего А.И. Введенскому, не решается «по Барту»: расчленяющая и изолирующая методика не применима к материалу, уже квантованному самим «авто-ритетом бессмыслицы», а множественность текста так же а priori задана множественностью читателей, хотя бы и потенциальной (1). Однако текст «бессмыслицы» структурируется традицией, будь то в положительном модусе следования ей по некоторым собственным законам, либо в отрицательном модусе отталкивания и ухода от нее. Вместо кода внутри текста мы обнаруживаем след на поверхности его, а точнее — отражение, не знак (шрам) контакта, а тень присутствия. Обращая язык в объект, А.И. Введенский, однако, еще не специализирует цитацию как прием; концепты русской поэтической традиции остаются у него узнаваемыми компонентами живого содержания стиха. Смена в авторской речи термина для соответствующего содержания дает комментаторам и исследователям основание для того, чтобы говорить о «иероглифике» А.И. Введенского (2). Но некоторые связи термина и содержания в языке культуры оказываются устойчивыми и, вероятно, достаточно трудно поддающимися тривиальным приемам нейтрализации либо антонимизации. Именно в материале и употреблении таких единиц поэтического языка мы должны поэтому искать систему оригинальной авторской трактовки их прагматики, поскольку она остается единственной не фиксированной компонентой такого языкового знака поэтической речи. Определяя общее коммуникативное задание текста, прагматика подобных языковых единиц дает действительно объективную форму его этического и социально значимого содержания.

Два важных произведения Введенского из числа сохранившихся несут уже в своих заголовках одну из таких значимых в авторской речи лексем интертекстуального по отношению к традиции характера: «Значенье моря» и «Кончина моря». Хотя А. Григорьева в своих комментариях к публикации «Серой тетради» Введенского предлагает определить семантику «иероглифа» *МОРЕ* как «всепоглощающая и всепорождающая засмертная стихия» (2), в указанных произведениях мы предположим прежде всего след закрепленной традицией метафоры, в русской литературе известной по крайней мере с пушкинского «К морю» 1824 года. Еще в 1929 году К. Вагинов пишет в «Поэме квадратов»: «Да, человек подобен океану...» и далее: «Да, тело — океан...»; здесь комментирующий издание А. Дмитренко склонен видеть связь с рецепцией Ш. Бодлера в русской поэтической традиции (стихотворение «L'homme et la mer» 1852 года) (3). Обратим внимание на то, как К. Вагинов ведет поддерживающий тему живой диалог с традицией: здесь нет трансформации самого концепта, прагматика его остается той же самой, и основной смысл используется для задания фрейма, лежащего в основе коммуникативного задания текста.

У Введенского, однако, мы можем предположить активизацию того интертекстуального компонента культурного концепта «море», который внесен в него символизмом А. Блока, и в первую очередь — трактовкой образа моря в пьесе «Роза и Крест». В.М. Жирмунский в нескольких работах обращается к той сцене из названной пьесы, где поэт Гаэтан пытается открыть не обладающему поэтическим восприятием «простому рыцарю» Бертрану как раз «значение моря» (4). Узуальный смысл «моря» как термина поэтической языковой системы (в парадигме традиции поэтической культуры) определен в этой синтагме: романтизм — символизм, а употребление названного термина Введенским сопровождается развернутой картиной движения этого смысла в собственном опыте автора, который им обобщается одновременно и как коллективный опыт эпохи. Начальная, доопытная ситуация явлена статично: «мы на дне глубоком моря / мы утопленников рать», но она оптимистически заканчивается событием, что «все утопленники вышли». При этом оказывается, в согласии с естественным случайностным характером эмпирических данных, что «кто был беден, кто богат». Но главное, что согласно последнему двустийшию цитируемого стихотворения «Значенье моря» «волю память и весло / слава небу унесло». Этот результирующий отказ от ангажированности сразу устанавливает связь снова с дискурсом поэтики Пушкина, требовавшего, как напоминает С.Л. Франк, чтобы душа поэта была всегда «чиста, печальна и покойна» (5). Замечательным образом вся система анализа, развиваемая Франком в его статье 1937 года «О задачах познания Пушкина», приложима к исследованию творчества Введенского, вплоть до того, что термин Франка «общеизвестный универсализм пушкинского духа» сопоставляется с выражением Введенского «Бог универсальный». В начале стихотворения в максимальном отчуждении от еще и не появившегося авторского Я «стоит универсальный Бог на кладбище небес», но в конце, после морской купели, устанавливается ближайшее отношение этих персонажей, о чем свидетельствует языковая форма прямого обращения: «здравствуй Бог универсальный». Авторская прагматика эпитета не связана здесь, конечно, ни с деистической, ни с теистической парадигмами; она тождественна тому «глубинному реализму», о котором как об определяющей черте творческого метода Пушкина пишет Иванов-Разумник (6). Важным поясняющим моментом, на наш взгляд, в этом вопросе является заглавие следующего хронологически за рассматриваемыми нами стихотворениями 30-х годов («Значенье моря» и «Кончина моря») крупного произведения (поэмы) Введенского «Кругом возможно Бог» (1931). Фраза, вынесенная автором в заглавие, может рассматриваться как утверждение локативной предикации: кругом «возможно» есть, наличен, «расположен»



— Бог. К тому же видению глубинной реальности в ее единственном и универсальном виде ведет и традиция китайской (не-буддийской) философии, с которой Введенский, надо полагать, был знаком, несмотря на непродолжительность его пребывания в числе студентов китайского отделения Петроградского Университета. Более того, возможно, что и само название «чинари» было произведено от соответствующего фонетического варианта именованного Китая в европейских языках; дополнительным фактором выбора здесь могли стать известные стилизации Н. Гумилева.

Но, конечно, А.И. Введенский не просто присоединяется к глубинному реализму классической парадигмы: его «бессмыслица» прежде всего непредсказуема, в то время как речь в классическом модусе дискурсивна. Любопытно отметить в связи с некоторыми самыми последними тенденциями в проблеме визуальности, что тем самым текст Введенского, лишенный избыточности, может быть «увиден», визуализирован только весь целиком, требуя тем самым, вообще говоря, существенно больших усилий от воспринимающего, чем в случае чтения текста с обычным для языка уровнем избыточности. Однако интенционально наполненное прослушивание текста как раз и требует подобной прибавочной доли усилий со стороны внимательного воспринимающего; парадоксальным образом текст Введенского оказывается более эффективным воплощением чистого знания, чем какая-либо отображающая, «картирующая» (mapping) речь классической или символистской парадигмы. Теперь становится понятным известное утверждение Введенского, что он «прошел дальше Канта»: действительно, Кант даже не сформулировал проблему языка как таковую, Введенский же освобождается от нее, отказываясь от «сомнительных услуг» консистентности словарного смысла. Рефрен «Кончины моря»: «и море тоже ничего не значит» с одной стороны, напоминает о результатах критического анализа гносеологии Юмом; с другой стороны, в аспекте метафоры человеческого бытия-в-мире, он модифицирует этический тезис Канта, снимая проблему социальной интеграции категорического императива. Пушкинская позиция «естественного человека», характеризуемая Ивановым-Разумником как этический, социологический и эстетический индивидуализм, в эмпирической реальности, конечно, оказывается позицией аристократического и одновременно аскетического (по китайской этической модели аристократизма духа) отстранения от мира. Все три составляющих индивидуализма остаются в базисной авторской концепции Введенского, но снятие значе-

ния, заявленное в «Кончине моря», снимает очевидным образом и все оппозиции или выборы: образ действий лицом к лицу с абсолютной реальностью может быть только аскетическим — в противном случае поведение перестанет быть действительным, разваливаясь в суету и прекращаясь. Заключительные реплики моря: «я не могу» и «я тоже ничего не значу» корректируют новый энтузиазм послекантовской онтологии и гносеологии в параллели с принципом «недеяния» (*у вэй*) китайской философской этики. Ведущий другую партию в той же заключительной сцене Охотник появляется здесь, как нам представляется, в прямой связи с известными словами Пушкина из письма к Жуковскому: «цель поэзии — поэзия... «Думы» Рылеева целят, а все невпопад». И последняя реплика Охотника: «я думаю я плачу» замечательным образом снова эффективно сопоставляется с моментами аналитической системы, построенной С.Л. Франком: синтаксическая неоднозначность соответствует многослойности, а лексическая семантика образующих единиц — единственно возможному целевому заданию всякого поэтического текста.

Мы не можем сейчас здесь заняться полной интерпретацией рассматриваемых текстов; но выяснение основных характеристик этического и социального аспекта содержания лирического текста у А.И. Введенского ведет к уточнению специфики методов общей теории интерпретации художественного поэтического текста применительно к парадигме «бессмыслицы» у оберидутов. Соответствующие им процедуры оказываются параллельными, но противоположно направленными по отношению к методикам феноменологической редукции обычного текста: мы должны не выносить за скобки, а напротив, вносить в них, на что в режиме метатекста указывает уже начало «Значенья моря»: «чтобы стало все понятно / надо жить начать обратно».

Академик В.М. Алексеев писал в свое время, что грамматика литературного китайского языка, взъняня, должна быть включена в число базовых курсов всякого филологического образования ввиду минимальности ее механизма, обеспечивающего тем не менее все фигуры плана содержания. Для сравнительной типологии языка такой минимальный грамматический механизм является универсальным компонентом, базой всякой модели, объясняющей феномены уровня наблюдений. Аналогично в модели структуры смысла и выражения рассмотренных двух стихотворений А.И. Введенского начала 30-х годов прошлого века обнаруживается универсальная компонента модели социально значимой и этически валентной интенциональности поэтического текста.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Барт Р. С чего начать // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. — М., 1994. — С. 401-412.
2. Герасимова А. Примечания к публикации «Серой тетради» А.И. Введенского // Логос. — 1993. — № 4. — С. 136-138.
3. Вагинов К. Петербургские ночи. — СПб., 2002.
4. Жирмунский В.М. Поэтика русской поэзии. — СПб., 2001.
5. Франк С.Л. О задачах познания Пушкина // Русское мировоззрение. — СПб., 1996. — С. 248-272.
6. Иванов-Разумник. История русской общественной мысли. — М., 1997. — Т. 1-3.
7. Алексеев В.М. О гуманитарном преподавании китайского языка // Традиционная культура Китая. Сб. статей к 100-летию со дня рождения акад. Василия Михайловича Алексеева. — М., 1983. — С. 163-174.

## ТИПЫ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ И МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ

Н.И. Колодина  
Тамбов

Рецепция любого художественного текста допускает одновременно несколько типов интерпретаций. Тип интерпретации зависит от тех целей, которые ставит перед собой читатель.

**Под интерпретацией понимается такой способ словесной фиксации понимания художественного текста, в результате которого реципиент строит смыслы.**

Способ — это система действий, применяемых реципиентом в процессе понимания и интерпретации художественного текста. Если же систем действий может быть несколько, то есть возможность выделить ряд способов словесной фиксации понимания, которые мы называем типами интерпретаций.

Определение термина «интерпретация» именно таким образом может быть объяснено тем, что мы придерживаемся исторических корней толкования этого термина, т.е. интерпретация (от лат. *interpretatio* — истолкование, объяснение) — это то, что может быть вербально истолковано.

**Понимание рассматривается нами как активный процесс осмысления воспринимаемого материала** (в данном случае — художественного текста). Активный процесс понимания предполагает, что реципиент осмысливает свои мыслительные действия и каким-либо образом интерпретирует их себе, но не вербализует. Как только реципиент начинает вербализовать свое понимание, начинается процесс интерпретации. Следовательно, разделение терминов «понимание» и «интерпретация» произведено лишь по критерию вербализации.

Поскольку язык знаний и опыта реципиента не может быть тождественен языку знаний и опыта продуцента, то понимание в этом ракурсе выступает переводом воспринимаемого материала на собственный язык знаний и опыта,

При рецепции художественного текста способы словесной фиксации понимания влияют на то, что *интерпретация предстает как истолковывающая, распредмечивающая или критическая.*

Если интерпретируемый текст являет собой избыточные, излишние пересказы содержания и истолкования своего отношения к описываемой ситуации, которые есть суть «живого <восприятия> — <видения>, <слышания> и сама работа интерпретации действительно становится только <продолженным актом чтения>, то есть работой <приведения> к этому живому восприятию» (13, с. 155), то такая интерпретация является **истолковывающей пониманием**. Превалирующими критериями во взаимодействии с текстом становятся эмоциональные, психические переживания реципиента в процессе рецепции, имеющие какие-либо ассоциативные связи с имеющимися знаниями и опытом реципиента. Такое понимание не манифестирует понимание в его терминологическом употреблении настоящей статьи, поскольку ассоциативные связи, эмоциональные сопереживания не имеют никакого отношения собственно к процессу активного понимания, характеризующегося осмыслением собственных мыслительных действий.

Реципиент, описывая свои ассоциативные процедуры, возникшие в результате активизации каких-либо знаний или опыта, не соотносит средства текстопостроения со средствами смыслообразования, не старается восстановить процесс мыслительности продуцента. Таким образом, смыслы, которые можно построить при рецепции текста, остаются за пределами понимаемого. Мы видим необходимость в разделении понятий средства текстопостроения, под которыми понимаем все визуально воспринимаемые реципиентом средства текста, и средства смыслообразования, под которыми понимаем все средства, способствующие построению смыслов. При рецепции текста средства текстопостроения не всегда могут одновременно являться средствами смыслообразования. Такое единство зависит от мыслительных процессов, происходящих в голове реципиента. Таким образом, реципиент может воспринимать средства текстопостроения, но не осмысливать средства смыслообразования, т.е. при восприятии средств текстопостроения смыслы не будут строиться (или, в другой терминологии, усматриваться).

**Распредмечивающая** интерпретация не замещает интерпретируемое, не заступает его место, не упраздняет его. *Интерпретация этого типа предполагает восстановление мыслительного процесса продуцента.*

Распредмечивающая интерпретация требует построения смыслов на основе соотнесения средств текстопостроения со средствами смыслообразования и перевод этих смыслов на язык собственных знаний и опыта.

Соотнесение средств текстопостроения со средствами смыслообразования в процессе распредмечивающей интерпретации позволяет «установить неадекватность имеющегося опыта и знаний» (9, с. 78) тем смыслам, которые можно формировать при наличии требуемых знаний для понимания.

Распредмечивающая интерпретация, сочетаясь в процессе понимания художественного текста с истолковывающим типом интерпретации, всегда представляет собой «мотивированный процесс, который направлен на поиск соответствующих впечатлений, фактов или идей» (10, с. 58), запрограммированных в тексте.

**Критическая** интерпретация предполагает пересказ содержания текста с обязательным указанием к какому жанру и литературному направлению (например, готический роман, романтизм, классицизм) относится текст. Пересказ содержания влечет номинирование усмотренных мыслительных образований, которые трактуются как концепты, смыслы или реалии. Кроме того, критический тип интерпретации маркируется необходимостью давать развернутый стилистический анализ и всего текста, и каждого предложения.

Подобная интерпретация не предполагает построения смыслов. Смысловое или семантическое пространство текста не моделируется, и такая интерпретация не рассматривается в качестве альтернативы

распредмечивающей интерпретации. Осмысление смыслового и семантического пространств текста требует, прежде всего, распредмечивающей интерпретации, что заставляет интерпретатора вступить в диалогические отношения с текстом. Разработка идей М.М. Бахтина о диалогических взаимоотношениях текста и его интерпретатора (2, с. 285), Ю.М. Лотмана о вписанности в текст образа читателя или образа аудитории (8, с. 55), а также приложение к тексту общесемиотических понятий интенционала и экстенционала знака (15, с. 20) позволяет смоделировать семантическое пространство текста (1, с. 307) как результат взаимодействия его содержательных категорий. «Семантическое пространство художественного текста формируется в процессе диффузного взаимопроникновения текстовых макрокатегорий — концептуальности, референциальности (соотносимых с интенционалом и экстенционалом текста), адресантности и адресованности (составляющих прагмасемантики текста как «оттиска» процесса художественной коммуникации)» (5, с. 36).

Следует заметить, что дифференциальный признак, разграничивающий указанные типы интерпретаций, имеет условный характер в силу того, что процесс понимания при распредмечивающей и критической интерпретации текста требует активизации множества знаний реципиента. Эти знания преобразуются в представления, а затем формируются мыслительные образования или смыслы (как более крупные мыслительные образования).

Отметим, что истолковывающий тип интерпретации не требует осмысления собственных мыслительных действий или мыслительных действий продуцента. При рецепции текста часто происходит **переплетение** критического типа интерпретации с элементами распредмечивающего или истолковывающего типов.

Взаимодействие различных типов интерпретации предполагает возможность множественности интерпретаций.

Исследования особенностей механизма процесса понимания подтверждают не только возможность, но и неизбежность множественности интерпретаций. Так, американский ученый Карл Саган в книге «Драконы Эдема» указывает на исключительность человеческого мозга, которая заключается в том, что мозг человека содержит около  $10^{13}$  синапсов. «Синапсы (от греч. *synapsis* — соединение, связь) — специализированные функциональные контакты между возбудимыми клетками, служащие для передачи и преобразования сигналов. Синапсы — единственный путь, с помощью которого нейроны могут сообщаться друг с другом, они обеспечивают все основные проявления активности нервной системы и интегративную деятельность мозга» (4, с. 409). «Это невообразимо большое число, намного превышающее число всех элементарных частиц (электронов и протонов) во Вселенной, которое меньше, чем число 2, возведенное всего в степень  $10^3$ . Благодаря столь гигантскому числу возможных функционально различных конфигураций человеческого мозга никакие два человека, даже близнецы, выращенные вместе, не могут

быть совершенно одинаковыми» (14, с. 50). С этой точки зрения, каждое человеческое существо поистине редко и отлично от других. Следовательно, множественность интерпретаций определяется, с одной стороны, средствами текстопостроения и смыслообразования, за пределы которых возможно выйти в рамках разумного допущения их соотнесенности, с другой стороны, индивидуальностью структуры мыслительной деятельности личности. Подход к процессу понимания как к осмысливаемой деятельности позволяет описать механизм процесса понимания каждого отдельного реципиента и выявить его *индивидуальность* при формировании и построении тех или иных мыслительных образований и смыслов. Поэтому множественность интерпретаций допускает и множественность читательских концепций понимания в той степени, в какой каждый индивид представляет собой уникальную совокупность различных способностей, знаний, качеств.

Варианты взаимодействий различных типов интерпретаций зависят от сложности художественного текста.

Однозначнее понимаются тексты с преобладанием сюжетно-событийного ряда, тексты, написанные в однородной жанрово-стилистической манере или относящиеся к одному определенному литературному направлению (например, классицизму, романтизму), тексты с фиксированной авторской позицией.

Повышению многозначности понимания текста могут способствовать полифония текста, т.е. включение в текст большего разнообразия «голосов». Это и различные речемыслительные репрезентации персонажей или потенциальных персонажей (например, «голос» общественного мнения), и представленность разных жанрово-стилистических особенностей (язык рекламы, язык проповеди и т.п.).

К факторам, влияющим на повышение многозначности понимания, можно отнести и частую смену позиции автора или точки зрения. В этом прослеживается непосредственное влияние кинематографической техники разных планов (крупный план, средний, общий, наезд камеры, фиксированное движение камеры за движущимся объектом, вид сверху, вид снизу, панорамные съемки и т.п.).

Следующим фактором можно признать мозаичность текста, разнородность его фрагментов. Такая мозаичность требует от реципиента различных мыслительных операций, которые приводят к построению смысла.

Несомненно, включение в текст культурного пространства других произведений искусства также влияет на однозначность / неоднозначность понимания. Так, литературно-художественные стили, жанры и направления могут быть включены в текст как знаки определенных эпох, как символы определенных нравственно-эстетических категорий. «Способ отсылки реципиента к другому тексту может быть предельно простым (например, указание автора в названии произведения и эксплицированная авторская оценка его эстетических достоинств), а может быть и более сложным — цитирование скрытое или искаженное, цитирование очень короткого фрагмента или отсылка с помощью аллюзии» (11, с. 84).

История развития искусства свидетельствует об усложнении его языка. Среди средств текстопостроения и средств смыслообразования, способствующих многозначности понимания, можно найти интертекстуальность, которая требует обращения ко всему его культурному опыту реципиента, скрытые и явные цитаты из других текстов, отсылка реципиента к его опыту обращения с культурными ценностями, «сталкивание» культурных явлений.

Средствами текстопостроения, влияющими на многозначность понимания, могут быть и ненормативные словосочетания, которые требуют интерпретации, объясняющей принцип ненормативности. Ненормативные словосочетания определяются как «структуры с нарушением лексической или грамматической сочетаемости» (7, с. 32).

Мера однозначности / неоднозначности понимания художественного текста прослеживается в процессе анализа ряда интерпретаций, которую (в работах Г.И. Богина (2), Н.Л. Галеевой (6)) часто номинируют высказанной рефлексией.

Глубокая интерпретация художественного текста, несомненно, требует определенных знаний, а также анализа и лексико-фразеологического состава, и приемов синтаксической организации, и осмысления индивидуально-стилистических целей, и задач употребления языкового богатства. При этом необходимо «видеть за каждым речевым произведением его создателя, знать его культурно-историческую среду, его менталитет» (12, с. 84) и многое дру-

гое, что составляет именно художественный текст.

Если множественность интерпретаций художественного текста зависит от параметров художественного текста, то особенности процесса понимания зависят от позиции реципиента, от его качественно-количественного состава знаний и опыта, от субъективного способа категоризаций усматриваемых мыслительных образований.

Осмысление способа категоризации усматриваемых мыслительных образований реципиентом мы называем **рефлексией**. Рефлексия у каждого человека индивидуальна, что позволяет каждому быть неповторимым. Следовательно, субъективность каждой интерпретации определяется, прежде всего, способом категоризации усматриваемых мыслительных образований. При таком подходе к процессу понимания и интерпретации возникает возможность объяснения множественности интерпретаций одного и того же текста разными интерпретаторами, казалось бы, с одинаковой филологической подготовленностью.

Поскольку возможность множественности интерпретаций находит себе подтверждение, то анализ различных вариантов взаимодействия типов интерпретаций может составить важный аспект в исследовании функционирующих когнитивных структур различных интерпретаторов в процессе понимания одного и того же текста. По результатам подобных анализов можно составить обучающий курс для овладения методикой интерпретации.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Барт Р. Текстовый анализ // Новое в зарубежной лингвистике. — М., 1980.
2. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. — М., 1979.
3. Богин Г. И. Субстанциальная сторона понимания. — Тверь, 1993.
4. Большая советская энциклопедия. — М., 1976. — Т. 23.
5. Воробьева О.П. Фактор адресата и проблема множественности интерпретаций художественного текста // Понимание и рефлексия. Материалы Первой и Второй Тверских герменевтических конференций. — Тверь, 1992.
6. Галеева Н.Л. Понимание и интерпретация художественного текста как составная часть подготовки филолога // Понимание и интерпретация текста. — Тверь, 1994. — С. 79-88.
7. Золина Н.Н., Семейн Л.Ю. Ненормативные словосочетания и стилистический анализ // Системный анализ художественного текста. Межвузов. сб. науч. тр. — Вологда, 1989. — С.32-41.
8. Лотман Ю.М. О русской литературе. — СПб., 1997.
9. Мильруд Р.П. Методика развивающего обучения средствами иностранного языка в школе. Учебное пособие по спецкурсу. — М.-Тамбов, 1991.
10. Мильруд Р.П. Методика обучения видам речевой деятельности на иностранном языке. — Тамбов, 1995.
11. Михайлович Т.А. Мера однозначности/неоднозначности понимания текста // Понимание менталитета и текста. — Тверь, 1995. — С.82-87.
12. Проценко Т.А. Герменевтика в преподавании иностранных языков // Филология и культура. — Тамбов, 1997.
13. Пузырей А.А. Манипулирование и майевтика: две парадигмы психотехники // Вопросы методологии. — М., 1997.
14. Саган К. Драконы Эдема. — М., 1986.
15. Степанов Ю.С. В мире семиотики // Семиотика. — М., 1983.

## ЛИТЕРАТУРА В ЗЕРКАЛЕ СОЦИОЛОГИИ И ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОГО СОЗНАНИЯ (историко-библиографический аспект)

Т.Е. Беньковская  
Оренбург

Радикальные перемены, произошедшие в обществе с середины 80-х — начала 90-х годов: распад Советского Союза, потеря компартией единовластия, провозглашение демократии и гласности, смена идеологий, ориентация на общегуманистические ценности и др. — положили начало новому этапу во всех сферах общественной и духовной жизни, в том числе литературоведческой науке и критике.

Освобождение литературоведения от сложившегося за долгие десятилетия классового подхода к художественному произведению и его создателю, неминуемо приводившего к односторонности их оценки, а следовательно упрощению и искажению объективного смысла, существенным образом сказались на преподавании литературы в школе, формировании читательского сознания школьников.

Несомненным завоеванием современной эпохи является наличие многомерности, полифонизма, многовариантности, многоголосия культурного пространства, его диалогизм, присутствие неоднозначности восприятия и оценки героических и драматических событий отечественной истории, личности и судьбы художника, его творения в ряду других, что, безусловно, ломает сложившиеся стереотипы сознания читателя, учит его тревожиться и думать, испытывать читаемое сомнением; через спор, полемику углублять традиционное восприятие и интерпретации.

Значимость происходящих перемен для духовного оздоровления нашего общества, освобождения человеческого сознания от навязанных канонов и схем неопенима. Одним из объективных свидетельств этого является сделанный нами историко-библиографический срез состояния и развития литературоведения в переломный период мучительных поисков нового научного метода в изучении литературы, который в полной мере отвечал бы требованиям необходимости связи ее с социально-экономическими процессами, происходящими в обществе, сделал бы литературу подлинным «учебником жизни».

Таким методом стал марксизм. «Марксизм видит в литературе функцию социальной жизни, подчиненную в своем бытии и в своем развитии социальной необходимости. Это обстоятельство давало и дает основание называть марксистский метод в литературоведении социологическим методом», — писал один из идеологов марксистского литературоведения В.Ф. Переверзев (32, с. 9). В основе художественного произведения, с позиции марксизма, лежит не идея, а бытие, т.е. «тот социально-экономический процесс, который детерминирует и житие людей, и их сознание, и поэтическое творчество» (32, с. 11). И задача литературоведа заключается в том, чтобы раскрыть в художественном произведении это объективное бытие, которое сводилось к социальному происхождению и жизни писателя, определяющими характер его творчества. «Чтобы понять художественное произ-

ведение, нужно знать, когда, где, как и чем жил писатель» (32, с. 11).

Не только содержание литературного произведения, но и форма, подчеркивал В.А. Келтуяла, «в эпоху общественно-классового труда приобретает общественно-классовый характер» (23, с. 16).

Перед марксистским литературоведением встает ответственная задача — заново «перечитать» классику, подвергнув ее марксистскому толкованию, формируя сознание читателя, бороться с идеализмом и формализмом в искусстве, воспитывать новое поколение писателей в соответствии с требованиями марксизма.

С конца 20-х годов начинает выходить серия «классики в марксистском освещении» под редакцией Е.Ф. Никитиной, где творчество Пушкина, Гоголя, Тургенева, Гончарова, Толстого, Достоевского пересматривается с позиций новой «религии». Авторы статей П.И. Лебедев-Полянский, А.В. Луначарский, Г.В. Плеханов, П.С. Коган, И.Н. Кубиков, Н.К. Пиксанов, В.Я. Кирпотин и другие (см. также: 15; 24; 21; 25).

Марксистский подход к изучению литературы был положен в основу школьных программ 20-30-х годов. На страницах педагогических журналов «Родной язык в школе», «Школа и Жизнь» и др. публикуются статьи методологического характера, призванные помочь массовому учительству овладеть основами марксистского толкования литературы (см.: 37, 40, 27).

Стремление связать литературу с жизнью, ее подчиненность обществоведению, установка на социологический анализ литературного произведения, безусловно, обедняли, выхолащивали его художественную и эстетическую ценность, искажали идейный и творческий замысел писателя. «Что следует понимать под анализом? Прежде всего уяснение изображаемых писателем фактов, явлений в их исторической перспективе, в их экономической и социально-политической обстановке... На основании такого рода разбора, охватывающего различные стороны литературного явления, представляется возможным в итоге сделать вывод о художнике как выразителе и организаторе сознания определенной среды, своего класса», — писал Л.С. Мирский. «Итак, — заключал он, — от произведения к художнику, от художника — к идеологии и психологии класса, — вот путь, по которому надлежит идти, организуя работу по литературному чтению в школе» (30, с. 96-97).

Такой подход к анализу художественного произведения в школе складывался в 20-е годы под сильным влиянием литературоведения, овладевавшего марксизмом. На страницах педагогических журналов в это время появляется значительное количество работ П.Н. Сакулина, В.А. Келтуялы, И. Кубикова, В. Воронского, Г. Плеханова, А. Луначарского, В. Переверзева и других, где литературное произведение анализируется с социологической точки зрения.

Авторитетный в учительской среде методист М.А. Рыбникова в статье «Голос словесника» обратилась к учительству с призывом овладеть марксизмом.

«Пора изменить свою позицию из оборонительной в наступательную, — писала она, — взять в руки Маркса, Энгельса, Плеханова, Ленина, Троцкого и обследовать литературу с этой материалистической точки зрения» (38, с. 58).

Несомненную помощь в этом должна была оказать вышедшая в 1925 году «Марксистская хрестоматия по литературе», одним из составителей которой был В.В. Голубков, ставший вместе с М.А. Рыбниковой теоретиком советской методики. «Предлагаемая хрестоматия, — указывалось в предисловии, — составленная из статей исследователей и критиков-марксистов, ставит целью ввести современного читателя и, в особенности, преподавателя-словесника в вопросы марксистского изучения литературы» (11, с. 3). В хрестоматию были включены статьи Маркса, Энгельса, Ленина, Плеханова, Луначарского, Бухарина, Троцкого, посвященные осмыслению общественного значения искусства, идеологической функции литературы, классовой психологии в литературе, социальной обусловленности содержания и формы художественного произведения, а также представлены образцы марксистского толкования русских классиков и писателей современной литературы. Это были отдельные извлечения из книг, статей, сборников Г. Плеханова о Пушкине, Лермонтове, Некрасове; В. Переверзева о Гоголе, Гончарове, Достоевском; И. Кубикова об Островском; В. Воровского о Тургеневе, Чехове, Горьком; Ленина о Толстом; Л. Троцкого о Блоке; А. Воронского о Есенине, а также о пролетарских писателях и поэтах: В. Маяковском, Д. Бедном, Вс. Иванове, Л. Сейфуллиной, А. Неверове, А. Серафимовиче и др. Приведенные ниже высказывания литературоведов, марксистов сегодня скорее воспринимаются как пародия, фарс.

#### **В. Переверзев. Из книги «Творчество Гоголя».**

«Реальная стихия, под влиянием которой складывался творческий гений Гоголя, — среда мелкопоместных душевладельцев. Отсюда вошли в душу Гоголя те образы мелких, бессодержательных характеров, картины нелепых, смешных сцен и курьезный, как сама среда, язык... Влияние этой среды на творческий гений Гоголя было, без сомнения, наиболее значительным. Ведь это была близкая ему, родная среда, в которой он родился и вырос» (11, с. 134).

#### **И. Кубиков.**

##### **Из статьи «Бытовое и вечное в пьесах Островского».**

«Итак, Островский, вышедший из чиновничьей среды, но с самой ранней молодости связанный с купечеством Москвы, является не только обличителем, но и художественным выразителем этого сословия. По своей идеологии он стоял на уровне наиболее развитых элементов торгово-промышленного класса» (11, с. 163).

#### **В. Воровский. Лишние люди в творчестве Чехова.**

##### **Из книги «Литературные очерки».**

«... все эти дяди Вани, все эти «сестры» с их кругом, все эти владельцы «вишневых садов», осужденные судьбою на гибель, — все они с их мелочными желаньями, с их бесстрастными порывами, с их ничтожными мыслишками, с их жалкими страданиями не вызовут жалости и сочувствия в людях, поставивших своим девизом: вперед и выше!» (11, с. 266).

#### **Л. Троцкий. О Блоке.**

##### **Из книги «Литература и революция».**

«Конечно, Блок не наш. Но он рванулся к нам. Рванувшись, надорвался» (11, с. 286).

#### **Г. Лелевич. О Маяковском.**

##### **Из журнала «На посту». — 1924. — № 1**

«Маяковский растет идеологически. Недаром ходят слухи, что он усиленно штудирует Маркса. Психологически, подсознательно Маяковский еще не проникся полностью идеологией и психологией пролетарского авангарда. Художественно он — еще представитель богемы и индивидуалиста. Но логически он уже в состоянии встать на точку зрения рабочего класса... Если он произведет большую нутряную работу и отряхнет прах деклассированного индивидуалиста, он сможет превратиться в одного из выдающихся поэтов пролетарской революции» (11, с. 353).

#### **А. Воронский. С. Есенин.**

##### **Из журнала «Красная новь». — 1924. — № 1.**

«Действительно характер революции остался для поэта непонятным и непонятым, но русская революция, как торжество диктатуры пролетариата, поставившего себе коммунистические цели и задачи, была для Есенина чужой... Дисгармоничность, раздвоенность, противоречивость поэтических мыслей и чувств у Есенина согласуется с двойственной душой нашего крестьянина» (11, с. 370, 378).

Отражаясь в зеркале социологии, личность и творчество больших художников мельчали, обесценивались, окарикатуривались, приобретали вульгарное, примитивное толкование.

Подобное толкование литературы применительно к школьному преподаванию воплотилось в «рабочих книгах» для учащихся, методических пособиях для учителей, в опыте преподавателей-словесников.

Вульгарно-социологического подхода к изучению литературных произведений не избежали и методические пособия В.В. Голубкова и М.А. Рыбниковой, чей авторитет в учительских кругах был очень высок. Социологический анализ произведений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого искажал и обеднял их действительное содержание, приводил к отождествлению автора и его героя, автора и рассказчика. Так, в результате коллективной работы по повести Гоголя «Старосветские помещики» В.В. Голубков предлагал сделать следующий вывод: «Таким образом, анализ текста показывает, что повесть является художественным выражением психо-идеологии мелкопоместного дворянства и в смысле выбора и освещения персонажей, и в отношении композиционных приемов и языка. В рассказе мы видим полное соответствие между автором, системой его образов и его композиционными и словесно-поэтическими приемами. Рассказ — «стилен». Это стиль мелкопоместного дворянства эпохи распада» (12, с. 160).

Стремясь приблизить школьника к произведению классики как отражению общественной жизни, М.А. Рыбникова порой подходила к художественному тексту волюнтаристски, что искажало его объективный смысл. Например, она предлагала «революционное» толкование «Песни о вещем Олеге» А.С. Пушкина («Князь и конь — это то же взаимоотношение, как дано в «Медном всаднике», где Конь — это Россия, народ. В итоге, догадка о гибели

царской власти от руки народа». — 12, с. 62), проводила прямые аналогии между судьбой купца Калашникова и поэта Пушкина, анализируя «Песню про купца Калашникова» М.Ю. Лермонтова. «Каков образовательный итог подобного рода беседы? Таков: поэт связан с окружающей его социальной средой, он говорит всегда о современной ему жизни...» — писала М.А. Рыбникова. Данное толкование поэмы, отмечала методист, «дало очень много в смысле понимания связей поэзии с общественной жизнью» (12, с. 106).

Подобные «догадки» тиражировались, входили в массовое сознание учителей, школьников.

Требования нового, марксистского прочтения классики приводили даже таких крупных литературоведов и методистов, как Д. Благой и В. Данилов, к одностороннему и ограниченному взгляду на художественное произведение и его автора (2; 3; 16; 17; 18; 19).

Литература 20-30-х годов была поставлена на службу героической эпохе, строительству социалистической Родины. Летопись журнальных статей отражает темы, проблемы литературы этих лет, поиски положительного героя — борца, труженика, большевика (см.: 34; 22; 4; 1; 29; 31; 13; 9; 7; 8; 5).

Подвергается сомнению и развенчивается в литературе то, что не вписывается в рамки новой героической действительности, новой идеологии. На смену недавним ценностям (добро, сострадание, гуманизм, любовь, вера) приходят другие, рожденные временем революционных потрясений и перестройки всех структур общества: ненависть к врагам народа, классовая борьба, бдительность, недоверие, аскетизм, самопожертвование во имя великой цели, социалистический гуманизм, разрешающий «кровь по совести» ради светлого будущего.

«Какую роль в этой сегодняшней борьбе играет творчество Достоевского? В каком лагере оказывается Достоевский в наши дни? — вопрошал критик В.В. Ермилов. — Так же, как и при своей жизни, Достоевский и в наши дни оказывается в авангарде реакции... Между тем некоторые советские литературоведы все еще по-либеральному воспевают «гуманизм» Достоевского... хотя уверить даже в том, что Достоевский до конца своих дней оставался «социалистом», мечтал об осуществлении социалистических идеалов на земле... Такая идеализация Достоевского не имеет ничего общего с научным, марксистско-ленинским изучением творчества писателя» (20, с. 4, 11, 12).

Подвергаются не менее острой критике и произведения писателей-современников, не вписывающиеся в навязанные схемы. Не случайно пьеса А. Арбузова

«Таня» объявляется мелодраматической и чуждой новой морали (14), как и романы И. Эренбурга «Не переводя дыхания» и «День второй», в которых автор, вместо того, чтобы изучать быт и психологию советской молодежи, создал образ «индивидуалиста-честолюбца, типический для капиталистического общества, механически перенес на советскую почву, при этом расцветив его по возможности привлекательными красками» (22, с. 219).

Летопись журнальных статей дает зеркальное отражение жизни и литературы 30-х годов (см.: 33; 6; 28; 26).

Однако уже в эти годы можно наблюдать попытки преодоления вульгарно-социологического подхода к анализу художественного произведения (см.: 36; 39; 35).

В 1936 году в связи с чествованием А.С. Пушкина появилось значительное количество литературоведческих и методических работ по изучению жизни и творчества поэта В.А. Десницкого, В.А. Мануйлова, А.Я. Гуревича, Н.Л. Степанова, Л.А. Соколова, Л.С. Троцкого и других. Их отличают поиски новых подходов к художественному наследию сложившейся критики «голового социологизирования». Однако и эти работы не были свободны от прочно утвердившихся стереотипов.

В советский период было опубликовано немало серьезных и обстоятельных литературоведческих исследований о русских писателях XIX-XX веков. К сожалению, значительная часть написанного даже в 60-80-е годы «грешит» традиционной односторонностью подходов и оценок.

Сегодняшнее время расставляет новые акценты в отечественной литературе. Сняты унижительные ярлыки поэтов «чистого искусства» с Ф.И. Тютчева и А.А. Фета, Ф.М. Достоевский заслуженно признан и у себя на родине великим гуманистом...

Однако не может не тревожить отчетливо наметившаяся тенденция иных деятелей от науки, сменивших флаг исторического материализма на русскую духовность, по меткому замечанию М.А. Гаспарова (10), появилось стремление свести к религиозному толкованию писателей-классиков и негативное отношение вплоть до отрицания литературного наследия недавнего прошлого. Так, высказывание А. Кабакова в «Литературной газете» (1990, 18 сентября) — «... пример Шолохова, погубившего свой гений коллаборационизмом, с дьявольщиной показывает, что рассматривать случай таланта, поставленного на службу большевизму, нет смысла» — вызывает горькое ощущение того, что это уже было, было, было...

Сейчас формируется сознание нового поколения читателей. Не повторить бы прежних ошибок.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Бурденко Н. Наши требования к советской художественной литературе // Тридцать дней. — 1938. — № 1. — С. 21-23.
2. Благой Д. «Евгений Онегин» в школьной проработке // Русский язык в советской школе. — 1929. — № 1. — С. 63-81.
3. Благой Д. Классовое самосознание Пушкина. — М., 1927.
4. Бровман Г. Пафос и тема (О сов. литер., и ее задачах) // Молодая гвардия. — 1936. — № 7. — С. 187-191.
5. Бялик Б. Героическое дело требует героического слова (Задачи сов. литературы) // Резец. — 1939. — № 21-22. — С. 2-3.
6. Бялик Б. Горький в борьбе с врагами реализма // Искусство и жизнь. — 1938. — № 3. — С. 7-9.
7. Варт Р. О героизме и литературе (Тема героизма в сов. литературе) // Октябрь. — 1938. — № 6. — С. 222-234.
8. Волков А. О молодой прозе и борьбе за реализм (Обзор совр. рус. литературы) // Октябрь. — 1939. — № 4. — С. 212-214.
9. Время торопит! (О необходимости создания лит. произведений, отражающих нашу эпоху) // Звезда. — 1938. — № 8. — С. 3-6.
10. Гаспаров М.Л. К обмену мнениями о перспективах литературоведения // Новое литературное обозрение. — 2001. — № 50.
11. Голубков В.В., Горностаев Н.П., Лукьяновский Б.Е. Марксистская хрестоматия по литературе: Пособие для шк. и самообразования. — М., 1925.

12. Голубков В.В., Рыбникова М.А. Изучение литературы в школе II ступени: Метод, пособие для преподавателя. — М.-Л., 1930.
13. Гринберг И. Герой советского романа // Образ большевика. — Л., 1938. — С. 3-93.
14. Гринберг И. Мелодрама и дидактизм («Таня» А. Арбузова. Критич. анализ пьесы) // Искусство и жизнь. — 1938. — № 11-12. — С. 18-19.
15. Грушкин А. К вопросу о классовой сущности пушкинского творчества. — М., 1931.
16. Данилов В. «Записки охотника» Тургенева со стороны социально-экономического момента // Родной язык в школе. — 1925. — № 7. — С. 19-27.
17. Данилов В. Классовая обусловленность «Повестей Белкина» А.С. Пушкина // Родной язык в школе. — 1927. — С.40-53.
18. Данилов В. «Недоросль» в свете классового самосознания дворянства второй половины XVIII века // Родной язык в школе. — 1924. — Кн. 6. — С. 22-32.
19. Данилов В.В. «Отцы и дети» как социально-экономический... // Родной язык в школе. — 1925. — № 8. — С. 56-61.
20. Ермилов В.В. Против реакционных идей в творчестве Ф.М. Достоевского. — М., 1948.
21. Жуков Л.А. Критика капитализма у Достоевского. — М., 1938.
22. Кедрин З. Молодой большевик в советской прозе // Октябрь. — 1938. — № 10. — С. 212-233.
23. Келтуяла В.А. Основы историко-материалистического подхода к изучению литературного произведения // Родной язык в школе. — 1924. — Кн. 6. — С. 3-17.
24. Кирпотин В.Я. Некрасов — поэт революционно-крестьянской демократии // Литературная учеба. — 1938. — № 1.
25. Кирпотин В.Я. Чернышевский и марксизм. — Л., 1929.
26. Коптелов А. Долг советского писателя (Худ. литер. в деле разоблачения врагов народа) // Сибирские огни. — 1938. — № 2. — С. 102-104.
27. Кубиков И.Н. Вопросы марксистского литературоведения // Родной язык и литература в трудовой школе. — 1928. — № 1.
28. Левин Ф.М. Горький как воспитатель ненависти к врагам народа: Обзор лит. тв-ва // Книга и пролетарская революция. — 1938. — № 3. — С. 19-23.
29. Лейтес А. Героический пафос (в сов. худож. лит. Обзор) // Тридцать дней. — 1938. — № 11. — С. 68-70.
30. Мирский Л.С. Опыт постановки литературного чтения в школе II ступени // Теория и практика словесника. — М., 1925. — С. 94-110.
31. На службу народу (Задачи сов. лит., искусства и худож. самодеятельности по отображению соц. строит-ва) // Народное творчество. — 1938. — № 8. — С. 1-2.
32. Переверзев В.Ф. Необходимые предпосылки марксистского литературоведения // Литературоведение / Под ред. В.Ф. Переверзева. — М., 1928.
33. Плиско Н. Маяковский в борьбе с врагами // Новый мир. — 1938. — № 11. — С. 239-243.
34. Плоткин. Под большевистским руководством: Советская литература и искусство за 20 лет // Звезда. — 1937. — № 11. — С. 280-290.
35. Плотников И.П. Анализ литературно-художественного произведения в средней школе // Культурный фронт. — 1935. — № 9-10. — С. 11-16.
36. Роткович Я.А. Анализ литературного произведения в школе: Ст. 1-3 // Метод. путеводитель для работников массовых школ. Москва-Самара. — 1933. — № 11-12. — С. 27-34; № 13-14. — С. 23-33; № 15-16. — С. 9-12.
37. Рукавишников В. Марксистское истолкование литературных произведений в школах // Школа и Жизнь. — 1924. — Кн. 11. — С. 18-22.
38. Рыбникова М.А. Голос словесника // Литература и язык в школе II ступени в связи с программами ГУСа. — М., 1925. — С. 43-58.
39. Троицкий Л.С. К вопросу об анализе литературного произведения в средней школе. — Л., 1935.
40. Цинговатов А. Новая русская литература в свете марксистской критики // Родной язык в школе. — 1924. — № 5.



## ПОЛЕ ДОЛЖЕНСТВОВАНИЯ В «ФАУСТЕ» И.В. ГЕТЕ И ПЕРЕВОДЕ «ФАУСТА» Б.Л. ПАСТЕРНАКА

А. Диомидова  
Каунас, Литва

В нашей работе предлагается новая методика описания трансформаций смысла текста оригинала поэтического произведения в процессе перевода под влиянием когнитивных структур принимающей культуры.

Перевод определяется как литературно-языковая интерпретация, а процесс перевода — как «акт порождения новой информации», при котором сохраняется определенный смысловой инвариант текстов оригинала и перевода и имеет место «приращение смысла текста» (4, с. 15). Причинами появления новой информации является взаимодействие содержания оригинала с индивидуальным когнитивным пространством (ИКП) переводчика на этапе анализа/синтеза текста. ИКП переводчика состоит как из индивидуальных когнитивных структур, так и является частью (национальной) когнитивной базы. Единицами (национальной) когнитивной базы традиционно признаются «культурные концепты».

Если принять в качестве единицы соизмеримости двух текстов с одинаковой денотативной ситуацией (универсальной информацией) концепт, то из этого вытекают два важных следствия. Первое следствие заключается в возможности объяснения различных оценочных взглядов на исходную ситуацию, осмысляемую в терминах одних и тех же концептов, если их содержание не совпадает в разных культурах или у носителей разных индивидуальных сознаний. Второе — заключается в возможности объяснить различие в осмыслении и переживании определенных ситуаций различными сценариями ментального поведения, предписываемого концептом, под который данная ситуация подводится.

Различия текстов оригинала и перевода станут еще более очевидными и объяснимыми в том случае, если при осмыслении исходной ситуации авторы используют разные концепты. Причины использования разных концептов связаны с национально-культурной и индивидуальной личностной спецификой того, что выше было названо индивидуальным когнитивным пространством. Это пространство, как уже упоминалось, складывается из двух сфер: национальной когнитивной базы и собственно индивидуального когнитивного пространства. Национальная когнитивная база складывается из специфических национальных концептов, присущих представителям определенного языка и связанной с ним культуры (в качестве специфически русских отмечаются, как известно, такие концепты, как судьба, душа, тоска и другие (2, с. 33). Независимо от осознаваемых желаний носителя языка при осмыслении тех или иных ситуаций он оказывается под влиянием концептов, воспринятых им вместе с языком и культурой и диктующих способ осмысления и переживания этих ситуаций.

Если рассматривать перевод как способ *о-своения* одной культурой наследия другой, то в этом случае включение уникальных концептов принимающей культуры в текст перевода способствует переходу текста из разряда *чужого* в разряд *своего*, или другими словами, *о-своение* происходит за счет *присвоения* чужому черт и характеристик *своего*.

Текст «Фауста» И.В. Гете в переводе Бориса Пастернака рассматривается как факт прежде всего принимающей, русской культуры, поэтому вместо традиционного сравнительного анализа оригинала и перевода, при котором акцент делается на верности передачи смысла оригинала в переводе, мы рассматриваем текст перевода как обладающий собственной, отличной от оригинала смысловой структурой. Материалом исследования являются имена этических понятий в первой части перевода «Фауста» Пастернаком, значение которых тесно связано с такой сферой идеальной действительности как мораль.

В своей монографии, посвященной лингво-философскому анализу абстрактного имени, Л.О. Чернейко отмечает, что «за этическими понятиями стоит идея должного, которой не соответствует существующее положение дел в целом, однако есть отдельные образцы соответствия идеалу» (7, с. 120).

Таким образом, этические имена, объединенные идеей должного, находятся в концептуальном поле, центром которого является концепт долга. Кроме того, этические концепты всегда носят характер рациональной оценки, чем отличаются «от душевных состояний, о которых человек знает изнутри и знает, что он их знает, состояние духа человек осваивает как возможность» (7, с. 120). «В именах этических понятий, в отличие от конкретных имен, прототипы — артефакты, хотя их сырье принадлежит действительному материальному миру. Это поступки людей, возведенные в ранг добродетели или злодеяния. Получается, что этические понятия вырастают из осмысления межличностных взаимодействий, а действия людей осмысливаются как поступки со знаком плюс или минус, когда есть для этого мера — имена, вмещающие эти понятия (7, с. 122). В тексте «Фауста» Гете «поле долженствования» образуется двумя (различными по своей функции в тексте оригинала) группами этических понятий, которые можно назвать *внешними* и *внутренними* регуляторами.

К *внешним* регуляторам относятся этические субстантивы *Sünde, Schande, Schmach*, которые связаны с сюжетной линией Гретхен и имеют функцию оценки ее истории внешним миром, поэтому встречаются в репликах Валентина, Лизхен и Гретхен. Отметим также, что данный смысловой пласт текста является инвариантным, так как относится к сюжетно-образующим элементам смысла текста. Эквивалентами *Sünde, Schande, Schmach* в тексте перевода служат субстантивы *грех, срам, срамота, позор, порок*. Данные субстантивы создают эквивалентные изотопные плоскости текстов оригинала и перевода.

Переводческие трансформации данного смыслового пласта оригинала можно поделить на три группы: 1) интергипонимические (при которых происходит замена одного частного понятия другим в пределах одного общего понятия) — когда словам со значением этической оценки в оригинале соответствуют слова с тем же значением в переводе, при этом не

имеет значения грамматическая форма, то есть в переводе понятие может передаваться частью речи, отличной от имеющейся в оригинале (к примеру, субстантивом, глаголом или словосочетанием:

*Лизхен: Воображала, что не грех / подарки брать от бедокура (485<sup>1</sup>) — 3558-92 ... sich nicht zu schämen, Geschenke von ihm anzunehmen (не грех — sich nicht zu schämen, не стыдилась); Лизхен: Брак не спасет от срамоты (485) — 3574 Lieschen: Kriegt sie ihn, soll's ihr übel gehn (срамота передает значение предложения soll's ihr übel gehn); Гретхен: Как не жалела слов, позор / Изобличая откровенно (486) — 3579-3580 Gretchen: Wie konnt ich über andrer Sünden / Nicht Worte gnug der Zunge finden! (позор — Sünden, грех) и т.д.*

2) композиционные перегруппировки элементов, когда в отношении эквивалентности вступают единицы большие, чем строка, предложение:

*Гретхен: Поднять глаза на посторонних срам (487).*

В строках оригинала, параллельных данным строкам перевода субстантивы

*Sünde, Schande, Schmach* отсутствуют: 3602 *Gretchen: Wohin ich immer gehe, / Wie weh, wie weh, wie wehe / Wird mir im Busen hier!*, однако, *Schmach* встречается в конце данного монолога *Гретхен: 3616 Gretchen: Hilf! Rette mich von Schmach und Tod!*

3) уточняющие трансформации, когда одному субстантиву этической оценки соответствует в переводе ряд близких по значению.

*Valentin: 3740 Wenn erst die Schande wird geboren, 3741 Wird sie heimlich zur Welt gebracht, 3742 Und man zieht den Schleier der Nacht 3743 Ihr über Kopf und Ohren; 3744 Ja man möchte sie gern ermorden. 3745 Wächst sie aber und macht sich groß, 3746 Dann geht sie auch bei Tage bloß, 3747 Und ist doch nicht schöner geworden. 3748 Je häßlicher wird ihr Gesicht, 3749 Je mehr sucht sie des Tages Licht. Valentin: 3762 Und wenn dir dann auch Gott verzeiht, 3763 Auf Erden sein vermaledeit!* В переводе: *Валентин: Когда на свет родится стыд, / Еще он от народа скрыт, / Его таят во тьме ночей, / Надвинув шапку до ушей. / Его не видно, и тогда / Его прикончить не беда. / Но не по дням, а по часам, / Растет и выпирает срам, / И чем чудовищнее грех. / Тем больше на виду у всех 493. И далее: Валентин: И если милостивый бог / Простит по смерти твой порок, / Ты смьть не сможешь на земле / Клейма проклятья на челе (493).*

В приведенном монологе Валентина кореферентной цепочке форм личного местоимения *sie*, относящихся к субстантиву *Schande*, в переводе соответствует не только идентичная кореферентная цепочка — *стыд, он, его*, но и синонимичные субстантивы *срам, грех, порок* и контекстуальный синоним *клеймо проклятья*, причем кореферентная цепочка перевода охватывает большее пространство текста, чем идентичная в оригинале: первые десять строк монолога, в переводе же распространяется на весь монолог.

Поле долженствования, к которому относятся внешние регуляторы этической оценки, не претерпевает существенных изменений в переводе, можно говорить лишь о перегруппировке его смысловых компонентов в тексте перевода. Принципиально отличный характер носят трансформации пласта смысла оригинала, который содержит внутренние регуляторы, то есть этические субстантивы со значением са-

мооценки. В тексте перевода наиболее часто встречаются такие имена этических понятий как *стыд, вина, совесть*, при этом данные этические субстантивы являются переводческими дополнениями, то есть не имеют эквивалента (в значении — лексическая единица, которая покрывает своим значением как в языке оригинала, так и в языке перевода, один и тот же фрагмент действительности) в тексте оригинала, что означает, что здесь мы имеем дело с фактом образования нового смысла, которое объясняется особенностями индивидуальной трактовки переводчиком смысла оригинала или же особенностями его личного мировоззрения, которые актуализированы в тексте перевода.

Далее рассматриваются случаи употребления в переводе этических субстантивов и характер трансформаций, вносимых этими субстантивами в структуру смысла оригинала.

В сцене «Vor dem Tor» («У ворот») сырьем для появления этической оценки послужило осознание Фаустом того, что он не достоин благодарности, прозвучавшей в его адрес:

*FAUST: 1030 Der Menge Beifall tönt mir nun wie Hohn. / O könntest du in meinem Innern lesen, / Wie wenig Vater und Sohn / Solch eines Ruhmes wert gewesen! — Фауст: И для меня насмешкою звучит / Тех тружеников искреннее слово. / От их речей охватывает стыд / И за себя, и за дела отцовы;*

*FAUST: 1053 Ich habe selbst den Gift an Tausende gegeben, / Sie welkten hin, ich muß erleben, / Daß man die frechen Mörder lobt.<sup>3</sup> WAGNER: 1056 Wie könnt Ihr Euch darum betrüben!<sup>4</sup> — Фауст: И каково мне слушать их хваленья, / Когда и я виной их умерщвления, / И сам отраву тысячам давал. / Вагнер: Корить себя решительно вам нечем (392).*

В оригинале Фауст оценивает себя как недостойного славы (*wenig Solch eines Ruhmes wert gewesen*) и как дерзкого убийцу (*die frechen Mörder*), в реплике Вагнера дается эмоциональная оценка состоянию Фауста (*betrüben — огорчаться*); в переводе, при сохранении почти всех смысловых компонентов оригинала, появляются субстантивы этической оценки — *стыд, вина* и предикат со значением этической оценки — *корить*, которые относятся к регуляторам внутреннего мира человека. Эти дополнения переводчика не нарушают семантического построения оригинала, где Фауст также размышляет о содеянном в рамке добра-зла. Однако русский Фауст фиксирует поступки в терминах этических понятий, то есть дает им закрепленную этическую оценку.

Появление в тексте имен-внутренних регуляторов позволяет выделять в тексте перевода новую категорию внутреннего мира русского Фауста — этическую. Эти имена, как и имена душевных состояний, создают пространство внутреннего мира героя. Примером тому может служить отрывок из монолога Фауста, в котором имена этических понятий и имена душевных состояний выполняют одну и ту же функцию — описывают внутреннее пространство субъекта:

*FAUST: Мы драпируем способами всеми / Свое безволие, трусость, слабость, лень. / Нам служит ширмой со-*

*страданья бремя / И совесть, и любая дребедень. / Тогда все отговорки, все — предлог, / Чтоб произвести в душе переполох. / То это дом, то дети, то жена, / То страх отравы, то боязнь поджога, / Но только вздор, но ложная тревога, / Но выдумка, но мнимая вина (381).*<sup>5</sup>

Этот монолог представляет собой сплав этических (совесть, вина, сострадание) и эмоциональных (страх, боязнь, тревога, сюда же можно отнести и безволие, слабость) субстантивов, что несомненно является свидетельством их «локализации» во внутреннем мире героя. Синтаксически эти субстантивы выполняют одну и ту же функцию — атрибутирования субъекта, называя различные его признаки, состояния. Функциональная однородность этических и эмоциональных понятий позволяет предположить их семантическую близость в данном контексте, этические понятия занимают во внутреннем мире субъекта место, идентичное эмоциональным, или можно сказать, что этические понятия приобретают статус чувств, психических, душевных состояний, «о которых человек знает изнутри и знает, что он их знает». Таким образом, можно отметить, что в отличие от немецкого, у русского Фауста этическое пространство внутреннего мира разработано несколько подробнее, а также видоизменяется его характер: русский Фауст переживает этические «чувства» наряду с эмоциями.

Наибольшее количество высказываний, содержащих предикаты этической оценки, приходится на сцены, посвященные отношениям Фауста и Гретхен. Приведем еще несколько примеров, в которых субстантивы этической оценки являются дополнениями переводчика и не имеют эквивалента в тексте оригинала: отрывок диалога Фауста и Мефистофеля перед сценой в саду Марты:

*Мефистофель: И примешься чистосердечно / Твердить, что чувство будет вечно. — Фауст: Примусь, конечно, — вот ответ, / И с чистой совестью, конечно! (465).*<sup>6</sup> В сцене «Лесная пещера»: Мефистофель Фаусту: *Как твой стыдливый слух тревожит, / Едва я прямо назову / То, без чего по существу / Твоя стыдливость жить не может! / Ну что же, лги и лицемерь, / Насколько совести хватает (475).* Фауст о Гретхен: *Как ты бледна, как ты бела, / Моя краса, моя вина! (509) (4201 FAUST: Welch eine Wonne! Welch ein Leiden! — Какое блаженство! Какое страдание!).* В сцене «Собор»: Злой дух Гретхен: *Молишь у Бога / Успокоения матери, / По твоей вине уснувшей / Навеки без покаяния? (491),* в оригинале: *3787 Durch dich — из-за тебя.* В сцене «Тюрьма»: Маргарита Фаусту: *О милая рука! / Но в чем она? Ах, узнаю. / Она в крови легка. / Вину твою мы скрыть должны (522).* В оригинале: *Margarete: 4512-4 Deine liebe Hand! — Ach, aber sie ist feucht! / Wische sie ab! Wie mich deucht, / Ist Blut dran.* Другой пример из той же сцены: Маргарита: *С сумою по чужим одной, / Шататься с совестью больной (534),* в оригинале: *4546 Es ist so elend — это так убого, жалко.*

История рецепции «Фауста» И.В. Гете русской культурой, для которой было характерно предпочтение этической проблематики «Фауста» другим аспектам данного произведения, позволяет утверждать, что усиление в переводе этической проблематики обусловлено определенным культурным сценарием. В тексте перевода без труда можно найти и отраже-

ние одного из признаков русского самосознания, который А. Вежицка формулирует как «любовь к морали — абсолютизация моральных измерений человеческой жизни, акцент на борьбе добра и зла (и в других и в себе), любовь к крайним и категоричным моральным суждениям» (2, с. 34). Общеизвестно, что этическая проблематика, вопросы морали и нравственности всегда находились в фокусе как русской философии и культуры, так русского общественного сознания. Представляется целесообразным упомянуть здесь статью В. Ярхо «Рок. Грех. Совесть», опубликованную в одном из сборников «Мастерство перевода» (9), в которой рассматривается сходная проблематика, но на примере переводов русскими авторами античных трагедий Эсхила, Софокла и Еврипида. Речь там идет о понятиях «большей частью из этической терминологии, которые без достаточных оснований проникают в русские переводы античных трагедий, вследствие чего и мировоззрение древнегреческих драматургов и изображаемый ими внутренний мир человека предстает перед современным читателем в некотором смещении» (9, с. 203). Автор отмечает, что включение несвойственных античному сознанию понятий рока, греха и совести сближает переживания героев античных трагедий с переживаниями современного человека, однако специфика античного сознания остается не достаточно выявленной. Такой процесс «осовременивания» перевода получил в теории перевода название «модернизации» и является одной из самых распространенных стратегий переводчика, в отличие от «архаизации», то есть сохранения исторического колорита подлинника. Думается, что усиление этической проблематики в переводе «Фауста» связано с особенностями восприятия этого текста русской культурой. Пастернак в своем письме к О. Фрейденберг от 7. 01. 1954, сетуя на то, что ему не дают написать введение и комментарий в дополнение к переводу, затрагивает именно нравственную проблематику «Фауста», называя *странностями и несообразностями* развитие сюжета с этой точки зрения: «А я мог бы так живо и доступно, легко сжатою прозой пересказать содержание, так естественно выделить действительные странности оригинала, несообразности его последовательности с нравственной точки зрения ... в дополнение к проясняющему действию перевода» (6, с. 274). Восприятие сюжета «Фауста» Гете как «странности» «с нравственной точки зрения» имеет свои глубокие традиции в русской культуре. В своей фундаментальной труде «Гете в русской литературе» В.М. Жирмунский отметил, что трагедия Гретхен привлекала к себе не меньшее, а иногда и большее внимание русской литературы и критической мысли, чем образ Фауста. Именно этические соображения обусловили резко отрицательное отношение Льва Толстого к творчеству Гете, Толстой отвергал Гете, причисляя его произведения к «безбожной» литературе (3, с. 87). Рецепции образа Фауста Достоевским посвящена работа А.Л. Бема «Фауст в творчестве Достоевского», в которой автор отмечает, что Достоевского в его творческом переос-

мыслинии «Фауста» Гете интересовала прежде всего этическая проблематика трагедии (1, с. 20). «Обречение на жалкую смерть «опустошенного русского Фауста» — Ставрогина и величественная осанна страданиям Гретхен — так преломилось в художественном сознании Достоевского величайшее создание немецкого гения. Это не суждение и не осуждение, а непосредственный художественный

отклик» (1, с. 23). Однако, несмотря на то, что Бем не считает рецепцию образа Фауста Достоевским «осуждением», отрицательная оценка, которую дает Достоевский Фаусту, содержится в самом сюжете. Гетевский Фауст после гибели Гретхен остается в живых, его «история» продолжается, для русского Фауста — Ставрогина это конец «истории», продолжения, по Достоевскому, быть не может.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

1. Текст перевода цитируется по изданию 5. В скобках приводится номер страницы.
2. Текст оригинала цитируется в соответствии с классической традицией: приводится номер строки (зд. по изданию Goethe 9).
3. Дословно: 1030-3 Большое количество одобрения звучит для меня как насмешка, / О, если бы ты мог читать во мне, / Как мало отец и сын заслуживают такую славу! 1053-5 Я сам яд давал тысячам, / Они увяли, я выжил, / чтобы можно было хвалить дерзкого убийцу.
4. Дословно: 1056 Как Вы можете так огорчать себя.
5. FAUST: 644 Die Sorge nistet gleich im tiefen Herzen, / 645 Dort wirkt sie geheime Schmerzen.
6. 3057-9 Von einzig überallmächtigem Triebe — Wird das auch so von Herzen gehn? / Laß das! Es wird! В оригинале лексема совесть отсутствует.

#### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Бем А.Л. «Фауст» в творчестве Достоевского. — Praha, 1937.
2. Вежбицка А. Язык. Культура. Познание. — М., 1996.
3. Жирмунский В.М. Очерки по истории классической немецкой литературы. — Л., 1972.
4. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек — текст — семиосфера — история. — М., 1996.
5. Пастернак Б.Л. Собр. соч.: В 5 т. — М., 1989-1991. — Т. 5.
6. Переписка Бориса Пастернака. — М., 1990.
7. Чернейко Л.О. Лингво-философский анализ абстрактного имени. — М., 1997.
8. Ярхо В. Рок. Грех. Совесть // Мастерство перевода. 1972. — М., 1973.
9. Goethe J.W. FAUST. Der Tragödie erster und zweiter Teil. — München, 1994.

## СООТНОШЕНИЕ ВОЛЬНОСТИ И АДЕКВАТНОСТИ В ПЕРЕВОДЕ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА «ИЗ ГЕТЕ»

А.Т. Грязнова  
Москва

Современные ученые-филологи единодушно причисляют М.Ю. Лермонтова к разряду писателей, оказавших большое влияние на становление и развитие русского поэтического перевода. Так же едины они и в вопросе квалификации типа его переводов. Результаты трансляционной деятельности М.Ю. Лермонтова традиционно оцениваются ими как версии или вариации на тему иноязычных подлинников, то есть — вольные. Думается, что степень вольности этих переводов различна. В своей статье мы ставим задачу уточнить, насколько корректна такая квалификация переводов М.Ю. Лермонтова с учетом достижений лексикологии конца XX века. В качестве объекта исследования нами избран перевод, принадлежащий последнему этапу творчества поэта, — «Из Гете», чаще называемый «Горные вершины...» (1840). Причина выбора текста обусловлена тем, что этот перевод, традиционно определяемый как вольный, в сознании носителя русской культуры более устойчиво ассоциируется с творчеством И.В. Гете, чем более поздние и, казалось бы, более точные версии того же оригинала, принадлежащие И.Ф. Анненскому и В.Я. Брюсову. По нашему мнению, лексико-семантический анализ компонентов перевода М.Ю. Лермонтова в сопоставлении с единицами оригинала поможет прояснить эту проблему.

Для решения этой практической задачи необходимо уточнить границы понятий *вольный* и *адекватный* перевод.

Представление о вольности переводов Лермонтова сформировалось к середине XIX века, когда классификация переводов включала в себя лишь два вида — *вольный* и *буквальный*. Для их обозначения использовались разные термины (см. работы П.А. Вяземского, В.Г. Белинского), однако сущность концепций от этого не менялась. На этих же позициях стоят многие видные исследователи нашего времени (например, М.Л. Гаспаров).

В современном переводоведении существует значительное количество определений вольного перевода. Например, Р.К. Миньяр-Белоручев отмечает такую его особенность, как «перевод ключевой информации без учета формальных и семантических компонентов исходного текста» (7, с. 166). Иными словами, в его понимании вольный перевод — это пересказ, «склонение на наши нравы», как выражались переводчики конца XVIII — начала XIX вв. Несколько иначе интерпретирует понятие А. Попович: «Сверхинтерпретация перевода (т.е. вольный перевод. — А.Г.) — нежелательное перекодирование соответствующих уровней оригинала путем установления таких семантических и стилистических элементов, которыми оригинал не обладал. Интерпретация глубинной структуры текста без внимания к ее поверхностному уровню, т.е. к фактическому соответствию текста. Сверхинтерпретация характеризует высокая мера семантизации языковых элементов в переводе и развитии темы» (8, с. 191). Как следует из определения, точный перевод, в противополож-

ность вольному, должен исключать компоненты языка перевода (ПЯ), не отвечающие требованию «фактического соответствия». Иными словами, главная задача точного (т.е. адекватного) перевода — передать понятийный компонент значения лексических единиц оригинала. Стилистический и этнокультурный потенциал первоисточника следует передавать лишь в том случае, когда он не имеет отличий в ПЯ. Эта мысль прослеживается и в работе В. Коптилова, который отметил, что при адекватном переводе «анализ должен установить идейно-образную структуру подлинника, которая подлежит непременно воспроизведению в переводе. Система ключевых понятий оригинала и принципы их образного воплощения должны быть переданы максимально точно, все же остальное может подвергаться определенным изменениям при условии, что они не могут противоречить идейно-образной структуре подлинника» (5, с. 65-66). При таком понимании вольности / адекватности точный перевод «фактически соответствует» тексту оригинала, но утрачивает значительную часть его коннотаций и этнокультурных особенностей; вольный же перевод позволяет сохранить фоновую семантику оригинала за счет «установления таких семантических или стилистических элементов, которыми оригинал не обладал».

Эти выводы были существенно уточнены благодаря тому, что во второй половине XX в. процесс изучения адекватности перевода заметно активизировался (см. работы В. Коптилова, С. Гончаренко, Н.М. Демуровой, В.С. Виноградова). Адекватность (эквивалентность) передачи иноязычного художественного текста ставится переводоведами в прямую зависимость от точности воспроизведения в нем этнокультурного компонента, коннотации оригинала, а также от умения переводчика найти приемы, позволяющие донести национальное своеобразие оригинала до представителя иной культуры. Современные теоретики перевода обращают внимание не только на минимальную и максимальную единицы перевода (лексико-семантический вариант слова и текст), но и на «промежуточные» элементы этой цепи, например, смысловую группу. Следствием подобного подхода стала возможность корректировки определения адекватного перевода. Так, например, в монографии В.С. Виноградова дано точное с позиций зрения современной лингвистической науки определение эквивалентности, под которой «понимается наиболее полное и идентичное сохранение в тексте перевода жанрового своеобразия оригинала и всей разнообразной информации, содержащейся в тексте подлинника. Лишь служебная внутриязыковая информация <...> не передается, так как она сообщает сведения о так называемых «пустых» грамматических категориях, <...> свойственных системам тех или иных языков. Эквивалентность перевода оригиналу — понятие относительное. Ее уровень и специфика меняются в зависимости от способа и жанра переводимого текста» (1, с. 11-12). Среди позитивных качеств это-

го определения можно назвать следующие: требование передачи полного объема информации оригинала (в том числе эстетической), отсутствие жестких рамок в выборе способа достижения переводческой адекватности, наконец, диалектический подход к пониманию категории эквивалентности.

С нашей точки зрения, целесообразно добавить, что адекватность перевода — понятие исторически изменяемое. Ее уровень определяется степенью «знакомства» культур друг с другом. Адекватность перевода XIX века не может быть той же, что и в XX веке, поскольку чем глубже диалог культур, тем легче передать образы, ранее непередаваемые из-за стилистических и этнокультурных различий двух языков. Следует отметить, что часто именно эти образы служат основным средством формирования идеи оригинала. Ценным представляется в этом смысле наблюдение С. Гончаренко о праве переводчика, стремящегося к адекватности, на трансформации: «Речь идет <...> не о переводческом произволе, а о переводческой свободе как осознанной необходимости преобразовывать те элементы фактуальной информации, которые в оригинале служат средством порождения концептуально-эстетического содержания, а при точном перенесении их в перевод, напротив, разрушают его концептуальную и эстетическую содержательность» (4, с. 106). Особенно отчетливо эта закономерность прослеживается в начале XIX века, когда диалог русской и европейских культур находился в становлении.

Критик перевода обращает внимание на то, что «свобода должна ограничиваться чувством такта и пониманием того обстоятельства, что при замене некоей «критической массы» денотатов фактуальной ситуации переводу грозит опасность превращения в перепев и подражание...» (4, с. 106). Что же служит границей перевода и подражания? Ссылаясь на пример С. Гончаренко, по словам которого «вряд ли парус, одиноко белеющий в тумане моря, допустимо трансформировать в пальму, сиротливо зеленеющую в золотистой дымке пустыни» (4, с. 106), логично предположить, что о переводе в собственном смысле этого слова можно говорить в том случае, если трансформации проистекают в заданных оригиналом рамках тематической, лексико-семантической групп или синонимического ряда. При этом должна строго соблюдаться эквивалентность фоновой семантики и коннотата подлинника и версии. Во всех остальных ситуациях, особенно в случае антонимической замены, речь идет о подражании или весьма вольной версии. Именно таким образом, думается, нужно понимать адекватность применительно к переводам XIX века. Под этим углом зрения следует, как нам кажется, рассматривать и перевод М.Ю. Лермонтова стихотворения И.В. Гете «Wanderers Nachtlied».

Анализ последних переводов М.Ю. Лермонтова («Горные вершины...», «Сосна» и др.) свидетельствует о том, что при внешнем (формальном) несовпадении с оригиналами они достаточно полно и глубоко передают концептуальную и эстетическую информацию подлинника. Так, по наблюдениям М.Л. Гаспарова, степень точности (буквальности) перевода Лермонтова «Из Гете» («Горные вершины...») равна 35%, а

вольности — 65%. Помимо этого исследователь отметил, что из 8 строчек оригинала точно в переводе передано только три — первая и две последних, изменен и стихотворный размер произведения: дольник заменен трехстопным хореем. По словам М.Л. Гаспарова, в русской версии наблюдается и явный алогизм: ночью (во мгле) трудно рассмотреть все те детали, которые добавляет Лермонтов в свой перевод (пустынная дорога, листья и др.) (2). Означает ли все это, что Лермонтов искажил подлинник Гете? Подобный ответ можно предположить как потенциально возможный, поскольку для переводов Лермонтова характерна тенденция «выделения одних элементов подлинника за счет других, изменение смысловых пропорций целого» (9, с. 237).

Чтобы объективно ответить на поставленный вопрос, сравним язык и стиль оригинального стихотворения И.В. Гете «Wanderers Nachtlied» и его перевода «Горные вершины...», выполненного М.Ю. Лермонтовым в 1840 году, с учетом тех отношений, которые складываются между компонентами двух текстов.

Прежде всего следует заметить, что Гете создал два разных стихотворения с одинаковыми названиями, которые на русский язык переводятся как «Ночная песнь путника (странника, путешественника)» (1776, 1780). Относительно их идейной связи исследователи до сих пор не пришли к единому мнению. На наш взгляд, эта связь очевидна: стихотворения Гете соотносятся как реплики диалога Человека и Бога. Кроме того, в первом из стихотворений наблюдается полный лексический повтор слова *doppelt* — дважды, вдвойне, которое указывает на особенность композиции микроцикла.

Думается, М.Ю. Лермонтов также обратил внимание на идейную связь этих произведений, поскольку, переводя второй оригинал, он последовательно обращался к образно-выразительному потенциалу первого.<sup>1</sup> Причина, по которой русский поэт выбрал второй немецкий оригинал в качестве объекта перевода, вполне объяснима. Во-первых, изображение горного пейзажа делает стихотворение близким к поэтике романтизма, а следовательно, и стилю Лермонтова. Особенно отчетливо это осознается на фоне более раннего стихотворения, лирический герой которого обладает чертами персонажа сентиментального произведения. В подтверждение сказанного приведем подстрочник более раннего стихотворения: *Ты, который с небес упокаиваешь все радости и боли, который дважды жалкого (убогого) вдвойне наполняешь (поддерживаешь) свежестью. Ах, я утомлен подъемом! Как надуманны все мучения и веселье. Сладостный мир (согласие, покой, спокойствие, смерть), приди, ах, приди в мою грудь (душу, сердце).*<sup>2</sup>

Во-вторых, средства создания горного пейзажа к моменту создания перевода уже в полной мере сформировались в творчестве русского поэта:

**«Спеша на север издалека...»**

...

Но сердца тихого моленье

Да отнесут твои скалы

В надзвездный край, в твое владенье

К престолу вечному аллы.  
 Молю, да снидет день прохладный  
 На знойный дол, и пыльный путь,  
 Чтоб мне в пустыне безотрадной  
 На камне в полдень отдохнуть.  
 1838

Как можно заметить, горный пейзаж в оригинальном стихотворении Лермонтова включает в себя ряд элементов, которые закрепляют в сознании читателя устойчивую ассоциативную связь: *горы* — *раздумья человека о судьбе* — *осознание им своей связи с Богом*.

Отказавшись от перевода первого стихотворения Гете, в том числе и из-за его дидактичности, Лермонтов

Über allen Gipfeln

Ist Ruh',

In allen Wipfeln  
 Spürest du  
 Kaum einen Hauch.

Die Vögelein schweigen im Walde.  
 Warte nur balde  
 Ruhest du auch.

(1780)

Как можно заметить, в организации немецкого текста единицы семантической группы *пространство* (они выделены прямой линией) участвуют гораздо активнее, чем компоненты смысловой группы *время* (выделены пунктиром), — об этом свидетельствует их количество. Пространственная организация обоих стихотворений Гете одинакова. Система координат первого стихотворения реализуется с помощью слов *Wander* (путник) — *Himmel* (небо) — *Brust* (грудь, сердце, душа). В этой цепочке дважды повторяются слова, содержащие сему *земля*, причем оба раза она может быть интерпретирована как буквально, так и фигурально: почва, по которой необходимо пройти, передвигаясь в пространстве, жизненный путь человека, путь к Богу. Слова *Himmel* (небо) — *Brust* (грудь, сердце, душа) в тексте стихотворения обнаруживают черты как антонимии (ср. небо — земля), так и синонимии (ср. Бог — душа). Пространственная характеристика второго немецкого оригинала аналогична: она строится по тождественной схеме *путник* — *вершины*, *вершины* — *лес*, *птички*, *ты* (=путник). Организация художественного пространства немецких оригиналов может быть описана с помощью одинаковой системы координат «низ — верх — низ», что усиливает их идейную взаимосвязь и диалогизм композиции.

В версии Лермонтова пространственная организация текста создана системой оппозиций: по вертикали — *верх* (горные вершины) / *низ* (долины) и по горизонтали — *даль* (дорога) / *близость* (листья). Направленность описания в русской версии иная, чем в немецкой: со всех сторон к центру, в котором находится лирический герой. Иными словами,

производит его идейно-образную компенсацию. Во-первых, опираясь на общность изображаемых Гете и им самим картин, он «подключает» перевод к собственной поэтике, посредством чего компенсирует недостающие смыслы первого текста. Во-вторых, переводя более позднее стихотворение немецкого классика, он последовательно использует в процессе работы изобразительные средства более раннего произведения. Думается, в переводе Лермонтову удалось передать не только картины горной природы, но и воссоздать глубинные мотивы оригинала Гете.

Проанализируем перевод более подробно. Вот как выглядит подстрочник немецкого оригинала:

1. Над всеми вершинами  
(верхушками — преимущественно о горах)
2. Покой (спокойствие, отдых, неподвижность, тишина, мир, порядок),
3. Во всех вершинах (верхушках деревьев — выс.)
4. Чувствуешь (ощущаешь) ты
5. Едва (с трудом, еле, чуть-чуть) / вряд ли едва ли легкое дыханье (дуновенье) / настроенье (впечатление, атмосферу) / намек.
6. Птички умолкли в лесу.
7. Подожди лишь (только), скоро
8. Отдохнешь (выс.) / упокоишься, ляжешь / станешь неподвижным ты тоже.

и в немецком, и в русском текстах два лирических героя (Бог и человек), но их взаимодействие различно. В основу пространственной организации немецких оригиналов положена геометрическая фигура, напоминающая треугольник, в основу русского перевода — фигура креста, что вообще характерно для русского романтизма. В немецком оригинале идея Абсолюта соотносена с образом небес, в русском переводе отражено представление о Боге одновременно пребывающем на небесах (вершинах гор) и незримо присутствующем вокруг человека. Таким способом русские романтики, в том числе и Лермонтов, последовательно подчеркивали, что их герой существует на стыке реального и идеального миров, одновременно во времени и пространстве и вне их. В сравнении с оригиналом количество единиц группы *пространство* в русской версии не меняется (5 с учетом личного местоимения). Однако меняется их значение и количественное распределение внутри группы: в русской версии появляется слово *долины*, которое подчеркивает, что лирический герой Лермонтова находится между небом и землей, в то время как герой Гете — земной человек, мечтающий о Божественном откровении. Единицы семантического поля *пространство* в русском переводе связаны не только с развитием сюжета, но и с идейной стороной текста, в то время как в оригинале они в большей мере формируют событийный план стихотворения. Углубленный сопоставительный анализ фоновой семантики текстов показывает, что этнокультурная семантика компонентов группы содержит как общие, так и различные черты.

Идею высших сил Гете передал посредством слов, содержащих понятийную сему верх: Gipfeln (вершины гор), Wipfeln (верхушки деревьев). Идею диалога человека с Богом немецкий поэт воссоздал графически: написание местоимения *Du* — «ты» с большой буквы<sup>3</sup>, так называемое *Du* интимное, отражает сочувствие и нравственную поддержку Высших сил тому, кто в них нуждается, то есть путнику, страннику. Русское местоимение *ты* способствует расширению семантики текста: оно может быть истолковано читателем в духе подлинника Гете; как обращение лирического героя к самому себе; как обращение автора к читателю. В немецком оригинале речь Бога подобна веянию свежего ветра, достигает глубин сердца, души героя (образные параллели *птица — душа, лес — глубина сердца, а также место, где человек способен заблудиться*, присущи как русскому, так и немецкому языку). В то же время русской культуре чужда образная параллель *верхушка дерева (а следовательно и лес) — Бог*. В произведении Лермонтова Бог изображен вездесущим с помощью приема олицетворения: природа, окружающая лирического героя одухотворена (*вершины спят, листья не дрожат*), гармонична и спокойна. Интересно использование переводчиком образа *листов*. Во-первых, он тематически относится к той же смысловой группе, что и единицы *лес, птички*, а во-вторых, как и горный пейзаж, является приметой идиостиля русского поэта. Оторванный ветром от ветки листок в его творчестве — символ мятущейся человеческой души, однако в тексте стихотворения употреблена форма множественного числа, чем подчеркнута идея общности и гармонии. Русский поэт подчеркивает, что *листья не дрожат*, то есть спокойны, эта деталь отражает идею единства и гармонии Бога с природой. Таким образом, в переводе единицы группы *пространство* и смежной с ней парадигмы *природа* не копируют элементы оригинала, но в то же время на уровне фоновой семантики они вполне эквивалентно (насколько это возможно при несовпадении культур) передают содержание оригинала.

Временная организация текстов также заслуживает подробного анализа. Семантическая группа *время* в оригинале представлена тремя единицами *Ruh'* (покой), *schweigen* (молчат), *ruhest* (успокойсь). На принадлежность слов к этой смысловой парадигме указывают их периферийная сема *ночь*. Немецкий оригинал лишь косвенно указывает на ночное время суток, и пунктирно обозначает время года — вторая половина весны, лето, начало осени. Как свидетельствует подстрочник, именно компоненты семантической группы *время* функционируют в тексте оригинала диффузно, то есть в ряде значений, что способствует передаче идеи вневременности происходящего и усилению философского звучания текста. В русском переводе единиц, характеризующих время описываемых событий, больше, чем в подлиннике: *спят, тьма, ночная, мгла, отдохнешь*, они с большей точностью обозначают время описываемых событий. В переводе время действия (ночь и, вероятно, осень) указаны отчетливее. Таким образом, в переводе

единицы этой группы гораздо сильнее, чем в оригинале, участвуют в формировании сюжетности текста. Объединяет оригинал и перевод то, что в обоих случаях единицы группы *время* активно участвуют в формировании фоновой семантики произведения. Так, немецкие *Ruh'*, *ruhest* (покой, успокойсь) обладают производными значениями *тишина, гармония, смерть*. Их русские замены — *спать, отдохнуть* — обладают равноценной в своей многозначности семантикой (ср. мифологическое представление о том, что *сон — брат смерти; отдых — успокоение, обретение гармонии*). Потенциальный мотив смерти усиливается в немецком и русском текстах словами со значением «чернота»: *Nacht* (ночь), *тьма ночная, мгла*. Последнее слово в этом ряду выступает в тексте сразу в нескольких значениях: *темнота и осень, (влага, свежесть)*. По наблюдениям Н.М. Шанского, в XIX веке эта единица, помимо привычного, имела значения *туман, изморось, «густой снег, скрывающий в тумане, как своеобразная завеса все окружающее»* (10, с. 285). В стихотворении Лермонтова доминируют два значения — *темнота и туман, изморось*. Второй лексико-семантический вариант поддерживается фонетическими ассоциациями: в слове *подожди* присутствует графический комплекс *дожд-*. Посредством этого слова *мгла* Лермонтову удается не только передать внутреннюю старость своего лирического героя (в романтической литературе образная параллель *осень-старость* весьма частотна), но и косвенно указать на то, что персонаж стоит на пороге обретения света, гармонии, покоя (свежести). Поэт создает сложный образ мглы, постепенно рассеивающейся перед внутренним взором героя, что позволяет объяснить выявленный М.Л. Гаспаровым алогизм деталей увиденных персонажем во тьме: его зрение не физическое, а психическое, приобретенное в результате приобщения к Богу и к природе.

Логические акценты в стихотворениях немецкий и русский авторы расставляют по-разному, но одним и тем же способом — с помощью морфологического контраста: в оригинале лишь одно слово женского рода — *Ruh'* (покой, гармония), и лишь одно — среднего *das Lied* (песня, мелодия). Таким образом, смысл немецкого подлинника — *ночная песня, мелодия покоя (мира, гармонии, смерти как обретения желанного покоя)* отражен уже в его названии. В русском стихотворении название отсутствует (с точки зрения носителя русской культуры XIX века оно алогично), а идея передается формами единственного числа местоимения *ты* и существительного *дорога*, которые символизируют жизнь человека и его стремление обрести истину.

Слово *дорога*, добавленное в переводе М.Ю. Лермонтова, как можно заметить, свидетельствует не об авторском произволе в обращении с текстом, а о стремлении усилить философский смысл стихотворения, поскольку у носителя русского языка это слово вызывает ассоциации жизненного пути, пути к Богу, к постижению истины, выбора, ученичества, странничества, поклонения святым местам, изгнания, отверженности, бесприютности и т.д.



Образ *дороги* в русском переводе заменяет экспрессивному оригиналу *Wandrer* (*странник, путник, путешественник*), с которой связан тематически. Выбор переводчика определяется большей культурной значимостью мотива дороги в русском менталитете. Мотив страдания, несомненно, заимствован переводчиком из более раннего стихотворения (см. подстрочник: *страдания, жалкий*). Сходный комплекс идей передается и лексемой *листы*, с которой в идиостиле русского романтика связана тема изгнания, бесприютности, гармоничной жизни. Добавлением этих семантических единиц (их тематика задана лексической организацией оригинала), русский переводчик компенсирует устранение ряда единиц оригинала.

Лексические трансформации потребовали от Лермонтова более четкой жанровой характеристики текста. Указание на песенный жанр в переводе осуществляется не вербально, как в оригинале (*Nachtlied*), а с помощью метрики: трехстопный ямб традиционно соотносился в русской лирике с жанром песни. Дольник в немецком оригинале подчеркивает естественный, природный характер звука, в то время как хорей усиливает его гармонию, метрическую организацию. Стихотворный размер произведения Гете чрезвычайно типичен в немецкой поэзии. Главный его признак — одинаковое количество ударений в рифмующихся строках. В то же время внутри строки отсутствует последовательное чередование ударных и безударных слогов. На фоне названия, которое обычно переводится как «Ночная песнь странника (путника)», отсутствие песенной мелодичности и привычного стихотворного размера, скорее всего, было бы воспринято русским читателем как отступление от литературной нормы, как нарушение законов жанра. Предвидя это, М.Ю. Лермонтов произвел замену дольника трехстопным хореем. Стихотворный размер, выбранный Лермонтовым, вероятно, был подсказан ему и первым из стихотворений микроцикла (оно написано четырехстопным хореем). В пользу того, что переводчик абсолютно точно выбрал способ указания на жанровую принадлежность текста, свидетельствуют данные «Лермонтовской энциклопедии»: стихотворение было положено на музыку девяноста композиторами. Выбор переводчиком стихотворного размера решающим образом повлиял на семантический ореол метрики: в дальнейшем поэты при описании ночного пейзажа стали использовать не только созданную Лермонтовым систему образов, но и стихотворный размер.

Дольник, непривычный для русской традиции, не произвел бы подобного впечатления на русского читателя. В немецком оригинале он не маркирует жанр стихотворения, а используется с целью звукописи: взаимодействуя в произведении Гете с мужскими рифмами, фонетически совпадающими с гласным *u* и сочетанием *auch*, он передает звук, имитирующий дуновение ветра, которое символизирует отклик Бога на мольбу лирического героя. В русском фольклоре *ветер* обычно знаменует собой злую силу, враждебную человеку. Во взаимодействии со словом *мгла* эта лексема дала бы в переводе

нежелательный семантический результат. Вероятно, это, равно как и непривычность дольника для русского читателя, вызвало переводческие трансформации.

Фонетическая организация стихотворения Гете также непривычна для русского читателя: среди ударных гласных преобладают *u* и *i*, которые в русской культурной традиции воспринимаются как «минорные», т.е. передающие тоску, печаль. Для М.Ю. Лермонтова покой — это то, к чему стремится его лирический герой-странник, поэтому в русском стихотворении гласный звук *u* конкурирует с нейтральным *o* и мажорными *a* и *e*. Среди повторяющихся согласных звуков в произведении немецкого классика преобладают глухие *sh* и *x*, вероятно, изображающие тихий шелест ветра в листве. Для национального русского сознания эти звуки скорее «антипоэтичны», чем поэтичны. Поэтому М.Ю. Лермонтов последовательно применяет в своем стихотворении слова, содержащие «поэтичные» сонорные звуки *m*, *n*, *l* и примыкающий к ним *r*. Фонетические преобразования служат цели поэтизации природы гор. Ощущение гармонии ночного пейзажа Лермонтов усиливает фонетическими повторами: *горные / дорога, дрожат; долины, пылит, листы; ночной, немного*. Пейзажная зарисовка приобретает целостный и законченный характер, гармонию формы и содержания.

Этой же цели способствуют и стилистические преобразования. В стихотворении Гете на фоне нейтральных слов встречались как разговорные *Gipfel* (верхушки), *Vogelein* (птички), так и книжные единицы — *Wipfel* (вершины деревьев, выс.), *ruhest* (упокойсь, выс.). В русской версии преобладают поэтическая и народно-поэтическая лексика (ср. *свежая мгла — не пылит дорога*). Думается, именно такой принцип отбора лексических единиц обеспечил стихотворению успех у самых разных слоев читающей публики. Составители «Лермонтовской энциклопедии» отметили, что в XIX веке существовала народная песня, начинавшаяся со слов: «Не пылит дорога...».

Все перечисленные доводы позволяют пересмотреть вывод о том, что рассмотренный перевод М.Ю. Лермонтова является вольным, скорее, он относится к разряду адекватных. Лермонтову удалось образно и доступно для носителя русской культуры воссоздать эстетическое содержание оригинала. Как показывает анализ текста немецкого оригинала, его содержание многопланово и может быть понято по-разному в зависимости от того, на какое значение полисемантического слова читатель будет опираться при восприятии текста и обратит ли он внимание на фоновую семантику текста. Иными словами художественный текст Гете многомерен. Так, подлинник может быть воспринят как пейзажная зарисовка, как размышление лирического героя о собственной судьбе (о жизни и смерти), как обращение высших сил (Бога) к человеку со словами утешения, как осознание личностью своего места в природе. Большинство ключевых слов немецких текстов многозначно, и это не позволяет читателю остановиться на единственной его интерпретации.

Сталкиваясь с подобной ситуацией, автор вольного перевода обычно чувствует себя достаточно свободно при выборе того мотива (или мотивов), которые предполагает отразить в своей версии. Адекватный переводчик, напротив, основываясь на «сопоставлении стилистических систем двух языков, опирающемся на сравнении историко-культурных традиций двух национальных цивилизаций», найдет «функциональные соответствия, адекватные средства, производящие то же впечатление на читателя в новой языковой среде» (6, с. 127). В свете того, что стихотворение — часть микроцикла, адекватный переводчик, на наш взгляд, должен при его трансляции, во-первых, передать идею общения героя с высшими силами, во-вторых, подчеркнуть многомерность смысла текста, в-третьих, передать его жанровую, песенную, принадлежность, естественно сохраняя ключевые образы оригинала.

М.Ю. Лермонтову удалось решить в своем вольном переводе все три задачи.

Произведения немецкого и русского авторов эквивалентны с точки зрения перечня смыслов, передаваемых ими. Так, например, диффузное употребле-

ление лексических компонентов перевода, детальная проработка его фоновой семантики позволяют М.Ю. Лермонтову достичь эквивалентной оригиналу многомерности. Трансформации произведены переводчиком с учетом выявленных им несоответствий русской и немецкой образных систем. На наш взгляд, все эти доводы свидетельствуют о том, что перевод Лермонтова скорее адекватен, чем волен. Это адекватность особого рода, поскольку перевод Лермонтова был первой трансляцией данного произведения Гете и носил модернизирующий характер. В то же время русский романтик, как нам кажется, гораздо точнее передал смысл произведения Гете, чем более поздние переводчики этого художественного текста.

Все изложенное в статье не дают повода утверждать, что все переводы М.Ю. Лермонтова относятся к эквивалентной разновидности, однако, нам представляется, что настало время изучить эту сферу деятельности поэта более пристально, с учетом достижений современной лингвистической науки. Лишь такой подход позволит сделать объективные выводы о переводческой стратегии М.Ю. Лермонтова.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

1. С творчеством немецкого классика русский романтик был хорошо знаком: по словам В.Г. Белинского (1840 г.): «Он (Лермонтов. — А.Г.) славно знает по-немецки и Гете почти всего дует наизусть».
2. Широко известны художественные переводы этого стихотворения, выполненные А. Фетом, М.Л. Михайловым и М.Л. Лозинским.
3. См.: 3.

#### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Виноградов В.С. Введение в переводоведение. — М., 2001.
2. Гаспаров М.Л. Подстрочник и мера точности // Гаспаров М.Л. О русской поэзии. — М., 2001.
3. Гете. Жизнь все же хороша. К 250-летию со дня рождения И.В. Гете. — М., 1999.
4. Гончаренко С. Стиховые структуры лирического текста и поэтический перевод // Поэтика перевода. — М., 1988.
5. Коптилов В. И вширь и вглубь... // Поэтика перевода. — М., 1988.
6. Левин Ю.Д. Русские переводчики 19 века. — М., 1985.
7. Миньяр-Белоручев Р.К. Как стать переводчиком? — М., 1999.
8. Порпович А. Проблемы художественного перевода. — Благовещенск, 2000.
9. Федоров А.В. Лермонтов и литература его времени. — Л., 1967.
10. Шанский Н.М. Стихотворение А.С. Пушкина «Зимнее утро» // Лингвистический анализ художественного текста. — М., 1990.

## **IV. МОРАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ АВТОРА И ГЕРОЯ**

- 1/ Л.П. Ефанова / Ставрополь / Оценки Аввакума сквозь призму языка и этики**
- 2/ А.Х. Гольденберг / Волгоград / О формах выражения этической позиции автора в гоголевском тексте**
- 3/ С.Т. Баранов / Ставрополь / Ф.М. Достоевский о единстве права и морали**
- 4/ Л.Н. Чурилина / Санкт-Петербург / «Есть ли такой закон природы, чтобы любить человечество?» (любовь как лексическая тема романа «БК»)**
- 5/ Е.Ю. Коломийцева / Армавир / Формирование особенностей сюжетно-композиционной организации литературной антиутопии в романе Н.С. Лескова «Чёртовы куклы»**
- 6/ М.С. Максименко / Краснодар / Русский самоубийца как литературный архетип**
- 7/ Р. Войтехович / Тарту, Эстония / Цветаева о «спартанстве»**
- 8/ С.В. Видергольд / Челябинск / Фразеологизмы как средство выражения моральной позиции автора в повести М.И. Цветаевой**
- 9/ А.В. Свиридова / Челябинск / Религиозно-этическая символика в литературном произведении**
- 10/ И.А. Тарасова / Саратов / Георгий Иванов: summa ethicae**
- 11/ Л.И. Бронская / Ставрополь / Духовно-нравственная концепция И.С. Шмелева**
- 12/ О.Н. Мороз / Краснодар / Н. Заболоцкий и его концепция «воспитания души»**
- 13/ Я.В. Погребная / Ставрополь / Принцип соответствия героя и мира как этическая проблема в романе В.В. Набокова «Лолита»**
- 14/ С.А. Ахмадеева / Краснодар / Апplikативная метафора как способ выражения этических и эстетических воззрений автора (на примере рабочих тетрадей Г.М. Козинцева)**
- 15/ Г.П. Толпаева / Ставрополь / Интонация как средство выражения авторского сознания в повести А.И. Солженицына «Адиг Швенкиттен»**
- 16/ В.В. Десятов / Барнаул / Этика и социология паноптизма**
- 17/ И.В. Столярова / Санкт-Петербург / Аспекты морального сознания автора в произведениях женской прозы**

## ОЦЕНКИ АВВАКУМА СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЯЗЫКА И ЭТИКИ

Л.П. Ефанова  
Ставрополь

Как всегда, «Textus» задает проблему, которая, как минимум, должна ставиться перед собой каждым из нас: Я и Текст, Он и Текст, Ты и Текст ... И самым, пожалуй, острым станет соотношение «Я и Текст», ибо в остальных случаях мы подыграем себе, мы будем все равно субъективны. Известно, что субъективное ценностное отношение говорящего выражается объективными средствами, т.е. находится в квалификативной сфере языка. Е.М. Галкина-Федорук (1958), В.А. Звегинцев (1955), Л.Ю. Максимов (1975), А.П. Сковородников (1981), Русская грамматика (1979), В.Н. Телия (1986), В.К. Харченко (1976), В.И. Шаховский (1984, 1987), а также коллективные монографии «Проблемы экспрессивной стилистики» (1987), «Человеческий фактор в языке: Языковые механизмы экспрессивности» (1991) и др. так или иначе рассматривают проблемы эмоционально-оценочной сферы текста, которая может осознаваться как «со-значения, как недифференцированное общее значение, как эмотивно-оценочно-экспрессивный комплекс с признанием определяющего положения эмотивности, разграничение оценки, эмоциональности, экспрессивности как категорий функциональной, психологической и отражательной, нарушающей общезыковые стандарты (В.К. Харченко — 1976, 1987).

Мы склоняемся к последней точке зрения, берем ее за основу и ставим перед собой в данной статье цель: показать этику оценки, эмоциональности и экспрессивности текстов Аввакума. Ибо в текстах задействован каждый уровень языковой системы: суффиксы, служащие экспрессивной характеристикой, несвободные типы лексических значений (*хитрец*) особый круг слов — предикативных выражений, обозначающих эмоциональные отношения к действию или объекту: *стыдно, жаль, морально-этическую или эмоционально-волевою квалификацию действия — позор, грех, стыд, смех, которые иногда в текстах Аввакума являются эмоциональными типами предложений, — Позор!*

Субъективность как первооснова этих оценок бесспорна, различная степень узуальности и окказиональности также активно задействованы в анализируемых текстах, ибо эмоция всегда оценочна, взаимная зависимость, сложность разграничения в едином коммуникативно-прагматическом акте бесспорна. Система ценностных ориентиров говорящего, основанная на его знаниях о мире, рассматривается как источник оценок — коннотаций, а следовательно, мы говорим, должны говорить о зависимости оценки от «человеческого фактора», от интенсификации оценок, показывающих причины и степень эмоционального напряжения говорящего.

Иными словами, мы пытаемся увидеть человека в языке, а это связано еще и со сферой «человека общественного», которому заранее известно, что в этом социуме хорошо, а что плохо и чем это хорошо или плохо. Оценка, таким образом, предстает как «суперсубъективная» категория будучи связанной с модальной, квалификативной, аффективной и интеллектуаль-

ной сферами; она приводит «в движение» операции интеллекта, делающие очевидными ценностные ориентации человека мыслящего, чувствующего и говорящего. И поэтому выделение Г.А. Золотовой (1980) особой части речи — категории оценки, семантико-грамматическая природа которой основывается на поведении слова в процессе коммуникации, отражает процесс интеграции свойств языковых единиц для выражения сложных понятийных смыслов. Связь категории оценки со структурой личности — ее эмоциональной и интеллектуальной сферами, а также с социальной сферой (ситуациями жизни) в нашем случае уникальна. Ибо человек, попавший в критические условия, должен выбрать из множества языковых знаков один, учитывая даже степень соположения этого знака со своими «соседями» для выражения свободы понятийного смысла.

В исторической памяти Аввакум и боярыня Морозова, духовный отец и духовная дочь, — предстают как знаковые фигуры эпохи. Его (по приказу царя Федора Алексеевича) сожгли в Пустозерске. Ее (по приказу царя Алексея Михайловича) заморили голодом в боровской земляной тюрьме. Для низов России выбор был ясен, ибо посягательство на «освященный веками обряд» означало посягательство на весь уклад жизни.

Некоторые факты позволяют предположить, что Аввакум намеренно повторяет «Крестную муку», отождествляя себя с Христом (см. Видение Аввакума в Великом посту 1669 г.), но главное не в этом: отождествление — это состояние, имеющее предел, так сказать высвеченный хронотоп, но здесь подвиг веры длиною в жизнь, здесь уже прижизненное возрастание до символа времени:

*Видишь ли, самодержавне? Ты владеешь на свободе одною Русскою землею, а мне Сын Божий покорил за темничное сидение и небо и землю. Ты от здешняго своего царства в вечный дом пошедши, только возьмешь гроб и саван, аз же, принуждением вашим, не сподоблюся савана и гроба, но наги кости мои псами и птицами небесными растерзаны будут и по земле влачимы. Так добро и любезно мне на земле лежати и светом одеянну и небом прикрыту быти. Небо мое, земля моя, свет мой и вся тварь (Жит. — 60, с. 200).*

Появление большого числа работ, описывающих участие языка в процессах мышления человека и имеющих перспективу характеристики человека через посредство языка — Ю.Д. Апресян (1995), Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев (1996), Г.И. Вендина (1996), В.Г. Гак (1994), Ю.Н. Караулов (1987), М.М. Маковский (1992, 1995), Ю.В. Сорокин (1995), В.Н. Уфимцева (1995), Е.С. Яковлева (1994, 1995), — позволяет искать путь анализа влияния человека на язык и языка на человека — «феномена первичной и вторичной антропологизации языка» (7, с. 11), позволяет говорить о языковой картине мира человека, о языке и ценностях человека, о языке и познании, о языке и коммуникации, ибо оценочное значение пронизывает живой «организм» языка «кровеносными сосудами человеческого отношения».

В конфронтации, например, Аввакума и Симеона Полоцкого — коллизия Духа и интеллекта: для С. Полоцкого главное — «внешняя мудрость», для Аввакума — нравственное совершенство. В нравственном отношении для Аввакума все — «от царя до пса» и от выпускника Киево-Могилянской академии до безграмотной крестьянки — равны.

И в этих условиях «коммуникативный кодекс» личности, этика ее оценок и языковых предпочтений выходят на первый план и порождают целый ряд проблем по оценке оценки (пусть простится нам эта тавтология!) Вопросы: «О чем?», «Как?», «Для чего?» — требуют еще и этических уточнений с учетом обеих сторон коммуникации, ибо «оценочный луч» одной из сторон может не совпадать с оценками и постулатами другой, и тогда возникает ситуация, подчас делящая Россию на две части, как это было со старообрядчеством:

*Отдали меня Афонасею Пашкову: он туды воеводою послань.. А с Москвы от Никона ему приказано меня мучить (Пуст.-Ж., с. 28); Наутро архимарит с братьею вывели меня. Журят мне... у церкви за волосы дерут, и под бока толкають, и за чель торьгают, и в глаза плюють (Пуст.-Ж., с. 24).*

Стилевая доминанта текста — активная роль автора-повествователя: он узнаваем по индивидуальной системе речевых приемов (сдвиг субъекто-объектных отношений, преобразование семантики совершаемого действия и предмета в признаково охарактеризованный, изменивший свои исходные качества), по особой подаче своей точки зрения.

В авторском кругозоре есть больной нерв — особо повышенная чувствительность, обостренная совесть естественного, непосредственного человека, «ревнителя древлего благочестия», отсюда тяга к исповедальности, взрыв откровенности, виноватого смущения, отсюда открытая оценочность текста, эмоциональные обращения к читателю, экспрессивность, конкретный способ выражения авторской позиции, эгоцентризм в оценках, прием эксплицирования «Я» на фоне коллективного образа (неопределенные или обобщенные лица), «переодевание» — смена ролей автора, усиление проповеднической интонации, оспаривание возможных аргументов противоположной стороны (иногда в окказиональных, иронических формулах), моделирование ситуации непосредственного разговора, отсюда огромная нагрузка на диалог, не только двусторонний, но и многосторонний:

*Слабоумием объят и лицемерием, и лжею покрыт есм, братоненавидением и самолюбием одеянь, во осуждении всех человек погибаю. И мняся нечто быти, а кал и гной есм, окаянный — прямо говно. Отовсюду воняю и душею и телом (Пуст.-Ж., с. 63).*

Значение, по Дж. Р. Сёрлю, определяется намерением говорящего / пишущего произвести иллюзивный эффект на адресата, заставить его признать свое намерение. Этому служат директивы (инструкция, приглашение, предупреждение, рекомендации) и экспрессивы (оценка, возражение, цитата); интенсивный диалог в монологе — психологически детерминированное авторское речение; семантическое поле эмоциональности и оценочности, которое может быть названо текстовой доминантой, сквозным признаком споров автора с изобретенным или мысленно приближенным к себе себе-

седником — антиподом. В этих условиях глубокая убежденность в своей правоте рождает словесную игру — парадокс, иронию:

*Ну, старець, моево вякания много ты слышалъ. О имени господни повелеваю ти, напиши и ты рабу — тому Христову, какъ богородица беса — тово в рукахъ — техъ мяла и тебе отдала, и как муравье — те тебя ели за тайно — еть удъ, и какъ бес — отъ дрова — те сожег, и как келья-та обгорела, а в ней все цело, и как ты кричал на небо-то... (Пуст.-Ж., с. 80).*

Сниженно-просторечное с обиходной интонацией попутного замечания — «... моего вякания много ты слышалъ...» сменяется нарастающим тоном ораторского проповеднического зачина: «О имени господни повелеваю ти...», далее тон снижается, чему способствует и лексика бытовых реалий (руки, муравьи, удъ, дрова, мяла, отдала, ели, сожег, обгорела) и наконец — святотатство в устах священника — «и как ты причал на небо-то...» Символика заземлена. Узники сильны духом, даже небо, горячая высота, приближенно в осмыслении (кричал на небо-то). Семантическая суть слов отнесена как бы на второй план, зато небывалым блеском сверкает декламационная окраска, чему в немалой степени содействует повторяющееся и как, а также определяющий член рабу — тому, беса — того, в руках — техъ, муравьи — те, тайно — еть, келья — та, небо — то.

*Посмотри — тко на рожу-ту, а на брюхо — то никониянинъ окаяный, — толст ведь ты! Как в дверь небесную вместишься хочешь! (Мат. ист. раск. — 5, с. 300).*

Исходное местоимение берет на себя артиклевые функции и характеризуется рядом артиклевых черт, т.е. передает значение выделенности объекта из класса, непосредственной наблюдаемости, неотторжимости части от целого, преждеупомянутости, посессивной постоянной или ситуативной определенности, а также генерализации, когда 1, 2, 3 лица становятся синонимами. Артиклевый механизм языка приходит в действие «рычагами» речевой коммуникации, поэтому отмечаемое всеми исследователями обилие анафорических элементов, как характерная особенность старорусского текста, создает «мерцающие» смыслы определенности предмета. Причем формирование тем из рем или их составляющих («дуга напряжения» во фразе — по мысли Карла Бооста) не бессистемное явление, а специальный прием блестящего оратора, преследующего цель точной информации, всегда сопутствующей употреблением «члена», если смотреть на структуру ССЦ. Последовательное использование смыслов «предмет вообще, один из класса», «все предметы данного класса», «единственный в данной ситуации», «известный участникам коммуникации», «единственный в своем роде», «ранее упомянутый в тексте» создает дополнительные оттенки значения, столь существенные в коммуникативном акте.

*«... Только один раз в омертвелую словесность ворвался живой, мужицкий, полнокровный голос» (А.Н. Толстой), а экстралингвистические причины — канонизация старообрядцами огнепального протопопы — предоставили возможность прикоснуться к автографу, и*

даже нескольким. Именно они позволяют ставить вопрос о фразовой интонации, исходя из контекста, «обязывающего говорящего тонировать фразу определенным образом, а читающего адекватно воспроизводить интонацию, исходя из текста»:

*Все-то у Христа наделано человека ради* (Пуст.-Ж., с. 42); *Ум-оть у него не крепок* (Мат. Ист. раск. — 5, с. 38); *Что вам старина — та помешала?* (Мат. ист. раск. — 5, с. 166).

Интонационное выделение номинатива — подлежащего способствует выражению тех же оттенков смысла, которые передает определенный артикль, ибо «речь Аввакума вся на жесте, канон разрушен вдребезги, вы физически ощущаете присутствие рассказчика, его жесты, его голос» (А.Н. Толстой), Четкая двухвершинность (номинатив и сказуемое) приведенных выше фраз из Аввакума и эмфаза на номинативе повышают смысловую выразительность синтаксической конструкции, тонирование которой диктуется темой эпизода (эпизодичность Жития уже отмечалась исследователями). Анафорическая сема «герой» выводит в исход высказывания и оформляет определяющим «членом» не только номинатив, но и любой функционально нагруженный падеж, называющий предмет внимания (тематизация), отсюда прямой путь к утверждению функционирования оппозиции ударность / безударность как формального средства противопоставления известного / неизвестного.

Творческая интуиция Аввакума приближает нас к осознанию выраженных истин. Религиозно-моральный комментарий распространяется на всех «правовверных» и на никониан, но для первых он — эталон поведения, для вторых — призыв к размышлению. Этой же цели у Аввакума служит парадокс — «истина, не ставшая банальной», опровергающая общепринятые шаблоны. Нестереотипность мышления при аргументации своей позиции позволяет автору активно вовлекать стилеразрушающие/стилеобразующие средства, меняя в пределах одного смыслового отрезка тема-рематические отношения, в сферу которых включена и общеупотребительная, и церковно-книжная, и просторечно-бранная лексика, наполняющаяся каждый раз новым содержанием (нерядоположенность понятий):

*А ты, миленькой посмотри — тко за пазуху-ту у себя, царь христианской! Всех ли христиан — тех любишь?* (Пуст.-Ж., с. 25); *А то малое ли дело: Богомъ преданное скидали з голову и волосы расчесали, чтоб бабы блудницы любили их, выставя рожу свою да подпояшется под титками, воздевши на себя широкий жюпан...* (РИБ — 39, стр. 280-281).

Оригинальное мнение приковывает внимание читателя и слушателя новизной морально-эстетического подтекста, а следовательно, является действенным семантико-синтаксическим средством экспрессивного риторического синтаксиса. Аввакум смело соединяет разноструктурные типы предложений, высокое и сниженное, единичное и квантор всеобщности — весь ряд личного субъекта мобилизуется для передачи категоричности парадоксальной мысли, ее обобщенности и объективирования:

*Евдокея, Евдокея, почто гордаго беса не отринешь от себя? Высокие науки исчешь от нея же падают богам некормлени, яко листовие.. <....> Дурька, дурька, дурка! На*

*что тебе, вороне, высокие хоромы? Грамматику и риторику Васильев и Златоустов, и Афанасьев разум обдержал. К тому же и диалектик и философию, и что потребно — то в церковь взяли, а что непотребно — то под гору лопатой сбросили. А ты кто, чадь немощная? <....> Ай, девка! Нет, полно, меня при тебе близко, я бы тебе ощипал волосы за грамматику — ту* (Неизв. — в., с. 227-228).

Мы обращаем внимание на мастерское использование предложений с неопределенным одушевленным субъектом (отстраненно-личное значение, «... то в церковь взяли», «под гору сбросили»), в результате чего главным становится действие — оно есть рема, это синтаксический способ актуализации действия, и в то же время это умолчание — средство привлечения внимания к деятелю, который в нашем случае выявляется в контексте времени, в социокультурных и культовых абсолютах (общий фонд знаний говорящего / пишущего и слушающего / читающего). Неопределенно-личное предложение в нашем случае структурирует текстовое пространство монолога, это коммуникативный центр данного фрагмента, сменяющийся иронически-сниженной трансформацией пословицы — «Куда тебе, вороне, высокие хоромы». Последовательно переключая внимание с высокого на сниженное, Аввакум создает, поистине, полифонию текста, затушевывая второй компонент высказывания и выдвигая в информативный центр действие. Перед нами экстрапредложенческий аспект, с которым связано выявление функций отдельных фраз или групп их в сюжетообразовании, структуре повествования, в замедлении или ускорении его, в создании подтекста.

*Посем указ пришел: велено меня из Тобольска на Лену вести за сие, что браню от писания и укоряю ересь Никонуву* (Жит. — 60, с. 86).

Передавая некоторое неопределенное множество действующих лиц, анализируемые конструкции семантически достаточны, в них осознается противопоставление по множественности / немножественности, которое иногда уточняется контекстуально, неопределенное субъектное значение сосуществует с категориальным пассивным значением, они для нас информативны прежде всего потому, что в языковом материале, унаследованном от старших поколений, заложены в виде возможностей и линии речевого поведения будущих поколений.

Личная неопределенность действия может быть обусловлена объективным характером действия, степенью осведомленности автора о производителе действия, автор даже при необходимости не смог бы конкретизировать круг действующих лиц (средство привлечения внимания к действию, представленному как обезличенное). Использование неопределенно-личного предложения может носить и намеренный характер (коммуникативный центр текстового построения), когда неназывание действующих лиц — способ выразить к ним неприязнь. Аввакум не желает называть идейных врагов, тем более что это касается чистоты вероучения, канона:

*Тоже меня в ссылку сослали на Мезень. Надавали было добрые люди кое-чево, все осталось тут, токмо с женою и детьми повезли: а я по городам паки их, пестрообраз-*

ных зверей, обличал, привезли на Мезень и, полтора года держав, паки одново к Москве поволокли... И привезли к Москве, поддержавъ, отвезли в Пафнутьев монастырь (Пуст.-Ж., с. 46).

Предложения, приведенные выше, содержат семы «неопределенность», «произвольность», «неуверенность», «гипотетичность», «неясность», «неотождествляемость», «неокрашенность индивидуальным», «нечеткость», «неизвестность», каждая из которых достаточна для создания коммуникативно-стилистического эффекта неопределенности субъекта (ср.: 5). А именно так, без дифференциации, воспринимает глава старообрядчества никониан, они — обезличенная сила, неудержимо накатывающаяся на жизнь с ее привычными устоями, они возмутители веками устоявшегося блага и благодати. Естественно, для говорящего они безлики, как безлика непреодолимая сила обстоятельств или навалившаяся тяжесть беды. Аввакум потрясающе чист в оценках, нравственно недосыгаем и предельно, я бы сказала, до самозабвения (лучше написать это слово через дефис!) сосредоточен на одном, для него нет ассоциативных, фоновых знаний, для него нет того, что мы привыкли называть колебаниями, взвешенными формулировками, для него нет полутонов. Это как в «жаркой» живописи Ван Гога периода Арля, это как Поэма экстаза Скрябина, это как первый концерт Рахманинова.

Редукция подлежащей субстанции (при трансформации легко восстанавливается с большей или меньшей приближенностью) в этих предложениях создает особые семантико-синтаксические варианты значения, свойственные всем предложениям, построенным по данной модели: 1) конкретный субъект очевиден для коммуникантов; 2) конкретный субъект не очевиден говорящему, в силу чего его нельзя назвать; 3) конкретный субъект известен говорящему, но он по каким-либо соображениям не желает назвать его слушателям / читателям; 4) субъект не называется, потому что говорящему важно передать информацию о других партиципантах. Эта в полной мере «особая форма мышления говорящего по-русски человека» (Пешковский) у Аввакума становится тексто- и жанрообразующим средством, порождением ценностной картины мира пишущего: подчеркнутое отчуждение неопределенно-го деятеля, неприятие его, эмоциональное восприятие ситуации, преобразование позиции повествователя в позицию персонажа.

Столь же активно задействованы Аввакумом предложения типа (inner state — ненаблюдаемый внутренний мир!) со словами, обозначающими ментальные акты, и обязательно сопровождающиеся семантическими компонентами: «знание», «мнение», «вероятность», «контроль», «рациональная оценка», «эмоциональная оценка», «причинная цепь», «субъективная важность» и др.:

*Палач бьет, а я говорю: «Господи Иисусе Христе, сыне божии, помогай мне!» Да тожь, да тожь говорю. Так ему горько, что не говорю: «Пощади!»,» Да с середины — той вскричалъ я: «Полно бить-тово!» (Пуст.-Ж., с. 30). И дыму негде было идти. Тошно мне было земляные тюрьмы (Пуст.-Ж., с. 49); Таже маслом ево освятил и отрадело ему*

*от беса тово (Жит. — 60, с. 79); Как-су мне царя тово и бояр-тех не жалеть (Жит. — 60, с. 14); И туды присылка была, — тож да тоже говорят: «долго ли тебе мучить нас? — соединишь с нами, Аввакумушко!» (Жит. — 60, с. 89). Аз же треокаянный враг, сам разболелся, внутри жгом огнем блудным, и горько мне бысть в час тот (Жит. — 60, с. 73).*

Аввакум четко определяет место, статус перечисленных событий в своей картине мира, его позиция совершенно однозначно охарактеризована, и этому служат конструкции предложений, эмоционально окрашенные формы дательного субъекта, приписанные косвенному субъекту признаки, как бы грозящие, повисающие над ним. Говорящий — активный участник каждого из обозначенных высказываний, фрагментов действительности, он не из тех, кто «к добру и злу постыдно равнодушен», и только вынужденное подчинение превосходящей силе или неотвратимости нависшей беды — могут обратить страстную речь к «мелочам», а дух по-прежнему устремлен горе, наверное, и сам этот человек в минуту отчаяния удивлялся своей силе. Текст получает единую субъективно-модальную окрашенность, обусловленную «образом автора», его несломленностью, его отношением к предмету речи. Интеллектуальное, логическое, диктальное (семантико-синтаксическая структура) облечено автором в особую форму, которая усиливает оценочность, передает активное участие говорящего в оценке реальности/нереальности, положительности / отрицательности, наличия / отсутствия, экспрессивности факта, ставшего предметом внимания. Сема «процессуальность» выявляет протяженную во времени детерминированность дательного субъекта. Охарактеризованность может быть разложена на составные смысловые компоненты: психическое состояние, эмоциональное состояние, душевное состояние, направленность, каузация, осознанность / непроизвольность, сила / слабость, положительность / отрицательность, продолжительность / краткость, контролируемость / неконтролируемость, а лексическая модальность усложняет предикативную ось, прибавляя к ней некоторый семантический «х» (достойно, неповадно, потребно, трудно, срамно, где, жалко, гоже, стыд, грех, смех, позор, удобе, жаль, увы мне и др.).

Есть в истории человечества, истории каждого этноса личности, приковывающие к себе внимание однозначно и навеки, именно приковывающие. Здесь есть даже нечто от мистики, ибо ситуации средневековой Руси изобилуют примерами жестокости и отсутствия вариантов оценки, но здесь есть право на оценку, выстраданное и выношенное, точнее, выхоженное по Сибирским землям, по глухим углам Северо-Западной Руси, по подземельям московских монастырей и улицам, выношенное с цепями на теле, с босыми ногами, ступающими по льду и снегу, с горящими глазами и с горящим в них будущим костром из тел четырех великомучеников, взметнувшимся в апрельское небо 1685 года и вспыхнувшим в блистательном расцвете русской литературы XIX века: «Рукописи, как и их создатели-страдалцы, не горят!»

Когда я задаю себе вопрос — «Где предел человеческих сил и возможностей? — я отвечаю — Его нет!», и духовный подвиг всей жизни Аввакума этому подтверждение. Только кристальная чистота автора могла обеспечить бессмертие тексту такой колоритности и бескомпромиссности, такой резкости оценок:

*Ну, мученики, чего лучше сего хотеть? Смерть вторая не иметь над нами области! По силе ныне, яко топы, а переселившиеся отсюда, будем со Христом, яко цари. Ну, миленькие священники, пойте, батюшки мои, пойте, светы, песни красные на мертвецов — тех* (Неизв. — в., с. 238).

Соединение в одном ряду несоединимых существей (яко попы → яко цари), частотность эмоционально окрашенных обращений, разговорных по преимуществу (миленькие священники, батюшки мои, светы), повторение глагола-призыва «пойте» — все это озвучивает текст, выводит автора с его «со-узниками» в эмоциональный эпицентр страстной речи-проповеди.

Отражаемая средствами различных уровней, языковая картина мира Аввакума легко реконструируется: это наивная модель мира, выявляемая и в лексике, и в грамматических значениях (см. семантику и формы предикатного компонента), и в семантической структуре слова, содержащей богатейшую информацию о системе ценностей говорящего / пишущего, «начиная с витальных и кончая общественно-социальными и культурологическими» (1, с. 6). Особенности видения и прочтения Аввакумом «бунташного XVII века» предельно высвечены в его оценках, в которых задействованы не только «этимологическая память слова», но и аксиологические послы старообрядчества, оценивавшего состояние греховности мира в эсхатологическом ключе. Отсюда логика оценок и виды их репрезентации в полемических речах Аввакума, отсюда бескомпромиссная одна Правда, заповеданная «древлим благочестием», отсюда даже в словообразовательном акте совершаются те же мыслительные операции, которые имеют место в полипредикативных предложениях простой, сложной или осложненной структуры (ср. мысль о П. Флоренского, уподобившего слово «свившемся в комок предложению, а предложение — свободно распустившемся слову» (8, с. 126-127). Аффикация у Аввакума предельно уподоблена функции оценочного предиката, и объективный мир, социум членится с точки зрения категории оценки, с точки зрения концептуальной интерпретации. «Приписывая предметам и явлениям окружающего мира те или иные объективно присущие им свойства, человек демонстрирует свое небезразличие к этим свойствам» (4, с. 235-276), а в использовании словообразовательных средств предполагается мысленное измерение их значимости. «У русских, как и вообще у всех славян, высоко развито ценностное отношение не только к людям, но и ко всем предметам вообще. Это выражается в обилии уменьшительных, увеличительных и уничижительных имен» (3, с. 7), а ведь даже поверхность земли видится каждой личностью через призму своей культуры. Здесь же затронута вера. А психология восприятия изменений в ос-

новных посылах веры еще ждет своего исследователя. И тут не обойтись без анализа типологии ценностей, которая пока не разработана, хотя любопытных классификаций имеется немало.

Значимость факта или предмета лежит в основе оценок Аввакума, она (значимость) является социально-нормативным регулятором в оценке, она разделила в 1666 г. православных, и этот раздел — провал до сих пор, несмотря на отказ от взаимных анафем еще в 1971 г. Значимость и положительная, и отрицательная определяет направленность оценки, определяет жизненное кредо субъекта оценки, ибо вмешательство в тексты «книг церковных» рассматривалось как посягательство на чистоту заповедей Христовых, на статуарную роль Московской Руси. Отсюда внутренние по преимуществу основания оценок: эмоциональная сфера говорящего / пишущего, его чувства, ощущения, положительные и отрицательные эмоции, связанные с психической сферой симпатий и антипатий. Продиктованы же эти внутренние основания оценки внешними — когнитивной сферой говорящего/пишущего. Потомственные священники по роду деятельности, Аввакум и его со — узники, воспитанные в строгости веры, видят посягательство на основы жизни, на оплот христианства и православия. Поэтому их оценка содержит, с одной стороны, гносеологический аспект, с другой — ценностный, т.е. в аспекте соответствия / несоответствия определенному стандарту. Это, если угодно, столкновение культурно-исторических парадигм, ибо культура не может быть монологической.

Быстро нарастающая стратификация русского общества рушила бытовавшие раньше представления о единой Московии, а «вовлечение истории языка в социальные и культурные процессы возникает за счет того, что языковые элементы в сознании пишущих и говорящих существуют не как абстрактные средства коммуникации, а как индикаторы социальных и культурных позиций» (2, с. 17). А поскольку книжный язык рассматривался как неприкасаемая святыня, то сторонники, возражающие против всякой переработки сакрального текста, отвергают и всю ученую традицию:

*Не ищите риторики и философии, ни красноречия, но здравым истинным глаголомъ последующе, живите. Понеже риторъ и философъ не можетъ быть христианинъ... И вси святии насъ научають, яко риторство и философовство — внешняя блядь<sup>1</sup>, свойственна огню негасимому* (РИБ-39, стб. 547-548).

Индивидуально-полемическая установка Аввакума, бесспорно, связана с определенной духовной традицией, которая имела своей целью оцерковление всей русской жизни, уставные правила в качестве норм повседневной жизни всего населения, которая стремилась не порывать с вековой культурно-языковой традицией (см. Аввакум «Книга толкования и нравоучений» — РИБ-39, ст. 466). Аввакум аргументирует помрачение «святой Руси» двумя солнечными затмениями, случившимися 2 августа 1654 г. и 22 июня 1666 г. (передача информации с неба как видимого сияния). «Новые учителя», готовые «в Москве невежества темность прогнати»,



отрицают книги, профессиональную музыку, иконы, фрески, одежду, праздники, развлечения, даже институт юродства — добровольно принимаемый на себя подвиг веры, выполнявший на Руси «функции общественной терапии» (6).

Ни одна из спорящих сторон не щадила противоположной: обвинение старообрядцев в изуверствах, вплоть до ритуальных детоубийств (Димитрий Ростовский), идеологи же старообрядчества обвиняли сторонников новой веры даже в том, что они занимаются содомией прямо в церкви (Мат. ист. рас. — 6, с. 202). Это был историософский спор по сути, безысходность которого состояла в том, что за русскими западниками, «новыми учителями», стояла государственная власть.

\*\*\*

Музыка отдельной фразы, чеканность строки, ритм, за которым ощущается напряженный внутренний мир автора, картины, обогащенные ассоциативными образами, требуют жеста и обеспечивают сопричастность слушателю и читателю. Возникает тонкая языковая игра (*Sprachspiel* — по Витгенштейну) на основе виртуозного использования

средств языка всех уровней, возникает преследующее видение со-участия в подготовке к мученической смерти, в со-участии там, на глубине земляной тюрьмы, и наверху, с теми, кто посмел, позволил себе, в итоге — осуществил.

Нравственное целомудрие, граничащее с пожизненной эпитимией, наложенной самим на себя во очищение, просветление духом не только себя, но и всего народа. От чтения этого текста возникает особаго рода информация как производное от соотношения представлений автора и некоторого субъекта, возникают художественные, религиозные, публицистические ассоциации, обеспечивающие подтекст с оценочным стереотипом. В результате искренние, тревожные мысли о Человеке, о Добре и Зле выявляются в футуральной перспективе, что особенно уместно в этих текстах, содержащих обостренное чувство святой Руси, переживающей «национальную катастрофу XVII столетия». Старые поморки-скитницы по-своему определили стиль Аввакума: «Слово знал, — говорили, — жгло оно, рану кровоточащую оставляло. Мы не слышали его жизни, давний он. Но писанию жизни и сказаний его содрогаешься».

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Аввакум употребляет это слово в значении — заблуждение.

## ИСТОЧНИКИ И ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

1. Жит. — 60 — Житие протопопа Аввакума и другие его сочинения. Под ред. Н.К. Гудзия. — М., 1960.
2. Мат. ист. раск. — 5, 6 — Материалы для истории раскола за первое время его существования. Н.И. Субботин. — М., 1887.
3. Неизв. — в. — Неизвестные сочинения Аввакума. ТОДРЛ. — М.-Л., 1965. — Т. 21.
4. Пуст.-Ж. — Пустозерский сборник. Автографы сочинений Аввакума и Епифания. АН СССР. Институт русской литературы (Пушкинский дом). — Л., 1975.
5. РИБ-39 — Русская историческая библиотека. Археографическая комиссия АН СССР. Серия «Памятники истории старообрядчества XVII в.». — Л. 1927. — Кн. 1. — Вып. 1.
6. Неизв. — в. — Неизвестные сочинения Аввакума. ТОДРЛ. — М.-Л., 1965. — Т. 21.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Вендина Т.И. Русская языковая картина мира сквозь призму словообразования (макрокосм.). — М., 1998.
2. Живов В. Язык и культура в России XVIII века. — М., 1996.
3. Лосский Н.О. Характер русского народа. — М., 1957. — Кн. 2.
4. Николаева Т.М. Качественные прилагательные и отражение картины мира // Славянское и балканское языкознание. Проблемы лексикологии. — М., 1983.
5. Новожёнова З. Русское глагольное предложение: структура и семантика. — Slupsk. 2001.
6. Панченко А. О русской истории и культуре. — СПб., 2000.
7. Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. — М., 1988.
8. Флоренский П.А. Термины // Вопросы языкознания. — 1989. — № 1.

## О ФОРМАХ ВЫРАЖЕНИЯ ЭТИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ АВТОРА В ГОГОЛЕВСКОМ ТЕКСТЕ

А.Х. Гольденберг  
Волгоград

В творческом поведении Н.В. Гоголя с середины 1830-х годов возникает и набирает силу примечательная тенденция, оказавшая сильнейшее влияние на все его последующее творчество. Речь идет о глубокой авторской рефлексии, которая сопровождает, начиная с «Ревизора», появление почти всех значительных произведений писателя. В дополнениях к «Ревизору», «Четырех письмах разным лицам по поводу «Мертвых душ», «Авторской исповеди» Гоголь специально разъясняет сокровенный этический смысл своих творений, словно бы не вполне доверяя самому художественному тексту и сомневаясь в нравственной чуткости своих читателей. Его автокомментарии, выдвигая на первый план духовно-нравственные проблемы, имеют ярко выраженную учительную окраску. «Все более или менее согласны в том, — пишет Гоголь в «Авторской исповеди», — что писатель-творец творит творенье свое в поученье людям» (5). Этим объясняется стремление писателя установить интимный, «фамильярный контакт» (М.М. Бахтин) между собой и Русью, прямое декларирование духовно-учительных задач своего творчества, желание придать своим текстам нравственно-прообразующий характер.

Уже современники Гоголя обратили внимание на не совсем обычный для «характернейшего комического писателя нового времени» (13, с. 38) тип взаимоотношений с читателями. Писательская позиция Гоголя на фоне его эпохи выглядела архаичной, явно отсылая к другим, более древним литературным контекстам и традициям. Однако в подавляющем большинстве гоголеведческих работ вопрос о формах выражения этической позиции автора рассматривался в литературном контексте современности и зачастую сводился лишь к формальной классификации этих форм. При этом в стороне оставались принципиально важные для понимания творческой индивидуальности писателя аспекты исторической поэтики. И, в первую очередь, вопрос о том, на какие этические и жанровые традиции русской культуры ориентированы гоголевские тексты.<sup>1</sup> Мы рассмотрим эту проблему на примере поэмы «Мертвые души», в тексте которой наиболее многообразные формы выражения этической позиции автора представлены на уровне системы отношений автор — читатель — герой.

Диалогические отношения автора как субъекта повествования с читателями и персонажами «Мертвых душ» осуществляются с помощью нескольких художественных языков, один из которых, дидактический, в значительной мере опирается на жанровые традиции древнерусского учительного «слова» (см.: 19, с. 54-60). В «Мертвых душах» с этими традициями прежде всего связан проповеднический пафос прямых авторских обращений к читателю. Ими завершаются в первом томе поэмы характеристики его основных героев («А кто из вас... не углубит во внутрь собственной души сей тяжелый запрос: «А нет ли и во мне какой-нибудь части Чичикова?» — 5, с. 245). Непосредственно примыкают

к ним и авторские обращения к своим персонажам, обычно принимающие форму нравственного укора. Так, описание трогательных отношений супругов Маниловых включает в себя следующее авторское отступление: «Конечно, можно бы заметить, что в доме есть много других занятий, кроме продолжительных поцелуев и сюрпризов, и много бы можно сделать разных запросов. Зачем, например, глупо и без толку готовится на кухне? зачем довольно пусто в кладовой? зачем воровка ключница? зачем нечистоплотны и пьяницы слуги? зачем вся дворня спит немилосердным образом и повесничает все остальное время?» (5, с. 26). Эти формы авторской речи стилистически маркированы переключением иронической повествовательной интонации в серьезный дидактический тон, свойственный учительному «слову». Для структуры «слова» характерно и обилие риторико-вопросительных конструкций, направленных на внутренний диалог с читателями или слушателями. Задачей древнерусских учительных «слов» было не столько толкование основных вероисповедных догматов, сколько разъяснение тех норм поведения, которые из них вытекали. Отсюда усиленное внимание авторов древнерусских поучений к житейским проявлениям человеческого «нрава», к повседневной жизни своей паствы. В этом аспекте гоголевские «запросы» Маниловым перекликаются с целым рядом древнерусских поучений на тему «како достоин челядь имети».

Помимо прямых обращений автора к своим читателям и героям, открыто ориентированных на дидактическую традицию и составляющих как бы ее верхний слой, в «Мертвых душах» есть и более глубокий внутренний уровень, на котором эта традиция представлена в поэме. В первом томе наблюдается устойчивая стилевая закономерность: «высокие» слова и понятия профанируются, как только они попадают в сферу речи гоголевских героев (см.: 10, с. 113). Не стала исключением в этом плане и традиция моральных поучений. Ее приемами и лексикой охотно пользуются Чичиков, Собакевич, Плюшкин, ряд персонажей второго тома.

В свой моральный кодекс поучения непременно включали формулу, восходящую к библейской заповеди: «научитесь делать добро, ищите правды, защищайте сироту, вступайтесь за вдову» (Исайя, I, 17). Упрек, обращенный к библейскому Иову, — «вдов ты отсылал ни с чем и сирот оставлял с пустыми руками» (Иов, 22, 9) — учительные слова относили к числу самых осуждаемых человеческих деяний. Когда Чичиков говорит о себе Манилову, «что соблюдал правду, что был чист по совести, что подавал руку и вдовице беспомощной и сироте-горемыке» (5, с. 37), — он создает автопортрет праведника, каким его рисовали учительные «слова». Однако на этом портрете лежит иронический отсвет, ибо он находится в резком противоречии с реальной биографией персонажа. Надо отметить, что Чичиков тонко чувствует бытовой контекст, в кото-

ром «высокая» цитата наиболее уместна. «Из одного христианского человеколюбия хотел, — объясняет он Коробочке, зачем покупает у нее мертвые души, — вижу бедная вдова убивается, терпит нужду» (5, с. 54). Травестийный характер цитирования не только не уничтожает серьезного смысла учительных «слов», но и усиливает их укоряющую функцию, поскольку вскрывает несоответствие между заявленной героем нравственной нормой и ее реальным жизненным воплощением.

Своеобразным дидактизмом проникнуты речи Собакевича, в которых звучат «обличительные» мотивы учительной литературы. Она сурово осуждает пьянство, блуд, лихоимство, разбой и т.п. и рекомендует в повседневном быту избегать общения с носителями этих пороков, ссылаясь на авторитет апостола Павла. В Домострое, например, читаем: «якоже апостоль Павел рече: «Аще некий братъ именуемъ или блудникъ, или лихоимецъ, или идолослужитель, или ругатель, или пьяница, или хищник — с таковыми на ясти, ни пити» (15, с. 82). Аттестуя губернатора разбойником, председателя масоном (параллель идолопоклоннику), почтмейстера мошенником, прокурора блудником (в одном из черновых вариантов), за которого «все делает стряпчий Золотуха, первейший хапуга в мире» (5, с. 146), Собакевич обвиняет их в антихристианском поведении: «Все христородавцы» (5, с. 97). В ранних редакциях первого тома мотивы морализаторства в речи Собакевича были разработаны еще подробнее: «опасно даже заезжать в этот город, — говорит Собакевич жене, — потому что мошенник сидит на мошеннике и можно легко самому погрязнуть вместе с ними во всяких пороках» (5, с. 632). К тому же в «обвинениях» Собакевича есть отсылка к высокому библейскому контексту (губернатор и вице-губернатор — «Гога и Магога»), которая является характерным приемом проповеднической литературы. Доверие читателя к его морализирующей позиции подрывает, однако, то обстоятельство, что он и ест, и пьет с теми, кого обличает перед Чичиковым, никак не проявляя своей нравственной чужеродности в этом кругу.

Наиболее суровые отзывы Собакевича относятся к Плюшкину, в характеристике которого традиции учительной литературы занимают особое место. Дело в том, что обличение скупости богатых было одной из излюбленных тем древнерусской проповеди, которая оставила выразительные портреты носителей этого порока. В Измарагде, например, этой теме посвящено несколько «слов». Точную трактовку их общего смысла и колорита мы находим у В.П. Адриановой-Перетц: «Христианское учение о том, что богатство находится временно в руках человека, который должен делиться им с бедными, определило ту суровую оценку, какую учительная литература дает «скупости», «сребролюбию», но не в абстрактном их понимании, а в конкретном проявлении этой «страсти» в «нраве» и поведении человека» (1, с. 21). Отношение к богатству в средневековой христианской этике было двойственным. Оно отталкивалось от евангельского постулата: «Удобнее верблюду пройти сквозь

игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие» (Лука, 18,25). Однако, если богатство направлено на добрые дела, оно не осуждалось. Щедрая милостыня считалась главным средством спасения души богатого и играла немаловажную роль в системе нравственных представлений древней Руси. «Человеколюбие, — писал об этом В.О. Ключевский, — на самом деле значило нищелюбие. Благотворительность была не столько вспомогательным средством общественного благоустройства, сколько необходимым условием личного нравственного здоровья: она больше нужна была самому нищелюбцу, чем нищему» (9, с. 5).

Учительные «слова» обличают не богатство само по себе, а «златолюбие злое», рисуют образ человека, одержимого «лютым сим недугом». «Не глаголю убо на богатяя, иже в нем добре живут, — формулирует свою задачу «Слово Иоанна Златоуста о богатых и немилостивых», — но тыя укоряю, иже богатство имеющаа, в скупости живут» (21, с. 76). В этом «слове» нарисован психологический портрет скупого богача, готового «своих мяс урезав иному подати или нищему, нежели в клетех лежащего богатства» (21, с. 77). В другом «слове» Иоанна Златоуста «О мятежи жизни человеческия», посвященного главным образом обличению «собираения многаго имения», изображена повседневная жизнь богатого скупца: «имения не хочет ся насытити николи же пропасного, но утробу свою мучит гладом и тело наготою, и зимою жметя, паче связанных стражет... и стенет яко же сей всех бедние стражет» (цит. по: 1, с. 21).

Два мотива этого описания — «утробу свою мучит гладом» и «паче связанных стражет» — представлены в первых отзывах Собакевича о Плюшкине: «восемьсот душ имеет, а живет и обедает хуже моего пастуха!.. Такой скряга, какого вообразить трудно. В тюрьме колодники лучше живут, чем он...» (5, с. 99). Третий мотив — «стенет яко же сей всех бедние стражет» — реализуется в поведении самого Плюшкина, жалующегося Чичикову на свой бедность: «того и гляди, пойдешь на старости лет по миру!» (5, с. 121).

«Слова» Измарагда обличают жестокое отношение скупого к своим «рабам» и «челяди». В «Слове св. Нифонта о богатом и скупом» рассказывается о том, как Нифонт увидел богатого человека, к которому обращались за милостынею много нищих, он же не обращал на них внимания. «Нифонт спросил у ангелхранителя, много ли у этого человека имения? Много, — отвечал ангел, — но он сребролюбец и «цаты ради» готов умереть. Он бьет челядь свою, морит ее голодом и наготою и непосильными работами» (21, с. 223). Плюшкин, по словам Собакевича, «всех людей переморил голодом» (5, с. 99). Несколько позже в авторском описании появится и мотив «наготы»: «у Плюшкина для всей дворни, сколько ни было ее в доме, были одни только сапоги» (5, с. 124). Как следствие такого невыносимого положения изображено в Измарагде бегство «рабов» от своих хозяев: «аще ли его озлобиши, то встав бежит от тебе» («Слово Иоанна Златоуста како достоин имети челядь» — 21, с. 97). Плюшкин и сам не скрывает, что крестьяне у него «что год, то бегут» (5, с. 128).

Словесный портрет Плюшкина, рисуемый Собакевичем, будет неполным, если не упомянуть о такой колоритной детали, как бранная кличка, которой он дважды награждает Плюшкина: «Я вам даже не советую дороги знать к этой собаке! — сказал Собакевич» (5, с. 99). В отличие от традиций устной народной поэзии, где собаками именуют врагов-иноверцев, в древнерусской проповеднической литературе этот образ связан с темой немилостивого богатства. Измарагд, придавая важное значение милостыне, сильно осуждает «златолюбивых скупцов», неправедно стяжавших свое имущество и делающих от него приносы в церковь: «Не требует бо Бог приношения от неправды, еже сиротам и вдовам насилия творити, но яко пса смердящего гнушается Господь» (21, с. 221-222).

В связи с темой осуждения скупости богатых учительная литература нередко затрагивала евангельскую притчу о Лазаре и богатом. Она рассказывает о некоем богаче, который каждый день веселился и пировал. У ворот его дома лежал нищий Лазарь, желавший насытиться «от крупниц, падающих от трапезы богатого». Но богатый делал вид, что не замечает его. После смерти богатый попал в ад, а Лазарь в рай — на прекрасное лоно «праотца» Авраама. Богатый, страдая в огне, просит Авраама послать к нему Лазаря, чтобы тот хотя бы омочил водою его язык. Авраам, назвав богатого «чадом», напомнил ему его поведение в земной жизни и отказался выполнить просьбу, мотивируя тем, что между праведниками и грешниками в потусторонней жизни утверждена непроходимая пропасть (Лука, XVI, 19-31).

Несмотря на свою простоту и точность нравственных оценок персонажей, эта притча толковалась древнерусскими книжниками по-разному. В одних памятниках акцент делался на восхвалении терпения Лазаря, вознагражденного за него после смерти, в других — на осуждении жестокости и немилосердия богатого. В русской литературе второй половины XVII века в связи с бурными процессами классового расслоения, борьбы феодальных и демократических идей проблема богатства и бедности приобрела особую актуальность. Притча о Лазаре и богатом становится предметом острой полемики, которая обстоятельно изучена А.Н. Робинсоном (17). Сравнивая толкования притчи Симеоном Полоцким и Аввакумом, исследователь видит в них борьбу феодальных и демократических идейных тенденций. С. Полоцкий в своем сборнике «Обед душевный», следуя церковно-учительной традиции, «осуждает не столько богатство само по себе, сколько низкие душевные качества богатого: он «окаянный скупец», «человек той безчеловечный», и он был подобен псу, «понеже, яко пес, вегда лежати ему на сене, сам не яст его и овце алчущей ясти не попускает» (17, с. 138). Феодально-охранительный смысл трактовки С. Полоцкого проявляется в его призывах к социальному миру, даже духовному братству богатых и бедных. Выражение «яко пес» выступает у него как литературное сравнение, восходящее к известному басенному источнику, однако существенно, что применяется оно для характеристики скупости богатого.

Аввакум решительно порывает с традиционно-морализаторским толкованием притчи, насыщая свое повествование реально-бытовыми деталями («Беседа о наятых делателях» из «Книги бесед») (8, с. 99-100). Определяя его идейную позицию, А.Н. Робинсон пишет: «Он в принципе отвергает всякое сочувствие по отношению к «богатому», рвет с ним все связи духовного родства и, нисколько не смущаясь с авторитетом евангельского текста, гневно заявляет: «Я не Авраам, — не стану чадом звать: собака ты!» (17, с. 143). Литературное сравнение сменяется в «просторечии» Аввакума бранным прозвищем, употребленным в том самом смысле, в каком оно прилагается к гоголевскому персонажу.

Итак, выясняется, что оценки, даваемые скряге Плюшкину Собакевичем, соотносятся с характеристиками, закрепленными в древнерусской проповеднической литературе за образом «богатого и немилостивого». Разумеется, в смеховом контексте гоголевской поэмы происходит деформация их религиозно-морализаторского содержания, но, даже попадая в уста Собакевича, они сохраняют свою основную жанровую функцию — быть средством нравственного поучения и укора.

Своего смехового апогея профанация «высокого» слова учительной литературы достигает в речах самого Плюшкина, уснащенных фразеологией проповедей, направленных против лихоимства и стяжательства. «Приказные такие бессовестные! — жалуется он Чичикову. — Прежде бывало полтиной меди отделаешься да мешком муки, а теперь пошли целую подводку круп, да и красную бумажку прибавь, такое сребролюбие! Я не знаю, как священники-то не обращают на это внимание; сказал бы какое-нибудь поучение, ведь что ни говори, а против слова-то божия не устоишь» (5, с. 123). Из учительной литературы Плюшкин заимствует и обытовленное им описание Страшного суда, которым он угрожает Мавре. Это снижение, травестирование учительных «слов» почти не затрагивает сферу авторской речи. В биографии Плюшкина, рассказанной автором, сохраняются и серьезность тона, и поучительность, и укор, присущие дидактической поэтике. Повествование насыщается специфической лексикой, в него вводятся характерные мотивы и образы поучений.

Измарагд в «Слове о богатых немилостивых» так определяет отношение скупого к своему богатству: «И несть скупый стяжанию своему господин, но страж есть, приставник (надсмотрщик. — А.Г.) и раб» (21, с. 76). Этот же образный ряд мы находим у Гоголя: «Наконец последняя дочь... умерла, и старик очутился один сторожем, хранителем и владельцем своих богатств» (5, с. 119). Владелец и раб — единственное расхождение в этих формулировках. Однако уже через несколько строчек Гоголь рисует нам превращение Плюшкина в раба своего имущества. Уподобление в Измарагде богача сторожу или «ключарю» восходит к христианской идее «порученного» богатства: «Имения не скрывай еже ти дал Вышний. А не родилоя с тобою нь Богомь поручено ти есть на мала дни то яко ключарь порученое тебе раздавай аможє поручивый ти велить» (2,

с. 207). Комическая ошибка Чичикова, принявшего сперва Плюшкина за ключницу, а потом убедившегося, что «это был скорее ключник», исподволь вводит в повествование упомянутые мотивы. Об устойчивой связи образов сторожа, хранителя с темой любви к богатству свидетельствуют сборники древнерусских афоризмов. Так, в русском списке «Пчелы сербской» приводится выражение, приписываемое Феокриту: «богатастволюбци и златолюбци и сребролюбци не владають над своим имением, но хранители суть» (20, с. 83).

Работая над образом Плюшкина, Гоголь не мог не учитывать художественный опыт А.С. Пушкина — создателя «Скупого рыцаря». Описывая страсть к деньгам своего отца-барона, Альбер говорит:

*О! мой отец не слуг и не друзей  
В них видит, а господ; и сам им служит.  
И как же служит? как алжирский раб,  
Как пес цепной. В нетопленной конуре  
Живет, пьет воду, ест сухие корки...*  
(16, с. 265)

Здесь, в самом деле, трудно не вспомнить «слова» Измарагда о скупом — «утробу свою мучит гладом и тело наготову, и зимою жметя». <sup>2</sup> В поэме Гоголя лаконичные и емкие характеристики пушкинского героя разложены «на голоса» и широко развернуты в авторских описаниях. Они насыщены бытовыми подробностями и даны в иной, чем у Пушкина, стилистической тональности. Образ «скупого рыцаря» лишен в пушкинской трагедии какого-либо комического оттенка. При всех этих и других принципиальных отличиях в образах Барона и Плюшкина есть несомненная перекличка с теми характеристиками богатого скупца, которые давали древнерусские учительные «слова» (подробнее см.: 6).

Неотъемлемой чертой образа скупого в древнерусских поучениях был мотив ненасытности богатством. В Измарагде читаем: «Аще ли держиши в скупости сокровено, то яко змиин яд в сердцы ти внидет болшая собирати, да zde тело ти иссушит несытость имения... люта бо есть велми похоть имения» (14, с. 70). В «Слове Иоанна Златоуста о берущих многая имения» это свойство объясняется особым складом ума «златолюбца»: «ин же ум имея несыт имения не насыщается» (2, с. 145). «Одинокая жизнь, — пишет Гоголь о Плюшкине, — дала сытную пищу скупости, которая, как известно, имеет волчий голод и чем более пожирает, тем становится ненасытнее» (5, с. 119).

Учительные «слова» обличают тех богатых, которые не заботятся о своих близких. В одном из списков Измарагда прибавлено отдельно «Слово Иоанна Златоуста яко подобает творити милостыню прежде на домашних своих». В «Слове св. отец како жити христианам» об этом сказано так: «а се же лицемерие, а не любовь есть... чюжая сироты наделяти, а своя скорбни оставити и род свой в недостатце голодни и нази» (21, с. 217). И хотя Плюшкина трудно заподозрить в сиротолубии, рассказ об отречении от своих детей звучит в биографии героя как нескрываемый укор его чудовищной скупости.

Плюшкин недаром завершает галерею помещиков первого тома. В дантовском Аду «грешники распределяются прежде всего по мере их злой воли, а за-

тем по тяжести проступков» (3, с. 198). У Гоголя, по мнению Ю.В. Манна, дантовский этический принцип расположения характеров «в известных пределах сохранен» (13, с. 321). В последнем рву гоголевского Ада, если воспользоваться известной аналогией Герцена, помещен чрезвычайно грешный, с точки зрения древнерусской учительной литературы, человек. «Слова» Измарагда включали в себя средневековые легенды, в которых рассказывалось о мытарствах, ожидающих души грешных людей после смерти. В одном из последних, двадцатом мытарстве, помещены «немилосердие и скупость» («Слово о исходе души и восходе на небо») (21, с. 54). «Богатии скупии не могут ся спасти, — утверждало «Слово св. Афанасия о милостыне». — Кыи ли паки тому прибыток иже в обилии живя смиренъ есть и не осужая а нищя презрит, голодны наготову гибнуща... К таковым зловерным и лжепостникам и лицемером въпиет апостол Павел...» (2, с. 55). Отметим, кстати, и мотив лжепостничества, присутствующий в поведении Плюшкина.

Итак, в образе гоголевского героя обнаруживаются черты сходства с той характеристикой скупого, которую ему давала учительная литература древней Руси. Нельзя, разумеется, не видеть различий между ними, определяемых, прежде всего, социально-психологической глубиной и многомерностью реалистического образа и самой природой гоголевского смеха. От травестирования и профанирования дидактической традиции до высокого учительного пафоса авторских обращений к читателю и герою — таков диапазон существования этой традиции в первом томе поэмы.

Усиление дидактического начала во втором томе «Мертвых душ» приводит к появлению героев с прямыми проповедническими функциями. В первую очередь это относится к Муразову. Его «обличения» праздности Хлобуева, стяжательства Чичикова, несправедливости генерал-губернатора носят ярко выраженный учительный характер и перекликаются с аналогичными мотивами дидактической литературы. Образ жизни Муразова, каким он показан в поэме, вряд ли является отражением реальной деятельности богатого откупщика. Он, скорее, соответствует тому идеалу «праведного богатства», к которому призывали «слова» Златоуста, Измарагда, Домостроя. Праведность муразовских миллионов всячески подчеркивает Костанжогло. Когда Чичиков высказывает предположение о том, что богатство Муразова «приобретено не без греха», Костанжогло спешит уверить его в обратном: «самым безукоризненным путем и справедливыми средствами» (5, с. 75). Во время голода Муразов предлагает генерал-губернатору свои хлебные запасы, находит «душеспасительное» дело разорившемуся Хлобуеву, стремится наставить на путь исправления Чичикова, посещая его в тюрьме. Последний мотив, наряду с требованием милостыни, постоянно варьируется в наставлениях «како жити христианам». «Посещай в оковехъ седящая и вижь его беду», — говорится в Измарагде (2, с. 13).

На время работы Гоголя над вторым томом приходится его знакомство с Домостроем, о котором он оставил несколько восторженных отзывов. «В наставлениях и начертаниях, как вести дом свой, как быть с людьми, как соблюсти хозяйство земное и небесное, кроме живости подробных обычаев старины, поражает глубокая опытность жизни и полнота обнимания всех обязанностей», — пишет он А.М. Вельгорской (5, XIV, с. 110). Созданный XVI веке в русле традиции учительных сборников, Домострой, в отличие от них, принадлежит к числу светских памятников древнерусской литературы. «Это не вероучение, — отмечает его современный комментатор, — а практический минимум нравственной жизни, который не связан с богословской стороной религии» (15, с. 582). В характеристике ряда персонажей второго тома можно найти отражение «наставлений» Домостроя. Принимая упрек А.О.Смирновой (которой, кстати, Гоголь посылал свой экземпляр Домостроя — см.: 5, XIV, с. 140) — «дайте работу жене Костанжогло, она уже слишком жалка» (18, с. 656), писатель радикально переработал ее образ. В исправленной редакции жена Костанжогло предстает как помощница мужа, сама ведет домашнее хозяйство, сама занимается воспитанием и обучением дочери. Образ «доброй жены» в Домострое включает в себя неперемutable выполнение именно этих обязанностей: «и дасть брашно дому и дело рабынямъ, от плода руку своею насадит тяжание много; препоясавъше крепко чресла своя, утвердит мышца своя на дело и чада своя поучаетъ...» (15, с. 90).

Изменение способа «цитирования» учительных «слов» во втором томе идет двумя путями. Серьезность учительного тона из авторской речи перемещается в сферу речи «положительных» героев, в нравственном облике и поведении которых нет зияющего разрыва между словом и делом, как это было у проповедующих персонажей первого тома. Выступления против праздности и лени принадлежат трудолюбивому «хозяину» Костанжогло, праведный откупщик Муразов осуждает несправедливое стяжание Чичикова, честный генерал-губернатор произносит в собрании чиновников обвинительную речь против лихоимства. В этих речах в несколько перефразированном виде звучат излюбленные мотивы древнерусских учительных «слов». Когда, например, Костанжогло говорит мужику: «Я и сам работаю как вол, и мужики у меня, потому что испытал, брат: вся дрянь лезет а голову оттого, что не работаешь» (5, с. 60), — он словно повторяет поучение Измарагда «како имети челядь»: «Не оставляй же порозновати раба или рабу, мнозей бо злобе научает порозность» (2, с. 20). Аналогичные примеры можно привести к «словам» Муразова и генерал-губернатора. Принцип трагедийного «цитирования» сохранен лишь частично в речи Чи-

чикова, но это не трафаретное повторение его автопортретов из первого тома. Их смеховая окраска значительно ослаблена, они лишены профанирующего смысла, поскольку выступают в жанровом контексте патриархальной утопии второго тома и в сюжетной перспективе нравственного преображения главного героя поэмы.

Размышляя о месте учительной традиции в светских произведениях древнерусской литературы, Д.С. Лихачев писал: «В церковной литературной традиции светский автор находил сильные слова осуждения, яркие краски и твердую почву для морализирования» (12, с. 33). В известном смысле это суждение приложимо и к автору «Мертвых душ». Гоголь в своей статье «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность» назвал три «самородных ключа» русской словесности — народную песню, поговорку и слово церковных пастырей (5, VIII, с. 369). Жанровая традиция древнерусского «слова» берет на себя в «Мертвых душах» несколько художественных функций. Она выступает как средство открытого выражения этической позиции автора в его диалоге с читателями и героями поэмы, в своей прямой проповеднической функции. Учительная традиция используется как трагедийная форма самохарактеристики персонажей, обнаруживающая внутренний смысл искажающей их нравственный облик «страсти» (образы Чичикова и Плюшкина). На лексическом уровне она проявляется как форма этической оценки одних персонажей другими (бранные «прозвища» Собакевича). Она может играть роль авторского художественного приема, выявляющего определенный нравственный склад человеческой природы (инвективы Собакевича получают у Гоголя психологическую мотивировку: «Собакевич не любил ни о ком хорошо отзываться» — 5, с. 97). Удельный вес дидактических форм повышается во втором томе поэмы, где они переходят в сферу речи близких автору героев-«идеологов» (Муразов, Костанжогло, генерал-губернатор) и становятся способом выражения их социально-нравственных программ.

Таким образом, анализ поэмы в контексте древнерусских учительных традиций позволяет сделать вывод об их чрезвычайной значимости для творчества Гоголя. Однако было бы упрощением сводить все многообразие форм выражения этической позиции автора в гоголевском тексте лишь к одной литературной традиции. Нравственный мир художественного произведения невозможно воспринять адекватно без постижения его эстетической целостности. Следует помнить слова М.М. Бахтина о необходимости «отличать этическую интонацию от эстетической завершающей интонации» (4, с. 68). Но это — задача более масштабного исследования.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Из работ последнего времени, плодотворно развивающих эту проблематику, особо отметим ценные исследования С.А. Гончарова и В.Ш. Кривоноса (см.: 7, 10, 11).
2. На близость пушкинского образа учительной литературе древней Руси впервые обратила внимание В.П. Адрианова-Перетц (см.: 1).

**БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК**

1. Адрианова-Перетц В.П. К вопросу об изображении «внутреннего человека» в русской литературе XI-XIV веков // Вопросы изучения русской литературы XI-XX веков. — М.-Л., 1958. — С. 15-24.
2. Архангельский А.С. Творения Иоанна Златоуста в древнерусских Измарагдах // Творения отцов церкви в древнерусской письменности. — Казань, 1890. — Т. IV.
3. Ауэрбах Э. Мимесис: Изображение действительности в западноевропейской литературе. — М., 1976.
4. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. — М., 1975.
5. Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: В 14 т. — М.-Л., 1937-1952. (Ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием тома и страниц. В цитатах из I и II томов «Мертвых душ» указываются только страницы соответственно VI и VII томов данного издания.)
6. Гольденберг А.Х. «Скупой рыцарь» А.С. Пушкина и «Мертвые души» Н.В. Гоголя. К проблеме литературных архетипов // Творчество Пушкина и Гоголя в историко-литературном контексте. — СПб., 1999. — С. 53-57.
7. Гончаров С.А. Творчество Гоголя в религиозно-мистическом контексте. — СПб., 1997.
8. Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения. — Иркутск, 1979.
9. Ключевский В.О. Добрые люди Древней Руси. — М., 1907.
10. Кривонос В.Ш. «Мертвые души» Гоголя и становление новой русской прозы. Проблемы повествования. — Воронеж, 1985.
11. Кривонос В.Ш. Мотивы художественной прозы Гоголя. — СПб., 1999.
12. Лихачев Д.С. Человек в литературе древней Руси. — М., 1970.
13. Манн Ю.В. Поэтика Гоголя. Вариации к теме. — М., 1996.
14. Памятники древнерусской церковно-учительной литературы. — СПб., 1897. — Вып. 3.
15. Памятники литературы Древней Руси: Середина XVI века. — М., 1985.
16. Пушкин А.С. Полн.собр.соч.: В 10 т. — М., 1975. — Т. IV.
17. Робинсон А.Н. К проблеме «богатства» и «бедности» в русской литературе XVII в.: Толкование притчи о Лазаре и богатом // Древнерусская литература и ее связи с новым временем. — М., 1967. — С. 124-155.
18. Русская старина. — 1889. — № 12.
19. Смирнова Е.А. Поэма Гоголя «Мертвые души». — Л., 1987.
20. Сперанский М.Н. Переводные сборники изречений в славяно-русской письменности. Исследования и тексты. — М., 1904.
21. Яковлев В.А. К литературной истории древнерусских сборников. Опыт исследования Измарагда. — Одесса, 1893.

Достоевский жил в переходный период, который имеет некоторую схожесть с нашим временем. Основные произведения русского писателя создавались после отмены крепостного права, в 60-е и 70-е годы, это начало перехода от феодализма к капитализму, сопровождавшегося ростом промышленного производства, строительством железных дорог, формированием рабочего класса. Современные россияне также живут в переходный период, начавшийся в последнее десятилетие XX века и продолжающийся в настоящее время, это переход от социализма, который строился более 70 лет, к капитализму. Россия решила больше не экспериментировать, не искать своего особого, исключительного пути развития, а выйти на общую дорогу, по которой идут все развитые страны. Сходство исторической эпохи, в которую жил и работал Достоевский, и современным временем России видим в наличии общего в характеристике феодализма и социализма. Это подобие обусловило сходство названных исторических эпох по многим мировоззренческим вопросам.

Сегодня в Российской Федерации, как и при Достоевском, осуществляется переоценка ценностей, резко меняется идеология, мировоззрение. Несмотря на то, что нас отделяет от Достоевского 150 лет, вопросы соотношения технического, экономического и нравственного развития также злободневны, и даже может быть более актуальны. При Достоевском в России религиозное сознание только начало подвергаться «коррозии», главная причина роста атеизма состояла в распространении в общественном и индивидуальном сознании рационализма, сопровождавшего и обуславливавшего промышленное производство. Материалистическая, коммунистическая идеология, проводимая коммунистической партией Советского Союза, настойчиво, упорно, агрессивно делала страну атеистической. На Западе отход от религии, от религиозного сознания начался раньше чем в России, но сегодня и Запад, и Россия имеют примерно одинаковые результаты: в определенных кругах религия — это один из видов развлекательной программы, шоу, очень своеобразный. Положительные герои Достоевского страстно верующие люди, с глубокими религиозными чувствами, которые заставляют страдать человека, если он создает неудобства людям, тем более, если совершают злодеяние.

Между естественным правом и моралью имеют место, как единство, так и борьба. Конфликт между естественным правом и моралью сегодня явственно проявляется в действии «закона саморазрушения». В 60-е годы XIX века Достоевский поставил вопрос о саморазрушающих силах человечества, находящихся как в нем самом, так и вне его. В романе «Идиот» писатель пользуется библейским понятием «звезда Полюнь», которым обозначаются негативные последствия технического, технологического развития, получающие свое злодейское проявление как в среде обитания человека, так и в самой его психике. В середине XIX века симво-

лом технического прогресса стали железные дороги, строительство которых стремительно шло по всему миру и которые оказывали существенное воздействие на образ жизни и образ мыслей людей. Технический прогресс, громко и явственно заявлявший о себе, вызывал у глубоко мыслящих и тонко анализирующих людей настороженность по отношению к технологии и технике. Герой «Идиота» Ганя заявляет, что железные дороги прокляты, они — гибель человечеству, они язва, упавшая на землю, чтобы замутировать источники жизни. Этот герой частично оказался прав, некоторые его опасения оказались ненапрасными, например, экологические проблемы давно стоят на первом месте среди мировых проблем. Как известно, звезда Полюнь взята из Апокалипсиса, это звезда, упавшая на землю, она отравила все источники пресной воды и «многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки» (1, с. 473).

Если бы саморазрушающим силам не было противодействия, человечество давно бы погибло. Однако этого не происходит, на всякий яд есть противоядие. Подтверждается диалектический характер развития бытия и познания, раскрытый Гегелем. Саморазрушающим силам человечества не дают возможности своей полной реализации разум и мораль, прочным основанием которых является инстинкт самосохранения. Сохранить себя, а не разрушить — ведущая тенденция в практической и духовной деятельности людей, но борьба противоположностей, как и их сосуществование, является постоянной. Единство, борьба противоположностей, изменение характера и функций противоположностей в ходе развития отношений между ними, является объективным процессом. Поэтому не всегда результат развития явлений, процессов природного, социального миров таков, каким предполагает сознание человека. Взаимодействие между процессами саморазрушения и самосохранения определяют и направляют эволюционное развитие. Человечество, совершенно естественно и искренно стремясь сохранить себя на многие тысячелетия, одновременно создает условия для своего исчезновения, точнее перехода в новое качественное состояние о возможности которого еще говорил Циолковский.

Достоевский отмечает, как и Руссо, противоречие между культурой и научно-техническим прогрессом, считая, что будущее человечество под угрозой гибели. «Собственно одни железные дороги не замутият источников жизни, — пишет Достоевский, — а все это в целом-с проклято, все это настроение наших последних веков, в его общем целом, научном и практическом, может быть, и действительно проклято-с» (3, с. 375). Достоевский далек от позитивистского, сциентистского взгляда на мир, по которому наука не только не создает никаких проблем, а, напротив, решает все проблемы. Для Достоевского является странным и непонятным явление некоторых деятелей науки и техники, что



только они могут спасти мир, указать правильный путь движения для мира, где мораль будет на за-творках, на первом месте удовлетворение личного эгоизма и материальных интересов.

Достоевский отмечает две противоположные тенденции в жизни человечества, выражаемые в законе самосохранения и самоуничтожения, которые «одинаково сильны в человечестве» (3, с. 376). Закон самосохранения и закон самоуничтожения — это две силы (центростремительная и центробежная), которые обеспечивают целостность людского сообщества. Диалектическое взаимодействие законов самоуничтожения и самосохранения конкретизируются в философских категориях свободы и необходимости, естественного права и морали. Достоевский в своих произведениях убедительно показывает, что нельзя одну противоположность отрывать от другой, саморазрушение без самосохранения приведет к Апокалипсису. Моральные абсолюты составляют содержание закона самосохранения, мораль — это не проявление слабой воли человека, как утверждал Ницше, а направляющая свободной воли индивида. Человек — это микрокосм, общество — это макрокосм, и бытие того и другого нуждается в нравственных основах. Человек, пренебрегающий нравственными нормами, не может быть другом человечества, он станет людоедом человечества, а если это тщеславный человек, то «он тотчас же готов зажечь мир с четырех концов» (3, с. 377).

«Красота спасет мир», в этом суждении имеется в виду не созерцание и умиление, а «мысль сильнейшая всех несчастий, неурожаяев, истязаний, чумы, проказы и всего того ада, которого бы и не вынесло то человечество без той связующей, направляющей сердце и оплодотворяющей источники жизни мысли!» (3, с. 381). Такой мыслью, такой силою может быть только религия с моральными заповедями. Эта сила, связующая настоящее человечество с прошедшими столетиями, освящающая будущее. Однако с возникновением и распространением идей позитивизма, материализма, социализма и атеизма в век паровозов и железных дорог, а лучше сказать, в век пороков и железных дорог растут центробежные силы и слабеют центростремительные. В «Идиоте» Лебедев признает, что «...богатство больше, но силы меньше; связующей мысли не стало; все размягчилось, все упрело и все упрели! Все, все, все мы упрели» (3, с. 381). 150 лет отделяют нас от Достоевского, но вопросы, которые он формулирует и пытается решить, не только не потеряли своей актуальности, но еще более стали чувствительными для современного человека. И это благодаря пронизательному и прозорливому уму писателя, сумевшему увидеть новые тенденции в развитии общественной и индивидуальной, материальной и духовной жизни, связанные с изменениями в жизнедеятельности людей, вызванными научным, техническим прогрессом, ростом роли экономических отношений.

История взаимоотношений естественного права и моральных абсолютов такова: если рассматривать их диалектическое взаимодействие, то можно разли-

чить три периода: 1) естественное право, прежде всего в таких своих проявлениях, как самосохранение и агрессия, является преобладающим в поведении людей; 2) этот период совпадает по времени с возникновением мировых религий, государств, выражается в почитании единого бога, в моральных нормах, сформулированных в религиозных догматах; выполнение моральных требований становится важной функцией государства; 3) данный период начинается в новейшее время, когда почитание доллара и силы возводится в ранг государственной политики, становится общепринятым мнением. Естественное право во всех своих проявлениях преобладает над моралью. За доллары, а не за убеждения взрывают жилые дома, проводят террористические акты в людных местах — кафе, ресторанах, рынках, вокзалах и т.д. Деньги отчуждают женщину от детей и мужа, мужчину от жены, вызывают неприязнь, ненависть бедных стран к богатым. Современный американский социолог и астролог Гранд Смит заявляет: «Мы все боимся. Мы боимся друг друга и самих себя... Деньги — вот наш единственный посредник обмена. Те, у кого денег нет, должны «исчезнуть» (2, с. 6).

На безбожный путь развития, сопровождаемый экономическими расчетами, соперничеством и конкуренцией, научным и техническим прогрессом, Запад стал намного раньше России. Историческим значением в деятельности Петра I является безоговорочное и безусловное следование западноевропейским курсом, курсом просвещения, развития науки, внедрение технических изобретений в военное дело и промышленность. Но научный и технический прогресс — двуликий Янус, на обратную сторону цивилизации обратил внимание Достоевский, и он увидел ужасный лик. Рост бездушия и как следствие распространение атеизма во всех слоях населения, развитие взгляда на человека как на средство достижения собственных интересов, становление преступности, насилия как массового явления. Переоценка ценностей, начавшаяся в Западной Европе в XIX веке, полностью завершается к началу XXI века. Если в XIX веке главным грехом было нарушение христианских заповедей, то в конце XX века — начале XXI века, главный грех — быть бедным. «В нашем мире, — пишет Гранд Смит, — бедность постыдна, возможно, это самый большой грех для каждого, и часто бегство лучше, чем сострадание наших друзей» (2, с. 7). Ценность человека измеряется долларами, чем их больше, тем больше уважения и почтения мы проявляем к обладателю. «Ничто в наших современных жизнях не может рассматриваться вне денег» (2, с. 9). За деньги можно купить счастье, уверяют нас, можно купить любовь. Бедность — это позор, трагедия. Против этой новой морали, уже прочно утвердившейся в так называемом цивилизованном мире, выступал Ф.М. Достоевский. Достоевский питал слабые надежды на спасение христианской морали, писатель ждал чуда, но в глубине души понимал, что его быть не может. Трагический конец князя Мышкина — свидетельство поражения старой морали и начало новой.

По мнению князя Льва Николаевича Мышкина, главного героя романа «Идиот», главные различия между Европой и Западом обусловлены различиями в религии. Православной России противостоит католицизм Западной Европы, как истине противостоит ложь. Римский католицизм даже и не вера, он хуже даже атеизма, атеизм только проповедует нуль, а католицизм идет дальше: он проповедует искаженного Христа, проповедует антихриста. Славянофильские симпатии Мышкина в определенной мере разделял и сам Достоевский. Что касается Мышкина, то он считает, что римский католицизм есть продолжение политики Римской империи, поэтому на Западе утвердился ложь, пронырливость, обман, фанатизм, суеверие, злодейство. Художественно-литературная деятельность Достоевского позволяла ему выражать широкий спектр философских воззрений, проигрывать различные варианты ответов на спорные философские проблемы. А какие философские проблемы не являются спорными? Таких нет. Достоевский упорно, тщательно пытается решить вопросы, тревожившие его всю жизнь.

Главная философская проблема в творчестве Достоевского — вопрос выбора для человечества подлинно истинного пути развития, на котором принцип гуманизма будет не формальным, а действительным. Западный путь движения ведет, с одной стороны, к увеличению материального комфорта, а с другой стороны, обезличивает людей, превращает их в расчетливых эгоистов. Западно-европейская цивилизация святые, правдивые, простодушные, пламенные чувства народа (моральные абсолюты) променяла, как уверяет своих собеседников Мышкин, на деньги и власть. Самое страшное состоит в том, что атеизм проник и быстро распространяется в широких народных массах Западной Европы, порождая ненависть к церкви и христианству. Религия теряет нравственную власть, перестает выполнять нравственные функции, быть путеводителем в сложном лабиринте человеческой истории, и как следствие, на смену ей приходит социализм и его спутник — атеизм.

Не допустить полного кризиса человечества, его духовного банкротства может православная Россия, сохранившая якобы истинную веру. Однако идея русского мессианизма не мешает великому писателю посмотреть правде в глаза, увидеть особенность русского менталитета, имеющего прямое отношение к вере, это, прежде всего, неумная страст-

ность русской души. Достоевский делает поражающие своей прозорливостью выводы о том, что русскому человеку сделаться атеистом легче, чем всем остальным во всем мире. Русский человек не просто становится атеистом, а превращает атеизм в веру. Эта мысль, рожденная выдающимся русским писателем и мыслителем, позволяет выявить новые причины, приведшие Россию к Октябрьской революции, причины психологического порядка. В многочисленной литературе по Октябрьской социалистической революции, происшедшей в России в 1917 году, подробно излагаются экономические, социальные, политические причины революции, но очень мало, очень редко — психологические, поскольку они носят скрытый, трудноуловимый характер. Стечение многих объективных и субъективных обстоятельств, привело к тому, что именно наша страна оказалась оптимально удобной страной для коренных революционных дел. Достоевский пишет в романе «Идиот»: «И не нас одних, а всю Европу дивит в таких случаях русская страстность наша: у нас коль в католичество перейдет, то уж непременно иезуитом станет, да еще из самых подземных; коль атеистом станет, то непременно начнет требовать искоренения веры в бога насилем, то есть, стало быть, и мечом!» (3, с. 546). Страшные слова и страшные преступления совершались коммунистами России против собственного народа, многие десятки миллионов людей подверглись жесточайшему физическому и нравственному насилию. Ф.М. Достоевский, В.С. Соловьев видели реальные, действительные последствия, возможные после победы социалистической революции, они предупреждали народы всех стран и особенно Россию, но изменить исторический ход истории были бессильны.

Народы идут к атеизму и социализму, потому что ищут истину, правду, добро, справедливость и не находят. «Не из одного ведь тщеславия, не все ведь от одних скверных тщеславных чувства происходят русские атеисты и русские иезуиты, а и из боли духовной, из жажды духовной, из тоски по высшему делу, по крепкому берегу, по родине, в которую верить перестали, потому что никогда ее и не знали?» (3, с. 546). Достоевский уверен, что в русском народе скрыты огромные духовные, творческие силы, которые в будущем станут основой обновления всего человечества, его духовного воскресения. И тогда Россия предстанет перед человечеством не как грубый, отсталый народ, а как могучий и правдивый, мудрый и кроткий.

#### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Библия. — М., 1991. — Т. II: Новый Завет.
2. Гранд Смит. Принципы интерпретации прогрессивного гороскопа. — М., 2001.
3. Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 15 т. — Л., 1989. — Т. 6.

**«ЕСТЬ ЛИ ТАКОЙ ЗАКОН ПРИРОДЫ, ЧТОБЫ ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО?»**  
(любовь как лексическая тема романа «Братья Карамазовы»)

Л.Н. Чурилина  
Санкт-Петербург

*Высокий взгляд христианства на человечество понижается до взгляда как бы на звериное стадо, и под видом социальной любви к человечеству является уже не замаскированное презрение к нему.*

Ф.М. Достоевский

Утверждение итальянского исследователя творчества Достоевского Д. Барсотти о том, что главным действующим лицом романа «Идиот» является «не столько персонаж, сколько любовь» (1, с. 55), справедливо в отношении всего творчества писателя и особенно — романа «Братья Карамазовы». Завершающий «великое пятикнижие», роман «Братья Карамазовы» представляет собой итог не только творческих, но и нравственных исканий Достоевского. Предчувствие грозящей человеку и человечеству нравственной катастрофы определило постановку главной проблемы романа: поиск ответа на вопрос, что может остановить человека на пути к самоуничтожению, или что спасет мир? В устах Ивана Карамазова этот вопрос сформулирован иначе: «Есть ли такой закон природы, чтобы любить человечество?». Каждый из героев романа предлагает, прямо или косвенно, свой ответ на этот вопрос.

Реконструкция индивидуальных (персонажных) концептуальных полей «Любовь» на основе анализа лексической организации текста позволяет прочесть роман под новым углом зрения и обнаружить основу его целостности и его глубинный смысл.

Ограниченные рамками статьи, рассмотрим один из вариантов лексической экспликации концепта «Любовь», связанный с центральным персонажем романа — старцем Зосимой. Слово старца Зосимы в общем гуле голосов и мнений, по замыслу Достоевского, наделено особым статусом; в письме к Н.А. Любимову Достоевский так оценивал значение той части романа, которая посвящена жизни этого персонажа: «Для нее пишется весь роман» (3, с. 68).

Жизненная концепция старца Зосимы и выстраиваемые им аргументы в ее защиту держатся на четырех вытекающих одна из другой и предполагающих одна другую антитезах: «любовь человеческая vs. любовь Божья», «любовь мечтательная vs. любовь деятельная», «правда vs. ложь», «единение vs. разъединение». Рассмотрим последовательно каждую из них.

В основу первой антитезы — «любовь человеческая vs. любовь Божья» — положены два ключевых концепта: «Грех» и «Чудо / Тайна». Отправной точкой в рассуждениях старца Зосимы является представление о несовершенстве человеческой природы, о склонности человека к греху. Однако грех не является препятствием для **Божьей любви**:

*«Да и совершить не может совсем такого греха великого человек, который бы истощил бесконечную Божью любовь. Али может быть такой грех, чтобы превысил Божью любовь? <...> Веруй, что Бог тебя любит, как ты и не помышляешь о том, хотя бы со грехом твоим и во грехе твоём любит. А об одном кающемся больше радости на небе, чем о десяти праведниках».*

Провозглашение любви к человеку во грехе и со грехом делает неактуальным противопоставление «праведник — грешник».

Ключевым определением к номинативному сочетанию **Божья любовь** в пределах рассматриваемого ТФ является слово *бесконечная*, реализующее, благодаря ближайшим контекстным ассоциатам (*истощил, превысил*), все потенциально заложенные в нем смыслы. В результате **Божья любовь** предстает как некий абсолют. Она принципиально безотносительна, ибо существует **вне пространства** («Бесконечный. 1. Не имеющий начала и конца, предела». — 7), **вне времени** («3. Постоянный, не прекращающийся»), более того — **вне представлений** о «**предельности**» как таковой. Определения *бесконечная / безграничная* в отношении к сочетанию **Божья любовь** достаточно устойчиво в русском языковом пространстве, о чем свидетельствует иллюстративный материал словаря Даля — «Божья любовь бесконечна». Снятие каких бы то ни было, привычных в человеческом понимании, ограничений (пространственных, временных, количественных) делает **Божью любовь** недоступной для рациональной оценки, непостижимой для разума. Имплицитно мысль о сверхъестественной, «чудесной» природе **Божьей любви** выражена сочетанием глагольных форм *веруй* и *не помышляешь*, актуализирующих семантические компоненты 'не доказать', 'не объяснить'.

Абсолютная, безусловная **Божья любовь**, по Зосиме, не основана на идее прощения, поскольку прощение изначально даровано каждому и грех «не прощаемый» априори исключается. Любовь же **человеческая** предполагает снисходительное отношение к людской природе, к недостаткам и слабостям ближнего (см.: наставление Зосимы, обращенное к одной из кающихся в главе «Верующие бабы»):

*«На людей не огорчайся, за обиды не сердись. Покойнику в сердце все прости, чем тебя оскорбил, примирись с ним воистину. Коли каешься, так и любишь. А будешь любить, то ты (обращение к женщине. — Л.Ч.) уже Божья...».*

Идея необходимости прощения ближнему причиненных обид и оскорблений выражена группой синонимизирующихся в рамках ТФ глаголов *не огорчайся, не сердись, прости, примирись*, связанных с актуализацией семантических компонентов 'терпимость', 'снисходительность'. Искреннее (воистину) прощение ближнего влечет за собой любовь к нему и не только приближает человека к Богу («ты уже Божья»), но делает любящего подобным Богу:

*«Братья, не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уж подобие Божеской любви и есть верх любви на земле. Любите все создание Божие, и целое и каждую песчинку. <...> Будешь любить всякую вещь и тайну Божию постигнешь в вещах. <...> И полюбишь наконец весь мир уже всецелою, всемирною любовью».*

Человек как создание Божие есть лишь малая часть (песчинка) целого — мира, а потому любовь к нему, такому, каков он есть (во грехе), является естественным продолжением любви ко всему живому на земле, к жизни как таковой. *Верхом любви на земле, т.е. любви человеческой, признается любовь всецелая, всемирная, вселенская*, что по широте охвата равнозначно бесконечной *Божьей любви*. *Человеческая любовь* в идеальном своем варианте (верх) не уступает *Божьей любви* ни в «количественном», ни во временном отношении; ср.:

«Землю целуй неустанно, ненасытимо любви, всех любви, все любви»; «не на мгновение лишь случайное надо любить, а на весь срок»; «Тогда лишь и умилилось бы сердце наше в любовь бесконечную, вселенскую, не знающую насыщения».

Лексемы *неустанно, ненасытимо, насыщение (не знать)* в рамках персонажного дискурса правомерно рассматривать в качестве синонимичных словам (не) *истощить, (не) превысить, бесконечная*, связанным с объективацией свойств *Божьей любви*.

Возможность уподобления образов *человеческой* и *Божьей* любви находит отражение в совпадении (полном или смысловом) средств их лексической объективации в рамках ТФ, относящихся к субъектной сфере «старец Зосима». Так, текстовое микрополе, организуемое номинативным словосочетанием *Божья любовь*, выделяет в своем составе пять основных лексических групп: ТЛТГ «**Бог**» — *Бог, Божий, Божеский, небо*; ТЛТГ «**тайна**» — *чудодейственный, тайна, таинственно, верить, (не) помышлять*; ТЛТГ «**грех**» — *грех, кающийся, праведник*; ТЛТГ «**мера**» — *истощить, превысить, бесконечный*; ТЛТГ «**любовь**» — *любовь, любить, любивший*. Ядерную зону микрополя составляют лексические единицы, входящие в ТЛТГ «Бог» и «тайна». Ядро текстового микрополя, организующегося вокруг ключевого сочетания *человеческая любовь*, представляют ТЛТГ «человек», «грех» и «прощение»: ТЛТГ «человек» — *человек, люди, народ, детки, стадо; сердце*; ТЛТГ «грех» — *грех, безгрешный, праведник, каяться*; ТЛТГ «прощение» — *простить, примириться, оскорбить, обида, огорчаться, сердиться, умилиться*; ТЛТГ «Бог» — *Бог, Божий, создание Божие*; ТЛТГ «любовь» — *любовь, любить, полюбить, верх (любви)*; ТЛТГ «мера» — *неустанно, ненасытимо, всецелый, всемирный, вселенский, бесконечный, насыщение*; ТЛТГ «мир» — *мир, земля, целое, песчинка, листик, луч, животные, растения, вещь*.

Четыре из выявленных лексических объединений («Бог», «грех», «любовь» и «мера») оказываются представленными в составе двух микрополей, что позволяет говорить о взаимном пересечении текстовых ассоциативно-семантических микрополей «Божья любовь» и «человеческая любовь» (лексические единицы, входящие одновременно в состав двух текстовых полей, подчеркнуты), а следовательно — и о взаимной связанности соответствующих понятий. При сопоставлении двух ТЛТГ «любовь» обращает на себя внимание отсутствие в микрополе «Божья любовь» глагола *полюбить*, связанного с обозначением на временной оси некой точки отсчета — «начало действия». Не предполагающая временной локализации, *Божья любовь* не может быть связана

и с представлением о начале, в отличие от *любви человеческой*, которая в идеале стремится к бесконечности, но всегда имеет точку отсчета.

Провозглашаемый старцем Зосимой факт подобия любви *человеческой* и *Божьей* (по крайней мере, возможность такого подобия, ибо оно — идеал), лексическим показателем чего и служит взаимное пересечение текстовых полей, открывает людям путь к постижению *тайны Божьей*, делает человека равным Богу. Следовательно, путь человека к Богу лежит, с точки зрения старца Зосимы, не через гордость (ср.: *человеко-бог* Ивана Карамазова), а через ее полную противоположность — *любовь, смирение любовное*. Представление о собственном превосходстве над другими, дающее право на осуждение ближнего, исключается, поскольку каждый, по Зосиме, должен сознавать, что он «*хуже всех мирских и всех и вся на земле*» и потому «*перед всеми людьми за всех и вся виноват, за грехи людские, мировые и единоличные*».

Сопоставление значений членов синонимического ряда «виноватый, виновный, повинный, провинившийся» приводит О.Ю. Богуславскую к выводу об имплицитном указании на *косвенность* вины субъекта в случае с *виноватый*; этим определяется возможность употребления предиката *виноват* в тех случаях, «когда непонятно, в чем именно можно упрекнуть субъекта» (2, с. 82). Е.В. Падучева, исследуя контексты употребления слова *виноват*, выделяет в его значении имплицитивный компонент (или компонент, «входящий в толкование на правах следствия») «несет моральную ответственность» (6, с. 150). Об актуализации этого имплицитива можно говорить в случае, когда речь идет о вине «*перед всеми людьми*», «*за всех и вся*».

Концепты «Любовь» и «Смирение» в картине мира старца Зосимы представляют собой неделимое целое (*смирение любовное, смиренная любовь*) и в этой своей целостности противостоят концепту «Гордость». По наблюдениям А.Д. Шмелева, существительное *смирение* в пределах русского языкового пространства соотносится с глаголом *смириться* «в абсолютном употреблении (восходящем к существительному *мера*)» и означает «перестать быть гордым», «умерить свои претензии» (8, с. 384). Именно этот смысл слова *смирение*, характеризуемый А.Д. Шмелевым с точки зрения современного языкового сознания как книжный и устаревший, является актуальным в текстах старца Зосимы. Противоположность индивидуальных концептов «Любовь» и «Гордость», их взаимоисключающий характер своими корнями уходит в христианское мировоззрение (что весьма актуально при обращении к анализу картины мира старца Зосимы, сам социальный статус которого уже является непреложным свидетельством религиозного сознания). В русском православном сознании гордость представляет собой первый из числа смертных грехов человека, матерью всех пороков, в то время как любовь отнесена к числу основных добродетелей, наряду с верой и надеждой.

Концепты «Время» и «Работа» положены в основу второй антитезы «философии любви» старца Зосимы — «*любовь деятельная vs. любовь мечтательная*».

Любовь *деятельная* уже по своему определению связана с концептами «Работа» и «Время». Взаимная соотнесенность концептуальных полей находит отражение в лексической организации текстов-наставлений старца Зосимы:

*«Опытом деятельной любви. Постарайтесь любить ваших ближних деятельно и неустанно. По мере того как будете преуспевать в любви, будете и убеждаться в бытии Бога, и в бессмертии души вашей. Если же дойдете до полного самоотвержения в любви к ближнему, тогда уж несомненно уверуете»; «любовь деятельная сравнительно с мечтательною есть дело жестокое и устрашающее. <...> Любовь же деятельная — это работа и выдержка, для иных так, пожалуй, целая наука».*

Основными в ряду средств экспликации характерных черт *деятельной любви* в представленных ТФ являются единицы, входящие в состав системного семантического поля «работа»: *работа, опыт, дело, деятельно, неустанно, постараться, преуспевать*. В результате любовь предстает не как абстрактное философское понятие, но как вполне реальное дело, предполагающее *полное самоотвержение*, отказ от собственных эгоистических интересов в пользу интересов ближнего. Старец Зосима признает, что дело это для человека необычайно трудное. Благодаря столкновению на небольшом текстовом пространстве слов *жестокое* и *выдержка* (ср. также: *«всецелою любовью мучимый»*) становится очевидным, почему любовь является даром Божиим для избранных. *Деятельная любовь* предполагает преодоление человеком своей естественной природы — выход за границы нормы, а потому она является испытанием для людей, причем, столь суровым, что способно испугать слабого (устрашающее). Однако велика и награда для сумевшего преодолеть и победить себя. *Любовь деятельная* не только открывает человеку путь к Богу, к истинной вере, она наполняет земную жизнь смыслом, ибо без нее *«вся жизнь мелькнет как призрак»*:

*«Что есть ад?» Рассуждаю так: «Страдание о том, что нельзя уже более любить». Раз в бесконечном бытии, неизмеримом ни временем, ни пространством, дана была некому духовному существу, появлением его на земле, способность сказать себе: «Я есмь, и я люблю». Раз, только раз, дано было ему мгновение любви деятельной, живой, а для того была земная жизнь, а с нею времена и сроки, и что же: отвергло сие счастливое существо дар бесценный, не оценило его, не возлюбило, взглянуло насмешливо и осталось бесчувственным».*

Концепты «Любовь» и «Жизнь» в картине мира старца Зосимы оказываются не только одинаково значимыми, но представляют собой нечто неразрывно связанное, что отражено и в совпадении даваемых определений: *земная жизнь* есть *жизнь деятельная*, а *деятельная любовь* есть *любовь живая*; и в предлагаемом тождестве: «Я есмь» (= живу) равнозначно «я люблю». Смысл земной жизни человека, ее цель заключается в том, чтобы реализовать уникальную возможность — познать счастье любви к другому (*счастливое существо*), счастье самопожертвования. В какой-то мере концепт «Любовь» оказывается даже более значимым, по-

скольку *земная жизнь* в идеале должна быть принесена в жертву любви. Концепты «Ад» и «Рай», связанные с представлением о загробной жизни, также соотнесены с концептом «Любовь». В результате *любовь деятельная* предстает как чувство исключительно духовное и потому уже бесконечное, что выполняет роль связующего звена между жизнью земной (*мгновением*) и жизнью загробной — вечностью.

Антиподом *деятельной любви* в картине мира персонажа является *бесчувствие*, или равнодушие, презрение и высокомерие — отличительные признаки гордости (*пренебрегший*); внешним признаком пренебрежительного и высокомерного отношения к кому- или чему-либо служит насмешка (*взглянул насмешливо*) (ср.: синонимический ряд *насмехаться, глумиться, издеваться, потешаться, смеяться*, связанный с выражением общей отрицательной оценки объекта, на который направлено действие).

Таким образом, текстовое микрополе, организуемое ключевым словосочетанием *деятельная любовь*, включает в себя несколько взаимосвязанных лексических объединений; ядро поля составляют: ТЛТГ «*работа*» — *работа, дело, деятельность, деятельный, деятельно, постараться, неустанно, преуспевать, трудно*; ТЛТГ «*наука*» — *наука, учительница, уметь, воспитать*; ТЛТГ «*жертва*» — *самоотвержение, жертва, отдать (жизнь), жестокий, устрашающий, мука, мучаться, мучимый, выдержка, страдание, подвиг*. На периферии рассматриваемого микрополя находятся: ТЛТГ «*жизнь*», «*время*», «*вина*», «*сокровище*», «*желание*», «*сила*», «*счастье*». Еще одна ТЛТГ — «*равнодушие*» (*насмешка, бесчувственный, пренебречь, отвергнуть*) — представляет собой переходную зону между текстовыми полями «любовь» и «вражда / ненависть».

Вторая разновидность *человеческой любви* именуется старцем Зосимой как *любовь мечтательная*. Отличительным свойством ее является подчеркнутая несовместимость с идеей «протяженности во времени», или «длительности»:

*«Любовь мечтательная жаждет подвига скорого, быстро удовлетворимого и чтобы все на него глядели. Тут действительно доходит до того, что даже и жизнь свою отдают, только бы не продлилось долго, а поскорей совершилось, как бы на сцене, и чтобы все глядели и хвалили».*

Многokrратно актуализируемая в рамках ТФ кратковременность *любви мечтательной* (*скорого, быстро, не продлилось долго, поскорей*) лежит в основе сравнения ее со спектаклем, что, в свою очередь, подчеркивает театральность чувства, его нацеленность на произведение впечатления на окружающих (*хвалили*), причем, впечатления чисто внешнего (*глядели*). Ориентация на эффект и ожидание похвалы за содеянное снижает значимость жертвы, на которую готов пойти субъект: целью самопожертвования перестает быть благо ближнего, более значимым оказывается стремление к всеобщему признанию, оценке совершаемого деяния — подвига — со стороны других. Слово *подвиг* утрачивает в таком окружении устойчиво

приписываемую ему в системе положительную оценку совершаемого действия. В отличие от идеальной **человеческой любви**, любви *ненасытимой и неистощимой*, **любовь мечтательная** «ограниченна»: ее «предельность» эксплицирована употреблением глагольных форм совершенного вида *совершиться, удовлетворить*.

Близка по своей сути **любви мечтательной** и **любовь случайная**: *«не на мгновение случайное надо любить, а на весь срок. А случайно-то и всяк полюбить может, и злодей полюбит»*.

Смысл, актуализируемый наречным словом случайно, неоднороден: его использование связано и с объективацией такого признака любви, как неуправляемость, независимость от воли и желаний субъекта, и с указанием на ограниченность чувства временными рамками («от случая к случаю». — 7); ср. также: текстовые антонимы *мгновение — весь срок*, что сближает **любовь мечтательную** и **любовь случайную**. **Случайная любовь**, не зависящая от субъекта и ничего не требующая от него, ни к чему не обязывающая, вступает в оппозитивные отношения с идеей **добра** (*злодей полюбит*).

В составе микрополя, организуемого номинативным словосочетанием мечтательная любовь, выделяется четыре ТЛТГ; к ядерным элементам поля можно отнести: ТЛТГ **«театр»** — *сцена, глядеть, хвалить*; ТЛТГ **«время»** — *скорый, поскорей, быстро, случайный, мгновение, (не) продлиться, совершиться*. На периферии поля находятся ТЛТГ **«жертва»**, **«желание»**. Сопоставление лексических средств экспликации двух «разновидностей» любви человеческой — любви **деятельной** и **мечтательной / случайной** — позволяет говорить о них, как о чувствах-антиподах.

**Мечтательная любовь**, в отличие от **любви деятельной**, представляет собой чувство стихийное (бессознательное) или далекое от реальной действительности, и потому она практически не связана с центральными для воссоздания образа **деятельной любви** концептами «Работа», «Наука», «Жертва». ТЛТГ **«жертва»** — одна из ядерных в микрополе «деятельная любовь» — утрачивает в случае с любовью мечтательной свою значимость, что отражено и самим составом обеих группировок и сопровождающей их в рамках конкретных ТФ коннотацией. В результате мечтательная любовь лишается высокой положительной оценки, отличающей любовь деятельную.

Целью самопожертвования в **любви деятельной** является благо ближнего, спасение мира; цель **любви мечтательной** не выходит за рамки личных интересов субъекта. Значимой оказывается и самооценка субъекта: положительная в случае **мечтательной любви** и отрицательная — в **любви деятельной**.

Сопоставление двух ТЛТГ «время», входящих в состав разных микрополей, позволяет говорить об их антонимичности. Ограниченная временными рамками, **мечтательная любовь** утрачивает один из основных признаков *идеальной* человеческой любви — безграничность, что лишает ее возможности быть уподобленной **Божьей любви**.

«Любовь» в индивидуальной концептосфере старца Зосимы оказывается составной частью концептуального поля «Правда» и в этом своем качестве вступает в отношения антонимии с концептом «Ложь» (антитеза **«правда vs. ложь»**).

Как отмечает Ю.Д. Апресян, концепты «Правда» и «Истина» в русской наивной картине мира в первую очередь связываются не с «точной информацией о чем-либо», но относятся к разряду нравственных и духовных ценностей, «ассоциируются с добром, светом, надежностью и постоянством» (5, с. 223-224). Рассматриваемый в этом ключе, антипод **правды и истины — ложь** — уже не может трактоваться как простое «искажение истины; обман» (7), но как сознательное отступление от нравственных идеалов, от справедливости в широком ее понимании, т.е. в конечном счете как антипод **добра**, или **зло**.

С наибольшей очевидностью оппозиция «правда / любовь — ложь» эксплицирована в наставлении Зосимы, обращенном к Федору Павловичу Карамазову:

*«Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, и стало быть, входит в неуважение и к себе и к другим. Не уважая же никого, перестает и любить, а чтобы, не имея любви, занять себя и развлечь, предается страстям и грубым сладостям и доходит совсем до скотства в пороках своих, а все от беспрерывной лжи и людям и себе самому»*.

**Правда**, по Зосиме, есть «нечто» (доброе, хорошее?) в человеке (*в себе и другом*), что нужно уметь увидеть и что может лечь в основу уважения к нему; уважение же является неременным условием существования любви. **Ложь** мешает видеть это «нечто» и порождает неуважение к себе самому и к людям, а потому убивает любовь, делает ее невозможной. Место, занимаемое в жизни человека любовью, за ее отсутствием, не может оставаться пустым: на смену ему приходят *страсти*. Слово *страсть* получает, благодаря ближайшим контекстным ассоциатам (*грубым, скотства, пороках*), ярко выраженную отрицательную окраску. Таким образом, *страсть* являет собой замену любви, которая не может быть признака адекватной. **Страсть** в таком ее понимании — **ложь, игра**, средство доставить себе внешнее, **физическое удовольствие** (приоритет физического начала над духовным подчеркнут актуализацией семантического компонента 'вкус', входящего в структуру лексического значения слова *сладости*).

Слова *страсть* и *любовь*, являющиеся в системном представлении со-наименованиями одного концептуального поля, оказываются в рассматриваемом ТФ членами антонимичных текстовых лексико-тематических объединений. Установление в дискурсе старца Зосимы оппозитивных отношений между словами *любовь* и *страсть* может служить дополнительным свидетельством если не полного отрицания им физических оснований любви, то во всяком случае бесспорного приоритета оснований духовных.

Таким образом, идеальная **человеческая любовь** в представлении старца Зосимы — чувство принципиально духовное, равное по силе и всеохватнос-

ти любви Божьей, имеющее вполне определенную цель — спасение ближнего и мира, искупление грехов мировых и единоличных. Это чувство обретает в индивидуальном тезаурусе свое «имя» — **братолюбие**.

При толковании значения слова братство в словарях русского языка традиционно на первый план выдвигаются семантические компоненты 'родство', 'союз', 'единение', 'общий'. Эти же семантические компоненты лежат в основе индивидуального значения / смысла слова *братство* как единицы семантикона языковой личности персонажа, показателем чего может служить появление в качестве его ближайших контекстных ассоциатов таких единиц, как: **единиться / единение, слагаться, целостность**, с одной стороны, и антонимичных им однокорневых синонимов **отъединение, уединение** — с другой.

Братолюбие, или любовь к ближнему (ср.: «*Брат или ближний, все мы друг другу*» — СлД), рассматривается старцем Зосимой как реальная и активная деятельность — *служение человечеству*, т.е. являет собой образец **деятельной любви**. Слова *братство, единение, целостность* в рамках индивидуального тезауруса могут рассматриваться в качестве синонимов, т.к. все они в равной мере используются в текстах, «создаваемых» старцем Зосимой, для наименования конечной цели братолюбия как определенного рода работы, трудность и значимость которой подчеркивается уподоблением ее подвигу.

Средствами лексической объективации **братолюбия** как фрагмента личностного концепта «Любовь» являются в тексте два последовательно противопоставляемых текстовых микрополя — «единение» и «разъединение», каждое из которых включает в себя несколько частных лексических группировок. Центральное положение (ядро поля) в текстовом микрополе «единение» занимает ТЛТГ «целое», ядерную зону текстового микрополя «разъединение» представляет ТЛТГ «единица»:

#### ТАСМ «единение»

ТЛТГ «целое» — *люди, людской, человечество, общий, общение, равенство, справедливость; единение, единиться, слагаться, целое, целостность*; ТЛТГ «оценка» — *великий, великолепный*; ТЛТГ «время» — *будет, буди, будущий*; ТЛТГ «душа» — *душа, духовный, простодушный*; ТЛТГ «любовь» — *любящий, нежный, дорогой, милый, пожалеть*; ТЛТГ «жизнь» — *жизнь, существо, обеспечение*; ТЛТГ «вера» — *вера, Христос, христианский, церковь, церковный*; ТЛТГ «семья» — *мать, отеческий, сын, брат*; ТЛТГ «работа» — *служение, подвиг, помогать, помощь*;

#### ТАСМ «разъединение»

ТЛТГ «единица» — *лицо, личный, гордость; отъединение, уединение, уединиться, уединенный, уединенно, отделить, отделяться, разделиться, отдаляться, прятать, прятаться, отталкивать, отталкиваться, отсекаать, отлучать, отлучение, нора*; ТЛТГ «оценка» — *страшный, неестественно*; ТЛТГ «время» — *теперь, век, срок, пора, ныне*; ТЛТГ «ум» — *ум, безумный, понимать, юродивый*; ТЛТГ «ненависть» — *ненависть, равнодушие, забвение*; ТЛТГ «смерть» — *самоубийство, самоубийственный, кровь, меч,*

*погибнуть, истребить*; ТЛТГ «вера» — *не верить, без Христа*; ТЛТГ «государство» — *государственный, суд, кара, наказанный, механически, торжествующий*; ТЛТГ «богатство» — *копить, богатство, обеспеченный*.

Проведенный анализ особенностей лексической организации ряда ТФ, относящихся к текстовой субъектной сфере «старец Зосима», позволил выявить текстовое ассоциативно-семантическое поле (ТАСП) «любовь». В составе ТАСП «любовь» выделяются 5 микрополей, организующихся вокруг имен ключевых для языковой личности понятий: «Божья любовь», «человеческая любовь», «деятельная любовь», «мечтательная / случайная любовь», «братолюбие».

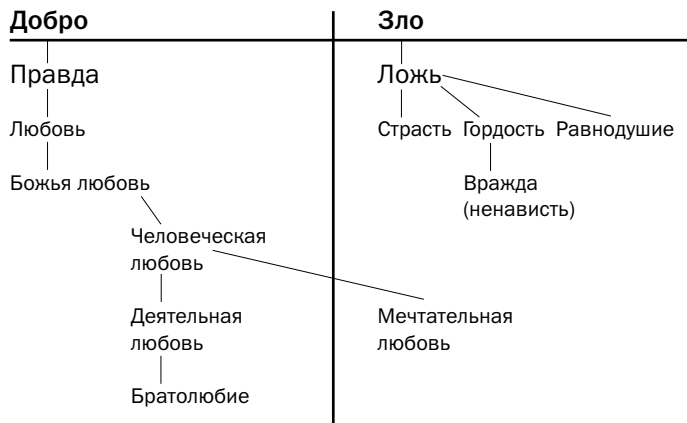
Каждое из микрополей имеет свою ядерную зону, однако ТЛТГ, составляющие ядро одного поля, могут возникать на периферии другого, периферийные зоны, в свою очередь, многократно накладываются друг на друга. В результате взаимного пересечения и наложения микрополей образуется достаточно цельное лексическое объединение — текстовое ассоциативно-семантическое поле «любовь», представляющее собой лексический эквивалент личностного концепта «Любовь».

Сложная, многоступенчатая организация ТАСП «любовь», выделяемого в пределах текстовой субъектной сферы «старец Зосима», свидетельствует о сложности личностного концепта. Составляющие концепт «Любовь» понятия не равнозначны по отношению друг к другу. Число организующихся в пределах каждого из микрополей ТЛТГ свидетельствует о том, что наиболее разработанными и, следовательно, доминирующими в концептосфере старца Зосимы являются такие составляющие концепта «Любовь», как **деятельная любовь** и **братолюбие**. Понятия эти могут рассматриваться в неразрывном единстве, поскольку **братолюбие** есть, по сути, естественное продолжение **деятельной любви** и являет собой идеальный образец взаимоотношений между людьми — **человеческой любви**. В результате братолюбие как бы вбирает в себя все характерные признаки **деятельной любви** и занимает центральное положение в структуре личностного концепта «Любовь». Лексические единицы, входящие в ядерную зону микрополей «братолюбие», «человеческая любовь» и «деятельная любовь», в совокупности составляют ядро ТАСП «любовь», и именно они являются основными средствами объективации индивидуального концепта.

Периферийная зона рассматриваемого текстового ассоциативно-семантического поля свидетельствует о том, что концепт «Любовь» в индивидуальной картине мира старца Зосимы оказывается непосредственно связанным с целым рядом базовых концептов, к числу которых относятся: взаимно соотносенные друг с другом концепты «Бог», «Вера», «Ад», «Рай» и «Душа»; концепты «Жизнь» и «Время», «Семья», «Работа», «Наука».

Являясь самостоятельным фрагментом индивидуальной картины мира, концепт «Любовь» в то же время включается в концептуальное поле «Правда». Опозиция «правда vs. ложь», эксплицированная в текстах старца Зосимы, представляет собой один

из вариантов антитезы, имеющей определяющее значение при характеристике особенностей мировоззрения личности, — «добро vs. зло». Если попытаться очертить круг тех смыслов, который образует концепт «Добро» в картине мира старца Зосимы, то формула «Добро есть X» может быть заполнена следующим образом: «Добро есть правда», «Добро есть любовь», «Добро есть братолюбие». В сферу концепта «Зло», как показал проведенный анализ, попадает не только ложь, но и страсть, и равнодушие, и гордость (естественным следствием которой является вражда), и «мечтательная любовь»:



В результате концептами — антагонистами в рассматриваемой картине мира оказываются «Любовь», с одной стороны, и «Равнодушие», «Страсть», «Гордость» — с другой.

Реализованный в пределах текстовой субъектной зоны «старец Зосима» личностный вариант концепта «Любовь» рассматривается нами в качестве **возможного** в русском православном сознании, во всяком случае — сознании современников Ф.М. Достоевского. Право на такое предположение дает небольшой фрагмент статьи русского религиозного философа К. Леонтьева «О всемирной любви»: «<...> любить и любить — разница... Как любить?»

Есть любовь-милосердие, и есть любовь-восхищение; есть любовь моральная и любовь эстетическая. Даже и эти два вовсе не схожие влечения нужно подразделить весьма основательно на несколько родов. Любовь моральная, то есть искреннее желание блага, сострадание или радость на чужое счастье и т.д., может быть религиозного происхождения и происхождения естественного, то есть производимая (безо всякого влияния религии) большою природною добротой или воспитанная какими-нибудь гуманными убеждениями. Религиозного происхождения нравственная любовь потому уже важнее естественной, что естественная доступна не всякой натуре, а только счастливо в этом отношении одаренной; а до религиозной любви, или милосердия, может дойти и самая черствая душа долгими усилиями аскетической борьбы против эгоизма своего и страстей. <...> Об этом можно написать целую книгу, я только хотел напомнить все это» (4, с. 263-264; везде курсив автора. — Л.Ч.). Иерархическая организация «родов» любви, предлагаемая реальной языковой личностью (причем организация, рассматриваемая как очевидная и общеизвестная — «хотел напомнить»), вполне соотносима с той, что принадлежит личности «воображаемой». Факт такого подобия важен для сегодняшнего читателя романа Ф.М. Достоевского, утратившего связь с православными традициями.

Отношение же Ф.М. Достоевского к «слову» своего героя, как ответу на вопрос, вынесенный в название статьи, нашло непротиворечивое выражение в одном из его писем: «Многие из поучений моего старца Зосимы (или, лучше сказать, способ их выражения) принадлежат лицу его, то есть художественному изображению его. Я же хоть и вполне тех же мыслей, какие и он выражает, но если б лично от себя выражал их, то выразил бы их в другой форме и другим языком. Он же не мог ни другим языком, ни в другом духе выразиться, как в том, который я придал ему. Иначе не создалось бы художественного лица» (3, с. 102).

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Барсотти Д. Достоевский: Христос — страсть жизни. — М., 1999.
2. Богуславская О.Ю. И нет греха в его вине (виноваты и виновный) // Логический анализ языка: Языки этики. — М., 2000.
3. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. — Л., 1972-1990. — Т. 30. — Кн. 1.
4. Леонтьев К.Н. О Всемирной любви. Речь Ф.М. Достоевского на Пушкинском празднике // Ф.М. Достоевский и православие. — М., 1997.
5. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. — М., 2000. — Вып. 2.
6. Падучева Е.В. Семантика вины и смещение акцентов в толковании лексемы // Логический анализ языка: Языки этики. — М., 2000.
7. МАС — Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А.П. Евгеньевой. — М., 1981-1984. — Т. 1-4.
8. Шмелев А.Д. Плюрализм этических систем в свете языковых данных // Логический анализ языка: Языки этики. — М., 2000.



## ФОРМИРОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИТЕРАТУРНОЙ АНТИУТОПИИ В РОМАНЕ Н.С. ЛЕСКОВА «ЧЁРТОВЫ КУКЛЫ»

Е.Ю. Коломийцева  
Армавир

Литературная антиутопия является жанрообразованием, окончательно оформившимся уже в XX веке, но на протяжении всего предыдущего столетия осуществлялся постепенный процесс становления ее жанровой поэтики, формировалась специфическая проблематика жанровой доминанты литературной антиутопии, которая затем породила особенности сюжетно-композиционной структуры, хронотопа, типа повествования последней. Эти факторы, по словам В.М. Головки, являются жанроформирующими и «придают произведению определенную форму, вид, то есть обеспечивают самодостаточность, завершенность жанровой структуры, «вырабатывают» жанр, воплощают его «сущность», «идею» (3, с. 11). Исследователь отмечает, что этими категориями «определяется основной конструктивный принцип жанра, жанровый «костяк», «канон», устойчивый тип жанровой структуры. В формирующих факторах жанра выявляется его моделирующая функция» (3, с. 11). Жанроформирующие начала («архитектонически устойчивое» в жанре) материализуются в области жанрообразования («динамически живое»). Ученый различает образующие факторы («идея человека», жанровая доминанта), которые создают жанровый тип и разновидности жанровых форм, и образующие средства, которые создают уже «ткань» произведения (тип героя, особенности сюжетосложения, характеристика и система событий, компоновка художественного материала, своеобразие время-пространственных отношений и т.д.) (3, с. 12-13).

В XIX веке в русской литературе шла как бы проба антиутопии, ее мотивы осваивались разными жанрами: романом («Записки из Мертвого дома» (1862), «Бесы» (1872) и «Братья Карамазовы» (1880) Ф.М. Достоевского, «История одного города» (1870) М.Е. Салтыкова-Щедрина, «Чертовы куклы» (1890) Н.С. Лескова), повестью («Ученое путешествие на Медвежий остров» (1833) Осипа Сенковского), рассказом («Амена» (1846) А.К. Толстого, «Сон смешного человека» (1877) Ф.М. Достоевского, «Кормило кормчому», «Знамение на кровле» (1870) Н.Г. Чернышевского), пьесой («Снегурочка» (1873) А.Н. Островского). Идет процесс жанрового становления, поэтому часто антиутопические элементы встречаются в незаконченных произведениях («Чертовы куклы» Н.С. Лескова — незаконченный роман, «Кормило кормчому», «Знамение на кровле» Н.Г. Чернышевского — эпизоды из предполагаемой автобиографической трилогии) или в тех, которые становятся частью целого («Легенда о Великом инквизиторе» Ф.М. Достоевского, «Амена» А.К. Толстого). По своей же проблематике антиутопия тяготеет больше к романному жанру. Это проявилось особенно ярко, когда в процессе созревания философских концепций тоталитарного государства антиутопия, используя опыт других жанров, получает окончательно романное осмысление, и появляются знаменитые романы-антиутопии Замятина, Ору-

элла, Хаксли. В XX веке литературная антиутопия окончательно оформляется как жанровая разновидность романного типа, выделяющаяся на основе жанрообразующего фактора — особой жанровой доминанты, которая содержит особую проблематику (прогноз взаимоотношений личности и авторитарной власти, персонифицированной в образе тоталитарного государства, вооруженного научно-техническими разработками), модификацию концептуального хронотопа романа (опора на настоящее в моделировании будущего), особый сюжет и конфликт и т.п. Основным конструктивным принципом антиутопии обуславливается «концепция личности», при этом личность, в силу специфики данной жанровой разновидности, предстает в перевернутом виде. Мы видим, как ее уничтожают (показательна в этом отношении терминология Хаксли — «стандартные люди», «неплоды») (9, с. 18). С раскрытием «концепции личности» связаны концептуальный хронотоп, принцип сюжетно-композиционной организации, тип героя и т.д. литературной антиутопии, что подтверждает романную природу последней. Типично романские в антиутопии и кульминация, и форма завершения.

В процессе осмысления конфликта общечеловеческих ценностей и авторитарной власти формируется особый тип героя-«деспота», идеолога такой власти, параллельно с этим вырабатывается еще один тип героя-«бунтаря», «помехи» в функционировании регламентированной системы, что наметилось еще у В.Ф. Островского в «Городе без имени» («вредные мечтатели»), А.К. Толстого в «Амене» (христиане по отношению к языческому государству), Н.Г. Чернышевского в «Знамени на кровле» (Абу-Джафар). Противостояние такого героя и власти со временем и становится основой сюжетно-композиционной организации антиутопии. В жанре романа этот процесс идет постепенно. Так, если Достоевский в «Легенде» пытается разрешить конфликт личности и стремящегося все упорядочить социума и выводит на арену действия тип героя-идеолога авторитарной власти, Салтыков-Щедрин в «Истории одного города», ставя сходную проблему, показывает ужасные последствия действия тоталитарной воли и также выводит одну из вариаций типа тирана, но еще не прорисовывает конфликта власти с отдельной личностью во всех деталях, то Лесков в романе «Чертовы куклы» реализует этот конфликт в его многосоставности и, опираясь на опыт предшествующего осмысления вопроса, показывает уже два ярких типа: как деспота, так и его жертвы, попытавшейся взбунтоваться. Это сразу же находит свое отражение в сюжетно-композиционной организации произведения, что еще обуславливается и спецификой романного жанра. По замечанию Л.А. Герасименко, «способ раскрытия характера всегда оказывается связан со способом раскрытия конфликта. И содержательность большой эпической романной формы в том и состоит, что она дает воз-

«... возможность более детального сложного ведения сюжета, постепенного и многообразного развертывания человеческого характера во всех его связях и отношениях» (2, с. 16).

В незаконченном романе Лескова «Чертовы куклы» изображаются герои — представители разных жизненных концепций, они отличаются друг от друга по типу сознания, т.е. «микросреда» дифференцируется, а герои противопоставляются (10). Так, герцог, идеолог деспотической власти, в своем государстве единолично решает все вопросы, подавляя диктатом своей воли окружающих. Его государственной организации противопоставляется свободный союз друзей-единомышленников, учрежденный Маком. Главный герой, художник Фебуфис, показан разносторонне. С одной стороны, он в качестве взбунтовавшегося «винтика» системы противопоставлен самому герцогу как воплощению авторитаризма и всему обществу его государства, отказавшись играть по установленным в нем правилам. С другой стороны, Фебуфис как талантливый, но тщеславный и капризный художник противопоставляется открытому, доброму, честному Маку и его друзьям. Личность Фебуфиса показана в процессе развития и, в определенной степени, нравственных поисков. Движимый в начале своего пути только корыстными, материальными интересами, в конце романа (по задумке Лескова) герой должен был прийти к пониманию того, что есть некие высшие человеческие ценности, которые нельзя подчинить авторитарной воле, и выразить протест против происходящего, хотя бы побегом из государства герцога. Судьба героя детерминирована общими тенденциями жизни в тоталитарном обществе, ими же обусловлен и предполагаемый финал романа (творческой личности нет места в таком государстве). Фебуфис — романтический герой, который показывается «не как готовый и неизменный, а как становящийся, изменяющийся, воспитуемый жизнью» и объединяющий в себе «как положительные, так и отрицательные черты, как низкие, так и высокие, как смешные, так и серьезные» (6, с. 453). Для формирующейся антиутопии наиболее адекватен именно такого плана романтический интерес к человеку, «который обладает хотя бы относительной независимостью от установлений социальной среды с ее императивами, обрядами, ритуалами, которому не свойственна «стадная» включенность в социум» (4, с. 327). Поэтому в классической антиутопии XX века в качестве основного закрепился тип характера, свойственный романтическому жанру. Соответственно выбираются и способы его реализации (противопоставление героя другим героям внутри дифференцированной по типу сознания «микросреды», раскрытие героя в его многосторонности и др.). Это продиктовано и «концепцией личности» как обуславливающим фактором, и общим интересом к проблеме духовного самостоятельного человека, внутренняя жизнь которого рассматривается в ее многоплановости, сложности и непрерывной динамике.

Поскольку в фокусе внимания авторов антиутопий оказываются отношения между характером и средой, то в сюжете данного жанрообразования преобла-

дает совмещение двух организующих принципов — концентрического и хроникального, интенсивного и экстенсивного. Организация действия может проистекать из взаимодействия и сопоставления характеров героев, а эпизоды — вытекать один из другого; но действие может и осуществляться как бы за счет толчка извне. Эти принципы в построении сюжета антиутопии не механически соединяются, а выступают в органической взаимосвязи. Это свойство антиутопии унаследовала от романа и построений романного типа. Поэтому в XIX веке, среди упомянутых нами произведений, находящихся на линии ее формирования, в данном аспекте наиболее интересный материал для исследования предоставляет вышеназванный роман Лескова, само появление которого на рубеже веков непосредственно предвляло окончательное оформление в жанровом отношении классической антиутопии XX века, показав наиболее адекватную форму для раскрытия проблем, поднимаемых ею.

Начало «Чертовых кукол» построено по хроникальному принципу — автор начинает с краткой биографии героя. Здесь же называются факторы, ставшие определяющими в формировании характера Фебуфиса — мать, питавшая «несомненную уверенность, что сына ее ожидает слава» (5, с. 327) и всеобщее восхищение: «С течением времени на него обращали внимания больше и больше, и он вскоре стал пользоваться такую известностью, которая уже довольно близко граничила со славой. Были основания верить, что невдалеке его ожидает и настоящая слава» (5, с. 328). Сразу во второй главе своего романа Лесков дает примечательный разговор, являющийся, на наш взгляд, выражением идеи всего последующего повествования. После шумных успехов Фебуфиса два его друга, Мак и Пик, обсуждают, куда могут привести их талантливого коллегу тесные взаимоотношения с властью имущими и преклонение перед ними. При этом Мак, человек твердых моральных качеств, называет друга «Ван-дер-Пуфом», что было шуточным прозвищем для тех, «кто подавал большие надежды с сомнительными последствиями» (5, с. 330), настаивая, что общение с властью предержащими чревато потерей себя, а главное в жизни, как для себя, так и для других, «сберечь свое достоинство» (5, с. 330), т.е. оградить от разрушения свою личность. Мак с самого начала противопоставляется своему другу Фебуфису, сразу четко обозначаются позиции героев: целомудрие, скорбь о человеческих бедах и размышления над целями искусства первого и легкомысленное отношение к жизни второго. Особенно ярко это противопоставление проявилось в отношении обоих мужчин к Марчелле: Фебуфис соблазнил и бросил ее, сделав матерью, Мак же, оскорбленный и разгневанный таким его поступком, перестал подавать ему руку, а девушке предложил пожениться. Здесь очевидным становится внутреннее благородство Мака и непопечливость, поверхностность Фебуфиса, в характере которого «все более обозначались признаки необузданности и своеволия. Успехи его туманили. Он стано-

вился капризен» (5, с. 334). Талантливый художник начинает позволять себе все более разнузданные поступки. Этому посвящены первые пять глав романа. В шестой главе в действии происходит толчок извне — в город прибывает герцог, манера которого держаться по-военному и отношения с подчиненными сразу настораживают и являются предвестием его дальнейшего поведения, хотя, впрочем, об особенностях характера герцога можно было судить еще до его непосредственного появления по словам его адъютанта: «Он не терпит отказов... Ему нельзя диктовать и т.п.» (5, с. 339). Затем уже действие организуется по интенсивному принципу и эпизоды вытекают один из другого: появляется герцог — Фебуфис ввязывается в скандал из-за него, что портит его отношения с властями — следует приглашение герцога уехать с ним, которое художник принимает.

Важный момент представляет собой письмо Фебуфиса к Пикку, написанное во время его путешествия с покровителем. Оно несет особую смысловую и сюжетно-композиционную нагрузку. Письмо вообще является одним из «промежуточных» жанров (терминология Р. Москвиной, Г. Мокроносова — 7), в которых «на первый план выходит личность автора, воспринимающего, переживающего, осмысливающего все эти факты, явления жизни» (7, с. 172), и где «личное начало» доминирует как «особый и совершенно необходимый принцип оформления разнородного духовного, культурного (в том числе словесного, письменного) материала в целостное понимание бытия» (7, с. 173). В дневниках, рукописях, записках анализируется, судится действительность, выносятся приговор окружающим явлениям, демонстрируется «индивидуальный путь переживания и осмысления жизни, оформленный в слове и являющийся по необходимости процессом одновременно и философским, и художественным (три «начала»: художник, философ и «прорастающий сквозь них» «человек», личность)» (7, с. 180-181). Такая «личностная» ориентированность этих жанров не могла остаться незамеченной антиутопией, которая в свою очередь сама ориентирована на личность, «персоналистична». Поэтому не случайно использование форм записок, писем, дневника в произведениях XIX века, разрабатывающих антиутопические мотивы: герои О.Сенковского находят в северной пещере на Медвеьем Острове запись иероглифами, сообщающую о страшном конце могущественной Барабии; Абу-Джафар из «Кормила кормчему» Чернышевского составляет рукопись, предрекающую губительные для людей последствия изобретения всесильной машины; пишет поэму о Великом Инквизиторе Иван Карамазов. Это продиктовано стремлением придать повествованию смысл, значимый не только для автора, но и для другого человека и другой эпохи, а также, это одна из особенностей, выражающих «специфику нетеоретического философского мышления в художественной литературе» (7, с. 188). Литературная антиутопия XX века, взаимодействующая с философской футурологией и являющаяся, как и всякое художественное

произведение, нетрадиционной формой философствования, возьмет на вооружение опыт «промежуточных» жанров, вобрав их в свою структуру и подчинив своей жанровой задаче, примером чего являются записки Д-503, дневник Уинстона Смита и т.д.

В романе Лескова письмо тоже включено в текст с целью вывести на первый план личность автора (в данном случае, Фебуфиса), который воспринимает, переживает, осмысливает какие-то явления жизни, «...виденные им местности, музеи, дворцы и палаты, а также свои личные впечатления и особенно характер своего великодушного покровителя и свои взаимные с ним отношения» (5, с. 352). Не случайно именно здесь впервые рассказывается о деспотических замашках герцога и о первой уступке художника. Фебуфис пишет, что в сцене с горцем у герцога проявилась «вдруг откуда-то вырвавшаяся противная, властительная надменность» (5, с. 355), которая взбесила художника, и тот сам достойно отблагодарил джигита за смелость. Здесь в свою очередь взбесился герцог и снова проявились его тиранские замашки. Фебуфис решает его покинуть, но затем, в конце концов, успокаивается. Показательна и образная и верная оценка событий, описанных в письме, данная Маком: «Фебуфис сел на кол и опускается» (5, с. 360). Позже, когда главный герой и вместе с ним друг Пик окрылены мечтой направлять герцога, изменять вкусы его поданных, сделать переворот в искусстве, Мак так же реагирует на все это трезво и правильно: «... не верю в возможность служить высоким идеям, состоя на службе у герцогов» (5, с. 363).

В государстве герцога действие концентрируется вокруг Фебуфиса, но расходится концентрическими кругами, захватывая все новых героев (придворные, Геллия, Пик и т.д.). Лесков показывает процесс постепенного подчинения художника установлениям системы, это же и путь уничтожения в нем самобытной личности: сначала героя привлекает новизной, а затем затягивает, как в пучину, придворная жизнь, затем он внешне перестает обижаться и восставать против проявления власти диктатора и, наконец, полностью подчиняется ему и в творчестве, и в личной жизни. Этот человек уже разительно не похож на того, который осмелился поправить поступок герцога в горах, да он и не мог остаться прежним в государстве, где все, от государственных дел до личной жизни и творчества жителей, регламентируется волей одного человека, подчиняясь ей безоговорочно. Но процесс «нивеллирования» идет не совсем гладко, вот внутренняя реакция героя на подарок герцога, имеющий целью закрыть рот художнику: «...он переходил беспрестанно от угнетенности к бешенству и не знал, чему дать более хода. Дары, возвещенные ему маленькую записочкой на бристоле, были очень щедры, но при всем том он чувствовал, что потерял нечто более важное и существенное, чем то, что получает» (5, с. 377-378), т.е. в покорившемся внешне герое все еще остается внутренний потенциал для протеста, который, по задумке писателя, и должен был проявиться в форме побега из душающей

творчество атмосферы герцогского государства. Обратный процесс, теперь уже путь к бунту, зарождается в душе Фебуфиса после женитьбы, когда он, наконец, трезво оценивает герцога: «Во что, в самом деле, он не вмешивается, чего он только не знает и о чем он не говорит!.. Как его много! Как его везде чертовски много!» (5, с. 391). Словно почувствовав перемены в характере Фебуфиса, герцог обрушивает на него всю тяжесть своей репрессивной машины, внешним поводом для этого послужила ссора художника с женой. Друзья Фебуфиса организуют ему побег из страны деспота, но морально герой уже уничтожен и не может возродиться. Его отравила атмосфера тоталитарного государства, потому он кончает жизнь самоубийством, не смирившись с ролью «чертовой куклы». Противостояние тоталитарной власти и личности оканчивается гибелью последней.

Как видим, этот конфликт и определяет сюжетное развитие действия романа, персонифицируясь в образах героев особого типа: героя-«деспота» и героя-«бунтаря». Действие концентрируется вокруг главного героя и развивается в прямой связи с его судьбой, совмещая интенсивный и экстенсивный принцип организации. Судьба главного героя детерминируется общими тенденциями жизни в тоталитарном обществе, в котором оказывается невозможным право личности на самоопределение. Таким образом, Лесков, продолжая линию развития своеобразного «антиутопического» конфликта, делает в этом отношении еще один заметный шаг вперед, по сравнению с предшественниками: теперь разновидность субстанционального конфликта, конфликт личности и авторитарной власти, художественно воплощается в виде противостояния творческой личности и тоталитарной государственности на целом пространстве романа, жанровая специфика которого способствует наиболее адекватной реализации данного конфликта, когда показывается процесс упомянутого противостояния, а сам конфликт становится многосоставным, обретает общефилософский смысл. Для такого способа организации развития действия в произведении характерен и соответствующий способ повествования.

По мнению Н.П. Утехина, каждому типу сюжетосложения и способу передачи явлений действительности соответствует и особый тип повествования. Если руководствоваться его теорией о трех типах повествования (презентативное, экспозитивное и трансформативное) (8, с. 99-102), то можно сказать, что по особенностям своего сюжетостроения литературная антиутопия тяготеет к трансформативному типу повествования, для которого характерно то, что повествователь может вступить «в безусловно субъективную связь с изображаемым с точки зрения сюжета» (1, с. 235), что «факты действительности под видом объективности предстают перед нами в переосмысленной, преображенной форме, выступая как средство, как «строительный материал» для выражения тех или иных (истинных или неистинных) представлений автора о жизни» (8, с. 102). Для такого типа повествования, по мнению

Н.П. Утехина, как раз и характерно «органичное развитие сюжета, адекватное раскрытие социальных, психологических, идейных и политических отношений между героями или героем и средой, положенных в основу произведения. Все события в нем строго детерминированы, вытекают одно из другого... Повествование этого типа с «органическим», «концентрическим» сюжетом, вытекающим из самой «сути дела», получило развитие по преимуществу в реалистической литературе и служит в основном для воссоздания взаимоотношений между личностью и обществом или отдельными людьми» (8, с. 112-113).

Таким образом, в произведениях русской литературы XIX века, разрабатывающих антиутопические мотивы, параллельно с формированием особой проблематики постепенно складывается особый принцип, способ показа событий: подробное, всестороннее и последовательное освещение процесса противостояния отдельной личности и авторитарной власти. Вместе с этим происходит и становление особого типа конфликта антиутопии как разновидности конфликта субстанционального, непреодолимого в рамках изображаемого действия, как конфликта философского, корректирующего утопию, поскольку антиутопия имеет в подтексте защиту погрязших общечеловеческих ценностей, отдельной самобытной личности. Поэтому и сама динамика сюжетного развития обуславливается столкновением личности с системой, отказом этой личности от своей роли в ритуале. В XIX веке антиутопические мотивы разрабатываются разными жанрами, каждый из которых делает свой вклад в процесс становления структуры нового жанрообразования. Что касается сюжетно-композиционной организации будущей антиутопии, то здесь можно отметить следующие особенности. В жанре рассказа в XIX веке «отшлифовываются» грани ее будущего конфликта (в «Городе без имени» Одоевского показывается столкновение утопической идеи с общечеловеческими ценностями, в «Кормиле кормчому» Чернышевского освещается один момент противостояния отдельной личности и авторитарной власти, в «Сне смешного человека» Достоевского сталкивается идея индивидуализма и общечеловеческая мораль); намечается своеобразная «схема», «план» складывающегося сюжета антиутопии («Город без имени»), закладываются основы формирования двух особых типов героя, вырабатывающихся в связи с осмыслением проблемы взаимоотношений человека и власти: тип «тирана», идеолога авторитарной власти и тип «бунтаря», возмущающего заведенный порядок системы, но, тем не менее, внутренне разделяющего ее установления («Кормило кормчому»). Жанр романа продолжает и углубляет эти тенденции: здесь субстанциональный конфликт личности и власти получает более яркую философскую подоплеку («Легенда о Великом Инквизиторе», «Чертовы куклы»); показываются различные вариации уже практически сложившегося типа героя-идеолога авторитарной власти, своеобразного «утописта», реализующего свои идеи на практике (плац-

майор, Инквизитор, Угрюм-Бурчеев, герцог из романа Лескова), причем здесь заметна эволюция образов героев, связанная со все возрастающим их разрывом с общечеловеческими нравственными принципами; роман же заканчивает наметившуюся еще в рассказе линию формирования типа героя-«бунтаря», противостоящего системе. Лесков в романе «Чертовы куклы» реализует конфликт личности и стремящегося все упорядочить социума в его многосоставности и, опираясь на опыт предшествующего осмысления вопроса, показывает уже два ярких типа: как деспота, так и его жертвы, попытавшейся взбунтоваться. Это

сразу же находит свое отражение в сюжетно-композиционной организации произведения, что обуславливается еще и спецификой романного жанра. Так, в романе Лескова, произведении, «апробирующем» антиутопические мотивы, закрепляется основной признак сюжетно-композиционной организации, ставший характерным и для будущей антиутопии: совмещение двух организующих принципов — концентрического и хроникального, интенсивного и экстенсивного. Роман Лескова обнаруживает и явное тяготение формирующейся литературной антиутопии к трансформативному типу повествования.

#### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Гегель Г.В.Ф. Эстетика: В 4 т. — М., 1968. — Т. 3.
2. Герасименко Л.А. О принципах типологического изучения романа // Проблема жанров русской и советской литературы. — Томск, 1975. — С. 3-22.
3. Головкин В.М. Русская реалистическая повесть: герменевтика и типология жанра. — М.-Ставрополь, 1995.
4. Головкин В.М. Художественное человековедение: параметры литературоведческих исследований // Вестник СГУ. — 2000. — 324. — С. 4-28.
5. Лесков Н.С. Собр. соч.: В 6 т. — М., 1973. — Т. 5.
6. Лужановский А.В. Выделение жанра рассказа в русской литературе. — Вильнюс, 1988.
7. Москвина Р.Р., Мокроносов Г.В. Человек как объект философии и литературы. — Иркутск, 1987.
8. Утехин Н.П. Жанры эпической прозы. — Л., 1982.
9. Хаксли О. О дивный новый мир // Иностранная литература. — М., 1988. — № 4. — С. 13-125.
10. Эсалнек А.А. Типология романа (теоретический и историко-литературный аспекты). — М., 1991.

## РУССКИЙ САМОУБИЙЦА КАК ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХЕТИП

М.С. Максименко

Краснодар

Русская литература оставила богатую галерею типических персонажей, которых традиционно объединяют в эволюционирующие или регрессирующие архетипы — «лишний человек», «маленький человек», «двойники». Еще один архетип, мало исследованный в литературе, — самоубийца. Здесь объединение может идти одновременно и по формальному и по этическому признаку, ведь самоубийство — поступок этического характера и поступок отнюдь не случайный, а подготавливаемый всем внешним и внутренним развитием персонажа.

Русский самоубийца — персонаж, крайне часто появляющийся в литературе и всякий раз несущий определенный этический смысл. Казалось бы, «лишний человек» — благодатная почва для развития самоубийства: неумение и нежелание смириться с современным ему обществом, конфликт с окружающим миром, внутренний разлад. Всякий самоубийца — лишний человек, он выламывается, выпадает из окружающего мира по тем или иным причинам. Но ни один из классических «лишних людей» жизнь самоубийством не кончает. Печорин, Обломов, Базаров — их гибель пассивна, в отличие от самоубийства, требующего активного отторжения от жизни.

Наделен чертами «лишнего человека» и образ Катерины из «Грозы» Островского, но ее образ более сопоставляется с образами Чацкого, Базарова, Рахметова, то есть людей активных в своей противоположности обществу. И среди «лишних людей», и среди «новых героев» своего времени и предшествующих десятилетий в русской литературе Катерина — единственный персонаж, который оканчивает дни самоубийством. В этом, на первый взгляд случайном совпадении кроется горький урок — «лишняя женщина», в отличие от «лишнего мужчины», безусловно, обречена. То, до чего героини Вересаева дойдут логическим путем, то есть невозможность длить жизнь в сковывающем мире, Катерина постигает экзистенциально: «Отчего люди не летают?» — экзистенциально провозглашает она и бросается с обрыва.

Одно из первых самоубийств в русской литературе — самоубийство Лизы Карамзина — как раз выпадает из определения «лишний человек-самоубийца». Бедная Лиза Н.М. Карамзина представляет собой особый, достаточно распространенный в реальности тип самоубийцы — экзистенциальный — самоубийство, совершенное в состоянии аффекта. Самоубийство Лизы вызвано внешней причиной, как и всякое экзистенциальное самоубийство, и носит романтический и даже соблазнительный характер. Трагизм ситуации здесь вовсе не в том, что Лиза — лишний человек, а в том, что по своим исключительным и нравственным качествам она создана, чтобы в мире жить, настолько примиренной и эстетической кажется читателю жизнь скромной продавщицы цветов. Ее самоубийство — вопиющая романтическая несправедливость. «Лишние» же, «конфликтные» люди времен Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Достоевского с

собой не кончают. Более того, ощущая разлад с миром, они ведут себя на удивление агрессивно.

«Лишний человек» эволюционирует. В конце 19-го — начале 20-го века он ощущает свою ненужность уже несколько по-другому. Самоубийцы у В.В. Вересаева уходят из жизни даже не потому, что не могут примириться с обществом, а потому, что сама жизнь их отвергает, томит собственной бессмысленностью. Герои Вересаева живут без цели, «без дороги», смерть кажется им логичным исходом.

Самоубийцы у Федора Сологуба — также «лишние люди». Но они не могут принять окружающий их мир не только этически, а чисто эстетически. Героиня Сологуба Елена из рассказа «Красота» отвергает мир в его этическом и эстетическом несовершенстве:

«Как замкнуться от людской пошлости, как уберечься от людей! Мы все вместе живем, и как бы одна душа томится во всем многоликом человечестве. Мир весь во мне. Но страшно, что он таков, каков есть, — и как только его поймешь, так и увидишь, что он не должен быть, потому что он лежит в пороке и во зле. Надо обречь его на казнь, — и себя вместе с ним».

Эволюция «лишнего человека» имеет и еще одно направление, все дальше отводя его от самоубийства, преследующего, так сказать, личную выгоду, «самоубийства для себя», и все больше подводя его к другому виду самоубийства — самопожертвованию. Вот отрывок из стихотворения И.С. Тургенева «Порог», в котором девушка готовится переступить некий порог (читай «нравственный»):

«— Ты готова на безымянную жертву? Ты погибнешь — и никто... никто не будет даже знать, чью память почтить!..

— Мне не нужно ни благодарности, ни сожаления.

Мне не нужно имени.

— Готова ли ты на преступление?

— И на преступление готова».

Тургенев называет свою героиню «святой», тем самым значительно предвосхитив Александра Блока, в порыве пролетарского верноподданничества поместившего Иисуса Христа во главе шайки пьяных убийц.

Тургеневская «девушка» (какая ирония судьбы!) неожиданно и довольно внятно перекликается с образом воспоминаний Бориса Савинкова (В. Ропшина) об Иване Каляеве: «Разве не стыдно жить? Разве не легче умирать и убивать?». Убийца Каляев, раздираемый разного рода внутренними переживаниями, как и девушка из стихотворения «Порог», уже не делает различия между самоубийством и убийством. Не дорожа собственной жизнью, пожертвовав ею, героиня В. Ропшина не ценила и чужую, но были все еще сильно подвержены различным колебаниям и нравственному поиску, приводящему часто к полному этическому абсурду:

«— Убить всегда можно.

— Нет, не всегда. Нет, убить — тяжкий грех. Но вспомни: нет больше той любви, как если за други своя положить душу свою. Не жизнь, а душу. Пойми: нужно крестную муку принять, нужно из любви для любви на все решиться. Но непременно, непременно из любви и для любви. Иначе — опять Смердяков, то есть путь к Смердякову».

Появление Смердякова из «Братьев Карамазовых», как и вообще появление героев Достоевского в спорах революционной и предреволюционной молодежи, не случайно. Смердяков у Достоевского выражал идею, близкую революционной — можно убивать себя и других, и нету тут никакого нравственного предела. Смердяков этот нравственный предел презирает, отвергает его и самоубийством только лишний раз это подтверждает. Но Смердяков — фигура отвратительная у Достоевского, и революционеры, чувствуя, что постепенно с этой фигурой сближаются, в ужасе от нее отмахиваются. На Федоре Михайловиче лежит еще один грех — он первым в русской литературе вывел «идейного убийцу» Раскольникова, то есть персонажа, убивающего не из-за выгоды,

не из ревности, не во имя мести, а ради какой-то им самим выдуманной идеи. Желая осудить Раскольникова, Достоевский, тем не менее, рисует совершенно новый, незнакомый ни русской литературе, ни русской нравственности тип — убийцу во имя идеала. Выходит, можно? Идея Раскольникова — личная, она не социализирована, Ропшин поворачивает раскольниковское «право имею» неожиданно — «для любви». Если поступок продиктован любовью, то он неподсуден, будь то убийство или самоубийство. Надо понять, что и террористические зверства и зверства революционные проделывались революционерами не из ненависти, а из любви. Но такая любовь была во много раз страшнее ненависти, поскольку в отличие от ненависти была ненасытна.

## ЦВЕТАЕВА О «СПАРТАНСТВЕ»

Р. Войтехович  
Тарту, Эстония

Слово «спартанство» образовано от имени собственного Спарта (древнегреческий город-государство) по той же продуктивной словообразовательной модели, что *мужество, ханжество, гражданство, материнство* и т.д. Однако, в словарях его нет. Семнадцатитомный академический «Словарь современного русского языка» (3) включает слова *спартанец, спартанка, спартанский, спартански* и *поспартански*, но абстрактного существительного, образованного от той же основы, в нем нет. Однотомник Ожегова дает еще более короткий список — без наречий.

Между тем в текстах Марины Цветаевой это слово встречается и обозначает важное понятие, занимающее высокое место в иерархии ее нравственных ценностей. В известных нам текстах *спартанство* встречается по меньшей мере трижды (курсив наш — Р.В.):

1. «Ведь, если она хоть что-нибудь понимает, она должна понимать, что каждое ее посещение — один вид ее! — для меня — нож, что только мое исконное *спартанство* и — м.б. мысль, что, обижая ее, я обижаю Вас, — заставляет меня не прекращать этого знакомства» (5, с. 283).

2. «Мальчик дал о себе знать в 8 ч. утра. <...> Знала, что до станции, несмотря на все свое *спартанство*, из-за частоты боли — не дойду» (5, с. 330).

3. «Главенствующее влияние — матери (музыка, природа, стихи, Германия. Страсть к еврейству. Один против всех. Heroica). Более скрытое, но не менее сильное влияние отца. (Страсть к труду, отсутствие карьеризма, простота, отрешенность.) Слитое влияние отца и матери — *спартанство*» (6, т. 4, с. 621-622).

Несмотря на отсутствие определений «спартанства» в словаре, его значение легко восстанавливается по контексту и по семантике соответствующего лексического гнезда. Очевидно, что *спартанство* должно характеризовать *спартанца* и *спартанку* как в прямом смысле, жителей Спарты, так и в переносном, — тех, кто следует их примеру, ведет *спартанский* образ жизни, то есть поступает *спартански* или *поспартански*. Таким образом, *спартанство* абстрагирует некоторый этический идеал или норму поведения, связанную с представлениями о нравах древних спартанцев. Каковы были эти представления, видно из цитат, приведенных в статьях все того же ССРЛЯ (ссылки на источники опускаем).

(А) Спартанство требовало строжайшей умеренности в быту, благородной бедности:

1. Жили они, разумеется, спартански, в самой строжайшей умеренности.

2. Убранство первой комнаты... по-спартански просто: три длинные и широкие скамьи, застланные какой-то рванью, и больше ничего.

3. Одевался он очень бедно... и во всем остальном вел спартанский образ жизни; например, не допускал тюфяка и спал на войлоке.

(Б) В еще большей степени спартанство требовало моральной дисциплины и строгости:

1. Не заключайте, пожалуйста, из этого ворчанья, чтобы я когда-нибудь был спартанцем. Всегда шалил, дурил и кутил с добрым товарищем.

2. [Маркелов] сохранил военную выправку, жил спартанцем и монахом.

(В) Особые требования спартанство предъявляло к слову, требовались бесстрашная честность и лаконизм. Спартанец не говорит, а действует:

1. Этот парень был несложен. Выдавали его постоянство и особая спартанская честность.

2. Предвидел я, что будет ваш ответ Решителен, спартански смел и краток.

(Г) Всего этого спартанцы добивались жестокими наказаниями, которые следовало выносить с нечеловеческим мужеством:

1. Нелепая долбня и спартанские наказания ожесточали учеников.

2. Я, как спартанец, решился выдерживать боль, боясь наделать криком суматоху.

3. Гороблагодатского много секли..., били по щекам... — все он переносил спартански.

(Д) Спартанское воспитание готовило бесстрашного воина, для которого доблестная смерть за свой полк виделась самым завидным жребием, при этом скидок не делалось ни для женщин, ни для детей:

1. Спартанцы в прописях учили: «Лучше сейчас умереть, чем постыдно жить».

2. Одна спартанка, отправляя сына на войну... подала ему щит и сказала: «С ним или на нем».

3. — Прежде, чем я мать, я — Зегевольд! — сказала она, выказывая в себе дух спартанки. — Скорей соглашусь видеть мою дочь мертвою, чем отдать ее когда-либо за человека, так жестоко меня оскорбившего.

При сопоставлении этого описания с тремя приведенными выше цитатами, видно, что цветаевское употребление ближе всего к примерам Г2 и Г3, то есть с требованием внешне не выказывать мучительную боль. Однако в третьем случае, взятом нами из анкеты 1926 г., толкование может быть расширено. «Спартанство» здесь определяется как «слитое влияние» родителей, что можно истолковать двояко, в зависимости от того, совпадает ли «спартанство» с суммой черт, унаследованных от матери и отца, или является некоторой дополнительной характеристикой, общей двум родителям и близкой употреблению в первых двух примерах.

Допустим, речь идет о чертах, дающих в сумме «спартанство». Тогда из усвоенного от матери к нашему описанию подходит героический пафос (Д) как вообще, так и выраженный в музыке и поэзии. Германия в этом списке может фигурировать как метонимическое обозначение германского героического романтизма (Шиллер, Клейст и др.). Природа же сама по себе никакого отношения к «спартанству» не имеет, но может получить его в оппозиции к культуре и цивилизации, так как и бедность, и нравы спартанцев — архаические и, следовательно, более «природные». Что совершенно чуждо было спартанцам, так это «страсть» как проявление индивидуализма и тем более страсть к слабым и униженным («к еврейству»).

Спартанское в отце — проявляется в «отсутствии карьеризма, простоте, отрешенности», то есть соотно-



сится с пунктами А-Б-В. «Отсутствие карьеризма» соотносится с отказом от индивидуальных амбиций и дисциплиной. «Труд» как таковой не облагораживал человека по понятиям спартанцев (единственной профессией спартанца была война), но для Цветаевой, вероятно, и «труд» был проявлением «спартанства», смешиваясь отчасти с монашескими добродетелями (ср.: Б2).

Чтобы верифицировать возможное расширение семантики цветаевского понимания «спартанства», обратимся к другим строкам Цветаевой, связанным с образом Спарты и спартанцев. При этом, однако, нельзя избежать вопроса об источниках представлений Цветаевой о Спарте.

Один из возможных источников — неатрибутированная пока нами книга «Герои древности»:

Аля, 26<sup>го</sup> р<усского> сент<ября>

(мой день рожденья — 29 лет и Сережин — 28 лет)

— М., как я рада, что у меня большие ноги! Большая нога — это твердость и быстрость. У римских полководцев, напр., у спартанцев.

\*\*\*

Дарю Але «Герои древности» для развития в ней доблести, и что же? — любимцем оказывается Алкивиад (5, с. 59). Видимо, речь идет об адаптированных для детского чтения «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарха. Именно Плутархом мы и будем пользоваться в дальнейшем, как жизнеописанием Ликурга, мифического спартанского законодателя, так и другими сочинениями: «Изречения спартанцев», «Древние обычаи спартанцев» и «Изречения спартанских женщин».

Согласно Плутарху, именно Ликург привил жителям Спарты ту систему неписаных законов, которую вслед за Цветаевой мы будем называть «спартанством»: Главнейшие начала, всего более способствующие процветанию государства и доблести, обретают устойчивость и силу лишь укоренившись в нравах и поведении граждан, ибо для этих начал более крепкой основой, нежели необходимость, является свободная воля, а ее развивает в молодежи воспитание, исполняющее в душе каждого роль законодателя. <...> Поэтому всю свою деятельность законодателя Ликург, в конечном счете, сводил к воспитанию (2, с. 56)

В свете этого пассажа понятной становится связь темы «спартанства» с разговором о воспитании, полученном от родителей. И, как мы видели из цитаты, приведенной выше, нечто похожее Цветаева пытается передать и своим детям, предлагая в качестве «учебника» книгу о доблестях «героев древности», среди которых одобрением матери пользуются римские полководцы и спартанцы, а их антиподом выступает Алкивиад.

Неслучаен поэтому мотив «спартанских парт», возникающий в пьесе «Червоный Валет»:

Гм... С каких спартанских парт  
Ты несешь сей вредный бред  
(6, т. 3, с. 174)

Здесь, конечно, имеет место и паронимическая аттракция, сближающая слова «Спарта» и «парта» и выявляющая их общую сему 'воспитание'. Нечто похо-

жее мы имеем и в одной из записей, где паронимическое сближение становится, напротив, основанием для противопоставления:

*Разница между спартанцем и спортсменом.  
(Моя ненависть к теннису).  
(6, т. 1, с. 286).*

В этой цитате примечательно не только звуковое, но и смысловое подобие двух членов сравнения, поскольку спартанцы, безусловно, много времени посвящали физической культуре и состязаниям, которые покрываются для нашего современника словом «спорт». В чем же Цветаева видела разницу между «спартанцем» и «спортсменом»? Видимо, ответ был бы очень субъективен, учитывая заявленную «ненависть», но предположительно речь могла бы идти о том, что современный спорт — роскошь (особенно теннис, занятия которым требуют расходов), а роскошь не совместима с представлениями о спартанском образе жизни, а также о том, что современный спорт — развлечение, а спартанские состязания были элементом службы, военной и обрядовой, и также служили воспитанию духа.

Современному спорту не хватает пафоса, с которым должно быть связано «спартанство», о чем можно судить из суждения о М. Башкирцевой, записанного весной 1917 г.:

«Любовь к себе, вознесенная до пафоса, — вот Б<ашкир>цева. Было что-то спартанское в этой любви» (4, с. 157).

Развернутое описание комплекс «спартанских» идей получил в стихотворении «На смех и на зло...» от 1 декабря 1918 г., включенном 10-м номером в цикл «Комедиант»:

*На смех и на зло:  
Здравому смыслу,  
Ясному солнцу,  
Белому снегу —*

*Я полюбила:  
Мутную полночь,  
Льстивую флейту,  
Праздные мысли.*

*Этому сердцу  
Родина — Спарта.  
Помнишь лисенка,  
Сердце спартанца?*

*— Легче лисенка  
Скрыть под одеждой,  
Чем утаить вас,  
Ревность и нежность!  
(6, т. 1, с. 455)*

К семантическому полю «спартанство» в стихотворении относятся: здравый смысл, ясное солнце, белый снег, сердце спартанца, скрывающего чувства (образ лисенка под одеждой). Не-«спартанскими» концептами оказываются: смех, своеволие («на зло»), любовь, мутная полночь, льстивая флейта, праздные мысли, ревность и нежность. Несколько

утрируя, можно сказать, что основой противопоставления здесь служит классицистическая оппозиция «долга» и «страсти». Конфликт в душе лирической героини решается однозначно в пользу «страсти». Значимость этого шага подчеркивается указанием на то, что в остальных случаях героиня ведет себя со своими чувствами, как знаменитый спартанский мальчик с похищенным лисенком, — скрывает их ценой жизни.

Последний образ исключительно важен. Историю о спартанском мальчике, похитившем лисенка, Плутарх излагает дважды. Кратко в жизнеописании Ликурга:

«18. Воруя, дети соблюдали величайшую осторожность; один из них, как рассказывают, украв лисенка, спрятал его у себя под плащом, и хотя зверек разорвал ему когтями и зубами живот, мальчик, чтобы скрыть свой поступок, крепился до тех пор, пока не умер» (2, с. 60).

Подробнее в «Изречениях спартанцев»:

«35. Другой мальчик достиг возраста, когда согласно спартанскому обычаю свободные мальчики должны воровать все, что угодно, но только не попадаться; его товарищи украли живого лисенка и передали ему на сохранение. В это время те, кто потеряли лисенка, явились его разыскивать. Мальчик спрятал лисенка под плащ, и рассерженный зверек начал грызть его бок, пока не добрался до внутренностей; мальчик, боясь, что его уличат, не подавал виду. Когда наконец преследователи ушли и его товарищи увидели, что произошло, они стали бранить мальчика, что лучше было показать лисенка, чем прятать, жертвуя ради этого жизнью. «Нет, — сказал мальчик, — лучше умереть, не поддавшись боли, чем, проявив слабость, обнаружить себя и ценой позора сохранить жизнь» (1, 326).

Нетрудно заметить, что предсмертная сентенция этого безымянного героя близко перекликается с цитатой, приведенной выше из ССРЯ (Д4): Спартанцы в прописях учили: «Лучше сейчас умереть, чем постыдно жить». Поведение мальчика с лисенком эмблематично, это и есть основа «спартанства». В эту модель идеально вписываются две первые цитаты о «спартанстве», приведенные в начале нашей работы.

Тот же образ Цветаева имела перед глазами и тогда, когда еще в 1915 г. писала «подруге»:

*Есть имена, как душистые цветы,  
И взгляды есть, как пляшущее пламя...  
Есть темные извилистые рты  
С глубокими и влажными углами.*

*Есть женщины. — Их волосы, как шлем,  
Их веер пахнет гибельно и тонко.  
Им тридцать лет. — Зачем тебе, зачем  
Моя душа спартанского ребенка?  
(6, т. 1, с. 227)*

Образ «подруги» — «анти-спартанский»: душистые цветы, темные извилистые рты «с глубокими и влажными углами», веер, который «пахнет гибельно и тонко». При этом сравнение «волосы, как шлем» не выбирается из общего фона, поскольку в цветаевское время оно было обычным обозначением прически определенного типа и его «военные» коннотации, актуальные для нас, были неактуальны для Цвета-

евой. Все это — соблазн для души «спартанского ребенка». Отчаянное восклицание «зачем тебе, зачем...?» можно прочесть двояко: как вопрос о том, что общего между «я» и «ты» и как признание того, что соблазн действует. Мы видим в свернутом виде ту же ситуацию, что и в стихотворении «На смех и на зло...», обращенном к «комедианту»: героиня с трудом сдерживает чувства, как спартанский мальчик, спрятавший под одеждой лисенка. Показать «лисенка» — значит утратить свое «спартанство».

Образ «спартанца с лисенком» попадает и в письма к А.Г. Вишняку 1922 г.:

«Знайте, что я, словесница, в большие часы жизни — тот спартанец с лисенком: помните? (Позвольте повеселиться: с целым выводком лисенят!)» (5, с. 93).

А в 1926 г. и в черновики писем к Р.М. Рильке:

«Da ein Schreiberbuch für Dich <...>: zu schön für mich, nicht schön genug für Dich — denn ein Spartaner bin ich (der, mit dem Fuchse!) — und ein Athener bist Du — einer vom Mythenathen, nein: einer von denen bist Du, die über Athen und Sparta und Troya — standen.

(Вот записная книжка для тебя <...>: слишком красивая для меня, недостаточно красивая для тебя — ибо я спартанец (тот, с лисенком!) — а ты афинец — один из обитателей мифических Афин, нет: ты один из тех, кто стоит над Афинами и Спартой и Троей)» (5, с. 440, 605).

Примечательно, что образ «спартанца с лисенком» наполняется разным содержанием, попадая в разные контексты: в первом подчеркивается несовместимость «спартанства» со статусом «словесницы» (спартанец — тот, кто молчит); во втором важнее тема аскетизма (спартанец — тот, кто довольствуется малым), что, накладываясь на тему молчания «мальчика с лисенком», отсылает к знаменитому спартанскому лаконизму.

По времени последняя цитата совпадает с процитированной анкетой, ставшей предметом нашего особого интереса. Акцентирование мотива избыточной «красоты» отчасти подтверждает наше предположение о необходимости более широкого толкования «спартанства», нежели это было возможно при опоре на две первые цитаты.

20 июня 1922 г. Цветаева создает стихотворение «Помни закон...», где привычная схема «спартанца с лисенком» сменяется редкой разновидностью — «спартанца без лисенка»:

*Помни закон:  
Здесь не владей!  
Чтобы потом —  
В Граде Друзей:*

*В этом пустом,  
В этом крутом  
Небе мужском  
— Сплошь золотом —*

*В мире, где реки вспять,  
На берегу — реки,  
В мнимую руку взять  
Мнимость другой руки... <...>*

*Так, между отрочеств:  
Между равенств,  
В свежих широтах  
Зорь, в загарнях*

*Игр — на сухом ветру  
Здравствуй, бесстрастье душ!  
В небе тарпейских круч,  
В небе спартанских дружб!*  
(6, т. 2, с. 125)

Высота римской Тарпейской скалы сочетается здесь с высотой «спартанских дружб», в очередной раз объединяя римлян со спартамцами. Может быть, здесь и ошибка, и имеется в виду та скала, с которой якобы сбрасывали в Спарте нежизнеспособных младенцев, или Левкадская скала, с которой сбрасывались те, кто хотел избавиться от любовных желаний.

Здесь так же утверждается спартанский закон нестяжательства («Здесь не владей!») и имущественного равенства («между равенств»). «Спартанским» здесь оказывается само «небо» — «мужское» и «золотое», оно же «Град Друзей». «Золото», конечно, традиционная метафора солнца (ср.: «ясное солнце» в «На смех и на зло...»). Эпитет «мужской» отсылает к «мужественности» и одновременно к опозитизированному Платоном образу мужской любви, в которой также усматривалась воспитательная основа. К Платону, возможно, отсылает мотив «зорь». Ср.: «Последним солнцем розовея // Распахнутый лежит Платон...» (6, т. 3, с. 13).

Встречаются и «игры», к вопросу о «спартамцах и спортсменах», но, вероятно, совершенно бескорыстные. Мотив «на сухом ветру» явно контрастирует с «анти-спартанским» мотивом «темных извилистых ртов с глубокими и влажными углами» из стихотворения «Есть имена, как душевные цветы...».

Последнее стихотворение, прямо посвященное «спартамству», — «Ландшафт сердца» (5, с. 174) — так и осталось в черновиках. Заглавие указывает на некоторое «внутреннее пространство» сердца, аналогичное «сцене» в душе лирической героини, на которой ставились трагедии весны 1923 года (ср.: «Занавес»). Мы уже говорили, что сюжет «мальчика с лисенком» варьирует тему «долга и страсти», о том же должно было повествовать и это стихотворение, что видно уже по последним недописанным строчкам:

*Каждый взращивает лисенка  
Под полою  
Целый выводок лисенят!  
Целым выводком*

Но к этому ключевому мотиву надо было подойти не сразу. Сначала шло описание «места действия»:

*Здесь никто не сдается в плен,  
Здесь от века еще не пели  
И не жаловались. Взамен  
Пасторалей и акварелей:*

*Травок, птичек, овечек, дев —  
Спарты мужественный рельеф.*

Суровый тон, который взяла Цветаева с самого начала, говорит о том, что на этот раз, несмотря на все прецеденты, «сдачи в плен» не будет: мальчик погибнет, «девы» и «овечки» будут посрамлены. Вновь и уже более явно появляются «кручи», грозящие гибелью «слаборожденным»:

*Здесь с отвеса сердец и стен  
Слаборожденного —*

Неизбежность летального исхода обуславливается коллективным характером действий: «Каждый взращивает лисенка...». Речь не идет о силе или слабости отдельного индивида, речь идет об общем принципе «спартамства». Сцепленная с мотивом сдержанности тема лаконизма тоже подается риторически:

*Спарта спертая: и плеть!  
Здесь сердца на одну колодку!  
Соловьям, чтобы им не петь,  
(вар.: Соловьям — воспрещенье петь.)  
Здесь свинцом заливают глотку*

*Полководцам — за лишний слог.  
Спарты мужественный заскок!*

Эпитет «спертая» варьирует тему сдержанности, мотив «сердца на одну колодку» тему «равенства». Запрет на пение (ср. с мотивом «льстивой флейты» в стихах к «комедианту» и «пасторалей» — здесь же) не находит соответствия в известных нам источниках. Напротив, спартамцы славились своим музыкальным искусством, хотя и оставались здесь консерваторами и ставили музыкальное искусство ниже военного. Мотив «соловья», возможно, пришел в искаженном виде из следующего анекдота:

«Они никогда не болтали попусту, никогда не произносили ни слова, за которым не было бы мысли, так или иначе заслуживающей того, чтобы над ней задуматься. Спартамца позвали послушать, как подражают пенью соловья. «Я слышал самого соловья», — отказался тот» (2, с. 62).

Истории с казнью полководца «за лишний слог», да еще такой варварской, — мы не знаем, но существует масса анекдотов, собранных в том числе и Плутархом, о насмешливой или надменной реакции спартамцев на длинные или красивые речи иноземцев. Что же касается расправы со своими воинами, то больше известны истории о спартамских женщинах, чаще матерях, которые отказываются от своих сыновей, выживших или не участвовавших в кровопролитной битве. Ср.:

1. «Узнав, что ее сын оказался трусом, недостойным ее, Даматрия убила его» (1, с. 337).
2. «Другая спартамка убила своего сына, покинувшего свой пост и опозорившего родину, сказав: «Не мое это порождение» (1, с. 337).
3. «Одна спартамка, увидев приближающегося сына, спросила: «Что с нашими?» И когда тот ответил: «Все погибли», — подняла валявшийся кусок черепицы, швырнула в сына и убила его, воскликнув: «А тебя они что, послали к нам сообщить об этом?» (1, с. 337).

В этом контексте уместно включить в рассмотрение и стихотворение «Андрей Шенье взмог на эшафот...», где этот сюжет явно имплицирован:

Андрей Шенье взошел на эшафот,  
 А я живу — и это страшный грех.  
 Есть времена — железные — для всех.  
 И не певец, кто в порохе — поет.  
 И не отец, кто с сына у ворот  
 Дрожа срывает воинский доспех.  
 Есть времена, где солнце — смертный грех.  
 Не человек — кто в наши дни живет.  
 17 апреля 1918

Ср.:

«Один спартанец рассказывал своей сестре о том, как доблестно погиб ее сын. Женщина сказала: «Насколько я горжусь им, настолько огорчена тобой, так как ты упустил возможность достойно погибнуть с ним вместе» (1, с. 337). Можно было бы и дальше расширять круг текстов, прямо или косвенно связанных с этикой «спартанства», но на этом пути нас подстерегает опасность утраты смысловой конкретности. Мы рассмотрели ряд текстов и высказываний Цветаевой в промежутке от 1915 до 1926 гг. Наиболее реперезентативным образом «спартанца» для Цветаевой является «мальчик с лисенком». Однако в текстах 1915-1918 гг. внимание сосредоточено на борьбе с «лисенком» (чувствами, эмоциями, страстями), и лирическая героиня оказывается неспособна вынести ее до конца. В берлинских стихах 1922 г. героиня переживает своего рода «катарсис» — всякая борьба вообще исчезает. В неоконченном тексте 1923 г. «Ландшафт сердца» борьба «с целым выводком лисенят» возобновляется, но теперь победа — на стороне «мальчика». В поздних текстах круг «спартанских» мотивов расширяется. Тогда же возникает в текстах Цветаевой и само слово «спартанство», — где-то в 1924-1925 годах. Можно говорить о широком наборе смысловых составляющих «спартанства», но все они сводятся к строгим ограничениям: на чувства, на речь, на все виды «владения», на все «низкое». Даже на жизнь, если жизнь не совместима с честью:

«Одну спартанку продавали в рабство, и глашатай спросил, что она умеет делать. Она ответила: «Быть свободной». Когда же купивший ее хозяин приказал ей что-то, не подобающее свободной женщине, она сказала: «Ты пожалеешь еще об этой покупке», — и покончила с собой».

«Спартанство» составляет органическую часть, если не сказать доминанту этических взглядов Цветаевой первой половины 1920-х гг. Практика же заключалась в непрерывной войне «мальчика» и «лисенка», — возможно поэтому «Ландшафт сердца» так и не был никогда дописан.

#### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Плутарх. Застольные беседы. — Л., 1990.
2. Плутарх. Сравнительные жизнеописания. — М., 1994.
3. Словарь современного русского языка: В 17 т. — М.-Л., 1948-1965. — Т. 14. (ССРЯ)
4. Цветаева М. Неизданное. Записные книжки: В 2 т. — М., 2000. — Т. 1.
5. Цветаева М. Неизданное. Сводные тетради. — М., 1997.
6. Цветаева М.И. Собр. соч.: В 7 т. — М., 1994. — Т. 1-4.



щая, с тем же, тогда чуть-чуть лукавым, ныне — знающим началом улыбки, или того, что нам, на спящих — глядящим, улыбкой кажется.

Во фразеологизме «спящая красавица» в контексте произведения присутствует сема подавленной молодости, жизни, погибшей под гнетом дома, родителей, роковой предопределенности.

В образе матери, Александры Александровны Иловайской, звучит тот же мотив загубленной молодости, жизни.

*Сережа был ее живым портретом, и теперь, после его смерти, она стала его живым. Тот же отродясь-иронический рот, та же возможность смеха в глазах (rire latent) — смеха, ни им, ни ею не высмеянного. Сын, умирая, точно завещал ей свою молодость, чуть-чуть **играющую** по углам губ, — будто в **прятки**.*

Фразеологизм «живой портрет» имеет значение «кто-либо очень похожий на кого-либо». В приведенном фрагменте текста актуализируется компонент фразеологизма — прилагательное «живой», в этом отражается мотив жизни и смерти.

Фразеологизм «играть в прятки» имеет значение «стараться в разговоре утаить, скрыть что-либо». Автор нарушает привычную сочетаемость этой фразеологической единицы, сочетая ее с неодушевленным существительным «молодость». Употреблением этого фразеологизма добавлена еще одна черта к портрету Александры Александровны. Это душевный надлом, молодость, которую она скрыла в себе, выйдя замуж за нелюбимого.

*Меж тем жизнь, понемножечку, красотку перековывала. Когда знаешь, что никогда, никуда, начинаешь жить тут. Так. Приживаешься к камере. То, что при входе казалось безумием и беззаконием, становится мерой вещей. Тюремщик же, видя покорность, размягчается, немножко сдает, и начинается чудовищный союз, но настоящий союз узника с тюремщиком, нелюбящей с нелюбимым, лепка — ее **по его образу и подобию**. Но какой же может быть здесь «**образ и подобие**»? И, чтобы не спрашивать праздно — она могла перенять от него только методы. Его методы скопидомства, домоводства, детоводства, однодумства и т.д. Методы, сразу выродившиеся у нее в привычки и даже мании, ибо одно — в стране, другое — в доме, одно — в книге, другое — в жизни. Вся нетерпимость Иловайского к инородцам, перенесенная на одну немку-экономку, вся теория государственного накопления — в пределах собственной кладовой, весь идейный Домострой, перенесенный на живых детей.*

Фразеологизм «по образу и подобию» имеет значение «беря в пример кого-либо». В приведенном фрагменте эта фразеологическая единица отражает внутреннюю трагедию Александры Александровны, ее душевную сломленность. Выйдя замуж, она полностью утратила себя, став лишь подобием своего мужа.

*Нечего говорить: Иловайский в доме был тираном, но тираном идейным, то есть не мелочным. Раз навсегда, en bloc. И больше олимпийцем, чем тираном: он до детей просто не снисходил. А.А. же, из дома не выходя, во все входила, в каждый их шаг и жест, и именно потому — что все и чисто внешне, в них самих никогда не вошла. Разница между Папой, санкционирующим, и рядовым боевым членом братства Иисуса. Словом, в доме А. А. была*

*его **правой рукой**, а **правая рука** всегда пуще головы. «Молодые девушки должны ездить на балы», — Иловайский. — «Да, но по возвращении вешать платья на «плечики», — А.А. (Сильно говоря, она, конечно, была огорчительницей колодца их молодости.) «Молодые девушки должны танцевать с теми, кто нравится их родителям», — Д.И. — «То есть не танцевать с теми, кто им нравится», — А.А. Упор с должностующего переносился на возбраняемое. Физический запрет становился духовным.*

Характеризуя мать семейства Александру Александровну, автор употребляет фразеологизм «правая рука» — «надежный помощник, человек, на которого можно положиться». В контексте это значение углубляется. Во фразе «правая рука всегда пуще головы» акцент делается на большей строгости, суровости, скрупулезности помощника. Это делает образ более трагичным и даже более страшным. Глава семьи диктовал свою волю, ибо был убежден в своей правоте, Александра Александровна же была сломлена и теперь, хотя и бессознательно, вымещала обиду на дочерях.

*И вот, подсознательное (подчеркиваю это трижды) вымещение на дочерях собственной загубленной жизни. Если, в упрощающем мифе родни и дворни, Д.И. детский **век «заживал»**, А.А. его — «**заедала**». Не заедала, нет. Она не питалась их соками, ибо тогда эти соки ей шли бы впрок, чего не было, — она их жесткой рукой зажимала, не давала им ходу, чтобы ее женские отпрыски тоже не были счастливы. Иное старение кормится возле молодости дочерней, это же ложилось на них могильным камнем. Я задохнулась — и ты не дыши.*

Фразеологическая единица «заживать век» имеет значение «жить очень долго, до глубокой старости, переживая других». Фразеологизм «заедать век» имеет значение «притеснять кого-либо, создавать невыносимо тяжелые условия жизни». В соседстве выражений отражены их роли в семье. Иловайский — глава дома, Александра Александровна — исполнительница его декретов.

Фразеологические единицы, использованные в произведении, могут непосредственно характеризовать моральную позицию автора по отношению к отвлеченным понятиям, этическим вопросам.

*Но была в нем одна область не олимпийская, не аидова, где ни лавров, ни гранатов, ничего, кроме золы и шлака. Это была область его ненависти: юдоненависти. Я еще нигде не сказала о ветхозаветном, изуверском, иудейском сердце Иловайского. Ибо что же его ненависть к евреям, как не библейская, Саваофом поведенная и Моисеем законоположенная ненависть правоверных к иноверцам и, ее пережиток, иудейская — к христианам? Иловайский, плачущий горючими слезами над заочно-отвергнутым, никогда не увиденным внуком, в жилах которого течет еврейская кровь, — что же он, как не изувер-еврей, плачущий над внуком, в котором течет христианская? И проклятия Д.И. последнему оставшемуся в живых ребенку — дочери, за то, что ввела в его род — еврейство — не те же ли проклятия того же изувера дочери, опорочившей его род — христианином?*

*Не-близнецы? Не-двойники?*

*Между таким юдофобом и тем же изувером — **канат** ненависти, **связующий**, и они, через эту **связующую их жилу**, глядятся друг в друга, как в зеркало.*

*Но правоверный, ненавидя, прав, православный, ненавидя — преступлен.*

Говоря о ненависти Иловайского к евреям, М.И. Цветаева выражает и свое отношение к этому вопросу. Автор предстает перед читателями человеком, исповедующим христианскую мораль, «*несть ни эллин ни иудей*». Окказионально используя фразеологическую единицу «связующая нить» — «что-либо соединяющее, связывающее какие-либо явления», производя замену компонентов («связующий канат», «связующая жила»), писатель усиливает экспрессивность фразеологизма. Компонент «канат» подчеркивает неразрывность, прочность ненависти, компонент «жила» актуализирует сему родственности чувств людей, взаимно ненавидящих друг друга.

Фразеологизмы, выполняющие в тексте только номинативную функцию, непосредственно своим значением моральной позиции автора и героев не выражают. Но их использование в контексте произведения способствует выражению отношения автора и героев к какому-либо явлению.

Так, все использованные в произведении фразеологические единицы со значением конкретного предмета помогают передать чувства автора, вызванные тем или иным явлением.

*Единственное, что у меня осталось от единственного моего посещения дома Иловайских — это стопы «Кремля» в глубоких нишах окон, стопы, доходившие до оконного креста и не аллегорически, а физически застилавшие жителям и посетителям божий свет и мир.*

Фразеологическая единица «божий свет» имеет несколько значений: «мир», «люди», «Земля со всем, что существует на ней». В приведенном фрагменте текста можно ее рассматривать во всех значениях. Но все эти значения моральной позиции автора и героев не выражают. Эта фразеологическая единица важна в контексте произведения. Она способствовала выражению отношения автора к Иловайскому, подчеркивает его жесткость, черствость, которые губительны для членов его семьи.

*Иловайского в нашем доме, как и в его собственном, часто упрекали в черствости и даже жестокости. Нет, жестоким он не был, он был именно жестоковыйным, с шеей, не гнущейся ни перед чем, ни под чем, ни над чем, кроме очередного (бессрочного) труда.*

Научный труд для него превыше всего, история — дело всей его жизни, кроме этого ничего не существует. Это значение выражает повторение фразеологического союза «ни, ни». Иловайский равнодушен ко всему, кроме истории. Его не интересуют окружающие его люди.

*Пять лет, пятнадцать ли лет стоящей перед ним Марине — какое ему дело, когда она не Мнишек, а самому восемьдесят с лишком — зим!*

Образ историка Иловайского неоднозначный и сложный. Это человек с достоинством, не боящийся говорить правду, критиковать даже царя.

*Помню, в молодом дневнике матери (около 1895 г.) такую запись: «Была на докладе Д.И. о призвании на царство Михаила Романова, в присутствии высочайших особ. По Иловайскому выходило, что Михаил Романов был избран на царство за ничтожество. Смело, но в присутствии родных — неловко». Бесстрашие свое и глубочайшее несчитание со всем, что раз навсегда не предстало ему правдой и дол-*

*гом, он доказал в эпоху более ответственную, чем 1905 год. «И истину царям с улыбкой говорить». Улыбки на лице Иловайского я не видала никогда. Сомневаюсь, чтобы видели и цари. Но правду — слышали.*

Не испугался он и следователя Чека, когда был арестован за убеждения, достойно держался на допросе. *Начинается допрос. Товарищ N сразу быка за рога: «Каковы ваши политические убеждения?» Подсудимый, в растяжку: «Мои по-ли-ти-че-ски-е у-беж-де-ни-я?» Ну, N думает, старик совсем из ума выжил, надо ему попроще: «Как вы относитесь к Ленину и Троцкому?» Подсудимый молчит, мы уже думаем, опять не понял, или, может быть, глухой? И вдруг, с совершенным равнодушием: «К Ленину и Троц-ко-му? Не слыхал». Тут уж N из себя вышел: «Как не слыхали? Когда весь мир только и слышит! Да кто вы, наконец, черт вас возьми, монархист, кадет, октябрист?» А тот, наставительно: «А мои труды читали? Был монархист, есть монархист. Вам сколько, милостивый государь, лет? Тридцать первый небось? Ну, а мне девяносто первый. На десятом десятке, сударь мой, не меняются». Тут мы все рассмеялись. Молодец старик! С достоинством!»*

Употребление фразеологических единиц в приведенной сцене показательно для раскрытия характеров героев. Об N сказано, что он взял «быка за рога». «Брать быка за рога» — «начать действовать решительно и энергично, с самого главного». Использование этого фразеологизма подчеркивает молодость, энергичность героя. В этом фразеологизме отразилась его порывистость и необдуманность действий, недооценка героем противника. Непонимание следователей того, какой человек перед ними, отражается и в использовании выражения «из ума выжил» — «поглупел от старости, потерял способность рассуждать, здраво мыслить». Однако дальше ход разговора меняется. Это отражается в используемых фразеологизмах. N «из себя вышел», то есть «потерял спокойствие, самообладание». Это отразилось в использовании им в разговоре бранного выражения «черт возьми». Иловайский же, напротив, внешне совершенно спокоен. Использование в разговоре фразеологических единиц «милостивый государь», «сударь мой» выражает бесстрашие героя, его чувство морального превосходства над собеседником.

Еще одна черта характера Иловайского: его недоверие к окружающим выражено в следующем фрагменте текста.

*Скрип парадного, какое-то ворчание, из которого выясняются слова: «Значит, дома нет?» И, проходя в залу: «А гардероб — будет?» Молчание, затем покашливание вопрошаемого. Вопрошающий, настойчивее: «Гардероб, говорю, будет? Под расписку, спрашиваю, сдают?» Выглянув из столовой, вижу, как Сережа, с все еще любезной улыбкой слегка подается от неуклонно, с бесстрашием Рока надвигающейся на него шубы, в которой (май!) узнаю Д.И. Иловайского. «А то (похлопывая себя по широченному, как у рясы, рукаву) она у меня небось бобровая, как бы (с желчной иронией) по случаю торжества-то — не лишиться! Тоже мода пошла, перекинёт через ручку и «будьте покойны-с», с одной улыбкой-с, без всякой расписки-с... А кто его знает — служитель или грабитель переодетый? На лбу ведь не написано, а если и написано — так ложь. Нет, номер нужен, номер!»*

Фразеологизм «на лбу не написано» имеет значение

«нельзя по внешнему виду определить, кто этот человек, что собой представляет». Выражение «на лбу написано», напротив, имеет значение «по внешнему виду сразу можно сказать, что собой представляет человек». Соединение двух фразеологических единиц, имеющих одинаковые компоненты и выражающих противоположное значение, придает высказыванию выразительность, отражает едкую иронию героя, его строгость и неверие людям.

Человеческие переживания не чужды Иловайскому. Они проявляются в минуты сильных душевных потрясений.

*Умерла она (Надя. — С.В.) в феврале, и выносили ее по тому же снегу. Жестоковыйный старик — в этот день он впервые выглядел стариком, а было ему уже сильно за семьдесят, — на похоронах плакал.*

Иловайский — высокий и трагический образ. Высота этого образа в том, что он был предан своему делу. Трагизм же в том, что эта преданность и не принесла ему счастья, подвергла его тяжелым жизненным испытаниям.

*Моя мать же, как отдаленная, но истая германка, больше*

*всего любившая трудность и чтившая труд, не могла найти слова осуждения тому, кто всю жизнь, волей и неволей, в работе, как в жизни, ничего другого не знал. И не хотел знать. Взаимное признание сил. Думаю, что если бы она словами захотела определить свое отношение к Д.И., этим словом было бы: «Это уже вне суда». Что — «это»? Да то нечеловеческое одиночество, **холодившее кровь** в жилах его собственных детей. Нечеловеческое одиночество служения.*

Фразеологическая единица «кровь стынет в жилах» имеет значение «кто-либо испытывает чувство страха, ужаса». В приведенном контексте это значение изменяется. Актуализация прямых значений компонентов фразеологического выражения усиливает мотив смерти, преследующей семью Иловайских.

Таким образом, фразеологические единицы в повести способствуют раскрытию моральной позиции автора и героев. Выбор того или иного фразеологизма писателем отражает его отношение к героям повести, к предметам, понятиям, событиям, о которых идет речь в произведении.

#### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Цветаева М.И. Дом у старого Пимена // Цветаева М.И. Собр. соч.: В 7 т. — М., 1997. — Т. 5. — Кн. 1. — С. 104-140.



## РЕЛИГИОЗНО-ЭТИЧЕСКАЯ СИМВОЛИКА В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ

(на материале повестей М. Кузмина  
«Пример ближним» и «Два чуда»)

А.В. Свиридова  
Челябинск

Религиозно-этическая символика традиционно пронизывает произведения русской литературы. В русле этой же традиции существуют поэзия и проза М.А. Кузмина.

Выбор для анализа именно повестей М. Кузмина «Пример ближним» и «Два чуда» объясняется тем, что в них находят свое отражение две противоположные жизненные трактовки одной и той же шестой притчи о Свече под сосудом: «Чтобы свечи освещали дом, их нужно ставить на подсвечники, а не накрывать кувшинами и не прятать под кровать» (7, с. 179). Тема грехопадения и чудо очищения от грехов едина для обеих повестей. Оба текста содержат много христианских символов, создающих единое символично-концептуальное поле — ворота, покрывало, вода, отшельник, странник, пустыня, птица, верблюд, меч, обезьяна, источник, кувшин, таз, яблоко, кухонная утварь, корзина, павлин, исцеление, омовение, зеркало, каменоломня (камень), капюшон, монета, число сорок, воин, ребенок, грязь. Только композицией символов в текстах повестей обозначен духовный путь главных героев, развитие их морального поведения. Такой художественный прием продиктован жанром произведений, обусловившим невозможность (и ненужность) подробного прямого описания нравственных переживаний. М.А. Кузмин, как великолепный стилизатор и мастер эксперимента над литературной формулой, пишет «Пример ближним» и «Два чуда» в русле светских повестей древнерусской литературы, например, «Повести о Петре и Февронии», носящих воспитательно-дидактический характер и основанных на православном религиозно-этическом концепте поведения человека. В этом контексте считаю необходимым уточнить свое понимание термина «концепт». В современном языкознании он не имеет толкования, и наблюдается большое разнообразие в применении этого понятия. Замечу, что сам термин позаимствован из философии — «1) формулировка, умственный образ, общая мысль, понятие...; 2) в логической семантике — смысл имени» (8, 217). Представители концептуализма отрицали реальное существование общего независимо от отдельных вещей, но признавали существование в уме общих понятий, концептов как особой формы познания действительности. Таким образом, «концепт» — понятие гносеологическое. Современные отечественные лингвисты включили в дефиницию концепта философскую и логическую основу, но при этом смешали или отождествили одно с другим понятием о концептуальном и семантическом полях (см.: 2, 4, 5). Поэтому считаю необходимым напомнить о различии этих понятий:

«поле семантическое» — «1) частичка действительности, выделенная в человеческом опыте и теоретически имеющая в данном языке соответствие в виде более или менее автономной лексической микроси-

стемы...; 2) совокупность слов и выражений, составляющих тематический ряд, слова и выражения языка, в своей совокупности покрывающие определенную область знаний»;

«поле концептуальное» — «данная понятийная область, данная совокупность взаимосвязанных понятий» (1, с. 334).

«Семантическое поле» — чисто лингвистическое понятие, определяющее все кодовые значения, которые когда-либо существовали, функционируют или появятся в языке, обратим внимание, что речь идет о совокупности — категории внеисторической, несоциальной, неличностной, неидеологической. «Концепт» — понятие гносеологическое (чисто философская трактовка дана в Словаре лингвистических терминов), а значит, историческое, социальное, личностное, идеологическое, одна из форм системного познания мира, связанная с обобщением, а следовательно, с применением в процессе познания действительности языка, то есть определенный концепт соотносится с уровнем знаний субъекта о мире в данный исторический момент времени. Именно поэтому лингвистическую проблему концепта логично решать с точки зрения философского соотношения значения и смысла. Полагаю, что понятие концепта связано с определением смысла: «Под Значением языкового выражения... понимают тот предмет или класс предметов, который обозначает... данное выражение, а под Смыслом выражения — его мысленное содержание, то есть ту заключенную в данном выражении информацию, благодаря которой происходит отнесение выражения к тому или иному предмету» (8, с. 151). Значения, функционируя в различных контекстах, приобретают самые неожиданные смыслы, находятся в зависимости либо от объективной логики рассуждения и познания, либо от субъективной установки говорящего. Таким образом, рассуждение о концепте допустимо только в связи с понятиями «мировоззрение», «идиостиль», «текст», «изоглосса», которые отражают знания о мире данной личности в данный момент времени. Концепт в определенных сферах выражается через систему символов, применительно к настоящему случаю — вербальных. Вербальный символ — это воспроизводимый знак, содержащий в себе определенные знания о мире, выражающий отношение человека к нему, этически и эстетически окрашенный. Допустимо сказать, что символ — это отражение реальности в имплицитной форме. Религиозно-этическая символика, включенная в тексты повестей, имплицитно представляет систему христианских нравственных представлений и заповедей и маркирует двойственность их воплощения в человеческом поведении.

В повести «Пример ближним» описывается грехопадение отшельника, описание духовной регрессии строит-

ся на смене и взаимодействии символов. Так при начале подвижничества духовная жизнь брата Геннадия сосредоточена на бескорыстном служении Богу, и в тексте происходит нанизывание высокой, положительной символики:

«... три дня стоял перед монастырскими воротами, не вставая с колен, а за ним толпились разряженные слуги, держа за поводья лошадей и верблюдов..., как рисуют на «Поклонении волхвов». Братья... смотрели, как, разметав в пыли сизые кудри с павлиньими перьями, лежал Главкон, не поднимая головы...» (3, с. 659).

Верблюд — символ воздержания, смирения и выносливости, а также царственности; пыль (грязь) — потенциальность, будущие возможности; поклонение волхвов — почитание земными царями Иисуса Христа. Однако в тексте присутствуют два амбивалентных символа — ворота и павлин. Первый — это одновременно и вход, и выход, в Рай ведут те же самые ворота, через которые были изгнаны Адам и Ева; второй — всеведение Бога, а также высокомерие и суетность самовлюбленной натуры. Введением этих символов автор дает понять о глубинных, природных душевных движениях брата Геннадия. С развертыванием сюжета подбираются символы резко отрицательной оценочности, олицетворяющие Дьявола. М. Кузмин переосмысливает некоторые положительные символы христианства, например, птица — посредница между землей и небесами, спасенная душа, крылья — знак божественной миссии — наделяются противоположными им по смыслу признаками (в широком понимании) лексемами: «Часто он там отдыхал и пел псалмы, будя каких-то жирных птиц, которые сидели в траве, как в силках, и не летали, только поворачивали круглые головы» (3, с. 660). Наряду с птицами в контекст включен символ диких зверей (с ними отшельник избегает встречаться у водопоя), олицетворяющий обращение варваров в христиан. Брат Геннадий совершенно реально ведет себя в безлюдной долине, он осторожен, как обычный мирской человек. Описание жизни брата Геннадия в пустыне вызывает ассоциации с житиями святых Франциска Ассизского, Иеронима, Антония Аббата и Павла Отшельника, укрощавших Божьим словом зверей и проповедовавших птицам, но также противопоставлено им по сути.

Фарисейство брата Геннадия разоблачается особым содержанием, наполняющим определенные синтаксические конструкции, например, противопоставлением несопоставимых предметов: «Уединение пустытника было случайно открыто погонщиками верблюдов, искавшими источник, а нашедшими монаха» (3, с. 660). Монах Геннадий становится неожиданно чуждым символу очищения и новой жизни — воде.

Сарказм автора выражается приемом введения несобственно прямой речи с включенными в нее трансформированными символами светильника и пустыни: «Теперь уж ничто не могло затускнить чисто-го имени брата Геннадия, и он стоял у всех на виду, как далеко разливающий свет Божий факел» (3, с.

660); «Брату Геннадию показалось..., но в пустыне бывают странные освещения, обманчивые и соблазнительные, особенно для глаз, усталых от непрестанного созерцания раскаленных песков» (3, с. 661). Таким образом, светильник становится уже мощным факелом, а пустыня — двойственный символ размышления и одиночества — теряет свой мистический смысл и выступает в своем прямом значении. Такова пустыня для брата Геннадия: место триумфа его праведности, а не борьбы Дьявола с Богом.

Символы корзины и ларя выполняют в повести роль знаков будущего грехопадения монаха — ларец с монетами как будущее богатство и светская власть и корзина — атрибут деяний многих святых, но в руках брата Геннадия лишь традиционное, похвальное для всего отшельничества занятие.

После совершения Геннадием двух убийств автор вводит в текст недвусмысленно отрицательные символы — животного начала в человеке, олицетворенного в обезьяне, и грехопадения, атрибутированного яблоками, пожираемыми обезьяной.

Повесть «Два чуда» по своему сюжету, действительно, соответствует красивым христианским легендам об исцелении одержимых бесом и о прощении великих грешников при соприкосновении с истинной праведностью. Так же, как и в предыдущей повести, здесь нет описания душевных коллизий героев, зато достаточно детально, в некоторых фрагментах текста натуралистично, повествуется о повседневной жизни бедной обители монахинь, как будто бы внешней. Неприятельный, смиренный быт монастыря проникнут христианским мистицизмом — ворота, покрывало, кухонная утварь, вода, цветы (акация, глициния, терновник), полотенце, ограда: «Акации, глицинии, терновник так густо разрослись, что можно было забыть, что сейчас же за оградой начиналась пустыня....Ограда изображала скорей символ отчужденности сестер от мира, чем была действительной защитой от кого бы то ни было» (3, с. 668).

Акация как символ дружбы и праведной жизни и терновник как символ непорочности и вечного обновления противопоставлены пустыне, месту искушения и удаленности от Бога. Ветхая ограда — знак неподдельной бедности и легкого гостеприимства — привлекает странников и великих грешников и олицетворяет беспримерную надежду сестер обители на Божественное провидение.

Реалистическая манера повествования включает в себя детали романтического пейзажа и описание появления неэфемерной, но загадочной фигуры странника: «На быстро потемневшем фиолетовом небе широко блистали зарницы загоризонтной грозы. Приблизившийся старец был широкоплеч и дороден; вероятно, в мире он был атлетом. Глубокий капюшон, закрывая глаза, бросал тень даже до рта, заросшего черной бородой с проседью. Голос оказался глухим и низким...» (3, с. 668). М. Кузмин не делает перехода от описания пейзажа к описанию отца Памвы, даже абзац отсутствует: его появление в обители, совпавшее с грозвыми зарницами становится небесным знаменем будущих

чудес, однако герои об этом даже не предполагают. Одна из значимых деталей внешности старца — капюшон, вид одежды, защищающий от чужих взглядов, от нежелательного узнавания, но как символ, наоборот, вскрывает суть человека, потому что обозначает концентрацию духовной силы.

Одержимые алчностью — чревоугодница, монахиня Нонна, и разбойник Паисий — избавляются от бремени греха, и по-новому концептуализируется автором Притча о свече под спудом. Любой раскаившийся и сознательно попросивший прощения

становится примером ближнему, каждый грешник, взысканный Божественной любовью, сам будет ее источником.

На современном уровне в рамках развития лингвистики текста считаю перспективным рассматривать такие вопросы изучения функционирования в нем символов, как преобразование концептов древней символики в новейших текстах, современные символы публицистики, многозначность и амбивалентность символов, религиозные символы в современном сознании.

#### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. — М., 1969.
2. Караулов Ю.Н. Константы идиостиля в лексикографическом представлении... // Русистика сегодня. — 1999. — № 1-2.
3. Кузмин М.А. Подземные ручьи: Избранная проза. — СПб., 1994.
4. Макович Г.В. Концепт «память» в русском сознании // Материалы Всерос. научн. конф. «Фразеология на рубеже веков». — Тула, 2000.
5. Мелерович А.М. Концептообразующее функционирование фразеологических единиц в художественной речи // Материалы Всерос. научн. конф. «Фразеология на рубеже веков». — Тула, 2000.
6. Словарь символов: Иллюстрированный справочник / Надя Жюльен. — Челябинск, 1999.
7. Словарь христианского искусства / Диана Апостолос-Каппадона. — Челябинск, 2000.
8. Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. — М., 1987.

## ГЕОРГИЙ ИВАНОВ: SUMMA ETHICAE

И.А. Тарасова  
Саратов

## 1. «Забыть понятия: добро и зло»

Поэзия Георгия Иванова может шокировать незнакомо с ней читателя, судящего о русской литературе по произведениям А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, почти полным отсутствием понятий морального сознания, номинатов этических концептов. Напрасно искать в стихах Г. Иванова слова типа «долг», «совесть», «справедливость», «стыд» и т.п. Их там просто нет.<sup>1</sup> Дважды встречается прилагательное «стыдливый» — в стихах петербургского периода, оба раза при описании любовного чувства третьих лиц — героя и героини, один раз наречие «стыдливо» — там же, в метафорическом контексте в олицетворении солнца. В позднем творчестве один раз употребляется наречие «бесстыдно». Гиперлексемы «совесть» и «справедливость» не представлены ни в каких вариантах. Предикат «должен» употребляется один раз по отношению к лирическому герою раннего творчества, но отнюдь не в этическом контексте. Позднему герою Г. Иванова этот императив не знаком. «Должно» сбыться «пророчество мертвого друга» (см. раздел 3) и «должна быть» хороша новая (загробная) жизнь, впрочем, это утверждение помещено в рамку ирреальной модальности.

Даже такой беглый обзор этического словаря Г. Иванова позволяет выдвинуть гипотезу о моральном нигилизме, исповедуемом его лирическим героем, отрицании абсолютных нравственных ценностей. Многие установки экзистенциализма — заброшенность человеческого существования в мир, одиночество, стремление экзистенции к трансцендированию — органично вписываются в поэтический мир «парижского» Г. Иванова.

Рассматривая основные модели человеческой морали в книге «Философия во плоти», Д. Лакофф и М. Джонсон пишут о том, что экзистенциализм может быть понят как восстание детей, отрицающих авторитет Отца (Бога, Разума, Чувства, Общества) и ищущих свой собственный путь в мире (16, р. 324). «Бог умер», следовательно, каждый сам волен выбирать, чем он будет. Вы не подлинны, когда позволяете кому-либо морально определять ваши действия — вот одно из ключевых утверждений экзистенциальной этики.

Основные этические категории — добро и зло — находятся в поэтическом универсуме Г. Иванова в отношении своеобразной «дополнительной дистрибуции»: зло характеризует воспринимаемый внешний мир («Над темным миром зла // Высоко сиял венец звезды полярной»), да и самого лирического героя («Злой и грустной полоской рассвета, // Угольком в догоревшей золе, // Журавлем перелетным на этой // Злой и грустной земле»), а добро принадлежит вымышленному книжному миру («Я в книгах читаю — добро, лицемерие, Надежда, отчаянье, вера, неверие. И вижу огромное, страшное, нежное, Насквозь ледяное, навек безнадежное»).

Перед лицом вечности, пред лицом конечности экзистенции само их противопоставление оказывается

несущественным, равно как другие оппозиции (свет / тьма, бог / природа, да / нет):

*Она прекрасна, эта мгла.  
Она похожа на сиянье.  
Добра и зла, добра и зла  
В ней неразрывное слиянье.  
Добра и зла, добра и зла  
Смысл, раскаленный добела.  
(I, с. 304)*

Снятие противопоставлений может рассматриваться как следствие амбивалентности поэтического кода Г. Иванова. В традициях Тартуско-Московской семиотической школы определять амбивалентность как такое свойство, когда «... пары высокое / низкое, добро / зло, оставаясь носителями самостоятельных значений, не различаются при выборе... Механизм введения амбивалентного кода строится на том, что одновременные оппозиции нейтрализуются на следующем структурном уровне» (12, с. 36).

Иными словами, в иерархии категорий поэтического мира Г. Иванова добро и зло не занимают вершинных позиций, нейтрализуясь, попадая в «сильное» контекстное окружение репрезентантов смерти и вечности. Сравните:

*... Мертвые не имут срама  
И не знают ни добра, ни зла!  
(I, с. 529)*

*Вас осуждать бы стал с какой же стати я  
За то, что мне не повезло?  
Уже давно пора забыть понятия:  
Добро и зло.  
Меня вы не спасли...  
(I, с. 577)*

Впрочем, эта глобальная амбивалентность может допускать иную, не метафизическую интерпретацию и рассматриваться как своеобразный результат постмодернистской «игры»:

*Игра судьбы. Игра добра и зла.  
Игра ума. Игра воображенья.  
«Друг друга отражают зеркала,  
Взаимно искажая отраженья...»  
(I, с. 321)*

О постмодернистских тенденциях в творчестве поэта убедительно пишет И.Н. Иванова. Анализируя цитированное выше стихотворение, она отмечает: «Для постмодерниста искусство — ни в коем случае не «учебник жизни», не воспитатель и не утешитель, и, конечно, не имеет никакого отношения к метафизике. Ближе всего оно к игре — утонченной, интеллектуальной, не принимающей себя слишком всерьез и не требующей этого от зрителя-читателя-слушателя... Стихотворение «разыгрывает» любимые темы модернизма, освещая их постмодернистским светом (бесконечность, добро и зло, демонизм, «музыка», трагедия смерти и бессмертия искусства и т.п.)... Постмодернист уже не

верит ни тому, ни другому, на его долю остается лишь бесконечное «искажение» (9, с. 79-80).

О причинах этического кризиса XX века написано немало. Основные его истоки Н.А. Бердяев видел в том, что «мир проходит через богооставленность... мир покидает Бога и Бог покидает мир» (3, с. 260). «Бог» Г. Иванова — «мог помочь и не помог», «не сдержал обещанья», он не ассоциируется с добром («не верю в милосердие Бога»), не говоря уже об известных строках, где его «нет».

Однако, согласно рассуждениям Н.А. Бердяева, «всякое восстание против Бога есть возврат к небытию, победа ничто над божественным светом» (3, с. 39), торжество «злой свободы ничто». Поэзия Г. Иванова заставляет нас еще и еще раз убедиться в этом.

## 2. «Странная свобода»

Среди немногих эпитетов, сопровождающих в идиолекте Г. Иванова лексику «свобода» («золотая», «былая», «Керенская»), особое внимание привлекает определение «странная». Чтобы понять эту странность, обратимся к этическому содержанию концепта «свобода». Русский философ Б.П. Вышеславцев пишет о существовании двух свобод — положительной и отрицательной — свободы произвола и свободы творчества. Связанные с первой явления духовного противоборства, восстания против иерархии ценностей показывают глубину, мощь и неукротимость свободного произвола. «Существует, однако и сублимированная свобода, которая повернула руль в направлении к ценностям, которая добровольно приняла на себя и выбрала реализацию идеального долженствования... В русской философии Н. Бердяев с особой силой и убедительностью развивал соотношение этих двух свобод: «свободы в ничто» и свободы, обоснованной в добре и истине» (6, с. 193).

К поэтическому миру Г. Иванова удивительно подходит определение «свобода в ничто». Среди концептуальных моделей, фиксирующих образ свободы (свобода — дыхание, свобода — движение, свобода — блеф) наиболее показательны для авторского сознания свобода — холод и свобода — полет в пустоте:

*И нет ни России, ни мира,  
И нет ни любви, ни обид —  
По синему царству эфира  
Свободное сердце летит.*  
(I, с. 275)

Ивановское «царстве эфира» — выразительный образ вечности без Бога, синонимичный «золотому междупланетному омуту», «бездне голубой», «абсолютной пустоте», «холодному ничто». Вот оно, истинное царство свободы (не случайно также ассоциирующейся с холодом!).

Образцом поэта, постигшего свободу второго рода («положительную»), философ называет А.С. Пушкина. Его свобода «есть ответ на Божественный зов, призывающий его к творческому служению, к «священной жертве»... И еще другая свобода ему дана — свобода пророческого слова» (6, с. 175). Именно против этой, нравственной интерпрета-

ции свободы, направляет свое ироническое жало Г. Иванов, когда помещает известную пушкинскую цитату в сниженный контекст:

*Фитиль, любитель керосина,  
Затрепетал, вздохнул, потух —  
И внемлет арфе Серафима  
В священном ужасе петух.*  
(I, с. 364) (в оригинале — поэт.)

В ментальном пространстве Пушкина поэт рассматривается как Пророк, вещающий Божью волю, а поэзия — как преобразующая мир (в соответствии с Божьим планом) сила. Говоря языком современной науки, в основе пушкинской метафоры лежит коммуникативная цепь «Творец — поэт — мир». В основе поэзии позднего Г. Иванова лежит идея «нарушенной коммуникации»: поэт не связан с Богом, и следовательно, не может восстановить мировую гармонию. Более того, можно утверждать, что поэт у Г. Иванова не связан и с другими людьми, его свобода — это (если использовать характеристику Ю. Иваска) «свобода в пустоте». Конечно, это не прерогатива одного Г. Иванова. Не случайно одиночество и свободу объединил в названии своей книги Г. Адамович. В его размышлениях о судьбе русской «литературы в изгнании» привлекают внимание строки, характеризующие поэтическое направление, близкое Г. Иванову: «Парижская «нота» — будто бутылка в море: «когда-нибудь», «кто-нибудь» прочтет, узнает, поймет. В настоящем надеяться не на кого и не на что: чувство насильно навязанного литературного одиночества сыграло в ее образовании не последнюю роль» (1, с. 23).

Прямых экспликаций темы одиночества в поэзии позднего Г. Иванова не так уж много. Изысканно-символический образ «голубой ночи одиночества» контрастирует с антиэстетичными строками:

*Иду — и думаю о разном,  
Плету на гроб себе венок,  
И в этом мире безобразном  
Благообразно одинок.*  
(I, 386)

Однако концепт одиночества может быть выражен и другими средствами, не только лексическими, но и композиционными. «Маятник», раскачивающийся, по образному выражению И.Н. Ивановой, между иронией и лирикой, раскачивается и между разными моделями коммуникации, отраженными в поэтических миниатюрах Г. Иванова 40-50 годов.<sup>2</sup> Рассмотрим в сравнительном отношении преобладающие модели в «Портрете без сходства» и «Посмертном дневнике».

Общее количество стихотворений, входящих в каждый цикл, примерно одинаково — около 40. Подавляющее большинство — с эксплицитно выраженным авторским «я». Число стихотворений с «обобщенным говорящим», объединяющее автора с кругом близких ему людей, очень незначительно — 5 и 2 соответственно. Можно сказать, что «мы» — это образ поколения русской эмиграции, совершающего «хождение по мукам» вместе с лирическим героем.

Особый интерес представляет соотношение моделей с необозначенным адресатом (эготивные) и с эксплицитным адресатом. В «Портрете без сходства» оно характеризуется дробью  $\frac{12}{8}$ , в «Посмертном дневнике» соотношение  $\frac{19}{16} \cdot 3$

Можно увидеть в этом, вслед за И. Гурвичем, борьбу структурных принципов — «традиционного, завещанного классикой, ориентированного на логику коммуникации и нового, сопряженного с тем или иным отклонением от коммуникативности» (7, с. 36), а можно «мучительный спор с самим собой — столкновение подчеркнутой самоизоляции с непобедимым притяжением к живой жизни» (там же, с. 47). Этот спор длится вплоть до последних страниц «Посмертного дневника». Поддержанный автосчитатами и цитатами из любимых поэтов, он так и не выявляет окончательного преимущества ни одной из сторон, сохраняя напряженность между «Надо же поговорить» и «Не о чем мне говорить».

### 3. Друг и другие

«В отличие от аксиологических установок культуры XX века с ее пониманием другого как дальнего (Ницше), как «трансценденции по отношению к моему Я», ... а иногда и просто как врага, другой для православно-славного сознания — это ближний» (13, с. 411)

Этнопсихологические исследования современного русского языкового сознания также позволили сделать вывод о его «другоцентричности». По данным Н.В. Уфимцевой, слово «друг» входит в число десяти первых понятий ментального лексикона (14). Одним из самых важных слов в русской культуре называет эту лексему А. Вежбицкая. К ключевым элементам русского концепта она относит признаки «интенсивное и задушевное личное общение» и «готовность помогать» (5, с. 112). К другим его компонентам относятся «эмоциональная расположенность», «духовная близость», «единство в моральных оценках».

Какую этическую позицию по отношению к другому и другим занимает Г. Иванов? Определяется ли она «духом эпохи» или «духом нации»? Не ошибемся, если предположим в ней ту же двойственность «позиции автора».

Амбивалентные суждения типа «никому я не враг и не друг» противоречат объективным данным частотно-тематической модели авторского мира (2). Слово «друг» находится в верхней части частотного словаря Г. Иванова (38 употреблений), причем в позднем творчестве его частота несколько возрастает. В абсолютном большинстве случаев оно употреблено в обращениях, что указывает на его непосредственную связь с моделями коммуникации (см. выше). Оставим в стороне саркастические обращения «любезный друг», «любезные друзья», параллель которым А. Вежбицкая находит в английском языке, а также ироническое автообращение «дружок», и обратимся к экспликации содержательных признаков этого концепта у Г. Иванова.

Самое частотное определение к слову «друг» — «мой», устойчиво характеризующее существительное во все периоды творчества поэта. В раннем творчестве эпитеты довольно традиционны — «верный»,

«милый», «старинный», «непостоянный». У «парижского» Г. Иванова обращает на себя внимание неочевидная характеристика друга — «мертвый» (4 употребления). Семантические поля дружбы и смерти пересекаются, прежде всего, в стихах, посвященных оставленной родине:

*Холодно. В сумерках этой страны  
Гибнут друзья, торжествуют враги.  
(I, 332)*

*Письма от мертвых друзей получаю...  
(I, 401)*

*Но поет петербургская вьюга  
В заметенное снегом окно,  
Что пророчество мертвого друга  
Обязательно сбыться должно.  
(I, 395)*

Как видим, прилагательное «мертвый» не является в этих контекстах метафорой — друзья лирического героя остались в России и разделили ее трагическую судьбу. «Друг» — это, как ни парадоксально, отсутствующий («Помни, что тебя я называю другом, // Зная, что не встречу нигде и никогда»). Кроме того, «друг» в стихах парижского периода — чаще всего поэтическое обращение, своеобразное средство создания видимости коммуникации, всегда остающейся на грани автокоммуникации. Для «парижского друга» (alter ego?) характерен признак «эмоциональная близость» («Не пиши стихов певучих // И за счастье не цепляйся — // Счастья нет, мой бедный друг»), «общность судьбы — смерти» («И не вспомнишь, даже, мой друг, // Что твой свет навсегда исчез»), а вот «желание иметь контакт» является необязательным, избыточным: «Задавай вопросы. // Не проси ответа. // Лучше и вопросов, друг, не задавай».

Модель дружбы, эксплицированная в поэзии Г. Иванова, отражает, на наш взгляд, и трагическую ситуацию вынужденного одиночества, «вырванности «из рядов своего поколения, и желание, несмотря ни на что, назвать кого-нибудь этим словом (не случайно его основная синтаксическая позиция — обращение), ввести его в план художественного мира (при отсутствии в мире реальном).

### 4. Христианские этические концепты в «Посмертном дневнике»

«Посмертный дневник» — цикл уникальный во многих отношениях. Согласно исследованию В.С. Баевского, он не имеет лексических корреляций ни с одним сборником русской поэзии XIX-XX века! Более того, он мало коррелирует со сборниками самого Г. Иванова.<sup>4</sup>

Во-первых, в нем опровергаются некоторые этические установки самого поэта (ср.: «А люди? Ну на что мне люди?» — «Мне с читателем хочется поговорить, всех, кто мне помогали, поблагодарить. Есть такие прекрасные люди среди вас...»; «Злой и грустной полоской рассвета...» — «И вовсе не злой»). Памятуя о постоянных «качаниях структур» (11, с. 4) идиостилия поэта, можно было бы не придавать этому серьезного значения, если бы не другие факты.

Лирический герой «Посмертного дневника» «примеряет» на себя «терновый мученический венец» (VI), прощается со своим ангелом (VIII), ведет диалог с душой в стиле христианской средневековой традиции (XI), мечтает о встрече с любимой в раю (XIII).

Не замечательно ли, что в «Посмертном дневнике» всегда склонный к цитированию поэт вступает в диалог с библейскими истинами? Кульминацией цикла, является, конечно, миниатюра XXXIII, насыщенная евангельской лексикой и абсолютно лишенная привычной ивановской иронии: «Если б время остановить... // Перед смертью благословить всех живущих и все живое. // И у тех, кто обидел меня, // Попросить смиренно прощенья, // Чтобы вспыхнуло пламя огня, // Милосердия и очищения». Толкование Н.А. Бердяева связывает милосердие с духовной любовью, направленной на всех людей (З, с. 166), с любовью как основой христианской этики.

Конечно, держать постоянно такую высокую лирическую ноту Г. Иванову не свойственно, однако следы христианских этических концептов угадываются и в других стихотворениях. Сравните: «Вас осуждать бы стал с какой же стати я // За то, что мне не повезло?» — «Не судите, да не судимы будете» (Мтф. 7:1); «Мне хочется немного нежности // От ненави-

дящих меня» — «Любите врагов ваших... благотворите ненавидящим вас» (Мтф. 6:44); «С миром душу примирить...» — «Прежде иди и помирись со своим братом...» (Мтф. 6:24).

Конечно, в большинстве случаев эти библейские истины контрастируют с авторским контекстом, однако важно уже и само обращение к понятиям «осуждение», «примирение», «милосердие», «смирение». Само же принятие и исполнение этих заповедей невозможно без Бога в душе, без божественной благодати. «Господи, воззвах к Тебе...» — может быть именно в этом сущность ивановской поэзии... Слов таких у Иванова не найти, а если бы они у него под пером и мелькнули, рядом оказалась бы, конечно, усмешка, капля серной кислоты, «во избежание недоразумений» и слишком благонамеренных выводов. От выводов ивановская поэзия ускользает. Но откуда же свет?» (1, с. 335)

Не дано ли было умирающему поэту постичь «эсхатологическую этику», ее этический императив, сформулированный Н.А. Бердяевым: «Относись к живым, как к умирающим, к умершим относись, как к живым, помни всегда о смерти как о тайне жизни, и в жизни и в смерти утверждай всегда вечную жизнь» (З, с. 220). Совершилось ли это постижение безусловно?

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. В статье используются материалы частотного словаря поэзии Г. Иванова, существующего в виде текстовой базы данных. Все цитаты приводятся по изданию: 8.
2. Построение моделей коммуникации поэтического текста как средство экспликации когнитивных структур авторского сознания рассматривается в работе: Л.О. Бутакова (4). В статье используется ее типология.
3. Если учесть замечание Ю.И. Левина о том, что обращения к заведомо «некоммуникабельному» объекту (шарманка, обезьянка, душа) приравниваются к автокоммуникации, количество «эготивных» стихотворений в последнем цикле поэта достигнет 23 (из 38). Такой текст приближается к типу исповеди или дневника, что вполне соответствует жанровому определению — «Посмертный дневник».
4. Метод рангового корреляционного анализа и его результаты описаны в работе В.С. Баевского (2).

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Адамович Г. Одиночество и свобода. — М., 1996.
2. Баевский В.С. Лингвистические, математические, семиотические и компьютерные модели в истории и теории литературы. — М., 2001.
3. Бердяев Н.А. О назначении человека. — М., 1993.
4. Бутакова Л.О. Авторское сознание в поэзии и прозе: когнитивное моделирование. — Барнаул, 2001.
5. Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. — М., 2001.
6. Вышеславцев Б.П. Этика преображенного Эроса. — М., 1994.
7. Гурвич И. Георгий Иванов: восхождение поэта // Вопросы литературы. — 1998. — Вып. 4. — С. 36-54.
8. Иванов Г.В. Собр. соч.: В 3 т. — М., 1994.
9. Иванова И.Н. Георгий Иванов: от модернизма к постмодернизму? // Русский постмодернизм: Предварительные итоги: Межвуз. сб. научн. трудов. — Ставрополь, 1998. — Часть 1. — С. 78-81.
10. Левин Ю.И. Избранные труды. Поэтика. Семиотика. — М., 1998.
11. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. — М., 1996.
12. Материалы к словарю терминов Тартуско-Московской семиотической школы. — Tartu, 1999.
13. Постовалова В.И. Этическая оценка другого и самооценка в православной духовной традиции // Логический анализ языка: Языки этики. — М., 2000. — С. 406-416.
14. Уфимцева Н.В. Русские: опыт еще одного самопознания // Этнокультурная специфика языкового сознания. — М., 1996. — С. 139-163.
15. Шрейдер Ю.А. Лекции по этике. — М., 1994.
16. Lakoff G., Jonson M. Philosophy in the flesh: The embodied Mind and its Challenge to Western Thought. — New York, 1999.

## ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ И.С. ШМЕЛЕВА

Л.И. Бронская  
Ставрополь

Религиозно-философские концепции писателей-эмигрантов по-разному трактуют идею человека в этом мире, однако в основу своих теологических и этических построений они кладут принципы философской антропологии, которые могут быть сведены к следующему: «Человек — малая вселенная, микрокосм — вот основная истина познания человека и основная истина, предполагаемая самой возможностью познания. Вселенная может входить в человека, им ассимилироваться, им познаваться и постигаться потому только, что в человеке есть весь состав вселенной, все ее силы и качества, что человек — не дробная часть вселенной, а цельная малая вселенная» (2, с. 267).

Когда размышляешь о духовно-нравственной концепции Шмелева, то приходишь к выводу, что его теологические представления достаточно далеки от ортодоксального православия. Скорее, он приверженец православия народного, привитого ему еще в детстве всем укладом отцовского дома и рабочего двора, с утра наполненного плотниками. Автобиографические его повествования — это воспоминание о путешествии младенческой души к Истине. Духовный опыт не был завершен: смерть отца, охранявшего традицию и воспитывающего своего сына в духе православной этики, нарушила это путешествие. Уже юношей Шмелев отходит от веры и на некоторое время увлекается левыми общественно-политическими идеями; возвращается же он к своим истокам после революции, после того ужаса, свидетелем которого был в Крыму, пройдя по мукам. Так что шмелевские воспоминания можно рассматривать в качестве своеобразного покаяния.

И.С. Шмелева трудно назвать писателем с мировым именем. Это художник, очень русский по своей натуре, никогда не пытался реализовать себя на общеевропейском литературном поле. Он писал о России и для России, причем эта установка на русского читателя в большой мере актуализировалась в бытность его в эмиграции. Коренной москвич, он всячески культивировал в себе провинциальность, идеализируя свою малую родину — Замоскворечье. Об этой литературной провинциальности говорит в статье о Шмелеве Г.В. Адамович: «Была ли старина такой? Не обольщаемся ли мы насчет ее подлинного благолепия? Не поддаемся ли иллюзии? Шмелев отказывается поднимать об этом вопрос. Была или не была — все равно должна была быть! Проверять теперь поздно — надо принять идеал живой. Если впереди тьма, будем хранить свет прошлый, единственный, который у нас есть, и передадим его детям нашим... Шмелев принадлежит к тем писателям, которые властно приглашают нас к умственному сотрудничеству, и, додумывая его повествование, ища каких-либо реальных из него выводов, только к такому заключению и приходишь... Иного ключа к Шмелеву, мне кажется, нет: иначе его творчество оказалось бы пронизано фальшью» (1, с. 35-36). Провинциализм для Шмелева — это не поза, но возможность

пристальнее рассмотреть, глубже осмыслить подспудные течения российской жизни, которые несли и «благолепие», но и разрушение. Его герои — «маленькие люди» — способны и на высокий духовный подвиг, но могут и сорваться, и впасть во грех, и вновь покаяться. Однако любимые шмелевские герои — человек из ресторана, Горкин из «Лета Господня», Даринька из «Путей небесных» — всегда строги к себе, к своей духовной жизни, не могут позволить перешагнуть через запрет, продиктованный либо нравственными, либо религиозными принципами. Их внутренний мир — мир глубоко верующего человека, и именно в этом заключается, по Шмелеву, привлекательность их личности, сила и очарование их образа.

Писатель не сразу определил для себя концепцию своего творчества, и она поначалу вовсе не носила религиозно-философский характер. После появления первых произведений, сделавших его известным, за Шмелевым довольно прочно закрепилась слава автора «бедных людей двадцатого века», «духовного сына 1905 года», «бытовика» и традиционалиста. Современная исследовательница его творчества Е.А. Осьминина так комментирует эти штампы дореволюционной критики: «Здесь имелся в виду не только реалистический стиль шмелевского письма, но и общий демократический, гуманистический его пафос, столь характерный для русской литературы: любовь и сострадание ко всем униженным и оскорбленным, бедным и обездоленным, к маленьким людям» (9, с. 3). В этот период творчества Шмелева волнуют нравственно-социальные проблемы, религиозные вопросы перестали его интересовать еще в студенческие годы, это было вызвано и влиянием преподавателей-«шестидесятников», и запойным, но бессистемным чтением. Так, в очерке «Старый Валаам», написанном в 1937 году, он вспоминает свадебную поездку сорокалетней давности. Вспоминает свои давние юношеские впечатления. Глава «В трапезной» начинается с того, что о. Антипа приглашает героя в трапезную: «Там у нас чинно, под жития вкушают», и поясняет «Все вкушают, а очередной чтец читает про «жития». Это чтобы вредные мысли не входили. Пища молитвой освящается, тогда и питание на пользу. Никакой чтобы заботы в мыслях».

«Я удивлен: как раз и в физиологии это говорится, — читал недавно «Физиологию» Льюиса. Оказывается, и монахи знают (курсив мой. — Л.Б.)» (11, с. 46).

В другой главе «Новый мир» послушник объясняет вновь прибывшим, что «на возглас приходящего поаминить надо, без аминя у нас не входят». Герой-рассказчик восклицает:

«Я поражен, обрадован. Какое «уважение к личности»! Мне студенту, не думалось встретить такое у святошей! Я уже разрешил вопросы о «тунеядстве монахов», о «ханжестве», о «ненужности этих пустяков». Чернышевский, Белинский, Добролюбов и все, доказавшие мне «свободу человека от этих предрассудков», такого никогда не говорили: «Без аминя у нас не входят!» Я готов горячо пожать руку этому новому учителю, но она держит книгу (курсив мой. — Л.Б.)» (11, с. 52).



Вообще путь Шмелева к вере — это достаточно типичный путь для его сверстников-современников. В детстве естественная бытовая религиозность, сформированная всем домашним укладом, в гимназические и студенческие годы это скепсис, возникший под влиянием учителей и профессоров, мировоззрение которых корнями уходит в 1860-е годы и которые трактовали образ Базарова не так, как это делал Тургенев, а по Писареву. Поколение Шмелева в начале 1900-х годов не было атеистическим, но оно не было и религиозным. И лишь спустя десять-пятнадцать лет, все вернулось на круги своя — поколение пересмотрело свое отношение к религии под влиянием «событий, которым не было равных» (А. Ахматова). Причем вину за произошедшую катастрофу в России это поколение приняло и на себя тоже.

Ближайший друг Шмелева по эмиграции И.А. Ильин в статье «Россия есть живой организм», изданной в 1948 году, утверждал:

«Когда нам ставят вопрос, как это могло случиться, что русский народ в эпоху второй отечественной войны (1914-1917) предпочел имущественный передел национальному спасению, мы отвечаем: это случилось потому, что *русское простонародное*, а также и *радикально-интеллигентское правосознание не были на высоте тех национально-державных задач, которые возложены на него Богом и судьбою*. Русский человек видел только ближайшее; политическое мышление его было узко и мелко; он думал, что личный и классовый интересы составляют «главное» в жизни; он не разумел своей величавой истории; он не был приучен к государственному самоуправлению; он был не тверд в вопросах веры и чести... И прежде всего он не чувствовал своим инстинктом национального самосохранения, что *Россия есть единый живой организм*» (7, с. 429).

Разделил общую участь «видеть только ближайшее» и Шмелев, дореволюционным произведением которого были присущи черты «знаньевского» реализма — это и вера в науку, культуру, рукотворное светлое будущее, которое можно достичь революционным путем, обязательный конфликт патриархальных отцов и детей, идущих в революцию, изображение вязкого, затягивающего быта. Февральскую революцию 1917 года принимает на «ура», по-прежнему находится в «левом», демократическом лагере. «Проклинает старый строй, называет себя интеллигентом-пролетарием, осуждает Корнилова, приветствует Керенского. Не сочувствует большевикам как партии одного класса, а не всего народа» (9, с. 8-9). Перелом в настроении и восприятии революционной действительности произошел в 1918-1922 годах, когда Шмелевы переехали из Москвы, спасаясь от разрухи, в Крым, как впоследствии выяснится, в еще большую разруху.

Все это описано в ставшей в наше время знаменитой книге «Солнце мертвых», события которой весьма точно коррелируются с событиями книги «Остров Крым», написанной другим изгнанником в конце 1970-х годов, В. Аксеновым. Сколь бы велика ни была разница между этими писателями и этими книгами, но события совпадают в них «до запятой»: цветущий, утопающий в красотах природы и изобилии выращенного человеческими руками полуост-

ров постепенно, но достаточно быстро превращается в мифологическое Царство Мертвых (дорога в которое вела через Крым, Киммерию — место, где никогда не светило солнце). О том, как меняется его мировоззрение, Шмелев пишет в письме Ю.И. Айхенвальду в 1923 году, уже будучи за границей:

«Именно, в моей работе, первое и существенное — не политика, не «крик личный», а «постижения совсем другого порядка»! Меня охватил страх... как будто я на самом деле присутствую (и доселе) при «стихийном распаде», разрушительные силы которого — будто уже повсюду. И когда я (теперь) гляжу на каменные террасы Прованса, засаженные оливками, по приказу чуть ли не Юлия Цезаря, — их теперь не сажают, не сажают, верней, они дают урожай только к 130 годам! — когда я смотрю на удивительно покойный уклад жизни людей здешних, хожу по гладким дорогам, слушаю шум ключей и водоводов, вижу вековые культуры, и встречаю «тревожное и огневое» на некоторых, больше молодых, лицах, провожающих пытливыми глазами несущиеся автомобили, я чувствую тревогу... Бродильный грибок повсюду... и все — трепет и нетерпение. В самой природе как будто идет брожение, и веками пролежавшие камни вот-вот заплещут! М.Б. Сдвиги — в самой материи. Нужны ей. Как будто всегда, — для меня теперь это особенно ощутительно, — идет страшная борьба творящего и разрушительного начала, и отодвинутое усилиями культур давнее, изначальное хаос «демона земли», тоскует в порабощении...».

Так, постепенно, через мифологизацию современности, писатель приходит к своим духовным истокам. Еще раз стоит подчеркнуть, что Шмелев никогда не был атеистом, правда, религиозность его долгие годы носила бытовой характер, а в некоторые периоды проблемы веры отходили вовсе на третий план. События 1917-1922 годов в России заставили автора «Гражданина Уклейкина» задуматься над причинами произошедшего, равно как и определить к этим событиям свое отношение. Процесс осмысления был достаточно драматичным, хотя бы потому, что происходил в изгнании.

Духовная реакция на эти события в сознании Шмелева происходила не стихийно, но если можно так выразиться, под руководством его друга, уже упоминавшегося здесь известного русского философа-эмигранта И.А. Ильина, который был идеологом Белого движения, участвовал в деятельности Русского Обще-Воинского Союза. Как философа его интересовали задачи исследования проблем духа и духовности, порождаемой собственным опытом философа, открывающим «человеку сущность Божества». Ильин был убежденным монархистом и доказывал в своих работах преимущество и целесообразность монархического государственного устройства, подчеркивая при этом уникальность Российской империи, в которой на протяжении веков мирно сосуществовали сотни этнических и расовых групп. Он утверждал:

«Нелепо навязывать всем народам одну и ту же штампованную государственную форму... Нет ничего опаснее и нелепее, как навязывать народу такую государственную форму, которая не соответствует его правосознанию (например, вводить монархию в Швейцарии, республику в России, референдум в Персии, аристократическую диктатуру в Соединенных Штатах и т.д.)» (4, с. 128-129). В России возможны или единовластие, или хаос: «К республи-

канскому строю Россия не способна. Или еще точнее: бытие России требует единовластия — или религиозно и национально укрепленного единовластия чести, верности и служения, т.е. Монархии; или же единовластия безбожного, бессовестного, бесчестного, и притом антинационального и интернационального, т.е. Тирании». Ильин видит общие истоки у кризиса, переживаемого Россией в XX веке, и у кризиса современной культуры в целом. По его мнению и то и другое порождено кризисом духовным. В основе его — оскудение религиозности, утрата духовно-религиозного отношения к жизни, порождаемая распространением материалистических и атеистических доктрин. Отсюда и бездуховное современное искусство, лишь по недоразумению называемое искусством, отсюда и безбожный социализм, который «бесконечно страшнее и вреднее безбожного капитализма».

Немаловажное место в наследии Ильина занимают работы, посвященные русской литературе. В книге «О тьме и просветлении» философ анализирует с точки зрения духовных ценностей православия творчество трех классиков XX века — И. Бунина, А. Ремизова и И. Шмелева, которых объединяет, по его словам, «единство предмета и единство национального опыта», порождаемого эпохой «восставшей тьмы и разливающейся скорби» (5, с. 34). Здесь Ильин утверждает, что высший тип подлинно национального православного художника воплощает Шмелев, бытописатель «Святой Руси» и ее народа, «простого и душевно открытого, благодушного и уветливого, прошедшего с молитвой и верой великой и претрудный путь исторических страданий и осмыслившего свою земную жизнь как служение богу и Христу» (5, с. 196).

Шмелев, по Ильину, как и Достоевский, — это ясно-видец человеческого страдания, ведущего к Богу:

«Шмелев познал тьму... И через мрак он по-новому увидел свет и стал искать путей к нему, добываясь той мудрости, которая осмысливает земной путь человека как «путь небесный» (5, с. 199).

И.А. Ильин является одним из тех философов (а среди них были Н. Бердяев, Л. Шестов, С. Франк, Б. Выше-славцев и т. д.), которые своими трудами, опираясь на труды дореволюционных мыслителей, в частности Вл. Соловьева, создали идеологию русской диаспоры. В другой статье 1948 года «Русская идея» Ильин пишет: «Если нашему поколению выпало на долю жить в наиболее трудную и опасную эпоху русской истории, то это не может и не должно колебать наше разумение, нашу волю и наше служение России. Борьба русского народа за свободную и достойную жизнь на земле — продолжается. И ныне нам более, чем когда-нибудь, подобает верить в Россию, видеть ее духовную силу и своеобразие и выговаривать за нее, от ее лица и для ее будущих поколений, ее творческую идею» (6, с. 166).

Русская идея в той или иной интерпретации художественно осмыслялась в творчестве многих писателей-эмигрантов, для которых важны были не только их индивидуальные цели в искусстве, но и сверхцель, объединяющая их произведения в единый контекст литературы русского зарубежья первой половины XX века. Эта сверхцель виделась им в создании коллективного памятника такой России, какую ее уже не увидят никогда. Это были воспоминания о прошлом,

но прошлом безусловно идеализированном, даже в тех случаях, когда автор пытался объективно передать свои ощущения и переживания из давно прошедших лет (например, «Жизнь Арсеньева» И. Бунина, «Времена» М. Осоргина). Конечно, любое воспоминание о детстве предполагает такую идеализацию: в детстве человек счастлив хотя бы своим незнанием. Но воспоминания писателей-эмигрантов были более драматичны, чем иные воспоминания, потому, что образ утерянного детства сливался с образом утерянной Родины. Но каковы бы ни были творческие устремления писателей, каковы бы ни были мировоззренческие позиции философов, их русская идея вполне вписывалась в знаменитую уваровскую формулу, несколько модернизированную и улучшенную (расширенную и дополненную): не самодержавие, но государственность; не столько народность, сколько духовность, ментальность; и лишь православие осталось на своем месте.

И.С. Шмелев, явно идеализируя прошлое, создал образ России, которой, возможно, не было, но такой, по разумению автора, она могла бы быть. «Милое мое Замоскворечье» — это утопия, сказочная страна, в которой проходит детство героя. Этой стране посвящены две лучших в русском зарубежье автобиографические повести — «Богомолье» и «Лето Господне». В них вполне четко и определенно прочитывается структура русской идеи, какой ее определяли современники писателя. Шмелев, без сомнения, — государственный. Вот его герой — семилетний Ваня — оказывается на постном рынке:

«Я слышу всякие имена, всякие города России. Кружится подо мной народ, кружится голова от гула. А внизу тихая белая река, крохотные лошадки, санки, ледок зеленый, черные мужики, как куколки. А за рекой, над темными садами, — солнечный туманец тонкий, в нем колокольни-тени, с крестами в искрах, — милое мое Замоскворечье. ... Стоим на мосту, Кривая опять застряла. От Кремля благовест, вперевой, — другие колокола вступают. И с розовой церковки, с мелкими главками на тонких шейках, у Храма Спасителя, и по реке, подальше, где Малюта Скуратов жил, от Замоскворечья, — благовест: все зовут. Я оглядываюсь на Кремль: золотится Иван Великий, внизу темнее. И глухой — не его ли — колокол томительно позывает — по-мни!...» (11, с. 282).

Таких зарисовок немало разбросано по шмелевским повестям. Да и построены эти эпизоды по одному образцу: сначала в большей или в меньшей степени значительная бытовая зарисовка (взрослые отправляются с ребенком на постный или рождественский рынок, или на кладбище навестить умерших родственников на Троицу, или на Троицу же — на богомолье в Лавру), здесь очень важны детали, моментальные снимки того, что окружает героя-ребенка. Предметы, цвет, запахи, шум толпы, отдельные выкрики, одежда. А потом постепенно из всей этой многофигурной картины, шумной и пестрой, вычленяется идея об огромности того мира, что зовется Россией.

Но Россия — это не только пространство, но и люди. Для героя «Лета Господня» они населяют отцовский двор. Отец подрядчик, собирает в сезон на плотницкие работы умелых крестьян из соседних с Московской губерний.

«Ранние годы, — вспоминал писатель, — дали мне много впечатлений. Получил я их «на дворе». Во дворе стояла постоянная толчея. Работали плотники, каменщики, маляры, сооружая и раскрашивая щиты для иллюминации. Приходили получать расчет и галдели тьма народу. ... Эти «архимеды и мастаки» пели смешные песенки и не лазили в карман за словом. Слов было много на нашем дворе — всяких. Это была первая прочитанная мною книга — книга живого бойкого и красочного слова. Здесь, во дворе, я увидел народ. Я здесь привык к нему и не боялся ни ругани, ни диких криков, ни лохматых голов, ни дюжих рук. Эти лохматые головы смотрели на меня очень любовно. Мозолистые руки давали мне с добродушным подмигиваньем и рубанки, и пилу, и топорик, и молотки и учили, как «притрафляться» на досках, среди смолистого запаха...» (11, с. 8-9).

Сознание мальчика формировалось под разными влияниями. В первую очередь, это были влияния отца, Сергея Ивановича, и воспитателя, старого филинщика Горкина. Именно они показали автобиографическому герою образец любовного, гуманного отношения к простым людям, они же прививали ему и религиозное чувство.

Повесть «Лето Господне» имеет подзаголовок «Праздники. Радости. Скорби». Все обстоятельства жизни героев повести — от по-настоящему радостных до самых горьких и трагических — связаны с необходимостью осмыслить их в религиозном контексте. На многочисленные Ванины «почему» мудро отвечают отец и Горкин. Они вводят героя в мир духовный и показывают, как тесно он слит с окружающим миром, миром полей, лесов, московских улиц и всей той страны, об огромности которой только догадывается Ваня.

«Мы идем от всенощной, и Горкин все напевает любимую молитвочку — ... «благодатная Мария, Господь с Тобою...» Светло у меня на душе, покойно. Завтра праздник такой великий, что никто ничего не должен делать, а только радоваться, потому что если бы не было Благовещенья, никаких бы праздников не было Христовых, а как у турок. Завтра и поста нет. Уже был «перелом поста — щука ходит без хвоста» (11, с. 367).

Эпизод этот отражает все те объяснения о сущности завтрашнего праздника, которые получает герой-ребенок от окружающих. Здесь есть и пласт отца: завтра праздник такой великий..., и Горкина: если бы не было Благовещенья, никаких бы праздников не было Христовых, а как у турок, и по-своему осмысленные детские разговоры: перелом поста — щука ходит без хвоста... Но самое главное — это внутренний настрой, о котором Ваня говорит не поддельно серьезно: «Светло у меня на душе, покойно».

Антропологические взгляды Шмелева полностью вписываются в контекст русской религиозной антропологии; он исследует те положительные основания, которые позволяют языческому уму человека усвоить себе содержание христианской проповеди и принять христианство в качестве религии. В этой связи возникает проблема веры: на что именно опирается вера в истину христианства.

«Конечно, эта вера, как и всякая вообще человеческая вера, несомненно опирается на какое-нибудь познание. Ведь если бы человек ограничился только логикой христианского вероучения, то он и пришел бы только к сознанию

его непостижимости или просто невысказанности. А если бы он остановился только на мысли об этой непостижимости, то он нашел бы в этой мысли основание не для своей веры, а только для своего неверия. В этом случае он непременно бы высказал такое положение: так как я не в состоянии этого понимать, то я не могу в это верить. И это положение было бы психологически вполне естественно, потому что оно выражало бы собою действительное положение человеческой мысли в отношении христианского вероучения, и логически оно было бы совершенно правильно, так как утверждение основания — из невозможности веры здесь прямо бы вытекало из своего действительного основания — из невозможности мышления» (8, с. 9).

Автобиографический герой Шмелева познает мир, познает Бога через узанный мир. Это — герой-ребенок, он еще достаточно мал, чтобы подвергать сомнению ответы, например, Горкина на вопросы о «божественном», скепсис появится потом, в студенческие годы (о чем с покаянием Шмелев будет вспоминать в книге «Старый Валаам»). Все, окружающие героя, познают и признают полную непостижимость христианского вероучения и несмотря на это, все-таки утверждают его истинность. Так, в «Празднике», в главе «Ефимоны», читаем:

«Я иду к ефимонам с Горкиным. ... Это первое мое стояние, и оттого мне немножко страшно. То были службы, а теперь уж пойдут стояния. Горкин молчит и все тяжело вздыхает, от грехов, должно быть. Но какие же у него грехи? Он ведь святой — старенький и сухой, как святые. И еще плотник, а из плотников много самых больших святых: и Сергей Преподобный был плотником, и святой Иосиф. Это самое святое дело.

— Горкин, — спрашиваю я его, — а почему *стояния*?

— Стоять надо, — говорит он, поокивая мягко, как все владимирцы. — Потому как на Страшном Суду стоишь. И бойся! Потому — их-фимоны.

Их-фимоны!... А у нас называют — ефимоны, а Марьюшка-кухарка говорит даже «филимоны», совсем смешно, будто выходит филин и лимоны. Но грешно так думать. Я спрашиваю у Горкина, а почему же филимоны, Марьюшка говорит? — Один грех с тобой. Ну, какие тебе филимоны... Их-фимоны! Господне слово, от древних век. Стояние — покаяние со слезьми. Ско-рбение... Стой и шопчи: Бо-же, очисти мя, грешного! Господь тебя и очистит. И в землю кланяйся. Потому, их-фимоны!..

Таинственные слова, священные. Что-то в них... Бог буд-то? Нравится мне и «яко кадило пред Тобою», и «непщевати вины о гресех», — это я выучил в молитвах. И еще — радостные слова: «чаю Воскрешения мертвых!» Недавно я думал, что это там дают мертвым по воскресеньям чаю, и с булочками, как нам. Вот глупый! И еще нравится новое слово «целомудрие», — будто звон слышится? Другие это слова, не наши: Божьи это слова» (11, с. 264 – 265).

Если оставить в стороне вопрос о «народной этимологии», то важным для наших рассуждений окажется восприятие героем-ребенком не только самого факта *стояния* на вечерней службе в Великий пост, но и того, как этому *стоянию* относятся взрослые, для которых вера — основной компонент жизни, в вере — смысл жизни. Стояние на Ефимоны — это, по сути, метафора Страшного Суда, куда придешь со своими грехами и добродетелями, поэтому и бояться надо, и скорбеть со слезами душевными. И гово-

ритель надо иначе — при помощи таинственных, священных слов — «Божьи это слова». Покаяние, Испупление, Очищение, Воскрешение, чистое звонкое слово Целомудрие — все это приближает человека к истине, воцерковляет его, отражает Образ Божий в существе человека. «Человек обладает неискоренимой тенденцией ставить себя в известное отношение к Абсолютному, к идеалу, к последней истине, к сущности бытия. Понять человека — значит понять его отношение к Богу. В этом не сомневаются и атеисты. Проблема человека есть *Бого-человеческая проблема*. Над разрешением Бого-человеческой проблемы трудился Фейербах, над нею трудятся современные психологи — Фрейд и Юнг. Бог есть сверх-я, идеал нашего я, архетип отца — говорят они. Что же, это не так далеко от истины — скажет религиозный философ. Во всяком случае, *Бого-человеческая проблема* налицо, когда дело идет о постижении души во всем ее объеме» (3, с. 48). Еще раз подчеркнем, что воцерковление героя-ребенка происходит под влиянием окружающих его взрослых людей, в первую очередь, отца, Сергея Ивановича, и филеника Горкина и т.д. Принимая Бога, герой входит в некое соборное единство, которое предполагает принятие людьми, его образующими,

общих высших ценностей, при сохранении неповторимых черт у каждого отдельного человека. Обретая веру, он начинает понимать (настолько, насколько это возможно в возрасте героя «Лета Господня»), что вера предопределяет не только жизнь религиозную, но и активность человека в целом, постольку и соборность проявляется «в многообразии человеческих дел».

Разделяя теоретическое осмысление соборности от практических ее проявлений в жизни, современный исследователь Л.Е. Шапошников пишет: «Однако не только церковная, но и социальная практика формировала принципы соборности. История нашего отечества свидетельствует о том, что «мало тишины было в Русской земле». Сохранение национальной независимости требовало не только «собираания», но и необходимо было, чтобы этому процессу «дружно содействовали добровольно соединившиеся духовные его силы» (В.О. Ключевский). Иными словами, укрепление отечественной государственности должно иметь идейное обоснование, так оно и было в действительности» (10, с. 5). Тому подтверждением являются не только шмелевские автобиографии, но и книги воспоминаний Б.К. Зайцева, обращенных к потомкам.

#### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Адамович Г.В. Одиночество и свобода. — М., 1996.
2. Бердяев Н.А. Смысл творчества. Опыт оправдания // Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. — М., 1989.
3. Вышеславцев Б. Образ божий в существе человека // Путь. — № 49. — Окт.-дек. 1935.
4. Ильин И.А. О монархии и республике // Вопросы философии. — 1991. — № 4. — С. 128-129.
5. Ильин И.А. О тьме и просветлении. — М., 1992.
6. Ильин И.А. Поющее сердце // Наш современник. — 1991. — № 6.
7. Ильин И.А. Россия есть живой организм // Русская идея. — М., 1992.
8. Несмелов В. Наука о человеке. Метафизика жизни и христианские откровения // Русская религиозная антропология: В 2 т. — М., 1997. — Т. 2.
9. Осьминина Е.А. «Художник обездоленных» // Шмелев И.С. Солнце мертвых. — М., 1996.
10. Шапошников Л.Е. Философия соборности: Очерк русского самосознания. — СПб., 1996.
11. Шмелев И.С. Лето Господне. — М., 1991.

## Н. ЗАБОЛОЦКИЙ И ЕГО КОНЦЕПЦИЯ «ВОСПИТАНИЯ ДУШИ»

О.Н. Мороз  
Краснодар

В послелагерный период своего творчества Заболоцкий прибегает к широкомасштабной психологической обрисовке образа, чуждой его поэтике не только времен «Столбцов», но и стихов второй половины 30-х. Она призвана заместить образовавшийся вакуум идейно-философской проективности утопических воззрений его молодости.

Поскольку у Заболоцкого происходит переход к психологическому осмыслению образа человека, то вполне закономерно, что возрастает частотность обращения поэта к таким понятиям, как *душа*. Душа истинно понимается как, с одной стороны, некий заповедный топос, обозначенный на карте индивидуальности человека, а с другой, как некая субстанция, имеющая различные состояния — в одних ситуациях она находится в активном положении субъекта, в других в пассивном положении объекта. Но эти ее состояния не влияют на ее позитивное определение: то, к чему стремится душа, не требует специальных обоснований, требуют оговорки, и достаточно внятной, именно те (редкие) стремления, которые носят негативный характер. Такова бытовая культурная модель души, априори задающая контекст восприятия этого феномена.

Однако Заболоцкий в эту модель не укладывается. Тема души у него, действительно, появляется и, учитывая немаловажную роль стихотворения «Не позволяй душе лениться», ставшего фактически завещанием поэта, помещается в центр творческих интересов, но не имеет однозначной определенности бытовой культурной модели. Эту неопределенность можно проследить уже с начала 50-х годов, когда Заболоцкий, тематически вписавшись в свое собственное долагерное творчество, уходит от его инерции и начинает творить в согласии со своими новыми представлениями о бытии.

Развернуто о противоречивости души Заболоцкий ведет речь в стихотворении «Некрасивая девочка». Отметим, что поводы к раздумьям о душе, заставлявшим поэта вновь и вновь братья за чернила, всегда были нетривиальными: он, начиная рассматривать проблемы совсем иного рода, в сущности, *сбивался* на тему души. Отмеченная нами нетривиальность повода разработки тематической линии души требует в «Некрасивой девочке» особого внимания. Так, центральной проблемой в стихотворении номинально является вопрос о красоте, а не о душе, то есть о феномене, апеллирующем к телесности, а не, скажем намерено упрощенно, психологии. Однако феномен красоты таким образом (по сути дела) препарируется поэтом, что существенно изменяет его феноменологические особенности.

Заболоцкий живописует банальную бытовую сценку, как бы случайно выхваченную из потока обыденной жизни, которая сама по себе скорее забавна и сентиментальна, нежели проблемна. То есть самая исходная ситуация не содержит в себе потенциал столь драматического развития, которое она получает в последующих строфах стихотворения. Драматизирует же ее Заболоцкий за счет привнесения своего

собственного сложно организованного контекста, связанного с комплексом его идей 20-х годов. Во-первых, он динамически меняет временную плоскость, мысленно переносясь в будущее время, когда девочка должна повзрослеть. Этот прием создает видимость некоей проективности подхода поэта, чувственно-психологически достоверную, но с онтологической точки зрения совершенно иллюзорную. Во-вторых, наличие видимости этой проективности и приводит к возникновению противоречия между «грацией души» и внешней красотой, данной в стихотворении, по сути, как идеальный конструкт. Однако это противоречие актуализируется, подчеркиваем, только в том случае, если подразумевается, что «грация души» и внешняя красота должны быть в *неразрывном единстве*. Эта *неразрывность единства* внутреннего и внешнего, как и проективное начало в целом, попадает в стихотворение как проблематика раннего Заболоцкого, а отнюдь не послелагерного. Но не случайно, только лишь ее обозначив, поэт сразу же от нее уходит. Те «философские» выводы, которые он делает, полностью аннигилируют «последние вопросы», драматически взвинтившие банальнейшую ситуацию. Проективность нивелируется к календарно-хронологической последовательности, ничего не вносящей в онтологию человека. Заболоцкий умело манипулирует временными плоскостями, что создает кажимость динамики его мысли, но некрасивость девочки, сохраняющаяся в обеих временных плоскостях, говорит как раз о ее статичности. Действительное будущее — неизвестно, но под влиянием натужной риторики верования автора в ничем не обеспеченные обещания (того, что девочка сохранит «младенческую грацию души») оно, будущее, приобретает тот вид, который уже имеет в настоящем; но при этом будущее рассматривается уже сейчас, в настоящем — на него как бы спускается значение будущего. Имплицитно присутствовавшая идея *неразрывного единства* внутреннего и внешнего, внесшая сумятицу в сознание Заболоцкого, и вовсе сводится на нет — ведь другой девочке никогда не быть. В результате нравственная проблематика оказывается в сфере субъективно-психологических решений человека, иначе говоря, становится проблемой экзистенциального порядка. Сможет ли девочка самостоятельно сохранить свою детскую «грацию души»? Этот вопрос зависает в области предположений, ответ на него — произвольно-условен. Заболоцкий считает, что — да, сможет. А что, если она ее все же не сохранит? От такого варианта поэт демонстративно отворачивается.

Надо признать, что положительные ответы Заболоцкого мировоззренчески чрезвычайно произвольны и не вполне убедительны даже для него самого; они гораздо больше похожи на отчаянный жест неуверенного ни в чем человека, чем на весомые доводы познавшего жизнь философа. Когда Заболоцкий пишет: «И не хочу я думать, наблюдая, / Что будет день, когда она рыдая...» и т. д., он просто стре-

мится избавиться от уже присутствующего в его сознании ужаса, потому что *день этот*, хочет того поэт или не хочет, *будет обязательно*. «Не хочу я думать...» и дважды — «Мне верить хочется..», — на таких риторических конструкциях Заболоцкий основывает свое представление об онтологии. Однако даже предположительное решение поэта о будущности девочки не вносит фокус в его представления о красоте, в которой скрывается вся суть стихотворения. Так, предполагая спасительный исход в столкновении девочки со своей некрасивостью, Заболоцкий совершенно определенно и безоговорочно описывает ее «грацию души» как «огонь, мерцающий в сосуде»: «<...> чистый этот пламень, / Который в глубине ее горит, / всю боль свою один переболит...» Но эта определенность не избавляет его от мыслей о проблематичности красоты. Напротив, его затаенное в сокровенной глубине сознания проблемное представление о красоте провоцирует уничтожающе противоречивую постановку вопроса о ней: первоначальная (контекстуально заявленная) идея неразрывного единства внутреннего и внешнего, образующего целостность красоты, в последних четырех стихах дробится и разрушается, «грация души» жестко и однозначно противопоставляется красоте внешней: «Сосуд она, в котором пустота, / или огонь, мерцающий в сосуде?» Как видим, возможности других отношений между внешним и внутренним в человеке в принципе не предусматриваются.

В качестве последствий столкновения девочки со своей некрасивостью Заболоцкий называет «боль» и «тяжкий камень». Пользуясь этими указаниями, мы можем системно описать внутреннюю структуру души. Есть резон предположить, что душа, по Заболоцкому, с одной стороны, имеет позитивные качества — некий ресурс стойкости, позволяющий поэту надеяться, что она *переболит боль* и т.д.; а с другой стороны, в душе наличествуют какие-то негативные качества — некий изъян, позволяющий нанести ей *боль* и поместить в нее *тяжкий камень*. Обе стороны души крепко связаны друг с другом: возможность выявить силовой ресурс души имеет место только при наличии в ней изъяна. В отношениях *боли* и *переболения* есть иерархия, но нет безусловных причинно-следственных отношений, поскольку нельзя исключить вероятности неудачи души в борьбе с *болью*. А если принять во внимание вероятность этой неудачи, то закономерно будет усомниться и в том, что силовой ресурс души находится именно в ней, а не черпается откуда-то извне. Все это делает «грацию души» не столь уж убедительной для самого Заболоцкого, и это при том, что не кто иной, как он сам, столь вдохновенно описал ее в своем стихотворении. Эта затаенная неуверенность души укоренена в его взглядах 20-30-х годов, когда он развивал идеи *формности* «предметов» (в случае с человеком напрямую связанные со спецификой его телесности, вообще — с антропологией).

Не став заострять внимания на негативной стороне души в «Некрасивой девочке», Заболоцкий, однако, вернулся к этой теме в ряде стихов, написанных перед самой смертью, в которых подверг ее феномен

фундаментальному анализу. Эти стихи — «Городок», «Ласточка», «Петухи поют», «На закате» и «Не позволяй душе лениться» — настолько плотно прилегают друг к другу, что их можно было бы назвать *циклом*. Открывает цикл стихотворение «Городок», как сначала кажется, являющееся простой натурной зарисовкой. Однако простая, сделанная с натуры зарисовка получает в «Городке» самое неожиданное осмысление. Заболоцкий, действительно, весьма непринужденно описывает ничем не примечательное существование заштатного городишки: «Целый день стирает прачка, / Муж пошел за водкой. / На крыльце сидит собачка / С маленькой бородкой...» и т.д. В эту номенклатуру стандартных примет захолустного городка попадают и девочка Маруся, и домашняя птица, за которой девочка, по всей видимости, присматривает, выполняя работу по дому. Но вместе с этими сугубо описательными приметам поэт вносит и определенную конфликтность в тихую жизнь поселка: девочка *плачет*, ей «худо жить». А худо ей живет оттого, что «опротивели Марусе / Петухи да гуси». Маруся мечтает обратиться в птицу: «Вот бы мне такие перья / Да такие крылья! / Улетела б прямо в дверь я, / Бросилась в ковыль я!» В пожелании девочки можно отметить несколько важных моментов, связанных с более или менее детальной обрисовкой отвлеченно-мечтательного образа птицы. Во-первых, обратиться в птицу — это способ избавиться ото всего, что Марусе опостылело. Во-вторых, птица здесь во многом напоминает тех же петухов и гусей, столь немилых девочке, так как она говорит о таких же перьях и крыльях. И в-третьих, образ птицы вносит резкость в изображение картины внутреннего мира Маруси — поскольку именно птица издавна символически олицетворяет человеческую душу. Этот устойчивый в фольклоре народный символ, на который опирается девочка в своих мечтаниях, оправдывает сокровенное стремление ее души вырваться из бесцветной жизни городишки. Точнее сказать — *оправдывало бы*, если б Заболоцкий следовал в русле народной традиции. А онто как раз и не следует ей — народной традиции не свойственно критическое отношение к душе.

Кроме того, в «Городке» есть автоотсылка Заболоцкого к другому его стихотворению, решительно влияющая на снижение образа души-птицы. Этот отсыл имеет отношение к указанию профессии, точнее — вида работы, которой занята, вероятно, Марусина мать — она *прачка*. Это указание заставляет нас вспомнить стихотворение поэта «Стирка белья» (1958). В нем Заболоцкий, связывая трудовые черты народа с благотворным влиянием на психологическое состояние человека, писал: «Благо тем, кто смятенную душу / Здесь омоет до самого дна, / Чтобы вновь из корыта на сушу / Афродитой вышла она!» В «Городке» же дана именно такая *смятенная душа*. Но, поскольку «омыть» ее девочка не может, конфликт Маруси с жизненными устоями городка приобретает уже не ситуативный характер, а философский, где в очень сложных, иногда даже противоборствующих, отношениях сплетаются экзистенция и онтология (опыт жизни души и природные законы). Но этот конфликт вполне ощутимо обозначается именно

автоотсылком, создающим подлинный авторский контекст: состояние души девочки должно оцениваться тем, что ее стремление (обратиться в птицу) стоит на *нежелании трудиться*. И, как ни странно, именно душа девочки оказывается тем уязвимым местом, слабость которого может позволить (в будущем) изуродовать человека «завистью» и «худым умислом». Душа в стихотворении представляется образом негативным, но Заболоцкий только подходит к этой мысли, но вовсе не утверждает ее. Выводы о душе, определенно коррелирующие с анализом ее особенностей, проделанном в «Городке», поэт сделает позже. А сейчас, сразу по написании этого стихотворения, он даже идет как бы вслед за логикой образа души-птицы. В «Ласточке», следующем стихотворении цикла, Заболоцкий фактически воплощает то, чего так страстно желала Маруся — его лирический герой на крыльях своей души-птицы уносится в некий «отдаленный край».

В первой строфе этого стихотворения Заболоцкий дает образ ласточки-птицы, привлекательный для его лирического героя *соразмерностью* природному мироустройству. Соответствие мере, положенной природой, отнюдь не является для ласточки состоянием комфортным; *соразмерность* не дается природой, а достигается ее познанием. Это *усилие соразмерности* у ласточки страшно поражает поэта: «... всем ветрам она перечит, // Но и силы бережет. // Реет верхом, реет низом, // Догоняет комара // И в избушке под карнизом // Отдыхает до утра». Но поражает оно Заболоцкого не столько своей внутренней гармонией, связывающей природу и птицу воедино, сколько, вероятно, отсутствием подобной гармонии в его герое. Так, во второй строфе поэт без установления ассоциативных или другого рода связей между ласточкой и душой (это говорит об автоматическом «включении» фольклорного символа птицы) отождествляет последнюю с касаткой: «Удивлен ее повадкой, // Устремляюсь я в зенит, // И душа моя касаткой // В отдаленный край летит». Отметим, что Заболоцкий «удивлен повадкой» ласточки-птицы несмотря на то, что представление о душе как о птице, укорененное в нем, должно было бы вызвать только *радость узнавания*. Удивление же вызывает то, что отклоняется от обыденной нормы — оказывается *незнакомым*. И здесь — для определения причин удивления — важное значение имеет сама норма. Мы вполне можем ее реконструировать, отталкиваясь от *у-дивительного образа* ласточки. Как это ни странно, ласточка удивляет Заболоцкого потому, что ее образ не соответствует фольклорному символу души-птицы, в данном случае и имеющему нормативное значение.

Если не вдаваться в детали, можно отметить, что душа-касатка делает фактически все то же, что и ласточка-птица. Но в как бы перевернутом виде. Так, если ласточка-птица проявляет дневную активность «и в избушке под карнизом // Отдыхает до утра», то душа-касатка — ночную: «... улетает // В заколдованную ночь». По ходу описания ночной активности души-касатки у поэта происходит трансформация разного ряда, в котором первоначально душа и находилась. Душа-касатка стремится к душе некоего

дорогого для него человека, но его душа уже не птица, а *опустелый домик*: «Но твоя душа угасла, // На дверях висит замок. // Догорело в лампе масло, // И не светит фитилек». Эта душа-домик вызывает сразу несколько ассоциаций-отсылок, которые с разных сторон контекстуализируют нормативный образ души-птицы. С одной стороны, душа-домик отсылает к возникающему в двух последних стихах *кладбищу* — тем, что, очередной раз трансформируясь, домик превращается в *домовину (гроб)*, весьма мрачно с эмоциональной точки зрения окрашивая все пространство (ночной) активности души человека. С другой стороны, душа-домик возвращает нас к *избушке*, под карнизом которой ласточка-птица «отдыхает до утра», то есть как раз проводит ночное время — время активности души-касатки. Нетрудно заметить, что часы дневной активности ласточки-птицы и ночной — души-касатки образуют суточную целостность. Это диктует нам необходимость рассматривать оба образа в их концептуальном единстве, но в своеобразной динамической последовательности состояний целого. Иначе говоря, то, что душа-касатка существует в мрачном пространстве ночи, закономерно в той мере, в какой естественен отдых ласточки-птицы. То есть ночная активность души является оборотной стороной реализма действительности, невольно, но несомненно противостоящей ей. Но в том-то и дело, что эта закономерность носит патологический характер. «Горько ласточка (имеется ввиду душа-касатка. — О.М.) рыдает // И не знает, чем помочь, // И с кладбища улетает // В заколдованную ночь», — удрученно пишет Заболоцкий. Если ласточка-птица привлекала его *соразмерностью* природному мироустройству, то образ души-касатки совсем иной. Душа-касатка воплощает собой *бессилие, одиночество* и наполненное зловещим колдовством *отчаяние*. Заболоцкий, в сущности, пытается в стихотворении переосмыслить генезис фольклорного символа, в котором народная традиция связала птицу с человеческой душой. По Заболоцкому, птица и душа связаны не отношениями метафорического тождества, а в рамках некоей трансформирующей самое себя деятельности души (заменяющей проективность антропологического развития человека), в результате которой она должна будет приобрести те качества, которые и отличают *у-дивительный образ* птицы — те качества, которые есть у проводящей в дневной созидательной заботе все свое время птицы, но нет у предоставленной самой себе человеческой души.

Выяснению вопроса о том, что же это за качества, посвящено следующее стихотворение цикла — «Петухи поют». В этом произведении Заболоцкий анализирует образ птицы (из той самой, заметим, породы, что была столь ненавистна в «Городке» девочке Марусе, — петушиной), приобретающий (определяющее для темы души) свое значение в контексте ее места в космосе, то есть в контексте проблемы ее соразмерности природному мироустройству. Хотя в «Ласточке» речь шла о человеческой душе, а в «Петухах...» — о птичьей, Заболоцкий концентрирует свое внимание на самой субстанции души. Говоря о душе петуха, поэт, естественно, обращается не к за-

крытому для человеческого понимания внутреннему миру этой птицы. Он рассматривает ее повадки — то, как ведет, что делает, в каком телесном жесте петух осуществляет свое *соразмерное* природному мироустройству поведение. В данном случае — это утреннее пение петуха: «Изменяется угол падения, // Напрягается зрение и слух, // И, взметнув до небес оперенье, // Как ужаленный, кличет петух». Заболоцкий обращается к душе птицы затем, что она (внутреннее) овнешняется именно в птичьей телесности (тропически уподобленной *циферблату часов*). В принципе, уместнее было бы говорить об осторожно намечаемой Заболоцким метафизике телесности. Однако сам поэт не просто предпочитает именовать сферу этих значений *душой*, а именно мыслит ее в рамках психологии.

Онтологическая картина бытия, как ее воспроизводит Заболоцкий в «Петухах...», отвечает той направленности его мысли о душе, согласно которой ее силовой ресурс находится за ее пределами. Так, в космосе существует некий «таинственный разум созвездий». *Таинственность* этого разума выводит поэта за пределы гуманистической проблематики, но — при всей парадоксальности этой ситуации — чрезвычайно веско заявляет нравственную. «Таинственный разум созвездий» обращен к Земле, его послания именно для нее и предназначены в качестве некоего веления. Петух фокусирует и улавливает эти послания, сообщая о них в своем утреннем пении. В чем они заключаются — это для человека остается невнятным, но какой-то отголосок этих известий до него все же доходит: петушиное пение означает, что наступает время *дневной* деятельной активности. Петух и (конкретно) его душа, являющаяся фокусом космических посланий, становятся неким мериллом времени.

Это лестное и влекущее уже концептуальные заключения историософского порядка сравнение Заболоцким души с часами не свободно, тем не менее, от его негативизма души. Так, поэт называет петушиные души *темными*. Позитивное же (по направленности в целом) значение души петуха возникает в результате овнешнения в материальной форме ее *темной* нематериальной сущности — то есть в уже упомянутом уподоблении души часам. Петухи «не бьют баклуши, // начиная торжественный зов», они трудятся — их *темная* душа не предоставлена себе самой, а наполняется работой, принуждена к ней (императивами космического разума). Труд и является той особенностью образа птицы, которая, по логике мысли Заболоцкого, лежала когда-то давно в основе фольклорной метафоры «душа-птица». А теперь, он считал, она должна повлиять на переосмысление самого понимания человеческой души.

Если в «Петухах...» посредническая роль птицы только подводила к заключению о том, что человек не имеет связи с природой, то в стихотворении «На закате» поэт уже без обиняков высказывает эту безрадостную для себя мысль. «Два мира есть у человека: // Один, который нас творил, // Другой, который мы от века // Творим по мере наших сил. // Несоответствия огромны, // И не смотря на интерес, // Лесок березовый Коломны // Не повторял моих чудес», —

писал Заболоцкий. Душа, связанная с миром, который творит человек, с симпатией описывается Заболоцким, но таким способом (с помощью негативных определений), что ее образ принимает не вполне привлекательный вид. Так, она «блуждает в невидимом», ее наполняют собственные «сказки», то есть некие далекие от действительности вымыслы. Эмоционально неполноценный образ души поэт для пущей выразительности сдобривает и прямой (антропоморфной) ущербностью: ее взор «незрячий» — она не способна видеть. Но эта неспособность не является «врожденным пороком»: она возникает из замкнутости души на себе. Поэтому созданный в стихотворении образ души можно назвать *эгоистическим*.

Образ же «внешней природы» (космоса), составляющей второй людской мир, который творил самого человека, дается Заболоцким в совершенно иных красках. Начнем с того, что он назван *нагой мыслью*. «Таинственный разум созвездий», артикулированный в «Петухах...», и является, по сути, этой *нагой мыслью*. Когда поэт говорит о *брошенности нагой мысли* «в глуши», можно предполагать, что это намек на душу, которая, запасаясь *эгоистической незрячестью*, пошла *блуждать в невидимом*, предпочитая *нагой мысли* свои собственные *сказки*. Расставшись друг с другом, душа и *нагая мысль* окунаются каждая в свое собственное одиночество. Одиночество души предстает у Заболоцкого каким-то благостным, хотя поэт не забывает о том, что это *сладодействие самообмана*. Одиночество же *нагой мысли* (выступающей, заметим, в страдательной роли, поскольку именно она оказалась *брошенной* душой) невыносимо для нее именно потому, что она «не чувствует души», она «изнемогает в самой себе», стараясь вырваться из глуши своего одиночества. *Нечувствительность нагой мысли* проистекает от невозможности ее прямого контакта с душой, ответственной, кстати говоря, за эту невозможность контакта. *Нагая мысль* устремлена навстречу душе — подает ей, как писал поэт в «Петухах...», *известия*. Однако душа часто не заинтересована в *нагой мысли*, поэтому «разум созвездий» для человека остается *таинственным*, а «известия» — *непонятными*.

Однако возобновление связи *нагой мысли* и души, возможное в нынешнем состоянии человека *только через посланца природного мира*, содержит условие, что душа имеет предрасположенность к контакту с «внешней природой». Проанализировав в стихотворении «На закате» специфику души на предмет ее взаимоотношений с «внешней природой», Заболоцкий пришел к строгому выводу, что *самостоятельно душа никогда не будет иметь такой предрасположенности*. Но что это значит: ситуация безысходна? Или все-таки есть какой-то способ ее изменить? Отвечая на эти вопросы, поэт пишет последнее стихотворение цикла, сурово и однозначно заявляя в самом названии ту центральную мысль, которую он выстрадал в тревожных предсмертных раздумьях: «Не позволяй душе лениться».

Как бы осознав состояние предоставленности души самой себе по достоинству (которое он живописал в «Ласточке»), ее непередрашенность к *нагой мысли* и эгоизм («На рассвете»), Заболоцкий безжалостно именует душу, уже не вникая в тонкие нюансы ее спе-



цифики, лентяжкой. Оппозиция понятий *лентяжка* и *обязана трудиться*, онтологически привязанная в «Не позволяй...» к душе, возникает под влиянием сделанных Заболоцким выводов в стихотворении «Петухи...». Именно там было обнаружено, что *темнота души* преодолевается помещением в нее *работы*.

В заключительной строфе стихотворения Заболоцкий начинает как бы раздвигать образ души. Присваивая ей позитивно окрашенные определения *царица*, *дочь*, дающиеся, заметим, в оппозитивных парах с *рабыней* и *работницей*, поэт сообщает душе психологически неоднозначный облик — вопреки тому, что он энергично писал о ней в пяти предыдущих строфах. Однако на самом деле Заболоцкий не раздвигает образ души, а дает его в диахронии. *Рабыня* и *работница*, с одной стороны, и *царица* и *дочь*, с другой, есть не что иное, как *именование* крайних состояний взятой в воспитание души. Именно *воспитание*, оправдывающее у поэта жесточайшее обращение с ней человека, разводит мнимосинхронную психологическую двойственность в разные стороны, очерчивающие в стихотворении диахронные временные координаты. *Бесчеловечное* (вот уж действительно парадокс!) обращение с душой необходимо для того, «чтоб жить с тобой по-человечьи // Училась заново она».

Заболоцкий визуализирует отношения человека и души в бытовых ситуациях, типичных для взаимоотношений *степняка* и *полонянки* (в этом, вероятно, влияние его цикла «Рубрук в Монголии»): «Не разрешай ей спать в постели / При свете утренней звезды, / Держи лентяжку в черном теле / И не снимай с нее узды! // <...> // ... хватай ее за плечи, / Учи и мучай до темна...» Что касается непосредственно идеи *воспитания души*, то она самым естественным способом вытекает из образа *человека-степняка*. Так, обращенных в рабынь женщин монголы делали своими наложницами, со временем они становились им женами. Кроме того, напомним, что в «Рубруке...» поэт именуется монголов *царями*, называя их «владыками без тронов и корон». Есть определенная логика, следовательно, в том, что душа, побыв *рабыней*, в конце концов становится *царицей*: для лишенного свободы раба его владетель и являет собой царя, поэтому душа, став женой царя, и входит в статус *царицы*.

Тем не менее, та нравственная система, которая впечатляюще вырисовывается Заболоцким в «Не позволяй...», не имеет к историческим монголам никакого отношения. Она вполне оригинальна и базируется на идейно-философском фундаменте тех выводов, что поэт делает в предыдущих стихах цикла о душе (вероятно, он послужил опорой и для расцветившего инновременной бутафорией самого монгольского цикла). Этическая система Заболоцкого, как это ни странно для человека, который в свое время стал жертвой репрессивного аппарата власти, может быть названа *нравственным сталинизмом*. В пользу этого свидетельствует и год от года

нараставший скептицизм Заболоцкого по отношению к душе человека, его внутреннему миру, всегда считавшемуся последним бастионом свободы, скептицизм, завершивший свое развитие горячими требованиями жесточайших (рабовладельческих) мер воздействия на душу. Лагерная лексика и идиоматика, в какой-то мере «реабилитирующая» массовый террор. Так, «поблажку» душе поэт полагерному называет *освобождением от работ*; он упоминает некие *этапы*, а этим словом в системе ГУЛага именовались пересылочные тюрьмы (отсюда выражение — «идти по этапу»); эти этапы входят у поэта в масштабную картину, являющуюся явно «реминисценцией» конвоирования охранниками заключенных в лагерь: «Гони ее от дома к дому, // Тащи с этапа на этап, // По пустырю, по бурелому, // Через сугроб, через ухаб!» Заболоцкий, в сущности, обосновывает жизненную необходимость некоего института перманентного насилия, направленного человеком на самого себя — *замаскировавшегося* (во многонаселенной телесной «государственности» человека) *врага народа*. Нравственный императив поэта характеризует этого *человека-государство* как заключенного и конвоира в едином лице. Его этическое пространство обставлено колючей проволокой запретов (тех самых *не позволяй*) и сужено до четко нормированного лагерного периметра — это этическое пространство, безусловно, противостоит духовной свободе, а не принадлежит ей.

Поэт, однако, не дошел в своем скептическом отношении к душе до выражения полного своего недоверия человеку, на которое позднее решились каждый по-своему, В. Шаламов (дневниковые записи) и Л. Леонов (роман «Пирамида») — люди, собственно говоря, одного с ним поколения. Но Заболоцкий именно потому и не сделал этого, что, в отличие от них, смог принять (несколько иначе и глубже, нежели официальные идеологи сталинизма, толкуя) сталинскую «философию жизни». Однако сильнейшее ощущение страха перед мыслью о возможной онтологической несостоятельности (и уж безусловно точно — не возможной, а действительной ущербности) человека и определило суровость этической направленности поздних стихов Заболоцкого, гуманистической только в специфически сталинском понимании этого слова. (Здесь, кстати говоря, уместно будет напомнить, что перед своей смертью поэт планировал создать некую поэму о И. Сталине: что получилось бы из этого замысла — неизвестно, но уж точно, что не «Реквием» и не «По праву памяти».) Речь, конечно, идет не о «юридическом» оправдании Заболоцким репрессий 30-х годов, а о мировоззренческом приятии сталинской «философии жизни», выцеженной в процессе историософского осмысления (для поэта, вне всякого сомнения, системно-многоаспектного) культурно-исторического опыта советского времени (то есть, по сути, его собственной жизни).

## ПРИМЕЧАНИЕ

1. Все тексты произведений Н. Заболоцкого («Некрасивая девочка», «Стирка белья», «Городок», «Ласточка», «Петухи поют», «На закате», «Не позволяй душе лениться») даются по изданию: Заболоцкий Н. А. Собрание сочинений: В 3 т. М., 1983. — Т. 1. — С. 273, 308, 317-320, 323-325.

## ПРИНЦИП СООТВЕТВИЯ ГЕРОЯ И МИРА КАК ЭТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА В РОМАНЕ В.В. НАБОКОВА «ЛОЛИТА»

Я.В. Погребная  
Ставрополь

Интервьюер журнала «Парис Ревью» Герберт Голд в октябре 1967 вполне естественно начинает беседу с Владимиром Набоковым, которого публика знает, в первую очередь, как автора «Лолиты», романа, тогда, сразу после публикации, воспринимаемого как скандальная сенсация, с вопроса о моральном содержании книги. «Отношения между Гумбертом Гумбертом и Лолитой, на ваш взгляд, являются глубоко аморальными», — с этого утверждения интервьюера начинается диалог (11, с. 241). Однако ответ Набокова сразу же переводит разговор в иную плоскость: «Нет, это не *мой* взгляд отношения Гумберта Гумберта с Лолитой являются глубоко аморальными: это взгляд самого Гумберта. Ему это важно, а *мне* безразлично. Меня не волнует общественная мораль в Америке или где бы то ни было» (курсив автора) (11, с. 242). Вместе с тем, спустя некоторое время в том же интервью Набоков, опровергая определение Гумберта, как «испорченного художника», который имеет «трогательные и яркие черты», дает своему герою следующую исчерпывающую характеристику: «Гумберт Гумберт — пустой и жестокий негодяй, которому удастся казаться «трогательным». Этот эпитет, в его точном душещипательном смысле, может относиться только к моей бедной девочке» (11, с. 242).

Оценка, данная персонажам книги, «пустой и жестокий негодяй», «бедная девочка», находится в границах этики, не затрагивая параметров эстетических. Определение «бедная девочка» по отношению к Лолите можно считать постоянным: оно повторяется и в частном письме («с тех пор, как моя бедная девочка меня кормит»), и в стихотворении «Какое сделал я дурное дело». Гумберт, неоднократно называясь то поэтом («Поэты не убивают» — 9, т. 2, с. 112), то «художником и сумасшедшим» (9, т. 2, с. 27), признает себя если не негодяем, то виновным и глубоко отвратительным, создавая, например, такой автопортрет: «Но ведь я всего лишь Гумберт Гумберт, долговязый, костистый, с шерстью на груди, с густыми черными бровями и странным акцентом, и целой выгребной ямой, полной гниющих чудовищ, под прикрытием медленной мальчишеской улыбки» (9, т. 2, с. 59). В.Е. Александров подчеркивает, что «Набоков сознательно делится частью своего писательского гения с повествователем, который едва ли не во всем остальном заслуживает осуждения» (1, с. 195). В одном из интервью В. Набоков определил «Лолиту» как «нравственное произведение», основывая свое заключение на том моральном прозрении и раскаянии, которые переживает Гумберт (12, с. 202).

Итак, моральный нигилизм, высказанный в одном интервью, по-видимому, опровергается и самим строем романа и последующими автокомментариями. Однако возникшее противоречие существует только в аспекте отношения частного к общему: значение имеют не общепринятые моральные нормы и правила, а только те, которые проактуализированы в художественном мире романа и в

частных судьбах его героев. Первичным в философии Набокова выступает не этическое, а эстетическое начало, и не выраженность или частичная выраженность последнего определяет отношение героя, поступка или текста в целом к первому. Бездарный роман, трафаретный фильм глубоко аморальны, какие бы моральные ценности в них не утверждались.

Убедительной иллюстрацией принципиальной индивидуализированности, сугубой частности этических проблем героев выступает отделенность, а нередко и противопоставленность впечатлений Гумберта общедоступным и всем предписанным. Герои-путешественники Набокова, выступающие двойниками автора, сознательно игнорируют общедоступные туристические красоты. Путешествуя по Америке с Лолитой, Гумберт для нее выбирает в путеводителях достопримечательности, отмечая в скобках — «слоновое слово» (9, т. 2, с. 192), ориентируясь на ее трафаретно-журнальное восприятие мира, а сам замечает в открытом для всех и общеизвестном произведении искусства или исторической реликвии видимое только ему — «след ноги английского писателя Р.Л. Стивенсона на потухшем вулкане» (9, т. 2, с. 195), или «апрельские горы с шерсткой по хребту, вроде как у слоненка; горы сентябрьские, сидящие сидья, с тяжелыми египетскими членами» (9, т. 2, с. 193). Этот процесс индивидуализации всеобщего Набоков характеризует как «внезапное потрясение сознанием бытия» (7, с. 115). Самоценность, суверенность восприятия действительности обеспечивает конгенитальность созерцающего субъекта и созерцаемого объекта, открывающую непосредственную поэзию бытия, присущую его предметному составу, включающему и «object of art».

В тезаурусе В. Набокова творческое воссоздание и пересоздание мира выступает выражением сугубо индивидуального, неповторимо личностного восприятия мира, основанного на двух принципах: конкретизации предметного состава бытия и способности наделить вычлененные детали парадигмой, одно впечатление от вещи, то ее качество, которое определяется данным состоянием места и времени, соотносится с другими, возможными при другом состоянии внешней реальности или в реальности внутренней, сохраненной в памяти и переданной воображению.

Гумберт, впервые увидевший Лолиту, оживляет в ней свое бывшее, но сам не становится прежним. Это несоответствие ощущается самим Гумбертом, который проходит мимо Лолиты «под личиной зрелости», по собственному определению (9, т. 2, с. 53). Гумберт становится отцом, сохраняя временную дистанцию между собой и Лолитой, но не становится сверстником, другом и соучастником. Хотя именно ему Лолита поверяет сначала свои секреты о связи с Чарли, о проделках в летнем лагере. Но позже Лолита постоянно скрывает от Гумберта свои мысли, чувства и намерения, как скрывала

их от Шарлотты. Еще до смерти Шарлотты герой сообщает, что Лолиту «привык считать своим ребенком» (9, т. 2, с. 103). Ожидая первого соединения с ней, Гумберт называет Лолиту своей «невозможной дочерью» (9, т. 2, с. 162). Взрослый Гумберт, к тому же считающий себя отцом, вторгается в пределы детского мира, совершает то же, чем занимаются дети, но статус отца и привилегии зрелости за собой сохраняет, как и право решать судьбу ребенка.

Гумберт отчаянно пытается найти оправдание своим действиям, находя примеры официально разрешенных в США ранних браков (в журнале из тюремной библиотеки говорится о якобы «стимулирующих климатических условиях в Сент-Луи, Чикаго и Цинциннати», в которых «девушка достигает половой зрелости в конце двенадцатого года жизни», «а Долорес Гейз родилась менее, чем в трехстах милях от стимулирующего Цинциннати» — 9, т. 2, с. 167), вспоминает герой и о дозволенном, например, сицилийцами сожителстве между отцом и дочерью и заключает: «Я только следую за природой. Я верный пес природы. Откуда же этот черный ужас, с которым я не в силах справиться?» (9, т. 2, с. 167-168). Гумберт не лишил Лолиту девственности, он даже не был первым ее любовником, но вошел в тайный мир подростков, на чужую территорию, не изменившись качественно, да и количественно: Лолита не учла «некоторых расхождений между детским размером и моим» и «только самолюбие не позволяло ей бросить начатого» (9, т. 2, с. 166). Мир подростков живет своей обособленной, тайной жизнью, подробности которой открываются Гумберту только после того, как он стал любовником Лолиты, хотя признание Лолита готова была совершить раньше, чувствуя в Гумберте доверенное лицо, человека, относящегося к ней по-иному, не так, как все взрослые, но, пока не предполагая, в чем эта разница состоит. Уже засыпая от пилули снотворного, Лолита пытается рассказать Гумберту главное о своей жизни в лагере: «Если я тебе скажу... если я тебе скажу, ты мне обещаешь... обещаешь не жаловаться на лагерь? ... Ах, какая я была гадкая... Дай-ка я тебе скажу» (9, т. 2, с. 153).

Позже Гумберт узнает и о Чарли, и о том, что для Лолиты «чисто механический половой акт был неотъемлемой частью тайного мира подростков, неведомого взрослым. Как поступают взрослые, чтобы иметь детей, это ее совершенно не занимало» (9, т. 2, с. 165). Все взрослые, включая сначала и самого Гумберта, пребывают в блаженном, наивном неведении относительно того, как живут и чем занимаются подрастающие дети. Сам Гумберт, иронически называя себя «Жан-Жак Гумберт» (9, т. 2, с. 154), был абсолютно уверен в непорочности Лолиты. Начальница Бердслейской гимназии наставляет Гумберта, сообщая следующее: «У нас у всех впечатление, что в пятнадцать лет Долли, болезненным образом отстав от сверстниц, не интересуется половыми вопросами...» (9, т. 2, с. 240). Из больницы Долли отпускают с дядей Густавом, причем, никто не сомневается в том, что Гумберт —

отец, а Куильти, похитивший Лолиту, — ее дядя. Мир подростков закрыт для взрослых, отделен непреодолимой возрастной дистанцией, и Гумберт на горе себе и Лолите входит в мир, к которому уже никогда не сможет принадлежать. В письме к П. Ковичи Набоков указывал: «Лолита» — трагедия... Трагическое и непристойное взаимоисключают друг друга» (4, с. 206). Гумберт трагически не соответствует миру подростков, Долли — миру взрослых. Именно это несоответствие выступает источником трагической вины Гумберта, требующей наказания, раскаяния и искупления.

В послесловии к роману, обозначая «нервную систему книги», Набоков указывает и на эпизод, когда Лолита «как на замедленной пленке» поступает к подаркам Гумберта (9, т. 2, с. 384). Несоответствие внешнего облика Лолиты, тому, который Гумберт создает в воображении, обнаруживается уже в том, что ни одна из обновок ей не подходит, хотя Гумберт был уверен, что знает Лолиту лучше Шарлотты, которая, приводя размеры Лолиты, как считает Гумберт, «прибавила где лишний дюйм, где лишний фунт», «движимая смутными побуждениями зависти и антипатией» (9, т. 2, с. 134). В результате один костюм оказывается Лолите тесен, другой велик, и она «надела вчерашнее платье» (9, т. 2, с. 171). Покупку «прелестных обнов» для Лолиты Гумберт орнаментирует четверостишием, рефлексия первых строк которого кодируется двояко: в них оживает и литературная традиция любви, зародившейся в детстве и пронесенной через всю жизнь, и сугубо личные воспоминания Гумберта о первой Лолите — Аннабелле Ли (в стихотворении названной именем Вирджинии, юной возлюбленной Э. По), при этом заранее актуализируется чрезвычайно важный для героя мотив оправдания:

*Полюбил я Лолиту, как Вирджинию — По,  
И как Данте — свою Беатриче...*

Вторые две строки:

*Закружились девчонки, раздувая юбочки:*

*Панталончики — верх неприличия!*

(9, т. 2, с. 134)

— знаменуют перемещение во времени: из прошлого, как всеобщего, маркированного в качестве художественного, так и из индивидуального, с всеобщим непосредственно соотнесенного и выраженного его языком, в настоящее, из мира поэзии и фантазии в реально-бытовую плоскость покупок и размеров. Ироническая антитеза двух частей катрена обнажает не только контраст быта и бытия Гумберта, но и трагическое несоответствие взрослого героя миру детей, в который он вступает, не изменяясь ни количественно, ни качественно, и не менее трагическое несоответствие Лолиты и Аннабеллы, реализованное на всех уровнях смысла, прежде всего по отношению к Гумберту, как внешнему возрастному, так и внутреннему.

В конце предсмертной своей исповеди Гумберт возвращается к теме, прозвучавшей в катрене, обозначая область «единственного бессмертия», которое он может разделить с Лолитой, как «предсказание в сонете», «спасение в искусстве» (9, т. 2, с. 376).

Сонет как форма гармоничного и исцеляющего инобытия незримо ткется уже за пределами последней написанной Гумбертом страницы. Роман «Дар» завершён сонетом, не разбитым на сегменты-строки, таким образом, будто бы продолжающим прозаическую речь: «...продленный призрак бытия синееет за чертой страницы, как завтрашние облака, — и не кончается строка» (8, т. 3, с. 330). В «Предисловии к английскому переводу романа «Дар» («The Gift») Набоков замечал: «Интересно, как далеко воображение читателя последует за молодыми влюбленными после того, как автор отпустил их на волю» (6, с. 50). Стихотворная речь, сменяя прозаическую, трансформирует повествование в иную реальность, не локализованную и не материализованную нигде, пребывающую только в воображении автора и читателя. В сонете «Страна стихов» (1924), поэтическая реальность вынесена за рамки земного бытия и локализована на особенной планете, «где не нужен житейский труд», где в качестве разменных монет выступают рифмы и сонеты, «где нам дадут за рифму целый ужин (и целый дом за правильный сонет» — 7, с. 376). Сонетная форма в поэтической системе Набокова выступает как высшее и наиболее полное выражение поэзии, как квинтэссенция выразительных возможностей стихотворной речи. Именно поэтому переход из мира бытового и обыденного в реальность искусства, область воображения и чистого вымысла ознаменован трансформацией прозаической речи в стихотворную, обличенную к тому же в форму сонета.

Роман «Лолита» окружен поэтическим эхом: стихотворениями «Лилит» (1925) и «Какое сделал я дурное дело» (1959), пересоздающими языком поэзии определенные эпизоды романа. В конце романа Гумберта посещает видение, а точнее мелодия из иного мира, — мелодия рая, поднимающаяся со дна «ласковой пропасти» и не принадлежащая расположенному там шумному «горнопромышленному городку». Эта райская мелодия «составлялась из звуков играющих детей, только из них», и Гумберт, вслушивающийся в эту «музыкальную вибрацию, эти вспышки отдельных возгласов на фоне ровного рокотания», с полной ясностью осознает, что его вина, не покидающий его «пронзительно-безнадежный ужас» состоят не в том, что Лолиты нет с ним рядом, а в том, что «ее голоса нет в этом хоре» (9, т. 2, с. 374). В стихотворении «Лилит» убитый вчера и попавший в иную реальность герой оказывается в мире, населенном только детьми. Герою кажется, что он обретает утраченный рай, который в этической системе Набокова воплощается в мире детства. При этом сам герой, попадая в качественно иную реальность, не меняется:

*И вот теперь, в том самом фраке,  
в котором был вчера убит,  
с усмешкой хищною гуляки...  
(7, с. 251)*

Дети, окружающие героя — взрослого «гуляку», — воспринимаются им не как дети, а как фавны, а девочка в дверях — как ожившее эротическое виде-

ние из юности: «И вспомнил я весну земного бытия, ... как дочка мельника меньшая шла из воды, вся золотая...» (7, с. 251). Несоответствие героя обретенному раю, а именно так в начале стихотворения определяется им новый мир, открывшийся после смерти, приводит к трансформации рая в ад: двери Лилит закрываются перед ним и на улице окружают «мерзко блеющие дети». Та же амбивалентность рая и ада присуща и замечанию Гумберта: «невзирая на ее гримасы, невзирая на грубость жизни, опасность, ужасную безнадежность, я все-таки жил на самой глубине избранного мной рая — рая, небеса которого рдели как адское пламя, — но все-таки, рая» (9, т. 2, с. 206).

Дистрибуция мира детства, начала пути в эстетике и этике Набокова двояка: в аспекте временном это мир прошлого и памяти, в аспекте пространственном — область, локализованная внизу на первой ступени лестницы («Лестница»), у подножия горы («Мы с тобою так верили»). Мелодия детского рая долетает до Гумберта снизу, свое собственное место в раю-аду Гумберт определяет как «самую глубину». Пространственная дистанцированность детского рая в начале романа принимает символическое выражение в образе «очарованного острова» нимфеток: «острова замороженного времени, где Лолита играет с ей подобными» (9, т. 2, с. 26). Возраст нимфетки — 9-14 лет — образует внешние, «зримые очертания» этого острова, который «окружен широким туманным океаном» (9, т. 2, с. 26). Временные характеристики символически выражаются в форме пространственных. Гумберт отменяет дистанцию, не преодолевая ее — в мире нимфеток и фавнов он не фавенок, влюбленный в Аннабеллу, он входит в него «под личиной зрелости (в образе статного мужественного красавца, героя экрана)» (9, т. 2, с. 53), в том обличии, в котором впервые предстал перед Лолитой. Более того, герою кажется, что его нынешняя мужественная красота, о которой Гумберт не раз напоминает на протяжении романа, должна привлечь девочку Долорес. Несоответствие героя миру — метатема набоковской прозы, варьируемая в сюжетных приемах смены формы («Соглядатай») или места бытия («Приглашение на казнь»). Стихотворение «Лилит» акцентирует ключевой мотив романа: несоответствия взрослого героя миру детского рая, им же для себя избранного, как источника трагической вины героя. Искупление вины приводит к трансформации рая в ад.

Стихотворение «Какое сделал я дурное дело» продолжает диалог с читателем, ведущийся в романе. Образ Лолиты, созданный Гумбертом, динамичный, ускользающий, возвышенный поэтическими аналогиями, находится в явном противоречии с реальным образом Долорес Гейз, о которой Шарлотта говорит следующее: «Моя капризница видит себя звездочкой экрана, я же вижу в ней здорового, крепкого, но удивительно некрасивого подростка» (9, т. 2, с. 83). Воспевая свою Лолиту, Гумберт огорчивается, обращаясь к почтенным членам общества: «заслуженному репортеру по уголовным делам», «старому и важному судебному приставу»,

«некогда всеми любимому полицейскому», «оставшему профессору, у которого отрок служит в чтецах»: «Нехорошо было бы, правда, ежели по моей вине вы безумно влюбились бы в мою Лолиту!» (9, т. 2, с. 166). Подчеркивая, что он не виновен в убийстве Шарлотты и не мог бы совершить этого убийства, Гумберт говорит от первого лица во множественном числе: «Мы не половые изверги! Подчеркиваю — мы ни в коем смысле не человекоубийцы. Поэты не убивают» (9, т. 2, с. 111-112). Приводя критические отзывы на роман Набокова, Н. Берберова воспроизводит и такой: «Необыкновенная книга, неотвязная, страшная. Дьявольский шедевр» (2, с. 304). В первой строфе стихотворения создается образ «бедной девочки», постепенно перерастающий в дьявольское наваждение:

*Какое сделал я дурное дело,  
и я ли развратитель и злодей,  
я, заставляющий мечтать мир целый,  
о бедной девочке моей.*  
(7, с. 287)

Очарование Лолиты губительно: в начале романа Гумберт называет нимфетку «маленьким смертоносным демоном в толпе обыкновенных детей» (9, т. 2, с. 27), тема Лолиты переплетается в романе с темой Кармен, темой смертоносной любви. Воспоминания о своей первой любви к Анабелле, трагически предопределившей будущую жизнь, Гумберт сравнивает с отравой, оставшейся в ране (9, т. 2, с. 27). Образ Лолиты, переживающий в стихотворении метаморфозу из «бедной девочки» в губительное наваждение, развивается через те же концептуальные приметы демонизма и отравы, примененные уже не к судьбе героя, а к судьбе читателей:

*О, знаю я, меня боятся люди,  
и жгут таких, как я, за волшебство,  
и, как от яда в полом изумруде,  
мрут от искусства моего.*  
(7, с. 287)

Отвечая на вопросы журнала «Плэйбой», Набоков согласится с тем, что Лолита затмила другие его произведения, написанные по-английски, но добавит при этом: «... но я не могу осуждать ее за это. В этой мифической нимфетке есть странное нежное обаяние» (11, с. 233). Действие романа продолжается за пределами созданного в романе мира, причем благодаря этой нелокализованности вымышленного мира, его неидентифицированности по отношению к конкретному носителю (автору-герою-читателю) обретается гарантия качественного перемещения во времени и пространстве не только героя, но и автора. Стихотворение завершается образом тени от «русской ветки» на «мраморе руки» автора-изгнанника:

*Но как забавно, что в конце абзаца,  
корректору и веку вопреки,  
тень русской ветки будет колебаться  
на мраморе моей руки.*  
(7, с. 287)

В конце романа главную свою вину, «пронзительно-безнадежный ужас» Гумберт находит не в убийстве Куильти, в котором не раскаивается, не в растлении малолетней девочки, первым любовником которой он не был, а в том, что со дна «ласковой пропасти» среди звуков музыки, составляемой из криков и голосов играющих детей, не доносится голоса Лолиты (9, т. 2, с. 374). Отчасти поэтому Лолита, лишенная того, что в том или ином виде должно было ей принадлежать — детства, счастливого, или заурядного, несчастного, но детства, обособленного от мира взрослых, отвечает Гумберту, что скорее вернулась бы к Куильти. На ранчо Куильти были «и девочки, и мальчики, и несколько взрослых мужчин» (9, т. 2, с. 338-339), поэтому Лолита оказалась отчасти в среде себе подобных, равных в возрастном отношении.

Встречая Лолиту в лагере, Гумберт и сам на миг готов отказаться от своих намерений, вместо двойственной роли отца и любовника выбрать исключительно роль отца, дать Лолите «порядочное образование, здоровое, счастливое детство, чистый дом, милых подружек» (9, т. 2, с. 139), но через мгновение осунувшаяся и подурневшая Долорес опять преобразуется взором воображения и памяти в Лолиту, становясь нимфеткой, а не осиротевшим ребенком. Уже после первого обладания Лолитой Гумберта посещает ощущение непоправимости, сидящему в машине рядом с Лолитой герою казалось, словно он «сидел рядом с маленькой тенью кого-то, убитого мной» (9, т. 2, с. 173). В Долорес убит ребенок, внезапно оборвано ее детство, из рядовой американской школьницы она превращена в нимфетку, «маленького, смертоносного демона» (9, т. 2, с. 27). Жизнь Долли-ребенка в детстве закончена, и начинается томительное заключение Лолиты в области, которую можно определить как «минус-детство» или антидетство.

Антидетство не локализуется в пространстве, не фиксируется во времени, это мир пустоты, в котором личность утрачивает тождественность себе, обретая время, пространство и себя, лишь достигнув официально зарегистрированного зрелого возраста. Именно этого взросления с ужасом ожидает Гумберт, видя в нем утрату Лолиты, которая перестанет быть нимфеткой: «... 1 января ей стукнет тринадцать лет. Года через два она перестанет быть нимфеткой и превратится в «молодую девушку», а там — в «колледж-гэрл», т.е. «студентку» — гаже чего трудно что-либо придумать» (9, т. 2, с. 84). Хотя в конце романа, прощаясь с Лолитой, Гумберт понимает, что любит взрослую Долорес Скиллер, «бледную и оскверненную, с чужим ребенком под сердцем» (9, т. 2, с. 340).

Область антидетства противоположна детству не по характеристикам качественным: большей или меньшей степени понимания и любви со стороны родителей, большей или меньшей степени благополучия, большей или меньшей степени поэтичности. Антидетство означает прекращение детства во время детства, которое, однако, не компенсируется преждевременной зрелостью: детство отменяется и во времени образуется пустота, ребенок пе-

рестает быть ребенком, но при этом не становится взрослым и не уходит в небытие. Личность утрачивает процессуальность, перестает быть тождественной самой себе, «я» трансформируется в сюжет, в череду событий, навязанных волей взрослого, живущего в мире детей, но остающегося взрослым. Гумберт предлагает Лолите эпический сюжет романа-путешествия, а Куильти — драматический сценарий, роль в драме или фильме. Нимфетка Гумберта теряет собственное имя, вместо Долорес Гейз становясь Лолитой или воскресшей Анабеллой, теряет реальность бытия, теряет настоящее, еще не имея его компенсации в виде минувшего. Именно той начальной поры, которая должна быть способом преодоления настоящего через образы, сохраненные памятью и переданные воображением, Гумберт и лишает Лолиту. Утрату самоидентичности, имени и настоящего Ж. Делез классифицирует как «чистое становление», при котором личность растворяется в событии, или «приключениях», «когда имена пауз и остановок сменяются глаголами чистого становления и соскальзывают на язык событий» (5, с. 15). Личность героини трансформируется в сюжет ее совместного путешествия с Гумбертом, ее реальность вытесняется образом, созданным Гумбертом.

Антидетство в художественном космосе Набокова, пользуясь предложенной терминологией, — область события, «чистого становления», связанного с утратой самоидентичности личности, область, ничем содержательно духовным, индивидуально значимым не заполненная, в то время как детство — «измерение ограниченных и обладающих мерой вещей, измерение фиксированных качеств» (5, с. 13), т.е. мир, фиксированный во времени, локализованный в пространстве, закрепленный за конкретным обладателем.

Отчужденность набоковского героя от детства означает для него необратимость времени, невозможность возвращения в былое, локализованное в точке пространства или сохраненное в памяти. Долорес Гейз только однажды вспоминает свое «догумбертовское детство», то есть возвращается к тем изначальным впечатлениям, причастность к которым сообщает бытию непрерывность и возможность эстетизации. «Когда я была совсем маленькая, — неожиданно добавила она, указывая на одометр, — я была уверена, что нули останутся и превратятся опять в девятки, если мама согласится дать задний ход», — говорит Лолита (9, т. 2, с. 269). От пронизательного Гумберта не укрылась уникальность замечания Лолиты, которая «первые, кажется, ... так непосредственно припоминала свое догумбертовское детство» (9, т. 2, с. 269). Вместе с тем, «задний ход» в жизни Лолиты невозможен не по законам физики, а по законам набоковской эстетики: героиня лишена детства в воспоминаниях. Поэтому Гумберт, обвиняющий себя в конце романа в том, что он лишил Лолиту детства, фактически отнимает то, чего Лолита никогда не имела — поэзии детства. Этим объясняется и последнее обещание Гумберта принести Лолите бессмертие, то есть возможность возвращения, че-

рез свою тюремную исповедь: «Говорю я о турах и ангелах, о тайне прочных пигментов, о предсказании в сонете, о спасении в искусстве. И это — единственное бессмертие, которое мы можем с тобой разделить, моя Лолита» (9, т. 2, с. 376). Однако обещание Гумберта обращено к Лолите, им созданной, а не к реальной Долорес Гейз, позже — миссис Ричард Ф. Скиллер. Примечателен сам по себе тот факт, что Долорес даже не пыталась вернуться ни в Писки, город своего детства, ни в Рамздэль, в дом матери. Невозможность движения назад во времени оборачивается в физической реальности невозможностью движения в связанное с былым пространство. Только единожды приведенное в романе воспоминание Лолиты о раннем детстве своим содержанием подчеркивает эту необратимость времени и невозможность обратимости пространства, как его прямого следствия.

Герои, детство которых не воссоздано автором, которых Набоков не наделил богатством своих детских впечатлений, обречены на гибель: преодоление времени для них исключается, своего пространственного центра, выступающего одновременно и центром времени, они не имеют. В романе «Камера обскура» описание жизни Кречмара начинается с истории его юности. Герой, отчужденный от детства, не способен преодолеть собственную духовную слепоту, которая обращается затем слепотой физической. Кречмара отвозят в деревню, затем Макс перевозит его в свой дом, назад в свою квартиру герой вернуться не может. Приходит в свой прежний дом Кречмар не для того, чтобы жить в нем, а для того чтобы убить Магду. Отсутствие детства равнозначно отчуждению героя от истины, его нравственной слепоте. Невозможность возвращения в былое пространственно синонимична утрате жизни: Кречмар сначала слепнет, затем совершает преступление и сам оказывается жертвой. В романе «Отчаяние» Герман фальсифицирует свое детство, придумывая два взаимоисключающих образа своей матери: то изысканной дамы, то грубой мещанки. Неопределенность начала пути героя выступает сюжетопорождающей моделью для всего романа: Герман придумывает себе двойника (сходство с которым весьма приблизительно на самом деле), которого убивает, обрекая тем самым на гибель себя. Отчуждение от детского имени, дома, деревни губительно для гроссмейстера Лужина, который, потеряв детство, теряет свободу, становясь заложником и жертвой своего шахматного гения.

В романе «Камера обскура» Магда наделена некоторым детством, которое, однако, уместается всего на нескольких страницах и характеризуется подчеркнутым внешним, объективно авторским, отстраненным повествованием об основных его событиях. События эти выделяет автор, как значимые для понимания образа героини, а не сама Магда, выделяющая в своем раннем детстве нечто принципиально дорогое для себя. Пространственно Магда вполне может вернуться на улицу своего детства и на протяжении романа дважды возвращается в этот мир. Сначала, чтобы продемонстриро-

вать матери меховое пальто и сразу же снова уехать на машине. Второе возвращение более длительно и менее прагматично. Магда возвращается от своего любовника Горна и, дойдя до площади, «как всегда подумала, а не взять ли направо, потом сквер, потом опять направо... Там была улица, где она в детстве жила» (10, т. 3, с. 343). Магда находит, что улица не изменилась, но не решается не то чтобы войти, просто подойти ближе к дому, где она родилась, «смутно опасаясь чего-то» (10, т. 3, с. 343). Важен не столько поверхностный взгляд Магды, не узнающей тех деталей и мельчайших подробностей быта ее родной улицы, которые не могли не измениться, сколько побуждение устремления к былому: «Счастье, удача во всем, быстрота и легкость жизни... Отчего и в самом деле не взглянуть?» (10, т. 3, с. 343). Путь в прошлое связан с преодолением, переустройством себя и мира, достижением невозможного: недаром Лолита мечтает о том, что нули обратятся в девятки, если машина даст задний ход. Магда перемещается только в пространстве, поэтому и не видит того мира, который не помнит: приходя фактически и физически на улицу своего детства, метафизически, эстетически она в мир детства не попадает и не может попасть. Поэтому Магда не пытается приблизиться к центру пространства прошлого — дому, где началась ее жизнь.

Пространственное отчуждение героев от своего изначального мира, невозможность возвращения к нему во времени и пространстве подчеркнута любопытной метафорой в романе «Камера обскура». Пришедший, чтобы повстречать Магду, Кречмар отдалается от нее, чтобы приблизиться: «...она ...перешла к нему, на ту сторону. Он двинулся, уходя от нее, как только заметил ее приближение» (10, т. 3, с. 270). Магда, придя на улицу своего детства вместо того, чтобы приблизиться к родному дому, «повернула и тихо пошла назад» (10, т. 3, с. 343). Для человека, отчужденного от начала, лишеного путей к нему в физическом пространстве и метафизическом пространстве времени, утрачивают реальность пространственные ориентиры далекого — близкого, движения в сторону или навстречу. Пространственный мир искажается, утрачивает центр. Пространство из обозримого в памяти протяженного пути во времени превращается в прагматический мир расстояний и названий, отчужденный от человека, не индивидуализированный его наблюдением и сохранностью в памяти.

Метафизическая концепция непрерывности бытия в тезаурусе В. Набокова реализуется в концептуализации детских впечатлений героев как их потенциальной способности к самодвижению и саморазвитию. Герои, лишённые детства, отчуждены от кругового движения во времени-пространстве, от способности эстетизировать бытие и, таким образом, трансцендироваться за пределы одной материально-личной, всеобщей реальности. Асинхрония же героем времени внешнего, линейно текущего посредством слова, означает открытие своего хронотопа, характеризуемого подвижностью и обратимостью его пространственно-временных характеристик.

Этой способностью к трансцендированию бытия, пересечению границ внешнего мира наделяет Гумберт, которого интервьюер вполне справедливо назвал «испорченным поэтом». В.Е. Александров, анализируя знаменитую сцену на тахте, приходит к выводу, что Гумберт «пересекает границы здешнего мира — но только путем чисто солипсистским: «Реальность Лолиты была благополучно отменена» (9, т. 2, с. 77), и, стало быть, он не видит ее такой, какова она есть» (1, с. 198). Прозрения Гумберта никогда не бывают полными, до конца состоявшимися настолько, чтобы преодолеть границы внешних времени-пространства. Гумберт поразительно наблюдателен и поразительно слеп одновременно: он, едва взглянув на мужа Лолиты (глухота которого отражает его собственную слепоту), понимает, что «это не тот, который ... нужен» (9, т. 2, с. 331), т.е. не тот, кто сумел похитить у него Лолиту, но вплоть до признания Лолиты, он даже не догадывается, кто это, чем вызывает удивление Лолиты.

Само узнавание Лолиты, обретение утраченной любви связано с роковой ошибкой, неправильным истолкованием знаков судьбы. Гумберт, переживает исчезновение четверти века жизни, увидев Долорес: «Четверть века, с тех пор прожитая мной, сузилась, образовала трепещущее острие и исчезла» (9, т. 2, с. 53). Гумберт совмещает образ былого с настоящим через узнавание метины, следа: герой открывает взором памяти детали, сокрытые для взгляда из конкретного момента настоящего: «Черный в белую горошину платок, повязанный вокруг ее торса, скрывал от моих постаревших горилловых глаз — но не от взора молодой памяти — полуразвитую грудь...», герой видит и узнает «темно-коричневое родимое пятнышко у нее на боку» (9, т. 2, с. 53). Однако узнавание, совмещение одной личности с другой («это было то же дитя», «все, что было общего между этими двумя существами, делало их едиными для меня» — 9, т. 2, с. 53) чревато роковым заблуждением, возможностью ошибки.

Обещая Лолите «единственное бессмертие», которое она может разделить с ним, Гумберт говорит о **тайне прочных пигментов**, о предсказании в сонете, о спасении в искусстве» (курсив мой. — Я.П.) (9, т. 2, с. 376). Однако космическая синхронизация прошлого и настоящего через узнавание примет — одной и той же родинки на боку — глубоко ошибочна не только потому, что Лолита не Анабелла, но и потому, что Гумберт предстает перед ней «под личиной зрелости» (9, т. 2, с. 53), он не тождествен себе в ранней юности. Смысл «следа» истолкован неверно, и эта подмена Долорес Анабеллой или Лолитой выступает началом трагедии. Земное время, земные явления, искажают знаки вечности, выделяя в их смысловом составе элементы, не соотносимые с вечностью. Аберрация исходит и от самого реципиента, не всегда в полной мере наделенного способностью и волей преображения. Гумберт на протяжении романа не раз приближается к восприятию космической синхронизации единовременных явлений (капля дождя одновременно падает на руку Гумберту и на могилу Шарлотты), но не осознает значения совпадений.

В романе «Ада» перед нами ситуация, обратная «Лолите»: первая и последняя, окончательная встреча героев тоже ознаменована сличением примет: одинаковые родинки на руках юных героев («на левой ее кисти имелась точь-в-точь такая же крохотная бурая родинка, которая метила его правую руку» — 9, т. 4, с. 104) едва различимы потом среди пятен старости («их общее бурое пятнышко почти затерялось между старческих крапин» — 9, т. 4, с. 536). Метины на руках героев создают эффект зеркального отражения. «След», указывающий на участие судьбы и вечности, очевидный в начале пути героев, выступающий в статусе символа их нерасторжимого единства, противопоставлен метинам-симулякрам, «следам» ложным, указывающим не на вечное, а на настоящее — старость героев.

В романе «Смотри на арлекинов!», в котором развивается неверный, протекающий на Анти-Терре вариант собственной судьбы автора, первый метатекстовый фрагмент представляет текст стихотворения «Влюбленность», завершающегося строками:

*Напоминаю, что влюбленность  
не явь, что метины не те,  
что, может быть, потусторонность  
приотворилась в темноте.  
(9, т. 5, с. 120)*

Обманчивость примет, а точнее — их истолкования, ведет к открытию не своей, чужой и чуждой, мучительной вечности и, следовательно, проживания такой же мучительной, не своей жизни. Обманчивость и неоднозначность выступают неотчуждаемыми признаками «следа», искажаемого земным временем, земным носителем, локализованным в настоящем, земным восприятием. Верная примета, символ вечности присутствует в настоящем одновременно с симулякрами вечности, ложными «следами». Но «след» отличает константность, принципиальное тождество самому себе, рекуррентность к моменту впечатления: «след»-символ направлен назад, в глубину, «след»-симулякр прочитывается синхронически.

Ж. Бодрийяр указывает на множественность симулякров, направленных на деконструирование или самоотражение (3, с. 150). Набоковский «след» не совпадает с деталью, вычлененной из потока линейного времени и лишенной пространственной локализации, «парадигматически склоняемой по падежам» (3, с. 150) или раздваивающейся и распадающейся на множество составляющих, «умножаемой» на себя. Из таких деталей слагается художественный мир Набокова, но не они наделяются качествами «следа», не выводя за пределы земных времени и пространства. Деталь, подробность бытия подвержена изменению, «след» означает константу, некоторый постоянный, рекуррентный, тождественный себе образ-символ. Среди подробностей набоковского мира, его разнообразных деталей лишь некоторые отмечены статусом «следа», их различие означает исключение этих явлений или предметов из потока времени-пространства. Таким образом, набоковский «след» совершает невозможное, выступая указанием на отсутствие

вечности, он восполняет ее присутствие там, где вечность исключается в пространстве и времени. «Следы»-симулякры имитируют присутствие вечности, ведут к ложному истолкованию своей судьбы и обретению чуждой, не-своей вечности; они парадигматически изменяются, локализуясь в границах земных времени-пространства. «След»-символ, отпечаток вечности наделен признаками вечного: это константа, континуум, не принадлежащий земному времени, лежащий за его пределами.

Ошибка Гумберта, роковым образом определившая трагизм его судьбы и его вину перед Лолитой, подчеркнута распыленностью центра действия, его вынесенностью за пределы романной реальности. Центр действия (княжество у моря, где берет начало роковое заблуждение Гумберта) не локализован в пространстве, он сосредоточен только в памяти героя. Пространственные характеристики центра вновь заменяются временными. Гумберт подчеркивает, что не нуждался в морском пейзаже, чтобы избавиться от «наваждения незавершенного детского романа с маленькой мисс Ли» (9, т. 2, с. 206). Найденные пляжи или слишком многолюдны, или слишком солнечны, и более того, настоящая Лолита абсолютно вытесняет свою предшественницу, Гумберт даже теряет ее фотографию. Узнавание приметы, «следа» вечности, «прочного пигмента», наложение одной личности на другую ошибочно и потому не состоятельны, поэтому сцена в княжестве у моря не может повториться в романе. Гумберт признается, что «действительно искал пляжа», но уединившись наконец с Лолитой на калифорнийском побережье, находит туман, нависающий, как «мокрое одеяло», песок, «неприятно зернистый и клейкий» и Лолиту, покрывшуюся «гусиной кожей и зернами песка», к которой испытывает «не больше влечения, чем к ламантину» (9, т. 2, с. 207). Невозможность вернуться к центру равнозначна невозможности возвращения к началу: Гумберт не может стать влюбленным мальчиком, он взрослый чужак в мире детей, и несоответствие героя миру, им самим для себя созданному, а героини своей предшественнице, становится причиной распада этого мира.

Невозможность качественного изменения и возвращения к началу, совпадающему с центром бытия связана с еще одним качеством Гумберта, принципиально определяющим его этическую оценку: герой не тождествен сам себе, он не осознает своего взросления и внешних изменений, внутренне он навсегда остался «фавенком» в княжестве у моря, поэтому и не испытывает необходимости возвращения или качественной трансформации. Гумберт свой нынешний облик определяет то как «личину», то как экранный образ «мужественного красавца», прибегая к категориям, выявляющим его отчуждение от своего синхронического образа, несоответствие ему. Однажды Гумберт замечает, что он и ему подобные «достаточно приспособились, чтобы сдерживать свои порывы в присутствии взрослых» (9, т. 2, с. 111). Свою принадлежность к реальности, не совпадающей с внешними временем-пространством Гумберт подчеркивает, определяя свой мир как «лиловую и черную Гумбрию»



(9, т. 2, с. 205). В романе «Другие берега», распределяя звуки в соответствии с колористическим восприятием, Набоков интерпретирует «Г» как «крепкое каучуковое» (8, т. 4, с. 146). В комментариях А. Люксембурга указано, что «если фамилию Гумберт прочесть на французский манер, то она может восприниматься как омоним слова ombre (тьень)» (9, т. 2, с. 602). Нынешний Гумберт — тень единственно истинного, того, каким он был в детстве, его черный и лиловый мир — синонимичен миру потусторонности, миру теней. В этот, уже не существующий мир, Гумберт хочет вписать Лолиту, принадлежащую к иной реальности. Более того, Лолита видит нынешнее обличье Гумберта и воспринимает его как истинный облик взрослого мужчины, мужа матери, к тому же, Гумберт и номинально, и формально, и действительно выступает в роли родителя, отца, воспитателя, сохраняя привилегии зрелости. Гумберт — герой неидентифицируемый, двойственный, живущий одновременно в двух мирах — прошлого и настоящего и не делающий выбор в пользу одного, того, который ему адекватен. Симультанность пребывания героя в прошлом в качестве ребенка и в настоящем в качестве взрослого, к тому же отца, одновременность локализации и в центре (княжестве у моря) и на периферии (в современной Америке) расплывает личность Гумберта, обеспечивает ему ту же неуловимость и вневременность, что и Смурову в рассказе «Соглядатай». Но Гумберту требуется определенность обладания Лолитой и пребывания в настоящем, поэтому он, наделяя Лолиту чертами Анабеллы, не переносит ее в свое прошлое, и даже не особенно пытается воссоздать его декорации — пляж, море, пещеру. А когда воссоздает, то делает это в ином, чуждом его детству пространстве, поэтому не достигает синхронизации явлений.

Регулятивный для Набокова принцип соответствия героя миру, в котором тот пребывал или в который вступает, или творит для себя, сохраняет действенность и на уровне соотношения мира детей и мира взрослых. Несоответствие ведет к катастрофе: гибели героев и уничтожению их мира. Перемещение между мирами мифологично, оно ознаменовано качественным изменением героя. Безымянный герой рассказа «Соглядатай» меняет имя и статус, Цинциннат («Приглашение на казнь») выходит в мир существ, подобных ему, после того, как состоялась его казнь в мире, герою не соответствующем. Князь («Русалка») должен перестать быть человеком, чтобы обрести новую форму бытия, более адекватную его внутреннему «я», обращаясь к нему, Русалочка говорит: «Только человек боится нежити и наважденья, а ты не человек» (7, с. 426). Поэма «Детство» завершается строчками:

*... и что во сне,  
во сне младенческом приснилась юность мне;  
что страсть, тревога, мрак — все шутка домового,  
что вот сейчас, сейчас ребенком встану снова...*  
(7, с. 98)

Таким же возвращением к началу предстает итог жизненного пути в «Парижской поэме», находя соот-

ветствие в узоре жизни настоящей и былой, поэт предполагает «очутиться в начале пути, // наклониться — и в собственном детстве // кончик спутанной нити найти» (7, с. 278). Это обретение соответствия далекого былого и настоящего идентично обретению центра мира внутри себя, поэт может «стать // серединою многодорожного // громогласного мира опять» (7, с. 278). Положение в центре мира делает обозримым весь жизненный путь: начало пути видится и узнается из сегодняшнего момента, а из точки былого, минувшего детства узнается, постигается «сегодняшний миг» (7, с. 278). Возможность возвращения к центру и к началу связана с качественным изменением: в поэме «Детство» герой предполагает снова стать ребенком. Однако единство и непрерывность бытия декларируются и одновременно ставятся Набоковым под сомнение: в поэме «Детство» прожитая жизнь — не сон, и счастливое пробуждение — только несбыточная надежда. В позднем стихотворении «Мы с тобою так верили» показан распад единой последовательности человеческой судьбы, невозможность возвращения к началу, отчуждение от своего прежнего «Я»:

*Мы с тобою так верили в связь бытия,  
но теперь оглянулся я, и удивительно,  
до чего ты мне кажешься юность моя,  
по цветам не моей, по чертам недействительной.*  
(7, с. 265)

Единство бытия, замкнутого в пределах земного времени человеческой жизни, с одной стороны, определяется как круг («круглая крепость»), в которой конец знаменует возвращение к началу, а протекание мыслится как не дискретное и целостное; с другой, как последовательное отчуждение от прошлых состояний «Я», переживающих смерть во времени и возрождение в искусстве слова. Обращаясь к собственной юности в уже цитированном стихотворении, Набоков утверждает: «Ты давно уж не я, ты набросок, герой // всякой первой главы» (7, с. 265). Очевидное противоречие объясняется особым пониманием вечности и возможностей ее обретения, даже в пределах земного времени, круглой крепости, в которой, однако, есть ходы и выходы в «идеально черные вечности», простирающиеся по обе стороны до начала бытия и после его конца.

Автобиографический дискурс «Другие берега» В.В. Набоков начинает с определения понятия времени, применительно к конкретной человеческой жизни. Земное время, независимо от его формы, В. Набоков определяет как «глухую стену», «круглую крепость», окружающую жизнь, как непреодолимую преграду на пути к вечности, раскинувшейся по обе стороны земного бытия (8, т. 4, с. 136). Набоков отказывает времени в бесконечности, показывая, как конец бытия возвращает к его началу, поскольку «жизнь — только щель слабого света между двумя идеально черными вечностями» и «разницы в их черноте нет никакой» (8, т. 4, с. 135).

Пребывание во времени, казалось бы, исключает возможность выхода в вечность или узнавания вечности, поскольку вечность идентична иной форме

времени, которая лишена протекания, поэтому несовместима с текущей и изменяющейся человеческой жизнью. Однако в стихотворении «Око» найдено такое состояние человека, которое достигается благодаря метаморфозе всей сенсорной сферы и телесного состава: «К одному исполинскому оку // без лица, без чела и без век, // без телесного мараева сбоку // наконец-то сведен человек» (7, с. 270). Аналогичную метаморфозу претерпевает герой рассказа «Соглядатай». Это состояние эквивалентно не заключению в круглой крепости земного времени, а в вечности, которая обретается во времени, проявляясь в изменении вещественного состава бытия, поскольку «исчезла граница // между вечностью и веществом» (7, с. 270). Эта возможность прозрения и обретения вечности, к тому же собственной, индивидуально отмеченной («своей вечности», «себя в вечности» — 8, т. 4, с. 136), обеспечивается рядом условий: преображением, а фактически редукцией телесного состава человека, воспринимающего и передающего мир через гиперфункцию сенсорной сферы (в приведенном стихотворении — зрения, но в тезаурусе Набокова вместо зрения ту же функцию могут выполнять осязание или слух, реже вкус и запах), непредсказуемостью и многовариантностью результатов преоб-

ражения и преображенного восприятия и воссоздания мира; но и, кроме того, узнаванием, различением и расшифровкой «следов», примет вечного во временном. Узнавание и прочтение «следа» собственно и выступает источником преображения автора-демиурга или героя-протагониста, открывает пути из времени в вечность.

Этический пафос романа «Лолита» заключен в невозможности для героя-протагониста выхода за пределы земного времени, обретения им своей, только ему предназначенной вечности, поэтому и обещание бессмертия, данное Лолите в конце романа и очевидно перекликающееся с обещанием, данным Данте в конце «Новой жизни» Беатриче (юный возраст влюбленного Данте Гумберт неоднократно вспоминает в поисках оправданий), нельзя признать этической компенсацией: Гумберт обесмертил свою Лолиту, а не Долорес, реальности которой никогда не осознавал, создавая симулякр, ложный «след» вечности, роковым и трагическим образом неверно прочитывая указания и приметы вечности. Гумберт не «испорченный», а не состоявшийся поэт, и именно этим эстетическим обстоятельством определяется его этическая чудовищность, сакраментально выраженная Набоковым в формуле «пустой и жестокий негодяй».

#### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Александров В.Е. Набоков и потусторонность. — СПб., 1999.
2. Берберова Н. Набоков и его «Лолита» // Владимир Набоков: pro et contra. — СПб., 1997.
3. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. — М., 2000.
4. Грация Э. Девушки оголяют колени везде и всюду. Закон о непристойности и подавление творческого гения. Гл.: Своими колготками, Лолита! // Иностранная литература. — 1993. — № 1.
5. Делез Ж. Логика смысла. — М., 1995.
6. Набоков В. Предисловие к английскому переводу романа «Дар» («The Gift») // Владимир Набоков: pro et contra. — СПб., 1997.
7. Набоков В.В. Стихотворения и поэмы. — М., 1991.
8. Набоков В.В. Собр. соч.: В 4 т. — М., 1990.
9. Набоков В.В. Собр. соч. амер. периода: В 5 т. — СПб., 1999.
10. Набоков В.В. Собр. соч. русского периода: В 5 т. — СПб., 1999.
11. Три интервью с Владимиром Набоковым // Иностранная литература. — 1995. — № 11.
12. Rampton D. Vladimir Nabokov: A Critical Study of the Novels. — Cambridge: Cambridge University Press. — 1984.

## АППЛИКАТИВНАЯ МЕТАФОРА КАК СПОСОБ ВЫРАЖЕНИЯ ВЫРАЖЕНИЯ ЭТИЧЕСКИХ И ЭСТЕТИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ АВТОРА (на примере рабочих тетрадей Г.М. Козинцева)

С.А. Ахмадеева  
Краснодар

Сегодня возрос интерес к процессу творчества и особенностям лингвокреативного мышления создателей произведений искусства, который подробно описывается ими в эпистолярных произведениях и письмах современникам. Прежде всего, это письма и дневниковые тексты писателей, актеров и режиссеров театра и кино XX века. Отдельными изданиями вышли дневники И.А. Бунина, З.Н. Гиппиус, А.А. Блока, Н.С. Гумилева, М.М. Пришвина, К.И. Чуковского, М.А. Булгакова, О.И. Дала, Т. Дорониной; записные книжки Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, Л.Н. Толстого, Л.А. Гинзбург, Вен. Ерофеева, рабочие тетради Г.М. Козинцева, сводные тетради М.И. Цветаевой; ряд книг писем М.И. Цветаевой современникам (Е.Л. Ланну, А.А. Тесковой, Б.Л. Пастернаку, Р.-М. Рильке, В.Ф. Булгакову, А.С. Штейгеру) и др. Но заглянуть в «творческую лабораторию» художника можно только через язык его записей, поэтому все это обилие публикаций необходимо внимательно изучить исследователям, которые бы смогли внимательно прочитать эпистолярные тексты, учитывая их жанровую и языковую специфику, определяющую их стилистическую неповторимость. Однако, как отмечает Л.А. Глинкина, еще «не воссозданы особенности эпистолярного идиостиля XIX-XX вв.» (21, с. 13). В анализе эпистолярного текста (ЭТ), полагает автор, необходимо опираться на «субъектно-объектные связи», «методики стилистического анализа», «когнитивные и коммуникативные грамматики», «раскрытие взаимодействия мотивной, <...> фатической и метаязыковой функций языка» (там же). Исследование стилистики писем, дневников, рабочих тетрадей, несомненно, будет способствовать более глубокому и всестороннему описанию языковой личности и поможет — через всестороннее описание языка их автора — читателю проникнуть в авторский замысел произведения, что особенно важно для адекватной его интерпретации.

Итак, на первый план выдвигаются две проблемы: 1) выявление стилистических особенностей языковых единиц в дневниковых и эпистолярных текстах; 2) анализ выполняемых ими функций.

В результате языкового анализа ЭТ различных авторов, в них было выявлено использование конструкций с синтаксической аппликацией (СА), в том числе и аппликативных метафор (АМт). Это разновидность структурно расчлененных, но семантически целостных построений и метафоры (об АМт подробнее см. работы автора: 2-19). Приведем один из примеров АМт Г.М. Козинцева, чье эпистолярное наследие станет объектом нашего внимания:

Многие, из тех, с кем я общаюсь... Как бы поточнее их определить? *Детский дом стариков*. 1971 (?) (Козинцев Г.М. «Черное, лихое время») (ср.: Они — детский дом стариков). Эта АМт — метафорическое вопросно-ответное аппликативное единство: ИП представляет собой вопрос, в нем содержится опорный компонент (ОК), выраженный личным местоимением 3 л. мн.ч. в Р.п. В

процессе наложения на него аппликативного предложения (АП)-оксюморона «Детский дом стариков» Р.п. ОК изменяется на И.п. Семантическая незавершенность ИП восполняется за счет предшествующего ему предложения. Устойчивое сочетание «детский дом» имеет словарное значение «государственное воспитательное учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей» (32, т. 4, с. 207). В живой речи оно приобрело коннотативный оттенок сиротства, покинутости. Круг близких по духу режиссеру людей — это старшее поколение осиротевших, оказавшееся за бортом лучшей жизни, в том числе — в домах ветеранов или, говоря словами режиссера, «домах стариков».

Данная статья состоит из двух частей: 1. Особенности эпистолярного текста (ЭТ). Разновидности ЭТ. 2. Языковое своеобразие рабочих тетрадей Г.М. Козинцева как дневникового текста. Аппликативная метафора (АМт): структура и семантика как способ выражения этических и эстетических взглядов режиссера.

### 1. Особенности эпистолярного текста (ЭТ). Разновидности ЭТ

Изучение языковых особенностей эпистолярного идиостиля писателя позволяет выявить его отношение к описываемому, эстетические взгляды, поскольку все оценки, характеристики, впечатления от воздействия на сознание пишущего принадлежат непосредственно автору ЭТ: в нем все происходящее во «внешней» жизни и события, играющие большую роль в становлении личности автора, описываются от первого лица. Поэтому полнее раскрываются не только мировосприятие, система эстетических взглядов создателя дневниковых текстов и писем, но и особенности его языка и стиля.

Отметим наиболее существенные характеристики ЭТ в целом: 1) эмоциональность как повод к созданию ЭТ; 2) спонтанность изложения и 3) установка на общение с отсутствующим собеседником (в переписке) и на диалог с собой (в дневниковых текстах); 4) рефлексивность (дневник и письмо — форма рефлексии и саморефлексии), 5) общность фоновых, энциклопедических и ситуативных знаний адресанта и адресата (переписка М.И. Цветаевой с Б.Л. Пастернаком и Р.-М. Рильке); 6) экспрессивность, окказиональность (как ненормативность в широком смысле) и 7) интертекстуальность большинства употребленных изобразительных и выразительных средств всех уровней языка.

Экспрессивность синтаксиса ЭТ проявляется, в частности, в преобладании коротких, преимущественно номинативных предложений, пояснительных конструкций, «разорванных» построений: парцелированных, сегментированных, эллиптических, аппликативных конструкций, незавершенных высказываний над нерасчлененными предложениями; авторской пунктуации над узуальной, традиционной; номинации — в преобладании прозвищных

личных имен собственных над каноническими, их сокращенных форм над полными, лексики — в употреблении разговорных слов и идиом, семантики — в создании новых смыслов и интенциональном употреблении метафор, сравнений, других тропов и фигур, устойчивых оборотов, реминисцентных образов.

В зависимости от направленности на адресата и обязательности / факультативности хронологии различаем две формы существования ЭТ:

**I. Дневниковые тексты, создаваемые, как правило, pro domo mea.**

1) дневник (для него обязателен хронологический порядок ведения записей с указанием дат событий);  
2) дневниковые записи (записные книжки) (не ведутся в строгой хронологической последовательности, и поэтому не всегда датируются);

3) сводные тетради (описание важных эпизодов будущего произведения часто «растягивается» на несколько дней, датируются же обычно только начало и конец записей, поздние записи могут включать в себя ранние, как датированные, так и не датированные автором);

4) рабочие тетради (в хронологии событий отсутствует четкость, она подчинена эстетическим задачам).

**II. Письмо, как правило, ориентированное на адресата, так как адресовано реально существующему, но удаленному от адресанта лицу, обязательно датируется** (дата, нередко сопровождаемая указанием местонахождения пишущего, — необходимое условие эпистолярного этикета).

Обратимся сначала к характеристике разновидностей дневниковых текстов.

**Дневник** — это субъективное изложение в хронологической последовательности событий преимущественно внешней жизни (в частности — исторических). Несмотря на большое число опубликованных дневников, можно с уверенностью утверждать, что дневник как вид текста, со всеми присущими ему языковыми особенностями, еще не изучен. Существует не так много работ, посвященных литературоведческой и лингвистической специфике дневника (26; 27). В основном (кроме названных) это предисловия к изданиям, в которых содержатся краткие сведения об особенностях дневников публикуемых авторов.

Нас интересует, прежде всего, собственно лингвистическое и психолингвистическое своеобразие дневниковых текстов. Поэтому представляется особенно ценной точка зрения Л.Е. Кройчика, который рассматривает дневник как документальный текст, «событие, оперативно зафиксированное автором текста», как индивидуальную точку зрения, значащую в контексте истории» (26, с. 65). Автор отмечает такое важное свойство дневника, как единство в языковой личности автора субъекта и объекта исследования, выделяет важную функцию дневника — «функцию самоконтроля личности»: «Дневниковая запись, очень точно фиксируя состояние пишущего в данный момент, является способом осмысления собственного сознания, фактором самовоспитания. <...> Смысл дневниковой записи — в точном воспроизведении факта и переживания

в данный момент. <...> Дневник ценен своей хронологией, т.е. движением, изображением процесса <...> как развития событий <...>, переживаний и состояний» (там же).

Дневниковые тексты (если, конечно, это не намеренно созданные стилизации) не рассчитаны на их прочтение другим лицом. Это диалог пишущего с самим собой: в момент создания текста и спустя некоторое время — оценивающим свои ранее сделанные записи. Об этом говорят пояснения в скобках под записью, пометы на полях, которые могут быть датированы днем, когда перечитывался дневник, спустя месяцы, годы. А так как дневниковые тексты пишутся непосредственно, спонтанно, для себя, то в них меньше литературности и преднамеренных художественных приемов, чем в художественном произведении или эпистолярной стилизации, и гораздо больше эмоциональности, экспрессивности. Однако это не означает, что литературные приемы, языковые особенности отсутствуют в дневниковых текстах автора. Поиск необходимого слова протекает интуитивно или на глазах читателя (как, например, в цветаевской дневниковой прозе).

В дневниках поэтов, прозаиков исследователи обнаруживают те же особенности, что и в их стихотворных и прозаических текстах: дневниковый текст, как и письмо, есть результат проявления их лингвокреативного мышления. Так, Б.Л. Модзалевский отмечает в письмах А.С. Пушкина своеобразный «деловой стиль», преднамеренную скупость изложения, свойственные его прозе (28, с. 23).

Дневниковые тексты отличает предельная откровенность пишущего. (Это замечание не относится к дневникам советского времени, которые утрачивают свою неприкосновенность. В них более, чем когда-либо, используется риторическая фигура умолчания — 26, с. 69). Описывая происходящее, автор анализирует, размышляет над событиями, фактами, которые он заносит в дневник. И часто то, что вызвало отрицательные эмоции, переживания, ложится на бумагу в виде спокойных рассуждений. Подтверждение находим в рабочих тетрадях Г.М. Козинцева:

«Так постепенно завелось, что утром, когда особенно погано на душе. Открываю тетрадь, пишу, и как-то становится — если не легче, то спокойнее. Так что это писание для меня нечто вроде лекарства, успокоительного «для нервов». Хоть с кем-то **можно по душе поговорить**». *С самим собой* (Г.М. Козинцев. Черное, лихое время. — 24, с. 205).

Этот пример является конструкцией с СА, построенной на основе «эффекта обманутого ожидания»: обычно для задушевной беседы необходимо два человека, а не один (подробнее о таких АМт см. 7, с. 147-150). Приведенное построение позволяет выделить такое свойство ЭТ, как аутосуггестивность — воздействие создаваемого эпистолярного текста на самого пишущего (по В.К. Харченко, аутосуггестивная функция метафоры обусловлена образной природой самовнушения — 33, с. 55).

**Дневниковые записи** (записные книжки), в отличие от дневника, не ведутся в строгой хронологической

последовательности, и поэтому не всегда датируются. Назначение даты — зафиксировать состояние автора дневниковых записей и в будущем — внести коррективы в ранее написанное, т.е. отразить динамику происходящего с ним, авторских оценок. Записные книжки содержат описания наиболее важных эпизодов не только внешней, но и внутренней, духовной жизни автора, которая прослеживается в заметках для памяти, набросках произведений, афористических суждений пишущего, а также крылатых фразах и изречениях классиков, актуальных на момент появления записи. В **сводных тетрадах** записи ведутся конспективно, они содержат все самое важное для реализации замысла произведения / произведений: варианты текстов и фрагментов; заглавия; неопубликованные варианты произведения; наброски к неосуществленным замыслам; целые произведения. Не напечатанные, но важные для автора страницы нередко написаны скорописью, закодированы (особенно те, что содержат наброски замыслов и варианты стихотворений). Сводные тетради включают в себя и дневниковые, аналитические записи, сны, планы, уже записанные когда-то в другом месте, но перенесенные автором в тетрадь в понятной ему форме, варианты писем — часто измененные по сравнению с отосланными адресату. То есть все то, что можно назвать основой его будущих произведений. И есть основания говорить об эстетической направленности сводных и рабочих тетрадей.

**Рабочие тетради** совмещают в себе особенности записных книжек, дневниковых записей и сводных тетрадей.

## 2. Языковое своеобразие рабочих тетрадей Г.М. Козинцева как дневникового текста. Аппликативная метафора (АМт): структура и семантика как способ выражения этических и эстетических взглядов режиссера

Как уже говорилось ранее, объектом нашего внимания стали рабочие тетради как вид дневникового текста (об особенностях переписки см.: 6; 19). Остановимся на них подробнее.

Рабочие тетради Г.М. Козинцева (создавались в 1948-1973 гг.) обладают своей особой, кинематографической спецификой.

«Иногда в записях одного дня соседствуют мысли, вызванные сегодняшней съемкой, и остроэмоциональный отклик на событие в мире, и замысел новой работы, — отмечает В.Г. Козинцева. — ... Все записи были в полном смысле рабочими — они или предназначались для будущих книг, статей, сценариев, лекций, теоретических исследований, или помогали автору осмыслить сделанное, уточнить замысел, понять природу режиссерского труда» (23, с. 3).

С помощью метафор (в том числе и АМт), преобразованных идиом, семантических аппликативов (термин Е.К. Шадунц) (см. подробнее 30; 34, с. 10-12) режиссер анализирует кинокартины тех лет, поступки своих современников, подбирает материал для собственных работ, интенционально применяя из-

речения классиков, ТР. Многие записи режиссера не опубликованы полностью до сих пор (24; 25), так как мнение мастера о многих явлениях культуры расходится с официальной их трактовкой. Все то новое, что не получает одобрения «наверху», пристрастно оценивается мастером: произведения литературы, театра, кино, живописи, особенно актуальной в рабочих тетрадах режиссера становится тема «художник и власть» — деградация творческой личности под влиянием высоких постов и почестей ...

Источники, наводящие режиссера на размышления о судьбах культуры, различны: это собственные наблюдения, устные беседы, реплики, цитаты, письма коллег, сцены из собственных фильмов, встречи...

В.Г. Козинцева определяет метод труда режиссера — «параллельность разработки многих тем, характер переходов от одной записи к другой». Переходы эти «иногда плавные, развивающие уже оформленную мысль, иногда образующие неожиданный стык, иногда возвращающие к записям, сделанным много раньше» (23, с. 4).

Этим объясняется наслоение образов, соединение в одной записи различных имен художников, литературных персонажей, скрытых цитат, значений и смыслов одного слова и выражений. Все это создает основу для существования в рабочих тетрадах режиссера такого языкового и речевого явления, как аппликация, под которым понимаем «процесс создания из двух независимых друг от друга, но при соответствующих условиях взаимопроникающих, величин третьей, качественно новой, более сложной величины, совмещающей в себе синтезированные свойства исходных компонентов». В этом процессе участвуют: на гносеологическом и когнитивном уровнях — индивидуальный смысловой контекст личности, созданный ее лингвокреативным мышлением; окружающая реальность; на языковом — единицы (от слова до сложного синтаксического целого), объективирующие концепты общеязыковой и индивидуальной картины мира (7, с. 35-36).

В рабочих тетрадах Г.М. Козинцева находим синтаксическую аппликацию (СА) (см.: 30), семантическую аппликацию (ЗЗ) и разновидность СА — АМт (7, а также раздел 3 наст ст.). Часто они образуют единое целое:

В последнем «Советском экране» информация: «Народный артист СССР М.Э. Чиатурели приступил к съемкам мультфильма «Петух-хирург».

Ну как не написать: «Sic transit gloria mundi»?

**«Блеск и нищета куртизанок»?..**

Увы, иначе: «Все там будем».

Иных уж нет, а те в мультфильме... Пора, мой друг пора...» (Г.М. Козинцев. Черное, лихое время).

Метафорическое отрицательно-утвердительно-вопросно-ответное аппликативное единство, которое накладывается на исходный контекст, отражает ход мыслей режиссера, его сомнения. Текст насыщен ТР из произведений А.С. Пушкина, дословной цитатой латинской поговорки «Так проходит слава мира» и заглавием романа О. де Бальзака. Назначение реминисцентных образов говорит, прежде все-

го, о несоответствии прошлой и настоящей жизни режиссера М.Э. Чиатурели, когда-то игравшего роль Сталина в кинопопоях, а теперь снимающего мультфильмы. Отметим, что пушкинская цитата из романа «Евгений Онегин» — это семантический аппликатив, созданный по принципу замены одного или нескольких элементов лежащего в его основе устойчивого речеобразования (33, с. 83).

Определим, какие именно АМт позволяют режиссеру выразить свое восприятие действительности и явлений культуры, порожденных этой действительностью. Особенно важна в этом случае форма АМт — а именно АМт-контекст, становящаяся в рабочих тетрадях режиссера средством характеристики явления культуры, псевдотворчества, литературного героя. АМт не только обязана контексту своим существованием как конструкция с СА, но нуждается в нем и как метафора, смысл которой может быть адекватно проинтерпретирован читателем только с помощью содержащихся в контексте «подсказок».

Компоненты АМт могут быть значительно удалены друг от друга, **разделены** обширным контекстом. АМт может быть **окружена** контекстом. Есть и такие случаи, когда несколько конструкций с СА, АМт, парцелированных структур образуют единое синтактико-семантическое целое. Также заслуживают внимания АМт, образованные при помощи «однородного» апплицирования, создающие стихотворный текст, и «развитие» (раскрытие, проявление) аппликативного метафорического смысла конструкции, расположенной в **начале** содержащего ее контекста (15, с. 75).

Отметим, что наиболее распространенной в рабочих тетрадях режиссера является первая из названных разновидностей. Такая АМт состоит из исходного контекста, в котором — в одном из предложений — находится ОК или им является весь фрагмент записи, и удаленного от ОК АП, подводящего черту под размышлениями режиссера, которое может быть ТР (цитатой, названием именем персонажа); оксюморонам; окказиональным словосочетанием, построенным по аналогии с узуальным на основе логической несовместимости понятий. Проанализируем примеры.

«**Поэма без героя**» волнует меня с каждым новым чтением все больше и больше. В чем суть такого моего контакта с этими образами? Как всегда в искусстве — в ассоциациях. У Ахматовой трагедия несовпадения пластов образов Петербурга: судейкинско-сапуновско-блоковско-мейерхольдовского (Доктора Дапертутто, символистского мороза «Балаганчика», в котором **сам черт** не только *не разберется*, но и *ногу сломает*) со страшной ясностью военного, трагического пейзажа и затем с еще более ясной, народной, почти частушечной простотой рассказа.

Это история не только искусства, но и интеллигенции, рассказанная не персонифицированной судьбой, а столкновением глыб ассоциаций. Своего рода Джойс, но не в истории одного дня, а в движении эпохи. Трагических несовпадений.

*Фотомонтаж памяти целых исторических эпох.* 30 VII (Г.М. Козинцев. Записи из рабочих тетрадей. 1940-1973. Из записей 1958 г. — 24, с. 420).

Соединение в одной записи имен А.А. Ахматовой, А.А. Блока, Дж. Джойса в сочетании с культурными реалиями серебряного века по принципу «несовпадений» как раз и создает образ отображенного в ахматовской поэме мозаичного образа Петербурга. Во фрагмент включается усиливающий его семантический аппликатив «сам черт не только не разберется, но и ногу сломает». Единство и целостность созданного образа подытоживаются в АП «Фотомонтаж памяти целых исторических эпох», также основанном на соединении различных явлений — фотомонтажа кадров, изображений и памяти как основы их существования

1) Кумулятивные АП-ТР в АМт в записях Г.М. Козинцева расставляют основные акценты. Такая АМт позволяет передать процесс рождения мысли, образа, замысла. Она содержит в себе и оценку описываемого явления, и выражает эстетическую позицию художника. Эта особенность метафоры отмечалась еще Аристотелем, который утверждал, что использование одних метафор служит возвеличиванию объекта, а других — его уничижению (1, с. 189). Оценка в метафоре вызвана как свойствами самого объекта (34, с. 40), так и авторской интенцией. Часто в новом контексте по воле автора привычные нам явления, образы предстают в новом, неожиданном свете:

«Театр комедии. «Карьера Бекетова». Драматургия Софронова: конфликт семейного и общественного. Сигнализирующий об отце сын, о муже жена».

«*Заговор обреченных*» (Г.М. Козинцев. Черное, лихое время: Из рабочих тетрадей).

На состоящий из номинативных предложений фрагмент дневникового текста апплицируется ТР — название пьесы драматурга Н.Е. Вирты, экранизированной в 1950 г. (22, с. 69). Сюжет пьесы, видимо, был хорошо известен Г.М. Козинцеву и, по его мнению, переключался с сюжетом пьесы Софронова, где доноительство является основным способом продвижения по служебной лестнице и существования каждого члена семьи. Приведем еще несколько примеров АМт с АП-реминисценцией.

АМт-контекст с АП-текстовой реминисценцией в рабочих тетрадях режиссера становится средством характеристики социального явления:

«Докладчик в Союзе писателей вопил: «Опять инсценировка!» (Холопов). Ему было невдомек, что вся итальянская кинематография — инсценировка. И «Мать» Пудовкина — Горький. И «Чапаев».

«*Власть тьмы*» (Г.М. Козинцев. Черное, лихое время). Заглавие одной из пьес Л.Н. Толстого, апплицируемое на контекст, подтверждает мысль режиссера о «темноте» большинства стоящих у власти чиновников от литературы.

ТР может быть структурно и семантически изменена, что является одним из проявлений авторской интенциональности — иронией:

«Рецензия Симонова на спектакль «Современника» (К. Симонов. Строгое искусство // Известия. — 1973. — 1 февраля. — примеч. сост.) очень похожа на тексты, которые в наших фильмах произносят положительные герои на морально-этические темы.

Поскольку я сейчас занимаюсь Гоголем, жанр мне оче-

виден. Как бы назвать его? «*Выбранные места из выступлений на общих собраниях*». <...> (Г.М. Козинцев. Черное, лихое время).

Изменение заглавия последней книги Н.В. Гоголя, удостоившейся в свое время разгромной критики В.Г. Белинского (которого любил режиссер и в 1950-е годы работал над фильмом о нем), подчеркивает негативное отношение автора не только к казенным «штампованным» речам, рецензии К.М. Симонова, но и этому гоголевскому произведению.

«Почему никто (включая Белинкова) не обратил внимания на то, что **Андрей Бабичев** — поначалу — изображен в духе «Гаргантюа и Пантагрюэля»? Гимн плоти, материальному. Музыка, тон задан первой фразой: «Он пел по утрам в клозете».

Тут уже не история, а история литературы повторяется дважды: раз — как комическая эпопея, два — как трагический фарс.

*Гаргантюа эпохи пятилеток...* (Г.М. Козинцев. Черное, лихое время: Из рабочих тетрадей).

Сопоставление героя повести Ю.К. Олеши с легендарным Гаргантюа Ф. Рабле построено на преднамеренном сближении и противопоставлении по признаку доминирования материального над духовным середины 1920-х гг. и средневековья, но вместе с тем «эпоха пятилеток» по своим масштабам никогда не достигнет величия Средневековья, а Андрей Бабичев — масштабности Гаргантюа.

Г.М. Козинцев удивительно зорко отмечал в реалиях одного времени черты другого и четко выстраивал систему ассоциативных связей между ними, применяя языковую игру (в широком смысле): из игры созвучий, контаминации и аппликации смыслов и значений складывается мозаичное полотно, отражающее реалии новой культуры, его зловещей сущности.

Особенность большинства АМт режиссера заключается в том, что кумулятивное АП может как апплицироваться на исходный контекст, что подтверждали ранее приведенные примеры, так и накладываться и на ИП, которое дистантно удалено от него контекстом, содержащим маркеры нового, метафорического смысла:

«Экранизаторы или, вернее, съемщики. Можно прописаться на жилплощади классика. Приписаться к ней. Текст перегороджен фанерными перегородками кадров. Вырублены окна: на дворе скачут лошади и плавают лебеди».

*Коммунальная квартира*. Ответственный съемщик съехал. Осталась только дощечка на двери с именем и фамилией». (30/XII. 68) (Г.М. Козинцев. Черное, лихое время).

Здесь наблюдается контекстная мотивация накладываемого на контекст АП. В ее основе лежит полисемия глагола «снимать» («снять») — «12. Запечатлеть на фото- или киноплёнку. *Снять фильм*.<...> 13. Взять внаем. *Снять комнату*» (32, т. 4, с. 168). Благодаря ей у слова-термина «экранизатор» — «режиссер, который истолковывает средствами кинематографического языка произведения литературы — прозы, драматургии, поэзии», появляется контекстуальный синоним, характеризующий **тех** режиссеров, которые в угоду собственной «творческой» фантазии не оставляют от первоначального замысла классика ничего, кроме названия. Прямое

же значение слова таково: «1. Лицо, которое снимает помещение или арендует что-либо» (там же, с. 324). Большое число таких «съемщиков» дало повод к созданию АМт «Текст <...>. *Коммунальная квартира*», смысл которой может быть интерпретирован следующим образом: «произведение классики, претерпевшее множество экранизаций, сделанных подобными режиссерами, стало не чем иным, как коммунальной квартирой, из которой выехал ответственный съемщик (слово употреблено в прямом значении) — его автор».

Обратимся к еще одному примеру, в котором игра словарных значений отражает отношение Г.М. Козинцева к искусству. В этой АМт восстановление смысла штампа происходит благодаря контаминации «эффекту обманутого ожидания», изменяющего модальность всего ИП:

«Водитель машины, на которой я ездю за город, показал мне газету «Ленинградская милиция». На меня произвел впечатление заголовок статьи «Опираясь на общественность, нацелиться на профилактику». Отлично сказано. Как раз так было и с искусством: опирались, нацеливались. *И попадали*. IX. 65» (Г.М. Козинцев. Черное, лихое время: Из рабочих тетрадей).

В ИП глаголы «опираться» (сов. в. «опереться») и «нацеливать» употреблены, как и в заголовке, в переносных значениях: «опереться» «2. перен. на кого, что. Найти себе поддержку в ком-либо, чем-либо в качестве опоры, поддержки // Взять за основу своих построений, рассуждений, воспользоваться чем-либо в качестве логических оснований» (32, т. 2, с. 622) и «нацелить» — «2. перен. на что. Направить чьи-то усилия на достижение какой-либо цели» (там же, с. 412). Горькая ирония Г.М. Козинцева вызвана контаминацией значений глаголов «нацеливаться» и «нацелить». Благодаря АП «*И попадали*», глаголам «опираться» и «нацеливаться» возвращаются их прямые значения: «прислониться к чему-либо, налечь на <...> что-либо, перенося на него часть тяжести своего тела. // Использовать в качестве упора» и «метаясь, направить, навести (орудие, оружие и т.п.) на какую-либо цель, прицелиться» (там же, с. 622; 412), что создает аппликативный смысл: «искусство было и опорой и мишенью для расправы с самим собой».

Итак, наложение АП на контекст не только трансформирует его смысл, модальность, создает иронию, но и является продуктивным способом образования АМт, концентрирующей все находящиеся в контексте смыслы.

2) АП может быть не только ТР (известное сочетание, заглавие, имя литературного персонажа), но и оксюморон, сочетание, состоящее из слов, обозначающих явления разного порядка (не является оксюморон, но тоже сочетает в себе разные характеристики объекта: внешнее и внутреннее, трагическое и комическое и т.д.).

Важно отметить, что АП в рабочих тетрадях Г.М. Козинцева может быть не только ТР, но и оксюморон, в котором противоположные, взаимоисключающие друг друга понятия образуют одно смысловое целое. Наложение оксюморона на контекст или ИП — один из продуктивных способов создания АМт (см.:

5, с. 60-62) и выражения этических взглядов и эстетической концепции художника. Вот как раскрывает Г.М. Козинцев личность А.П. Довженко через его дневники, перенося даваемое определение на всех художников, живущих в «черное, лихое время»:

«Мне нужно было перечесть дневники Довженко: из «Глубокого экрана» вымарали его запись, опубликованную в «Искусстве кино». Теперь это непечатное. Можно только из собрания сочинений.

Там подобных же записей, и даже похлеще, сколько угодно, чувствуешь, как петля схватила за шею и, хрипя, он бросался к дневнику. Писал, и, как всякий человек, в те годы, думал: а вдруг прочитают. И вписывал туда же, или рядом, такое, что читать теперь неловко. Ясно виден слоеный пирог искреннего и вынужденного. Писалось это не просто для цензора, но для цензора-дурака и халтурщика, так отчетливо различие тона, восприятия жизни. Человек плачет, слезы текут по щекам и вдруг, разом — во весь рот улыбка (если откроется дверь — смотрите, я же счастливый!).

*Заплаканные оптимисты. 12/Х*

(Г.М. Козинцев. Черное, лихое время).

Г.М. Козинцев с помощью наложения на исходный контекст АП-оксюморона создает словесный поэтический образ, характеризующий любого художника, живущего в «года глухие» и пишущего как для себя, так и для «лубянского читателя». Такое существование превращает в «слоеный пирог искреннего и вынужденного» не только дневниковые записи, но и образ жизни их автора — «слезы сквозь смех».

«Есть какое-то ощущение бесконечной проекции одного и того же фильма — и пейзаж, и выражения лиц, и положения. **Нескончаемый фильм про пару: шведов, итальянцев, эскимосов, мексиканцев.**

Фокус в том, что нынче все это стало как бы сложным. «Такова жизнь». Интеллектуальный стриптиз (Г.М. Козинцев. Записи из рабочих тетрадей. 1940-1973. Из записей 1960 г.).

В кино 1960-1970-х гг. фильмы о любви стали нарочито сложными. В них чувства героев обнажены до предела, в таком кино больше говорится о психологических проблемах героев, какой бы национальности они ни были, чем о чувстве любви. Это кино и получило хлесткое название-оксюморон «интеллектуальный стриптиз».

Языковое чутье режиссера проявляется также в умелом использовании звукового сходства слов, раскрытии этимологии слов. Паронимия становится толчком к раскрытию внутренней связи явлений. Книга режиссера «Глубокий экран» вышла в свет с купюрами и поправками потому, что в ней много записей было посвящено «проклятым годам». ТТР из стихотворения А.А. Блока, метафоры и игра слов в следующей АМт-контексте передают горькую иронию по отношению и к тому времени, и к процессу книгоиздания в СССР:

«Проклятые годы. Черное, лихое время. Вечный кровавый русский закат над лобным местом и стая воронья... Рожденные в года глухие...

<...> Мы (режиссер — автор книги и редактор. — С.А.) возьмем карандаши и к черту пойдет все то, что осталось от этого времени, об этом времени в моей книге.

Я ведь писал не на века. Что даст мне, читателю этот **рассыпанный набор?**

Сколько их, **таких книг?** *Россыпи*».

*Братская могила книг. 5/Х. 1969 (?)* (Г.М. Козинцев. Черное, лихое время: Из рабочих тетрадей).

Сочетание авторской и чужой речи, употребление ТР из стихотворения А.А. Блока «Рожденные в года глухие», грамматической конструкции с СА, которая разделяет части АМт — направлено на создание аппликативного метафорического смысла: конец 1960-х годов, когда создавалась книга Г.М. Козинцева «Глубокий экран», в которой режиссер описывает «черное, лихое время», сродни по своему ужасу, беспределу середине страшных, «испепеляющих», «безумных» 1910-х годов — с «кровавым отсветом» в лицах, немотой в устах и «роковой пустотой» в сердцах не помнящих своего пути людей, рожденных «в года глухие»; криками «воронья» — как примет времени создания блоковского стихотворения (1914) (см.: 20, с. 278). В АМт **«Рассыпанный набор. Братская могила книг»** риторическое вопросительное ИП и АП расположены дистантно по отношению друг к другу, так как их разделяет вопросно-ответное аппликативное единство «Сколько их, **таких книг?** *Россыпи*». Преднамеренное сближение прилагательного «рассыпанный» и собирательного существительного «россыпь» на основе смыслов «раскиданности», «большого количества чего-либо, разбросанного на большой площади поверхности» призвано отобразить, по мнению автора, бесчисленное множество книг, набор которых был рассыпан. АП-ответ на ИП-вопрос, в котором имплицитно содержится ответ, дается не сразу именно потому, что он известен заранее.

«Почему-то все странные, парные антагонизмы этой трагедии, полюса характеров и воли, образующие единство железного века, больше всего напоминают мне стихи Арсения Тарковского:

*Мы крепко связаны разладом,*

*Столетия нас не развели,*

*Я волхв, ты волк, мы где-то рядом*

*В текучем словаре земли».*

Волхвы и волки!

(Г.М. Козинцев. Записи по фильму «Король Лир».

Запись от 29. XII. — 24, с. 318.)

Приводя в подтверждение своей мысли цитату из стихотворения А.А. Тарковского «Песня под пулями», Г.М. Козинцев не только восстанавливает, но и дополняет известное выражение «Человек человеку волк». Фонетическая близость слов только подчеркивает трагизм времени, в котором правят вражда и мистический ужас.

В следующем примере режиссер использует экспрессивную лексику, выражая этим свое отношение не только к конкретному человеку, но и к явлению в целом: Через сквер, на Кронверском проспекте шел, нет, не шел, а медленно катился **бывший поэт**. Он отек, заплыл жиром, пропали подробности: шея, талия, даже руки и ноги стали уже малозаметны.

Меня он давно и отлично знал, но, следуя по прямой, он прокатился мимо меня, заплывшие мутные глазки, ничего не выражающие, не повернулись на меня.



Разросшийся волдырь, чурка в шубе. Вот страшное наказание, причем, никто его не судил, не приговаривал к тому, чтобы быть таким. Он сам себя укатал в бессмысленный шар, в чурку в шубе.

И аккуратнo в этот самый момент... Герой соцтруда.

Помнить о нем для «Гоголиады».

Все же это самая современная тема: продажа души черту. Вид поэта в фазе полного признания его ценного дарования».

*Чудный сюжет* (Г.М. Козинцев. Черное, лихое время: Из рабочих тетрадей).

В этом примере дается убийственная характеристика «бывшего поэта», узнаваемого с трудом не только из-за произошедших в нем внешних изменений, но еще и потому, что, став Героем соцтруда, он перестал узнавать своих собратьев по творчеству. Такие люди — не исключение, поскольку далее следует размышления режиссера о гоголевских типах и одной из актуальных вечных тем — продаже души художника дьяволу и смерти творчества. АМт-контекст совмещает в себе две разновидности аппликативных построений: АМт с дистантным расположением ОК и АП<sub>1</sub> и АП<sub>2</sub> (... *бывший поэт... Разросшийся волдырь, чурка в шубе... Герой соцтруда.*) и СА-контекст с кумулятивным АП «*Чудный сюжет*».

3) АП может быть рядом номинативных предложений, поясняющих смысл ИП, состоящего из нескольких частей, разделенных запятой:

### **Три острия, три пика зрительных образов первой сцены.**

*«Люди и бог. Люди и страх. Люди и правда* (Г.М. Козинцев. Записи по фильму «Король Лир». Запись от 21.69. Ночь после съемки).

Венгрия 11/IV. Музей. (24, с. 309).

*«Эль Греко. Что получится, если его сымитировать соответствующей оптикой? То, что уловимо: внешние черты, индивидуальные способы выражения (деформация, цвет). То, что неуловимо: мерцание веры, не окаменевшей в догматы. Мерцание. Созерцание. Внутреннее зрение — улавливающее ощущение.*

Какое? Желание воплотить невоплотимое. Остановить движущееся так, чтобы оно двигалось дальше.

### **В пространстве?**

*В пространстве твоей души.* Архивная крыса. Архивная «звезда» (Г.М. Козинцев. Записи из рабочих тетрадей. 1940-1973. Из записей 1972 г. — 24, с. 521).

АМт помогает режиссеру выразить свое отношение к глубокой музыке Д.Д. Шостаковича, ее шекспировский масштаб. Неслучайно упоминание гамлетовской мышеловки в ряду номинативных АП:

### **Исполнение № 10 к фильму «Король Лир»?<sup>1</sup>**

*«Голос трагедии. Не какое-либо изящно-поэтическое музыкальное выражение мотива смерти, а гигантская мышеловка. Мышеловка во весь мир.*

*Ужас железной черноты., медного ничто. 27.05»* (Г.М. Козинцев. Записи по фильму «Король Лир». Записи 1969 г. — 24, с. 322).

4) Использует Г.М. Козинцев и АМт с ОК-парным личным именем собственным (подробнее см. 7, с. 107-110)

*«Кинопанорама. Каплер и Бондарчук. Не два человека, а две несоприкасающиеся плоскости. 7/VII-71»* (Г.М. Козинцев. Черное, лихое время).

Эта разновидность АМт — характерный компонент эпистолярных и эссеистических текстов, где ясно выражена субъективная позиция их автора. Использование ОК-«парного имени» и АП — сочетания с собирательным значением, включающим в себя собственно количественные числительные «два», «один» в одной из форм рода, числа и падежа и именное словосочетание-критерий сопоставления — позволяет автору преднамеренно сопоставлять по какому-либо критерию личности современников, литературных персонажей на основании своей эстетической позиции..

Итак, можно сделать вывод о том, что аппликативная метафора в рабочих тетрадях Г.М. Козинцева является средством характеристики явлений культуры и искусства, поскольку в своем контексте совмещает на основе единства внешнего и внутреннего, духовного и материального образы различных культурных эпох, намеренно сближаемых режиссером в одном контексте с целью ярче и емче отобразить наиболее ценное в языковой картине мира и шире — концептуальной картине мира.

### **ПРИМЕЧАНИЕ**

1. Имеется ввиду запись одной из частей (номеров) музыки Д.Д. Шостаковича — примеч. В.Г. Козинцевой.

### **ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**

1. АМт — аппликативная метафора.
2. АП — аппликативное предложение.
3. ИП — исходное предложение.
4. ЛИС — личное имя собственное.
5. ОК — опорный компонент.
6. СА — синтаксическая аппликация.
7. ЭТ — эпистолярный текст
8. ТР — текстовая реминисценция
9. В примерах опорный компонент (ОК) набран подчеркнутым полужирным шрифтом, аппликативное предложение (АП) — *курсивом*. В аппликативных метафорических цепочках аппликативное предложение первой конструкции (АП<sub>1</sub>), являющееся опорным компонентом второй (ОК<sub>2</sub>), — набрано подчеркнутым полужирным курсивом.

### **БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК**

1. Аристотель. Поэтика // Античные теории языка и стиля (антология текстов). — М., 1996.
2. Ахмадеева С.А. Аппликативная метафора в художественном тексте (на примере прозаических произведений М.И. Цветаевой) // Лингвистика текста: Тезисы докладов Всероссийской научной конференции. — Пятигорск, 1995. — С. 17-19.
3. Ахмадеева С.А. Аппликативная метафора как средство актуализации фоновых знаний читателя и адекватного понимания художественного текста // Относительность абстрактных реалий языка: Сборник научных трудов. — Краснодар, 1996. — С. 87-90.

4. Ахмадеева С.А. Синтактико-семантические способы выражения авторской модальности в аппликативной метафоре // Семантика языковых единиц: Доклады V Международной конференции. — М., 1996. — Т. 2. — С. 11-14.
5. Ахмадеева С.А. Оксюморон как способ образования аппликативных метафор // Язык и коммуникация: деятельность человека и построение лингвистических ценностей: Материалы Сочинского международного коллоквиума по лингвистике. Сочи, 14-19 октября 1996 г. — Сочи-Краснодар, 1996. — С. 60-62.
6. Ахмадеева С.А. Аппликативная метафора в эпистолярном тексте: на примере писем и дневниковых записей Марины Цветаевой // Языковая личность: жанровая речевая деятельность: Тез. докл. науч. конф. Волгоград, 6-8 октября 1998. — Волгоград, 1998. — С. 7-9.
7. Ахмадеева С.А. Аппликативная метафора: структурные, морфолого-семантические и коммуникативно-прагматические особенности функционирования в языковом и речевом аспектах: Дис. ... канд. филол. наук. — Краснодар, 1999.
8. Ахмадеева С.А. Аппликативная метафора как особенность идиостиля Марины Цветаевой // Языковая личность: экспликация, восприятие и воздействие языка и речи. — Краснодар, 1999. — С. 108-159. — Гл. 6. (Соавтор Е.Н. Рядчикова.)
9. Ахмадеева С.А. Аппликативные метафоры-идиомы: структура, семантика, прагматика, функции // Фразеология-2000: Материалы Всерос. науч. конф. «Фразеология на рубеже веков: достижения, проблемы, перспективы» (Тула, 25-26 апреля 2000 г.). — Тула, 2000. — С. 49-53.
10. Ахмадеева С.А. Поэтапное апплицирование — способ создания ассоциативного тезауруса текста // Языковое сознание: содержание и функционирование: XIII Междунар. симпозиум по психолингвистике и теории коммуникации. Тез. докл. Москва, 1-3 июня 2000 г. — М., 2000. — С. 18-19.
11. Ахмадеева С.А. «Парное имя» — опорный компонент аппликативной метафоры // Многообразие гуманитарного знания: Объекты и теории. — Краснодар, 2000. — Вып. 1. — С. 40-45.
12. Ахмадеева С.А. Метафоризация и наложение как основа аппликативной метафоры — семантической формы мышления человека конца XX в. // Филология и журналистика на рубеже тысячелетий: Материалы Международной научной конференции. — Ростов-на-Дону, 2000. — Вып. 2. Язык как функционирующая система. — С. 116-118.
13. Ахмадеева С.А. Участие тропов (метафоры, сравнения, оксюморона, текстовых реминисценций, аллюзий) в создании аппликативной метафоры (на примере художественного и эпистолярного текста) // Филология и журналистика на рубеже тысячелетий. Материалы Международной научной конференции. — Ростов-на-Дону, 2000. — Вып. 2. Язык как функционирующая система. — С. 118-120.
14. Ахмадеева С.А. Аппликативная метафора в актуализирующей прозе («Мой Пушкин» М. Цветаевой) // А.С. Пушкин — М.И. Цветаева: Седьмая международная научно-тематическая конференция (9-11 октября 1999). Сборник докладов. — М., 2000. — С. 59-75.
15. Ахмадеева С.А. Аппликативная метафора-контекст как единство структуры и семантики. К 70-летию Тульского государственного университета. Роль языка и литературы в мировом сообществе // Международный сб. науч. тр.: общие проблемы образования, языкознание, литературоведение, методика. — Тула, 2000. — С. 74-79.
16. Ахмадеева С.А. Функции аппликативной метафоры в прозе, поэзии и дневниковых записях Марины Цветаевой // Лингвистический и эстетический аспекты анализ текста: Материалы межвузовской научной конференции 17-18 февраля 2000 г. — Соликамск, 2000. — С. 46-47.
17. Ахмадеева С.А. Антропометричность аппликативной метафоры как проявление антропоцентризма языка // Этнос, язык, культура: Проблемы социальной и культурной антропологии. Материалы второй Всероссийской научной конференции 14-15 сентября 2000 г. — Вып. 2. — С. 14-17.
18. Ахмадеева С.А. Принцип взаимообусловленности семантики, структуры и грамматики в синтаксисе как реализация принципа связи формы и содержания в языке (аппликативная метафора) // Принципы и методы анализа в филологии: Конец XX века: Сб. ст. научно-методического семинара TEXTUS. — СПб.-Ставрополь, 2001. — Вып. 6. — С. 540-541.
19. Ахмадеева С.А. Потустороннее общение (Аппликативная метафора в письмах Марины Цветаевой) // М.И. Цветаева: личные и творческие встречи, переводы ее сочинений: Восьмая международная научно-тематическая конференция (9-13 октября 2000 г.). Сб. докладов. — М., 2001. — С. 314-324.
20. Блок А.А. Собр. соч.: В 8 т. — М.-Л., 1960. — Т. 3. Стихотворения и поэмы. 1907-1921.
21. Глинкина Л.А. Проблемы эпистолярного стиля в русистике // Семантика слова, образа, текста: Тез. докл. междунар. конф. — Архангельск, 1995.
22. Душенко К.В. Словарь современных цитат. — М., 1997.
23. Козинцева В.Г., Бутовский Я.Л. От составителей // Козинцев Г.М. Собр. соч.: В 5 т. — Л., 1984. — Т. 4: Пространство трагедии. Записи по фильму «Король Лир». Записи из рабочих тетрадей 1940-1973. — С. 3-4.
24. Козинцев Г.М. Собр. соч.: В 5 т. — Л., 1984. — Т. 4: Пространство трагедии. Записи по фильму «Король Лир». Записи из рабочих тетрадей 1940-1973.
25. Козинцев Г.М. «Черное, лихое время»: Из рабочих тетрадей. — М., 1994.
26. Кройчик Л.Е. «Между литературами» (дневник как документальный текст) // Акценты: Альманах. — Воронеж, 1996. — Вып. 2.
27. Фрич Е.В. Личность автора в дневниках начала XX века (на путях к психологизму Л.Н. Толстого) // Проблема автора в художественной литературе. — Ижевск, 1974.
28. Модзалевский Б.Л. Предисловие // Пушкин А.С. Письма. — М.-Л., 1926. — Т. 1. 1815-1825.
29. Рядчикова Е.Н., Ахмадеева С.А. Семантические функции конструкций с синтаксической аппликацией в художественном тексте // Филология-Philologica. — Краснодар, 1995. — № 7. — С. 44-46.
30. Рядчикова Е.Н., Шадунц Е.К. Трансформация лексического значения и эстетические функции аппликативных структур // Филология-Philologica. — Краснодар, 1997.
31. Рядчикова Е.Н. Синтактика и семантика конструкций с синтаксической аппликацией. — Краснодар, 1996.
32. Словарь русского языка: В 4 т. — М., 1982-1984.
33. Шадунц Е.К. Семантическая аппликация устойчивых сочетаний в речевой реализации. Дис. ... канд. филол. наук. — Краснодар, 1997.
34. Харченко В.К. Функции метафоры: Учеб. пособие. — Воронеж, 1992.

**ИНТОНАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ АВТОРСКОГО СОЗНАНИЯ  
В ПОВЕСТИ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА «АДЛИГ ШВЕНКИТТЕН»**

Г.П. Толпаева  
Ставрополь

Тема Великой Отечественной войны занимает не ведущее, но прочное место в творчестве А.И. Солженицына, наполняя авторскую концепцию отечественной истории XX века дополнительными трагическими смыслами. Звучит она чаще всего трагедийно — в рассказах «Случай на станции Кочетовка», «Один день Ивана Денисовича» (ситуация пленения и «преступления» главного героя и Сеньки Клевшина), в романе «В круге первом» (военные перипетии дворника Спиридона Егорова). Война не в состоянии смягчить противостояние личности и административно-бюрократического государства, — утверждает писатель в произведениях, созданных в 60-90-е годы.

«Односуточную повесть» А.И. Солженицына «Адлиг Швенкиттен» (1998) можно отнести к числу лучших произведений о Великой Отечественной войне не только в его творчестве последнего десятилетия, но и в русской прозе этого времени.

Как и ранее, автор использует характерные сюжетно-композиционные принципы предельного сжатия действия во времени, умеет наполнить события одних суток социально-историческими и психологическими реалиями целой эпохи, создать такой ритмико-мелодический тон повествования, который становится ярким средством выражения его морального сознания. Сюжетная основа «односуточной повести», отнесенная к военной операции в Восточной Пруссии в январе 1945 года, органично сопрягается с ретроспективно возникающими событиями первой мировой и гражданской войн, коллективизации и репрессиями 30-х годов. В центре сюжета — бой ничем не защищенной тяжелой пушечной бригады с идущими в контрнаступление немцами, стремящимися соединиться с отрезанной от Германии Восточной Пруссией. К тому же бригада лишена связи со штабом: штабные офицеры отключают связь и с армией, и с дивизионами для своего спокойствия и комфорта.

Идейный пафос произведения — утверждение «скрытой теплоты патриотизма» как нравственной нормы поведения русского человека и обличение пропасти, лежащей между народом и тоталитарно-бюрократической системой в многоликих ее проявлениях. Сильная сторона повести «Адлиг Швенкиттен» — в чувстве художественного равновесия, меры при расстановке авторских акцентов. Безответственность, халатность, карьеризм штабного начальства не заслоняют мужества, патриотизма, чувства долга защитников Отечества, лжи и предательству противостоят взаимовыручка и благородство. Массовые и батальные сцены усиливают впечатление многогеройности, динамики и драматизма действия. Несмотря на небольшой объем, в произведении около тридцати поименованных и десяти безымянных персонажей. Мелькнет среди них и автобиографический персонаж — командир звукобатарей математик Саша, «давний приятель» майора Боева, «еще из-под Орла».

Писателю редко удается сохранить нейтральный объективированный тон повествования, как, например,

в начале третьей и пятой главок, рисующих общую дислокацию войск. Этот тон обретает далее эмоционально-оценочную окрашенность, ярко выраженный интонационный рисунок, маркируется в тексте обилием знаков препинания. Ведущее место среди них занимает тире, которое при экономии, скупости авторских средств выразительности может выполнять разные функции: придает динамичность, упругость фразе, служит характеристикой психологических состояний персонажей, создает семантическую наполненность пауз, дополнительные оттенки, подтекст, указывает на отсутствие действия, ритмически организует афористичность фраз.

Приведем некоторые примеры.

При стремительно развивающихся событиях картина расположения и продвижения частей армии рисуется несколькими предложениями: «Все трое комбатов — тут как тут. Ждут команды. Один всегда — при комдиве, это Мягков будет, как и часто. А Проценков, Касьянов — по километру влево, вправо, на своих наблюдательных, и связь с комдивом только через огневые» (1, с. 37). Особенно динамична картина боя, чему способствует знак тире и графическая разбивка на предложения:

*«А позадей — загорелось что-то, наверно бронетранспортер.*

*А по дороге — колонна катила!*

*Но и мы свои снаряды — чуть не по два в минуту!*

*А наш снаряд — и «королевскому тигру» мордovorот».*  
(1, с. 52)

Интонация с тире делает характеры персонажей более выразительными. Так, в главке о майоре Балуеве она помогает передать четкость, решительность, слаженность его действий: «После легочного ранения на Соже — майора Балуева послали на годичные курсы в Академию Фрунзе. Грозило так и войну пропустить — но вот успел, и прибыл в штаб Второго Белого Белорусского — как раз в январское наступление. Оттуда — в штаб армии. Оттуда — в штаб корпуса. Оттуда — в штаб дивизии» (1, с. 41).

Иногда тире подчеркивает отсутствие действия и примет передвижения, что создает трудности для майора Боева, на которого легла основная ответственность в принятии решения: «И все так же — ни звука. Ни — передвинется какая чернота в поле» (1, с. 39), «И все же так же — ни звука ниоткуда» (1, с. 42), «Но стрельбы — ни артиллерийской, ни минометной» (1, с. 48).

Следует отметить: вопросительная интонация преобладает в главках, посвященных майору Павлу Афанасьевичу Боеву, передавая атмосферу напряженных размышлений, анализа обстановки. Перед нами командир вдумчивый, принимающий взвешенные решения, не рискующий зря людьми, не тратящий зря снарядов. Из предыстории Боева узнаем, что он уже седьмой год на войне, которая началась для него с Хасана и Финляндии. Родом из Южной Сибири, помнил еще следы гражданской

войны, подавленного ишимского восстания. А. Солженицын подчеркивает слитность его жизни с жизнью армии: «В армии понял Павел, что он — отродный солдат, что родная часть ему — вот и дом. <...> Дивизион — семья, офицеры — братья, солдаты — сынки, и каждый свое сокровище» (1, с. 36). Автор не просто симпатизирует герою, но и откровенно любит его: «На гимнастерке его было орденов-орденов, удивисься: два Красных Знамени, Александра Невского, Отечественной войны да две Красных Звезды (еще и с Хасана было, еще и с финской, а было и третье Красное Знамя, самое последнее, но при ранении оно утерялось или кто-то украл» (1, с. 30). Деталь эта — многочисленные награды — заключительным скорбным аккордом прозвучит и в эпилоге при сообщении о героической гибели майора Боева. Именно его памяти и памяти майора Владимира Кондратьевича Балужева посвящена повесть. С нескрываемой теплотой упоминается майор Боев и в двучастном рассказе «Желябугские Выселки».

Главки, отведенные старшему лейтенанту Павлу Петровичу Кандалинцеву, тоже «негромкие» из-за особенностей характера персонажа, которому уже под сорок лет: «И росту изрядного, хотя без статной выправки, плечи не вразверст, голова прежде времени седая, и распорядительность разумная — его и другие комвзвода «батей» называли» (1, с. 37). Призванный из запаса в сорок первом, «два года он тяжело провоевал на Ленинградском фронте». Писатель отмечает совесть лейтенанта, заботу о людях, штатскую манеру общения с ними, — чем-то напоминает он капитана Тушина из «Войны и мира», только жить ему, молодому агроному, до войны пришлось «в постоянном пригнете». Особенно тяжело переживал коллективизацию: «Берег ростки оранжерейной рассады, когда рядом ростки человеческие и двух лет, и трех месяцев отправляли в лютый мороз санями — в дальний путь, умирать» (1, с. 38). После этого Павел Петрович стал «все окружающее воспринимать как-то не вполноту, будто омертвели кончики всех нервов, будто попригасли и зрение его, и смех, и обоняние и осязание — и уже навсегда, без возврата» (1, с. 38). Молодым сохранилось лишь чувство любви к жене Алле. Не слу-

чайно именно Кандалинцев способен понять трагедию судетского немца-перебежчика: «А — уже сильно в возрасте он, постарше и Павла Петровича. И пожалел его Кандалинцев. Воевать надоело, горюну. Кому за столько лет не надоест? Бедняга ты, бедняга. И от нас — когда еще семью увидишь?» (1, с. 43) Он распоряжается покормить пленного, говорит: «Гут, гут, все будет гут. Иди с нашими, спи» (1, с. 47). Как о родном сыне заботится о восемнадцатилетнем лейтенанте Олеге Гусеве, юноше с обостренным чувством долга, чести, благородства, стремящемся не пропустить ни одного важного сражения, напоминающем другого толстовского героя — Петю Ростова.

Саркастическая интонация звучит в главках о штабных чиновниках. Предысторией Солженицын наделяет лучших героев повести, в то время как штабные функционеры — комиссар бригады подполковник Выжлевский, парторг Губайдулин, начальник штаба подполковник Вересовой, смершевцы капитан Тарасов и Ларин лишены предвоенной биографии — выключены из истории страны. Память им ни к чему. Не случайно начальник связи Ищуков, мстя, в его понимании, фашистам, на Нареве, в Польше, выворачивал немецкие военные надгробия, поставленные еще в 1915 году. Язвительные интонации усиливаются авторскими ремарками в скобках: «Здесь радиоло (заберем ее) подавала, в средне звуке, танцевальную музыку» (1, с. 34), «... Выжлевский — крупноплечий, крупноголовый, с отставленными ушами, сидел, утонувши в мягком диване у овального столика, с лицом блаженным, розовым. (Этой голове не военная фуражка бы шла, а широкополая шляпа)» (1, с. 34). Штабное начальство не в состоянии разделить с солдатами военные невзгоды, опасности неожиданной атаки, в состоянии лишь «негодовать, ругать», «строго отчитывать», собственноручно расстрелять безоружного пленного.

Итак, повесть А. Солженицына «Адлиг Швенкиттен» может быть представлена как полифоническое произведение, где каждый участник ведет свою, подчас малую партию, каждая глава имеет свою интонацию. Авторская интонация выравнивается, становится более строгой, эпически сдержанной и скорбной в эпилоге.

#### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Солженицын А.И. Адлиг Швенкиттен // Новый мир. — 1999. — № 3.

## ЭТИКА И СОЦИОЛОГИЯ ПАНОПТИЗМА

(Набоковские аллюзии в рассказе А.Синявского-Терца «Ты и я»)

В.В. Десятков

Барнаул

Проблема паноптизма интересовала русских писателей задолго до Мишеля Фуко.

Из пяти чувств человека для В. В. Набокова и А. Д. Синявского важнее всего зрение. В фантастических произведениях Синявского описываются те или иные трансформации механизмов зрительного восприятия, приводящие к расширению возможностей созерцания. В рассказе «Пхенц» у повествователя-инопланетянина глаза расположены «на руках и ногах, на темени и на затылке» (11, с. 247). Он может видеть себя с разных сторон со стереоскопичностью, недоступной человеку (11, с. 247). Повесть «Гололедица» рассказывает о проницаемости времени, прошлого и будущего, повествователь — ясновидец. Рассказ «Ты и я» (1959) посвящен теме проницаемости пространства. Повествователь одновременно видит все, что происходит в городе, где он живет (Москве):

«Шел снег. Толстая женщина чистила зубы. Другая, тоже толстая, чистила рыбу. Третья кушала мясо. Два инженера в четыре руки играли на рояле Шопена. В родильных домах четыреста женщин одновременно рожали детей» (11, с. 130). И так далее.

Герой набоковского рассказа «Совершенство» (сб. «Соглядатай») Иванов становится всевидящим после своей смерти:

«растерянного Давида уводила полная женщина в пенснэ, жена ветеринара, который должен был приехать в пятницу, но задержался, и Балтийское море искрилось от края до края, и поперек зеленой дороги в поредевшем лесу лежали, еще дыша, срубленные осины, и черный от сажки юноша, постепенно белея, мылся под краном на кухне, и над вечным снегом новозеландских гор порхали черные попугайчики, и, шурясь от солнца, рыбак важно говорил, что только на девятый день волны выдадут тело» (6, т. 3, с. 601).

Персонажи Набокова и Синявского становятся не только всевидящими, но и всеведущими. Посмертное превращение человека во всевидящее око не раз с энтузиазмом описывалось Набоковым: в романе «Дар» (1938), в стихотворении «Око» (сб. «Poems and Problems», 1970), в романе «Transparent Things» (1972). Пример из «Дара»: изобретенный Набоковым мыслитель Делаланд пишет, что смерть — это «освобождение духа из глазниц плоти и превращение наше в одно свободное сплошное око, зараз видящее все стороны света, или, иначе говоря: сверхчувственное прозрение мира при нашем внутреннем участии» (6, т. 4, с. 484).

Позже, в 11-ой главе автобиографии «Conclusive Evidence: A Memoir» (1951) Набоков назовет способность поэта одновременно воспринимать самые разные явления внешнего и своего внутреннего мира «космической синхронизацией»:

«поэт чувствует все, что происходит в точке времени. Погрузившись в размышления, он постукивает по колену карандашом, своей волшебной палочкой, и в это самое мгновение машина (с нью-йоркскими номерами) проезжает по дороге, ребенок барабанит в соседскую дверь, старик зевает в туманном туркестанском саду, на Венере ветер несет пепельно-серую песчинку, некий доктор Жак

Хирш в Гренобле надевает очки для чтения и происходят еще триллионы подобных пустяков — все вместе образуя мгновенный и сквозной организм событий, ядро которого — поэт (сидящий в кресле в Итаке, штат Нью-Йорк). В то лето я был еще слишком молод, чтобы сколько-нибудь осознать «космическую синхронизацию...» (5, с. 49).

Синявский словно продолжает Набокова:

«Весь смысл заключался в синхронности этих действий, каждое из которых не имело никакого смысла. Они не ведали своих соучастников. Более того, они не знали, что служат деталями в картине, которую я создавал, глядя на них» (11, с. 130).

Кажется, Синявский полемизирует здесь с Пастернаком, автором «Доктора Живаго» (1958). Лара над гробом Юрия думает:

«Никогда, никогда, даже в минуты самого дарственного, беспамятного счастья не покидало их самое высокое и захватывающее: наслаждение общей лепкою мира, чувство отнесенности их самих ко всей картине, ощущение принадлежности к красоте всего зрелища, ко всей вселенной» (8, с. 494).

Но Синявский полемизирует и с Набоковым. Слова «весь смысл заключался в синхронности этих действий...» идут сразу же после абзаца:

«В тазу перед встречей бежал рысцей с чемоданом. Отвинчивал щеки из ружья, смеясь, рожал старуху: «Вот те на! Приехали!» Умирала брюнетка. Умирал Николай Васильевич. Умирал и рождался Женька. Шатенка играла Шопена. Но другая шатенка — семнадцатая по счету — все-таки надевала штаны» (11, с. 130).

Мир, который видит повествователь Синявского, резко отличается от тех, что видят набоковские герои. Мир Синявского наполнен нелицеприятными действиями и вообще абсурден. Позиции Пастернака и его оппонента-конкурента Набокова, с точки зрения Синявского, близки. Герои Пастернака рады быть частью «всей картины», созерцаемой трансцендентным Зрителем, герои Набокова сами становятся такими трансцендентными созерцателями. Паноптическая мечта Набокова не ставит вопрос, а хотят ли земные люди быть наблюдаемыми. Для автора рассказа «Ты и я» это вопрос принципиальный. Главный герой повести Набокова «Соглядатай» Смуров наблюдает со стороны за самим собой после своей (мнимой, скорее всего) смерти. Он утверждает, с некоторым, впрочем, надрывом, что счастлив:

«Я понял, что единственное счастье в этом мире — это наблюдать, соглядатайствовать, во все глаза смотреть на себя, на других, — не делать никаких выводов, — просто глазеть. Клянусь, что это счастье» (6, т. 3, с. 93).

Когда Набоков переведет повесть на английский, он назовет ее «The Eye» (1965). «Глаз» по-английски омофонично слову «I» (я). Снова «я», человек после соприкосновения со смертью становится у Набокова глазом. Соотношение между «я» и глазом, оком запрограммировано фамилией писателя: НабоКОВ. В рассказе «Весна в Фиальте» повествователь говорит:

«Именно в один из таких дней раскрываюсь, как глаз, посреди города на крутой улице, сразу вбирая все...» (6, т. 4, с. 563).

Как отмечает комментатор Ольга Сконечная (см.: 6, т. 3, с. 712), в повести «Соглядатай» цитируется стихотворение Пушкина «Пророк».

Роман Богданович просит девушку Ваню сыграть на рояле: « — А вы, Варвара Евгеньевна? <...> Вы — перстами легкими как сон — а?» (6, т. 3, с. 75).

Стихотворение цитируется потому, что, умирая, герои Набокова уподобляются пушкинскому Пророку:

*Перстами легкими как сон  
Моих зениц коснулся он:  
Отверзлись вещие зеницы,  
Как у испуганной орлицы.*

<...>

*И внял я неба содроганье,  
И горний ангелов полет,  
И гад морских подводный ход,  
И дольней лозы прозябанье.*  
(9, с. 304)

Слово «зеница» Набоков употребит в стихотворении «Око». Но в повести «Соглядатай» не все обстоит так благополучно, как в других, более поздних «паноптических» текстах Набокова. Смуров все же не пророк, а «соглядатай», то есть, по Далю, «тайный разведчик, проводчик, скрытный дозорщик, лазутчик или подсылный, подосланный наблюдатель, подлаз, подзорщик, ищейка, шпион» (3, с. 259).

Подозрительный Вайншток считает Смурова советским агентом. Но Смуров шпион иного рода. До покушения на самоубийство Смурова мучала неодолимая особенность его натуры:

«человеку, чтобы счастливо существовать, нужно хоть час в день, хоть десять минут существовать машинально. Я же, всегда обнаженный, всегда зрячий, даже во сне не переставал наблюдать за собой <...>» (6, т. 3, с. 47).

Процесс наблюдения даже во сне отсылает к крылатому выражению «недреманное око». В христианской культуре недреманным оком наделен Бог или святой. Но в русской литературе XIX-XX веков выражение стало популярным после появления сатирической сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Недреманное око». Им обладает щедринский прокурор. С тех пор «так говорят, обычно иронически, о бдительном наблюдателе, о политическом сыске в дореволюционной России» (2, с. 428). Сочетание двух названий повести Набокова — «Соглядатай» и «The Eye» — обнажает спровоцированное писателем столкновение двух традиций: христианской культуры (в том числе пушкинского «Пророка») и революционно-демократической русской литературы. Христианскую символику переосмыслил еще Лермонтов в стихотворении «Прощай, немытая Россия...»:

*Быть может, за стеной Кавказа  
Сокроюсь от твоих пашей,  
От их всевидящего глаза,  
От их всеслышащих ушей.*

Синявский две эти традиции сталкивает в лоб: беря, во-первых, эпиграф к рассказу из Библии, и во-вторых, прямо цитируя Лермонтова:

«А тот всевидящий глаз, который наблюдал за всеми...»  
(11, с. 129).

После попытки самоубийства Смуров раздваивается на

«я» (глаз) и собственно Смурова. Тема наблюдения осложнена темой двойничества не только в повести Набокова, но и в рассказе Синявского. В последнем случае сочетание двух тем продиктовано, возможно, своеобразием природного оптического аппарата автора («разноглазием» Синявского).

В рассказе два главных героя: «я» (наблюдатель) и «ты» (наблюдаемый). «Ты» отличается от всех остальных людей тем, что чувствует на себе взгляд всевидящего наблюдателя. Это приводит к появлению у «ты» навязчивой идеи: то ли мании преследования, то ли, как считает наблюдатель, мании величия. Автор обыгрывает оба значения выражения «всевидящий глаз» (Бог и государственные органы сыска). Параноидальному «ты» кажется, что им интересуются советские службы государственной безопасности. В «Соглядатае» параноидальные страхи Вайнштока, всюду видящего советских провокаторов и шпионов, передаются Смурову:

«когда я познакомился с Вайнштоком, то сразу в нем обнаружил родственную мне черту — склонность к навязчивым идеям. <...> Я посмеивался над ним, но внутренне холодел. Мне показалось однажды странным, что человек, которого я случайно заметил в трамвае, — неприятный блондин с бегающими глазами, — был в тот же день встречен мною опять: он стоял на углу моей улицы и делал вид, что читает газету. С той поры я начал побаиваться» (6, т. 3, с. 56).

Синявский не скрывает своего диалога с Набоковым.

«Ты и я»:

«Ему казалось, что выключив мозг с помощью очевидной бессмыслицы, он избавится от *соглядатаев*, *подсматривающих за ним изнутри*. Мало ему было восстанавливать против себя целый свет. В самом себе он заприметил следы моего тайного розыска и решил сразиться со мной на путях своего сознания» (11, с. 141; курсив наш. — В.Д.). «Соглядатай»: «В эту минуту можно было видеть на лице у Смурова совершенно неистовое желание, чтобы <...> исчез я — этот холодный, настойчивый, неутомимый наблюдатель» (6, т. 3, с. 75).

Рассказ «Ты и я» состоит из шести частей — так же, как повесть «Соглядатай».

Григорий Хасин в интересной и глубокой книге «Театр личной тайны. Русские романы В. Набокова» пишет: «Набоков — певец паранойи. Соглядатайство в его мире встречается чаще, чем взгляд в глаза; манипуляция замещает прямую атаку; мимикрия занимает место экспрессии» (12, с. 90). Цитируемая глава называется «Диалектика взгляда». По мнению Г. Хасина, Набоков «интерпретирует зрение как защитную способность, а осознание окружающего — как элемент приватности» (12, с. 95). Нужно быть зрячим, чтобы сохранить свою приватность, чтобы суметь защититься от нежеланного чужого взгляда, от шпионажа. Г. Хасин прав: параноидальных героев у Набокова много. Заслуга книги Г. Хасина в том, что он едва ли не первым показал Набокова в качестве оригинального крупного философа. Но Набоков был еще и художником, то есть певцом далеко не только паранойи. Взгляд в мире Набокова связан далеко не только с опасностью и самозащитой, но и с эстетическим переживанием. Об этом Г. Хасин прекрасно осведомлен. В первой главе своей

книги он констатировал: «Набоковское видение изначально художественно: в самом акте взгляда он создает и, что еще важнее, драматизирует избыток знания по отношению к его объекту. Можно утверждать, что этот избыток является сущностью всего его творческого предприятия, делает его автором» (12, с. 38). В последней главе Г. Хасин выделяет два полюса в набоковской концепции художественного видения: Роберт Горн («Камера обскура») как невидимый художник-паразит, шпион — и Федор («Дар») как художник, демонстрирующий себя: «В противовес Федору, для которого художественный акт связан с готовностью выйти на обозрение, Горн мыслит творчество как уход из-под взгляда» (12, с. 152). Но именно Федор в «Даре» сочувственно вспоминает высказывание Делаланда о посмертном превращении человека в невидимый и всевидящий глаз.

Приведем еще один пример не самой удачной формулировки Г. Хасина. Исследователь признает, что бытие Федора «есть некое равновесие противоположных элементов, баланс доступности и соглядатайства, театра и шпионажа. Это равновесие — его структура и виды — крайне важно в набоковской концепции искусства. <...> Мораль равновесия у Набокова связана <...> с эффективностью и совершенством...» (12, с. 155, 157). Слово «совершенство» в данной формуле совершенно неуместно, ведь в одноименном рассказе Набокова герой утрачивает равновесие доступности взгляду и соглядатайства; герой достигает «невозможного при жизни совершенного соприкосновения с миром» (6, т. 3, с. 593), умирая — становясь, опять же, невидимым и всевидящим.

Г. Хасин не приводит ни одного примера позитивного посмертного всевидения набоковских героев — даже из романа «Дар», рассматриваемого исследователем. Слабость анализа Г. Хасина в том, что набоковские герои-антиподы в его интерпретации легко меняются ролями и, по сути, ничем друг от друга не отличаются. Вначале Цинциннат определяется Г. Хасиным как жертва, а м-сье Пьер как хищник (12, с. 82). Затем уже м-сье Пьер и ему подобные предстают жертвами взгляда Цинцинната (12, с. 102), причем именно непрозрачный Цинциннат — первый, изначальный агрессор-шпион-паразит. Жертва в мире Набокова не хочет покидать «мир паранойи, пространство скрытого взгляда» (12, с. 101), — считает Г. Хасин, — жертва лишь сама стремится занять выгодную, доминирующую позицию невидимого наблюдателя. Набоковские умершие всевидящие герои находятся, как мы уже отметили, *вне поля зрения* Г. Хасина (и вне поля зрения С. Даниэля, тонко, но бегло анализирующего «Дар» (см.: 4). Набоковская мечта о всевидении в посмертии — это мечта не параноика, желающего стать надзирателем, а художника (и ученого). Хотя бы потому, что автопсихологическим героям Набокова в посмертии нечего бояться, там они находятся в полной безопасности (Герман Карлович в «Отчаянии» дистанцирован от автора). Функция зрения как самозащиты в этих случаях отпадает. Трансцендентный взгляд для Набокова принципиально отличается от посюстороннего. Эту разницу

не учитывает Г. Хасин при анализе романа «Полдвиг» (12, с. 102-110). Герой повести «Соглядатай» соприкоснулся со смертью и приобрел претензии трансцендентного наблюдателя. Насколько законны его претензии — проблема повести.

Вслед за автором «Соглядатай» Синявский проблематизирует допустимость присвоения человеком при жизни божественных прерогатив. Но под вопросом оказывается и допустимость самого божественного всевидения. «Лишь будучи увиденным Богом, ты сделался человеком...» (11, с. 135), — мысленно обращается наблюдатель к наблюдаемому, однако на того никакие аргументы подействовать не могут. Тотально параноидальный человек, которого описывает Григорий Хасин, больше похож на героя Синявского, чем на героя Набокова.

«Ты и я» содержит целый ряд любимых тем и приемов Набокова: созерцание / соглядатайство; мир как инсценировка («Соглядатай», «Приглашение на казнь», финал «Отчаяния», «Королек» и др.); мания преследования («Соглядатай», финал «Отчаяния», «Защита Лужина», «Signs and Symbols» (1948), «Лолита»); ненадежный рассказчик («Соглядатай», «Отчаяние» и др.); (псевдо-)двойничество («Соглядатай», «Отчаяние», «Лик», «Лолита...»); «история вопроса», т.е. цитатный обзор произведений предшественников на данную тему.

В «Соглядатае», «Отчаянии», «Ты и я» авторы ссылаются на самые известные в русской литературе тексты, посвященные теме двойничества: «Нос» Гоголя, произведения Достоевского, «Мелкий бес» Ф. Сологуба. Остановимся лишь на последнем романе.

Сологубовский подтекст «Соглядатай» набоковедами пока не затрагивался. Смуров украдкой проникает в квартиру Вани (чье настоящее имя Варвара):

«и вот, я уже был в столовой и, еще вздрагивая, пожирал изюм» (6, т. 3, с. 72). Передонов съедает тайно ото всех фунт изюма у себя дома: «съел весь фунт быстро и жадно, стоя у стола, озираясь на дверь, чтобы Клавдия не вошла невзначай. <...> Он ушел. А Клавдия скоро хватилась изюма, испугалась, принялась искать, — но не нашла. Варвара вернулась, узнала о пропаже изюма и накинулась на Клавдию с бранью: она была уверена, что Клавдия съела изюм» (10, с. 106).

Синявский сравнивает с параноидальным Передоновым своего «ты»:

«Перед ним от напряженного всматривания возникали круги и пятна разного колера. Они представлялись ему глазами: без носов, без ушей — только одни глаза. Буркалы, зенки, гляделки, лупетки — карие, серые, голубоглазые — летали по комнате, хлопая ресницами, и пристраивались у него на груди для отдыха. Когда он приподымался, они вспархивали и парили над его головой, изредка помаргивая широко раскрытыми крыльями» (11, с. 136). «Мелкий бес»: «— Глаз-птица пролетела, — угрюмо сказал Передонов, всматриваясь в белесовато-туманную даль небес. — Один глаз и два крыла, а больше ничего нету» (10, с. 202).

Передонов перерезает горло своему псевдо-двойнику Володину. Наблюдаемый Синявского перерезает горло себе. Финал рассказа вызывает в памяти развязки двух набоковских романов: «Защита Лужина» и «Приглашение на казнь». Стараясь выбро-

ситься из окна, параноидальный Лужин порезал шею об осколки стекла: «Что-то полоснуло его по шее...» (6, т. 2, с. 464). В «Приглашении...» Цинциннату отрубают голову — общество не в силах вынести его непрозрачность. В «Ты и я» наблюдаемый перерезает себе горло не в силах смириться со своей прозрачностью.

Синявский решает проблему поднадзорности по-ницшеански. Вездесущий свидетель невыносим. Необходимо убить или себя (по совету Заратустры) или свидетеля — как поступает Самый безобразный человек, убивший Бога в знаменитой книге Ницше. Заратустра обращается к убийце:

«Ты не вынес того, кто видел тебя, — кто всегда и навсего видел тебя, — самого безобразного человека! Ты отомстил этому свидетелю!» (7, с. 190).

У Синявского самоубийство происходит в момент полного слияния сознаний «я» и «ты»: «Я вошел в твой мозг, в твоё воспалённое сознание, и все твои последние тайны, которые я и знать не хотел, открылись передо мной.

Ты вскочил со стула. Все свидетели твоего злодеяния были в сборе. Ага! Попались! Ты замахнулся на меня, на Лиду, на весь мир своей заготовленной бритвой.

— Стой! Не смей! Что ты делаешь?

Я зажмурился. И миг давно не испытанное спокойствие вернулось ко мне. Стало темно и тихо. Я перестал тебя видеть. Тебя больше не было» (11, с. 143).

Всевидящий наблюдатель подобен Богу — поэтому Синявский берет эпиграф к рассказу из Библии:

«И остался Иаков один. И боролся некто с ним, до появления зари...» (11, с. 126).

Самоубийство — последний поступок богоборца (согласно Достоевскому и чтившему его Ницше). Но даже смерть в рассказе Синявского не способна разорвать отношения между «ты» и «я»:

«Ты ушел, а я остался. Я не жалею о твоей смерти. Мне жаль, что я не могу тебя забыть» (11, с. 144).

Творчество Набокова — попытка *вспомнить все*. Набоков, если воспользоваться формулировкой из «Ады», — «genius of total recall» (13, с. 545), «гений тотального воспоминания» (так называется статья Б.В. Аверина — см.: 1). Беспамятство — большой грех в набоковском мире. Герой Синявского стремится забыть. Для него память — часть гнетущего мира навязанной коммуникации, «паноптизма», «всеподнадзорности» (Мишель Фуко). Григорий Хасин убедительно показал, что Набоков в «Приглашении на казнь» не только предвосхитил идеи книги Фуко «Надзор и наказание» (1970), но и в некоторых смыслах пошел дальше (12, с. 95-97). Синявский двигался в этом же направлении мысли XX века, накладывая на художественно-философский опыт Набокова собственный социальный (тоталитарный) опыт. Синявский, как нам кажется, даже ближе к Фуко: для Набокова всевидение — это, главным образом, «вещи зеницы» пушкинского пророка, для Лермонтова, Синявского или Фуко — «всевидящий глаз» властных «пашей».

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Аверин Б. Гений тотального воспоминания. О прозе Набокова // Звезда. — 1999. — № 4. — С. 158-163.
2. Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова. — М., 1986.
3. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. — СПб.-М., 1882 — М., 1982. — Т. 4. (Репринтное издание).
4. Даниэль С. Оптика Набокова // Набоковский вестник. — Вып. 4. — СПб., 1999. — С. 168-172.
5. Набоков В. Первое стихотворение // Звезда. — 1996. — № 11. — С. 48-55.
6. Набоков В. (Сирин В.) Собрание сочинений русского периода в 5 томах. — СПб., 1999-2000.
7. Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. — М., 1990. — Т. 2.
8. Пастернак Б. Собрание сочинений: В 5 т. — М., 1990. — Т. 3.
9. Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. — Л., 1977. — Т. 2.
10. Сологуб Ф. Мелкий бес. — М., 1991.
11. Терц Абрам (Синявский А.). Собрание сочинений: В 2 т. — М., 1992. — Т. 1.
12. Хасин Г. Театр личной тайны. Русские романы В. Набокова. — М.-СПб., 2001.
13. Nabokov V. Ada, or Ardor: A Family Chronicle. — New York, 1990.



## АСПЕКТЫ МОРАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ АВТОРА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЖЕНСКОЙ ПРОЗЫ

И.В. Столярова  
Санкт-Петербург

Как известно, художественный текст устроен таким образом, что наряду со сведениями, которые в нем сообщаются в явной форме, он содержит и такую информацию, которую читатель должен «извлечь», пройдя через цепочку умозаключений. Иначе говоря, текст содержит сведения и идеи, выраженные неэксплицитно, и эта неэксплицитность может составить художественный прием (5, с. 232). Как представляется, моральное сознание автора в произведениях Виктории Токаревой и Татьяны Толстой выражается, главным образом, имплицитно. Каков механизм использования языка для достижения многообразных целей, возникающих в ходе взаимодействия людей, для передачи морального сознания?

К.Г. Юнг, разрабатывая учение о психологических типах личности — интровертной и экстравертной, отмечал, что для художников обоих типов есть возможность вставать то в экстравертное, то в интровертное отношение к своему творчеству (7, с. 278). Есть основания считать, что в произведениях В. Токаревой и Т. Толстой преобладает интровертное начало.

Изучение языковой личности как синтеза психологического и языковедческого знания дает основание М.В. Ляпон выявить «речевой автограф интроверсии». Исследователь отмечает избыток пояснительности, метатекста, устремление к парадоксу, к афоризму, «блуждание вокруг денотата» (4, с. 114). Интроверсию выражает потребность в самоконтроле, активное внимание к образу своего «я», склонность к построению эго-концепции.

Тактикой текста определяются приемы и принципы соединения, сцепления единиц, создающие дополнительные смыслы, и конструктивно-семантические, и субъективно-оценочные (3, с. 446).

Тактика — комплекс языковых и речевых приемов построения текста, анализом текста и выявляемых. Если выявление тактики текста показывает, как строится текст, то выявление стратегии текста отвечало бы на вопрос, зачем, для чего этот текст создается.

Тактика текста избирается и организуется текстовой стратегией его автора. Текстовая стратегия, в которую входят понятия замысла, позиции, мировосприятия, отношения автора к предмету и поставленной им проблеме, его прагматических интересов, в отличие от тактики, осуществляемой в тексте, стоит как бы за текстом, или над текстом. Чем адекватнее анализ тактики текста, тем достовернее понимание стратегии автора. Но стратегия автора — понятие гипотетическое, абсолютное знание ее невозможно, и читатель, и исследователь может в разной степени только приближаться к нему.

Виктория Токарева, ярчайший представитель современной литературы, в своих произведениях часто прибегает к цитированию. Во многих случаях писательница берет за основу авторитетное мнение и приходит к собственным, часто противоположным, выводам:

*«У Бунина есть строчки: «Женщины подобны людям и живут около людей». Так и женская литература. Но я знаю, что в литературе имеет значение не пол, а степень ис-*

*кренности и таланта» (Из жизни миллионеров).*

Автор любит использовать в своем творчестве форму 1-го лица. В высказываниях от 1-го лица субъект диктума, действующий, и субъект модуса, говорящий, совпадают. Говорящий в рассказах отождествляет себя с В. Токаревой, известной писательницей. Искренность героини (говорящего) редко выражается многословно. Манера письма определяется так: *«Я — формалистка. Для меня форма имеет большое значение. Я как бы работаю формой, поэтому у меня почти нет лишних слов» (Почем килограмм славы).*

Автор работает в малом жанре: сценарии, рассказы, повести. Заданность небольшого объема заставляет тщательно прорабатывать тактику текста, чтобы приблизить читателя к его стратегии.

В рассказе «Из жизни миллионеров» за стратегию текста можно принять семантику предположения, неуверенности, недостоверности, которая является доминирующей. Героиня рассказа — писательница, приехавшая в Париж по приглашению издательства, постоянно выражает это чувство предположения прямо или косвенно:

*«Я знала Францию по французским фильмам, песням Ива Монтана и Шарля Азнавура, по перламутровому облику Катрин Денев. Теперь мне предстояло совместить то, что я предполагала, с тем, что было не самом деле». Символ Парижа, по мнению героини (говорящего), — слова **может быть**: «Толпа парижан устремлялась куда-то весело и беззаботно, без «да» и «нет».*

В обнимку с «может быть». Стратегия предположения постоянно подкрепляется языковыми средствами.

Одним из основных способов выражения субъективной оценки являются вводные конструкции. Почти все из многочисленных вводных конструкций рассказа имеют конъюнктивное, т.е. предположительное значение: *«Видимо, у нее тоже появилось тревожное чувство». «Стилизован (дом. — И.С.) под крестьянские постройки, должно быть, работала ностальгия по прошлому, по своим корням».*

Глаголы, сопровождающие прямую речь и характеризующие внутреннее состояние говорящего, также имеют семантику предположения и неопределенности, часто это интерпретирующие глаголы. (Ю.Д. Апресян так определяет интерпретирующий глагол: «глагол, который сам по себе не обозначает никакого конкретного действия, а служит лишь для оценочной интерпретации другого, вполне конкретного действия, не обязательно физического, представляемого как уже совершенного кем-то и образующего пресуппозицию глагола»).

*«А что такое талант... Я не знаю наверняка, но догадываюсь»; «Я молчу, тяну резину».*

При несовпадении субъекта диктума и субъектов модуса возникает взгляд со стороны. Говорящий не уверен в верности своих предположений и склонен прогнозировать позицию собеседника, оформляя ее в несобственно-прямую речь:

*«Я плакала весьма скромно, но мои слезы были восприняты как грубая бестактность. Меня пригласили, оказали честь, накормили изысканной едой, а я себе позволяю»;*

**«Плакать — невежливо. Если у тебя проблемы — иди к психоаналитику, плати семьдесят долларов, и пусть он занимается тобой за деньги».**

Говорящий мысленно формулирует, как ему кажется, принципы своего собеседника и общества, к которому тот принадлежит:

**«Главное — избежать стресса, и своего, и чужого. В капитализме — все во имя человека, все на благо человека»; «Слава — эфемерна, сегодня есть, завтра нет. А деньги — это перила. Держись и никогда не упадешь».**

Однозначность этих выводов оттеняет неуверенность самого говорящего. Субъект диктума и субъект моду-са расходятся.

Все персонажи, взаимодействующие с героиней, — в той или иной степени загадки для нее. Из слушающих они время от времени сами превращаются в говорящих, но в их речи не прослеживается того сомнения, которое постоянно присутствует в речи героини, основного говорящего. Тактика построения текста такова, что носителем ведущего настроения неуверенности, сомнения является только говорящий, рассказчик, его моральное сознание не соответствует настрою слушающих.

Насколько говорящий не уверен в правильности внешних впечатлений, настолько же он легко ориентируется в своих собственных чувствах и оценках. Выводы, касающиеся самого говорящего, часто имеют имплицитный смысл, говорящий не видит необходимости разворачивать их.

**«Ее внешность, помимо природных данных, была сделана гениальным стилистом, и этот стилист — ее жизнь. А мой стилист — Москва периода перестройки».** «— Что? — переспросил Морис. — Ничего, — ответила Анестези, и я поняла, что она не предательница». Говорящий справедливо полагает, что слушатель (читатель) уже усвоил его лаконичную манеру высказывания. Итак, использование различных средств выражения значения неуверенности и свернутый авторский комментарий — тактика текста рассказа **«Из жизни миллионеров»**.

В каждом рассказе В. Токаревой — своя текстовая тактика, особый набор языковых средств, способствующих раскрытию текстовой стратегии, основной идеи. В рассказе «Телохранитель» она определяется так:

**«И еще подумала: телохранитель — жестокая неумолимая сила. Как перелом. Как старость. Старость тоже не обходит, не просит. Идет напропалую и сшибает».**

Автор разграничивает свое и чужое слово и предстает перед читателем в образе рассказчика. Автор не отождествляет себя с говорящим, но при совпадении точек зрения наблюдателя и говорящего модусная рамка отсутствует, модус оказывается «растворенным» в диктуме. Модус может обнаружиться при перемещении «наблюдательного пункта» автора в другую субъектную сферу. В модусной рамке субъект морального сознания предстает в одной из своих разновидностей: как субъект воспринимающий, как субъект мыслящий, как субъект чувствующий, одновременно он является и субъектом говорящим.

Говорящий, бывшая актриса Татьяна, — человек, трезво оценивающий свое сегодняшнее положение. В прошлом восторженная, романтическая, сегодня

она видит только суровые реалии. Осознаваемая ею неумолимость времени определяет афористичность рассказа. В этих афоризмах — горькая ирония, безысходность и пессимизм.

**«Дачники уткнулись в телевизоры. Кричи — не докричишься. А и услышат — не выйдут. Человек человеку друг, товарищ и волк». «А потом власть переменялась. Кто был ничем, тот стал всем. И наоборот».**

Устойчивые выражения полны скрытого смысла, проецирующегося на состояние говорящего. Окружающий грубый мир порождает у говорящего, человека по природе деликатного, просторечные выражения:

**«Валентина красивой никогда не была. С возрастом как-то выровнялась, а в ранней молодости — ни кожи, ни рожи»; «Когда-то, двадцать лет назад, она так же любила одного хмыря болотного...»**

Но говорящий не дает себе опроститься. Недовольство может выражаться имплицитно:

**«А во вторник и в пятницу он уходил в неизвестном направлении. У него это называется «библиотечные дни»; «По телевизору заседала Государственная дума и решала судьбу страны. Женщины сидели с важными лицами. Лучше бы шли домой варили суп».**

Суждения, по смыслу подобные последнему, можно встретить и в других рассказах В. Токаревой, точка зрения говорящего совпадает с авторской. Совпадение субъектной сферы автора и говорящего достигается тем, что мысли и чувства героя представлены как бы изнутри. Такое проникновение в сознание героя М.М. Бахтин назвал «вживанием». Автор «пересказывает» мысли своего героя, т.к. оказывается внутри его субъектной сферы.

В собеседнике говорящий видит недоброжелателя (что часто соответствует действительности) и прогнозирует его реакцию:

**«Надо же было оказаться возле Татьяны в такую минуту. Теперь придется транспортировать ее в дом, как мешок с мукой. Потом куда-то звонить, вызванивать, сидеть рядом ждать...»**

Цитаты, которые использует говорящий, также в русле ее настроения:

**«Не жалейте о нас, ведь и мы б никого не жалели»; «И нет безумства храбрых, и никто не захочет варить тебе борщ»; «Нет мира под оливами».**

Но талант В. Токаревой в основе своей оптимистический. В ее рассказе «Римские каникулы» Федерико Феллини говорит о писательнице:

**«Какое доброе воображение. Она воспринимает жизнь не как испытание, а как благо».**

Как известно, во многих произведениях В. Токаревой автор сливается с говорящим.

В конце рассказа «Телохранитель» возникает крутой поворот. Нагнетание пессимизма — путь в тупик. Говорящий стряхивает с себя оцепенение и эксплицитно выражает свое выстраданное понимание бытия:

**«Не жалейте о нас, ведь и мы б никого не жалели». Это неправда. Это — гордыня. И поэт, создавший эти строки, был горд. И защищался. За этими строчками все кричит: жалейте нас, сострадайте... Плачьте с нами, не отпускайте... Держите нас на поверхности своей жалостью...»**

Каузальная связь является необходимым звеном заявки на открытие новой истины.

Анализ тактики построения текста делает возможным

вывод, что чем незначительнее комментирующая роль автора, тем напряженнее нагрузка на слушателя (читателя). В этом одна из тенденций интеллектуализации современной прозы. Вопреки логике интроверта, у которого «интенциональное страдание замыкается перед всяким выражением... и немеет» (8, с. 79), у В. Токаревой заключительные размышления, как правило, развернуты, моральное сознание эксплицитно:

*«Одни страдания заставляют душу трудиться и создавать, извините за пышное слово»; «Так что не надо бояться страданий. Надо бояться прожить гладенькую благополучную жизнь».*

Управляя восприятием слушателя (читателя), автор активизирует его. Текстовая стратегия заставляет читателя самостоятельно продумать сюжетный ход и в итоге согласиться с автором. Тактика текста рассказа «Телохранитель» представляет собой путь из грубого недоброжелательного мира, выраженно горькими афоризмами, в мир сострадания и доброты. Попытка анализа тактики текста рассказов В. Токаревой позволяет судить о неразрывной связи языковых средств с общей идеей произведения, с текстовой стратегией.

Как известно, авторизацией называется указание источника информации, т.е. отнесение данной информации к субъектной сфере героя (которая может совпадать с субъектной сферой автора) (3, с. 224). При помощи приема авторизации в рассказе Т. Толстой «Соня» отражается авторское моральное сознание.

Каждый текст содержит авторские знаки, указывающие читателю путь интерпретации. Заглавие — явный авторский знак, служащий для сужения возможного диапазона истолкований. Заглавие представлено именем собственным Соня. Часто связность текста на лексическом уровне опирается на имена собственные. В начале текста имя собственное только указывает на свой референт, отсылая читателя в последующее пространство текста, где имя приобретает какие-то семантические свойства, а в конце приближается к мотивированному условному знаку. Таким образом, если в начале текста имя собственное катафорически направляет читателя вниз, то в конце анафорически отсылает вверх, к предшествующему тексту. Интерпретировать полученный смысл имени собственного читателю помогает прием авторизации.

Для анализа текста непреложным является осознание того, что «предложением управляет текст. Человек не говорит отдельно придуманными предложениями, а одним задуманным текстом» (2, с. 108). О содержании всего текста можно судить только после выдвижения хотя бы какой-нибудь гипотезы о нем как целом, т.е. необходимо мнение о тексте «поверх» связности и семантики его частей. В художественном тексте каждое «следующее событие в меньшей степени связано с предыдущим, а в большей степени — со всем замыслом произведения» (1, с. 46). Автор и читатель движутся в противоположных направлениях: автор — от замысла к материальной форме текста, читатель — от линейной формы текста к его нелинейно организованной структуре. Без сомнения, понимание,

предшествующее интерпретации, основывается на структуре текста. Читатель переходит от формы к содержанию и обратно. Основная проблема интерпретации — согласовать между собой форму и содержание и тем самым объяснить, почему именно такое содержание требует для себя именно такой формы текста.

В рассказе «Соня» автор-рассказчик, как постепенно выясняется, пожилая женщина, обращается к сверстникам, членам компании своей молодости, хотя изначально может показаться, что обращается к читателю. Известно, что наиболее распространенным способом обнаружения адресата является обращение, но оно в данном случае отсутствует. В начале рассказа многочисленны глаголы в форме повелительного наклонения, выражающие прямое восприятие: *смотри, постойте, назовитесь*. Все эти глаголы относятся к слушающим — участникам прежних событий. Большая часть этих людей уже умерла, но автор, «поправ тугие законы пространства и времени», говорит им: *«Живите как хотите».*

А далее слушающим становится читатель. Очевидно, это он высказывает пожелание: *«... хотелось бы поподробнее узнать про Соню»*, больше некому так сказать, потому что автор-рассказчик и его сверстники в курсе событий, произошедших пятьдесят лет назад.

Автор-рассказчик не скрывает своей оценки объекта повествования — Сони. *«Ясно одно — Соня была дура».* Это мнение совпадает с мнением других персонажей. Автор-рассказчик, являясь участником событий, вместе с остальными называет Соню *истуканом, дурочкой*, говорит о ее *идиотизме, глупости, лошадиных чертах*. С высоты прожитых лет автор-рассказчик убеждается в своей правоте: *«... так оно и есть, время только подтвердило...»*

Текст не всегда позволяет однозначно определить, кто же является слушающим, к которому обращается рассказчик, — это может быть одновременно и читатель, и участники событий, на что указывают обращения *друзья мои*, а также *милая моя*. Метатекстовые элементы — вводные конструкции *ну вообразите себе, знаете, что вы, сами понимаете* — могут относиться к любому слушателю. Автор-рассказчик не освобождает свое повествование от метатекстовых оценок недостоверности: *что ли, пожалуй, кажется, какое это может иметь значение, надо думать...* Используется возможность дать оценку событий в основном тексте:

*«О да! Это — да! Уж что-то, а счастье у нее было!» «Отличная идея!» «Жить было весело!» «Без этого уж никак», «Надо же, какая скрытная оказалась».*

Отношение к событиям их участников может быть выражено в метатексте — во вставных конструкциях — это уже комментарий для читателя:

*«(поскольку идея была Адина, Лев называл его «адским планчиком»)», «(Ой, умора! У Сони — поклонники?!)».*

Авторские оценки внутренне противоречивы. Например, Лев Адольфович — *насмешник, негодяй в сущности, но умнейший человек и в чем-то миляга*. Ада Адольфовна — *змея*, а в то же время — *интересная женщина*. Соня — *дура и романтическое существо*.

Очевидно, что связность текста в значительной степени опирается на повтор имен собственных. Ключевыми словами являются *Соня, Ада, Николай* — вымышленный возлюбленный, от лица которого Ада ведет с Соней романтическую переписку. Ключевые слова не могут быть выявлены до предварительного анализа текста, они участвуют в истолковании его смысла — в итоге читатель формулирует гипотезу о смысле текста. Ключевые слова — они же опорные элементы, смысловые вехи, смысловые ядра — обозначают такие части текста, которые в первую очередь служат для его понимания. Ключевые слова обладают свойством свертывать информацию (6, с. 37), они относятся к градуальным понятиям. В рассказе «Соня», наряду с именами собственными, можно выявить ключевые элементы *дура, голубок, письма*. «Свернутая» до ключевых слов, история звучит так: *Соня-дура, с лошадиными чертами и романтическим настроением, клюет на розыгрыш Ады и восторженно включается в любовную переписку с выдуманным Николаем, посылает ему свою единственную ценность — брошку белого эмалевого голубка*. Во время блокады Ленинграда обессиленная Соня приходит в квартиру умирающего *Николая (Ады)* и, спойв ему (ей) сбереженную баночку томатного сока, таким образом спасая от смерти, исчезает навсегда в мертвом городе.

Разворачивая события вокруг этих ключевых слов, мож-

но проследить эволюцию авторского сознания моральной оценки произошедшего.

Изначально автор-рассказчик не сомневается в истинности своих оценок, совпадающих с мнением всего общества, по мере развития повествования события начинают подвергаться интерпретации со стороны самого автора.

Автор-рассказчик постепенно отходит от привычных оценок, существовавших в его среде, и незаметно перемещает свой «наблюдательный пункт», который теперь располагается на стороне Сони. Рассказчик уже спорит со слушающим: *«Любящее сердце — уж говорите, что хотите — чувствует такие вещи, его не обманешь»*. И уже без иронии Сони судьба называется *счастливой*.

*Голубок* становится символом любви. *«Голубков огонь не берет»* — окончательный вывод автора-рассказчика. По его мнению, Соня уже не жертва обмана и розыгрыша, а олицетворение романтического чувства и высшей мудрости, перед которой меркнут достоинства *«по-настоящему содержательных людей»*, затеявших эту интригу.

Специфическим свойством заглавия является то, что оно изначально задумывается автором как намек на соответствующее истолкование текста. Если это так, то история Сони позволяет проследить эволюцию морального сознания автора-рассказчика, выражающегося в значительной степени через прием авторизации.

#### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Белянин В.П. Психолингвистические аспекты художественного текста. — М., 1988.
2. Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. — М., 1982.
3. Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. — М., 1998.
4. Ляпон М.В. Языковая личность: поиск доминанты // Язык — система. Язык — текст. Язык — способность: к 60-летию Ю.Н.Караулова. — М., 1995.
5. Падучева Е.В. Семантика. Прагматика. Референция // Семантические исследования. — М., 1996.
6. Сахарный Л.В., Штерн А.С. Набор ключевых слов как тип текста // Лексические аспекты в системе профессионально-ориентированного обучения иноязычной речевой деятельности. — Пермь, 1988.
7. Юнг К.Г. Архетип и символ. — М., 1991.
8. Юнг К.Г. Психологические типы. — М., 1992.

# V. ЭТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПТЫ В РАЗНЫХ ТИПАХ ТЕКСТА

- 1/ Э.Р. Лассан / Вильнюс, Литва / **Надежда — этический концепт?**
- 2/ И.А. Мартыанова / Санкт-Петербург / **Интерпретация концептов «Вера», «Надежда», «Любовь» в «Эстетике мышления» М.К. Мамардашвили**
- 3/ Е.В. Сергеева / Санкт-Петербург / **Этический концепт «Вера» в религиозно-философском дискурсе школы всеединства**
- 4/ В.А. Рыбникова / Краснодар / **Концепт «успех» в современной английской дидактике**
- 5/ Т.Н. Долотова / Ставрополь / **Концепт «добро» в концептосфере Шукшина-художника**
- 6/ Л.Ю. Буянова / Краснодар / **Концепт «душа» как основа русской ментальности: особенности речевой реализации**
- 7/ В.А. Новосельцева / Краснодар / **Об этических концептах в ценностной картине мира А.П. Чехова**
- 8/ О.Н. Буянова / Краснодар / **Текст и особенности реализации этического и эстетического: концепт «любовь»**
- 9/ И.И. Коган, Н.В. Козловская / Санкт-Петербург / **Лексикографическое представление имени концепта «Родина» (по данным русских словарей)**

## НАДЕЖДА — ЭТИЧЕСКИЙ КОНЦЕПТ?

Э.Р. Лассан  
Вильнюс, Литва

Постановку вопроса, вынесенного в заглавие статьи, обусловили два фактора. Первый — внутренняя убежденность автора в том, что, несмотря на общечеловеческий характер чувств, к которым принято относить и надежду, знаковая сущность «надежда» играет в русском языковом сознании и культуре особую роль, позволяющую на ее основании говорить об особенностях национального сознания. Отметим попутно, что «надежда» не включена Ю.С. Степановым в число констант русской культуры (12) и не отнесена другими исследователями (напр., А. Вежбицкой) к числу специфически русских концептов.

*Убеждение автора в том, что «надежда» — важный русский концепт, основано на следующих факторах:*

- 1) распространенность говорения о надежде в сильных местах текста — начале и конце. Примеры трудно исчислить — вот некоторые из них: **начало** текста: «В конце века обостряется чувство подавленности и вместе — надежды. Конец XX в. — какое-то странное исключение. Надежд особенных нет. <...>» (начало заключительного раздела из книги Т. Чередниченко «Россия 90-х в слоганах, рейтингах, имиджах»); «Уважаемый Василь Владимирович, прошел ровно год с той поры, когда мы впервые встретились <...> Тогда было много надежд, сомнений, неясностей» (из интервью с В. Быковым 1987 г., называемом «Истоки надежды» и открывающем сборник «Весть» — первое издание первого кооперативного издательства); «Мы уезжали с конгресса с надеждой...» (начало интервью Р. Муксинова газете «Литовский курьер», участвовавшего в Конгрессе соотечественников в октябре 2001 г. в Москве); **конец** текста: «Собака тявкнула и слизнула мальчишечьи слезы. Он обнял ее голову, вдыхая запах псины. Странно, но он рождал надежду» (заключительные строки романа Г. Щербаковой «Мальчик и девочка»); «Но когда вы думаете о Всемогущем, чего вы обычно просите для себя? — Я не прошу. Я просто надеюсь, что делаю то, что он одобряет» (из интервью с И. Бродским, названном «Надеюсь, что делаю то, что он одобряет»); «Но я, озираясь и примеряясь, силюсь непреклонно, и глубокая вера не покидает моей слабой надежды, что труд сей не напрасен» (И.П. Шмелев. Глагол, согласованный с душой);
- 2) использование этого имени или его антонимов в названиях статей, книг, стихотворений, напр., К. Батюшков: «Надежда», И. Губайловский: «Пытка надеждой» (другие примеры см. ниже.);
- 3) создание метафор, определяющих роль надежды в картине мира говорящего, а также метафор, ставших афоризмами: «Надежды маленький оркестрик...», «Надежда — мой компас земной»;
- 4) использование этого имени для называния материальных объектов: судов, клубов, кафе и т.п.;
- 5) существование специфической конструкции «в надежде» для оформления важнейшей категории бытия — причинности: «В надежде сладостных наград к Лукреции Тарквиний новый отправился...» (Пушкин).

Вторая причина, побудившая автора сформулировать тему статьи подобным образом, заключается в стремлении понять, 1) совпадает ли аксиологическое отношение к понятию надежда в религиозном и русском светском дискурсах; 2) являются ли очевидными основания оценки, выносимой этому понятию; 3) возможно ли на основе вовлеченности данного понятия в аксиологическое пространство, говорить о надежде как об этическом добре / зле; 4) если это возможно, то каким образом надежда как один из основных концептов русской культуры позволяет судить о моральных представлениях носителей этой культуры.

Надежда — одна из трех главных добродетелей, названных апостолом Павлом в первом послании к коринфянам: «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь, но любовь больше» (1 Кор. 13:13).

Побуждение к упованию на бога сочетается в новозаветных текстах с побуждением к безоглядной вере, что ставит, на первый взгляд, «детский» вопрос о том, не является ли надежда как ментально-эмоциональное состояние, сопряженное с сомнением (Спиноза: надежда — «непостоянное удовольствие, возникающее из идеи будущей или прошедшей вещи, в исходе которой мы до некоторой степени сомневаемся» — 11, с. 515), избыточным при наличии веры — состояния, исключающего сомнение?

Интересно, что один из крупнейших мыслителей и католических теологов XX в. Ойген Розеншток-Хюсси, различая веру и надежду («Человек может надеяться только с помощью определенных представлений <...> Мы надеемся снова увидеться с кем-то, сохранить свое влияние, победить, остаться здоровыми. Очевидно, верить мы должны были бы, даже не видясь друг с другом снова, <...>, даже после поражения и во время болезни» — 10, с. 66), в частности, пишет: «Евангелия обходятся без слова «надежда», поскольку они являются посевом новой веры» (там же).

Русские православные философы традиционно придавали надежде значение высочайшей христианской ценности, следующим образом отвечая на вопрос о соотношении веры и надежды: «Для каждого человека, знающего свою греховную скверну, должно быть ясно одно: если адские муки могут миновать всех людей, то его-то они уж не должны миновать, ибо он несомненно заслуживает их перед судом Божественной правды. Так говорит каждому его личная религиозная совесть. Но наряду с этим незаглушим и робкий голос надежды, и мольба о прощении, глас мытарев: «Боже, будь милостив мне грешному!» И слово Божие дает надежду...» (2, с. 357). Таким образом, вера в Господа является условием надежды на спасение после смерти («И если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков» — 1 Пт. 15:19).

Ценность христианской надежды как определенного состояния духа видится теологическим мыслителям в том, что она «хранит <...> от нездорового, непосильного пессимизма, от отравления эсхатологи-

ческим испугом» (2, с. 351), она спасает от греха отчаяния: «Отчаянье — это смертельная болезнь», «Отчаяние — это грех» — так называются главы сочинения Кьеркегора «Страх и трепет». «Отчаяние — это безнадежность...» — пишет Кьеркегор, а безнадежность, в свою очередь, «есть отсутствие последней надежды» (4, с. 259).

Таким образом, неизменный вопрос этиков о том, почему некую сущность можно считать добром (добродетелью), мог бы при анализе евангельской надежды получить следующий ответ: 1) надежда является добром сама по себе; 2) надежда является средством достижения добра — безгреховного состояния; 3) надежда — часть добра, поскольку она свидетельствует о вере в Господа.

Поскольку *надежда* — одно из весьма частых слов светского дискурса (131 раз на миллион слов в русском языке — его частотность выше, чем частотность имени *тоска*, называющего, по А. Вежбицкой, один из ключевых русских концептов), вполне уместным представляется вопрос о соотношении христианской трактовки надежды с ее трактовкой в светском дискурсе. Составляющей анализа, который позволил бы ответить на этот вопрос, можно считать выявление основания, или мотива оценки, которая придается надежде в русских светских дискурсах.

Если исходить из различных этических концепций добра, то одним из первых возникает вопрос о том, применима ли к надежде, по данным русских текстов, гедонистическая оценка, в соответствии с которой ценность приписывается удовольствию? Удовольствие, согласно Спинозе, увеличивает жизненные силы человека, способствуя тем самым самосохранению как безусловному «добру». Однако в приведенном выше определении *надежды* Спинозой есть момент, который заставляет усомниться в ценности надежды как состояния, увеличивающего жизненные силы: удовольствие является постоянным и сопряжено с состоянием *сомнения* (!). В сущности, референтные ситуации, обозначаемые глаголами *надеяться* и *сомневаться* имеют очень большую общую часть: и в том и в другом случае **X знает, что P может быть и может не быть**. В ситуации *надеяться* **X думает, что P может быть**, в ситуации *сомневаться* **X думает, что P может не быть**. В одном случае X сосредоточивает внимание на возможностях осуществления желаемой для него ситуации, в другом — на трудностях ее осуществления. Выражение «бремя сомненья» («Под бременем сомненья и познания до времени состарится оно» — Лермонтов) акцентирует негативный характер состояния, обозначаемого существительным *сомнение*. Кроме того, если судить по текстам русских писателей, надежда имеет обыкновение переходить в отчаяние: «Скользнули лучи надежды; они меркли сами собой и заменялись невыразимо печальным, тихим отчаянием» (Герцен), «Иногда вдруг высоко поднималась надежда, а за ней всегда наступала очередь отчаяния» (Грекова). Надежда в приведенных случаях предстает если не источником, то во всяком случае обязательным предшественником отчаяния, которое, по

Кьеркегору, и есть смертельная болезнь — грех. В стихотворении Е. Баратынского «Безнадежность» состояние, противоположное состоянию надежды, рассматривается как близкое к счастью:

*Желанье счастья в меня вдохнули боги;*

.....

*Но прихотям судьбы я боле не служу:*

*Счастливым отдыхом, на счастье похожим,*

*Отныне с рубежа на поприще гляжу —*

*И скромно кланяюсь прохожим.*

Очевидно, опираясь на подобные русские тексты, гедонистическая этика, полагающая удовольствие основным добром, стала бы в затруднительное положение, решая вопрос о том, можно ли причислить надежду к добру на основании удовольствия, доставляемого этим ментально-эмоциональным состоянием человека.

Вопрос об этическом характере понятия надежды, видимо, является затруднительным и для тех этических теорий, в которых принято причислять к этическим ценностям понятия, регулирующие отношения между людьми на основании принципа пользы или принципа долга, диктуемого разумом.

Нужно сказать, что присущее человеку, живущему в социуме, моральное чувство скорее всего не склонно относить надежду к этическим понятиям, поскольку надежда не связывается непосредственно с поведением человека: «Этика изучает поведение человека относительно ценностных ориентиров, оценивая его мотивы и результаты в категориях добра и зла» (15, с. 33). Моральное чувство связывается в нашем сознании прежде всего с поступками, которые касаются других людей. Вместе с тем трудолюбие или лень, которые касаются других опосредованно, наделяются нами позитивной или негативной ценностью, которой мы склонны приписывать этическую значимость. Это обстоятельство проявляется в существовании высказываний *человек должен трудиться* или *человек не должен лениться*, возможными постольку, поскольку существуют социальные нормы *трудиться* и *не лениться*. Конечно, вполне возможным является и высказывание *человек должен надеяться*. Однако здесь *должен* обладает иным значением, нежели *должен* в первых двух высказываниях: если использовать классификацию значений глагола *ought to* (быть должным), предложенную некогда Сиджуиком, то, очевидно, в первом случае можно усмотреть обязанность или отношение к идеалу, а во втором — «гипотетический императив», рекомендацию, выполнение которой необходимо для достижения определенной цели (цит. по: 1, с. 154-155), в нашем случае — для того, чтобы жить, не впадая в отчаяние.

В пространстве новозаветного дискурса отсутствие у человека надежды истолковывалось как отсутствие веры к идее воскрешения, т.е. в конечном счете как отсутствие веры во всемогущего Бога, который «печется о человеке» (1 Пт. 4:7). В таком случае *должен* в высказывании *человек должен надеяться* приобретало значение «категорического императива», ибо абсолютная, безусловная вера предстала долгом. Является ли «светская надежда», не осознаваемая как долг, поскольку она не связана с обязательностью

исполнения, этическим понятием? Отметим, что Р. Мур приписывал «обязанностям» такие черты, как «сильное искушение их не выполнять» и неблагоприятные последствия в случае их неисполнения «не для личности, не исполнившей свой долг, а для кого-то другого» (8, с. 257). Чтобы ответить на поставленный вопрос, определим вначале этические концепты на основании дискурсивного поведения имен этих концептов. Учитывая то, что эти имена (или однокоренные глаголы) включаются в предписывающие высказывания, определим обозначаемые ими этические концепты как *понятия, соотносимые с понятиями добра / зла и в силу этого утверждаемые в побудительных высказываниях, имеющих целью формировать определенные модели поведения, одобряемые в социуме*.

Предметом рассмотрения в данной статье является функционирование имени *надежда* в пространстве русского светского дискурса с целью выяснения того, используется ли это имя в высказываниях, определенным образом нацеленных на формирование моделей поведения. Разумеется, надежда — ментально-эмоциональное состояние человека (напомним известное определение *надежды*, данное Спинозой и цитируемое во многих лингвистических работах: «Если мы знаем о будущей вещи, что она хороша и что она может случиться, то вследствие этого душа принимает форму, которую мы называем надеждой» (12, с. 128), а не поступок, в отношении выбора которого человек задается одним из основных вопросов этики: «Что я должен делать?» Состояние души чаще всего не выбирается человеком, лежит вне сферы действия его воли — тем не менее побудительные высказывания как религиозного, так и светского дискурсов («Всегда радуйтесь» (1 Фс. 5:6), «Не печалься, не сердись» (Пушкин), «Ты не... грусти» / «Ты не печалься...» / «Надейся и жди» (из песен 60-80 гг.), содержащие глагол эмоционального состояния в форме повелительного наклонения, говорят о том, что эмоциональное состояние осмысливается в сознании как мотивированное волей субъекта. Субъект, конечно, не может заставить себя радоваться, но он может избрать определенную точку зрения на мир и событие, побуждающую к возникновению той или иной эмоции. В этом смысле выбор точки зрения становится *поступком*, в отношении которого можно уже говорить если не о его обязательности («долг»), то о его «уместности». Мур рассматривает «уместные» поступки в одном ряду с «обязательными» («долгом»), полагая их различие в том, что обязанности, как отмечалось выше, требуют воли для их исполнения и касаются других людей, «поступками же уместными являются те <...>, на которые нас почти постоянно толкают сильные природные склонности и все наиболее очевидные последствия которых <...> касаются самого действующего лица» (8, с. 258).

Используя введенное понятие «уместности», обратимся к тому, как осмысливается надежда в типе сознания, отраженном в русском нерелигиозном дискурсе и зафиксированном в определенных языковых формах. В русском языке существует особая конструкция в *надежде*, выражающая причину тех или иных поступ-

ков: «Сделавши это распоряжение, Анна Петровна возвращается в надежде хоть на короткое время юркнуть в пуховики» (Салтыков-Щедрин). По данным опроса информантов, употребленная в данном случае конструкция в *надежде* создает ощущение неудавшегося намерения Анны Петровны. Фразы *Я отправился туда в надежде развлечься / заработать / отдохнуть* по данным того же опроса возбуждают представление о вставших на пути «но». Вспомним пушкинскую строфу из «Графа Нулина»: «В надежде сладостных наград // к Лукреции Тарквиний новый // Отправился, на все готовый». Но... «Она Тарквинию с размаху // дает — пощечину, да, да...». Рассматриваемая языковая конструкция фиксирует печальный опыт «действующих в надежде» — надежда *обманывает* их, то есть «совершает поступок», обычно не одобряемый моральным чувством. «Обманула меня надеюшка» — это выражение из словаря В.И. Даля, собранного в словарной статье глагола *надеяться* множество пословиц и поговорок, представляющих надежду как «обманщицу»: «Я потерял надежду», «Пропала последняя надежда», «На кого была надежда, того и разорвало», «Лопнула моя надежда». Если использовать термины этики, то можно сказать, что надежда в приведенных выражениях не предстает средством достижения положения, которое говорящий ощущал бы как добро для себя. Способность надежды обманывать представлена и в русских пословицах с глаголом *надеяться*: «Надейся добра, а жди худа», «На бога надейся, а сам не плошай», «Жить надейся, а умирать готовься». Очевидно, что приведенные русские пословицы, предостерегающие от чрезмерного упования на Бога и побуждающие субъекта к определенным самостоятельным действиям, не согласуются с евангельским побуждением «все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас» (1 Пт. 4:7). В терминах этики Р. Мура выбор точки зрения, побуждающей надеяться, в описанных случаях можно определить как «неуместный» поступок, который, как уже было сказано, также является предметом обсуждения этики. Тем не менее наше моральное чувство сопротивляется тому (ощущение автора и его информантов), чтобы приписать «надежде» в приведенных выше примерах этический смысл (разумеется, если не принимать во внимание религиозный аспект воззрений на надежду, согласно которому некоторые из приведенных выше пословиц могли бы быть сочтены богохульством, т.е. нарушением религиозной этики).

Причиной подобных ощущений, очевидно, является отмеченное Муром свойство связывать моральное чувство с обязательными поступками, т.е. поступками, касающимися других людей. Вместе с тем поступки, касающиеся самого субъекта, также могут обеспечивать «наибольшую возможную сумму добра в универсуме» (8, с. 232). Например, осуществившаяся надежда на выздоровление близкого человека или на достижение определенных благ посредством трудолюбия умножает число счастливых людей в социуме, — таким образом, согласно утилитаристской этике, личная польза увеличивает



ет «сумму общественного счастья» (Бентам. цит. по: 4, с. 15). В этом случае надежда на осуществление события, ситуации, которые воспринимаются в данном социуме как добро, может рассматриваться как составная часть этой ситуации, т.е. составная часть добра. Возникает вопрос о том, всякая ли надежда связывается с ситуацией, способной увеличить «сумму добра в универсуме», т.е. не может ли субъект питать надежду на некоторое событие, неблагоприятное для других? Среди пословиц со словом *надеяться* в Словаре живого великорусского языка, наряду с теми, что изображают состояние надежды как не оправдавшуюся жизненную позицию, существуют и пословицы «во славу надежды»: «Век живи, век надейся», «Счастье скоро покидает, а добрая надежда никогда». Если первая соотносится с евангельской заповедью, то вторая обращает на себя внимание определением «добрая». Имплицирует ли выражение *добрая надежда* существование разных «видов» надежды — доброй и недоброй? Если это так, то с каким мыслительным содержанием соотносится возможное выражение *недобрая надежда*? С желанием зла тем, кого говорящий не включает в круг любимых людей? Или «добрая надежда» противопоставляется надежде «пустой», обманчивой, необоснованной («Бессмысленная чернь изменчива, мятежна, суеверна // Легко пустой надежде предана» — Пушкин)? Или, может быть, «добрая надежда» связана со значительностью предмета, желаемого субъектом? Во всяком случае для современного носителя русского языка выделение «доброты надежды», имплицитное существование иной надежды, представляется недостаточно ясным с точки зрения оснований такого выделения. Наш слух не режет название «Мыс Доброй надежды», тем не менее вполне уместным для современного русского сознания представляется вопрос: что побудило португальского короля Жуана II дать мысу Бурь, названному так португальским мореплавателем Диашем, новое имя? Значительность желаемой ситуации — достичь отсюда Индии и тем самым увеличить сумму общественного счастья? Или такое переименование должно было подчеркнуть иной взгляд на географическое пространство, рассматриваемое вначале как источник угрозы, а теперь открывшееся со стороны сулимых им перспектив, считающихся благом? При всей неясности содержания понятия, означенного выражением «добрая надежда», можно все-таки говорить о вырисовывающейся в связи с ним картине ценностей в сознании носителей языка, знакомых с этим выражением. Итак, *добрая надежда* может рассматриваться как позитивная этическая ценность по следующим основаниям: 1) если она связывается с представлением об осуществлении ситуации, рассматриваемой в определенном социуме как добро. В таком случае она является составной частью этого добра; 2) если *добрая надежда* — обоснованная надежда, возникшая как результат правильно обдуманной возможности развития ситуации, то она звучит «похвалой разуму». В терминах кантовской этики рассудка такая

надежда являет собой здравомыслие и потому может считаться позитивной этической ценностью. «Пустую надежду» в таком случае следует рассматривать как отрицательную этическую ценность — питающий ее непременно обманется в будущем, и с точки зрения поступков «уместных» / «неуместных», т.е. направленных во благо или во вред самой личности, такое ментально-эмоциональное состояние, возникшее как выбор определенной точки зрения, представляется неуместным. Видимо, русское национальное сознание, отраженное в пословицах, настороженно относилось к надежде как к жизненной позиции, полагая, что в большинстве случаев она оказывается «пустой», т.е. неуместной. В то же время существование побудительного высказывания-пословицы «век живи — век надейся» все же заставляет говорить об амбивалентном аксиологическом отношении к понятию «надежда» в сознании народа, зафиксировавшего свой опыт жизни в созданных им языковых выражениях.

Поэзия XIX века тоже отразила амбивалентную аксиологическую значимость понятия надежды. Одно из достаточно ранних стихотворений Батюшкова, носящее название «Надежда», интерпретирует это состояние как божественный дар: «Все дар его и краше всех / Даров — надежда лучшей жизни». Стихотворение Баратынского «Безнадежность» уже упоминалось выше — в нем *отсутствие надежды* сравнивается со счастливым отдыхом и покоем. В другом стихотворении — «Две доли» — сопоставляются, с одной стороны, «надежда и волнение», с другой — «безнадежность и покой». Поскольку стихотворение — своеобразная рефлексия над ценностным характером того и другого состояния, оно содержит и побудительные высказывания, иллюстративная цель которых — воздействие на модели поведения адресата. Вот эти высказывания:

*Верь тот надежде обольщающей,  
Кто бодр неопытным умом,  
Лишь по молве разновещающей  
С судьбой несмешливой знаком.*

*Надейтесь юноши кипящие!  
.....  
Для вас и замыслы блестящие  
И сердца пламенные сны.*

*Но вы судьбину испытывшие  
.....  
Гоните прочь их рой прельстительный...*

Основанием для появления подобных высказываний рекомендательного характера является интерпретация надежды как обмана, ведущего к страданию и «боли новой прежних ран». С точки зрения гедонистической этики надежда в таком случае не может быть отнесена к позитивным этическим ценностям. Столь разная трактовка понятия «надежда» в различных дискурсах XIX в. служит своеобразным подтверждением взгляда на структуру концепта, высказанного А.Д. Кошелевым: «Двуслойное концептуальное

представление составляется из свойств принципиально разной природы: перцептивных <...>, достоверно идентифицируемых, и интерпретационных <...>, имеющих статус гипотез и приписываемых перцептивным свойствам на основе жизненного опыта» (6, с. 134). Структура концепта «надежда» состоит из представления о состоянии, переживаемом субъектом (*Х хочет Р. Х знает, что есть что-то, из-за чего Р может быть и есть что-то, из-за чего Р может не быть. Х думает, что Р будет. Когда он так думает, он чувствует что-то хорошее*), и интерпретации этого состояния по шкале *добро — зло*.

Если говорить об интерпретации состояния надежды по шкале *добро — зло* в XX веке, то можно отметить ряд особенностей, различающих дискурсы надежды (уже!) прошлого и позапрошлого века. Так, в 70-80-е гг. XX в. в жанре лирической песни появился ряд песен, ставших своеобразным гимном надежде. Песенный дискурс обычно не рассматривается с точки зрения выполняемых им коммуникативных функций. Думается, что песне, наряду с эмотивной и контактоустанавливающей функцией, можно приписать и побудительную функцию (7). Еще в пифагорейской традиции было принято связывать каждый музыкальный лад с определенным этосом — стимуляцией определенного типа поведения. Ощущая возможности музыкального жанра, песня часто и в своей текстовой части реализует свойства побудительных дискурсов: достаточно вспомнить обилие предложений с побудительной модальностью в песнях разных лет, как нацеленность песни на побуждение становится очевидной: «Смело, товарищи в ногу!», «Вставай, страна огромная!», «Не обижайте любимых упреками...» и т.п. Но песня может осуществлять побудительную функцию и иными способами — так, как это делается в других дискурсах: утверждением некоей авторитетной ценности, т.е. побуждением к моделям поведения, считающимся в социуме с определенными установками достойными подражания. Как наиболее простой и доступный для восприятия жанр песня в большой степени способна оказывать моделирующее воздействие на слушателя (подобно пословицам в определенную эпоху). Поэтому песенные тексты, в сущности, отражают и одновременно формируют мироощущение социума (7).

В 70-е годы XX в. своеобразной «речевкой», девизом стала строка из песни А. Пахмутовой и Н. Добронравова «Надежда» (!): «Надежда — мой компас земной» — эта метафора, если использовать слова Вл.И. Новикова по поводу некоторых текстов Б. Окуджавы, стала «фактом русского языка» (9, с. 44). Она утверждала состояние надежды как безусловную ценность: «человек поющий», говоря о себе и повторяя эту строку рефреном, стимулировал слушающих занять ту же жизненную позицию. Слова «в небе незнакомая звезда светит, словно памятник Надежде» подчеркивали позитивную и вневременную ценность сущности, ибо памятник принято воздвигать тем, чья слава не проходит во времени. Несколько позднее песенный дискурс подарил и другую метафору надежды: «Надежда — спасательный круг <...> в океане разлук» (Ю. Анто-

нов). Обе приведенные метафоры можно рассматривать как передающие, т.е. реализующие некий инвариантный глубинный смысл, в данном случае выражаемый метафорой *надежда — средство выживания* — базовой по отношению к названным.

Инвариантный смысл «средство выживания» в рамках разных ситуаций (фреймов) может получать разное лексическое воплощение: во фрейме блуждания в пространстве средство выживания может быть представлено *компасом*, во фрейме кораблекрушения — *спасательным кругом*, во фрейме болезни — *лекарством*. Средство выживания, способствующее сохранению жизни как высшей ценности, является добром — средством по отношению к добру-цели. Поэтому компас или спасательный круг в приводимых выше примерах приобретают статус положительной ценности, проясняющей, в свою очередь, ценность надежды.

В 90-е годы из песни О. Газманова пришли не очень ясные по содержанию, и тем не менее отчетливые по характеру отношения к одному из возможных состояний человека строки: «Надежда умирает последней, / И я ее по крови наследник...». Приведенные песенные фрагменты, в которых говорящий утверждал свою жизненную позицию как достойную подражания (иначе зачем о ней петь в мажорной тональности?) переводили надежду из личностного состояния в тиражируемую модель поведения, т.е. утверждали ее как позитивную общественную (а значит — этическую) ценность. Метафоры надежды — компаса и спасательного круга, будучи передающими по отношению к базовой метафоре надежды как средства выживания, усваивались как афоризмы и сами по себе становились метафорами, «которыми мы живем». Из метафор подобного рода вытекает ряд импликаций, внимание к которым может прояснить особенности мироощущения человека, надеющегося «в подобных терминах». Так, из метафоры спасательного круга выводится взгляд на надежду как на средство, данное (брошенное) кем-то другим. Метафора компаса, концептуализируя надежду как необходимое «средство оснащения» человека, в то же время высвечивает и другую сторону надежды: такое средство дано человеку, не знающему дороги в лесу или в океане жизни. Впрочем, и метафора спасательного круга создает представление о мире, не расположенном к человеку. И тогда на основе текстов, включающих имя существительное *надежда*, может быть дано следующее описание ситуации, обозначаемой этим именем: *Х существует в мире, о котором он не может сказать, что он хорош. Х хочет думать, что мир станет лучше. Х думает, что так думать хорошо. Х не думает, что он должен делать что-то для этого.* (Предложенное описание — попытка экспликации семантического содержания *надежды* на языке семантических примитивов Анны Вежбицкой, точнее, описания некоего душевного состояния на языке «сценариев» такого переживания — 3, с. 326-370). Реальность выделенных компонентов, за исключением *Х не думает, что он должен делать что-то для этого*, думается, подтверждена предшествующим анали-

зом контекстов с именем *надежда*. Наличие компонента *X не думает, что он должен делать что-то...* следует из того, что анализируемые контексты не содержат указания на какую-либо деятельность субъекта по достижению цели. Приведем начальные фрагменты двух текстов, наглядно демонстрирующие пассивность «человека надеющегося»: «Мы уезжали с конгресса с надеждой, нет, не скажу, что окрыленные, мол, вот теперь начнется! Но надежда затеплилась: мы увидели внимание к себе. Нам продемонстрировали уровень интереса: выступил президент Путин...» (Литовский курьер, № 121). Автор приведенного отрывка — представитель русской диаспоры Литвы, участник конгресса соотечественников в Москве в октябре 2001 г. Его позиция — позиция пассивного зрителя, который обретает надежду не в результате собственных действий, а в результате восприятия того, что становится видимым: в данном случае видимым становится то, что ему демонстрирует некто другой.

Приведем начало еще одного текста, который так и озаглавлен — «Надежды»: «Балтийские страны надеются, что такие проекты <...> ускорят решение вопроса об их приеме в альянс — решит ли НАТО включить эти страны в следующий этап расширения или им придется и дальше ждать» (Литовский курьер, № 122). Позиция стран Балтии представлена как позиция пассивных участников ситуации, чья участь зависит от решения других, а не от каких бы то ни было собственных действий. В свете приведенных контекстов надежда предстает состоянием пассивного ожидания блага, исходящего от внешних по отношению к субъекту факторов. Видимо, именно от такого пассивного ожидания предостерегают русские пословицы, что побуждает отметить различие способов говорения о надежде в русской культуре.

Интересно, что советский дискурс публичной коммуникации достаточно редко использовал это слово для выражения мировоззренческих ориентаций. Так, в советском песенном дискурсе слово *надежда* использовалось в контекстах, близких к евангельским: «Партия — наша надежда и сила» (С. Михалков), «Надежда мира — Москва-столица» (Долматовский). Ср.: «Павел, Апостол Иисуса Христа, надежды нашей» (1 Тм. 1:1). Надежда представляла олицетворенной в партийно-государственных образах — в таком случае речь шла не о внутреннем состоянии отдельной личности, связанном с ее ожиданием изменения ситуации к лучшему, а о некотором сверхсубъекте, способном осуществить коллективные чаяния. Именно этот сверхсубъект (будь то в евангельском тексте или в песенных ораториях — проводниках соответствующей идеологии) воплощает активное начало, по отношению к которому просто субъекты предстают пассивными ведомыми, побуждаемыми текстом к доверию сверхсубъекту. В подобных контекстах речь идет не об аксиологической ценности надежды — напротив, посредством этого понятия подчеркивается позитивная ценность референта, обозначенного предикцируемым членом предложения (*партия, Москва*).

Таким образом, и в контекстах, где *надежда* обозначает не внутреннее состояние, а конкретное средство достижения некоего положения, мыслимого как благо, сохраняются те же составляющие концептуального содержания имени *надежда*: аксиологическая ценность сущности, обозначаемой этим именем, и пассивность субъектов, ждущих блага.

Интересно, что в песнях периода Великой Отечественной войны надежда практически не упоминается, очевидно, в силу ощущаемой носителями культуры пассивности субъекта надежды, а также в силу близости состояния надежды состоянию сомнения. Вспомним, что Спиноза определял надежду как «непостоянное удовольствие». Это «непостоянное удовольствие», сомнение идеология официального оптимизма исключала. Советские люди не *надеялись на светлое будущее, а верили* в него. Так, Даниэля и Синявского на суде, в частности, обвинили в том, что они стремились подорвать *веру в светлое будущее*. В свою очередь, Андрей Синявский в статье «Что такое социалистический реализм», характеризуя положительного героя советской литературы, отмечал, что для него «не существует *внутренних сомнений* (выделено нами. — Э.Л.) и колебаний, и в самом запутанном деле он легко находит выход...» (13, с. 437), из чего следует, что этот герой не ждет, а действует, не надеется на благополучный исход, а уверен в нем.

Но разве оптимизм и состояние надежды не близки другу по характеру переживаемых эмоций? При кажущемся сходстве состояний оптимизма и надежды существуют значимые различия в мироощущении оптимиста и состоянии души «человека надеющегося». Для первого характерен определенный взгляд на *настоящее* и *будущее*, в силу которого он видит прежде всего позитивные стороны любой ситуации и не испытывает смены состояний от надежды к отчаянию: *Я оптимист — всегда жду хорошего*. Для второго — человека надеющегося — характерно определенное состояние души, связанное с мыслями об осуществлении конкретного события: *надеются* обычно на *что-то*, а не просто *надеются*. К оптимисту близок человек, никогда не теряющий надежды. «Все будет хорошо» — это установка оптимиста. «Может быть, будет то, чего я хочу» — это вербализованное состояние «человека надеющегося». Информанты практически единогласно приписали первому бодрые, уверенные движения, склонность к улыбочности, радостный блеск в глазах. Неуверенная походка, робкий свет в глазах, то поднятые, то опущенные плечи — вот характеристика внешнего вида «человека надеющегося». Оптимизм, чуждый сомнений, связан с энергией, реализующейся в деятельности — и именно это требовалось от положительного героя советской литературы и действительности: «Великая цель рождает великую энергию» — гласила надпись в музее изобразительных искусств («цитата из сочинений Хозяина») в произведении Абрама Терца «Суд идет». Для такого времени, «времени великой энергии», надежда с ее переходами к отчаянию, с ее склонностью к пассивному ожиданию, не могла быть образцовым ду-

шевым состоянием, поэтому она практически устранилась из списка ценностей, подлежащих утверждению.

Как представляется, надежда как один из ключевых концептов русской картины мира возвращается в публичный дискурс с творчеством Булата Окуджавы. «Надежды маленький оркестрик под управлением любви» — фраза, ставшая крылатой, видимо, потому, что, с одной стороны, она возвращала к традиционным христианским ценностям, а с другой — очеловечивала официальный оптимизм, исключая из поля зрения неблагополучие мира и возможность неосуществления желаемого.

В года разлук, в года сражений,  
Когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам,  
.....  
Тогда командовал людьми  
Надежды маленький оркестрик под управлением любви.

Имя *надежда*, высветившее неблагополучие мира и напомнившее о естественных, безыскусных чувствах, по мере его эксплуатации в песенном дискурсе, как представляется автору, превращается в бессмысленный знак, теряющий практически все составляющие значения и усекающий свое смысловое содержание до *хорошо думать, что будет Р*. Действительно, что значит *быть наследником надежды* — слова из уже цитировавшейся выше песни О. Газманова? Значит ли это, что произносящий слова «надежда умирает последней и я...» тоже «умирает последним»? Безграничное прославление надежды, не осмысленной как состояние, не проверяемой разумом на возможность осуществления, стирает грани между надеждой и оптимизмом и превращается в создание еще одной идеологии жизни, мифологизирующей реальность. В этой идеологии надежда — безусловная поведенческая, т.е. этическая ценность, добро, о причинах мотивации которого не задумываются.

Интересно, что в русской культуре практически не используется мифологический сюжет о ящике Пандорры, содержащем среди прочих бедствий и надежду. Значит ли это, что сознание носителей современной русской культуры и языка, уже не знающее выражения *добрая надежда*, не подбирающее антонимов к слову *добрый* в нем, в восприятии анализируемого понятия близко евангельскому сознанию, утверждающему надежду как безусловную христианскую добродетель? Если признать позитивный характер такой апологии надежды, то как следует понимать следующие слова Ойгена Розенштока-Хюсси: «Как и вера, надежда также может приводить к отрицательным последствиям. Следует отбросить представление о том, что вера, надежда всегда благодатны» (10, с. 66)?

Вопрос об основаниях той или иной аксиологической отнесенности понятия «надежда» представляется особенно важным в эпоху общественных переломов. «Как только начинается движение из кризиса, у людей растут ожидания» (14, с. 400). Как поведет себя в такой ситуации носитель сознания, одной из ключевых ценностей которого является понятие, связанное с ситуацией пассивного ожидания блага от

некоего сверхсубъекта? В 2001 году журнал «Новый мир» опубликовал дневниковые записи Игоря Дедкова, сделанные им в 1985-1986 гг.: «<...> Как печально было вчера! Без надежды жить плохо, и вроде бы есть, пусть не совсем очевидные, основания для надежды, но как реально они опровергаются, те основания». Дневниковые записи опубликованы журналом под выразительным названием: «Новый цикл российских иллюзий» (выделено нами. — Э.Л.). Да, надежда имеет гедонистическую и утилитарную ценность (доставляя «удовольствие», в определенный момент помогает жить), но будучи результатом недостаточно осмысленной ситуации и сопрягаясь с пассивностью надеющихся, исполнение желаний которых зависит не от них, она в очередной раз обманывает, становясь *иллюзией*, и тогда приходит безнадежность. Таков печальный итог опыта «человека надеющегося».

Если надежда концептуализируется в сознании через метафору *надежда-обманщица*, то каков ее аксиологический статус в этом сознании? Представляется, что XXI в. вносит изменения в привычный взгляд на надежду. Вот заключительный абзац статьи Татьяны Чередниченко «Онкология как модель», автор которой, знакомый на собственном опыте с проблемами онкологии, избегающей сеять *пустые надежды*, полагает, что ее кодексы содержат образцы социальной практики: «Надеяться надо <...>, но надежда должна быть *деятельной и предусмотрительной* (выделено нами. — Э.Л.). Ценностная конституция, при которой обеспечивается такая строгая надежда, *не должна оставаться внутрицеховой принадлежностью онкологии* (выделено нами. — Э.Л.). Ведь мы этого достойны?» (15, с. 156). Отметим необычные для русского языка определения *надежды*: «деятельная», «предусмотрительная», «строгая». Эта надежда противоположна надежде пассивной, пустой, необоснованной. Вновь появляется в русском сознании дифференция «видов» ментально-эмоционального состояния, именуемого надеждой, по его ценностной принадлежности. Уместным состоянием души в терминах этики Мура является только деятельная, предусмотрительная, т.е. базирующаяся на рациональном анализе ситуации (предусмотреть — путем анализа некоторой ситуации быть готовым к различным, чаще неблагоприятным, вариантам ее развития) надежда, субъект которой *знает, что может быть Р и может быть не-Р, и делает так, чтобы было Р*. Именно к такому типу переживания ситуации побуждает приведенный фрагмент.

Вообще вопрос о надежде — это вопрос о честном и бесстрашном мышлении. Это мышление может сделать вывод о том, что надежда есть и может прийти к выводу об отсутствии надежды. Но и во второй ситуации (назовем ее *отсутствием надежды*, а не *безнадежностью* в силу негативных коннотаций последнего слова) *отчаяние* — не единственный антоним и состояние, противоположное надежде. Здесь также возможен выбор между *с т о и ц и з м о м* как продолжением деятельности («Славлю Котовского разум, / Который за час перед казнью / Тело свое

граненое / Японской гимнастикой мучил» (Кульчицкий), «Выпьем за успех нашего безнадежного дела» (тост диссидентов)) и **отчаянием** как отказом от ее продолжения. Ситуация стоицизма может быть описана следующим образом: *X знает, что будет не-Р (не будет Р), но делает так, как будто бы будет Р* (См. пример о Котовском). Деятельная **надежда** отличается от **стоицизма** характером знания субъекта (расширенным эпистемическим компонентом) и модальным отношением к осуществлению Р (Р реально / ирреально). Деятельная **надежда**, осознавшая неосуществимость Р, становится стоицизмом.

Отчаяние как и «пустая надежда» может быть следствием недоосмысленной ситуации, в которой не учтены все возможные сюжеты развития, напр., такие:

В земные страсти вовлеченный,  
я знаю, что из тьмы на свет  
однажды выйдет ангел черный  
и крикнет, что спасенья нет.

Но простодушный и несмелый,  
прекрасный, как благая весть,

идуший следом ангел белый  
прошепчет, что надежда есть.

Б. Окуджава

Итак, мы выделили в состоянии надежды две ее разновидности: **ментальное-эмоциональное** состояние, связанное с оценкой ситуации и намерением действовать для осуществления надежды (**дейтельная, предусмотрительная надежда**) и **пассивное эмоционально-ментальное** состояние, связанное с естественным для человека желанием думать, что желаемая ситуация будет иметь место, без самого анализа этой ситуации (**пустая надежда**).

И все-таки: надежда — этический концепт? Готово ли наше моральное чувство после проведенного анализа, выявившего два ценностно различных состояния, связанных с характером содержания мыслительных процессов, приписать надежде этическую значимость? «Будем же учиться хорошо мыслить — вот основное правило морали» (Паскаль). Думается, что наше моральное чувство после этих слов Паскаля не будет возражать против того, чтобы приписать *двум надеждам* две разные этические оценки.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. — М., 1998.
2. Булгаков С.Н. Свет невечерний. — М., 1994.
3. Вежбицка А. Язык. Культура. Познание. — М., 1996.
4. Герасимова И.А. Деонтическая логика и когнитивные установки // Логический анализ языка: языки этики. — М., 2000. — С. 7-16.
5. Кьеркегор С. Страх и трепет. — М., 1993.
6. Кошелев А.Д. Референциальный анализ языковых значений // Московский лингвистический альманах. — М., 1996. — С. 82-194.
7. Лассан Э. Лирическая песня как социальный феномен // Zmogus kalbos erdvėje. — Kaunas, 2001. — С. 176-182.
8. Мур Р. Принципы этики. — М., 1984.
9. Новиков Вл.И. Булат Окуджава // Авторская песня. — М., 1997. — С. 15-57.
10. Розеншток-Хюсси О. Язык рода человеческого. — М.-СПб., 2000.
11. Спиноза Б. Избранные произведения. — М., 1957. — Т. 1.
12. Степанов Ю. Константы. Словарь русской культуры. — М., 1997.
13. Терц Абрам. Что такое социалистический реализм // Цена метафоры. — М., 1990. — С. 425-460.
14. Чередниченко Т. Россия 90-х: актуальный лексикон истории культуры. — М., 1999.
15. Чередниченко Т. Онкология как модель // Новый мир — 2002. — № 1. — С. 146-156.
16. Шрейдер Ю.А. Этика. Введение в предмет. — М., 1998.

**ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КОНЦЕПТОВ «ВЕРА», «НАДЕЖДА», «ЛЮБОВЬ»  
В «ЭСТЕТИКЕ МЫШЛЕНИЯ» М.К. МАМАРДАШВИЛИ**И.А. Мартьянова  
Санкт-Петербург

Исходя из аксиомы Д.С. Лихачева «... не все люди в равной мере обладают способностью обогащать «концептосферу» национального языка» (2, с. 156), следует признать, что этой способностью в высшей степени обладал М.К. Мамардашвили.

В 1986/1987 учебном году он прочитал в Тбилисском университете курс лекций, изданный впоследствии с заголовком «Эстетика мышления», который сам называл «Беседами о мышлении». Пробуждение мысли в лекциях-беседах М.К. Мамардашвили осуществлялось в ассоциативном поле эмоциональных и национальных концептов, значимых для каждого, но особенно актуальных для его юных слушателей. Это концепты «Вера», «Надежда», «Любовь», понимаемые философом как «некоторые подстановки значений, скрытые в тексте «заместители», некие «потенции» значений, облегчающие общение и тесно связанные с человеком и его национальным, культурным, профессиональным, возрастным и прочим опытом...» (2, с. 155). Расшифровка концептов в лекциях М.К. Мамардашвили не противоречит и другим положениям известной работы Д.С. Лихачева: «Концепт не непосредственно возникает из значения слова, а является результатом столкновения словарного значения слова с личным и народным опытом человека» (2, с. 151). Концепты существуют «в определенной человеческой идеосфере» (2, с. 151), возникающая «как отклики на предшествующий языковой опыт человека в целом...» (2, с. 152).

Частое обращение к концептам в «Эстетике мышления» обусловлено их взаимосвязью с судьбой и «культурой народа, воплощенной в памяти языка» (2, с. 164). М.К. Мамардашвили, несомненно, привлекали также и «чрезвычайная изменчивость слоя концептов» (2, с. 162), и возможность выразить в их интерпретации свою индивидуальность:

*«Каждый концепт в сущности может быть по-разному расшифрован в зависимости от сиюминутного контекста и культурного опыта, культурной индивидуальности концептоносителя» (2, с. 153).*

Концепты «Вера», «Надежда», «Любовь» принципиально по-разному остраиваются М.К. Мамардашвили. Так, неожиданно для слушателей и читателей ставится под сомнение или вообще отрицается положительное начало «Любви» и «Надежды»:

*«Есть такой прекрасный анекдотический парадокс Паскаля. Он в свое время, будучи в хронически меланхолическом настроении, говорил: зачем, собственно говоря, я должен любить живопись? Почему я должен любить портрет, который изображает предмет, сам по себе ничтожный и мною нелюбимый? Что происходит? Я не люблю сюжет, не люблю модель портрета, нахожу ее неприятной, ничтожной, почему я восторгаюсь, когда рассматриваю портрет этого ничтожного и нелюбимого мной предмета? Что происходит? Почему? Зачем? Какой смысл во всем этом занятии?» (8; здесь и далее цифрой в скобках без указания страницы обозначается номер беседы);*

*«Но мир не ждет. Перефразируя слова Блока «И вечный бой, покой нам только снится...», я бы о таких ситуациях*

*сказал так: «И вечный суд, покой нам только снится». То есть мы вечно находимся в ситуации, в которой как будто бы заново разыгрывается мир, время стоит и ждет — оно достаточно большое, чтобы все время менять или улучшать свой выбор. Блоковские слова и моя перефразировка — не случайны. Они показывают ситуацию вечного, бессмысленного вращения и распада нашей души на раздирающих нас крючках надежды. Очень часто бывает так, что не нужно никакой драматической лоботомии, чтобы людей превращать в зомби. Это успешно делается с помощью человеческой надежды» (18).*

Напротив (вполне или вопреки духу времени?), возвращается положительная оценочность концепту «Вера»:

*«Если вы помните, у Тертуллиана сказано: «Верую, ибо абсурдно». Над этой фразой всегда смеялись, и в курсах по атеизму она приводилась в качестве примера иррационализма веры — настолько иррациональной, что, как выражались атеисты, даже сами ее носители вынуждены признаться в том, что это абсурдно. Абсурдно то, чего не может быть, чего нет, то есть нечто, чего не может быть по нашим представлениям. Действительная же мысль Тертуллиана состоит в том, что верить можно только в то, что нуждается в вере и существует только в зависимости и по мере силы самой веры» (21).*

М.К. Мамардашвили не озабочен дефинициями концептов. Путь их расшифровки у него иной — не генетический, культурологический, как, например, у Ю.С. Степанова, а сократический:

*«Еще Бодлер говорил: «О ты, которую я мог бы любить!» И он же восклицал: «О, никогда не выскочить из числа и существ!» Расшифруйте эту фразу. Ведь только тогда интересно читать, когда мы научаемся слышать сразу все смыслы, а не слова, пусть даже красивые» (18).*

Однако и М.К. Мамардашвили, и Ю.С. Степанов разными путями приходят к общей интерпретации этих понятий как не присущих человеку априорно и вместе с тем не «чистых», не сугубо абстрактных: «...чистая вера, чистая любовь и т.д. «Чистое» есть нечто, на что человек явно не способен, поэтому — существуют символы. Только сопрягаясь с ними, мы можем давать в себе рождаться определенным состояниям, которые естественным путем в нас не могли бы родиться» (13).

Непонимание этого может привести к трагической ошибке, к тому, что философ называл «истерикой возможности идеального»:

*«Истерика возможности идеального есть, действительно, дьявольская мука, потому что она направляется возвышенными чувствами, а не корыстью. Исходит из требования, чтобы мир был таким, каким ему положено быть по идеалу. Поэтому и может случиться то, что Достоевский описывал как арифметику в области души и нравственности: когда для спасения лучшей тысячи людей мы готовы пожертвовать миллионами, поскольку в исходном пункте шли якобы от благородного и непосредственно нравственного чувства, защищая человека от страданий, беды, угнетения, насилия. Но, повторяю, мы восстали за человека, будучи уверенными, что он добр от природы. А на самом деле человек добр, только проходя путь и только под знаком формы, естественным образом ему не дан-*

ной. Она сверхъестественна. И как только мы нарушаем эту нерасчленимую посылку, в ход идет наше сошедшее с рельс мышление, которое вгоняет нас в рассудочную, раскаленную, но в то же время холодную истерику» (23).

В интерпретации М.К. Мамардашвили (так же, как у Ю.С. Степанова и Д.С. Лихачева) духовные концепты — это взаимопересекающиеся сущности. Но если Ю.С. Степанов констатирует глубинные параллели в готском языке к слову *любимый*: «надежный; такой, кому можно довериться...» (5, с. 395) — то М.К. Мамардашвили сопрягает «Любовь» и «Надежду» через страдание, нарушая ожидания своих слушателей. Не только сама «Надежда», но и «вечное страдание» не вызывают его сочувствия:

*«Ведь когда мы не хотим узнать правду, мы это делаем, чтобы не страдать. На деле мы готовы вечно страдать, чтобы не пострадать в истинном смысле этого слова, потому что страдание есть то, во что нам обходится изменение склонения и постижение правды. А нам кажется, что просто я не нашел вчера точного слова или цветы были не те — нужны были розы, а я мимозы принес, а они ее тонкую чувствительность раздражают, у нее аллергия на мимозы, ну, в следующий раз принесу розы...» (19).*

Если Ю.С. Степанов, устанавливая взаимосвязь духовных концептов, анализирует действие «доверяться» и возникающие из него состояния «доверия», «ожидания исполнения обещанного», «надежды» (5, с. 377) — то М.К. Мамардашвили чаще использует понятие «достоверность», ему ближе действие «удостовериться»:

*«...В мире идей, абстрактных мыслей, отвлеченных истин или отвлеченного теоретизирования вообще нельзя прямо и сразу удостовериться. Мы испытываем особое чувство и сознание достоверности, которое невыразимо в предметных терминах. Это относится и к чувствам красоты и любви. Они для нас очевидны, а в предметных терминах выразить и обосновать этого мы не в состоянии» (6).*

При этом он ставит под сомнение «непосредственную достоверность красивого текста»:

*«А сейчас, чтобы продвинуться дальше в связи с расшифровкой, я сошлюсь на другую ситуацию, которая выполнена художественно и обладает непосредственной достоверностью красивого текста. И эта достоверность, в свою очередь, я надеюсь, тоже поможет нам, хотя нужно постоянно помнить, что красота производит в нас самостоятельное действие; она может останавливать нас в пункте, где кажется, что мы что-то поняли, а в действительности мы восприняли только красоту и нужно было идти еще дальше» (5).*

Различие интерпретаций М.К. Мамардашвили и Ю.С. Степанова выражается также в том, что последний настаивает на «пределе научного познания и описания концепта» (5, с. 83), мотивируя это невозможностью проникновения во «внутреннее состояние каждого и отдельного человека» (там же), последовательно различая в духовном концепте «психический акт» и «концептуальное содержание» (5, с. 386): «Но все же личный опыт остается личным. Здесь — предел описания концептов» (5, с. 391), а следовательно — и их осмысления.

Путь М.К. Мамардашвили принципиально иной: пробуждение философского сознания, рождение интеллигентности возможны только в результате личного переосмысления концептов:

*«Именно в такого рода состояниях человек и делает прорыв к самому себе, способен себя увидеть... Жизнь и есть живая форма мысли, которая дает интеллигентность, то есть понятность тому, что мы видим» (6); «... чтобы видеть, надо уметь видеть, в нас должно родиться искусство видения, ибо только так рождаются красота, честь, любовь, храбрость, мужество, то есть все то, что мы ценим» (3).*

М.К. Мамардашвили стремился к расширению поля ассоциаций своих слушателей. (Напомним, что концепты «Вера», «Надежда», «Любовь», по данным «Русского ассоциативного словаря» (1) закономерно отличаются частотностью взаимных реакций и стимулов.) Он ценил «свободу в перескакивании из одной области мысли — в другую» (21), способность завоевания «кусочка понимания какой-то метафорой, или сказкой, параболой, притчей» (18), потому что «у нас есть лишь способность любовного единения и испытания этим. И посредством этих метафор я пытаюсь пробудить в вас и в себе опыт именно такого рода состояний и переживаний. Поскольку извне, чисто абстрактно, его испытать нельзя» (20). Философ не только декларировал, но и сам неоднократно демонстрировал подобное «любственное единение» в своих лекциях-беседах: «Приведу великолепные слова моего любимого философа Канта (редко кто высказывался на эту тему с такой силой и в то же время с такой пластичной скромностью)» (14).

Ю.С. Степанов неоднократно подчеркивал сложность, неразработанность духовных концептов: «В русской культуре концепт «Любви» (так у автора. — И.М.) понятийно не развит... или целомудренно не обсуждается» (5, с. 412). Сама эта сложность усиливала притягательность духовных концептов для М.К. Мамардашвили, который понимал их не только как «сгустки культуры в сознании человека» и приемы «вхождения, влияния на нее» (5, с. 43), но и приемы пробуждения мысли:

*«А теперь приведу пример, и он поместит акт выполнения мысли в саму жизнь и одновременно будет ответом на вопрос, который мне задали в прошлый раз, когда я говорил, что Сван ничего не извлек из своей любви к Одетт. «Что в лучшем случае он мог бы извлечь?» — спрашивал меня кто-то. Держите в голове этот пример, наглядно иллюстрирующий, что нечто происходящее... проглядывает для нас разорванным во времени и пространстве, в разных его точках, сейчас и потом...» (17).*

По мнению Д.С. Лихачева, «то обстоятельство, что концепт скрывает за собой, позади себя всю сложность и все обилие словарного смысла, как ни парадоксально это звучит, облегчает общение с помощью языка, как облегчает алгебра арифметические действия» (2, с. 155). Понимая, но не принимая это обстоятельство, М.К. Мамардашвили в лекциях-беседах стремился усложнить «общение с помощью языка», напрячь «мускулы ума» своих слушателей расшифровкой концептов, того, что они «скрывают за собой, позади себя»: «... мысль — это нечто весьма мускульное, и только работа этого нечто способна открывать двери тому, что стучится в дверь, дать высказаться тому, что ищет язык» (14).

Интерпретация концептов «Вера», «Надежда», «Любовь» в риторике мыслепорождения М.К. Мамардашви-

ли ведет к «Софии», «Мудрости», обогащая концептосферу русского языка. Она будит мысль, препятствуя априорному, без опыта личностного сомнения и постижения, принятию их положительной сущности. Противоположный подход демонстриру-

ет не только «непробудившееся» обыденное сознание, но и, например, продиктованная самими лучшими побуждениями современная трактовка риторического идеала (4), основанная на «перетекании» этических категорий в эстетические.

#### **БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК**

---

1. Караулов Ю.Н. и др. Русский ассоциативный словарь. — М., 1994. — Кн. 1-2.
2. Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Очерки по философии художественного творчества. — СПб., 1999. — С. 147-165.
3. Мамардашвили М.К. Эстетика мышления. — М., 2000.
4. Михальская А.К. Русский Сократ: Лекции по сравнительно-исторической риторике. — М., 1996.
5. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. — М., 2001.



## ЭТИЧЕСКИЙ КОНЦЕПТ «ВЕРА» В РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОМ ДИСКУРСЕ ШКОЛЫ ВСЕЕДИНСТВА

Е.В. Сергеева  
Санкт-Петербург

«Вера» — концепт уникальный», — пишет Ю.С. Степанов в «Словаре русской культуры» (20, с. 75). В этой же книге концепт «Вера» определяется как внутреннее состояние каждого отдельного человека, причем утверждается принципиальная невозможность его исчерпывающего описания, поскольку при описании состояния веры мы доходим до предела научного знания. Тем не менее пусть не исчерпывающее описание, но рассмотрение основных составляющих значения концепта возможно.

Особенно интересно исследование семантики концепта «Вера» в религиозно-философском дискурсе школы всеединства. Концептосфера этой интереснейшей философской школы, объединяющей В.С. Соловьева и его последователей (Е. Трубецкого, С. Булгакова и П. Флоренского) не была ранее описана в лингвистической литературе. Хотя наиболее важные концепты религиозно-философского дискурса — концепты «Бог» и «Человек», концепт «Вера», соотносимый в двумя этими концептами, также весьма интересен.

Ю.С. Степанов упоминает, что некоторые исследователи подводят концепт «Вера» под категорию «Религия», однако сам утверждает, что «Религия» не является категорией для концепта «Вера» (20, с. 75). Поскольку общезыковой синоним лексемы вера, религия, соотносится лишь с одним из значений этой лексемы, можно утверждать, что концепт «Вера» относится к концептам, номинированным одной лексемой.

В религиозно-философском дискурсе «Религия» и «Вера» — взаимосвязанные, но принципиально разные концепты.

Ю.С. Степанов рассматривает развитие способов экспликации концепта «Вера» и пишет о том, что лишь третий исторический путь этого развития, от понятия «договора» и «доверия», оказался принятым индоевропейским сознанием и привел в конечном счете к развитому концепту «Вера» (20, с. 270).

П. Флоренский, анализируя этимологию слова вера в различных языках, пишет о том, что еврейское слово связано как с твердостью, так и со словом истина, то есть указывает на веру как на «истинствование», пребывание в истине; греческий глагол соотносится со значением «слушаться»; латинское обозначение веры означает удостоивание доверием, причем доверием сакральным; а русское «верить» также означает прежде всего «доверять», т.е. указывает на нравственную связь того, кто верит, с тем, кому он верит (ср. 25). Действительно, русский концепт «Вера» может быть отнесен к этическим концептам.

Для школы всеединства этот ценностный концепт представляется важнейшей составляющей человеческого существования, поскольку определяет нравственную значимость состояния человека, вступающего в какие-либо отношения с Богом.

Лексема вера, вербализующая концепт, относится к тем, в семантической структуре которых семы «религиозное», «связанное с Божеством», являются ядерными. Носитель языка XIX в. воспринимал слово вера прежде всего как веру в божественное, потустороннее, духовное. При обращении к словарям

XVIII — начала XX века мы видим, что наличие религиозного компонента значения в семантической структуре лексемы вера составителями не подвергается сомнению. Например, в «Словаре Академии Российской» и в «Словаре церковнославянского и русского языка» почти все ее значения связаны с религиозной сферой, а первое значение — именно «уверенность в существовании Бога».

В Словаре Даля в качестве первого появляется определение значения, которое в дальнейшем станет основным: «Уверенность, убеждение, твердое сознание, понятие о чем-либо». Однако второе и третье значения по-прежнему соотносятся именно с убежденностью в существовании Бога. В Словаре Грота религиозный компонент включается в первое значение слова.

В Словаре Брокгауза и Эфрона автор словарной статьи «Вера» сам В.С. Соловьев. Он формулирует понятие веры (причем давая помету филос., т.е. философское) весьма подробно: «Вера означает признание чего-либо истинным с такою решительностью, которая превышает силу внешних фактических и формально-логических доказательств... Основания веры лежат глубже знания и мышления, она по отношению к ним есть факт первоначальный, а потому и сильнее их. Она есть более или менее прямое или косвенное, простое или осложненное выражение в сознании досознательной связи субъекта с объектом...». Следует особо отметить то, что дефиницию В.С. Соловьева воспроизводит изданный в конце 20 в. энциклопедический словарь «Христианство», составители которого, судя по названию, хотели отразить религиозную точку зрения на это понятие.

Естественно, в «Полном церковнославянском словаре» Г. Дьяченко, созданном в конце XIX в. и предназначенном для читающих церковные книги, а также в «Полном православном богословском энциклопедическом словаре» 1913 г., формулировку которого воспроизводит «Православный библейский словарь» (1997), даются определения, полностью отражающие религиозное мировосприятие. Важным представляется то, что при формулировке значения слова вера в этих словарях прямо указывается на то, что вера соотносится со сферой морали: вера определяется как «одна из добродетелей» (ПЦС) и «добродетель» (ППБЭС).

Толковые словари XX века демонстрируют нам изменение языкового сознания чрезвычайно наглядно: в Словаре Ушакова, изданном в 1935-1940 годах, значение, связанное с религией, находится в начале словарной статьи, несмотря на явный идеологический гнет, которому подвергались авторы этого издания, а в словарях 1950-1990-х гг. хотя и включены в дефиницию толкования, связанные с религией, но два собственно религиозных значения представлены как одно, всегда второе (или даже третье). Сема «этическое» в семантической структуре слова становится периферийной. Даже в «Большом толковом словаре русского языка» (2000), несмотря на отсутствие ка-

них-либо идеологических ограничений, также представлена дефиниция, где в структуре первого значения религиозный компонент значения является сугубо периферийным: «1. Твердая убежденность, глубокая уверенность в ком-, чем-либо // Убеждение в существовании чего-л. Вера в Бога. 2. Религиозное учение, вероисповедание, религия». По-видимому, подобное толкование лексемы вера соответствует его семантике в современном русском языке. Зафиксированное в «Толковом словаре русского языка конца XX века» значение слова вера — «Уверенность, не требующая доказательств, в существовании Бога (или богов), создавших мир и поддерживающих духовную связь с людьми» — имеет помету «возвращенное в актив», что, по-видимому, справедливо, однако не исчерпывает всего объема значения лексемы. И лишь «Словарь православной церковной культуры» Г.Н. Складневской представляет не просто 4 значения лексемы вера в современном русском языке, а только значения, связанные с религией, а значение «уверенность вообще», в силу специфики данного издания, не представлено вовсе.

Тем не менее РАС убеждает нас, что в сознании современного носителя языка ассоциаций, ориентированных на религиозный компонент значения в семантической структуре слова вера, осталось немного: 8 реакций — «в Бога» и по одной — крест, мусульманская, религия, церковь, то есть из 109 реакций — всего 12. Подобные же результаты дал эксперимент, проведенный автором статьи в аудитории студентов 2 и 4 курсов филологического факультета РГПУ имени А.И. Герцена. Из 170 реакций ассоциаций, ориентированных на связь веры с божественным в самом широком смысле, менее 40, т.е. меньше 1/4, причем большинство из них единичны: православная, священник, молитва, Библия, спасение, очищение, христианство (2 реакции), крест (7 р.), Бог (8 р.), церковь (5 р.), в Бога (5 р.), праведник, храм, исповедь, кадило, религия, икона, свеча.

Если обратиться к употреблению лексемы, вербализующей концепт в собственно религиозных текстах, то следует указать на то, что в Священном Писании лексема вера употребляется около 40 раз в различных контекстах, и только в значении «вера в Бога». Однако в религиозно-философском дискурсе, как нам представляется, объем концепта шире и сам он понимается более многоаспектно.

Концепт «Вера», эксплицированный лексемой вера, в текстах представителей школы всеединства упоминается достаточно часто. В «Чтениях о Богочеловечестве» В.С. Соловьева лексема вера употребляется около 30 раз, в его «Критике отвлеченных начал» — около 40, в «Смысле жизни» Е. Трубецкого — около 70, в тексте П. Флоренского — около 40, в «Философии хозяйства» С. Булгакова — всего около 10, зато в его книге «Свет невечерний» — около 220, поскольку в этом произведении более, чем в других, важна проблема связи и взаимоотношений Бога и человека.

В «Чтениях о Богочеловечестве» В.С. Соловьева вера представлена как убеждение, которое «не имеет логического характера (так как не может быть логически доказано)» (19, с. 61). Именно потому, что вера внелогична, она есть вера. Можно сформулировать

принципиально важные составляющие веры с точки зрения этого философа: 1) вера — определенный духовный акт; 2) вера может быть связана как с эмпирической действительностью, так и с божественным, внеприродным. Автор «Чтений...» пишет и о «перехватывающим за пределы этой нашей действительности акте духа, который и называется верой», о «религиозной вере», «христианской вере», и о том, что «вера в себя, вера в человеческую личность есть вместе с тем вера в Бога» (19, с. 62, 63, 195, 54). Для него обе эти веры — вера в Бога и вера в человека — сходятся в истине Богочеловечества.

Безусловная уверенность в божественном начале, по В. Соловьеву, может быть дана только верой. Свидетельством существования действительности, с его точки зрения, также может быть только вера в это существование: «существование внешней действительности утверждается верой» (19, с. 62). Сочетаемость лексемы вера, эксплицирующей концепт, показывает, что для В.С. Соловьева одинаково возможно как употребление словосочетаний «вера в Бога», «вера в идеи», «вера в истину Христову», так и «вера в существование внешних предметов», «вера в себя», «вера в человека (в человеческую личность)».

В «Критике отвлеченных начал» В.С. Соловьева понятие веры рассматривается специально. Вера представлена как категория человеческого сознания, принадлежащая как сфере рациональной, так и иррациональной. Для философа вера, как это ни парадоксально, важнейший элемент познания. Показательно, что одна из последних, итоговых (45) глав его книги так и называется: «Вера, воображение и творчество как основные элементы всякого предметного познания». Лексема вера употребляется в ряду однородных членов с лексемами воображение и творчество. Значит, вера может восприниматься в одном ряду, с одной стороны, с мысленным представлением, психическим процессом (то есть явлением психики, сознания), а с другой — с определенным видом деятельности, созданием или результатом чего-либо. Следовательно, вера соотносима как с психической сферой, так и с деятельностью. Положительное познание, с точки зрения В.С. Соловьева, определяется верой и идеальным созерцанием.

Вера — «свидетельство нашей свободы от всего и вместе с тем выражение нашей внутренней связи со всем...» (18, с. 851). Она определяется как «знание мистическое» (18, с. 853). Но знание это — еще и знание эмпирическое: существует «вера в безусловное существование предмета» и «познание, основывающееся на вере» (18, с. 867, 868). Содержание веры — «то, что не может быть ощущением и понятием, что больше всякого факта и всякой мысли, именно безусловное существование предмета» (18, с. 855).

Следовательно, вера является ценностью не только потому, что связывает человека с Богом как квинтэссенцией всего положительного в бытии, но и потому, что делает возможным познание — процесс, обладающий для В. Соловьева высокой этической значимостью.

Для В. Соловьева принципиально важно то, что «ни в каком отношении нельзя положить безусловной границы ... между верой и разумом в их действительности» (18, с. 411), поскольку нет такой веры, кото-

рая не соединялась бы с разумным мышлением, и нет такого отвлеченного исследования, которое не предполагало бы веры во что-либо.

Верой принимаются, по В. Соловьеву, «такие начала, которые являются для сознания как готовые, уже данные, существенно независимые от разума» (18, с. 405).

Различие между уверенностью в существовании познаваемого предмета и самим познанием заключается в том, что «собственное существование предмета, его внутренняя, необнаруженная действительность может утверждаться только верой или мистическим восприятием и соответствует, таким образом, началу религиозному; мыслимость же предмета явно принадлежит философскому умозрению» (18, с. 412). Однако если знание о мире природном должно быть дано и верой, и опытом, то «безусловное существование не может быть дано ни опытом, ни логикой, а только верой...», и именно это для В.С. Соловьева — «вера в узком смысле этого слова» (18, с. 855). Следовательно, сам философ в «Критике...» представляет веру как слово с двумя значениями: вера во что-либо эмпирическое, например, «вера в авторитет» (18, с. 413), «вера в существование предмета» (18, с. 867), и вера в высшее, божественное как определенное состояние и духовный акт отношения к Богу. Содержание этого состояния определяет Е. Трубецкой в работе «Миросозерцание Владимира Соловьева»: «... Вера в Бога как Абсолютное непременно предполагает, что Он находится к нам в двояком отношении. Он одновременно и бесконечно далек от нас и к бесконечно нам близок, бесконечно возвышен над нами и вместе с тем живет в нас...» (23, с. 416).

Последователям В. Соловьева «Вера» также представляется концептом двунаправленным: вера как убежденность в чем-то и вера как признание без каких-либо сомнений существования Бога. Первое понимание концепта при вербализации чаще всего требует употребления после слова вера предлога «в» и управляемого слова: вера в истину, в истину-смысл, в смысл, в эту ценность, в ценность человеческой жизни, в победу (24); вера в смысл жизни, в единственность роли человека, в Россию, в эту последнюю, в человека, в действительность внешнего мира, в достоверность чувственного восприятия, в истину, в природу (23); вера в это, в воскресение, в не-сущее, в хозяйство, в чудо (2); вера в абсолютные системы, в авторитет, в жизнь, в единое научное мировоззрение (3). Рассматриваемая составляющая значения концепта фактически не отличается от общеязыкового понимания и не связана с морально-этической точкой зрения на мир.

Однако в тексте стремящегося максимально приблизиться к ортодоксальному богословию П. Флоренского употребление лексемы вера в значении «уверенность, убежденность» мы видим лишь во фрагменте, посвященном этимологическому анализу этой лексемы, а при изложении собственных мыслей этот автор употребляет лексику вера лишь как номинацию религиозной веры, веры в Бога.

Связь веры-убежденности и веры религиозной в понимании представителей школы всеединства наиболее наглядно демонстрирует следующее высказывание Е. Трубецкого в книге, посвященной В.С. Соловьеву: «Основное содержание всякой религии есть вера в

смысл жизни. Ясно, что эта вера не может иметь своим предметом только Бога: чтобы жизнь получила смысл для человека, он должен уверовать в собственное безусловное достоинство» (23, с. 332). Тем не менее и для этого автора, и для С. Булгакова вера также прежде всего — верование в Бога.

Сочетаемость лексемы вера связана прежде всего именно со значением «сверхлогическая убежденность в существовании Божества»: камень веры, подвиг веры, символ веры, свет веры, догмат веры, истина веры, вера человека, живая вера, языческая вера, религиозная вера, вера Христова, правая вера, чужая вера, светлая вера, личная вера и др.

Показательно, что само словосочетание «вера в Бога» малоупотребительно в религиозно-философском дискурсе, поскольку зависимое слово при таком понимании не требуется. Это словосочетание употребляется в книге С. Булгакова «Свет невечерний» всего 4 раза, в книгах Е. Трубецкого «Смысл жизни» и «Миросозерцание Владимира Соловьева» — соответственно 2 и 9 раз, а в тексте П. Флоренского и в «Философии хозяйства» С. Булгакова — ни разу. Однако словосочетание «религиозная вера» неоднократно употребляется у перечисленных авторов. Основное содержание концепта «Вера» в таком религиозном понимании может быть сформулировано достаточно лаконично: вера «с объективной стороны есть откровение», она «утверждает, что Бог есть как трансцендентное», именно в ней «Бог открывается человеку» (2, с. 27, 28). Следовательно, как и в собственно религиозных, богословских текстах «Вера» в таком значении может быть расценена как «добродетель».

Вера имеет значение не сама по себе, а как отражение каких-то отношений между Творцом и его творением: «Истинная вера есть по самому существу своему выражение внутренней, жизненной связи Бога и человека» (24, с. 175); «В вере Бог нисходит к человеку»; «Божество открывается вере...» (2, с. 32, 50). Область появления и проявления веры — область существования трансцендентного Божества. В вере Бог нисходит и открывается, а человек восходит и открывает для себя Бога, обретая при этом спасение и освобождение от греха: например, в тексте П. Флоренского читаем о «вере, которою спасаемся» и о том, что «истинное «восхождение» есть именно вера» (25, с. 64, 74). Глагол спастись (спастись) в данном контексте может восприниматься одновременно в двух значениях: общеязыковом — «избавиться от гибели, какой-либо опасности, беды» (МАС), то есть уберечься от беды, духовной гибели здесь, в природном мире, и в значении собственно религиозном, имеющем в Словаре Ушакова помету «церк.», а в МАС — комментарий «в христианском вероучении» — «стараться спасти свою душу» (22), «избавиться от вечных мук в загробной жизни» (МАС).

Скорее всего, речь идет именно об обретении спасения, которое в соответствии с дефиницией «Словаря православной церковной культуры» следует понимать как «обретение вечной жизни и вечного блаженства, освобождение от греха, зла и смерти...» Следовательно, в этом отношении понимание концепта совпадает с собственно религиозным, что подтверждает употребление лексемы восхождение,

имеющей значение «подъем на высоту духовную», а его отнесение к сфере этического становится совершенно несомненным («освобождение от греха»).

Поэтому вера тесно связана с духовностью человека: «Вера есть функция не какой-либо отдельной стороны духа, но всей человеческой личности в ее цельности, в нераздельной целокупности всех сил духа» (2, с. 30). Она имеет для человека безусловную ценность.

Для представителей школы всеединства концепт «Вера» связан не только с возможностью отношений человека и единого Бога (употребление словосочетания «языческая вера» доказывает это). Однако основной предмет их интереса — именно вера христианская; словосочетание «христианская вера» неоднократно употребляется в религиозно-философском дискурсе. Причем содержание веры — именно деятельностное: это процесс протекания двусторонних отношений. Процесс этот дискретен: словосочетание «акт веры» весьма частотно в текстах всех последователей В. Соловьева. Развитие отношений между Божеством и человеком, постоянность протекания, совершения «единичных проявлений деятельности» (МАС), актов веры подразумевается всегда: «... Мостом, ведущим куда-то... является вера» (25, с. 66). Сущность акта веры, как утверждает Е. Трубецкой — всецелая отдача себя Богу.

Важнейший вопрос, ставящийся в религиозно-философском дискурсе, — это вопрос о соотношении веры и разума. В отличие от собственно философских штудий и от ортодоксально-религиозных произведений, решается он неоднозначно. С одной стороны, «разумная вера» — «гнусность и смрад перед Богом» (25, с. 64), а сама вера «хотя и не противоразумна, но, так сказать, внеразумна» и «отлична от дискурсивного мышления» (2, с. 39, 77). С другой стороны, показательна сама возможность употребления (и неоднократного) словосочетания «разумная вера», а также словосочетания «мышление о вере», демонстрирующих, что вера может восприниматься как «содержащая в себе разум» (22), что она может быть предметом мысли, рассуждения, а не только религиозной интуиции.

Стремление именно к разумной вере отражается в текстах всех представителей школы всеединства: «Как раз наоборот, именно отрицание существования какого-либо моста между мыслью и верою находится в полном противоречии с самою сущностью веры и в особенности — веры христианской» (24, с. 164); «... Вера моя есть источник высшего разумения... Я уразумеваю веру свою» (25, с. 62); «Чтобы оценить значение веры, нужно прежде всего принять, что вера хотя и не подчиняется категориям логического, дискурсивного познания, однако тем самым еще не низводится на степень субъективного верования, вкуса или прихоти, ибо такое истолкование противоречит самому существу веры... Вера по-своему столь же объективна, как и познание» (2, с. 27).

Более того, в «Миросозерцании Владимира Соловьева» мы видим употребление словосочетания «философская вера», что указывает на возможность связи веры и философии для автора этого произведения и подтверждается последующим его высказыванием о том, что философия откровения — это «синтез веры и

знания» (23, с. 54). Е. Трубецкой пишет даже о «вере, которая утверждает познаваемое в Безусловном» (23, с. 260). В Безусловном, в трансцендентном Боге может быть познаваемое, то есть то, что «доступно познанию» (МАС), человек может познавать Божество.

Вера не «враждует» со знанием, напротив, «сплошь и рядом сливается с ним» (Булгаков 1994, с. 29). Это особое «духовное знание»: «Вера есть путь знания без доказательств, вне логического достижения, вне закона причинности и его убедительности...» (2, с. 28). Знание, то есть результат познания («результат познавательной деятельности» по Словарю Ушакова), но без доказательств, знание внерассудочное, по утверждению Е. Трубецкого, безусловное, сверхлогическое, что подтверждается и мнением С. Булгакова: «То, чего нет и не может быть дано для рассудочного знания, то может знать вера, оно ей доступно... Вера в этом смысле есть антиципация знания» (2, с. 28, 29). Под антиципацией (философ сам толкует в примечании это слово) понимается способность предвосхищения. Следовательно, вера предвосхищает точное знание. При этом принципиально важно то, что вера «одушевляется надеждой стать знанием, найти для себя достаточные основания» (2, с. 29). Таким образом, вера обладает как бы двойкой ценностью — как связь с божественным и как знание (а знание для философии, пытающейся познать основные законы бытия, естественно, высшая ценность).

Однако вера «... распространяется и на то, что принципиально не недоступно для знания» (2, с. 30). Вероятно, такое понимание концепта связано с противопоставлением разума как высшей разумности и рассудка, связанного прежде всего с эмпирической логикой.

Вера, в отличие от рассудка, гармонизирует внутренний мир человека, приводя его к незыблемой истине: «... в вере, препобеждающей антиномии сознания и пробивающейся сквозь их вседушливый слой, обретается каменное утверждение» (25, с. 483). В связи с этим закономерно употребление в религиозно-философском дискурсе словосочетания «камень веры», которое может быть истолковано как образное, но в то же время весьма важное с точки зрения понимания концепта, ибо определяет веру как нечто незыблемо твердое, основу чего-либо (в данном контексте — человеческого духа).

Вера может придавать смысл жизни человека: «... убеждение, целящее жизнь, дается не наукой и не философией, а только верой» (23, с. 54). Словосочетание «живая вера», употребляемое и С. Булгаковым, и Е. Трубецким, и П. Флоренским, соотносит веру с духовной жизнью и духовной силой, а также с действительностью, возможностью деятельности.

Одна из принципиально значимых характеристик веры — ее свобода. О свободе акта веры пишет П. Флоренский, о свободе, к которой призывает вера — Е. Трубецкой. Неоднократно затрагивает эту тему и С. Булгаков, утверждающий, что вера рождается в свободе исканий, в ней «есть свобода, но вовсе нет произвола», поскольку она «имеет свою «закономерность» (2, с. 29). С его точки зрения, вера — «функция человеческой свободы», «акт свободы» (2, с. 30, 32).

Вера реальна, объективна и конкретна: «Вера содержит в себе опознание не только того, что трансцендент-

ное есть, но и что оно есть... Божество открывается вере не вообще, но конкретно, окачественно» (2, с. 50). Вера — объективный путь искания религиозной истины, но именно поэтому она также непосредственное чувство, к ней может относиться определение «горячая», в переносном значении употребляемое именно в сочетании с лексемами, называющими положительные чувства: «... вера и есть любовь, ибо истину нельзя познавать, не любя ее: она открывается только любви» (2, с. 30).

Вера понимается и как некий предмет, и как бытийная ценность: с одной стороны, она предмет исканий (дается лишь ищущим ее) и некая тайна, поскольку тайна — ее предмет и источник; с другой стороны, вера — это жизненная задача, служение и подвиг. Последнее определение особенно важно, что доказывается неоднократным употреблением слова подвиг в пределах одного микроконтекста со словом вера: «подвиг веры» (Флоренский, Булгаков), «вера есть подвиг», «вера есть подвиг сердца», «вера есть подвиг любви и свободы» (Булгаков). Подвиг же в русской языковой картине мира — всегда безусловно положительное действие.

Словосочетания «светлая вера», неоднократно употребляемое Е. Трубецким, и «свет веры», употребляемое С. Булгаковым, связаны не просто с пониманием веры как чего-либо положительного (светло-

го в переносном значении слова), но и с соотношением ее со светом и Светом, то есть с божественными энергиями, истиной, Богом.

Вере присуща непосредственность, «детскость», причем «не как отсутствие зрелости, но как некое положительное качество» (2, с. 38). Определения наивная и детская, относящиеся к лексеме вера в текстах Е. Трубецкого и П. Флоренского, убеждают нас в возможности существования для этих авторов веры абсолютно простодушной. При этом употребление словосочетания «личная вера» демонстрирует, что вера соотносится с индивидуальной сферой человека. И в то же время вера, объединяющая людей, — основа народности и социальности, связанных с кафоличностью и соборностью.

В религиозно-философском дискурсе понимание концепта «Вера», несмотря на его специфику, сходно с собственно религиозным, что подтверждается и цитатами из религиозных текстов, используемых для определения веры: так, словосочетания «уповаемых извещение», «вещей обличение невидимых» используются в «Смысле жизни» Е. Трубецкого для толкования понятия веры.

АСП концепта «вера» отличается от общеязыкового весьма значительно и может быть представлено следующим образом.

| С чем соотносится   | Что представляет собой  | Признаки   | Вера во что         |
|---|---|--|---------------------|
| Бог<br>религия<br>знание<br>философия<br>дух<br>спасение<br>человек | Деятельность<br>Свобода<br>Любовь<br>Объективное<br>Безусловное<br>Подвиг | христианская<br>религиозная<br>живая<br>разумная | в истину<br>в смысл |

Итак, этический концепт «Вера» в религиозно-философском дискурсе — сверхлогическая свободная убежденность человека в существовании Бога, основанная

на деятельностной любви к нему, духовное знание, представляющее собой нравственную ценность и служащее основой религии и спасения личности.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Большой толковый словарь русского языка. — СПб., 2000.
2. Булгаков С.Н. Свет невечерний. — М., 1994.
3. Булгаков С.Н. Философия хозяйства // Булгаков С.Н. Сочинения: В 2 т. — М., 1993.
4. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. — М., 1955. — Т. 1-4.
5. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. — М., 1992
6. Полный православный богословский энциклопедический словарь. — СПб., 1913.
7. Полный церковно-славянский словарь / Протоиерей Г. Дьяченко. — М., 1993.
8. Православный библейский словарь. — СПб., 1997.
9. Русский ассоциативный словарь. — М., 1994-1996. — Книга 1-4.
10. Скляревская Г.Н. Словарь православной церковной культуры. — СПб., 2000.
11. Словарь Академии Российской. — СПб., 1789-1794.
12. Словарь русского языка XVIII в. — Л., 1987. — Вып. 3.
13. Словарь русского языка, составленный Вторым отделением имп. Академии наук. — СПб, 1891-1916.
14. Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А.П. Евгеньевой. — М., 1981-1984. — Т. 1-4. (МАС)
15. Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. / Под ред. В.В. Виноградова. — М.-Л., 1948-1965. (БАС)
16. Словарь современного русского литературного языка: В 20 т. Изд. 2. — М., 1990-1994. — Т. 1-6. (БАС-2)
17. Словарь церковнославянского и русского языка. — СПб., 1847.
18. Соловьев В.С. Критика отвлеченных начал // Владимир Соловьев. Философское начало цельного знания. — Минск, 1999.
19. Соловьев В.С. Чтения о Богочеловечестве // Владимир Соловьев. Чтения о Богочеловечестве. Статьи. Стихотворения и поэма. — СПб., 1994.
20. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. — М., 1997.
21. Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения. — СПб., 1998.
22. Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. проф. Д.Н. Ушакова. — М., 1934-1940. — Т. 1-4.
23. Трубецкой Е.Н. Миросозерцание Владимира Соловьева. — М., 1913.
24. Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. — М., 1994.
25. Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. — М., 1990. — Т. 1.
26. Христианство. Энциклопедический словарь: В 3 т. — М., 1995.

## КОНЦЕПТ «УСПЕХ» В СОВРЕМЕННОЙ АНГЛИЙСКОЙ ДИДАКТИКЕ

В.А. Рыбникова  
Краснодар

В данной статье представлены некоторые результаты исследования лингвокультурного концепта «успех» по материалам текстов пособий, созданных в Великобритании в конце 80-х-90-е годы для изучающих английский язык как иностранный.

Как показывает проведенный анализ, тема успеха, достижений является сквозной в английских учебных текстах; лексика, ассоциативно-семантически связанная с концептом «успех», описывает важную семантическую сферу, что и определило выбор данного концепта для исследования.

На основании наиболее существенных признаков лингвокультурного концепта, выделяемых исследователями (5; 8; 1; 10; 2; 9; 4 и др.), мы определяем это понятие как *многомерное ментальное и / или смысловое культурно-значимое образование, существующее в коллективном сознании членов лингвокультурной общности*. В основе такого понимания лежит признание детерминированности семантики концепта той социокультурной системой, в рамках которой он сформировался. В этой связи эвристическая ценность концептов видится в возможности изучения социально- и культурно-обусловленных форм мировидения и на этой основе воссоздания фрагментов модели мира, репрезентированных в языке.

В данной работе семантика концепта исследуется на основе вычленения 3-х групп семантических признаков (по методике С.Г. Воркачева — 3): 1) признаки, существенные для выделения одноименных понятий из класса им подобных (дефиниционные); их совокупность совпадает с дефиниционной частью определения в толковых словарях; 2) признаки дополнительные (импликативные семы, по Воркачеву), логически вытекающие из существенных и составляющие вместе с ними ядерную и центральную части семантического пространства концепта; 3) семантические признаки периферийной части концепта, не являющиеся существенными для выделения объекта; их выбор определяется коллективным опытом этноса и соотносится с ассоциативным полем сознания. По наблюдениям, именно на периферии семантики концепта имеет место метафоризация явлений, возникает символ, что, очевидно, позволило Н.Д. Арутюновой ввести термин «концепт-образ», «метафорический концепт» (цит. по: 6, с. 60). Само понятие «успех» передается в английском языке рядом синонимичных лексем: *success* (успех), *achievements* (достижения), *accomplishments* (достижения, свершения, достоинства), *advancement* (продвижение вперед), *progress* (прогресс). Однако в учебных текстах преимущественно используется лексема *success* и ее производные, поэтому слово «*success*» стало именем концепта.

По данным английских словарей LDCE (1993), OSDCE (1983), в структуре лексического значения данного слова выделены следующие существенные признаки: 1) степень преуспеяния, хороший результат; 2) успешный человек или вещь; 3) процветание, благосостояние (*prosperity*), сопряженное с

обладанием значительными деньгами (LDCE, p. 1056; OSDCE, p. 505, 658).

Приведем также значения дериватов лексемы *success*, которые дополняют дефиниционные признаки, формирующие семантическое ядро концепта «*success* / успех». Так, прилагательное *successful* имеет значение «*сделавший или осуществивший то, что пытался*»; «*добившийся высокого положения в жизни, в работе*»; глагол *succeed* означает: 1) сделать то, что человек пытался или хотел сделать; 2) быть сделанным или завершенным, как того хотелось, с желаемым результатом; 3) преуспеть в жизни, особенно в достижении высокого положения или популярности (*to do well in life, especially in gaining high position or popularity* — *ibid.*).

Заслуживают внимания приведенные в словарях контексты употребления вышеназванных лексем: ... *His career has been a real success story: from office boy to millionaire in 5 years / a low success rate; His new book/play was a great success/ an overnight success. She's just started up a new company; I hope she makes a success of it. They're advertising luxury apartments ideal for the successful young executives. // Его карьера была по-настоящему успешной: от курьера до миллионера за 5 лет / низкий показатель успеха; Его новая книга/ пьеса имела успех; Она только что открыла новую компанию, и я надеюсь, это будет успешным предприятием. Они рекламируют роскошные квартиры, идеальные для успешных молодых руководителей (*ibid.*).*

Таким образом, на основе данных английских лексикографических источников можно предположить, что успех трактуется именно как *личное достижение* индивидуума, результат осознанных усилий. На личностный характер достигнутого успеха указывает, в частности, использование личных местоимений (*he* — он; *she* — она), существительного *executives* (руководители). Сам факт приложенных усилий передается в словарной статье глаголами: *to try* (пытаться), *to do* (делать), *to complete* (закончить). Дефиниционные признаки концепта «успех» включают те, что указывают на улучшение качества жизни и материального положения индивидуума, повышение его статуса в системе социальной иерархии («*более высокое положение*»).

Данный набор существенных семантических признаков принят за основу семантического ядра концепта «*успех*» и сопоставлялся с языковыми реализациями в английских учебных текстах.

Проанализируем языковой материал текста «*So you want to be a success*» («Итак, вы хотите иметь успех» — CAE, p. 97). Успех в данном случае осмысливается и переживается в рамках оппозиции '*success* — *flop, failure*' («успех — провал, неудача»): '*If you don't prosper, it's easy to feel like a flop, that you have wasted your life and failed your family*' («Если вы не процветаете, легко почувствовать себя неудачником, который напрасно тратит свою жизнь и подвел семью» — CAE, *ibid.*). Иначе говоря, отсутствие успеха приравнивается к поражению и оценивается как

нарушение обязательств по отношению к себе самому и семье. Человек ставится в этом плане перед жестким выбором: «или-или», исключающим возможность нейтральной, третьей позиции.

Восприятие неуспеха как состояния аномального еще отчетливее эксплицируется в текстах-интервью с безработными выпускниками английских вузов. Безработица как бы вывела их за пределы пространства благополучного мира. Один из этих людей, Джо Моррис, вспоминает об этом в интервью так: «Я был одинок и совершенно изолирован. Это стало влиять на мое мнение о себе. Я почувствовал, что мои самооценка и уверенность покидают меня» ('I was lonely and very isolated. It started to effect my opinion of myself. I could feel my self-esteem and confidence draining out of me' (CAE, p. 257). В данном тексте психологическое состояние безработного передано выразительным словосочетанием: **'the alienation of unemployment'** (отчуждение, разрыв, вызванный безработицей — *ibid.*). Для другого выпускника, Гэри Робертса, этот «разрыв» осложнен отношением родственников и друзей, которые «не могут понять, почему это человек с дипломом сидит на пособии по безработице». «Это как если бы иметь брата-калеку или что-то подобное, — говорит Гэри, — ... и для них я неудачник» ('... it's like having a physically disabled brother or something..., so as far as they are concerned, I'm a failure' — *ibid.*). Таким образом, в данных фрагментах подтверждаются и усиливаются установки, проявившиеся в тексте 'So you want to be a success'.

Примечательно использование эмотивного синонима существительного **failure** (поражение) — слова **flop**. Созданное на основе звукоподражания, оно означает «хлопок, шлепок». Видимо, по ассоциации между характерным звуком и впечатлением, которое оставляют у людей неудачи и неудачники, возникло его производное значение «фиаско, провал» (БАРС, с. 616; LDCE, p. 393). Затем, в результате метонимического переноса появилось значение «кто-то или что-то, не оправдавшие возлагавшихся надежд, обманувшие ожидания; неудачник» (БАРС, там же).

Такое категоричное отношение к неуспеху проявляется в других дидактических текстах имплицитно, через непропорциональное соотношение сюжетов об успешных и провалившихся начинаниях и людях (HISB, IEISB, Init., WIPCB). В нашем списке из 46 персонажей, упомянутых в книгах для студентов учебно-методического комплекса Headway, 41 — добившиеся успеха люди, хотя и необязательно при этом счастливые. Остальные пятеро — либо подростки, либо этот аспект жизни героев просто не рассматривается.

В тексте-интервью с известным английским писателем Джеком Хиггинсом он описывает успех своей первой книги в следующих выражениях: «Она заняла первое место в списке бестселлеров... Общая продажа моих книг превышает 100 миллионов. Когда «Орел» стал номером один в Англии и номером один в Америке, я никогда не думал, что мой успех будет иметь продолжение. С тех пор у меня вышло шесть первых номеров» («It got to number ten in the

best-seller list... The total sales of my books are now over 100 million. When Eagle was number one in England and number one in America, I never thought my success would continue. Since then I've had six number ones» — HUISB, p. 93). Приведем для сопоставления фрагменты из текста-интервью с Барбарой Картленд, где она описывает свои достижения таким образом: «В настоящий момент я держу мировой рекорд по количеству книг, которые я продала, что, мы говорим, составляет сорок пять миллионов..., как сказано в книге рекордов Гиннеса, по числу продаж я лучший писатель в мире... «(I hold the world record for the amount of books I've sold, which we say is forty-five million... according to the Guinness Book of Records I'm the best-selling author in the world...» — HASB, p. 152-153). В тексте об Агате Кристи ее признание опять-таки оценивается количеством проданных книг: «Ее продажи превзошли числом шекспировские издания» ('Her sales outnumber those of Shakespeare' — NHISB, p. 30).

На наш взгляд, в семантическом представлении успеха, отражающем общественную практику нумерации и ранжирования произведений литературы по уровню их продажи, проявился дополнительный признак данного концепта, указывающий на взаимокорреляции концептов «успех», «деньги», «богатство». В языке исследуемых текстов это выражается, прежде всего, в том, что лексические единицы семантического поля **«деньги»** либо выступают заместителями, либо синтагматически и парадигматически связаны с лексикой, обозначающей **успех, достижения**. Так, например, крупное процветающее предприятие называют *multi-million dollar business* (букв.: бизнес, который стоит много миллионов долларов). Лексические единицы **best seller, best selling** (бестселлер, то, что лучше всего продается) также являются конвенциональными маркерами успеха. В терминах **«деньги»** оценивается качество продукции, степень популярности и уровень развития бизнеса. Общественное признание, талант, личные достижения, как было показано, также измеряются, выражаются, оцениваются через понятие «деньги».

Все это, очевидно, связано с тем, что деньги ощущаются как важнейший компонент успеха, что особенно ярко проявилось в тексте анкеты «How ambitious are you?» (Насколько вы честолюбивы? — HPISB, p. 36). В самом значении слова **ambitious** воплощена семантическая связь понятий *success* и *wealth* (богатство): 1) having a strong desire for success, power, wealth, etc; 2) showing or resulting from a desire to do something difficult or something that demands great effort, great skill, etc. (LDCE, p. 28) // **Честолюбивый** — 1) имеющий сильное желание успеха, власти, богатства и т.д. 2) показывающий или происходящий от желания сделать что-либо трудное или нечто, требующее больших усилий, мастерства и пр. Существительное **ambition** соответственно интерпретируется как **сильное желание, особенно существующее долго, успеха, власти, богатства, а также сам объект этих желаний** (*ibid.*). OSDCE, однако, фиксирует в качестве объекта такого стремления лишь успех (p. 20).

Сопоставим толкование лексемы «**честолюбие**» в СРЯ: «Жажда известности, почести, стремление к почетному положению» (с. 766). Таким образом, очевидна разная структура значений лексем-эквивалентов в двух языках, а также семантический фокус — в одном случае на тяге к *внешним формам проявления уважения, признанию*, в другом важен именно *успех-результат*, а иногда при этом еще и *влияние и деньги*.

Исходя из вышесказанного, заглавие текста-анкеты можно перефразировать следующим образом: «Насколько вы стремитесь к успеху?» Из 15 вопросов, заданных в тексте анкеты, 8 непосредственно связаны с деньгами (например: «Хотели бы вы иметь больше денег, чем ваши родители?»). Сама лексема «**деньги**» в небольшом тексте о стремлении к успеху упомянута 7 раз; кроме того, употреблены и другие лексические единицы, ассоциативно-семантически связанные с понятием «деньги»: **(not) well-paid job, to pay one's bills; improve one's standard of living, rich people...** (*плохо/хорошо оплачиваемая работа, оплачивать счета, улучшить уровень жизни, богатые*. — HPIBSB, p. 36).

В центральной части семантического поля концепта «успех» находится и дополнительный признак, логически вытекающий из дефиниционной семы, связанной с восприятием успеха в западной культуре как личного достижения, благодаря значительным усилиям. «Я взобрался на свой собственный Эверест», — так подытоживает свой путь наверх Джек Хиггинс (*'I've climbed my personal Everest'*. — HUISB, p. 93).

Семантика этого предложения и ряда единиц, составляющих семантическое пространство исследуемого концепта, отражает ассоциации успеха с горой, лестницей или пирамидой, на вершину которой человек карабкается всю жизнь. И те, кто оказался наверху, образно называются **'high-fliers'** (букв. *те, кто летает высоко* — HPIBSB, p. 38; CAE, p. 97), их официальный титул в иерархии профессиональных статусов начинается со слова **top: top managers, top models** (*главные, ведущие менеджеры, топ-модели*). Существительное *top* имеет значение «*верх, вершина*», определяющее его семантику в атрибутивной функции: «лучший, главный, потому что достиг вершины в своем деле».

В словарных дефинициях *'succeed', 'successful'* также упоминается «*высокое*» положение достигших успеха (LDCE, p. 1056). На содержательном уровне в учебных текстах идея вертикали эксплицирована посредством многочисленных описаний восхождения персонажей из нищеты, безвестности, социального «дна».

Примечателен факт идиоматизации лексики, семантически связанной с семантическим полем «**Успех**». Так, из 11 глагольных словосочетаний, употребленных в тексте *'So you want to be a success'* в значении «*добиться успеха*», 7 являются идиомами, в том числе и экспрессивно окрашенными: **get on, get ahead, make it to the top, get a step on the ladder, to fare, to forge one's way to the top, glee oneself up**. Анализ семантики данных словосочетаний также подтверждает наличие ассоциации успеха с движением вперед (**go ahead** — *идти вперед*) или,

чаще, вверх: например, **make it to the top** (*пробриться наверх*), **get a step on the ladder** (*подниматься по ступенькам*). В других учебных текстах часто употребляются эквивалентные выше приведенным выражения **to get to the top, to climb to the top** (*добраться наверх, взобраться наверх*). Семантические признаки идиом **gee oneself (up)** и **forge** указывают уже не на направленность, а на характер движения к намеченной цели: так, выражение **gee oneself up** означает «*усиленно, энергично подгонять, подталкивать к более активной деятельности и усилиям*» (*to encourage forcefully into greater activity or effort* — LDCE, p. 430), тогда как **forge** предполагает движение с *внезапным увеличением скорости и силы* (*to move with a sudden increase of speed and power* — *ibid.*, p. 404). Таким образом, посредством языковых средств в английских учебных текстах отражено и представление о том, с какими трудностями и усилиями сопряжен путь к успеху.

И наоборот, поражение в жизни ассоциируется с движением вниз: в тексте-интервью с безработными выпускниками вузов использована метафора **'downward spiral'** (о безработице: *спираль, идущая вниз* — CAE, p. 257). Один из тех, кому не повезло, сравнивает свои ощущения с *падением с утеса* (*'It felt as if I'd fallen off a cliff'* — *ibid.*). Ср. также выражение *a low success rate* («низкий показатель успеха» — LDCE, p. 1056). В сознании русскоязычных говорящих, очевидно, существуют сходные ассоциации с состояниями фрустрации, что зафиксировано на уровне фразеологии: «*опускаются*» *руки, опуститься с небес на землю, упасть духом* и другие.

Когнитивный образ успеха, репрезентируемый в языке учебных текстов, содержательно отражает представления о нем как о цели для достижения и как о состоянии физического и психического комфорта, что является очевидно дополнительным признаком концепта «успех / достижения».

В центральной части концептуального поля «успех» неизменно присутствуют и номинации материальных бытовых объектов (*house, apartment, mansion, TV monitors, gadgetry, Rolls-Royce*); дескрипторы, описывающие высокое качество, стоимость, хороший внешний вид чего-либо (*favourite, beautiful, famous, luxurious, high-tech, expensive, fashionable*); топонимы-названия экзотических мест отдыха (*Barbados, Monte Carlo, St Tropez*), соотносимые с представлениями об успехе как о благосостоянии.

Еще одна важная характеристика концепта «успех», представленная в учебных текстах, связана со статусностью успеха в современном обществе. Семантический признак «успех как средство для достижения / показатель социального статуса» занимает положение на периферии концептуального поля. Соответствующие языковые реализации включают единицы, называющие высокие места в служебной иерархии (уже приводившиеся выше *top manager, top model*), наименования премий и наград (*Oscar, the Booker Prize*), знаменитых лиц и мест и светских событий (*приглашение на вечера в Букингемский дворец, на обед к принцессе Маргарет, возможность побеседовать с премьер-министрами* (HUISB, p. 48, 49, 93). В приведенных приме-



рах топоним, обозначающий королевскую резиденцию, имена члена королевской семьи и высших чиновников государства суть социальные символы и маркеры успеха, равно как и сам факт приближенности индивидуума к ним сигнализирует успех.

На периферии семантического пространства концепта «успех» находятся признаки, характеризующие успех как эмоционально-волевое состояние сильного желаяния (используются языковые единицы с общей семой, обозначающей энергию побуждения, движения, цели: *desire, determined, resilience, motivation, drive*) или даже одержимости, приобретающей абсурдные формы (*increasingly obsessed, obsession, obsessive ambitions, competitive pressures, excessive competitiveness* — CAE, p. 97, HASB, p. 47).

К периферийным относятся также и признаки, связанные с семантическим представлением успеха как стратегии, которой обучают в обществе. Примечательно в этом смысле использование при описании успешных людей предикатов *designed, engineered (designed for accomplishment* — «запрограммированные на успех»; *engineered for success* — спроектированы для достижений, созданы, сработаны для успеха) с инвариантным значением планомерных, точно рассчитанных действий. Узуально они употребляются в синтагматиче-

ской связи с существительными, обозначающими технические объекты, чертежи. Использование их в необычном контексте создает эффект осознанной, целенаправленной, алгоритмизированной деятельности, в результате которой возникает феномен успешного человека. В текстах также упоминаются исследования успеха учеными, практика регулярной публикации списков богатейших людей Великобритании в 'Sunday Times', издания специальных газет, журналов и книг, посвященных успеху ('Personal Success' — «Личный успех»; 'Success Magazine' — журнал «Успех»; 'The Magic of Thinking Big' — «Магия чувствовать себя большим»).

Таким образом, в современных английских учебных текстах представлены все три уровня семантических признаков концепта «успех», причем на каждом из этих уровней манифестирована культурная специфичность данного концепта. Результаты проведенного анализа и сопоставление учебных материалов с культурологическими источниками (7, с. 22; 13, p. 54; 11, p. 97-98; 12, p. 18-19 и др.) позволяют сделать вывод о соотносительности концепта «успех» с системой социальных ценностей, характеризующих не только современное английское общество, но западную культуру в целом.

#### ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ И ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

1. БАРС — Большой англо-русский словарь: В 2 т. / Авт. Ю.Д. Апресян, И.Р. Гальперин, Р.С. Гинзбург и др. — М., 1987. — Т. 1.
2. СРЯ — Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М., 1985.
3. OSDCE — Hornby A.S. Oxford Student's Dictionary of Current English. — Oxford-Moscow, 1983.
4. LDCE — Longman Dictionary of Contemporary English. — Longman, M., 1992. Vol. 1-2.

#### ИСТОЧНИКИ ВЫБОРКИ И ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

1. CAE — Spratt M. & Taylor L.B. The Cambridge CAE Course. Self-study Student's Book. — Cambridge, 1997.
2. HASB — John & Liz Soars. Headway Student's Book Advanced. — Oxford, 1995.
3. HISB — John & Liz Soars. Headway Student's Book Intermediate. — Oxford, 1986.
4. HPIB — John & Liz Soars. Headway Student's Book Pre-Intermediate. — Oxford, 1998.
5. HUIB — John & Liz Soars. Headway Student's Book Upper-Intermediate. — Oxford, 1993.
6. IEISB — Taylor L. International Express. Intermediate. Student's Book with Pocket Book. — Oxford, 1997.
7. Init. — Walton R. & Bartram M. Initiative. A course for advanced learners. Student's Book. — Cambridge, 2000.
8. NHISB — John & Liz Soars. New Headway English Course. Intermediate Student's Book. — Oxford, 1997.
9. WIPCB — Hopkins A., Potter J. Work in Progress Course Book. — Addison Wesley Longman Limited, 1997.

#### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. — М., 1997.
2. Воркачев С.Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентрической парадигмы в языкознании // Филологические науки. — 2001. — № 1. — С. 64-72.
3. Воркачев С.Г. Национально-культурная специфика концепта любви в русской и испанской паремииологии // Филологические науки. — 1995. — № 3. — С. 56-66.
4. Иващенко Е.В. Концепт роза в поэтическом творчестве В.А. Жуковского // Принципы и методы исследования в филологии: конец XX века. — Санкт-Петербург-Ставрополь, 2001. — Вып. 6. — С. 370-374.
5. Карасик В.И. Культурные доминанты в языке // Языковая личность: культурные концепты: Сб. науч. тр. — Волгоград-Архангельск, 1996. — С. 12-23.
6. Кольцова Ю.Н. Концепт пути в произведении Н.С. Лескова «Очарованный странник» // Вестник МГУ. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. — 2000. — № 2. — С. 58-69.
7. Парсонс Т. Система современных обществ. — М., 1998.
8. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. — М., 1997.
9. Тильман Ю.Д. Культурные концепты в языковой картине мира (поэзия Ф.И. Тютчева). Автореф. дис. ... канд. филол. наук. — М., 1999.
10. Фрумкина Р.М. Культурологическая семантика в ракурсе эпистемологии // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. — 1999. — Том 58. — № 1. — С. 3-10.
11. Eisenberg E.M. Flirting with Meaning // Journal of Language & Social Psychology. — March 1998. — Vol. 17. — Issue 1. — P. 97-109.
12. Seabrook J. Values for money // New Statesmen and society. — 12/8/95. — Issue 382. — P. 18-20.
13. Stevenson N. Globalization, National Cultures and Cultural Citizenship // Sociological Quarterly. — Winter 1997. — Vol. 38. — Issue 1. — P. 41-67.

## КОНЦЕПТ «ДОБРО» В КОНЦЕПТОСФЕРЕ ШУКШИНА-ХУДОЖНИКА

Т.Н. Долотова  
Ставрополь

В художественном мире В. Шукшина понятия совести, души и добра взаимосвязаны и выступают как репрезентативные черты русской ментальности. Шукшинский герой «безошибочно знает, какого человека можно считать душевным: доброго и совестливого. Характеристики эти («совестно», «чувство содеянного добра», «совестливость», «доброта») встречаются у Шукшина очень часто. Писатель рассказал о голубоглазых стариках и терпеливых старухах из многочисленных российских Сросток, для которых слова эти и стоящие за ними понятия не утратили своей первоначальной, корневой значимости. А о том, что эта значимость существовала, свидетельствуют не только пословицы и поговорки, народные песни и былины, но и исторические документы» (2, с. 54; ср.: 7, с. 177; 4, с. 23.)

**Добро** — первое и основное оценочное понятие в морали, нравственности и этике, определяющее положительный идеал, направленный на создание личного и общественного блага. Представляя собой одну из важнейших категорий этики, добро (вместе со своей противоположностью — злом) является наиболее обобщенной формой разграничения и противопоставления нравственного и безнравственного, положительного и отрицательного. С помощью идеи добра люди оценивают социальную практику и действия отдельных лиц. Этимологически слова *добро*, *добрый* связаны с общеславянским словом *доба*, что значит *польза* (см.: 3, с. 127, 404). Зло как категория этики, по своему содержанию являющаяся противоположностью добру, служит наиболее обобщенным выражением представлений о безнравственном, противоречащем требованиям морали, заслуживающем осуждения, а также общей абстрактной характеристикой отрицательных моральных качеств (5, с. 76-77, 95).

Таким образом, добро и зло — понятия высокой степени обобщения, это предельные полярные характеристики человеческого мира, выражающие фундаментальные установки морального сознания. Концептуальная антиномия *добро / зло*, представленная в публицистике В. Шукшина, связана с народной моралью, в которой добро понимается как правильные поступки, а зло — как отступление от нормы (ср.: «В добре жить хорошо»; «С доброхотом всякому в охотку»). Добро есть то, что оценивается положительно, рассматривается как важное и значимое для жизни человека и общества. Добро есть то, что позволяет человеку и обществу жить, развиваться, благоденствовать, достигать гармонии и совершенства. Поскольку добро уже в первом приближении ассоциируется с жизнью, процветанием, полнотой бытия, гармоническим взаимодействием с окружающей действительностью, в значении этой лексемы, кроме инвариантной семы 'хорошо', выделяют и соответствующие квалифицирующие семы.

**Зло** — это то, что разрушает жизнь и благополучие человека, это всегда уничтожение, подавление, унижение. Зло деструктивно, оно ведет к распаду, к отчуждению людей друг от друга и от животворящих

истоков бытия, к гибели (ср.: *Надо страдать, когда торжествует зло.* — с. 27). В центре внимания в публицистике В. Шукшина находится нравственное зло, которое совершается при непосредственном участии человеческого внутреннего мира — сознания и воли. В значении лексемы *зло*, следовательно, кроме инвариантной семы 'плохо', выделяются также соответствующие квалифицирующие семы ('уничтожение', 'подавление', 'унижение' и т.п.).

В морали конкретных культур несомненным добром, которое не может быть сведено к полезности, выступают высшие ценности. Они самоценны, не утилитарны, напротив, все усилия индивида предпринимаются ради их снискания. Языковая объективация концептов *добро* и *зло* в публицистике В. Шукшина свидетельствует о совпадении аксиологических норм в социолекте и идиолекте. (Ср. понятие «вирус идеологизированной семы» в официальном дискурсе, где сравнение семантических ореолов концептов *нравственность*, *мораль* и т.п. и тех же слов, фразеологически связанных с прилагательным *коммунистический*, демонстрирует результаты влияния идеократического логоса, который фальсифицирует первичную форму и значение слова. Такие концепты, как *благо*, *польза*, *идеалы*, *идеи*, *справедливость* и т.п. становятся предикатами в семантическом поле убийства, террора. — 1, с. 160).

В СПЭО в публицистике В. Шукшина наблюдается корреляция трактовок добра и зла в религиозном и безрелигиозном сознании. Религиозным сознанием отвергаются не только жестокость, агрессия, явные пороки, которых не приемлет и светское сознание, но и рост материального богатства, экспансия техники, установление всеобщего комфорта, балующего человеческие чувства, хлопотливая занятость лишь телесным здоровьем. Соответственно иными выглядят в религиозном сознании душевные и физические страдания (дисфорический признак). Для светского понимания они, представляя собой зло, являются сугубо негативными, однако для религиозного приобретают позитивный смысл. Для В. Шукшина значим и ценен факт страданий душевных, свидетельствующих о том, что душа и совесть человека живы. В этом случае страдание — это испытание силы духа. Если все христианские святые — страдальцы, принявшие муку за Господа, доказавшие этим свою верность ему, то для В. Шукшина страдальцы — это те, кто принял муку за Человека. Ср.:

*Город — это трагедия Гоголя, Некрасова, Достоевского, Гаршина и других страдальцев, которые до смертного часа своего искали в жизни силу, которая бы уничтожила зло на земле, и не нашли. Это — Пушкин, Лермонтов, Толстой, Чехов (8, с. 49-50).*

Лексемы имен собственных, представляющие собой центральные элементы мировой и национальной культуры и выступающие в роли лингвориторических конструктов, имеют здесь статус духовно-нравственных компонентов художественной концепции автора (ср.: *Как нужны они, мощные, муд-*

рые, добрые, озабоченные судьбой народа, — Пушкин, Толстой, Гоголь, Достоевский, Чехов. — с. 50).

К разным полюсам СПЭО принадлежат компонент зло и антитетичный ему компонент, представленный описательно (сила, которая бы уничтожала зло на земле). При этом в значении лексемы зло выделяются «заряженные» отрицательно семы 'противоречие интересам, жизненным потребностям человека', 'отступление от нравственных представлений, норм', 'препятствие духовному развитию, общественному прогрессу'. Положительную окрашенность приобретают семы, выделяемые в значении перифрастического сочетания сила, которая бы уничтожила зло на земле. Таковыми являются афферентные оценочные семы 'соответствие интересам, жизненным потребностям человека', 'согласованность с нравственными представлениями, нормами', 'содействие духовному развитию, общественному прогрессу'.

Дисфорический признак (*тревожная дума*) присутствует и в позитивно окрашенном «образе» настоящего писателя (*нет и писателя без искренней тревожной думы о человеке, о добре, о зле, о красоте*), представленного посредством концептуально значимых лексем (*человек, добро, зло, красота*), имеющих духовно-нравственное содержание.

Как правило, лексемы, репрезентирующие концепт *добро*, даются без эксплицитного противопоставления лексемам — репрезентантам концепта *зло* (ср.: *фильм о красоте чистого человеческого сердца, способного к добру; сила предрасположения нашего народа к добру, к тому, чтобы открыть свое сердце всякому, кто нуждается в теплоте этого сердца; добро несут те же простые люди, крестьяне, жители деревень; человеку любовь несут добрые опять же люди; доброе сердце; что сберег доброго, умного в сердце; добрый запас его души; душа хорошая, добрая; душа у него была добрая; глаза удивительно добрые, бесконечно добрые глаза; немного усталые добрые глаза; добрый парень; люди добрые; доброе слово; доброе дело; сильны и по-настоящему умны в добром поступке; умный, от природы добрый и даже, если хотите, талантливый; (писатели) мощные, мудрые, добрые, озабоченные судьбой народа; фильм умный, задумчивый, светлый, добрый и честный; суть (помощи) всегда одна: умная, добрая, бескорыстная; находить, обнаруживать положительные — суть качества добрые, человеческие — и подавать это как прекрасное в человеке; доброта душевная; редкой доброты человек; человек большой доброты, д о б р о т ы , что очень важно, очевидно, сегодня, в наше бурное время, в наше такое механизированное время; «развозит» на своем «газике» доброту людям; нам бы немножко добрее быть; будь ты повнимательнее, подбробнее; старайся быть добрым и великодушным; как красив, добр и великодушен был человек, который почувствовал в себе неодолимое желание пойти и самому помочь людям, братьям).*

Эмоциональный компонент присутствует в инверсированных конструкциях (*глаза удивительно добрые; люди добрые, доброта душевная; душа хорошая, добрая*), в императивных конструкциях (*старайся быть добрым и великодушным; будь ты повнимательнее, подбробнее*), в конструкции, выражающей совет, пожелание и включающей компаратив *доб-*

*рее* (*нам бы немножко добрее быть*), в конструкциях, содержащих метафоризированные сочетания (*«развозит» на своем «газике» доброту людям; сила предрасположения нашего народа к добру, к тому, чтобы открыть свое сердце всякому, кто нуждается в теплоте этого сердца*). В инверсированном сочетании *фильм умный, задумчивый, светлый, добрый и честный* лексема *добрый* является одним из стержневых элементов при создании (с помощью приема олицетворения) образа фильма, когда произведение искусства наделяется основными качествами личности его создателя. «Одушевленность» образа подчеркивается выбором грамматической формы существительного «фильм» и согласующихся с ним прилагательных: в словосочетании *не погубила фильма его, задумчивого, светлого, доброго и честного* выбрана форма винительного падежа существительного и зависимых от него слов, совпадающая с формой не именительного, а родительного падежа этих компонентов.

В сфере функционирования концепта *добро* вовлечены лексемы, обозначающие «лицо» (*человек, люди, народ, парень, крестьяне*), «составные части» человека, причем как материальные органы (*сердце, глаза*), так и его нематериальную сущность (*душа*), лексемы, связанные с деятельностью, в том числе речевой (*дело, поступок, слово*), слова, обозначающие чувства (*любовь, великодушие*), абстрактное понятие (*красота*). Сема «открытость» дополняет семный состав лексемы *сердце*, которое в языковой картине мира характеризуется с точки зрения преобладающего отношения данного человека к другим людям (6, с. 29).

В сфере действия концепта *добро* находятся также относительное прилагательное *человеческий* и качественные прилагательные *умный, человеческий, хороший, большой, сильный, мощный, мудрый, простой, чистый, честный, светлый, бескорыстный, красивый, великодушный*.

В СПЭО в публицистике В. Шукшина «*добро*» связано с понятием *сил* (ср.: *сила предрасположения нашего народа к добру; сильны и по-настоящему умны в добром поступке*), которые в соответствии с русской языковой картиной мира имеются внутри человека в «форме» невидимой субстанции. *Силы*, толкуемые как внутренние возможности человека, благодаря которым он в состоянии выполнять какие-то действия, — невидимая субстанция, находящаяся где-то внутри человека и расходуемая по мере того, как он что-либо делает, необходимы для любых действий и усилий — физических, умственных и волевых, *для всякого душевного движения*. *Силы* обеспечивают саму жизнь человека, то есть предстают как некое жизненное начало, присущее данному человеку. Внутренняя жизнь человека требует душевных сил; жизнеспособность, жизнестойкость организма поддерживается жизненными силами. Во всех этих случаях речь идет об общей способности человека совершать действия, которые предполагают определенные волевые усилия, — способности, тесно связанные с неким жизненным началом внутри него (см. об этом: 6, с. 89-94). «*Добро*», следовательно, оценивается

положительно еще и потому, что оно требует напряжения и консолидации определенных внутренних усилий человека. В противном случае оно заслуживает отрицательной оценки, в частности за счет появления у слова или словосочетания иронического оттенка (*приятно сделать человеку добро, которое тебе ничего не стоит*).

Таким образом, компонент СПЭО «добро» дополняется и детализируется положительно окрашенными семами 'сообразность со здравым смыслом'; 'духовное совершенство'; 'отрицание личной выгоды, преимущества'; 'глубокое знание, понимание жизни'; 'проявление душевных свойств'; 'тонкость и полнота чувств, переживаний'; 'ответственность'; 'внимательное, отзывчивое, чуткое отношение к людям'; 'прямота, соответствие понятиям чести'; 'прямота, открытость, бесхитрость'.

Особую экспрессию получают репрезентанты концепта *добро* в антитетичных микротекстах:

«*Добрые*, искренние, человеческие слова тоже должны греметь. Гремят же на площадях в мире слова *недобрые*, фальшивые. Пусть и *добро* вооружается! Келейные разговоры о красоте, истине только обессиливают человечество перед ликом громогласного, организованного *зла*. Если же кто сказал слова *добрые* и правдивые и его не услышали — значит, он не сказал их» (с. 100); «И как

часто тоже бывает — *зло* более организовано на земле. И люди *недобрые*, к нашему стыду живущие, иногда слушаются более внимательными. Они подбирают таких вот неопытных людей и обращают их в свою веру или приобщают к своему делу. В данном случае получилось так, что приобщили его к воровскому делу. А человек хороший был. Душа у него была *добрая*» (с. 121).

В лексемах, репрезентирующих концепт *зло*, актуализации подвергается сема 'опасность', а в значениях репрезентантов концепта *добро* — сема 'действенность, необходимость сопротивления злу'.

Таким образом, функционирование концептов «добро» / «зло» в СПЭО связано с природой этих наиболее общих понятий морального сознания и важнейших категорий этики, которые являются «обобщенной формой разграничения и противопоставления нравственного и безнравственного, имеющего положительное и отрицательное моральное значение того, что отвечает содержанию требований нравственности, и того, что противоречит им. Сопряженность понятий *добро-жизнь* и *зло-смерть* в публицистике В. Шукшина соответствует русской языковой картине мира. Писатель «проверяет» себя и своих современников народной идеей, которая базируется на языческом постулате гармонии человека со всем живым.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Воровжитова А.А. Лингвориторическая парадигма: теоретические аспекты: монография. — Сочи, 2000.
2. Красичкова Н.С. Положительный герой... Какой он есть в жизни // Шукшин В.М. Жизнь и творчество. Тезисы докладов IV Всероссийской научно-практической конференции (13-15 марта 1997 г.). — Барнаул, 1997. — С. 53-54.
3. Краткий этимологический словарь русского языка. — М., 1975.
4. Лебедев Л. Крещение Руси. — М., 1987.
5. Словарь по этике. — М., 1983.
6. Урысон Е.В. Архаичные представления в русской языковой картине мира. Дисс. на соискание ученой степени доктора филологических наук. — М., 1997.
7. Устрялов Н. Русская история. — СПб., 1849.
8. Шукшин В.М. Собр. соч.: В 5 т. / Серия «Литературное наследие». — 1996. — Т. 5. Публицистика. Из неопубликованного. Из рабочих записей.

**КОНЦЕПТ «ДУША» КАК ОСНОВА РУССКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ:  
ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОЙ РЕАЛИЗАЦИИ**Л.Ю. Буянова  
Краснодар

Характерной чертой современной гуманитарной науки является поиск смысловых и языковых доминант русской национальной личности. В качестве ее важнейших атрибутов ученые выдвигают *духовность (религиозность), соборность, всемирную отзывчивость, стремление к высшим формам опыта, поляризованность души*. В иерархии философских, этических и психологических концептов первое место принадлежит аксиологическим концептам «Душа», «Любовь» и «Счастье».

Для анализа специфики концепта «Душа» следует оговорить сам понятийно-терминологический метаязыковой аппарат, выявить общее и различное в определениях и интерпретациях термина и понятия «**концепт**».

«Лингвистический энциклопедический словарь» дает следующее определение: «Понятие (концепт) — явление того же порядка, что и значение слова, но рассматриваемое в несколько иной системе связей; значение — в системе языка, понятие — в системе логических отношений и форм, исследуемых как в языкознании, так и в логике» (7, с. 384). В «Философском энциклопедическом словаре» 1997 года словарная статья «Концепт» отсутствует, а понятие трактуется как «одна из логических форм мышления в противоположность суждению и умозаключению, которые состоят из понятий» (18, с. 354). Проводится граница между понятиями, которыми «мы пользуемся в повседневной жизни», и понятиями логики (там же). Отмечается, что в мышлении народа или отдельного человека «понятия образуются не путем восприятия и объединения в понятии присутствующих группе предметов одинаковых признаков, а благодаря тому, что сначала воспринимаются и перерабатываются в понятия существенные свойства вещей... и что эти немногие, широкие, но нечеткие понятия лишь постепенно начинают подразделяться на многочисленные, узкие и резко разграниченные понятия, ибо в сфере данного познается прегнантное, точно так же, как и все увеличивающееся количество ступеней, ведущих к прегнантности или от нее» (18, с. 354).

Определение Ю.С. Степанова: «Концепт — это как бы ступок культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. И, с другой стороны, концепт — это то, посредством чего человек — ... сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее» (16, с. 40). «Концепт — основная ячейка культуры в ментальном мире человека» (16, с. 41). Структура концепта трехслойна: 1) «основной, актуальный признак; 2) дополнительный или несколько дополнительных, «пассивных» признаков, являющихся уже не актуальными, «историческими»; 3) внутренняя форма, обычно вовсе не осознаваемая, запечатленная во внешней, словесной форме» (16, с. 44). Таким образом, «в современных исследованиях культурные концепты определяются обычно как многомерные смысловые образования в коллективном сознании, «опредмеченные» в языковой форме» (6, с. 18).

Дж. Лайонз отождествляет концепт со значением, дифференцируя в то же время понятия концепта и референта. УЛ. Чейф, исследующий понятийный модуль языка, не совсем четко параметрирует и дифференцирует концептивный и семантический аспекты. Как видно из этих немногих примеров, соотношение концепта и значения, концепта и понятия, понятия и значения, смысла и содержания, смысла и концепта и т. п. имеет сложную логико-философскую, понятийно-смысловую, онтологически-бытийную и когнитивную обусловленность, что не могло не отразиться определенным образом на формировании как языковой картины мира народа, так и на архитектонике и содержании концептуальной сферы каждой отдельной личности.

По мнению С.А. Аскольдова, самой существенной стороной концепта выступает функция заместительства. «Концепт есть мысленное образование, которое замещает нам в процессе мысли неопределенное множество предметов одного и того же рода» (1, с. 269). Некоторые концепты можно рассматривать как схематические представления, лишённые тех или иных конкретных деталей. Понятие же, как считает исследователь, «это прежде всего точка зрения на ту или иную множественность представлений и затем готовность к их мысленной обработке с этой точки зрения» (1, с. 269), и именно в точке зрения сосредоточена общность понятия, так как она может быть распространена на неопределенное множество конкретностей данного рода.

Познавательные концепты противопоставлены концептам художественным. В художественном концепте сублимируются понятия, представления, эмоции, чувства, волевые акты. Каждый художественный текст / дискурс можно интерпретировать как личность, завершившую речевой акт, но не перестающую мыслить. Множество интерпретаций, множество воспринимающих, множество ассоциаций, связанных с перцепцией каждого конкретного текста, характеризуются неопределенностью и непредсказуемостью реакции. Художественный концепт является как бы заместителем образа, в силу чего природа художественного освоения мира отличается эмоционально-экспрессивной маркированностью, особым словесным рисунком, в котором красками выступают эксплицируемые вербальными знаками образы и ассоциативно-символьные констелляции.

Концепт, как справедливо замечает Д.С. Лихачев, «не непосредственно возникает из значения слова, а является результатом столкновения словарного значения слова с личным и народным опытом. Потенции концепта тем шире и богаче, чем шире и богаче культурный опыт человека» (8, с. 281). Признавая, что концептосфера русского языка, созданная писателями и фольклором, исключительно богата, рассматриваем национальный язык не в качестве «как бы «заместителя» русской культуры» (8, с. 281), а как исключительный культурно-ментальный феномен, представляющий собой духовную, одушевленную ипостась.

Соотношение концепт — слово является ведущим при попытках структурирования различных концептуальных сфер (народа, личности). Слово — «особая творческая сила, с помощью которой происходит двойное творение, создается мир в слове и происходит пресуществление обычного текста в поэтический. И в этом творении язык, слово образуют то средостение, которое соединяет божественное и небесное с человеческим и земным» (17, с. 219). Именно слово является той атомарной единицей, посредством которой творятся словесные тексты в самом широком диапазоне их интенций и реализаций.

В этом плане одним из наиболее сложных, неоднозначных можно считать соотношение понятия / концепта и слова «душа», отражающих национально-культурную, ментально-психологическую специфику и ценностную ориентацию русского народа. Отмечается дифференциация философского, языкового, обыденного понимания и восприятия данного суперконцепта, который определяется нами как ассоциативно-образный поликонденсат, объединяющий множество семантически изоморфных (и смежных) макро-, мега-, микро- субконцептов и концептов, языковая (речевая) актуализация которых сопровождается взаимообусловленными и взаимосвязанными процессами ассоциирования, метафоризации, интеграции, дифференциации, семантической и смысловой диффузии и т. п.

Лексикографическая представленность данного суперконцепта такова: в «Философском энциклопедическом словаре» «душа» в обычном словоупотреблении — совокупность побуждений сознания (и вместе с тем основа) живого существа, особенно человека, антитеза понятий тела и материи. Научное понятие души: душа — в отличие от индивидуального духа — совокупность тесно связанных с организмом психических явлений, в частности чувств и стремлений (витальная душа)» (18, с. 147). Результат наблюдений над душой в этом смысле анализируют психологи (душа — греч. *psyche*, лат. *anima*). До Нового времени предметом метафизики был вопрос, является ли душа субстанцией. При возникновении древних представлений о душе как дыхании извне использовались наблюдения над дыханием живого существа, которое у мертвого исчезало (потому-де, что мертвый «выдыхал» душу). Исследователи отмечают, что соответствующие наблюдения над кровью и исчезновением души при большой потере крови (вследствие смертельного ранения и т.п.) привели к тому, что в крови стали видеть носительницу души. Отсюда переживание сна, в частности, обусловило представление о душе, существующей независимо от тела. Философское понимание души как субстанции привело к тому, что ей сначала приписываются свойства «тончайшего вещества... По Платону, душа является нематериальной и предшествует существованию. Аристотель называет ее первой энтелехией (целестремленность, целенаправленность как движущая сила, активное начало) жизнеспособного тела, только разумная душа человека (дух) может быть отделена от тела и является бессмертной» (18, с. 146).

«— Можно ли видеть душу?»

— Нельзя.

— Значит она безвидна?»

— Да.

Душа наша существовала до того, как мы родились. Душа — своего рода гармония, слагающаяся из натяжения телесных начал. То, что видит душа, умопостигаемо и безвидно. Душа бессмертна и неуничтожима. Душа умершего продолжает существовать и обладает способностью мыслить» (12, с. 92-93).

Концепт «душа» как основная составная часть включен во все религии мира: представление о душе, дарованной Богом, о ее бессмертии является основой священного вероучения. Согласно пониманию некоторых отцов церкви, душа материальна (Тертуллиан), другие же считают ее духовной (Августин), но господствующим в христианстве является понимание души как **непространственной, нематериальной субстанции**.

В настоящее время, как во времена античности и романтизма, снова часто проводят различие между душой и сознанием: душа — носительница ритмично протекающих жизненных процессов, в то время как сознание — в противоположность душе — прерывно. Вся история цивилизации, история развития человеческого знания, философии, искусства может рассматриваться с определенных позиций как история развития концепций Человека и Души.

Проблема души в истории развития науки также неоднократно становилась центральным объектом изысканий и дискуссий. Великий психофизиолог В.М. Бехтерев отмечал в этой связи: «Наиболее видным представителем спиритуалистического воззрения этого вида был Лейбниц, по учению которого душа, как монада, представляется несравненно выше других подчиненных ей монад тела... Так как душа по этому взгляду (Гербарта. — Л.Б.) представляется неделимой сущностью, то нетрудно представить себе, почему под влиянием этого учения возникла мысль, что душа должна помещаться в какой-либо одной точке мозга, собирающей в себя отовсюду мозговые волокна, при посредстве которых она и получает возбуждения с периферии тела. За такую точку странным образом признавалась одно время, согласно учению Картезия, шишковидная железа (gl. pinealis), а в другое время — мозговой придаток, или мочковидная железа (gl. pituitaria)...

... затем был выработан не менее странный взгляд, по которому душа, смотря по надобности, переходит с одного места в другое и таким образом участвует в различных процессах, совершающихся в той или другой части мозга» (3, с. 31-32).

Естественно, все это обусловило специфику формирования и экспликации в языковой картине мира народа, отдельной личности, социума основных конструктивных языковых единиц, обладающих семей «душа». В «Словаре русского языка» (МАС) душа определяется как «1. Внутренний психический мир человека, его переживания, настроения, чувства и т.п. 2. Совокупность характерных свойств, черт, присущих личности; характер человека» (14, с. 456). Всего в словарной статье дано 6 определе-

ний данного суперконцепта, что свидетельствует о многообразии семантических и понятийных модификаций, о возможностях интерпретации этого понятия в зависимости от интенции личности, от его языковой картины мира, языкового сознания и т.п.

Как показывают наблюдения, душа субъекта эксплицируется и определяется в **художественном дискурсе** через эмоционально-экспрессивное пространство, речевым / языковым экспликатором которого выступает континуум особых образных, оценочно-ассоциативных лексических единиц.

Каждая конкретная семантико-психологическая и эмоционально-эстетическая реализация концепта «душа» в границах художественного дискурса определяется особенностями языкового сознания личности. Языковая личность — обобщенный символ / образ носителя и проводника культурных, языковых, коммуникативно-деятельностных поведенческих реакций, апперцепционных сегментов, ценностей, знаний, установок, традиций и возможностей. Художественный дискурс в данном аспекте рассматривается как обозначающее своего «конкретного текстового мира... Данный текстовый мир имеет свою строго очерченную предметную область, в которой объекты характеризуются определенными свойствами и отношениями и имеют свое особое текстовое существование, основанное на intersубъективности идентифицируемых значений языковых выражений» (2, с. 96). Дискурс характеризуется свойством «пружинности», проявляющимся в том, что континуум смысловых структур и образных реляций эксплицируется языковыми структурами в свернутом виде. Языковой дискурс, таким образом, представляет собой вариант знакового способа существования сознания и реализует тенденцию последнего к четкости (правило прегнантности).

Выступая максимально экспрессивной единицей, художественный дискурс используется в процессах коммуникации по линии «автор — внутреннее «Я» автора — реципиент». В этой связи дискурс может трактоваться как «язык в языке», «речь в коммуникации», как средство экспликации и создания любого потенциального / виртуального мира, а образ языка приобретает особый статус.

Взаимосогласованность концептуальной сферы, значения, эмоционального пространства, смысловой архитектоники дискурса позволяет предположить изоморфизм понимания образа языка в классическом смысле и в интерпретации Германа Пауля. Язык дискурса — это «язык индивида», «реальным существованием обладают только индивиды <...> видовые и индивидуальные различия отличаются друг от друга только по степени, а не принципиально. Мы должны признать, собственно говоря, что на свете столько же отдельных языков, сколько индивидов... Резкое разграничение можно провести лишь в случаях, когда единство общения прерывается на ряд поколений» (11, с. 10). Данная интерпретация не исключает, а предопределяет восприятие языка и как «члена семьи языков», и как «структуры», и как «системы», возможно понима-

ние языка в качестве «типа и характера» (9), как знакового кода сознания/мышления.

Сущность языка — в той мере, в какой она вообще может открыться, — «открывается не «инструментальному», а философскому взгляду. Определение «Язык — дом бытия духа» остается в наши дни наиболее проникновенным» (15, с. 28).

Образно-смысловая доминантность суперконцепта «душа» в русском национальном самосознании прослеживается не только на понятийном, концептуально-онтологическом уровне, но и на лексико-фразеологическом, что наиболее рельефно представлено в лексикографическом пространстве (см. словари толковые, фразеологические, русского языка, пословиц и поговорок, идиом, образных средств русского языка, философские и т. д.).

Языковая экспликация данного феномена широко представлена и на морфологическом, словообразовательном, деривационном — в широком смысле слова — уровнях. Так, в «Словообразовательном словаре русского языка» А.Н. Тихонова зафиксировано 132 производные единицы, созданные на базе производящей лексемы «душа». Каждая из этих единиц актуализирует в дискурсе не только эксплицитный, но и имплицитный смысловой пучок, приобретая, в зависимости от интенций языковой личности, дополнительные окказиональные экспрессивно-эмоциональные оттенки. В этом смысле элементы концептуально-эмоциональной дистрибуции поликонденсата «душа», вплетаясь в образно-художественную ткань дискурса, участвуют в реконструкции и структурировании неповторимой личностной ауры творца текста. Язык в этом аспекте является «пространством мысли и домом бытия духа» (15): «Образ языка» приобретает черты «образа пространства», во всех смыслах — пространства реального, видимого, духовного, ментального — это одна из самых характерных примет лингвофилософских размышлений над языком в наши дни» (там же, с. 32).

Как известно, от Аристотеля до наших дней в психологии формировалось пять моделей эмоционального: физиологическая, чувственная, поведенческая, когнитивная, оценочная (эвалютивная) (19). Все они характеризуют те или иные аспекты эмоций, которые являются конкретными формами протекания психических процессов, чувств. Как отмечает А.Г. Баранов, «язык эмоций лингвистически неизмеримо богаче языка аффекта» (2, с. 112), эмоции фиксируются в значении лингвистических единиц самых разных ярусов и / или в способах их сочленения и текстового бытия.

Как генератор эмоционального пространства, языковая личность интерпретируется как сложная многоуровневая функциональная система, включающая уровни владения языком (языковую компетенцию), владения модусом реализации речевого взаимодействия (коммуникативную компетенцию), знания мира и о мире (когнитивно-гносеологический тезаурус). Каждый из ярусов находит отражение в дискурсе, имеющем соответственно формальный, субстанциональный и интенциональный уровни. В связи с этим реализация и ак-

туализация единиц лингво-концептуальной дистрибуции суперконцепта «душа» в разных дискурсах (по принадлежности творцу) будет характеризоваться неповторимой самобытностью.

Характерно, что понятие **души** в христианской традиции неразрывно связано с понятием **«живое»**: «живая душа», «дух жизни», «давать духу» = «давать жизни», «живым духом», «душа болит», «душа горит», «душа перевернулась», «отводить душу», «надрывать душу» и т. п. Наблюдается дистрибуция лексем, феноменов и понятий **«душа»** и **«дух»**.

«Дух — перевод встречающихся в античной философии и в Библии слов «spiritus» (лат.) и «pneuma» (греч.), что означает «движущийся воздух», «дуновение», «дыхание» (как носитель жизни); душа как сущность, которая может временно или навсегда покинуть тело, привидение, сама жизнь (Гете: «Ибо жизнь-это любовь, а жизнь жизни — дух»), сущность Бога: «Бог есть дух», сама внутренняя сущность земли или мира, дух земли, мировой дух, идейное содержание произведений искусства.

Употребляемое в настоящее время философское понятие духа, как противоположного природе, сложилось в период романтики и идеализма, а особенно у Гегеля («Дух обнаруживается как исполинский знак интеграла, соединяющий небо и землю, добро и зло» — Дрейер). Дух не является противником души, как считает Клагес, хотя душа (как понятие жизненной энергии человека) есть носитель духа, подтачивающего ее силы. Но вместе с тем дух сохраняет и защищает жизнь, возвышает, совершенствует («одухотворяет») телесную деятельность.

Дух выступает в трех формах бытия: как дух отдельного индивида (личный дух), как общий дух (объективный дух) и как объективированный дух (совокупность завершенных творений духа). Личный дух становится самим собой благодаря вращению индивида в область объективного духа, в духовную сферу, культуру, которую он находит и которую может (частично) усвоить с помощью воспитания и образования. Это вращение есть его становление человеком, поскольку под человеком понимается живое существо, отличающееся своей духовностью, т. е. своим свободным существованием. Как носителем личного духа является психический склад отдельного индивида, так носителем объективного духа является какая-либо общность (группа, народ, группа народов).

В объективированном духе — в произведениях науки и искусства — мы снова познаем живой дух, который их создал, он говорит с нами через эти произведения, поскольку и пока мы (как личности) можем принимать в них участие» (18, с. 146-147).

Характерно, что концепты «душа» и «дух», являющиеся в русском языке изомотивированными, однокоренными, в чем прослеживается их понятийная, смысловая, эмоционально-образная изоморфность и синментальность, а иногда и тождественность, генетически восходят к разным корням в греческом и латинском языках: дух — **pneuma**, душа — **psyche** (в греч.); дух — **spiritus**, душа — **anima** (в лат.) Исторические судьбы этих феноменов в языке и философии, естественно, оказались не совсем идентичными в самих греческом и латинском языках.

В словаре В. Даля даны следующие дефиниции, запечатлевшие когнитивно-психологические и эмоционально-онтологические корреляции, присущие русскому национальному сознанию (и самосознанию): «Дух — бестелесное **существо**, обитатель не вещественного, а существенного мира, бесплотный житель недоступного нам духовного мира. Относя слово это к человеку, иные разумеют душу его, иные же видят в душе только то, что дает жизнь плоти, а в духе высшую искру Божества, ум и волю, или же стремление к небесному» (4, с. 503).

«**Душа** — бессмертное духовное **существо**, одаренное разумом и волею, в общем значении **человек**, с духом и телом. Душа также душевные и духовные качества человека, совесть, внутреннее чувство, напр. Душа есть бесплотное тело духа, в этом значении дух выше души» (4, с. 504). Примечательно, что к словарной статье «Душа» в этом словаре дано примечание: «Дух и душа отделены здесь в разные статьи только для удобства приискания производных» (там же).

Современные русские словари фиксируют определение суперконцепта «дух» таким образом: «Дух — 1. Психические способности, сознание, мышление. 2. Внутреннее состояние, моральная сила человека, коллектива. 3. Основное направление, характерные свойства, сущность чего-либо (почему не и **кого-либо?** — Л.Б.). 4. По мифологическим и религиозным представлениям: бесплотное, сверхъестественное существо (доброе или злое), принимающее участие в жизни природы и человека» (14, с. 455).

В словаре С.И. Ожегова **дух** — это: «**Сознание**, мышление, психические способности, начало, определяющее поведение, действия». **Душа** — это: «Внутренний, психический мир человека, его **сознание**». Это также: «в религиозных представлениях сверхъестественное, нематериальное бессмертное начало в человеке, продолжающее жить после его смерти»... В таком осмыслении суперконцепты **душа** и **дух** являются практически эквивалентными: дух — «в религии и мифологии: бесплотное сверхъестественное существо» (10, с. 178-179).

Как видно из приведенных примеров, отмечается некоторая амбивалентность, нечеткость и размытость репрезентации сущностных признаков в дефинициях рассматриваемых лексем. Лексикографическое сознание, стремясь к унификации и однотипности толкований однотипных языковых единиц, не учитывает аспект речевой реализации и связанных с этим личностных ассоциативно-образных трансформаций и специфики представленности концептов «дух» и «душа» в целостной языковой картине мира народа и личности.

Функционирование каждой из данных лексем (и их производных) в художественном дискурсе характеризуется особым стилистическим ракурсом, многозначностью и неопределенностью семантических границ, наличием специфического коннотативно-ассоциативного шлейфа, что в целом отражает индивидуально-авторскую специфику художественного видения мира, каждый раз создающего особую концептуально-семантическую модель (модель) суперконцепта «душа».



«Образ души» у различных авторов приобретает специфические психолого-эмоциональные и семантические очертания. Как уже отмечалось, этот суперконцепт трудно дифференцировать и однозначно (для реципиента) дефинировать в силу семантико-когнитивной многогранности, неопределенности его текстовой (речевой) субстанциональности: **душа** —

1) это **место**? Сравним: «Но вечно пламень вечный и живой **дрожит в душе**, не угасая» (А. Блок); «Я говорю сейчас словами теми / Что только раз **рождаются в душе**» (А. Ахматова);

2) это **субстанция**? — «**Скорбную душу** помилуй, Господи!» (А. Блок);

3) это **ипостась личности**? — «Мечтаю я, чтоб ни **одна душа** не видела / Твоей души нетленной» (А. Блок); «...обидно коротка вся жизнь для поисков **родной души**» (Л. Якушева); «И эту песню я невольно / Отдам на смех и поруганье, / Затем, что нестерпимо **больно / Душе** любовное молчанье» (А. Ахматова); «**Страшна** моей **душе** предгрозовая тишь» (А. Ахматова);

4) это нечто **живое**, находящееся, подобно сердцу, внутри человека? — «Но устают глаза, **болит душа** от насыщения светом и покоем» (Л. Якушева); «Странно вспомнить: **душа тосковала, / Задыхалась** в предсмертном бреду» (А. Ахматова); «Помолись о нищей, о потерянной, / О моей **живой душе**» (А. Ахматова); «**Исцелил** мне **душу** царь небесный / Ледяным покоем нелюбви» (А. Ахматова);

5) это **внутреннее «я» автора**? — «Но с ясною гармонией Твоей / **Моя душа** больная не рассталась» (А. Блок); «... может, ветер мне поможет **душу легкую мою** разметать степною пылью» (Л. Якушева); «И каждый раз, вступая в тайну, / **Душа** стиха **напьется** вновь» (Л. Якушева); «Но с **души не стирается метка** / Незначительной встречи собой» (А. Ахматова); «Надо, чтоб **душа окаменела**, / Надо снова научиться жить» (А. Ахматова); «Ты сказки давней горестных заметок, / **Душа моя**, не тронь и не ищи...» (А. Ахматова) и т. д.

Наблюдения показывают, что как живая сущность, душа не только генерирует и отражает чувства, она и «сама» может их испытывать, функционально уподобляясь субъекту речи. С помощью различных тропеических модификаций достигается единство образа, его целостность, оживляются древние ассоциативно-смысловые связи слов. Важнейшей универсальной единицей субстанционально-семантической структуры эксклюзивно-ментального суперконцепта «душа» является, как видно из речевых реализаций, семема «**живое**». На это указывает как тип и характер контекста, так и лексическое окружение лексемы «душа» в разных текстах, их интенциональный рисунок. В отличие от общепринятой оппозиции «**живое-неживое**» суперконцепт «душа» актуализирует семему «**бессмертие**», что закреплено языковой и духовной традицией: душа человеческая бессмертна есть.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Аскольдов С.А. Концепт и слово // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста: Антология. — М., 1997. — С. 267-280.
2. Баранов А.Г. Функционально-прагматическая концепция текста. — Ростов-на-Д., 1993.
3. Бехтерев В.М. Психика и жизнь: избранные труды по психологии личности в двух томах. — СПб., 1999. — Т. 1.
4. Даль В.И. Толковый словарь великорусского языка: В 4 т. — М., 1989.
5. Комлев Н.Г. Компоненты содержательной структуры слова. — М., 1969.
6. Кондрашова О.В. Семантика поэтического слова (функционально-типологический аспект). Автореф. дис. ... док-ра филол. наук. — Краснодар, 1998.
7. Лингвистический энциклопедический словарь. — М., 1990.
8. Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста: Антология. — М., 1997. — С. 280-287.
9. Матезиус В. О лингвистической характерологии // Язык и наука конца XX века. — М., 1995.
10. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. — М., 1995.
11. Пауль Г. Принципы истории языка: Цит. по: Степанов Ю. С. Изменчивый «образ языка» в науке XX века. // Язык и наука конца XX века. — М., 1995. — С. 7-34.
12. Платон. О душе // Таранов П. Мудрость трех тысячелетий. — М., 1997. — С. 92-93.
13. Сгалл П. Значение, содержание, прагматика // Новое в зарубежной лингвистике. — М., 1985. — Вып. 16. — С. 384-399.
14. Словарь русского языка: В 4 т. — М., 1981. — Т. 1.
15. Степанов Ю.С. Изменчивый «образ языка» в науке XX века // Язык и наука конца 20 века. — М., 1995. — С. 7-34.
16. Степанов Ю.С. Основы общего языкознания. — М., 1975.
17. Топоров В.Н. Об «эктропическом» пространстве поэзии (поэт и текст) // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста: Антология. — М., 1997. — С. 213-226.
18. Философский энциклопедический словарь. — М., 1997.
19. Calhoun Ch., Solomon R.C. What is an Emotion. — N.Y., Oxford, 1984.

## ОБ ЭТИЧЕСКИХ КОНЦЕПТАХ В ЦЕННОСТНОЙ КАРТИНЕ МИРА А.П. ЧЕХОВА

(на материале рассказа «Студент» и повести «Рассказ неизвестного человека»)

В.А. Новосельцева  
Краснодар

В современной лингвистической парадигме главенствующее положение занимает коммуникативно-прагматический подход к исследуемым языковым фактам. Интерес к личностному аспекту изучения языка существенно повысился еще в 80-е годы XX века. В центре внимания исследователей оказывается не значение как таковое, а «значение говорящего» и «значение слушающего». Изучается «человеческий фактор» в языке, язык в связи с человеческой деятельностью, человек в языке и язык в человеке. Актуальным становится основной принцип исследования художественного текста, выдвинутый Ю.Н. Карауловым: «за каждым текстом стоит языковая личность» (4, с. 27).

Языковая личность характеризуется прежде всего своим собственным видением мира. Это своеобразное, присущее только данной конкретной языковой личности видение мира отражается в языковой картине мира творческой его личности посредством концептов. Концептологический подход к исследованию художественного текста представлен в трудах Д.С. Лихачева, Ю.С. Степанова, А.П. Бабушкина, С.А. Аскольдова-Алексеева, А.А. Вежибицкой, Н.Д. Арутюновой, С.Х. Ляпина, В.И. Карасика и др. Однако в современной лингвистике не существует единого толкования термина «концепт». Можно выделить три основных подхода к определению этого термина: логический, психологический и культурно-лингвистический.

Наиболее полным, непротиворечивым представляется определение термина «концепт», которое утвердилось в лингвистических исследованиях концептуально-культурологического направления (С.А. Аскольдов, Д.С. Лихачев, Ю.С. Степанов, Н.Д. Арутюнова и др.).

«Концепт» трактуется как многомерное образование, включающее, в частности, образные, понятийно-дефиниционные и нормативно-оценочные характеристики, интегрирует в себе традиционные теории значения (логические, психологические, поведенческие) и такие составляющие психической деятельности человека, как понятие, представление, метафорические образы, культурно-исторические ассоциации.

Концепт является ментальной категорией, отражением индивидуального опыта каждой языковой личности. На основе полученных в течение жизни знаний, информации, собственного жизненного опыта человек формирует отношение к миру, предметам, событиям, ориентируясь на базовые ценности. Ценности являются отражением оценок, которые дает человек предметам и явлениям окружающей действительности.

Существуют различные классификации ценностей (см.: 3, с. 6; 5, с. 3). Традиционно выделяются ценности нравственные (этические) и эстетические и, соответственно, оценки этические (с позиций традиционной морали) и эстетические (с точки зрения обыденных представлений о красоте).

Система ценностей является выражением менталитета каждой нации или индивидуума.

Ключевым для изучения специфики ценностей в естественном языке является понятие культурно-языкового концепта. Определение и описание культурно-значимых концептов позволяет исследовать ценностную картину мира отдельного индивидуума или отдельной нации.

Обратимся к изучению культурно-языковых концептов в творчестве А.П. Чехова, поскольку данное исследование позволяет реконструировать ценностную картину мира писателя, выявить систему взглядов А.П. Чехова, представленную в виде доминантных концептов.

Доминантные концепты рассказа А.П. Чехова «Студент» и повести «Рассказ неизвестного человека» — «мир», «душа», «холод», «тепло», «блеск» выделены на основании высокой частотности их употребления и большого количества репрезентантов данных концептов, а также на основании особой значимости содержания этих концептов, реализуемых в произведениях А.П. Чехова, для выявления особенностей ценностной картины мира писателя.

Концепт «мир» содержит пространственно-временные смыслы, синонимичен концептам «пространство» и «время».

В рассказе «Студент» А.П. Чехов моделирует два мира: мир, в котором реально существуют студент Иван Великопольский, Василиса, Лукерья, и мир, в котором совершаются библейские события.

Противопоставление «этого» и «другого» мира реализовано в художественном тексте через пространственную оппозицию «тут/там», временную «прошлое/настоящее».

«Прошлое, — думал он (студент), — связано с **настоящим** непрерывною цепью событий...», «...правда и красота, направлявшие человеческую жизнь **там**, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле...» (1, с. 265).

«То» пространство представлено в рассказе «садом и двором первосвященника», «это» — «лесом», «заливным лугом», «вдовьями огородами», «рекой», «горой», «деревней».

«Это» пространство конечно, ограничено зрительными возможностями человека, «полосой» горизонта, без наличия «того» пространства оно «пустынно» и «мрачно», лишено «высокого смысла», все здесь дисгармонично, на грани слома, наступления конца: «казалось, что этот внезапно наступивший **холод** нарушил во всем **порядок и согласие**, что самой природе жутко...» (1, с. 262). Лишь через повествование о библейских событиях приходят «порядок и согласие», однако они не во внешнем пространстве, здесь все по-прежнему дисгармонично: «и опять наступили потемки... Дул жестокий ветер, в самом деле возвращалась зима...» (1, с. 265). Они во внутреннем пространстве героев, прежде всего

студента. Не случайно «страшная, унылая, длинная ночь» преобразуется в сознании героя в «спокойную», «пустынная деревня» — в «свою родную».

Резкому пространственному противопоставлению в рассказе соответствует временной параллелизм. Время действия в реальном мире рассказа «Студент» — за два дня до Пасхи, за два дня до Пасхи происходят те библейские события, о которых рассказывает студент Василисе и Лукерье.

«**Точно так же** в холодную ночь грелся у костра апостол Петр», как студент греется у костра, разведенного на вдовьих огородах» (1, с. 263). «**Точно такой же** ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре», как и теперь. «При них была **точно такая же** лютая бедность, голод, **такие же** дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, **такая же** пустыня кругом, мрак, чувство гнета — все эти ужасы **были, есть и будут**» (1, с. 263). Различные видо-временные формы глагола «быть» используются автором для указания на разные временные отрезки: прошлое — настоящее — будущее и для последующего их обобщения. Существует (по мысли автора и главного героя) некий временной параллелизм: содержательное наполнение всех отдельно взятых временных отрезков примерно одинаково.

Знак «того» мира в мире «этом» — костер и огонь. Тепло и свет костра — это не только реальные тепло и свет, это тепло и свет Евангелия.

«Тот» мир воплощает собой жизнь, «полную высокого смысла», а именно наполненную «правдой и красотой» (1, с. 265). «Этот» мир воплощает не жизнь, а ... смерть, причем не только физическую («холод», «голод»), но и духовную безысходность: «жизнь не станет лучше», нежелание жизни вообще (1, с. 263).

Реальные для героев рассказа Василисы, Лукерьи, Ивана Великопольского пространство // время воспринимаются читателем как нечто менее реальное, скорее призрачное (фон рассказа), чем пространство «сада и двора первосвященника», события, протекавшие за 19 веков до описываемых.

В рассказе присутствует временное и пространственное расширение.

«**Прошлое** связано с **настоящим** непрерывную цепью событий...», «...правда и красота, направлявшие человеческую жизнь **там**, в саду и во дворе первосвященника, **тогда**, 19 веков назад), продолжались **непрерывно до сего дня** и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и **вообще на земле...**» (1, с. 265).

То есть прошлое — это и настоящее, «сад и двор первосвященника» — это и «земля вообще». Расширение библейского пространства//времени дается во внутреннем переживании студента — главного героя рассказа — и имеет цель подчеркнуть исключительную значимость событий библейских в рассказе, в отличие от событий реальных.

Наиболее важный элемент содержания концепта «душа» в рассказе «Студент» — «бессмертие». На наш взгляд, не случайно концепт «душа» вводится А.П. Чеховым в художественную ткань рассказа после описания тайной вечери, тоекратного отречения Петра от Иисуса во дворе первосвященника. События библейские, сама Библия как субстанция абсолютная,

внепространственная и вневременная несут в себе идею бессмертия, жизни в правде и в красоте.

«Правда и красота» в рассказе А.П. Чехова «Студент» как проявления мира божественного, противопоставленного реальному, и как значимые элементы содержания концепта «душа» (синонимичные «бессмертию») — это важнейшие составляющие авторской системы ценностей.

Правда и красота в данном тексте — ценности нравственные и эстетические, но более нравственные, чем эстетические, так как красота — это принадлежность не реального мира, а мира библейского. Красота в рассказе — это не средство внешней характеристики человека, это категория моральная, нравственная, этическая.

В повести «Рассказ неизвестного человека» реализуются базовые концепты «холод», «тепло», «блеск», «душа», причем концепт «душа» является доминантным и в рассказе «Студент».

Выделяются следующие элементы содержания концепта «холод»:

1) **отсутствие дома**, «семейного очага», хозяйства: «пустая **холодная** кухня» (1, с. 113);

2) **отсутствие любви**: «вы всякий раз отвечаете мне шуточками или **холодно** и длинно, как учитель. И в шуточках ваших что-то **холодное...**» (1, с. 124);

3) **отсутствие Бога, совести**: «сытые, **холодные** глаза» горничной Поли, выражающие то, что «у этой цельной, вполне законченной природы не было ни бога, ни совести, ни законов» (1, с. 103-104);

4) **отсутствие души, преобладание рационализма и расчетливости**.

Последний элемент содержания концепта «холод» совпадает с наиболее значимым элементом содержания концепта «блеск», находящегося в синонимических отношениях с концептом «холод» в повести «Рассказ неизвестного человека».

«**Блеском** своих картинных рам, бронзы и дорогой мебели» поражала квартира Пекарского, частого гостя Орлова (1, с. 132). Пекарский «мог в одно мгновение помножить в уме 213 на 373 или перевести стерлинги на марки..., но этому необыкновенному уму было совершенно непонятно, почему это люди скучают, плачут...» (1, с. 105).

Концепт «холод» вступает в повести в антонимические отношения с концептом «тепло».

Желание **тепла** у Владимира Иваныча есть желание близости Зинаиды Федоровны: «я хочу мира, тишины, хочу **тепла**, вот этого моря, вашей близости», желание жизни и «душевного покоя» (1, с. 166).

Холод же — это равнодушие к жизни, это смерть, желание смерти.

У умирающей Зинаиды Федоровны «два выражения были на лице: одно равнодушное, **холодное**, вялое, другое детское и беспомощное» (1, с. 167). Второе означает слабость и бессилие перед жизнью, первое — нежелание жизни, готовность принять смерть. И не случайно употребление А.П. Чеховым в повести слова «холодное» при описании этого выражения.

Концепт «холод» содержит следующие элементы значения: смерть физическая и духовная, отсутствие душевности, совести, отсутствие души.

Концепт «тепло»: жизнь, причем жизнь в состоянии душевного покоя — то есть в гармонии с собой, с Богом в душе, жизнь по законам Евангелия.

Наиболее важный элемент содержания концепта «душа» в повести «Рассказ неизвестного человека» — жизнь с «идеями добра и правды» (1, с. 149).

Иная жизнь есть духовное «падение», бегство от жизни. Духовное «падение» — это «неверие» героя в идеи «добра и правды» (1, с. 149).

И нет в авторском восприятии ничего страшнее духовного «падения», духовной смерти. Поэтому в повести «Рассказ неизвестного человека» не так страшна физическая смерть Зинаиды Федоровны, как духовная смерть Орлова. Герой этот, «не успев начать жить, поторопился сбросить с себя образ и подобие божие и превратился в трусливое животное, которое лает и этим лаем пугает других оттого, что само боится» (1, с. 148).

«Добро и правда» — это наиболее значимые элементы содержания концепта «душа», функционирующего в повести.

Соблюдение законов добра и правды (важнейших законов Евангелия) — необходимое условие для жизни и защиты от духовного «падения», духовной смерти.

«Добро и правда», как свидетельствует проведенный концептологический анализ, — базовые элементы, входящие в систему моральных, нравственных, этических ценностей.

Если рассматривать элементы ценностной картины мира Чехова по аналогии с божественной триадой Канта, то необходимо противопоставить «истину» и

«правду». У Канта: Истина, Добро, Красота. У Чехова: правда, добро, красота.

Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев отмечают, что «слова **правда** и **истина** обозначают две стороны одного и того же общечеловеческого концепта (2, с. 481), истина указывает на принадлежность к Божественному, а правда — человеческому миру.

Вместе с тем в рассказе А.П. Чехова «Студент» правда и красота не являются принадлежностью человеческого мира вообще, следовательно, можно предположить, что правда и красота в индивидуальной картине писателя — характеристики мира божественного.

Значительной особенностью ценностной картины мира А.П. Чехова является и то обстоятельство, что в системе ценностей писателя, рассматриваемой на материале анализируемых произведений, не присутствуют эстетические элементы.

В содержании ряда концептов «мир», «душа», «холод», «тепло», «блеск» присутствуют только этические элементы. Даже «красота» в произведении А.П. Чехова не является средством внешней характеристики человека и не принадлежит миру реальному, человеческому. Это ценность моральная, нравственная, этическая.

Таким образом, представленные в рассказе А.П. Чехова «Студент» и повести «Рассказ неизвестного человека» доминантные концепты «мир», «душа», «холод», «тепло», «блеск» содержат элементы значения «правда», «добро», «красота», входящие в систему моральных, нравственных, этических ценностей индивидуально-авторской картины мира писателя.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Чехов А.П. Собрание сочинений: В 12 т. — М., 1985. — Т. 8.
2. Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Языковая концептуализация действительности (на материале русской грамматики). — М., 1997.
3. Карасик В.И. Культурные доминанты в языке // Языковая личность: культурные концепты. — Волгоград-Архангельск, 1996. — С. 3-16.
4. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. — М., 1987.
5. Слышкин Г.Г. Ценность как основа межъязыкового сопоставления культур (на материале ценностного концепта «честь»). Дис. ... магистра филологии. — Волгоград, 1997.

## ТЕКСТ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТИЧЕСКОГО И ЭСТЕТИЧЕСКОГО: О.Н. Буянова КОНЦЕПТ «ЛЮБОВЬ» Краснодар

Уже давно лингвистика наряду с изучением природы и функционирования отдельных предложений, а также механизмов порождения речевых актов, занимается изучением природы и функционирования отрезков речевых произведений более крупных, чем предложение. Вслед за работами Пospelова и Булаховского, в которых таким единицам уделялось большое внимание, появлялись новые работы, посвященные проблеме сложного синтаксического целого (сверхфразового единства), а также абзацу (принято считать, что они различаются своими характеристиками).

Все активнее раздаются мнения в пользу рассмотрения отрезков более крупных, чем предложение, в качестве важнейшего объекта лингвистического исследования. Некоторые ученые прямо утверждают, что «...основной единицей языка в его употреблении является не слово, не предложение, а текст, исследование языка как «текста» — это теоретическая проблема, не менее интересная и актуальная для лингвистики, чем психолингвистические исследования» (4).

Термин «текст» (от лат. *textus* — ткань, вплетение, соединение) широко используется в лингвистике, литературоведении, эстетике, семиотике, культурологии, а также философии. Это отметил Ю.М. Лотман: «Бесспорно, это один из самых употребимых терминов в науках гуманитарного цикла. Развитие науки в разные моменты выбрасывает на поверхность такие слова, лавинообразный рост их частотности в научных текстах сопровождается утратой необходимой однозначности. Они не столько терминологически точно обозначают научное понятие, сколько сигнализируют об актуальности проблемы, указывают на область, в которой рождаются новые научные идеи» (6, т. 1, с. 148). За словом «текст» стоит несколько разных, хотя и взаимосвязанных значений. Первоначально (и наиболее глубоко) этот термин укрепился в языкознании.

Тексты, причастные к гуманитарной сфере, мирозерцательно значимы и личностно окрашены. Их правомерно называть текстами-высказываниями, текстами-исповедями. Содержащаяся в них информация сопряжена с оценочностью и высокой эмоциональностью. Здесь значимо авторское начало (индивидуальное или групповое, коллективное): тексты гуманитарной сферы кому-то принадлежат, являются воплощением и «звуком» чьего-то голоса. Именно так обстоит дело в публицистике, эссеистике, мемуарах и, главное, в художественном творчестве. На материале этого рода «надситуативных» речевых образований, как известно, обосновали свои теории текста крупные ученые-культурологи М.М. Бахтин и Ю.М. Лотман.

В одних случаях высказывание, «рождающееся» с претензией на статус текста, таковым не становится (не полностью осуществленные замыслы литератора, графоманские штудии и т. п.).

В других же, напротив, чей-то импровизационный и не предполагающий сохранности речевой акт волей

собеседника либо группового адресата обретает свойства текста. Так, меткая фраза, вдруг возникшая в беседе, может стать неоднократно повторяемой и известной многим (подобные речевые образования на французском языке именуются *mots*). Порой высказывания, первоначально не притязавшие на статус текстов, впоследствии становятся ими, в полной мере обретая долгую жизнь и широкую известность (устные беседы Сократа, записанные Платоном и Ксенофонтом; переписка видных деятелей культуры, обычно публикуемая посмертно).

Рассмотрение текста в ракурсах семиотическом и культурологическом для литературоведения не менее важно и насущно, чем его традиционное, собственно филологическое понимание. Оно позволяет яснее представить природу авторства и полнее осмыслить литературу как феномен межличностного общения.

Универсальное свойство текста (любого, рассматриваемого в аспекте лингвистическом, семиотическом, культурологическом) — это стабильность, неизменяемость, смысловое равенство самому себе. Трансформируясь (при доработках, пародийных вариациях и даже при случайных неточностях воспроизведения), текст многое утрачивает, а то и вовсе перестает существовать как таковой, заменяясь другим текстом (пусть близким первоначальному).

На протяжении последней четверти XX в. возникла и упрочилась также концепция текста, которую можно назвать теорией текста «без берегов», или концепцией сплошной текстуализации реальности. Ее идея принадлежит французскому постструктурализму, признанный лидер которого Ж. Деррида говорил: «Для меня текст безграничен. Это абсолютная тотальность. Это означает, что текст — не просто речевой акт. Допустим, что стол для меня текст. То, как я воспринимаю этот стол — долингвистическое восприятие, — уже само по себе для меня текст» (5, с. 7). Текстом, как видно, названо здесь решительно все, что воспринято человеком.

Высказывается в лингвистике текста и следующая позиция: «Репрезентируясь и актуализируясь в границах текстового пространства, языковая личность косвенно проецирует языковое сознание посредством особого кода. Текст воспринимается как феноменологически заданный первичный способ существования языка. Текст можно интерпретировать как пространство, где происходит процесс образования семантического каркаса. Текст подлечит наблюдению не как законченный, замкнутый продукт, а как идущее на наших глазах производство, «подключенное» к другим текстам, другим кодам (сфера интертекстуальности), связанное тем самым с обществом, с Историей, но связанное не отношениями детерминации, а отношениями цитации» (1, с. 424). Процесс формирования значений и смыслов представляется как обусловленный речевым намерением прогрессивный отбор

функциональных и действенных потенций исходных элементов, их значимость универсальна. Его можно интерпретировать и как процесс индивидуализации функций, которые заданы в системе языка, определены в целом или в принадлежности к классу и обозначены формально. Смысловой каркас текста не остается в нем автономным: он мутирует, «растворяется» во множестве других единиц. Смысловая индукция текста развивается нелинейно, ассоциируясь с движением. «Вливающиеся в сообщение открытые смысловые поля не разрывают его изнутри и не размывают его текстуальную оформленность. Более того, принцип текстуальной оформленности и целостности только поддерживается и усиливается по мере центростремительного разрастания материала, из которого вырастает его смысл» (3, с. 344). Текст как духовный конструкт может интерпретироваться через понятие модели построения, бытия, функционирования и эволюции языковой картины мира, отражающей языковое сознание всех субъектов данного единства. Поэтический текст представляет собой «язык в языке», «речь в коммуникации», выступает особым средством выражения и построения любого потенциального / виртуального мира, в связи с чем образ поэтического языка приобретает особые рельефные черты и статус. Изоморфизм понятий **текст** и **языковая личность как текст** наиболее четко прослеживается на материале текста поэтического, отличительным признаком которого является его субъектно-субъективная эмотивность и эмоциогенность, этичность и эстетичность, доминирование ситуативно эмоциональных лексем как нейтрального, так и образно-символического плана. Поэтический текст — это эмоционально заряженное пространство актуализации и экспликации ментально-психологической и лингвоинтеллектуальной организации творца текста, выступающего одновременно его центральным субъектом. Понять природу языковой комбинаторики, семантико-понятийного варьирования, закономерности функционирования языка возможно, таким образом, при условии тщательного исследования восприятия личностью самой действительности. Слово в любом тексте, а в поэтическом особенно, является важнейшим знаком мысли и чувства говорящего, а также признаком-маркером всех прочих психологических переживаний. В этой связи лексемы-эмотивы и фразеологические единства воспринимаются как базовые для данной семантической сферы, существующей в рамках определенного бытийного и временного пространства, как закодированные «гены эмотивности», расшифровка которых позволит наиболее адекватно проследить и реконструировать схему коммуникации по линии «Я-Я». Поэтический текст и художественная литература в целом отражают, проецируют жизнь как картину мира в субъективно-эмоциональном ракурсе, с позиций конкретного автора. Это отражение осуществляется посредством — и в процессе — языкового эксплицирования. Возникает особая дихотомия: язык жизни — жизнь языка. Эмоции — знаки жизни, эмотивы

— знаки языка / речи, текст — знак языковой личности, причем манифестация эмоционального пространства личности через мысли, физиологические проявления, речевые действия и разные акты постоянно сопровождается процессами оязычивания каждого мельчайшего действия (ментального, мыслительного, речевого и др.)...

Именно *поэтический* текст обладает максимальными возможностями реализации вербализованных эмоционально-мыслительных и культурных концептов отправителя речи. Заложенный в его структуре семантический «фундамент», эмоционально-психологический потенциал «собираемым», обобщенным реципиентом не может быть воспринят адекватно авторской, личностной интенции, так как языковая личность — отправитель речи — обладает только ей присущей эмоциональной и концептуальной картиной мира, языковым фондом, эксклюзивной структурой духовно-нравственного регистра» (2, с. 51-54).

Словом «текст» обозначают также общую совокупность наличествующего в объективной реальности. Одному из участников тартуско-московской школы, Р.Д. Тименчику, принадлежит следующая фраза: «Если наша жизнь не текст, то что же она такое?» (7, с. 301).

Представление о мире как книге, т.е. тексте, восходит к весьма давнему метафорическому образу. Библейский Моисей назвал мир книгой Бога (Исх. 32, 32-33), о книге жизни неоднократно говорится в «Откровении Иоанна Богослова». Книга как символ бытия присутствует и в художественной литературе, и не только напрямую, но и опосредованно, «подтекстово». Так, герой лермонтовского стихотворения «Пророк» читает в «очах людей» «страницы злобы и порока». «Безбрежная текстуализация» картины мира имеет свои резоны в философской онтологии (бытие как сотворенное высшей волей и изначально упорядоченное), но вряд ли она плодотворна в сфере частных наук.

В этой связи следует отметить, что важнейшей этико-эстетической единицей поэтического текста является концепт «Любовь».

Как известно, концепт является «результатом столкновения словарного значения слова с личным и народным опытом» (Д.С. Лихачев). В связи с этим считается правомерной дифференциация научного и обычного понимания и восприятия концепта любви.

В «Новейшем философском словаре» (1999) **любовь** — это: «глубокое индивидуально-избирательное интимное чувство, векторно направленное на свой предмет и объективизирующееся в самодостаточном стремлении к нему... Любовь выступает в качестве максимальной ценности и важнейшей детерминанты жизненной стратегии» (с. 384).

В словаре В. Даля (1999) дана дефиниция, характеризующаяся высокой коннотативностью и психологичностью, свойственными русскому национальному сознанию: **любовь** — «сильная к кому привязанность, начиная от склонности до страсти; сильное желание, хотение; избрание и предпочтение кого или чего по воле, волею (не рассудком), иногда и вовсе безотчетно и безрассудно» (т. 2, с. 222).

В семантике фразеологизмов (паремий и афоризмов), содержащих данный концепт, выделяются три уровня признаков: *дефиниционные семы* (термины С.Г. Воркачева), которые, как правило, совпадают с полной дефиницией; *энциклопедические признаки*, несущие избыточную информацию, и *имплицативные* (выводные) *признаки*, представляющие собой переформулировку дефиниционных признаков, их дополнение или логические выводы из них.

Исходя из этих положений, рассмотрим семантическую модель концепта любви. Дефиниционное ядро его составляют признаки центральности чувства любви в системе личностных ценностей субъекта, немотивированности выбора предмета любви, а также его уникальности. Эти признаки почти полностью присутствуют в русской паремиологии. Например: «Нет ценности супротив любви»; «Не дорог подарок, дорога любовь»; «Где любовь, там и Бог»; «Деньги — прах, одежда — тоже, а любовь всего дороже»; «Всякому своя милая хороша»; «Не по-хорошему мил, а по-милому хорош».

Имплицативная семантика концепта любви связана с «карикативным блоком», который включает заботу о любимом; помощь, поддержку, жертвенность,

прощение; снисходительность к слабостям и недостаткам объекта любви. Например: «Для милого дружка и сережка из уха»; «От того терплю, кого больше люблю»; «Милого побои недолго болят»; «Ради любимого и себя не жалко».

К энциклопедическим признакам концепта любви относятся: идеализация предмета любви («Любовь слепа»; «Любовь ни зги не видит»; «У любимого недостатков нет»); автономность, неподконтрольность данной ценности сознанию, рассудку и воле («Сердцу не прикажешь»; «Насильно мил не будешь»; «Любовь зла — полюбишь и козла»; «Любовь не милостыня: ее каждому не подашь»); представление о любви как о радости, наслаждении («С милым рай и в шалаше»; «С милым и годок покажется за часок»; «С милым и под елью найдешь келью»); представление о любви как о страдании («Где любовь, там и напасть»; «Любовь — крапива стрекучая»; «Милый не злодей, а иссушит до костей»); амбивалентность данного чувства («Любить тяжело, не любить тяжелее того»; «Не любить — горе, а влюбиться — вдвое»).

Дальнейшее исследование этого концепта позволит выявить этический и эстетический потенциал его содержания и воздействия.

#### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Барт Р. Текстовый анализ одной новеллы Эдгара По // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. — М., 1994.
2. Буянова Л.Ю. Языковая личность как текст: жизнь языка и язык жизни // Языковая личность: экспликация, восприятие и воздействие языка и речи: Монография. — Краснодар, 1999.
3. Гаспаров Б.М. Язык. Память. Образ. Лингвистика языкового существования. — М., 1996.
4. Гиндин С.И. Что такое текст и лингвистика текста // Аспекты изучения текста: Сб. науч. тр. — М., 1981.
5. Интервью с Жаком Деррида // Мировое древо. — М. — 1992. — № 1.
6. Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. — Таллинн, 1992. — Т. 1.
7. Тартуско-московская семиотическая школа глазами ее участников // Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. — М., 1994.

## ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИМЕНИ КОНЦЕПТА «РОДИНА» (по данным русских словарей)

И.И. Коган  
Н.В. Козловская  
Санкт-Петербург

Концепт РОДИНА относится к ключевым концептам русской культуры и входит в ядро национального языкового сознания. Указывая на этнолингвистическую природу концепта, А.П. Бабушкин пишет, что содержание этих ментальных сущностей определяется нормами бытования социума: «они представляют знания о внутреннем мире самого человека» (2, с. 36).

Концепт Родина интересен для анализа тем, что в его поле в течение XX века произошли некоторые изменения. Наряду с вечными, непреложными истинами, воплощенными в имени концепта еще с древнейшего синкретического восприятия мира, Родина в советское время начала стойко ассоциироваться с ценностями идеологического плана, основанными на знаниях и истинах, пропагандируемых в конкретном социуме. Произошло закономерное изменение концептуального поля, которое нашло отражение в отечественной лексикографии.

Ю.С. Степанов особое внимание обращает на внутреннюю форму концепта, запечатленную во внешней словесной форме его имени. Слово родина образовано от общеславянского корня \*ordъ (ст. слав. родъ) при помощи суффикса ин-а. Это слово связано чередованием гласных с церковнославянским редь и словенским rediti «кормить, растить». По данным «Этимологического словаря русского языка» Макса Фасмера слово род родственно литовскому *rasme* «урожай», латышскому *rads* «родственник, род», *rasms* «процветание, плодородие, урожай», *raza* «обильный урожай, многочисленная семья», древнеиндийскому *vradhant* «поднимающийся».

В русском языке РОДИНА — это прежде всего отечество, тогда как в других родственных языках развитие значения слова пошло другими путями: украинское «родина» и белорусское «родзина» обозначает «семья», болгарское «родина» — «место рождения», сербохорватское «родина» — «обилие плодов».

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля (далее Словарь Даля) слово РОДИНА входит в статью с заголовочным словом раждать: «Родина — родимая земля, чье место рождения, в обширном значении земля, государство, где кто родился, в тесном город, деревня». Здесь воплощается ментальное представление о родине как о месте рождения, о связи человека со своим родом. Это представление поддерживается многочисленными дериватами корня род: родить, рождение, родовой, родной, родимый. На основе иллюстративного материала, включенного в словарную статью «раждать», мы можем проанализировать и описать элементы «возможного мира», формируемого суммой пресуппозиций, в которые входят знания говорящих о мире и уровень их взаимопонимания.

В Словаре Даля преобладают ситуационные фраземы. В определении данного вида словарной иллюстрации мы опираемся на положение, выдвинутое С.Г. Ильенко, которая называет фраземами контексту-

альные компоненты информемы и выделяет два жанра фразем: номинационный и ситуационный (5, с. 8). Номинационный жанр представляет собой структурно-жанровую фразему в виде развернутой номинации: «Родовой дворянин», «Родовое поместье», «Родимая сторонка». Ситуационный жанр — это фраземы, репрезентирующие определенные ситуации. Они имеют как частный, так и обобщенный характер: «И кости по родине плачут», «Родима деревня краше Москвы», «Русский человек без рода не живет».

Для нашего исследования большой интерес представляют именно ситуационные фраземы, поскольку именно они отражают (как правило, в имплицитной форме) когнитивный прагматический компонент лексического значения слов, входящих в концептуальное поле родина. Этот компонент является типизированным (то есть социально закрепленным, единым для всех говорящих) элементом содержания значения, который в типовых речевых актах символизирует отношение говорящего к действительности, к содержанию сообщения и к адресату (см.: 8, с. 68).

В семантике имени концепта РОДИНА выявляется сильный и очевидный прагматический компонент, базирующийся на некоторых всеобщих знаниях о мире, непреложных истинах, общеизвестных представлениях. Родина, по Далю, — это родимая земля. Родимый — милый, сердечный, желанный, жадобный. Слова родимый и родной представлены в статье как синонимы, и оба могут употребляться в составе ласковых обращений, на что указывает помета ласкат. В формах родненький, родименький иллюкутивная цель выражена непосредственно: сама структура слов демонстрирует лексическую экспрессию.

Содержащиеся в иллюстративном материале Словаря Даля примеры показывают, что концепт РОДИНА в русском языковом сознании окрашен в очень светлые тона: представляющие его лексемы обычно употребляются в положительном, даже высоком контексте: «Он родимую землю зашитую в ладанке носит», «Родимая деревня краше Москвы».

В «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова (далее Словарь Ушакова) представлено два значения слова родина: «1. Отечество: страна, в которой человек родился и гражданином которой он состоит. 2. перен. Место возникновения чего-н». Второе, переносное значение отражает метафорический способ концептуализации действительности (Ср. синонимический ряд в «Словаре синонимов русского языка» З.Е. Александровой «родина, колыбель», также имеющий сильную метафорическую составляющую).

В эпоху, которую отразил Словарь Ушакова, культурный концепт РОДИНА получает дополнительные оттенки смысла, образующие идеологический компонент. Это явление связано с сильнейшим влиянием поли-



тического дискурса на структуру значений слов и находит свое отражение в специфическом иллюстративном материале. Идеологический прагматический компонент значения отражен в следующих ситуативных фраземах: «Весь советский народ любит свою социалистическую родину и защищает ее грудь от всех посягательств», «Советский Союз — вторая родина трудящихся и угнетенных всего мира». Как правило, это высокие, значимые для говорящих контексты, репрезентирующие несколько иное по сравнению с традиционным наполнение концептуального поля: социалистическая родина. Мы видим, что значительные изменения в советскую эпоху претерпевает прежде всего синтагматическое окружение имени концепта: родина социалистической революции, советская родина.

Таким образом, можно говорить о том, что в советское время на базе традиционного концепта РОДИНА, содержащего ярко выраженный когнитивный прагматический компонент, формируется новый концепт — советская Родина — с яркими идеологическими вкраплениями. Значимость этой ментальной сущности в эмоциональном плане для русских людей в советское время трудно переоценить. Главной пространственной единицей, репрезентирующей концепт, была Москва — «сердце мировой революции», «Советская родина», «социалистическое отечество» в русской языковой картине мира были противопоставлены «капиталистическим странам». Вокруг имени концепта формируется особая совокупность слов и значений, репрезентирующих ментальное образование РОДИНА как нечто священное, имеющее высочайшую ценность: не случайно люди были готовы героически погибнуть со словами «За нашу советскую родину». Измена родине представлялась самым страшным грехом; в настоящее время это представление, к сожалению, утрачено.

Можно сказать о том, что в советское время сформировался особый концепт, имя которого несет высокую, патетическую окраску: РОДИНА с большой буквы.

Эти предположения подтверждаются данными «Толкового словаря языка Совдепии» В.М. Мокиенко и Т.Г. Никитиной. В словарной статье к слову родина собраны идиомы и «крылатые слова», отражающие наполнение концепта в советское время. Помета патет. отражает особую значимость приведенных высказываний для русского языкового сознания: «Родина Ленина» (О Советском Союзе), «Родина социализма», «Советская родина».

Итак, в XX веке концепт РОДИНА приобретает двойственный характер: Родина с большой буквы, в высоком или патетическом смысле слова, (ср. данные «Русского ассоциативного словаря»: родина Октября, Москва, патриот, патриотизм, СССР), а также просто родина, т.е. место рождения (ср. в РАСе: моя, край, березка, березы, край родной, любимая, моя страна).

Интересна графическая репрезентация имени концепта родина в «Словаре современных цитат» К.В. Душенко. Высокое значение имени концепта здесь пишется с большой буквы: «Если Родина прикажет, если партия пошлет», «Они сражались за Родину», «Как невесту, Родину мы любим». В то же время возможно написание слова родина с маленькой буквы: «Не надо рая, дайте родину мою...», «Тула — родина моя!», «И родина щедро поила меня березовым соком...».

В настоящее время патетический и высокий характер имени концепта РОДИНА представляется нам постепенно утрачиваемым современным русским языком. Идеологические «наслоения» ментальной сущности РОДИНА вытесняются из современного употребления и прочно ассоциируются с советским прошлым.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Александрова З.А. Словарь синонимов русского языка. — М., 1975.
2. Бабушкин А.П. Типы концептов в лексико-фразеологической системе языка. — Воронеж, 1996.
3. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. — М., 1991.
4. Душенко К.В. Словарь современных цитат. — М., 1997.
5. Ильенко С.Г. О контекстуальном компоненте толкового словаря // Актуальные проблемы современной лексикологии. — СПб, 1997. — С. 5-10.
6. Караулов Ю.Н. и др. Русский ассоциативный словарь. М., 1994-1996. — Кн. 1-4.
7. Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Толковый словарь языка Совдепии. — СПб, 1998.
8. Складневская Г.Н. Прагматика и лексикография // Язык — система. Язык — текст. Язык — способность. — М., 1995. — С. 63-71.
9. Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. — М., 1996.
10. Фасмер Макс. Этимологический словарь русского языка. — СПб, 1996.

# VI. ЭТИКА МАСС-МЕДИА

- 1/ И. Корженевска-Берчинска / Варшава, Польша / **Синдром военизации в современном публицистическом дискурсе. Российское социополитическое пространство на фоне польской действительности**
- 2/ А.Б. Лихачева / Вильнюс, Литва / **К вопросу о языке современных масс-медиа: информационные и аналитические программы российского телевидения**
- 3/ Т.Д. Михайленко / Москва / **Реклама как комплексная семиотическая система современного социума**
- 4/ А. Григораш / Киев, Украина / **Социолингвистический аспект возникновения новой фразеологии общественно-политического характера**
- 5/ Т.В. Чернышова / Барнаул / **«Конфликтотенные» тексты как результат взаимодействия языкового и неязыкового в сфере газетной публицистики**
- 6/ Е.С. Попова / Екатеринбург / **Манипулятивная стратегия как средство гармонизации общения в рамках рекламного текста**

## СИНДРОМ ВОЕНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ. РОССИЙСКОЕ СОЦИОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО НА ФОНЕ ПОЛЬСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

И. Корженевска-  
Берчинска  
Варшава, Польша

Если мы употребляем в данном контексте термин «синдром», то следует подчеркнуть, что болезнь безграничного насилия, бесконечных конфликтов, вражда, сопутствует человечеству с древних времен, поражая его воображение все новыми, но вместе с тем предопределенными симптомами.<sup>1</sup> Аристотель ратовал за **человека общественного**, но наша мировая история подтверждает, скорее, реальность многих суждений Гоббса о **войне всех против всех**.

Равно в Советском Союзе после рокового 1985 года, как и в Польше после судьбоносного июня 1989 (первые с 1947 года честные выборы), свобода слова проявила себя, в первую очередь, в бесконечном клеймении коммунистического прошлого. Язык публицистики тех времен изобилует инвективными выражениями, негативными эмоциями, беспощадным и однозначным отречением от идеологии насильственного осчастливливания, большевистских методов правления и т.д., и т.п. Лишний раз мы наблюдаем, что свобода слова — это для многих также разрешение произвольно использовать и придумывать все новые однозначно негативные средства выражения.

Исчерпав полнейший арсенал вербальных способов клеймения, ненависти, вражды, мы все оказались в сфере «ожидającego и надеющегося затишья». Впереди маячил мифологический мир, исполненный веры в пришествие нового светлого будущего. Казалось, достаточно расправиться с ненавистным прошлым для того, чтобы оказаться в пространстве свободы, дарящей счастье и благополучие.

Однако чаемый демократический рай постепенно репрезентировался в очередную социальную утопию. Кстати, освобождение от этого, пожалуй, невозможно. В исполненном бесчисленных страданий мире вера в Град Китеж сопутствует не только россиянам. Это источник витальной силы, которая позволяет нам, смертным, пережить, которая рождает все новые потенциалы для осмысления нашего присутствия в мировом пространстве.

Тем не менее человеку свойственно стремление понять свой мир, в том числе, — причины разочарований, сплошного дискомфорта **переходного в неизвестность периода**.

Ситуация неопределенности в ожидании обещанного усиливает обычно агрессивность, и, следовательно, активизирует поиски виновников несвершений.

Трудно судить, насколько выборочное изучение публицистических текстов способствует возможности оценивать данную действительность. На основе многолетнего исследовательского опыта, однако, предполагаю, что они все-таки заключают в себе долю правды о реакциях человека из массы после переселения без его ведома в **новый дивный мир**.

Итак, определив для себя (на уровне эмоций) негативный характер уходящего режима, человек оказался в ситуации неизбежности делать выбор, опре-

делять свою судьбу, и шире, — новую систему ценностей, без которой мир становится шатким, неуютным, непонятным и неприязненным. Не приспособленный к такой деятельности, он растерянно оглядывается по сторонам. Недаром в российской публицистике постперестроечного времени на метафорическом уровне повторяется мотив ямы, бездны, пропасти, а параллельно — хронических заболеваний с их неисчислимыми симптомами.<sup>2</sup> Польские особенности того времени прекрасно характеризуют слова:

*Мы разрушили барьеры, отделявшие нас от Западной Европы, но безропотно соглашаемся на создание новых, которые суть недоверчивое или пренебрежительное отношение к любой «иности» (...). Процветает цинизм, зависть, трусость, вражда. — GW, 9.1.92.*

Оказавшись в духовном вакууме, человек ищет «виновников торжества». Равно в России, как и в Польше, зарождается антикоммунистическая кампания с целью выявить подлинных *врагов демократии* (т.е. — *народа*). Таким образом, нетрудно обособить феномен антикоммунизма, который пропагандируется с применением агрессивных и чело-веконенавистнических языковых средств.

### 1. Интоксикация общества вербальным насилием, или риторика антикоммунистичности

Воображению человека, десятилетиями обитающего в определенном миропорядке, нелегко расставаться с иллюзиями, тем более, если новый образ жизни, вернее, — его последствия, ассоциируются с памятью о якобы ушедшем в небытие режиме:

*Коммунизм опять трансформировался в призрак, а в нас оставил вполне непризрачное наследство — привычки, от которых так просто не избавишься. — МН, 1. 11. 92. Или: Похоже, некогда выпущенный гулять «призрак» вновь готов своим черным крылом накрыть Россию. — МН, 16. 1. 94. И еще ярче: Над Россией до сих пор витает призрак Сталина (...) Смертный яд в любой дозе смертелен — особенно для ослабленного организма. — ЛГ, 18. 10. 96. Не менее устрашающим оказывается символика магического света далекой звезды, который продолжает светить над нами (...) Не стало СССР, «погашена» КПСС, но их присутствие, свет и тени еще ощущается в стране. — Пр, 4. 1. 96.*

В польской концептосфере коммунизм оценивается как образец идеологизированного мышления и такой же категоризации мира, а декоммунизация — это понятие, дышащее ненавистью, жаждой мести, стремлением морально уничтожить «не наших». — Prz, 10. 9. 99. И здесь нормой становится «отречение», хотя это всегда процедура неоднозначная. Трансформации сознания изо дня в день невозможны; они, как правило, требуют длительных и болезненных переоценок. — Pol, 20. 5. 97. И еще: Создание новой право-антикоммунистической историографии есть свидетельство исторического склероза. — GW, 22. 3. 97. Польский и российский опыт в данной области обрамляет рефлексия: Любое святотатство, сжигание книг, «охо-

та на ведьм», то ли с левой, то ли с правой стороны, применяет аргумент защиты от профанации ценностей, причем, разрушая «старый» ценностный мир, не предлагает общеприемлемого нового. — Prz Tyg, 30. 4. 2001.

Симптоматичен факт, что в публицистическом дискурсе, особенно в российском, уже много лет развивается парадигма ментального большевизма, которая становится средством интерпретации нового миропорядка.

Метастазы коммунистической болезни выявляются прежде всего в стане власть имущих, то есть, т.н. демократов, если это слово в современном русском языке еще что-нибудь значит. Сурово оцениваются новые-старые приемы правящих, например:

азиатско-большевистский метод: укрепить личную власть, расширяя свое влияние на клановой основе, подбирая близких, зависимых, преданных. — НГ, 23. 3. 93; большевистские методы по принципу цель оправдывает средства — НГ, 9. 4. 93. Наши радикальные демократы, как и большевики, соблазняют души образом врага. — НГ, 7. 4. 94. И еще: большевистская беззащитная игра на уравнилельных страстях, на глухой ненависти к чужому богатству. Следует еще напомнить риторический вопрос-объяснение: Откуда взялись у нас демократам, если почти все мы прошли через «коммунистические университеты?» — Пр, 14. 4. 94. Таким образом, нормой становится приравнение «нового» стиля правления к большевизму, понимаемому как пустившие глубокие корни беспринципность, двоеличие, политический авантюризм и жажда насилия (...) это чудовищный многоликий оборотень, который готов принимать любой образ, исповедовать любую веру, только бы не расставаться с властью. — Ех, 20. 10. 94. Еще о властвующих демократах: На деле те же большевики, готовые мостить и уже мостящие дорогу в «цивилизованный мир» обреченными и не нужными этой «цивилизации» жизнями миллионов людей. — ЛГ, 20. 7. 97.

Итак, концепты «коммунизм» — «большевизм» становятся надежным инструментом осуждения властвующих и, одновременно, — подтверждением драмы сонма обездоленных, еще раз ограбленных.

Общество, совсем недавно ощутившее, что такое полифоничность слов и мнений, испытывает печально известные вредоносные состояния: наш плюрализм превращается в очередное единственно правильное учение. — НГ, 2. 4. 97. В этой связи репрезентативным можно считать мнение Н. Михалкова:

Нет у меня желанья зачеркивать жизнь предшествующих поколений, как это ныне принято у разных «разоблачителей». Это тот же большевизм, только иной раскраски. — Изв, 26. 1. 95.

Социополитическая обстановка, в которой превосходно чувствуют себя облачившиеся в белые одежды узурпаторы, выражается также посредством иронии:

Впору запеть, благо укладывается в привычный размер: «с песнями борясь и побеждая, наш народ за спикером идет». — Изв, 25. 9. 96. В той же стилистической манере выдержана и такого рода интерпретация: Уже пошли разговоры о «диктатуре», «сговоре коммунистов и чекистов», «возвращении коммунизма». В оборот вводятся давно не употреблявшиеся слова: разоблачить, уничтожить, ликвидировать. — МН, 30. 4. 2000.

Сопоставляя польские оценочные суждения с русскими, на-

до сказать, что приемы, особенно правых и костельных экстремистов, сугубо эмоциональны, часто агрессивны беззащитны. В Польше постепенный процесс расставания с коммунизмом начался уже в 1956 году и закончился мирным круглым столом в 1989. Это, однако, не успокоило разъяренных членовеконенавистников, которые вместо аргументов употребляют инвективные выражения в адрес не только коммунизма как идеи-утопии, но и коммунистов.

Антикоммунизм не может быть «моральной отмычкой» (...) всеобъемлющей моральной и политической категорией. — Pol, 7. 2. 98; Общество болеет, эта болезнь называется коммунистичность, избыток красных клеток в организме. — Nied, 5. 7. 94. Давайте разрешим людям беречь свою правду и корректировать ее самостоятельно (...), вместо того, чтобы угрожать, что тот, кто не признает нашу правду, тот против нас. — Pol, 3. 2. 96. Проблема расчета с коммунизмом — это также повод для размышлений над громадным конформизмом, который поспособствовал жизнедеятельности коммунистической диктатуры. — GW, 1. 4. 2000. Старая ложь заменена ложью антикоммунистов, рассчитывающихся таким путем с коммунизмом. — GW, 20. 6. 2000. И обобщающее суждение виднейшего диссидента: Если мы будем утверждать, что коммунизм есть воплощение дьявольской силы, то мы не сможем понять сути посткоммунистической эпохи. — Prz Tyg, 13. 2. 1995.

А антикоммунизм не оправдывает себя, так как дебаты о коммунизме становятся способом борьбы за власть с применением шантажа и дискриминации политического противника (3). — Pol, 1. 4. 2001.

## 2. Антропонимический погром новых лишенцев

Агрессивные тона, пожалуй, наиболее сильно звучат в новых именовании людей. Это чаще всего неологизмы, даже окказионализмы. С их помощью беспощадно клеймятся все «враги демократии», т.е. инакомыслящие, а также сомневающиеся. Функция этих номинаций сводится к безудержному оплевыванию всех, кто не сумел или не успел сделать очередной единственно правильный выбор.

Типология русских антропонимических единиц как существенного семантического элемента политического дискурса довольно сложна. В данном тексте нас интересуют те из них, которые служат средством эмоциональной оценки коммунистов как реальной социальной группы, а также «заблудившихся», подзреваемых в коммунистических симпатиях.

Целесообразным кажется представление хронологического списка употребления некоторых словарных единиц, обвинений в адрес коммунистов и «коммунистов»:

- 1) ретрограды (где-то с 1989 года),
- 2) новообращенные коммунисты (с 1990 года),
- 3) твердоголовые,
- 4) перебежчики (иначе — конформисты),
- 5) заединщики («за несокрушимое морально-политическое единство»),
- 6) шарики и швондеры (от них очень трудно освободиться),
- 7) преступная клика коммунистической номенклатуры (о путчистах из августа 1991 года),
- 8) небольшевики,

- 9) *недавние оруженосцы официальной идеологии (стоят у руля)* — конец 1991 года,
- 10) *коммутанты* (1992 год),
- 11) *неокоммунисты (стесняются слова «коммунизм»)*,
- 12) *проклятые коммуняки* (с 1993 года),
- 13) *разная коммунистическая сволочь*,
- 14) *вчерашние «глашатаи» коммунистической идеи* (с 1994 года),
- 15) *«бывшие» (коммунистическая номенклатура)*,
- 16) *бывшие вельможи КПСС (сегодня при власти)* — с 1995 года,
- 17) *бояре-коммунисты*,
- 18) *закостеневшая геронтократия* (члены бывшего ЦК КПСС),
- 19) *носители коммунистической идеологии (зюгановцы)* — с 1996 года,
- 20) *воинствующие геростраты неосталинского толка* (с 1997 года),
- 21) *«возвращенцы» в коммунизм* (с 1998 года),
- 22) *правительство консерваторов-коммунистов*,
- 23) *перевернувшаяся номенклатура* (при власти),
- 24) *проходимцы от коммунизма* (с 1999 года),
- 25) *наши коммунистические варвары* (обобщающая оценка) — с 2000 года,
- 26) *пришельцы из прошлого (сегодня процветающие)*,
- 27) *бывшие коммунистические лидеры* — с 2001 года.

Используя вышеприведенную нумерацию, мы попытаемся сделать некоторые выводы. Итак, цитированные инвективные номинации употребляются с целью дискредитации с опорой на отдельные пороки «врагов демократии». К ним относятся зашоренность и отсталость (1, 3, 5, 6, 18, 26, 27), конформизм (9, 10, 11, 14, 22, 26, 27, 9, 18, 23), пристрастие к насилию и непримиримость (7, 8, 10, 20). В арсенале антропонимов отмечается также наличие тех, которые порицаются согласно новой идеологической моде, а может, и унаследованному ритуалу клеймения политических противников, не стесняющихся в средствах (12, 15, 20, 24, 25).

Определения «бывшие» и «возвращенцы» (15, 21) ассоциируются с типичным явлением советской социополитической жизни. Ярлык «бывший» способствует выражению в первичном значении презрения к тем, кто оказался не нужен режиму. «Возвращенцы» в данном контексте — это слово, приобретающее новый смысл: те, кто ушли от коммунизма, но разочаровавшись в «демократических новшествах», вернулись к прежней конфессии.

Политизированное, болезненное сознание не чуждо также польской антикоммунистической действительности, причем тон клеймений и обвинений звучит особенно громко, когда к власти приходят правые. Целесообразно обратить также внимание на информацию, которая закодирована в «отмежевающихся» номинациях.

С 1992 года в публицистическом дискурсе функционируют антропонимы *настоящие (поляки, католики), католики — настоящие поляки*. Безусловно, их семантика отображает «правую ментальность» и в некоторой степени соответствует русскому фашизирующему: *чистокровные русские*.

Безэквивалентный, как правило, характер польских ан-

ропонимов заставляет прибегать к описательным объяснениям:

*псевдокатолики* (введено в 1997 году польскими костельными экстремистами с целью обличать «не так верующих»);

*патриоты-профессионалы* (обо всех, кто считает себя носителем любого «единственно правильного учения»);

*католики-моисеи* (пренебрежительный эвфемизм, определявший крестившихся «незаконно» польских евреев, которые оказались в высших эшелонах власти, начиная с 1989 года);

*бандитская жидокоммуна* (то же значение, выдающее некоторый моральный уровень ультранационалистов); *польскоязычные туземцы* (примерно то же, что в российской публицистике определяется как *русскоязычные*);

*заслуженные шабнсгеи-рenegаты* (об «изменниках» в эшелонах власти, симпатизирующих полякам еврейского происхождения; классификация «по пятому пункту»);

*криптомасоны* (так говорят правые обо всех, «кто не с нами», т.е. с *настоящими поляками, католиками*).

*коварные враги поляков* («настоящие поляки» обо всех других);

*некрещеный* (пренебрежительно, о польском президенте еврейского происхождения),

*комухи* (сугубо презрительно, в значении, близком к «коммунякам»; польский суффикс «-ух-» придает этой номинации пренебрежительный оттенок);

*красные тараканы коммуны* (о польских «коммунистах» и посткоммунистах; в польской культуре переносное значение слова «таракан» выражает полное презрение, примерно соответствующее русскому «тварь»);

*«красные пауки»* (эти слова «правая сторона» в Парламенте адресует «левым»,

*наследники духа «черной сотни»* (формулировка вполне соответствующая однозвучному русскому словосочетанию, которая адресуется польскими политиками совершенно невпопад; ее можно воспринимать как сигнал бессилия и отсутствия аргументов или просто нежелания разговаривать);

*неоязычники* (католический высший иерарх с полным пренебрежением к своим ближним, которым чужда католическая конфессия);

*дворняшки* (он же о части народонаселения с «левыми» взглядами; с помощью этих двух ругательств костельные фундаменталисты поругивают свою паству, пытаясь заодно обидеть тех, чей кругозор не ограничен ни католическими, ни польскими стенами);

*безбожные, сатанистские левые* (употребляется с целью внушать, что атеистичность равнозначна всевозможным моральным порокам);

*антикоммунисты последнего момента* (о приспособленцах, которые успели вовремя отречься от своего прошлого);

*фарисеи* (употребляется бесцеремонно и в польском политическом пространстве, причем, и правыми, и левыми).

Нетрудно заметить, что по степени насыщенности агрессией польские антропонимы не уступают русским. Можно даже сказать, что заряд яда ненависти здесь мощнее. Как ни странно, это можно объяснить, по всей вероятности, моральным обликом влиятельного крыла польского католического Кос-

тела. В период притеснений он играл в нашей жизни главную роль, морально поддерживая народ, и был объектом наивысшего уважения даже среди атеистов. После победы превалируют голоса непримиримых; отсюда — нетолерантность, жажда мести, ненависть к идейным противникам. Крупный мыслитель ксендз проф. И. Тишнер называет эту ситуацию «диктатурой благонравных».<sup>4</sup> В нашем обществе ощущается опасность, вызванная агрессивностью тех, кто злоупотребляет понятиями «справедливость», «любовь к ближним», «уважение к инакомыслящим». Эскалация агрессивности и слепящей ненависти, к сожалению, продолжается, что легко заметить, изучая содержание любых политических дебатов. Один из социологов определяет пространство польского диалога таким образом:

*В современной Польше публичную жизнь раздирают страсти, все повышается уровень партийной непримиримости, все труднее проходит обмен мнениями, возможность договориться, подчинение личностных амбиций партийным интересам, общенациональным целям. —* *Pol*, 15. 3. 2001.

И в Польше, и в России зло персонифицируется в образе «чужого». Следует напомнить, что классификация мира по критериям «мы» vs «они» извечна.<sup>5</sup> Дело в том, кто «они» и насколько негативные эмоции определяют наше «к ним» отношение. Польскую спе-

цифику предопределяет еще динамичный сюжет противостояния между экстремистским крылом католического костела и теми, кто не признает их мировидения.

Ненависть, нетерпимость, в лучшем случае — взаимное нерасположение, образуют синдром вражды «живой как жизнь». Он же управляет деятельностью, также — вербальной — прежде всего новых вершителей судеб, держащих «факел прогресса», который просвечивает сквозь занавес «злых слов», нацеленных на «не наших».

Если следовать мысли З. Фрейда, то вспоминаем, что человеку не избавиться от агрессивных, разрушительных инстинктов. Открытым остается вопрос, как именно воспитывать в себе терпимость как противоядие злу, как залог готовности понимать позиции противоположной (не вражеской) стороны?

Полезным кажется прислушаться к голосам признанных гуманистов. Вспомним хотя бы парадокс К. Поппера, согласно которому, наш космос — это некоторая константа, состоящая из добра и зла, а совершенствоваться его можно лишь в случае, если мы отказываемся от его усовершенствования (6). Прочитанное выявляет также непреложную истину, что никто не может приказать другому быть счастливым и довольным, согласно «последней моде» или своим утопическим идеям.

## ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| ЛГ      | — «Литературная газета». |
| МН      | — «Московские новости».  |
| НГ      | — «Независимая газета».  |
| Пр      | — «Правда».              |
| Ex      | — «Megapolis express».   |
| GW      | — «Gazeta Wyborcza».     |
| Niedz   | — «Niedziela».           |
| Pol     | — «Polityka».            |
| Prz     | — «Przegląd».            |
| Prz Tyg | — «Przegląd Tygodniowy». |

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. О насилии и агрессивности как о разрушительных извечных инстинктах см.: 4.
2. На эту тему см., например: 5, 2.
3. Превосходный анализ польской специфики расставания с коммунизмом мы находим в трудах А. Валицкого, см., например: 7.
4. См. также: 3.
5. Сравни: «Свои» vs «чужие» как конструкт российского мироощущения» (вторая глава в: 1, с. 33-44).

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Коженевска-Берчинска И. Образ человека в континууме публицистики. — Olsztyn, 2001.
2. Коженевска-Берчинска И. Метафорические словосочетания как конструкт новаций в языковой картине мира российского человека // Научный вестник Волынского державного университета ім. Л. Украинки. Філологічні науки. — 2000. — № 6. — С. 23-26.
3. Коженевска-Берчинска И. Нужна ли человеку свобода? О мире ценностей А. Меня и И. Тишнера // Белорусско-русско-польское сравнительное языкознание и литературоведение. — Витебск, 1997. — С. 247-251.
4. Фрейд З. Будущее одной иллюзии // Сумерки богов. — М., 1990. — С. 94-142.
5. Korzeniewska-Berczynska J. Metafora cierpienia-choroby-patologii w językowym obrazie świata Rosjan. Na podstawie publicystyki współczesnej // Podejście kognitywne w lingwistyce, translatoryce i dydaktyce. — Warszawa, 1997. — С. 39-48.
6. Popper K. Utopia i przemoc // Znak. — 1978. — № 1. — С. 17-30.
7. Walicki A. Polskie zmagania z wolnością. — Krakow, 2000.

## К ВОПРОСУ О ЯЗЫКЕ СОВРЕМЕННЫХ МАСС-МЕДИА: ИНФОРМАЦИОННЫЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

А.Б. Лихачева  
Вильнюс, Литва

Вряд ли у кого-нибудь из исследователей нынешних языковых процессов вызывает сомнение тот факт, что в 90-е гг. XX века языковые пристрастия российского социума трансформировались и развивались под влиянием текстов средств массовой информации. Тем не менее, в работах, посвященных факторам, определяющим особенности современной лингвокультуры, как мне представляется, не уделяется достаточного внимания не только информационному телетексту, но и телеречи вообще. Это, возможно, происходит в силу эфемерной сиюминутности самого объекта исследования. Между тем, кажется очевидным, что в течение последнего десятилетия формирование общественного сознания и языкового, в частности, прошло под знаком Телевидения. Исследователи, описывающие перемены в языке и речи конца XX века, констатируют, что письменные тексты перестают (или уже перестали) быть фундаментом литературной нормы, а «сфера, называемая литературным языком, изменилась в своих важнейших показателях — кроме нормы — в самом отношении к литературе как объему опорных текстов. <...> включаются и увеличиваются пространства массовой информации, как письменной, так и устной» (17, с. 226); «Под давлением экстралингвистических обстоятельств литературный язык во все большей степени испытывает на себе влияние такого мощного и даже агрессивного партнера, как разговорный язык, имеющего более прочные корни в языковом сознании социума. <...> Язык произведений художественной литературы во все большей степени утрачивает роль нормотворческого фактора <...>, уступая место узусу медиальных средств, причем прежде всего **устных**» (11, с. 211). И еще более категоричный вывод: «Влияние звучащих средств массовой информации на языковые процессы трудно переоценить. <...> Средства массовой информации способны как формировать общественное сознание, так и деформировать его» (6, с. 3).

Во «Введении» к «Толковому словарю русского языка конца XX века» Г.И. Складневская отмечает, что языковое сознание сегодняшнего русскоязычного социума отражает и воспринимает языковые изменения, сопровождающие общественные и психологические катаклизмы нашего времени. К числу таких языковых изменений относятся, с одной стороны, нестабильность, открытость русской лексической системы и ее освобождение от идеологических штампов и клише советского времени, а с другой — «лавинообразность», избыточность словообразования, семантические сдвиги и стремительное расширение сочетаемости слов, удовлетворение потребности в экспрессивном описании жизненных реалий за счет периферийных участников лексической системы (16, с. 5-10).

В данной работе я предполагаю описать те языковые феномены нынешней телепублицистики (в жанре

информационных и аналитических программ), которые, по моему предположению, способны оказывать воздействие на языковое сознание их реципиентов (подробнее об этом см.: 7).

Эпоху, когда экран был рупором санкционированной информации, во второй половине 80-х гг. сменила перестройка, в корне изменившая и эфирную продукцию. «Эру гласности первыми ощутили читатели периодики. «Читать стало интересней, чем жить». Фраза Жванецкого стала крылатой. <...> Но не прошло и года, как революция захватила экран <...> Оказалось, что смотреть еще интереснее, чем читать» (9, с. 18-19). Таким же образом оценивает ситуацию А. Солженицын: «В наш век... чтение сшибается телевидением» (интервью программе «Вести», РТР, 14.09.2001). Причем характерно, что для российской телеаудитории, по данным социологических опросов, самым привлекательным тележанром были и остаются новостные и информационно-аналитические передачи. Замеры, регулярно проводимые газетой «Аргументы и факты» (далее — АиФ), говорят о стабильно высоком интересе российской телеаудитории к политической информации и о том, что в России рейтинг информационных программ несопоставим с их рейтингом на Западе. На вопрос о том, что прежде всего должно делать телевидение, 57% российских телезрителей отвечают: информировать (АиФ, 2000). Вообще, я разделяю точку зрения, согласно которой «телевидение прямо и непосредственно связано с нами через информационные программы, т.е. через выпуски новостей...» (8, с. 18). Действительно, у новостных и информационно-аналитических передач наиболее широкая, можно сказать — всенародная аудитория, по сравнению с телепродукцией, представляющей интерес для более узких категорий зрителей.

Многочисленны видеозаписи передач информационно-аналитического жанра основных каналов российского телевидения за период с начала 1997 до апреля 2002 г.: «Время» и выпуски новостей на ОРТ (далее — ОРТ), «Вести» и «Зеркало» на РТР (далее — РТР), «Сегодня» и «Итоги» на первом, «киселевском» НТВ (далее — НТВ), выпуски новостей ТСН, «Сейчас» и «Итоги» 2001 г. на ТВ-6, а также «События» канала ТВ Центр (далее — ТВ-6 и ТВЦ).

В ходе систематического анализа материала названных программ во мне созрела уверенность в том, что не столько **показываемые** в новостях и аналитических программах события и факты, сколько **способы их языкового представления** обеспечивают в течение последнего десятилетия стойкую привязанность российского социума к жанру информационной телепублицистики. Маркером актуальности сюжетов из современной российской или зарубежной действительности во многих случаях выступает нетривиальность языковых средств, избираемых для телекомментария. Эти способы выделения репортажа из ряда других

действенны на фоне нейтральных в отношении языка сюжетов. Реципиенты звучащей прессы привычно ожидают: **что** сегодня станет объектом «особого взгляда», **каким текстом** будет декорирована телекартинка?

Если в советские годы язык телеинформации был гарантом и свидетельством успешной стабильности социально-политической системы, то в более поздний период он сначала с готовностью стал отражением, а потом и важнейшим провоцирующим инструментом общественного переустройства. Истертый, изношенный за тридцатилетнее существование официально-ритуального телевидения, язык информационных телепрограмм по обе стороны малого экрана более чем когда-либо стал ощущаться как действующий элемент меняющейся социальной матрицы.

До последнего десятилетия XX века российская информационная публицистика (и печатная, и звуковая) и художественная литература уживались в целом по принципу «дополнительной дистрибуции», их интересовали разные аспекты действительности: первую — факты, вторую — формы. Такое положение дел декларировалось, однако, как отмечает исследователь проблем документального телевидения С. Муратов, «номенклатурное телевидение породило особый вид теленовостей — информацию, независимую от фактов, которым запрещалось противоречить передовому мировоззрению. А если они все же противоречили, то тем хуже для фактов — они оставались за кадром» (9, с. 13).

Превращаясь в часть механизма реального переустройства общества, телевидение с начала 90-х стало менять свой имидж: на смену выхолощенной официальной риторике пришла политика персонализации информации, что влекло за собой неудержимое очеловечивание телеречи. Аудиторию поражала перемена речевого поведения новостных ведущих и репортеров: естественное интонирование, некоторая орфоэпическая неряшливость, свойственная спонтанной речи, свобода в выборе языковых средств. Зарождение новой стилистики информационных программ произошло в сентябре 1989 г. с выходом программ Телевизионной службы новостей (ТСН) на 1-ом канале (через 19 месяцев программа была закрыта, но по прошествии нескольких лет аббревиатуру ТСН позаимствовал канал ТВ6), в 1991 г. на РТР появились «Вести», в начале 1992 г. — «Итоги», позже — «Подробности», а затем «Зеркало». Однако можно указать время особенно заметного, явного всплеска либерализации языка информационных, и в первую очередь — аналитических программ: это вторая половина 1996 г. Последним «сдальсь» консервативное «Время». Многие, наверное, испытали нечто вроде шока в августе 1997 г., услышав, как многолетний корреспондент этой программы произнесла: *государство потеряло кучу денег!*<sup>1</sup>

Забегая вперед, отмечу, что, по моим наблюдениям, в течение последних полутора лет происходит возврат если не к ритуально заданным информационным программам, то к их значительной деперсонализации. Такое же впечатление складывается у са-

мих телеработников. Сравни слова из интервью с известной ведущей теленовостей С. Сорокиной: «... в последнее время выделились два подхода к информационным программам. Первый — это глубоко государственный: когда с каменными лицами зачитывается официоз, подача максимально обезличенная, если поменять одного ведущего на другого, ничего не изменится. А есть профессиональный подход — когда в первую очередь делается акцент на том, что сейчас действительно важно и значимо, а официоз пускают только тогда, когда он уместен. К сожалению, в последнее время преобладает именно официоз» (АиФ, 2001). Ускользающие из информационного эфира личностные интонации отмечают и телекритики: «Хочется и нового порядка сюжетов — по степени интересности, а не государственной важности. И слов человеческих. И юмора, но не в строго юмористической программе» (АиФ, 2001).

Однако, несмотря на периодические стилистические колебания, новостные и информационно-аналитические программы последнего десятилетия обладают в большей или меньшей степени выраженной языковой спецификой, которая отличает их от подобных передач хронологически предшествующего периода. Кратко эту специфику можно охарактеризовать как **изменение норм экранного речевого поведения и представлений о речевой эстетике звучащего в эфире текста.**

Происходящий в настоящее время дрейф телевизионной речи в сторону живой разговорной стихии обусловливается взаимопроницаемостью ядерных и периферийных пластов лексики, притяжением устным литературным языком других, устных же феноменов современного русского языка: обиходно-разговорного языка, просторечия, жаргонов. По словам Г. Нешименко, «благодаря электронным СМИ устный литературный язык **впервые** обретает **общезначимый** статус. Именно он ныне оказывает наибольшее влияние на современную речевую культуру. <...> являясь устным феноменом, он более тесно взаимодействует со всеми устными идиомами этнического языка» (11, с. 212).

Думается, те языковые процессы, которые наблюдаются всеми исследователями языка звучащих масс-медиа, а под значительным влиянием СМИ — в русском языке в целом, можно было бы обозначить как **стилевую аттракцию**. Смена письменно-литературно-ориентированной функциональной доминанты на устно-ориентированную в современной эфирной коммуникации выражается в общем изменении модальности телевизионной речи. «Разжижение общественно-политического императива», «нарушение зоны речемыслительной константности» (17, с. 148, с. 146; см. об этом же: 3, с. 13) в информационном вещании последних лет обеспечивает степень экспрессии, которая до недавнего времени была чрезмерной не только для программ информационно-аналитического жанра, но и для экранной речи в целом. Обозначенное явление проявляется в первую очередь в усилении роли аксиологических ресурсов языка. Телекомментарии отмечены следующими чертами:



1. Подчеркнуто оценочные определения, ср.: *заскорюзлая страна* (РТР); *наш незадачливый министр иностранных дел* (НТВ); *власти повели себя поразительно топорно* (НТВ); *вот еще одна потрясающая подробность...* (ТВ6); *Чубайс объяснил настырной прессе* (НТВ); *партийная судьба непослушного спикера* (ТВЦ); *высокомерный валютный фонд* (РТР); *хитроумная драка за власть* (ТВ6).

2. Стилистически сниженные глаголы, ср.: *лидер палестинцев больше не сможет влиять* (ОРТ); *хотя бы приструнить слишком самостоятельных журналистов* (РТР), *Жириновский засуетился: ему надо протолкнуть своих во что бы то ни стало* (ТВ6); *граждане России продолжают скидываться на благополучие банков* (ОРТ); *потрафить вкусам высокого гостя* (НТВ); *отказаться от кондовых критериев патриотизма* (РТР); *часть белорусских властей вляпалась в серьезную проблему* (ОРТ); *каждое событие этой недели норовит что-нибудь собой символизировать* (ТВ6).

3. Стилистически нейтральные глаголы, относящиеся, однако, к обиходной сфере употребления, в контекстах, актуализирующих их коннотативные приращения, ср.:

*депутаты Государственной Думы стали активно капризничать* (РТР); *Виктор Геращенко рассердился и обескуражил журналистов вопросом: «Вы за страну или за народ?»* (ОРТ); *Думское большинство не хочет Чернобырдина, а несколько месяцев назад Дума любила Виктора Степановича* (РТР); *(об отношениях России и США) потанцуем вдвоем: ты и я* (РТР); *коммунисты обиделись и решили проучить товарища по партии* (ТВЦ); *всякая попытка Думы обидеться на президента... будет выглядеть как желание помахать кулаками после драки* (РТР).

Так в информационном теледискурсе возникают высказывания стимулирующего типа, апеллирующие к потенциально диалогической реакции реципиента: его согласию или несогласию с мнением тележурналиста. Эксплицирование внутреннего состояния политиков (рассерженности, влечения, обиды) сопровождается иронией говорящего. Чаще всего используется глагол обидеться, называющий двухполюсную эмоцию — «жалость к себе и претензию к другому» (5, с. 103). Эта эмоция «связана с ощущением несправедливости» в свой адрес (там же, с. 105), является специфичной именно для русской языковой картины мира и не обладает переводными эквивалентами в западноевропейских языках» (там же, с. 101). Интересно в связи с этим отметить, что тележурналисты обнаруживают обидчивость у категории политиков, провозглашающих себя истинными патриотами: согласно информационным телетекстам, такое внутреннее состояние наиболее характерно для представителей «красно-розовой» части политического спектра страны.

Эмоция обиды как предсказуемое следствие описываемой в телекомментарии ситуации имплицитно присутствует и в других типах примеров:

*сегодня осколки некогда многомиллионной КПСС собрались в Москве* (ОРТ); (о словах депутата-коммуниста) *доводы были простые и жизнеутверждающие: «Мы выросли под слова этого гимна и должны умереть под него». Желание депутата умереть непременно под музыку Алек-*

*сандрова не вызвало желаемого ответного отклика депутатов* (РТР); (о первомайской демонстрации) *похоже, коммунисты зря сотрясали воздух* (ТВЦ); *коммунисты недовольны... , что река Волга не хочет идти налево и продолжает антинародно впадать в Каспийское море* (РТР); (о смене эпох) *очереди в «Макдональдс» стали длиннее очереди в Мавзолей* (ТВ6); *Президент обыграл коммунистов на их же поле* (ОРТ).

4. Ненормативная лексика, ср.:

*талибан настолько достал таджикский народ* (РТР); *атмосфера компроматного слива* (РТР); *банки кинули миллионы вкладчиков* (НТВ); *дает дуба нашумевший план... «Транскаспия»* (РТР); *вся политическая братва уже конкретно стартует в направлении парламентских выборов* (РТР); *президент обещал не сдавать своего премьера* (НТВ); *НАТО застенчиво: «Фиг его знает!» — на этом диалог прерывается* (РТР); *страна подседа на сырьевую иглу* (РТР).

Экспансию лексики маргиналов в информационный текст телекомментаторы объяснили еще в 1997 г. следующим образом:

*Из фильма «Джентльмены удачи», из уст любимого Леонова по стране пошли некоторые слова и выражения, на которых и раньше говорил ГУЛАГ, но которые никогда не попадали в язык всего общества... С тех пор сделан большой шаг вперед. Угловатый брежневский новояз обогатился феней... Народ и мафия едины... Мы уже говорим на языке «братвы». Значит, мы уже живем по этим законам...» (НТВ).*

Опору на штампованные речения советского времени Е.А. Земская, на мой взгляд, очень удачно назвала «рефлексами новояза», что подчеркивает одновременно и обветшалось, и актуальность их в российском языковом сознании, поскольку неактуальные тексты не способны быть предметом языкового обыгрывания. «Пародирование, вышучивание, травестирование официальной фразеологии, лозунгов, призывов, всем известных цитат, названий марксистско-ленинских статей и книг — одно из самых частых средств выразительности в современной публицистике. Текст сугубо официальный, идеологически нагруженный, известный всем деформируется вставкой элементов иных тематических пластов, иной идеологической ориентации и приобретает пародийное звучание» (15, с. 22). В этом проявляется освобождение нынешнего медийного узуса от идеологического балласта в виде «однопартийных» речевых формул, ср.:

*социализм с человеческим лицом в кепке* (ОРТ); *О каком же таком большом коммунистическом деле так долго говорили в особняке?* (НТВ); *коммунизм в отдельно взятом доме... жители — поглощения четвертого сна Веры Павловны* (НТВ); *В России бродит призрак топливного кризиса* (РТР); *желание припасть к ленинскому первоисточнику все меньше* (ОРТ); *Дело Шарикова живет* (РТР); *Пришла весна, пора перечитывать первоисточники* (НТВ); *место, где Владимир Ильич и Надежда Константиновна из искры возжигали пламя* (ОРТ); *Теперь в моде высокий партийный стиль и аплодисменты, переходящие в овации* (НТВ); *Сегодня оружие пролетариата вовсе не булыжник, а лопата и грабли* (ОРТ); (о начале садово-огородного сезона) *Для садоводов сейчас куется светлое будущее* (ОРТ); *В этот раз не будет работать формула*

«друг Владимир — друг Буш» (РТР); (об отношении населения к 1-ому Мая) в едином порыве отдыха участвовали представители почти всех национальностей (ТВЦ).

О культурно-речевом стиле времени, о языковом дизайне жизни определенного поколения во многом можно судить по тому, какие словесные обороты приживаются в обществе, воспроизводятся им — буквально или в переработанном виде. Думаю, что в высшей мере показательной в этом отношении является речевая практика наиболее потребляемого средства массовой информации — телевидения. Общеизвестные литературные и киноцитаты, афоризмы, пословицы, фразы из песен, рекламных клипов, т.е. все то, что может быть включено в понятие «прецедентные тексты» (это тексты, отражающие комплекс ядерных элементов когнитивной базы русского лингвокультурного сообщества — см., напр.: 2, с. 19; 4, с. 137), востребованы не только в передачах с развлекательным уклоном, но и в информационно-аналитических программах. Можно выделить несколько типов обращения к прецедентным текстам в информационном дискурсе:

1. Воспроизведение фрагмента из классического литературного источника или отсылка к нему:

Премьер в России — больше, чем премьер (ОРТ); Демарш региональных лидеров... некоторые газеты уже окрестили губернаторским бунтом. Даже если это так, то бунт пока еще не выглядит жестоким, хотя многим он уже и кажется бессмысленным (НТВ); блеск и нищета Якутии (РТР); Все смешалось в странах СНГ (ОРТ); Валентина Матвиенко сможет побороться за симпатии пролетариата, дыша духами и туманами (РТР); (об установке новых пушек в Петропавловской крепости) Помните: «Пушки с пристани палят, Кораблю пристать велят»? (ТВЦ); Американская трагедия, которая изменила мир (РТР); Все это было бы смешно, когда бы не было так (НТВ).

2. Использование фразеологизма в оригинальном, усеченном или перефразированном виде:

выбирать между мэрской синицей и президентским журавлем (РТР); Все правительства ходят под Богом и конституцией (РТР); иностранцы к нам придут не с мечом, а с инвестициями (ТВЦ); (о погроме в Москве) этих парней можно обвинить по статье за хулиганство, но это значит — прятать голову в песок (РТР); миллионы россиян остались у разбитого корыта (НТВ); талибы, между тем, не сидят сложа руки (ТВ6); чеченская карта... начинает жечь руки и должна быть сброшена (РТР); Запад собирается держать Россию на довольно коротком поводке (НТВ); соратники решили выбить его из партийного седла (ТВЦ); Бог полагает, а правительство располагает. Но выясняется, что правительству располагать-то особенно нечем (РТР); масла в огонь подливает Гортранс (ОРТ); это вовсе не значит, что милиция начала охоту на ведьм (ТВЦ); Мы легки на подъем: что ни день, то начало новой эпохи (НТВ); Когда большое государство ругает маленькую Думу, она резонно отвечает: нечего на зеркало пенять, сами выбирали (ТВ6).

Обращение к цитатам из литературной классики, к традиционной фразеологии все чаще перебивается манипуляциями с собственно экранными феноменами: рекламными текстами, явлениями массовой культуры, отсылками к анекдотам, так называемо-

му политическому фольклору — фразам, впервые прозвучавшим в телеинтервью и подхваченным телевидением, и т.п., к известным кино- и телефильмам, ср.:

Российский чиновник, как в хорошем триллере, похищен прямо с борта самолета (РТР); акции правоохранительных органов, которые уже получили название «Маскишоу» (НТВ); Зюганов и Березовский, как хлеб и «Рама», созданы друг для друга (РТР); в Кремле бизнесменам просто утрут сопли и поменяют памперсы (НТВ); В оппозиции стало скучно: ноль перспектив и, что немаловажно, ноль калорий (повторяется жест из рекламы «Пепси») (РТР); (о цикле репортажей) мы продолжаем сериал про «Онэксим» (ОРТ); нескончаемый и тоскливый, как плохая мыльная опера, роман между Кремлем и московским руководством (РТР); Хотели как лучше, а вышло даже хуже, чем всегда (РТР); Как поется в песне: «Не страшны дурные вести — мы в ответ бежим на месте» (ТВ6); Тихо в Шанхае, только не спит мой коллега (РТР); (о сокращении армии — звучит начало песни) Как хорошо быть генералом! (ОРТ).

Возможность компактного определения специфики российской социально-политической жизни сделали названия многократно показанных телевидением кинофильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки» лидерами в плане прецедентности, ср.:

особенности национальной охоты на избирателя (ОРТ); особенности национальной охоты за кремлевским креслом (НТВ); особенности национальной системы правосудия (ОРТ); особенности национальной встречи Нового года: сотовый Дед Мороз... идеологический Дед Мороз — отечественный; наш Дед Мороз — наш ответ Западу и его агенту Санта-Клаусу (НТВ); особенности национальной внутренней политики (РТР); новые примеры национальных особенностей российской предвыборной борьбы (НТВ).

Иронизирование по поводу собственного менталитета присутствует и в многочисленных примерах, содержащих аллюзии с автостереотипом, существующим в массовом сознании русских, ср.:

Самый популярный вид спорта в России — забег впереди паровоза (РТР); наша наследственная игра в слова (РТР); Теперь его собственные решения... его догнали и бьют по затылку. Но поскольку мы живем не в Австралии, логично предположить, что это не бумеранг, это грабли (НТВ); забывчивость власти проявляется в том, что она забывает уроки истории, в который раз наступает на грабли (НТВ); народно-политическая забава — президентские гонки (ТВ6); забытая национальная забава: игра наперегонки с ценами (НТВ); фарсовый характер нашей отечественной политики (ТВ6); наша родная византийская традиция (ТВЦ); Маслюков объяснил Западу, что в России дважды два не всегда четыре, чем подтвердил мнение поэта по поводу того, что умом Россию не понять... Какая все-таки математическая система применима к России, если общепризнанная таблица умножения здесь не действует? (РТР); О дураках мы говорим постоянно... Самое время вспомнить о дорогах... В России к дорогам отношение и презрительное, и восторженное: они, мол, так скверны, как только у нас может быть! Ухабы и ямы — это ведь тоже частичка Родины (НТВ). Размышляя о причинах активного употребления рече-

вых стереотипов (идиом, клише, «крылатых слов», популярных цитат и др.), Т.М. Николаева приходит к выводу о психологической значимости «критерия оценки по перцептивной и продуктивной маркированности. А именно — говорящий употребляет этот фрагмент как **чужую речь** и сам это ощущает, и это же ощущает слушающий» (12, с. 253). «... При понимании источника «чужого слова» и верном ощущении этого инкрустированного чужого речения семантическая емкость коммуникации стремительно увеличивается» (там же, с. 256).

Метафора как инструмент образного и лаконичного высвечивания явлений окружающей действительности, а также формирования нового представления о ней, занимает существенное место в теледискурсе. «С когнитивной точки зрения процессы метафоризации — это специфические операции над знаниями, часто приводящие к изменению онтологического статуса знания (неизвестное становится известным, а известное — совершенно новым и т. п.). Фактически происходит «наведение» новой категории на действительность или ее отдельные фрагменты. Здесь возможны два основных варианта. В первом случае метафора приводит к декатегоризации — старая категориальная сетка разрушается, возникают черты новой, которые совершенно изменяют стандартное представление о фрагменте действительности. <...> Во втором типе употреблений функция метафоры заключается в категоризации еще не структурированного концепта, исходно воспринимающегося как довольно абстрактная сущность, плохо поддающаяся рациональному осмыслению» (3, с. 185).

Общий фонд метафор, используемых в последние годы, во многом изменился по сравнению с тем, что было выявлено при составлении «Словаря русских политических метафор» 1994 г. издания (там обработаны контексты за период с 1986 по 1993 гг.). В данной статье я остановлюсь лишь на тех метафорических моделях, которые в последние годы получили новое речевое воплощение, либо вообще не зафиксированы в указанном словаре. Вслед за авторами словаря, А.Н. Барановым и Ю.Н. Карауловым (см.: 2, с. 15), я исхожу из того, что метафорическая модель — это результат наивной, естественной, а не научной категоризации окружающей действительности. Имя метафорической модели дает слово, состоящее в гиперонимических отношениях со словами, представляющими элементы ее понятийной области.

Стилистически стертыми и менее актуальными, чем в ранние перестроечные годы, становятся военная метафора, метафоры механизма, строения и примыкающая к ней метафора ремонта, метафоры транспорта и дороги (эти модели описаны в «Словаре русских политических метафор»). А вот как менялась метафорическая палитра последнего пятилетия:

**1.** Особую популярность в телеречи 1997-99 гг., т.е. в допутинский период, в силу понятных причин приобрела медицинская метафора (включающая значения 'болезнь', 'лечение', 'гигиена'), ср.:

*политическая импотенция (РТР); вменяемость власти*

*(ОРТ); маниакальное оборонное сознание (НТВ); пока ему (Кириенко) удастся добиваться своего в Думе, при этом соблюдая гигиенически необходимую дистанцию (РТР); полулежачий фондовый рынок (ОРТ); быстродействующие лекарства — кредиты МВФ (ОРТ); реформы получились инвалидные (НТВ); генпрокуратуру опять лихорадит (НТВ); политическая аллергия (ОРТ); От некоторых членов правительства запах... как от детей, запачкавших штанишки... (РТР); Описание диагноза Ельцина очень похоже на то, что происходит в стране (НТВ); отощавшая экономика (ОРТ); власть должна быть здоровой (НТВ).*

«Болезненная» тема трансформируется с появлением на политическом Олимпе В.В. Путина, ср.:

*(о Думском кризисе) клиническая смерть левой оппозиции (ТВЦ); (о выборах президента) произошел замер температуры российского общества (ОРТ); (об операции «Вихрь-антитеррор») московский дурдом (ОРТ); лучшие государственные умы бились над проблемой нездоровья нации (ТВ6); метастазы террора (ОРТ); (о составлении черного списка «ненадежных» структур) прошлую неделю власть посвятила гигиеническим процедурам (ТВ6); (об уничтожении лидеров террористов) в Чечне необходимы хирургические меры (ОРТ); социальное самочувствие населения улучшается (ТВЦ).*

**2.** Метафора игры, к которой можно отнести понятия, связанные со спортом, сферой азартных игр, а также актерство, по сей день остается безусловным лидером по продуктивности. В описываемый мною период в телетекстах необыкновенно популярной стала метафора игры-интриги, нечестной игры, ср.:

*интрига, которая закручивается вокруг премьеры (НТВ); Лужков показал верх мастерства политинтриги (НТВ); политическая интрига (ТВ6); византийская роскошь и византийская интрига стали образцом кремлевской жизни (НТВ). Неотъемлемый компонент развития действия — сценическая интрига, поэтому в одном и том же репортаже интрига нередко сплетается с темой актерской игры, ср.: кремлевское закулисье (НТВ); каждый политик превращается все больше в актера (РТР); интрига закрутилась с большей силой... Он (президент) чувствовал себя звездой и прекрасно играл роль звезды (НТВ); если они не участники политической инсценировки, то участники большой политической игры (РТР); Политика и театр — явления конкурирующие, но с политиков на выборах срывают маски, а в театре их надевают (НТВ); в театре, извините, в политике — свои правила (РТР). На завершающей стадии президентства Б.Ельцина тема сцены и актерства получила интересное воплощение в метафоре 'театр марионеток', ср.: кремлевские кукловоды (ТВ6); несамостоятельность марионеточного президента (ОРТ); московский кукловод (ТВЦ).*

**3.** С последней метафорической моделью смыкается еще одна, основанная на том же приеме деперсонализации, — под ее прицелом тележурналисты держат не только левых, но и другие одиозные личности, ср.:

*левые думские ястребы (РТР); недоброкачественные депутаты (ОРТ); свеженазначенный премьер (РТР); российские зоологические антисемиты (РТР); (о политике) появление нового конкурирующего растения на хорошо окупленном поле центра (РТР); наша власть — флора или фауна? (ОРТ); безразмерная (депутатская) неприкосновен-*

ность (РТР); *пластмассовая деятельность супруги Лужкова* (ОРТ); *он* (Скуратов) — *надутая кукла Лужкова* (РТР).

4. Благоприятной почвой для метафорической новации является интимная сфера, что проявляется в эротизации политических реалий. Обозначу это явление как матримониально-эротическую метафору. Введение в политический дискурс «клубничного» момента вписывается в процесс тотальной «эротической революции» и позволяет тележурналистам обращаться к аллюзиям и играть со смежными смыслами, ср.:

*Зюганов давно строит глазки Примакову* (РТР); *Демократы назвали брак «Единства» и коммунистов извращением* (ТВЦ); *Америка далеко, она может в какие-то моменты пофлиртовать с Грузией, но на серьезный роман не пойдет* (РТР); *медовый месяц власти и прессы длился гораздо дольше тридцати дней* (НТВ); (о позиции А. Лукашенко в отношении Москвы) *изящный шантаж: если, мол, вы отвергаете мою близость, я меняю ориентацию и люблю Запад... В любовных играх возбуждение ревности — вполне оправданная тактика* (РТР); *Губернаторы уже давно наставили рога Примакову и Лужкову* (ОРТ); (о политических союзах) *последнее по времени такое брачное предложение сделал В. Анпилов... Г. Зюганову* (РТР); *политические рога, политические рогоносцы* (ОРТ); *Власть решила пообниматься с коммунистами. Идеологии здесь нет и в помине, любви тоже. Скорее — внебрачная связь* (РТР); *влюбчивость и переменчивость нашего электората известна* (ОРТ); (об изменении отношений России с США) *Бог с ней, с дружбой взапрос, и не нужна она* (РТР).

Необходимо обратить внимание на то, что с комментариями тележурналистов часто резонируют телевысказывания представителей российского политического бомонда, например:

*правительство перемещается в плоскость невменяемости — оно воюет с собственным народом* (Г. Явлинский на РТР); *у страны нет президента, есть главарь; некоторые информационные источники играли роль информационного гестапо* (Г. Зюганов на НТВ и ОРТ); *наезд президента на Парламент* (Г. Селезнев на ОРТ); (о противостоянии Б. Ельцина и Думы) *не будет халявы, будет наезд по полной программе* (А. Чубайс на ОРТ); (о слиянии сил С. Шойгу и Ю. Лужкова) *начнут спрашивать еще, кто под кого лег, то есть переводить из политической плоскости в сексуальную* (Ю. Лужков на ТВ6); *кинуть МВФ; президента подставили 17 августа; (о полугодовой работе правительства) затянувшийся медовый месяц правительства; правительство, как некая марионетка, которая рулит кукловодом* (Госдумой) (А. Шохин на ОРТ и РТР); *вмешаться в политический пасьянс* (С. Степашин на РТР); (о позиции коммунистов в отношении земельного кодекса) *они прощаются с этой коммунистической девственностью* (В. Жириновский на ОРТ); *США долбанули по Ираку* (В. Лукин на РТР); *сегодня на московских каналах сидит обычное жулье, стопроцентное жулье* (А. Лукашенко на НТВ). Таким образом, речевая стилистика, соотношение этических и эстетических параметров информационного теледискурса в принципе формируется не только усилиями ведущих и корреспондентов программ, но и их именитыми гостями.

Вообще анализ метафорических моделей, возникающих в информационном теледискурсе на наших глазах,

дает возможность наблюдать, по словам Н.Д. Арутюновой, «процесс переработки в языковое значение различных «субпродуктов» идеальной (интеллектуальной, эмоциональной, перцептивной) деятельности человека. Изучение метафоры позволяет увидеть то сырье, из которого делается значение слова» (1, с. 173).

Ролевая взаимозависимость и взаимообусловленность производителя масс-медийного текста и «принимающей» стороны комментируется филологами по-разному. Представлю противоположные точки зрения. «... Опасение коммуникативных потерь, вполне возможных при сиюминутном восприятии информации «на слух», а также интересы коммуникативной успешности при установлении контакта с максимально широкой аудиторией обуславливают **усредненность**, «массовизацию» используемых языковых средств, т.е. происходит очевидная смена речевого этикета. Примечательно, что при этом наблюдается, с одной стороны, «подстраивание» под узус адресата; с другой стороны, в силу обратной связи адресат, привыкший рассматривать язык СМИ как речевой эталон, усваивает упомянутую «усредненность», а порой и огрубленность как образец речевого этикета» (11, с. 211-212). Иная точка зрения: «Современные средства массовой информации предлагают читателю тексты, характеризующиеся довольно высокой степенью семантической сложности. На практике это проявляется в том, что восприятие такого текста требует от реципиента дополнительных интеллектуальных усилий (дополнительных — по сравнению с восприятием некоторого «усредненного», интуитивно определяемого нами образца)» (14, с. 1)2.

На мой взгляд, присутствие в аналитико-информационном телетексте образных ресурсов языка — прецедентных феноменов, речевых стереотипов, метафорических конструкций — объединяет типы противоположного влияния на зрителя. С одной стороны, восприятие такого текста усложняется, требуя дешифровки имплицитной информации, которая рассчитана и на определенные историко-культурные познания, и на скорость реакции слушающих. С другой — вкрапления, относящиеся к «обывательскому» уровню сегодняшней культуры, обеспечивают эмоциональное удовлетворение потребителей телеинформации, поскольку выполняют функцию социализации (см. об этом: 13) и подтверждают стабильность российской лингвокультурной общности.

«В тот момент, когда событие становится знаком дискурса, оно вынуждено подчиняться всем сложным формальным «правилам», благодаря которым язык способен означать», — пишет В. Михалкович (8, с. 19). Иначе говоря, чтобы стать событием, нечто сообщаемым, событие должно приобрести коммуникативную значимость, должно преобразиться в повествование. И далее: «В свое время пресса радикальным образом воздействовала на литературу, побудив ее стать «документом»... На телевидении словно произошел процесс обратный: здесь документ (в традиционном смысле этого слова) обрел черты и формы беллетристики. Прес-

са ... стала одной из побудительных причин возникновения литературного модернизма, с которым и воцарился культ формы. Телевизионное «сообщение как форма», думается, означает, что ТВ вступило в эпоху своего модернизма...» (8, с. 20).

Регулярный анализ текстов современных информационных и аналитических телевизионных программ позволяет сделать следующие выводы:

**1.** Речевая манера корреспондентского корпуса и ведущих информационных программ телевидения отвечает требованиям живой вербальной коммуникации. Этот процесс сопровождается стилевой аттракцией и расширением сферы влияния русской устной речевой стихии.

**2.** Аналитико-новостной телетекст конца XX — начала XXI века — это текст прагматично-проектного типа, обладающий не только затекстным фоном, но и подтекстовой частью — не обязательной для восприятия прагматичной информации, но предполагающей интеллектуальный и эмоциональный отклик среди любителей языковых игр.

**3.** Используя семантический потенциал метафор, информационный теледискурс укореняет в массовом языковом сознании новую образную категоризацию мироустройства. Поскольку метафора дает нам возможность увидеть нечто «в новом свете», а «видеть как» не равно «видеть что», метафора «заставляет нас увидеть один объект как бы в свете другого, что и влечет за собой прозрение» (Дэвидсон 1990: 191-192). Это «прозрение» происходит на основании изменения исходного отношения к называемому объекту, а в этом изменении неизбежно участие эмоции» (10, с. 126). Естественно при этом, что метафорические модели, описывающие *российский политический иконостас* (ТВЦ) и социально-экономические и политические реалии, меняются вместе с изменением как самих объектов метафоризации, так и в связи с переменами в их общественном восприятии.

**4.** Отвечая нашим, русским, всеобщим — в большей или меньшей степени — коммуникативным ожиданиям, язык телекомментариев, с одной стороны, потакает «обывательской тяге к укрупнению факта» (13, с. 127), а с другой — ее же и формирует, используя перцептивно маркированные, нейтральные языковые средства.

**5.** Нестандартная, нередко на грани эпатажа, словесная форма способствует созданию интригующего напряжения между субъектом такого текста и его аудиторией, переводя информационный текст из разряда информирующих в категорию диалогических, потенциально полемических. После долгого периода выхолащенного официоза информационный теледискурс не мог не стремиться к освещению событий в более живой, человеческой манере. Констатирующий тип телекомментария стал вытесняться интерпретирующим.

**6.** В описываемый в данной статье период информационный теледискурс был и демонстративно пренебрежителен к власти, и неумеренно президентоцентричен. По мнению газетных обозревателей, «журналисты слишком буквально воспринимают лозунг о «четвертой власти» ... В идеале власть должна управлять, а пресса от лица общества — ее контролировать, быть «сторожевым псом демократии» (АиФ, 2002).

В соответствии с положениями этических кодексов ведущих западных телекомпаний, «факты должны быть представлены таким образом, чтобы информировать, а не убеждать,... информировать общество, а не реформировать его» (9, с. 45). Однако там же, на Западе, «упрек информационному органу в нескритичности к власти предрерживающим или к проправительственной ориентации равносильна утрате собственной репутации» (там же, с. 48).

Как тележурналистам избежать малопродуктивной роли «попутчиков», как проплыть между Сциллой и Харибдой языковой бесцветности и безвкусицы, беспристрастности и бесстрастности, как остаться с «лица необщим выраженьем» и не превратиться в дикторов новостей в ретро-стиле?

Несомненно, соотношение фактов и мнений — уязвимое место российского информационного теледискурса последних лет. Поиск телевизионными каналами золотой середины, разумного баланса между констатацией фактов и их освещением, языковым обрамлением находится в фокусе внимания не только исследователей языка масс-медиа, но, кажется, в значительной степени — всего российского общества.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Молодому поколению россиян, вероятно, трудно поверить в то, что в Советском Союзе существовала вполне «живая» телеинформация. В 1961 г. особую популярность завоевала «Эстафета новостей» Юрия Фокина: он был первым советским не диктором, а именно комментатором новостей, помогавшим телеаудитории разобраться в событиях, а не просто сообщавшим о них. «Рождение «Времени» (1 января 1968 г.) вернуло информационную политику в прежнее русло — от персонализации новостей к дикторскому ведению... И только с наступлением перестройки противостояние «журналист или диктор» возобновилось на новом витке спирали» (9, с. 37). Уже в начале 90-х гг. один из руководителей ТВ назвал программу «Время» «символом наибольшей вины перед обществом за ту дезинформацию, которой она служила» (там же, с. 33).
2. В статье Б. Нормана анализируются речевые обороты из современных российских газетно-журнальных текстов, требующие от читателя, как пишет автор, склонности к «дешифровальной» работе, однако абсолютно те же явления наблюдаются и в телеречи.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Арутюнова Н.Д. Языковая метафора: (Синтаксис и лексика) // Лингвистика и поэтика. — М., 1979. — С. 147-173.
2. Баранов А.Н., Караулов Ю.Н. Словарь русских политических метафор. — М., 1994.
3. Баранов А.Н., Караулов Ю.Н. Русская политическая метафора. Материалы к словарю. — М., 1991.
4. Гудков Д.Б. Прецедентное имя и проблемы прецедентности. — М., 1999.
5. Зализняк Анна А. О семантике щепетильности (обидно, совестно и неудобно на фоне русской языковой картины мира) // Логический анализ языка: Языки этики. — М., 2000. — С. 101-118.
6. Лаптева О.А. Живая русская речь с телеэкрана. Разговорный пласт телевизионной речи в нормативном аспекте. — М., 2000.
7. Лихачева А.Б. Современный русский телезритель: фрагменты языкового сознания // Язык, сознание, коммуникация. — М., 2001. — С. 19-29.

8. Михалкович В.М. Время телевидения // Экранные искусства и литература: Телевизионный этап. — М., 2000. — С. 4-24.
9. Муратов С.А. ТВ — эволюция нетерпимости (история и конфликты этических представлений). — М., 2001.
10. Мягкова Е.Ю. Проблемы исследования метафоры // Языковое сознание: формирование и функционирование. — М., 2000. — С. 123-128.
11. Нещименко Г.П. К проблеме функциональной дифференциации этнического языка // Русский язык сегодня. — М., 2000. — Вып. 1. — С. 208-220.
12. Николаева Т.М. О параллелизме в функционировании речевых клише и некоторых суперсегментных просодических моделей // Фразеология в контексте культуры. — М., 1999. — С. 250-259.
13. Николаева Т.М. Речевые, коммуникативные и ментальные стереотипы: социолингвистическая дистрибуция // Язык как средство трансляции культуры. — М., 2000. — С. 112-131.
14. Норман Б.Ю. Понимание текста и синтаксическая «предыстория» высказывания // Russian Linguistics. — Amsterdam, 1998. — Вып. 22. — С. 1-12.
15. Русский язык конца XX столетия (1985-1995). — М., 2000.
16. Толковый словарь русского языка конца XX в. Языковые изменения. — СПб., 1998.
17. Шапошников В.Н. Русская речь 1990-х. Современная Россия в языковом отображении. — М., 1998.

## РЕКЛАМА КАК КОМПЛЕКСНАЯ СЕМИОТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СОВРЕМЕННОГО СОЦИУМА

Т.Д. Михайленко  
Москва

Современная реклама является одной из самых динамично развивающихся коммуникационных систем общества и, как всякая структура, обслуживающая сферу социального общения, имеет свой специфический язык — систему знаков, употребляемых в соответствии с определенными правилами, известными членам данного социума.

Основой семиотического подхода к рекламе (рекламному продукту) является то обстоятельство, что различные формы опредмечивания человеческой культуры, к которым она обращается, в том числе литературу, искусство, мифологию и др., можно рассматривать как знаковые системы. В этих системах знаками реальных явлений, ощущений, фактов, информации, которые не могут быть переданы другому человеку напрямую, без какой-либо трансформации, становятся **слово, звук, цвет, форма, пластика движений, интонация, вещь** и др. (3), то есть адресату сообщения (потребительской аудитории) предъявляются не реальные предметы или явления, а их заменители в виде знаков, вызывающих в сознании образ или понятие об этих реалиях.

Как известно, в качестве знака может выступать любое, имеющее значение и служащее средством передачи смысла материальное выражение, отсылающее сознание к другому предмету (5, с. 441). Кроме языковых знаков, функционирующих в целостной системе, закономерности построения которой определяются правилами того или иного национального языка, различают и неязыковые. В ряду последних выделяются:

- знаки-копии, сходные с обозначаемым (например, фотографии);
- знаки-символы, отражающие отвлеченное содержание;
- знаки-признаки, где знак произвольно нагружается смыслом, имеющим культурное опосредование, а признак не несет закодированной информации, становясь произвольным выражением сущности предмета или явления (3, с. 221).

При таком подходе социологи, лингвисты и другие специалисты трактуют рекламу как систему знаков, закрепляющих духовные ценности и нуждающихся в расшифровке. Использование данной знаковой системы делает возможности коммуникации в обществе безграничными.

Подобная знаковая система, во-первых, позволяет передавать сообщения не только о предметах, которых нет в наличии, но и об абстрактных понятиях, не поддающихся вещественному выражению. Такими знаками в рекламе становятся, например:

- дорогой автомобиль или красивая женщина как символы престижа,
- камин — как символ надежности, обустроенности;
- различные бытовые средства (моющие, чистящие, дезинфицирующие) как символы безопасности и комфорта.

Во-вторых, особая эмоциональность рекламы как ее неотъемлемое качество позволяет выразить отношения коммуниканта к сообщению и передать его в кратком, «конспективном» варианте.

В-третьих, активное использование рекламой невербальных знаков (мимики, жестов и т.п.) обуславливает возможность не только расширения, уточнения или подтверждения полученной информации, но и передачи сигналов о ее ложности (1; 3; 11; 14).

Впервые мысль о необходимости разработки общей теории знаков высказал английский философ-просветитель Д. Локк в своей работе «Опыт о человеческом разуме» еще в конце XVII столетия. Создание семиотики (семиологии) как целостной, самостоятельной науки, исследующей свойства знаков и знаковых систем, было заложено традициями логики и лингвистики (Ч.С. Пирс, Ф. де Соссюр). Первой семиотической дисциплиной явилась структурная лингвистика, оформившаяся в 20-е годы в Европе и США в самостоятельное научное направление. Позже идеи европейского лингвистического структурализма проникли и в другие области знания (живопись, кино, эстетику, психологию, педагогику, этнологию, антропологию, культурологию, литературоведение и др.).

Во второй половине XX столетия семиотика стала одной из самых актуальных наук, при этом вся новейшая западная философия выдвинула в качестве основной проблему языка, что было обусловлено чисто языковым характером вопросов познания и смысла. В русле этих идей получила лингвистическое обоснование и проблема человеческого сознания, где постулат о тождестве сознания с его языковым оформлением стал общепринятым с 1940-50-х годов. Дальнейшее развитие данной концепции привело к отождествлению сознания не с устной речью, а с письменным текстом, как объективизированным и более достоверным (5, с. 440-441).

Однако на современном этапе развития научных знаний явно наметилась тенденция к пересмотру лингвистической природы знаков. В этом ракурсе рассмотрения весь мир воспринимается как бесконечный, безграничный текст — метатекст — «космическая библиотека», по определению Винсента Лейча, или, по характеристике Умберто Эко, — «словарь», «энциклопедия». Данная парадигма позволяет рассматривать как сумму текстов и культуру, и сознание, и бессознательное; при этом все большее внимание исследователи стали уделять нелингвистическим знакам социокультурного характера, признавая любую схематизацию реальности знаковой. Поскольку ничего не существует вне текста, а каждый индивид находится, по мнению Ж. Дерриды, как бы «внутри текста», то любое сообщение — от произведения искусства до рекламного плаката — должно иметь структуру и составляющие ее элементы, строго соответствующие закономерностям и особенностям культурного мегатекста (3, с. 222-223).

Такой поворот классической семиотики знака на семиотику человека и культуры позволил осуществлять, в частности, анализ коллективных единств с точки зрения их знакового контекста, рассматривать новые аспекты взаимоотношений знаковой и незна-

ковой действительности, выделять нормы морали, права, обычаи через символы и знаки, фиксирующие систему психических ассоциаций и образующих содержание понятия.

Реклама как комплексная знаковая система, в первую очередь, стремится к замещению предметов знаками, а недостаток отсутствующих объектов стремится восполнить посредством их называния — означивания. В то же время реклама выступает как некая знаковая совокупность, не только замещающая, но и дублирующая мир. Реклама, где сочетаются изображение и слово, обращается, соответственно, к двум способам описания мира, к двум типам знаков — иконическим и языковым, которые не только дублируют мир (при этом с ним не совпадая), но и друг друга. Этот процесс моделирования мира в виде образов и слов является необходимым элементом его восприятия, так как вне этого процесса семиотического сотворения мир как бы не существует. В стандартном варианте реклама представляет сочетание изображения и вербального сообщения, которые при помощи различных кодов воспроизводят одни и те же элементы действительности (1; 3; 5; 13; 14), превращая рекламу в фактор семиотизации социокультурного пространства.

С точки зрения семиотики, человеческий язык — уникальная, но не единственная знаковая система: он сопоставим с языком пчел, дорожной сигнализацией, алгоритмическим языком программирования. С точки зрения науки об обществе язык не имеет аналогов, он не просто своеобразен — он по ряду существенных признаков отличается от других семиотических систем тем, что превращает его в центральную знаковую подсистему комплексной семиотической системы социума:

**1.** Язык, сознание и социальный характер трудовой деятельности изначально взаимосвязаны.

**2.** Наличие языка есть необходимое условие существования общества на всем протяжении истории человечества. В отличие от незначительных и/или преходящих явлений общественной жизни язык изначален и будет существовать до тех пор, пока существует общество.

**3.** Наличие языка есть необходимое условие материального и духовного бытия во всех сферах социального пространства. Язык глобален, вездесущ. Сферы языка покрывают все мыслимое социальное пространство. Будучи важнейшим и основным средством общения, язык не отделим от всех и любых проявлений социального бытия человека (7, с. 27).

Взаимосвязь рекламы и современного общества чрезвычайно многообразна и неоднозначна по своей модальности. Реклама (рекламный продукт, рекламное сообщение) как комплексная семиотическая система выполняет не только информативную функцию, выступая в роли своеобразного компаса, позволяющего потребителю сориентироваться в сложном и разнообразном товарно-предметном мире, не только экономическую функцию продвижения товара, стимулирования спроса и потребления и, в конечном счете, увеличения объема продукции определенного товара и, следовательно,

прибыли. Реклама, по мнению социологов, психологов, политологов и других ученых-гуманитариев, является также важнейшим идеологическим институтом современного общества, оказывающим серьезное влияние на формирование потребностей, ценностей и поведения людей (4; 10; 11; 13).

Прежде всего реклама наделяет культурное пространство парадигмами потребительского общества, однако культурный континуум рекламного процесса в наши дни (и особенно в России) значительно шире. Можно выделить, по крайней мере, три функциональные составляющие рекламного процесса в культурном пространстве социума:

1) манипулирование (воздействие) через символическое (знаковое) конструирование социальной реальности;

2) опосредствованное создание духовного потребителя особого рода, так как реклама выступает основным источником финансирования СМИ;

3) учет национальных (ментальных) традиций и особенностей при создании рекламного сообщения (1; 3; 5; 8; 11; 13).

Отдельной науки о рекламе в настоящее время не существует и, по мнению авторов монографии «Телерекламный бизнес» (13), вряд ли может существовать. Это объясняется, на их взгляд, многообразием деятельности, которая в той или иной мере попадает в проблемное пространство, описываемое понятием «реклама». Обычно, как считают авторы данной работы, когда говорят о научных представлениях о рекламе (как сфере деятельности) в противовес обыденному, то имеют в виду комплекс наук, изучающих общество и законы его функционирования: историю, экономическую теорию, социологию, психологию, правоведение. Каждая из этих наук описывает рекламу с собственной когнитивной перспективы, опираясь на адекватную ей систему сбора фактов и принципов их концептуализации. При этом получается особая, свойственная данной науке картина рекламы.

История повествует нам о первых опытах рекламной деятельности, рассказывает об эволюции приемов и методов рекламы, раскрывает особенности функционирования рекламы в различные исторические эпохи.

В экономической науке реклама рассматривается как институт продвижения товара на рынок, повышения эффективности функционирования экономики.

В социологической интерпретации реклама предстает как общественный институт, оказывающий определенное влияние на социальные и культурные процессы.

Для психологии реклама является своеобразным полигоном по изучению механизмов влияния рекламы на психику человека, ее манипуляционные возможности и ограничения.

Цивилизованное общество не может обходиться без четко сформулированных «правил игры», которые изучаются правоведением.

Общая логика размышлений позволила авторам монографии сделать следующие выводы:

**1.** Научное представление о рекламе не может быть описано в рамках какой-то одной науки.



2. Практически каждая из общественных наук в той или иной мере анализирует рекламу (рекламный продукт) и рекламную деятельность, видя в ней, с одной стороны, определенное пространство для своих интеллектуальных изысканий, а с другой — среду, где можно использовать свои научные достижения, профессиональный капитал, испытать в конкурентной борьбе с другими науками свои выводы, заключения и рекомендации (5).

Однако попытка представить «под одной крышей» полный образ современной рекламы в социуме потребует, на наш взгляд, единения не только таких научных направлений, как «история рекламы», «экономика рекламы», «социология рекламы», «психология рекламы», «рекламное право», поскольку эти научные направления описывают лишь некоторые аспекты рекламной деятельности. Современную рекламу уже нельзя представить, например, без «этики рекламы», «эстетики рекламы», «психологии», «психолингвистики», «семиотики», «коммуникативистики» (современная реклама использует самые высокотехнологичные средства выработки, доставки и хранения информации) и других научных дисциплин.

Новое междисциплинарное научное направление, которое все же формируется на наших глазах и которое уже получило название «рекламоведение», нельзя представить себе и без лингвистики, которая уже давно нашла свой предмет исследования в области рекламы и успешно разрабатывает широкий спектр языковых проблем рекламной деятельности и рекламной продукции как в России, так и за рубежом (1; 2; 4; 6; 8; 9; 10; 11; 12).

Языковые процессы современной рекламы протекают в двух совершенно различных сферах, составляя вместе с другими семиотическими подсистемами одну из сложнейших функциональных систем современного социума. С одной стороны, это подязык рекламы с системой терминов и другой специальной лексики, которая используется специалистами в области рекламы в процессе делового общения в устной речи и в специальных текстах рекламной тематики. С другой стороны, это рекламный текст (как самостоятельный рекламный продукт или как вербальный компонент такого синтетического продукта), который относится к текстам, ориентированным на обращение, в которых доминирует аппелятивная функция (1; 9; 11) и которые ориентированы на потребителя, на свою целевую аудиторию.

Интра- и экстралингвистический анализ терминологии современной российской рекламы как основного компонента ее подязыка, используемой в печатных текстах различных жанров при исследовании и описании тех или иных проблем рекламы (в статьях, монографиях, диссертационных исследованиях, учебниках, учебных пособиях и т.д.), а также в различных документах, регламентирующих те или иные аспекты рекламной деятельности, показывает, что данный массив терминологии развивается в общем русле отраслевых терминосистем (особенно тех, которые представляют новые отрасли знаний и формирование которых приходится на последние десять-пятнадцать лет) (9) и имеет все их характерные признаки.

К таким характерным признакам относится прежде всего наличие синонимичных (дублетных) рядов терминологических единиц для номинации одного и того же понятия, что свидетельствует, как правило, об интенсивном развитии отраслевой терминосистемы и ее несформированности. Но данный процесс формирования и функционирования терминосистемы как бы скрыт от потребителя, в нем участвуют, прежде всего, специалисты-рекламисты и лингвисты-терминоведы, в то время как рекламный текст выполняет свою прямую социальную функцию, воздействуя на потребителя.

В то же время хотелось бы отметить, что формирование отечественной рекламы как отрасли бизнеса ведет не только к формированию подязыка рекламы и определенных стандартов рекламного текста, а также развитию нового научного направления, исследующего все аспекты рекламной деятельности и рекламного продукта.

Язык рекламы, в свою очередь, начинает оказывать все более заметное влияние на язык и культуру социума. Рекламные лозунги (слоганы) и призывы, реплики героев рекламных телероликов становятся известными поговорками и прибаутками, широко цитируются, становятся компонентами анекдотов и юмористических рассказов (12). Тема рекламы, в том числе и политической, проникает в художественную литературу (см., например, остросюжетный роман Ф. Незнанского «Убей, укради, предай»). Рекламная терминология (рекламный лозунг, слоган, брэнд и др.) все чаще встречается в речи политиков, тележурналистов и др.

Все это свидетельствует о том, что реклама в России является новой, интенсивно развивающейся комплексной сферой человеческой деятельности и что существует большое число отраслевых аспектов практической рекламы и теоретических исследований. К самым важным относятся и языковые аспекты (исследование и формирование терминосистемы рекламы и лингвистика рекламного текста), так как успешное решение этих вопросов позволит рекламе более эффективно реализовать свое назначение в современном обществе и положительно влиять на его экономические, социальные, культурные и языковые процессы.

Особой функцией рекламы на постсоветском пространстве является ее способность означивать те новые социальные отношения, которые устанавливаются в современной России. Появление новых классов, их иерархия и отношения между ними, эстетика поведения, этикет, ритуалы — все это требует особого семиотического оформления.

Сегодня разнообразные культурные знаковые системы — жилище, одежду, пищу, болезни, лекарства, проблемы гендера и геронтологические проблемы, словарный тезаурус культуры в целом, этикет, отдых, спорт — последовательно представляет и обогащает именно реклама, благодаря которой, в частности, в наш язык и сознание самым естественным образом входят не только названия новых товаров, услуг и фирм, но и по-новому представляются, переименовываются старые. При этом прежнее семиотическое пространство стре-

нительно заменяется новым, обладающим иными характеристиками и закономерностями взаимодействия между его составляющими, а также иным набором самих составляющих (З, с. 233).

Таким образом, наряду с другими общественными институтами, современная реклама выполняет функцию семиотизации пространства, номинируя явления, предметы, отношения, ценности, создавая новую совокупность имен и названий. Этот

процесс осуществляется сегодня тем интенсивнее, чем активнее осуществляются социальные модификации и изменения в ценностной системе человека.

Рекламная продукция как совокупность жанровых, формальных и сюжетных разновидностей, выступающая в качестве «целостного текста», является, в известном смысле, отражением столь же «целостного текста культуры» современного социума.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Дудина М.Г. Умозаключение как средство речевого воздействия в тексте (на материале текстов рекламы). Автореф. дис. ... канд. филол. наук. — М., 2000.
2. Кафтанджиев Х. Тексты печатной рекламы. — М., 1995.
3. Костина А.В. Эстетика рекламы. — М., 2000.
4. Кохтев Н.Н. Реклама: искусство слова. Рекомендации для составителей рекламных текстов. — М., 1997.
5. Лингвистический энциклопедический словарь. — М., 1990.
6. Литвинова А., Литвинов С. Сколько весит слово? «Статьевая» реклама в прессе. — М., 1998.
7. Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика. — М., 1996.
8. Миронова Н.Н. Язык рекламы в ФРГ. — М., 2000.
9. Михайленко Т.Д. Метаязык современной российской рекламы // Материалы 3-го Междунар. фестиваля рекламы. — М., 2002.
10. Морозова И. Слагая слоганы. — М., 1998.
11. Найденов О.Ю. Прагматические аспекты оптимизации речевого воздействия печатных средств массовой коммуникации (на материале торговой рекламы в российских печатных изданиях). Автореф. дис. ... канд. филол. наук. — М., 2000.
12. Стернин И.А. Социальные факторы и развитие современного русского языка // Теоретическая и прикладная лингвистика. Вып. 2. — Воронеж, 2000.
13. Телерекламный бизнес (информационно-аналитическое обеспечение). — М., 2001.
14. Федотова Л.Н. Реклама в социальном пространстве. Социологическое эссе. — М., 1996.

## СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НОВОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА (на материале русскоязычной прессы Украины)

А.М. Григораш  
Черкассы, Украина

Изменения в социальной системе общества обязательно предполагают трансформацию некоторых участков когнитивной базы языка. Так, для постсоветской цивилизации характерна прежде всего смена культурных парадигм, что, в свою очередь, вызывает, по определению В.М. Мокиенко, «всплеск семиотичности» (3, с. 10). Об измененном состоянии общественного сознания, в частности, свидетельствует отказ от старых языковых знаков либо наполнение их новым языковым содержанием, а также создание новых образцов.

Говоря о новейшей общественно-политической фразеологии современности, в который раз убеждаешься в непреложной истинности краеугольного постулата ее возникновения: новую фразеологию порождают новые политические коллизии, обогащающие как отдельных политиков, так и общественный социум в целом новым общественно-политическим опытом. Кратким словесным воплощением этого опыта и являются общественно-политические новообразования, являющиеся плодом скорее не индивидуально-авторского, а коллективного, массового творчества, поскольку подобные новообразования немедленно подхватываются всеми органами массовой информации независимо от их политической направленности.

Например, чрезвычайно популярными общественно-политическими фразеологическими новообразованиями в Украине за достаточно короткий временной срок стали устойчивые словосочетания **дело Гонгадзе** и **кассетный скандал**. Наиболее полное толкование их значений, естественно, дают сами газетные источники:

*«Осенью прошлого года активизация России на украинском направлении стала заметна невооруженным глазом. И как раз в это время возникло «дело Гонгадзе» (исчезновение и гибель журналиста, приписанное оппозицией украинским спецслужбам) и кассетный скандал (дело о магнитофонных записях, сделанных в рабочем кабинете Л.Кучмы). По наиболее популярной версии, скандал был выгоден Западу, который таким образом хотел поставить на место (а то и сменить) президента Украины, качнувшегoся в сторону России» (Комсомольская правда в Украине, 22. 02. 2001).*

В настоящее время оба эти общественно-политические устойчивые словосочетания заняли свое прочное место среди привычной фразеологии этого типа на страницах республиканских газет Украины, употребляются журналистами постоянно и уже не требуют в политических контекстах никаких пояснений:

*«Надо объективно оценить происходящие события, — подчеркнул Чародеев. — После того как парламент уже и забыл о том, что на повестке дня стояли вопросы о недоверии «силовикам», вдруг начинают интенсивно обсуждаться предложения об отставке Потебенько. Почему? С какой стати? Не потому ли, что арестована Юлия Тимошенко? Ведь действительно, меры, которые предпринимаются в последнее время для смены генпрокурора, несоизмеримы с его ролью ни в «деле Гонгадзе», ни в развитии «кассетного скандала» («Киевские ведомости», 22.02.2001); «На пленуме отмечалось, что политическая и социально-экономическая ситуация в Украине резко*

*обострилась, жизненный уровень населения продолжает ухудшаться, цены на товары первой необходимости растут, безработица увеличивается, развалена промышленность, добывается сельское хозяйство, более 70% населения влачат жалкое существование, люди вымирают, а президент Кучма, под диктовку Запада приведший нас к краху, ожив после «кассетного скандала», пытается укрепить единоличную власть» (Коммунист, 12. 07. 2001).*

Разумеется, это не означает, что рассматриваемые общественно-политические новообразования прочно войдут в «общемировую» фонд политической фразеологии, но на Украине им, очевидно, суждена достаточно долгая жизнь (во всяком случае, до следующих выборов Президента оппозиционная пресса, как «правая», так и «левая», будут с удовольствием смаковать последствия двух вышеупомянутых событий, а, следовательно, постоянно оперировать новыми общественно-политическими устойчивыми словосочетаниями).

Кстати, о популярности фразеологического новообразования «кассетный скандал» свидетельствует немедленное появление его варианта:

*«И еще одно ясно: не было бы «кассетного дела» — появилось бы что-нибудь еще. Если кризис назрел, то он происходит неизбежно, а поводом может послужить все, что угодно. Первая мировая война тоже началась из-за убийства одного человека...» (Комсомольская правда в Украине, 22. 02. 2001).*

Сначала оба устойчивых выражения (и «кассетный скандал», и «кассетное дело») «равноправно» употреблялись журналистами на газетных полосах, затем новый общественно-политический фразеологизм «кассетный скандал» практически вытеснил свой вариант и является популярнейшим устойчивым новообразованием в настоящее время.

Предстоящие выборы в парламент Украины вызывают к жизни как уже известную, так и новую общественно-политическую фразеологию, мирно сосуществующую в рамках одной политической статьи:

*«Именно на почве общих разработок лейбористов Великой Британии и социал-демократов Германии получили развитие концепция «третьего пути» и философия нового центризма. Для нас она ценна своим прагматизмом, так как наша главная цель — развивать политические основы новой модели украинской экономики, способной обеспечить опережающее развитие страны» (Комсомольская правда в Украине, 22. 02. 2001).*

Подведя теоретическую «общеевропейскую» базу под свои рассуждения, использовав известный «общемировой» политический фразеологизм «третий путь», автор газетного материала переходит непосредственно к украинской конкретике и предлагает новое общественно-политическое словосочетание:

*«Вообще, объединение «пяти» в ноябре прошлого года как бы послужило сигналом к интеграции украинских партий и выходу партийной системы на качественно новый уровень — к «политике блоков». Жаль только, что в силу известных кризисных обстоятельств это блокирование пошло не только путем программно-идеологического сближения, но и опять-*

таки — через уличную магистраль протеста и отрицания. Причем на эту волну ныне вышел досель невиданный кентавр с левой головой и правыми ногами» (там же).

Украинский массовый читатель, естественно, прекрасно понимает, без всяких поясняющих комментариев со стороны автора газетного материала, что «уличная магистраль протеста и отрицания» явилась следствием все того же «дела Гонгадзе» и «кассетного скандала». Что же касается общественно-политического устойчивого новообразования «политика блоков», то новым его следует считать исключительно по форме, но не по содержанию. Предыдущие президентские выборы также вызвали попытку лидеров нескольких политических партий Украины объединиться. Немедленно возникло популярнейшее в тот период общественно-политическое устойчивое новообразование «Каневская четверка» (попытка объединения происходила на соответствующем заседании в г. Каневе). Объединение не принесло желаемых результатов: ни один из четырех партийных лидеров президентом не стал. В настоящее время устойчивое словосочетание «Каневская четверка» изредка появляется на газетных полосах, но употребляют его журналисты с резко негативной семантикой как синоним «несбывшихся надежд», «ненужности», «предрешенного политического поражения». Очевидно, поэтому заявленное в начале рассматриваемого контекста локальное общественно-политическое новообразование «объединение пяти» приводит к более глобальному — «политике блоков». Можно предположить, что «объединение пяти» может постигнуть участь «Каневской четверки», в то время как общественно-политическое устойчивое новообразование «политика блоков» является общим наименованием определенных предвыборных тенденций, и поэтому ему, возможно, уготована долгая жизнь среди других общественно-политических фразеологических единиц.

Следует отметить, что новейшая фразеология на страницах украинской прессы стремительно видоизменяется семантически и стилистически. Если в начале политических событий, обозначенных устойчивыми словосочетаниями «кассетный скандал» и «дело Гонгадзе», эти фразеологические единицы употреблялись исключительно с «пафосной», возвышенной семантикой и стилистикой, то по мере «затухания» «дела» и «скандала» и утраты интереса со стороны прежде всего общества к политическим событиям, вызвавшим к жизни указанные устойчивые словосочетания, последние утрачивают свою высокую пафосность, и их стилистическая окраска меняется на противоположную — иронически-уничижительную:

«Теперь каждый день смотрим по телевизору «мыльный сериал», круто замешанный на деле Гонгадзе, кассетном скандале, аресте и освобождении Тимошенко, отставке премьера...» (Бульвар, июнь 2001).

Отсутствие кавычек традиционно свидетельствует об окончательном вхождении устойчивых словосочетаний в общественно-политический фонд фразеологии Украины. Как ни парадоксально, но на это же указывает и соседство «пафосных» фразеологизмов с иронически-уничижительным устойчивым словосочетанием «мыльный сериал», благодаря

которому иронически-уничижительная стилистическая окраска переносится на весь контекст. Безусловно, определенную роль играет и политическая направленность того или иного печатного органа (в частности, газета «Бульвар» — флагман украинской «желтой» прессы). Тем не менее подобная смена значения (от положительного до отрицательного) и стилистической окраски (от «высокой» до «низкой») — яркая специфическая особенность употребления в публицистическом стиле фразеологии вообще и новейшей — в частности.

Процесс пополнения языка новыми фразеологизмами происходит в результате как внешних, так и внутренних языковых факторов, в частности, вследствие тенденции языка к образованию наиболее ярких, эмоционально насыщенных обозначений. Пальма первенства на страницах прессы Украины принадлежит выражениям с ярко выраженной оценочностью и эмоциональной насыщенностью, образованным по стандартной модели «относительное имя прилагательное-географическое определение + имя существительное». Чаще всего переносные наименования современных политических деятелей, образованные по вышеупомянутой модели, характеризуют человека скорее не как личность, а как члена социального объединения. В подобных случаях мы имеем дело с этически ориентированными номинациями, причем, учитывая их имплицитный характер, можно говорить о супероценочности и экспрессивности.

Так, если новообразованные фразеологизмы, содержащие резко негативную характеристику того или иного политического деятеля, не получили широкого распространения на газетных страницах и могут быть неизвестны читателю, значения их раскрываются непосредственно в контексте:

«Меткой кличкой «Крыжопольский соловей» журналисты наградили В. Яворивского за присущую ему манеру щедро раздавать людям красивые обещания в период своей избирательной кампании, тотчас забывая о необходимости их выполнения, став депутатом. В результате при очередных выборах избиратели Светловодского избирательного округа отказали «обещалкину» в доверии» (Коммунист, 28. 06. 2001).

Переносное наименование известного политика может базироваться на аналогии с другим известным политиком. Модель образования подобных устойчивых новообразований структурно (формально) остается прежней, но несколько видоизменяется семантика составляющих ее компонентов («относительное имя прилагательное-географическое определение + имя существительное собственное»):

«Экс-президент Болгарии Желю Желев (именуемый в народе «болгарским Гавелом»), автор написанной в 1967 году и тогда же запрещенной блистательной книги «Фашизм», в которой речь шла о тоталитарных режимах в мире, вчера дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Ведомостей». В нем он неожиданно заявил, что не несет никакой ответственности за то, что экономические реформы в Болгарии за семь лет его президентства практически не сдвинулись с места» (Киевские ведомости, 11. 10. 2000).

Прямого объяснения, почему Желю Желева в народе называют «болгарским Гавелом», в газетном материале нет, но косвенных намеков — предостаточно.

но: оба — интеллигенты, оба — писатели, произведения обоих были запрещены в недалеком прошлом... Подобные переносные наименования «по аналогии» наиболее сложны для восприятия массовым читателем, поскольку политические ассоциации последнего могут быть самыми различными. Очевидно, именно в этих случаях прямой авторский комментарий необходим и обязателен.

Подобные переносные наименования «по аналогии» могут касаться не только ныне действующих политиков, но и общественных деятелей прошлого, широко известных если не всей стране, то ее отдельному региону. При этом авторы газетных материалов, не мудрствуя лукаво, используют традиционные политические фразеологизмы-переносные наименования, как и предыдущем случае, не расшифровывая их, надеясь, очевидно, на понимание читателем:

*«Местные жители обожали Елену Николаевну. Некоторые даже называли ее **железной леди** и **краснодонской Маргарет Тетчер**. Ее личная жизнь так и не сложилась. Умерла она в 1982 году, вскоре после того, как помпезно отмечалась 40-я годовщина создания организации «Молодая гвардия» (Факты (Юг), 8. 06. 2001;*

речь идет о матери руководителя подпольной организации «Молодая гвардия» Олега Кошевого). Обращает на себя внимание отсутствие кавычек при введении фразеологических единиц в контекст, еще достаточно редкое на страницах украинской прессы (в принципе переносные наименования подобного рода, как правило, заключаются в кавычки). В одном контексте функционируют фразеологизмы, образованные по обоим вышеупомянутым моделям: «относительное прилагательное-географическое определение + имя существительное» и «относительное прилагательное-географическое определение + имя существительное собственное». Интересен также выбор фразеологизма «**железная леди**» для сугубо положительной характеристики героини газетной статьи: фразеологизм «**железная леди**» в силу специфики своей семантики обычно употребляется по отношению к женщинам-политикам, вызывающим уважение, но не обожание.

Наконец, переносные наименования «по аналогии» могут осуществляться по принципу «благородного минимализма»: упоминается только имя и фамилия той, с кем сравнивается главная героиня газетной статьи, зато иронически-уничтожительно переосмысливается словосочетание «**маленький солдат**», приобретая ярко выраженные «фразеологические» черты:

*«Дюма брал Кристин с собой в зарубежные поездки. В компании «Эльф» ей тоже стали поручать ответственные задания. Например, летом 1997 года она передала в одном из Женевских отелей чемоданчик неизвестному ей мужчине. Там лежали шесть миллионов швейцарских франков наличными (по тогдашнему курсу почти четыре миллиона долларов). Она не знала, за что незнакомец получил эти деньги. На каждое из подобных поручений Кристин, по ее словам, получала одобрение Дюма. И он всегда повторял ей при этом: «Во имя республики, моя дорогая! Во имя Франции!» Ролан называл свою любовницу «**маленьким солдатом**» или **Матой Хари**» (Факты (Юг), 8. 06. 2001).*

Рассматриваемый контекст представляет собой органическое соединение нейтрального стиля (подроб-

ное изложение фактов в первой, наиболее обширной, части контекста) и стиля «книжного», призванного, однако, в данном случае оттенить едкую иронию журналиста. Поскольку газетный материал посвящен промышленному шпионажу, словосочетание «**маленький солдат**» вполне соотносится с аналогичными фразеологическими единицами «**солдат невидимого фронта**», «**неизвестный солдат тайной (невидимой войны)**» и т.п., чему способствует, в частности, и упоминание Мата Хари, обвиненной в шпионаже и расстрелянной во время первой мировой войны. Как уже указывалось выше, конец приведенного контекста выражен в остро иронической тональности, чему прежде всего способствует иронически-уничтожительное «пафосное» употребление расхожих лозунгов-клише («*во имя республики*», «*во имя Франции*»), вследствие чего стилистическая окраска переосмысленного словосочетания «**маленький солдат**» не вызывает никаких сомнений. Вместе с тем с помощью переосмысленного словосочетания, соединенного с именем и фамилией известной в прошлом представительницы совершенно определенных общественных кругов, дается совершенно убийственная характеристика как современной героини современного газетного материала, так и его героя, тем более действенная, что в устах героя газетной статьи она звучит, казалось бы, как комплимент.

Подобный перенос наименования, базирующегося на другом основании — «наименование по профессии» — приводит иногда к совершенно неожиданным результатам:

*«Правительственный секретарь Кабмина Виктор Лисицкий рассказал присутствующим о том, в каких страшных условиях работают первые лица государства. Например, законом об отходах премьер обязан определять, какие отходы являются бесхозными. То есть, Виктор Ющенко вместо того, чтобы заниматься проблемами бюджета и кризиса в топливно-энергетической области, вынужден быть **главным дворником**» («Киевские ведомости», 17. 02. 2000).*

Безусловно, переносное наименование премьер-министра «**главным дворником**» показалось бы по меньшей мере неделикатным. Однако и контекст, и наименование газетной статьи («*Тяжело быть премьеру «дворником*»), и рубрика «Админреформа» свидетельствуют о том, что негодующий пафос журналиста направлен не против Виктора Ющенко, а против недостатков административной реформы, в результате которой премьер-министру страны навязываются совершенно несвойственные функции.

Устойчивые публицистические новообразования могут приобретать совершенно неожиданные значения в результате их переосмысления известным политиком:

*«Движение «Украина без Кучмы» и образованный после отставки Юлии Тимошенко Фронт национального спасения (ФНС) объединили свыше тридцати партий и движений. На первый взгляд — много. Но эти партии в основном, по выражению Кучмы, — **диванные**». Поскольку «Комсомольская правда» сама основала **Диванную партию**, то хотелось бы отметить принципиальное различие между нашей партией, защищающей интересы человека, лежащего на диване, и украинскими **диванными партиями**, все члены которых уместятся на одном диване. Карликовые партии,*

исповедующие самые разные взгляды (от левых и крайне правых и националистических), да еще во главе с амбициозными лидерами, — при всем желании трудно найти худший фундамент для создания единой оппозиции» (Комсомольская правда в Украине, 22. 02. 2001).

Таким образом, веселая шутка журналистов «Комсомольской правды» — псевдополитическое словосочетание **диванная партия** — в устах президента Украины превратилось в общественно-политическое устойчивое новообразование с соответствующим общественно-политическим значением. Оба значения — «юмористическое» и «политическое» — традиционно присутствуют в контексте.

Могут переосмысливаться и известные устойчивые словосочетания, связанные с политическими событиями в других странах. Так, известный политический неологизм *«бархатная революция»* возник в 1989 году в Чехословакии как наименование бескровного прихода к власти демократического правительства (и — соответственно — свержения правительства тоталитарного). Это же устойчивое словосочетание в настоящее время стало неотъемлемой частью политической фразеологии в Украине: **«Бархатная революция»** в разгаре. Антикоммунистические силы положили на лопатки левых. Вскоре будет ликвидирована тоталитарная символика. Уже отменены

*«красные дни календаря»*. Происходит декоммунизация парламента, общества, государства» (Киевские ведомости, 17. 02. 2000).

Известный «европейский» политический фразеологизм используется для наименования специфической украинской политической ситуации, естественно, в корне отличающейся от чехословацкой: в Чехословакии **«бархатную революцию»** осуществил народ, вышедший на улицы страны; в Украине «бархатная революция» произошла исключительно в Парламенте, и возможность ее осуществления коренилась в поражении лидера Коммунистической партии Украины П.Н. Симоненко на президентских выборах (Л.Д. Кучма был избран президентом на второй срок). Недаром в контексте рядом с политическим фразеологизмом «бархатная революция» присутствует сугубо «советское» устойчивое выражение **«красные дни календаря»** — речь идет об отмене празднования очередных «годовщин Великой Октябрьской Социалистической революции» (официальное наименование ежегодных государственных торжеств 7-8 ноября). Таким образом, «общеевропейское» устойчивое словосочетание не только заимствуется структурно, но и переосмысливается в соответствии со спецификой политической ситуации на Украине, то есть семантически локализуется.

Следует отметить поразительную живучесть так называемого «языка перестройки». В частности, «перестроечная фразеология» благополучно пережила за-

вершение этого исторического периода и продолжает достаточно активно функционировать на страницах современной прессы Украины. Конечно, сохранилось самое лучшее, яркое, эмоциональное, впечатляющее. Одним из таких устойчивых словосочетаний является индивидуально-авторское высказывание М.С. Горбачева **«процесс пошел»**:

*«Кабинет Министров вместе с народными депутатами еще только раскачивается, никак не решаясь на массовую приватизацию торговли. А между тем «процесс пошел». И не без участия народных депутатов, которые почему-то не торопятся дать «зеленую улицу» приватизационным законам. Одно дело — для всех. Другое дело — для себя»* (Независимость, 2. 10. 2000).

Обращает на себя внимание достаточно редкое на страницах современной прессы употребление индивидуально-авторского устойчивого выражения с положительной семантикой и стилистикой: в рассматриваемом контексте фразеологический неологизм является образно-эмоциональным подтверждением мыслей самого журналиста. Кроме того, основную идею газетного материала подтверждает и явная «политизированность» метафоры, образованной по типу «живому — неживое»: *«народные депутаты ... почему-то не торопятся «дать зеленую улицу» приватизационным законам»*. Таким образом, и традиционная, и «перестроечная» фразеология, помещенная в один и тот же контекст, прежде всего помогает автору газетного материала максимально ярко и доступно выразить свою политическую позицию (отсюда и «политизированность» традиционной фразеологии), и одновременно — свое отношение к тем или иным политическим и экономическим событиям сообразно этой позиции.

Современная новая фразеология, таким образом, точно отражает жизнь общества: сложные социальные явления, бурные процессы, сопровождающие экономические реформы, тенденции к вхождению в мировое сообщество привели к существенным изменениям в современном русском языке в целом, его фразеологии, стилистической маркированности. При этом действия и состояния человека, связанные с общественными взаимоотношениями, больше, чем иные действия, нуждаются в образном, выразительном и эмоциональном обозначении, заключающем в себе не просто наименование определенных политических устремлений, но и его оценку. Сфера фразеологических новообразований общественно-политической семантики представляет собой наиболее активный, непрерывно пополняющийся пласт общенародного языка. Это делает возможным непосредственное наблюдение исторического процесса развития фразеологического фонда русского языка в его конкретных воплощениях.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Гольцова Н.Г. Окказиональность слова и окказиональность фразеологизма // Русский язык в школе. — 1993. — № 3. — С. 81-86.
2. Корженевска-Берчинска И. Современные публицистические тексты как источник «ментальных наблюдений» // Opera Slavica. — 1998. — № 4. — С. 1-8.
3. Мокиенко В.М. Фразеологические теории в зеркале лексикографической практики. — Frazeografia Slowiansk. — Opole, 2000. — С. 9-13.
4. Шаховский В.И. Языковая личность в эмоциональной коммуникативной ситуации // Филологические науки. — 1998. — № 2. — С. 59-65.
5. Юдина А.Д. Окказионализмы на страницах периодики // Русская речь. — 1999. — № 5. — С. 55-59.

**«КОНФЛИКТОГЕННЫЕ» ТЕКСТЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ЯЗЫКОВОГО И НЕЯЗЫКОВОГО В СФЕРЕ ГАЗЕТНОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ**Т.В. Чернышова  
Барнаул

Существенные изменения, произошедшие в русском языке в последнее десятилетие XX в. под воздействием таких социальных факторов, как политическая свобода в обществе, свобода слова, политический плюрализм, открытость общества, экономическая нестабильность, поляризация общества, техническое перевооружение быта<sup>1</sup> и т.п., привели к существенным изменениям в русском дискурсе и в частности в дискурсе публицистическом. По замечанию И.А. Стернина, современный русский публицистический дискурс «по сравнению с публицистическим дискурсом доперестроечного периода представляет собой практически новый тип дискурса» (11, с. 17).

Первым на изменения в языке периодики указал М.В. Панов в конце 80-х гг. прошлого века (4, с. 4-27). Общую стилистическую направленность газетно-публицистических изданий конца 80-х годов XX века М.В. Панов оценил как разностилевую. Одни из них тяготели к «строгости стилю», характеризующемуся точностью, скупостью, строгим отбором стилистических красок, полной определенностью формулировок (например, газеты «Правда», «Красная Звезда»). Другие культивировали стиль «языковой раскованности», многокрасочности, эмоциональной остроты (газеты «Известия», «Советская Россия», «Московский комсомолец», Третьи были «оплотом» стилистической сухости и однолинейности («Учительская газета») (4, с. 5). По нашим наблюдениям (13, с. 36-46), прошедшие годы отмечены дальнейшей поляризацией стилистической направленности газетных изданий: от сугубо «строгой» до крайне «раскованной». Намечился ряд изданий, стилистически умеренных, занимающих промежуточное положение между крайними точками.

Причины стилевого расслоения газет прошлого десятилетия М.В. Панов видит в различной их функции, что находит отражение и на языковом уровне. Очевидно, что в современной газетной публицистике эта тенденция развивается в сторону все большей специализации изданий. Язык газет варьируется в зависимости от целого ряда неязыковых факторов, обусловленных преобладанием в языке современной публицистики воздействующей функции над функцией информативной.

Воздействующая функция на передний план коммуникации выдвигает фигуру адресата: его возрастные и половые особенности, социальные, экономические и политические приоритеты и пристрастия, которые издания, ориентированные на определенный круг читателя, стараются учесть и на языковом уровне. Газеты, «говоря» языком потенциального получателя информации, становятся для него «своими», то есть понятными и достойными доверия. Например, для газетных изданий, оппозиционных нынешним властям, характерен всплеск инвективной лексики и откровенной брани (6), молодежные газеты легко «опознать» по соответствующему сленгу и обилию просторечно-разговорных конструкций и так далее.

По замечанию М.В. Панова, для газетной публицистики конца 80-х годов был свойствен нейтральный стиль, слегка окрашенный разговорностью (4, с. 11). В языке современной газетной публицистики, особенно тех изданий, которые отличаются «языковой раскованностью», наряду с нейтральной лексикой соседствуют разговорные, просторечные, грубо-просторечные, а нередко и обценные языковые единицы (13, с. 41). Последние выполняют не только инвективную функцию (оскорбить, унижить, опорочить адресата речи). По замечанию исследователей, они могут сигнализировать о принадлежности говорящего к «своим», показывают, «каким свободным, раскованным, «крутым» является говорящий»; делают речь более эмоциональной; разряжают психологическое напряжение (6, с. 29).

Распространение разговорно-просторечных языковых элементов в сфере массовой коммуникации является объективной реальностью, обусловленной рядом причин. Во-первых, нормативность стилистического узуса отличается от общей культурно-речевой нормы и допускает регулярное взаимодействие литературных и нелитературных пластов для достижения выразительности (оказания планируемого автором воздействия на адресата). Следовательно, использование в газетно-публицистических текстах просторечно-жаргонной речевой стилистики можно рассматривать как одно из проявлений этой нормы.

Вторую причину стилистического «газетного» сдвига от нейтральной речи к разговорной М.В. Панов видит в новом отношении современного общества к понятию «языковая норма». Если в 30-60-х годах к норме относились как к запрету, то с середины 70-х годов норма расценивается как выбор какого-либо языкового варианта в зависимости от целей и условий общения (4, с. 27). Изменение нормативных приоритетов в обществе позволило, например, Ю.Д. Апресяну в основу классификации языковых аномалий положить способ их возникновения в речи. Его типология, иллюстрируемая газетно-журнальными материалами конца 80-х годов, представляет собой «многократно пересекающиеся классы в виде строго упорядоченного иерархического древа» (1, с. 51), в основании которого лежат намеренные и ненамеренные аномалии. Первые возникают по воле автора и выполняют какие-то полезные функции, а вторые появляются независимо от его желания и делятся исследователем на деструктивные (невольные или нерегулярные языковые ошибки) и конструктивные (типичные), которые Ю.Д. Апресян расценивает как «принципиально перспективные факты», способные выступать точками роста «новых явлений, источником обновления и развития языка» (1, с. 63-64).

Опираясь на суждения М.В. Панова, авторы коллективной монографии «Русский язык конца XX столетия (1985-1995)» (М., 1996) отмечают, что «события второй половины 80-х — начала 90-х годов по своему воздействию на общество и язык подобны ре-

волюции», так как резко расширяется состав участников массовой и коллективной коммуникации; с устранением цензуры и автоцензуры люди начинают говорить и писать свободно, в том числе в газетах и журналах; возрастает личностное начало в речи; возрастает диалогичность разных форм общения; расширяется сфера спонтанного общения, в том числе и устного публичного; меняются ситуации и жанры общения в разных сферах коммуникации; появляются новые средства выражения; раскованность, раскрепощенность говорящих действует на все механизмы языка и т.п. (9, с. 12-14).

В свою очередь И.А. Стернин, давая определение современному русскому публицистическому дискурсу, отмечает, что «основными факторами, обусловившими изменения в русском публицистическом дискурсе последнего десятилетия, являются концептуальная, оценочная и языковая свобода» (11, с. 17). В результате можно отметить несколько тенденций в развитии языка современных средств массовой информации: снижение стандартизованности по форме и содержанию; плюрализация публицистического дискурса; расширение публицистической проблематики; увеличение доли критических и резко критических материалов; «орализация публицистики» (от англ. oral — устный) и т.д. (11, с. 17-24). Особенного внимания заслуживают собственно языковые изменения публицистического дискурса, к которым можно отнести увеличение доли оценочной, сниженной, разговорной, просторечной, сленговой и жаргонной, а также вульгарной и даже нецензурной лексики и фразеологии; «иронизация» публицистического дискурса; эмоциональность и образность как характерная примета публицистики; стилистический динамизм, проявляющийся через сочетание резко контрастных стилистических элементов (11, с. 18).

Говоря о свободе слова как проявлении политической свободы в обществе, И.А. Стернин отмечает, что «подавленная ранее тоталитарным государством активность большинства членов общества в период реформирования страны нашла взрывной выход, что привело не только к активности (деловой и политической), но и к выбросу у части общества агрессивности и грубости, ... вызывающего, неконтролируемого поведения» (11, с. 5).

Агрессивность и грубость определенной части общества нашли свое отражение в языке современной публицистики, поскольку средства массовой информации в силу своей популярности и мобильности, наиболее отчетливо и быстро отражающие изменения, происходящие в наше время во всех сферах языка, оказывают влияние на повседневную речь и отражают ее особенности (9, с. 10).

По замечанию исследователей (14), газетно-публицистические тексты в современных условиях ориентированы не столько на выполнение информативной функции, сколько на борьбу за умы и сердца читателей, то есть на воздействие. В природе узально-стилевого комплекса, определяющего стилистическое своеобразие современных публицистических текстов, содержатся все негативные и позитивные тенденции формирования их стилис-

тического узуса, которые, в зависимости от условий и целей общения, при создании текста разветвляются в том или ином направлении. Очевидно, с позиций стилистики, тексты с преобладанием оценочной, сниженной, разговорной, просторечной, сленговой и жаргонной, а также вульгарной и нецензурной (обсценной) лексики и фразеологии представляют собой реализацию негативной тенденции формирования стилистического узуса газетного текста, которая в итоге ломает привычные рамки газетной речи и переходит в речь бранно-разговорную. Носители языка, в свою очередь, тонко чувствуют грань общественно допустимого высказывания, поэтому выход за его пределы фиксируется воспринимающей стороной и служит поводом для конфликта — например, для возбуждения судебного иска.<sup>2</sup>

Таким образом, тенденция к злоупотреблению пейоративно окрашенной лексикой и фразеологией с целью реализации коммуникативного (экспрессивного) задания формирует в современной публицистике особую разновидность текстов — тексты, содержащие агрессию, провоцирующие конфликт.

Тексты, негативно воздействующие на читателя, плодотворно изучаются учеными кафедры психолингвистики Московского государственного лингвистического университета под руководством доктора филологических наук профессора В.П. Беянина (15). В частности, Е.А. Репина пишет о существовании *агрессивного* типа текста, создаваемого за счет неосознанного употребления говорящим или пишущим «агрессивно окрашенной лексики»: «Если человек склонен к агрессивному типу поведения, это не может не отразиться в его языке» (17, с. 1-3). Она же называет в качестве отдельного типа текста текст *эпатажный* (или *адресный*), отражающий «противостояние, конфликт автора с внешним миром, цель которого — не столько показать себя, сколько вызвать некоторую реакцию у тех, кто это читает» (8, с. 1-3).

Свою типологию инвективных текстов предлагает С.В. Сыпченко, выделяя на основе такие разновидности текстов (12).

Учитывая словарное значение слова конфликт: «Столкновение противоположных сторон, мнений, сил; серьезные разногласия, острый спор» (10, с. 96), считаем возможным, с позиций коммуникации, называть подобные тексты *конфликтогенными*. Несмотря на очевидные различия в типах текстов, объединенных этим понятием, можно, тем не менее, указать основные признаки, характеризующие конфликтогенные тексты в целом.

Это, во-первых, скрытая или явная установка автора на создание конфликтной ситуации, реализующаяся через выбор коммуникативной стратегии (цели) и тактики (способа достижения цели) речи. По утверждению О.С. Иссерс, «речевая коммуникация — это стратегический процесс, базисом для него является выбор оптимальных языковых ресурсов. Передача сообщений в процессе коммуникации может быть рассмотрена как серия решений говорящего. Большинство из них принимается неосознанно, автоматически, однако ряд ситуаций тре-



бует осознанного поиска» (З, с. 10). Последнее, по всей видимости, можно отнести к сфере газетной публицистики, для которой характерен подготовленный (т.е. осознанный) отбор стилистических средств для реализации коммуникативного (экспрессивного) задания, хотя, по нашим наблюдениям, в этой сфере встречаются разные виды коммуникации: прямая, непрямая<sup>3</sup>, латентная.

Во-вторых, для конфликтогенных текстов характерна определяющая роль автора в отборе стилистически окрашенных средств, а также его ориентация на читателя как заказчика и потребителя авторской продукции.

Известно, что выразительность текста с позиций адресата рассматривается как получение дополнительной информации об авторе: его социальном статусе; политических, идеологических и прочих пристрастиях; его психофизиологических особенностях, уровне его языковой и общей культуры; эмоциональном состоянии и т.п. Способность любого текста (в том числе и публицистического) отражать особенности личности автора может использоваться им для передачи читателю не только такой информации, которая отражает предмет речи, но и некой скрытой информации, которая в публицистическом тексте, ориентированном на массовое восприятие, может быть предназначена разным категориям читателей. Иногда передача такого типа информации в конфликтогенном публицистическом тексте осуществляется независимо от желания автора, поскольку реализует неосознанные авторские намерения.

Иллюстрацией данных соображений может служить результат интерпретации с позиций адресата небольшого отрывка конфликтогенного текста «Энгельс хотел провалиться сквозь землю» («Neue Zeit» / «Новое время», 1998, № 41)<sup>4</sup>, на основании которого журналисту был предъявлен иск о причинении морального ущерба личности «героини» статьи: «... Сомневаюсь, что Ольга Щ., лаборант пивзавода, криком прерывающая выступавших, старавшаяся превратить собрание в базарную склоку, жила когда-либо в лучшем колхозе. Беда сейчас везде — и она общая. Странно было слушать обвинения в адрес руководителя колхоза из уст сытой лаборантки теплого местечка, упакованной в кожу. Хотелось услышать мнение доярок, механизаторов, зоотехника. Честное мнение, а не фальшивый, провокационный и откровенно безграмотный фарс истеричной особы, пытавшейся заострить внимание собрания только на проблемах конкретного пивзавода. Кстати, подтверждением неискренности рьяной оппонентки стало выступление главного экономиста колхоза Ф., который дал негативную оценку работе пивзавода, вскрыв факты вывоза с территории предприятия неучтенных емкостей с пивом. Ответом Щ. стала вылазка на сцену. Снять ее с ораторского подиума удалось только с легкой руки представителя управления сельского хозяйства района... Грамотно и тактично осадив даму, он переревел собрание в рабочее русло...».

Предлагаем первый вариант интерпретации: «Трудности, с которыми сталкивается колхоз, есть у всех. Однако понять это может лишь «труженик», «свой», а

именно тот, кто живет здесь давно и занимается тяжелым физическим трудом. «Чужой», под которым мыслится человек умственного труда «с чистыми руками», возможно, недавно сюда переехавший, не только не сможет правильно оценить ситуацию, но и не имеет права обвинять руководство, поскольку «хорошо пристроился» (*сытая лаборантка теплого местечка, упакованная в кожу*). Следовательно, выступление «чужого» — это каприз, фарс, спектакль — незаконное и противоправное действие, которое «своими» осуждается». Таким образом, интерпретация с позиций адресанта позволяет выявить замысел автора: он состоит в противопоставлении автора и тех, от лица кого он говорит, субъекту речи по принципу «свой — чужой», который, очевидно, вытекает из устойчивого стереотипа сознания о разнице между умственным и физическим трудом и т.п.

Вторая интерпретация вытекает из первой и строится на желании автора, который тоже занимается умственным трудом, отождествить себя с «тружениками»: я с вами, я понимаю ваши проблемы, я осуждаю «чужого», чтобы вы считали меня «своим».

Третья возможная интерпретация: я «свой», я понимаю ситуацию правильно (*«Беда сейчас везде — и она общая»*), я на стороне руководства колхоза, я не позволю «чужим» критиковать его работу, но и «свои» могут лишь высказать «честное мнение», не больше и т.д. Предполагаем, что вторая и третья интерпретации, извлекаемые адресатом из текста, отражают наиболее скрытые (латентные) авторские интенции, подчас самим автором не осознаваемые.

Конфликтогенность данного текста, таким образом, проявляется как на уровне плана содержания, что ярко иллюстрируется предложенными интерпретациями, так и на уровне плана выражения. Так, выделенные в следующем далее перечне языковые единицы были расценены «героиней» публикации как оскорбительные: **превратить собрание в базарную склоку; странно было слушать обвинения в адрес руководителя колхоза из уст сытой лаборантки теплого местечка, упакованной в кожу; фальшивый, провокационный и откровенно безграмотный фарс истеричной особы; неискренность рьяной оппонентки; вылазка на сцену; снять ее с ораторского подиума; осадив даму.**

Причина этого, на наш взгляд, не только в том, что они эмоционально окрашены, то есть передают душевное переживание, волнение пишущего, но и отражают в речи эмоциональное (негативное) отношение автора к описываемому, вызванное сложившимся мнением о предмете высказывания, иначе — **эмоциональную оценку** «героини» текста. В данном случае эмоциональная оценка имеет ярко выраженную пренебрежительно-сниженную окраску, так как создается на основе стилистически окрашенных языковых элементов.

С одной стороны, это **пейоративная лексика**: *склока, фальшивый, провокационный и откровенно безграмотный фарс, неискренность, рьяной, теплое местечко (доходная служба), вылазка*; с другой, — **разговорно-просторечная**: *базарная, сытая (жи-*

вущая в достатке), *снять* (убрать), *осадить* (одернуть), *оппонентка* (оппонент) и др.

Данные языковые единицы, будучи стилистически окрашенными, воспринимаются субъектом речи как оскорбительные именно потому, что они употреб-

лены публично и носят субъективно-оценочный характер. Таким образом, они размывают газетно-публицистический стиль, приближая его к бранно-разговорной разновидности, что, в конечном итоге, и приводит к конфликту.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

1. О воздействии названных социальных факторов на развитие современного русского языка см.: 10.
2. Из потребностей практики, в частности необходимости решения ряда проблем, возникающих на пересечении лингвистики и юриспруденции, возникла новая отрасль лингвистического знания — юрлингвистика, успешно развиваемая коллективом «Лаборатории юрлингвистики и развития речи» Алтайского государственного университета (г. Барнаул) под руководством доктора филологических наук профессора Н.Д. Голева. См., например, работы Н.Д. Голева и других исследователей в сборниках «Юрлингвистика-I. Проблемы и перспективы» (Барнаул, 1999) и «Юрлингвистика-II. Русский язык в его естественном и юридическом бытии» (Барнаул, 2000).
3. О явлении непрямой коммуникации см.: 2.
4. Место издания газеты «Neue Zeit» / «Новое время» — Немецкий район Алтайского края.

#### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Апресян Ю.Д. Языковые аномалии: типы и функции // RES PHILOLOGICA. Филологические исследования. — М.-Л., 1990.
2. Дементьев В.В. Непрямая коммуникация и ее жанры. Саратов, 2000.
3. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи: Монография. — Омск, 1999.
4. Панов М.В. Из наблюдений над стилем сегодняшней периодики // Язык современной публицистики. — М., 1989. — С. 4-27.
5. Политика и PR // Психоллингвистика. 2001. / <<http://www.psycho.ru>>.
6. Понятия чести и достоинства, оскорбления и ненормативности в текстах права и средств массовой информации. — М., 1997.
7. Репина Е.А. Агрессивный текст как тип текста // Психоллингвистика. 2001. / <[www.psycho.ru](http://www.psycho.ru)>.
8. Репина Е.А. Эпатажный текст как тип текста // Психоллингвистика. 2001. / <[www.psycho.ru](http://www.psycho.ru)>.
9. Русский язык конца XX столетия (1985-1995). — М., 1996.
10. Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А.П. Евгеньевой. — М., 1981-1984.
11. Стернин И.А. Общественные процессы и развитие современного русского языка. — Воронеж-Пермь, 1998.
12. Сыпченко С.В. О типах инвективных текстов как объекте лингвистической экспертизы // Юрлингвистика-II. Русский язык в его естественном и юридическом бытии. — Барнаул, 2000. — С. 248-249.
13. Чернышова Т.В. Узуально-стилевой комплекс как механизм порождения инвективного высказывания в сфере газетной публицистики // Юрлингвистика I. Проблемы и перспективы. Межвузовский сборник. — Барнаул, 1999. — С. 138-144.

## МАНИПУЛЯТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ КАК СРЕДСТВО ГАРМОНИЗАЦИИ ОБЩЕНИЯ В РАМКАХ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА

Е.С. Попова  
Екатеринбург

В современной лингвистической науке понятия **стратегии** и **тактики** применяются достаточно широко и активно в связи с речедейательностным аспектом (1; 2; 8; 3; 9; 5; 4; 7; 6 и др.). Чаще всего, **стратегия** понимается как сверхзадача, идущая от адресанта, направленная на достижение коммуникативной или практической цели и рассчитанная на определенный эффект. Стратегия заключается в умении моделировать ситуацию с помощью «доступных средств и методов» с целью достижения необходимого результата. Поэтому в этом понятии во главу угла ставится победа, которая понимается как «результативное воздействие на слушающего, как трансформация его модели мира в желательном для говорящего направлении» (6, с. 70).

Достижение поставленной цели осуществляется через решение определенной совокупности задач, то есть через использование целого ряда тактик. **Тактика** понимается нами как некое речевое действие, направленное на решение одной задачи в рамках одной стратегической цели.

Следование стратегической цели заставляет адресанта «не только отбирать определенные факты, но и давать их в определенном освещении, то есть заставляет соответственно организовывать речь, обуславливает композицию и характер языковых средств» (7, с. 160). Получается, что стратегия задает угол зрения на предмет речи, сознательно ограничивает возможный объем информации и отбор языковых средств. Все это обусловлено стремлением достичь максимального результата.

Кроме того, она предполагает «отбор фактов и их подачу в определенном освещении с целью воздействия на интеллектуальную, волевою и эмоциональную сферу адресата» (2, с. 86). А итогом должно стать решение совершить действие, то есть стратегия имеет своей целью достижение перлокутивного эффекта, который представляет собой конкретный результат речевого воздействия. Если желаемый результат был достигнут, значит была выбрана эффективная стратегия для достижения поставленной цели.

Таким образом, выстраивается следующая последовательность действий:

**Цель → Стратегия → Тактика → Результат**

При формировании стратегии прежде всего происходит оценка адресантом ситуации общения, для того чтобы в существующих объективно условиях получить положительный результат, то есть добиться своей цели.

Перед рекламой стоит одна цель — продать товар / услугу. Читатель / зритель (потенциальный потребитель) хорошо осознает эту рекламную цель и понимает, что любое рекламное объявление стремится навязать ему покупку рекламируемого товара. Это вызывает негативное, предвзятое отношение ко всей рекламе. Но естественно, что товар необходимо продавать, чтобы развивать рынок и т. д., а реклама должна этому способствовать. Следовательно, рек-

ламист должен выбрать такую стратегию, которая подтолкнула бы адресата к покупке рекламируемого товара, несмотря ни на что. Для этого необходимо изменить отношение потребителя к рекламируемому товару / услуге от негативного (или нейтрального) к позитивному, создать у потребителя положительный эмоциональный настрой на покупку.

Таким образом, автор рекламного текста, стремясь добиться практической рекламной цели (продать товар), которая хорошо осознается адресатом и оценивается им негативно, использует **манипулятивную стратегию**, которая направлена на снятие такого критического восприятия адресатом текста и формирование у него положительного эмоционального настроения по отношению к рекламируемому товару. При этом читатель / зритель осознает цель рекламы, но не ее стратегию, которая совершается незаметно и не манифестирована в речевой ткани текста, но призвана в конечном итоге побудить адресата к покупке рекламируемого товара. Именно это положение (скрытость стратегии) позволяет нам определить стратегию в рекламном тексте как манипулятивную. Стратегия здесь проявляет себя как «план комплексного речевого воздействия, которое осуществляет говорящий для «обработки» партнера» (6, с. 102).

Как отмечает Я.Т. Рытникова, «человеческое бытие и общение как его важную составляющую определяют две тенденции: во-первых, притяжение и гармонизация, унисон в рамках национально-культурной нормы и, во-вторых, разъединение, противопоставление (8, с. 97). В соответствии с этим выделяется два типа стратегий: **гармонизирующая** (установка на других) и **дисгармонизирующая** (установка против других, на себя). Рекламная манипулятивная стратегия с этой точки зрения оценивается как **гармонизирующая**, направленная на достижение близости между адресантом и адресатом. В этом проявляется настрой на толерантное общение в рамках рекламного текста: автор стремится приблизить, расположить к себе читателя / зрителя, завладеть его вниманием. Как именно это происходит, рассмотрим на примере двух наиболее частотных манипулятивных тактик.

**Манипулятивная тактика «Подмена целей»** заключается в том, что в рекламном тексте акцент переносится на выгоду адресата. В рекламе товар показывается в лучшем свете, во всем своем блеске и указываются его преимущества для потребителя, то есть приобретение этого товара оказывается выгодным только для адресата (а адресант, как будто бы, ничего с этого не имеет). Таким образом акцент переносится на выгоду адресата, а на самом деле выгоду от продажи рекламируемого товара извлекает, чаще всего, только адресант. Но он создает иллюзию своей заботы о выгоде потребителя («забывает» о себе, о своих интересах). Интересы адресанта маскируются (не обозначены открытым текстом), и на первый план как бы выдвигаются интересы адресата. Самые яркие примеры:

*Эксклюзивные окна и двери из Финляндии.  
Всегда в твою пользу!*

\*\*\*

*У нас цены назначает сам покупатель.*

*Особенно популярно в рекламе обещание снизить цену для покупателя, готовность ее снизить, как будто ее размер зависит только от воли потребителя:*

*А если в другом магазине Вам предложили цену ниже нашей, скажите, и мы сделаем наш товар еще дешевле.*

\*\*\*

*Вам предложили цену ниже — Вы можете купить по этим ценам у нас и получить материала на 10 % больше!*

\*\*\*

*Для Вас наши цены будут еще ниже.*

\*\*\*

*Если Вы найдете дешевле,  
то мы продадим вам еще дешевле*

\*\*\*

*Если найдете дешевле, то мы снизим для Вас цену.*

\*\*\*

*Найдете дешевле — выплатим разницу.*

*При этом адресант всегда расположен к адресату:*

*Вас всегда ждут!*

\*\*\*

*Добро пожаловать в магазин «Теремок»!*

\*\*\*

*Мы хотим, чтобы Вы улыбались!*

\*\*\*

*Приходите — выучим!*

\*\*\*

*Приходите к нам в гости, и  
Вы действительно поверите в чудо!*

\*\*\*

*Приходите! Покупайте!  
И про нас не забывайте!*

\*\*\*

*Приходите. Выбирайте.  
Торопитесь. Покупайте!*

\*\*\*

*С нами Вы можете заработать!*

\*\*\*

*От нас невозможно уйти без покупки!*

\*\*\*

*Мы не предлагаем того, чего не купили бы сами!*

\*\*\*

*Мы осуществим Вашу мечту!*

*Адресант всегда рад адресату:*

*Мы рады предложить!*

\*\*\*

*Приходите, мы рады вас обслужить!*

\*\*\*

*Мы рады видеть Вас вновь!*

\*\*\*

*Мы Вам всегда рады!*

\*\*\*

*Мы рады вам, вы благодарны нам.*

\*\*\*

*Приходите в гости к нам,  
Очень будем рады Вам.*

*Создается иллюзия, что адресант подчиняется адресату, беспрекословно следует его воле. Условно позицию адресанта можно обозначить как «все для Вас»:*

*Для Вас — бесплатная годовая гарантия!*

*Для Вас — доставка в любую точку города!*

*Для Вас мы работаем с 10 до 18.30 без перерывов и выходных!*

Следующая **манипулятивная тактика** — это «**Надевание маски адресантом**». Поведение автора рекламного текста строится на устранении социальных дистанций в общении с читателем / зрителем, то есть на стремлении к солидаризации. В тексте адресант занимает определенную позицию. В данном случае позиция равнозначна «маске», которую надевает на себя адресант, желая скрыть свои истинные намерения и добиться своей цели.

Так, занимая позицию **советчика**, автор пытается донести до адресата свое мнение относительно покупки того или иного товара, привести доводы в его пользу, указать причины покупки именно этого товара, указать его преимущества и достоинства, заинтересовать адресата в покупке и т.д.

Например, автор рекламного текста может посоветовать:  
*Чтоб никто не уволок,  
Лучше спрятать под замок.*

\*\*\*

*Чтобы сон твой был здоров,  
Защитись от комаров...*

\*\*\*

*Если утром съели сэнки,  
На обед — уральский крекер,  
Хлопья — в полдник не забудь,  
И на ужин сытым будь.*

Позиция **эмоционального лидера** позволяет автору эмоционально настроить аудиторию, установить благоприятную атмосферу, окружить рекламируемый товар положительным ореолом. Например:

*ДЭУ Электроникс — качество, которое Вас приятно удивит*

\*\*\*

*ДОМОТЭКС — это просто песня.*

\*\*\*

*Интернет — это баско!*

\*\*\*

*Наша цена и качество вас приятно удивят.*

\*\*\*

*Наши цены Вам понравятся!*

\*\*\*

*Наши цены Вас приятно удивят.*

Таким образом, адресант всегда находится в позиции над адресатом: всегда знает о рекламируемом товаре больше (точнее, он владеет полным объемом знаний о нем), выбирает, как его преподнести, акцентировав внимание исключительно на его положительных сторонах и т.д. Он во всем стремится достичь своей цели, которая и побуждает его к созданию объявления: создать спрос на рекламируемый товар, заставить адресата (потенциального потребителя) его купить.

При этом вклады партнеров в процесс общения неравноценны: по отношению к адресату рекламного текста мы говорим только об обратной связи. Адресант прогнозирует в адресате определенный образ, ориентируясь на общий фонд знаний (культурных, социальных и др.), и создает его некий **типизированный образ**. В этом конструировании образа проявляется обратная связь: адресант

учитывает присутствие адресата, его психологические особенности и вероятную реакцию на предлагаемую информацию. Смысл этого заключается в стремлении повысить эффективность воздействия.

Адресант рекламного текста должен хорошо представлять себе потенциального покупателя, того воображаемого собеседника, с которым ведет разговор реклама, а для этого ему необходимо:

- знать о нем больше как о социальном типе;
- понимать мотивы его поведения, интересы и потребности;
- отождествлять себя с ним, уметь как бы перевоплощаться в своего невидимого собеседника, становиться на его точку зрения, общаться на равных, но ни в коем случае не считать себя выше его;
- сопереживать ему, стараться помочь в решении его проблем, устранении трудностей, содействовать этому по мере своих сил.

Образ предполагаемого адресата всегда присутствует в рекламе как необходимый элемент успешного акта коммуникации. Благодаря этому адресант, меняя маски, переводит рекламную ситуацию («купи-продажи») в другую плоскость (дружеского общения). Он все «стремится» сделать для того, чтобы адресату было лучше (играет роль помощника). Благодаря этому он во многом снимает критичность восприятия рекламного текста.

Таким образом, мена «масок» адресантом в тексте рекламного объявления выполняет несколько функций:

- 1) ↓ расположить адресата к себе и к рекламируемому товару;
- 2) ↓ снять критичность восприятия;
- 3) ↓ заставить купить товар.

Необходимо отметить, что понятия «гармоничный ↔ дисгармоничный» можно соотнести с понятием «эффективный ↔ неэффективный» (10, с. 273). Таким образом, гармонизация общения обеспечивает его эффективность и достижение поставленной цели. Именно это учитывается при формировании манипулятивной стратегии, которая рассчитана на создание атмосферы толерантного общения адресанта и адресата рекламного текста.

Можем ли мы в этом случае однозначно оценивать толерантность как положительное явление? Отметим, что существует два вида толерантности: естественная, идущая изнутри, и показная, поверхностная. При манипуляции толерантность будет именно «поверхностной», характерной не для внутренней сути рекламы, а подстроенной под манипулятивную стратегию в тексте и подчиненной, следовательно, общей рекламной цели. Таким образом, **толерантность** в рекламе выступает не как сущностная, а как «поверхностная» характеристика: приспособление к другому проявляется как сознательная установка адресанта. Истинная цель его состоит не в том, чтобы гармонизировать общение, а чтобы добиться сугубо практической рекламной цели, связанной с интересами адресанта и расходящейся с желанием адресата.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Борисова И.Н. Дискурсивные стратегии в разговорном диалоге // Русская разговорная речь как явление городской культуры. — Екатеринбург, 1996. — С. 21-49.
2. Борисова И.Н. Категория цели и аспекты текстового анализа // Жанры речи: Сборник научных статей. — Саратов, 1999. — С. 81-97.
3. Городецкий Б.Ю. От лингвистики языка — к лингвистике общения // Язык и социальное познание. — М., 1990. — С. 39-56.
4. Демьянков В.З. Конвенции, правила и стратегии общения (интерпретирующий подход к аргументации) // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. — 1982. — Т. 41. — №4. — С. 327-337.
5. Зернецкий П.В. Лингвистические аспекты теории речевой деятельности // Речевое общение: Процессы и единицы. — Калинин, 1988. — С. 36-41.
6. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. — Омск, 1999.
7. Одинцов В.В. Композиционные типы речи // Кожин А.Н., Крылова О.А., Одинцов В.В. Функциональные типы русской речи. — М., 1982. — С. 160-182.
8. Рытникова Я.Т. Гармония и дисгармония в открытой семейной беседе // Русская разговорная речь как явление городской культуры. — Екатеринбург, 1996. — С. 94-115.
9. Сухих С.А. Речевые интеракции и стратегии // Языковое общение и его единицы. — Калинин, 1986. — С. 71-77.
10. Шалина И.В. Коммуникативно-речевая дисгармония: ее причины и виды // Культурно-речевая ситуация в современной России. — Екатеринбург, 2000. — С. 272-287.

# ГОЛОСА ВРЕМЕНИ. Т.С. ФИСЕНКО

- 1/ Т.С. Фисенко / Ставрополь / **Дневники 70-80-х годов**
- 2/ К.Э. Штайн, Р.М. Байрамуков / Ставрополь / **Нравственные императивы художника Татьяны Фисенко**

## ДНЕВНИК ХУДОЖНИКА

Т.С. Фисенко  
Ставрополь

1974 год.

13, январь, воскресенье.

*«Беспредельный, неуслынный труд, ясное сознание своих сил, добровольное самоуничтожение и вечная вражда к заносчивости, к раннему самоудовлетворению и к лени, как естественному следствию этого самоудовлетворения».*

(Ф.М. Достоевский)

Жить как должно — страшно трудно, но и радостно. Помнить, помнить, помнить!

19, январь, суббота.

Несколько дней была в приятном заблуждении, радостной. Теперь рассеялось и стало понятно — заблуждение. Радость исчезла, появилась печаль и грусть. Да, грустно находиться в таком положении... Сейчас много думаю и даже считаю, где-то внутри и с маленькой гордостью, что я умна. Да, я стала гораздо умнее, ощущения полнее, жизнь воспринимаю глубоко, но не могу дать направления всем своим переживаниям, мыслям.

Все варится и варится что-то внутри меня, и сама не понимаю, не могу разглядеть ЧТО. Хотя бы вся эта внутренняя работа во что-то воплотилась.

Мой Бог, помоги мне!

Хорошо в книге сказано: «Воля, воля, которая без передышки!»

20, январь, воскресенье.

Сегодня была на ярмарке. Красивые люди и почему-то жаль их. Жаль и то, что они заблуждаются, жалко вообще человека.

Сколько я сегодня растратила внутреннего на пустяки ничтожные. Что же это ты? Прощаешь себе много.

Вообще дневник — ложь, красноречие, фарисейство. А я — эгоистка.

Одиноко мне. Никого не люблю. Закончила натюрморт, тоже — дрянь. Вообще, врешь, наверное, — ЕГО ты любишь. Думаешь о нем. Да, думаю, ценю, уживаюсь, трепещу, печалюсь. Ну что от этого? Одна лишь большая грусть. Зачем мне такая любовь? И так много грусти от всех моих дум. Страшно: трезво видеть и жить. Трезво жизнь видеть.

«Ярмарка!» Я думала, что так прочувствовала ее, что стоит взять карандаш, и...

Остановка. Хочу передать так много, так много своих переживаний, впечатлений, размышлений, свое понятие о человеке, жизни, что не знаю, с чего начать, хотя вижу, вижу кусками. А в целом не сплелу. Никак. Обдумываю так.

Центр — (хотя нарисован сбоку и отрезок) — задумавшийся человек. От него луч взгляда — мальчишка везет, оглядываясь, игрушечного коня; его (мальчишку) держит сгорбленный старик за руку и тоже идет, опустив голову. (Начало и приближение к концу — это грушка.) Около них — радостная сценка: баба продает игрушки, разные, разукрашенные (в народном духе), и глиняные свистульки; мальчишка хочет купить свисток и выбирает лучший — свистит, надует щеки.

Неподалеку лошадка с задумчивой мордой жует сено. Дальше орнамент ковра с цветами-дубками.

Еще сценка: дед продает рыбки; мальчишки, девочки смотрят, с ними же с детским выражением на лице разглядывает рыбок подошедший старик, согнувшись и оперев руки о колени (контраст старости и молодости и единство. Путь человека).

Вообще хочется столкнуть игрушечное и настоящее (нет, не игрушечное), переплести правду с вымыслом так, чтоб много, много чувств вызвала эта работа. Калейдоскоп. Ее можно рассмотреть... Нет, не могу. Не могу я описать, что хочу вложить. Нет, знаю — Душу. А Душа сейчас у меня такая сложная, запутанная, и хорошая и плохая, и сильная и слабая, и порочная и чистая.

Буду думать.

Ложусь спать.

Да. Вот так точнее: «Воля и воля, которая не должна давать себе передышки».

23, январь, среда.

В отчаянии — теряешь силы, но и очищаешь дух от вредного самообмана. Лишь бы не падать и верить. Верить себе — это для меня теперь главное.

10, февраль, воскресенье.

Какие сегодня на ярмарке люди! Какие великолепные, просто диво! Цыгане; весь сгорбленный, уже старик, а лицо! Сколько достоинства, спокойствия, хитрого ума; нос, глаза, борода — просто прелесть!

А дед около рыбок! До чего ж красивые лица. Такое впечатление, что все пороки, страсти исчезли и на лице одна мудрость. Глаза, глубоко сидящие, голубые; повисшие лохматые брови, лицо в морщинах, нос крепкий, видный и детская заинтересованность рыбками. Господи! Как я люблю за это людей, за их доброту и детскость. Так что не хандрить тебе надо, а работать, работать, чтоб все свои чувства, весь восторг можно было выплеснуть с пылающим сердцем на холст. Ради этого стоит жить.

12, февраль, вторник.

Если в науке теперь ученого формирует (я имею в виду в духовном отношении) не только наука, но и коллективный труд (и это, именно коллективный труд, также очень сильно формирует личность и заряжает творческой энергией), то в искусстве делается упор не на коллективный труд (в этом я убеждена), а на внутреннее я. Насколько способна вместить душа человека впечатлений и переболеть ими.

Разумеется, и коллективный труд не исключен, важен, но не на него упор, а на «я», о котором каждый настоящий художник должен заботиться, должен **беспоощадно воспитывать**.

Многие теперь этого не понимают (судя по выставкам, журналам, судя и по писателям, что запрудили книжные прилавки бумажным хламом), и делают упор на коллективный труд, а получается — «держат нос по ветру». Поэтому художнику трудно. Потому, что он должен быть к самому себе беспо-

щадным судьей. Уметь самому видеть все. Пока не ясно сказала, не емко, знаю.

**18, февраль, понедельник.**

Что ты за чудо! Как я люблю тебя! Все, все люблю я. Спасибо всему великому человечеству, что заставляет так широко, восхищенно и влюбленно смотреть на этот невыразимо прекрасный мир! Как прекрасна «Колыбельная» Мануэля де Фальи! Спасибо тебе, дорогой человек, за твою прекрасную печальную нежность.

Ежедневно, ежедневно иди к прекрасному. Забудь все будничное и ничтожное!

«Пусть, что именуется жизнью, будет принесено в жертву искусству!» Что такое искусство? — Любовь! А любовь? — Жизнь!

**23, февраль, суббота.**

«Без страсти, при любых способностях, толку не будет», — хочу повторить еще раз для себя.

К совершенству себя нужно идти теперь, сейчас, не медля, не дожидаясь всеобщего движения, которого (не хочу сказать, вообще не будет), а при жизни своей не дождешься. **Видеть себя все время.**

Сколько, думаю, ничтожного, фальшивого, безобразного в жизни. Но еще больше — прекрасного, возвышенного, неизведанного! Мучает вопрос — художник ли я? **Рождена?**

Или просто это тоска по прекрасному, утешение себя? Если не рождена, то как тогда ничтожна моя жизнь, как я тогда страшно, невыразимо несчастлива! Воли нет, хромает, спотыкается, падает мой дух. Или обстоятельства? Борись. Не давай одурачить себя! Как я много иногда понимаю, а выразить еще не умею... Страдаю от этого.

И все-таки борись. Не сдавайся.

**27, февраль, среда.**

Наверное, заболела. Гадко, жарко даже глазами смотреть. Сегодня оформляли выставку; работала, аж голова кружилась, и тошнило, временами казалось, что вот-вот что-то лопнет в голове, хлынет кровь и я упаду, это ужасно; — почти такое же состояние, когда начиналось белокровие.

Дети же радовались, глядя на выставку, глаза сияли, и они бешеными конями носились у работ, хохотали, мешали.

Зато какие души чистые и невинные. Этот Геночка Ипполитов с сияющими темными глазами, Сережка Брякин, Галочка Маляренко, Танюшка Яхно, Оля Савина, Наташа Горбунова — дети, с прекрасными чистыми душами, искренние, поэтичные. Хорошо. Очищающе действуют, и себя вспоминаешь в детстве; да, прекрасная, несказанно восхитительная пора. Завидую, что я уже никогда не смогу быть в этом времени.

А «ярмарка» таким боком повернута, что вряд ли можно назвать «ярмаркой». Скорей, «городской мотив». Но душа стынет. Не это. Не нравится. Завтра буду думать. Сегодня день прожит. Плохо? — Незаметно, сумбурно, серо. Шагов вперед пока нет. Суета. Завтра...

**4, март, понедельник.**

Не спорь с недостойными людьми, не говори им горькую правду — она звучит для них оскорбительно. Боже мой! Когда я научусь жить спокойно и просто? Когда я научусь не обращать внимания на ничтожных людей!

Какая мелочная! Какая неглубокая! Как я много ошибаюсь! Как тяжело мне с ней жить... И это ведь не влияние минуты. Раньше я ей много прощала, не считая это главным. Пустяки! — говорила. А теперь вижу, что она вся — пустяк. Фу! Нехорошо.

Живу теперь еще не так, как мечтала. Господи, уже 24! Уже прошла юность, уже зрелость. Что-то начинаю понимать чуть-чуть. Так сейчас хочется тихо, как весеннему дождю, освобождаяще поплакать и вздохнуть свободно чистым воздухом. Да, быстро летит жизнь человеческая, а мы все не исправляем, а увеличиваем ошибки...

«Так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок!» Вот и дневник кончила. В нем видно, как я рвусь, путаюсь, ошибаюсь, вру, падаю, делаю попытки поднаться.

Знаю, что не так живу, серьезней нужно жить и быть беспощадной к себе, знаю. Дай Бог, чтобы я помнила это и не забывала, чтобы меня это жгло и гнало вперед.

Много я передумала, пережила за это время: и радость, застилающую глаза, и горечь, отравляющую весь мир, все существо.

Заканчивая этот дневник, хочу, чтобы девиз этот — «Каждый день жить», — который родился из той черной горечи, какую я пережила недавно, светил мне. Жить каждый день!!!

**8, март, пятница.**

Странное дело, как только начинаешь читать книги умные, так сразу растерянность берет от того, что глубже начинаешь смотреть на жизнь, видеть ее бесконечную сложность и вот перед этой сложностью — растерянность и незащитность. Как себя творить, чтобы не теряться? Пока, на мой взгляд, так:

I. Научить себя логически рассуждать.

II. Найти себя.

III. Труд непрерывный, творческий, духовный (почти одно, но духовный еще для меня другое).

IV. Чтение входит во все эти пункты и направляет и обновляет. Пока так.

Но вопрос: что делать, когда кажется тебе, что ты не для чего не рожден? Ведь тогда пасть могилы раскрывается для меня. Наверное, рождена ж для чего-нибудь стоящего. «Все силы души в одну точку устремить». **ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ВОЛЯ** — вот пока лучшие ответы этим вопросам.

Не знаю, как проник яд в мою душу, но он отравляет всю мою жизнь. Имя этому яду — неверие в мир, то есть сознание бессмысленности жизни человеческой. Страх перед Вселенной. Когда сознаешь, что Время ничего не пощадит, все превратит в пыль, Все! Тогда дикий ужас охватывает, и тогда смотришь на попытки людей прославиться и т.д. Так, словно это чудовищные безумцы. В эти



моменты становишься мертвецом живым. И тогда все, чем ты дышал, страдал, все попытки твои, одним словом, вся деятельность твоя рассматривается как обман себя. Сознательный обман! Страус, спрятавшийся от опасности. Спасать себя таким? Если ты родился человеком, то живи как Человек и знай, что все погибнет, но ничего поделать нельзя против этого ужаса, наберись мужества и брось вызов Вселенной жестами.

#### 7, апрель, воскресенье.

Я помню его. Хотя вряд ли можно назвать это любовью. «И скучно, и грустно». Эта память — баюканье себя, другая память рана сердца.

Вечер.

Натюрморт подняла, хотя не поиск, а чувство. За рисунок долго не бралась, плохо. Взялась. Интересно строить неторопливо. Изучать Врубеля. Завтра: посмотреть натюрморт. Сколотить подрамник. Рисунок. Внимательно смотреть Врубеля. Стараться понять систему.

Еще недостатки за день — тосковала. Перестань. Ты должна знать, если решилось, то жизнь твоя есть жизнь со дня на день. Трудно? Ну так что же, ты знала, что иначе и не будет, так что не смей расслабляться. Не быть телом — вот что ты должна помнить ежеминутно. Дух, только дух!

#### 9, апрель, вторник.

День прошел, а дел почти нет. Не чувствую в цвете. Хотя знаю — напряженная, тревожная, сплавленная. Да. Человеческая память... Нужно себя заставить помнить все время. Дело, дело и дело. **Это важно. Дело**, чтобы воспеть все, что чувствуешь. Семья... Это великолепно, умиротворение..., но не для меня. Я чувствую — для другого я рождена, для значительного. Только бы успеть. Суметь организовать себя и воля, стальная воля. «Фисенко пишет картины»... Глупцы! Я только начинаю смотреть шире, а картины — впереди, да, впереди! Суметь овладеть мастерством, а потом расковать себя. Безудержной буду. Помогите мне, мой Бог.

Изучать мастеров.

Что хочу сказать тебе — будь строже, серьезней, беспощадной к себе. Не забывайся. А то — фарисейство. Не забывай.

#### 10, апрель, среда.

Сколько пытаюсь рассмотреть себя, и не выходит.

Жизнь богата, и понимаешь, что рассматривать себя однозначно нельзя. Жизнь настолько разнообразна, чрезвычайно сложна, запутанна, а ты — часть ее, и в тебе, как в капле, отражается все, что творится в целом. А рассмотреть нужно. Во-первых, нужна цельность: цельность мышления, поведения, цельность натуры.

А я ужасно дробная. Хотя каждый день мысли направляешь на одно, а вот на практике нет еще могучего сплава мысли и действия.

Все пункты сегодняшние выполнены, а все-таки, как ни горько, день уходит пустым. Хотя не все сделано: не выполнен рисунок.

Но я не могу переключиться с композиции — теперь

все мысли прикованы к цвету. А рисовать просто, чтобы выполнить пункт — не хочу. Нужно уметь все же настраивать натуру свою на разную работу. Страсть... Наверное, я эклектик, эта вечная странная разочарованность внутри. Иной раз задыхаешься от восторга, готова рыдать от радости, людей очень жаль, их слабость, беззащитность заставляет содрогаться сердце; а иной раз вырастает в груди такая пустота, ледяное равнодушие к миру, что готов удавиться, так это тяжело носить внутри. Вероятно, неумение выплеснуть эти чувства заставляет страдать меня, неумение сохранить чувство цельным до конца. Вот и теперь разбился замысел на тысячи кусков. Хотя знаю, что тревогу души, поднятую жизнью, хочу выразить; весь свой смятенный мир внутренний выплеснуть, но возможно ли выплеснуть его?!

Нет...

Вчера я чушь писала — «рождена для значительного...». Боже мой! Не знаю я, что меня ожидает даже завтра, хотя знаю, что жить по-свински я не хочу, не смогу. Хочется, конечно, думать и надеяться, что не зря проживу. Не хочу быть телом. Это глупо и беспощадно тогда устроено — быть рабом своего желудка, своего благополучия. Неверие — это страшная штука. Это смерть заживо.

Нет, нужно беспощадней.

Чую, зреют во мне неведомые силы. Созреют ли или останутся недозрелыми — этого уж я не знаю.

Помню, но знаю — не то. Эх, до чего ж на тебя смешно смотреть!

«Такова жизнь...»

Мелькнула мысль — **подать сложное — просто и выразительно.**

Да, долгий, очевидно, путь будет у меня к этому.

#### 11, апрель, четверг.

Трудилась. Но разработок в цвете нет. Зато, все ж, сделала важные дела. Ах! Как коротка жизнь человеческая. День мелькнул, ничего не сделано, ни штриха, была только подготовка для работы. Да, я забываю о черновой работе, совсем не главной, но необходимой (подготовка холстов и т.д.), а на это идет уйма времени.

Читать и изучать мастеров.

#### 14, апрель, воскресенье.

Приезд друзей... Нужно ли так расплываться? Чересчур много выплеснула — и пусто. Опустошенной становишься. Нет. Нельзя. «И гной душевных ран надменно выставлять на диво черни простодушной...» Да, ни к чему.

Зависима еще оттого, что не живешь полнокровно; и они, не зная того, рушат твой с трудом завоеванный (пусть не прочно и основательно завоеванный) мир. Внутреннюю настроенность.

Мой Бог! Клянусь, что буду воспитывать свою волю. «Воля и воля, которая не давать себе передышки».

Во всех мыслях, делах.

1. Доводить намеченное до конца.

2. Уметь сохранить чувство цельным.

Вот эти два первых выполняй и каждый день пиши, что получается.

Пустоту не чтить, не нужно тумана розового.

Забыла записать — не спеши выговариваться, дай возможность высказаться человеку и пытайся понять систему его мышления. Я люблю, люблю человечество, очень люблю.

Как необыкновенно хорошо, удивительно это чувство! Как очищает эта любовь. Надо, необходимо цельно видеть Человека и не поддаваться упадку духа, знать, что упадок духа — дело временное, верить, что и после этого будет светить солнце и радовать жизнь.

Старайся жить так, чтобы мелочь не заслоняла главного и единственно нужного и для тебя, и для людей.

Так хорошо теперь и грустно отчего-то, и плакать хочется, тихо-тихо плакать.

Очень радостно, что услышала, узнала сегодня:

«Молодость — не число годов, а состояние духа!!!» <...>  
«Когда есть большая идея — есть произведение искусства, когда ее нет — есть игра словами, звуками, цветом, образами, но не искусство» (Лев Толстой).

**17, апрель, среда.**

Завтра утрясать. Работала. Читала и дочитала.

Очень глубокая и ясно, что я не могу широко смотреть. Попробовать читать произведение Камю. Это надежнее, и книгу быстрее пойму.

Как никогда нахожусь у столба «Трех дорог» и не знаю, куда свернуть. Эта неизвестность, незнание жизни окончательно меня замучили и сделали несчастной. Задумываю ли какую-нибудь композицию, дышу ею — завтра она кажется бесплодным занятием. Чего же ищет мой разум? Пластической красоты?

Нет. Я жажду жизнь узнать, людей, себя, и этому поиску должно помогать искусство. Так ли рассуждаю теперь? Не задача ли это философии? литературы?

Но странно! Я чувствую, что язык там мой нем, но и искусство совсем не уступчиво.

Я не хочу играть «образами», я чувствую в себе мучительную потребность узнавать мир; как плохо, что нет учителя, который поддержал мои хотя бы первые шаги. Как мне жить? Я не хочу, чтобы поток жизни нес меня, как негодную щепку, и прибывал бы меня к каким вздумается берегам.

О! болотная полоса моей жизни, когда кончишься? Когда прозрачно стану смотреть?

**19, апрель, пятница.**

Я знаю, почему мне теперь тяжело. Композиция идет по шаблону, не обогащаясь жизнью.

И когда я перемену обстоятельства? Когда по-настоящему займусь искусством? Тяжело ощущать то, что жизнь течет бесплодной, схематичной, убийственно бездарной. Все-таки нужно что-то делать, что-то изменять, не покоряться.

**29, апрель, понедельник.**

Опять упадок духа. Неверие в себя, страх перед жизнью, отчаяние. Надо учиться этому «трудному ремеслу» — жить. Самое ужасное в моем положении — это какая-то безвыходность. Ничего не наладится, если не переменить обстоятельства. А я не в силах это сделать. Нужен теперь воздух творчества, а его нет, и я задыхаюсь.

Тебе нужно учиться писать шрифты, чтобы подготовиться.

Написала письмо, которое, наверное, не отправлю.

**4, май, суббота.**

Загадочное существо — человек. Непостижимое.

Интересно мне и мучительно: для чего я живу?

Для семьи не рождена, жизнь не понимаю, мучаюсь, страдаю отчего-то, а отчего? Что мне такое нужно от жизни?

Написала — жизнь не понимаю... Не совсем верно. Такой, какой я ее вижу — мой внутренний дух ее не приемлет. Нет. А по-новому взглянуть нет еще сил.

Композиция «Городской мотив». Что это, схема моих чувств? Веры нет, веры нет во все. Разве не трудно, не тяжело тогда жить?

Нас все время воспитывают, начиная со школьной скамьи (ошибаюсь, с колыбели) и кончая старостью, смертью. Взрослых нас воспитывают великие художники. А кто они такие? И вполне ли мы понимаем то, что говорят воспитатели? Чаше сталкиваешься с учениками, то есть воспитанниками, и почти никогда — с учителями. Так всю жизнь в послушных учениках и ходят, порою забыв о своей голове. Как смешно устроила это природа и жестоко.

Все из Космоса ничтожно, вся суета. Но я живу на Земле и, зная, что все ничтожно, должна суетиться. В 24 года все разгромить «в пух и прах», и нет ни одного камня крепкого во всех отношениях, чтобы пошел под фундамент. Нет.

Как же, что же делать? Ждать... Чего? Нового взгляда? Не знаю, не знаю, что тебе ответить, человек, задающий эти мучительные вопросы. Не знаю еще.

**5, май, воскресенье.**

Читала и буду читать Атанаса Далчева. Что за умник! Как хороши его «Фрагменты». Сколько хороших, умных людей живет, и мы, порой, совсем-совсем не знаем их. Плохое в тебе — не даешь мыслям созреть, несерьезное отношение к себе губит эти хорошие цветы, как морозный ветер.

Сегодня весь день не работала, царапала какие-то строки, хотела выразить неясные, давящие чувства. Что же, может, иногда и надо остановиться, посмотреть на себя, разобраться. Да, это необходимо. Необходимо, чтобы подготовить себя к новой работе — к внутренней работе над собой и к той работе, которая отразит твою внутреннюю жизнь — работе художника.

**Рисовать вечером обязательно.**

Да. Художник должен что-то своей работой выражать, что-то открывать, увиденное сердцем. Иначе ж для чего тогда изводить краски, слова? Тогда и осел может что-нибудь хвостом наляпать, или попугай может что-нибудь наговорить. Пусть коряво, но верно. Да, нужно серьезно задуматься над рисунком и, в первую очередь, копировать мастеров.

**6, май, понедельник.**

Сегодня, сидя на скамеечке, залитой солнцем, листая какие-то журналы, бегло просматривая рассказы, стихи, я вдруг поняла, что **живу не так**. Вот про-

шли мимо меня девушки, легкие, красивые своей молодостью, со смеющимися губами, с блестящими под солнцем волосами, и скрылись. Еще мелькают прохожие, еще. И я подумала, что жизнь мелькает также быстро и незаметно, как вот эта тень от молодых листиков, когда ветви покачивает ветер. Странно. И я ухожу, ухожу вместе с секундами, а куда, зачем?

И девушки скрылись и пропали, и я их больше не увижу, только когда-нибудь, может, увижу старушку, сгорбленную на далеком вокзале, и вряд ли узнаю в ней ту девушку, что так весело смеялась.

Жизнь! И зачем ты придумала это — утраты, утраты, к чему?

Скучно, нехорошо, нерадостно живу, а дни мелькают, мелькают, как бесчисленные снежинки, и не желают ждать, когда я научусь жить радостно. Не хотят.

Какая горечь вскипает от этого на сердце! Уехать, уехать... Но куда? Куда уехать от себя и от времени? Не настоящим живу, но будущими надеждами, а когда их не будет, что тогда? Чем стану жить?

Поняла одно — надо научиться жить серьезней, глубже, жить так, **как должно**. Не одурачивать себя, знать, что еще более ускоряешь приход смерти, когда не заботишься о своем духовном росте.

Противиться смерти изо всех сил, и будет, будет победа жизни. Будет.

### I. Цельность во всем.

Да, за 4 мая записано, что не знаю, как жить. Нет. Кажется, начинаю находить в себе что-то такое, когда начинаешь, пусть пока неясно еще, понимать, для чего жить. Только мужественной надо быть и глубокой по-настоящему.

### II. Не опустошать сердце выбалтыванием.

#### 9, май, четверг.

Как приятно иногда чувствовать себя ребенком, которого все любят.

Вот я и дома. Чирикают воробьи из своих домиков — здороваются. Приятно никуда не торопиться.

#### 10, май, пятница.

Очень хороший день сегодня. Радостно сердцу стряхнуть тяжесть и забиться уверенней, бодрей.

Очень хороший, добрый человек Николай Федорович. Умница.

«Односторонность воспитания»... помни об этом и старайся воспитывать себя мужественной, целеустремленной во всех отношениях.

«Воображение, воплощение и жизнь произведения среди людей». Все эти три элемента необходимы для творчества. «Чаще работают в воображении».

### III. Воспитать себя всесторонне.

Быть гибче. «Гибкость ума, гибкость таланта». **Не повторять ошибок.** Это главное. И в этом отношении особо следи за собой.

«Изобразить не страдальца, не Христа, а среднего человека, который несет на себе эту огромную тяжесть века на своих плечах».

Это очень интересно и понравилось мне. Это побольше и из космоса.

То, что пережито за год, перечувствовано, передумано, может уместиться в одну строчку. Да, это выстрадано и, без лишней сентиментальности, — в одну строчку. Это из космоса.

Благодарна я Николаю Федоровичу. — **Человек.**

#### 14, май, вторник.

Как жить, зачем жить? Притворство всех и во всем. Вероятно, что я скоро сойду с ума, или случится что-то другое, похожее на сумасшествие.

#### 17, май, пятница.

Странная штука любовь. Казалось бы, что в нем особенного? Такой же человек, как все, также несовершенен, не идеален, не красавец (напротив), одним словом — обыкновенный; но что-то притягивающее, что-то непостижимо прекрасное есть в нем, во всем милом облике, в этих внимательных дорогих глазах; и думаю, думаю, думаю... сердце уносится в совсем другой мир.

Я впечатлительная и потому, наверное, влюбчивая.

Помню, как полюбила до слез Когана, увидев только один раз. Все-все тогда затмил он и сверкал, как ослепительное солнце.

О! Счастливое прекрасное время! Я до сих пор люблю Когана. Будь счастлив, дорогой, хороший человек.

И теперь эта любовь...

Тепло на сердце и грустно. Жизнь уносится, а я, как девчонка, люблю тайной любовью. Смешно с себя.

Вероятно, трудный путь у тебя будет. Ну, ладно, будьте счастливы, все хорошие люди.

#### 19, май, воскресенье.

Пустошь. Да, обыкновенная пустошь. Уродец я самый пошлый. Какое-то равнодушие к себе, людям, ко всему на белом свете. Нет настоящего во мне. Пу-стозвонка. Шут с бубенцами.

Подумай, может, переменишь жизнь? Может, ты для другого дела рождена? Подумай. Попробуй посмотреть на себя глазами постороннего человека.

#### 17, февраль, понедельник, 1975 год.

Вялость ума, дряблость души лечить действием. В действие входят как практическая, так и теоретическая стороны.

Первая задача минимум — изучать анатомию практически и теоретически. Изучать перспективу — теория и практика.

Вторая задача максимум — уметь нарисовать фигуру с полным знанием перспективы, анатомии; вначале — торс гипсовый, затем — скульптуру «Раб связанный», затем обнаженное человеческое живое тело. Читать побольше необходимо. Научиться уважать себя. Помнить девиз: «Внешнее — не препятствие». Учиться жить каждый день. Каждый день анализировать. На пустое не тратить времени — жизнь коротка. Не предаваться бесплодным умствованиям, а побольше действовать. Одним словом: «Сгущать, обобщать, смотреть на себя пристально». (В разумных пределах сгущать и обобщать, без карикатурности.)

Добиваться своего даже в мелочах.

**22, февраль, суббота.**

В наших произведениях «нажимают» на мысль, забывая о красоте подлинной, забывая, что красотой можно мыслить и широко, и глубоко.

Не подстраивать красоту под мысль — потому что фальшь (подделки не вызывают доверия, даже если они и стараются быть убедительными), а напротив, красотой мыслить.

Пожалуй, сложно, но необходимо, чтобы было искусство. Красота говорит сама, она не конкретна, а всеобъемлюща (не от точки до точки, а равна бесконечности).

Первое — восприятие, это и было началом изучения мира человеком; теперь — сплав, сложное, но все же до сих пор восприятие является громадным рычагом. (Да и всегда будет. Природа такова). Так вот. Человек, смотрящий на картину, вначале ее созерцает (воспринимает), и это восприятие дает повод к размышлениям, вызывает цепь ассоциаций. Стало быть, в изобразительном искусстве нужно делать упор прежде на красоту (естественную в сплаве с другими качествами искусства), говорить с людьми при помощи красоты.

В сущности, это и есть специфика этого искусства, впрочем, и других, вероятно, видов искусства. Красота в гармонии с другими неотъемлемыми качествами изобразительного искусства рождает прекрасное. Наконец-то я смогла (в какой-то степени) оформить свою мысль. Хотя можно и нужно развивать дальше. Эти дни было тяжело. Особенно этот — до истерики. Но довольна встречей с искренностью (Ира Червякова). Хорошо.

Да, дни прошли не наполненными. Но что-то, кажется, повернулось в сердце с момента встречи с искренним. Поняла: было во мне много такого, что переходило в односторонность, которая тормозила, схематизировала. Не забывай, что жить нужно чувствами, как сказал Л. Толстой, что мысль у человека поддельвается под чувство. Может быть, возможны две стороны, ну, ладно. Жить полно.

**14, март, пятница.**

Меня уничтожает моя же теория Космоса (вернее теория взглядов из Космоса), которая всегда кончается разрушением и точкой пессимизма. Но и из пессимизма нужно извлекать уроки. Пессимизм должен являться не точкой («не будем слушать кричащих о светопреставлении»), не концом, а рождением.

Ведь я совершенно не рассмотрела, не собрала, не осознала себя, а часто ставлю уж точку. А ведь я сама — только начало для себя. Все во мне не организовано (прав Толстой, утверждающий, что молодые люди являются консерваторами, а не старые, потому что у них нет времени подумать о том, какой путь выбрать, а берут они (молодые) тот путь, что уже не нов и т.д.).

Все мысли, вся я — еще наносное, принятое на веру. А не являются мои мысли, мое поведение, мое мировоззрение (которого почти еще нет) проверенным, испытанным, новым, найденным моим.

Нет еще индивидуальности. Меня лепили, делая из меня все что угодно, мало обращая внимания на то,

что же заложила во мне природа? То есть воспитатели действовали по принципу «стричь умы под одну гребенку»; обобщая, делали из меня такого же человека, каким они понимают его (человека) в нашем обществе (каким он должен быть).

И это делалось грубо, по шаблону исполняющего ума (ум ли тогда?), но не думающего. И сколько серости! Хорошо, что начинаю осознавать. Кстати, за 22 февраля — сомнение: «встреча с искренностью...» Там тоже проглядывает: «под одну гребенку...» Как я проглядела? Вероятно, сплав обстоятельств, настроение, усталость от себя и встреча с непохожим на свое вызвали во мне искреннее чувство того, что я назвала «встречей с искренностью». Жаль. Это, конечно, не то, что нужно. Кстати. Бегло переписала этот только что начатый дневник и увидела — старость взгляда своего. Это тоже не то. Хуана Инес де ла Крус. Хороша. Но я односторонне ее рассматривала. Постарайся поглубже, без космического взгляда с точками. Да, еще. Полагаться только на себя. Из всего извлекать уроки. Рассматривать людей, чтобы лучше постигнуть себя, не прощать себе застойных взглядов.

Жить, жить, жить, но анализируя все.

Предположение:

Теперешние ученые опираются на знания, факты, опытный путь, ищут свое мнение, поэтому больше открытий нового (хотя бы частичек); над писателями, художниками и т.д. тяготеет воспитание общества, его заблуждения, его влияние на личность и т.д., и редко удается вырваться из захлестнувшей волны и посмотреть широким, чистым взглядом, что это за жизнь, что это за мир, что такое в это время человек в целом (во всем) в данное время, угадать направление его развития и т.д., и т.д., и т.д. Редко кто наделен такой силой. Подняться. Застой. И полностью силы — на борьбу (может, бесплодную) с волнами.

**31, март, понедельник.**

Петр Семенович сказал: «Каторжанин своей мечты...» Сильно. Эти семнадцать дней — ничто. Читала Лермонтова, китайскую поэзию, о Лермонтове.

Сейчас мне жалко смотреть и на себя, и на жизнь, и на людей. До омерзения. Любовь к известному лицу — чепуха, «не выдерживающая никакого анализа». Любовь и анализ... Да-да! Не хочу! Глупость. Болото.

Чувствую где-то глубоко-глубоко — зреют сокрушительные силы (от которых, может, первая пострадаю я).

Я себя однажды в горькую шутку назвала: гений ненаписанных произведений. В ненаписанных произведениях я иногда поднимаюсь до страшных высот. Кто бы знал, рассмеялся: все мы гении неосуществленной мечты. Так... Говорила с Чемсо, Урюпиним. Реалисты.

В космосе не парят — крылья подрезаны жизненным опытом. Может, правы. А может — нет. Как можно теперь обыкновенными вещами выразить все свои сомнения, переживания, боль? Нужен какой-то новый язык, а я еще не созрела до этого. А уже 25 лет, скоро 26.

Космос, космос... Как с твоих высот страшно смотреть на жизнь людскую, сердце стынет. А везде люди

верят, идут (судя по телепередачам, радио, газетам), взявшись за руки, как на глупом пошлом плакате, озаренные светом будущего... А в это время на заводах, фабриках, во всех учреждениях топчутся людские души... «Лес рубят — щепки летят». Возможно ль все сердца слить в одно, избежав насилия? Лев Толстой: «Будет власть и будет насилие. Всегда». Я не на слово верю, я проверила, испытала истинность этого на себе, «на своей шкуре». Деньги, деньги, деньги. Все рабы.

Громкие, звонкие, но пустые слова произносятся, а заглянешь в глубину — пустота, рабы обстоятельств, рабы жалких бумажек. А если почувствуют на миг свободными... Сколько глупости увидишь и в этой мнимой свободе.

Обвиняю людей? Нет. Просто я вижу несовершенство природы, злюсь, что это неизбежно, что это — естественный путь развития вообще человека и что против этого я веду этот гнусный образ жизни — ем, сплю, хожу на работу, имею терпение разговаривать с глупыми, пустыми, неприятными и т.д. людьми, вхожу даже в приятельские отношения, улыбаясь на вздор, и т.д., делаю сама самые вздорные вещи, подличаю, улыбаюсь, когда не хочу улыбаться, отвечаю шуткой, когда совсем не до шуток, и внутри страшная пустота и какая-то тяжелая, пустая (именно пустая) усталость; я совершенно не работаю, потому что уже боюсь работы, ссылаюсь на то, что нет условий; я совершенно веду скотский образ жизни — живой мертвец; видя, как летят дни, уносится жизнь навсегда, бесповоротно, я застыла в ничегонеделании, хотя и грустно и страшно от этого; я перестала видеть небо, траву, птиц, тучи, ручей, солнце, пчел, цветы, радоваться этому; я хожу, точно слепая, с тяжелой, но пустой головой. Даже в чувстве любви я лгу, притворяюсь, выдумываю всякую чушь, которая отбирает мое время, мое уважение к себе; даже в этом чувстве я распыляю себя; я раскрашиваю себя дешевой конфетной краской случаев пустых небылиц, притворной наивности, и, зная, что это раскраска, а не настоящее, я, все ж с тупым усердием продолжаю оскорбляющую, обворовывающую меня игру тупой, скотской жизни.

Я спрашиваю себя: почему это произошло? Наверное, потому, что нравственное усилие сведено к нулю. Наверное, потому, что я перестала любить жизнь и страшно опошшила и засорила ее неправильными выводами, взглядами. А это почему произошло? — Не было труда. Я разрушила свою жизнь, веру в святое, вопросами «зачем?» и, не ответив, зажила скотской жизнью. Но и это неполный ответ. Есть важные причины (одна из них — не было труда), выяснить которые нужно немедленно, ибо... Нужно думать — как устроить свою жизнь, несмотря на то, что неверие оплело меня. Надо.

#### 11, апрель, пятница (вечер).

Композиция «Старые цветущие деревья». Нужно найти. Может, получится что-то интересное, а главное — увлекательное для меня. И новое. Рисовала деревья. Интересно. Готовлюсь к поездке, хотя — сомнение. Сегодня опять расплескивала себя.

Совсем не нужно. Деревья старые, бугры (деревья в цвету), цветы и трава, и облака.

Завтра рисовать (может, копировать этюд). Сегодня обрадовалась возможности увидеть. Это не нужно — старая песня, но как запретить? Посмотрю. Просто подтверже быть.

#### 12, апрель, суббота.

Было грустно-грустно, до желания умереть; ничего в жизни у меня нет: ни счастья, ни друзей, ни громадных сил, которые бы поддержали меня в тяжелые минуты, дни, месяцы. Я устала от жизни, и одно было бы мне поддержкой, силой, если бы была у меня вера непоколебимая в себя; я же раздираема противоречиями, безверием, неустойчивостью, теми обстоятельствами, в которых протекает жизнь моя, измучилась, устала.

Я перечитывала старый дневник, где каждая строчка дышит надеждой на то, что скоро (как только окончу училище) начну должную жизнь, и все, весь мир засверкает для меня солнцем... Дни бегут, все ближе смерть, а я все не живу, а существую, напоминая самое себе старое животное, у которого одна забота — поесть, поспать.

Но я же, в конце концов, не животное! У меня есть человеческое сердце, которому не под силу вести подобное существование. О! Как обстоятельства скручивают человека, не дают и вздохнуть. Что мне делать? Как все-таки я глубоко несчастлива. Вечер на дворе, дождь... Шум ветра удручающе действует на душу. Зачем я живу, зачем жизнь, если не даны силы? Нужно собраться или убить себя, потому что жалобы сердца еще более угнетают, отбирают любовь к жизни. Усталость.

#### 21, апрель, понедельник.

Мне с каждым днем все труднее становится жить: неверие окончательно поселяется в моем сердце. Мне скучно. Я работаю, но все это кажется пустым обманом.

То, что сегодня кажется мне надеждой и опорой — завтра представляется мне пустой затеей, обманом. Посмотрела предшествующие страницы дневника — старая песня.

Словно я обречена тащиться по этому кругу беспросветья, словно обречена жить унылой жизнью. Неужели мой ум ничего не совершит и суждено мне лишь сетовать на судьбу?

Просто я не могу начать вести по-настоящему работу и — точно слепая.

Ведь, чтобы говорить своим языком, нужно работать и не бояться работать, и не бояться черновой работы.

А ведь самое главное, наверное, не смиряться. Как только смиришься — конец. От успеха лета многое зависит. Нужно готовиться.

Странная душа моя: заметила огонь глаз (может, ошиблась) — сердце встрепенулось; а знаю наверное — незачем.

Читаю Лермонтова. Серьезен.

#### 26, апрель, суббота.

Прочла «Герой нашего времени». Читала давно, но теперь — как впервой, и уверена, что надо еще не

раз читать. Все прочесть, что касается Лермонтова. За это время виделась и разговаривала с разными людьми. Это действительно разные люди; но одно объединяет их в то, что я называю душевной раздвоенностью; определение душевной раздвоенности очень сложно, обширно; в это определение могут входить и такое: желание жить всеми силами души, и неспособность использовать хотя бы часть сил в силу обстоятельств, в силу того, что человек еще окончательно не созрел для воплощения своих замыслов, в силу слабых сторон характера, или в целом слабого характера; еще душевная незрелость. Это тогда, когда еще не способен рассматривать свои сильные и слабые стороны, не способен подвергать их анализу, не способен оценить себя и окружающее, не способен видеть реально и в то же время быть поэтом, иметь идеал свой, который ставишь выше повседневных случайностей (хотя они и закономерны, парадокс...), выше того, что реалисты с подрезанными крыльями (крылья устремлений, мечтаний, желаний и т.д. подрезаны у них жизненным опытом) называют жизнью.

От душевной раздвоенности страдают люди. И этих людей я видела; они или не видят этой душевной раздвоенности, или знают о ней, но вера у них пропадает (или пропала), сил для борьбы нет. Вот это, наверное, поинтереснее всякой истории — психология человека, его понимание мира, его повседневная жизнь сердца, его взгляд на людей, на жизнь.

Я тоже страдаю раздвоенностью. Раздвоенность, как я сказала, — определение обширное, сложное; и причины, и следствия ее породившие, различны. Раздвоенность, которая свойственна всему роду человеческому, есть и такая: сознание неизбежного конца — смерти, и в то же время — желание не умереть всему (желание здесь действует вопреки ясному сознанию: все — суета, все — прах). Эта особенная раздвоенность, порождающая бесконечно разнообразные формы человеческих душ.

Люди, знающие об этой раздвоенности, страдающие от нее, но не покоряющиеся, которые всю свою жизнь стремятся к цельности, — редкие люди, великие люди. У этих людей мысль и действие — одно, ибо мысль, не воплотившись в форму, есть просто туман, который под жаркими лучами солнца разлетается без следа...

Мысль — это жизнь, а жизнь — действие.

Люди, у которых мысли кипят, а не прилагаются к действию, то есть не воплощаются в форму, напоминают мне садовода, который, выращивая плоды, заботясь о них и, наконец, дождаввшись их сбора, вдруг почему-то не собирает их, а оставляет висеть на ветвях... Неумолимое время делает свое дело — плоды гниют, превращаясь в прах... Люди, подобные этому садоводу, самые странные, самые несчастные люди.

**27, апрель, воскресенье.**

Проблема «проклятого вопроса» «все дозволено» будет решаться всегда, во все времена. В душе человека

он всегда будет возникать в той или иной форме; всегда потому, что проблема жизни и смерти не решена, и каждый человек пытается разрешить эту проблему по-своему; всегда душа человеческая ужасается тому, что время молниеносно, отсюда понятно ее желание брать как можно больше от жизни, отсюда понятно возникновение вопроса «все дозволено».

Мне возразят, что воспитанная душа не позволит себе «все позволять»; понятно; но что такое воспитание, кто воспитатель? Не оскорбляем ли мы природу своих чувств запретом (может, ошибочным), кто знает! Свет космоса... Грань великого и безумного.

**30, апрель, среда.**

Встречи с людьми. Скрытность, а я — нараспашку, хотя глубинное при мне. Нужно работать. Только работать и молчать.

**2, май, пятница.**

Я забыла, что успех завтрашнего дня зависит от того, как ты его проведешь сегодня, а именно: что ты собираешься делать завтра?

Работать. Идти писать яр, облака, рисовать деревья, искать композицию; не предвзято, а доверчиво: вдруг увидишь и лучше, и интересней. Вечером выписки. Совсем забросила акварель, рисунок.

I. Каждый день работать (самое необходимое).

II. Учиться читать.

III. Учить анатомию.

IV. Меньше говорить, больше действовать!

За намеченным следить. Нужно выработать необходимую волю, для того чтобы жить только так, как я хочу.

Нужно научиться не рассказывать о своих трудностях, а действовать. Прекратить все те знакомства, которые отнимают время, не давая взамен ничего, кроме сожаления; не ставить себя в положение развлекательной игрушки; во всех случаях надо научиться вести себя так, чтобы уважать себя.

Все время помнить, что жизнь коротка, и потому-то нужно как можно больше работать. Мысли воплощать действием. Только теперь я догадалась, почему топчусь на месте: было начало, успех, разочарование, и не было сил преодолеть и продолжать... Бросала работу, хотя потом все-таки нужно было опять браться за работу, но опять начинать ее сначала. Получался замкнутый круг. Не хватало воли, чтобы разорвать его. Еще. Впечатления — движущая сила, но они сами не придут, к ним нужно идти, а не сидеть с унынием в четырех стенах.

Следи за тем, чтобы чувство любви к V не делало тебя рабом только этого чувства, не оставляя на **важное, нужное** времени.

**4, май, воскресенье.**

Сегодняшний день показал, как глупо быть исполнителем необдуманных действий. Сколько времени!.. А что дает? К чему тебе это? — приготовления, ожидания и сознание, сознание глупо уходящего времени. Странно! Я все время ругаю себя, со-

знаю свои глупости, а все никак не выработаю воли вырваться. Вырваться... Переписываю из писем Ван Гога, сколько мудрого: но зачем переписывать, если повторяю все старые ошибки?!

Вчерашний день прошел в работе: писала; результат ничтожен; нужно **пристально изучать** натуру, а не мудрствовать, повторяя старое, избитое.

Телевизор... хотя военное время интересно и поучительно, и вспыхивает любовь к людям.

**13, май, вторник.**

Все дни заняты — пишу этюды деревьев. Казалось бы, душа должна быть спокойной — работаю; поначалу это и было: некоторая уверенность в том, что время твоей жизни течет не зря; но вместе с этим сознанием было и другое чувство — чувство тоскливой неопределенности, ненужности, жалкости своего труда, все усилия мои казались ничтожными и до смешного жалкими. Еще мне несколько странно и смешно наблюдать, как зарождаются чувства и взаимоотношения между людьми... В отношении меня: вероятно, этот человек думает, что я ничего не вижу, не чувствую; видно, решил так потому, что чувства свои он тщательно скрывает не только от окружающих, но даже, в какой-то степени, от себя; ибо чувства эти, как говорит ему его воспитание, запретны, как говорит ему, или, как сказало бы ему общепринятое мнение толпы, — безразличны...

А между тем, это самые дорогие чувства, не дающие душе ссыхаться, эти чувства дают душе как бы заново ожить, дают ей сладкую детскую негу мечтаний, эти чувства позволяют забыть обыденность пошлую, дают крылья душе, и она парит в беспредельных просторах Космоса, гордясь своей волей фантазии, могуществом; и хотя миг этот короток, зато душа наслаждается свободой (пусть в грезах!) и не скована никакими цепями условностей. И хотя жизнь невыносимо коротка, ты должен помнить, что ты — частица Космоса, и ты не должен душишь в себе природу чувств, вложенную в тебя Космосом, чтобы не превратиться в исполняющую «правильную» серость, раба общепринятых законов толпы (могли ли законы охватить всю обширность Природы? История говорит: «Нет!», оттого они, законы, так изменчивы, непродолжительны или лживы), и поэтому нужно набраться мужества, чтобы не позволять оскорблять природу своих чувств и чтобы уметь слушать голос Великой Природы... Если б кто услышал мои рассуждения, то постарался бы скорее осудить и зачислить в когорту безнравственников, сказал бы, что все рассуждения эти субъективны, лишены жизненной почвы, и т.д., и т.д., что законы, выработанные человеком, нельзя отвергать, и т.д., и т.д. А я сказала бы на это: «Я отнюдь не разрушитель всех законов (это слишком бы было самонадеянно); я просто говорю, что нужно уметь слушать голос Природы (что дано далеко-далеко не всем), и что нужно уметь не оскорблять природу своих чувств, чтобы не впасть в ничтожность и серость». Сейчас смотрю, как суетятся муравьи, и

грустно оттого, что мы иногда очень на них похожи (при свете Космоса), несмотря на всю нашу человеческую гордыню. И еще.

Кто испытывал эти чувства, о которых я только что говорила, тот поймет мои рассуждения.

Я часто ощущаю, несмотря на надежды (кто не ожидает! кто не надеется назло всему!), что жизнь ужасно грустна, что она состоит из одних потерь, несмотря на приобретения духа (хотя и тут — потеря за потерей), что все мои чувства, которыми я живу, все надежды — ничтожны при свете Космоса... И теперь я понимаю себя тогда, когда при встрече с людьми, я, в большинстве случаев, смеюсь, делаюсь какой-то легковесной, тут же ощущая легковесность свою и всей душой скорбя, но продолжаю, иногда до отупения, шутить, смеяться, болтать глупости. Интересно, как воспринимают это люди, как они чувствуют меня? Вообще, это, конечно, совсем неважно, и... Куда приведут меня мысли, к чему?

**13, май, (вечер).**

Был разговор. Встряивающий, хотя и не совсем новый.

«Искусство нацелено на оптимизм» (приблизительно такая мысль), и «Есть люди, оптимистично воспринимающие мир, светло воспринимающие», — вот две мысли, заинтересовавшие меня. Я сказала, что оптимисты существуют, но что оптимизм нужно завоевать (тогда будет большая возможность высказать действительно глубокое); в ответ на это несколько раздраженное, горячее: «Не всегда нужно завоевывать. Не обязательна внутренняя борьба, муки и т.д... Вот Леонардо да Винчи — оптимист... (согласна, но откуда уверенность, что его оптимизм не завоеван? Завоевывать оптимизм нужно уж хотя бы потому, что существует раздвоенность души, о которой я писала: сознание тщеты всего и стремление жить, вопреки сознанию; разве здесь нет борьбы за оптимизм?)

И еще такое:

«Почему ты не сомневаешься в своих взглядах, убеждениях?» Уж это он напрасно... Кто, как не я, болею от этой сомнительности, иногда она на меня ужасающе действует...; мне показалось, что тут возможна перепевка Чемсо (если, конечно, был разговор); Чемсо простительно, ибо он почти не знает меня...

Меня даже разозлило это ошибочное рассуждение, или мнение, но спорить сочла излишним — видит Бог, это было бы смешной глупостью с моей стороны. Я не для фарса сказала, что оптимизм нужно завоевывать; это мое мировосприятие, мой фундамент, моя вера.

«Оптимизм необязательно завоевывать» и «Оптимизм нужно завоевывать» (моя убежденность) — по существу две различные формы мировосприятия, две различные формы существования. Вот один вопрос, который я задаю себе и пытаюсь решить: к каким путям развития ведут эти две формы и какая из этих форм эффективнее в познании самого себя и познании мира?

Это другое:

Тип человека — сильно сомневающийся во всем, но именно потому в споре, в разговоре с другими людьми защищает свои сомнения для того, чтобы утвердить себя, доказать себе, что он имеет право на сомнение, подчеркиваю, **не для людей, а для своего разума** — право на сомнение!

Этот тип людьми всегда воспринимается превратно (или почти всегда), но этот тип человека заслуживает уважения: он не берет даром чужих мыслей усилием памяти, он их сам добывает, своими усилиями разума.

**15, май, четверг.**

Ты думаешь, это истинная дружба? Нет, ты ошиблась... — приличие отношений; глупо, грустно; так и должно быть!

Сколько горечи! «Или друзей клевета ядовитая...». Станный я человек, зачем мучаюсь? Ведь давно поняла, что все ничтожно, и должна быть спокойной, и должна работать, не обращая ни на что внимания; так что ж это ты, сердце?

Наши художники, да и вообще все остальные люди (они тоже в глубине — художники) страдают от недостатка воспитания природой; или лучше — от недостатка эстетического воспитания природой; как мы **УБОГИ** в этом отношении, когда так кощунственно мало обращаемся с гениальным великолепным разнообразием природы! Как мы преступно мало даем душе сливаться с природой! Оглушенные цивилизацией, мы утрачиваем чувство изумления перед Природой, становясь раздраженными людьми с тоскливыми, равнодушными сердцами, с засыхающими чувствами!

**17, май, суббота.**

Странно, сколько попыток и всегда я у «разбитого корыта» — никак не научусь жить. Как я могу судить о других людях, если я самое себя никак не постигну! Как презрительно смотрит на меня Толстой с портрета, Ван Гог, а Бетховен отвернулся! А Лермонтов!.. Конечно, смешно и глупости, но сердце щемит, как укор! Неужели я никогда не поднимусь и не начну жить. Попробуй с этого дня. Ни в одном пункте не отступать! Первое условие, которое необходимо выполнять каждый день — быть честной, волевой, искренней. Не прощать себе ошибок, падений. **УПОРСТВО.**

**27, май, вторник.**

Темное ночное окно, в котором отражается комната, освещенная небольшой электрической лампочкой; странно смотреть на отраженную в окне комнату, когда сверкает на дворе молния — этот отраженный в окне мир колетса на части, дробится на осколки. Поневоле начинаешь философствовать, глядя на осколки отраженного в окне мира. Сегодня перечитывала этот дневник — осколки прожитых дней, а в целом — неорганизованное время. Удивительно сознавать себя запрограммированной формой, пребывание которой на Земле также кратко, как цветение цветка; угадывать свое будущее, которое принесет, верно, больше разочарований, чем уверенности, которое уничтожит по-

следние надежды; и в то же время хлопотать о завтрашнем дне! Удивительно смотреть на себя беспристрастными глазами, именно — как на форму, и чувствовать, что эта форма есть я, которая может волноваться, смеяться, плакать, грустить, любить, глубоко задумываться пасмурными мыслями и в то же время созерцать Космос, чувствуя свою бесконечную малость. Разве это не удивительно?!

Идет дождь, и чудится мне, будто он своими тонкими мягко шелестящими струйками убаюкивает мою душу, ласково утешает мою боль.

Вчера мне удивительно было: уважаемые мною Калининские спросили, почему я долго не приходила к ним. (Неделя, или чуть больше, думается мне, не Бог весть какое время). Неужто им в самом деле было скучно без меня? Или привычка к тому, что я часто приходила, и вдруг меня нет и нет... Скорее всего. Как бы там ни было... Но кто я такая? Мне даже стало неловко и удивительно радостно оттого, что обо мне помнили, и тоскливо оттого, что сердцу моему так мало отпущено радостей...

И все-таки, как Космос ни смотрит в мою душу, нужно работать, чтобы не быть живым мертвецом, или уйти в бесконечность, если уж совсем устану и совсем расхочу жить.

**30, май, пятница.**

Конечно, без сомнения, прав Калинин, что нужно уметь видеть хорошее. Я вижу и пытаюсь видеть. Чтобы видеть хорошее и нехорошее, надо как больше работать развиваться. Дорожить временем, то есть действовать. Действие — вот что свято, остальное — болтовня, никчемность. «Ты в тысячу, не в сотню, а в тысячу раз хуже работаешь, чем Чемсо». Допустим. Но этот человек прожил уже лучшие годы, а я лишь начинаю, и неизвестно, чего я достигну в его годы, если буду работать так, как мечтаю.

Зато я в другом, я это чувствую сильнее. Дай Бог вырастить эти силы, чтобы развернуться во всю ширь! Разозлил меня Калинин. Я хотела встать и уйти, не говоря ни слова. Какая уверенность в том, что он видит меня насквозь!

Другое, другое меня мучит... Рождена ли я для больших дел, если смотреть из Космоса?..

Работа внутренняя, неустанная, действие, время покажут. Что напрасно сомневаться? Нужно действовать.

**4, июнь, среда.**

Вот уж лето. Лето...

Я поняла (и печаль, и неопределенность, и отчаяние, и безвыходность, и беспросветность были у меня от непонимания жизни), что я не совсем верно и скорее не обширно, а узко смотрела на себя.

И идеал мой не так сконструирован — неудачная, дилетантская схема...

Я не говорю о том, что я сейчас хорошо мыслю (я еще бесконечно далека от этого), но уж то, что мыслю теперь лучше, чем раньше — уверена в этом.

Жаль, конечно, почти поздно; у меня был все-таки необширный взгляд и не столь глубокий, каким должен быть; я от многого отрекалась и много потеряла!

Нет, отнюдь не все я разрешила для себя, несмотря на то, что привыкла смотреть из Космоса! Напро-



тив, удивляет меня, что я во многом была слепа. Слепа и ничтожна, не было величия души...

Слушаю теперь сонаты Бетховена, удивительно упругая и вместе с тем печальная музыка. Да, бесконечно, бесконечно прав великий Ван Юг, что искусству жизни человек должен учиться, не прибегая к помощи старых трюков и оптических иллюзий разных умников... И теперь, думается мне, прав Калинин, говоря, что нужно не критиковать, а видеть хорошее. Что мне, действительно, до ошибок других! Я должна сама учиться радости, а печаль не нужно искать, она всегда рядом, труда не составит. А как прекрасен Святослав Рихтер! Какое лицо, сколько достоинства! Великий мастер! Как несуетлив, сколько умной неторопливости и в то же время могучей собранности, эмоциональности! Какая, должно быть, у него неукротимая энергия, воля, душа!

В 25 лет я начала чувствовать себя старым, никуда не годным человеком. Правда, еще надежда теплилась, что живу...

Теперь начинаю понимать, что есть еще энергия у моей души! Не все потеряно!

«Нужно учиться искусству жизни».

Я ненавижу и люблю. Как сказала Хуана Инес де ла Крус — эти два чувства находятся слишком близко у сердца, и поэтому я не могу забыть. Но отчего ж люблю? И любовь ли это? Не привычка ль сердца? Не старинное ли детское заблуждение?

### 8, июнь, воскресенье.

«Травиата». Верди. Вдруг, неожиданно, среди музыки — глубочайшая печаль к себе. Мое сердце жаждет столько необъятного, но даже ничтожная толика желаний не осуществилась!.. Неужто сон тот памятный — пророческий? День за днем уходит, и вместо уверенности обретаю отчаяние, глубочайшую печаль и грусть.

И жаль мне было всех людей, все их заблуждения, жаль своей жизни и его. И, тем не менее, нужно собрать все силы и жить.

Почти набросала композицию в рисунке. Плохая? Хорошая? Ни то, ни другое. Просто нужно учиться живописи, нужно учиться мастерству, чтобы не было горько за свою сумасшедшую жизнь.

«Нужно учиться искусству жизни...»

### 11, июнь, среда (вечер).

Да-да, именно творческая воля, не дающая повторять «трюки старых умников», ведущая к новому, оригинальному, искреннему (необходимое условие — высокоорганизованная душа, не ищущая сделок всегда и во всем, и во всех случаях), дает новых, оригинальных, самобытных художников. Если вдуматься, то так и есть — у всех Великих и была в высшей степени развита творческая воля. Остальное — или частицы творческой воли — отсвет на всех даже будничных делах, или все привязывается к главному — Творческой воле! Творческая воля — стержень!

### 15, июнь, воскресенье.

Я часто смотрю из космоса и не задумалась о том, что нужно и совершенствовать себя по-космически; это едва ли достижимо, а вернее, недостижимо,

и тем не менее стремиться к этому надо. Что такое идеал? Идеал — это космос в непрерывном обновлении.

Что такое жизнь, что такое смерть с точки зрения космоса? Непрерывность. Строго говоря, смерти не существует. Это мы, частицы космоса, придумали смерть, потому что назвали работу времени смертью, а это просто переход нашей формы в другую среду существования: более совершенная форма распадается на более мелкие формочки. О — вот определение мировоззрения. Да, обыкновенный круг, где нет ни начала, ни конца. Или шар. Правда, можно поставить красную точку на нем и сказать — «начало», и черную точку — «конец»; но это все условность.

«Конец... как звучно это слово! Как мало, много мыслей в нем!» Лермонтов думал о том, что же дальше, за смертью?

А ведь и у ▲, и у куба, и у линии нет ни начала, ни конца. Все условно.

С точки зрения космоса мои рассуждения — пыль воздушная, позолоченная лучом фантазии, грез; она (пыль воздушная) и безобидная, и красивая, и ничемная, но в то же время в ней есть определенная закономерность.

### 30, июнь, понедельник.

Эту неделю совершенно не помню.

Прав Микеланджело, говоривший, что нужно думать о смерти, ибо «эта мысль ведет нас к самопознанию и самосовершенствованию».

Ученики... какая глупая потеря времени, какая выматывающая работа! А для чего? Это добро? Это благородно? И из космоса?

Из космоса это самая настоящая глупость, которую я ясно сознаю, но, тем не менее, ничего поделать не могу.

Распыляюсь, хотя чувствую, что жизнь моя будет не слишком длинной.

Да. На мои рассуждения, что все из космоса ничтожно, могу ответить теперь так.

Человек, нашедший свое Дело в жизни, отдающий ему все силы и получающий от этого Дела огромное удовлетворение, не может быть ничтожным, если Дело это и высоко, и благородно, и истинно.

Истинное всегда величаво, в чем бы оно не проявлялось. И вот это удовлетворение не есть ли высшая точка счастья? А раз человек живет истинно, используя все силы души своей, значит он выполняет свое предназначение, значит он отражается и продолжает существовать в делах своих, гордясь своей силой; и разве этого не достаточно, чтобы заполнить человеческое сердце? Сознавая свою силу, он как бы утверждает себя в космическом хаосе, и это дает ему возможность верить в порядок, в разумность своей жизни. Никакая мысль не сковывает так человека, не приводит в такое безнадежное отчаяние, как эта: для чего жизнь, если все кончится смертью?

Этот вопрос порядком помучил и мучает меня; и вот теперь я прихожу, что человек должен жить ИСТИННО, чтобы верить в разумность своей жизни.

Истинность — это компас, не дающий сбиться с пути. Сознаю, однако, что еще далека от решения вопроса. Форма тогда счастлива, то есть осознает свою истинность, когда выполняет свое предназначение.

**13, август, среда.**

Умер Дмитрий Шостакович. Все — как будто ничего не случилось, зверьки... Вспоминаю, как Шостакович говорил задыхающимся голосом: «Нет, не так, не так, здесь...» (телевизионная передача). Ушел. Мы — не за горами. Сколько нужно уметь, чтобы успеть что-то сделать!

Сказала маме, что ушел Шостакович. «Царство ему Небесное..., — потом задумчиво, — смерть всех подчищает...»

Просто...

Мне нужно изучать учебник логики. Необходима система. Необходим широкий кругозор, глубина.

**22, август, пятница.**

Была у Чемсо В.М. Сказал, что я самовлюбленная. Люблю эффекты в живописи. Задел за живое. Самовлюбленность... и тысячу раз не прав, и прав...

Да, Фисенко, нет в тебе еще всепоглощающей честности, недостает того святого огня, который гонит и терзает, но и совершенствует! Я об этом думала сегодня до разговора с Ч.В.М. И надо всегда об этом помнить.

Все-таки не выдержала, спросила по телефону: «Неужто одна самовлюбленность?! Это ж тогда пустейший человек получается...»

— Нет, — отвечает, — хорошая живопись у тебя, есть много хороших работ, но есть и работы неискренние, на эффекте...

Вероятно, прав.

Говорю же, что недостает честности, святого огня... Налет ржавчины. Есть одна причина. А ведь надо ж жить так, чтобы не превратиться в пыль. Сознаю.

Вечер.

Описание сегодняшнего дня:

Утром — намеренность писать темпераментно, сосредоточенно, забыв обо всем на свете. На деле — вялость, думы — что горох по полу рассыпан; вернее, мысли сосредоточены не на работе, а на грезах. Ходьба к Чемсо. Вместо серьезного разговора — пыль. Давно известное, не новое. О самовлюбленности — бред. Это что-то другое. Мне разобрать надо. Калининские — тоже не новое; сила духа... Средневековье (это тоже ничего, неплохо. Полоса развития человеческого духа. На что способен). Человечество — как единая форма, имеющая пороги развития. Средневековье — очередной порог.

Обо мне. Трусость, нагромождение психологических барьеров...

Трусость... неправда. Психологические барьеры — может быть. Н.Ф. очень странный. Постепенно проясняется. Хочу ясности. Пойму через это и себя.

Дальнейшее описание дня. Ожидание. Подготовка. Полнейшая пустота в голове, вялость. Приход. Музыка. Безразличие с грустью.

Пустой выход в город (хотя намерение — в 4 ч. сосредоточенным образом писать натюрморт. Полный расцвет безволия). И опять — тупое безразличие, ничтожность, в глубине — грусть.

По дороге домой — чувство тоскливой усталости от себя. Решение описать день, чтобы еще раз пересмотреть, как тупо, неуклюже прожит день жизни того человека, кто хочет сделать что-то настоящее.

Сижу теперь на крыше, сверкает молния; тучи, грозные и величественные, мощно разметались в небе и застыли фантастическими фигурами; смотрю в небо — вспышки молнии озаряют величественные и страшные облака, мощно мигает молния... Неторопливо, но внушительно говорит гром, пока вполголоса, а может, и того меньше.

А я вот сижу на крыше, такая маленькая, жалкая самой себе, с ничтожно прожитым днем за спиной, пишу это и боюсь молнии. Вспышки мощные. Жизнь... интересно видеть приготовление к грозе.

Мне странно — отчего я не беспредельно правдива? Почему ложь при стремлении жить по-космически? Одни думы.

Ярко освещается небо, словно несколько человек в разных местах попеременно подают сигналы другу другу яркими вспышками необыкновенных фонарей. В небе страх — гроза, сила, на земле — песня сверчков, детские отдаленные голоса, вечерняя суета людей... Я пишу все это, зачем? Не знаю.

Впрочем, способна, чую, но не соберусь.

На 100 рублей можно купить много мудрых книг, пластинок с музыкой, а можно — леденцов, иголок, кнопок и всякой, всякой... понимаешь, в чем дело? На что размениваешься?

До чего же противоречивая натура у меня: и любовь, и безразличие, и воля, и вялость, дряблость, и жить, и умереть, думы о мелком и великом.

Рог изобилия пороков. Тряхни — все найдешь. Господи, мой Бог, научи меня быть сильной. Космос. Тыпы.

1-ый — говорит много умного, прочувствованного, продуманного, близкого, но не своего (или наполовину своего); творческая воля — средних возможностей. Глубоко внутри он осознает себя несчастливим. Главное несчастье — неумение воплощать мысли, создавать что-то сильное, настоящее, истинное. Идеал — устал, растерянность от жизни.

2-ой — не так обширен взгляд, но глубок. Глубина оттого, что сосредоточен на одном, не расплескивает, а воплощает, по-своему развивает. Поэтому мысли, высказанные вслух, глубоки, добытые (в большинстве случаев) через свою практику, а потому — с оттенком индивидуальности; он знает, что опытный путь наиболее верен, безошибочен, а потому уверен в себе, правдив, но осторожен (в меру) с людьми. Людей видит. Характеристику дает верно (почти). Здесь природное чутье играет большую роль.

Если столкнуть эти два типа, то первый тип непременно попадет под влияние второго или же все время будет чувствовать силу характера второго. Но

2му недостает космоса, честности настолько, чтобы гораздо больше любить святое, чем себя. Идеал — не космический. Кто из двух типов хуже, слабее? Ни тот, ни этот. Переходные ступени. Фанатизм — интересное явление, отклонение от нормы, а может быть, — ясно и чисто запрограммированная форма; золото в чистом виде, без примесей.

**24, август, воскресенье.**

Да, фанатизм, но только космический. Без земных заблуждений.

Меня бесят эти рассуждения Н.Ф.: «Наряду с хорошими сторонами, в Фисенко есть и плохие, Виктор Муссович, не хочет выходить замуж...»

Что он так жаждет выдать меня замуж? Неужели он не понимает (а это так и есть), что эта «тихая гавань» не для меня, что я скорей хочу погибнуть в буре, шторме, открытом просторе, но не в этой тихой глади с плавающими по ней поэтическими щепками и прочим мусором.

Его натура очень тяготеет к спокойствию, безоблачности, к такому состоянию духа, которое бывает в природе — бабьей осени, когда в природе царит полнейшая умиротворенность с блестящими паутинками и задумчивым шорохом падающих листьев.

Ну и прекрасно! Если ты такая форма, то и живи в гармонии с самим собою; зачем же призывать всех к этому состоянию духа?

Если одна форма может тут черпать возможность для развития, то другая — просто задохнется. Неужели это не ясно? Неужели не понятно, что это не заблуждение, а ясно и сознательно выбранный путь? Впрочем, если из космоса, то его рассуждения, да и все подобные других людей не должны приводить тебя в бешенство, это не достойно твоего гнева; нужно беречь себя для истинного. Ты-то знаешь, какой путь ведет к истинному, так зачем же прислушиваться и гневаться на голоса, зовущие тебя на другой путь?

Иди, путник, по своей дороге и жадно ищи **сам истину, сам.**

*«В день томительный несчастья*

*Ты о них лишь вспомяни.*

*Будь к земному без участия*

*И беспечна, как они!»*

Что может быть лучше! Как познать себя, как понять?

«Искусству жизни человек должен учиться, не прибегая к помощи старых трюков и оптических иллюзий разных умников...» Всей своей жизнью Ван Гог доказал силу и истинность этой мысли. Мысль воплотилась в действие. Пока научись вот такому: «Бесперывный, неуспынный труд, ясное сознание своих сил, добровольное самоуничтожение и вечная вражда к заносчивости, к раннему самоудовлетворению и к лени, как естественному следствию этого самоудовлетворения».

**28, август, четверг.**

Пора определить свои вкусы (и разобрать, почему они именно такие, в силу чего?), уровень своего образования, свои убеждения, взгляды, стремления; и наметить, исходя из рассмотренного, дальней-

ший путь своего развития. Строго рассмотреть, к чему тяготеет моя форма, и наметить пути глубокого изучения того, что меня будет развивать. Не давать места в душе пустякам.

**Вкусы:**

**Живопись** (вернее, изобразительное искусство): русская икона, Микеланджело, Рерих, Ван Гог, Рембрандт, Босх, Питер Брейгель (особенно «Слепцы», «Охотники на снегу»), Милле («Сеятель», «Отдыхающий виноградарь», «Человек с мотыгой»), Ренато Гуттузо («Бегство с Этны», «Человек, пересекающий площадь», «Толпа», «Пляж», «Битва на мосту», «Воскресный день», «Распятие»), Кэа Кольвиц, Врубель, Модильяни, Утрилло, Родэн («Мыслитель»), Гоген, Матисс...

Сейчас думаю, что бесполезно перечислять, ибо мне нравятся и люблю я тех художников, которые смотрят обобщенно, о чьих произведениях можно сказать, что это взгляд из космоса.

То же и о музыке. Но хочется отметить: Бетховена, Баха, Моцарта, Вивальди (особенно «Глорию»), Чайковского, Мануэля де Фалья («Колыбельную»), Перголези («Мать скорбящая стояла») и много, много, но где отражается космос.

**Литература:**

Толстой, Лермонтов, Достоевский (это те, о которых бы я хотела знать все); Шекспир, Катулл, Гарсиа Лорка и много... опять, где космос.

В силу чего такие вкусы? В силу моего убеждения о том, что человек, раз живущий на Земле, должен всю жизнь стремиться к истинности, быть мыслителем, художником; чтобы художник-мыслитель мог освещать путь человечеству, ибо оно все-таки движется к истинности, чтобы он мог утешать, ободрять, вдохновлять человека во все минуты, и особенно тогда, когда в душе родится страшный и величественный вопрос: «Для чего жизнь, если все кончается смертью?»

Именно эти художники-мыслители толкают человека к самосовершенствованию, а что может быть выше этого?

Наряду со вкусами затронула и убеждения. Но это не все. Как-нибудь потом.

**Об образовании.**

Что тут можно сказать? Скорее то, что его почти нет.

Хочу наметить так: знать литературу (основную) от самых ранних времен до наших дней, отсеянное. Перечитать все то, что написано Львом Толстым, Лермонтовым, Достоевским, ибо эти художники затрагивают те вопросы, которые меня глубоко волнуют; а также прочесть всего Шекспира. Знать (основные произведения) тех писателей, которых любил Ван Гог, Л. Толстой, Лермонтов, Достоевский, Бетховен, Микеланджело.

Надо начать изучать технику живописи, книги, затрагивающие интересные вопросы искусства; начать изучать икону (внимательным образом, с книгой Жегина).

**Стремления:**

Стремлюсь к обобщению, не схематичному, а космическому. Только нужно научиться в обобщении не терять малого, которое и составляет это космическое. Иметь обобщенный, но острый взгляд.

Еще важное, что я должна стремиться осуществлять каждый день — избегать всего того, что мешает мне самосовершенствоваться. Какие бы соблазны ни возникли в душе, уметь победить.

Не забывать о том, что самоудовлетворение — злейший враг познания. Уметь сконцентрировать жизнь души так, чтобы была единая форма, а не дробность.

Вечер.

Искушения...

Мне кажется, что искушением можно назвать (это одно из множества определений) борьбу чувств и разума; победят чувства — искушение, разум — избежал искуса. Я сейчас удивилась тому, что искушение действительно имеет множество определений; интересно, можно ли дать обобщенное понятие, которое могло бы сгустить эти оттенки в единую гамму?

Сегодня я обнаружила, что я чрезвычайно дробная; дробность эта получается от того, что еще не выработала могучего характера и еще не нашла себя. Волнует множество вопросов, которые буквально раздирают меня на части, и я испытываю от этого почти физические муки, вплоть до такого настроения, что хочется оборвать свою жизнь.

Мучения еще от того, что возникающие вопросы требуют разрешения, а я не могу их разрешить, потому что еще не подготовлена или мешают обстоятельства со всей серьезностью и углубленностью взяться за их разрешение. И вот мука! Душа полна, жаждет действия, а действия нет в силу вышесказанного, и я пребываю в ничегонеделании; эта двойственность ужасна!

Нужно думать о той гармонии, которая придаст моей душе цельность. Нужно. Все же, думается мне, запрограммирована я трагичной формой. Я раньше этого почти не осознавала, теперь все острее и острее чувствую это.

**29, август, пятница.**

Эгоизм — это очень интересное явление. «Иль ты не знаешь, что такое людей минутная любовь?.. — Волненье крови молодое. Но дни бегут и стынет кровь...» И любви нет. Есть только эгоизм. Да, эгоизм. Не хочу слушать никакие рассуждения умников на эту тему. Говорю только — миром правит эгоизм со всеми оттенками. Эгоизм и заблуждения.

**5, сентябрь, пятница.**

Ведь что такое слава? Это не то, когда кричат твоё имя, нет. Это то, когда все то, что ты любил, любишь, будут любить и другие, находя в этом утешение, считая это своим, сокровенным.

Вот Тудор Аргези. Его «Песня на дудке», «Песня», «Карандашный набросок» (люблю твоё лицо) и многие другие — это же мое, близкое, сокровенное; в этой любви находишь, может быть, такое же неопределенное, отрадное, когда, например, усталый душой, смотришь, как играет на окне луч заходящего солнца, и забываешь все. Слава — это любовь.

**7, сентябрь, воскресенье.**

Я писала об уединении. Уединение — это мощный рычаг. Но когда я глубоко посмотрела на себя, то увидела, что боялась уединения. Потому что уединение очень трудно переносить; меня всегда одолевают тогда мрачные мысли, и я бегу к людям и забываюсь, а вернее, растрачиваюсь в пустяках.

Мрачные мысли можно преодолеть только могучим характером, да и притом мрачные мысли — развивают, сосредоточивают, только не надо их доводить до точки пессимизма. Мне нужно уединение.

**9, сентябрь, вторник.**

Ожидание радости занимает у человека более значительный период (и потому ожидание иногда мучительно), чем сама радость; обыкновенно миг радости краток, но тем острее мы ее воспринимаем.

Начала композицию «Деревья в августе», или «Деревья, когда садится солнце». Не знаю, как закончу, но работать приятно. Смотрела Субби. Очень интересен своей свободой.

**12, сентябрь, пятница.**

Микеланджело — Бетховен — Рембрандт — Бах Иоганн Себастьян (особенно в «Возвращении блудного сына») — Рафаэль — Моцарт. Странно, но мне кажется, что это очень родственные души, даже иногда хочется поставить знак равенства, то есть знак единства. А ведь есть тайная музыка и у Эль Греко, только не знаю, какую родственную душу назвать? И ведь можно сделать величайшее открытие, изучив это очень глубоко. Боюсь, не хватило бы жизни. Во всяком случае, можно изучать, думаю, принесет много полезного.

**14, сентябрь, воскресенье.**

Двойственное сознание вопреки созерцанию космоса; очевидно оттого, что слаб самоконтроль, да и душа еще не зрелая, не до конца углубленная.

Ткань одиночества лучше самому заполнить узорами. Что приносят общения? Ничего. Самоуглубленности нет, узнавания нового нет. Открытий в психологии — тоже. Одна поверхность.

Общение с мудрыми людьми всех эпох и нашего времени — это совсем другое дело. Наверное, главное и нужное. Оно требует полной отдачи, углубленности, но и плоды дает. Очевидно, к этому идти надо.

Т. Григорьева: «И еще раз о Востоке и Западе» — очень любопытная статья, рождающая много интересного, будоражащая. Нужно внимательно изучить и, вероятно, заняться изучением японской культуры. Это близко мне.

**19, сентябрь, пятница.**

Лежала на крыше и смотрела на ночное небо. Я долго смотрела на облака, освещенные луной; они были как волны разбушевавшегося моря — пена шипела на их гребнях; большое облако на первом плане, казалось, вздыбилось, как волна темная и гладкая, и по ее глянцевой поверхности быстро,

быстро, быстро скатывалась узорчатая пена, точно такая, как на картинах Хокусая. Создавалось такое ощущение, будто эта волна, мощно и властно вздыбившаяся, с грохотом накроет меня, и я это знаю, чувствую, что это конец, конец, и смотрю лихорадочно последний раз на все, вижу эту красивую и страшную стихию, чувствую себя такой же волной, и весело мне и жутко! Все сосредоточено в одном миге, все жилы души напряжены и поют! Чудный миг! И умереть не жаль!

Сегодня вечером была удивительно растеряна и в то же время очень сосредоточена на чем-то удивительно обобщенном. Хорошее чувство! Как-то удивительно и радостно и грустно видеть и слышать картины, которые в это время открываются духовному взору.

Соседка, тетя Поля, шедшая со мной по кладбищу, сказала: «Ничего нету, все прееет... Курице или петуху голову отрубил или свинью зарежешь, и ничего от них не останется. Так и от нас».

— Тогда Бога нет? — спрашиваю.

— Есть. Только он один там. Сколько умерло людей, все туда не поместятся; небо не выдержит. Он один держит. Да. А от нас ничего не останется.

Странный отголосок прошедшего времени! Пришла осень, облетают листья... Она — тоже лист осенний.

### 23, сентябрь, вторник.

«Мир пессимиста», «Мир оптимиста». Или еще так: «Мир радостный и мир печальный». Серия работ. «Времена года». Также серия. Едва ли кто подзревает о том, какие мысли кипят во мне. Трагизм мироощущения. Вчера до боли отчетливо: частичка мельчайшего, которая и может быть и не может, от этого ровно ничего не изменится. Лермонтов через одно проверял. И глубоко. Изумлялась вчера, что человек весь в цепях и цепочках всевозможных условностей и т.д. Подвержен времени и из него почти не выскакивает, не в силах. И жутко. Даже в дневник не уйдешь, опасение. И чувство не волен высказать, — преграда условностей.

С ясной головой понимаю, что ни к чему, ничего не дает; и люблю, и отвергаю, и из космоса — пустяково, а не могу объяснить природу чувств. Наукой можно, и сделают, ну а мне что до этого! Меня не будет. Да. Несчастье от сознания.

С крыши на облака смотрела. Клубятся причудливые формы, беспечны, все погружены в блеск своей красоты, и не видят ничего, не желают. Завистно. Выкурила папиросу, хотя знала — пустое; но забавно погрузиться в ничто, следить дым, облака, отрешиться. Мучительно, когда созревает в тебе что-то, но созревает медленно, ты еще не можешь дать этому названия и томишься; и умереть не хочешь, и скучно жить. Небо слишком далеко, и земли под ногами нет.

### 25, сентябрь, четверг.

Я удивляюсь, вернее, абсолютно уничтожена тем, когда разглядывала себя, вижу, как тесно переплетено у меня внутри святое с порочным. Все муки у

меня от этого. Я совершенно не знаю себя. Что-то есть у меня такое неведомое, которое или даст вырасти мне чем-то необычным, или уничтожит меня, раздавит. Одно из двух.

### 1, октябрь, среда.

Мне кажется, что намечается новый поворот в моем мышлении о живописи, а именно:

изучить все современные книги о цвете и пытаться делать анализ работ старых мастеров, а также современных. Это, по-моему, будет значительный сдвиг в моем мышлении.

Не только чувствовать, отчего это красиво или уродливо, а уметь обосновать это логически.

Читаю о Лермонтове и понимаю, что воспитание играет громадную роль в становлении человека.

Не могу понять, зачем тоскую? ведь знаю точно — пустое. Сердце, вопреки этому, глупит. Странная вещь — чувства.

### 24, октябрь, пятница.

«Человеческая жизнь — картина», — подумала я сегодня. Дни рисуют на этой картине все (или, вернее, могут нарисовать все), но если ты мастер, то ты сделаешь отбор и обобщишь. Верно сказал Чистяков Павел Петрович, что жизнь нужно строить по рисунку. Нужно собраться. Ведь брехня, что обстоятельства делают из человека что угодно, брехня! Не хочу верить! Просто нужно собраться и работать во всех условиях.

Роза. Яблоко. Арбуз. Трава. Все тянет из миллионов соков Земли только какие-то соки, и поэтому это яблоко и т.д.

Нужно тянуть свои соки для развития. А мы — как все, и получается безликость. Мудрость — угадать, какие нужны соки.

### 2, ноябрь, воскресенье.

Нужно наброситься на работу с такой яростью, о какой можно только мечтать. И так жить. Так жить каждое мгновение. Вот мой вывод и убеждение. Чтобы жить по-космически.

### 5, ноябрь, вторник.

Когда обман пьянит рассудок избытком чувств, то нам он кажется обманом, вернее, мы не желаем принять это за обман; тем больнее кажется, воспринимается нами истина, утверждающая противоположное обману; тем слаще находиться нам в плену обмана, сколь горька истина! Сегодня сердце подпрыгнуло, кровь побежала сильнее по жилам, душа встрепенулась и взлетела; но неожиданно — новый вариант, более трезвый и спокойный, вероятно, и более правдоподобный; сердце осунулось, все стало монотонно-однообразным, чувства замедлили свой бег и стали тоскливо безразличными. Странно, что моим существом может так распорядиться сладкий обман, всего лишь обман.

Сегодня думала о Лермонтове, о трагизме. Ни к чему не пришла. Все давнишнее, старое. Человек должен исполнить Дело, то есть стремиться к полному самораскрытию. А зачем? Что это дает? Ничего.

Сладкий сон, обман, утешение, может, вызов отчаянный полнейшему безразличию Вселенной.

Но неужто на этом и останавливается все? Неужто нет развития этой мысли? Это высшая или средняя ступень?

### 8, ноябрь, суббота.

Ведь, казалось бы, чего проще уяснить элементарную истину, что жизнь коротка, и сделать отсюда соответствующий вывод; так вот и не просто! Ведь уяснить это себе умозрительно, теоретически, вероятно, не составит труда; другое — как ты доказываешь то, что ты уяснил в жизни, непосредственно — это уж вопрос воли, то есть, как выразился Лермонтов, нравственного стержня человека; да-да, воля есть нравственный стержень человека — это замечательно верно; воля в самом космическом смысле этого слова, включающая непременно творческую волю.

Мне сейчас не по себе оттого, что я уже прожила, может быть, лучшую часть своей жизни, а еще и не жила истинной жизнью; все как-то смазано, невыразительно, серо, как на рисунке дилетанта. Еще оттого невыразимо тоскливо, неприятно, что нахожусь в плену мелкого, и знаю, что мелкое, а обида душит сердце, помню.

А все потому, что верю во все искреннее, неподдельное, а в жизни все в более причудливых формах. Почему-то пришло в голову, что деревья — могучие, свободные личности, а вьюнок все поддержки ищет — чего б обвить, и нередко губит своего же спасителя, у которого нашел опору! Встречается иногда у людей такое — стремятся, как вьюнки, обвить, и эгоизм такой же; такие люди вовремя могут быть близкими друзьями (именно в то время, когда **это им нужно**) и вовремя — быть чужими. Более всего я ненавижу таких людей! И их встречала, знаю. И ненавижу.

Нужно хорошенько подумать, как рассчитать свои силы. Обязательно подумать.

### 21, декабрь, воскресенье.

Прошло уже больше месяца, как я не пишу дневник, прошло 42 дня моей жизни, ушло...

За эти 42 дня чувства мои более обострились, я еще острее чувствую, что жизнь коротка, а смерть близка. Я острее стала воспринимать глупость людскую и, конечно, свою собственную.

Я сознаю, что нужно разгромить свой кумир, и, как ни горько, как ни глупо с моей стороны, все еще не могу, все еще не могу вырваться из своих заблуждений.

Лев Толстой сказал, что жить нужно так же серьезно, как умираешь. Сильно сказано.

Самое главное, я это осознала очень давно, когда был жив еще родственник, умерший от рака. Он был обреченным, и он это, вероятно, знал; я все хотела знать, о чем он думает, зная, что конец недалек, рядом. Я представляла себя на его месте, и мне становилось жутко; я не могла уснуть и долго, среди ночи глядя в черноту, оглядывалась на прожитую жизнь и не видела ничего! Ничего такого, ради которого я могла жить. А жила ведь...

жила... Живу и сейчас никчемной формой. Осознала, что нужно жить серьезно, а живу никчемно. Очевидно, лгала себе много. И в жизнь не верила. Да и сейчас. Хотя знаю, что, несмотря на это, нужно жить.

Сегодня сказали по телевизору: «Крошечное жилище человечества — Земля». Эти слова как по сердцу ножом.

Вот что меня мучит, мучит, мучит! Не дает жить. Я это все время помню. Как невыносимо осознавать себя просто космической пылью. Вот что отбрасывает у меня любовь к жизни.

Как трагично мировосприятие того человека, кто рожден с такими мыслями, кто помнит их. Ведь что я могу выразить через искусство, если отдам ему все, всю себя, если я живу на узком пятнышке земли, среди невыразимо скучных людей, среди опустошающей фондовой работы, не видя вокруг ничего интересного, что потрясло бы душу (хотя и строению цветка можно удивиться, его жизни, но не хватает времени на это удивление, на глубокое изучение того, что удивляет; нет этого времени, я просто придаток, гаечка ничтожная в громадной бездушной машине). Много, много у меня мыслей, очень много. И нужно собраться. И нужно жить или со всей серьезностью решиться на убийство.

Несмотря на трагичность мировосприятия нужно суметь восходить к вершине, чтобы «заполнить человеческое сердце».

Пусть это сон, осознаю, ну а что делать? Как иначе жить?

### 27, декабрь, суббота.

Сегодня узнала, что умер Александр Алексеевич Шуваев. Я вспоминаю живого Александра Алексеевича и не могу как-то понять, что слово «умер» может стоять с его именем рядом.

Вспоминаю, как он шел с базара. Это была последняя встреча с ним, последний разговор; я и думать не думала, что это именно **последняя!** О! как бы я говорила с этим человеком! Как страшно трудно поверить в то, что его уже нет, что из него выросли цветы, трава, или, может, он превратился в облако, страшно поверить, что его уже нет, а есть лишь одно воспоминание о нем, только Воспоминание. Я так и назову картину — «Воспоминание», или же «Памяти Александра Алексеевича, друга, человека».

Я пишу эти строчки и как будто говорю с Вами, дорогой Александр Алексеевич. Завтра я иду к Вашему сыну, и он поможет услышать Ваш голос. Вы знаете, больно Вы сделали моему сердцу, очень больно!

Ведь Вы же хотели смотреть картины в музеях, а зачем-то взяли и ушли в бесконечное никуда.

А зачем так рано? Александр Алексеевич, о чем Вы мечтали? Я знаю, что Вы писали стихи, и хотели быть поэтом, но судьба Вас сделала математиком, то есть заставила заниматься математикой. Ах, не то я говорю с Вами, простите! Вы были очень добрый человек, а я Вас огорчала тем, что плохо знала математику. Помните, Вы как-то сказали:

«Вы, Фисенко, не любите математику и меня тоже», — и страшно засмутились и покраснели.

Что я могла сказать на это? Говорить о том, что я люблю математику, было бы ложью, а говорить о том, что Вы очень хороший человек и что я по-своему люблю Вас, я сочла тогда это каким-то конкретным, слащавым; и я промолчала, и мне было неловко. А теперь вижу, Александр Алексеевич, что ошибка это, ошибка!

Отчего мы истинные чувства оскорбляем, истинное расположение сердца называем слащавостью, отчего? Отчего мы прячем, хороним в душе все святое, удивительно прекрасное? Боимся быть осмеянными, боимся быть неправильно понятыми? Кто выдумал эту правильность, неправильность? Простите, Александр Алексеевич. Я завтра иду разговаривать с Вами. Александр Алексеевич! Сегодня мне сказали, что «живые должны думать о живом, а мертвых — оставим мертвым...» Неправда это, и Вы согласны со мною, я знаю.

Чем же тогда нам дорожить, если так легко относиться к смерти человека? Мне кажется, что так рассуждающий человек просто не любит жизнь, такое рассуждение — однобокость, а не глубокая мудрость.

Я знаю, Вы согласны со мною; скоро и я уйду в бесконечность, и Вам жаль меня, но я не очень боюсь (может, это я сейчас так рассуждаю, а придет час мой, так я ужасно забоюсь, не знаю), потому что это все равно как прыжок в пропасть — необыкновенно жутко прыгать, невыносимо, а уж когда прыгнул и летишь, то, видимо, ни страха, ни себя... Александр Алексеевич, Вы не умерли, Вы живете в моем сердце, дорогой Человек.

**11, январь, воскресенье.**

Продолжаю рисунки к композиции. Чувствую, что можно сделать серьезную работу, если продолжать серьезно работать, упорно работать. Вчера, 10 января, слушала, как Александр Алексеевич читал два своих стихотворения: «Сон» и «Я часто думаю о том...» Сильно читал, мощно. Как великолепно он сказал: «Не заслоняй мне солнца!» Я плакала. Я только теперь поняла, как дорог мне этот человек. Да, скользим по жизни, как во сне... Сколько нескончаемого, страшного пессимизма, бездыханной тоски рождается в моей груди. И знаю, все это — неотступно как мысли, на всю жизнь.

Я не знаю, успею ли я что-то сделать, сумею ли вызреть или же суждено мне иное, не знаю. Это страшный вопрос, на который нужно отвечать каждым днем своей жизни. Нужно начать все по-другому. Намечаю читать генетику.

Сейчас прочла листки за 21 декабря 1975 года. Каким странным, детски глупым показалось вот это: «Не могу разгромить свой кумир...» Кумир? Хм, это я, верно, в бреду глупости написала. Нет у меня их! Вернее есть — **истинность**. Этот — на всю жизнь.

**23, январь, пятница.**

Купила книгу Мэриона «Физика и физический мир». Нужно изучать. Взгляд на мир очень изменяется. Действительно, начинаешь смотреть на все из Космоса.

Самое главное — нужно наметить систему; систему изучения анатомии, систему изучения физики, математики; помимо этого овладеть мастерством рисунка, живописи. Как не расплыться? Сумею ли? А нужно. Самое главное, как сказала я, меняется взгляд на мир, когда начинаешь интересоваться наукой. А поэтому, к этому добавлю, нужно поменьше общаться с такими людьми, которые забирают твоё время, а взамен дают ощущение пустоты. Самое мудрое — общаться с мудрыми людьми различных эпох путем чтения.

Даже если интенсивно заняться истинным, и то времени не хватит.

Сконцентрируй себя до предела.

**24, январь, воскресенье.**

Читала о Вселенной. Нет слов, чтобы описать чувства, что рождаются в груди, когда пытаешься представить себе и расширение Вселенной, и что она может выглядеть просто в виде сгустка.

Сколько нужно успеть! Завтра хочу рисовать, читать анатомию и писать композицию. Да, только тогда и может сердце сознавать свое могущество (вопреки всему!), когда будет стремиться к истинности, совершенству. Это родственные понятия: истинность беспредельна и совершенство беспредельно.

**7, февраль, суббота.**

Февраль... Сегодня носила свои работы. Сказал В.М. Чемсо о работе с деревьями, что хорошая. Что ж, это интересно. «Полки старого шкафа» тоже понравились: «Скромная, настоящая...»

Пейзажи с речкой... Это тоже интересно.

О рисунке его замечание понравилось, что белый лист — это уже не среда, и не надо чернить, надо работать белым (градации белого и т.д.). Интересно. Понравился рисунок яра с птицами летящими, пейзаж «Тропический»; пейзажи, сделанные в яру (где-то неувязка тональная с небом). «Небо к горизонту нужно сажать». Ясно. Пронаблюдать в натуре и сделать выводы о небе, проверить истинность.

«Куст» (тональная неувязка с фоном).

«Яр» (небо при таких тонах не может быть таким, оттого фанера); опять проверить истинность в натуре.

Интересны люди из Космоса. Две формы, две программы, две схемы; интересно, что движет ими?

Сегодня очень легко, будто это мое, из сердца: «всегда жалеть и не желать...» Много дней не писала дневник — были причины — потрясенная, уставшая душа.

**10, февраль, вторник.**

Отчетливо сознаю, что если не изменить свой образ жизни, то все, вернее, жизнь потеряет смысл. А как изменить образ жизни, если ты в петле, зависишь от проклятых денег?

Удивительно пусто живу. Невыносимо грустно, душно.

**1977 год.**

**30, март, среда.**

Самодельная общая тетрадь. Завитушки, закорючки на обложке — это орунда, осуществленная для того,

что, кажется, в такой тетради. Лучше писать. Но лучше ли? Писать тяжелое и т.д. даже в «веселой тетрадке»?

Сегодня я думала, что величайшее преступление человека — невнимание к духовной жизни своей, невнимание к своему глубоко спрятанному внутреннему «я», которое и движет нами во всем — добром, злом, умном, глупом и т.д.

Где-то я прочла, что о человеке нужно судить не по тому, что он думает, а по тому, какие поступки он делает. Это Рокуэлл Кент сказал. И в этом кроется глубочайшая мудрость.

Сейчас о себе могу сказать, что я — неустоявшийся человек (я-то уже считала себя как-то сложившимся характером!), преступный человек, человек-двойник, которого раздражают полярные желания и который ни черта еще не может делать ничего путного, дельного, стоящего; в котором много фальши, эклектизма, и который, как ни странно, стремится при всем этом к искренности, к цели, которая поможет еще сконцентрироваться.

#### **1, апрель, пятница.**

Чего не хватает мне — так это воли, воли ежедневной, ежечасной.

Воли деятельной, которая существует в настоящем времени, а не в утопическом обманчивом будущем. Воли рассчитанной и трезвой, скрупулезной и трезвой; мудрой воли. Воли такой, которая твердит тебе: «Сегодня это делать нельзя потому, что нужно делать сейчас необходимое, единственно необходимое в денном промежутке жизни».

Воли такой, которая удерживает тебя от того, чтобы не растратить свои силы впустую, которая не дает времени превратить себя в обыкновенную пыль.

Ведь если учесть все свойства этой воли, все ее колоссальное значение в судьбе человека, то каких бы результатов, каких бы высот достигала душа человека! Кем стала бы я, если бы сумела себя всю, без остатка, подчинить яростной воле! И пусть это будут не прекрасные слова!

Человек — сложнейшее создание (творение) Природы из всего, что известно нам, людям. Да-да, нельзя быть землеройкой и всю жизнь свою, всю полноту и объем мира сводить всего лишь к погоне за счастьем; а не счастье ли другое — видеть широко и глубоко, быть деятельным и во всех проявлениях жизни любить ее, любить ее во всех взлетах и падениях? Ведь счастье, по всей вероятности, — это Вселенная в миниатюре.

Не дать себя затоптать — вот моя главная задача.

Наступил апрель.

#### **9, апрель, суббота.**

Странное дело — мне снятся сны, которые тут же являются в реальной жизни действительными событиями. Это что за явление?

Сон о ГП, сон о Калининских, причем Калининский вел себя так (во сне), как потом я увидела наяву, всего лишь с небольшими вариациями.

Что это, телепатия? Или вообще не изученное свойство человеческого мозга — переживать будущие события заранее? Это очень удивительно, сон-намеки.

ГП разворачивает агрессию; интересно, что из этого выйдет? Во всяком случае, финал этой деятельности должен быть неудовлетворительным, ибо я — страшный индивидуалист и воспринимаю все это как игру случая, где я — посторонний наблюдатель.

Интересно все ж, как развернутся события и каким углом они зацепят меня. Хотя знаю: равнодушие, скука и тут — мои попутчики. О, Господи! что ожидает меня? Что станет со мною? Сумею ли яростно лепить себя, или — серость?

#### **10, апрель, воскресенье.**

Мне было сегодня весь день напролет грустно.

Тщета, суета...

Скучные серые люди, праздничная муравьиная суета; и все это — под высоким пронзительно-синим небом.

И что за форма? Желания безграничны, возможности — словно в жизненных тисках. Может, от этого вся эта ежедневная грусть, навьлет ранена грустью?

И еще одно: знаю бесполезность, вредность, безумие своего увлечения, но что? Не оторву от сердца, как, разве что с ключьями; а кто ж с половиной сердца живет? А я вот, кажется, живу.

#### **23, апрель, суббота.**

Всего лишь прошло почти две недели со времени последней записи, а сколько изменилось! Прочла «Моби Дика», «Острова в океане».

За это время была гнусно оклеветана и поняла, что зло, эгоизм царствуют. Они — диктаторы. И безумие — делать добро, детские глупости. За добро ответная монета — зло, животный эгоизм. Это стена, и не надо лбом.

Пишу в последней записи, что увлечение тяжкое. Теперь могу написать: кажется, вылечилась, идол разбит, сердце не трепещет, а гордо и холодно презирает; и есть за что! Омерзительно! «... Или друзей клевета ядовитая...» Практикой в искусстве не расту, жизнь-стерва заедает.

Вот что еще: людей презирать начинаю, эту серую массу, где царствует животное, повседневное, осточертевшее, где все, или почти все, сведено к желудку и т.д. И тяжело мне. И понятно, что люди невинны, что они — страдальцы в этой юдоли, потому что еще время не настало, когда человек поднимется на новую ступень развития и обратит самое пристальное внимание на свой внутренний дух; все это понятно; да, тяжело жить в такой полосе застоя, вернее, улиточного движения вперед.

#### **24, апрель, воскресенье.**

Нужно все сосредоточить на главном — творчестве, и учиться творчески думать, жить. Все силы — в одно русло.

Я просто-напросто еще пробовала бороться — сваливала на обстоятельства; но ведь если реально, всю жизнь — обстоятельства; нужно наметить только необходимое для себя в данный момент времени и не отступать, закаляя волю, собирая себя. Все соблазны — в сторону! Только намеченное, и не смей выходить из борьбы.



**2, май, понедельник.**

Начала писать этюды. Хотелось бы по ним — композицию. Странное дело: когда цвет меня не возбуждает, я пишу спокойно, без тревожностей, но как только цвет подействует — начинается лихорадочная работа, натянутые нервы; я не люблю спокойной работы: в ней, как будто, мало огня, искусства. Надо быть в стихии чувств, которые дарит она, и забыть обо всем; вернее, языком живописи выражать свою душу, не думая о грамматике, свободно!

Деталь с картами. О, психология, неужели подводишь меня?!

Все же не живу еще как должно. Мелочь скручивает, а нужно отречение. Отречение.

**14, май, суббота.**

Сейчас хочу начать композицию, хотя осознаю — характерное еще не увидела. Вот тебе и игра случая, а затягивает и отрезает ходы. Затягивает не душу, а просто будто становишься должником, и неудобно. Нет тайны, и чувства спят — скучно. Может быть, я иллюзорно представляю себе свою жизнь, но все же я полюбила одиночество и не хочу его променять.

Не знаю, что делать.

**19, май, четверг.**

Хочу написать деревья со старой корой. Искалеченные деревья, но все же не желают умирать: упрямо выбрасывают вверх молодые побеги.

Меня это удивило в деревьях и обрадовало, я почувствовала, что люблю эти могучие стволы, эти мощные извивы линий!

Хочу написать также нашу вечернюю улицу, в которой столько умиротворения и грусти! Эти вечерние неторопливые разговоры собравшихся в кружок баб, эти звуки, в которых сквозит какая-то неопределенная грусть... И ведь как характерно!

Сегодня было неприятное — слабый человек. Три дня украдено. Вот куда еще время идет!

Конечно, неполно живу, не так.

**4, июнь, суббота.**

Наступило лето. Время...

Написала композицию пейзажа «Вечер на хуторе Грушевом». Композиция почти не удалась.

Написала «Натюрморт плотника». Как будто удался, но... нет чувства удовлетворения! Грустно, тоскливо; оттого в душе тяжело, что не так надо и жить, и работать.

Да и вообще тяжело осознавать себя «пылью». Чувствую необходимость пересмотреть все в корне, стремиться к цельности. «Важно, что делает человек».

**11, июль, понедельник.**

Завтра мне 28 лет.

Сегодня подарили газетный снимок с изображением Керка Дугласа — Спартака; и снова былое всплыло в сердце, и защемило оно; одиннадцать лет назад это было — любовь со слезами к Спартаку. И жаль мне себя, жаль! Я и сейчас грущу. Но я и сей-

час ничего не достигла. Я только шла по дороге и спотыкалась. Одно важно, есть теперь мастерская, в которой нужно без усталости работать, чтобы не быть пылью, чтобы не быть пылью! Благословите!

Нужно успеть за год:

Анатомия (досконально);

Рисунок (ежедневно), поднять на высоту;

Живопись — самозабвенно и вдумчиво, учить перспективу, визуальное восприятие. Русская литература, учить немецкий, читать журналы; а самое главное — быть цельной, забыть всех. Думать только о своей цели, только к ней идти, только к ней!

Через несколько минут мне уже нельзя будет сказать: «мне 27 лет», это грустно, как никогда ясно видно, как быстро течет время.

**21, июль, среда.**

Была на море. Ужасно, если человек только ест и спит. Эти дни так и прошли. Теперь предстоит поездка в Москву, Ленинград, Приозерск — путевка. Хочу посмотреть Ван Гога, Рериха и вернуться работать, ибо все уже осточертело, словно умираешь медленной смертью.

В Москве — Керк Дуглас — моя грусть, моя большая скорбная любовь. О, любовь! Такая грустная, такая мучительная, печальная. Несчастливая любовь. Так могу любить только я, странный человек. Не может душа любить обыденное, рвется к необыкновенному и страдает.

Ничего, я буду работать, работать и работать, чтобы создать свой мир и жить в нем. Кто-то сильно сказал: «Быть великим, а не казаться».

Я знаю, что из космоса все — пыль, но я знаю еще и то, что поэтому и нужно жить страстно, упоенно; жизнь наша не долговечней цветка, а потому нужно успеть расцвести, успеть.

Еще я знаю, что любовь моя к Керку Дугласу смотрится непонятным чудачеством, ну и пусть; все же, самая сильная любовь — безнадежная, и чтобы стать достойной этой любви, мне нужно много достичь — быть великим художником! Дерзко? А разве можно о меньшем мечтать? Бороться и бороться, пока смерть не прервет борьбу, — вот, пожалуй, в чем есть смысл.

**27, сентябрь, среда.**

Давно я вернулась из большой поездки — Приозерска. Видела очень много мастеров. Оригинальней всех нашла Ван Гога и Рембрандта — вот правдолюбцы. Я люблю их.

В Карелии писала. Гребла на лодке. Удивлялась природе. Свобода и романтика. Влюбилась в Никонова Анатолия Александровича. Его белое окно сводило меня с ума. Я до сих пор с большой грустью вспоминаю о своей любви. Как-нибудь, когда будет особое настроение, опишу свои переживания.

Да, еще что. Полюбила Блока. Открыла его. Читала Софору. Чувствуется сила, хотя это еще не взлет.

В Приозерске почувствовала, что совершенно не так живу. И сегодня день ушел очень бездарно. Видела Ч. Что ей надо? Полнейшее неумение жить; наивность, которая граничит с глупостью. Уди-

вительно. Не нужно ждать от жизни: «Вот завтра я начну жить по-другому...» и т.д.

Надо стараться каждый момент жить. Только тогда что-то будет. А так — одна трескотня. N ругал меня. Странно, мне показалось, что это не столько ругня, сколько особый вид кокетства. Тогда показалось — любит. Но не взволновало; если б раньше! Не обожгло. Просто было приятно, как осенью солнце.

Нужно каждый день уделять 30-40 минут шрифтам. Это обязательно. Чтению — минимум час. Анатомии — час. В свободное время — рисунок, живопись. Не забывать читать специальные книги. Не забывать о том, что живу один раз.

Очень, очень много трачусь на пустяки ничтожные. Нужно жить, а не придураться.

**1978 год.**

**7, сентябрь, четверг.**

Не случайно я начинаю этот дневник высказываниями Льва Толстого.

Показалось мне, что любви у меня нет, внутреннего огня, хотя, конечно, я себя еще совсем не знаю. Чувствую я, что формируют и жизнь мою, делают такую, как она есть, и меня также — обстоятельства. Как челнок на станке снует туда и сюда, так и меня жизнь механически перебрасывает из одного дня в другой, и я — лишь исполнитель чужой воли; а что делать, вернее, как сделать, чтобы жить своей жизнью и полно? Я не могу придумать ничего в этих (как мне кажется, ужасных) условиях.

Конечно, я не сваливаю все на условия, потому что я заметила, что я стала очень раздробленной, разбросанной, а оттого и ленивой — все из рук валится, за что ни возьмусь, оттого, что веры нет, и сердце сжимается. Веры не только большой, всеобъемлющей, но и веры, которая бы убедила меня в том, что что бы я ни думала, что бы ни делала, чем бы ни занималась, — значительно. Нет же. Все пустяком кажется. Ничтожным.

Будто во всей моей жизни нет истинности. Одна скорлупа, и живу, как с горы камень, все быстрее и стремительней в бездну смерти. Смерть меня пугает. Она меня и раньше пугала, но не давала такого взгляда, как сейчас: я только с недавних пор начинаю осознавать то, что жизнь моя, окружающих людей — коротка, и что надо напрячь все силы и воспитывать у себя деятельную любовь и спешить изливать ее на все, на всех, потому что мы умираем каждый день, и надо спешить делать добро, а то жизнь — как песок сквозь пальцы: недавно была горсть песка, а просочился, и ни песчинки, и главное — так неудержимо!

Каждый день напрягать все то хорошее, что есть, все духовное, стараться делать честно шаг, пусть небольшой, вперед. Во всем.

Льва Толстого я, кажется, начинаю видеть чуть-чуть по-другому. И хорошо. Через него и я начинаю чувствовать в себе желание начинать строить свою жизнь заново. Дай-то Бог!

**10, сентябрь, воскресенье.**

Сегодня день перегружен впечатлениями: смотрела работы Виктора Муссовича, разговаривала; видела

на экране живого Льва Николаевича Толстого; события большие.

О работах я могу сказать, что пишет их уже мастер настоящий. И вообще мне очень понравился В.М.— простота, искренность, благородство. Я ему очень благодарна, я увидела свое ничтожество, и что я бродила в потемках, душных и тесных, где задышалась и умирала моя душа.

И Л.Н. Толстой наполнил душу мою верой.

Ведь что я увидела?

А увидела я то, что взгляды из космоса — это не открытие мира (они, конечно, в чем-то полезны, если не перегнуть). А я перегнула так, что стала холодной, равнодушной эгоисткой и думала, что это новое мировоззрение. И получилось так, что я уже не познавала мир, а отгородилась от земного всего шорами космоса, и вот тут-то появилось, может быть, даже чванство.

В.М. сказал мне, что пора приступать к серьезным вещам и что живописью заниматься надо, а я почему-то топчусь и топчусь на месте. А из-за чего, на мой взгляд? Конечно, сплетение обстоятельств, но и немалую роль сыграл космос с леденящими выводами. Надо обернуться к человеку, к добру.

Ведь Л.Н. Толстой понимал еще тогда, что шариков этих много, и живут подобные нам на них и т.д., и как смешно говорить о величии человека, если все это представить...; и вот тут-то можно было сделать леденящие выводы, но что сделал Л.Н.? Его вера в добро, его любовь, истинная любовь к человеку, исполняла жизнь его смыслом, тем смыслом, когда жизнь — это не пустяк, а значительное, великое событие.

О, Боже! Надо, надо неустанно искать у себя источники любви, ибо если эгоизм (в любых оттенках) оплетет, тогда — холод и смерть души. Это, наверное, самое лучшее, что я сейчас могу думать: любить человека изо всех сил, искать источники любви, любить истинность, а уж космос (конечно, нужен) только в разумных пределах. Еще что поняла: не было истинности, любви, настоящего вдохновенного труда у меня, а была брехня и чванство; вот они тоже были истоками моей хандры и самого угнетенного состояния. Наверно, я подспудно чувствовала, что жизнь моя фальшива.

О, найти бы, найти бы силы переделать, переломать в себе все сгнившее, очиститься бы!

Попробую, а если не выйдет — смерть. Иначе мне нельзя, невозможно. Я осознала ложность своего положения, а если так, то помоги мне, Боже, победить и идти к свету.

**13, сентябрь, среда.**

Я решаю вопрос о Г. с нравственной точки зрения и ужасаюсь, когда дух слаб. Ну а с научной — нужно или нет? Вот отсюда и слабость, что не могу решить. Отсюда. В сомнениях.

Жизнь моя неполная. Я знаю, что ущербность, ну а лучше придумать не могу, я жертва.

Пишу работу: «Вечер», или «Заход солнца осенью». Не знаю, что выйдет.

Видела V. Слаб, труслив, хвастлив, тщеславен. И лицо такое ж.

Толстого читаю и на себя смотрю.

О смерти думаю, сознаю, что ужасно, но никак не могу заставить себя чувствовать, что это и меня коснется. Если я чуть-чуть начинаю чувствовать, что смерть не так уж далека, как кажется — становлюсь собраннее, может, лучше.

**14, сентябрь, понедельник.**

Писала работу. Мало правды, и порчу горы красок; знаю, что существуют свои законы у искусства, а не ухвачу их. Сегодня рассматривала работу венгерского живописца (забыла фамилию) «Интерьер». Несколько пятен закроешь (ударов зеленым, красным), и работа кажется сделанной только в желтом цвете. Это очень интересно. Попытаться надо в своей работе найти эти удары.

У В.Ф. подозревают метастазу. Это ужасно. Ей всего 42 года. О чем мысли ее? О Господи, спаси ее, спаси! Как условно, как временно, как иллюзорно и беспощадно! Я не в силах, как живое существо, дать определение жизни и смерти, вернее, не могу понять смерть, не могу понять циклы материи. Неужели мы без следа исчезаем и все? Что за чертой исчезновения стоит, пустота? Мне грустно.

**20, сентябрь, среда.**

Хроника сегодняшнего дня, выставком: средние пустые люди выставляют свои работы (также пустые), ждут суда над своими произведениями («а судьи — кто?!») и разыгрывается самый нелепый фарс — игра в значительность совершаемого. Где же совесть?

Молодые художники собираются после выставкома, садятся за стол, уставленный винными бутылками и едой, и пьют, и едят, и жрут, и толкуют, кого лучше писать: пьяниц или людей с орденами. «Пьяницы — падшие люди, но они делают черную работу, и они настоящие», — спорит, охмелев, один из «талантливейших» художников. «Нельзя, чтобы искусство ложило руки на плечи пьяниц, не они — соль земли», — спорит с жаром другой, не менее «талантливый» молодой художник, также охмелевший.

Здесь же вспоминают об очень больной художнице, для которой, может быть, решается вопрос жизни или смерти, но вспоминают вскользь, мимоходом, а потом жрут, пьют, пьют... и т.д. Невыразимо скучно, гадко.

Еще. Перезревшая кокотка, которая считает себя и умной, и значительной, держит в вытянутой руке стакан с вином, смотрит, прищурив глаз, как свет просвечивает красную влагу и глубокомысленно, пытаясь придать философский оттенок своим словам, цедит: «В тяжелом стакане тяжелое вино!..»

Можно еще писать, но довольно и этого.

Я спрашиваю себя: **Что ценно? Жизнь? Что такое люди?**

По-моему, жизнь людская обесценена. Самими людьми. И из космоса, если смотреть, то — пыль, и точки зрения людей, которые своими поступками говорят, соглашаются, утверждают: да, пыль.

Самый разнузданный эгоизм. Что же истинно? Или все это закономерно? Ну хорошо, землетрясения, при которых гибнут 15 тысяч человек — стихия, ничего не поделаешь, не уедем еще бороться.

А остальное? Люди сами являются носителями стихийных бедствий, потому что идеал самосовершенствования у них просто-напросто отсутствует. У большинства. Глубокое изучение, постижение жизни их просто не интересует; поверхностное скольжение. Чему же тогда удивляться? О, Господи! Сознаю, что прихожу к безысходному, тупику, а хочется верить, что не дурное же человечество, что идет оно, все-таки, к свету и придет. Но какой химерной кажется эта надежда. Когда же научимся жить?

Воображение великого художника, создающего новый реальный мир, опиралось на три столпа: на глубокий опыт, на знание сущности вещей, на идею, которой подчинен весь ход художественного исследования.

Мопассан, Диккенс, Теккерей, Гете, Гюго.

Истинное творчество начинается тогда, когда есть одержимое желание познать мир неизвестный, непостижимый.

Произведение должно быть освещено личностью художника: его внутренней борьбой и неудовлетворенностью ограниченным восприятием и познанием мира, его сомнениями, порой трудными и затяжными.

Мечта способна греть душу до тех пор, пока ее не начинают осуществлять.

«Всегда страшно начинать, когда дорожишь мыслью, как бы ее не испортить, не захватить дурным началом» (Л. Толстой).

**24, сентябрь, воскресенье.**

Читала Монтеня. Есть интересное, но есть и такое, во что не верю, а вернее, думаю: ну, каков бы ты был, если б крутился в нашей жизни, в нашей юдоли, а? Но вообще забавен.

Перечитывала Горького о Толстом Л.Н. Хорошо, живо пишет, не подслащивает; вообще такое сравнение — когда художник любит то, что пишет, да и вдохновение плюс к этому — контрасты смелые, цвет живет трепетно — на холсте жизнь; когда же он (не любящий) присматривается к тому, чтобы непременно похоже было, не дай Бог ошибиться — он не ловит главного, а ковыряется, и выходит похоже будто, а мертво.

Вот и Горький — вдохновенно, вроде и мелочь иногда описывает, но с любовью, характерно, и передо мной Толстой — человек живой.

А наши педанты, не любящие, ковыряются, пытаются дать монументальную форму, а все сыпется и живого нет, — одни схемы. Верно Чехов сказал: «Потом про него (Толстого) наврут». Действительно, разложили по ученым полочкам; может, это и естественно, по-научному, но мне не нравится. Я люблю человека, и через это могу понимать.

Вот и смерть. Пока живешь — боишься ее, не понимаешь, не можешь примерить к жизни — жизнь тогда бессмыслицей выглядит; и никак не можешь сродниться с мыслью: естественная пульсация материи — жизнь — смерть, и ты должен жить, радуясь, что живешь и что смерть — просто переход в другое состояние. Повторяю: естественная пульсация материи — жизнь — смерть. Отчего ж мы ищем смысла жизни?

Может, глупо, а может, и нет: смысл жизни в том, что **ты живешь**; но так, чтоб это был **ты** и никто иной, т.е. я хочу этим сказать, чтобы роза была розой, а колокольчик колокольчиком и т.д., а **ты** чтобы был **ты**, тогда и счастливо будет жить. А нам смерть представляется несправедливостью. Оттого что не вылилась в свою форму, или это протест живого при переходе в другое состояние? Это великое дело — осознать. Еще тяжело: ты во всех понемногу, и все — в тебе, и если кто-нибудь умер из знакомых, то ты становишься более одиноким. Как это ужасно представить, особенно в старости: все умерли твои попугайчики в жизни, и ты — один. Ни надежды впереди (это свойственно молодости — утешаться будущим, надеждами), ни будущего, а яма. И веселая, пестрая, молодая волна поколения спешит шумно мимо тебя, искрится, а у тебя — только одиночество. Есть ли смысл? Выдержу? Хотела писать о страстях, а пишу совсем иное.

Непонятно мне: в голове много мыслей, иногда тяжело, и не воплощаются, а спрессовываются, концентрируются... вокруг чего? Не знаю.

Может, сознание: суета сует, все — суета, мешает? Вот вопрос.

В.Ф. уже не верит в исцеление, вернее, почти пропала вера. Какой в ней перелом, где силы берет она, слабая женщина? Ах, если б она выздоровела! Мы для нее — как из другого красочного, свежего, здорового мира. Тяжело. И плюет, чтобы не сглотить. «Вам хорошо... Тьфу-тьфу-тьфу!» Я почти физически чувствую, как эта болезнь, это Нечто подминает ее под себя, как хорошо было бы, если б В.Ф. победила. У меня бы — камень с сердца.

*Сегодня воскресенье, кажется, 8 октября.*

Давно не пишу дневник, да и что писать! Я поняла, что человек никому не нужен, и что же себе голову задурять тем, что где-то есть смысл; смысла нигде нет; вот человек был здоров, и ему казалось, что он для чего-то живет, а заболел опасно — и все потеряло и вкус и смысл, и все наряды, знакомые, картины, выставкомы, чья-то злоба, чья-то любовь и т.д. — все это так ненатурально, неестественно. А естественно только одно — скорее бы избавиться от боли, изо всех сил вернуть жизнь. Только тогда человек понимает, что обыкновенное счастье состоит в здоровье, в том, что он живет.

И, наверное, надо все делать так, как тебе нравится, потому что это ты чувствуешь, ты видишь, потому что только ты можешь так, а не иначе, потому что это твоя жизнь.

И если так подходить к жизни, то какое тогда дело до Иван Петровичей, которым не нравится то, что ты делаешь? Надо тогда только им сказать: «Я живу своей жизнью и делаю так, потому что мне нравится, а вы постарайтесь жить своей жизнью».

Чувство меры и чувство гармонии с внешним миром. Осознаю я все, а все ничтожным кажется, все разрешается только смертью. Кажется мне иногда, что самое глупое создание в Природе — это мы, люди.

**Октябрь, среда, числа не помню.**

Глухая боль в сердце и легких. Постоянно ее ощущаю. Когда человек жив только для еды, а духовное спит — мне это тяжело видеть, каюсь, отвратительно; он и на животное не похож, и на человека, а на какое-то страшное существо, к которому испытываешь тяжелую неприязнь.

Сколько переживаний, размышлений вызывает во мне болезнь В.Ф. Это ужасно видеть, чувствовать, ждать конца. Когда смерть неторопливо, холодно подминает жертву — вот это физически чувствовать невыносимо.

Иду по дороге, об этом думаю, стон, крик в ушах, и вдруг — небо со своей вечной красотой невыразимого заката, деревья в осени, все так грустно, живописно, мощно и сильно, все так крупно, полно дышит жизнью, такое панорамное видение этого космического цикла, что растерянно спрашиваешь: «Что же человек?» И нет ответа, только одно чувствуешь — надо осознать неизбежность и принять ее. Осознать неизбежность и это сделать отправной точкой. И с этой позиции — рисовать, писать, размышлять, уяснять жизнь и жить.

**24, октябрь.**

Все бесконечные мысли о том, как переменить жизнь; ведь пора дело делать, а у меня — все еще топтание. Выставили натюрморты Валерии Федоровны, а ее нет. До сих пор не хочу в это верить.

Смерть ее подтолкнула меня к еще более углубленным размышлениям о человеческой жизни. И, оглядываясь на себя, все еще вижу пустоту, а не дела. Что делать? Всюду химерность и ненатуральность — и это называется жизнью, а на мой взгляд, — приспособлением к создавшимся положениям, где же взять силу духа?

Сегодня ▲ — фальшь; по всей видимости, дух его спит, и все его рассуждения — маска и игра, а внутри — силы на то, чтобы суметь занять теплое место, пристроиться. И губы — такие ненатуральные и красивые. И весь — поддельный смех.

И вообще, преимущественно — не люди, а скрытая игра эгоизма, «пьянство собой». Не могу владеть собой и распределять себя. Надо, надо напрячь силы, волю, ум, все лучшее, что есть во мне и искать истину, и любить ее, да, любить только истину!

**26, октябрь.**

Читаю письма С.А. Толстой к Л.Н. Толстому. Видишь живое. Неудивительно мне: «Летит мокрый снег, ветер... Цветут фиалки, сады, детвора на велосипедах, трава густая, синее небо, гудят пчелы и т.д., дети учат греческий, сдают экзамены...» И все это прошло, все встретили свой смертный час, и как будто ничего не было, и что все это — фантазия, игра воображения, — так думается, кажется. И потому это ненатуральным кажется, что не могу осознать всем существом, что мы незаметной волной прокатимся в океане Вечности. А есть ли в этом хоть капля смысла?

Вот сейчас и руки, и глаза, и мозг, и сердце — все работает, а потом — ничего. И все это тщеславие, путь

к какой-то славе (и упускание настоящей жизни) — как все это нелепо, абсурдно; если смотреть, что жизнь, как кривая, имеет начало и конец, то есть только вот такую продолжительность, а на что же она тратится? Не суетное, а душа скорбит, что живет как в капкане. А разве это жизнь? Вот мучение, что я предпринять ничего не могу, зная все, вот мучение, что если человечество всего лишь — ступок материи, а ты — ничтожнейшая частичка ее, я говорю, — ужасное мучение быть зависимым во всем от этой материи.

И главное. Если это Истина, то зачем же ее искать, она видна со всех сторон, как моя ладонь. Безумие. Что же ты, Природа, так все устроила?

И, главное, мой вопль не нов еще с глубокой древности. И еще, главное, что такой ничтожный отрезок жизни не можешь прожить так, как тебе нравится, к чему чувствуешь себя рожденным, и все потому, что ЗАВИСИМОСТЬ; в этом и благо, но больше — смерть.

#### 4, ноябрь, суббота.

Прежде чем писать это, я думала, взвешивала, разбирая себя, и как ни тяжело, но запишу: есть во мне подлость, та подлость, которая свойственна человеку мелкому и коварному. Удивительная смесь во мне: благородство в сочетании с подлостью, мелкое в сочетании со стремлением к великому. И не лучше бы постараться понять суть этой натуры? А может быть, я еще грязнее и ниже? Тяжелые чувства бродят во мне, обвиняю себя.

#### 8, ноябрь.

Все дни как-то грустно. Прочла письма С.А. Толстой к Л.Н. Толстому. От В. письмо. Раздвоенность у нее оттого, что не знает, зачем живет.

А у меня раздвоенность от неверия и слабой воли. Одному я удивилась сегодня, и стало как-то грустно и нехорошо, что я очень долго находилась под наркозом чувств. Вот уж нелепица! Жизнь незаметно уходит. Хочу написать работу «Мастерская перед началом зимы», или просто «Перед началом зимы».

#### 18, ноябрь, суббота.

Сегодня объяснения, оправдания. Насколько они правдивы? Сердце ли это говорит или маскировка? Мне все страшно неприятно. Тяжесть в сердце весь день, аппетита нет, и все пью воду.

Сегодня одно, облегчающее душу — фортепиано. Так странно видеть в нашей комнате фортепиано.

#### 19, ноябрь.

Я удивилась сегодня: взрослые люди вели пустой разговор, цедили вино, ели, и не было им жаль потерянного времени, и я, осознавая, что это пусто (каждое мгновение помнила это), не оборвала усилием воли эту болтовню, и ведь знаю — времени отпущено очень мало для того, чтобы достичь серьезного. Возьми за правило (терпение и постепенность помогут): избегать пустоту. Во всем. А у них потому пусто — инертная жизнь, нет идеала. Помни: жизнь по инерции — духовная смерть.

Жить полно — вот нравственный стержень.

#### 23, ноябрь, четверг.

Мне стало ясно, что в этой сумасшедшей жизни нужно сосредоточиться и собрать себя вокруг одной цели. Чтобы стать мастером, а не так, человеком, который все умеет понемножку, но ничего по-настоящему. Опыт на заводах, фабриках и т.д. подсказал тебе, как добиться этого. Ограничить себя одной целью и, превратив себя в ступок энергии, — расковаться, чтобы говорить во весь голос, а не шептать.

Потом все эти никчемные разговоры, страдания (а из космоса — переживание по пустякам) — к черту! Нужно шире и обобщенней жить.

#### 6, декабрь, среда.

Я все более и более восхищаюсь человеком — его беспредельностью, его разумом, который, верно, космос. И, тем не менее, наряду с этим я все больше ужасаюсь, что человек может скатываться до животного состояния.

#### 17, декабрь, воскресенье.

У меня грусть. Можно сказать — больна грустью. И скучно. А главное — не вижу света; все паутина и паутина, столько ее, что все лицо застилает и глаза. Будто топор над головой — такое чувство.

#### 18, декабрь, понедельник.

Вот что пришло в голову мне: делать простые работы, вернее, душа моя просит простоты. И в ней, в этой простоте, найти нерв, звук, чтоб в сердце входило, чтобы в простоте истина была.

В работах — стремление человека к недостижаемому.

#### 19, декабрь, вторник.

Меня, по всей видимости, принимают за Иванушку-дурочка, и пусть! А я — тонко чувствующий дьявол. Едва намеченный нюанс — и я чувствую, читаю, вижу суть, и часто холодеет, дрожит душа от несовершенства человека. Наверное, бесполезный дар это у меня.

«... Все знать, все чувствовать, все видеть, стараться все возненавидеть и все на свете презирать...»

#### 1979 год.

#### 4, январь, четверг.

Можно почти сказать, что мне 30.

Была в Москве. Мороз доходил до 46°-50°. Поэтому музеи, можно сказать, почти не смотрела («Автопортрет» Сезанна — плотная кладка красок. Об этом подумать. По-моему, он написал даже не щетинными кистями). У Рериха интересно — пониженная тональность, но несколько умело распределенных светлых пятен, — и работа не смотрится черной. Об этом подумать. Себя я не пойму. Отчего душа грустит, скорбит, из космоса ведь — заслонит Истину, да и глупо это. И почему такие нелепые мысли без повода? Это свойственно, по всей видимости, женской натуре, а особенно такой, как у меня.

Прочла 2 тома «Салтыков Щедрин в воспоминаниях современников». Я полюбила его, и уважение к нему глубочайшее. А какое у него лицо! А глаза!

А как закричал он: «Гони прочь шаркунов проклятых!»

ведь я у-ми-раю!» Я люблю его. Он помогает мне жить. Я начинаю по-другому смотреть на жизнь. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.

**5, январь, пятница.**

А я, может быть, как-то неловко вымолвить и, может, пусто все это, и все-таки я, может быть, полюблю. Одним словом, «Вспаханное поле».

Возможно ли счастье человека с идеалом на этой Земле, в это время? Затрудняюсь ответить.

**6, январь, суббота.**

У меня идея. Она меня тяготит. Даже волнует. И главное, когда я хочу (если бы она, идея, осуществилась) увидеть ее во времени, то срабатывает какой-то тормоз и я думаю: «Все установится...» Так ли? Иногда мне кажется, что все это глупость, дурь.

Вечер.

И действительно, это — дурь. Господи, что же я?

Зачем пустое взвинчивание, эта обостренность. Тебе ли править событиями? Пусть ведет судьба, или получится крик в пространство, а кругом — равнодушие, тишина. И так, спокойствие и сосредоточие сил на главном. НА ГЛАВНОМ. Только сознаюсь, жаль, глубоко жаль себя.

**9, январь, вторник.**

Я начинаю бояться, что это может по-настоящему забрать меня и сделать несчастной, так как я всегда в этом была неудачной. Если действительно неудача, то, Господи, не допусти, чтобы я страдала. Не достаточно ли того, что у меня на всю жизнь раненое сердце, не много ли на одного человека? Я все-таки не дух, а человек, да со всеми слабостями. Пишу «Перед началом зимы». Что-то говорит мне моя судьба?

**10, январь, четверг.**

Это ужасно! Но и хорошо, ибо я была бы спокойной. Но теперь знаю — сколько подлости, сколько подлости! Боязнь и сознание собственного ничтожества. Нельзя так жить. Прости меня, Господи! Вот тебе урок. Борись, нельзя так жить, нельзя!

**12, январь, пятница.**

Все глупо и пусто. Меня больше всего удивил кто? — я себе не перестаю удивляться. К чему тревога, если пусто? И если я выше, то зачем занимаю голову пустяками? Все оттого, что растерялась я, ни в чем нет веры, опоры.

Читаю «Достоевский об искусстве».

А может, мне в стороне надо? «Все это было бы смешно, если бы не было так грустно...» Да, отчаянно грустно!

Как-то записала в дневнике, что пора приступать к серьезным вещам. Да, пора, жизнь незаметно уходит. Капля за каплей.

**16, январь, вторник.**

Себя не пойму. И не то, что сюсюкаю, но что-то похоже на это, и противна себе. И увидела я глупость текущего момента. Что это во мне шевельнулось — боязнь? Тоска? Вот уж чего не ожидала. Надо

знать, что только искусство спасает, только искусство. Ему и поклоняюсь.

Переписывала работу. Нужно преданно и любовно, но не ковыряться.

**24, январь, среда.**

Как будто пику в сердце вогнали и трясут, раскачивают ее в сердце, а оно — живое, — вот такая я стала.

Много пустого, незначительного наполнило мою жизнь, и утратила я цельность, твердый дух; стала на задние лапки перед жизнью. Все стало казаться незначительным, ничтожным; действительность, жизнь потеряли для меня вкус. И стала подниматься в душе тоскующая, ноющая боль, неудовлетворенность, никчемность. И махнула я на себя рукой, поглядев из космоса на жизнь людскую, и омертвело сердце.

Вот я, без прикрас, обнажена, и тяжело. Вот сейчас гляжу трезво и думаю, что единственный выход — рисовать, рисовать, поднимать себя до Мастера, а потом посмотрю, что будет; не буду загадывать, и, главное, рисовать еще по памяти. Не выпускать карандаша из рук — вот цель, к которой надо идти, чтобы хотя бы немного начать верить в себя. А то, что я в жизни не разобралась, так в ней нужно все время разбираться, в этом и будет состоять и мужество, и человечность. Иначе я для себя не вижу смысла, иначе я буду выброшена за борт. Вот что я, кажется, хотела записать для себя.

Еще что: Л. Толстой снился глубоким стариком и потешался с высоты своего величия над моей глупостью, над моим отношением к жизни. Да, ехидно улыбался, как улыбаются (с некоторым сожалением и в то же время превосходством) над явно глупым человеком. Обидная улыбка.

Так вот — рисунок. Не надо превращаться в нищего духом.

**30, январь, вторник.**

Толстой Лев как-то высказал приблизительно такую мысль, что обычно консерваторами называют пожилых людей, а не молодых, и что, скорее, следует называть консерваторами молодых, потому что они, вступая в жизнь, не могут еще самостоятельно думать, жить и избирают чаще для себя известный, испытанный, старый способ житья.

Как-то я сама думала, что живу не как все, что я самостоятельна в мышлении; лишь недавно, почти в 30 лет я поняла, что жила по старой заготовке. Я знаю, что уже прожила лучшую пору своей жизни — молодость, что я уже вступаю в зрелость, но все это физически, но не духом своим.

Только теперь я начинаю более глубоко, психологически рассматривать людей, себя, время. Хотя все это еще смутно и расплывчато; ощущение всего лишь.

Еще об искусстве. Разве я занималась им? Сейчас могу ответить с твердостью — нет. Была игра. Сейчас, только сейчас понимаю начинаю, что нужно искать душу каждого мгновения, события, явления. Душу изображаемого — во времени и в развитии. Приснилось ли мне сегодня или прочла где, но помню коротко, с восторгом написанное много раз: «Нужно сотворять себя, сотворять себя, сотворять! Искать душу и шире, масштабней смотреть на все».

**8, февраль, четверг.**

Чем больше узнаешь людей, тем тяжелее и тяжелее на сердце; сегодня очень грустно, до слез, от колыбельной на слова Кукольника. Я поняла, что живу совсем, совсем и совершенно не так, как хочу, желаю, жажду; что, может быть, никогда не достигну святого, что, может быть, жизнь, настоящая жизнь, пройдет стороной. О! Как грустно в сердце у меня, как сжато все, каменеет.

Плохо, что жизнь моя совершенно не поворачивается к лучшему, а все хуже, все тяжелее и безотраднее. Хотя бы начать трудиться. Только не для денег. Только не для продажи души.

**13, февраль, среда.**

Сегодня поняла, а вернее, убедилась, что не стоит спорить с теми, кому не дорога истина, а дорого всего лишь самолюбие — любой ценой (вплоть до унижения собеседника) не уронить себя. Поняла, что не стоит распахивать душу недостойным.

Одного в себе не понимаю — отчего нет глубочайшего равнодушия, если сердце спокойно и рассудок — все против. Самолюбие ли задевается? Сейчас подумала, что скорее всего.

Отчего я презираю этих людей? Не оттого ли, что идеала у них и в помине нет, и живут, как зверьки? Вот уж воистину, как в пустыне я — «и некому руку подать в минуту душевной невзгоды». И все же — стремиться жить полнокровно, ибо — бессмыслица.

**28, февраль, среда.**

Сегодня смотрела рисунки Нади Рушевой. Милая гениальная девочка, как жаль, что так рано ты ушла из жизни. «Они не созданы для мира, и мир был создан не для них...»

Надо рисовать. Совесть — вот что тревожит меня, вот что хочется решать, решить и думать. Совесть.

**1, март, четверг.**

Со страхом смотрю, как жизнь моя уходит. Большинство не знает себя, не управляет собой; неумелые пловцы в море обстоятельств. Я — тоже. Странные животные. За все, за все нужно платить собственной жизнью.

Я знаю, что философствую впустую. Оттого страшно, что почвы нет под ногами, а все трясина, неосторожное движение — и засосет.

Сегодня утром — праздничное небо, и безотчетная радость; может, высшая мудрость — ни о чем не думать, а любить моменты и наиболее полно пытаться их ощущать, проявляясь в них?

Да, я, пытаясь представить, предугадать будущее, не живу в настоящем, а прошедшего уж нет. Нужно жить в настоящем.

Я хочу от всего отречься и начать все заново. Вот подумала, что верно, старики живут настоящим: будущего у них нет, а только прошлое и настоящее. Может, потому они мудры?

**2, март, пятница.**

Читаю Герцена «Былое и думы» и завидую: до чего же богата была их жизнь! И взгляд был обширный, глубокий; они пытались рассмотреть обозримое бу-

дущее, они жили; а у нас — куцый взгляд, и живем так: куда прибьет поток. Оттого моя хандра, бессилие, что никак не могу понять, что же мне делать в этой суете, что я могу, как я хочу, куда идти? Живу кротом, солнца не вижу, простора; рою ход вслепую, и это уже невыносимо тяжело. И ни одной родной души рядом, нет воздуха. В пустыне.

А годы уходят. И сознание пустоты входит в душу, холода, неверия, скуки тяжелой и грусти, непобедимой грусти.

**11, март, воскресенье.**

Мне почему-то, когда садится солнце, частенько бывает грустно; будто сердце чего-то ждет, надеется, и тут же чувствует бессознательно, что ждать нечего, и ничего не произойдет, а будет печаль, всего лишь печаль, и что никому дела нет до того, что на сердце у тебя грусть изнылась; и все-таки я смотрю из окна на крыши домов, на вечернее небо, на птиц, и опять жду, и печально на душе.

Сегодня на меня пристально смотрел человек, и я хотела узнать, о чем он думает, глядя на меня. Странно, мы редко опускаемся в глубину и часто лишь скользим по поверхности событий, не имея сил разглядеть первопричины, подспудное; вот что обидно.

Хочу быть уверенной, сильной. С этой целью — Гудона. Вот уж не знаю, что сделаю с собою? Сердце чует тревожное. Прочла «Былое и думы». Читаю Хемингуэя. А конечно, все просто, ужасно просто на свете. А мы — слепы.

**19, март, понедельник.**

Все еще читаю о Достоевском. Я вдруг начинаю понимать, что я — романтик. Но, кажется, цельный. В главном еще себе не изменила. Хотя вокруг удрушающая атмосфера: погоня за нарядами, мечты об удачном замужестве и вообще глупейшие и пустейшие разговоры, которые обволакивают уставшую душу, как смядом.

Но я чувствую, что нельзя отчаиваться, настоящее недалеко, надо лишь не сдаваться и бороться.

Дочитать о Достоевском (вот уж не изменял натуре своей!) и рисовать. Довести рисование до страсти. Сделать это главным делом всепоглощающим, и я сделаю шаг вперед, наконец.

Вот еще: была в гостях. Совсем не волнительно, а неприятно, равнодушно, затхло. И почему я мучаюсь, что неровна в отношениях со всеми, даже будто предаю? Да, я просто не уважаю, не ценю, не вижу истинности, а потому презираю и своеобразно мщу. Вот и все. Хотя и мести они не достойны. Я должна быть холодна, равнодушна. Раньше (когда Достоевский) кипели страсти, люди жили духовным, а сейчас настолько механически, мещански, что душу отвести не с кем, не видно пути, устремления, не видно идеала. Схематично, убийственно. А где-то ведь знают, чувствуют, куют время.

**26, март, понедельник.**

Умер Николай Федорович Калининский.

Если есть что-то, какое-то новое измерение мира, то пусть ему будет хорошо (хотя, скепсис).

Много значил в моей жизни этот человек. Не умещается в моем сознании, не верится. Не могу представить мертвым.

Дорогой, любимый человек. И теперь пусто. Ничем, никогда не заполнить эту потерю. Николай Федорович, это ужасно, ужасно невыносимо. Скверная смерть. Ужасно. Ничего не осталось. Пусто.

Николай Федорович. Я буду помнить Вас всю жизнь и казнить. И работать буду. И напишу, обязательно напишу работы, чтобы вы, простите, ВВ, Ваш дух сверкали в них, жили, не умирали, да, не умирали, а жили вечно полнокровной жизнью. Николай Федорович.

### 27, март, пятница.

Никогда не думала, что такое горе свалится на меня. Вот сейчас ума не приложу, что мне делать. В душе постоянная боль, пожирающая боль, причем жрет все живое во мне, и не вижу выхода, все беспросветным, безысходным мне кажется. Никогда еще в жизни не было мне вот так плохо, вот так невыносимо одиноко, вот так неприятно на свете.

Отчаянно временами так, что жить не хочется. Временами думаю: надо исполнить долг — написать великие вещи; иногда думаю, что где-то он живет, но в других измерениях, и не уважает меня, потому что видел, что я пустая дурная натура; иногда думаю, что все распадается на более простые элементы, и от этого жутко и на жизнь не хочется смотреть, до того все таким ничтожнейшим кажется, бессмысленным, бездарным, без всякого здравого смысла, без всякого даже намека на смысл. И вот живу, совершенно не знаю как, и прихожу к тому, что лучше умереть, чем жить, совершенно не зная зачем. Эта смерть Николая Федоровича разрушила меня окончательно, до основания, и я не знаю, сумею ли я возродиться к жизни, или это уже наступает моя смерть — смерть моей души. А если существуют другие измерения, то почему не сказать об этом? Уж не настолько я ужасная натура; я же измучилась уже. И боюсь сойти с ума.

Раньше я думала, что я — трагическая форма; но какая разница между той душой, что у меня была, и между той, какой ее сделала смерть! Все выражено, и везде пепел — вот что такое теперь моя душа. И жаловаться бессмысленно, и плакать бессмысленно, и жить в этих потемках как раньше — тоже лишено смысла. Так вот я и спрашиваю: что мне делать? Как жить дальше?

### 5, апрель, четверг.

То накатит, и тяжело, ноет сердце, то схлынет, и как-то странно. Таблеток успокоительных не глотаю — слежу, что в душе. И не могу разобрать. Думаю, что будет нравственный перелом, но не знаю когда. Иногда думаю, что нравственная болезнь (доходящая до физической боли) отступит, и вот жду момента, как буду тогда на жизнь смотреть.

Жду перелома, и иногда почти изнемогаю до забвения своего. Сегодня что-то на испуг похожее — боязнь сойти с ума. Еще думаю, что чаще не челове-

ка видим, а оболочку, не событие осмысливаем, а оболочку, поверхность.

И вот здесь трагедия моя была, что (как ни тяжело) часто оболочку видела, не слишком глубоко понимала, что человек этот — жизненное явление и глубокое, и серьезное, и значительное, такое же, как сама жизнь, истина. Слишком поздно я и мы понимаем простоту.

Прав Толстой, что открываются истоки любви и эгоизм отступает. Будет ли нравственное перерождение у меня?

### 22, апрель, воскресенье.

Вспоминаю: Николай Федорович, сидя в кресле, взволнованно посвистывал и как-то нервно, возбужденно постукивал пальцами по подлокотнику кресла, в чем-то был несогласен со мной.

... Сумерки. Неторопливая беседа. Неровный полумрак в комнате. Таинственность. Какие-то обобщенные дорогие чувства, мысли. Свет не зажжен, и от этого особый колорит, оттенок — всему.

Вот и пытаюсь утешить себя, примирить, а ничего не выходит.

Страшно было и представить, что 27 марта 1979 года было звездное небо, такое же, будто ничего не произошло; были звезды, кладбище, и с портрета среди могил — расширенные от ужаса случившегося глаза Николая Федоровича, — вот что было жутко мне: первая ночь в земле.

Вот что не понять: какая-то Болеславка — живет, какая-то юдоль — живет, а его, Человека, Николая Федоровича, — нет.

Вот что не на шутку хочется понять мне: за чертой исчезновения — что? Жив только в памяти, в делах и все? Не знаю, за какую б цену, мне хотелось бы это понять.

Отчего мы не плачем над нашими физическими превращениями, не скорбим об изменениях и превращениях наших чувств? Привыкаем или смиряемся с неизбежностью? Например, смотришь на фотографию, где видишь себя юным, не убиваешься по прошедшему времени, не скорбишь об ушедших чувствах и т.д. Только с потерей человека остро чувствуешь и ход времени, и трагедию превращений.

### 25, апрель, среда.

Раздвоенность сознания. Или это — неизведанные человеческие чувства (неизвестные науке): сны, предчувствия или сигналы со стороны? Вот странно: отчего мы, например, не предчувствуем гибель незнакомых нам людей, и снов не видим о них, и не рыдаем об их гибели, а вот когда умирает близкий человек, то и сны за несколько лет вперед — пророческие сны, и предчувствия за несколько дней до смерти? Отчего это? И состояние души нашей — не выразить словами. Если кто-то ударит ножом в сердце, то будет адская боль, она и понятна: задет жизненно важный центр; не точно ль также: смерть, словно нож, вонзается в нашу психику, сознание? Может, существует между близкими людьми контакт каких-то (неизвестных науке) чувств. Особенно



странно, что за несколько лет вперед — сон пророческий, а после смерти человека все обрывается, и то, что мертвые приходят во сне к живым, как живые, хотя человек, которому снится сон, знает, что пришедший во сне человек мертв. Так вот, то, что живому снится мертвый человек, это, может быть, работа взбудораженной психики, работа памяти и т.д., но никак не контакт с потусторонним миром? Никак не контакт с другим измерением нашей жизни?

Вот отчего двоится сознание, что ни к чему не могу прийти, хотя до смерти Николая Федоровича мир, мое мировоззрение были так же просты, как и моя ладонь по своей открытости.

Вот о чем я разговаривала с незримо присутствующим Николаем Федоровичем и т.д.

**6, май, воскресенье.**

Неужели только пустота остается? И то, что я пытаюсь найти в жизни смысл, значительность — это, быть может, я пытаюсь заглушить боль, страх, растерянность, пытаюсь успокоить психику, и все это направлено, может быть, инстинктом самосохранения на то, чтобы защититься, выстоять против страшной очевидности, чтобы обмануть себя. Может, ищущий смысла, чтобы защититься от бессмысленности.

Перечитывала дневники. Грустно-грустно. К чему-нибудь я приду? или же будет просто пустошь? Что нужен труд — не сомневаюсь, но сумею ли возродиться?

**10, май, четверг.**

Ушел из жизни моей большой друг; чувствую, что в судьбе такой человек встречается только раз, и не могу себя ничем утешить, как ни пытаюсь. Как-то по жизни я уверенней шла, когда был рядом Николай Федорович, как-то ясней было жить.

Теперь же настолько пусто, одиноко, тоскливо, абсурдно, что не знаю, как выстоять, да и выстою ли? Только теперь у меня открылись глаза: насколько я была глупа, эгоистична, жестока.

Я рассуждаю о том, что есть другие измерения и т.д., но что? Откуда я знаю это? Что я точно знаю, так это то, что я лишилась Друга, и что мне гораздо тяжелее стало жить. Смысл все потеряло. Как я ни пытаюсь уцепиться за жизнь, ничего из этого не выходит: пытаюсь обмануть себя — не получается; ясно вижу — смысла нет. Возможно, это болезненное заблуждение, но ни к чему другому не пришла я.

Сейчас Шаляпин сказал, что «Любовь — всегда счастье, но любовь к искусству — величайшее счастье в жизни». Может, это и так. Но я очень несчастна. Как-то Николай Федорович рассказывал, что проснулся он среди ночи, смотрит в темноту и вдруг подумал, что смерть не так уж далека. «И так, ты знаешь, жутко стало!» — как-то очень доверчиво и серьезно сказал он.

Мне как-то стало грустно от его слов. Мысль о том, что все трагично в мире, уже тогда точила мое сердце, сжигала душу.

«Мы всегда с тобой говорим на такие темы, которые можно продолжать бесконечно. Поэтому отложим этот разговор до следующего раза». Или: «Как-нибудь мы продолжим этот разговор». Так обычно говорил Николай Федорович мне, когда разговор заходил на глубокие темы: о смысле жизни, о смерти, о Толстом, об искусстве, о том, как жить и т.д.

Иногда я горячилась и говорила: «Давайте договорим до конца, мне сейчас интересно знать, что Вы ответите!»

Когда я впадала в хандру, он ругал меня и говорил: «Что ты! В жизни столько <много> хорошего, что если б тебе дали 10 жизней, то и тех бы не хватило для того, чтобы успеть все это хорошее передать на холсте. А ты хандришь!» Или: «Жизнь стала гораздо лучше. Это я вижу на примере своей жизни... Я выучился, жил лучше своих родителей, а мои дети раза в три будут жить лучше меня. А ты говоришь: «Жизнь плоха». Жизнь во всех проявлениях хороша, только надо уметь видеть ее хорошие стороны. И хороших сторон больше, чем плохих. Тебе что — делать нечего, что ты хандришь?» — часто говорил мне такое Николай Федорович.

**12, май, суббота.**

Неужели я и вправду верю, что человек не умирает, и за гранью смерти продолжается его разумное существование, а не распад на более простое? Неужели ж за гранью смерти есть сфера, где наше духовное не исчезает, а стало быть, наша жизнь продолжается? Я хочу в это верить, но трудно это представить, так трудно, что можно, как говорят, свихнуться. Но разве легче представить то, что вот сейчас я мыслю, страдаю, пишу эти строчки, смотрю, пытаюсь представить неведомое, а потом меня не будет, а будут простейшие органические и т.д. соединения, разве это легче представить, разве здесь нельзя свихнуться? Я, страдая, живу.

Иногда иду по улицам и думаю, что Николай Федорович в иных сферах живет, а иногда, когда представляю то, в чем уверены все люди, все кажется настолько лишенным смысла, что я думаю, я даже не могу выразить словами, что я думаю, но желание жить оставляет меня, опускаются руки, и все — глупо, ничтожно, мелко.

Ван Гог как-то в одном из своих писем сказал, что за гранью смерти есть что-то, что мы не исчезаем; и говорит вроде этого, что мы не исчезаем. Жизнь — смерть — явление не плоское (ведь считали же Землю раньше плоской, а она оказалась круглой), а объемное. Я хочу в это верить, что не плоское понятие, а объемное.

Я в будничном абсолютно не могу жить — тяжело. Пусть простит мне Николай Федорович все мои заблуждения и злые мысли, действия.

**13, май, вторник.**

Дж. Уиллер пришел к выводу, что с точки зрения теории относительности время не одномерно, а многомерно и даже бесконечномерно. И не может быть охарактеризовано одним параметром, как это обычно делается.

Согласно Уиллеру, переход из одного состояния к другому в пространстве-времени может быть реализован бесконечным числом способов. При таком подходе поведение объекта отображается не одной мировой линией, а целым «листом», содержащим бесконечное число таких линий.

В подобной модели понятие временного порядка событий вообще теряет физический смысл. «Приходится отказываться, — пишет Уиллер, — от картины мира, в котором любое из происшедших, настоящих и будущих событий занимает от века ему предназначенное место в великом каталоге, именуемом «пространство — время». Нет более «пространства — времени», нет «времени», нет отношения «раньше — позже». Не имеет смысла вопрос «А что потом?».

Это все интересно. И я думаю, что смерти нет. Смерть — очень условное понятие, такое же, как жизнь. Вот только почему наше сознание скорбит и мучается? В силу чего (когда сталкивается со смертью)? А я все же не могу решить, как мне быть? К чему приду? Не хочется пошлости. А пошлость в моем понятии — продолжать жить, как серые толпы. Хочется совсем под другим углом зрения смотреть на мир. Но как выработать такой взгляд, такое кровное (не нарочитое) мироощущение? Почему же Н.Ф. не может сказать, что он там? Я почему-то уверена, что есть.

**15, май, вторник.**

Я поняла, что надо работать, не щадя себя. Не думать о том, что для здоровья вредно переутомление.

Трудиться не покладая рук, титанически трудиться, как Великие, как ленинградцы в блокаду. Рассчитать время, и за дело. Я ведь обязана перед собой, перед погибшими, перед теми, кто не сумел или не успел воплотить святое; я в неоплатном долгу перед всеми и перед Николаем Федоровичем. Перед Николаем Федоровичем прежде всего обязана, вечно обязана, вечный должник я перед Другом.

**20, май, воскресенье.**

Сегодня Виктор Муссович Чемсо сказал, что работа хорошая («Звездное небо»). Но нужно думать и о перспективе, и о композиции, и о массах, как их распределять, и тон, и цвет не должны быть одинаковыми — будет дробность. Уметь разыграть на холсте обработку (холста). Тени — лессировками. А чтобы не просвечивал белый грунт, нужно тонировать темперой, как акварелью.

Мастера работали этапами. Писать нужно с учетом пространства, среды.

В.М. мне сказал, что пора мне себя выворачивать наизнанку. Очень серьезно заниматься искусством, а не просто так. Чувства на холсте передавать профессиональным языком. Да. Пора выворачивать наизнанку. Николай Федорович ждет, когда я начну жить серьезно и воплощать все то, что он не успел воплотить.

Пора выворачивать себя наизнанку!

**17, июнь, воскресенье.**

Когда смотрю на звездное небо и вижу бесконечные миры, то думаю тогда, что не может наша жизнь так тупо кончаться — смертью; смотря на звезд-

ное небо, почему-то уверяюсь, что за чертой смерти что-то есть. Значительное. И Николай Федорович не мертв.

**21, июнь, четверг.**

Я все еще не могу прийти в себя — мне грустно, и я все думаю, что жизнь моя видна, как на ладони, откуда-то сверху, и я как будто живу все время так, словно за мной ночью и днем наблюдают невидимые всепонимающие умные беспощадные глаза.

Мне ужасно грустно. Я начинаю замечать, что болото медленно, но цепко начинает засасывать меня. А болота не хочется.

**28, июнь, четверг.**

Работы мои должны выражать состояние моего духа. Это самое главное. Чтобы это выпевалось из души и не иначе.

Я сегодня подумала, что как преступно мало, ничтожно я записывала о Николае Федоровиче. Была чересчур занята собой.

Сегодня я сказала приблизительно такое, что человек не исчезает как духовное начало. Солодкий В.И. сказал: «Ведь недаром же говорят, что душа бессмертна». Думаю о Николае Федоровиче.

**2, июль, понедельник.**

Станислав Родионов («Случай в университете». Повесть.):

«Нужно встречаться со стариками, нужно жить с ними рядом и ценить их, как мы ценим детей. Любой старик, даже самый никчемный и глупый, лишь фактом своего существования учит радости бытия, учит ощущать течение времени, которое бежит мимо нас, как машины по улице».

Любовь — это человеческое Я в самых лучших своих проявлениях?

**12, июль, среда.**

Сегодня мне 30 лет. Чего страстно хочу, так это написать гениальные картины и чтобы я все время стремилась к истинности, чтобы дух мой возродился и преодолевал высоты неустанного, чтобы я любила жизнь, чтобы жить мне было радостно, чтобы родные, близкие и вообще хорошие люди жили счастливо, долго-долго! Вот чего хочу я!

Философия сегодняшнего дня, момента — вот что надо мне осмыслить, усвоить. И не забывать о философии случая. И не забывать о том, что приоткрыла мне смерть Николая Федоровича. Мне надо следовать по своему пути и помнить, что «дорогу осилит идущий».

А ведь получилось так, что я на самом деле серьезно не жила, может быть, я бы уже рисовала каждый день, если бы не подкосила смерть Николая Федоровича. Вот я и хочу записать то, что решила сегодня: каждый день рисовать, рисовать, отбросив все. Главное — не просто рисовать, а искать форму выражения для своего видения. И надо держать себя так, чтобы не забываться, иначе — правдивее будет зажить жизнью серости.

Жить не придураясь. И не надо слушать чужие рассуждения, причем глупые, эгоистичные, а действо-

вать, жить, как подсказывает душа, и не иначе, ибо если лукавить, то получается обыкновенная подлость. И мне стыдно, что я невольно способствовала и где-то запятнала святость чувства. Так глубоко внутри то, что дорого. Люди в большинстве скользят по поверхности, совершенно не подозревая о страшной глубине явлений. Не уподобляйся им; живи, как чувствуешь, как требует душа.

Итак, я вступаю в пору зрелости. Хочу, чтобы это не было зрелостью возрастного лишь порядка, а хочу, чтобы это была зрелость души, ума, чувств, та зрелость, которая может приготовить всю мою душу к творческому взлету, истинности и к пониманию глубинных связей жизненных явлений, к принятию жизни как явления необыкновенного чуда, где бы человек должен сам яростно, истинно лепить себя, любя истину превыше всего. Я хочу начать жить истинно. Пусть самое хорошее останется со мной, а плохое — отлетает прочь, как шелуха.

**30, июль, понедельник.**

«Прошлое не вернешь, будущего может не быть, только настоящее в наших руках». Ничему не могу дать оценку. Будто в вакууме. И ведь действительно, нужно жить только настоящим, чтобы не упустить будущего, если оно будет.

Начинаю ощущать почти физическую потребность: остановиться и подумать, именно — неподвижно сидеть и думать; а я никак не могу остановиться — все лечу, как камень, брошенный с горы. Садимся в поезд на станции Рождение, а выходим все на станции Смерть. И этот путь между станциями — жизнь. Вот и вопрос: как мы проведем этот отрезок пути — серо и однообразно, или же — насыщенно и глубоко?

Созрею ли я или буду пустоцвет?

**10, август, пятница.**

Я говорила об этом — что духовное не может уничтожаться смертью, что мы не умираем, а переходим в другое состояние. Хорошо бы поговорить об этом вопросе с настоящим ученым.

Значит смерти нет, а есть разлука, и я встречаюсь с Николаем Федоровичем. Это б дивно было. И Толстого увижу, и Сократа, и Спартака, и Бетховена, и Вивальди, и Ван Гога и Микеланджело, и Рембрандта... и всех любимых людей.

**29, август, среда.**

Сегодня у В.М. Чемсо день рождения. Отмечали. Сказал обо мне, что фанатик.

А я еще не работала и не заслужила этого; работа производственная — стерва — заедает.

И все же, никто так не чувствовал, не понимал, не видел меня так, как Николай Федорович. Мне на всю жизнь грусть, глубокая грусть, скорбь, что его рядом нет.

**13, октябрь, суббота.**

Как же жить, когда в 30 лет преследует неотступная мысль: все в прошлом, все напрасно, все поздно... Живем, точно слепые, и так свою жизнь коверкаем, что смотреть на нее тошно. Никто и

представить себе не может, до какой степени я несчастный человек. Это знаю только я, и эту тайну глубоко таю от посторонних глаз.

Кончить свою жизнь — страшно, но жить с таким сознанием, как у меня — не менее страшно, и что предпринять, не знаю. Мне одно интересно: ходил, мыслил, страдал, любил Николай Федорович, а теперь его нет, и как будто это сон, и этого не было на самом деле, это просто будто причудилось. Ну как же жить так, во что верить, в чем смысл наших мечтаний?

Человек ограничен как временем, так и пространством. Ведь верно ж, живут в одно время со мной интересные люди, а я ограничена только определенным кругом людей, определенной работой, определенным временем. Мне все кажется, что будто времени у меня тьма, и я все успею сделать, но сознаю, что это кажущееся — заблуждение, что вот-вот, и ничего не будет — ни меня, ничего. Все так же — и цветы будут цвести, и листья падать, и ветер дуть..., только без меня. И те же глупости будут делаться людьми, что и сейчас, и все оттого, что мы не можем осознать себя, жизнь, что мы — словно игрушка в чужих руках.

И еще: человек ограничен определенным кругом знаний, которые характерны для данного времени. И в этом трагедия.

**30, октябрь, вторник.**

Лев Толстой сказал, что, чтобы жизнь была лучше, надо не жизнь менять, а самому меняться. Я дошла уже до этого рубежа — когда жить по-старому нельзя. Теперь по мере сил буду себя менять. Дайто Бог силы. Итак, с сегодняшнего дня — рисовать. И ни дня без рисунка.

**28, ноябрь, среда.**

Самосовершенствование, наверное, и заключается в том, чтобы постоянно обуздывать в себе животное Я и подчинять себя духовному; и в том постоянном усилии уяснения себе смысла жизни, и в исполнении своего предназначения.

А у меня еще нет постоянного усилия, все рывками, и срываюсь. Читала, вернее, проглядывала Л. Толстого о Вагнере; описание Толстым оперы Вагнера комично в высшей степени, не могла удержаться от смеха.

В рисунке даю спуск себе и срываюсь оттого, что не ежедневно, от этого все усилия — к нулю. Еще важно то, что это расслабляет, мучает неверием. Надо все причины — в сторону, только постоянство может привести к пониманию, умению.

**3, декабрь, понедельник.**

Читаю Л.Н. Толстого «Что такое искусство?». До чего острый, обобщающий ум!

Видела вчера Шишкина Ю. Я ему благодарна за то, что он искренно огорчился, узнав о смерти Николая Федоровича.

Мне кажется, что я что-то уясню для себя, читая Л.Н. Толстого «Что такое искусство?». При чем, думается, очень важное.

Что такое МЫ с нашими желаниями и целями? Мы приписали себе огромную важность, вообразив себя центром, вокруг которого все кружится, а на самом деле мы — лишь ничтожная частичка в необозримой вселенной.

*«Мы живем сейчас во времена такой внешней и внутренней неуверенности, и нам так недостает определенных целей, что представляет ценность даже просто исповедь в своих убеждениях, даже если эти последние — как и все оценочные суждения вообще — не могут быть доказаны логическим путем»* (Альберт Эйнштейн).

*«Для меня борьба за достижение более глубокого и лучшего понимания мира — это одна из тех самостоятельных целей, без которых у мыслящей лично сти не может быть сознательно-го позитивного отношения к жизни»* (Альберт Эйнштейн).

**1980 год.**

**2, январь, среда.**

Если я раньше говорила: «Я не знаю, как мне дальше жить», — то сейчас такое время настало, что только сейчас я говорю с полнейшей растерянностью: «Как же жить?» И кто его знает, не будет ли еще хуже. Или что-нибудь должно завершиться в этом году, или я вплотную подойду к проблеме самоубийства. Это своего рода болезнь, когда совсем не видишь выходов из тупика, и в тебе ослабляется и ослабляется любовь к жизни, все кажется монотонным и лишеным смысла.

Отрицание мира, каким мы его знаем и над которым установили полнейший контроль, с отрицанием общества, которое по желанию может быть приручено; на фоне всего этого нам кажется, что художник склонен вести игру и приглашает нас принять в ней участие, об этом честно говорят, и существует множество исследований на тему «Искусство и игра». Мы знаем, что игра может быть серьезной по причине эмоций, которые она возбуждает, обязательств, которые она полагает, и производительного эффекта.

Таково искусство; когда оно заверяет, что является игрой, к нему следует относиться со всей серьезностью. Мы убеждены, что современное искусство — явление прогрессивное, вызванное в первую очередь регрессивным и бесчеловечным характером нашей цивилизации и всем тем, что эта цивилизация навязала природе.

Это искусство на свой манер предполагает свернуть то, к чему стремится феноменология, а именно — снять покров идей, закрывающих мир, с тем чтобы вернуть его первоизданную простоту, счастье его единение с ним.

... Мир надо освободить, населив его новыми, прекрасными вещами, которые не будут лишь слегка видоизмененными вариантами уже известного. Вырывая будничные предметы из его естественного окружения, мы создаем из него не художественную вещь, а скорее вещь необычную. Этим нас как бы выводят из привычного окружения, приглашая по-новому любоваться и восхищаться предметом, быть может, удивляясь его своеобразию, перед нами предстает новая, никогда ранее не выраженная красота.

Нельзя ли таким путем преобразить всю нашу цивилизацию?.. По мнению Дюбрюфе, грех культуры — в ее утверждении, что произведение искусства — это нечто, созданное лишь для созерцания, в отличие от того, что создается для непосредственного переживания. Искусство лишь тогда освобождает нас, когда оно становится нашей собственностью, и многие художники видят свое призвание в том, чтобы пробудить нашу творческую силу, не столько предлагая нам образец, которому мы должны следовать, как прилежные ученики следуют указаниям учителя, сколько показывая нам пример свободы, ради которой стоит жить... Освобождение всегда означает самовыражение, но отнюдь не саморазоблачение.

Его более глубокое значение — выйти за собственные рамки, избавиться от самого себя. Он должен идти на риск потери своего «Я», и его неповторимость пропорциональна его самоотречению.

**1, февраль, пятница.**

Прочла «Записки из Мертвого дома» Достоевского. Читала с упоением, наслаждением! Давно я не читала такого оригинального, сильного, такого выстраданного.

Читала о пространстве, о времени.

Уверена почему-то, что не умирает человек, а как-то переносится в другое состояние (впрочем, при нашей цивилизации этого еще не понять, а потому — считают вздором).

Николай Федорович, не спится.

Сегодня была мысль, что живу я напрасно, а вот убить себя почему-то не решаюсь, или не созрело решение, или еще чего-то жду, или трусость. Не люблю окружение, где все мелко, но сама не могу выйти из этого круга заколдованного, из этой среды; суетня да больше ничего!

Слепые кроты мы, вот и все!

Мы все на шаг впереди себя ничего не видим. о чем же рассуждать? Все мы сидим в остроге, бедные каторжане!

**27, май, вторник.**

14 месяцев прошло. Я все время помню. Спится очень редко, где-то на фоне. Тяжело без Вас, Николай Федорович.

А я недавно испугалась, что умру. Мне кажется, что только мгновенная смерть не страшна, потому что не успеваешь сообразить, что это конец, а во время болезни, помня все — страшно.

У меня была почечная колика. Признают камень. Во время жесточайших приступов стонала, кричала. Вспоминала Николая Федоровича во время приступов — как ему было больно, как тяжело...

Часть сердца отсечена у меня смертью Николая Федоровича, и рана эта не затягивается.

**22, июнь, воскресенье.**

Прочла «В ладье Харона, или Симптомы старости» Дюлы Ийеш. Глубокая и умная книга, а какая мудрая ирония.

«Любой возраст красив. И человек может быть красив в любую пору своей жизни. Не должен он утрачи-

вать душевное свое достоинство. Опасна духовная брэнность — отмирание чувств, угасание надежд, увядание... В этой связи необычайно значение осмысленной цели в жизни человека. Пусть сперва кажущейся недостижимой. Но непременно возвышенной, достойной человека цели. И убежденность, твердость веры в себя, в преодолимость препятствий на пути к заветной этой цели.

Дух непоколебимости, стойкость в самые критические минуты. Мужество. Даже в трагической ситуации, в условиях кажущейся безнадежности.

В конечном счете человек не может жить без веры в благоую цель. У человека единственная возможность посрамить смерть, не ждать ее сложа руки.

Люди должны делать все, на что способны, что могут совершить. Чтобы не извести бессмысленную свою жизнь, не позволить растворить себя в мелочности и мирской суете. Люди должны в самих себе укреплять ощущение торжества, победы над недугом».

Пушкин:

*«Кружусь ли я в толпе мятежной,  
Вкушаю ль сладостный покой. —  
Но мысль о смерти неизбежной  
Везде близка, всегда со мной».*

У меня то же самое. Эта мысль — постоянный мой спутник.

**23, сентябрь, вторник.**

Могу смело написать, что людей с такими чувствами, как у меня, не то что бы нет, но встречаются они крайне редко.

Писать на бумаге сокровенное так же нельзя, как, например, доверять тайну болтливому человеку, потому что в любой момент по какой-либо причине это сокровенное могут прочесть любопытные глаза и оплюют неизведанное, святое. Потому — ношу огонь в груди, молча, страдая, ношу боль в груди, и никто не подозревает, насколько это больно душе.

Таков мой жребий. Я до сих пор не могу понять, разгадать: что имела в виду Природа, запрограммировав меня такой формой? Неужели это слепое стечение обстоятельств и ничего более? Просто продукт слепых обстоятельств??? Неужели мне так важно разгадать давнишнюю тайну? Для чего мне оно? Для самоутверждения? Этого не знаю. Но знать другое хочу наверняка: продукт ли я слепых обстоятельств или посланная в этот мир для каких-то целей, неизвестных мне? Знаю, что иметь такое желание — бред, рожденный страданием измученной души.

**25, октябрь, суббота.**

Мне грустно и совершенно непонятно, как мне жить? Куда идти? Где искать опору?

Душа изнылась, иногда хочется плакать, плакать о своей любви. Чувства свои глубоко я спрягала в сердце, но от этого в стократ больнее, сожгли меня эти чувства, сжирает тоска. Вот жребий выпал на мою душу! Ходить на людях со спокойным лицом, когда рыдания, тоска сжали душу! Нет сил жить! Что же мне делать? Что делать-то?

Никто не знает, какая боль точит мое сердце.

Я обречена боль свою носить молча. А ведь как серьезно все это и печально. Подумать только! Я не могу забывать. Ничего не могу забывать. Отчего это? «Минуты душевной невзгоды...»

**26, декабрь, пятница.**

Дмитрий Денисович, добрый человек, говорил о своем отце (которому 94 года), что тот говорит так: «Временное жилище человека — Земля. А потом вечное будет». Еще Дмитрий Денисович сокрушенно говорил так: «Никуда от смерти не спрячешься, ничего нельзя предпринять, все равны. Эх, жизнь человеческая!.. Я в церковь пойду, помолюсь, хор послушаю (хорошо поют), и на душе легче станет. А свечки надо обязательно ставить, чтоб душа умерших успокоилась. Оттого и снятся они нам...»

— Верите вы в сны? — спрашиваю.

— А как же! Верю!

Я помню Николая Федоровича, только он почему-то слишком мало снится.

**1981 год.**

**26, январь, понедельник.**

Сегодня 1 г. 10 месяцев, как ушел Николай Федорович. Куда? Не знаю. Может, скоро и я.

Не спится.

Недавно думала: ничего нельзя ни замедлять, ни ускорять (в духовном), все зреет само и в срок.

Только следить, чтобы не допустить искусственности. Окружающие совершенно не думают о духовном, и это их не страшит, живут зверьками.

Никто ни во что не верит.

Идеалы устарели (они и не вникли в них), а нового нет...

**8, март, воскресенье.**

Смотрела Рембрандта. Вот уж кто может направлять зрение по холсту, ничего лишнего! Чувство меры в высочайшей степени. Нельзя ничего прибавить и ничего убавить.

Все так взаимосвязано, как в жизни только могут быть связаны различные явления. Взаимосцепленность. Необходимо побольше смотреть мастеров. Красила сегодня рамы к работам: «Интерьер, накануне 26 января» («Большая туча», «Памяти Мягких Сережи»), «Июньские сумерки».

**31, декабрь, четверг.**

Открыл нам светлый талант Сережи Мягких и унес от нас лучезарного мальчика...

Все равно я не верю, не верю в смерть!

Вы где-то рядом, и ты, Сережа, и Вы, Николай Федорович и все вы, дорогие, ушедшие. Где-то...

А нам надо сохранить душу, ах, успеть бы, чтобы не уйти пустоцветом. Жить изо всех сил, стараясь сбегать святой огонь.

Что принесешь, 1982 год?

**1983 год**

**25, январь, вторник.**

Были у родителей Сережи. Завтра исполнится 2 года, как ушел Сережа.

Два года...

Мальчик, который стал для меня родным, который для меня — символ Совести Художника, Светлый Талант, Символ Чистоты, Жизнелюбия, Доброты, Искренности. Милое дитя, чистый, нежный, незабываемый облик. Ты с нами, Сережа, а если есть другие измерения (а я верю в это!), то твори до самозабвения, чтобы не мешал никто, как мешали тебе на Земле всякие ничтожества. Приходите к нам, Сережа, хотя бы в снах.

И все-таки буклет твой вышел!

Я знаю, ты очень бы радовался с нами, но, к сожалению, люди не замечают, не ценят друг друга при жизни... Сережа, я все время помню тебя, помню, помню, ты весь — «Дитя Добра и Света», лучезарный облик! Где вы? Николай Федорович, Сережа, Лена Топалова? Помогите мне быть чистой, требовательной, чтобы я занялась наконец-то настоящим искусством, чтобы я ушла из жизни с Чистой Совестью и с чувством Выполненного Долга. Помогите мне.

Мир Вашим Большим Светлым Душам, Николай Федорович, Сережа, Лена.

**8, март, вторник.**

Были у Саврасова Евгения Владимировича. Смотрели живопись, графику. Жизнерадостный Художник, настоящий, цельный, неиссякаемый родник творчества. Сегодня вдруг я увидела его целиком, объемно.

Да, именно, Настоящее, без всего обыденного хлама. Совесть чистая. И увидела я себя, свою несостоятельность, свою скудость, свое заблуждение. Я просто не то, не так. Все не так, все иначе, пересмотреть себя надо.

Каждый день компоновать, работать, думать надо. Изо всех сил. Я отстала. Надо начинать все или бросить все. Смотреть бесхитростно надо. Взволновал пустяк — рисуй, не жди глобального, не откладывай. Из частиц, из секунд — жизнь наша.

Контраст форм, контраст линий, пространства, условность рисунка, угловатость цвета, абстракционистов смотреть, осмыслить, современное звучание должно быть, а не допотопные рецепты.

Думать, осмысливать информацию и работать каждый день, компоновать и над собой работать.

Хорошо, что свою однобокость увидела. Саврас помог. Радостно-тяжелый день сегодня у меня.

## НРАВСТВЕННЫЕ ИМПЕРАТИВЫ ХУДОЖНИКА ТАТЬЯНЫ ФИСЕНКО

К.Э. Штайн  
Р.М. Байрамуков  
Ставрополь

Татьяна Степановна Фисенко — известный художник, живет в Ставрополе. Ее работы имеются в музее нашего края, а также во многих городах России и зарубежья. Мы публикуем дневники Т.С. Фисенко 70-80-х гг., которые осмысливаем как голос того времени — времени грандиозных утопических идей и многообещающих полетов в космос, когда в жизни интеллигенции духовные устремления явно преобладали над материальными проблемами.

Т.С. Фисенко пытается овладеть, помимо языка живописи, поэтическим языком. Она пишет стихи, в которых преобладают экзистенциальные мотивы (жизнь, смерть, предназначение, ответственность человека). По большому счету, это тоже живопись, только словесная, так плотны ее стихи по фактуре, по разнообразию изобразительных деталей. Дневник Т.С. Фисенко пишет всю жизнь, причем почти без пробелов. Как-то в одном откровенном разговоре она рассказала о том, что писала даже в тот день, когда умерла мать; открыв тетрадь на следующий день, она не смогла прочитать ни слова: буквы наплывали одна на другую, были сплошные разводы и кляксы, но это, по-видимому, был тоже текст (соприкосновение бытия и небытия), и он, видимо, имеет место среди других текстов многочисленных дневников Т.С. Фисенко, где мысль художника постоянно балансирует между этими двумя полюсами: жизнь — смерть, реальное — ирреальное, земное — космическое. Медианы разных рангов в этих экзистенциальных проблемах — нравственные императивы. Извечный вопрос художника: как преодолеть земное тяготение, суетность, обыденные пристрастия, земные соблазны и выйти на просторы подлинного сущностного мышления, средством выражения которого для художника является язык изобразительного искусства. Дневник в этом случае — посредник в таком преображении, возможность постоянного контроля по ступеням восхождения к подлинному творчеству — лестница Иакова.

Сама Татьяна Степановна говорит об этом так:

*Зачем человеку вести дневник?*

*Наверное, затем чтобы следить за временем, видеть себя во времени и вообще понять, что происходит с душой человека, как что-то изменяется в душе человека, как она откликается на те или иные события. Растет ли душа, или, если хотите, есть ли этот самый духовный рост? Проследить за душой во Времени-Вечности. И потом ты один с Совестью. И надо же рассказать этой Совести, кто ты и зачем в этом мире. Узнать, наконец, свое предназначение и постараться без шума, аплодисментов, в полноте своего сердца исполнить свое дело. Это, как восхождение на вершину, — работа с Совестью. Она должна заполнять все существо ответственностью и долгом. И, самое главное, человек должен осуществиться в словах, делах, поступках. Дневник — это работа над душой: когда что-то не получается, падаешь, но тут ты должен на-*

*браться мужества, вставать и идти, ибо дорогу осилит идущий. Иногда дорога бывает грязна, но кто набрался мужества и пошел по ней, разве не испачкает ног своих. Падать, вставать и идти. Только набраться мужества, чтобы крепчал твой дух, а остальное суета. Не будем суетиться, а будем внимательно и усердно делать свое дело. Остальное Бог воздаст.*

*Некому рассказать, берешь в друзья дневник. Смотришь иногда, перечитываешь дневники, видишь, что повторяешься в мыслях, поступках, и приходишь к выводу, что надо что-то менять. Писала их для того, чтобы помнить, что со мной происходит, для чего живу. Посредством этого дневника отстраняюсь от себя, от своей жизни и смотрю как бы со стороны. Космос — нравственные понятия, законы, отработанные в веках. Идея Бога в те времена еще не волновала меня, я не была религиозной. Скорее, некие всеобщие заветы нравственности, вселенские законы. Идея Большого Разума, существующего помимо нас, руководила мной тогда.*

У Д.Н. Овсянико-Куликовского есть интересные замечания о взаимоотношении обыденного и художественного мышления. Он считал, что в душевной жизни каждого из нас «ведется неписанный дневник» и что все мы, особенно в известном возрасте, когда накопился материал жизненного опыта, оглядываемся назад, в это время у нас сами собой возникают «неписанные мемуары». Д.Н. Овсянико-Куликовский отмечает в таких «текстах» черты поэтической мысли, художественного творчества. Особенно он обращал внимание на дневники и мемуары тех, кто не заботится о литературной обработке своих «писаний», не покушается на «сочинительство». Подчеркивает, что это не только скрытые и разбросанные в «документах» элементы художественности, дневник всегда вырывает человека из тесного круга обыденности и обыденного мышления. «На этом пути, — пишет Д.Н. Овсянико-Куликовский, — подымутся и некоторые вопросы нравственного сознания. Заговорит совесть, заговорят и новые, может быть, неожиданные чувства. Зашевелится грусть, навернется слеза, или вдруг промелькнет ирония, послышится смех...» (1, с. 93).

Основные нравственные императивы Т.С. Фисенко: не прощать себе ошибок; искать истину; **жить по-космически**, жить так же серьезно, как умираешь (Л. Толстой); сконцентрировать себя до предела; вести внутреннюю работу над собой; воспитывать себя, не повторять ошибок; должна быть цельность во всем; нужно быть тверже; все сосредоточить на главном — творчестве, и учиться творчески думать, жить.

На протяжении всего текста дневника постоянно развивается один мотив: «жить по-космически», что подумать о тебе могут, глядя из Космоса. С одной стороны, это дань времени: людям 60-70-х представлялось, что развитие цивилизации пойдет по пути

освоения космоса, вспомним «Космическую одиссею» С. Кубрика. С другой стороны, это, может быть, особенности человеческой ментальности. Упомянутый ранее Д.Н. Овсяннико-Куликовский в работе «Наблюдательный и экспериментальный методы в искусстве» (1903) отмечает, что «искусство есть мысль человечества о самом себе, и в этой мысли так или иначе заключена оглядка на космос, порождающая различные, но всегда для человечества характерные чувства и настроения, в ряду которых Тургенев отметил страх перед космическим, сознание своей ничтожности, своей бренности» (1, с. 153). Ссылаясь на Тургенева, он говорит о том, что человек в обыденной жизни отворачивается от «космоса», обращается к мелким заботам и трудам жизни, так как ему легче в этом мире, здесь он дома, здесь он верит в свое значение, в свою силу. Но искусство описывает не только «этот дом человеческий», но ставит задачей «объяснить, почему и на каком достаточном основании человек «смеет» здесь верить в свое назначение и в свою силу. Этим определяется та вечная

проблема искусства, в силу которой оно перестает быть чисто описательным, реальным, в узком смысле, и становится реально-идеалистическим. Оно обращается к изучению критики, истолкованию стремлений и идеалов человеческих, которые ведь составляют часть все той же действительности. Преследуя эту задачу, искусство отвечает не только на вопрос: как живет человечество у себя дома? — но и на вопрос: чем люди живы и куда и как, живя, движется человечество» (1, с. 153).

У художника Татьяны Фисенко нет страха перед космическим. Поражаешься тому, с какой отвагой, не жалея себя, она стремится вырваться из обыденного мира на простор подлинного человеческого бытия, приобщиться вечным человеческим ценностям, осмыслять их в своем творчестве. Наверное, так всегда и бывает. В свое время, в определенном месте художник решает для себя вопрос, разорвет ли он оковы обыденности и станет ли подлинным художником, или уйдет в мир материального. Документ такого становления и представляет собой дневник Т.С. Фисенко.

#### **БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК**

1. Овсяннико-Куликовский Д.Н. Наблюдательный и экспериментальный методы в искусстве // Овсяннико-Куликовский Д.Н. Литературно-критические работы: В 2 т. — М., 1989. — Т. 1. — С. 83-145.



# VII. ЭТИКА И СОЦИОЛОГИЯ КОММУНИКАЦИИ

- 1/ М.П. Котюрова / Пермь / **Толерантность в научной коммуникации**
- 2/ Л.В. Енина / Екатеринбург / **Лозунги протеста: утоление страстей или падение нравов?**
- 3/ Н.Д. Голев / Барнаул / **Текст как воплощение энергии конфликта: опыт одной типологии антропотекстов и языковых личностей**
- 4/ В.А. Маслова / Витебск, Беларусь / **Молчание: модель и интерпретация в тексте**
- 5/ С.Ю. Данилов / Екатеринбург / **Этика текста в аспекте категории темы**
- 6/ Н.Ю. Хачатурова / Сочи / **Лингвориторическая стратегия и тактика оперирования этическими концептами**
- 7/ Н.Б. Лебедева / Барнаул / **Семиотическая модель естественной письменной речи**
- 8/ З.И. Гурьева / Краснодар / **Место языковой коммуникации в системе знакового общения**
- 9/ Е.В. Филиппова / Ставрополь / **Социальные функции застольной беседы и чаепития в художественном тексте (на примере рассказов 60-80-х годов XX века)**
- 10/ Е.Н. Сороченко / Ставрополь / **Дружеский визит: скучающий герой сквозь призму речевого этикета**

## ТОЛЕРАНТНОСТЬ В НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ

М.П. Котюрова  
Пермь

Проблема толерантности коммуникации многогранна и потому требует ограничения. В связи с необходимостью конкретизации этой проблемы кажется бесспорным обобщение Л.В. Скворцова: «Адекватное толкование толерантности возможно, но лишь в том случае, если принимается во внимание ее конкретное содержание. Одно дело толерантность в структуре межрелигиозных отношений, другое — толерантность в идеологической сфере. *Особая проблема толерантности — в структуре научного мышления* (курсив наш. — М.К.)» (30, с. 6).

Лингвистический аспект этой проблемы предполагает обращение к научным текстам, которые фиксируют научное мышление, хотя и в редуцированной, рафинированной речевой форме, абстрагированной от конкретно-чувственной реальности познания, однако в форме развернутой мыслительной деятельности.

На первый взгляд, проблема толерантности научной речи охватывает материал, который можно характеризовать «от противного». И тогда в поле зрения исследователя попадают отдельные «проявления» нетолерантного речевого поведения автора. Яркие примеры нетолерантного речевого поведения автора связаны с негативной оценкой идей, гипотез, концепций ученых (хотя в целом для негативной оценки в научном тексте характерна смягченность, некатегоричность (7; 26; 27; 31; 15 и др.)).

Научное мышление по своей природе имеет коммуникативно-медиаальный характер: опирается на знание, полученное предшественниками, и обращено к возможным последователям. В первом случае коммуникативная функция автора (а значит, и толерантность) осложняется пониманием старого знания (экспертной деятельностью по отношению к научным текстам предшественников), во втором — убеждающей констатацией, разворачиванием нового научного знания.

Как писал У. Найссер, «общение людей открывает ни с чем не сравнимые возможности для понимания, но также и для ошибок, непонимания и обмана» (18, с. 204). И это при том, что адресант как бы планирует позицию воспринимающего адресата, опираясь на единый, хотя и в вариантах, социокультурный и эпистемический фон, присущий также и адресату. Вместе с тем понимание научного текста представляет собой, по определению филологов В.В. Кима и Н.В. Блажевича, «весьма сложное теоретизированное отношение к действительности, проходящее в различных формах: усвоение научных фактов (интерпретация), усвоение отношений между ними (научное объяснение), обнаружение системообразующих фактов (концептуализация), а также в любом их сочетании» (10, с. 118).

Представляется существенным подчеркнуть, что уже само обращение к проблеме понимания текста, значит, не только к его содержательно-тематической стороне (на чем основано цитированное определение понимания), но именно к познающему субъекту требует от нас пристрастного отношения к тому,

как выражена в тексте эта самая субъективность. Действительно, учитывая то, что научный текст «фиксирует социальное отношение, связывающее субъектов познания, один из которых выступает в качестве субъекта общения, а другой — объекта общения» (10, с. 116), можно говорить не о собственно лингвистическом, но о дискурсивном изучении научного текста, поскольку такой анализ позволяет иначе структурировать понимание авторского сознания, его индивидуальности и увидеть проявление такой личностной характеристики, как толерантность, в научной речи — речи коммуникантов высокого социокультурного уровня, т.е. «хорошей речи», одним из критериев которой О.Б. Сиротинина считает понятность адресату (29, с. 20).

Представляется, что содержанием толерантности речи служит *понимание* (в разной степени) активным субъектом (адресантом) текста своего коммуникативного партнера (предшественника), а также *стремление быть понятым* возможным читателем или даже потенциальным последователем. Поскольку различна направленность коммуникации, то различны и содержание толерантности, и форма — эксплицитная либо имплицитная.

(Толерантность — *категориальное* качество речи, поскольку в ее основании лежат такие взаимосвязанные признаки, как толерантность — нетолерантность. Реализация любой категории, как известно, осуществляется в соответствии с градуальным принципом, поэтому всегда не в полном объеме, а частично, что обуславливается творческой индивидуальностью ученого, проявляющейся в культурно-речевом аспекте коммуникации. Эти вопросы здесь не рассматриваются.)

Проблема толерантности мышления и речи может решаться при «специфически гуманитарном» подходе, предполагающем, по мнению Л.М. Баткина, что исследователь имеет дело «именно с автором, с другим, с его мировоззрением и, следовательно, с тем смыслом, который в тексте обрел голос» (24, с. 30). Именно специфически гуманитарный подход к целому тексту (контексту целого научного произведения) позволяет вскрыть механизм как *непреднамеренно*, так и *преднамеренно* нетолерантного речевого поведения автора — поведения, обусловленного непониманием мысли предшественника, непониманием *содержания* того или иного терминологического понятия, особенно понятия, развиваемого автором. Недостаточность лишь ближайшего контекста для формирования смысла какого-либо термина нередко устанавливается благодаря анализу переводческой практики. (В свою очередь, автор должен учитывать это обстоятельство и ориентировать именно весь текст на разворачивание определенных научных понятий.)

Как пишет Л.М. Алексеева, рассматривая проблемы специфики перевода научного текста, «внимание переводчика научного текста должно быть сосредоточено на работе со **всем текстом**, поскольку большинство переводческих ошибок в научном переводе

связано со «сбоем» при установлении соотношения между контекстом и текстом» (2, с. 66). Автор приводит пример создания псевдоконцепта 'мягкий' в переводе статьи В.В. Налимова «Язык вероятностных представлений»: «Следует отметить, что понятие «мягкости» является основным свойством модели языка науки, разработанной В.В. Налимовым, и определяет достижение автора в разработке теории научного текста. Известно, что мягкостью языка науки В.В. Налимов считал его полиморфность. Употребление слова *weak* в качестве эквивалента термина «мягкость» является концептуальной ошибкой, которая может послужить в дальнейшем источником неадекватного знания» (2, с. 70).

В свою очередь, на вопрос, как оценивать речевое поведение автора, если научный текст насыщен отрицательнооценочными языковыми единицами, вполне можно ответить, что такое речевое поведение является преднамеренно нетолерантным. Уместно сказать, что средствами выражения негативнооценочных значений выступают разноуровневые языковые единицы, в частности, лексические, словообразовательные, грамматические, а также и собственно языковые, например, графические (кавычки). Например, лексические: *фиктивный, иллюзорный, извращенный, буржуазный*; словообразовательные: *несостоятельность, квазинаука, псевдотеория, псевдопроблемы, иллюзорность, школки, теоретизирование, философствование*; морфологические: *фантазии, притязания, истолкования, фикции, иллюзии*; фразеологические сочетания: *ходячие заблуждения, плоские представления, расхожие иллюзии*; графические средства: «абсолютные» критерии научности, «объективный» метод, представитель «новой философии науки» и мн. др.

Кстати, текстам по разным видам науки использование «нетолерантных» негативнооценочных средств присуще в различной степени. И этот научный факт можно интерпретировать в функционально-стилистическом плане при решении вопросов о влиянии на научный стиль экстралингвистического фактора «вид науки», точнее, «форма синтеза знаний и ценностных представлений». Действительно, наука многообразна по своим формам, и то, что справедливо, скажем, для биологии, не может быть отнесено к философии, которая находится, по-видимому, на грани между наукой и идеологией. Применительно же к функциональным стилям речи можно уточнить, что стиль изложения философской проблематики занимает промежуточное положение между научным и газетно-публицистическим. С одной стороны, идеологическая нетолерантность газетно-публицистического стиля, обуславливающая реализацию основного для этого стиля социальнооценочного принципа формирования, с другой — теоретико-идеологическая ориентация ценностного сознания в области философии являются объединяющей средой для взаимодействия газетно-публицистического и научного стилей. Такое взаимодействие функциональных стилей свидетельствует о полево́м — ядерно-периферийном — принципе организации научно-функционального стиля речи.

Именно целый текст, фиксирующий научное знание в процессе коммуникации, позволяет автору быть участником динамичного **дискурса** — субъектом данного высказывания (текста). Нам представляется чрезвычайно важным замечание П. Серию о том, что «процесс высказывания не развивается по линии намерения, он насквозь пронизан *угрозой смещения смысла* (курсив наш. — М.К.)» (21, с. 29). П. Серию подчеркивает, что «текст обладает значением только в соответствии с условиями его производства, а также и в соответствии с условиями его толкования... *не-высказанное, имплицитное является составным во всяком дискурсе* (курсив наш. — М.К.)» (21, с. 36).

Как может быть представлено в тексте стремление автора быть понятым читателем, несмотря на неизбежную неполноту выражения мысли? На наш взгляд, через создание — прежде всего — единой пресуппозиции, в частности, эпистемической базы, соотносимой с эпистемическим контекстом (13). Эпистемический контекст формируется как эпистемическая ситуация в среде старого знания. Эпистемическая ситуация (воспользуемся, на наш взгляд, достаточно полным и четким определением Е.А. Баженовой) — это «совокупность взаимосвязанных признаков коммуникативно-познавательной деятельности в единстве составляющих его онтологического, методологического, рефлексивного и коммуникативно-прагматического аспектов, оказывающих систематическое влияние на формирование научной речи, реализованных в научном тексте и определяющих его композиционно-смысловую и стилистико-речевую структуру» (3, с. 58).

Деятельность по формированию эпистемической ситуации (ЭС) старого знания можно определить как **экспертную**, то есть ориентированную на оценку неизученности предшественниками тех или иных фрагментов онтологического аспекта знания, актуальности / значимости для новой эпистемической ситуации, а также на формирование фрагмента онтологического аспекта знания или ограничение (очерчивание) области поиска проблемной ситуации как источника нового знания. Экспертную деятельность на этапе формирования ЭС старого знания, актуального для поиска проблемной ситуации, можно считать следующим шагом автора «к читателю» — шагом, благодаря которому актуализируется опыт читателя (что существенно в плане коммуникативно-познавательной толерантности), причем актуализируется **прогностически**, с учетом стратегии получения нового знания, независимо оттого, куда читательский «ум направлен». Именно прогностический характер экспертной деятельности на этапе формирования ЭС старого знания соответствует стремлению к толерантности научной коммуникации. Обеспечение прогностической функции научного текста, каждого его фрагмента — вот задача автора, которую он решает с первых строк создаваемого целого текста.

Интересно, что экспертная деятельность основывается на двух подходах и потому может быть связана либо с констатацией 1) *неизученности* объекта, что является сигналом к прогнозированию предмета исследо-

вания, либо, напротив, 2) констатацией достижений, т.е. *изученности* объекта, позволяющей познавать объект в других направлениях. При этом важно, что результат такой экспертной деятельности излагается посредством текста с разной тональностью — от подчеркнуто высокой позитивной (в примерах ниже набрано курсивом) до подчеркнуто негативной оценки (набрано полужирным шрифтом).

Приведем примеры.

«Так, (имярек. — М.К.) ставит целью исследования... Однако цель эта реализуется на базе предельно **неупорядоченной терминологии**, что **не** позволяет представить концепцию как непротиворечивую и обладающую объяснительной силой. **Не** определяется природа энергии текста... **Не** соотнесены понятия... Слишком широкое... толкование текста... закономерно ведет к такому определению текста, которое **мало согласуется** с научным подходом к изучению языка... Все эти метафоры **ничего не** проясняют в теории понимания текста, в его онтологии... **Не** содержит синергетического основания и следующее принципиальное положение автора...» (5, с. 50-51);

«*Вне учета* этих факторов и изучения функционально соответствующих им речевых многообразий **невозможно ни изучение языка..., ни уяснение его генезиса...**

Все эти видоизменения... *прекрасно учитываются современной лингвистикой*; но, к сожалению, только учитываются, **конкретного же исследования** речевых явлений в плоскости обусловленности их теми или иными из указанных факторов **почти нет**. До сих пор лингвистика **работает врозь** с патологией речи, до сих пор **не исследованы** явления эмоциональной речи, **нет** даже сырого материала по этому вопросу за исключением области словоупотребления, где далеко еще **не достигнуто удовлетворительных результатов**. Влияние эмоциональных состояний различного порядка на произношение **совершенно не изучено**, а между тем это представляло бы огромный интерес... Точно так же **не исследована** в этом отношении и область синтаксиса.

**Особенно плохо обстоит дело** в лингвистике с речью при ненормальных состояниях организма... выяснение этого вопроса **было бы особенно важно** ввиду того, что...

Нужно, однако, заметить, что в порядке изучения языка как явления среды и взаимодействия сред **не поставлен еще вопрос**, являющийся до некоторой степени основным. **Это еще нерешенная очередная задача**. И, в сущности, только по ее разрешении *может быть в полной мере исследован вопрос и о взаимодействии различных языковых сред*» (32, с. 17-18);

«*Важность для синтаксиса понятия функции отмечается многими современными учеными*. Так, А. Мартине считает функции *центральной проблемой синтаксиса*. Представляются *чрезвычайно плодотворными идеи Мартине...*

... соответственно тому *принципу функциональности*, который в свое время был выдвинут И.А. Бодуэном де Куртене. *Наибольшая заслуга* в разработке понятия функции *принадлежит Пражской лингвистической школе*, для которой функционализм — основа научной методологии» (8, с. 7); «*Важное теоретическое значение имеет выдвинутая А.А. Потебней концепция...* По мысли А.А. Потебни... Принципиально важное значение имеет следующее положение А.А. Потебни... С нашей точки зрения, это положение А.А. Потебни верно отражает соотношение...

... Эта *фундаментальная мысль А.А. Потебни*, которая находит развитие и конкретизацию в целом ряде более частных положений» (4, с. 8-9).

Понимание старого с целью создать эпистемическую базу читателя — активная деятельность, поскольку оно связано с аксиологическим, ценностным отношением к тому или иному фрагменту воспринимаемой информации на фоне более широкого, общего научного знания. Эпистемически ценностное отношение является основой экспертной оценки (квалификации) научного знания — оценки соответствия данного фрагмента выработанным в науковедении критериям научности (В.В. Ильин). Ясно, что разная степень развития знания, относящегося к «переднему краю науки», «ядру науки» или «истории науки», степень его уплотнения (от неопределенного до номологического состояния), в конце концов (или, вернее, прежде всего) компетентность ученого, обуславливают формирование ценностного отношения к информации. Активное участие в этом процессе человека не только как субъекта познания, но и как личности в единстве всех его свойств позволяет нам подчеркнуть значимость сложного волевого компонента в аксиологической или, конкретнее, экспертно-эпистемической деятельности. Сложное волевое действие связано с обдумыванием, борьбой мотивов, выбором необходимых речевых средств выражения мысли. Сложное волевое действие осуществляется как функция многофакторной обуславливающей среды — эпистемической ситуации, включающей субъект-объектные познавательные отношения. Как только мы понижаем уровень обобщения субъекта познания до автора конкретного текста, так многофакторность «набирает силу». Кажется неслучайным в научном творчестве Л.П. Якубинского весьма широкое, в преобладающем количестве, использование пространственных квалификативных высказываний.

Толерантность речи — это качество речи как в ее целостности, обобщенности, так и в ее фрагментарности, непосредственности текстообразования, т.е. в ограниченном контексте. Действительно, даже отдельные негативные номинации типа *лженаука*, *квазинаука*, *псевдотеория* и др., использованные лишь в одном фрагменте научного произведения — история вопроса — не позволяют говорить о толерантности ученого в научной коммуникации, даже если весь дальнейший текст посвящен изложению лишь авторской концепции. Представляется, что при несогласии автора с концепцией предшественника предпочтительнее явилось бы стремление первого отделить зерна от плевел либо, в крайнем случае, использовать «фигуру умолчания», а не «приклеенный ярлык», тем более что принцип «не навреди» (в данном случае речь может идти о научном знании как целостном организме) общеизвестен и может быть применим не только в области медицины. На наш взгляд, каковы бы ни были причины появления — непреднамеренного или преднамеренного — в тексте даже отдельных негативнооценочных «изречений», их можно считать знаками нетолерантного речевого

поведения ученого. Уместно сказать, что и «фигура умолчания» предпочтительна лишь в сопоставлении с резкоотрицательной оценкой, причем оценкой обобщенной, «огульной». Вообще же, в научном произведении «фигура умолчания» является средством экспликации негативного отношения автора к предшественнику, если речь идет о сложившейся эпистемической ситуации, уже зафиксированной в тех или иных научных текстах.

Именно целый текст, точнее, текст целого научного произведения, высвечивает непреднамеренность нетолерантного речевого поведения автора — непреднамеренность, обусловленную непониманием мысли предшественника, его недостаточной эрудицией, узкой целесообразностью, сугубо «дискретным» подходом к предшествующему знанию, к тому же с чисто прагматическим уклоном одного автора поддержать, о другом — умолчать.

Известно, что любой научный текст диалогичен. Выполняя коммуникативную функцию, он представляет собой питательную среду для проявления как толерантности, так и нетолерантности автора по отношению и к предшественникам, и к современникам, и к читателям в целом, являясь свойством межсубъектной коммуникации. Понимая субъект коммуникации с учетом разных уровней обобщения (личность, группа, социум, ориентированный на единство профессиональных, религиозных, национальных и др. интересов, и т.д.), можно легко представить, что на разных уровнях обобщения коммуникации субъектам присуща толерантность, терпимость, проявляющаяся в той или иной степени (и в той или иной форме) осознанно, посредством использования социальных коммуникативных средств, либо неосознанно, как фоновое качество речи. Естественно, что в любом случае оно формируется на текстовой основе и потому является свойством целого текста. Другое дело, что в текстовой ткани можно обнаружить целый арсенал средств, ориентированных полифункционально, в том числе на актуализацию толерантности межсубъектной коммуникации.

В отношении научного текста М.Н. Кожиной проведено специальное исследование проблемы диалогичности научной речи, дан глубокий анализ обширной литературы и представлена структура функционально-семантически многопланового явления диалогичности научной речи (11). С учетом именно диалогичности (точнее, полилогичности) текста целого научного произведения можно говорить о наличии условий для демонстрации толерантности — нетолерантности автора в процессе коммуникации. Толерантность всегда выступает антиподом «высокомерия», фетишизации как свойств личности, группы, социума — психологических, профессиональных, религиозных, национально-культурных и т.п., так и свойств объекта познавательной деятельности, например, достоинств собственной концепции.

Представляется, что по существу не что иное, как толерантность по отношению к другому вынуждает ученого, автора текста, описывать, определять, объяснять, иллюстрировать — выполнять множество ментальных действий по формированию информа-

ционного пространства для читателя. Получение научного знания, т.е. абстрагирование от частных признаков, выявление и фиксация все более общего, всегда сопровождается усилением **субъективности**, поскольку исследователь всегда связан определенными теоретическими установками, т.е. своим пониманием объекта. Именно поэтому научное знание, причем в любой области науки, характеризуется перманентным состоянием проблемности, т.е. наличием проблем решенных, решаемых усилиями многих исследователей при «громкой концентрации внимания» к этим проблемам, а также постоянно обнаруживаемых, нередко требующих длительного решения. Состояние проблемности (как основы конфликтности) в тех или иных разделах науки может быть описано стереотипными средствами и по стереотипной схеме:

*«Проблемы... продолжают вызывать острые споры среди... Эти проблемы решаются по-разному различными... школами в зависимости от их общетеоретических позиций. Даже в рамках одной и той же школы можно наблюдать заметные расхождения как в понимании самого явления..., так и в освещении свойств, особенностей и отдельных сторон..., характеризующих его природу. Поэтому обсуждение спорных вопросов теории..., и в частности..., остается актуальной задачей»*

(в сокращении приведен фрагмент из: 22, с. 5).

Как только мы обращаемся к тексту научного произведения в качестве не только средства хранения, но и средства полисубъектной — полилогической — коммуникации в процессе познавательной деятельности, так обнаруживаем возможности проявления толерантного / нетолерантного отношения автора текста к другому субъекту коммуникации. Ситуация решения проблемы (и чем последняя сложнее, тем очевиднее) аналогична пожару, когда действенное участие в событии актуализирует лучшие качества людей, но вполне возможно непонимание логики действий кого-либо, в результате чего могут возникнуть коммуникативные конфликты. Понятно, что нетолерантность имеет гносеологические (конфликтность старого и нового знания), психологические (конфликтная личность), психолингвистические (недостаточная языковая компетенция) и другие корни.

Пытаясь структурировать «питательную среду» нетолерантности, прежде всего отметим интерес философов и науковедов к «альтернативным направлениям (так называемым концептуальным и стилевым альтернативам. — М.К.), которые находятся в состоянии **борьбы** между собой, взаимной **критики** и **оспаривания** права на лидерство в соответствующей области исследований» (25, с. 146). Состояние борьбы, по-видимому, неизбежно при том, что, например, в физике только стилевых, или мировоззренческих, альтернатив около 100 (25, с. 150, ссылка на Дж. Холтона), «в экономической литературе имеется около 15 точек зрения на исходную «клеточку» политической экономии социализма (12, с. 168); аналогично в других областях науки, см., в частности: «специальные определения языка **варьируют** от школы к школе и связаны со степенью разработанности в рам-

как данной школы онтологии языка» (22, с. 11); «Было бы исторически неоправданным требовать единства замысла, целесообразности частей целого от существующего синтаксического учения: **основы** этой древнейшей науки разрабатывались еще в античности, а **последующие века**, накапливая огромной ценности материалы и обобщения, **усугубляли** вместе с тем **эклетицизм, многослойность теории**» (8, с. 5); «Многолетнее обсуждение этой проблематики привело к появлению большого числа **различных трактовок** соотношения стилей языка и стилей речи (иногда с использованием иной терминологии), в которых зачастую **неодинаково определяются** исходные понятия...» (20, с. 7).

Совершенно ясно, что формирование различных направлений в немалой степени обусловлено тем, что «в создании концепций важная роль принадлежит *творческому воображению* ученых, которому свойственно двигаться в *различных, подчас противоположных* направлениях (курсив наш. — М.К.)» (25, с. 148). История науки свидетельствует об одновременном существовании альтернативных теорий электричества, теплоты, света и т.п. — так называемых концептуальных альтернатив. «Многие споры и дискуссии между теоретиками разгораются именно тогда, когда сталкиваются подобные альтернативы, каждая из которых *pretendует на единственно истинное объяснение* действительности... возникают дискуссии, подоплекой которых является убежденность сторон в том, что *только их подход дает адекватное понимание...* (курсив наш. — М.К.)» (25, с. 148, 152). Это ли не пример фетишизации фрагмента — и не только фрагмента! — научного знания?! Поэтому представляются совершенно справедливыми слова названных авторов о том, что «нужно обладать чрезмерным (и, заметим ни методологически, ни этически не оправданным) **самоуверчением**, чтобы утверждать, что *собственная научная концепция является единственно достоверной* и что *альтернативные научные аргументы можно не принимать в расчет*», что «единственно рациональной стратегией в отношении концептуальных альтернатив является создание и поддержание таких организационных форм и *этических норм научной деятельности*, в которых все более или менее плодотворные альтернативы могли бы внести свой вклад в коллективный процесс производства знаний» (25, с. 153, 149). Фетишизацией своей концепции иногда «грешат», как известно, блестящие теоретики. Так, например, М. фон Лауэ и М. Борн писали в некрологе М. Абрагаму, что он «испытывал глубокую **антипатию** к эйнштейновским абстракциям. Он *любил свой абсолютный эфир, свои полевые уравнения, свой жесткий электрон...* Его **враждебность** коренилась в фундаментальнейших физических представлениях, которые он в соответствии со своими убеждениями разделял до конца» (цит. по: 12, с. 151-152).

Как известно, даже просто читательский опыт (чтения научной литературы) показывает, что «в пылу полемики» или под тяжестью идеологического груза авторы прибегают к уничижительным выражениям. Ограничимся несколькими примерами:

«... такое высказывание в общей системе его взглядов кажется неожиданным, **чисто декларативным**» (1, с. 17); «После такого предисловия мы вправе были бы ожидать описания специальных методов... К сожалению, **ожидания наши не оправдываются**»;

«... *Попытки этой обнаружить не удается*» (1, с. 242);

«... *Тирада эта сомнительна по существу* (1, с. 243);

«... При всем самом искреннем желании читатель **не может обнаружить** в книге описания хотя бы одного методического приема исследования, равно как и применения по-новому уже известных методических приемов. Трудно поверить тому, что автор мог попросту забыть сказать об этом» (1, с. 243).

**Понимание другого** реализуется в научном тексте — посредством формирования субтекста старого знания, который «развертывается параллельно содержанию субтекста нового знания, создавая *второй смысловой план* научного текста» (3, с. 221). Субтекст старого знания создается благодаря использованию таких форм, как субъективированное (авторизованное) понятие, дефиниция, умозаключение, выводное суждение и др. (см. о внутреннем устройстве субтекста старого знания, или составе его микросубтекстов: 3, с. 160-161). К негативным сторонам создания эпистемической ситуации старого знания можно отнести: 1) неполноту формирования эпистемической ситуации, когда актуализируются не все аспекты, а только онтологический и методологический; например:

«В работе (11) предложен **МЕТОД оценки энергий связей в нитридах титана и циркония**, основанный на предположении существования **двух подполос энергий, отвечающих связям М-М и М-N**. Этот метод очень близок к **ПОДХОДУ Мюллера вычисления энергий связей в стеклах**» (19, с. 42); «В связи с этим был предложен (43-46) **МЕТОД расчета фазовых диаграмм состояния в рамках МОДЕЛИ субрегулярных растворов, учитывающей зависимости энергий взаимобмена в различных фазах от состава и температуры**» (6, с. 261)

— оценка значимости метода для получения нового знания не эксплицирована; 2) экспертные оценки лишь негативного характера, данные в резких, «жестких» выражениях без убедительной аргументации; например: «Представляется целесообразным кратко рассмотреть, как решались эти кардинальные вопросы и насколько мы ушли вперед по сравнению с пражскими коллегами... **Еще большую путаницу** внесло обращение к проблемам функциональной стилистики... Выявление характеристик текста производится с помощью **«объективного»** метода (ирония. — М.К.) — путем скрупулезного подсчета частотности употребления... Все, что говорилось о стилистике вообще, имеет непосредственное отношение и к функциональной стилистике, в которой широта исследований заменила глубину — **не было поставлено или разработано ни одной новой проблемы** по сравнению с тем, что уже было сделано пражцами» (17, с. 40-47); 3) преимущественно формальное цитирование (см. об этом: 14, с. 248-249), когда внимание автора привлекают риторические достоинства (образность, выразительность, точность и др.) текста предшественника; 4) умалчивание за-

слуг предшественников (см. об этом: 23); 5) погрешности в выражении мысли, приводящие к ее затемнению, неясности; например:

«Очевидно, что дополнительные коннотативные наращивания насмешки, иронии, циничной бравады *самым тесным образом связаны со всеми модусами экспрессивности* криминальной метафоры: снижением и вульгарностью, усилением и аффектацией, и *ПОЭТОМУ* вычленение отдельных коннотаций *носит условный характер, можно говорить лишь о преобладании* какого-то семантического компонента в сложной семантико-прагматической структуре криминонима» (28, с. 121).

Толерантность в научной коммуникации в плане **стремления автора** текста **быть понятым** читателем предполагает терпимость, снисходительность одного из коммуникантов по отношению к другому.

Выражение стремления автора быть понятым читателем, само по себе свидетельствующее об уважительном, даже предупредительном отношении к последнему, может иметь и негативные стороны. Так, оно (выражение) может страдать, с одной стороны, излишней полнотой, избыточностью, а с другой — излишней лапидарностью, плотностью, констатацией без необходимой аргументации, лишь частичным разъяснением, а также постепенной «выдачей» информации, без подчеркнутого убеждения читателя в правоте автора, «внушения» ему авторской позиции посредством речевых вариативных повторов.

Наши рассуждения неизбежно приобретают культурно-речевой характер, поскольку относятся к тому, насколько гармонично, комфортно «чувствует себя» новое знание в рамках (либо на фундаменте) старого, известного. В связи с последним новое знание, во-первых, может плавно вписаться в общий фонд знания; во-вторых, может вызвать временное резкое неприятие, отторжение, в частности, отнюдь не толерантное к себе (а нередко и к автору) отношение; в-третьих, может оказаться легко забытым, пополнив пласт «истории науки».

Можно ли быть адекватно понятым любым читателем — неизвестным автору человеком? Ответ однозначен:

нет, невозможно. И это подтверждено экспериментами социальных психологов<sup>1</sup>, свидетельствующими о важности для общения общего предварительного знания (эпистемической пресуппозиции). И не только предварительного знания.<sup>2</sup>

В заключение подчеркнем следующее. Проблема толерантности в научной коммуникации многоаспектна уже потому, что многоаспектно и многомерно средство коммуникации — текст. Учитывая только три основных направления деятельности автора в процессе формирования научного текста, в частности, познавательную, коммуникативную и текстовую, можно отметить проявление толерантности на основе следующих принципов: 1) целесообразный, а значит, позитивный отбор компонентов знания, актуального для автора текста, а не отрицание того, что за пределами знания, актуального для предшественника; отсюда 2) позитивная оценка актуализированного старого знания; со знаком «минус» — фигура умолчания в коммуникативном блоке «история вопроса», резкая негативная оценка старого, формальное цитирование и т.д.; 3) гармоничная организация текста с соблюдением принципа равновесия полноты и избыточности общей и частной информации, коммуникативно старого и коммуникативно нового знания, вводимого посредством таких речевых средств, как речевые вариативные повторы, акцентуаторы (включая собственно языковые, например, графические) и др. Здесь может проявляться, с одной стороны, своеобразное «недоверие» к читателю, его способности понять мысль автора, приводящее к насыщению текста речевыми вариативными повторами, акцентуаторами, средствами выражения диалогичности и т.д. С другой стороны, «игнорирование» читателя, закономерностей психологии восприятия научного текста, что обуславливает неполноту выражения коммуникативной ориентации текста (минимальное наличие речевых вариативных повторов, акцентуаторов, нелингвистических средств и т.д.).

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Дифференциация себя от другого достаточно элементарный процесс, хотя она имеет фундаментальный характер, так как на ней основывается вся последующая дифференцировка социального мира. В исследовании Р.Н. Краусса и С. Фусселля были отобраны «пары испытуемых, которые считали себя друзьями. Надо было обозначить бессмысленные фигуры таким образом, чтобы друг мог узнать эти фигуры. Спустя две недели все испытуемые были еще раз приглашены в лабораторию. Каждый испытуемый должен был установить соответствие бессмысленных фигур трем типам обозначений, сформулированных: 1) самим испытуемым (собственные обозначения); 2) его другом (обозначения друга); 3) случайно выбранным испытуемым для своего друга (обозначения незнакомого человека). Каждому типу обозначений соответствовала разная точность идентификации рисунков. Испытуемые были наиболее точны при использовании сообщений, сформулированных ими самими. Кроме того, они точнее идентифицировали фигуры по сообщениям, сформулированным специально для них (т.е. по обозначениям друзей), чем других людей (обозначениям незнакомого человека). Хотя различие между точностью идентификаций по названиям незнакомого человека составляет примерно 5%, эта величина статистически достоверна» (16, с. 88).
2. Кстати, в обобщающей статье А.К. Киклевича представлен опыт систематизации аспектов понимания текста и — что особенно важно в рассматриваемом плане — факторов понимания: структурно-речевой — имманентно-языковые характеристики текста; системно-языковой — степень подобия вербальных кодов коммуникантов; ситуативный — референциальные характеристики текста; когнитивный — неязыковые знания коммуникантов о предметной области текста; интерактивный — прагматическая функция текста как его роль в процессе социального взаимодействия; социо-регулятивный — знание норм социального поведения; композиционный — отношения между языковыми знаками в содержательной структуре знаков большего формата; ассоциативный — виртуальные отношения знаков (знания об окружающих текстах) (9, с. 19). Отсюда видно, как разнообразны факторы не только понимания, но и непонимания текста.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Аврорин В.А. Проблемы изучения функциональной стороны языка (К вопросу о предмете социолингвистики). — Л., 1975.
2. Алексеева Л.М. О специфике перевода научного текста // Стереотипность и творчество в тексте. — Пермь, 2001. — С. 63-73.
3. Баженова Е.А. Научный текст в аспекте политекстуальности. — Пермь, 2001.
4. Бондарко А.В. Грамматическое значение и смысл. — Л., 1978.
5. Герман И.А. Лингвосинергетика. — Барнаул, 2000.

6. Гусев А.И. Физическая химия нестехиометрических тугоплавких соединений. — М., 1991.
7. Зверева Е.А. О некоторых особенностях употребления аналитических форм сослагательного наклонения в английской научной прозе // Язык и стиль научной литературы. — М., 1977.
8. Золотова Г.А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. — М., 1973.
9. Киклевич А.К. Опыт систематизации аспектов понимания текста // Русский текст: Российско-американский журнал по русской филологии. — СПб, 2001. — С. 5-38.
10. Ким В.В., Блажевич Н.В. Язык науки: философско-методологические аспекты. — Екатеринбург, 1998.
11. Кожина М.Н. О диалогичности письменной научной речи. — Пермь, 1986.
12. Конкин М.В. Социальное противоречие как система (методологический аспект) // Диалектика и научное мышление. — М., 1988.
13. Котюрова М.П. О выражении отношений между текстом и эпистемическим контекстом // Проблемы функционирования языка и специфики речевых разновидностей. — Пермь, 1985.
14. Котюрова М.П. Творческая индивидуальность и цитирование // Стереотипность и творчество в тексте. — Пермь, 2001. — С. 244-258.
15. Красильникова Л.В. Жанр научной рецензии: семантика и прагматика. — М., 1999.
16. Краусс Р.Н. Познание и общение // Познание и общение. — М., 1988.
17. Левицкий Ю.А. Проблема типологии текстов. — Пермь, 1998.
18. Найссер У. Познание и реальность. — М., 1981.
19. Резницкий Л.А. Химическая связь и превращения оксидов. — М., 1991.
20. Салимовский В.А. Некоторые эвристические следствия из жанроведческого подхода в стилистике: проблема стилей языка и стилей речи // Стереотипность и творчество в тексте. — Пермь, 2001.
21. Серю П. Как читают тексты во Франции // Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса. — М., 1999.
22. Солнцев В.М. Язык как системно-структурное образование. — М., 1977.
23. Стоянович А. Квазиэлитарный научный текст в аспекте стереотипизации // Стереотипность и творчество в тексте. — Пермь, 2000. — С. 224-261.
24. Текст как явление культуры. — Новосибирск, 1989.
25. Толстов А.Б., Филатов В.П. Роль альтернатив в развитии науки // Диалектика и научное мышление. — М., 1988.
26. Троянская Е.С. Лингвистическое исследование немецкой научной литературы. — М., 1982.
27. Троянская Е.С. Некоторые особенности выражения отрицательной оценки в жанре научной рецензии // Язык и стиль научного изложения. — М., 1983.
28. Химик В.В. Поэтика низкого, или просторечие как культурный феномен. — СПб., 2000.
29. Хорошая речь. — Саратов, 2001.
30. Человек: образ и сущность (Гуманитарные аспекты). Толерантность и архитектура эмоций. — М., 1996.
31. Щукарева Н.С. Способы выражения некатегоричности высказывания в английском языке (на материале научной дискуссии) // Функциональный стиль научной прозы: Проблемы лингвистики и методики преподавания. — М., 1980.
32. Якубинский Л.П. Избранные работы. Язык и его функционирование. — М., 1986



## ЛОЗУНГИ ПРОТЕСТА: УТОЛЕНИЕ СТРАСТЕЙ ИЛИ ПАДЕНИЕ НРАВОВ?

Л.В. Енина  
Екатеринбург

Лозунг как средство политической и социальной мобилизации представляет собой интересный материал для лингвоидеологического анализа на основе понятия «сверхтекст»: «Совокупность высказываний, текстов, ограниченная темпорально и локально, объединенная содержательно и ситуативно, характеризующаяся цельной модальной установкой, достаточно определенными позициями адресанта и адресата, с особыми критериями нормально-го/анормального» (7, с. 1994). Понятие «сверхтекст» позволяет рассматривать массив так или иначе связанных между собой лозунговых текстов как некое цельное речевое и культурное образование и задает направления для интерпретации межтекстовых связей внутри целого, отдельных речевых и жанровых закономерностей изучаемых текстов. Лозунговый сверхтекст отражает стереотипные идеологические (мировоззренческие) представления, бытующие в современном российском обществе, эмоциональное состояние носителей языка и открывает новые возможности лингвистического / лингвоидеологического анализа, связанные, в частности, с социальной диагностикой.

Особой чертой сверхтекста лозунгов 90-х гг, функционирующих в ситуации протеста, является агрессивная тональность. Агрессивность как состояние субъекта речи порождает агрессивные действия. С коммуникативной точки зрения, акция протеста определяется как конфликтная и, несмотря на ее принадлежность к ненасильственным способам борьбы, таит в себе возможность физического насилия. Так, например, студенческие выступления в апреле 1998 года в Екатеринбурге привели к открытому столкновению студентов с правоохранительными органами.

Остановимся подробнее на характеристике человеческой агрессии как формы социального поведения. «Агрессия — это любая форма поведения, нацеленного на оскорбление или причинение вреда другому живому существу, не желающему такого обращения» (2, с. 26). Подчеркнем, что в определение агрессии включается намерение агрессора, его цель причинить физический и/или психологический ущерб жертве. В связи с категорией намерения существует вариант деления агрессии на враждебную и инструментальную. Враждебная агрессия имеет главной целью причинить страдания жертве. Инструментальная агрессия характеризует случаи, когда агрессоры используют агрессивные действия в качестве инструмента для осуществления различных желаний. С этой точки зрения, акция протеста относится к инструментальной форме агрессии, поскольку для митингующих акция протеста является одним из средств достижения определенных целей. В дальнейшем термины *агрессивность* и *враждебность* мы употребляем синонимически.

Несмотря на различие подходов к изучению агрессии (этологический, психоаналитический, в рамках концепции социального научения и теории фрустраций), большинство исследователей сходятся в том, что явление агрессии есть сумма и сложное

взаимодействие биологических, социальных и индивидуальных слагаемых. Важно, что агрессивное состояние влечет за собой агрессивное поведение, речевое и/или физическое.

Возвращаясь к ситуации общественного протеста как форме проявления агрессии, подчеркнем, что она обусловлена прежде всего социальными условиями: «Социальные условия являются главным источником наибольшего числа наших фрустраций. Когда наша потребность в уважении не встречает понимания, когда мы лишены свободы или чувствуем себя чужими в своем классе из-за отношения к нам некоторых людей, — мы находимся в состоянии фрустрации. Существует множество примеров фрустрирующих ситуаций подобного типа в жизни общества» (14, с. 89-90). Число фрустрирующих ситуаций «подобного типа» в российских условиях неизмеримо выше, чем в Европе. Переходный период в жизни российского общества увеличил количество повседневных фрустраций, что приводит к конфликтам не только на межличностном уровне, но и на уровне больших социальных групп (см., например: 4). Фрустрирующие ситуации требуют решения, поскольку психологически невозможно только «копить» раздражение. Акция протеста является одним из выходов накопившейся агрессии. В таком случае она может быть оценена и как положительная, и как отрицательная реакция на социальные фрустрации. Положительная сторона проявляется в том, что агрессия канализируется, находит выход, следовательно, способствует «утолению страстей»; отрицательная сторона — в том, что агрессивная реакция закрепляется, клишируется и нередко воспринимается как единственно возможная при решении социальных проблем, конфликтных ситуаций.

Итак, в основе ситуации общественного протеста — агрессивный психологический настрой, вызванный социальными условиями. Таким образом, лозунг в ситуации современной акции протеста может быть интерпретирован как агрессивное речевое действие.

В психологическом аспекте вербальная агрессия, имея своим источником агрессивное состояние субъекта, предстает в следующих видах (в качестве иллюстраций мы приводим российские лозунги):

**Активная прямая агрессия.** К этому виду вербальной агрессии относятся высказывания с семантикой команды: непосредственное и ясно выраженное требование или приказ другому человеку:

*Требуем отменить Постановление правительства РФ от... 1998 г. № 1 по энергоресурсам!* (июнь 1998, г. Климовск), и высказывания с семантикой негативной команды. Под «негативной командой» понимается команда, отличающаяся «по отношению» от разумных команд и требований тем, что 1) требует немедленного подчинения

*(Требуем немедленной отставки президента РФ Ельцина! — июнь 1998, г. Донбасс); 2) угрожает неприятными последствиями (Начальник не заплатит — я его убью! — апрель 1998, г. Москва).*

В данном примере отсутствует формальная пред-

ставленность семантики команды, однако легко восстановим подтекстный смысл требования, направленного руководителям:

*Начальник, заплати, иначе мы тебя уьем!* 3) использует словесное оскорбление или унижение другого человека (группы лиц), проявляет сарказм или высмеивает (*Рыжий, конопатый, подавись моей зарплатой!* — июнь 1998, г. Новосибирск).

**Активная непрямая агрессия** — распространение злой клеветы или сплетен:

*Ельцин — наемник Запада!* (июнь 1996, г. Екатеринбург); *Чубайс, Немцов, Кириенко — сионисты!* (июль 1998, г. Москва); *Ельцин — разрушитель общественного производства!* (октябрь 1998, г. Новосибирск).

**Пассивная прямая агрессия** — отказ разговаривать с другим человеком (группой лиц), отвечать на его (их) вопросы — и **пассивная непрямая агрессия** — отказ дать определенные словесные пояснения или объяснения. В акциях протеста эти типы агрессии неактуальны. В сверхтексте современных российских лозунгов как речевом отражении ситуации протеста реализуются активный прямой/непрямой виды вербальной агрессии. Важно подчеркнуть, что лозунг в ситуации протеста, содержащий семантику императива и/или ложные высказывания в чей-либо адрес (клевета, сплетни и др.), является видом активной речевой агрессии. Как было показано выше, волеизъявление эксплицитно или имплицитно обязательно присутствует в лозунге, следовательно, любой лозунг сверхтекста может интерпретироваться как средство проявления в большей или меньшей степени речевой агрессии. Однако видов вербальной агрессии, выделяемых Бассом, недостаточно, чтобы раскрыть особенности речевой агрессии в сверхтексте лозунгов.

Лингвисты в последнее время обратились к изучению феномена вербальной агрессии в разных сферах, так как агрессивные высказывания, к сожалению, весьма частотны в современной русской речи. Л.П. Крысин пишет: «Вообще, если пользоваться не строго лингвистическими терминами, а оценочными, в наши дни чрезвычайно высок уровень агрессивности в речевом поведении людей. Необыкновенно активизировался жанр речевой инвективы, использующий многообразные образные средства негативной оценки поведения и личности адресата — от экспрессивных слов и оборотов, находящихся в пределах литературного словоупотребления, до грубо просторечной и обценной лексики. Все эти особенности современной устной и, отчасти, книжно-письменной речи — следствие негативных процессов, происходящих во внеязыковой действительности; они тесно связаны с общими деструктивными явлениями в области культуры и нравственности» (6, с. 385-386). Исследования вербальной агрессии ведутся в разных направлениях. Вербальная агрессия осмысливается в аспекте экологии языка как выражение анти-нормы (17), как средство засорения речи (18). Проявления речевой агрессии исследуются в жанрах разговорной речи как факторы, оказывающие отрицательное эмоциональное воздействие на адресата (23), как коммуникативная стратегия в ситуации конфликта (11; 14). Обращение к изучению обценной

лексики русского языка тоже свидетельствует об интересе к вербальной агрессии (6; 9; 12; 22 и др.).

Большое внимание уделяется проблеме речевой агрессии в СМИ (5; 13; 19 и др.). Вербальная агрессия в массовой коммуникации имеет более сложную структуру, чем в межличностном общении, где агрессивный речевой акт служит маркером социальной асимметрии. Л.М. Майданова выделяет следующие случаи речевой агрессии в средствах массовой информации:

1. Автор своим материалом прямо призывает адресата к агрессивным действиям против предмета речи;

2. Автор своим представлением предмета речи вызывает или поддерживает в адресате агрессивное состояние;

3. Автор агрессивно вводит предмет речи в сферу адресата и побуждает его совершить не агрессивное, но прямо или косвенно выгодное автору действие (10, с. 10).

Привлекает внимание ученых агрессивность речевого поведения в политическом дискурсе. Сверхтекст современных российских лозунгов безусловно относится к политическому дискурсу и массовой коммуникации и отражает общие тенденции к использованию экспрессивных речевых средств, содержащих агрессию. Адресант лозунга, выбирая конфликтную коммуникативную стратегию, вызывает и/или поддерживает агрессивное состояние адресата — как прямого, так и косвенного.

В лозунговом сверхтексте выделяются три степени речевой агрессии (7). Основание для классификации степеней агрессии — коннотативная семантика языковых составляющих текста. Формальным основанием выделения степеней агрессии является классификация лозунгов по соотношенности средств выражения модальности волеизъявления и оценки. Нужно отметить, что в некоторых случаях нельзя однозначно определить степень агрессивности лозунга.

1. Первая степень речевой агрессии проявляется в группе лозунгов с имплицитно выраженными волеизъявлением и оценкой. Наблюдаем текстовую констатацию фактов социального неблагополучия, отражение фрустрирующих ситуаций.

2. Вторая степень речевой агрессии проявляется в группе лозунгов с эксплицитным волеизъявлением и имплицитной оценкой, а также в лозунгах из группы с имплицитным волеизъявлением и эксплицитной оценкой, не содержащих в тексте находящихся за пределами литературного языка оценочных слов и выражений. Наблюдаем наличие в текстах лозунгов вербализацию адресных предупреждений и угроз.

3. Третья степень речевой агрессии проявляется в группе лозунгов с эксплицитно выраженными волеизъявлением и оценкой, а также в лозунгах из группы с эксплицитным волеизъявлением и имплицитной оценкой, содержащих смыслы унижения и уничтожения, и лозунгах из группы с имплицитным волеизъявлением и эксплицитной оценкой, содержащих в тексте грубые, оскорбительные слова и выражения. Наблюдаем наличие в текстах лозунгов вербализованных адресных выпадов, призывов к ликвидации, разрушению, уничтожению. На-

силе, отражаемое в речи, прежде всего проявляется в текстах лозунгов третьей степени агрессии.

Речевая агрессия этого уровня напрямую соотносится с инвективным общением. В основе инвективного общения лежит стремление понизить социальный статус адресата или уровень его самооценки, нанести моральный урон, наконец, добиться изменения поведения адресата. В современной разговорной речи выделяется особо активный жанр инвективы. Подробный обзор зарубежных и отечественных работ, посвященных инвективе, сделан В.И. Жельвисом. В широком смысле инвективой можно назвать нарушение социальных и этических табу как кодифицированным способом, так и некодифицированным. По словарному определению, инвектива — это «резкое выступление против кого-чего-либо, обличительная речь; оскорбление; выпад» (21, с. 233). В.И. Жельвис определяет этот жанр более узко, как «способ существования вербальной агрессии, воспринимаемой в данной семиотической (под)группе как резкий или табуированный» (3, с. 11). В данной работе мы будем понимать под инвективой сниженное, бранное и нецензурное словоупотребление, а также злопожелания, к которым относим открытые призывы к разрушению чего-либо, тюремному заключению или физическому уничтожению конкретных лиц либо неконкретизированных представителей власти. Инвектива бытует как самостоятельный жанр, но может выступать и как жанр в жанре. Отдельно рассмотрим лозунги, включающие бранную лексику, и лозунги-злопожелания.

Обратимся к текстам лозунгов с употреблением инвективной лексики, остановившись на основных инвективных группах лексики.

1. Богохульства не характерны для лозунгов, есть только единичные примеры, представленные инвективной лексической группой «отсылания» к людям «силам зла»:

*Всех реформаторов к чертовой матери!* (май 1998, г. Ростов-на-Дону).

Выражение к чертовой матери понижает социальный статус адресата и выступает как пожелание передачи его во власть злых сил. Вульгарный вариант этой же функции находим в лозунге

*Ельцин-кровосос! Иди ты в отставку!* (апрель 1998, г. Санкт-Петербург),

где в структуре «Иди ты в...» ожидаемый непристойный элемент заменяется нейтральным, что, однако, не снимает агрессивности. Речевая агрессия поддерживается существительным *кровосос* — «(прост.) то же, что кровопийца — жестокий, безжалостный человек» (20, т. 3, с. 133, 132).

К богохульствам можно отнести и формулу проклятия:

*Будь проклят в веках род, давший России шестерку оборотней!* (август 1991, г. Москва).

Проклятия не играют большой роли в русскоязычной культуре и не имеют широкого распространения в разговорной речи, именно поэтому проклятие в лозунге имеет огромную воздействующую силу. Метафорическое использование слова *оборотень* (*оборотни*) по отношению к коллективному субъекту захвата власти (члены ГКЧП) актуализирует смысл двуличности и принадлежности к силам зла. Обращение к мифическим образам апеллирует к сфере бессознательно-

го, усиливая действенность лозунга. Существительное *шестерка* ошибочно употреблено для указания на количество участников заговора (на самом деле их было восемь), возможно, ошибка вызвана ассоциацией с «дьявольским» числом 666; возможно, на отбор жаргонного слова *шестерка* повлияла уничижительная коннотация, заключенная в семантике этого слова, вошедшего в широкий разговорный оборот.

2. Скатологическая инвективная лексика (название естественных отходов жизнедеятельности):

*Съезд — дерьмо!* (декабрь 1992, г. Москва); *Руцкой — говно!* (июль 1993, г. Екатеринбург).

Использованная здесь грубая оценочная лексика находится за пределами литературного языка.

3. Метафорический перенос названий животных:

*Джохар, вернись! Козлы опять наглеют!* (декабрь 1997, г. Грозный); *Ельцин — козел!* (июль 1993, г. Екатеринбург).

В первом лозунге зоовокатив имеет обобщенную референцию, во втором — конкретную, из-за чего последний текст приобретает более оскорбительный характер, усугубляемый тем, что оскорбление относится к первому лицу государства. В качестве зоовокативов зафиксировано только слово *козел*, имеющее значение весьма грубого сексуального намека.

4. Как инвективы прочитываются окказиональные словообразования, выполняющие функцию замещения нецензурной лексики (прокреативная нецензурная лексика):

*Ельцин лучше съездюков!* (март 1993, г. Москва).

В тексте использовано новообразование *съездюки*, оценочно замещающее слово *депутаты*. В лозунге *Берегите высшую школу — мать вашу!* (апрель 1998, г. Екатеринбург)

инвектива смягчается благодаря двусмысленности.

В свертхтексте лозунгов присутствуют искажения, грубое пародирование имен собственных:

*Наздрашены! Не мешайте Черепкову приводить город в порядок!* (декабрь 1997, г. Владивосток); *ЕБН! В отставку!* (июнь 1998, г. Екатеринбург)

— в данном лозунге использован стилистический прием семантизации специально созданной аббревиатуры, этот прием широко употребляем в прокоммунистической прессе.

Лозунг *Выбирай сердцем!* из предвыборной президентской кампании Б.Н. Ельцина в 1996 году, которая строилась на использовании семантики эмоциональной привязанности, в свертхтексте современных лозунгов деформируется:

*Выбирай сердцем — получишь хрен с перцем!* (март 1997, г. Екатеринбург) или более грубый вариант: *Выбирай сердцем — получишь х...!* (август 1997, г. Белоярск).

Контраст *сердце* — *хрен с перцем* исключает эмоционально-положительные реакции из зоны восприятия, и лозунг получает яркий оттенок злорадства по отношению к электорату президента.

В эту же группу прокреативной нецензурной лексики можно включить лозунги с требованием совершения / преращения оскорбительных действий (в данных случаях требование выполняет фатическую функцию).

*Администрация, прикрой зад пластиковыми карточками!* (январь 1998, г. Н. Тагил); *Власти города! Долго будете лизать задницу этому чучелу?* (октябрь 1991, г. Екатеринбург).

В подобных лозунгах инвектива используется в речи как средство унижения, выражения презрения. Перейдем к лозунгам-злопожеланиям, актуализирующим смыслы лишения свободы, разрушения, физического уничтожения.

В сверткесте активизируются смыслы насильственного лишения свободы, тюремного заключения. Смысл «тюремное заключение» передается с помощью слов *тюрьма, тюремные нары, нары, баланда*, а также при помощи локальных указателей — названий наиболее известных тюрем и лагерей страны:

*Рабочим — завод, ворам — тюрьма!* (декабрь 1997, г. Санкт-Петербург); *Воров-правителей — на нары!* (май 1997, г. Челябинск); *Чубайса — в Лефортово!* (октябрь 1997, Приморье); *Государственных жуликов на Соловки!* (ноябрь 1997, г. Москва); *Нары и баланду — нашему гаранту!* (май 1998, г. Санкт-Петербург).

В последнем лозунге употребление парафразы гарант имеет иронический характер. Эллипсис *гарант (стабильности/конституции)* усиливает уничтожение, презрение. Лозунг

*Фашистских преступников Ельцина, Грачева и К с руководящих кресел на тюремные нары!* (июль 1995, г. Екатеринбург) ярко демонстрирует органичность синтагматики оскорбления, обвинения и призыва к насилию. В российском контексте *фашистский* звучит как оскорбление, поскольку фашизм — это презрительное наименование идеологического течения. Перечисленные лица названы *преступниками*, то есть адресант обвиняет их в совершении преступления, очевидность которого, с точки зрения демонстрантов, не требует даже именованья, не говоря уже о доказательствах. Пропуск глаголов не затрудняет понимания призыва к насильственному смещению представителей власти. Легко восстанавливаются лексемы типа *отправить, бросить, засадить* в значении категорического императива. Отметим также в данном лозунге речевую ошибку — неправильное метонимическое словосочетание «руководящие кресла».

Обращает на себя внимание отождествление первых лиц государства, например, *Ельцин, Чубайс, с ворами, жуликами*.

Увеличение количества лозунгов с семантикой физического уничтожения может говорить об «оживлении» в общественном сознании идеологемы истребления, уничтожения и идеологемы чистки/очистки, которые функционировали в системе идеологем русского тоталитарного языка. Например,

*Выметим нечистую силу из Кремля!* (апрель 1998, г. Москва).оборот *нечистая сила* имеет символическое значение. «Обобщенный объект очистки — нечисть. Слово употребляется в идеологизированном уничтожительном значении «идеологически враждебные, презренные, нечистые в помыслах и деяниях люди... Очищение осмысливается как нравственно полезная процедура, содействующая оздоровлению общества» (15, с. 71-73). В современном контексте в выражении *нечистая сила*, разумеется, оживает и религиозная семантика.

При передаче смысла физического уничтожения преобладают метафоры, содержащие семы насилия, смерти, боли, крови.

*Ельцина — на рельсы!* (май 1998, г. Инта); *Сбросим режим*

*в шахту!* (май 1998, г. Москва); *Демократию — на убой!* (апрель 1998, г. Екатеринбург); *ЕБН — на плаху!* (август 1998, г. Екатеринбург); *Ельцин! За геноцид — суд и виселица!* (сентябрь 1998, г. Екатеринбург); *Студенты МАИ! Сбросим бомбу на Кремль!* (май 1998, г. Москва); *Полиграфовцы! Кириенко — под пресс!* (май 1998, г. Москва).

Отсутствие грамматически выраженного субъекта насилия восполняется контекстными намеками, стимулирующими активизацию фоновых знаний. Возникают цепочки: *рельсы, шахта — шахтеры; пресс — производственники*. В двух последних примерах речевая агрессия усиливается обращением к конкретному адресату — субъекту агрессивных действий. О высокой степени вербальной агрессии говорит тот факт, что предлагаемые способы уничтожения удивительно разнообразны, безжалостны, жестоки.

Семантика насильственной ликвидации может быть выражена в форме, неожиданно придающей акции агрессии тональность легкости, непринужденности. Например:

*Товарищ, смелее! Гони Бориса в шею!* (май 1997, г. Москва); *«Всенародно» избранного — во всенародно изгнанного!* (июнь 1996, г. Екатеринбург).

В последнем тексте встречаем омонимию, или контрастивную полисемию, отражающую разные идеологические значения одного слова: *всенародно*. «В том случае, если слово из «своего» словаря формально совпадает со словом из «чужого», омонимия обычно снимается посредством использования специальных актуализаторов. В качестве таких актуализаторов, относящих именуемый объект к миру «своего» или «чужого», и восстанавливающих нужное значение слова, обычно выступают оценочные эпитеты или модальные слова, ту же функцию выполняет знак кавычек» (5, с. 172). В тексте лозунга с помощью кавычек передается смысл — «результаты выборов были сфальсифицированы в пользу Б.Н. Ельцина», а отсутствие кавычек показывает истинность, идеологическую правоту, возвращает прямое значение слову *всенародно* — «в присутствии людей, открыто, публично» (20, т. 1, с. 229). Присутствующий суперлатив в названной лексеме отражает общий прием демагогических текстов: представление точки зрения адресанта как такой, которую разделяет значительное большинство людей, *всенародно* — «весь народ».

Меткие рифмы, игра слов, деформация прецедентных текстов, фамильярные формы собственного имени — все эти нестандартные средства, реализованные в лозунговых текстах, обеспечивая меню тональности, не снимают общей агрессивности содержания, переданного фразеологическими (*в шею (грубо-прост.) — грубо, с бранью, побоями гнать, выгонять, выталкивать* — 24, с. 534) и лексическими сигналами (*вон, всенародно изгнанный*).

Вербальная агрессия третьей степени имеет стереотипные формы выражения, которые функционировали в советском политическом дискурсе по отношению к внешним врагам. Используется в основном модель: *Долой + кого? что?* Часто «формальная», стереотипная агрессия усиливается за счет добавления определений с негативной оценочностью. Признаки, приписываемые объекту, указывают на бесполезность: *Долой никчемное правительство!* (декабрь 1997, г. Владиво-

сток); ограниченность, отсутствие необходимых способностей: *Долой тупую власть!* (апрель 1998, г. Владивосток); *Долой бездарное правительство!* (февраль 1998, г. Москва); нарушения законной деятельности, коррумпированность: *Долой обожравшуюся Думу!* (апрель 1998, г. Екатеринбург); *Долой мафиозное правительство!* (август 1997, г. Москва); *Долой правительство и продажную Думу!* (ноябрь 1997, г. Москва); *Долой преступный режим!* (октябрь 1998, г. Москва); *Долой антинародный режим!* (апрель 1998, г. Владивосток).

Определения преступный, антинародный широко тиражируются и в других лозунгах.

Таким образом, в лозунгах, выражающих третью степень речевой агрессии, используются стратегия антиэтикета, принципы инвективного общения. В них отражаются как высокий уровень агрессивности в обществе, так и недостаточная общая культура определенных слоев населения. Грубые и вульгарные словоупотребления в сверхтексте производят угнетающее впечатление. Однако на акцию протеста в целом и лозунги, в частности, возможно посмотреть и с других позиций. Современную акцию протеста можно соотнести с карнавальной народной культурой, о которой писал М.М. Бахтин (1). В аспекте карнализации жизни акция протеста предстает своеобразной формой очищения, снятия напряжения, отдушиной, где возможно, по карнавальной традиции, говорить грубости и поносить сакральное: «для фамильярно-площадной речи характерно частое употребление ругательств» (1, с. 22). В.И. Жельвис также отмечает карнавальный характер инвективы и подчеркивает, что «инвективное глумление не только не свидетельствует о том, что для говорящего нет ничего святого, но как раз об обратном: о неосознаваемом им самим преклонении перед поносимым сакральным понятием» (3, с. 22).

Современная акция протеста демонстрирует тип общения коммуникантов, нормативно неприемлемый в сфере массовой коммуникации. Принципы антиэтикета, лозунги-злопожелания, разговорность сближают лозунги с речевыми жанрами народной карнавальной культуры. Ругательства и злопожелания в лозунгах выполняют профанную функцию, которая предоставляет возможность психологического облегчения, катартического освобождения от чувства тревоги, страха, отчаяния. Однако нельзя однозначно говорить о снижении агрессивности за счет реализации профанной функции: по законам массовой психологии происходит заражение эмоциями, агрессивность способна увеличиваться, то есть, подведем итог, речевая агрессия в сверхтексте лозунгов носит амбивалентный характер: освобождая адресанта от психологического напряжения, она становится привычной реакцией на фрустрирующие ситуации.

Отвечая на поставленный в заглавии вопрос, мы склонны думать, что с позиций культуры общения, инвективное (в широком смысле) словоупотребление в лозунгах несет двойную отрицательную нагрузку, поскольку в лозунгах ругательства и злопожелания закрепляются в письменном виде и тем самым более «открыты» для массового восприятия и усвоения агрессивных речевых действий. Но с психологической точки зрения, речевую раскрепощенность, вседозволенность в лозунгах протеста можно рассматривать своего рода катарсисом, средством снижения агрессивного состояния митингующих. И наконец, с демократических позиций, лозунги протеста с любым речевым наполнением являются первым шагом к формированию ненасильственной гражданской культуры в обществе.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. — М. 1990.
2. Бэрн Р, Ричардсон Д. Агрессия. — СПб., 1997.
3. Жельвис В.И. Поле брани. Сквернословие как социальная проблема в языках и культурах мира. — М., 1997.
4. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта: Россия на путях преодоления кризиса. — М., 1994.
5. Какорина Е.В. Новизна и стандарт в языке современной газеты (Особенности использования стереотипов) // Поэтика. Стилистика. Язык и культура. — М., 1996. — С. 169-180.
6. Крысин Л.П. Эвфемизмы в современной русской речи // Русский язык конца XX столетия (1985 — 1995). — М., 1996. — С. 384-408.
7. Купина Н.А., Битенская Г.В. Сверхтекст и его разновидности // Человек. Текст. Культура. — Екатеринбург, 1994. — С. 214-233.
8. Купина Н.А., Енина Л.В. Три ступени речевой агрессии // Речевая агрессия и гуманизация общения в средствах массовой информации. — Екатеринбург, 1997. — С. 9-13.
9. Левин Ю.И. Избранные труды. Поэтика. Семиотика. — М., 1998.
10. Майданова Л.М. Агрессивность и речевая агрессия // Речевая агрессия и гуманизация общения в средствах массовой информации. — Екатеринбург, 1997. — С. 9-13.
11. Михальская А.К. Русский Сократ. — М., 1996.
12. Мокиенко В.М. Доминанты языковой смуты постсоветского времени // Русистика. Научный журнал актуальных проблем преподавания русского языка. — 1998. — № 1/2 (19-20). — С. 37-56.
13. Речевая агрессия и гуманизация общения в средствах массовой информации. — Екатеринбург, 1997.
14. Робер М.-А., Тильман Ф. Психология индивида и группы. — М., 1988.
15. Ромашов Н.Н. Система идеологем русского тоталитарного языка по данным газетных демагогических текстов первых послереволюционных лет. Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. — Екатеринбург, 1995.
16. Седов К.Ф. Типы языковых личностей и стратегии речевого поведения (о риторике бытового конфликта) // Вопросы стилистики. — Саратов, 1996. — Выпуск 26. Язык и человек. — С. 8-14.
17. Скворцов Л.И. Экология слова, или Поговорим о культуре русской речи. — М., 1996.
18. Сквородников А.П. Вопросы экологии русского языка. — Красноярск, 1993.
19. Сквородников А.П. Языковое насилие в современной российской прессе // Теоретические и прикладные аспекты речевого общения. Научно-методический бюллетень. — Красноярск-Ачинск, 1997. — Вып. 2.
20. Словарь русского языка: В 4 т. / гл.ред. А.П.Евгеньева. — М., 1981-1984. (МАС)
21. Современный словарь иностранных слов. — СПб., 1994. (ССИС)
22. Успенский Б.А. Избранные труды: В 2 т. — М., 1994.
23. Федосюк М.Ю. «Стиль» ссоры // Русская речь. — 1993. — № 5.
24. Фразеологический словарь русского языка / под ред. А.И.Молоткова. — М., 1986. (ФС)

## ТЕКСТ КАК ВОПЛОЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ КОНФЛИКТА: ОПЫТ ОДНОЙ ТИПОЛОГИИ АНТРОПОТЕКСТОВ И ЯЗЫКОВЫХ ЛИЧНОСТЕЙ (на материале рассказов В.М. Шукшина)

Н.Д. Голев  
Барнаул

В настоящей статье осуществляется опыт типологии воплощаемых в тексте речевых сценариев, или фреймов, как неких динамических схем конфликта личностей. Основные параметры описания определяются следующими аспектами и понятиями.

**1.** В понятие сценарий вкладывается стандартное когнитивистское содержание: это — некая типовая структура данных, отражающая фрагмент действительности в его развитии. Фрагмент действительности в нашем случае имеет психолого-языковое наполнение: определенный тип психологической энергии (конфликта), стремящейся воплотиться в определенных речевых формах — схемах психолого-коммуникативного взаимодействия и речевых средствах их (схем) реализации.

Описание фреймов развития конфликта включает данное исследование в сферу языковой (речевой) конфликтологии (1), как частного случая общей конфликтологии (юридической, социологической, психологической, политической).

**2.** Одновременно осуществляется увязка такого рода психолого-языковых схем с типологией языковых личностей, которые характеризуются склонностью к данным типам психолого-коммуникативного поведения в условиях конфликта (ссоры) и проявляют себя в них (3), и типологией **антропотекстов**, то есть текстов рассматриваемых как проявление языковой личности (типа языковых личностей). Антропотекст предстает в некотором смысле как «воплощенная в тексте языковая личность». Антропотекст в широком смысле — это не только текстовая реализация конкретной личности — автора данного текста, но и личности как представителя того или иного языко-личностного типа: исторического (типовая личность той или иной эпохи), гендерного, социального, культурного, психологического.

**3.** Описание развития конфликта в нашем исследовании опирается на энергетическую концепцию языка и речи. Всякому речевому произведению на физическом уровне предшествует «вдох» — вбирание определенного (по качеству и количеству) кванта энергии, «выдох» которого осуществляется по каналам и «схемам», в той или иной мере запрограммированным уже на этапе «вдоха». Таким образом, «выдох» — самореализация энергетического потенциала. Мы говорим, однако, не столько о физическом «вдохе/выдохе», сколько о коммуникативном ментальном движении речемысли — коммуникативном намерении, замысле, если понимать их не в узко рациональном смысле, а в более широком, духовном, смысле, включающем бессознательные или чувственные проявления человеческого духа, устремляющегося в сферу коммуникативного взаимодействия. В этом смысле направленность на развитие и разрешение конфликта представляет собой сильное коммуникативное намерение, реализующееся чаще всего в неуправляемых формах (хотя и необязательно, см. далее описание фрейма «Глеб Капустин»).

**4.** Материалом для типологии антропотекстов и языковых личностей (в их единстве) в настоящей статье послужили художественные тексты — рассказы В.М. Шукшина, в которых представлены разнообразные типы конфликтов и конфликтогенных личностей. Они рассматриваются как отраженная реальность — фрагменты психолого-языковой действительности (см.: п. 1). В.М. Шукшин, возможно, как никакой другой писатель, особенно часто и многообразно прибегал к межличностному конфликту как основному способу художественного исследования человеческой души. Значительное место среди его рассказов занимают те, которые мы называем «эпатажными». Их персонажи составляют особый психологический тип — тонких и ранимых (а иногда всего лишь охотно изображающих обиду), которые глубоко реагируют на самые разные задевающие их слова и поступки других людей, остро их переживают. Многие рассказы построены на сознательном вызове ссоры как способе разрешения внутреннего конфликта или на стремлении **раскрыть** «нутро» лицемера, приподнять маску, которой он его прикрывает и т.п. Ссора, невольная или нередко спровоцированная, — основное художественно-речевое средство писателя в этом плане.

**5.** Любой языко-речевой конфликт включен в более сложную ситуацию, образуемую бытовым, национально-ментальным, социальным, психологическим, моральным и пр. параметрами. Конфликтная ситуация имеет множество вариантов, в которых, однако, можно выделить типовых участников и инвариантные признаки. Оскорбить и обидеть, чувствовать себя оскорбленным и обиженным — ключевые понятия-действия-состояния, обидчик (инвектор) и обиженный (инвектум) — типовые участники любой ссоры, проявляющиеся разнообразно-индивидуально и в то же время допускающие типизацию. Существуют типовые цели и соответственно им — способы и средства их достижения. В лингвистическом плане важно разделить речевые и неречевые способы и средства и исследовать их взаимодействие. В данной статье последние способы и средства ставятся в зависимость от первых. При описании конфликтных сценариев в рассказах В.М. Шукшина мы выделяем в первую очередь социально-психологические свойства персонажей, которые детерминируют их речевое поведение и в конечном итоге состав и структуру речевых произведений.

**6.** Дальнейшая классификация конфликтных сценариев, которые образуются единством психолого-речевых конфликтов, антропотекстов, их отражающих, и языковых личностей, в них проявляющихся, строится на учете следующих признаков:

1) типы конфликтных сценариев выделяются по роли их участников: одни из них определяются психолого-речевой активностью **инвектора** (обидчика, оскорбителя), другие — активностью **инвек-**

**тума** (обиженного, оскорбленного); учет поведения инвектума принципиально важен, так как его роль не исчерпывается признаком пассивности: с одной стороны, у инвектума есть свои типовые поведенческие реакции, нередко приводящие к контр-инвективе, с другой стороны, инвектум сам в той или иной мере выступает фактором инвективной «инициативы»;

2) участие воли субъектов конфликта дифференцирует преднамеренные и спонтанные конфликты; наличие целевых установок различает «принципиальные» и случайные конфликты (заметим, что В.М. Шукшина интересуется в основном конфликты «принципиальные»).

3) различаются типы потенциальной энергетике конфликта и способы ее накопления и типы ее реализации, различающие энергетическую структуру конфликта;

4) неодинакова роль речевых и неречевых средств в реализации конфликта.

Опираясь на данные критерии, выделим некоторые типы конфликтных сценариев (КС), находящие регулярное отражение в рассказах В.М. Шукшина.

#### **КС «Константин Смородин»**

(неуправляемый взрыв кумулятивной энергии инвектора) Одна из излюбленных форм конфликта в рассказах В.М. Шукшина — долго накапливаемый энергетический потенциал, встретивший при его реализации сопротивление кого-либо, трансформируется в резкую агрессию.

Рассказ «Пьедестал». Художник-самоучка Смородин целый год пишет картину «Самоубийца», которую и он, и (особенно) его жена рассматривают как возможность заявить о себе миру:

*«Надо, чтоб у них потом отвисла челюсть. Талант всегда немножко взрывается» «Смородину очень хотелось «взорваться» — чтобы о нем заговорили». «Таким он и входил в маленькую комнату — готовый «взорваться», отсюда и такая свирепая решимость на его маленьком круглом лице».*

Кумуляция конфликтотенной энергии достигает кульминации —

*«И вот пришла пора, пришел день, который жена Смородина молча ждала и молча торопила» —*

они приглашают для показа картины известного в городе художника, который, однако, не оценил картины (к чему Смородин и его жена Зоя как бы готовы), отнесся к ней снисходительно, свысока, насмешливо и нравоучительно:

*«Художник засмеялся и даже не спохватился, что, может, грешно смеяться-то». Это взорвало Зою. «— Вон откуда! — раздался вдруг сзади них голос... Зоя смотрела в упор на художника, и глаза ее полыхали... не гневом даже, а гибелью, крушением».*

Последовала сцена грубого изгнания художника из дома и истерики Зои.

Речевое поведение персонажей полностью соответствует их внутреннему состоянию, меняющемуся по ходу «созревания» конфликта. Накоплению потенциала «взрыва» предшествуют достаточно долгие монологи и диалоги, в которых главные герои обосновывают свое право на общественное признание и в которых уже изначально сквозит **агрессия**

против тех, кто, по их предположению, не способен их понять и оценить, завидует, интригует и т.п. Они насыщены эмоциональной речью, нередко сопровождаемой инвективными словами и репликами, как, например, в таком диалоге: —

*Могут не признать, суки ... Это же не передовик на комбайне, понимаешь. Чего ты не хочешь передовика какого-нибудь? — Ни в коем случае! — твердо сказала жена. И строго посмотрела на мужа. — Что ты! Это шивота. Крохоборство. Это же дешевка!*

Поэтому реального и давно ожидаемого «противника» встречает уже во многом подготовленная взрывная реакция, маркируемая неуправляемыми выкриками и агрессивными инвективами. Характерна грамматическая форма инвективов: *Подонки!... Хамье! Подонки! Подонки!* — семантика собирательности говорит о том, что на «критикана» Колю обрушилась агрессия, предназначенная (и подготовленная) для всех ожидаемых врагов. Коля попадает в сложную внутреннюю позицию: он одновременно ощущает себя и инвектором, спровоцировавшим (в его видении как бы справедливую, хотя и не адекватную) агрессию, и инвектомом. То, что его провокация — не причина, а повод агрессии против него, он не осознает.

#### **КС «Саша Ермолаев»**

(спонтанный нравственно-психологический конфликт, ведущую роль в котором играет инвектум)

В мимолетных стычках, вроде бы случайных, отражаются характеры, сформированные предшествующей жизнью. Общество вырабатывает формы (стереотипы) их более или менее безболезненного разрешения, в том числе речевые. Но герои Шукшина, «чудики» и правдолюбцы, не следуют стереотипам. Хам — емкая формула антипода правдолюбцев-чудиков Шукшина. Сталкиваясь с ним, герой наполняется чувствами униженности, бессилия и часто, переполненный этими чувствами, движется по «логике взрыва».

Рассказ «Обида» — классический для данного КС. Саше Ермолаеву нахамила продавщица в рыбном магазине. —

*Чего глядишь? Глядит! Ничего не было, да? Глядит, как Исусик. Почему-то Сашка особенно оскорбился за этого «Исусика». Противостояние усиливалось... Он не знал, что делать. Тут бы пожать плечами, повернуться и уйти к черту. Тетя-то уж больно того — несгибаемая.*

Саша Ермолаев не отвернулся, не ушел, отстаивал свою правду, пытаясь во что бы то ни стало объяснить всем участникам конфликта, что не был он вчера в магазине. Но Сашку не слушали и не слышали, и обида его росла, приведя к психологическому надлому.

#### **КС «Глеб Капустин»**

(игровой конфликт, провоцируемый инвектором-«актером») Этот конфликт, представленный у В.М. Шукшина многократно и многовариантно, предполагает, что инвектор сам провоцирует конфликт, от осуществления которого он получает психологическое или эстетическое удовлетворение. Рассмотрим два варианта сценария — «любительский» и «профессиональный».

Первый может проиллюстрировать рассказ «Вечно недовольный Яковлев». Конфликтотгенный характер главного героя Бориса Яковлева характеризует сам автор следующим образом:

*Вечно он с каким-то насмешливым огоньком в глазах... Все присматривается к людям, но не идет с вопросом или просто с открытым словом, а все как-то — со стороны, сбоку: сощурит глаза и смотрит, как будто поджидает, когда человек неосторожно или глупо скажет, тогда он подлетит, как ястреб, и клюнет.*

Встретив после долгой отлучки в сельском клубе своего бывшего «друга детства» Сергея, Яковлев начинает провоцировать его на ссору, для чего у него заготовлены разные психологические и речевые приемы.

*С Яковлевым трудно говорить: как ты с ним ни заговори, он все равно будет сверху — вскрылит вверх и оттуда разговаривает... расспрашивает с каким-то особым гадким интересом именно то, что задело за большое собеседника.*

В сущности его речевая стратегия и тактика проста: прямые (язвительные) или косвенные (иронические) реплики и комментарии по поводу сказанного или увиденного, которые перемеживаются с инвективными словами, выражениями, интонациями, жестами, взглядами. —

*Стоя-ат... бараны и бараны, курва. И вся радость вот так вот стоять? — Яковлев прямо, ехидно и насмешливо посмотрел на него, Серегу: то есть он и его, Серегу, спрашивал — вся радость, что ли, в этом?*

Подобная тактика выводит из себя собеседника. Серега начинает отвечать тем же. Именно этого и добивался инвектор-актер Яковлев. Писатель комментирует:

*Странная душа у Яковлева — витая какая-то: он, правда, возрадовался, что заговорили так... нервно, как по краешку пошли, он все бы и ходил вот так — по краешку.*

Вариант с «профессиональным» инвектором представлен в известном рассказе «Срезал» (2). Его герой, Глеб Капустин, искусственно создавая ситуацию речевого конфликта, «брал верх» над знаменитыми земляками, приезжавшими навестить в деревню родителей. Для этого у него был выработан специальный сценарий-ритуал, осуществление которого присутствующие односельчане рассматривали как импровизированный спектакль. Стратегия речевого поведения здесь более сложная, чем та, к которой прибегал Борис Яковлев. Глеб Капустин «загонял собеседника» в заранее заготовленную научную тему (топик), тем самым возвышая значимость речевого поединка (и — соответственно — себя) разного рода манипулятивными приемами (передергиваниями, субъективной интерпретацией, демагогией), выводил растерявшегося противника из психологического равновесия и заставлял допускать ошибки (неважно какие: фактические, поведенческие, коммуникативные, нормативно-речевые), выступающие поводом для психолого-речевой агрессии, на которую у оппонентов не могли немедленно ответить из-за неожиданности речевой атаки. Здесь уместно привести комментарии автора типа

*«Зря он так, не надо бы так»; «... Это он тоже зря, потому что его значительный взгляд был перехвачен; Глеб взмыл вверх».*

Из всех ошибок выделим нормативно-речевую, когда оппонент Глеба, кандидат филологических наук, позволил себе вольный комментарий эскапад Глеба с использованием просторечных выражений «покатил бочку» и «с цепи сорвался», чем «нарвался» на демагогическое нравоучение

*«... Не все средства хороши, уверяю вас, не все. Вы же, когда сдавали кандидатский минимум, вы же «не катили бочку» на профессора. Верно?».*

Характерно буквалистское отношение к слову оппонента — типичный прием демагогии.

Отбиваясь от речевой агрессии Глеба, «кандидат», обращаясь к жене, говорит: «Типичный демагог-клязунник... Весь набор тут». «Клязун» (в прямом смысле) здесь, конечно, ни при чем, но дело не в этом, а в том, что внутренняя форма выражения дает Глебу повод для продолжения агрессии:

*«Не попали. За всю жизнь ни одной анонимки или клязунки ни на кого не написал».*

Смысл манипуляции заключался в сознательном нарушении Глебом такого принципа речевого общения, как корпоративность, предполагающего, что для взаимопонимания у общающихся должны быть одинаковые презумпции. Но именно одинаковость Глебу не нужна. Глеб, имитируя спор в логико-информативной сфере языка-знака (диктума), на самом деле стремился к победе в сфере языка-внушения (модуса), его оппоненты не успевали почувствовать этот переход и потому проигрывали (по крайней мере, в глазах зрителей и слушателей, для которых важен был именно модус и психология: растерянность одних и победная «поступь» другого).

### КС «Гена Пройдисвет»

(идейный конфликт, провоцируемый инвектором)

В рассказах В.М. Шукшина люди часто сталкиваются не столько как разные психологические типы, сколько как носители определенных идей, жизненных ценностей. В этом смысле такие конфликты являются «подготовленными» и неизбежными. Это столкновение точек зрения весьма характерно для творчества В.М. Шукшина.

Рассказ «Хозяин бани и огорода» внешне развивается по типу актерского (демонстративного) сценария, рассмотренного выше. Хозяин бани и его сосед ждут, когда баня натопится, и разговаривают, причем острую тему задал именно хозяин, явно подводя к «нарыву» в своей душе, который он хотел бы «вскрыть»:

*Посмотрел задумчиво в землю и поднял голову... — Хошь расскажу, как меня хоронить будут? — Чуть сощурил глаза в усмешке.*

И далее слово за слово разговор плавно подходит к главному — хозяин бани и огорода упрекает соседа за то, что тот пользуется чужим, причем не считает это зазорным. Сосед понял, что угнетает хозяина бани — *Вот видишь, из тебя и полезло. Баню пожалел... — Не баню пожалел, а... свою надо починить. Что же вы, так и будете по чужим баням ходить? — Ты же знаешь, мне не на че пока тесу купить.*

Далеко не случайно в реплике хозяина появляется множественное число (вы будете, по баням) — это,



действительно, упрек не конкретному соседу, а вызов образу жизни, а точнее ценностям жизни, которые хозяину непонятны, чужды, и он вываливает давно наболевшие слова в ответ на оправдание соседа о нехватке денег:

*Да у тебя сроду не на че! У тебя сроду денег нет! Как же у других-то есть? Потому что берегут ее, копейку-то. А у тебя чуть завелось лишка, ты их торопишься загнать куда-нибудь. Баян сыну купил!.. Хэх!*

Характерно, что спор идет в достаточно выдержанных тонах. Это идейный спор. Но выдержки не хватает, и психологическая энергия сдерживания выливается наружу через пробитые взаимными обидами «дыры в ауре», оппоненты дают волю своей агрессии. Однако хозяин, более подготовленный к такому обороту речевого поединка, держит удар крепче, сохраняет равновесие и «одерживает верх» (по крайней мере, психологически). Оппоненты расходятся непримиримыми. По-видимому, надолго.

Такой же, по сути, сценарий развития конфликта в рассказе «Гена Пройдисвет». Гена тщательно готовится к идейному спору со своим дядей, который уверовал в бога, но, по мнению Гены, неискренне, показушно. Он хочет его «разоблачить» в словесном диспуте. Характерная деталь. На доводы Гены его дядя отвечает довольно агрессивными выпадами, на которые Гена как бы не обращает внимания: ему важно вести спор в идейном русле.

— *Дурак, — просто сказал дядя Гриша. Подумал и еще*

*сказал: — Волосатик. — Ты заметил, — оживился Генка, — что за то короткое время, пока мы беседуем, ты раз пять уже сказал слово «дурак»?*

Он как может успокаивает дядю Гришу, но беседа неумолимо идет к крутой ссоре и потасовке. И вот на идейные доводы Генки оскорбившийся дядя Гриша, не выдержав, агрессивно заявляет:

*Твоими устами дерьмо жрать, а такие слова ... Но спор идет идейный. Генка испугался, еще более оскорбился, и злость тоже взяла. Он теперь отчетливо знал: правда его, а ложь, лохматая, бессовестная, поднялась и рычит.*

Спор этот также закончился внешним примирением, но внутренне противники «остались при своих мнениях».

\*\*\*

Список КС, развернутых в рассказах В.М. Шукшина, далеко не исчерпывается их перечисленными вариантами, и каждый из КС не ограничивается одним рассказом. Скажем, «Владимир Семенович из мягкой секции» представляет тип КС «Глеб Капустин», «Мой зять украл машину дров» (конфликт героя с обвинителем), «Рыжий» — КС «Саша Ермолаев» и т.п. Многие КС носят комбинированный характер. К примеру, бытовые конфликты Князева из рассказа «Штрихи к портрету» совмещают элементы КС «Константин Смородин» (инвектор подготовлен к взрыву) и КС «Гена Пройдисвет» (идейная подоплека бытовых конфликтов).

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Аспекты речевой конфликтологии. — СПб, 1996.
2. Рассказ В.М. Шукшина «Срезал»: Проблемы анализа, интерпретации, перевода. — Барнаул, 1995.
3. Седов К.Ф. Типы языковых личностей и стратегии речевого поведения (о риторике бытового конфликта) // Вопросы стилистики. Язык и человек. — Саратов, 1996. — Вып. 26.

**МОЛЧАНИЕ:  
МОДЕЛЬ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В ТЕКСТЕ**В.А. Маслова  
Витебск, Беларусь*Давно было сказано, что в начале было Слово. Но нам была дана лишь часть правды.  
В начале... было Безмолвие, из которого родилось Слово...*

К.Д. Бальмонт

**1. Философия молчания.** Молчание — одна из тайн мира. Оно может существовать в природе, мире вообще, человеке.

Существует целая философия молчания, которое есть не что иное, как особое состояние внутренней тишины, гармонии, наполненности. Слово рождается в молчании и уходит в молчание (ср.: *молвить* и *молчать* имеют общий корень). В философии существуют прямо противоположные взгляды на молчание: 1) «Тишина — это сон, питающий мудрость» (Ф. Бэкон) и 2) «молчание есть хитрость демона, и чем дольше длится молчание, тем страшнее демон» (К. Ясперс). Но молчание — и свидетельств о пребывания божества в отдельном человеке. Как считали русские мудрецы, например, старец Серафим Саровский говорил: «Слова — орудие мира сего, молчание же таинство будущего века». Следовательно, в религиозном контексте молчание — условие общения с Богом, его внутреннее познание. Краткий миг своего существования человек может осмыслить только на фоне вечного, безмятежного покоя, тишины.

Метерлинк считал, что под диалогом неизбежным, пульсирует другой — лишней — неслышимое собеседование душ. В отличие от метерлинковского безмолвия (отсутствия слов), восходящего к буддийской традиции, буберовское молчание (непроизнесение — остаток, отказные слова) насыщено энергией слова и жеста, не наличествующих, но присутствующих в подтексте, ибо все слова, которые были отвергнуты автором речи, отброшенные слова, продолжают «работать» в диалоге собеседников. Пример такого молчания — Чебутыкин в «Трех сестрах».

Этот взгляд на феномен молчания перекликается с философско-лингвистическими идеями В. фон Гумбольдта. Молчание для него — самодостаточный язык; «языку в каждый момент его бытия должно быть свойственно все, благодаря чему он становится единым целым» (3, с. 308).

Итак, один из первооткрывателей диалогического понимания мира, личности, текста и культуры — Мартин Бубер, крупнейший мыслитель XX века. В ряду его предшественников — В. фон Гумбольдт, Л. Фейербах, И. Фихте. Рядом с ним можно назвать французского исследователя Г. Марсея, русского — М.М. Бахтина, М. Хайдеггера, Х.-Г. Гадамера, чуть позже — О. Розеншток-Хюсси, К. Гарднер и др. М. Бубер считает, что подлинный диалог — это чудо, происходящее в молчании, а язык в буберовском понимании диалога играет сугубо служебную роль, так как подлинный диалог происходит на доязыковом уровне. Это открытие, зафиксированное философами, на самом деле было совершено русскими поэтами:

*«Silentium»**Она еще не родилась,  
Она и музыка и слово,  
И потому всего живого**Ненарушаемая связь.**... Да обретут мои уста  
Первоначальную немоту —  
Как кристаллическую ноту,  
Что от рождения чиста.*

О.Э. Мандельштам. 1910

Итак, слово — это великая сила, которая зреет и набирает свою силу в молчании.

**2. Мифология молчания.** Молчание — это древнейший обычай, связанный со смертью. У древних греков Тишина приравнивалась к Миру вообще. Например, у Аристофана есть комедия «Тишина», которая переводится на некоторые языки как «Мир». Богиней тишины и одновременно богиней персонификации мира считалась Эйрена (Ирена), в Афинах ей был воздвигнут алтарь.

У многих народов смерть близкого человека налагает на членов его семьи, чаще на жену (мужа), некоторые обязанности, например, обет молчания. В древне-еврейском языке слово «вдова» этимологически связано со словом «немой» (8, с. 376), т.е. еврейское слово «вдова» — *alemanah* — обозначает молчащую женщину. У племени сиханака на Мадагаскаре период молчания вдов длится не меньше восьми месяцев. Соблюдают этот обычай многие племена Северной и Центральной Австралии. Главная причина тому, как считает Дж.Фрезер, — страх перед духом умершего мужа. Весь смысл этого обычая заключается в том, чтобы скрыться от духа умершего, избавиться от его преследования.

В славянской мифологии сказано, что, откликаясь на некий «иномирный голос», человек разрушает границу, отделяющую земной мир от потустороннего, и этим открывает путь для идущей оттуда опасности. Сродни этому молчание во время прощания, которое есть поддержка отъезжающим. Поэтому молчание — оберег.

Молчат, никому не говоря о чем-то хорошем, чтоб не сглазить. О том, чего бояться, тоже молчат, чтобы не напоминать и не накликать чего-либо еще более плохого (*В доме повешенного не говорят о веревке*).

К мифологии молчания относятся все виды сакрального молчания.

Но молчание еще и способ совершенствования души. Придя, например, в лесную тишину мы замечаем, что это не просто покой, что тишина не только в лесу, но и в нас. Возникает состояние молчания человеческой души, при котором мы способны духовно услышать то, что живет в духовном мире. Весь чувственный мир при этом становится как бы языком для выражения духовных переживаний.

До сих пор у русских староверов есть «лестовка» — своего рода амулет, в который зашивают на смерть **мысли** в виде волосков, ниточек и т.д.

**3. Молчание как феномен коммуникации.** Впервые молчание было отмечено в диалоге как «ответ» на реплику говорящего. Термин «диалог» (от греч. dial-

ogos — беседа, разговор двоих) в европейской лингвистике возник в ходе анализа драматических произведений. Сущность диалога заключается во взаимодействии реплик и интенций двух собеседников, по очереди вносящих что-то новое, «свое», оригинальное в этот продукт речемыслительной деятельности.

Схема коммуникативной ситуации, разработанная Р. Якобсоном, была дополнена Ю.В. Кнозоровым, который к двум участникам коммуникации — адресату и адресанту — прибавил третьего — перехватчика, по сути дела «молчащего». И вообще молчание коммуникативно (4).

Е.Д. Поливанов сказал: «В сущности, все, что мы говорим, нуждается в слушателе, понимающем, в чем дело» (5, с. 27). Евангельский текст также предполагает третью, божественную позицию в диалоге: «где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18: 20). Я = Бог = Молчащий.

В любом тексте один говорит, другой слушает, чтобы ответить, а третий — молчащий наблюдатель. Он подсознательно или осознанно фиксируется говорящим в рамках диалога. От этого они могут говорить более сдержанно, или, наоборот. Этот молчащий наблюдатель может быть совестью, общественной моралью, Богом. Это театральная зала, народ и т.д. Его присутствие создает ситуацию, влияющую на стилевой регистр и тезаурусы общающихся, побуждает коммуникантов корректировать свои высказывания и стремиться к корректности-некорректности речи.

Итак, молчащий наблюдатель — член коммуникативного акта. Наша статья далее построена на результатах исследования молчания и молчащего в художественном тексте.

По словам Н.Д. Арутюновой, молчание — отрицательный феномен, и это затрудняет его исследование (1, с. 417). Молчать — это не говорить. Но о младенце и немом не говорят, что он молчит, т.е. молчание предполагает умение говорить. Поэтому можно не говорить по-английски, но нельзя молчать по-английски. Молчание — это отступление от коммуникативной нормы.

Правомерность включения молчания в исследование коммуникации подтверждается также исследованиями в области языковой семантики: все глаголы говорения типа *говорить, звенеть, реветь, шуметь, кричать* и др. содержат сему «состояние», куда включается и глагол *молчать*, ибо молчание (по четырехтомному академическому словарю под ред. А.П. Евгеньевой) — состояние по значению глагола *молчать*.

Молчание — это отказ от речевых действий, это лакуна на фоне говорения. Но далеко не всегда отсутствие речи может быть квалифицировано как «молчание»: «Грешно говорить о том, о чем следует молчать».

Следовательно, молчание — это красноречивый ответ на вопрос. Это какой-то внутренний голос. Другие голоса в тексте лишь усиливают внутренний голос. Но в целом это отступление от коммуникативной нормы, ее нарушение, которое тоже значимо. Поэтому молчать безболезненно для собеседника нельзя (если это не магический акт), человек может молчать, когда он один. Правда, иногда молчат из страха быть неправильно понятыми.

**4. Семантика молчания.** Язык предполагает понимание сказанного (впервые проблему понимания включил в лингвистику еще В. фон Гумбольдт). Понимание воплощается в «умном» молчании, безмолвном продумывании. Оно активно и семантически полновесно и приравнивается к речевому акту, форме поведения, поступку.

Попытаемся разобраться в словарных значениях трех слов — *безмолвие, молчание, тишина*. Согласно словарю В.И. Даля, *безмолвие* толкуется через молчание, молчок, тишину, тишь и наоборот. Не разводят эти слова и современные словари, например, «Словарь русского языка» в 4-х томах (М., 1981-1984). Несколько шире значение слова *тишина* — кроме отсутствия звуков, говора, шума здесь имеется еще одно значение, которое отсутствует в двух других словах — «отсутствии вражды, ссоры, общественных волнений, беспорядков» — *нарушение общественной тишины; мнимая тишина этой величественной эпохи* (А.С. Пушкин).

Некоторые современные исследователи, например Н.Д. Арутюнова, так разводят молчание и тишину: молчание — мир человека, а безмолвие и тишина — мир природы: *Тишина, ты лучшее / Из всего, что слышал...* (Б.Л. Пастернак). Но, во-первых, тишина — не только в природе, но шире — в мире вообще: *в комнате тишина*. Во-вторых, безмолвие употребляется и по отношению к людям: *разбойники ожидали в безмолвии* (А.С. Пушкин. Дубровский); в третьих, человек видит природу сквозь призму своей души, поэтому появляются выражения типа *холодное молчание полей* и под.

Проанализируем подробнее семантику одного — молчания. Молчание — признак «чужого», отсюда *немец*, в белорусских диалектах — *немчик* — немой, *ням-тур* — о пока еще не говорящем ребенке. «Сказка о рыбаке и рыбке» кончается словами: «Ничего не сказала рыбка...» И сказка как бы исчезает в немом финале. А.С. Пушкин любит такой финал: «Народ безмолвствует» в «Борисе Годунове». В мире человека молчание и тишина, молчание и безмолвие взаимодействуют: *втихомолку, безмолвствуют народы и цари* (высок.), а отдельные люди — молчат.

Молчание, как свидетельствует «Словарь эпитетов русского языка» (СПб., 2001) может быть *безответным, величественным, внимательным, глубоким, глухим, гнетущим, гордым, гробовым, грозным, грозным, давящим, добрым, долгим, жутким, задумчивым, затруднительным, затянувшимся, ироническим, испуганным, красноречивым, кротким, ледяным, мертвым, минутным, мрачным, мучительным, напряженным, натянутым, неловким, оцепенелым, полным, почтительным, презрительным, продолжительным, равнодушным, святым, скучным, сосредоточенным, строгим, суровым, томительным, томным, торжественным, трудным, трусливым, тягостным, тяжелым, уважительным, угрюмым, удивленным, унылым, упорным, холодным, хмурым, чинным, чопорным, щемящим; безграничным, бездонным, благоговейным, величавым, загадочным, зловещим, ленивым, могильным, немым, сонливым, сонным, спокойным, таинственным, тихим и др.;* в качестве редких эпитетов называются — *молчание едкое, зевотное,*

иступленное, скитское, сладострастное, каменное. Приведено более 80 эпитетов.

Как видим, это достаточно широкое по семантике и по глубинным смыслам слово из ряда (тишина, безмолвие), однако дальнейший анализ эпитетов показывает, что тишина — еще шире и глубже.

Смысл молчанию придает контекст, ситуация, ибо чтобы отсутствие звуков-знаков стало значимым, нужны особые условия. Если молчание невольное — это один его вид, но оно может быть намеренным, и тогда оно семиотично.

Проанализируем второй вид молчания. Оно может быть **равно смерти**: навеки умолкли..., почтить память молчанием. Кроме того, может быть **симптомом внутреннего кризиса**: болезни, отчуждения, одиночества, сосредоточенности на сокровенном. За молчанием могут **скрываться мысли**: Я услышала все, что она не сказала вслух, — начинается война, а у меня нет ничего — ни пехоты, ни конницы, ни артиллерии, а у нее есть все! (Т. Егорова. Андрей Миронов и я), оно может быть знаком **самоустранения, провокации** (Мк. 3:4 — Библия), **неодобрения**: «Брак — это компромисс, еле сдерживая огненную лаву, громко отпечатала Мария Владимировна. А я дерзко парировала, но уже про себя: «Сначала маленький компромисс, потом — большой подлец» (Т. Егорова. Андрей Миронов и я), **равнодушия, смущения, страха, упрека**: Она бросила на меня кипящий взгляд и продолжала тереть солонку, говоря мне своим мощным видом: «Валяешься тут с моим сыном! Могла бы в перерыве помыть и почистить все, все! Вылизать!» (Т. Егорова. Андрей Миронов и я), **симптомом душевного неблагополучия**.

Молчание — **симптом косноязычия**. Поговорка: Язык за щеку завалился.

Высший вид молчания — **когда говорят на языке души**, а внешне сохраняют молчание: *Ведь мне нужно сказать Вам безмерное: — разворотить грудь! В беседе это делается путем молчаний* (М. Цветаева. Письма к Пастернаку). Молчание **как возвращение святости, чистоты** (исихазм — обет молчания). В этот момент душа безмолвно молится, а плоть молчит.

Молчание может быть **светским** (по Арутюновой) — за ним скрываются наблюдения и размышления.

**Социальное молчание** — за ним скрывается отсутствие протеста против ущемления прав другого, это невыполнение нравственного долга. Н-р: *писатели молчали во время повальных репрессий 37-го года*. Примером может также служить следующая ситуация в романе: в сталинское время шутят на социально опасную тему. Далее описывается реакция членов семьи на эту шутку, это фактически разное по смыслу молчание: «Мама сдержанно, очень сдержанно улыбалась. Отец улыбался живее, однако вроде бы с легка покачивая головою, как бы говоря «язык твой — враг твой»... Борис IV улыбочиво жевал кусок кулебяки: секретная служба приучила его не шутить по адресу государства, а газета как-никак «острейшее оружие партии». Няня кивала с неадекватной сокрушенностью. Сандро, просияв было от «находки», тоже благодарно смолчал. Короче говоря, народ безмолвствовал» (В. Аксенов. Московская сага).

**Молчание — форма любезности**: «... на луне все любезны оттого, что все немые» (И. Северянин).

Молчание — люди молчат о том, что им известно (**фоновые знания, пресуппозиции**).

**Молчание при безразличии**: безучастное молчание.

**Молчание** — это одиночество, тоска: *И наградою нам за безмолвие обязательно станет звук* (В. Высоцкий).

**Молчание** как выражение добра — *Как много, представьте себе, доброты / В молчаньи, в молчаньи* (Б. Окуджава).

**Тишина**, согласно словарю В.И. Даля, — «когда все тихо: молчание, безгласность, немота; отсутствие крика, шума, стука; мир, покой, согласие, лад; отсутствие тревоги, либо ссоры, свары, сполуху; покой стихий, отсутствие бури, ветра, непогоды (т. IV, с. 407).

По степени тишины и другим ее характеристикам она бывает — **абсолютная, безбрежная, безгласная, бездонная, бездыханная, безжизненная, беззвучная, безлюдная, безмолвная, белая, беспробудная, беспросыпная, больничная, ватная, вековая, великая, вечная, влажная, волглая, всевременная, всеобщая, вязкая, вялая, глубинная, глубокая, глухая, голубая, горячая, гробовая, гулкая, густая, дремная, дремотная, дремотно-сонная, живая, загустелая, застойная, звонкая, знойная, кладбищенская, легкая, ломкая, мертвая, мертвенная, мертвящая, могильная, молчаливая, невозмутимая, неживая, неземная, неизъяснимая, немая, необъятная, необыкновенная, неодолимая, неподвижная, непоколебимая, непробудная, непроницаемая, нерушимая, нетронутая, окаменевшая, оцепенелая, певучая, первозданная, плотная, покойная, полная, полновесная, прозрачная, пустая, пустозвучная, пустынная, свежая, светлая, свинцовая, совершенная, сонная, сплошная, спокойная, стеклянная, стоячая, студеная, стылая, сухая, сырая, тупая, тягучая, упругая, хрупкая, хрустальная, чистая, чуткая, ясная.**

По психологическому восприятию тишина бывает — **баюкающая, безмятежная, безрадостная, бесстрастная, благоговейная, благодатная, благословенная, благостная, блаженная, боязливая, важная, величавая, величественная, властная, волшебная, восприимчивая, враждебная, гнетущая, грозная, грустная, давящая, докучная, душная, жуткая, замороженная, загадочная, задумчивая, зловещая, кроткая, ласковая, ленивая, многозначительная, молитвенная, мрачная, мучительная, мягкая, напряженная, настороженная, невыносимая, недобрая, неловкая, непонятная, непривычная, неприятная, нестерпимая, обманчивая, ожидающая, опасная, осторожная, отрадная, печальная, подозрительная, прекрасная, пугливая, райская, робкая, светлая, святая, серьезная, сладкая, смиренная, спокойная, странная, строгая, суровая, таинственная, томительная, торжественная, тоскливая, тревожная, трудная, тягостная, тяжелая, угнетающая, угрожающая, угрюмая, удивительная, удручающая, умиротворенная, уютная, хмурая, холодная, царственная, целебная, чудная, чутко-пугливая и др.** Всего более 250 эпитетов.

Индивидуально-авторские эпитеты — **тишина библейская, буколическая, виноватая, внятная, воздухообильная, гордая, дремучая, звонко-звучная, зеркальная, золотая, крепкая, липкая, огромная,**

олимпийская, панихидная, первобытная, усталая. Бытовые эпитеты — тишина безветренная, вечерняя, горная, деревенская, дорассветная, лесная, минутная, ночная, осенняя, полночная, предрассветная, рассветная, сельская, степная, утренняя, экзамениционная и под.

Дальнейший анализ приведенных эпитетов позволит уловить самые тончайшие смысловые нюансы лексем **тишина и молчание**. Ограниченный объем статьи не позволяет нам сделать это. Скажем лишь, что наиболее широкое и частотное из этих трех существительных — **тишина**, а наиболее сильное по прагматическому эффекту — **безмолвие**.

Безмолвие — это молчание, отсутствие звуков, полная тишина. *Мне хочется дать // Вам одно обещание, даю его безмолвно* (М. Цветаева. Из писем Б. Пастернаку).

**5. Поэтика молчания.** Сама поэзия — это «не только слово, но и безмолвный отчаянный вызов нашего требовательного бытия...» (7). Многие поэты посвятили молчанию свои произведения — И.Ф. Анненский, Ф.И. Тютчев, О.Э. Манделштам, И. Бунин, К.Д. Бальмонт, С. Городецкий, И. Северянин, М.И. Цветаева, и мн.др.

Остановимся подробнее на анализе двух стихотворений.

#### Ф.И.Тютчев. «Silentium»

Стихотворение написано в 1830 г. Его идея оригинальна: трагедия невысказанности и непонимания происходит не из субъективных причин, мешающих сердцу высказать себя, а из того, что невозможно облечь в слово рождающуюся мысль:

*Как сердцу высказать себя?  
Другому как понять тебя?  
Поймет ли он, чем ты живешь?  
Мысль изреченная есть ложь.*

Следовательно, существует глубочайший разрыв между внешним и внутренним, между формой и содержанием. Вербальное мышление чрезвычайно узко в сравнении с сокровенной духовной жизнью личности, где действуют интуиция и провидение. Нищета и узость слов, схватывающих лишь логически каркас идеи, нарушают богатство души, поэтому лучше молчать. В этом и состоит трагедия одиночества и непонимания. Поскольку преодолеть свою отделенность от мира и людей невозможно, человек должен еще более замкнуться и замолчать — «молчи, скрывайся и тай». Молчание должно быть гордым — *лишь жить в себе самом умей*.

В стихотворении «Silentium» рефрен *молчание* звучит как заклинание, ибо молчание — единственный способ сохранения целостности духовного мира человека:

*Лишь жить в себе самом умей –  
Есть целый мир в душе твоей.  
Таинственно-волшебных дум;  
Их оглушит наружный шум...*

Это не отсутствие формы, а обретение новой формы для содержания духовного мира человека. Личная жизнь поэта, мысли о невозможности взаимопонимания между людьми. В *Silentium* мы слышим ритмический сбой. 4-ая и 5-ая строки первой строфы из двустопных превращены в трехстопные, из ямба становятся амфибрахиями. После ритмической гармонии Пушкина, музыкальности Жуковского — это звучит как фальшь.

Думается, однако, при всем уважении к взглядам великого поэта, что уединение и молчание — это путь зла, а выход из этого состояние — исповедь. Слова устремленные к Богу. И в этом благодатном слове «мысль изреченная» перестает быть ложью. Кроме того, *мысль изреченная есть ложь* — это вызов всей поэзии, которая становится ложной по своей сути, ибо не способна выразить идею в цельности и полноте.

#### О.Э. Манделштам. «Silentium»

*Да обретут мои уста  
Первоначальную немоту,  
Как кристаллическую ноту,  
Что от рождения чиста!*

.....  
*Останься пеной, Афродита,  
И, слово, в музыку вернись...*

Н.С. Гумилев определил основную идею этого стихотворения как «колдовское призывание до-бытия». «Кристаллическая нота» соединяет в себе мир природы, естественную природную форму (кристалл) и мир культуры, т.е. окультуренное понятие «нота». «Кристаллическая нота» — метафора идеальной речи (немота).

По Манделштаму — это отказ от слов и возвращение к дословесной (первоначальная немота), всеобъединяющей музыке миров. Такой взгляд породил книжный путь поэта к культуре. Все слова он считал заемными, выученными, чужими (об этом до него писал в стихах Ф.И. Тютчев, а в прозе М.М. Бахтин).

М.И. Цветаева смогла найти знак немоты, молчания — тире, реже в этой функции она использует восклицательный и вопросительный знаки, многоточие. Тире у поэта — знак невыразимого состояния, того молчания которое часто важнее слов. Это знак молчания, паузы, после которой создаются различного рода интенсивные пороги, выделяющие элементы текста, создающие соотношение фона и фигуры.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Арутюнова Н.Д. Феномен молчания // Язык о языке. — М., 2000. — С.417-436.
2. Бубер М. Я и Ты. — М., 1992.
3. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. — М., 1984.
4. Кибрик А.А. Молчание как коммуникативный акт // Действие: лингвистические и логические модели. — М., 1991.
5. Поливанов Е.Д. По поводу «звуковых жестов» японского языка // Поэтика. — Пг., 1919. — С. 27-28
6. Фрезер Дж. Фольклор в Ветхом Завете. — М., 1986.
7. Шар Р. О поэзии // Писатели Франции о литературе. — М., 1978.
8. Янкелевич В. Цит. по: Эткинд Е.Г. Два русских француза // Иностранная литература. — 2000. — № 6.

## ЭТИКА ТЕКСТА В АСПЕКТЕ КАТЕГОРИИ ТЕМЫ

С.Ю. Данилов  
Екатеринбург

Нет человека вне культуры, и нет текста вне этики. Но этика и культура существуют и вне вербальных текстов как организованных (законченных и целостных) знаковых систем, тогда как тексты не существуют вне человека, группы, народа и цивилизации. Культура и этика связаны для автора настоящей статьи понятием идеология, а логика рассуждения определяется проблематикой лингвоидеологического анализа (см., например, работы Н.А. Купиной — 11), понимание которого мы попытаемся прояснить на следующем примере.

«Риторика, в меру своей лживости, стремится вызвать именно страх или надежду. Это принадлежит к существу риторического слова (эти аффекты подчеркивала и античная риторика). Искусство (подлинное) и познание стремятся, напротив, освободить от этих чувств. На разных путях от них освобождает трагедия и от них освобождает смех», — писал М.М. Бахтин (2, с. 63). Высказывание его не только красноречиво, но оно отражает определенную идеологию. Идеология эта присутствует в тексте в качестве пресуппозиций и прямых утверждений, которые могут быть выстроены в субъективном порядке, например, таком: *Мир разнообразный и многоярусный; Нельзя обвинить без аргументации и оценить категорично; Отрицая, следует предлагать; Страх и надежда скорее вредны человеку, чем полезны; Искусство и познание освобождают; Свобода не может быть скучной, так как она действительна*. Ограничимся этой последовательностью только потому, что продолжение ряда потребовало бы подробной аргументации.

Многообразна культура, на фоне которой создавался и воспринимался предложенный фрагмент. Высказывание «сгущает» идеологическую концептуальную информацию и тем самым позволяет отвлечь ее от прямых смыслов. Та часть идеологии, которая осознается автором и читателем как этическая компонента, выстраивается в перечень норм. Понятие нормы широко изучается, в том числе в рамках культуры речи и социальной лингвистики. Нам важно понимание нормы как инструмента, определяющего выбор того или иного способа вербализации интенционального состояния.

У М.М. Бахтина есть очень интересное замечание о специфике отношения человека к миру: «Мир весь передо мной, и, хотя он есть и позади меня, я всегда отодвигаю себя на его край, на касательную к нему» (2, с. 73). Такой касательной, если хотите «границей», следует признать норму в представлении каждого человека. Поступки человека есть потенциальное (осознанное или нет) освоение выбранных границ, норм, освоение этоса в его статике и динамике. Человек говорящий балансирует, задает речевые ритмы, опираясь на норму. Делая шаг назад, он рискует удариться затылком и познать неизвестное. Выбирая нечто ненормативное в опоре на норму, говорящий вынужден примириться с той совокупностью смыслов, которая задается самим фактом отступления от нормы. А.А. Потемня в работе «Язык и народность» писал: «Человек, вос-

питанный в догматах известной религии и потом дошедший до их отрицания, по своему нравственному облику принадлежит к ней настолько же, насколько послушный сын этой религии» (14, с. 174). Когда говорящий не учитывает общественного характера нормы, он обречен на невнятные разговоры с самим собой. Художественные эксперименты в области языка только подтверждают это суждение, ибо изучение и восприятие феномена опирается на язык, его историю и его употребление.

Мы не склонны наделять этику признаками изменчивости и диффузии. Понимая историчность этических воззрений и существование корпоративных этик, мы исходим из представления о современной этике как системе принципов гуманизма, реализованной в культурно-речевых сценариях (см., например, работы А. Вежбицкой). Проблема отражения этих принципов в языке и произведении расширяется с каждым опытом эмпирического описания. Так, этика научных произведений связана с категориями истинности, новизны и аргументированности, а также с категорией включенности произведения в научный контекст. Этика художественных текстов связана с категорией эстетической целостности. Этика бытовых дискурсивных практик определена погруженностью диалога в коммуникативную ситуацию, а следовательно, связана с категориями уместности речевых поступков и эффективности общения. Кроме того, встают вопросы об этичности черного юмора, о связи этики и этикета, о принятии позиции другого (толерантности) и о лексемах со словарной пометой просторечное.

На наш взгляд, упорядочить названные вопросы, которые плодотворно и разнообразно изучают философы и филологи, позволит обращение к лингвистике текста и к базовым текстовым категориям. Но прежде проанализируем материал, выбор которого мотивирован с одной стороны, его широкой известностью (речь идет о ранних произведениях В.В. Маяковского), с другой, справедливым замечанием К.Э. Штайн об особой роли художника в осмыслении этики текста (8, с. 445).

**Толерантность вызывающего поведения**

По ранней лирике В.В. Маяковского читателю знакомы самые разные герои, именно поэтому мы в своем исследовании останавливаемся не на новом интерпретативном описании персонажей, а на анализе оппозиций «Я и Ты», «Я и Он». Местоимение — это «часть речи, слова которой указывают на все то, что имеет непосредственное отношение к акту речи» (18, с. 440). Учитывая известный «эгоцентризм местоименных слов» (там же, с. 440), их постоянную соотношенность с субъектом речи, повторяющееся соотношение Я-Ты-Он мы осознаем как систему художественных рекомендаций поэту читателю, рекомендаций того или иного поведения в коммуникативном акте. Сама же повторяющаяся система Я-Ты-Он анализируется в аспекте категории толерантности, через призму оппозиции **свой — чужой**.

В стихотворении «Из улицы в улицу» (1913) Ты и Я осознаются как одно целое:

*Лиф души расстегнули.*

*Тело жгут руки.*

Кричи, не кричи:

«Я не хотела!» —

*резок*

*жгут*

*муки.*

Такая позиция не слишком характерна для изучаемых стихов и может быть взята за точку отсчета. В ранней лирике есть еще целый ряд стихов, где Я не отграничивается резко, где «вызывающее поведение» либо не выходит на первый план («Военно-морская любовь» (1915): «И чего это несносен нам / мир в семье миноносин?»), либо прямо приглашает адресата принять участие в предложенной игре («А вы могли бы?» (1913): «А вы / ноктюрн сыграть / могли бы / на флейте водосточных труб?»). В последнем случае умение говорящего «сыграть ноктюрн» не так очевидно, как это принято считать.

Но уже в стихотворении «Я» (1913) говорящий резко выделяет себя, что особенно отчетливо на фоне «семейной» означенности (среди персонажей жена — любовница: *идет луна / жена моя. / Моя любовница рыжеволосая*»; дочь: *«это ж дочь твоя — / моя песня*»; мама: *«У меня есть мама на васильковых обоях*»; отец: *«Солнце! / Отец мой!*»). Говорящий получает следующие поэтические характеристики: *иду один рыдать; Я люблю смотреть, как умирают дети; Я одинока, как последний глаз / у идущего к слепым человека*. Говорящий совершает действия: *тонет (в бульварах), гуляет (в пестрых павах), подходит к окошку, говорит (раздвинув басом ветра вой); любит смотреть, перелистывает гроба том, видит (что «Христос из иконы бежал»), кричит (кирпичу, вонзая кинжал исступленных слов «в неба распухшую мякоть»)*. Позиция Ты (Вы) — Он еще не очерчена как враждебная, есть даже приглашение к общему взгляду: *«Вы прибою смеха мгlistый вал заметили / за тоски хоботом?»*. Вызывающее Я *люблю смотреть, как умирают дети* сглаживается вопросом, который предлагает этическую интерпретацию безнравственного заявления. Вопрос отсылает нас к стереотипу «смех сквозь слезы», вводя на уровне интерпретации тему горечи и сожаления посредством словосочетания «смеха мгlistый вал». Центральным образом стихотворения становится попытка лирического самоопределения: «А я?».

В других стихах того же периода Ты и Вы дифференцируются. «Ты! Нас двое», обращаясь к Земле, признает говорящий в стихотворении «От усталости» (1913). «Вы» становится знаком чужого, символом толпы, что наиболее отчетливо в «Нате!» (1913), где свой и чужой разделяются по основанию поэтическое — бытовое:

*Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста*

*где-то недокушанных, недоеденных щей;*

*вот вы, женщина, на вас белила густо,*

*вы смотрите устрицей из раковин вещей.*

В ранних стихах («Нате!», «Я и Наполеон», «Ничего не понимают», «А все-таки», «Вам», «Вот как я сделался собакой», «Эй», «Ко всему», «Надоело», «Дешевая распро-

дажа», «Себе, любимому, посвящает эти строки автор», «Братья писатели»), в ранних стихах, вызывающий характер которых очевиден, персоналии речевого акта не описываются как монологирующие. Более того, автор в своих стихах представляет нам форму особого конфликтного диалога, по отношению к которому читатель может занять ту или иную позицию. «Я» в этих и многих других стихах Маяковского наделено признаками необычного и агрессивного, а следовательно, вызывающего ответную реакцию, часто нетолерантную. Так, в стихотворении «Ничего не понимают» (1913) предложено три позиции. Во-первых, Поэт (коммуникант 1) — необычный, требующий ответных действий, оцениваемый как аномальный (*Вошел к парикмахеру, сказал — спокойный: / «Будьте добры, причешите мне уши*). Во-вторых, парикмахер (коммуникант 2) — занимающий ответную позицию неприятия, отторжения (*... лицо вытянулось, как у груши. / «Сумасшедший! / Рыжий! — / запрыгали слова*). В-третьих, наблюдатель — позиция его двупланова, может интерпретироваться в пользу каждого из коммуникантов, автор оценивает поведение наблюдателя, вероятнее всего, негативно (*хихикала чья-то голова, / выдергиваясь из толпы, как старая редиска*). Примечательно, что грамматически категория персональности не оформлена, так как личные местоимения и личные глагольные формы не употребляются.

Еще одна позиция вводится в стихотворении «Я и Наполеон» (1914):

*Идите, сумасшедшие, из России, Польши.*

*Сегодня я — Наполеон!*

*Я полководец и больше,*

*Сравните:*

*я и — он!*

В приведенном примере мы видим стирание грани между двумя героями. Автор по тому или иному ряду признаков находит фигуру для сопоставления и в кульминации указывает на тождество, партнерство Я с объектом сопоставления и превосходство над последним. В эту позицию попадают некоторые исторические и литературные персонажи (*я — величайший Дон-Кихот!*), земля и солнце («Я»), любовь (*Любовь! / Только в моем / воспаленном / мозгу была ты!*).

Таким образом, поэт предлагает нам некоторую систему, где Я — необычный и активный, вызывающий, где есть Ты — равный и Ты — враг (*Желудок в панаме! Тебя ль заразят / величием смерти для новой эры?*), а также Ты — адресат всего стихотворения. Вы — становится символом толпы (*вы, бездарные, многие, / думающие нажраться лучше как; редкое исключение: Все эти, провалившиеся носами, знают: / я — ваш поэт*). Личные местоимения третьего лица выводят нас на ту же систему, местоименные слова любой, каждый чаще связаны с Вы-позицией, тогда как неопределенные местоимения частотно выводят на Я-позицию (*Какая-то прокричала про добрый вечер. / Надо ответить: / она — знаковая*). Последнее замечание следует уточнить в аспекте категории числа: намек на множественность в ранних стихах частотно задает тон негативной оценки.

Быть толерантным в такой системе, характерной для вызывающего речевого поведения, легко по нескольким причинам:

1. Позиция Я свободна, и естественно замещается читательским Я при условии признания позитивных характеристик Я и негативной оценки Вы, введенных автором.

2. Позиция Ты может быть интерпретирована гармонически: Адресат может и должен изменяться к лучшему; Адресат может занять позицию стороннего наблюдателя, актуализируя эстетическую функцию текста.

3. Разнообразие позиций, предлагаемых автором, позволяет осознать изначальную необходимость толерантности, что дает возможность сохранить свою систему ценностей, обозначая грани существующих культурных оппозиций в фокусе диалога культур.

Предложенный вашему вниманию очерк не решает теоретической проблемы изучения этики текста, и а) мало добавляет к существующему пониманию позиции Маяковского, б) позитивистски подходит к описанию этики текста, в) сводится к банальному суждению о возможности толерантной (этичной) реакции на самые разные речевые инициативы, в том числе провокативного характера. Но в этом очерке предлагается исследование текста (произведения) с опорой на цепочку тематических слов, причем субститутот (местоимений). Повторяющийся характер смыслового наполнения звеньев тематической цепочки в группе текстов позволяет нам увязать представление о структуре текста (так как тема — одна из важнейших текстовых категорий) с представлением о смысле текста, который определяется замыслом автора и читательской интерпретацией. Подчеркнем: и автор, и читатель действуют в опоре на предписания этики.

Приведем еще несколько постановочных примеров исследовательского характера. В той или иной степени проблемы этики текста изучали в 2002 году студенты Уральского государственного университета в рамках спецсеминара «Разговорная речь: жанровый быт». Коротко сошлемся на три доклада, в которых ставился вопрос о гармоничном и дисгармоничном общении.

Ольга Куприянова рассматривала непосредственное семейное общение и пришла к парадоксальному результату. В семейном общении установка на гармонирующие тактики зачастую приводит к тому, что гармония достигается за счет недостижения стороной, иницирующей общение, практического результата, как в следующем диалоге отца с дочерью.

О.: У / хлеб кончился / давай-ка доченька / сгоняй за хлебом.

Д.: Знаешь пап / ты у меня такой хороший // У меня последнее время слабость такая страшная / из-за чего / ума не приложу.

О.: (улыбаясь) Был бы ум / так приложила бы наверное.

Д.: Я последние две ночи вообще не сплю / понимаешь? Вчера спала пять часов / сегодня шесть / да и днем еще может часок.

О.: Так ты наверное пересыпаешь / из-за этого и слабость (оба улыбаются и сменяют тему).

Таким образом, семейное общение признается в докладе сферой, где установка на доброжелательность, взаимопонимание, гармонию оказывается принципиально важнее сиюминутного практического результата. Интересно, что отец, подшучивая над дочерью, коммуникативно компенсирует невыполнение востребованного действия. Положительная тональность диалога поддерживается вербально. Но важнее, на наш взгляд, что предложенная дочерью Я-тема, определяющая тональность диалога, подхватывается отцом, который не настаивает на требовании (не повторяет предметную тему «хлеб»).

Анна Ланских обосновала гипотезу о существовании кооперативного конфликтного общения, в котором цели коммуникантов совпадают, но необходимость принять решение приводит к привлечению конфликтных, дисгармонизирующих тактик оскорбления, обвинения, издевки. Материалом исследователю послужили диалоги, связанные с выбором товара в магазине.

Ситуативный контекст: муж (А) и жена (Б) выбирают в хозяйственном магазине полку для ванной комнаты.

Б.: Вон та / вроде ничего [ниче] / смотри//

А.: Серая что ли?

Б.: Ну//

А.: Так [дак] она пластмассовая / Тань / ты что [че] / уж совсем // цветы пластмассовые развесила / как на кладбище / сейчас [щас] полку / дебильскую / высмотрела //

Б.: Ничего [ниче] не дебильская / и цена нормальная // Тебе что [че] надо-то / я не поняла //

А.: Ты еще посуду одноразовую купи / и туфли для покойников //

Б. (раздраженно): Да нету / других-то // Ты опять начать начинаешь / Нет других-то//

А.: Да / Танюша / я шучу// сколько платить / все равно нет металлических / но давай / только вон ту / давай лучше купим / угловую //

Б.: Так [дак] я и говорила / про ту / сразу //

А.: Ну все / берем//

Результат анализа подобных диалогов Анна Ланских отразила в векторе стадий кооперативного конфликтного общения.

Точкой отсчета кооперативного конфликтного общения становится инцидент, который частотно сопровождается диссонирующей тональностью. Далее следует обмен оценочными речевыми жанрами, в процессе чего обнаруживаются разногласия. Пик коммуникативного напряжения приходится на момент, когда каждый из участников стремится доказать свою правоту, здесь зачастую используются тактики обвинения, оскорбления, издевки, которые уводят от ситуативно заданной предметной темы. Если дисгармонизирующие или гармонизирующие тактики заставляют коммуникантов принять унисонную тональность, то коммуниканты приходят к компромиссному решению, после чего появляются гармонизирующие речевые жанры, сглаживающие противоречие или мотивирующие речевые действия сторон (Да / Танюша / я шучу). Критерием этической оценки опять может стать категория темы. Если противостояние коммуникантов в ситуации выбора уводит от предметной ситуативной те-



мы на два-три речевых хода, то текст рискует уйти за пределы этических норм. Но для нас вопрос остается открытым: можно ли говорить о некоторой типологии относительно понятия этика текста?

Ольга Ильина на материале пьесы Л. Петрушевской «Три девушки в голубом» описала ситуацию коммуникативной незаинтересованности. «Это странная ситуация, которая обнаруживает напряженность в отношениях говорящих. Отсутствует заинтересованность коммуникантов в общении. Им не только не важно, что говорит собеседник, но и не важно то, что он не реагирует на их реплики, не слышит их», — отмечает исследователь. И.В. Шалина, вслед за Т.В. Шмелевой рассматривая ситуацию риска, дает ей следующее определение: «нестандартная ситуация, в которой отклонение от общекультурного ... сценария прогнозирует возможность неудачи, опасности для одного из коммуникантов и в которой по крайней мере один из участников диалогического взаимодействия находит способ адаптации, позволяющий избежать открытого конфликта» (17, с. 275). Как видим, две ситуации существенно отличаются друг от друга. Если во второй требуются процедуры «умиротворения», то первая течет, сохраняя напряжение, с которым свыкаются, которое стало частью существования. О. Ильина выделяет три формальных признака ситуации коммуникативной незаинтересованности. Во-первых, не реализуются коммуникативные ожидания, связанные с образом ближайшего коммуникативного будущего (19, с. 94). Так, дочь Ира (И.) приехала к матери (М.Ф.), которая собралась лечь в больницу и упрекает дочь в отсутствии внимания.

И. — Ты в какую больницу ложишься?

М.Ф. — Зачем тебе знать.

И. — Мама, ну не будь эгоисткой.

Во-вторых, гармонизирующие тактики переактуализируются, становятся эгоцентричными. Так, формальное предложение сочетается с мотивацией, ориентированной только на говорящего, скрывает просьбу, которая встречает категоричный отказ, игнорирующий право собеседника на внимание: Ира (И.) ухаживает за больным сыном, Николай Иванович (Н.И.), знакомый Иры, пришел в гости.

Н.И. — ... А может быть выпить чайку? В горле пересохло.

И. — У меня вода в термосе только для Павлика.

В-третьих, увеличивается число предметных тем в диалоге, тезисы не получают развития даже во второй реплике: Беседуют Светлана (С.) и Татьяна (Т.), у каждой есть сын, но у Светланы нет мужа.

С. — Слушай, что это твой Антон все перед Максимом хвастается: через каждое слово все «папка» да «папка». Папа придет да папа сделает. Намекни ему, все-таки уже большой, поймет, Максиму же больно.

Т. (потягивается) — Эх, что-то наш папка давно, правда, не приезжал, Антон соскучился! Надо съездить домой, побаниться.

Интересна смена тезиса при общности отрицательной оценки в следующем фрагменте, кроме того, каждая реплика вводит тему фактически рассогласованную с предыдущей: Беседуют Федоровна (Ф.) и Ира (И.).

Ф. — ... ихний Ленька Ручкин с пьяных глаз утонул.

Разбежался в речку с бугра головой, а там глубина 30 сантиметров. Ну? Какой спрос.

И. — У Павлика 39, а они под окном как кони бегают, Антон с Максимом.

Ф. — Там же бальзам посажен, под окнами! Я им скажу! Чистотел посажен!

И. — Я говорю: ребята, бегайте на своей половине! Они говорят: это не ваш дом и все.

Ф. — И! Нахальство — второе счастье. Там на горе дом, где Блюмы живут. Барак двухэтажный...

Таким образом, исследователь приходит к выводу о лингвистической индикации ситуации коммуникативной незаинтересованности в пьесе и вновь осмысляет выявленный феномен. «Это не гармоничное общение, но и не конфликтное. Его можно охарактеризовать, как стадию подготовки к дисгармонии, а с другой стороны, эта ситуация «коммуникативной незаинтересованности» сама может быть результатом конфликтов, ей предшествующих. Так, в пьесе «Три девушки в голубом» причиной такой ситуации могли послужить раздоры из-за раздела дачи, из-за детей. Данная ситуация «коммуникативной незаинтересованности», ее жанровая специфика как нельзя лучше соотносятся с замыслом автора и основной идеей пьесы. Эта пьеса об одиночестве человека среди людей», — пишет О. Ильина.

Для нашей статьи принципиальным оказывается внимание именно к категории темы. Характерно замечание И.Н. Борисовой: «Тема разговорного диалога — категория текста, а не коммуникативной ситуации» (3, с. 125). Категория темы позволяет описывать разные коммуникативные феномены, в том числе дискурс (3), художественное произведение (10 и мн. др.), текстотип (12; 13; 16; 6). Категория темы в названных исследованиях понимается неодинаково, но признается конституирующим признаком текста как высшей единицы языка.

Понимание текста как единицы языка вызывает споры. Так, М.Я. Дымарский в глубокой и эмоциональной работе «Является ли текст (языковым) знаком?», казалось бы, камня на камне не оставил от заявленной выше позиции (7, с. 23 — 33). Действительно, текст (как произведение) многозначен. Но многозначно и слово, например, в поэтическом контексте. Опровергает ли это существование лексемы? Конечно, произведение не может восприниматься произвольно. Так и простое высказывание «Сладкое небо несло мою голову», подобно многим высказываниям сложной структуры, не будет воспринято произвольно, что не отрицает существование предложений как единиц языка. Наконец, Михаил Яковлевич совершенно справедливо указывает, что «сигнификативный базис коммуникации» обеспечивается не столь развернутыми формами, но лишены ли эти формы текстовой природы, например, реплики разговорного диалога или минимальные диалогические единицы (1)?

Мы опираемся на суждение Г.В. Колшанского, который указывает на бесконечность общения, на вопросно-ответную природу диалога и отмечает, что «минимальной языковой единицей, функционирующей в реальном процессе коммуникации, является текст, состоящий из двух структурно соподчиненных единиц,

в его самой элементарной форме — из двух высказываний в виде вопроса и ответа» (9, с. 39). Далее автор говорит, что текст подлежит исследованию в качестве основной единицы языка, понимаемого как средство общения, и должен квалифицироваться по содержанию (денотату) и форме. Как видно, вопрос не в том, считать ли текст единицей чего-либо, а в том, можно ли выделить некоторые формальные модели или принципы, которые бы позволили отличать типы текстов друг от друга. Мы поддерживаем мнение, что структура текста на высоком уровне абстракции отвлекается от конкретных произведений и отражается в текстовых категориях, среди которых важное место занимает категория темы, именно в ней форма и содержание объединяются полно и наглядно. Нельзя не отметить важность гармонизирующего начала в научном творчестве. Это начало реализовано в описании подходов к тексту, выполненном профессором М.Н. Кожинной в фундаментальном исследовании «Очерки истории научного стиля русского литературного языка XVIII-XX вв.», второй том которого издан в Перми в 1996 году.

В связи с вышесказанным целесообразно поставить вопрос об этике и речевом произведении в ключе представления о нормативном тематическом построении текста определенного типа.

Для подтверждения выдвинутого положения проанализируем категорию темы в проработочном тексте (проработка — коллективное осуждение провинившегося на собрании, заседании, характерное для советской действительности — 5, с. 198; 6).

Проработка на заседании заводского профсоюзного комитета (рассказ В. Сорокина «Заседания завкома») является одним из вопросов соответствующей повести. Заседание проводится в заводском клубе. «На слабо освещенной сцене, прямо под громадным портретом Ленина, сидели люди. Они занимали середину длинного стола, покрытого красным сукном», — так описано место заседания писателем. Действо может быть соотнесено с тем этапом функционирования проработки, когда она становится повседневным и не слишком опасным явлением в жизни «антиобщественного» героя (70-80-е годы XX века). Этим объясняется и поведение прорабатывающих, зачастую отвлекающихся от идеологического канона.

В заседании участвуют: председатель завкома Симакова и председатели цеховых комитетов (Старухин, Хохлов, Клоков, Звягинцева), в качестве свидетеля на проработку вызван рабочий Черногаев. Функции аудитории выполняют появившиеся во время проработки милиционер и уборщица. Характерно, что уборщица моет пол в зале, что соотносится с идеологемой чистки. Нами выбран фрагмент, в котором появляется основное идеологическое обвинение. Свидетель от описания конкретных антиобщественных действий переходит к мотиву «оскорбление святых» социалистического строя.

*Черногаев продолжал:*

— А еще он говорил, что вот на заводе все плохо, купить нечего, еда плохая. Поэтому, говорит, и работать не хочется.

В этой реплике вводится мотив «очернительства, клеветы на социалистическое общество», характерный

для проработок, а вместе с ним мотив поощряемого доноительства. Донос как внутрижанровая тактика (термин К.Ф. Седова — 15, с. 90) проработки — это способ тематического развертывания политических обвинений. Политический поворот дела — важнейшая и обязательная черта проработок. В данном случае «сила» политического обвинения приводит к фрустрирующей ситуации, усугубляемой молчанием прорабатывающих.

*Все молчаливо уставились на Пискунова.*

Молчание провоцирует наблюдателя, который нагнетает идеологическое напряжение за счет построения цепочки стереотипов, актуализирующих как собственно политические мотивы (*обучал бесплатно, мы в войну*), так и общекультурные (*совестно, кто тебя вырастил*).

— Да как же... да как же у тебя язык повернулся сказать такое?! — уборщица встала со своего места, подошла к сцене. — Да как тебе не совестно-то?! Да как же ты, как ты посмел-то! а?! Ты... ты... — Ее руки прижались к груди. — Да кто же тебя вырастил?! Кто воспитал, кто обучал бесплатно?! Да мы в войну хлеб с опилками ели, ночами работали, чтоб ты вот в этой рубашке ходил, ел сладко да забот не знал! Как же ты так?! А?!

Обращает на себя внимание обилие вопросов, не требующих и не позволяющих ответов (*как же ты; кто же тебя*), которое роднит высказывание с причитаниями. Показательны неоднократные введения Ты-темы (термин И.Н. Борисовой), в том числе с отсутствующей (*Ты... ты...*) и / или восстанавливаемой (?) предикацией. Повторное введение предметных тем при отсутствии предикации следует считать признаком фрустрирующей ситуации. Место Я-темы занимает Мы-тема идеологизированного характера (*мы в войну*). «Народность» высказывания наблюдателя дает толчок для порождения реплик проработчиков. Они «вставляют» и «добавляют». Эти авторские «ремарки» указывают на необновление основного тезиса при формальной его смене.

— Плюешь, Пискунов, в тот же колодец, из которого сам пьешь! — вставил Хохлов.

— И другие пьют, — добавила Симакова. — На всех плюешь. На бригаду, на завод, на Родину. Смотри, Пискунов, — она постучала пальцем по столу, — проплюешься!

— Проплюешься!

Высказывания Симаковой развивает и политически уточняет реплика Хохлова. В двух репликах оформляется тематическое движение от вреда себе (*из которого сам пьешь*) к оскорблению Родины. Характерна градация, в которой Родина наполняется семьей труда (*На бригаду, на завод, на Родину*). Неконкретизированная и повторенная угроза (*проплюешься!*) развивает фрустрирующую ситуацию. Реплики при своей обращенности к прорабатываемому не предполагают ответного действия. В следующих репликах Ты-тема вводится через местоимение третьего лица, что усиливает логику неответа.

— Ишь, плохо ему! Работать надо, вот и будет хорошо! А лентяю и пьянице везде плохо.

— А таким людям везде плохо. Такого в коммунизм впусти — ему и там не по душе придется.

Тезисы приобретают обобщенный характер, отрываются от слов предметной темы, поднимаются над объ-

ектом проработки. Объект обобщается (таким людям везде плохо), намечается мотив переноса обвинения на более широкий круг лиц, который ситуативно не может быть поддержан (нет соответствующего задания). В следующей реплике Ты-тема предидируется инвективой, политический характер которой не актуализирован в контексте.

— Да. Гнилой ты человек, Пискунов.

Инвектива требует политического уточнения, что наводит прорабатывающих на идеологические вопросы, за которыми стоят сценарии типовых действий (воздействие по политической линии, например, исключение из комсомола).

— Ты комсомолец?

— Нет, — Витька тоскливо смотрел на портрет.

— И вступать не думаешь?

— Да поздно. Двадцать пять...

Включение вопросно-ответных единств отражает типовую модель односложных или кратко мотивированных ответов прорабатываемого, ответы отрицательные, частотный мотив «признания и раскаяния» ответами не поддерживается. Наведение на сценарий исключения определяет появление следующих реплик.

— Таким в комсомоле делать нечего.

— Точно! Таким вообще не место среди рабочего класса.

Словоформа *Таким* связана и с мотивом обобщенности объекта, и с мотивом цепной реакции. Повторяется модель уточнения и усиления реплики последующим высказыванием, что формирует категорию «одноголосости» прорабатывающих.

— Третий раз вызываем его на завком, и все как с гуся вода! Вырастили смену себе, нечего сказать! А все мягкотелость наша. Воспитываем все!

В ситуации, когда предложения невыполнимы и не поддержаны вышестоящей инстанцией проработка пробуксовывает, прорабатывающие пытаются нащупать необходимое решение, обращаясь к стандартным сюжетным ходам. Отсюда и мотив самокритики, и прямое обращение к председателю.

— Действительно, Оксана Павловна. — Звягинцева повернулась к Симаковой. — Что же это такое? Мы ж не шарашкина контора, а завком! Значит, опять послушает он нас, послушает, выйдет, сплюнет в уголок, а завтра снова в одиннадцать — за бутылкой? Мы же завком! Заводской комитет профсоюза, товарищи! Профсоюзы — это кузница коммунизма! Это ведь Ленин сказал! Так почему же мы так мягки с ними, с ними вот?!

Говорящий использует идеологические оппозиции личное — государственное, привлекает механизмы самоидентификации, обращается к лозунгам — святыням. Предложение не конкретизируется, вместо этого ставится вопрос перед членами завкома, ответом на который становятся поддерживающие реплики, развивающие механизм жонглирования идеологемами.

— И правда! Пора наконец перестать лояльничать с ними! — вставил Старухин! — В конце концов у нас производство, советское производство! И мы несем ответственность за эффективность нашего завода перед Родной! Сняли с него прогрессивку — мало! Сняли тринадцатую зарплату — мало! Увольнять нельзя, значит, надо искать какие-то новые меры! И не гуманичаем! А то догуманичаемся!

— Правильно, Оксана Павловна, с такими, как Пискунов, надо бороться. Бороться решительно! Что с ними цацкаться?!

— Ему ведь наши нотации — как мертвому припарки.

— Ну а что мы можем, кроме снятия премий и прогрессивки? Выгнать-то нельзя...

Председатель не берет на себя роль властителя, определяющего решение, поэтому ситуация идеологического кризиса продолжает развиваться при сохранении модели поддерживания заданного тезиса в последующих репликах. Каждый из говорящих как будто отмечается в произнесении структурно необходимой оценочной реплики.

— Тогда вообще зачем заседать?! Это ж издевательство над профсоюзом.

— Форменное издевательство...

— И пример дурной подаем. Сегодня он пьет, а завтра, гляди, и вся бригада.

— Ну, а действительно, что мы можем?!

В последних репликах ситуация проработки «зависает», отсутствие катарсиса приводит к неудовлетворяющей фрустрации. Последняя не только не способствует единению группы, но и задает мотив идеологического опустошения, потери идеологического лица, утраты политической целостности. Все это по сценарию проработочного действия требует вмешательства контролирующего наблюдателя и перевода проработки в иную стадию, на новый виток, что далее и описывает автор рассказа.

Проанализированного фрагмента оказывается достаточно для того, чтобы сформулировать положение об этической напряженности тех типов текста, где 1) тезис предметной темы, не получая развития и разъяснения, повторяется в целом ряде последующих реплик, где 2) предметная тема задается то местоимениями второго (ты), то третьего лица (он) в пределах одной коммуникативной ситуации. Но важнее, что можно говорить не столько о текстах этически нормативных и ненормативных, сколько об этической норме как своеобразном инструменте порождения и восприятия текстов. Описание внутрижанровой этической нормы в аспекте категории темы — предмет будущих исследований. Таким образом, этика текста представляется нам сложным понятием, изучение и описание которого содержит большой эвристический потенциал.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Баранов А.Н., Крейдлин Г.Е. Структура диалогического текста: лексические показатели минимальных диалогов // Вопросы языкознания. — 1992. — № 3. — С. 84-93.
2. Бахтин М.М. Собр. соч.: В 5 т. — М., 1996. — Т. 5.
3. Борисова И.Н. Русский разговорный диалог: структура и динамика. — Екатеринбург, 2001.
4. Вежбицкая А. Культурно-обусловленные сценарии: новый подход к изучению межкультурной коммуникации // Жанры речи: Сборник научных статей. — Саратов, 1999. — С. 112-132.
5. Гловинская М.Я. Семантика глаголов речи с точки зрения теории речевых актов //

- Русский язык в его функционировании. Коммуникативно-прагматический аспект. — М., 1993. — С. 161-217.
6. Данилов С. Ю. Жанр проработки в тоталитарной культуре // Стереотипность и творчество в тексте: Межвузовский сборник научных трудов. — Пермь, 1999. — С. 194-216.
  7. Дымарский М.Я. Проблемы текстообразования и художественный текст (на материале русской прозы XIX-XX вв.). — СПб, 1999.
  8. Жогина К.Б., Ходус В.П. Проблема этики художественного текста. Материалы Круглого стола межрегионального научно-методического семинара «Textus: Текст как явление культуры» // Языковая деятельность: переходность и синкретизм: Сборник статей научно-методического семинара «TEXTUS». — М.-Ставрополь, 2001. — Вып. 7. — С. 445-450.
  9. Колшанский Г.В. От предложения к тексту // Сущность, развитие и функции языка. — М., 1987. — С. 37-43.
  10. Купина Н.А. Смысл художественного текста и аспекты лингвосмыслового анализа. — Красноярск, 1983.
  11. Купина Н.А. Тоталитарный язык: словарь и речевые реакции. — Екатеринбург-Пермь, 1995.
  12. Матвеева Т.В. Предметно-логическая тема как субъективно-модальное средство разговорного текста // Русская разговорная речь как явление городской культуры. — Екатеринбург, 1996. — С. 167-180.
  13. Матвеева Т.В. Функциональные стили в аспекте текстовых категорий. — Свердловск, 1990.
  14. Потехня А.А. Язык и народность // Потехня А.А. Мысль и язык. — Киев, 1993. — С. 158-185.
  15. Седов К.Ф. Жанры речи в становлении дискурсивного мышления языковой личности // Русский язык в контексте культуры. — Екатеринбург, 1999. — С. 86-99.
  16. Сибирякова И.Г. О некоторых стандартах в разговорном диалоге // Текст: стереотип и творчество: Межвуз. сб. науч. тр. — Пермь, 1998. — С. 231-254.
  17. Шалина И.В. Коммуникативно-речевая дисгармония: ее причины и виды // Культурно-речевая ситуация в современной России. — Екатеринбург, 2000. — С. 272-287.
  18. Шелякин М.А. Местоимение // Современный русский язык: Учебник: Фонетика. Лексикология. Словообразование. Морфология. Синтаксис. Под общ. ред. Л.А. Новикова. — СПб., 1999. — С. 440-463.
  19. Шмелева Т.В. Модель речевого жанра // Жанры речи. — Саратов, 1997. — С. 88-98.

**ЛИНГВОРИТОРИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ОПЕРИРОВАНИЯ  
ЭТИЧЕСКИМИ КОНЦЕПТАМИ В РУССКИХ ПОПУЛЯРНЫХ  
ЭЗОТЕРИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ**Н.Ю. Хачатурова  
Сочи

В центре внимания нашего исследования находится рассмотрение лингвориторических параметров русских популярных эзотерических текстов. Нами были проанализированы серии книг, изданные в России на рубеже веков: «Диагностика кармы» С.Н. Лазарева, «Система дальнейшего энергоинформационного развития» Д. Верицагина, «Звенящие кедры России» В.Мегре, «Книга, которая лечит» С.С. Коновалова, «Книга — талисман золотой» А. Королевой, «Разумный мир» А. Свияша.

Лингвориторический ракурс изучения этих произведений образуется на пересечении трех категориальных рядов: методологических категорий Этос, Логос и Пафос, где Этос выступает как этическое, нравственно-философское начало речи, Логос является словесным, мыслительным началом речи, а Пафос отражает ее (речи) эмоциональное начало; уровней структуры языковой личности, определяемых Ю.Н. Карауловым как вербально-семантический, лингво-когнитивный и мотивационный уровень, а также этапов универсального идеоречевого цикла «от мысли к слову»: инвенции, диспозиции, элокуции (3, с. 19-20). Образуемые таким образом констелляции этосно-мотивационно-диспозитивных, логосно-тезаурусно-инвентивных, пафосно-вербально-элокутивных и других параметров служат лингвориторическим инструментарием анализа эзотерического дискурса России рубежа тысячелетий, образуемого в том числе изучаемыми нами сериями книг.

В процессе исследования лингвориторических характеристик этих произведений возникла необходимость в определении типовой лингвориторической стратегии продуцирования эзотерического текста, при выявлении особенностей которой, мы опирались, с одной стороны, на уже указанные лингвориторические параметры интерпретации текста, а с другой стороны, на дефиниции стратегии, выработанные неориторикой и звучащие следующим образом. Стратегия в ораторском искусстве «Кратким словарем основных понятий и терминов риторики» определяется как «выбор направления, средств и способов убеждения слушателей, целевая установка выступления, разработка принципов общения и др.» (16, с. 69-70). С точки зрения А.Л. Факторовича, «речевая стратегия (отправителя речи) — это обобщенная комплексная установка представления элементов информации с учетом дифференцированного отношения автора к другим феноменам информационной деятельности (получатель речи, текст, результаты деятельности)» (14, с. 4). Т.Н. Касенкова считает, что «специфика той или иной речевой стратегии определяется особенностями реализации в высказывании как единстве момента темы, отбора языковых средств и композиционного построения...» (4, с. 8).

Таким образом, лингвориторическая стратегия подразумевает осмысление (Логос) имеющихся мировоззренческих установок, понятий, идей (тезаурус) и собственно предварительную систематизацию материала (инвенция), которая осуществляется

при наличии мотивов речевого поведения (мотивационный уровень), обусловленных этическим, нравственно-философским началом речи (Этос), реализуемым в материализации сообщения посредством организации материала (диспозиция).

В результате типовая лингвориторическая стратегия продуцирования эзотерического текста предстает в следующем виде. Осмысление мира как энергоинформационной системы, основанной на любви к Божественному, приводит к соответствующему выбору направленности дискурсивного процесса — созданию энергоинформационного учения того или иного рода, содержащего способы улучшения физического и эмоционального состояния человека через изменение его сознания. Такой выбор подкрепляется целевыми нравственно-этическими установками автора на облегчение жизни людей, мотивируется желанием помочь нуждающимся, делаясь своими знаниями. Как средство и способы реализации этих намерений выступают серии книг, содержащие основы разработанного учения, рекомендации в виде советов и специальных упражнений, а также непосредственные отклики самих читателей (отрывки из писем, историй болезни, вопросы из зала и даже стихотворения).

Исходя из общего определения лингвориторической стратегии продуцирования эзотерического текста, мы подразумеваем, что интенциональность эзотерического дискурса на инвентивном уровне обусловлена той этической задачей, которую ставят перед собой авторы исследуемых нами серий, и которую А.К. Михальская определяет как нравственную устремленность к добру и правде (13, с. 7).

Со времен классической риторики Этос считается системообразующим фактором науки убеждения, объединяющим эстетический и научный вид познания: «Риторика была триединая. Она была искусством убеждать с помощью слов, наукой об искусстве убеждать с помощью слов и процессом убеждения, основанным на моральных принципах» (15, с. 4).

Как уже отмечалось, в эзотерических текстах конца XX в. нравственно-этическим началом выступает ощущение автором чужой боли как своей, желание помочь найти пути из безвыходных, казалось бы, ситуаций, невозможность в нравственном плане использовать свои открытия и достижения только для себя. То есть, следуя традиционным риторическим правилам, «говорящий, в частности и по Аристотелю, должен «опознаваться» слушателями как «человек достойный» — и в широком смысле этого выражения, и в узком (достойный говорить, достойный, чтобы его слушали). Утверждалось, что личные этические качества говорящего определяют все содержание его сообщения, и что слушатели всегда имеют возможность составить себе представление о том, каков этос говорящего» (5, с. 14).

Итак, личные этические качества определяют содержание сообщения. По нашему мнению, это утверждение является основополагающим при определении

стратегии оперирования этическими концептами в популярных эзотерических текстах, так как, чтобы убедить читателей в истинности декларируемых автором убеждений, систем взглядов, он должен продемонстрировать нравственную поддержку своего учения. Таким образом, стратегическим выбором способа убеждения в нравственном плане выступает демонстрация автором собственной нравственно-этической позиции, экспликация его положительных установок на добро и гармонию. Такая стратегическая направленность призвана вызвать доверие у адресата, подготавливая его тем самым к восприятию той или иной концепции эзотерического учения, в основе которой лежат представления о добре, зле, любви, ненависти, человеке, являющиеся основными этическими концептами серий популярных эзотерических текстов.

Итак, экспликация положительных нравственных установок является отличительной особенностью оперирования этическими концептами у стратегии авторов изучаемых эзотерических книг. Так, С.Н. Лазарев пишет: «За все этой суетой я, честно, видел одно: моя система несовершенна, но пути назад уже нет, а впереди — стена, преодолеть которую я не могу. Я бы ее и не преодолел, если б не знал, насколько важны исследования для тех, кто скоро будет болеть и умирать, не понимая, за что это и в чем дело» (9, с. 16). А. Королева начинает изложение своих советов с таких слов: «Здравствуйте, милые мои! Вот и повстречались мы с вами снова — мне на радость, а вам на утешение. Все-то несете ко мне беды свои и горести, а я, по чести скажу, только и рада помочь добрым людям» (7, с. 13), рассказывая о создании своей книги «Как исполнить любое желание», она пишет: «Книга эта писалась мной с большой, огромной любовью ко всем вам. Построена она так, чтобы сила моей любви соединилась с вашей. Я хотела, чтобы души наши с вами соприкоснулись. Тогда-то смогу я поддержать вас, дать нужные силы, защитить от влияния пагубного» (7, с. 20-21). У Д. Верищагина читаем: «Сегодня пришла пора донести знания до как можно более широкого круга людей — людей ищущих и готовых к восприятию этих знаний. Я понимаю, что сообщить результаты наших исследований — мой профессиональный и человеческий долг. Ведь человечество сегодня на грани пропасти. Ему грозит катастрофа, результатом которой может стать полное исчезновение человека с лица Земли» (2, с. 8).

Символично сравнение, приводимое Т.Г. Хазагеровым в «Общей риторике», — оратора с добросовестным врачом, возвращающим людям временно или частично утраченное ими зрение (15, с. 11). Применительно к эзотерическим текстам возвращенным зрением выступают знания, неизвестные большинству людей и открываемые для них авторами эзотерических книг. При этом обязательным условием является наличие у автора этической ответственности, без которой невозможно привести читателя к желаемым положительным результатам. И в этом плане эзотерический дискурс отвечает одному из важнейших условий хорошей современной речи, согласно которому современная хорошая

речь — «это речь не нейтральная по отношению к нравственности, т.е. добрая и правдивая» (13, с. 9).

Специфика реализации морального сознания в текстах популярных эзотерических серий состоит в утверждении высших духовных ценностей, репрезентируемых такими этическими Концептами, как Любовь, Душа, Счастье, Преображение, Надежда. Нравственное сознание рассматривает поступки и явления с точки зрения их ценности. В иерархии этических концептов эзотерических текстов наивысшую ценность представляет любовь к Богу как первооснова, включающая в себя все остальные понятия. Такое обоснование находим, например, у С.Н. Лазарева: «А поле, то есть наша душа, подобно воде, которая течет, и для того, чтобы существовать, оно должно постоянно подпитываться из родника. Этот родник — первопричина, которую мы называем Богом. Душа постоянно хочет соединиться с Богом, это условие ее выживания. Высший уровень единения — это любовь. Значит, условия и способ существования души — это любовь к Богу» (10, с. 241).

Самой сильной энергией во Вселенной называет Анастасия, героиня книг В. Мегре «Звенящие кедры России», энергию Чистой Любви: «Свет солнца, что всему земному жизнь дает, людской любовью создается. Во всей Вселенной лишь в Душе людской энергия любви воссоздается, взлетает ввысь она, фильтруясь, отражаясь, от планет Вселенских на Землю благодатным светом льется» (12, с. 48).

Своеобразным диалогом с Анастасией звучат стихотворения из книги «Книга мира» писателя и журналиста С.В. Белокопя. Автор открывает свой сборник стихотворений словами:

*Анастасиюшка!  
Земной поклон передают  
Тебе простые люди  
С большою русскою душой  
За Лучик Твой!*

Этот Лучик Света, Лучик Любви вдохновил автора на создание цикла произведений, резонирующих с особенностями выражения морального сознания авторов эзотерических текстов. В первую очередь, конечно же, с теми моральными принципами, которые выдвигаются на страницах книг об Анастасии: человек должен стремиться к достижению Истины, Радости, Любви в которых заключается, по словам Анастасии, смысл жизни (11, с. 88). Также у С.В. Белокопя в стихотворении «Посвящение любви» мы читаем:

*Любовь! Она необъяснима,  
Желанна и светла для нас.  
Прекрасное — Любовью все сотворено.  
Она есть Бог.  
В душе у каждого из нас.*

Как видим, в ответном творчестве С.В. Белокопя прослеживается та же стратегия и тактика оперирования этическими концептами, которая используется авторами эзотерических текстов. Если стратегия рассматривается как выбор направления и целевая установка на уровне инвенции, то таковой стратегией оперирования этическими концептами является само выделение этих концептов из множества других

этических концептов. Так, например, понятия Долг, Вера и другие не входят в число этических ценностей, имеющих превалирующее значение для многих авторов эзотерических текстов. С.Н. Лазарев объясняет это явление следующим образом: «Для меня было неожиданностью, что не только вера в людей и в высшую справедливость окружающего мира не может быть целью, но и вера в Бога — тоже. Любовь может быть целью, вера — нет. Если вера в Бога становится целью и смыслом жизни, то тогда она поднимается над любовью, и возникает религиозный фанатизм, т.е. готовность убить того, у кого вера отличается в каких-то аспектах» (9, с. 67).

Тактика же рассматривается как явление диспозитивного уровня и заключается в выстраивании и обосновании иерархических взаимосвязей этических концептов. Как уже упоминалось, в этой иерархии высшей ценностью является Любовь к Богу. Это подтверждают авторы большинства серий книг. У А. Королевой есть «Пять наказов особой важности». В первом из них говорится: «Помните, дорогие мои читатели, крепко-накрепко запомните: самая большая подмога для вас — это Любовь и Доброта. Они, Любовь да Доброта, обладают самыми сильными магическими свойствами! И ежели нету в вашей жизни места Любви и Доброте, то грош цена для вас всем моим книгам, вот так вот... Любите людей, Бога любите, любите себя, любите Природу-мать, любите жизнь — все тогда будет у вас хорошо и все упражнения пойдут чин-чинарем! И имейте в виду, что каждый человек должен в жизни своей счастье обрести» (7, с. 2).

Душа в эзотерических учениях мыслится как часть Божественного, наполненная светом любви: «Несомненно, что Душа есть частичка Мира Бога и в ней содержится информация — память о Мирах Вселенной и о Боге» (8, с. 18). С этим высказыванием перекликаются строчки из стихотворения С.В. Белокопя:

— Что есть душа?  
— Начало Всех Начал,  
Кристалл Любви Вселенской,  
Частица Божья в вас!  
В душе дорога к Богу,  
В душе ищите Бога вы!

Возможность достижения счастья для человека А. Коро-

лева видит через обретение чувства любви, при этом она призывает человека добиваться своего счастья, действовать: «Делайте добро и дышите любовью!», «Надежда, как говорится, умирает последней. Даже у тех, кто пришел в этот мир с самым крошечным планом на счастье, может и должен этого счастья добиваться» (8, с. 22).

Сходная позиция о путях достижения Счастья и у С.В. Белокопя в стихотворении «Обращение к людям Земли»:

Любите, люди, Бога  
Всем сердцем и душой.  
Он вас послал на Землю с Неба,  
Отдав весь шар Земной.  
Не надо больше сомневаться,  
Чей образ в вас живет.  
Вы лучше в душу загляните  
И Счастье Мира к вам придет!

Через любовь к Богу происходит переосмысление места человека в мире и изменение этого мира, его Преображение. С.С. Коновалов пишет: «Несомненно, что главная задача Человека состоит в освоении и преобразении этого физического мира, наполненного любовью Создателя, в обретении и накоплении опыта пребывания в этом мире, максимальной реализации себя — своей уникальности и неповторимости, своих лучших качеств (заложенных изначально в программах, находящихся в Душе и Ангеле) для дальнейшего развития жизни Сотворенной Господом Физической Вселенной» (6, с. 30).

Таким образом, реализация в человеке любви к Божественному служит, по мнению авторов эзотерических текстов, залогом обретения тех чувств, качеств, состояний, которые имеют наивысшую ценность в иерархии этических концептов, представленных в эзотерическом дискурсе. Стратегия оперирования этическими концептами в русских популярных эзотерических текстах предстает как выбор в качестве основополагающего понятия в системе энергоинформационного учения концепта Любовь. А тактика как реализация стратегии предполагает выявление и презентацию соподчинительных связей этических концептов, объединенных концептом Любовь к Богу.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Белокопя С.В. Книга мира // Языковая деятельность и синкретизм: Сборник статей научно-методического семинара «TEXTUS». — М.-Ставрополь, 2001. — С. 476-507.
2. Верицагин Д.С. Становление: Система дальнейшего энергоинформационного развития, II ступень. — СПб., 2001.
3. Ворожбитова А.А. Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные аспекты: Монография. — Сочи, 2000.
4. Касенкова Т.Н. Речевые стратегии как модуляции перспективы языкового отображения мира. Автореф. ... канд. филол. наук. — Краснодар, 2000.
5. Ключев Е.В. Риторика (Инвенция, Диспозиция, Элокуция). — М., 1999.
6. Коновалов С.С. Книга, которая лечит. Исцеление души. — СПб., 2001.
7. Королева А. Как исполнить любое желание. — СПб., 2001.
8. Королева А. Как узнать и изменить будущее. — СПб., 2000.
9. Лазарев С.Н. Диагностика кармы. Любовь. — СПб., 2000.
10. Лазарев С.Н. Диагностика кармы. Чистая карма. — СПб., 2001.
11. Мегре В. Анастасия. — СПб., 2001.
12. Мегре В. Пространство любви. — СПб., 2000.
13. Михальская А.К. Русский Сократ: Лекции по сравнительно-исторической риторике. — М., 1996.
14. Факторович А.Л. Стилистическое оформление речевых стратегий (теоретико-лингвистические и теоретико-журналистские аспекты). Автореф. ... доктора филол. наук. — Краснодар, 2000.
15. Хазагерев Т.Г., Ширина Л.С. Общая риторика: Курс лекций; Словарь риторических приемов. — Ростов н/Д, 1999.
16. Яковлева Е.А. Краткий словарь основных понятий и терминов риторики. — Пермь, 1995.

## СЕМИОТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЕСТЕСТВЕННОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ

Н.Б. Лебедева  
Барнаул

Данная статья выполнена в русле работы Лаборатории русской речи (ЛРР) при кафедре общего и русского языкознания Барнаульского педагогического государственного университета. Объектом исследования ЛРР является естественная письменная речь (ЕПР) — письменный вариант «народной» речи, оказавшийся, как представляется, вне осознания его лингвистикой в качестве особого, специфического объекта, хотя ее отдельные разновидности подвергались исследованию под различными точками зрения (1). В настоящее время активно изучается естественная устная речь — русская разговорная речь, формируется даже новое лингвистическое направление — коллоквиалистика. Что же касается ЕПР, то она гораздо меньше привлекает внимание исследователей и остается малоизученной, и одной из причин такого положения является все еще бытующее среди лингвистов наивное представление о ЕПР как вторичной, отражательной по отношению к устной речи форме. Поэтому исследователи нередко привлекают тексты ЕПР (письма, объявления, граффити) в одном ряду с текстами устной речи, нивелируя принципиальные различия между ними. В свете же современных требований функционального подхода и уважения к коммуникантам выдвигается задача исследования не только устных текстов, но и текстов письменных: «все сказанное и написанное рядовыми носителями языка заслуживает внимания, уважения и беспристрастного учета со стороны лингвиста» (2). Мы ставим задачу осознания ЕПР как особого объекта, и для этого в первую очередь выделяем следующие его признаки: письменная форма, спонтанность и непрофессиональность исполнения (3).

Важнейшим аспектом исследования ЕПР, служащим своего рода отправной точкой, представляется жанроведческий аспект в духе М.М. Бахтина (4), поскольку он позволяет обозреть и определенным образом систематизировать открывшееся перед взором исследователей море разнородного материала, увидеть в нем свою естественную структурность, иерархизированность, в конечном счете — осмыслить его как набор специфических форм коммуникации, выработанных русской народной культурой. В настоящее время идет эмпирический сбор материала, который мы в данной статье представим в списочном порядке — объявления, открытка, письмо, записка, компьютерная переписка «чат»; телеконференции Фидонет; современные граффити (настенные, аудиторные, подъездные, лифтовые, сортирные, «наскальные»); рукописные журналы, открытки и альбомы (поздравительный, памятный, «дембельский»), разные виды «поздравлений» (коллаж, гравировка и надписи на подарочных вещах, на фотографиях и пр.), мемуары, дневник, автобиографические записки, рукописная родословная; автобиография, заявление, объяснительная; записки на доске, шпалгалка, разные виды конспектов, контрольные работы, сочинения, изложения, черновики; вахтовый журнал,

журналы дежурств, книги отзывов и предложений; записная книжка, перекидной календарь с записями, еженедельник; хозяйственные расходные записи, планы, тетради рецептов; «последняя обложка тетрадей», спонтанно-рефлекторные записи, детские «каракули» и многое другое, невыявленное, неописанное и — главное — не осмысленное как специфический объект лингвистики.

Стоит вопрос: что объединяет все разновидности естественной письменной речи в единый объект лингвистики? Можно ли выделить какой-нибудь инвариант, имеющий отношение к каждому виду из всего этого разнообразия текстов? По нашим представлениям, инвариантом является единая модель естественной письменной-речевой деятельности и ее результатов — текстов, основанная на коммуникативно-семиотических признаках. По отношению к такому инварианту жанры выступают его вариантами.

В основу коммуникативно-семиотической модели ЕПР положены два основных взаимодействующих признака: 1) коммуникативность всех элементов модели и 2) материальность, «вещественность» формальной стороны знака.

Характер коммуникативности ЕПР сближает ее с естественной звучащей речью. Но между ними имеется и существенное отличие, заключающееся в том, что коммуникация в ЕПР непрямо: между написанием сообщения и получением ее адресатом имеется временной «зазор» — больший или меньший. Это важнейшая коммуникативно значимая характеристика ЕПР: в этот «зазор» потенциально может «втиснуться» другой, «незапланированный» и «неотслеженный» коммуникант (в качестве соавтора, «со-адресата» или другого участника), и ход коммуникации может выйти из-под контроля, получить непредсказуемое развитие: записка, письмо, дневник, конспект и пр. могут быть прочитаны, в них может быть дописано или вычеркнуто что-нибудь, например, в процессе передачи от Автора к Адресату, то есть когда письменный текст окажется вне контроля со стороны основных коммуникантов. Результат всей коммуникации может оказаться неожиданным, он может смоделировать иной «возможный мир», чем тот, на который рассчитывает Автор. Но допустим и другой вариант — сам жанр ЕПР может предполагать включение других, определенных или неопределенных, участников коммуникации. Жанры граффити, «чат», «Фидонет», «коллективное поздравление» и т.д. как раз относятся к последнему типу. Поэтому в модель ЕПР мы включаем особый конституирующий элемент — «ход коммуникации».

Второй важнейшей специфической чертой, отличающей ЕПР от звучащей речи, является материальная, вещественная субстанция (субстрат) «носителя знака». Этот признак отличает ЕПР не только от естественной звучащей речи, но и от искусственной письменной речи. Художественные, газетно-публицистические, научные, официально-деловые, коммерческие (рекламные) тексты не имеют той почти ор-



ганической связи с материальным субстратом, на котором начертаны знаки, как в ЕПР. Открытка пишется на специализированных «бланках», на которых регламентировано и место расположения, и допустимый объем информации, и сама «открытость» текста (ср. мотивационное значение слова «открытка»), и социокультурно обусловленные тематика, стиль и структура (необходимые составляющие речевого жанра по Бахтину). Причем все это связано в неразрывное целое, так же как случайным, часто «отрывочным» характером бумаги для записки, размером парты или лифтовых стен обусловлен во многом содержательный и стилистический признак этих жанров. Этот материальный субстрат и все сопровождающие его компоненты к тому же могут также обусловить иное развитие хода коммуникации, чем то, на который рассчитывает Автор, но в то же время эти признаки могут и входить в расчет коммуникантов, поскольку жанровые черты известны им и могут учитываться.

Коммуникативно-семиотическая модель ЕПР имеет цель учесть максимальное число элементов ситуации, конституирующих ЕПР и являющихся факторами ЕПР — «фациенты»<sup>1</sup> в нашей терминологии. К фациентам относятся субстанциональные участники письменно-речевого акта (основные из которых — актанты) и несубстанциональные компоненты. Каждый из фациентов имеет свои параметры (функциональные признаки).

Модель ЕПР конституируют следующие фациенты. Субстанциональные фациенты — 1) Автор (Кто?); 2) Адресат (Кому?); 3) Знак — Диктумно-модусное содержание (Что?); 4) Орудие и Средство (Чем?); 5) Субстрат — Материальный носитель знака (На чем?); 6) Место расположения Знака — Носитель субстрата (В чем?, На чем?). Несубстанциональные фациенты — 1) Цель — Коммуникативно-целевой фациент (Зачем?); 2) Графико-пространственный параметр Знака (Как?); 3) Среда коммуникации (Где?), в которую, включаются потенциальные соавторы, читатели (реципиенты), опосредствующие передатчики и возможные «уничтожители» письменно-речевого произведения; 4) Коммуникативное время — временной интервал между созданием письменного знака и его восприятием (Когда?); 5) Фациент «Ход коммуникации»; 6) Фациент «Социальная оценка» (Итого — 12 параметров).

Остановимся подробнее на каждом из этих фациентов и приведем примеры их реализации с указанием жанра (в скобках).

**1. Автор — продуцент текста (кто?)** — является создателем письменно-речевого знака. Категория Автора имеет следующие параметры: 1) количество авторов (моноавторский текст, таких большинство; полиавторский: граффити, «чат», «коллективное поздравление»); 2) эксплицированность: продавец, покупатель, владелец котят, хозяин потерявшегося животного и др. (жанр — *объявление*); близкий человек адресата, склонный к письменной форме выражения мыслей и чувств (жанр — *письмо*); лицо, соблюдающее ритуалы, этикетные формулы поведения, признающее фатическую функцию языка (жанр — *поздравительная открыт-*

*ка*); готовящийся к демобилизации солдат (жанр — «дембельский» альбом) / неэксплицированность (автор анонимный, безразличный, «в маске»): молодой человек активного протестного настроения, участвующий на лекциях студент и др. (жанр — *граффити*), преподаватель, студент и школьник — лица, функционирующие в школьной или вузовской аудитории (жанр — *запись на доске*) и др. / частичная эксплицированность: дотошный дачник может написать владельческую запись в виде инициалов (жанр — *хозяйственная книга дачника*), подросток с психологическими проблемами (жанр — *личный дневник*) скрывается за кличкой — «маской»; номер студенческой группы, город, из которого приехал автор и год приезда и написания (жанр — *надпись на камнях курортного города, туристического маршрута и пр.*); 3) пол (гендерный аспект важен в таких жанрах ЕПР, как «альбом», дневник, открытка, «спонтанно-рефлекторные записки» и др.); 4) возраст и пр., 6) социологические характеристики (образование, профессия, место жительства) 7) психологические характеристики.

**2. Цель — Коммуникативно-целевой фациент (зачем?):** информационная, эмоциональная, экспрессивная (жанры — *объявление, письмо, личный дневник, «дембельский» альбом, хозяйственная книга дачника, записки на доске и пр.*), мнемоническая (жанры — *записная книжка, хозяйственные планы закупок, действий, расходов*); этикетная (жанры — *поздравительная открытка, рукописный альбом*), фатическая (*граффити, поздравительная открытка*) и др.

**3. Адресат (кому?):** не вполне тождественен понятию «читатель», так как Адресат — это «избранный» читатель<sup>2</sup>; в модели имеется еще и «потенциальный читатель», реципиент, который является элементом Среды. Так, объявление может прочитать любой проходящий мимо человек (Читатель), но адресовано оно «избранным» (Адресат). Категория Адресата имеет, кроме общих с Автором 1) социологического, 2) психологического, 3) гендерного, 4) возрастного, еще и такие параметры, как 5) «Я» и «Другой» («авто-адресат» — «альтер-адресат»), 6) эксплицированный (неопределенный — определенный, последний, в свою очередь, — «названный» — «неназванный»), 7) количественный: нулевой адресат (безадресное письмо), моноадресат, полиадресат, 8) взаимоотношения с Автором (параметры: статусный, «свой/чужой», «контролер — подконтрольный», эмоциональный и др).

**4. Знак, «письмо» (что?)** имеет две стороны — содержательную (ЧТО?), и формальную (КАК?). Содержательная сторона имеет свои параметры: а) диктумно-модусный, основной из которых — тема, б) структуру содержательной стороны: «монолог — диалог — полилог» и др. Диктумно-модусное содержание: информация о продаже и об объекте продажи, запрос о продаже чего-либо, информация о потере животного плюс запрос о помощи и т.д. (жанр — *объявление*), спонтанная, импульсивная маркировка лично значимого элемента эмоционального, ментального и т.д. состояния (жанр — *граффити*), информация о лично и семейно значимых вещах (жанр — *письмо*), инфор-

мация о событиях глубоко личной, чаще всего душевной, жизни (жанр — личный дневник), этикетные формулы поздравления и пожелания (жанр — поздравительная открытка), информация, касающаяся приближающегося окончания военной службы солдат (жанр — «дембельский» альбом), информация — интеллектуального или организационного характера — значимая для школьной или вузовской жизни (жанр — запись на доске).

**5. Пациент «Графико-пространственный параметр Знака» (как?):** в котором различаем параметры: а) код (алфавит: кириллица — латиница — смешанный; вербальный, паравербальный, пиктографический, смешанный); б) графическо-пространственный (вид: рукописный — печатный — компьютерный и др.); в) графологический (почерк, выбор типа букв и знаков); г) ортологический (нормативность, «правильность» внешней формы: каллиграфия, аккуратность, разборчивость, размер букв и т.д., правильность внутренней формы разных уровней: стиль, связность — разорванность, орфография и пунктуация и пр.).

**6. Орудие и Средство написания Знака (чем?):** орудие — ручка, средство — чернила; орудие — кисть, средство — масляная краска, гуашь; орудие и средство денотативно могут совпадать: карандаш, мелок, компьютер. Разделение их факультативно.

**7. Субстрат — Материальный носитель знака (на чем?):** бумага, стена, парта, забор, камень, ствол дерева и пр. Этот пациент, как предыдущий и последующий, является существенным отличительным признаком ЕПР от звучащей речи. Он определяет многие коммуникативные стороны как самого хода коммуникации, так и ее результата. Это, в частности, отразилось в таких прецедентных текстах, противопоставляющих письменную и звучащую речь, как «что написано пером, того не вырубишь топором», «рукописи не горят» и «слово не воробей: вылетит — не поймашь». Материальность субстрата приводит к двум следствиям: 1) долговечности написанного знака (это отражено в приведенных выражениях), 2) утрате автором контроля над существованием и функционированием написанного знака: приобретает свою вещественную субстанцию, знак начинает жить своей собственной жизнью, часто — непредсказуемой и неподвластной автору, в результате чего он а) может видоизменяться в разных направлениях (дополнительные соавторы, добавочные написания, зачеркивания, исправления, порча, уничтожение — как продуманные, так и случайные, как «рукотворные», так и «природные»), б) момент восприятия знака (в силу разных причин) может способствовать или препятствовать коммуникативной цели, в силу отделенности этого момента от Автора и момента продуцирования текста. Особого упоминания заслуживает выработанная нашей социокультурной такая форма субстрата объявлений, как настриженные номера телефонов, свисающие

**8. Место расположения Знака — Носитель субстрата («вместилище носителя») (В чем? На чем?):** — конверт, тетрадь, альбом, столб и т.д. Этот пациент также может участвовать в коммуникации самыми разными способами: так, в кон-

верте могут лежать дополнительные предметы — вербального и невербального толка (деньги, плоские сувениры, календари, приписки, фотографии), «вмешивающиеся» в вербально выраженную коммуникацию — «подправляющие», дополняющие и пр. вербальный знак. На самом конверте могут быть также приписки («лети с приветом, вернись с ответом»), «прочеркивания» места склеивания конверта, якобы для того, чтобы предотвратить возможность вскрытия (вмешательства в коммуникативный акт). Сам выбор конверта, марки и пр. также может нести дополнительную информацию и участвовать в коммуникации. Место расположения объявления также коммуникативно значимо — столб, официальная доска объявлений, учительская, входная дверь, фойе и т.д.

**9. Среда коммуникации (где?) — пространственная, природная, социальная среда,** в которой протекает ход коммуникации, потенциально может участвовать в ходе коммуникации (способствовать, препятствовать ей, вмешиваться и т.д.); в ней может содержаться потенциальный читатель, потенциальный соавтор, частичный или полный разрушитель знака и хода коммуникации — семья, лекционная аудитория, почта, город, природные силы, окружающие люди и пр.

**10. Коммуникативное время — временной отрезок между созданием текста и восприятием его (когда?):** немедленное чтение текста без сохранения текста (например, записка) — немедленное чтение с сохранением текста (5), краткосрочное, долгосрочное коммуникативное время.

**11. Пациент «Ход коммуникации»** может иметь следующие разновидности: непрерывный — прерывистый, с втягиванием других коммуникантов, с различными помехами и др.

**12. Пациент «Социальная оценка»** (аксиологический аспект) имеет такие нормативные параметры, как этическая, интеллектуальная, эмоциональная, эстетическая, культурологическая оценка: хорошо — плохо, прилично — неприлично, принято — не принято, красиво — некрасиво, «по-русски — не по-русски» и пр.

\*\*\*

Набор этих параметров конституирует обобщенную модель ЕПР, они все находятся во взаимосвязи, обуславливают друг друга, но при этом для разных жанров могут быть более значимы одни параметры и менее значимы другие. К тому же некоторые параметры могут «склеиваться» друг с другом, расщепление их не обязательно может быть значимым (например, Орудие — Средство, Субстрат — Носитель субстрата).

Предложенная коммуникативно-семиотическая модель письменно-речевой деятельности может быть использована для решения вопроса о жанровой специфике того или другого вида ЕПР (ср. аналогичную функцию модели речевого жанра Т.В. Шмелевой — 7). Каждый из названных пациентов и их параметров может лечь в основу анализа и классификации естественной письменно-речевой деятельности и результатов этой деятельности — текстов.

#### **ПРИМЕЧАНИЯ**

---

1. Этот термин перенесен нами из области когнитивной лингвистики, см. нашу работу (5), где он использован впервые.
  2. Ср. аналогичную дивергенцию реципиента на «Слушателя» и «Адресата» в (7).
- 

#### **БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК**

---

1. Лебедева Н.Б. Русская естественная письменная речь: проблемы и задачи лабораторного исследования // Актуальные проблемы русистики. — Томск, 2000. — С. 257-263.
2. Голев Н.Д. Конфликтность и толерантность как универсальные лингвистические категории // Лингвокультурологические проблемы толерантности: Тез. докл. Междунар. науч. конф. — Екатеринбург, 2001. — С. 40.
3. Лебедева Н.Б. Естественная письменная русская речь: проблемы изучения // Русский язык: исторические судьбы и современность: Международный конгресс исследователей русского языка: Труды и материалы. — М., 2001. — С. 260-261.
4. Бахтин М.М. Проблема речевых жанров // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. — М., 1979. — С. 250-296.
5. Лебедева Н.Б. Полиситуативность глагольной семантики. — Томск, 1999.

## МЕСТО ЯЗЫКОВОЙ КОММУНИКАЦИИ В СИСТЕМЕ ЗНАКОВОГО ОБЩЕНИЯ

З.И. Гурьева  
Краснодар

«Сегодня лингвисты возобновили, наконец, поиски гораздо более содержательной характеристики понятия «человеческий язык», причем несомненно, что в такой характеристике видное место будет занимать подробное описание семиотических механизмов языка» (1, с. 51).

Общеизвестно, что насекомые, птицы, животные располагают богатейшими звуковыми и кинетическими (двигательными) средствами обмена информацией. Однако взаимодействие между ними ученые называют биологически целесообразным совместным поведением, направленным на адаптацию к среде и регулируемым, в частности, сигнализацией.

Специфичность взаимодействия людей в процессе их жизнедеятельности состоит в использовании языка. Язык, являясь важнейшим средством человеческого общения, выступает также как орудие познания, как инструмент мышления. Благодаря этому коммуникация между людьми является основным механизмом становления человека как социальной личности, средством влияния общества на личность.

Главная цель коммуникации — обмен информацией различного рода. Очевидно, что общение и обмен информацией между людьми осуществляются не только с помощью языка. С древнейших времен в человеческом обществе использовались дополнительные средства общения и передачи информации, многие из которых существуют и до сих пор. Например, у коренного населения Африки используется язык свиста, сигналы барабанов, колокольчиков, гонга и т.п. «Язык цветов», распространенный на Востоке, также является средством передачи информации, которую в некоторых ситуациях не разрешается выражать словами (например, роза — символ любви, астра — печали, незабудка — памяти и т.д.). Дорожные знаки, сигналы светофора, сигнализация флагами и т.п. — все это средства передачи информации, дополняющие основное средство человеческого общения — язык. В последнее время к числу семиотических систем, функционирующих в социуме, относят также кино, телевидение, радио, музыку, живопись и т. д.

Естественный язык занимает особое место среди семиотических систем, по мнению Э. Бенвениста, в силу свойства «двойного означивания», присущего его знакам. Словесные знаки наделены двойной семантикой: первичной (конвенционально обусловленные культурно-исторические значения отдельных словесных знаков) и вторичной (значения, приобретаемые словесными знаками в разнообразных текстах). Таким образом, говоря словами Э. Бенвениста, «означивание присуще уже первичным элементам (естественного языка) в изолированном состоянии независимо от тех связей, в которые они могут вступать друг с другом». Это обстоятельство, выделяющее естественный язык среди других семиотических систем, позволяет ему служить «интерпретантом всех других семиотических систем» (2, с. 83-84).

Язык, как важнейшая знаковая система, отличается от всех остальных вспомогательных знаковых систем и рядом других признаков.

Во-первых, другие знаковые системы предназначены для передачи ограниченной информации; более того, в ряде случаев вспомогательные знаковые системы служат для передачи и перекодировки уже известной информации. Язык является *всеобъемлющим средством* не только передачи и хранения информации, но и рождения и оформления самой мысли, а также эмоционально-психических отношений и актов волеизъявления. «Здесь надо еще раз подчеркнуть, что языковой знак является первичным по отношению ко всяким возможным знаковым системам, построенным для тех или иных эвристических или прагматических целей. Все знаки, кроме языковых, поэтому являются конвенциональными и существуют только на основе заранее выработанной с помощью естественного языка программы и законов мышления» (4, с. 39).

Второе отличие языка от других знаковых систем состоит в том, что сфера специализированных знаковых систем узкая, ограниченная. Язык же является *универсальным средством общения*, он обслуживает человека и то или иное общество во всех сферах его деятельности. Гибкость и применимость на различных коммуникативных участках обеспечивает языку вариантность его форм и значений.

Наконец, третье отличие языка от вспомогательных и специализированных средств общения, передачи и хранения информации в том, что они являются актом разового соглашения, имеют придуманный, искусственный характер. Язык же создается постепенно и развивается в процессе функционирования.

Специфические свойства языка как знаковой системы создаются не только благодаря его особой роли в обществе, его непосредственной связи с мышлением, сознанием, эмоциями, эстетическими вкусами и деятельностью человека, но также вследствие того, что развитие языка, непрерывное, стихийное, не поддающееся контролю и планированию, загадочное и неравномерное, постоянно меняет в языке распределение семиотических связей. Новые функциональные отношения накладываются на старые, сосуществуют с ними или постепенно их изживают. Уже Соссюр вполне определенно отметил неотвратимое влияние фактора развития на семиотическую характеристику языка (7, с. 84).

Как всякий организм, язык, эволюционируя, остается функционально тождественным самому себе. В этом отношении его уместно противопоставить семиотике искусств. Смена выразительных средств в искусстве может происходить в иных случаях резко и решительно, так что члены общества перестают понимать его язык. Появление новых течений в живописи и поэзии нередко обрывает коммуникацию между художником и зрителем, поэтом и слушателем до тех пор, пока аудитория не научится соотносить знак с явлением. Еще и сейчас широкая публика не принимает язык Пикассо и

Леже, Врубеля и Сарьяна. Это, однако, вызывает лишь споры в выставочных залах, но не нарушает нормальной жизни общества, не ведет его к краху, подобному тому, который, согласно преданию, последовал за строительством вавилонской башни (З, с. 171). Резкое и внезапное изменение системы языковых знаков невозможно. Язык развивается исподволь, шаг за шагом, медленно и едва заметно для общества перестраивая свою структуру. Заменяя одни выразительные средства другими, он не перестает в то же время выполнять роль основного средства коммуникации. Как конкретно-историческое явление и порождение ряда эпох и поколений, язык сохраняет многие избыточные черты, противоречивые факты, асистемные и иносистемные образования; а его единицы тяготеют к идиоматизации, постепенному опрощению, в процессе которого возникает семантическая многоплановость языкового знака.

Постепенность развития языка при непрерывности исполнения им коммуникативной функции, более того, прочная связанность этих явлений (язык развивается только в процессе коммуникации), ведет к тому, что в каждом синхронном состоянии языка присутствует большое количество единиц и категорий, лишь частично изменивших свое качество, находящихся в процессе преобразования. Наличие переходных, промежуточных элементов резко отличает язык от искусственно созданных и других семиотических систем. Поэтому далее мы остановимся на изложении наиболее существенных различий между языком и другими системами знакового общения, поскольку считаем, что такое сравнение необходимо для более глубокого осмысления и раскрытия важных свойств языка как основного способа и средства коммуникации.

### Философские языки

Созданию философских языков предшествовал постулат рационалистической школы о том, что языки порождаются априорно заложенными в мозг идеями. Философы отмечали неадекватность слов соответствующим понятиям и пытались найти другой тип знака, могущий выразить идею ближе к ее содержанию таким образом, чтобы она была понятна любому человеку на земле. А. Лардж писал по этому поводу: «Самые первые попытки найти средство для интернационального, всем понятного выражения мысли сконцентрировались на поисках универсального знака еще прежде, чем на создании философского языка. Такой «подлинный знак» был призван передавать понятия (а не звуки с помощью символов) и лишь потом переводился бы на соответствующие язык.<sup>4</sup> Аналогиями знаков такого рода признавались ноты, цифры, китайские и египетские иероглифы. Все они напрямую выражали идеи и могли быть понятны говорящими на любом языке.

Первый, кто детально разрабатывал идею «подлинного» знака, был Фрэнсис Бэкон, выражавший недовольство тем, что существующий язык не передавал богатство и полноту реальной жизни, рисуя нам зачастую неверную картину мира. Интерес к передаче адекватной информации привел Бэкона

к мысли о возможности выражать понятия не буквами или словами (которые отражают вещи), а иного рода символами» (16, с. 11).

Следующий импульс в том же направлении был дан Декартом. Об идеях Декарта и их влиянии на современную ему лингвистику писал Бодмер: «Благодаря цифрам, придуманным индусами, каждый может назвать любое число на любом языке; и все числа можно усвоить меньше, чем за день. Подобно этому философам следует найти универсальные символы для обозначения вещей и понятий и расположить их в определенном порядке. Они-то и будут кирпичиками более логичного, экономичного и точного языка, который легко изучить и сделать основой повседневной коммуникации» (10, с. 444).

Очень скоро были предприняты первые попытки разработать «подлинный знак» и на его базе философский язык. Дальгарно строил свои знаки на словесной основе с чередованием согласных и гласных букв, каждая из которых имела внесистемное значение. Таких значений было много, но первые буквы делили все научное знание о мире на 17 разделов. Очень скоро такое деление оказывалось нарушенным, так как происходило переосмысление и пополнение знаний о мире.

Сразу же после выхода в свет книги Дальгарно (1661 г.) она именно потому и подверглась критике, что неправильно классифицировала научное знание. Выдающийся ученый того времени, епископ Джон Уилкинс, попытался исправить недостаток подхода Дальгарно, опираясь на гораздо больший объем сведений. Епископ Уилкинс был одним из основателей английского Королевского общества (своего рода Академии наук) и долгое время выполнял обязанности его президента. Он считал свой труд «*Essay on a Real Character*» («Очерк о подлинном знаке», 1668 г.) вершиной своих достижений (6, с. 203).

Все существующие знания Уилкинс разделил на сорок разделов. Таким образом он пытался классифицировать все научные факты по их взаимосвязям. Этим сорока разделам сопутствовал «алфавитный словарь», представлявший индекс к таблицам классификации. Уилкинс считал, что он может выполнить две важнейшие задачи. Во-первых, его разделы устанавливали «реальные» взаимоотношения вещей в природе, открывая подлинные связи между ними путем компановки их в группы: «Сравнение всех вещей по определенным параметрам, как это предложено в наших таблицах, позволяет проложить кратчайший и простейший путь к подлинному знанию о мире из всех когда-либо предлагавшихся». Во-вторых, его таблицы служили мнемоническим средством, дабы преодолеть недостатки прежде разработанных проектов о «подлинном знаке», требовавших для запоминания огромных усилий памяти. «Нами предлагается менее трех тысяч знаков, и их запоминание облегчается естественными связями между вещами. Поэтому их легче усвоить и запомнить, нежели тысячу несвязанных между собой слов» (16, с. 33).

Принципы построения новых слов-понятий были такими же, как у Дальгарно: чередование согласных и гласных букв, каждая из которых относит нас к то-

му или иному виду классификации в таблицах Уилкинса. Зато для письма предлагалось нечто абсолютно новое — тот самый «подлинный философский знак», который якобы напрямую отражал понятие. Каждый знак включал значимые компоненты, в совокупности сочетавшиеся в понятие. Причину неуспеха проекта (никто не переходил на новый язык) Уилкинс видел в недостаточно полных и понятных пояснениях к придуманным им значкам. Поэтому он продолжал совершенствовать пояснения к ним до дня смерти в 1672 г., и «ничто не беспокоило его больше, когда он умирал, чем то, что он не завершил своего труда» (9).

Друзья Уилкинса из Королевского общества пытались продолжить его труд, но, убедившись, что постоянное совершенствование уровня знаний требует постоянного изменения системы, прекратили свои попытки. Как остроумно заметил Ноулсон, кит, которого Уилкинс поместил в класс рыб, вскоре стал млекопитающим, а это повлекло за собой полную переделку классов в системе «подлинных знаков».

Лишь в конце XVII в. под влиянием Лейбница возобновились работы над философским знаком и философским языком. Лейбниц пытался решить проблему с помощью математических символов, но не пошел дальше общих набросков. Он оставил нам в наследство не только мысль о философском языке, но и мысль о возможности усовершенствования существующих грамматик при помощи универсальных категорий. Эта мысль (в отличие от идеи о философском языке) действительно нашла практическое применение в движении за создание новых искусственных языков.

Что касается идеи создания философского знака и философских языков, то она потерпела поражение не только потому, что требовала постоянного усовершенствования и переделки классификации существующих понятий, но также потому, что существовало фатальное заблуждение, будто слово может отражать понятие, совпадая с ним и передавая все его оттенки. Слово не совпадает по содержанию и по своей функции даже с тем понятием, которое оно передает в языке. Слово — знак языковой системы, призванное привнести в языковую систему кое-что от описываемого им предмета и кое-что от понятия, имеющегося в нашем мозгу по поводу этого предмета. Но, как мы постоянно подчеркивали, оно имеет и свое собственное значение, значение знака в системе, основного знака, на котором базируется действие всей системной пирамиды. Как указывалось выше, само понятие о реальных предметах или явлениях включает в себя и слово, и многое другое. Самое же существенное заключается в том, что понятие принадлежит к иному ряду, нежели слово. Понятие — единица нашего мышления, слово — единица языка. Основная функция первого — организация нашего мышления, функция слова — организация языковой коммуникации. Все попытки отождествить слово с понятием терпели фиаско. Однако, такие попытки продолжаются и в наши дни. Книга Ф. Либермана «Биология и эволюция языка» абсолютно современна как по подходам, так и по своему научному аппарату. Но в этой весьма инте-

ресной книге автор возвращается к идее тождества слов и понятий: «... момент, который я хотел бы здесь подчеркнуть и который обычно игнорируется в экспериментах и в комментариях к ним: слова человеческих языков не представляют вещи, они представляют понятия. И это одно из фундаментальных свойств слов» (17, с. 40). Либерман протестует против попыток связать слово только с обозначаемым им предметом и впадает в другую крайность, связывая слово только с понятием. Он противопоставляет одной крайности другую. Преодолеть указанные недостатки попытались представители движения за создание искусственных языков.

### Системы искусственных языков

Движение за создание искусственных языков датируется совсем недавним временем. Его пик приходится на конец XIX — начало XX вв. Оно было вызвано к жизни вовсе не лингвистическим устремлением к улучшению существующих языков, а чисто социологическими причинами: желанием создать простой и доступный язык для всего человечества, объединить на базе этого языка весь мир и разрушить, таким образом, национальные перегородки и межнациональную рознь и вражду.

Оглядываясь назад, на более чем вековую историю создания искусственных языков, можно сказать, что движение за создание искусственных языков осуществило лишь малую часть из того, к чему стремилось. Из более чем нескольких десятков предложенных языков выжил только один — эсперанто. Интересно, что с лингвистической точки зрения многие из неиспользуемых языков отнюдь не уступали эсперанто. Первым из предложенных языков, получившим широкую популярность, был волапюк. Его изобрел немецкий католический священник Иоганн Мартини Шлейер, знавший огромное количество языков и обуреваемый идеей братства народов. Волапюк был впервые обнародован в 1880 г. Девизом автора было: «Менаде бал пуки бал» (Для одного мира [бал = мир] один язык [пук = язык, речь]). Отсюда и название языка — «волапюк». Первоначальный успех превзошел все ожидания. В 1889 г., когда успех достиг своего апогея, насчитывалось около 200 000 приверженцев этого языка, в той или иной степени освоивших его и говоривших на нем. Более трехсот обществ любителей нового языка публиковали около двадцати журналов на волапюке в нескольких странах. Не менее ошеломляющим было и падение его популярности, вызванное главным образом расколом в среде приверженцев, многие из которых перешли под знамена новых искусственных языков, казавшихся более обоснованными с лингвистической точки зрения. Лингвистическая база волапюка была действительно очень слаба. Его лексикон ориентировался на английский словарь, используя также немецкие, французские, испанские и итальянские корни. Главным недостатком были предложенные суффиксы для морфо-синтаксических изменений. Их было так много, и они вносили такие кардинальные изменения в начальную структуру, что ее невозможно было уз-

нать в новом варианте слов. Шлейер ввел также умлаути к гласным буквам и был раскритикован за приверженность к немецкому. В период сильных антинемецких настроений в большинстве европейских стран такая критика оказывала свое воздействие. Очень скоро волапук был забыт.

Самой удачной попыткой создания искусственного языка в исторической перспективе оказался эсперанто. Гуманистические устремления его автора способствовали успеху, который поначалу был не таким бурным, как у волапука, зато он был неизменным и непреходящим. Первая публикация об эсперанто относится к 1887 г., когда Заменгоф выпустил в свет брошюру под названием «Linguo ĥinternatia de la Doctoro Esperanto» (Международный язык доктора Надежды). В 1987 г., когда отмечалось столетие создания эсперанто, в мире насчитывалось около 13 миллионов человек, которые говорили на нем, читали и писали. Движение эсперантистов постоянно расширяется: в большинстве стран мира (и не только в Европе) имеются курсы по обучению эсперанто, созданы учебники и наглядные пособия для этой цели, существуют постоянные публикации на языке, собираются регулярные национальные и международные конференции по проблемам эсперанто. Более того, многие выдающиеся произведения мировой литературы переведены на эсперанто, и на нем написаны также оригинальные литературные произведения. Словом, эсперанто функционирует так же, как любой естественный язык. Этот важный факт свидетельствует о том, что язык может быть создан человеком, что он может быть построен по первоначальному плану и отвечать всем требованиям обычной языковой знаковой системы.

В то же время, если расценивать движение искусственных языков в целом, то его главные цели оказались недостижимыми. Эсперанто вовсе не является наилучшим воплощением языковых принципов, которые могут быть положены в основу языка. По единодушному мнению специалистов, такие искусственные языки, как «интерлингва» и «идо» (в его создании принимал участие О. Есперсен), значительно превосходят эсперанто по своим лингвистическим достоинствам. Причины успеха (и неуспеха) эсперанто лежат в сфере социолингвистической. Искусственные языки создавались с чисто гуманитарной целью, их приверженцы — сторонники единого человечества — пока остаются в значительном меньшинстве. При изучении иностранных языков люди руководствуются чисто практическими соображениями. Они готовы потратить неизмеримо больше времени на изучение английского, французского или другого естественного языка, чтобы в результате иметь практическую пользу, а не только моральное удовлетворение. Наличие богатых оригинальных литератур и культур на национальных языках — тоже немалый довод в пользу изучения естественных, а не искусственных языков. Вполне возможно, что в будущем человечество придет к общему языку, но это скорее случится не на базе эсперанто, а на базе английского или другого национального языка.

## Языки жестов

Изучение национального языка, национальной религии, истории страны, ее обычаев и традиций, правил местного этикета, системы управления этой страной не гарантируют того, что представители другой культуры будут нами правильно поняты. Между тем средство, способное помочь нам в этой трудной задаче, существует — это еще один международный, достаточно понятный и общедоступный язык — язык жестов, мимики и телодвижений. Люди, говорящие на разных языках, часто пытаются объясниться друг с другом с помощью жестов, и, как правило, им это удается.

Лишь с середины 60-х гг. нашего века систематически появляются публикации, посвященные языкам жестов. За это короткое время сделано довольно много, но основная проблема — являются ли языки жестов языками в подлинном смысле этого слова, на уровне обычных разговорных языков? — отнюдь еще не решена до конца. Есть прямо противоположные точки зрения по этому вопросу так же, как и по примыкающим к нему другим кардинальным вопросам: аналогичны ли жесты словам? и есть ли в языках жестов грамматика? Вот как ставят эти вопросы И. Шлезингер и Л. Намир, составители сборника «Язык жестов для глухих», в предисловии к нему: «Знаковый язык жестов представляет собой систему жестовой коммуникации, которая уже существует в общине немых, либо, если ее не было раньше, придумывается ими заново. Она состоит из стабильных конвенциональных движений рук и поз; каждое из них соответствует определенному понятию. Все это напоминает пантомиму, но не сводится к ней. От языка жестов следует отличать «пальцевый алфавит», где положение пальцев соответствует буквам обычного письма; в этом случае передается письмо определенного языка, но только на пальцах. «Язык» жестов в основном независим от разговорного языка. Одной из характеристик знака является его иконичность (каждый жест чем-то напоминает изображаемый предмет). Хотя не всегда непосвященный может догадаться о значении знака, но при внимательном рассмотрении его иконичность можно уловить. Есть, однако, в этом языке и функциональные слова» (20, с. 1). В описании затронуто множество важных вопросов. Во-первых, авторы пишут о системе жестов как о языке и об отдельных жестах как о словах. В то же время они отмечают, что язык жестов почти несвязан с соответствующей ему устной формой, т. е. каждый развивается в своем русле и по своим внутренним законам.

Во-вторых, отмечают разные каналы коммуникации: для обычного языка это — голосовой и слуховой каналы, для языка жестов — ручной и зрительный. Это главная причина отличия двух языковых систем.

В-третьих, отмечается иконический характер жеста: он более иконичен, чем слово, и иначе иконичен (слово — по звуковому параметру, жест — по зрительному). У слова и у жеста есть также и общее свойство: оба они конвенциональны и не связаны

однозначно с изображаемым. В обеих системах есть знаки для функциональных слов, отражающие внутрисистемные связи. Обе языковые системы имеют своей основной целью обслуживать коммуникацию между их пользователями.

В том же предисловии авторы прямо затрагивают вопрос, является ли язык жестов языком: «Что языки жестов представляют интерес для общей теории языка, ясно хотя бы из их претензии называться языками... По этому поводу в книге высказываются различные точки зрения как отчетливо, так и имплицитно. Стокоу, например, категорически утверждает, что это языки; а Терворт ждет новых данных до принятия окончательного решения. Кристал и Крейт предпочитают предоставить языкам жестов статус языковой системы. Наименование в общем-то и не так важно, если оно не влечет за собой путаницы или не вызывает бурных возражений» (20, с. 4-5).

В нашей дискуссии название оказывается решающим фактором: если языки жестов принадлежат к категории языков, на них распространяются все или большинство закономерностей языковых систем, а также весь концептуальный аппарат языковых систем (слово, грамматика, морфология, флексии и т.д.) и приемы работы с этим аппаратом.

Авторы позднейших публикаций высказывались с большей степенью уверенности по затронутым проблемам. Так, Клима и Беллуджи в известной книге «Языки жестов» в специальной главе под названием «Что же такое жест? — Сравнение жестов и речи» писали: «Жесты должны занять больше времени чем слова; как же получается, что те же «высказывания», сделанные по-английски и при помощи жестов на АЖЯ (американский жестовый язык), занимают почти одно и то же время? Какие блоки информации включаются в индивидуальный жест и соответствующее слово? Оказалось, что в сообщениях об одном и том же событии совпадали как общий смысл, так и главные аргументы. Но при регистрации выяснилось, что использовалось разное количество речевых единиц: в изложении одного рассказчика было использовано 122 жеста, а другого — 210 слов. Перед нами встал вопрос, а то же ли сообщение передается?» (15, с. 188-189). Авторы делают следующие выводы: «Фактически записанные нами жесты не составляют полностью сообщения, переданного с их помощью. Тщательное наблюдение за формой каждого жеста позволяет заключить, что они получали дополнительный смысл» (там же, с. 190).

И еще: «Как же влияют на передаваемое сообщение различные языковые модальности? Слова возникают в артикуляционных органах — в полости рта и в горле; жесты «артикулируются» руками, двигающимися в пространстве... АЖЯ обладает специальными средствами для компактной передачи информации, и они, конечно, отличаются от средств, используемых в устной речи. К ним относятся:

- (1) структурированное использование жестового пространства,
- (2) модуляции жестов для подчеркивания значений,
- (3) одновременное с жестом использование мимики

для выражения грамматических отношений» (там же, с. 193-194).

Поэтому не только оба способа передачи сообщений (словесный и с помощью жестов) признаются адекватными, но оба они еще обозначаются языковыми со всеми вытекающими отсюда последствиями. Оба способа также названы языковыми модальностями. В обоих присутствуют базисные основные единицы сообщения и морфо-синтаксические средства для создания грамматически разнообразных высказываний. Кроме того, они оба позволяют вступать в коммуникацию по поводу происходящих событий и создают адекватный психологический фон для мышления. Даже не прибегая к специальным исследованиям, на основании жизненной практики, при которой происходит нормальная языковая коммуникация между говорящими и неговорящими (при помощи переводчика либо непосредственно), можно заключить, что оба способа коммуникации — языковые и в какой-то мере совместимы (6, с. 210).

Почему же, тем не менее, «язык» жестов не стал международным? Не только потому, что он не может полностью заменить словесное общение. Основная причина состоит в том, что жестовая коммуникация и невербальные языки в целом являются таким же национальным феноменом, как и вербальные языки. Овладение этим бессловесным языком, языком поведения и жестов, иначе говоря, невербальными средствами передачи информации или, как их еще называют, невербальными аспектами коммуникации, которые существуют в каждой стране мира и среди различных групп в каждой стране, представляется не менее важным, чем изучение иностранных языков.

#### «Язык» животных

Как пишет Роман Якобсон, «язык и другие средства человеческой коммуникации в их различных взаимодействиях — *mutatis mutantis* — имеют много поучительных аналогий с передачей информации у других видов живых существ» (8, с. 389-390). Общеизвестно, что насекомые, птицы, животные располагают богатейшими звуковыми и кинетическими (двигательными) средствами обмена информацией. Однако взаимодействие между ними ученые называют биологически целесообразным совместным поведением, направленным на адаптацию к среде и регулируемым, в частности, сигнализацией.

Сходные процессы в жизни языка и в коммуникации животных достойны тщательного исследования и сопоставления, полезного как для этологии, так и для лингвистики. В период между мировыми войнами возникло первое содружество ученых двух дисциплин, имевшее целью изучение двух аспектов эволюции: адаптации и конвергентной эволюции. Именно тогда внимание лингвистов было привлечено к биологическому понятию мимикрии, и одновременно биологи стали рассматривать разные типы мимикрии как способ коммуникации. Дивергентное развитие, противопоставляемое при распространении коммуникации конвергентной тенденции... привлекает все большее вни-



мание как лингвистов, так и биологов. Известные способы манифестации языкового нонконформизма, своеобразия или «узости», находят интересные этологические аналогии, и биологи исследуют и описывают то, что они называют «местными диалектами», по которым различаются животные одного вида, например, вороны или пчелы.

Р.О. Якобсон подчеркивает, что параллели между кодовыми системами, составляющими массив биологической информации, и человеческим языком открывают большие возможности переноса представлений и методов из лингвистики в биологию и обратно. Ссылаясь на работы Крика, Яновского, Дж. и М. Бидлов, Ф. Жакоба, он пишет, что указанные авторы-биологи отмечают в качестве важнейшего признака «генетического языка» его иерархическую структуру, подобную той, которая была открыта лингвистами в естественных языках. «Как лингвисты, так и биологи, — отмечает Якобсон, — относят иерархическую структуру языковых и генетических сообщений к фундаментальным научным принципам. Как указал Э. Бенвенист, языковая единица имеет лишь тот статус, который она получает в составе единицы высшего порядка. Переход от лексических единиц к синтаксическим группам разного ранга параллелен переходу от кодонов к «цистромам» и «оперонам»; два последних уровня генетических последовательностей биологи сравнивают с синтаксическими группами разной степени сложности, а ограничения на дистрибуцию кодонов внутри таких конструкций были названы «синтаксисом ДНК-цепи». В генетическом сообщении «слова» не отделены друг от друга; специальные сигналы в составе конструкций указывают на начало и конец оперона и на границы цистронов внутри оперона; эти сигналы метафорически именуется «знаками пунктуации», или «запятыми». Они действительно соответствуют делимитативным средствам, используемым для фонологического выделения в речи фраз, во фразе — простых предложений и словосочетаний» (там же, с. 393-394).

За последние десятилетия вопрос о «языке» животных привлек особенно острое внимание. Началом этой серии работ является работа Фриша о «языке» пчел (11). Позднее появились исследования, посвященные звуковой коммуникации у птиц, и работы о речевой коммуникации обезьян. Так, ряд работ американских психологов, которые были опубликованы в последние десять лет (12; 13; 18; 19), были посвящены анализу того, можно ли обучить обезьяну говорить, т.е. научить ее пользоваться языком. Библиография этих работ дана в книге Г.В. Хэвис (14).

Наиболее существенным в этой проблеме является вопрос о различии между языком животных и языком человека. Под языком человека обычно понимают сложную систему кодов, обозначающих предметы, признаки, действия или отношения, которые несут функцию кодирования, передачи информации и введения ее в различные системы (5, с. 29). Все эти признаки характерны только для языка человека. «Язык» животных, не имеющих этих признаков, — это квазиязык. Если язык человека обозначает

вещи или действия, свойства, отношения и передается таким образом объективную информацию, перерабатывая ее, то естественный «язык» животных не обозначает постоянной вещи, признака, свойства, отношения, а лишь *выражает состояние* или переживания *животного*. Поэтому он не передает объективную информацию, а лишь *насыщает* ее теми же переживаниями, которые наблюдаются у животного в то время, когда оно испускает звук.

У большинства животных существуют сигналы, с помощью которых они общаются. Птицы поднимают крик в случае опасности, и у них есть особые песни, с помощью которых они подзывают и распознают потенциальных партнеров, когда для этого приходит время. Пчелы в своих ульях исполняют особые танцы, благодаря которым, как выяснили этологи, они сообщают другим пчелам о направлении и расстоянии до источника нектара. У некоторых стадных обезьян существует более 20 сигналов с вполне определенным значением. Когда опасность грозит с воздуха, эти обезьяны издают одни крики, а когда с земли — другие. Каждый из этих сигналов имеет значение для выживания группы. Журавль переживает тревогу, эта тревога проявляется в его крике, а этот крик возбуждает целую стаю. Олень, реагирующий на опасность поднятием ушей, поворотом головы, напряжением мышц тела и бегом, криком, выражает этим свое состояние, а остальные животные «заражаются» этим состоянием, вовлекаясь в его переживание. Во всех этих случаях сигналы лишь запускают какие-то врожденные поведенческие реакции. Иными словами, они связаны с конкретной ситуацией, на которую животные из сообщества реагируют более или менее «механически». Такого рода сигналы есть и у человека; очевидными примерами служат крики боли или непроизвольные восклицания, предупреждающие об опасности. Следовательно, сигнал животных есть выражение аффективного состояния, вовлечение в него других животных и не больше.

Иную интерпретацию следует дать последним опытам с обучением искусственному «языку» обезьян. Есть все основания думать, что в этом случае мы имеем дело со сложными формами выработки искусственных условных реакций, которые напоминают человеческий язык лишь своими внешними чертами, не составляя естественной деятельности обезьян.

Таким образом, человек отличается от животных наличием языка как системы кодов, обозначающих предметы и их отношения, с помощью которых предметы вводятся в известные системы или категории. Эта система кодов ведет к формированию отвлеченного мышления, к формированию «категориального» сознания.

Язык человека первоначально был вплетен в практику и вне ее не мог функционировать. Это был симпрактический язык. В ходе развития человеческого общества язык человека превращается в семантическую систему — систему кодов, в значительной степени отделенную от практики и достаточную для передачи любой информации: как чувственной, так и рациональной. Человеческая речь отличается от средств общения других животных

тем, что она позволяет передать представление также и о том, чего в наличной ситуации нет. Поэтому с помощью речи можно рассказывать не только о текущих, но и о прошлых или будущих событиях, даже если они не имеют ничего общего с собственным опытом говорящего.

Но, как отмечает А.Р. Лурия, «мы мало знаем о праистории языка, общественно-историческом его происхождении и можем только догадываться о нем. Зато мы много знаем о происхождении слова в онтогенезе, о раннем развитии ребенка. Онтогенез (развитие ребенка) никогда не повторяет филоге-

нез (развитие рода), как это одно время было принято думать: общественно-историческое развитие языка, как и всех психических процессов, происходит в процессе труда, общественной деятельности; развитие же языка в онтогенезе у ребенка происходит вне труда, к которому он еще не готов, в процессе усвоения общечеловеческого опыта и общения со взрослыми. Однако онтогенетическое формирование языка — это тоже в определенной степени путь постепенной эмансипации от симпрактического контекста и выработки синсемантической системы кодов...» (5, с. 35).

#### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Вейнрейх У. Опыт семантической теории. Новое в зарубежной лингвистике. — М., 1981. — Вып. X.
2. Бенвенист Э. Общая лингвистика. — М., 1974.
3. Общее языкознание. — М., 1970.
4. Колшанский Г.В. Объективная картина мира в познании и языке. — М., 1980.
5. Лурия Р. Язык и сознание. — М., 1998.
6. Соломоник А. Семиотика и лингвистика. — М., 1995.
7. Соссюр Ф. Де. Труды по языкознанию. — М., 1977.
8. Якобсон Р. Избранные работы. — М., 1985.
9. Aubry J. Aubry's Brief Lives, ed. From the Original Manuscript by O. Dick. — L., 1960.
10. Bodmer F. The Loom of Language. — L., 1943.
11. Frisch K. Über die «Sprache» der Bienen. — Jena, 1967.
12. Gardner T.G., Gardner R.A. Two-way communication with an infant chimpanzee // A.M. Schrier and Stolnitz (ed.). Behavior of non-human Primates, v. 4. — N.Y., 1971.
13. Gardner P.A. and Gardner B.T. Teaching sign Language to a chimpanzee // Science. — 1969. — V. 165.
14. Hewes G.W. The origins of Language. — Mouton, 1975. — V. 1.
15. Klima E. & Bellugi U. Signs of Language. — Boston, 1979.
16. Large A. The Artificial Language Movement. — L., 1985.
17. Lieberman F. The Biology and Evolution of Language. — Mass.& L. 1984.
18. Premack D. Language in Chimpanzee ? // Science, 1971, v. 172.
19. Premack D. On the assesement of language competence in Chimpanzee // A.M. Schrier and Stolnitz (ed.). Behavior of non-human Primates. — N.Y., Academic Press, 1971. — V. 4.
20. Schlesinger I. & Namir O. Sign Language of the Deaf. Psychological, Linguistic and Sociolinguistic Perspectives. — L., 1978.

**СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ЗАСТОЛЬНОЙ БЕСЕДЫ И ЧАЕПИТИЯ  
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ**Е.В. Филиппова  
Ставрополь

(на примере рассказов 60-80-х годов XX века)

Беседа входит в состав ритуализованного действия застолья и отражает социальную функцию еды как средства общения и связи людей. Ритуал, «эстетизируя действие как бы обращает его в речь и эта речь в свою очередь приобретает знаковую природу» (1, с. 234) в письменном тексте (произведении художественной литературы). Язык и речь являются «путеводителями в социальной действительности» и «символическим руководством к пониманию культуры» (25, с. 17).

Ритуал принятия пищи состоит из ряда сменяющих друг друга действий: приглашение к столу, процесс еды, разговор, благодарность, прощание, которые, как правило, приводят к изменению жизни и сознания человека. Рассматриваемое ритуальное действие восходит к обычаю жертвоприношения. С его помощью первобытные люди выражали единение перед богами, а также «коллектив решал жизненно важные задачи по сохранению, воспроизводству и контролю своих основных ценностей» (2, с. 109). В современном мире социальные функции единения, терпимости, доброты по отношению друг к другу остаются доминирующими во время застолья. Многие из перечисленных ритуальных действий со временем приобрели статус нормы и стали частью общественного этикета, о котором знает каждый член социума.

Застольная беседа (ЗБ) реализуется в художественных произведениях, в этом случае она «входит в реальную действительность только через художественный текст и становится событием литературно-художественной жизни» (3, с. 58). Для описания ЗБ будем использовать принципы и методы когнитивной лингвистики, с помощью которых ситуация приобретает более схематичный вид. Одним из них является «ситуативный принцип» (17), раскрывающий общность некоей реальной ситуации, в составе которой активизируются некоторые ментальные структуры — «скрипты», «позволяющие понимать не только реальную или описываемую ситуацию, но и детальный план поведения» (7, с. 90). Скрипт состоит из действующих лиц и сюжета. Каждый скрипт связан с серией других скриптов и имеет в своем составе сцены: основные и периферийные. ЗБ может быть представлена как скрипт, состоящий из ряда сцен: 1) еда, 2) разговор, 3) танцы, 4) песни, 5) тосты. Причем еда и разговор здесь получают весьма условное разделение, так как не могут существовать отдельно друг от друга, они стимулируют друг друга: во время употребления вкусных и хорошо оформленных блюд человек меняется, становится более открытым для общества, более общительным, легче и проще выражает свои мысли.

Воспроизведение элементов быта (еды) и влияние его на человека, на его жизнь в обществе становится центральной проблемой искусства 70-80-х годов, для которого «всякая материя жива, родственна человеческими переживаниями и устремления-

ми», то есть авторы стремились найти внутреннюю, сокровенную сущность между неживыми предметами и природой человека, провести параллель между героем и едой, им употребляемой. Частично эту функцию выполняют «индексы социального статуса» (11 с. 27), направленные на выявление социальных различий персонажей. Понятие социального статуса было введено известным немецким социологом Максом Вебером. Изучая принципы устройства общества, он пришел к выводу о том, что существуют более мелкие объединения людей по сравнению с классом. Так, он выделяет социальный статус, который определяется как «общественное признание в виде позитивных или негативных привилегий, основанное на стиле жизни» (11, с. 9). Стиль жизни включает типичные способы времяпрепровождения, общения, выбора еды, одежды. Выражение социального статуса в ХП является осознанным и представляет собой стилизацию способов выражения, свойственных представителям той или иной статусной группы. В качестве способов используются соответствующие языковые средства, или индексы социального статуса, описывающую мимику, жесты, речь персонажей за столом, качество еды и манеру кушать. В текстах индексы стиля жизни являются дополнительным фактором ситуации, они приобретают знаковую функцию и могут влиять на формирование языковой личности героя, на тематику беседы.

Нужно сказать и о том, что индексы стиля жизни репрезентируются не во всех текстах, некоторые из них отличает глубоко личная авторская интонация, причем смысл репрезентируемых концептов еды получает прямой и переносный смысл. С помощью еды в художественном тексте концептуализируется сущность человеческого характера посредством использования образных средств языка — метафоры, метонимии.

«Разговор, как и всякое поведение, детерминирован, но закономерности его скрыты от разговаривающих. Им кажется, что они совершают акт, почти независимый от сопротивления объективного мира, тяготеющего над каждым поступком. За чашкой кофе или бокалом вина берутся неприступные рубежи, достигаются цели, которые в мире поступков стоят долгих лет, неудач и усилий. В разговоре человек утверждает свои ценности, объективируя их в слове, тем самым он самоутверждается» (7, с. 239). В художественной литературе все разговоры, каждая реплика осознаны, они выступают всегда в пределах, ограниченных требованиями художественной структуры, закономерностями ее восприятия и ограничены авторскими задачами и манерой письма.

Сцена разговора в тексте имеет следующие составляющие — слоты: 1) рамки взаимодействия (термин И. Гофмана), 2) ситуативные типы: а) участники, б) тональность, в) тема; 3) форма сообщения. Их запол-

ненность обуславливается структурой предыдущих ситуаций, общим авторским замыслом.

Каждая ЗБ, входящая в состав текста, имеет свои рамки, обозначенные автором. В структуре текста она представляет собой фрагмент или структурно-семантический блок различной протяженности, органично входящий в ткань текста. Она подчиняется авторской целеустановке, поэтому может вербализовать любой фрагмент застолья.

Участниками бесед становятся любые персонажи, которые стараются объективировать в слове наиболее важные, актуальные для него состояния и возникающие в жизни сложные ситуации. Социальный статус участников может быть различным, поэтому отличается степень вовлеченности героев в разговор, виды, типы тем и полнота их раскрытия. В рамках отношений, складывающихся между героями, возможно выделение двух типов бесед: ролевые и межличностные. Участниками ролевых бесед являются герои, между которыми есть определенная дистанция, а межличностных — между которыми эта дистанция отсутствует. В связи с характером отношений, сложившихся между героями, можно выделить два типа ЗБ: ролевые и межличностные застольные беседы, каждая из которых включает ряд повторяющихся изотопий.

Центральное место в ЗБ как составляющей рассказа занимает тема, которая «раскрывает определенный аспект основного предмета описания, содержащегося в замысле, представляет собой понятий и эксплицированный замысел автора, реализованный в словах и декодированный на основе смысла. Это означает, что текстовые и языковые элементы образуют целостную структуру содержания, с помощью которого становится ясной роль и функция каждого элемента текста, в том числе и лексического» (18, с. 52).

Для описания ЗБ будем использовать семный анализ, который позволит выявить основные компоненты, формирующие образ человека 60-80-х годов и образ эпохи. Ситуативный тип представлен определенной тематической областью, то есть включает слова, сочетания, высказывания, раскрывающие заданную тему. Находясь в постоянном взаимодействии, в высказываниях появляются ингерентные (денотативные) и афферентные признаки. Ингерентные — это собственно денотативные признаки, которые находятся в ведении функциональной системы языка и «выражают отношения между семемами внутри той же таксемы» (21, с. 50). Ингерентная сема актуализируется всегда, в то время как афферентная (от греч «привнесенная») актуализируется по предписанию контекста и является социально нормированной семой. Она появляется в то время, когда в тексте репрезентируются какие-то социальные изменения. Например, 'простой' в определении лексемы *посуда*, т. е. характерный для средних, простых слоев населения. «Посуда у нас простая. Какая душа, такая и посуда». В обычном идеальном понимании компетенции сема 'простой' не учитывается, потому что принимается за ассоциативное, символическое значение, которое ограничивается идентификаци-

ей референта, но попадая в контекст она получает свою экспликацию. И афферентная и ингерентная виды сем находятся в постоянном взаимодействии, что приводит к наиболее полному раскрытию образов и эпохи, помогает показать влияние обычной пищи на характер человека.

Итак, при рассмотрении более подробно каждого типа бесед будут выделены участники бесед, тональность и общая эмоциональная атмосфера, царящая за столом, темы бесед при одновременном воспроизведении употребляемых героями блюд. При сопоставлении гастрономического и словесного искусства выявляются существенные черты эпохи.

**Межличностное общение** Участниками таких бесед становятся родственники, друзья, бывшие боевые товарищи. Могут встречаться люди разного социального статуса очень хорошо знакомые друг с другом. Они как бы формируют особое сообщество во главе с хозяином дома или без него. В этом случае образуется гармоничная беседа за обеденным столом. Основополагающими принципами ее является сплоченность, мир и покой, не позволяющие совершать агрессивные поступки. Все это находит отражение в стереотипных действиях, жестах, эксплицирующих семы 'единение', 'союз', 'дружба': «*вместе ходили и вместе и есть будете*», «*достал стакан и этот стакан пошел по кругу*», «*кто пьет один, тот чокается с дьяволом*», «*мы испытываем обновленную радость узнавания друг друга, мы чувствуем: мы люди, мы вместе*».

Особенности кулинарного мастерства, обычаи, связанные с употреблением пищи — это то, что перешло из дореволюционной России, и новой власти не удалось их существенным образом изменить, так как, по словам Н. Костомарова, «русская кухня основывалась на обычае, а не на искусстве» (15, с. 98). Поэтому для советской эпохи не было характерно разнообразие, но несмотря на это, когда в доме появлялся гость, его всегда старались накормить самыми лучшими блюдами, причем акцент делался не на разнообразии, а на количестве съедаемых блюд.

«*Стол на Заставе ломился, как всегда, от яств одних и тех же: дрожал в разнокалиберных тарелках студень... А винегрет! На пиршественном нашем столе вечно сияла миска с таким сияющим винегретом, что хоть выставляй его в оружейной палате... еще непременно истекала на матовом столе голова кочанной капусты, рыночной, с нашего Рогожинского рынка... Была и рубленая капуста цвета спелого антоновского яблока*» (М. Рощин. Золото на заставе). «*Зеленый лук. Копченая колбаса кружочками. Малость примятые помидоры. Картофельное пюре. Жареные цыплята*» (А. Холендро. Хлеб). «*Ужин был истинно свадебный: свинина и телятина, рябчики, жаренные в бруснике, водка, настоящая на облепихе*», «*Столы ломились от всякой еды, от печева, от морошки — я в жизни не видал такой отборной, такой зрелой ягоды да еще в таком количестве: тут она была полными тарелками, большими как тазы, эмалированными мисками*» (Ю. Нагибин. Эх, дороги). Синтаксические особенности высказываний позволяют сделать акцент, задержать внимание читателя на описании разнообразных кушаний, показать щед-

рость, доброжелательность и трудолюбие человека. Частное, единичное, случайное, запечатленное авторами в текстах «развеществляется», теряет свою функциональную принадлежность и приобретает эмоциональную наполненность, заставляет читателя воспринимать мир не рационально, а с помощью чувств, заставляет переживать за все происходящее в произведениях.

На столе кроме самых разнообразных яств, всегда присутствовали спиртные напитки, в частности — водка, которая давно считается национальным напитком. Об этом свидетельствует самая разветвленная парадигма в отличие от других языков. Выделяются следующие виды: *русская, московская, польская, столичная, пшеничная* и эмоционально окрашенные стилистические синонимы: *стопка, стаканчик, стакашек, граненый, на дорожку, с дорожки, пососок, хмель, влага-отрава*. «Русский народ издавна славился любовью к попойкам. Еще Владимир сказал многозначительное выражение: «Руси веселие пити: не можем без того быти!». Русские придавали пьянству какое-то героическое значение» (15, с. 99). Манера распивания спиртных напитков также фиксируется в языке с помощью сочетаний, но только не свободных, а устойчивых, которые люди уже бессознательно воспроизводили в своей речи: *пропустили по рюмочке, врезать, выпить одним махом, раздавить бутылку, залпом осушить стакан* и т.д. Устойчивость выражений свидетельствует о частой воспроизводимости и о том, что русские люди никогда не были равнодушны к спиртному. Причем оценка этой ситуации никогда не была однозначной: одни воспринимали выпивку как проявление широты и размаха русской души:

*«Вся беда наша в том, что мужик наш середки в жизни не знает... И вот я какой вывод для себя сделал: немца, его как с малолетства на середку нацелили, так он и живет всю жизнь \_ посередке. Ни он тебе не напьется, хотя выпьет и песню даже затынут. Но до края он никогда не дойдет. Нет. И работать по-нашенски — чертомелить — он тоже не будет»* (В. Шукшин. Наказ);

другие — как проявление негативных сторон личности, слабости характера. Второй аспект чаще всего находит отражение в произведениях писателей во второй половине XX века, в которых авторы предупреждали о назревающей общественной проблеме.

Разнообразие кушаний сочетается со словесным мастерством хозяев, это находит свое отражение в национально-культурных особенностях русского менталитета. Основополагающим концептом отечественной культуры испокон веков было гостеприимство, которое всегда связывало хорошую еду и доброе слово:

*«Э, милый, побывал бы ты у нас раньше — ты бы, действительно понял, что такое сибирское гостеприимство, узнал бы, каким сладким может быть каждый кусок, когда его напутствуют ласковым уместным словом! Натрескаться, как Бурьга, можно в любой столовке, а настоящее застолье — тонкое искусство, которым мало кто владеет. Была у нас одна, что владела и заставляла всех плясать под свою веселую дудочку. Люди брюхо набивали, а за плеча-*

*ми у них крылышки отрастали, каждый вставал из-за стола обласканный, уважаемый, подобревший и даже тяжести от наших сытных блюд не чувствовал. И все были как с одного корабля»* (Ю. Нагибин. Чужая).

«Доброе слово — весьма емкое понятие, т.к. под ним понимается в данной ситуации «завуалированное» речевое воздействие хозяина на приглашенного. Решающее значение в этом случае придается автоматизму общения, его бытовым шаблонам, способности речевой акции вызывать определенную эмоциональную реакцию. Внимание хозяина к гостям проявляется трижды: после прихода, во время еды и перед уходом, то есть каждое из действий гостя получает речевую экспликацию хозяина, — создается эффект постоянного участия хозяина в празднике. Приглашение к столу маркируется следующими предикатами со значением доброжелательности: *прошу, пожалуйста, милости просим*, либо выражается устойчивыми сочетаниями: *«чем богаты, тем и рады»* (Е. Носов. За долами, за лесами). Более разнообразные конструкции используются хозяевами за столом, так как в этом случае расширяются цели: накормить, суметь представить блюдо, постараться, чтобы все было съедено, и чтобы гость не ушел домой голодным, позаботиться о здоровье гостя, создать эмоциональную атмосферу доброты, радости. В обращениях хозяев делается акцент на поведении гостя:

*«Мой ни черта не ест, так хоть вы, Митя, ешьте, я люблю, когда мужчины хорошо едят, я прямо влюбляюсь в них при этом»* (В. Мазаев. Танюшка), *«Ты что заскучал? — обратился хозяин к одному из гостей. Тарелки чистоту любяют. Может остыли, так мы тебе горяченьких добавим»* или на их здоровье: *«Кушайте, сыночки, кушайте, роденькие. — Суп-то нынче добрый... Поправляйтесь на здоровье, уж теперь недолго осталось (пришло сообщение о конце войны)»* (Е. Носов. Красное вино победы). *«Яичницу кушай. Она с салом, от нее силы больше»* (А. Борщаговский. Ночью), или на количестве еды, в этом случае используются разного рода уподобления: *«Пей, Офонасьевич, вода дырочку найдет»*, *«пей до дна, чтобы муха ног не замочила»* (В. Белов. Прежние годы).

Воспроизведение речевых особенностей персонажа позволяет говорить о типичных чертах характера русского человека, прежде всего отзывчивости — «в его душе всегда жила скорбь за всех, печалование о судьбе всего мира» (С. Булгаков). Доброжелательность, гостеприимство, отзывчивость передавались из поколения в поколение и никогда не находились в зависимости от политических и социальных революций.

Лексическая презентация образа в тексте не ограничивается непосредственной речевой экспликацией персонажей, но и предполагает внимание к другим речевым формам, составляющим его окружение, которые можно обозначить как «парасловесные средства коммуникации» (12, с. 25) — мимика, жесты и др. средства. Р. Погодин пишет в рассказе «Черника»: «Человека можно разглядеть по тому, как он ест». Некоторые соответствия между едой и характером человека находим в пословицах: «Скорый едок — спорый работник», «Каков у хлеба, таков и у дела», «Кто ест скоро, тот и работает скоро».

Семный анализ глагольных форм, выступающих стилистическими синонимами к слову *есть* и сочетаний со словами, отражающими жестовые характеристики позволяет выделить доминирующий смысл 'получать удовольствие от употребления вкусной пищи' в выражениях:

«За обе щеки уплетаем овсяную кашу» (К. Балков. По правде), «поела грибы, причмокивая высосала рассол» (Ф. Кнорре. Кораблевская тетка); «Дедушка с жадным удовольствием мнет в пальцах мамалыгу, сочно кусает зеленый лук, яростно рвет все еще крепкими зубами упругие куски вяленого мяса» (Ф. Искандер. Праздник. Ожидание праздника); «Облюбовал помидор, ухватил его и смачно втянул в рот прохладную ароматную влагу» (В. Кравченко. Без видимых причин); — *Как же надо их (арбузы) есть?/ — Чтобы полные уши косточек набивалось!*» (В. Тельпугов. Вкус арбуза).

Высказывания получают также имплицитный смысл, связанный с преобладанием какого-то признака, в данном случае с употреблением еды в больших количествах, сверх меры. Это отражается в национальном характере, в частности, в присущей русскому человеку доброте по отношению к ближнему: «русские не привыкли делать доброе дело в меру. Если они что делают, то делают во всю ширь» (13 с. 15). «Свою щедрость русские проявляют «не скрепя сердце», а радушно, идут в сотоварищи из-за сочувствия и сострадания, добры и милосердны не только на словах, но и на деле. Самопожертвование и бескорыстие русских резко бросается в глаза всем встречающимся с ними — и это бескорыстие проявляется как в материальном, так и в духовном отношениях» (13, с. 22).

За столом в художественном тексте часто оказываются дети, т.к. именно во время принятия пищи начинается первичная социализация маленького человека, когда он знакомится с миром, приобщается к его правилам и нормам. Но в тексте получают отражение как раз те, неотшлифованные жизнью стороны характера ребенка: свобода, раскованность в действиях, независимость, которые придают живость и динамичность структуре повествования.

«Ленька, чавкая, уплетал свой пирог, пальцы его покраснели от ягодного сока», «тот уже утонул лицом в тарелке» (И. Лавров. Вишневый пирог), «Оба с Витюшкой так и зацокуют вилками, или — еще любят — между двумя ломтями белого хлеба котлету положить, пальцами сжать, чтобы сок побежал, и так откусывать, хлебом бороду утирать — бутербродкотлетер — Витюшка шутит» (М. Рошин. Тренер).

**Тональность.** Для межличностного общения характерно поддержание контакта и отношений социального самоутверждения личности ради удовольствия от общения. В ходе общения «собеседники поддерживают друг друга в курсе своих дел и настроений, ставят в известность о событиях, меняющих курс жизни, делятся впечатлениями, переживаниями и планами, передают свои мнения, советуются, спорят о вкусах, обнаруживают свои склонности, забавляют и развлекают друг друга, откликаются на текущие события, сочувствуют» (1, с. 81). То есть в таких беседах ощущается установка на взаимопонимание и взаимопомощь. Беседы отличаются повышенной эмоциональностью, так как участники

стараятся воспринимать все через чувства. Это проявляется в наличии глаголов с семей: 'радость' «всплеснула руками, охнула, говорила, обрадованная встречей», «понял и одобрил»,

Застольная беседа относится, по мнению Винокур, к фактической речи, и «фактор темы в этом случае независим, так как любая тема может опосредованно выразить взаимодействие собеседников» (5, с. 79). Содержательно-тематический блок таких бесед отличается многоплановостью. Темы обычно отражают значимые для обоих коммуникантов события. Это беседы о здоровье, об употребляемой пище, о знакомых и другие. Ограничения затрагивают темы о смерти, и воспоминания о неприятных моментах жизни.

Основной темой является воспоминания о давно ушедшем, что выполняет определенные задачи в тексте — служит материалом для показа изменений, произошедших в герое и в их отношении к человеку и к еде, как основному источнику жизни. Еще А.П. Чехов в рассказе «Степь» писал: «Русский человек любит вспоминать, но не любит жить». 60-80-е годы — это особое время, когда художники выходят на диалог со временем, стремясь постичь связи и закономерности между эпохой и индивидуальным человеческим характером. Прошлое становится социально-исторической категорией. Это не просто минувшее, а то, что на правах живого входит в сегодняшний и завтрашний день. Вспоминая эпизоды из своей жизни, герои часто поют песни того времени, сочиненные ими самими или переложенные на стихи известных поэтов: «Лишь тихо ведется беседа, и, яростно сжав кулаки, о тех, кто их продал и предал всю ночь говорят моряки» (В. Белов. За тремя волоками). Надо сказать, что в текстах получают свое оформление только песни, вызывающие тоску, грусть, воспоминание. Это песни о войне, о неволе, о несчастной любви: «ее слова глубинной своей тоской бороздили душу, мелодия была проста и сдержанно-безысходна» (В. Белов. За тремя волоками). Т.А. Булыгина, Д.Н. Шмелев, Ю.С. Степанов считают тоску, волю, судьбу, добро, правду «ключевыми словами русской культуры, которые выражают ее ценностные доминанты и особенности менталитета» (9, с. 45).

Тема героического подвига народа во время Великой Отечественной войны и цены каждого кусочка хлеба, от которого зависела жизнь, рассматривается на примере индивидуальной личности. Писатели стараются возвысить будничное, найти в нем высший философский смысл. Простой хлеб становится источником жизни, что проявляется в синтагматическом ряду: *живой хлеб, хлебный дух*. Поэтому и отношение к нему было особое: «хлебушек люди считают не от бедности или скупости — уважение к нему имеют». Воспоминания являются источником появления афферентных сем у лексем пищи в произведениях. В рассказе Шкаева «Ломтик хлеба» маленькие кусочки хлеба становятся для главного героя злосчастными — *злосчастный ломтик хлеба*. Это определение вбирает в себя контекстуальные семы 'несчастье', 'бесчестье', 'позор', 'смущение'. Главный герой съел лишний кусочек в столовой во

время войны вместо того, чтобы разделить его с товарищами, и через двадцать лет после войны этот поступок не давал ему покоя до тех пор, пока он не рассказал обо всем товарищу. Обычный хлеб во время войны был не только тем продуктом, от которого зависела жизнь людей, но и становится мерилем нравственных устоев личности, то есть через ситуацию с едой репрезентируются основные качества личности, которые, по мнению автора, никогда не поздно изменить.

Тема трудового подвига народа раскрывается в рассказах об одном человеке не только в войну, но и в мирные годы на различных стройках. Герои рассказов не борцы за прекрасное будущее, а обычные трудолюбивые люди, которые своими делами творят добро, отдают свою душу людям. В этом случае преобладают личностные качества человека и семьи 'уважение', 'почет':

*«... старшие, кто жив Родиона за хлеб в деревне почитали. Не пек он сеял удачно, урожай чуял»* (Н. Родичев «Теплый хлеб»), 'любовь': *«Афанасия Петровича люди любовно называли «нонвай», что значит пекарь, ну, как бы лучше сказать, с большой буквы, а в особых, официальных случаях «нонустрой» — мастер хлеба»* (Д. Холендро. Хлеб.).

Тема будущего страны представлена синтагматическим чередованием родовых изотопий: 'профессия', 'культура', 'образование', 'детство' и видовых 'космонавт', 'геолог', 'исследователь морских глубин', 'летчик'. Профессии по освоению неисследованных пространств были самыми распространенными в те времена. Считалось, что люди, владеющие этими специальностями, позволят нашей стране прийти к коммунизму. Взаимодействие изотопий 'образование' и 'профессия' приводит к актуализации признака 'наличие высокого культурного уровня' отдельного человека и всего общества. Возникновение такого признака обусловлено существованием топоса 'в социалистическом государстве должна воспитываться всесторонне развитая личность'. В этом случае большая роль отводилась наставникам, учителям, которые должны обучать и воспитывать молодежь:

*«Нужно, чтобы нашелся умный и добрый человек, взял бы всех нас, бедолаг, за руку и растолковал бы, что такое извечная борьба народов, что такое родина, культура, семья, женщина, научил бы терпению»* (В. Шарыпов. Грибы в сметане).

Загрязнение окружающей среды становится следующей темой бесед. Катастрофическое положение на озере Байкал, последствия осушения вод, поворота рек — все это находит отражение в беседах и сильно задевают души героев. Поэтому появляется в их речах тревога за окружающее. В их высказываниях можно выделить семы 'опасность', 'несчастье':

*«Возьми чеснок, никудашный пошел. Мелкий да уродливый какой-то. Прошлым летом копаю, а у одной головки кукишем зубья-то! прямо кукиш вылитый! не иначе как с землей неладное что-то делается»* Вследствие этого возникают эсхатологические мотивы: *«Намедни Григорию моему сон приснился. будто среди лета в одну ночь повсюду вода замерзла: и в реках, и в озерах, и в морях — до самого дна. И нигде не осталось ни единой капли, окромя святых источников»* (Е. Носов. Шуруп).

**Ролевые беседы** учитывают ролевое поведение человека, занимающего определенную социальную позицию в обществе. Можно говорить о ролях, возникающих в быту (родитель, ребенок, пассажир, покупатель) и в профессиональной деятельности (руководитель, рабочий, офицер, профессор). Любой исполнитель роли наделен определенной степенью свободы действий и ведет себя в соответствии с ней. В обществе 60-80-х годов особое значение имела иерархия профессиональных ролей: начальник / подчиненный, руководитель / рабочий. При маркировке номинаций, обозначающих руководителей использовались сокращения: завмаг (заведующий магазином), завгар (заведующий гаражным кооперативом) или актуализировалось переносное значение места работы — начальник куста (куст — групповое объединение предприятий).

Социальные различия в обществе порождают соответствующие определенному статусу «индексы стиля жизни» в области еды. Многие лексемы, обозначающие наименования блюд, служили средством формирования социально значимого смысла, т.е. определенный концепт имени закреплялся за соответствующим социальным уровнем. Причиной этого были экономические и социальные условия жизни общества.

В 70-80-е годы существовал дефицит на многие продукты питания для средних слоев населения — большей части интеллигенции и рабочего класса. Но эти же продукты были доступны людям более высокого социального статуса. В связи с этим лексемы, обозначающие названия еды, получают афферентные социализированную сему. Так, *коньяк пятизвездочный, маринованные грибы* получают афферентную сему — 'значительный', употребляемый людьми более высокого социального статуса: *«коньячку выпьем, а рабочему классу, тому водочки подавай»* (В. Егоров «Маринованное мясо «ке»). Лексема *водка* в свою очередь получает семы 'народный', 'самобытный'. То же самое можно сказать о посуде, из которой употребляется пища и напитки. Так, люди с более высоким социальным статусом пили спиртные напитки из бокалов, в то время как весь остальной народ в основном использовал граненый стакан и рюмку.

Как было показано выше, в ролевой беседе отношения между образами строятся на основе антиномии, противопоставления, причем учитываются не только речевые характеристики, но и «парасловесные средства коммуникации», эксплицирующих жесты и мимику. В этом случае может учитываться профессиональная деятельность героя. С ее помощью наводится афферентная сема. Например, сема 'равнодушие, безразличие' в высказывании: *«содержимое в бокале Кучерова крутанулось водоворотом и вылетело в рот словно в форточку»*. На основе отождествления двух изотопий 'человеческий орган' и 'строительное приспособление' с доминированием видовой семы 'неодушевленный, мертвый', то есть не существующий для других, не интересующийся другими людьми, равнодушный. Помимо социализированного смысла образуется и эмоциональная отрицательная характеристика руководящего работника.

Интересным может быть еще один аспект описания употребления пищи руководящими работниками. Начальники обычно едят качественную еду в больших количествах, о чем свидетельствует художественное произведение:

*«Он разламывал и аппетитно вычмокивал большого красного рака, и шея Ивана Тихоновича, тучная и тоже красная, все время вздрагивала, набегая складкой на ворот пиджака. Стол перед ним был завален красными рачьими ошурками, и в опорожненных бутылках шевелились и лопались глазастые пивные дрожжи»* (Е. Носов. Пятый день осенней выставки).

Употребление пищи в больших количествах всегда осуждалось, так как приводило к лености и бесчувственному отношению к ближнему. О возникновении бесчувствия в результате объедения говорил еще Иоанн Лествичник: «Со вниманием прочитавший об объядении, сей матери толиких зол, не ведает, что в пагубном и проклятом своем чадородии оно назвало вторым своим исчадием камень нечувствия».

На основе противопоставления к начальникам формируется образ рабочего. Но он оказывается намного глубже и противоречивей, чем предыдущий, ему невозможно дать однозначную оценку, это образ постоянно изменяющийся. Иногда для идентификации составляющих образа оказывается недостаточно одной ситуации за столом, и необходимо установить парадигматические связи с другими ситуациями. Наличие разных ситуаций несет с собой и различные семы, при взаимодействии которых образуется новое значение.

*«Схватил его (стакан) Витюня и оглушил залпом. И закусывать не стал, только дынную корочку понюхал», «На столе остались бутылки из-под водки и коньяка, и каждую Витюня, запрокинув голову, долго тряс над широко раскрытым ртом»* (В. Егоров. Маринованное мясо «ке»).

Высказывание актуализирует отрицательную оценочную сему, связанную с чрезмерным употреблением спиртных напитков — алкоголизмом. Одновременно наводится сема 'способность к сопереживанию', 'доброта' из высказывания: «Аж сердце зашлось у Витюни от жалости». Здесь наблюдается взаимодействие оценочной и контекстуальной семы с доминированием последней. Надо отметить, что для литературы 70-80-х годов было характерно появление такого героя: трудолюбивого, доброго, но пристрастного к выпивке, по выражению В. Шукшина, «интеллигента духа». Конечно, немало в персонаже скверного, наносного, но под этими напластованиями проглядывается нечто чистое, трудовое и честное.

**Тональность беседы** отличается от предыдущей. Обладание статусом позволяет человеку ожидать и требовать определенного отношения со стороны других людей и им же принадлежит право выбора темы и соответствующей лексики, что создает особую тональность, проявляющуюся в эмоционально-экспрессивном настрое собеседников. При различном социальном статусе сидящих за столом гармоничная беседа складывается при одном условии, если один из участников, обычно находящийся ниже по иерархической лестнице, внимательно слушает

другого. Тональность, возникающая в текстах, выражается в глагольных формах в высказывании: *«один он (руководитель) выступает, директор только поддакивает. Лисынман — тот вообще вроде шестерки: разликает да закуску подает. И Витюня потихонечку скучать начал. Ушел бы да неловко: начальство их приветило, к столу пригласило, тут уж потерпеть надо»* (В. Егоров. Маринованное мясо «ке»).

То есть настрой каждого, кто оказался за столом, зависит от его статуса. Можно установить следующую последовательность по направлению от высшего к низшему: *выступает — поддакивает — молчит и терпит*. Соответственно усиливаются семы: *произносить много слов — произносить мало слов в поддержку — не произносить ни одного слова*.

**Тематика** межличностных бесед полностью обусловлена авторским замыслом. Учитывая объективную действительность, автор выбирает героя, стилизует речевое взаимодействие, оставляет только те моменты, которые необходимы для единообразного прочтения текста. Раскрыть особенности человеческих взаимоотношений в современном обществе может человек, обличенный властью. Ему дана возможность свободно и открыто вести себя, заставляя окружающих прислушиваться к своему мнению. Надевая подобным социальным статусом героя, автор позволяет ему оказывать воздействие не только на героев в произведении, но и на читателя.

Между начальником и подчиненным могут быть затронуты темы человеческих отношений в производственной деятельности, причем право голоса всегда остается только за человеком с более высоким социальным статусом. Спиртные напитки очень сильно воздействуют на ни и они начинают обсуждать те проблемы, о которых в трезвом состоянии бы молчали: *«Легко с пьяным начальством говорить: сердце на показ»* (Ф. Абрамов. Пелагея). Поднимаются вопросы замены истинных человеческих ценностей на псевдоценности. Результатом этого становится обнищание человеческой души, бездуховность. Синонимом *предателя* становится *закадычный друг*, слово *дружить* заменяется предикатом *лепиться*:

*«лепится один человек к другому только тогда, когда хочет получить что-нибудь для себя, и если раньше за товарища что хочешь могли отдать — жизнь даже, то сегодня товарища за что хочешь променяют — за жратву, за выпивку, за машину, за дачу, за должность»* (В. Егоров «Маринованное мясо «ке»).

Обсуждаются проблемы нравственного упадка, когда человек заменяется вещью. Количество материальных благ становится ценностным ориентиром общества. Человек рассматривался сквозь призму предмета, этим была обусловлена замена лексики *должность* на — *кресло*, образованное путем наложения изотопии 'мебель' на изотопию 'человек' с соответствующим переносом признаков 'неодушевленный', 'равнодушный'. Духовная пища связывается уже не с произведениями искусства, а с женским полом. Женщина оценивается как вещь.

*«Квартира три комнаты, в полный габарит. Оклад кругленький да жинка сотняшку приносит. Премияльные, профсоюзные имею... И для себя кое-что духовное имею. Она благоухает. У меня третий год одна. Посмотри... сей-*



час в бумажнике под подкладочкой для бдительности» (А. Ткаченко «Горькое пиво на пристани»).

Замена истинных жизненных устоев проявляется и в производственной деятельности. Широкое распространение в ХТ таких лексем как приписки, доносы, анонимщик, выговор, критика говорит о неверном ведении хозяйства, причиной чему становятся человеческие отношения. Такие признаки личности как 'творческая активность', 'энергичность', 'инициатива' всячески подавляются:

*«Я инициативу проявил — выговор повесили», я попытался свою точку зрения отстоять — имею строгача с занесением»* (В. Егоров. Маринованное мясо «ке»).

Ценностные ориентиры меняются, критерием оценки человека становится социальный статус, который предусматривает наличие должности и соответствующих ей материальных ценностей: изотопия 'материальные ценности' полностью поглощает изотопию 'духовные ценности', люди не различают эти понятия: видовые изотопии 'литература', 'искусство', 'культура' заменяются изотопией 'обеспеченность'. Таким образом, 'внутреннее душевное богатство' заменяет 'опустошенность' завуалированная, не ощущаемая современным поколением. Таким образом, человек наделяется следующими признаками: 'мертвый', 'опустошенный'. Данная тематика ставит поднимающиеся проблемы в разряд вечных, которые еще были отражены в Евангелии: «Какой смысл для человека приобрести весь мир, если он теряет душу?»

В художественном тексте межличностные и ролевые беседы организуются по-разному. Ролевые образованы на основе антиномии в структуре образов: речевую характеристику получают люди с более высоким социальным статусом и со статусом немного ниже. Поэтому тональность и тематика имеют разный состав.

Неотъемлемой частью застолья является тост. Он выступает как речевой жанр, который имеет «стабилизированный способ организации в определенных коммуникативных условиях» (11, с. 9). Для интерпретации речевого жанра «тост» использована «анкета речевого жанра» Т. Шмелевой, состоящая из 7 пунктов: «коммуникативная цель, концепция автора, концепция адресата, событийное содержание, фактор коммуникативного прошлого, фактор коммуникативного будущего, языковое воплощение» (30, с. 67).

Коммуникативная цель жанра состоит в том, чтобы подчеркнуть особую торжественность момента, для того чтобы создать особое эмоциональное состояние за столом, состояние единения и внимания.

Концепция автора предполагает то, что говорящий настроен добродушно к тостуемому и старается привлечь внимание окружающих к человеку, которому испытывает определенные чувства, причем для говорящего безразличны такие параметры, как старший / подчиненный / равный, старший / младший, авторитетный / неавторитетный, имеющий полномочия / не имеющий полномочия.

Концепция адресата состоит в выслушивании говорящего, речевая реакция отсутствует, присутствует только поступок, действие, заключающееся в выпивании напитка.

**Событийное содержание.** Рассмотрение этого параметра начинаем с этимологии слова: тост от лат *panis tostus* «поджаренный хлеб», потому что в Англии перед человеком, который должен быть выступать с речью ставили стакан и ломоть поджаренного хлеба» (29, Т. 3, с. 67). Выступающий встает, слегка стучит по своей рюмке, чтобы обратить на себя внимание. Все прекращают есть и молча слушают. В художественном произведении событийная часть опускается, и представляет собой «скважину» (Н.И. Жинкин), которую читатель восстанавливает самостоятельно из своего ментального опыта.

Фактор коммуникативного прошлого. Тост является инициативным речевым жанром, так как выступающий произносит тост по своей собственной воле. Если рассматривать этот параметр для текста, то произносящего тост выбирает автор.

Языковое воплощение. Тост представляет собой краткое ясное высказывание, объектом могут быть как люди живые, так и уже умершие. Все они имеют определенную схему построения:

выпьем за X, чтобы X был здоровым.

выпьем за здоровье X.

выпьем за X.

за X

Наблюдается эллипсис в конструкциях, составные части восстанавливаются из фоновых знаний о застолье и тостах. Это очень емкое высказывание, позволяет сосредоточить внимание на основной цели собравшихся за столом людей, дает возможность автору превратить его в конкретизатор основного смысла текста. Тост отвлекает людей от постоянного приема пищи, создает разнообразие.

Все тосты можно разделить на здравицы, поминовения, касающиеся одного человека и событийные, представляющие чувства, впечатления о каком-то событии.

Здравицы, или пожелание здоровья:

*«— Ну ты молодой — выпьем за тебя, чтоб ты был здоровый и счастливый»* (В. Мусаханов. Шашлычная у дороги).

*«— За ваше здоровье, — сказал хозяин»* (В. Емельянов. Пельмени). За здоровье обычно пьют до дна, не оставляя на дне стакана зла: *«— За здоровье когда пьют в стакане зла не оставляют, до дна надо пить. В другой раз можно и не допивать, а сейчас допить надо»* (В. Емельянов «Пельмени»). «Наливать до полна и пить до дна, обе названные черты имеют символическое значение — полноту жизненных благ и полноту их потребления. Еще одна черта, характерная для русского человека состоит в том, что русскому человеку требуется выпивание коллективное. Коллективное питье способствует укреплению социальных связей» (28, с.56).

Поминовения или воспоминание об усопших. Конкретизаторы, уточняющие имя человека, в таких высказываниях являются обязательными.

*«Выпьем за упокой бедной Фединой души»* (М. Красавицкая. Горшочек с медом). *«— За Афанасия Петровича. Его добрую память»* (Д. Холендро. Хлеб).

*За упокой души* — сочетание, перешедшее из языка дореволюционной России, когда верующие люди молились о том, чтобы душа переселилась в божии владения, чтобы ей было легче. *Его добрую память* представляет также идиому с признаком

‘вспоминать с благодарностью, с хорошим чувством’ о человеке. За поминование усопших пьют обычно вино. Вениамин Шалагинов в рассказе «Овсяные блины» ставит вопрос, на который ответ найти очень трудно»:

*«Почему люди мешают горе с вином, пьют за помин души веселящий напиток, красное и белое, то же, что и на свадьбах, на праздничных торжествах и юбилеях? Люди, люди».*

Тосты, представляющие какие-то прошедшие события можно назвать тостами-воспоминаниями. Такие тосты имеют особую функцию в тексте. Как было ранее сказано, застольная беседа может воспроизводиться не полностью, а частично — в зависимости от целей автора. В рассказе «Ломтик хлеба» в фокусе внимания оказывается распивание коньяка, тост в этом случае играет скрепляющую функцию между прошлым и настоящим:

*«— Но ради такой встречи... Пусть она радость принесет и облегчение. Радость для вновь встретившихся друзей»* (В. Шкаев. Ломтик хлеба).

Облегчение или «состояние освобождения, легкости» в состоявшейся исповеди перед товарищем через 40 лет после произошедших в юности событий. Соотнесение производится на основе классемы ‘исполнение желаний, ощущение легкости’ параллельно повествователь сравнивает память с вином на основе конкретизатора ‘долгое время’:

*«Это должно было хранить в памяти долгие годы, подобно тому как долгие годы в подвалах выдерживают вино, чтобы потом оно себя обнаружило во всей своей силе»* (там же).

Каждая из этих лексем получает дополнительные признаки: вино — ‘способность воспроизводить прошлое’, память — ‘способность сделать явным то, что раньше казалось незначительным’.

К событийным тоже следует отнести тосты за процветание отечества и за некоторых политических деятелей:

*«За Родину, за Сталина», «За молодежь», «За всемирный форум молодежи», «За молодость нашей планеты»* (Ф. Абрамов. Пелагея).

Тост как определенный тип текста выполняет текстообразующую функцию и концентрирует внимание на образах отдельных героев.

В художественном тексте получает еще одно застольное событие — **чаепитие**. Чаепитие представляет собой такое же ритуализованное действие как и застолье. Собраться за столом в этом случае означает собраться за чайным столом, за питьем чая. Традиция пить чай пришла из Китая так же как застолье из Древнего Рима. Чаепитие имеет ряд отличий. Если для застолья характерно веселье, песни, танцы, то для чаепития — покой, погруженность в собственные переживания. Ябуноути Тикусина в своем трактате «Беседы об исконном течении в чайном действии» (яп. «Гэнрю Тява») писал: «Сущность чайного собрания заключается в том, чтобы на нем царили глубокая гармония, глубокое почитание, глубокая чистота, глубокий покой» (10, с. 10). Гармония предполагает внутренний консонанс между участниками чаепития, когда перестают ощущаться различия между «гостями». Почитание заключается в том, чтобы участник с почитанием относился к собравшимся за столом. Участвовать в чайной церемонии можно только с чис-

тыми помыслами, без корыстных намерений. Во время чаепития должен царить покой, не должно быть раздражения и волнения (10).

Чаепитие также может быть представлено в виде скрипта, состоящего из слотов: процесс чаепития, рассказ. Во время современного чаепития, которое находит отражение в литературе, данные принципы сохраняются. Прибавляется лишь речевое воплощение ритуала — беседа. Беседа за чаем отличается от обычного застолья тем, что она монологична: речи героев протяженны. Обстановка настраивает героев на созерцание всего того, что будет сказано, на долгое обдумывание. Поэтому для художественного воплощения данного события писатели чаще всего используют субъективированное повествование. «Ц. Тодоров связывал субъективированное повествование с «рассказом о себе», в котором рассказчик выступает в роли одного из действующих лиц и для которого характерно «отождествление я персонажа-рассказчика с настоящим субъектом повествования», и рассказ о других, который может принимать сказовую форму с точным воспроизведением речи рассказчика» (3, с. 250). Основная функция такой беседы — фатическая: «временпрепровождение в беседе, развлечение собеседника забавными историями» (3, с. 252) и языковая, заключающаяся в сохранении живого языка. О чем говорит сам автор в метатекстовых фрагментах:

*«Язык — живой организм. В последнее время он заметно сдал, занемог под натиском массовой, (а следовательно, обезличенной) информации и, конечно же, нуждается в притоке свежей крови. Свидетельством тому, изобретение неологизмов как самодельного, так и земного производства. Лично я против неологизмов. Я считаю изобретение неологизмов признаком несведущности литератора или же его спешки. В самом деле, кладовые народных говоров ломаются от словарного избытия: зачем же кричать, придумывать какие-то кривые слова?»* (Е. Богданов. Чаепитие у Секлеты).

Текстовая структура разворачивается в пределах одной реплики высказывания, не прерывающейся другими, и состоит из последовательно сменяющихся друг друга семантических блоков, каждый из которых представляет законченное сюжетное событие. Рассказы героев-персонажей передаются повествователем, частично сохраняя лексику самих героев. Участниками таких бесед являются люди преклонного возраста, которые любят рассказывать и любят, чтобы их слушали.

Тональность создается повествователем через описание окружающей обстановки, мимику и жесты героев. «Если заглянуть в чистенький дворик», присесть к столику за чашечкой (он непременно будет заварен вишневыми или смородиновыми веточками с листьями)» — употребление уменьшительно-ласкательных суффиксов, и синтаксических конструкций с союзом «да» создает особую атмосферу сказочности. «Подперла щеку рукой, пригорюнилась и стала рассказывать» — состояние задумчивости, грусти создает почву для длительного рассказа.

Темой для таких рассказов являются ситуации о неповседневных событиях и «действиях, отличающиеся неко-

торами аномалиями, отклонениями от нормы» (З, с. 253), то, что заставит внимательно слушать рассказ. Чаще всего это сохранившиеся в народе легенды, истории, придуманные героями, действительные события, в которых наличествуют элементы фантастики. Тематика сменяющих друг друга рассказов обозначается самим повествователем: «Николин урок или сказ про великую любовь мастера Николы Никитича к Настасье кружевнице и обратно, Ермак или сказ про семь испытаний, смертельная экзекуция, или сказ про то как одноногий двухголового обманул; про Фросю, как я гадалкой сделалась» (Е. Богданов. Чаепитие у Секлеты).

В образах героев, участвующих в чаепитии, в художественном тексте актуализируются следующие семы 'доброта', 'покой', 'тяготение к сказочным историям'. Исходя из рассмотренных рассказов 60-80-х годов, можно сделать следующие выводы относительно социальных функций застольной беседы и чаепития:

**1.** Ситуации ЗБ и чаепития культурно обусловлены и в связи с этим получают целевую направленность в ХТ, с помощью чаепития производится трансляция культуры от старшего поколения млад-

шему, цели ЗБ намного шире, они показывают не только достижения прошлого, но и противоречивую действительность.

**2.** Ситуация беседы во время принятия пищи обусловлена авторским замыслом и дает ему возможность показать взаимодействие людей разного культурного уровня и профессиональной принадлежности. С помощью речевой экспликации персонажей выявляются типичные стороны характера национальной личности.

**3.** В тематике ЗБ отражены все процессы, происходящие в обществе в 40-80-х годах: проблемы образования, экологии, уроки прошлого, связанные с ВОВ, роль продуктов питания в жизни человека, нравственное обнищание человека, замена духовных ценностей материальными, существование вещиизма в обществе.

**4.** Многообразие тематики обусловлено и многообразием характеров. На страницах литературы возникают образы разных героев, в образах которых и в советское время сохраняются черты истинно русского человека: широта души, доброта, забота о ближнем, гостеприимство, жалость.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. — М., 2001.
2. Байбури А.К. Ритуал в традиционной культуре. — СПб., 1993.
3. Борисова И.Н. Нарратив как диалогический жанр // Жанры речи. — Саратов, 2002. — Вып 3. — С. 245-262.
4. Верещагин Е.М. Костомаров В.Г. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. — М., 1983.
5. Винокур Т.Г. Информативная и фатическая речь как обнаружение разных коммуникативных намерений говорящего и слушающего // Русский язык в его функционировании: коммуникативно-прагматический аспект. — М., 1993. — С. 67-82.
6. Воробьев В.В. Лингвокультурология. — М., 1997.
7. Гинзбург Л.Я. Фрагменты из книги «О литературном герое» // Фрумкина Р.М. Психоллингвистика. — М., 2001. — С. 236-246.
8. Демьянков В.З. Теория прототипов в семантике и прагматике языка // Структуры представления знаний в языке. — М., 1994. — С. 89-98.
9. Евсюкова Т.В. Словарь культуры как проблема лингвокультурологии. — Ростов-на-Дону, 2001.
10. Игнатович А.Н. Чайное действие. — М., 1997.
11. Карасик В.И. Язык социального статуса. — М., 2002.
12. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность — М., 1987.
13. Ковалевский П.И. Психология русской нации. — Петроград, 1915.
14. Копыленко М.М. Социальное и этническое в языке // Облик слова. Сб. статей. — М., 1997. — С. 354-360.
15. Костомаров Н.И. Домашняя жизнь и нравы великорусского народа: Утварь, одежда, пища и питье, здоровье и болезни, нравы, обряды, прием гостей. — М., 1993.
16. Матвеева Т.В. Функциональные стили в аспекте текстовых категорий. — Свердловск, 1990.
17. Мониц Ю. В. Проблемы этимологии и семантика ритуализованного действия // Вопросы языкознания. — 1998. — № 1. — С. 97-119.
18. Новиков А.И. Чистякова Г.Д. К вопросу о теме и денотате текста // Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. — Т. 40. — 1981. — № 1.
19. О вине и пьянстве: Русские пословицы и поговорки. — М., 2001.
20. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. — М., 1994.
21. Растье Ф. Интерпретирующая семантика. — Нижний Новгород, 2001.
22. Рахилина Е.В. Когнитивная семантика: история, персоналии, идеи, результаты // Семиотика и информатика. — М., 1998. — Вып. 36. — С. 274-374.
23. Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. — М., 1995.
24. Русская идея: В кругу писателей и мыслителей Русского Зарубежья — М., 1994.
25. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии — М., 1993.
26. Сибирякова И.Г. Стандарты тематического развертывания в разговорном диалоге // Русская разговорная речь как явление городской культуры. — Екатеринбург, 1996. — С. 274-374.
27. Стернин И.А. Лексическое значение в речи. — Воронеж, 1985.
28. Топорков А.Л. Русское пьянство: символика и ритуальные особенности // Кодови словенских культура. Храна и пиџе. Број 2. Ред. Предраг. Пипер. — Београд, сlio, 1997. — С. 170-177.
29. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. — М., 1964-1973.
30. Шмелева Т. В. Речевой жанр: опыт общеприкладного осмысления // Collegium. — Киев. 1995. — № 1-2.

**ДРУЖЕСКИЙ ВИЗИТ:  
СКУЧАЮЩИЙ ГЕРОЙ СКВОЗЬ ПРИЗМУ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА**Е.Н. Сороченко  
Ставрополь

В «Словаре по этике» этикет определяется как «совокупность правил поведения регулирующих внешнее проявление человеческих отношений (обхождение с окружающими, поведение в общественных местах, манеры и т.п.)» (9, с. 427). М. Росенко и другие считают, что «в этикетных формах зашифрована глубокая моральная информация... Это могут быть благие намерения, проявление внимания, сожаление о произошедшем поступке... Этикет предполагает использование таких качеств, как вежливость, корректность, учтивость, почтительность, любезность, откровенность, тактичность, деликатность. В то же время применение этикетных правил исключает грубость, наглость, чванство, развязность» (7, с. 184).

В лингвистике этикет – это «система устойчивых формул общения, предписываемых обществом как правила речевого поведения для установления речевого контакта собеседников, поддержания общения в избранной тональности соответственно их социальным ролям и ролевым позициям относительно друг друга, взаимным отношениям в официальной и неофициальной обстановке» (10, с. 415). При изучении речевого этикета учитываются различные факторы: прагматический, собственно лингвистический, социолингвистический, стилистический, паралингвистический, культурологический.

Н.И. Формановская выделяет две основные функции речевого этикета: коммуникативную и функцию выражения мыслей. В рамках коммуникативной функции выделяются такие специализированные функции, как контактная (фатическая), вежливости (коннативная), регулирующая (регулятивная), воздействия (императивная) и призывная (апеллятивная)

Признаками речевого этикета являются:

- наличие адресанта и адресата (в момент и в точке контакта);
- средство связи (код) — специализированные устойчивые формулы;
- социально предписанная форма этикетного поведения;
- мотив — потребность употребить единицу речевого этикета для включения контакта и поддержания общения;
- цель — создать желательную тональность общения;
- контактное (реже дистантное) положение коммуникантов;
- тема высказывания (события);
- официальность / неофициальность обстановки общения;
- характер взаимоотношений общающихся (11, с. 18).

Рассмотрим, какими этикетными формулами пользуется скучающий герой, когда принимает друзей, и как те, в свою очередь, строят дружеский визит. Цель нашего исследования — выявить особенности построения речевого жанра дружеского визита в романе И.А. Гончарова «Обломов» с точки зрения составляющих его этикетных ситуаций.

Обломов — скучающий герой особого типа: он не пытается развеять свою скуку увеселительными прогулками, бурной деятельностью, посещением светских развлечений. Как отмечает В.И. Мельник, «позиция Ильи Ильича в жизни — это позиция созерцания, в основе которой — стремление к независимости от докучливой окружающей жизни. Свобода и независимость от окружающего мира, сосредоточенность лишь на самом себе как на конечной цели, как на единственно реальном в этом переменчивом мире благе, — вот позиция Эпикура, воплощаемая в жизненной философии гончаровского героя» (6, с. 36). «Нормальным состоянием Обломова является «лежанье» дома в одной и той же комнате, «служившей ему спальней, кабинетом и приемной» (2, с. 6), которая и будет «точкой контакта» (11, с. 18) героя с другими участниками коммуникации. Рассматриваемые нами дружеские визиты происходят один за другим, ограничиваясь рамками одного дня. Исключение составляет визит Штольца, нанесенный в другое время. Первые три гостя (Волков, Судьбинский и Пенкин) зашли к Обломову на минутку. «Им надо было платить взаимностью, принимать участие в том, что их интересовало. Они купались в людской толпе; всякий понимал жизнь по-своему, как не хотел понимать ее Обломов...» (2, с. 40). Алексеев и Тарантьев более часто посещали Обломова, у него они ели, пили, курили сигары. Их принимали всегда одинаково «если не радушно, то равнодушно». Искреннюю любовь Обломов испытывал только к Штольцу, всегда радовался его приходу. Данные экстралингвистические факты не могут не повлиять на использование этикетных формул, на выбор Обломовым языковых средств, придающих ту или иную тональность общению. Равнодушие и простая вежливость с одними, сдержанность с другими сменяются доверительностью, теплотой в общении со Штольцем.

Важной особенностью избранных для анализа фрагментов текста является их одноструктурность, позволяющая выделить наиболее типичные ситуации речевого этикета, из которых строится каждый дружеский визит:

- 1) взаимное приветствие;
- 2) вопросы — осведомления, например, о состоянии здоровья, дел;
- 3) дружеская болтовня, включающая ситуации приглашения, просьбы, отказа, сочувствия, совета и др.;
- 4) прощание.

Важную роль в выборе героем тех или иных языковых средств играют экстралингвистические факторы, одним из которых, по нашему мнению, является внешний вид наносящего дружеский визит. По описанию каждого героя романа можно определить его социальную позицию, род деятельности, а также предположить выбор им этикетных формул. О самом скучающем герое автор пишет так: «Иногда взгляд его помрачался выражением будто усталости или скуки; но ни усталость, ни скука не могли ни на минуту согнать с лица мягкость, кото-

рая была господствующим и основным выражением, не лица только, а всей души; а душа так открыто и ясно светилась в глазах, в улыбке, в каждом движении головы, руки» (2, с. 5). Подобное описание предполагает установку на вежливое и тактичное отношение к окружающим.

Рассмотрим, какие лексические единицы используются автором для создания образов гостей Обломова.

а) **Волков**. Волков-щеголь, модник. Об этом свидетельствуют избранные для его представления читателю языковые единицы, входящие в лексико-семантическое поле «мода»: *причесан, одет, белье, перчатки, фрак, изящная, цепочка, брелоки, тончайший батистовый платок, ароматы Востока, глянцевиная шляпа, лакированные сапоги*. Подобная внешность предполагает безукоризненное знание как этикета моды, так и правил ведения беседы, особенно светской.

б) **Судьбинский**. Это типичный чиновник: *темно-зеленый фрак с гербовыми пуговицами, бакенбарды, гладко выбритый, потертое лицо, задумчивая улыбка*. Перед Обломовым человек безупречно владеющий официальными нормами этикета, в речи которого преобладают формы повышенно-вежливые, заискивающие, а на лексическом уровне — канцеляризмы.

в) **Пенкин**. *Худощавый, черненький, заросший весь бакенбардами, усами, эспаньолкой; одет с умышленной небрежностью*. По описанию можно узнать литератора, а следовательно, и используемые им в этикетных формулах единицы, должны быть более образными.

г) **Алексеев**. Для создания его портрета Гончаровым используется ряд лексем со значением неопределенности: *неопределенных лет, с неопределенной физиономией, не красив и не дурен, не высок и не низок ростом, не блондин и не брюнет...* Скорее всего герой будет употреблять доминантные единицы из ряда коммуникативных синонимов, обслуживающих ситуации речевого этикета.

д) **Тарантьев**. Описание, данное этому герою, сразу предполагает, что перед нами человек, для которого этикета не существует. *Крупная порода, крупные черты лица, большая голова, глаза навывкате, толстогубый. Беглый взгляд на этого человека рождает идею о чем-то грубом и неопрятном... Никогда не стеснялся он ничьим присутствием и в карман за словом не ходил и вообще постоянно был груб в обращении со всеми, не исключая и приятелей, как будто давал чувствовать, что, заговаривая с человеком, даже обедая или ужиная у него, он делает ему большую честь* (2, с. 36). От подобного человека можно ожидать брани, оскорблений.

е) **Штольц**. Герой, являющийся настоящим другом Обломова, для которого посещение Ильи Ильича не просто визит вежливости, а потребность в общении с ним. *Как в организме нет у него ничего лишнего, так и в нравственных отправлениях своей жизни он искал равновесия практических сторон с тонкими потребностями духа* (2, с. 160).

2) Взаимное приветствие. Обязательная ситуация речевого этикета, основная функция которой — установление контакта.

### Обломов — Волков

— А, **Волков**, здравствуйте! — сказал Илья Ильич.

— Здравствуйте, **Обломов**, — говорил блистающий господин, подходя к нему.

— Не подходите, не подходите: **вы с холода!** — сказал тот (2, с. 16).

Выбор коммуникантами *Вы*-форм общения, подчеркивание вежливого отношения друг к другу, равенство социальных ролей.

### Обломов — Судьбинский

— Здравствуй, **Судьбинский!** — весело поздоровался Обломов. — Насилу заглянул к старому сослуживцу! Не подходи, не подходи! **Ты с холоду.**

— Здравствуй, **Илья Ильич**. Давно собирался к тебе, — говорил гость, — да ведь **ты** знаешь, какая у нас дьявольская служба!.. (2, с. 20).

Употребление *ты*-форм подчеркивает, что общающиеся находятся в более дружеских отношениях, но о «теплой» дружбе говорить нельзя, так как называют они друг друга по имени отчеству.

### Обломов — Пенкин

— Здравствуйте, **Илья Ильич**.

— Здравствуйте, Пенкин; не подходите, не подходите: **вы с холода!** — говорил Обломов (2, с. 24).

Использование формы *Вы*-равенства, взаимная вежливость, но отношения недостаточно близкие.

### Обломов — Алексеев

— А! — встретил его Обломов. — Это **вы, Алексеев?** Здравствуйте. Откуда? Не подходите, не подходите; **я вам не дам руки: вы с холода!**

— Что **вы**, какой холод! Я и не думал к **вам** сегодня, — сказал Алексеев... (2, с. 30).

### Обломов — Тарантьев

— Здравствуй, **земляк**, — отрывисто сказал Тарантьев, протягивая мохнатую руку к Обломову. — Что это **ты** лежишь по сю пору, **как колода?**

— Не подходи, не подходи: **ты с холода!** — говорил Обломов, прикрываясь одеялом.

— Вот еще что выдумал, с холода! — заголосил Тарантьев. — Ну, ну, бери руку, коли дают! Скоро двенадцать часов, а он валяется! (2, с. 40).

Общение с позиции *ты*. Тарантьев не против этикета: он здоровается, протягивает руку, но вежливость в его речи снижена грубой лексикой.

### Обломов — Штольц

— **Штольц, Штольц!** — в восторге кричал Обломов, бросаясь к Штольцу. [...]

— Здравствуй, **Илья**. Как я рад **тебя** видеть!.. (2, с. 164).

Выбор *ты*-формы речевого этикета сопровождается паралингвистическими характеристиками: интонационное выражение восторга, последующие объятия.

В рассматриваемых примерах общение происходит в неформальной обстановке, указывая на дружеский характер взаимоотношений общающихся, предполагающий вежливое отношение к собеседнику. В качестве приветствия во всех случаях употребляется одна и та же единица тематической группы «Приветствия» — *Здравствуй(-те)*, варьирующая в каждом случае оттенки тональности: доверительности, сдержанности, фамильярности, натянутости, откровенности т.д. Поддержанию избранной тональности помогает использование *ты*- / *Вы*-формулы и выбор обращения. Так, например, с Судь-

бинским Обломов на *ты*, однако называет его по фамилии, а тот использует обращение *Илья Ильич*, что говорит о некоторой сдержанности в их отношениях. Тарантьев, несмотря на грубость использует обычную форму приветствия, но сопровождает ее сниженной лексикой. Обращение Штольца *Илья* говорит о близких и доверительных отношениях участников коммуникации, что подтверждается употреблением следующей эмоционально-экспрессивной конструкции *Как я рад тебя видеть!* В примерах 1-5 между Обломовым и другими героями сразу устанавливается определенная дистанция: он принимает всех лежа, занимая горизонтальное положение в пространстве, и никого не подпускает к себе (см. выше мотивировку отказа *ты / Вы с холода*), не протягивает руки, кроме Тарантьева, не обращающего внимания на отговорки. Подобное поведение героя объясняется не незнанием этикета, не пренебрежительным отношением к пришедшим, а стремлением сохранить себя от ложной деятельности, в которую погружены его посетители, от «миражных» забот. Совсем по-иному встречает Обломов Штольца: «бросается» к нему, изменяет свое положение в пространстве, как бы подчеркивая, что разговор будет вестись на равных.

### 3) Стереотипные вопросы — осведомления.

Это «традиционный для этикета тип вопроса, не предполагающий от адресата подробного ответа» (11, с. 12). Функция подобных вопросов заключается в укреплении отношений между друзьями, поддержании контакта. Рассмотрим некоторые примеры.

— Здоровы ли вы? — спросил Волков.

— Какое здоровье! — зевая, сказал Обломов. — Плохо! Приливы замучили. А вы как поживаете?

— Я? Ничего: здорово и весело, — очень весело! — с чувством прибавил молодой человек (2, с. 17).

— Много у вас дела? — спросил Обломов.

— Да, довольно. Две статьи в газету пишу каждую неделю, потом разборы беллетристов пишу, да вот написал рассказ... (2, с. 25).

— Здоров ли? — спросил Штолец (2, с. 164).

Герои не стремятся развить свою мысль, так как не ощущают необходимости в этом. Далее в диалогах следуют вопросы другого плана, составляющие речевой жанр дружеской болтовни.

### 4) Дружеская болтовня.

«Социально-психологический фон, на котором протекает

болтовня, настраивает говорящих на легкое, поверхностное, скользкое по ассоциативному принципу дискурсивное поведение. Правила игры, которыми руководствуются коммуниканты... заключаются в том, чтобы не углубляться в намечаемые темы, а легко коснувшись их, перескочить на другие» (8, с. 310). Так, Волков беседует с Обломовым о модной одежде и светских приемах, Судьбинский о служебных делах, Пенкин о литературной деятельности и т.д. Только один Штолец интересуется душевным состоянием Обломова, пытается помочь избавиться от скуки и неподвижности. Между ними происходит разговор по душам. В дружеской болтовне имеют место такие ситуации речевого этикета, как совет, предложение, просьба, отказ, извинение, совет, сочувствие.

### 5) Прощание.

— Ну, **мне пора!** — сказал Волков. — За камелиями для букета Мише. Au revoir. [...] Однако пора... **Прощайте** [...] Но **прощайте**, au revoir. Мне еще в десять мест. — Боже мой, что это за веселье на свете! (2, с. 20).

— Прощай, — сказал чиновник, — я заболтался, что-нибудь понадобится там... (2, с. 24).

— Однако мне пора в типографию! — сказал Пенкин. [...] До свидания.

— До свиданья, Пенкин (2, с. 28).

— Ну, прощайте! Черт с вами пока! — с сердцем заключил Тарантьев, уходя и грозя Захару кулаком... (2, с. 52).

— Прощайте, Илья Ильич. (Алексеев) (2, с. 53).

Как видно из примеров, друзья Обломова употребляют следующие синонимы, входящие в тематическую группу «Прощание»: *Прощай(-те)*, *До свидания*, *Au revoir*. Актуализаторами вежливости выступают фразы типа *Мне пора*, *Я заболтался*, которые мотивируют уход, определяют продолжительность визита. Повышенной экспрессивностью обладает тарантьевская манера прощаться, сопровождающаяся угрожающими жестами и грубо-просторечной лексикой.

Таким образом, в романе «Обломов» речевой жанр дружеского визита состоит из различных этикетных ситуаций, а также включает элементы дружеской болтовни. Скучающий герой вежлив в процессе коммуникации, приоритетным для него является поддержание дружеской тональности, в общении с истинным другом отсутствие дистанции. На речевое поведение героев существенное влияние оказывают экстралингвистические факторы.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Акишина А.А., Формановская Н.И. Русский речевой этикет. — М., 1997.
2. Гончаров И.А. Обломов. — СПб., 1993.
3. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. — М., 1997.
4. Карасик В.И. Язык социального статуса. — М., 2002.
5. Колесов В.В. Культура речи — культура поведения. — Л., 1988.
6. Мельник В.И. Этический идеал И.А. Гончарова. — К., 1991.
7. Росенко М.Н. и др. Основы этических знаний. — СПб., 1998.
8. Седов К.Ф. Речевое поведение и типы языковой личности // Культурно-речевая ситуация в современной России / Под ред. Н.А. Купиной. — Екатеринбург, 2000.
9. Словарь по этике / Под ред. А.А. Гусейнова и И.С. Кона. — М., 1989.
10. Формановская Н.И. Речевой этикет // Русский язык. Энциклопедия / Гл. ред. Ю.Н. Караулов. — М., 1998.
11. Формановская Н.И. Русский речевой этикет: лингвистический и методический аспекты. — М., 1982.

# VIII. ЭТНОСОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕКСТА

- 1/ Т. Щербовский / Краков, Польша / **Контекст и значение в этнографической теории языка Бронислава Малиновского**
- 2/ Д. Пазио / Варшава, Польша / **Языковая картина двенадцатых праздников зеркалом церковно-государственных отношений**
- 3/ Н. Ярош / Люблин, Польша / **Двор в польском и русском языках. Культурный релятивизм в переводческой практике поэтического текста**
- 5/ Л.Н. Дяченко-Лысенко / Черкассы, Украина / **Языковая деятельность социумов украинцев, русских и азербайджанцев: фиксация сферы растений в текстах народных сказок**
- 6/ И.В. Привалова / Москва / **Художественный текст как способ фиксации национально-культурных ценностей**
- 7/ А. Нарлох / Познань, Польша / **Термины цветообозначения в русском и польском языках (на примере цвета кузова автомобилей)**
- 8/ А.В. Колмогорова / Новокузнецк / **О цвете некоторых социальных феноменов и явлений**

## КОНТЕКСТ И ЗНАЧЕНИЕ В ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ЯЗЫКА БРОНИСЛАВА МАЛИНОВСКОГО

Т. Щербовский  
Краков, Польша

Неосознанным и поэтому недооцененным предшественником современных исследователей дискурса<sup>1</sup>, текста и значения является Бронислав Малиновский (1884-1942)<sup>2</sup>, заслуги которого иногда несправедливо приписываются другим ученым, например: Якобсону<sup>3</sup> (фатическая функция), Витгенштейну<sup>4</sup> (концепция значения), Ферсу (ситуативный контекст), Остину (слово как действие)<sup>5</sup>. Многие энциклопедии называют Малиновского этнографом и социологом, основателем функциональной школы в этнографии. Забывается, что он был и философом (его кандидатская диссертация, защищенная в Ягеллонском университете 7 октября 1907 года, называлась «О принципе экономии мышления»), и автором лингвистических трудов («Классификаторы в языке киривина»<sup>6</sup> (1920), «Проблема значения в первобытных языках» (1923), а также «Язык магии и садоводства» как второй том книги «Коралловые сады и их магия» (1935). Особенного внимания лингвистов заслуживает «Этнографическая теория языка» (17, с. 3-74), состоящая из семи разделов: «Язык как орудие, документ и существенная часть культуры», «Перевод непереводаемых слов», «Контекст слов и контекст фактов», «Прагматический контекст высказывания», «Значение как функция слов», «Источник значения языка детей», «Пробелы, излишки, капризы терминологии первобытных».

Плодотворным для Малиновского оказалось его пребывание на островах Тробриан (1915-1918), где он собрал данные для научной работы на всю свою жизнь. Экзотика материала повлияла на формирование его взглядов на язык и культуру.

В письме от 14 мая 1918 года он делится мыслями с будущей женой Элси Массон.

*«Я обрисовал очень неточную грамматику киривинского языка, которую начал с такой общей вещи, как классификация всех обстоятельств, при которых киривинцу приходится говорить. Если хочешь анализировать язык как средство передачи мысли, эмоции и т. д., надо сначала исследовать, при каких обстоятельствах эта передача ведется, в какой степени данное употребление языка необходимо, и каковы другие средства передачи значения (когда два киривинца встретятся, они знают бесконечно больше и точнее обо всем, что они намереваются делать, что другой чувствует, думает и т. д., чем когда встретятся два европейца)»<sup>7</sup> (26, с. 145).*

Описываемое явление спустя 5 лет характеризует Малиновский (15) с помощью двух терминов: **фатическое общение** (phatic communion) и **ситуативный контекст** (context of situation).

*«Несомненно сталкиваемся здесь с новым типом функции языка — фатическим общением, так назвать ее ищет меня демон терминологической изобретательности — с разновидностью речи, в которой связь соединения возникает путем диалога» (15, с. 315).*

Фатическая функция устанавливает и поддерживает контакт между говорящими. Язык тогда оказывается не способом рефлексии, а способом дей-

ствия. Каждое высказывание служит тогда непосредственной цели связывания слушающего с говорящим узами компанейского чувства или другого.

*«В действительности нет нужды сообщать или, может, даже не о чем сообщать. До тех пор, пока существуют слова, которыми обмениваемся, фатическое общение вводит как автохтона, так и цивилизованного в атмосферу вежливых дружеских встреч» (15, с. 316).*

Б. Малиновский считает язык важнейшим орудием этнографа в полевой работе, так как основной функцией языка является не выражение мысли, не воспроизведение в точности ментального процесса, а скорее выполнение активной прагматической роли в человеческом поведении (17, с. 7).

По Малиновскому, язык — это культурное явление, тип человеческого поведения. Нельзя его объяснять без постоянного соотношения его и широких контекстов словесного высказывания (15, с. 305).

*«Мне кажется, что очень полезно для лингвистики расширить объем понятия контекст, чтобы он охватывал не только произносимые слова, но также выражение лица, жесты, движения тела, всю группу людей, присутствующих во время диалога, и часть среды, в которой они находятся.*

*Несколько раз я говорил о контексте культурной действительности. Под этим понятием понимаю материальное оборудование, действия, интересы, моральные и эстетические ценности, с которыми связаны слова. Сейчас попытаюсь показать, что этот контекст культурной действительности вполне тождествен контексту речи. Слова не существуют в своего рода суперсловаре или блокноте этнографа. Они употребляются в свободной речи и связываются в высказывания, которые, в свою очередь, связываются с другими действиями человека, а также с общественной и материальной средой. Способ, какой я выбрал для представления моего лингвистического и этнографического материала, выдвигает вперед понятие контекста» (17, с. 22).*

Характерной чертой анализа текстов, выражений и слов должна быть их контекстуализация, т.е. описание, в каких ситуациях и каким образом они употребляются (17, с. 73). И поэтому текст магической формулы в языке киривина (острова Тробриан, Папуа-Новая Гвинея) с подстрочным переводом на английский язык сопровождается Малиновский общим комментарием, содержащим информации о трех видах контекста (социологическом, ритуальном, догматическом), о способе декламации и структуре. Общий комментарий предшествует лингвистическому. Все это служит лучшему пониманию заклипания. В рамках этнометодологии<sup>8</sup> понимание — это цель интерпретации, которая определяется как процесс приписывания значения (9). Малиновский неоднократно подчеркивал, что высказывание (текст) вне контекста не имеет значения<sup>9</sup>.

Примером может служить магическая формула (17, с. 269).



|   |                                      |  |                                      |
|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| <i>A-way-m,</i><br>I strike you,<br>я ударяю тебе,                              | <i>pwaypwaya;</i><br>soil;<br>земля; | <i>ku-tavisi,</i><br>thou cut through,<br>ты открываешься, | <i>pwaypwaya;</i><br>soil<br>земля;  |
| <i>kw-iga'ega,</i><br>thou shake,<br>ты трясешься,                              | <i>pwaypwaya;</i><br>soil;<br>земля; | <i>kw-abina'i,</i><br>thou burgeon,<br>ты беременеешь,     | <i>pwaypwaya;</i><br>soil;<br>земля; |
| <i>kw-abinaygwadi,</i><br>thou burgeon (with) child<br>ты беременеешь ребенком, | <i>pwaypwaya</i><br>soil<br>земля    |  |                                      |

Приведенный здесь текст Малиновский выражает по-английски следующим образом: «I strike thee, O soil, open thou up and let the crops through the ground. Shake, O soil, swell out as with a child, O soil» (16, с. 102). В русском же переводе можно сказать «Я ударяю тебя, О земля, откройся и пропусти растения сквозь свою поверхность, трясись, О земля, беременей, как женщина, О земля».

Слова относятся к части магического обряда, начинающего цикл в саду.

**Социологический контекст:** мужчины слушают серию заклинаний, молча и стоя в группе. Когда волшебник ударяет землю, они издают пронзительный продолжительный звук и каждый из них бежит в свой участок и там повторяет часть ритуала, к которому только что присматривался, с помощью тора, насыщенного магической силой.

**Ритуальный контекст:** волшебник совершает эпонимический ритуал всей своей магии, т. е. ударяет землю волшебной палочкой. Волшебника называют «человеком, ударяющим нашу землю».

**Догматический контекст:** непосредственная связь волшебника с основным предметом ритуальных действий, землей, которая, чтобы была плодородной, упоминается каждый раз с формой императива.

Эти три вида контекста предствляют собой ситуативный контекст магической формулы. Вне его понять ее невозможно.

*«Ошибочное понимание языка как средства передачи идей из головы говорящего в голову слушающего, по-моему, значительно испортило филологический подход к языку. Представленное здесь мнение имеет не только академическое значение; оно заставляет нас, как убедимся, соотносить исследование языка и другие действия, интерпретировать значение любого высказывания в рамках его действительного контекста, это же обозначает новый подход к языковым данным. Это также заставляет нас определять значение в рамках опыта и ситуации» (17, с. 9).*

Язык считается неотделимой частью культуры. «Без культурных основ лингвистика всегда будет карточным домиком. В равной степени это правда, что без языка знание о каком-либо аспекте культуры неполно» (17, с. 21).

По Малиновскому, «само осознание близкой связи между лингвистической интерпретацией и анализом

культуры, к которой принадлежит язык, убедительно показывает, что ни слово, ни его значение не существуют независимо и самостоятельно. Этнографическое представление о языке подтверждает принцип символической относительности, если можно так его назвать, т. е. слова следует рассматривать как символы, и психология символической соотнесенности должна служить основой каждой науки о языке. Так как весь мир «вещей, которые должны быть выражены», меняется вместе с уровнем культуры, вместе с географическими, социальными и экономическими условиями, значение слова всегда следует заключать не из пассивного созерцания данного слова, а из анализа его функций в отнесенности к данной культуре. Каждое первобытное или варварское племя, каждый тип цивилизации обладает своим миром значений и всем языковым аппаратом людей — лексическим составом и своим типом грамматики — который можно объяснить только в связи с их ментальными нуждами» (15, с. 309).

Б. Малиновский опровергает концепцию значения как чего-то содержащегося в высказывании. «Значение, реальная «сущность» слова, достигает таким образом реального существования в сфере идей Платона и становится универсалией средневековых реалистов, фактически существующей. Неправильное употребление слов, обоснованное всегда ошибочным анализом их семантической функции, приводит к онтологическому болоту в философии, где находят правду, вытягивая значение из слова, его предполагаемого вместилища» (15, с. 308).

В этнографической теории языка «значение — это влияние слов на умы людей и тела, а через них на окружающую действительность, создаваемую или постигаемую в данной культуре» (17, с. 53).

В случае развитых функций речи, которыми в основном занимаются Ч.К. Огден и А.А. Ричардс (18), — философской спекуляции и научного языка — над «залывом» значения находится, благодаря акту мышления, линия, соединяющая две стороны семантического треугольника. С помощью аналогичных диаграмм представляет Б. Малиновский ранние стадии значения (15, с. 324).

В первой стадии высказывание — это звуковая реакция (которую еще нельзя назвать символом), связанная с ситуацией (которая еще не является референтом), но не вызывающая акта мышления, и поэтому треугольник уменьшен до основания.

**ПЕРВАЯ СТАДИЯ**ЗВУКОВАЯ (непосредственная связь) СИТУАЦИЯ  
РЕАКЦИЯ

Истоки артикулированной речи, когда одновременно с ее возникновением начинают выделяться из ситуации референты, она все еще должна изображаться единичной непрерывной линией фактической взаимосвязи (вторая стадия).

Звук еще не является реальным символом, ибо он не употребляется отдельно от своего референта.

**ВТОРАЯ СТАДИЯ**ЗВУК (взаимосвязь) РЕФЕРЕНТ  
В ДЕЙСТВИИ**ТРЕТЬЯ СТАДИЯ**

(А)

Речь в действии

(Б)

Повествовательная речь  
АКТ ОБРАЗНОСТИСИМВОЛ (употребляемый инструментально) РЕФЕРЕНТ  
В ДЕЙСТВИИ

СИМВОЛ (посредственная связь) РЕФЕРЕНТ

(В)

Язык ритуальной магии  
РИТУАЛЬНЫЙ АКТ  
(основанный на традиционных верованиях)

СИМВОЛ (мистически предполагаемая связь) РЕФЕРЕНТ

В третьей стадии следует, по Малиновскому, различить три основных способа употребления языка: в действии, в повествовании, в ритуале. Нижняя грань треугольника обозначается либо сплошной линией (акт образности), либо непрерывной (ритуальный акт). В последнем случае, таким образом, подчеркивается магический подход к словам, характерный как для первобытных людей в ритуальных актах, так и для детей, овладевающих основами родного языка.

Этнографическая теория языка Малиновского создает основу для современных социологических концепций, согласно которым значение связано не столько с умом, сколько с интеракцией, с общественными группами и структурами. Психологи же (и когнитивисты) считают, что значение приписывается дискурсу потребителями языка, оно скорее связано с умами участников коммуникации (27, с. 17).

Несомненно, нужна интеграция различных подходов к вопросу значения. Среди многих направлений в анализе дискурса можно выделить три основных типа: 1) концепции, сосредоточивающиеся на «самом» дискурсе, т.е. на структурах текста или высказывания, 2) исследования дискурса и коммуникации с точки зрения их познавательных обусловленностей и 3) концепции, уделяющие особое внимание культуре и общественным структурам. Треугольник «дискурс — познание — общество» определяет область междисциплинарных исследований дискурса (27, с. 34) и, конечно, значения. Чтение смысла, понимание, интерпретация, значение и многие другие понятия принадлежат к области структур дискурса и общественных интеракций, так и ума (27, с. 26). Заслугой Малиновского уже 78 лет назад было разграничение речи в дей-

ствии, повествовании и ритуальной магии. Все эти разновидности отличаются друг от друга типом отношений между языком, мышлением и действительностью, характеризуются своеобразными структурами дискурса, общественными интеракци-

ями и степенью активности ума. Сегодня уже никто не подвергает сомнению роли ситуативного контекста в толковании высказывания. Все больше внимания уделяют ученые значению, которое все-таки еще считается *enfant terrible* семантики (25).

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. «Если в 60-70-е годы дискурс понимался как связанная последовательность предложений или речевых актов, то с позиции современных подходов, дискурс — это сложное коммуникативное явление, включающее, кроме текста, еще и экстралингвистические факторы (знания о мире, мнения, установки, цели адресата), необходимые для понимания текста» (4, с. 8). См. также польский перевод (27) двухтомной книги 1998 года «Discourse as Structure and Process» (1-ый том) и «Discourse as Social Interaction» (2-ой том).
2. «Аннотированный именной указатель» (8, с. 672) нуждается в дополнении. Перед словом Англия следует вставить Польша. Малиновский был поляком, уехавшим за границу уже кандидатом наук. Дневник на островах Тробриан он писал по-польски, его родители были поляками.
3. Несмотря на факт, что Якобсон (10) ссылается на «Проблему значения в первобытных языках» Малиновского.
4. Л. Витгенштейн, согласно Э. Гелнеру (12, с. 146-7, 155, 174), просил своего переводчика Ч.К. Огдена, чтобы он дал ему прочитать «Проблему значения в первобытных языках» Б. Малиновского еще перед ее публикацией.
5. Совершенно непонятным является мнение, будто идеи Малиновского не только устарели, но даже мертвы (13, с. 36).
6. Киригина принадлежит к океанической ветви австронезийских языков (13; 14; 15; 17; 22; 23; 24). Им владеет население островов Тробриан (сегодня больше 20 тысяч людей).
7. Все цитаты приводятся здесь в моем переводе.
8. Этнометодология — всякое исследование процессов применения и упорядочения знаний, опирающихся на здравый смысл (9, с. 7).
9. «The utterance has no meaning except in the context of situation» (15, с. 307).

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Бурханов И. Учебный словарь системы понятий лингвистической семантики. — Rzeszow, 1995.
2. Витгенштейн Л. Философские исследования // Новое в зарубежной лингвистике. — М., 1985. — Вып. 16. — С. 79-128.
3. Дейк Т. А. ван. Язык, познание, коммуникация. — М., 1989.
4. Караулов Ю. Н., Петров В. В. От грамматики текста к когнитивной теории дискурса // Дейк Т. А. ван. Язык, познание, коммуникация. — М., 1989. — С. 5-11.
5. Новое в зарубежной лингвистике. — М., 1985. — Вып. 16: Лингвистическая прагматика.
6. Новое в зарубежной лингвистике. — М., 1986. — Вып. 17: Теория речевых актов.
7. Ревина Е. Д. Фатическая ситуация общения в контексте речевых актов и речевых жанров (на материале пьесы М.А. Булгакова «Дни Трубиных») // Текст: Узоры ковра. Сборник статей науч.-метод. семинара «Textus». — СПб.-Ставрополь, 1999. — Вып. 4. — Ч. 1. — С. 66-68.
8. Большой энциклопедический словарь. Языковедение. — М., 1998.
9. Dobrzanski D. Interpretacja jako proces nadawania znaczenia. Studium z etnometodologii [Интерпретация как процесс придания значения. Исследование по этнометодологии]. — Poznan, 1999.
10. Jakobson R. Linguistics and Poetics [Лингвистика и поэтика]. — Style and Language. Ed. T. Sebeok. — New York, 1960. — С. 350-377.
11. Garfinkel H. Studies in Ethnometodology [Исследования по этнометодологии]. — New York, 1967.
12. Gellner E. Language and Solitude. Wittgenstein, Malinowski and the Habsburg Dilemma [Язык и уединение. Витгенштейн, Малиновский и габсбургская дилемма]. — Cambridge, 1998.
13. Langendoen D. T. The London School of Linguistics. A Study of the Linguistic theories of B. Malinowski and J. R. Firth [Лондонская школа. Изучение лингвистических теорий Б. Малиновского и Дж. Р. Ферса]. — Cambridge (Mass.), 1968.
14. Malinowski B. Classificatory Particles in the Language of Kiriwina [Классификаторы в языке киригина] // Bulletin of the School of Oriental and African Studies. — 1920. — Том 1. — Часть 4. — С. 33-78
15. Malinowski B. The Problem of Meaning in Primitive Languages [Проблема значения в первобытных языках] // Ogden C.K., Richards A.I. The Meaning of Meaning. — London, (1923) 1956. — С. 296-336.
16. Malinowski B. Coral Gardens and Their Magic: A Study of the Methods of Tiling the Soil and of Agricultural Rites in the Trobriand Islands [Коралловые сады и их магия]. — London, 1935. — Том. 1 (The Description of Gardening [Описание садоводства]).
17. Malinowski B. Coral Gardens and Their Magic: A Study of the Methods of Tiling the Soil and of Agricultural Rites in the Trobriand Islands [Коралловые сады и их магия]. — London, 1935. — Том. 2 (The Language of Magic and Gardening [Язык магии и садоводства]).
18. Ogden C.K., Richards A.I. The Meaning of Meaning [Значение значения]. — London, (1923) 1956.
19. Paul H. Principles of the History of Language [Принципы истории языка]. — London, 1888 (английский перевод Prinzipien der Sprachgeschichte 1880 г).
20. Pisarkowa K. Językoznawstwo Bronisiawa Malinowskiego [Языковедение Бронислава Малиновского]. — Krakow, 2000.
21. Szymura J. Bronisiawa Malinowskiego etnograficzna teoria języka [Этнографическая теория языка Бронислава Малиновского] // Antropologia społeczna Bronisiawa Malinowskiego. — Warszawa, 1985 — С. 177-205.
22. Szczerbowski T. Sownik kiriwinski-polski [Киривинско-польский словарь] // Językoznawstwo Bronisiawa Malinowskiego. — Krakow, 2000. — Т. 2. — С. 115-339.
23. Szczerbowski T. Sownik polsko-kiriwinski [Польско-киривинский словарь] // Językoznawstwo Bronisiawa Malinowskiego. — Krakow, 2000. — Т. 2. — С. 343-417.
24. Szczerbowski T. Kiriwina. Język Wysp Trobrianda (gramatyka, siownictwo, typologia) [Киригина. Язык островов Тробриан (грамматика, лексика, типология). — Krakow, (в печати).
25. Szumska D. Znaczenie: enfant terrible semantyki i leksykografii [Значение: enfant terrible семантики и лексикографии] // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LIV, 1998. — С. 45-61.
26. The Story of a Marriage. The letters of Bronisiaw Malinowski and Elsie Masson. [История брака. Письма Бронислава Малиновского и Элси Массон]. Edited by Helena Wayne. — London and New York, 1995. — Volume 1.
27. van Dijk T. A. Badania nad dyskursem [Исследования дискурса]. — Dyskurs jako struktura i proces [Дискурс как структура и процесс]. — Warszawa, 2001. — С. 9-44.

## ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА ДВУНАДЕСЯТЫХ ПРАЗДНИКОВ В ЗЕРКАЛЕ ЦЕРКОВНО-ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ — ЛЕКСИКОГРАФИЯ В УСЛОВИЯХ ТОТАЛИТАРНОГО РЕЖИМА

Д. Пазио  
Варшава, Польша

«Православные праздники — это (...) летопись важнейших событий истории, и свод личностей, делавших эту историю и формировавших нравственные принципы, которые цементируют любое общество. Помните кровавую вакханалию первых десятилетий после Октябрьской революции. Причины ее крылись как раз в том, что общество лишилось этих нравственных принципов, выработанных вековой православной традицией» (10, с. 5-6) — так характеризуется значение праздников для русской нравственности в одной из издаваемых сейчас массово религиозных публикаций. В 90-ые годы заметными и легко ощутимыми стали попытки духовного возрождения России. «Современные россияне, уставшие от советской монотонной, нередко ядовитой, духовной пищи, открывают для себя пространство православной конфессии», — пишет в своей монографии И. Кожневска-Берчинска (20, с. 45). Одновременно обращается внимание на превращение веры в предмет моды, увлечения.<sup>1</sup> Подчеркивается, что некоторых к молитве и участию в службе склоняет суеверие, помогающее им решать проблемы повседневности. Не рассуждая о мотивах, побуждающих россиян к активному участию в религиозной жизни, следует подчеркнуть, что процесс духовного возрождения, начавшийся еще в 80-ые годы, был вызван, как утверждает в своей книге Ю. Смага, с одной стороны, банкротством коммунистической конфессии, с другой — необходимостью найти соратников перестройки. Процесс духовного возрождения сопровождался возвращением из пассивного запаса в активный религиозной лексики. Эта тенденция вызывает размышления о языке *sacrum*, о его зависимости от господствующего многие десятилетия тоталитарного режима, вмешивающегося в лексикографические труды, воспринимаемые властью как орудие борьбы с религиозным мировоззрением.

Исходя из основного положения теории языковой картины мира, утверждающего, что словарный состав языка на данном этапе его развития отражает определенную картину мира носителей этого языка, т.е. «зафиксированную в языке интерпретацию действительности в виде совокупности суждений о мире» (17, с. 110), в данном анализе мы попытаемся охарактеризовать языковую картину двенадцатых праздников, зафиксированную в толковых словарях на протяжении свыше шестидесяти лет (с 1935 по 1999 год) и выявить ее связь с изменениями — сдвигами и переломами, наблюдающимися во внеязыковой действительности — во взаимоотношении государства и церкви в это время.

Идеологические и политические позиции, с которых были вынуждены исходить ученые, повлияли на лексикографические труды. Симптоматичной кажется мысль, изложенная в предисловии к «Толковому словарю русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова: «История больших словарей показывает, что каждый из них является отражением классовых

интересов своей эпохи. Изучая словари, можно видеть, что привносилось в накопленное ранее богатство, что и как в нем перерабатывалось новым, завоевавшим господство классом. Выпускаемый теперь словарь — попытка отразить процесс переработки словарного материала в эпоху пролетарской революции...» (13). В 1992 году на зависимость работы лексикографов от господствующей идеологии обратила внимание Н.Ю. Шведова в предисловии к «Толковому словарю русского языка»: «... этот словарь полностью освобожден от тех навязывавшихся извне идеологических и политических характеристик и оценок именуемых понятий, которые в той или иной степени присутствовали в предыдущих изданиях ... и от которых ни авторы, ни редактор не в силах были освободиться» (7, с. 4). Долгое время словари сознательно использовались как средство пропаганды атеистической и социалистической идеологии.

Следует подчеркнуть, что не только лексикография исходила из политических и идеологических положений. В исторических исследованиях 60-70 годов искажался не только характер государственно-церковных отношений, но также общественная и культурологическая роль православной церкви. Партийный подход заставлял ученых рассматривать государственно-церковные отношения, а также роль и значение церкви с позиции *единственно правильного учения*. «Историография в унисон партийно-государственным декларативным заявлениям утверждала, что в СССР восторжествовала полная свобода совести, оправдывала атеистическую практику большевистской власти, предвзято опровергала зарубежные исследования, объявляла их фальсификаторскими» (4, с. 4). Только в конце 70-ых годов наметился некий отход от принципов антирелигиозного толка.

Анализируемый нами материал был почерпнут из толковых словарей русского языка, изданных после Второй мировой войны.<sup>2</sup> Хронологическая граница отбора словарей была принята в результате учета двух факторов. Во-первых, Великая Отечественная война кажется нам одним из самых существенных событий XX века, переломом в истории. Во-вторых, кажется, что «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова является первым существенно новым нормативным словарем, опубликованным в XX столетии. В ходе отбора словарей, из которых был почерпнут материал для анализа, применялись два формальных критерия: популярность и доступность публикации, а также количество фиксируемых словарем слов.

Первый из критериев, в некоторой степени прагматичный, повлиял на то, что мы учитываем, в основном, очередные издания «Словаря русского языка» С.И. Ожегова. Можно предполагать, что количество переизданий — стереотипных и исправленных, а также тираж, достигший нескольких миллионов экземпляров, дают основания для то-

го, чтобы считать этот лексикографический труд самым общедоступным нормативным толковым словарем русского языка. Использование в функции основного источника очередных исправленных и дополненных изданий словаря С.И. Ожегова дает также возможность определить механизмы, повлиявшие на модификации содержания дефиниций двенадцатых праздников.

Второй критерий — количество зафиксированных слов — является чисто формальным и обеспечивает рациональность сравнений подвергшихся анализу источников. Для просмотра были отобраны словари, охватывающие от 50 до 85 тысяч слов.

В ходе анализа мы использовали 11 словарей<sup>3</sup>, напр.: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова (Москва, 1935-1940), «Толковый словарь русского языка» в четырех томах (Москва 1957-1961), «Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения» под редакцией Г.Н. Складневской (Санкт-Петербург, 1998).

Попытаемся сравнить в анализируемых источниках отбор зафиксированных названий двенадцатых праздников, их толкование, помещенные в словарях примеры, иллюстрирующие употребление названий праздников в речи, систему помет, а также графику.

**Таблица 1** Частота фиксирования названий двенадцатых праздников в толковых словарях русского языка

| Названия двенадцатых праздников                       | Годы издания источников, из которых был почерпнут материал для анализа <sup>4</sup> |      |      |           |      |      |           |      |      |      |      |     |
|---|---|------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|------|------|-----|
|   | 1935-1940   | 1949 | 1952 | 1957-1961 | 1960 | 1972 | 1981-1984 | 1988 | 1992 | 1998 | 1999 |     |
| Рождество Христово                                    | X   | X    | X    | X         | X    | X    | X         | X    | X    | X    | X    | X   |
| Богоявление/<br>Крещение Господне                     | X/X   | -/X  | -/X  | -/X       | -/X  | -/X  | -/X       | -/X  | -/X  | X/X  | -/X  |     |
| Сретение Господне                                     | X   | X    |      |           |      |      | X         |      | X    | X    | X    |     |
| Благовещение<br>Пресвятой Богородицы                  | X   |      |      |           |      |      |           |      | X    | X    | X    |     |
| Преображение Господне                                 | X   |      |      |           |      |      | X         |      | X    | X    | X    |     |
| Успение<br>Пресвятой Богородицы                       | X   | X    |      | X         |      |      | X         |      | X    | X    | X    |     |
| Рождество<br>Пресвятой Богородицы                     |   |      |      |           |      |      |           |      | X    | X    | X    |     |
| Воздвижение<br>Креста Господня                        | X   |      |      |           |      |      |           |      |      |      | X    |     |
| Введение во храм<br>Пресвятой Богородицы              | X   |      |      |           |      |      |           |      |      |      | X    |     |
| Вход Господень в<br>Иерусалим/<br>Вербное воскресенье | -/X   |      |      | -/X       |      |      | -/X       |      |      |      | X/X  |     |
| Вознесение Господне                                   |   |      |      |           |      |      |           |      |      |      |      |     |
| День Святой Троицы/<br>Пятидесятница                  | X/X   | X/X  | X/-  | X/X       | X/-  | X/-  | X/X       | X/-  | X/-  | X/-  | X/-  | X/- |

#### I. Отбор названий двенадцатых праздников в анализируемых источниках

Анализ названий двенадцатых праздников в исследуемых словарях позволяет выделить две группы: первую, которая фиксируется во всех анализируемых пособиях и вторую, которая отмечается лишь в части источников. Кстати, критерий разделения названий на две выделенные выше группы не отражает внутренней иерархии двенадцатых праздников в учении православной церкви.<sup>5</sup> Можно предположить, что такой отбор является языковым подтверждением статуса популярности и важности праздников в общественном сознании. Итак, к первой группе принадлежат: *Рождество Христово*, *Крещение Господне* и *Троица*. Названия остальных праздников помещены нами во вторую группу, т.е. они фиксируются с разной частотой, которую трудно было бы охарактеризовать при помощи четких закономерностей.

Изучая отобранный материал, следует обратить внимание на увеличение (с 90-ых годов) количества фик-

сируемых в словарях названий двенадцатых праздников. К такому выводу приводит сравнение трех изданий «Словаря русского языка» С.И. Ожегова: во втором (1952) и четвертом (1960) изданиях фиксировались лишь 3 названия из 12, в издании 1999 года отмечается 9 названий, т.е. в три раза больше. Причину увеличения количества зафиксированных номинаций можно пытаться найти во внеязыковой действительности, в частности, в изменениях, наблюдаемых в отношении государства к православной церкви, а также в том, что начался процесс духовного возрождения общества, пытающегося вернуться к истине православия. Несомненно, в духовном обновлении большую роль сыграло празднование тысячелетия Крещения Руси, превратившееся в общегосударственный праздник. Важным моментом следует считать также встречу М.С. Горбачева с патриархом Пименом в апреле 1988 года, повлиявшую на изменение положения православной церкви в России. Конец

80-ых — начало 90-ых годов — это, кажется, конец эпохи гонений на церковь. Процесс нового осмысления государственно-церковных отношений является, по всей вероятности, результатом пересмотра и обновления подхода к освещению и восприятию отечественной истории, которые были непосредственным следствием смены государственно-го строя России, идеологии российского общества, а также исключением коммунистической партии из системы власти. Целесообразно подчеркнуть рост количества епархий (сегодня в Русской Православной Церкви их 128, в 1989 было 67), приходо-в (сегодня 19000, в 1988 — 6893), монастырей (сегодня около 480, в 1980 — 18).<sup>6</sup>

Увеличение количества зафиксированных в словарях названий двенадцатых праздников, несомненно, связано с неподцензурностью лексикографических трудов, а также с отказом от распространения официальной атеистической идеологии посредством словарей.

## II. Толкования названий двенадцатых праздников

Внеязыковые изменения отражены также на уровне дефиниций названий двенадцатых праздников. Характерная тенденция — это постепенное расширение словарных дефиниций, введение в первоначально «аскетические» толкования элементов энциклопедического описания, объясняющих события, легшие в основу установления каждого из праздников. Наблюдаемая склонность вписывается в начавшееся в 90-ые годы возрождение православной духовности и рост общественного интереса к православию. Примером могут здесь послужить дефиниции слова Сретение:

**1940** — один из так называемых двенадцатых праздников у христиан (2 февраля по старому стилю; церк.);

**1949** — христианский праздник встречи Христа, отмечаемый 2 (15) февраля;

**1981** — церк. один из так называемых двенадцатых праздников православной церкви (15 февраля);

**1992** — [С прописное] один из двенадцати основных православных праздников в память о том, как праведник Симеон встретил у дверей храма Марию и Иосифа, несущих младенца Иисуса на руках для посвящения Богу;

**1998** — [С прописное] один из двенадцатых православных праздников, отмечаемый 15 февраля (2 февраля по старому стилю) в память о евангельском событии: встрече младенца Иисуса со старцем Симеоном, предсказавшим, что Иисус будет спасителем людей;

**1999** — [С прописное] один из двенадцати основных православных праздников в память о том, как праведник Симеон встретил у дверей храма Марию и Иосифа, несущих младенца Иисуса на руках для посвящения Богу.<sup>7</sup>

Изменения, наблюдаемые в дефинициях интересующих нас названий, не ограничиваются лишь их постепенным расширением и введением элементов энциклопедического описания. В 90-ые годы исчезают из дефиниций оценочные формулировки, например: «так называемый» (Сретение, 1940, 1981)8, «церковный праздник — день смерти бо-

городицы, приуроченный в соответствии с евангельской легендой к 15 августа» (Успение, 1949), «христианский праздник рождения мифического Христа» (25 декабря) (Рождество, 1952), «христианский зимний праздник, посвященный рождению мифического основателя христианства — Христа» (Рождество, 1981).

Следует также обратить внимание на введение в дефиниции формулировок, характерных для стиля Священного Писания, например: «благая весть» (Благовещение, 1998), «вознесение на небо» (Вознесение, 1992, 1999).

## III. Примеры употребления

Вышеопределенные тенденции равнозначны отражению в словаре роста роли и духовных функций православия. Они нашли свое выражение также в приводимых в анализируемых словарях примерах употребления интересующих нас названий. Но на уровне примеров употребления эта закономерность представлена с меньшей интенсивностью, чем в дефинициях. Анализируя примеры употребления, можно обнаружить стремление к помещению в словарях, изданных в 90-ые годы, иллюстраций, непосредственно относящихся к связанной с праздниками традиции, напр.: «На шестой неделе Великого поста перед Пасхой праздник Благовещения. Праздник этот строгий, работать ни-ни! В тот день птица гнезда не вьет, девка косу не плетет...» (Благовещение, 1998); «Сегодня 27 января на Святой Руси отдание праздника Богоявления, или Крещения Господня. В этот день, почти две тысячи лет тому назад, Сам Господь-Вседержитель засвидетельствовал человечеству, что Иисус из Назарета — воистину Сын Божий.» Сов. Россия, 27. 01. 96 (Крещение, 1998).

## IV. Система помет и графика

В анализируемых словарях вводится лишь несколько помет, определяющих сферу употребления: церковное, в религиозных представлениях, в христианстве, в религиозно-мистических представлениях. Следует обратить внимание на то, что лишь последняя помета характеризуется оценочным оттенком, берущим под сомнение реальность толкуемых в дефиниции понятий, остальные пометы ограничиваются определением сферы употребления названия.

Симптоматично, что в 90-ые годы в словарях зафиксировано написание с прописной буквы всех названий анализируемых нами праздников.

На основе краткого анализа названий двенадцатых праздников можно попытаться охарактеризовать их языковую картину. Внимание привлекает совпадение количества интересующих нас названий, зафиксированных в трудах, изданных в 30-ые и 90-ые годы. В отличие от словарей, опубликованных с 1949 по 1988, фиксирующих в среднем 4,4 названия, в «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова (год издания 1935-1940) их зафиксировано 11, а в словарях, изданных в 90-ые годы, в среднем 10.

Внимание привлекает также графика. Лишь в словаре под редакцией Д.Н. Ушакова и словарях 90-ых годов вводятся прописные буквы в написании названий двенадесятых праздников.

Два вышеизложенные фактора не дают однако оснований для того, чтобы говорить о полном совпадении языковой картины двенадесятых праздников, которая рождается в результате анализа толковых словарей 30-ых и 90-ых годов. Основным элементом, препятствующим такому суждению, является существенное расхождение в дефинициях значений, в том, какая роль придается названиям праздников в словарях 30-ых и 90-ых годов. В «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова большинство дефиниций не содержит основных данных, необходимых для идентификации называемого праздника. Типичная дефиниция ограничивается общей формулировкой. Толкования, помещенные в словарях 90-ых годов, вводят подробные объяснения и детали, позволяющие без затруднений идентифицировать называемый праздник. Эти существенные расхождения в способе толкования интересующих нас праздников в словарях 30-ых и 90-ых годов обращают наше внимание на то, что отмеченное выше сходство, относящееся к графике и количеству зафиксированных единиц, имеет второстепенный, а может быть, даже случайный характер и не свидетельствует о совпадении языковой картины двенадесятых праздников в 30-ые и 90-ые годы. С другой стороны, симптоматичным кажется то, что оба периода, т.е. 30-ые и 90-ые годы, характеризуются усиленным интересом общества к религии. Следует подчеркнуть факт, на который ссылается много исследователей: «перепись 1937 года, в которую включен был и вопрос о религиозных убеждениях, обнаружила, что 2/3 сельского населения, составлявшего тогда большинство, и 1/3 городского продолжают считать себя верующими» (15, с. 105). Но, как подчеркивает Д.В. Поспеловский, «советские данные о религии и атеизме за эти годы не внушают доверия. Так, например, в одном из документов говорится, что в 1929 году атеисты составляли не больше 10% населения страны, в другом число атеистов в 1930 году определяется в 65%, а в третьем приводится цифра в 98,5%. Цифры эти явно вымышленные» (8, с. 165). Более того, Д.В. Поспеловский пишет, что «в одном из советских источников содержится признание, что «в тридцатых годах патриаршая Церковь начала расти». Это подтверждает и секретный внутренний доклад Союза воинствующих безбожников, в котором говорится о новом религиозном подъеме в 1929-1930 годы» (8, с. 166). Ситуация 30-ых годов кажется особенно сложной с точки зрения нашего анализа. Несмотря на подтвержденное переписью 1937 года значительное количество верующих, этот период характеризовался ужесточением репрессий против православной церкви. Достаточно вспомнить, что в 1934 году возобновлены были массовые закрытия храмов, аресты,

ссылки священнослужителей и деятельных прихожан. Не миновали церкви также репрессии террора 1937-39 годов. Это противоречие — с одной стороны, ожесточенная политика властей по отношению к церкви, с другой, довольно большой процент верующих — нашли, кажется, свое отражение также в словаре. Поэтому трудно было бы считать модельным отражение внеязыковых отношений церкви и государства в языковой картине двенадесятых праздников, зафиксированной в «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова.

В словарях, изданных в промежутке времени 1949-1988, ограничивается количество зафиксированных названий двенадесятых праздников, которым не уделяется особое внимание. Это ограничение отражает тенденцию к устранению из толковых словарей религиозной лексики, которая из-за отрицательного влияния политических и социальных факторов на лексикографов принадлежала к *замкнутым понятийным сферам*. Языковая картина двенадесятых праздников, зафиксированная в анализируемых пособиях, изданных с 1949 по 1988 год, совпадает с внеязыковой действительностью, с целеустремленным пропагандированием доктрин атеизма посредством словаря. Следует здесь обратить внимание на несколько переломных моментов этого периода, характеризующих государственно-церковные отношения. В постановлении от 7 июля 1954 года «О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения» подчеркивалась необходимость продолжения активной атеистической пропаганды. XX съезд КПСС и июньский Пленум ЦК КПСС 1957 года привели к усилению борьбы с религией. Церкви был навязан образ *идеологически чуждого социализму и коммунизму явления*. В конце 50-ых годов печать заполнилась антирелигиозными статьями. «Постановлением ЦК КПСС «О мероприятиях по усилению атеистического воспитания населения» 1964 года в приказном тоне давался план на преодоление религиозного сознания, предполагалось создание Института научного атеизма и специализации по атеизму в высших учебных заведениях» (4, с. 7). Лишь оттепель в сфере отношений государства к религии, которая стала заметна в начале 80-ых годов, повлияла на то, что словари, изданные в 90-ые годы, уделяют значительно больше внимания двенадесятым праздникам, подробно их толкуют, приводят примеры употребления названий. Кроме того, почтенное отношение к этим праздникам отражается в графике — с 90-ых годов те и другие «религиозные» названия стали писаться с прописной буквы.

Суммируя сказанное, целесообразно отметить, что тотальная идеологизированность всегда отражается в языке, искажая его и переименовая. Следовательно, отказ от канонов *единственно правильного учения* создает возможность вернуться к семантической подлинности уже на уровне лексикографических пособий.

**ПРИМЕЧАНИЯ**

1. Ср. напр. Korzeniewska-Berczynska J. Образ человека в континууме публицистики. — Olsztyn, 2001 — С. 52: «Религиозность становится более или менее насильственно насаждаемой модой: «Вера в Бога и участие в публичных молебнах стали новой версией партбилета...».
2. За исключением «Толкового словаря русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова, который издавался с 1935 по 1940 год. Учитывая значение этого пособия для разработки «Словаря русского языка» С.И. Ожегова, целесообразным кажется его включение в анализируемую группу источников.
3. Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова — М., 1935-1940; Словарь русского языка / Сост. С.И. Ожегов — М., 1949 (первое издание); Словарь русского языка / Сост. С.И. Ожегов — М., 1952 (второе издание); Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М., 1960 (четвертое издание); Словарь русского языка в четырех томах. — М., 1957-1961; Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М., 1972 (девятое издание); Словарь русского языка в четырех томах. — М., 1981-1984; Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М., 1988 (двадцатое издание); Ожегов С.И. Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. — М., 1992; Толковый словарь русского языка конца XX в. Языковые изменения / Под ред. Г.Н. Складневской. — СПб., 1998; Ожегов С.И. Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. — М., 1999.
4. Библиографические данные анализируемых пособий — ср. ссылку номер 3. Символом «X» в таблице обозначено то, где название двенадцатого праздника данным источником отмечается, символом «-» — его отсутствие.
5. Двенадцатые праздники, согласно учению Православной церкви, не подразделяются на группы.
6. Ср. официальная интернет-страница Русской Православной Церкви — <<http://www.orthodox.org.ru>>.
7. В остальных анализируемых источниках название этого праздника не фиксируется.
8. В скобках указывается год издания источника, из которого был почерпнут материал для анализа; ср. ссылку номер 3.

**БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК**

1. Азбука христианства. Словарь-справочник важнейших понятий и терминов христианского учения и обряда / Сост. А. Удовенко. — М., 1997.
2. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык. — М., 1987.
3. Книга о церкви. — М., 1998.
4. Кривова Н.А. Власть и Церковь // Международный исторический журнал. — 1999. — № 1-4. (<<http://history.machaon.ru>>.)
5. Куренной В. Власть и церковь: мотивы и перспективы сближения // Отечественные записки. — 2001. — № 1. — С. 49-65. (<<http://www.strana-oz.ru>>.)
6. Ожегов С. И. Словарь русского языка. — М., 1960, 1972, 1988.
7. Ожегов С. И. Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. — М., 1992, 1999.
8. Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в XX веке. — М., 1995.
9. Православный библейский словарь / Под ред. К.И. Логачева. — СПб., 1997.
10. Православные праздники / Сост. Г. Крылов. — СПб., 1999.
11. Словарь русского языка / Сост. С. И. Ожегов. — М., 1949, 1952, 1960.
12. Словарь русского языка: В 4 т. — М., 1957-1961, 1981-1984.
13. Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. — М., 1935-1940.
14. Толковый словарь русского языка конца XX в. Языковые изменения / Под ред. Г.Н. Складневской. — СПб., 1998.
15. Цыпин В. История Русской Православной Церкви. 1917-1990. — М., 1994.
16. Шипов Я. Православный словарь. — М., 2000.
17. Bartminski J. Punkt widzenia, perspektywę, językowy obraz świata // Językowy obraz świata. — Lublin, 1990. — С. 109-127.
18. Gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego. — Warszawa, 1987. — Ч. 2. Zmarzer W. Leksyka. Słowotworstwo.
19. Korzeniewska-Berczynska J. Новации в языковой картине мира российского человека. На основе современных публицистических текстов — Olsztyn, 1996.
20. Korzeniewska-Berczynska J. Образ человека в континууме публицистики. — Olsztyn, 2001.
21. Pazio D. Obraz językowy ustroju społeczno-politycznego w Słowniku języka rosyjskiego S. I. Ozegowa // Przegląd Rusycystyczny. — 1995. — Кн. 1-2. — С. 67-71.
22. Smaga J. Narodziny i upadek imperium. ZSRR 1917-1991. — Krakow, 1992.



## ДВОР В ПОЛЬСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ. КУЛЬТУРНЫЙ РЕЛЯТИВИЗМ В ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА

Н. Ярош  
Люблин, Польша

Перевод поэзии — это отнюдь не простая задача не только вследствие версификационной специфики поэтических произведений, но также ввиду сосуществования разных типов рациональности, которые организуют данную поэзию и имеют определенное влияние на ее переводы на иные языки. Эти же типы рациональности общественного мышления, характерные для каждого отдельного языка, обусловлены как культурными факторами того или иного общества, так и историей данного народа, последовательно детерминирующими его культуру и обычаи. Поэтому не всегда представляется возможным соблюдать точность и непосредственность подлинника. Следовательно, существенным здесь является вопрос о пределах переводимости поэтического текста, который особенно будет нас интересовать в настоящей статье, и далее — об эквивалентности поэтической образности в процессе предпринятия попытки перевода стихотворения на другой язык.

Существуют разные мнения, касающиеся степени переводимости артистических текстов, начиная от наиболее оптимистических, таких, как известное суждение Якобсона, утверждающего, что: *всяческий добываемый нами познавательный опыт и его классификацию можно воспроизвести в каждом существующем языке* (1, с. 234), вплоть до пессимистических, указывающих как на неконгруэнтность грамматических средств выражения в разных языках, так и на абсолютную неперевоаемость игры слов и базирующихся на них анекдотов (см.: 7). Однако меня будет интересовать когнитивный способ подхода к проблеме перевода поэзии, в котором главное внимание уделяется методологической необходимости эмпирического взгляда и вытекающему из него положению о том, что структура языка совпадает со структурой человеческого познания, и это познание базируется на набытом (либо набываемом) опыте (7, с. 38). И далее — согласно теории прототипов Taylora — этот же интеллектуальный опыт, упорядоченный посредством определенных стандартов-образцов, образует основу для формирования в данном языке понятий, на которые непосредственное влияние оказывают чувственные, эмотивные и кинестетические восприятия человека (2, с. 50). Естественно, создаваемые таким образом понятия посредственно воздействуют на формирование определенных представлений об окружающем нас мире, которые *«первоначально... рождаются в результате непосредственной чувственной стимуляции, оказываемой на нас средой (либо окружением), однако по мере естественного прироста багажа индивидуального опыта усвоенные нами знания подлежат упорядочению в систему познавательных структур, зафиксированных в памяти и способных в наших мыслях воспроизвестись в произвольном моменте, что оказывает непосредственное влияние на определение нашего поведения. Такого рода представления поддаются конвенционализации, а*

*это значит, что в процессе общественного самонаблюдения их элементы затушевываются, а в памяти остается лишь то, что соответствует системе «общих знаний», характерных для данного общества* (7, с. 44). Из вышесказанного следует, что лексика данного языка, детерминированная такого рода процессом познания и восприятия окружающего нас мира, и прежде всего общества, которое нас «воспитывает», является неповторимой и по существу дела отличной по отношению к другим языкам. Поэтому в ходе перевода поэтического текста существенным оказывается осознание переводчиком факта, что *«каждое выражение вытекает из выбора, совершенного говорящим среди репертуара предлагаемых данным языком средств, при чем этот выбор заключается в подборке произвольного количества элементов либо структур»* (7, с. 41), и далее — осознание и **распознавание** переводчиком как в языке подлинника, так и в языке «назначения» на уровне поэтической образности тонких языковых деталей, как бы погруженных в бытовую действительность потребителей тех же языков и мотивированных их культурно-историческим различием. Именно здесь, как мне кажется, появляется проблема переводческой эквивалентности, которая подчиняет себе как пространство зачастую индивидуальных авторских коннотаций, определенных понятий, функционирующих в данном поэтическом тексте, так и объем совместных, общих для данного общества ментальных постижений (речь идет об историческом, политическом и культурном опыте этого же общества). Следовательно, считаю обоснованным утверждать, что пределы переводимости являются относительными. Согласно суждениям E. Tabakowskiej, неэквивалентный перевод может быть результатом либо непонимания переводчиком текста подлинника, либо также *«объективной невозможности совмещения двух разных, неконгруэнтных относительно самих себя понятийных систем»* (7, с. 163). Эту проблему можно решить, по моему мнению, с помощью применения в процессе перевода поэтического текста ментальных (образных) или селективных (лексических) языковых эквивалентов.

В настоящей статье я хотела бы проиллюстрировать сказанное выше на примере стихотворения Б. Окуджавы «До свидания, мальчики», а конкретно на основе семантического и формального анализа русской лексики двор (с подробным учетом семантически-культурной структуры целого текста подлинника) и его польских текстовых эквивалентов *park miejski* (городской парк), *sad* (сад) и *podworko* (дворик), находящихся в переведенных на польский язык поэтических текстах авторства W. Dąbrowskiego и D. Wawilów. Однако прежде чем я перейду к непосредственному сравнительному анализу семантики двора и польских текстовых соотношений *park miejski*, *sad* и *podworko*, я хотела бы внимательней присмотреться к смысловой

сфере, в пределах которой польский и русский языки располагают двумя существенными для заявленной здесь проблемы понятиями: пол. *dwor* и рос. *двор*. Итак, в результате проведенного мною подробного просмотра польских и российских словарей мне удалось выделить следующие общие данным языкам понятийные сферы<sup>1</sup>, детерминирующие в определенной мере существование вышеуказанных лексем:

**1.** Пространство, окружающее дом; место под голым небом, напр. *wyjsc na dwor, zł a pogoda na dworze, chciec [wyjsc] na dwor* ('по нужде') и соответственно [пребывать] *на дворе, на дворе плохая погода, хотеть/идти на двор*;

**2.** Имение вместе с хозяйственными и жилищными постройками, а также проживающие в нем люди, владельцы, администрация, служба и т.п.; хозяйство, напр. *slu życ we dworze, do dworu oplacac daninę, dwor budzi się, psy w hałas, w krzyk stroże*; белый двор ('хозяйство, которое не платит налогов'), птичий двор ('хозяйство, где выращивают птицу'), в колхозе сто дворов, а также официальный текст, датированный 1657 годом: «А пересмотря велель переписать на коннюшенном и воловьемъ дворехъ лошади и коровы и всякую мелкую животиину».

**3.** Наименования некоторых учреждений, ведомств, предприятий, напр. *dwor panski, монетный двор* ('фабрика, где изготавливают монеты'), *денежный двор, тюремный двор* ('тюрьма и пространство вокруг нее'), *почтовый двор* ('почта').

**4.** Местопребывание, замок властвующего или магната; окружение властвующего или магната; его семья, дворяне, придворная служба, свита и т.д., напр. *dwor szlachecki, dwor krolewski, radca dworu, dama dworu* и соответственно *дворянское поместье, королевский двор, надворный советчик, придворная дама*.

Конечно, представленные выше понятийные сферы, составляющие семантический диапазон польской и русской лексемы *двор*, я оговорила здесь в общих чертах, поскольку принятие мною такого решения было обосновано необходимостью показать четкие дефиниционные и интерпретационные сходства тех же лексем в данных языках. Однако особенно интересным представляется размещение этих понятий в следующей понятийной области:

— 'дом владельца имения, жилище помещика'

(J. Karłowicz, т. 4, с. 598)

— 'дом, жилище' (В. Dunaj, с. 208).

В аналогичной понятийной сфере фиксируется *двор* в русском языке:

— '... в деревнях, дом, изба...' (В. Даль, с. 434).

Внесемантическим фактором, обуславливающим процесс идентифицирования польского и русского *двора* с понятием 'дом', является аспект понятиого в общем пространственного ограничения, поскольку дом в таком понимании — это 'постройка, имеющая стены, потолок, пол и т.п.'. Однако дефиниция рус. *двора*, которую фиксирует вышеуказанный словарь В. Даля, предусматривает также такой семантический аспект как '... семья, с жильем своим', который четко подчеркивает социолого-психологическую сторону идентификации российской лексемы

*двор* с определенной семейной общностью, всем привычным, т.е. тем, 'что является МОИМ и/либо НАШИМ', и далее — обществом. Подтверждение этому мы найдем в богатой русской фразеологии, касающейся именно такого понимания *двора*, которая зачастую выдвигает на первый план признак близости, принадлежности к чему/кому-либо, что является МОИМ / НАШИМ, напр. *разойтись по дворам, ко дворам, жить с кем двор обо двор, взять зятя во двор, не пустить к себе во двор, прийти ко двору*, а также отвержение чего-либо (кого-либо), что кажется враждебным, неприязненным, НЕ МОЕ / НАШЕ, т.е. то, что способно уничтожить тепло домашнего очага, ввести определенный хаос, напр. *прогнать со двора, не прийти ко двору*, в то время как для польского языка типичны следующие языковые конструкции: *fora ze dworu* ('требование немедленного покидания кем-либо какого-то места'), а также *swoim dworem życ* ('т.е. своим способом, как мне только хочется') (здесь тоже: пословица о супругах — *żyje, każde swoim dworem*, т.е. жить отдельно, каждый поступает так, как ему нравится). Приведенные выше польские фразеологизмы подчеркивают в своей функциональной структуре признак типа 'далекий, оставленный позади, обособленный, отчужденный, находящийся как будто снаружи — ВНЕ ТОГО, ЧТО является МОИМ'. По моему убеждению, такого рода периферийное положение польского *двора* в пределах общепринятого понятия *дом* (с его символическим смыслом — 'безопасность, убежище от хлопот и забот, приют') обусловлено, прежде всего, пониманием современными поляками интересующей нас лексемы, во-первых, как 'местопребывание, замок властвующего или магната; окружение властвующего или магната; его семья, дворяне, придворная служба, свита и т.д.' (*krolewski dwor* — *королевский двор*), во-вторых, как 'имение вместе с хозяйственными и жилищными постройками, а также проживающие в нем люди, владельцы, администрация, служба и т.п.; хозяйство' (а именно: 'имение *дворянского сословия*').<sup>2</sup> Отсюда *двор* в польском языке «носит» главным образом европейский характер, а следовательно, не является 'СВОЙСКИМ, непринужденным, привычным, простым, добрым'. Этот смысловой аспект пол. *двора* подчеркивают также словарные значения прилагательного *dworny / dworski* (*светский*):

**1)** принадлежащий двору, касающийся двора;

**2)** изысканный, эlegantный, образованный, умеющий вести себя в обществе, любезный, совершенный;

**3)** коварный, двуличный, хитрый, излишний (5, с. 295).

Поэтому «эlegantность и даже определенное удовольствие (смысловой диапазон слова *dworski* (светский) в целом является положительным), которые дает нам пребывание «при дворе», не могут сочетаться с удовольствием, и прежде всего благом, вытекающим из пребывания дома» (5, с. 295). И хотя многими польскими поэтами (Rej, Go rnicki, позднее — Mickiewicz) уже в XVI веке были приняты попытки отождествления двух понятий

двора и дома, однако разница между их номинальными значениями является существенной, что обусловлено как этимологией данных лексем, так и языковыми нравами.

Обобщая сказанное, можно утверждать, что семантика русского двора формируется не только в смысловом диапазоне функционально понятого дома, но идет далее — охватывает понятия типа семья, социальная община, которые определяют некоторые этические ценности и сохраняют собственное бытовое и культурное своеобразие. В такой плоскости формируется, по моему мнению, двор Булата Окуджавы в стихотворении «До свидания, мальчики». Существенным здесь является воспроизведение структуры текста подлинника. Итак, стихотворение имеет состоящую из двух частей форму: первая часть адресована молодым парням, которые должны были преждевременно повзрослеть, покинуть детские игры, «оставить» в стороне юные мечты и в одних моментах пойти на войну; вторая часть обращена к девушкам, которые вынуждены были отдать «младшим сестрам... ненужные им уже белые платья» (9, с. 39), переносить превратности судьбы, страдание и боль в сомнительном ожидании возвращения своих любимых. Обе части произведения подчинены своего рода непосредственной главной мысли-обращению лирического субъекта, которым является сам Булат Окуджава, к этим молодым людям, чтобы они постарались вернуться домой — К НАМ:

*До свидания, мальчики!  
Мальчики,  
постарайтесь вернуться назад.*

И хотелось бы прямо спросить, чем для Б. Окуджавы является понятие МЫ? Итак, ключ к разгадке заключается в тогдашней российской культуре общезития, коллектива, т.е. понятии совместного соседского сожительства, когда существенным оказывается припоминание картины сохнувшего белья, лавочек, на которых собираются посплетничать женщины, дворника Алима и его желтых от сигаретного дыма усов, танцующих пар (ср. стихотворение Б. Окуджавы «Король»), причем надо помнить о том, что культура русского двора была перенесена из деревни в город. Существенным является также осознание нами того факта, что Окуджава описал именно такой двор, каким он его помнил со времен своего детства:

*Упрямо я твержу с давнишних пор:  
Меня воспитывал арбатский двор,  
Все в нем, от подлого до золотого...  
На фоне непросохшего белья,  
Руины человеческого жилья,  
Крутые плечи дворника Алима...  
(«Арбатское вдохновение, или  
воспоминание о детстве»)*

Поэт создавал картину российского двора, с одной стороны как четко ограниченного, замкнутого, а с другой — открытого, широкого, просторного пространства: именно там мальчики играли в футбол, мужчины отдыхали, играя в шахматы, женщины обсуждали семейные дела. Стоит заметить, что для Окуджавы Россия была

символом степи, простора, свободы, таким же был для него арбатский двор, поскольку поэт являлся городским человеком, который находил свое место именно на московском дворе, и далее — на Арбате, непрерывно странствуя по его переулкам. В таком понимании двор Окуджавы приближается по своему смыслу к понятию улицы, так как, по словам А. Мандлиана, улица воспитывала российского барда. Однако я хотела бы обратить внимание читателя на то, что улица у Окуджавы является как символом ничем неограниченного пространства, свободы и, прежде всего, шумных детских игр, так и тем, что принадлежит МНЕ. Для правильной интерпретации русского двора существенным оказывается принятие во внимание четкой оппозиции типа двор ↔ улица (т.е. МОЕ ↔ ЧУЖОЕ), которую подчеркивают также словари русского языка, причем лексема улица размещается в ином понятийном диапазоне типа 'то, что находится вне дома, что является шумным, крикливым, перенаселенным, беспокойным, поспешным'. Следовательно, слово улица, понимаемое таким образом, коннотирует отрицательные признаки и представляется чуждым поэзии Булата Окуджавы.

В стихотворениях Окуджавы присутствует картина-символ — «арбатство, растворенное в крови», к которому поэт возвращается не только в воспоминаниях, но более того, утверждает, что:

*Упрямо я твержу с давнишних пор:  
Меня воспитывал арбатский двор...*

Русский двор становится для поэта микрокосмосом, некой человеческой общностью, которая формирует личность человека, отражая при этом внешние законы «высшего широкого света» и одновременно сохраняя свое своеобразие. Она является чем-то высоко суверенным и, что очень важно, — чем-то, что дает начало человеческой жизни, делает возможным первый контакт с миром, людьми:

*Что мне сказать? Я только лишь пророс.  
Еще далече до военных грез.  
Еще загадкой манит подворотня.  
Еще я жизнь сверяю по двору  
И не подозреваю, что умру,  
Как в этом не сомневаюсь я сегодня.  
(«Арбатское вдохновение, или  
воспоминание о детстве»)*

Двор Окуджавы — это символ некой сосуществующей и сотворяющей общности, которую поэт отождествляет с чем-то, что является МОИМ → НАШИМ, и в конечном итоге с определенного рода пристанью, и далее — метафизически понимаемым ДОМОМ. В этом контексте легко интерпретировать внезапно появляющуюся на московском дворе тишину, когда мальчики уходят на войну:

*Ах война, что ж ты сделала подлая:  
Стали тихими наши дворы,  
Наши мальчики головы подняли —  
Повзрослели они до поры...  
И ушли,  
За солдатом — солдат...  
(«До свидания, мальчики»)*

Неожиданно бурлящая жизнь московского двора, суматоха мальчишеских игр утихает. Двор опустел, юноши и девушки ушли на войну. Чувство пустоты усиливает российский глагол *помаячить*, который открывает место коннотации<sup>3</sup> типа 'бранный ход времени, недолговечность'. А ведь в следующей строке поэт обращается к юношам:

*До свидания, мальчики!  
Мальчики,  
постарайтесь вернуться назад.*

Об этом просит Окуджава также девушек, причем его просьба разрастается до пределов символа — это призыв, обращенный ко всем ушедшим на войну, чтобы победили и возвратились домой, в мир новых надежд, в свои дворы, которые вновь закипят жизнью. Однако поэт непрерывно преследует сознание разрушительной силы войны, которая этот ДОМ уничтожила. Поэтому двор является домом руин и не дает чувства стабильности, безопасности. Он представляется безвозвратно утраченной Аркадией, которую разрушила война и которая может к нам возвратиться только как мечта, миг ведь «Арбат — это миг», утверждает А. Mandalian:

*Что мне сказать? Еще люблю свой двор,  
Его убогость и простор  
И аромат дешевого обеда...  
Что мне сказать? На все готов я был.  
Мой страшный век меня почти добил,  
Но речь не обо мне — она о сыне...  
И то, что я когда-то потерял,  
Он в воздухе арбатском обнаружил.  
(«Арбатское вдохновение, или  
воспоминание о детстве»)*

Когда я разговаривала с А. Mandalianem, я хотела увидеть русский двор таким, каким его постигает пользователь русского языка, имеющий естественно укорененное сознание культуры и нравов своего народа. Итак, двор (базируясь на первой ассоциации) представляется как картина, которую составляют следующие элементы: газоны, лавочки, постель и белье, дети играющие в футбол, катающиеся на велосипедах, танцующие пары и т.п. И тогда я задала вопрос переводчику стихотворений Окуджавы, знакома ли такая понятийная модель русской лексемы польскому читателю? Оказалось, что двор, функционирующий в контексте российской традиции, чужд польской языковой и мировоззренческой действительности. Следовательно, к понятию московского двора нужно относиться как к «визуально-языковому отображению определенного универсума (либо его части), существующего вне произведения» (4, с. 35). Отсюда вытекает, что «картина является своего рода коммуникационным мостом между автором и потребителем» (4, с. 35), и потому мы встречаемся с трудностями при попытке верного, дословного перевода данного подлинника, и далее — воспроизведения или даже приближения его к иноязычному читателю, держащему в руках переведенный текст, той, скажем, поэтической картины, которая содержится в оригинале. Следовательно, сложной задачей является перевод бытовой и культурной специфики русской лексемы двор на польский

язык. Однако я не хотела бы сильно преувеличивать, говоря о культурном отличии двух народов (все-таки мы имеем дело со славянскими языками). Но все же в польских переводах я не нашла дословных эквивалентов русской лексемы двор, однако встретила с диаметрально противоположными в семантическом отношении текстовыми соотношениями типа *podworko* (дворик) («Do widzenia, chłopcy», перевод D. Wawilow), *park miejski* (городской парк), *sad* (сад) («Do widzenia, chłopcy», перевод W. Dąbrowskiego).

Обратимся теперь к лексеме *podworko* (дворик), зафиксированной в первом польском переводе авторства D. Wawilow. Словарь польского языка определяет данное слово как 'площадка, зачастую огороженная, окружающая дом, составляющая среди построек определенную целостность; двор' (M. Szymczak, т. 2, с. 755) и размещает его в понятийной сфере лексемы двор типа 'пространство окружающее дом; место под голым небом'. Переводчица в тексте создает модель открытого пространства, призывая картину игровой площадки, и в своей интерпретации идет далее — воспроизводит перспективу *podworka* (дворика) как места, где играют дети, территории, где господствуют приятельские отношения, молодость, незрелость (ср. «...wrzawa wesola podworek» / «веселая суматоха дворика»). Существенно здесь отождествление *podworka* с определенной общностью молодых людей, формальным показателем которой является личное местоимение MbI:

*... Do widzenia, dziewczęta,  
dziewczęta,  
postarajcie się do nas powrocic.*

Эта картина веселой ребячей суматохи внезапно нарушается — приходит война:

*Wojno, wojno, cos ty, podla, zrobila!  
Ścichła wrzawa wesola podworek,  
Nasi chłopcy włożyli mundury,  
W kilka dni jakby lat im przybyło...*

и *podworko* замолчало, прекратились общие игры, прервались приятельские отношения. Автор перевода придерживается подлинника, также состоящего из двухчастной стихотворной формы, однако в польском тексте модель дворного мира отличается от модели двора Окуджавы. Двор Окуджавы отождествляется с некой общностью, социальным обществом, которое нужно воспринимать как определенного рода семью. Это же общество является (как я уже замечала) глубоко суверенным в нравственном и культурном отношении — здесь рождаются семейные и братские узы, ср.:

*Во дворе, где каждый вечер все играла радиоло,  
Где пары танцевали, пыля,  
Ребята уважали очень Леньку Королева  
И присвоили ему званье короля.  
Был Король, как король, всемогущ.  
И если другу  
Станет худо и вообще не повезет,  
Он протянет ему свою царственную руку,  
Свою верную руку, и спасет.*

И наконец, русский *двор* — это метафизически понятый дом, хотя и утраченный, но все же существующий в менталитете россиян. В то время как *podworko* D. Wawijow является местом приятельской общности, лишь игровой площадкой, где чувства и товарищеские связи ослабевают, и поэтому они непрочны, ненадежны. Московский *двор* Окуджавы устойчив и крепок. Следовательно, мы имеем дело с двумя разными моделями отображения одного и того же визуально-языкового универсума, каким оказывается русское понятие *двор*. Добавлю только, что выделение сходств и отличий, существующих между русской лексемой *двор* и польским словом *podworko*, зависит от выбора смыслового контекста, в котором употребляются вышеуказанные лексемы. Решающее значение здесь имеет интуиция переводчика, поскольку она подсказывает ему, как максимально приблизиться к данному универсуму — смыслу подлинника, который естественным образом затушевывается в другом языке.

Поэтому поэтическая интуиция W. Dąbrowskiego помогла ему решиться на замену российского слова *двор* (фигурирующего в оригинале) лексемами *park miejski* (городской парк), *sad* (сад). Надо заметить, что эти словесные определения не умещаются в диапазоне ни одной из известных нам понятийных сфер *двора*. Подтверждают это также словари польского языка:

— парк — 'большой сад, сделанный искусственным методом либо с помощью натуральных природных условий, с аллеями и прогулочными дорожками, а также с иными элементами, вносящими разнообразие в пейзаж, напр. фонтаны, мостики и т.п.; прогулочный сад' (Dupał, с. 721).

— сад — 'фруктовый сад;... всяческий парк' (J. Karłowicz, т. 6, с. 2).

Переводчик старается приблизить картину российского двора посредством выбора таких коннотаций польских *парка* и *сада*, как 'спокойствие и вместе с тем веселье, хорошее настроение, отсутствие опасности, отдых, психическая и физическая разрядка'. Мы ведь идем в парк (реже в сад) на прогулку, там встречаемся с нашими знакомыми, беседуем с ними и просто отдыхаем. Такого рода селекция среди прочих польских лексических единиц позволяет автору перевода на визуально-ассоциативное воспроизведение внешнего вида типичного московского двора (ср. пол. *парк / сад* и *двор* — зелень, газоны, лавки, беседующие люди). Более того, *парк / сад* Dąbrowskiego является моделью некоей людской общины, к которой после войны должны возвращаться молодые парни и девушки:

... *dziewczyny,*  
*na miły Bog,*  
*wroccie do nas, jeżeli się da.*

И далее, переводчик выбирает из образа *двора* те признаки, которые помогли бы раскрыть польскому читателю сущность данного понятия посредством осознания тем же читателем сути самой России — свободной, просторной, широкой. Dąbrowski отка-

зывается от ограниченности пространства и рисует безпредельный огромный потенциал души русского народа. Переводчику польское *podworko* кажется решительно малым, невзрачным, для того чтобы иметь возможность представить его с помощью картины сплоченного народа, сыновья и дочери которого вынуждены бороться за свою родину, должны победить и вернуться домой. Поэтому автор решается на создание в своем тексте возвышенной, насыщенной экспрессивными модели солидарной в горе и счастье широко понятой человеческой общины. Это подчеркивают также возвышенный тон и конструктивные выражения:

*Nie żałujcie wrogowi granatow, kul,*  
*Idźcie śmiało, gdy werbel gra,*  
*Ale wroccie, chłopaki, z bitewnych pol,*  
*Wroccie do nas, jeżeli się da.*  
*Ach, wojenka przekłęta, zgiełk boju, kurz...*  
*Niech tam mówi, że zwiódł was kolowrot drog,*  
*Ze zmieniła was wojna do cna.*  
*Do widzenia, dziewczyny,*  
*Na miły Bog,*  
*Wroccie do nas, jeżeli się da,*

тогда как Окуджава простым языком рассказывает как о простых, несложных, но прочных семейных и братских узах некоего московского *двора*, так и важных вещах — о войне.

Из вышеприведенных рассуждений следует, что «переводчик может по-разному осознавать сложность трансформации подлинника, учитывая при этом неконгруэнтность определенных нравственных норм по отношению к родной культуре» (8, с. 9). Поэтому совершенно естественным является появление и сосуществование нескольких переводческих вариантов одного и того же подлинного текста, которые орудуют определенными моделями поэтического мира. Эти модели могут отличаться друг от друга (хотя и необязательно) как в семантическом и бытовом отношении, так и в отношении к оригинальному универсуму (зафиксированному в культуре и менталитете потребителей языка данного подлинника), способами и возможностями поэтического творения (в каждом конкретном тексте перевода), которые зависят от «осознания времени, из которого выводится данный оригинал, а также от времени, когда появляется его перевод» (8, с. 9). Поэтому задачей является представление польскому читателю такой обширной и в тоже время необыкновенно сплоченной (компактной), богатой палитры значений русской лексемы *двор*, история которой обращена к 20-30 годам XX века. Именно тогда появлялись (строились) московские дворы и рождалась их неповторимая специфика. Переводчик, который стремится раскрыть своему читателю сущность русского универсума, вынужден делать выбор (и даже селекцию) определенных признаков, понятийных сфер, определяющих смысл окуджавовского *двора*, чтобы наиболее достоверно воспроизвести не только подлинную модель поэтического мира, но также передать атмосферу оригинального текста.

**ПРИМЕЧАНИЯ**

1. «Когнитивная сфера соответствует тому, что другие называют рамой или идеализированной когнитивной моделью. Она также относится к таким понятиям, как «расписка», «разговорная модель» либо тоже «схема». Когнитивная сфера является определенного рода опытом, простым понятием, понятийным комплексом, целой сложной системой знаний, а иногда чувственным опытом. Каждое языковое выражение требует воспроизведения одной или более когнитивной сферы, причем я не беру на себя обязательства по их количественному определению...» (3, с. 18).
2. Из проведенного мною опроса среди внушительного числа поляков вытекает, что двор в польском языке в первую очередь ассоциируется с монаршеством, королевской семьей, свитой и т.п., а далее — с дворянством и его именем; на, так скажем, последнем месте размещается интерпретация данной лексической единицы как 'место под голым небом' (напр., выйти во двор).
3. В дальнейшем термин *коннотации* я буду понимать как «смысловые элементы лексемы, которые не входят в состав дефиниции этой же лексемы» (здесь: 6, с. 54).

**БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК**

1. Jakobson R. On linguistic and poetics, red. R.A. Brower. — 1966.
2. Langacker R.W. An overview of cognitive grammar. — 1988.
3. Langacker R. W. Wykłady z gramatyki kognitywnej. — Lublin, 1995.
4. Legezynska A. Przekład jako rzecz wyobrazni // P. Fast (ред.), Przekład artystyczny a współczesne teorie translatologiczne. — Katowice, 1998.
5. Lichanski J.Z. Dom czy dwor? Rej i Gornicki czyli o wyborze rodzaju «domu» w polskiej kulturze XVI wieku // Dom w języku i kulturze. — Szczecin, 1997.
6. Puzynina J. Słowo Norwida. — Wrocław, 1990.
7. Tabakowska E. Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu. — Krakow, 2001.
8. Tokarz B. Tłumacz a norma językowa, forma genologiczna i wyznaczniki obyczajowości // P. Fast (ред.), Obyczajowość a przekład. — Katowice, 1996.
9. Wawilow D. Do widzenia, chłopcy // Bułat Okudzawa, Wiersze i piosenki. — Warszawa 1967.

## ЯЗЫКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИУМОВ УКРАИНЦЕВ, РУССКИХ И АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ: ФИКСАЦИЯ СФЕРЫ РАСТЕНИЙ В ТЕКСТАХ НАРОДНЫХ СКАЗОК

Л.Н. Дяченко-Лысенко  
Черкассы, Украина

На рубеже тысячелетий происходят важнейшие изменения в обществе, политике, социальных, экономических, исторических условиях жизни. Современная наука, разумеется, не может не отреагировать на эти интеллектуальные раздражители; так возникают новые или «обновленные» концепции и гипотезы, которые широко известны как общепринятое терминологическое понятие «Новая научная парадигма». Современная лингвистика характеризуется разнообразностью взглядов и направлений, одним из которых является этнопсихолингвистика. Э. Сепир заметил: «Язык приобретает все большую ценность в качестве руководящего начала при изучении культуры. В определенном смысле система культурных моделей той или иной цивилизации (курсив мой. — Л.Д.-Л.) фиксируется в языке, который выражает эту цивилизацию» (2, с. 233). Итак, этнопсихолингвистика — сфера заинтересованности многих аналитиков (один из определяющих факторов сопряженности современных научных исследований): ведь на грани интеллектуальных знаний и информационных потоков возникают модернистские концепции, позволяющие нетривиально интерпретировать языковые факты и тенденции, реализуя, в частности, антропоцентрический взгляд в лингвистике.

Язык как часть психической деятельности человека и/или, одновременно, как общественное явление рассматривался многими учеными в течение нескольких столетий (В. фон Гумбольдт, Г. Штейнталь, А.А. Потебня, младограмматики Г. Пауль, К. Бруман, И.А. Бодуэн де Куртене, Ф. де Соссюр, школы западной лингвистики XX столетия — Пражская школа, школы американской дескриптивной лингвистики, Лондонская школа; Г. Гийом, «гештальт-психологи» (Gestalt — от немецкого «образ») М. Вергеймер, В. Келер, К. Коффка, К. Бюлер, К. Левин, бихевиористы Дж. Уотсон, Э. Торндайк, Л. Блумфилд; У. Осгуд и др.).

Гуманизация лингвистики в отличие от доминирующей предыдущей научной парадигмы конца XIX и всего XX столетий, обращение к языковой (национально-языковой) личности придали языкознанию иную окраску, дали толчок для дальнейшего развития новых теоретических исследований, что нашло свое отражение и в возникновении современных пограничных гуманитарных сфер (когнитивная лингвистика, лингвистика текста социо-, этно-, психолингвистика и т.д.).

Основные черты лингвистики конца XX — начала XXI столетий — экспансионизм (создание «гибридных» программ и сфер), антропоцентризм (человек в центре исследования явлений), функционализм (использование языка, его функционирование, главная роль категории значения), экспланатарность (объяснение языковых явлений и процедур, которые их порождают). Распространяются концепции, где структурированность языка интерпретируется в зависимости от принципов восприятия мира и концептуализации его человеком (языко-

вая картина мира, когнитивная лингвистика, прототипическая семантика и т.д.). Главной идеей многих современных лингвистических исследований является проблема, которая имеет, по крайней мере, десяток или более синонимических терминологических номинаций, а именно: антропоцентрическая модель, языковая картина мира, национальное вербальное поведение, лингвоментальность, наивная картина мира, донаучная картина мира, языковая вербум-модель и т.д. (Ю.Д. Апресян, Д.О. Добровольский, А.А. Залевская, А.С. Зеленко, О.Г. Почепцов, Т.В. Радзиевская, Е.В. Урысон, Г.М. Яворская и др.). Такое разнообразие терминосочетаний свидетельствует, по-видимому, о нескольких тенденциях, которые существуют в современном теоретическом лингвальном дискурсе: во-первых, это заинтересованность ученых очерченным кругом проблем и не только (значительно шире!); во-вторых, сложность самого анализируемого явления как по формальным, внешним признакам, так и по содержательным особенностям; в-третьих, наявность так называемого «субъективного фактора», «позиции наблюдателя», «лингвистической интуиции исследователя», который максимально стремится приблизиться к решению проблем, концептуально, терминологически осмысляя особенности языкового феномена и т.д.

«Необычная преданность человека родному языку обусловлена тем, что каждому народу присущи неповторимые ассоциации образного мышления, которые закрепляются в языковой системе и составляют ее национальную специфику (курсив мой. — Л.Д.-Л.)» (3, с. 169). На индивидуума всегда влияет собственная этническая культура, поскольку именно культура формирует действительно социального, цивилизованного человека (gomo Sapience), хотя именно человек индивидуально и коллективно создает культуру и ее стереотипы (архетипы, стандарты, архаические понятия и т.д.). Возникновение и формирование сознания как социокультурного феномена связаны с языком — материальным носителем норм сознания идеального. Мартин Хайдеггер констатирует: «Тело, душа, дух могут снова-таки именовать области феноменов, которые поддаются тематическому выделению в виде определенных исследований» (7, с. 48).

Сознание каждого народа имеет своеобразную фиксацию в фольклорных текстах, в частности в народных сказках. В коллективной памяти сохраняется информация, передающаяся следующим поколениям. Исследования сказок имеют свои стойкие научные традиции (Ж. Бедве, А.Ж. Греймас, Е.М. Мелетинский, В.Я. Проп, А.В. Рафаева и др.).

Фитонимы, зоонимы и смежные с ними концепты в усном народном творчестве отличаются знаковостью (символизмом). В сказочной вербальной модели мира они представлены и/или с одной стороны как активные существа, равноправные партнеру человека, которым присущи действия (физиче-

ские, интеллектуальные, речевые), состояния, реакции на воздействия с другой стороны, как объекты действий, состояний рефлексий и т.д. других субъектов, мифологических персонажей и проч.

Украинцы, русские и азербайджанцы принадлежат к «старым» народам с давно сформированными и устоявшимися этнокультурами. Индоевропейские корни глубоко вросли в современную почву. Арийское (архаическое) подсознание (культ древних солнечных, зоострийских, земледельческих верований) логично прослеживается и, в частности, в текстах проанализированных сказок наблюдения над языковыми иллюстрациями позволяют сделать выводы об общих явлениях, присущих указанным этносам, и о специфических, еще раз подтверждающих особенности культурных проявлений на национальной почве.

Фитонимы в сказках представлены, в частности, таким образом.

**А.** Участки земли разного размера, где растут в дикой природе или сознательно культивируются человеком растения (украинские номинации — далее УН — ПОЛЕ<sub>1</sub>, НИВА<sub>1</sub>, ЛЕС<sub>1</sub>, САД<sub>1</sub>/САДИК, ПЕРЕЛЕСОК; русские номинации — далее РН — ПОЛЕ<sub>1</sub>, НИВА<sub>1</sub>, ПАШНЯ, ЛЕС<sub>1</sub>, САД/САДИК, ПЕРЕЛЕСОК; азербайджанские номинации — далее АН — САД<sub>1</sub>, ЛЕС<sub>1</sub>, ЦВЕТНИК, ЛУГ, ПОЛЕ, ДОЛИНА, ОГОРОД).

**ПОЛЕ<sub>1</sub>.** Безлесная равнина, ровное большое пространство; равнина, степь; участок земли, который используется под посевы; нива (4, с. 536).

**ПОЛЕ** «безлесная равнина»; праславянское, образовано при помощи суф. *-j-e* от древнего прилагательного полей «открытый», «пустой», «свободный» (8, с. 314).

— *Не губи детей, — говорит работница, — забери их, поведи в лес и там оставь, а они заблудятся* (Иванко-царь зверей. — 6, с. 3).

*Мачеха была ненавистная, отдыху не дает старику:*

— *Вези свою дочь в лес, в землянку, там она больше напрядет* (Дочь и падчерица. — 5, с. 99).

*Услышал лев эти слова, подумал, что лис хотел его деду в руки отдать, и побежал изо всех сил в лес* (Дед и лев. — 1, с. 11).

**Б.** Обобщенные названия растений (УН — ДЕРЕВО, ТРАВА, ЦВЕТОК, КУСТ; РН — ДЕРЕВО, ГРИБЫ, ЯГОДЫ, ТРАВА, ЦВЕТОК, КУСТ; АН — ДЕРЕВО, КУСТ, ЦВЕТОК, ЯГОДЫ, ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ).

**ДЕРЕВО<sub>1</sub>.** Многолетнее растение с твердым стволом и ветками, которые создают крону. Срезанные стволы этого растения, очищенные от ветвей, бревна (4, т. 1, с. 732).

**ДЕРЕВО** «Многолетнее растение с твердым стволом», по корню праславянское, по звуковому оформлению восточнославянское — *er* (8, с. 106).

*Змей как свистнет, аж деревья пригнулись* (Иван-Побиван. — 6, с. 164).

*Взвился орел выше прежнего, сильным вихрем ударил сверху в самое большое дерево — и расшиб его в щепки с верхушки до корня* (Сказка про Василису Прекрасную. — 5, с. 125).

*Путешествует Малик-Мамед царством тьмы, утомившись, сел отдохнуть возле дерева. Вдруг видит, что по стволу этого дерева ползет дракон* (Малик-Мамед. — 1, с. 64).

**В.** Собственно названия растений (УН — БУК, ГРУША, ЯВОР, МАК/МАЧОК, ХРЕН, ЛУК; РН — ДУБ, РЕПКА, БЕРЕЗА, ЕЛКА, ЛИПКА, ЯБЛОНЯ, СОСНА; АН — ЧИНАРА, ЯБЛОНЯ, РОЗА, ЛОЗА, ШИПОВНИК, МИДАЛЬ, ЧЕСНОК, АРБУЗ, ДЫНЯ).

**ДУБ<sub>1</sub>.** Многолетнее лиственное дерево с крепкой древесиной и плодами — желудами // Древесина этого дерева (4, т. 1, с. 858).

**ДУБ** «Лиственное дерево»; старослав. слово, имеет соответствия в других индоевропейских языках; существует несколько объяснений его этимологии: греч. *demō* «строю», *domos* «дом, жилище», первоначально — «строительное дерево»; индоевроп. \**dhumbhol\** *dhumbhro* «темный», дерево названо по его сердцевине, отличающийся темным цветом; индоевроп. \**вруги* — «глубокий» («дупло», «дупловатое дерево»); для дуба характерен этот признак) (8, с. 119).

*Срубили столетний дуб, сделали булаву, привели на четырех парах волов* (Иван — мужицкий сын. — 6, с. 141). *Возле дуба кувшин зарыт, отпей из того кувшина ровно три глотка и увидишь, что будет* (Матюша Пепельной. — 5, с. 404).

*Видит Ахмед, что он не утихомирят коня, выпустил из рук дуб, обнял коня за шею и закричал, не зная кому, — своему или вражескому воину: — Узду! Держи узду!* (Носильщик Ахмед. — 1, с. 94).

**Г.** Названия частей (фрагментов) растений (УН — КОРЕНЬ, СТОЛОМ, ВЕТВЬ, ЛИСТ; РН — КОРНИ, МАКУШКА, СТОЛОМ, ВЕТВИ, ЛИСТЬЯ; АН — ЛУКОВИЧНАЯ ШЕЛУХА, СТОЛОМ, КОРЕНЬ, ВЕТВИ, ЛИСТЬЯ).

**КОРЕНЬ<sub>1</sub>.** Часть растения, которая находится в земле и при помощи которой растение получает из почвы полезные вещества (4, т. 2, с. 335).

**КОРЕНЬ** «преимущественно подземная часть растения»; старослав. слово, развилось из праслав. \**leorg* «корень» (8, с. 89).

*И сказал король: кто тот дуб срубит, корни выкорчует и соковища достанет, то он тому полкоролевства завещает и дочку свою замуж отдаст* (Марига. — 6, с. 182).

*Упал Иван без памяти на землю. А когда очнулся, видит — лежит дерево на земле корнями вверх, а под корнями — железная плита, а на плите — крошечный, чуть приметный свисток. Таких свистков он сроду и не видывал* (Златокурбогатырь. — 5, с. 310).

*Видит Ахмед — впереди огромный столетний дуб, и только поравнялся с деревом, вцепился за ствол, чтобы удержать коня, но конь рванул с такой силой, что столетний дуб вместе с корнями остался в Ахмедовых руках* (Носильщик Ахмед. — 1, с. 94).

**Д.** Блюда и кулинарные изделия с растительным компонентом (УН — КУЛЕШ, МУКА, КОРЖ, ПАЛЯНИЦА, БУЛКИ, БЕЛЫЙ ХЛЕБ, ПИРОЖКИ, ХЛЕБ; РН — ПШЕНИЧНЫЙ ХЛЕБ, КАРАВАЙ, ПИРОГ, КАМЕННЫЙ ХЛЕБ, ХЛЕБ; АН — ХЛЕБ, ЯЧМЕННАЯ ЛЕПЕШКА, ПРОСЯНОЙ ХЛЕБ, ЧУРЕК (ЛЕПЕШКА; ХЛЕБ), ПЛОВ, ДОЛМА (ГОЛУБЦЫ), ЖАРЕННЫЙ ОРЕХ).

**ХЛЕБ<sub>1</sub>.** Пищевой продукт, который выпекается из муки (4, т. 4, с. 738).

**ХЛЕБ** считается заимствованием из герм языков, гот. *hleifs*, др.-нем *hlieb*, др.-исл. *Hleibr* «хлеб» (5, с. 464).

*Меня бьют-журят, хлеба не дают, плакать не велют* (Хаврошечка. — 5, с. 103).

*Малик скривился — ему сроду не приходилось есть та-*



кой хлеб (ячменную лепешку. — Л.Д.-Л.) (Тайна дружбы. — 1, с. 194).

Таким образом, в текстах народных сказок репрезентированы некоторые группы фитонимов, что не исключает еще большей детализации их в последующих исследованиях.

Многие современные научные концепции, которые имеют место в гуманитарных сферах или пограничных (смежных, диффузных) с ними, позволяют интерпретировать языковые явления с парадоксальных позиций, что, в частности, касается и языковой деятельности социумов, хотя и традиционные сравнительные исследования (с более чем давними и устоявшимися стандартами в лингвистике!) всегда содержат элемент «неожиданного эффекта» (и все-таки ожидаемого, подразумевающегося).

Мир евроазиатских сказок (уже, предметнее — индоевропейских, арийских), к коим следует отнести анализируемые украинские, русские и азербайджанские, достаточно жестко регламентирован и представлен четко определенными сегментами, которые вербализуют наивную картину человека, его внутренний мир, реальное и ирреальное бытие человека и его окружения. Фитонимы в текстах народных сказок образуют некую целостность, где, очевидно, можно выделить как индоевропейские (и шире — евроазиатские, и даже — общечеловеческие) факторы (сигнификативно-логические маркеры), так и национально обусловленные (окрашенные, фоновые) показатели.

Сфера фитонимов и сопряженного с ними пространства

наиболее «безлика» при указании на участки земли с произрастающими на них растениями, без детализации последних (ПОЛЕ, ЛЕС, САД, ЛУГ, ОГОРОД, ЦВЕТНИК). Хотя в указанных лексемах имплицитно содержится дифференцирующая лема, вид, группа растений, позволяющая почти уверенно (безошибочно) предполагать, какая именно, флора имеется, в виду: ЛЕС — «ДЕРЕВЬЯ», «КУСТЫ», «ТРАВА» и проч.; ПОЛЕ — «ЗЛАКИ», «ТРАВА», и т.д.; САД — ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ и т.п.; ЦВЕТНИК — «ЦВЕТЫ». На предмет нулевой коннотации сюда же можно отнести обобщенные названия растений (ДЕРЕВО, КУСТ, ЦВЕТОК, ЯГОДЫ) и частей (фрагментов) растений (СТВОЛ, ВЕТВИ, ЛИСТЬЯ).

Сказка приобретает явно национальный колорит, когда речь заходит о конкретных реалиях, например, о собственно названиях растений и о блюдах и кулинарных изделиях с растительным компонентом: украинские номинации — БУК, ГРУША, МАК, ХРЕН, ЯВОР, ПАЛЯНИЦА («ХЛЕБ»), СОСНА, РЕПКА, КАРАВАЙ, ПИРОГ; азербайджанские номинации — ЧИНАРА, РОЗА, МИНДАЛЬ, ДЫНЯ, ПЛОВ, ЖАРЕННЫЙ ОРЕХ.

Интегрированность современного мира позволяет говорить о некоем смещении национальных векторов, о разрушении определенных стереотипов при восприятии различных культур, например, западных (европейских, окцидентальных и восточных (ориентальных, азиатских, азиатских), о формировании феномена — глобального информационного пространства «без границ».

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Азербайджанские народные сказки. — Киев, 1995.
2. Звегинцев В.А. История языкознания XIX-XX веков в очерках и извлечениях: В 2 ч. — М., 1965. — Ч. 2.
3. Кочерган М.П. Общее языкознание. — Киев, 1999.
4. Новый толковый словарь украинского языка: В 4 т. — Киев, 1999.
5. Русские народные сказки. — М., 1987.
6. Украинская народная сказка. — Киев, 1990.
7. Хайдеггер М. Бытие и время. — М., 1997.
8. Цыганенко Г.П. Этимологический словарь русского языка. — Киев, 1989.

## ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ КАК СПОСОБ ФИКСАЦИИ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

И.В. Привалова  
Москва

Национально-обусловленная языковая картина мира — это объективно существующая реальность, отражающая особенности постижения мира, окружающего человека. В процессе формирования у человека картины мира (в том числе и языковой) принимают участие все стороны психической деятельности индивида, начиная с ощущений, восприятий, представлений, и, кончая высшими формами — мышлением и самосознанием. По мнению Ю.Н. Караулова, понятие картины мира при всей своей кажущейся метафоричности очень точно передает сущность и содержание лингво-когнитивного (тезаурусного) уровня в разработанной им концепции языковой личности (4).

Основным этнодифференцирующим признаком национальной культуры является язык. Смысл слова в определенном языке может рассматриваться как национальная форма вербализованного общечеловеческого содержания (7). Поскольку национально-культурная специфика отчетливее всего проявляется в деятельности, то общенациональные значения, воспринимаемые через свою национальную культуру, «насыщаются» своеобразным национально-культурным смыслом. Тогда текст (в том числе художественный) как последовательность вербальных, словесных знаков, несущих определенный смысл, представляет собой совершенный способ фиксации и передачи национально-культурной информации. Исследователи (7, 8) разделяют «национальный» смысл, который можно представить как совокупность инвариантных черт личностных смыслов представителей данной лингвокультурной общности и национальный вариант интеркультурного смысла. Обнаруживая элементы интеркультурного смысла путем сравнения национальных смыслов некоторых культур, можно выделить в них при этом и некоторую инвариантную часть. В таком понимании интеркультурный смысл является отражением объективно существующего универсального значения на данном этапе развития человеческого общества. Применительно к художественному тексту это положение может служить объяснительным принципом того, как словесные образы, возникающие и воплощающиеся в художественном тексте, отражают образы языкового сознания личности, общечеловеческого в своей основе и национального по способам реализации. Межкультурное понимание и перевод литературных произведений становится возможным благодаря наличию в них универсального ядра. Это универсальное ядро лежит в основе большинства ситуаций (по М.М. Бахтину «бродячих сюжетов»), представленных в художественной литературе любого народа. Однако, в процессе восприятия иноязычного художественного текста национально-специфичный способ образного языкового выражения этого содержания может привести к недопониманию или квазипониманию.

При понимании иноязычного художественного текста структура когнитивной деятельности реципиента

осложняется тем, что включает помимо собственно языковых и неязыковых знаний, иноязыковые и инокультурные. Так, Н.А. Рубакин подчеркивал, что процесс смыслового восприятия и оценки текста определяется факторами «расы, среды и момента» (14, с. 75). Это означает, что формирование базовых структур личности, влияющих на восприятие и оценку текста, зависит от вхождения индивида в ту или иную экологическую и этологическую среду. Индивид, по Н.А. Рубакину, — это биоценотический элемент, «клетка» этнического организма. Этот последний Н. Рубакин трактует как природное и надприродное двуединство. В своей надприродной ипостаси этнос существует в форме лингвистических и культурологических «привычек» входящих в его состав индивидов. Совокупность этих «привычек», разнообразные виды и формы их взаимодействия составляют тот слой этнического бытия, который рассматривается носителями языка как их неотъемлемое свойство, позволяющее смотреть на самих себя как лингвокультурную общность.

Процесс отражения действительности различными этносами культурно специфичен, что проявляется в несовпадении облигаторных национально окрашенных словесных образов мира (9). Следует отметить в данной связи, что образ мира у пользующегося языком человека нельзя отождествлять с языковой картиной мира: «Образ мира как достояние индивида симультанен, голографичен и многолик, он является продуктом переработки перцептивного, когнитивного и аффективного опыта, функционирует на разных уровнях осознанности при обязательном сочетании «знания» и «переживания» и лишь в неполной мере поддается вербальному описанию. Языковая картина мира много беднее образа мира и отображает лишь его часть» (3, с. 90-91). Понятие картины мира также играет очень важную роль в теории лингвострановедения и лингвокультурологии, тем более что в последнее время появляются работы, в которых более широко и в то же время точно трактуется такое важнейшее составляющее картины мира как концепт. Так Ю.С. Степанов определяет концепт как «пучок» представлений, понятий, знаний, ассоциаций, переживаний, который сопровождает слово (15, с. 41). В.А. Пищальникова подчеркивает, что содержание картины мира не исчерпывается знаниями индивида, поэтому «возникает необходимость соотношения сознательного / бессознательного / неосознаваемого, объективного / субъективного / интерсубъективного и т.д.» (11, с. 17). При изучении картины мира В.А. Пищальникова считает необходимым учитывать теорию концептуальной системы и смысла языковых выражений, разработанную Р.И. Павленисом, который рассматривает понимание как «...процесс образования смыслов, или концептов» (10, с. 383). В этой связи Р.И. Павленис определяет роль языка как кода для концептов: язык становится средством построения и символической репрезентации раз-

личных концептуальных систем и содержащейся в них информации.

Каждый язык фиксирует различия между соседствующими концептами в свойственном только ему виде, что объясняет, почему одинаковые микросистемы разных языков изоморфны лишь в отдельных сферах, иными словами, почему их изоморфизм, как правило, частичный. Степень изоморфизма прямо пропорциональна степени общности их социальной, экономической и политической жизни (1, с. 55). При этом вокабуляр, который использует автор художественного произведения, непосредственно отражает окружающую действительность — бытовую, историческую, социальную, культурную, политическую и экономическую.

Понимание иноязычного художественного текста достигается в единстве речемыслительной деятельности, знаний о мире и собственно чувственно-наглядного опыта реципиента. Воспринимая знаковое описание ситуации, получатель иноязычного текста (билингв) воссоздает в памяти представление о ней, опираясь на свое видение действительности и воображение. И порой достаточно намек, чтобы реконструировать с помощью неязыковых средств картину того, о чем идет речь. Понимание сообщения осуществляется на основе представлений, которые составляют содержание «прошлого опыта» субъекта. Представление находится в сложном взаимодействии с понятием, а через него — с лексическим значением. Понятие, так же как и представление, обладает свойством обобщенности, поскольку является отражением класса предметов с однородными признаками.

Понятие связано со словом через лексическое значение. Декодируя полученный художественный текст, билингв-реципиент сталкивается с конкретными значениями, которые опосредуют связь действительности и слова. Взаимное уточнение сочетающихся лексических значений конкретизирует предметную отнесенность, т.е. определение денотатов. После идентификации системы денотатов, образующей содержание текста, становятся известны все входящие в него языковые и экстралингвистические элементы.

Знание значения слова как психологическая реальность обеспечивается опорой на широкий круг неязыковых знаний. И продукты психологического отражения всегда много богаче и разнообразнее, чем может быть передано с помощью семантических компонентов слова. Автор иноязычного художественного текста и его получатель-билингв всегда будут отличаться набором иноязычных и инокультурных знаний. Но помимо этого их будут различать и набор этнических стереотипов, установок и национально-культурных ценностей.

Под этическим стереотипом понимаем национально-культурный тип, существующий в мире, который измеряет деятельность и поведение представителей определенной этнической общности. Установки культуры, по В.А. Масловой, это идеалы, в соответствии с которыми личность квалифицируется как «достойная/недостойная». Они вырабатываются на протяжении исторического пути, проходимо

го, который откладывается в социальной памяти и формирует установки. «Помимо прочего нас отличают от животных правила и установки, о которых мы договорились друг с другом. Именно они отделяют нас от бездны хаоса, упорядочивают нашу жизнь» (6, с. 50). Под национально-культурными ценностями имеются ввиду ценности, выполняющие определенные функции в механизмах жизни человека — координирующую, стимулирующую, регулирующую и др. Человек оценивает мир с точки зрения его ценностной значимости для удовлетворения своих потребностей. Об особенностях мировосприятия народа свидетельствует языковая информация о системе ценностей. Считаем, что художественный текст может рассматриваться как наиболее очевидный способ фиксации национально-культурных ценностей народа.

Результаты речевой деятельности предоставляют прекрасный материал для исследования специфики национально-культурных ценностей. Ранее нами уже проводилось изучение особенностей проявления национально-культурных ценностей в паремическом фонде языка (12). Опыт работы автора статьи в качестве преподавателя русского языка как иностранного для американских студентов позволил накопить интересные наблюдения относительно отражения национально-культурных ценностей в текстах русской художественной прозы. Перед тем как проанализировать способы фиксации национально-культурных ценностей в художественных текстах и специфику их понимания иноязычными/инокультурными реципиентами, необходимо определить ценности, характерные для русских и американцев.

На основе статей Роберта Коулза (17) выделяем следующие национально-культурные ценности, характерные для американцев:

1. Change (Mobility);
2. Personal Control over the Environment;
3. Time and Its Control;
4. Equality/Equalitarianism;
5. Individualism, Independence and Privacy.
6. Self-Help;
7. Competition and Free Enterprise;
8. Future Orientation/Optimism;
9. Action and Work Orientation;
10. Informality;
11. Direction, Openness, Honesty;
12. Practicality/Efficiency;
13. Materialism/Acquisitiveness.

Анкетный опрос русскоязычных и англоязычных информантов показал, что, как наиболее типичные ценности русской культуры, выделяются:

1. Стабильность/Неизменность =>
2. Фатализм (вера в судьбу, рок);
3. Коллективизм, соборность;
4. Зависимость от общественного мнения;
5. Ориентация на семью и семейные ценности;
6. Непрактичность (превосходство духовного над материальным);
7. Ностальгия по прошлому;
8. Необязательность;
9. Чинопочитание.

Национально-культурные ценности могут проявляться на уровне текста и его дискретных единиц: слов, словосочетаний, сверхфразовых единств. Данные аксиологически маркированные единицы дают толчок движению текста от его континуально построенной структуры, к его контексту. Кроме того, они моделируют определенное количество мысленных ситуаций, которые становясь фактом культурно организованного сознания, обретают свою семиотическую и культурную реальность. При этом необходимо учитывать, что аксиологически маркированные единицы и сам текст, как аксиологически маркированная единица, являются для получателя семиотическими знаками иноязыковой и инокультурной среды. Специфика понимания иноязычного текста заключается в том, что в качестве объекта восприятия выступает созданный на изучаемом языке текст, который, являясь продуктом речевой деятельности адресата, становится предметом речевой деятельности билингва. Соответственно и мотив речевой деятельности как бы «навязывается» билингу извне. Если на обычного билингва воздействует языковая система второго языка с особенностями ее фонетического строя, лексического состава, грамматической структуры, то над билингом, воспринимающим иноязычное сообщение, помимо этого, довлеет текст оригинала. Модель понимания иноязычного текста имеет сложное строение (см.: 2; 5; 13).

Чтение художественных текстов на изучаемом языке не только способствует развитию языковой компетенции, но и созданию адекватной языковой картины мира. Для проведения курса необязательного внеклассного чтения (optional) с американскими студентами нами было использовано пособие *Modern Russian Reader for Intermediate Classes* (18) и некоторые тексты из учебника Ю.Овсиенко «*Russian for Beginners*» (19). Пособие *Modern Russian Reader* содержит отрывки из художественных произведений Н. Гончарова, А. Чехова, М. Горького, Л. Толстого, А. Куприна, К. Тренева, В. Шишкова и др. Приведем несколько примеров того, как национально-культурные ценности русского народа фиксируются в художественном тексте.

1. Русских отличает неискоренимая вера в судьбу, рок.. Фатализм, столь типичный для современного поколения русских людей, был подмечен еще великим знатоком человеческих душ А.П. Чеховым. Так, в коротком рассказе «Тоска» главный герой — извозчик Иона — рассказывает своему клиенту:

— А у меня, барин, ... сын на этой неделе умер.

— Гм... Отчего же он умер?

Иона оборачивается всем телом к седоку и говорит:

— А кто же его знает? Три дня полежал в больнице и умер...Божья воля (18, с. 96).

В целях создания адекватного художественного образа главного героя, вероятно необходим культурный комментарий следующего характера:

«Russian people think that life follows a preordained course. The individual can influence the future making a choice within the frames of his own destiny, fate. People are intended to adjust to the physical environment rather than to alter it».

2. Стабильность, или, иными словами, необъяснимая боязнь перемен, прекрасно проиллюстрирована в отрывке из романа Н. Гончарова «Обломов»:

«Ничто не нарушало однообразия жизни Обломовых. Но обломовцы не жаловались на это однообразие. Другой жизни они себе не представляли, а если бы и могли представить, то с ужасом отвернулись бы от нее» (18).

Даже эпизодическое знакомство с данным произведением объясняет почему только в русской литературе мог появиться такой персонаж как Обломов. Для американцев, считающих, что «the individual can change and improve the environment», Илья Иванович кажется вначале пародийным персонажем.

3. Русские люди, особенно старшего поколения, с большим уважением относятся к родителям, родственникам и родственными связям. «Иван — родственне-помнящий» — звучит как оскорбление, за которым стоит понятный только носителю русского языка контекст. Во время чтения с американскими студентами рассказа В. Ильенкова «Мать» (18, с. 81-86) приходится неоднократно пояснять культурные страноведческие и аксиологические несоответствия, возникающие в процессе сопоставления двух языковых картин. Сюжет рассказа прост и незамысловат. На станции Черная Грязь (говорящее название!) в мягкий (самый дорогой!) вагон поезда, следующего в Москву, садится пожилая женщина. Ее вид шокирует ее изысканных богатых попутчиков: новая нагольная шуба лимонно-желтого цвета с острым запахом дубленой кожи, берестяной кошель через плечо и клочатый платок на голове. Она не видела сына три года, который за это время выучился и стал большим человеком в Москве. «Родителей не выбирают», «если человек забыл свою мать, значит, он забыл свое имя» — к таким выводам относительно русских культурных ценностей приходят американские студенты после ознакомления с рассказом.

4. До недавнего времени в русской культуре превосходство духовного над материальным было неоспоримо. Понятие «душа» относится к национально-маркированным концептам, полностью лакунизированным в американской культуре. Главная героиня рассказа В. Тренева «В семье» Настя так упрекает своего мужа, который, став инвалидом во время Отечественной войны, решил ее бросить, чтобы не причинять ей дальнейших страданий:

«Ну, спасибо, Алеша, что так обо мне думал....так в меня верил...Ты что же думал, за красоту твою я люблю тебя? Я всегда видела твою душу и любила тебя за нее» (18, с. 59).

5. Несмотря на исторические потрясения, в числе неизбываемых национально-культурных ценностей остаются коллективизм и соборность. Климат в России достаточно суров, а условия жизни бывают очень тяжелы, так что без помощи семьи, друзей, общины, выжить непросто. Дженевра Герхардт — американка, несколько лет прожившая в России — дает прекрасный комментарий этому феномену:

«The Russian is brought up to be more independent than we are. Thus family bonds are stronger — people live closer together and derive mutual support from the closeness. Children are expected, at least outwardly, to do what they

are told... Friends and the friendly manner that expresses friendship are taken more seriously than in the United States» (16, с. 4-5).

Этот комментарий логично предваряет чтение рассказов о жизни русского народа во время Великой Отечественной войны, содержащихся в сборнике *Modern Russian Reader: «Любопытный случай», «В семье», «День рождения»*. Главным герой рассказа В. Шишкова «Любопытный случай» инженер-механик Федор Кирюшин, находясь в блокадном Ленинграде и случайно получая посылку с продуктами, спешит их разделить и отправить матери, сестре, другу.

Интересно, как различие в наборе национально-культурных ценностей определенного этноса влияет на построение аксиологической модели картины мира. Так, при чтении рассказа «Театральный двор» Ю. Яковлева (19, с. 182) от русских студентов был получен следующий комментарий: «Плохо, что молодая актриса забыла человека, который спас ей жизнь, и бросила его на произвол судьбы, отказавшись предоставить ему ночлег, когда он приехал на лечение в Москву с больным отцом. Она всегда будет одна. Люди тоже больше не придут ей на помощь. А девочка, проявившая сострадание и выручившая его, всегда будет среди друзей». Американцы, сквозь призму своих национально-куль-

турных ценностей «увидели» эту ситуацию иначе: «Если ты помог человеку, спас его в трудную минуту, не нужно обязательно ждать именно от него помощи. Но всегда найдется в этой жизни кто-то другой, кто тебе поможет».

В заключении отметим, что вербальное поведение представителей определенного лингво-культурного социума является зеркалом их национально-культурных ценностей. Национально-культурные различия, особенности психологического стереотипа и исторических традиций служат причиной существования в языковом фонде составляющих, на которых лежит яркая печать национального колорита и самобытности. Эти языковые единицы представляют собой компоненты национально-обусловленной языковой картины мира, которая формируется под действием национальных стереотипов, установок и национально-культурных ценностей. Художественный текст можно рассматривать как способ фиксации национально-культурных ценностей в языковом фонде. Поскольку художественные тексты содержат словесные образы, которые передают специфичные этнически обусловленные ситуации, то знакомство с ними помогает приобщиться к культуре страны изучаемого языка, познать ее этнические стереотипы, установки, национально-культурные ценности.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Бережан С.Г. Значение сопоставительного изучения лексики. Сопоставительная лингвистика и обучение неродному языку. — М., 1987. — С. 53-64.
2. Богин Г.И. Типология понимания текста. — Калинин, 1986.
3. Залевская А.А. Текст и его понимание. — Тверь, 2001.
4. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. — М., 1987.
5. Лапина Н.Ю. Проблема создания рабочего перевода технических текстов в условиях дефицита экстралингвистических знаний. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. — Одесса, 1991.
6. Маслова В.А. Лингвокультурология. — М., 2001.
7. Национально-культурная специфика речевого поведения. — М., 1977.
8. Национально-культурная специфика речевого общения народов СССР. — М., 1982.
9. Ощепкина В.В. Культурологические, этнографические и типологические аспекты лингвострановедения. Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. — М., 1995.
10. Павлиненис Р.И. Проблема смысла (современный логико-философский анализ языка). — М. 1983.
11. Пищальникова В.А. Психопозитика. — Барнаул, 1999.
12. Привалова И.В. Отражение национально-культурных ценностей в паремиологическом фонде языка // Язык. Сознание. Коммуникация. — М., 2001. — Вып. 18.
13. Привалова И.В. Психологическая установка в процессе понимания иноязычного текста. Дис. ... кандидат. филол. наук. — Саратов, 1995.
14. Рубакин Н.А. Психология читателя и аниги. Краткое введение в библиологическую психологию — М., Л., 1929.
15. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. — М., 1997.
16. Gerhart G. The Russian's World. Life and Language. — Orlando. Florida. 1995.
17. Kohls L. Robert. The Values Americans Live by. — Washington., 1999.
18. Modern Russian Reader for Intermediate classes. — Pargment. Illinois. USA. 1991.
19. Ovsiyenko Y.G. Russian for Beginners. — М., 1992.

## ТЕРМИНЫ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ В РУССКОМ И ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКАХ

А. Нарлох

(на примере цвета кузова автомобилей)

Познань, Польша

Запоминая образ, человек концентрирует внимание прежде всего на форме и цвете. Становится очевидным, что цветовые ощущения являются одной из важнейших составляющих зрительной информации. Цвет как знак, символ, носитель определенного смыслового содержания, хорошо известен этнографам, искусствоведам и литературоведам<sup>1</sup>. Существуют также универсалии, определяющие психо-физиологическое воздействие цвета на человека и его организм. Кроме того, у любого народа есть также свой собственный «образ» цвета, связанный с традицией, культурно-историческим наследием. Цвет, являясь одним из основных источников информации о предмете, может нести также вторичную, не связанную непосредственно с десигнатом, картину коннотаций. Такая картина становится важным элементом содержательной стороны цветообозначений.

В период новых социальных и экономических трансформаций на рынке появляется множество товаров и, следовательно, возникает необходимость в их рекламе. При этом цвету как своеобразному продукту, который можно продать, наряду с самим товаром, придается большое значение. Специалисты по цвету все чаще начинают использовать не привычные, избитые цветообозначения, а яркие, впечатляющие фразы, имеющие «пробивную» силу. Новые условия функционирования рынка, а также развития языка вызывают бурное появление номенклатурной системы цветоименования как в русском, так и в польском языках. Одной из быстро развивающихся отраслей терминологии являются названия цвета кузова автомобилей. Некоторые цветообозначения широко употребляются в обоих языках. Тем не менее большая часть собранного материала известна сравнительно узкому кругу специалистов по дизайну, маркетингу и автомобильному рынку. Следует подчеркнуть, что массовое появление номенклатурных названий цветов произошло уже в западноевропейских странах. Сейчас эти тенденции широко проявляются в России и Польше.

В данном исследовании при анализе учитываются словообразовательное, семантическое и функциональное значения цветоименований. Мы собрали 436 (220 в русском и 216 в польском языках) определений цвета автомобилей. По структуре они представляют собой как отдельные лексемы (прилагательные и существительные), так и словосочетания. В связи с принятым подходом целесообразным представляется разделить фактический материал на шесть основных групп: 1) имена прилагательные, называющие основные цвета (не мотивированные словообразовательно), напр.: *белый, желтый, зеленый, черный, biały, żółty, zielony, czarny*, а также их субстантивные дериваты *зелень, biel* и т.п.; 2) цветообозначения, включающие прилагательные первой группы и уточняющее их другие лексемы, напр.: *черный магический, черный новая звезда, красный жемчуж-*

*ный, зеленый элганс, bordowy Toledo, czerwony magma, błękit królewski, admirański niebieski*; 3) цветоименования, мотивированные существительными, напр.: *оливковый, вишневый, крем-овый, oliwkowy, wisniowy, kremowy*; 4) существительные (или словосочетания с опорным словом — существительным), выступающие в функции обозначения цвета: *баклажан, папирус, опал, heban, dojrzała cytryna, perła*; 5) цветообозначения, в значении которых, кроме представления цвета, имеется дополнительный экспрессивный оттенок, напр.: *золотая нива, зеленый дракон, изумрудная свежесть, czerwona perła, księżycowy pył, głębia oceanu, kanion Kolorado*<sup>2</sup>; 6) цветоименования, семантика которых не указывает непосредственно на цвет, напр.: *виктория, магия, hologram*.

Для прилагательных первой группы значение цвета — основное, первичное. Они образуют семантическое ядро концепта «цвет». Этимологически они принадлежат к древнейшим наименованиям цвета, большинство из них — к общеславянской эпохе. В русском языке выделяются следующие основные названия цветов: *красный, желтый, зеленый, голубой, синий, коричневый, оранжевый, фиолетовый, розовый*, а также *белый, серый, черный*. В польском языке имеются 8 хроматических цветов, так как спектр цвета *niebieski* включает русские *голубой* и *синий*. Итак, в польском выделяются: *czerwony, żółty, zielony, niebieski, brązowy, pomarańczowy, fioletowy, różowy*, и ахроматические: *biały, szary, czarny* (3). Предварительный анализ показывает, что практически все основные названия цветов употребляются для наименования цвета автомобилей. Однако довольно редко в этой функции употребляются *коричневый* и *brązowy*. Причину этого можно усмотреть в существовании некоторой нормы цветовых предпочтений, которыми обладает человек. Не исключено, что распространению этого прилагательного для названия цвета кузова автомобилей помешала ассоциация этого цвета с грязью или чем-то «грязным, не вымытым».

Вторую группу образуют названия основных цветов, уточняемые определительным компонентом (прилагательным или существительным), напр.: *белый касабланка, белый альпийский, голубой атолл, синий техно, желтый сари, czerwien koralu, czerwien andaluzyjska, elektryczny błękit, braz jesieni, wyscigowa zielen, gwiazdna biel, błękit królewski, nocny granat*. В польском языке это наиболее продуктивный способ цветоименования кузова автомобилей. Фактический материал показал, что слово *czerwien* распространяется 18 лексемами, напр.: *czerwien — andaluzyjska, Bordeaux, iberyjska, indyjska, klasyczna, koralu, meksykańska, ognista, piekielna, wenecka, rubinu* и т.д., а слово *zielen* определяется 20 наименованиями, напр.: *zielen — Bałtyku, Epicei, lipowa, lucerny, oliwki, skarabeuszowa, tropikalna, anyżkowa, amazonka*; ср. другие цветообозначения: *niebieski — admiral-*

*ski, antracyt, Aruba, jazz, krolewski, morski, oceaniczny, Mauritius; żółty — kanarek, Nepal, Persepolis, sloneczny*. В русском языке меньше конструкций подобного характера, напр.: *красный — Колорадо, торнадо, Марсель, Тициан, магма, жемчужный; зеленый — дракон, элганс, Онтарио, жемчуг, рио; черный — магический, новая звезда*. Характеристика цвета, благодаря ссылке на объекты окружающего мира, с одной стороны, может уточнять оттенок цвета, с другой — лишь воздействовать на ментальное представление цвета носителями языка. В обоих случаях название цвета становится более интересным, изысканным в сравнении с остальными, пробуждая наше воображение, благодаря отнесению к характерному для него объекту, месту проявления, например: *красный колорадо* — оттенок красного цвета, характерный для скал Большого каньона реки Колорадо в США; *żółty Nepal* — оттенок желто-золотого цвета, напоминающий цвет, в который окрашивают верхнюю часть буддийских культовых сооружений в Непале. В последнем примере имеется обобщение проявления данного цвета на более широкую территорию, т.е. государство (*żółty Nepal*). Ср. еще другие примеры, в которых при номинации прибегают к названию страны: *czewien indyjska, czewien meksykanska*. Нередко нельзя выяснить, какие факторы послужили основанием для использования тех или иных объектов в качестве прототипов названий. Например, какой оттенок голубого цвета привносит слово *alpejski* в конструкцию *blekit alpejski*, или слово *онтарио* в конструкцию *зеленый онтарио*. Кто из нас в состоянии дать полное и исчерпывающее определение цвета вечнозеленых тропических лесов в определении *zielen tropikalna*? Вряд ли один цвет сможет определить полную картину всевозможных расцветок и оттенков тропической растительности. Следовательно, определяющие компоненты оказываются лишь экспрессивными знаками, которые в меньшей степени используются для передачи точного оттенка объекта, ввиду отсутствия постоянности цвета в образе десигната. Оттенок цвета рисуется лишь в сознании, благодаря опоре на ассоциативное поле человека, стереотип, закрепленный в человеческом сознании. Основная функция таких определений — создать эмоциональный и чувственный образ цвета.

Определение цвета может основываться не только на внешнем образе, но и на культурно-национальных особенностях, например: *czewien piekielna* — красный цвет огня, так как по народным преданиям и сказаниям ад полон огня, в котором мучают грешников (ср. польск. *ogien piekielny*), прилагательное *piekielny* подчеркивает яркость цвета; русское *черный магический*. Слова *магия, магический* уже по традиции связаны с черным цветом (ср. конструкции типа *черная магия, черная книга*). Слово *магический* усиливает насыщенность черного цвета. В приведенных двух примерах имеем дело с использованием экспрессивно насыщенных слов, которые придают термину привлекательный и интригующий характер.

Прилагательные третьей группы получили цветовое значение в результате семантического способа словообразования. Подавляющая часть лексем данной группы принадлежит литературному языку (польскому и русскому). Сюда же причислим относительные прилагательные, указывающие на колористику предмета через отношение к предмету. Высокая частотность или постоянность цвета в образе десигната создают цветовой стереотип предмета, закрепленный в сознании. Таким образом, появляются потенциальные условия для возникновения новой номинации, так как цвет предмета одинаково функционирует у носителей языка. Потенциал цвета заложен уже в оптических свойствах предмета. При номинации часто используются названия растений, драгоценных камней, природных объектов и т.д. Некоторые лексемы настолько распространены в языковом общении, что они зачастую могут не отождествляться с предметным прототипом, их этимология со временем будет стираться, например: *рубиновый, золотой, серебряный, сливочный, малиновый, изумрудный, песочный, ceglasty, popielaty, groszkowy, malinowy, złoty, srebrny, oliwkowy, perlowy* и т.д. Приведенные названия широко употребляются в литературной сфере. Тем не менее в обоих языках для обозначения цвета автоэмалей к этому способу словопроизводства прибегают сравнительно редко. К относительно новым названиям можно отнести следующие: *латунный, ледниковый, лунный, ежевичный*, в польском языке: *lipowy, miedziany, anyżkowy*.

На месте прилагательных, обозначающих цвет, все большее распространение получает форма существительного. Такие лексемы образуют четвертую группу. Цветонаименование, выраженное именем прилагательным, представляет качественную характеристику. У существительных, называющих цвет, имеется опредмеченность цвета, представление цвета сквозь призму предмета как носителя соответствующего внешнего признака<sup>3</sup>. Не исключено, что прямое отнесение к объекту в большей мере наводит на мысль о его цвете, так как человек воспринимает мир в категориях формы и цвета. Существительные, имеющие функцию названия цвета, функционируют как в русском, так и польском языках. Так, названия, непосредственно отсылающие к предмету как цветовому образу, широко представлены в нашем материале, например, в русском языке: *рубин, аметист, авантюрин, миндаль, нарцисс, ирис, сапфир, корица, жемчуг, песок, баклажан, изумруд, коралл, опал, айсберг, джунгли*; в польском: *malina, srebro, wisnia, chaber, heban, kaktus, dojrzala cytryna, step*. По нашим подсчетам, в русском языке названий этого типа примерно наполовину больше, чем в польском. Первообразом таких наименований могли служить такие конструкции, как: *цвета рубина, цвета аметиста, цвета миндаля, koloru maliny, koloru srebra, koloru chabru* и т.д. В качестве цвета используются также названия артефактов, например: *табак, аквамарин, мокрый асфальт, валюта (серо-зеленый), cegla, ugier*. Отметим, что польский язык в процессе цветоназывания часто использует на-

звания растений и цветов (ср. *malina, wisnia, chaber, heban, kaktus, dojrzała cytryna*). По сравнению с польским, словопроизводство в русском языке шире. Русский язык для наименования использует не только названия объектов растительного мира, ср.: *миндаль, нарцисс, ирис, корица, баклажан, осока (зелено-голубой)*, названия камней, прежде всего драгоценных, ср.: *гелиотроп, аметист, авантюрин, чароит, жемчуг, изумруд, опал*, но и животного мира, ср. *антилопа люкс (серебристо-бежевый), динго (серый), игуана (серебристый ярко-зеленый)*. Особенно часто в русском языке прибегают к названиям плавающих животных и рыб, ср.: *оливин, афалина (серебристый зелено-голубой), скат, мурена (сине-зеленый)*. Примечательно, что в польском языке мы не зафиксировали ни одной лексемы, ссылающейся на название животного или рыбы. Вероятно, сравнение цвета автомобиля с рыбой имеет более обоснованную причину. Такая трактовка вызвана ассоциацией рыбы с подвижностью, живостью, т.е. чем-то ожидаемым и положительным. Например, у слова *мурена* (как названия цвета) есть своя «легенда»: «Хищное, гибкое тело рыбы, слившееся в одно целое с подводным миром. Никогда не знаешь, блики ли солнца мраморной сеткой бегут по подводным камням, или это тонкий муар удивительно окрашенного одеяния мурены-«бриллианта» в короне океана Гавайских островов»<sup>4</sup>. По замыслу создателей, это цвет обманчивого спокойствия и неожиданной агрессии. Из этого следует, что слово притягивает не значением изысканного цвета, а скрывающимися за значением лексемы отличительными свойствами, характеризующими достоинства самого товара. По функции это сближает цветообозначения, в основе которых лежит название рыбы или животного, со следующей группой.

Цветоименования пятой группы, кроме значения цвета, несут дополнительное экспрессивное значение. Привлечь внимание к цвету — главная задача этих цветообозначений. С появлением конструкций этого характера рождаются новые возможности в системе цветоименования. С одной стороны, мы имеем дело с характеристикой цвета (иногда отдаленной), с другой — с экспрессивно маркированными наименованиями. Строения этого типа являются, вероятно, продуктом 80-90-х гг. XX века. Отметим только, что в западных странах намного раньше стали употреблять такого типа цветотермины. Пополнение семантического поля «цвет» особенно продуктивно в этой группе как в польском, так и в русском языках. Конструкции данной группы отличаются высокой степенью экспрессивности. Цветовой термин, кроме опоры на цвет предмета, именуемого в структуре названия, имеет дополнительную рекламную функцию. Рекламная функция достигается благодаря употреблению броских, нередко поэтических выражений, создающих привлекательную оболочку слова. Приведем примеры: *полярное море, брызги шампанского, золотая нива, зеленый сад, морская волна, granit alpejski, lazurowe wybrzeże, perla*

*turkusu*. В названиях настоящей группы имеется ссылка или на цвет объекта, напр.: *живое серебро, золото пустыни, голубой атолл, srebro polnosy*, или на ассоциативное поле, формирующееся в сознании носителя языка: *чайная роза, снежная королева, ниагара (золотисто-серебристый), kanion Kolorado, księżycowy pył, Morskie Oko (темно-зеленый), blask jesieni*. Однако ассоциативное поле может варьироваться у каждого человека в зависимости от собственных представлений, следовательно, у носителей языка иногда могут активизироваться в сознании разные цвета, что затрудняет выработку одного цветового образца. С другой стороны, такая неопределенность (неуверенность в цвете) является одним из факторов, воздействующих на воображение человека и заинтересованность самим цветом. Употребление экспрессивно насыщенных слов, типа: *полярный, брызги, роза, lazurowy, księżycowy, jesien, kanion* поэтизирует строения этого типа. Следует отметить, что при передаче оттенка темного цвета польский язык часто прибегает к слову *noc*, ср. *noc świętojanska, nocny cien, noc Kairu (темно-синий), noc Grenlandii (темно-синий)*. В русском языке мы не отметили конструкций подобного характера. Таким образом, экспрессивно маркированные конструкции являются одной из главных примет современного цветоименования в польском и русском языках.

Характерным признаком шестой группы является отсутствие привычной связи между названием и представлением о цвете. В семантике представленных лексем очень трудно выделить какую-нибудь сему цвета. В таком случае можем говорить лишь о чисто ассоциативной связи со значением цвета. Ассоциация цвета и названия, использованного как образец того же цвета, бывает крайне отдаленной или вообще отсутствует. Фактический материал показал, что русский язык располагает довольно большим количеством таких наименований по сравнению с польским, в котором нами найдено лишь одно слово. Передать цвет символически — это основная функция таких цветообозначений. Такие цветообозначения становятся лишь условным знаком, символически выражающим цвет, например: *медео (голубой), шампань, майя (серебристый темно-бордовый), скиф (вишневый), электрон (темно-серый), амулет (темно-зеленый), hologram (серебристо-серый)*. Сцепление слова и выражаемого им цвета достигается благодаря опоре не на привычные языковые представления о цвете, а на потенциальную колористическую ассоциацию между предметом и его цветом. Как указывалось выше, ассоциативный портрет, активизируемый в сознании, может отличаться у каждого человека, поэтому столь важно наличие хотя бы минимальной связи между названием и его цветовыми ассоциациями.

Возникает вопрос, какие факторы определяют использование в русском языке тех или иных лексических единиц в функции цветообозначений. Часто используемым приемом словопроизводства является ссылка на отдаленные, недоступные места, которые положительно ассоциируются носителям



языка, напр.: *корсика* (серебристый темно-зеленый), *лагуна* (серебристо-синий), *пицунда* (зелено-синий), *сафари* (светло-бежевый), *монте-карло* (ярко-синий), *мулен руж* (ярко-фиолетовый), или космос: *млечный путь* (графитовый). В основе части названий лежат также явления природы: *лунная радуга*, *мираж* (серебристый желто-зеленый). В русском языке часто прибегают к названиям атмосферных осадков, ветров: *лесной дождь* (темный зелено-голубой), *бриз* (зелено-голубой), *буран* (светло-серый), *циклон* (серо-голубой), *торнадо* (красный). В польском языке мы не зафиксировали названий этого типа. Лишь в русском языке прототипом новых слов стали названия лиц, мифических героев: *валентина* (серо-фиолетовый), *кардинал*, *кармен* (красный), *софия* (яркий голубой), *моцарт*, *виктория* (серебристый ярко-красный), *фея* (серебристо-синий), *бэтман*, *посейдон* (голубой), *нептун* (темный серо-синий). В русском языке для образования новых цветообозначений часто используются символы власти, успеха, победы: *фортуна* (красный), *триумф* (серебристо-красный), *приз* (серебристо-золотой). Применение слов с таким значением психологически воздействует на покупателя, уверяя в удачном выборе. Возможно, что стремление подчеркнуть скорость, недостижимость предмета стало базой для появления конструкций типа: *искра* (красный), *экспресс* (серебристо-желтый). С некоторой долей уверенности можно говорить, что в названиях этого типа имплицитно скрываются не только цвет, но и положительные ассоциации, связанные с товаром, т.е. быстрота, счастье, успех, богатство. Так, в цветообозначениях, в основе которых лежат названия атмосферных явлений типа *буран*, *циклон*, *торнадо*, имеется направленность на скорость, живость, проворство. Живость, непостоянность проявляется имплицитно и в семантике цветообозначения *рапсодия* (серебристый ярко-синий), ср. значение слова: «муз. произведение, которое отличает свобода формы (разноплановые эпизоды), вокально-инструментальное исполнение на темы народных песен, танцев» (1; 2). Лексемы *мираж*, *магия* (*баклажановый*) наводят мысль о чем-то соблазняющем, таинственном, мистическом. Следует подчеркнуть, что в русском языке некоторые из отмеченных названий вовсе не имеют никакой цветовой ассоциации. К ним принадлежат: *моцарт*, *фортуна*, *триумф*, *приз*, *мираж*, *экспресс*, *рапсодия*. Они становятся лишь

знаковым символом без какой-либо привязки к цвету. Интересно сопоставить названия *хамелеон* и *hologram*, так как оба служат для обозначения одного и того же серебристо-серого цвета, вернее цветов, поскольку эти названия отражают их характерное свойство — переливаться на солнце всеми цветами радуги. Лексемы *хамелеон* и *hologram* передают скорее не значение цвета, а способность к изменению цвета.

В заключение следует сказать, что структура цветообозначений в польском и русском языках имеет много общего. Цветовые термины представляют собой большое и неоднородное семантическое поле в обоих языках. Ввиду этого классификация может быть проведена по разным критериям: структурному, словообразовательному, семантическому, стилистической окраске. Однако подробные исследования выходят за рамки настоящего изложения. Система наименований цвета автомобилей отличается сложностью своей структуры. Кроме привычного выражения категории цвета именем прилагательным (*баклажановый*, *сандаловый*, *oliwkowy*, *wrzosowy*), мы нашли новые явления, к которым относится употребление существительных в функции названия цвета (*искра*, *нептун*, *ocean*, *chaber*), а также словосочетаний, различных по структуре (*черное серебро*, *голубой атлантический*, *зеленый спайс*, *czzerwony rubens*, *zielen mistralna*). Некоторые цветообозначения отличаются эмоциональной нагрузкой. В большинстве случаев такие названия ассоциативно связаны с цветом (*полярное море*, *брызги шампанского*, *granit alpejski*, *lazurowe wybrzeże*). Широкое развитие таких терминов свидетельствует о появлении новой функции в системе цветоименования обоих языков. На первый план выдвигается не сама потребность выражения цвета и его тонкостей, а название, его притягивающая, манящая «лицевая сторона». Для части русских терминов вообще трудно установить ассоциативное поле цвета (*мираж*, *бриз*, *буран*). Классы объектов, которые послужили для словообразования цветообозначений в русском языке шире, чем в польском. Русский язык использует для цветоименования также названия лиц, мифических героев, животных, особенно рыб. Однако развитие системы номенклатурных цветообозначений в современном русском и польском языках следует считать еще далеко не завершенным.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Особенно много работ посвящено роли цветовых определений в художественных текстах, см. работы: Л.Г. Асракадзе, А.П. Василевича, К.М. Зайнетдинова, В.М. Иваровской, Л.П. Прокофьевой, Е.Н. Рядчиковой, И.А. Скворцовой.
2. Собственные имена существительные, начиная функционировать в качестве определения цвета, переходят, как правило, в разряд нарицательных, т.е. подвергают апеллиативации, следовательно, должны писаться со строчной буквы. Однако нет последовательности в орфографическом написании, одно и то же слово пишется то со строчной, то с прописной буквы.
3. Определение цвета существительным — явление не новое в обоих языках. Уже давно в этой функции используются названия красок, напр.: *охра*, *ugieł* и т.д.
4. См. статью «Цветовая гамма автоэмалей на 2003 год», представленную на сайте: [www.pikar.ru](http://www.pikar.ru).

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Большой толковый словарь русского языка / Под ред. С.А. Кузнецова. — СПб., 1998.
2. Большой энциклопедический словарь / Под ред. А. М. Прохорова. — СПб., 1998.
3. Waszakowa K. Podstawowe nazwy barw i ich prototypowe odniesienia. Metodologia opisu porownawczego // Studia z semantyki porownawczej, nazwy barw, nazwy wymiarow, predykaty mentalne. eds. R. Grzegorzczkowska, K. Waszakowa. — Warszawa, 2000. — С. 17-28.

## О ЦВЕТЕ НЕКОТОРЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ФЕНОМЕНОВ И ЯВЛЕНИЙ (на материале современного французского языка)

А.В. Колмогорова  
Новокузнецк

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», — гласит русская народная мудрость. Действительно, зрительное восприятие играет огромную роль в жизни человека. Категория «видение» имеет, в частности, особую значимость во французском языке и мировосприятии (1). Неслучайно поэтому некоторые социальные феномены и явления в лингвистической модели мира французского языка предстают в цвете — белом (*blanc*) или черном (*noir*).

Изучая концептуальное содержание и выявляя концептуальный механизм функционирования прилагательных белый (*blanc*) и черный (*noir*) в составе адъективно-субстантивного сочетания во французском языке, мы пришли к выводу, что в основе представления о белом (*blanc*) и черном (*noir*) в данном языке лежит категория «видение». Мы использовали в несколько модифицированном виде предложенные А. Вежбицкой (2, с. 245) основанные на категории «видение» универсальные толкования для слов-цветообозначений со значением «белый» и «черный» в различных языках для того, чтобы очертить границы центров категорий «*blanc*» и «*noir*»: для «*blanc*» — «когда все хорошо видно», для «*noir*» — «когда почти ничего не видно».

Основываясь на том, что прилагательные «*blanc*» и «*noir*» во французском языке являются ядерными и одними из наиболее древних цветовых прилагательных, объединивших и трансформировавших представления о данных цветах в латинской и германской традициях, мы предположили (и в ходе исследования эта гипотеза полностью подтвердилась), что в основе концептуализации этих цветов во

французском языке лежат некие элементарные смыслы, восходящие к первичному осознанию человеком окружающего мира, т.е. имеющие отношение к мифопоэтической модели мира, которая, потеряв свое доминирующее положение в модели мира современного человека и переместившись по большей части в область бессознательного, тем не менее, продолжает оказывать влияние на мышление и представление о мире современного человека.

Категория «*noir*» оказывается тесно связанной с категорией «*blanc*». В основе концептуализации этих цветов лежат основные принципы мифического мышления: метафоричность (хотя то, что для нас метафора, для мифического сознания — реальность, т.е. осознание различия между образом и значением еще не происходит), бинарные оппозиции как основной способ организации знаний о мире, антропоморфность — перенесение человеческого на окружающий мир. Белое (*blanc*) и черное (*noir*) представляются как противопоставленные категории, основу которых составляют 5 пар бинарных оппозиций элементарных смыслов, явившихся обобщением первичного опыта взаимодействия человека с пространством, первичного аксиологического опыта, первичного опыта такой ментальной операции, как идеологизация, обобщение эмпирически познанного. Вот эти смыслы: *верх* / *низ*, *открыто* / *закрыто*, *снаружи* / *внутри* (опыт познания пространства), *хорошо* / *плохо* (аксиологический опыт), *жизнь* / *смерть* (идеологизация вышеперечисленных оппозиций) (рис. 1).

*blanc*

*noir*



Рис. 1

Таким образом, концептуальную основу для представления о категории «*noir*» во французском языке составляют смыслы *смерть*, *низ*, *внутри*, *закрыто*, *плохо*, максимально отвечающие толкованию «черное (*noir*) — это когда почти ничего не видно». Следовательно, во французской лингвистической модели мира некий объект концептуализируется как принадлежащий категории «*noir*», если это такой объект, «о котором я думаю как о находящемся *внизу*, *внутри* и *закрытом*, который (или в котором) почти ничего не видно, который может отрицательно оце-

ниваться и иметь отношение к смерти».<sup>1</sup> Основу для представления о категории «*blanc*» составляет сочетание следующих элементарных смыслов: *жизнь*, *верх*, *снаружи*, *открыто*, *хорошо*. Все эти смыслы максимально отвечают предложенному толкованию «белое (*blanc*) — это когда все хорошо видно». Следовательно, белым «*blanc*» может называться такой объект, о котором я думаю как о находящемся *вверху*, *снаружи*, *открытом*, который (или в котором) все хорошо видно, который может иметь оценку «хорошо» и может иметь отношение к жизни.

Результаты исследования показали, что на концептуальном уровне категории «blanc» (белый) и «noir» (черный) имеют стабильный центр и гибкую периферию. Центральные члены этих категорий образованы непосредственно на основе сочетания пространственных смыслов, совокупность которых для каждой категории в нашем исследовании была названа первичной концептуальной схемой. Центральные члены категорий реализуются в речи прямыми (неметафорическими) употреблениями данных прилагательных. Однако нас интересует периферия данных категорий, которую составляют концепты абстрактных сущностей, психо-эмоциональных феноменов и социальных явлений и феноменов, образованных при помощи метафорической и метонимической моделей (рассматриваемых в качестве важнейших мыслительных операций) как от всех или нескольких пространственных смыслов, так и от смыслов *жизнь, хорошо* для «blanc» и *смерть, плохо* для «noir».

Исследование показало, что в лингвистической модели мира французского языка некоторые феномены психической, мыслительной, духовной и социальных сфер концептуализируются как некие объекты, определенным образом локализованные, ко-

торые, в зависимости от представления об их пространственном положении, попадают в категории «blanc» или «noir».

В сферу интереса данной статьи попадает прежде всего концептуализация и, следовательно, цвет социальных явлений. Обратимся к таким концептам из категории «noir».

Суть концепта «нелегальность» мы постарались объяснить следующим толкованием: это отрицательно оценивается обществом или/и законом; это скрывается от общества или/и закона, но тот, кто это делает, получает выгоду.

Мы отнесли данный концепт к числу концептуализаций социальных явлений, потому что здесь налицо взаимодействие социума и отдельного индивида, который хочет оставаться членом данного социума, совершая, тем не менее, недозволенные официально или неофициально поступки.

Нелегальность представляется как нечто, находящееся внутри какого-то закрытого пространства («Это нужно спрятать!»), но получающее отрицательную оценку (так оценивает это общество, и сам делающий это знает о такой оценке). Таким образом, схематически положение данного концепта в общей концептуальной структуре можно представить так (рис. 2):

Рис. 2



Очень часто этот концепт реализуется в речи сочетанием «marche noir», имеющим вполне адекватный эквивалент в русском языке — «черный рынок».

1. *On parlait déjà de marché noir, et les ménagères belges collectionnaient les kilos de sucre* (M. Yourcenar S., 54);

2. *La comptesse de Bréaud, une autrichienne qui vit dans une cave.*

*Ducruech haussa le sourcil.*

— *Sans intérêt, je crois, balbutia le secrétaire. Marche noir sous l'Occupation* (F. Sureau, 65);

3. *Sous les bombardements incessants de 1944, en cette partie de la Normandie, il a continué d'aller au ravitaillement, quémendant des suppléments pour les vieux, les familles nombreuses tous ceux qui étaient au-dessous du marché noir* (A. Ernaux P., 49).

Слухи о возникновении черного рынка становятся первым знаком военного времени (пр.1); торговля на черном рынке во время оккупации — один из «грешков» графини Брео (пр.2); господство черного рынка во время войны затрудняет жизнь малообеспеченных слоев населения — стариков и многодетных семей (пр.3).

На наш взгляд, черный рынок (примеры 1-3) может рассматриваться как рынок, появляющийся в ситуа-

ции каких-либо затруднений на официальном рынке и умело пользующийся этими затруднениями; такой рынок вредит экономике страны, не приносит ей доход, и поэтому осуждается законом и, как следствие, такая торговля должна тщательно скрываться, вестись втайне от правоохранительных органов, но такая торговля не всегда, а можно сказать, лишь иногда вызывает отрицательную оценку общества в целом. Многие члены общества охотно пользуются ее услугами.

Следующая группа примеров, иллюстрирующих концепт «нелегальность», менее стереотипна и более интересна. В примерах (4-6) в категорию «noir» попадают поступки, негативно оцениваемые социумом и потому скрываемые.

В примере (4) героиня, усыпив бдительность своих спутников, втайне отключила в их комнатах отопление, чтобы повысить уровень нагрева отопительной системы в своей комнате, а когда разъяренные компаньоны потребовали от нее объяснений, она так и не созналась. Налицо априорное знание героиней отрицательной оценки ее поступка обществом, поэтому она совершает его втайне, тщательно скры-

вает, и она от этого поступка получает несомненную выгоду: удобство и комфорт в своей комнате:

4. *Le doute n'était pas permis, le forçait signé: après avoir endormi la méfiance de ses compagnons de week-end, Agnès avait traîtreusement coupé le chauffage à tous les autres afin de pouvoir monter le sien au maximum et se prélassait dans une étuve où, semblait-il, elle n'imaginait pas un instant que ses victimes furieuses viendraient la réveiller pour lui demander comptes. Jusqu'au bout, contre toute vraisemblance, elle plaïda non coupable, s'ingignant qu'on la soupçonne d'une action aussi noire* (E. Carrière, 40).

Герой примера (5) возмущен теми «черными несправедливостями», которым подвергся его друг и которые, тем не менее, остаются незамеченными, то есть эти несправедливости столь ужасны, что, став известными обществу, они бы неминуемо получили отрицательную оценку. Но кому-то эти несправедливости выгодны, и именно поэтому они остаются вне огласки, «не замечаются»:

5. — *Une iniquité éclatante comme celle que vient de subir Lamoral entraîne avec soi toute une séquelle d'injustices aussi noires, mais qui demeurent inaperçues, reprit-il, ménageant son souffle* (M. Yourcenar O., 270).

Героиня примера 6 предполагает, что женщина, к утешениям и поддержке которой она однажды прибегла, рассказав жалобную историю о том, как ее отец собирается жениться на отвратительной женщине, якобы уже невзлюбившей свою будущую падчерицу, узнав о том, что на самом деле девочку со своей предполагаемой мачехой связывает нежнейшая дружба, переходящая, по слухам, все границы дозволенного, либо обвиняет ее в «черном» лицемерии (*une noire hypocrisie*), либо в «сделке с пороком»:

6. *Je n'étais plus jamais retournée voir Mme Lucette; je l'évitais au contraire et lorsque je passais sur le trottoir d'en face, je l'apercevais de temps à autre qui me lançait un regard de reproche en débitant ses crayons et son papier à lettres. Comme toute la ville, elle savait certainement que je voyais Tamara et, en elle-même, elle devait se dire, ou bien que je m'étais montrée d'une noire hypocrisie, ou bien que j'avais, comme elle disait, «pactisé avec le vice»* (F. Mallet-Joris R., 110).

На наш взгляд, отнесение лицемерия к категории «noir» связано с тем, что, во-первых, хотя некая доля лицемерия принимается социумом (например, правила вежливости, этикета основаны на этой доле), но в данном случае это качество достигло той степени проявления, которая уже не приемлется и осуждается, во-вторых, это притворство принесло девочке выгоду: она получила незаслуженные знаки внимания и утешение.

Концепт «агрессивные эмоции» мы также склонны считать социальным феноменом по двум причинам:

1) агрессия в качестве конститутивного признака

имеет признак направленности отрицательных эмоций, интенций на другого, а не на себя, как, например, в случае с депрессивными эмоциями, а любое взаимодействие по крайней мере двух человеческих индивидов можно уже назвать социальным; 2) в концептуализации этого феномена большую роль играет отрицательная оценка агрессии социумом, т.е. есть двунаправленная связь: индивид направляет свои отрицательные эмоции на другого члена социума, общество отвечает ему осуждением.

Иными словами, «агрессивные эмоции» — это такие эмоции, которые, во-первых, направлены на другого, во-вторых, рассматриваются в рамках данной культуры и социума как недостойные и нежелательные, так как они провоцируют конфликтные ситуации, что, в свою очередь, приводит к нестабильности в обществе, в-третьих, они относятся к «низким» эмоциям, так как плохо поддаются контролю сознания (метафора КОНТРОЛЬ ЕСТЬ ВЕРХ является практически универсальной в различных культурах, как это доказали Дж. Лакофф и М. Джонсон — 4, с. 17), и, в-четвертых, агрессор зачастую сам не понимает, откуда в нем берутся эти эмоции, поэтому видится их связь с бессознательным. В итоге «агрессивные эмоции» концептуализируются как объект находящийся внизу, внутри и отрицательно оцениваемый. К такому типу эмоций относятся гнев, ненависть, злоба, обида на другого человека/людей. Наиболее частотным способом номинации этих состояний во французском языке являются адъективно-субстантивные сочетания «regard noir» «oeil noir» («черный взгляд»):

7. *De tous les regards noirs qu'elle avait recus de Sorenza et jamais pardonnés, Rosa se vengea, d'un seul coup de poignard.*

— *C'est ta faute. Si tu l'avais surveillé!* (J. Montupet, 37);

8. *«Franca, il faut cesser de boire, ou vous en allez»...*

«— *Mais, enfin, Franca, vous étiez contente ici, on s'entendait bien, vous aimez bien les enfants...*» *Sans doute, semblait dire son regard noir, désespéré, mais qu'est-ce que cela pèse, un sentiment, à côté de ce besoin de disparaître, de s'oublier, de s'anéantir?* (F. Mallet-Joris M., 36);

9. — *Eh bien toi, au moins, tu me connais mal ..., a-t-elle sifflé entre ses dents avec un œil noir* (P. Djian A., 112).

Как мы видим из примеров, к категории «noir» относятся взгляды, выражающие гнев, вызванный отчаянием, гнев, который испытывают больные алкоголизмом люди по отношению к тем, кто их уговаривает лечиться (8), ненависть и злобу мачехи к падчерице (7), ненависть, сопровождающуюся угрозами, к обидчику (9). Схематически концептуализацию данного феномена можно представить так (рис. 3):

Рис. 3



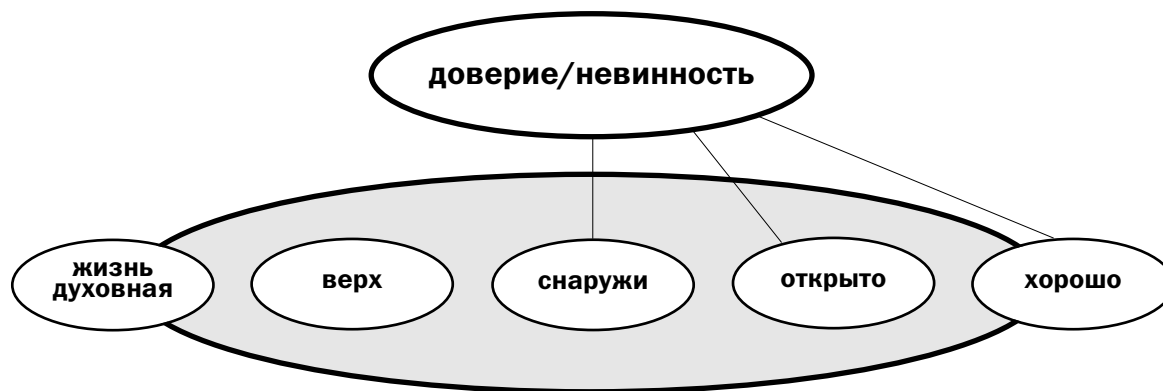
Следующий концепт, на наш взгляд также социального характера, сформулирован как «невинность/доверие». Этот концепт принадлежит периферии категории «blanc». Анализ словарных дефиниций слова «confiance» (доверие) показал, что это явление, эмоционально-социальное событие, в котором участвуют, по крайней мере, два лица: А верит и доверяет В. Возникает вопрос: что является основанием для уверенности А в В? Мы считаем, что ответить на этот вопрос можно так: А уверен в В и доверяет ему, потому что В производит впечатление или является «невинным» (т.е. незапятнанным никаким злом по отношению к А). Таким образом, невинность и доверие оказываются двумя переливающимися друг в друга сторонами одного процесса, который концептуализируется как открытый объект, находящийся снаружи и положительно оцениваемый. Рассмотрим, на наш взгляд, достаточно показательный пример:

10. *C'est encore mon oncle cette fois qui provoque mes mouvements. Je veux le séduire, lui imposer, lui montrer patte blanche... lui prouver que je suis avec lui, comme lui, comme il prétend être, du bon côté, dans le monde des vrais hommes...* (N. Sarraute, 105).

Для того, чтобы вызвать доверие своего дяди, племянник старается показать и доказать, что он на стороне дяди, что он «невинен» перед ним, то есть, что в его поведении и мыслях отсутствует что-либо, что может быть расценено дядей как зло по отношению к его, дядиной, жизненной позиции. Все поведение племянника резюмируется его же собственным выражением — «je veux lui montrer patte blanche» «я хочу показать ему белую лапку», иначе говоря — (я хочу вызвать его доверие, доказав и показав свою невинность перед ним).

Схема образования концепта «доверие/невинность» может быть представлена так (рис. 4):

Рис. 2



Таким образом, мы заключаем, что категории «blanc» (белый) и «noir» (черный) в лингвистической модели мира французского языка глубоки и многогранны, и включают в себя очень важные для человека явления и

феномены различной природы, в число которых входят и такие социальные и социально-психологические феномены, как «нелегальность», «агрессивные эмоции» («noir») и «невинность / доверие» («blanc»).

#### ПРИМЕЧАНИЯ

1. Здесь нами использована семантическая формула для имени прилагательного «я думаю об этом как о...», предложенная А. Вежбицкой (2, с. 120)

#### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Вежбицкая А. Обозначения цвета и универсалии зрительного восприятия // Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. — М., 1997. — С. 231-290.
2. Вежбицкая А. Что значит имя существительное? (или: Чем существительные отличаются по значению от прилагательных?) // Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. — М., 1999. — С. 3-90.
3. Lakoff G. *Metaphors We Live By*. — Chicago, 1980.
4. Soh J.-C. L'acte de «voir» face au monde reel // *Langage, Cognition et Textes*. — Université Hankuk des Etudes Etrangères — Université de Paris — Sorbonne, 1996. — P. 47-85.

# ГОЛОСА ВРЕМЕНИ. А.РЕ

- 1/ А. Ре / Ставрополь / Дорога в куда
- 2/ К.Э. Штайн, Р.М. Байрамуков / Ставрополь / Исповедь блудного сына: феномен искренности

## ДОРОГА В КУДА

А. Ре  
Ставрополь

## Часть первая

*Итальянские встречи*(Восстановленные страницы  
уничтоженного дневника)

**13 ноября 2000** я уехал из дома, не имея представления, когда вернусь обратно, уехал с твердым намерением не возвращаться в ближайшие полгода. В кармане Итальянский шенген — двухнедельная виза, денег 7608 и немецкие марки — мелочь на телефонную карту, два телефона, один земляка-ставропольца в Милане, второй «агента» Толика в Берлине.

Путешествие, которое я вынашивал за годы учебы в институте, не предполагало в первую очередь неких обязательных туристическо-развлекательных мотивов. Задач было несколько: найти работу и заработать денег, адаптироваться в европейской среде, активизировать свой английский и по возможности осваивать второй — любой европейский язык. Завести контакты, посмотреть и пощупать все самому. Были иллюзии, куда без них?

Уже через три дня дороги долго планируемое мероприятие приобретало форму авантюры.

Автобус Ставрополь-Берлин, до Москвы доехали нормально, в Москве пересаживаемся на другой — двухэтажный, куда замикшировали — наш Кавказский и второй с Казахстана. Много человек едет на пляж, есть дети, женщины, старики, не хватает только раненых. Шмоток куча, еле урамбовали.

**15 ноября.** *Брест. 6 утра.* Становимся в очередь, еще не заезжая в таможенный терминал. Граница через пару сотен метров, еще можно купить родной пирожок, бутылку кефира. Вся процедура в итоге занимает около 4-х часов, все проходит гладко, без вопросов. Мы в Польше — настроение народа изменилось в лучшую сторону. Нас хорошо накормили днем и легкий перекусок вечером.

**15 ноября. 5<sup>30</sup>.** *Аэропорт Шенефельд.* Вот я и приехал. (В Берлин автобус не заезжает). Разговорился с девушкой из нашего автобуса, ее должны встретить. Общественный транспорт ходит, но спросить, куда и что не у кого. Дозвониться мне не удается, мобильник отключен. Приезжает дяденька за девушкой, меня тоже приглашают подвезти в центр. Потихоньку светлеет. Сначала Восточный Берлин — дома, планировка, что наш Юго-Западный, девятиэтажки один в один, дальше архитектура приятнее. Проезжаем мимо стены, легендарной Берлинской стены. Оставшийся кусок — может чуть меньше километра, или полкилометра — весь испещрен граффити — фантастическими безумными: плотный, насыщенный, перекрученный активный ковер из букв, лиц, фигур, знаков. Дяденька русский, по ходу движения рассказывает, где едем, что видим. Турецкий район. Русский район. Театр Оперы, всякие немецкие названия зданий, улиц, аллей.

Зоологиягартен или зоопарк — через улицу Центральный железнодорожный вокзал — меня доставили, экскурсия закончилась. Хожу по вокзалу, осматриваюсь, взад-вперед, кафе, кассы, справочное бюро, почта — пошла первая открытка, отправил р/с на адрес «Орфея». Дозваниваюсь до Толика, встречаемся на Александр-Плау, на заборе плакаты — афиши «АКВАРИУМа». — О!, — говорю я. — Да ты знаешь, — говорит Толик, — «Аквариум» тут уже никого не прет, не интересно это. Толику есть основания верить — живет в Берлине три года и работает директором какой-то рок-группы. Сидим на лавочке, покуриваем, я жую изюм, типа завтракаю, и смотрю по сторонам, стараясь осознать где я. Не потому, что не понимаю происходящего, а как бы впитываю все, что меня окружает. Несколько слов о знакомых, музыке, боге. Потом идем покупать мне билеты на завтра до Милана — дешевле ехать автобусом. Уговор такой — сегодня я у них ночую — без вопросов — завтра я уезжаю. Сильно я не расстраиваюсь, оттого, что ненадолго зависаю в Берлине — языка не знаю. Билет взяли, я уже в предвкушении Италии: апельсиновые рощи, кареглазые итальянки, Эпоха Возрождения, Пиза, Флоренция, дворцы, пицца, макароны.

Приходим, в квартире нас ждут еще два типа — Андрей, брат Толика и Вадим — тоже 2 чел все земляки из Барнаула. Живут нелегально, кто два года, кто год. Дом на капитальном ремонте. Время часов 10 утра — стройка идет вовсю, стучат и тархтят всякие агрегаты. Квартира на последнем этаже — участок безопасной территории, не тронутый ремонт. Строек по городу достаточно, стройка это одно из реальных мест, где люди нелегально работают. Часто бывают облавы — специальные ы под видом рабочих ходят и прислушиваются кто где на каком языке говорит, предварительно район блокируется полицией — потом типы начинают проверять документы у всех рабочих — нелегалам редко приходится уйти от возмездия. Я скучаю. Между тем, как положено, мы попиваем пиво «Губернское» — Ставропольское, сало, хлеб. Думаю, порадую ребят — презентую им коробку Беломора — реакция ровная. Покурили, пошли за пивом. День разворачивается. Толик давно ушел. Опять пиво. Пошли в супермаркет за хавчиком, взяли Вина, Рома, пожевать. Отдыхали весь день — почти все время сидели дома, уже стемнело, стало прохладно — мы вдвоем с Вадиком. Сделали глентвейн, потягиваем потихоньку. Вадик спрашивает: Ты сигары пробовал? Какие сигары? — отвечаю. Он смотрит с прищуром. Нет, не пробовал. Ладно, верю. — Дает мне здоровенную сигару. Выкурили, время идет, ничего особенного, сигара, видимо, расстаяла в омуте пива и глентвейна. Но собеседника моего, видимо, затянуло, смотрит на меня с прищуром, картинно затягивается и говорит мне: «Ну что, Санек? Плохо тебе здесь

придется». Сначала я пытаюсь отшучиваться. Он все о том же. Я напрягся, но вида не подаю. «Что ты имеешь в виду?» — «Может, ты думал, что тебя встретят с фанфарами? Хана тебе». Вижу, дело совсем не туда поворачивает, время между тем около 23<sup>00</sup>, в квартире дубак. Я собираюсь уходить. Одеваюсь, обуваю тяжелые ботинки, рюкзак повесил. Оппонент на прежнем месте. И в этот момент заходит Толик. Ты куда? Я обрисовываю структуру момента. Потом появляется еще человек — Макс, тоже барнаулец — музыкант. Вадима успокоили — знать, водятся за ним такие шутки. Переночевал в зале — не полу, спал одетый и обутый по всей форме — вокруг валялись папиросы. Гостеприимное место. В семь утра я уже шагал по Берлину, потягивая «Беломор», по памяти дошел до Александр Плац — где и обнаружил весьма приятный магазин — Виски, Скотч, Айриш, Молты — все на розлив, можно дегустировать. А куда без дегустации? Выбрал Скотч — чистый Молт 100 г с бутылочкой из синего стекла 9 DM. Иду дальше — турист настоящий, достиг и прошел всю известную улицу, где в июне каждого года безумствуют местные — широкий и длинный прострел сквозь лесок — парк, моросит дождь.

По пути встречаются различные магазинчики, сувенирные, лавочки, закусовые, кафе, много кебабов турецких. Фотографирую интересный фонтан, заселенный необычными тварями — это уже центр. До Зоо минут десять ходу, время еще есть. Натыкаюсь на музей эротики, без колебаний отдаю 10 DM за билет. Музей на трех уровнях. Экспозиция, точнее начало просмотра, начинается с третьего этажа — из фойе поднимаешься на лифте и сразу оказываешься в зале. Экспонаты в витринах хорошо освещены. Общий же свет приглушен — посетителей не видно. Тема эроса представлена с древнейших времен в хронологическом порядке, отделы и подборки разбиты по этнографическому признаку. Практически вся планета: Япония, Китай, Китайские гравюры и роспись по фарфору, шкатулочки и снадобья, целые рулоны манускриптов из Азии — падишахи с наложницами, Индия, Египет, Африканские истуканы угрожающих размеров. Подобного вида прочие вещи аборигенов из Океании, Индонезии — много ярких цветов, лохмотьев — нечто похожее в творчестве Северо-Американских индейцев. Потрясающая керамика инков: не фигурки, а посуда, где функциональные детали региона в соответствии с темой. Керамики много из Мексики, Перу и т. д. Много разных вещей из кости, камня, дерева. Атмосфера третьего этажа — жизнеутверждающий фаллоцентризм. Нечто другое на втором этаже, здесь в основном Европа — начиная со Средних веков и до 19 века. Также интересно, но здесь уже больше «искусственного» искусства. Рассказ все о том же, но что-то утеряно. Здесь и первые ню Монмартра, и откровенно богохульные гравюры, затронута тема проституции — страницы истории одной из древнейших профессий. Уже встречаются всякие нездоровые вещи и т. д. Большинство персонажей

второго этажа — уже не просто мужчины и женщины, а представители конкретной социальной среды: солдат, крестьянин, аристократ, священник (монах). Здесь же эпизодически и другие темы, собачки и ослики. На первом этаже современная галерея — никаких экспонатов — на стенах живопись, работы большого формата одного автора. Красно-оранжево-желтые тона, везде примерно один сюжет: обнаженная женщина в разной степени изогнутости и разворота своих прелестей... Именно. Ну а мужчина... Не мужчина, а облако в штанах... Иногда это змея, которая обвивает даму... Фаллоцентризм явно не в моде. Стоимость работ от 7 до 15 тыс. DM. Со сложным чувством я покинул музей. Автобус на Милан отправлялся в 17 с копейками. По дому я еще не соскучился, поэтому не заговорил с земляками, которые направлялись в Португалию, они бодро разговаривали почти всю дорогу — я потягивал Wiskey. Ночью было холодно. Альпы, — подумал я. И действительно, за окном белело, дороги не было видно, ехали будто среди снегов — на полюс. Еще не было 7, когда мы приехали.

**18 ноября. Суббота.** Начались мытарства. Обнаружил я себя на окраине города, куда идти? Позвонить. Так, хорошо, денег я заблаговременно не разменял, первая задача — разменять их. По выходным банки закрыты — выяснил я через некоторое время. Начался дождь, сижу на автобусной остановке. Молодежь, явно школьники, торопятся в школу. Решаюсь попросить у одной школьницы мобильник — объясняю, друг, мол, не встретил, машина сломалась, а у меня деньги все на карточке. Она протягивает мне бумажку 5000 — столько стоит самая дешевая телефонная карта. Сильно благодарю, и, приободренный, торопливо нажимаю на кнопки телефона. Дозвониться пытаюсь в течение получаса из всех ближайших автоматов. Сначала неудача, набираю что-то неправильно? Пробую снова, нет контакта. Меня осенило — обменник точно на вокзале, погружаюсь в Миланский underground — откуда взялась мелочь не помню, но можно было не платить — турникетов нет, на входе просто компостируешь билетик. Центральный Ж.Д. — огромных размеров — имперского вида здание — наверное, самый монументальный из виденных мною впоследствии в Риме, Инструке, Мюнхене, Цюрихе. Деньги я поменял, теперь опять к телефону. Обращаюсь за помощью — как правильно позвонить по карте? Операция не хитрая, перед набором номера нужно нажать на о. Я этого не делал. Сразу кто-то поднимает трубку, отвечает по-итальянски. Я на русском, потом на English. Лажа, моя твоя не понимает. Опять звоню, мобил отключен.

Нужно искать дешевую гостиницу. Смотрю по карте, выписываю несколько адресов, неподалеку. Нашел, 50.000 лир сутки, дешевле не бывает. Уютная маленькая комната, в районе такие же маленькие гостиницы — не меньше десятка. Душ, перекусок, анализ ситуации, ресурсы.



Опять звоню, время за полдень, безрезультатно. Гуляю по городу, звоню, гуляю. Купил вина, хлеба — в пекарне. Дозвониться уже теряю надежду, на «автомате» набираю номер — уже вечер — и вдруг, слышу, отвечают. Привет. Наконец-то я дозвонился до Гарика (телефон мне давал общий знакомый Олег — с Гариком же я не был знаком и ни разу его не видел, знал только, что работал он в свое время скрипачом в «Тракии»). За неделю до выезда я отправил ему сообщение по e-mail). Давай созвонимся утром — звони мне — завтра может увидимся.

**19 ноября.** Утро. Я выселяюсь из гостиницы, полагая, что меня сегодня приютят. На лавочке в сквере вещи, полдня я дозваниваюсь. Нет, сегодня не получится, — говорит Гарик, — и в понедельник я занят, давай во вторник. Плетусь в соседний Hotel — уже 140 тыщентий отдаю за двое суток — в прежней нет мест.

Гуляю по городу, глазею по сторонам, Центр города — площадь ДОМО, кафедральный собор в готическом стиле, толпы туристов, деньги экономлю — т. е. Передвигаюсь пешком, никаких музеев не посещаю. Делаю безнадежные попытки найти работу — захожу в дешевые гостиницы и на стройки, везде повторяю одну и ту же фразу: «Ио черко ил лаворо» — «Я ищу работу». Встречаю только недоуменные взгляды, судя по которым трудно понять, за кого меня принимают. Натолкнулся на забастовку каких-то курдов (судя по флагам) прямо на центральном проспекте — прошел сквозь демонстрантов, потом сквозь полицию. Я спокоен, виза еще не истекла.

Встретил бронзовую скульптуру Хуана Мирополтора натурального размера — некая антропоморфная фигура. Так проходят два дня.

**1 ноября.** Выселяюсь из гостиницы с тем же основанием, надеясь, что будет бесплатное жилье. Сегодня Гарик опять занят, обещает завтра 100 %, оказывается, живет он в пригороде, и завтра, в среду, ему обязательно нужно быть в городе. ОК.

Третья гостиница, того же размера, называется PAGANINI — ей суждено стать последней. Хозяин много лет жил в N.I. — дядьке около 40, хорошо говорит по-английски. Пускает на сутки за бо тыщ, в двухместный номер. Увидев русский паспорт, говорит, что у него работает русская девушка, зовет ее. Знакомимся. Девушка Марина из Молдавии, 25-27 лет. Я вкратце излагаю цель моего приезда — она мне рассказывает историю своей жизни в чужой стране. Получить визу гражданину Молдавии 2000 \$. «Мы с мужем продали все: дом, машину, приехали, никого не знаем. Работу нашли только через 8 месяцев — остались буквально на улице. Марио (хозяин PAGANINI) приютил нас — теперь я у него работаю и еще в одной гостинице. Муж на стройке». У них вид на жительство. «Если бы знал итальяно — муж бы помог с работой на стройке. Найти работу сложно, нелегалов брать боятся, большие штрафы, и вообще полно отовсюду».

**22 ноября.** Четверг. Покинул PAGANINI, встретились с Гариком на Ж. Д. Вокзале — около 11 часов утра. Не в самое лучшее время ты приехал, я поменял

работу, живу у знакомых. Предупредил бы хотя бы за месяц — было одно место, я держал бы для тебя. Сейчас все занято. Обговариваем все варианты, выдает мне невеселый расклад. Работу на Севере найти сложнее, но платят здесь больше, на Юге работать проще, но часто обманывают. Гарик скрипач, в Италии почти два года — по специальности работу не нашел. Гарик нашел работу через пять месяцев — по объявлению. В цирк требовался скрипач. Работа в цирке весьма специфическая и скрипачи не исключаются, практически все время нужно убирать кал за слонами, гибонами и конями, чистить клетки, а в промежутках играть на скрипке. Полчаса в руках скрипка, восемь часов — совок и метла. Весь день мы были на ногах, ходили по каким-то делам. Позвонил Бруде в Питер. Санчес сказал, что мне на e-mail спихнули адреса общих знакомых в Венеции. Окрыленные, ищем компьютерный клуб. В сообщении следующее: Люба нашла телефоны знакомых в Венеции (но самих телефонов нет). Есть маленькая надежда, что они все-таки есть. Мы недалеко от вокзала, беру билет на последний поезд до Венеции.. позвоню уже оттуда. Уже темнеет — делаем привал в сквере — модерновые скульптуры вокруг. Купил хлеба и сока. Водка и сало с собой. Водочку пьем прям из бутылки, как молоко. Становится легче воспринимать неопределенность ситуации. Вижу искреннее сожаление чувака — что ничем не может помочь. Советует, если голяк будет в Венеции, поехать в Рим, площадь Санта-Мария, где рынок рабочей силы. Первые сведения о Caritas — бесплатной еде, одежде, ночлеге. Все не так мрачно. Знаешь, как Мерседес по-итальянски? — спрашивает Гарик. — Нет. — Мерседэс. Ха-ха.

За все время проживания в Италии — ни разу полицейский не подходил, полиция здесь лояльная, не переживай. Обзаведись любой бумажкой, фиксирующей дату твоего пребывания и фамилию — сгодится даже бланк из обменника — это на случай, если объявят легализацию нелегалов. Гарик похож на итальянца, но Щи (выражение лица) сложный, озабоченный, небольшого роста, коренастый, недельная небритость. Договорились, что буду звонить. Пожелал мне удачи. Больше я его не видел. До поезда оставался час, успел заскочить в магазин, купил на дорогу самое дешевое виски «Black land».

**22 ноября.** В 23<sup>30</sup> прибыл в Венецию. Еще не выходя из фойе вокзала — через стеклянные стены видны фонари причала, катера, лодки, выходя — слышен их плеск, вдыхаем другой, влажный воздух. Куда? Естественно к телефону. Удастся раздобыть два телефона — один с нашим челом, второй местной знакомой дамы. Уже первый час — ни один телефон не отвечает. Набираю один номер — какой-то щелчок, с карточки слетает денежка, но трубку никто не берет. И так несколько раз. Вокзал на ночь закрывают, в 1230 выгоняют всех на улицу. Вижу первых местных бомжей, вонючки типа наших. Прохладно. Морщу мозги, идти куда-либо нет смысла — трезво рассуждаю я.

Во всяком случае далеко удаляться от вокзала. Иду гулять. Возвращаюсь на вокзал через час-другой. Лавочки под навесом не все заняты. С левой стороны от фасада вокзала — небольшой скверик с питьевым фонтаном, скульптурная группа, — оттуда доносится смех и знакомые на слух голоса. Прислушиваюсь. Говорят по-украински. Без колебаний иду на смех. На лавочке компания — две девчонки и два пацана, все с Украины. Знакомимся. Достāju бутылку «Black land» — всеобщее оживление в стане. Попал по адресу, ребята зависают нелегально уже приличное время, один даже побывал в местной тюрьме за воровство. Рассказывают мне массу интересного, с работой напряг, бесплатный или условно таковой ночлег можно найти в пригороде — где клубятся «наши». Утешительного мало, ночь незаметно становится утром.

**23 ноября.** Звоню по телефону — голяк. Вокзал открывается — людей почти нет, прохожу в кафетерий, сажусь за столик поспать — в тепле меня быстро задремляет. Продолжаю кимарить, когда вокруг уже полно посетителей. Вдруг ко мне подсаживается старичок, седая бородка, спокойный взгляд, аккуратно одет, похож на ?????????? Спрашивает что-то. Щи благообразные, внушающие доверия.

Я решаюсь рассказать ему всю правду — кто я и откуда, в Европу приехал на охоту, последние годы занят поиском и отловом странных животных. В подтверждение своих слов достаю пачку фотографий — протягиваю старичку. Прежде чем взять их — он заказывает мне кофе и булочку. Кофе в это утро кажется мне божественным — я коротко комментирую отдельные фотографии.

В конце старичок попросил продать ему три фотографии — спросил сколько стоит. Я никогда не продавал фотографии, и был готов подарить их, негативы есть — да и надежды, что старик поймает выбранных тварей, не было никакой. Он оставил мне 150 тыщенций. Не знаю, поступил ли я правильно, но деньги были далеко не лишними. На данный момент оставалось чуть больше 400 \$. Не думая пока о крыше и телефонах, я отправился гулять по городу. Венеция приняла меня. Повернув налево от вокзала, я слился с основным потоком туристов. Вдоль улицы сменяли одна другую сувенирные лавочки, стекольные и керамические workshops, кафетерии, кондитерские, магазины. Сразу хочется тратить деньги. Первое, что я приобрел, — два значка Венеции и литровая бутылка Пепси. Задержался у витрины парфюмерного workshopa — всякое мыло ручной работы, аромат просачивается сквозь стекло на улицу. Зашел внутрь, пропитавшись необычным ароматом через несколько секунд — таскал его с собой весь день. Узкие улочки, мосты и мостики, везде торговля, рыбный рынок, овощные деликатесы, гомона нет и суеты рыночной нет. Скоро оживление, туристов много. Щелчки фотоаппаратов. Скульптура Казановы на маленькой площади его имени, сделал кадр. Опять лабиринт улочек, дорогие иконы, антикварные, букинистические ла-

вочки, ювелирные салоны, часы, оружие, ножи, маски, посуда и т. д. Ходил я долго, пока на встретил двух челов — уличных музыкантов. Зайдя в соседний шоп, услышал русский диалог, подошел к ним, поздоровался. Разговорились. Пошли, Санек, покажем тебе такие места! Ты площадь Сан-Марко видел? Дворец Дожей? Затарившись whiskey и пивом, в компании новых попутчиков, я устремился, хочется сказать, навстречу судьбе. Почти так и оказалось. Все было восхитительно, восторг от созерцания открывающихся видов граничил с эйфорией. Лабиринт узких улочек, прикосновение к шероховатой фактуре стен, камни стертые и отполированы пальцами. Ширина некоторых проходов коридорного типа до 1 м. Отсутствие автотранспорта в городе непривычно, на что обращаем внимание не сразу. Вместо авто — лодки, шлюпки, катера, гондолы, все виды морского транспорта, кроме ледоколов. Площадь Сан-Марко, стаи голубей, стаи туристов, облепленные птицами. Голуби — пираньи, достав булку из кармана — от нее ничего не останется через несколько секунд, даже крошить не надо. Тормоза я выключил. И напрасно, торможение — очень важный процесс, пренебрегать которым опасно. Пиво, Пепси.

Усталость сказывалась... Мозг отказался запоминать что-либо, происшедшее после. Яркие и одновременно по-осеннему пасмурные слайды площади Святого Марка — это последнее, что высвечивала память. Что случилось потом — пустота. Как в песне поется: «Очнулся я ночью, часа в два». Где я? — был первый вопрос, потом много других. Комната, типа больничной палаты, чисто, голые стены, зеленый свет ночника в углу. Легкое ощущение прохлады в нижней части туловища, кто-то заботливо снял с меня все вещи ниже пояса. Таким образом тело разделено на две части — верхняя одета, нижняя раздета. Осматриваюсь, где остальные вещи: рюкзак, сумка? Здесь же все свалено в кучу, лихорадочно бросился искать очки, часы, целы. Паспорт на месте. Где деньги? Кульминационный момент — кошелек пуст, опустел он ровно на 300 \$ и 200.000 лир. Вот они, первые боевые потери.

Проверяю Н.З. — остаток 100 \$. Зетс ол! Недешево обошлось мне любовное приключение, — думал я, надевая трусы. В четыре утра появились люди в белых халатах, грустно покачали головой. Что случилось, где мои деньги? — спросил я на всякий случай. Ждите, в 7 утра придет дежурный. Спать больше не получилось, ждать никого не стал. Мало ли, человек я способный на сюрпризы.

**24 ноября.** В шесть утра покинул госпиталь, состояние поганое, моросит дождь, туман, людей никого. Вышел на берег залива, гондолы плещутся, все очень мокрое вокруг, включая воздух. Самое сухое место — вокзал. В кармане мелочь нашел, на карте еще единицы есть. Звоню Бруде в Питер. Кричу историю, в которую попал, кричу, ибо, как ни странно, плохая связь. Адресов больше нет. Крик привлек внимание рядом дис-

лоцировавшегося молдованина, подошел ко мне сам, разговорились. Зовут тоже Андрей, одет прилично, даже по высшему, видон приличный. Предложил прогуляться, пойдём, покажу места, где много «наших», где меня можно найти. Здесь вот клоун деньги зарабатывает — из Москвы человек. Здесь то-то. Там самый дешёвый магазин. Тут ещё что-то. Обещал узнать у своей знакомой насчет работы. Она дизайнер, итальянка. Здесь любят все необычное, то, что ты делаешь, может хороших денег стоить. У тебя только фотографии? Вещей не привез? Нет, неудобно это. Керамика хрупкая. Дай мне фотографии — покажу ей. Идея мне не понравилась, договорились встретиться завтра на том же телефоне. Бродим долго, ноги промокли, дождь не перестает, моросит. Один возвращаюсь на вокзал, по пути разговорился с американцами. Без толку, улыбочки наденут, а сами шугаются чего-то. Видон, наверное, мой не внушал доверия цивилизованным людям.

На вокзале с девушкой разговорился — но все как-то безнадежно. Телефон мне оставила, обаятельная. День проходил порожняком, дождь, не выключался. Темнеет — надо думать о ночлеге. В вокзальной публике пытаюсь распознать «наших» или «нашего». Изучаю людей. Выбрал. Смотрю, типок неприкаянный бродит, высокий, интеллигентного вида, в помятом пиджаке, штаны коротковаты, туфли на босу ногу, маленькая сумочка через плечо, явно никуда не торопится. Улучшив момент, подхожу к нему. Привет. Говорю, куда путь держим? Немая сцена — все ясно — не «наш». Но общения этим не закончилось. Английский мой собеседник понимал — и владел примерно как я. Разговор получался очень интересный. Узнав, что я русский — сказал, улыбаясь, «Лев Толстой», — потом не так внятно — но я разобрал «казаки» — это меня слегка фраппировало — как выразился бы Федор Михалыч. Потом Энтони меня еще больше удивил — он знал кириллицу. Взяв у меня блокнот, сначала нацарапал казаки, потом еще пару слов. Гуманитарный контакт — загляденье. Настало время сувенирами обмениваться — тут я протягиваю ему марки р/с — как могу, растолковываю, что это. Проявляет интерес и от подарка не отказывается — в свою очередь протягивает мне монетку — желтенькая, размером как наш рубль. Королева Елизавета II с одной стороны и Святой Георгий с другой — монета без номинала, коллекционная похоже. Первая монета в дорожной коллекции. Энтони приезжал в Венецию по своим делам, т. е. не местный человек. Спрашиваю его, не знает ли он, где можно переночевать — недорого. Знает, есть такие гостиницы для молодежи, это называются хостелы. Энтони идет меня провожать — показывает дорогу, время уже седьмой час. Такая манера у моего попучика, руки в карманах. По-прежнему идет дождь, мы не торопясь бредем, мокнем. Стали под балкон, Энтони дал знак. Что, переждать дождь, — думаю я? Стоим, и тут

я вспомнил фразу, которую Энтони обронил в нашем разговоре — а я пропустил ее мимо ушей. «People say, I'm crazy». Думай, что хочешь. Что на этот раз? Идем, говорю, have to go. Тротуары затоплены основательно — в таких случаях люди ходят по специальным помостам, которые всегда стоят на улочках, подверженных затопам. Ноги мокрые. Пришли — выясняется мест нет. Немного перевели дух, идти наружу совсем влом. Взяли несколько телефонов соседних хостелов. Дозваниваюсь — О. К., места есть. Благо, это недалеко и в сторону вокзала. Распроштался со своим проводником. — Салют! Во чел! Время около 9 вечера — 30.000 сутки (последнюю ?????). в комнате 6 кроватей — одна свободная. Лезу в душ — на губе вылез мерзкий герпес, меня подколачивает — простыл по ходу. Заваливаюсь на кровать — еле разогнулся, кажется с кровати не встану, все ломит, словно на каменоломне камни тесал. Приходят соседи — два японца, американцы — все молодые. Собрав последние силы монетами с японцами — подкинули мне одну с дырочкой, другую алюминиевую. Хвалят алюминиевую — в Японии алюминий не растет — себестоимость монеты выше, чем ее номинал. От усталости даже спать не мог, проваливался в полудрему — между явью и сном... Хотел уже было выпить для профилактики — оставил на худшее.

**25 ноября. Суббота.** Проснулся живой. Шевелюсь. Выползаю на улицу, вещи можно оставлять на месте дислокации. Совершаю обзвон — глухо. Иду искать работу. Захожу в керамические лавочки — коих предостаточно — и в конце короткого диалога — как бы случайно интересуюсь — ассистент? Как у вас с ассистентами — мальчик не нужен? Нет, не нужен. — Да что вы, мы сами справляемся. Обошел несколько workshopов — в одном тетенька дала мне адрес местной академии керамики и стекла. Маленький результат. На вокзал в справочную — где ваша академия керамики? Удивлению и досаде нет предела — в справке не дали точный адрес, иначе говоря, они не знают, где у них эта академия. Ну не у прохожих же спрашивать? Денег на катера и гондольеров нет, расходы максимально сократил — поскольку была суббота, был риск отдать около 10.000 за прогулку на гондоле и ничего не обнаружить, отправившись по непонятному адресу.

На встречу не пришел Андрей — молдованин. Сплошная непруха. Погода мерзкая. Звоню Гарику. Советует мне рвать в Рим. Ночные поезда самые дешёвые — тогда мне и в голову не приходило, что можно ездить бесплатно, отдаю за билет около 60.000. Остаток дня гуляю. Морщю мозги — не судьба, знать, в Венеции прописаться. Не принял меня город, надо было что-то предпринимать, т. е. двигаться в другую точку. На прощание зашел в Кафедральный собор. Величественно. Послушал литургию, органная музыка накрыла меня эсхатологическим колпаком, вышел преисполненный.

Поезд в 23<sup>50</sup>, второй класс — сидячка. В вагоне народу было порядком — по соседству сидела очень разговорчивая компания — сделал вывод — албанцы, просто албанцы.

**26 ноября.** В седьмом часу утра поезд прибыл в Рим. Длинный перрон, переходы, эскалаторы — все знают, куда идут — в отличие от меня. Где эта площадь Санта Марии?

В метро захожу уже без билета — еду. Приехал совсем не туда, куда нужно. Толкусь у входа в метро — время рано, спрашивать не у кого. Вдруг опять слышу знакомую муву. Идут женщины, громко обсуждают что-то. Украина, она самая. Я к ним. Здравствуйте, только приехал, где тут такая площадь — мне работу найти надо. Ох, отвечают, сегодня воскресенье, никого там не будет — хочешь, поехали с нами на Пирамиды. Там все наши собираются по выходным. Едем. Там с народом пообщаешься, что-нибудь подскажут. Пирамиды — это станция метро, так и называется PIRAMIDOS.

Новая утешительная информация — мальчики наши и на крышах вагонов ночуют в парке трамвайном. А чтобы питаться бесплатно, нужно зарегистрироваться — очередь на регистрацию месяц. Живи где хочешь. По мере движения поезда пассажиров местного происхождения становится все меньше. В вагоне громко гутарят. Из метро идет уже плотный поток — будто на футбольный матч Динамо — Киев — Спартак Рим. Где я? Вокруг говорят только на украинском. Течение выносит меня на небольшую площадь — везде люди, оживление и толпа, как на толкучке. Много машин типа газель, фургончики, фордики, шкоды — на лобовом стекле список: названия города, например Львов — и список фамилий, потом Черновцы, Мухачево и т. д.

Фургоны чем-то затарены, коробки, узлы, свертки. Все при деле, сверяют списки, разговаривают, выгружают коробки. Что-то фронтовое — передачи с тыла, с Родины. Хожу, шарахаюсь от одной машины к другой, может знакомое лицо увижу или фамилию. 10 лет назад я был во Львове. К кому прибиться?

Среди суетящейся толпы — глаз остановился на фигуре молодого чела — который взирал на происходящее с большой степенью отстраненности. Разговорились. Информация от первоисточника выветривала последние остатки надежды. Видишь всю эту толпу? — спрашивает Андрей. Работает только каждый десятый из мужиков, остальные живут либо воровством, либо за счет женщин. Женщинам легче найти работу. Молодые, понятно как зарабатывают, пожилые — убирают, моют, чистят, стирают. Им все равно здесь лучше, чем дома. «Оккупацию» Италии жители Украины, особенно западной, начали лет пять назад — сейчас их только в Риме несколько десятков тысяч, если не сотен. Италия вотчина Украины — ты русский — раз, итальянского не знаешь — два, никаких знакомых и связей с итальянцами нет — три. Денег нет, жить негде. Легально работу не

найдешь, нелегально итальянцы берут на работу только по протекции — всего сами боятся. Пока дождешься бесплатной койки и жратвы в каритаже — станешь бомжом, скуришься и сопьешься, дрянь подцепишь какую-нибудь.

Уезжают отсюда, ты зря из Германии уехал, сейчас это центр Европы. Германия богатая страна, прошишь политическое убежище — пособие платят и живешь среди таких же беженцев. В Германии русских несколько миллионов — так что это единственный вариант. Ехать нужно в западную часть Германии — Франкфурт, Бонн, Дюссельдорф.

— У меня денег уже на билет нет.

— Денег нет? Ты что, бесплатно никогда не ездил в тулетах?

— Нет, вообще-то.

— Это просто. Так английские студенты любят путешествовать, раньше сам практиковал. Слушай. Туалеты на остановках не закрывают, главное, затем в вагон чтобы не заметил проводник. За пару минут до отправки поезда закрываешься в туалете, ждешь 20-30 минут, пока билеты проверят — выходишь и спокойно едешь. Никто никогда не станет открывать туалет, если он занят. Лучше в таких случаях ехать ночным поездом.

Мне тоже нужно на вокзал, здесь делать нечего, поехали, узнаем расписание. В справочной выяснилось, что прямых поездов — до Франкфурта нет, все поезда через Мюнхен. Отправление в 2330. Там нужно делать пересадку. Сидим в Макдональдсе, точим. Избався от всего итальянского, значки сними, билеты, выкинь, схемы метро. В паспорте штамп стоит итальянский? Нет. Хорошо. Виза действует еще один день. Как просить политическое убежище? Куда идти? Что говорить? Нет ничего проще. Шатаешься по вокзалу, типа бомж. Полиция к тебе сама подойдет. Спрашивают у тебя документы — а ты им говоришь: Азюль. Как, как? Азюль. Это значит политическое убежище. Слово показалось мне очень странным, чтобы не забыть его, записал в блокноте. Придумай историю, почему нельзя возвращаться домой, главное, чтобы была угроза жизни. Вспомни громкие убийства, приплети. По закону, вопрос о предоставлении статуса беженца решается минимум за три месяца.... Перезимуешь, а там что-нибудь придумаешь, народу много, подобираешь информацию и т. д.

Предстоящая операция представлялась мне чем-то нереальным. Оставшиеся деньги уже поменял на марки, вышло 100 DM плюс итальянские копейки. С Андреем распрощались.

Практически весь день провел на вокзале. Рима как такового не увидел. Две станции метро, два вокзала, включая привокзальные кварталы. Весь день моросил дождь. Погода не благоприятствовала романтическим прогулкам по городу, да еще с рюкзаком. Но сидеть весь день на вокзале тоже утомительно — поэтому предпринял вылазки на близлежащие к вокзалу территории. По пути мне попадались куски очень древних стен, искусанные не исключено гладиаторами и временем. Прошел по широкой улице с деревьями посере-

дине — где, как хотелось думать, прогуливался мистер Феллини. Вот и все. День доползал до вечера. Хожу вдоль путей, оцениваю обстановку, вокзал огромный — 27 перронов. Состояние как перед экзаменом. Надо уехать. Подходит мой поезд, устремляюсь в общий поток, выбираю подходящий вагон. Вечер воскресенья, народу полно, молодежь с лыжами; ботинки, ботинки, рюкзаки, спальники. Посадочный ажиотаж. С большим трудом втискиваюсь незамеченный в вагон. Первый же туалет закрыт — против течения, сквозь лес лыж продираюсь в другой конец вагона. Не обращая внимания на толпу в тамбуре — захожу в туалет и закрываюсь с настроением держать оборону до конца. Снял рюкзак и замер в ожидании. Напряжение ослабло, когда тронулся поезд, выдох облегчения. Получилось! Ручка подергалась первый раз — ну и что? Имею законное право на отдых, думал я, развалившись на унита-зе.

Прокручивая события минувшего дня — уже был готов забыть, где я нахожусь. Прошло двадцать минут, ручка опять подергалась, более решительно и настойчиво. Пришлось издать ряд звуков, подтверждающих правомерность занятой территории. Дверь толкнули. Состояние временного забвения было утеряно напрочь. Тлеющий уголек тревоги вновь полыхнул, пламя быстро сожрало молекулы надежды, рассеянные в атмосфере одноочкового отсека, дышать стало нечем. Нажал на кнопку унитаза, умылся, намочил голову, включая очки, издал ряд рвотно-кашляющих звуков, выждав некоторые секунды, выглянул в тамбур. В тамбуре стояли сумки с хворостом. Больше никого. Закрыл дверь. Вывод предельно прост — будут выкуривать. Была еще одна слабая — видимо случайная попытка — потом меня разоблачили, предварительно я успел склониться над раковиной и намочить себя. Произошло это в два часа ночи в районе Флоренции. Дверь открыл проводник — своим ключиком, с ним было еще два коллеги. Я понял, что у меня спрашивают билет, протягиваю последние 100 DM. Спрашивают паспорт. Выписал квитанцию, деньги взял, спросил, куда ехать, протягивает мне сдачу и ведет в вагон. Ничего толком не понял, мне было достаточно, что не высадили из поезда. Я оказался один в купе второго класса, с бумажкой, разобрать в ней что-либо невозможно. Понятно одно, оплачен некий участок пути — вопрос до куда. Тем временем наступило раннее утро 27 ноября. В пять утра контроллер более злобного вида дал мне понять, что следующая станция — моя. Это была Австрия. Следующая станция — Инсбрук. Быть высаженным совсем не хотелось. Хотелось либо найти денег и доплатить, либо меня высаживают с поезда, времени оставалось около получаса. Как и где найти денег — первая мысль — что можно продать? В сумке последняя бутылка водки, кассеты с Мамоновым, Аукцион, «Ноль». Я метнулся по вагону искать покупателей среди не спящих. Пассажи-ров было, как назло, не густо — куда делась вся

толпа туристов? Разговорился с молодым челом — вкратце обрисовал суть вопроса — денег мне нужно было 200 шиллингов. Чел был готов помочь — но денег только по 100 \$. Как быть? Пацана должна была встречать девчонка — есть вариант спросить денег у нее. Причаливаем. Инсбрук. 6 утра 27 ноября. Девчонка спортивного вида — подошла почти сразу — узнала своего друга. У нее денег тоже не оказалось. Вижу их искреннее желание помочь. Советую попробовать авто-стопом — есть все шансы, люди так путешествуют. На своей машине отвезут меня на заправку — выезд из города в нужном мне восточном направлении. На картонке от коробки — жирным черным маркером написал MUNCHEN. Подхожу сначала к каждой останавливающейся машине, обращаюсь к водителю. Потом просто прохожу вдоль авто — засвечиваю табличку. Постепенно светлеет, свет, разливающийся с восходом, выявляет силуэты гор, проявляющиеся как на фотографии. Красиво. Смотрю на горы, потом на трассу — сочетаю приятное с полезным. Ноги стали мерзнуть, прохладно, телу в том числе. Обогнув заправку с тыла, переобулся в зимние ботинки, достал шапку, резервную бутылку пепси, сделал несколько глотков. Рюкзак значительно полегчал. Сделав глоток живительной влаги, вновь принялся ловить машины. Подходил к каждой грузовой и легковой, осмелился даже подойти к чему-то на Porsche. Но все без толку. Как сговорились. Я уже примелькался на заправке — выходит работница, советует сменить заправку. Прошло около двух часов. Вдруг смотрю — останавливается знакомая машина, выходит парень, с которым я ехал в поезде, за рулем его подружка. Денег мне привез — протягивает 200 шиллингов. Очень большой сюрприз, о таком повороте судьбы не думал, не гадал. Отблагодарил, как мог, еле уговорил взять керамическую свистульку. Теперь я был с деньгами. Можно было и прогуляться. Добрался до вокзала. Оказалось, что до Мюнхена мне не хватает около 30 шиллингов. Ну, это уже мелочь. На вокзале социал-сервис — захожу, денег мне не дали, но посоветовали ехать до ближайшего к Мюнхену городка. Так я и поступил. Поезд идет вдоль немецко-австрийской границы, с обеих сторон возвышаются Альпы. Названия маленького немецкого городка сейчас уже не вспомню, но вышел из поезда я с 20 DM, которыми угостила соседка в вагоне. Заплатил 17 DM за три остановки до Мюнхена, о чем потом сильно пожалел, билеты никто не проверял. Приехал в Мюнхен около трех часов дня, еще вчера это казалось недостижимым. Помня о полицейских, которые могут спросить документы, раньше времени к ним попадать не хотелось. От всех «улик» я благополучно избавился, осталось только выслать домой две пленки: одна берлинская, другая с Миланом и Венецией. Вдруг пленку проявят, и меня разоблачат? Зашел на почту, пленки взвесили — стоит это будет 8 DM. Оставалось их раздобыть. В течение часа я околачивался у телефонных ап-

паратов, стреляя по марке. 2 «У вас не будет мелочи позвонить? Срочно нужно позвонить, а деньги все на карточке». Насобирав около 13 DM, отправил пленки в конверте, который подобрал на вокзале.

Еще осталась мелочь на легкий заточ. Около двух часов гулял в районе вокзала, из прогулки ничего не почерпнул. Хотелось обрести крышу на свою голову. Стало быть надо идти на вокзал. Будем сдаваться. Бродил, бродил по вокзалу, полицию моя персона не заинтересовала. Время уже за 18 перевернуло. Выхожу из вокзала и напрямик к первому же патрулю. Произнес магическое слово: Азюль! Обыскивают тут же возле машины, везут в ближайший участок. Начальник крутит мой серпастый-молоткастый в руках, что-то между собой обсуждают. Документы возвращают, привозят в CARITAS — тогда я еще не знал, что это. Оставили адрес Бундесамта — центральный офис и уехали, сказав, что обращаться нужно по этому адресу. Заведение, в которое я попал — типа ночлежки, вокруг — старички и полусумашедшие, фактура разная. Предупредили, никакого алкоголя в помещении, выдали консервов, проводили в комнату. Комната небольшая, двухъярусные кровати вдоль стен — около 10, видно почти все заняты. Сразу завалился спать, проснулся ночью, кто-то бормочет. Сосед по койке, всю ночь рассказывал во сне какую-то историю, ровным монотонным голосом сказителя. Даже проснувшись утром и одеваясь, рассказа своего не прервал, только недовольно озирался. Язык неизвестный. Вот.

**28 ноября.** В девятом часу отправился искать указанную контору — Бундесамт. Нашел без труда, приехал, как оказалось, в другую организацию, но меня поняли, дали новый адрес, уверили — это то, что ты ищешь. Еду на метро уже с билетом. Один чел подогнал, посоветовал, лучше бесплатно не ездить. Судя по клиентам, попал по адресу. Одна приемная, вторая, народу человек шесть, все арабско-турецкой фактуры. Через тридцать минут моя очередь. Первое собеседование. Какие причины заставили вас покинуть Родину и просить политического убежища? Как могу, на ходу выдумываю веские доводы и причины столь нелегкого решения. Мне отвечают: да, вы можете просить политическое убежище, но поскольку визу выдало Итальянское посольство, есть вероятность, что через 3 недели вас отправят в Италию. Я уже было обрадовался, 3 недели в Мюнхене, совсем неплохо. Я еще наивно мог радоваться таким перспективам. Дальнейших движений пришлось ждать долго. Одновременно оформляли около 20 человек, женщины, дети, старики. Сняли пальцы, сфотографировали, забрали все мои документы. Я показал и гражданский паспорт. Забрали даже рецепт для очков. Очень утомительно, народ изнывает, дети бесятся, плачут и бегают. Комнаты ожидания, точнее, стены этих помещений, испещрены всяческими письменами, но на столах специальные резиновые коврики, чтобы писали на них, коврики тоже в

письменах. Около 16 часов выдают AUSWEIS, через некоторое время опять суета, вновь прибывшим выдают белье, посуду, по фамилиям распределяют по комнатам. Выдают всяческие продукты, сок 1 литр, молоко 1 литр, хлеб, сыр-брынза, мясные и рыбные консервы, маленькие коробочки с маслом, джемом, медом, соль, сахар, кофе. Маленький сникерс, йогурт, яблоко. К 18 часам все было закончено, и, более того, мы были свободны.

Мне нужно идти за своими вещами в ночлежку, адрес помню только на слух, визуально, естественно, тоже, но уже стемнело. Познакомился с «Бланом», Фрэнком, когда вся бодяга оформлялась, потом мы оказались в одной комнате, прогуляться за шмотками тоже решили вместе. На метро было 4 остановки. — А пошли пешком? — Пошли. Он так let's go. Идем, постоянно уточняя маршрут, состояние приподнятое. Несколько раз сбивались с пути, переспрашивали дорогу у редких пешеходов. Немецкая молодежь неплохо шпарит at English. Старики хуже.

Нашли нужную улицу, я не удержался, купил пивка на радостях. Забрали вещи и обратно, по вечернему городу. Мюнхен мне начинал нравиться. Прошли мост, старый собор, переходы, покрытые всевозможным граффити. Вернулись в «нору» — можно спокойно отдохнуть. Во фляжке оставалась водичка, удивительно, что не забрали вместе с флягой.

**29 ноября.** Подъем в 7 утра. Все по новой. Фотография, анкеты, очередь. Выясняется, отправляют в другой город, выписывают билет, еще бумажки разные, билет на метро. Больше мы не встречались. Еду на вокзал в обществе непальца, ему пришло побриться, с тревогой во взгляде жестом он дал мне понять о своем желании. На вокзале он первым делом стал искать, где купить бритву. Пришлось продать ему одну свою. До отхода поезда минут 10, успеваю отправить открытку на Party/c — это последнее сообщение.

В обед я приезжаю в Деггендорф, с 29 ноября начинается мой Азюль, я был доволен тем, что обрел некую определенность. Но это только казалось, куда я попал на самом деле я даже не представлял.

**Конец первой части.**

**Часть вторая:**

*Азюль*

**29 ноября** в обед я приезжаю в Деггендорф. В электричке наши русские девчонки, учатся здесь, помогли найти мне адрес. Город небольшой, 100км от Мюнхена, Бавария, провинция. Денег 4 марки, даже на воду почти не осталось. Посмотрели папирус, через 10 мин меня проводили в комнату, где я встретил старого негра из Анголы, у него был ноутбук, но не было ступни. Там же 2 молодых араба и курд моих лет. Время Рамадана. 30 ноября. Арабы встали в 5 утра или не ложились, но проснулся я от громкого чавканья, это единственное время суток, когда им можно есть. Понятие о времени суток, вечере, ночи отсутствует. Шумят, громко разговаривают, хлопа-

ют дверьми и всем, чем можно, музыку включают, не обращая внимания на спящих. 1 декабря получил новый ашвайс: жесткая корочка из голубого картона, на фотографии — улыбаюсь. Утром выдали мыло, две пачки, пену для бритья, дез, бритвы, стиральный порошок, салфетки, зуб. щетку, пасту, пластиковый стаканчик, крем для лица, шампунь подозрительно зеленого цвета, лейкопластырь и два огромных рулона туалетной бумаги. Норма туалетной бумаги явно завышена. Публика в основном черная (арабы, негры всякие, афганцы, курды, турки, индусы, паки и т.д.). Обстановка напоминает казарму, одновременно интернациональный приют и больничку. Вчера бродил вечером на кладбище, репетирую собеседование. Собеседование или интервью, как его здесь называют, назначили на 4 декабря. Буду «гнать беса», когда еще будет возможность набрехаться вволю. Сегодня 1 декабря, был у врача, взяли кровь, дали баночку для анализов, баночка снабжена специальной ложечкой. В кабинете понравилась схема-рисунок «как правильно брать анализы» процесс наглядно проиллюстрирован. Можно сделать вывод: некоторым посетителям кабинета с трудом удается объяснить для чего баночка и тут на помощь приходит рисунок, понятный всем.

Переселили в новую комнату. Три человека, Камаль из Ирака, Брабу-Шри-Ланка, Ихмет из Турции, видон злого янычара. «О!» — говорит Камаль, показывая, на пустую койку. Здесь был русский, вот книга осталась. Смотрю. Евангелие на армянском языке, наши люди. Пока других русских не видно. Волнуюсь по поводу анализа крови, я же пиво пил накануне. Сегодня на пиво потратил последние 50 фенингов (самое дешевое).

#### 2-е декабря.

Вышел гулять в 16.00, прохладно. Руки мерзнут, отрабатываю интервью.

#### 4 декабря.

Утром пошел в полицию, выдали новый ашвайс, написал кучу бумажек, формальности всякие, как и на чем ехал спрашивали, как пересекал границу. Переводчица Маша из Москвы — молодая девушка, лет 20. Интервью перенесли на 6 декабря. Не хочется вопросов, где был до 28 ноября, где жил, что делал. Это нужно продумать, нельзя говорить, что был в Италии. Гулял на природе 3 часа. На базе пополнение, в комнату подсадили 2-х чел. Испытание бездельем или бездействием. Нужно придумать какое-то занятие. Искать работу без языка бесполезно. Если будет новый прикид схожу в галерею, попробую закантачить. Сегодня видел странного типа, гуляющего с собаком, собак породистый. Тип одет в белый замызганный халат как у повара, поверх легкая спортивная куртка с надписью какой-то команды. На голове корона бутафорского вида, но корона желтая и блестящая. Снял его со спины. Out. Промежуток времени с 21 до 24 самый активный и драматичный. Могут нагрять «гости» и на полную громкость включить «бур-

да — мурда-хурды-мурды, мурда — бурды» и курить-курить-курить до упора. После обеда пошел гулять, набрел на старое кладбище в лесу. Может это и не кладбище? Фотографии и таблички с именами и датами рождения-смерти прикреплены к деревьям на уровне глаз и выше. Много молодых большинство погибшие в 1944-45гг. Место памяти? Неподалеку церковь.

#### 5 декабря

Создал первый коллаж, резал рекламные буклеты и прочие яркие бумажки. Время прошло быстрее. Новостей нет.

#### 9 декабря

Пролетело 4 дня. 6-го утром пошел на интервью. Приперся ровно к 8 утра, сидел, ждал 2,5 часа, интервью перенесли на 19 декабря, сказали что заболел переводчик. Лаж. Выдали денег — 80 DM. Сразу купил конверты, марки, открытки, телефонную карту, батарейки, замочек на шкаф, и естественно, пива и пива. На следующий день купил портфель (куда — же без него?). 7 дек. Был в Бундесамте, выдали чек на одежду, на 280 марок, перечень вещей, и цена на каждую вещь. Деньгами взять нельзя и сдачи не дадут, если выберешь самое дешевое. Очень кстати пришелся теплый пуховик и джинсы, остальное: трусы, носки, рубашка, свитер, ботинки. Выбор был ограничен. На счет работы пойду в понедельник. Легально платят 2 марки в час (нам). Сначала разговаривал с фрау Галицкой, это офис на первом этаже, она по-русски говорит свободно, но противная, сказала, что без знания немецкого «чистой» работы нет. Мыть за индейцами неохота, за собой не убирают вообще, все время стригутся и разбрасывают свои волосы, пол в воде, йогурте, туалетной бумаге. Мусор везде. За день все так замусорят!!! Теперь на счет работы пойду в каритас. Нужно писать заявку и ждать очередь, работа может быть разная, но, главное, в городе. Встретил несколько русских, у всех свои косяки: кто-то в тюрьме Азюль попросил, многие без документов, нелегально приехали, у них с полицией проблемы, трудно установить, кто они на самом деле. Из Грозного семья приехала. Вчера пацана встретил, из Петропавловска-Камчатского, у него отец в Германии давно живет, ему легче. Написал письма Бруде, матушке, открытку Вадиму. Бруде описал все свои приключения с момента отъезда из дома. Интересно, письма не проверяют? Надеюсь, что нет. Сейчас 10 утра. Индус в комнате и я, индус молится, я пишу дневник. Иногда пью чай с турками, своего нет. Последний раз сидели, один говорит мне: Ленин — гуд, Сталин — гуд, Мао — гуд, потом оказалось, что он курд; другой рассказывает про Горбачева, на пальцах что-то крутит, мешает английский, турецкий, немецкий, показывает фату, опять про Мишу говорит. К чему это? Может, хотел сказать, что Миша — женщина. Главное, он убеждал, что Миша — мусульманин. Индус один тут, пиво очень любит, и вообще выпить. Все дорого, ограничивается пивом. Глазки краснеют, и

он становится похож на маленького, заколдованного слоника. Слоника заколдовали, и попал он в Баварию, зимой и еще в облике индуса. Жажда замучила дома, здесь снимает злые чары пивом. Вот сейчас два слоника сидят напротив: один готовится ко сну, другой умывается. Аут.

#### вечер 11.12.00.

Думал сегодня смена белья, нет, оказалось раз в месяц, но выдают порошок, можешь стирать сам. В подвальном этаже прачечный отсек. Насчет работы тоже облом, утром ждал фрау Феррер, которая отвечает за этот вопрос, она не появилась. Теперь она должна быть в среду. Разговариваю с челями, один тип из Ирака по-русски говорит без акцента, понимает и смеется над анекдотами, знает немецкий и английский, зовут Сабир. Сабир окидывает взглядом столовую, через 2 недели отправят по трансферу. Трансфер, это то чего все ждут и жаждут как освобождения, как дембеля. Когда получают, будет и работа. Новая тема — Азюль в Бельгии, Голландии, Австрии это реально? Как туда попасть? Леха угощал пивом. С 16 до 17.30. было невероятно красивое небо, малиновое с акварельными размытыми сиренево-розового моря. Много гулял. За время прогулки не встретил ни одной собаки (бездомной), только азюлянтов. Что, должны быть бездомные собаки? Да, здесь я понял — люди вместо собак бездомных. Как я и другие иностранцы по всей Германии, пришельцы, прибежавшие на запах. Нюхачи, ведомые смутной надеждой на удачу, в надежде на новое завтра колесят по дорогам Европы. Одна клавиша, из Грозного торчала здесь 8 месяцев, сегодня отправили по трансферу, ходила — вся светилась, виляла задом. Так долго, потому что приехала без документов. 8 месяцев без определенности — крыша может поехать. Каждый день одно и то же: думаешь, прикидываешь, одно и то же. Психологическо-вакуумный пресс. Время 21-30, сейчас завалят индусы и начнут громко жрать. Как воспрепятствовать этому? Как бы выключить громкость. Аут. 14 декабря. Вчера суетился по работе, зашел в пару кафе-баров. Есть такой американский бар — «Хемингуэй», спрашиваю: «Посудомойщик, уборщик, сторож, слесарь — не нужен?». Безднадега. Был в каритасе, опять отправили к Феррер. Недалеко от нас. Пришел сегодня утром, первое впечатление неплохое. Феррер легко шпарит at English, работала учителем. Спросила меня, чем я занимался дома. Ответил: ассистент скульптора, лет 10 — керамика, и т.д. Раньше рисовал, последнее время больше в глине вожусь. Тетка оказалась подкованная. Училась в Англии, объездила полсвета, рубит в искусстве. Сначала рассказала мне о своем отце, как во время войны он был тяжело ранен в Крыму и какая-то русская женщина, полуобмороженного, отхаживала его. Я вспомнил про Й. Бойса, но не решился озвучить культурно-историческую параллель. Потом долго вещала про Гитлера. Ситуация в Германии до войны, как Гитлер всех построил и направил в одну сторону, никто не знал, к чему это приведет. Но некоторые люди чуяли не-

ладное, евреи начали сваливать в 37-38 годах, в Англию. Потом она рассказала мне про Троцкого, оказывается, он был близким другом Фриды Кармен Кало. Она была в его доме-музее в Мехико. Кало тоже была коммунисткой, чего я не знал. Зато я знал, как Кало познакомилась со своим будущим мужем, Диего Риверой. Когда я хотел рассказать об этом, оказалось, что она это тоже знает. Здесь есть тоже художники, хоть городок и небольшой. Обещала познакомить, попозже. О работе. Хочешь работать на кладбище? Тебе там будет интересно, среди скульптур. И скульптор знакомый у нее тоже есть. Выписала бумагу, завтра иду к 8 утра. Звучит индусский музон, играл Мамоньч, не успел выйти из комнаты — индусы уже кассету поменяли. Ладно, послушаем этнику. Вчера я отдохнул душой: слушал «простые вещи», «шкуру неубитого» Мамоньча и «Северные буги» Ноля. Дух безумной России наполнил комнату. С музоном веселее. Вчера слушали радио, поймали волну местную, крутили тяжеляк. Металлисты уже не кричат, они воют и рычат. Играли в шашки, насобирали пивных крышек, доску начертили на столе. Удивительно, великие шахматисты индусы, оказались весьма посредственными шашкистами. Они не знали шашки. В комнату зашел генерал (пожилой, кучерявый негр), взял гитару и начал петь, задорно и комично одновременно, настоящий бесплатный концерт. Может, выпил? Он совсем не напрягал, когда кончил петь, начал танцевать. Так проходят последние дни 20-го века. Скоро начнутся праздники: Рождество, Рамадан, Новый год. Пока обходится без происшествий. Движение есть. Оказывается, можно написать письмо в социал, типа, какой и куда хочешь трансфер, только причины нужны веские, но мне об этом рано думать. Информация, говорят в Англии больше свободы, и там нет базы данных по европейскому азюлю, больше работы и т.д. Как попасть в Англию? Через Ла-Манш. Без немецкого языка здесь ничего не добьешься и самое печальное, нет условий им заниматься. Немецкий диплом — самый идеальный вариант. Искушался, спустился в машинный отсек, машины весь день заняты. 15.12.00 пятка. Пришел на кладбище, к 8-ми, протусовался до 9, никого нет. В 9 пришел хер Гроф, протягиваю ему бумагу, ведет меня в служебное помещение. Он скульптор? Протягивает мне метлу и с улыбочкой показывает, как подметать. Нужно сметать маленькие камешки с дорожек. Здесь Германия, говорит он мне, говори по-немецки. Рабочую одежду не дали, моросил дождь, напялил чей-то желтый пластиковый плащ. Бригадиром моим оказался чернокожий Махмед, плащ был его. Работа с 8 до 12. Платят 2 марки в час. Пятница — до 11. Попробуем. Может позже подвернется что новое. Пьем ирландский виски Tullamore Dew, ну очень нежный, заботливый напиток, на сердце становится легче. Милость с неба упала, приходишь в нужное место в нужное время и ловишь. Только нужно знать, что хочешь: виски, текилу, водку, джин



или безумный ямайский ром, красно-коричневый, гадкий, как смола. Звонил домой: мамуле, Колбасникову, Андрюхе. 16.12.00. День клонится к, наклоняется, наклоняется, на... туда же. Неуютно, не поменял носки. Наглею. Сегодня пьем гадкое теплое пиво, на этикетке — портрет баварского короля, построившего замок в Альпах, типа как в Диснейленде, а потом утонувшего в озере. Опять всякие мысли нехорошие накопили в голове, надо проветривать. Куда мир катится? Городок по существу — деревня, а магазины — огромные супермаркеты-музеи, заполненные блестящими, яркими причиндалами. Если все есть, зачем еще коробки красивые? Все в одинаковой упаковке, это придет через 150 лет, когда не будет необходимости завлекать потребителя. Тотальная унификация или безграничная индивидуальность? В чем, в творчестве или в жизни? Границы? Аут. 17.12.00. Первый снег выпал и к вечеру растаял. С Лехой нашли старый велик, на ходу. Он попытался оседлать его, проехав метров, пять, велосипед сбросил ездока. Смеялись. Скрутил звонок с велика, на память, потом мы его похоронили в речке, с горки спустили, плюх, хорошее получилось зрелище. Камиль кормит птиц сыром, колбасой, паштетом. Птицы — чайки, белые и крикают. Я просыпаюсь от крика птиц, за окном целая стая. Вообще, кормить птиц запрещено, они сильно гадят, администрация борется с нарушителями порядка и с живой природой. Аут. 20.12.00. Вчера ждал интервью, с 8 до 11.30, пунктуально перенесли на неопределенный срок. Пришлют письмо. Рождество местное через 5 дней, потом каникулы, короче, вторая половина января. Мужика из Томска «пытали» 5 часов, дату интервью перенесли три раза. Вечером пошел на вернисаж, групповая выставка местных художников: керамика, живопись, графика. Керамика понравилась, и другие работы в материале интересны. Напился пива на халяву, это явная удача сегодняшнего дня, мужичок, который разливал пиво, увидел во мне соратника, мой бокал не был пустым. Ни с кем не познакомился. Работа, жрачка, сон — обычный режим. Иду на моцион, до кислороду. Аут. 16.20.

**22.12.00.** Teacher's [highland cream] Perfection of Old Scotch Whisky. Мерил джинсовую куртку, но приобрел перчатки. Пришло письмо, интервью 4 января. Миша гонит. Удача не изменяет. Каникулы, Леха уехал к отцу, это разрешают. На кладбище идти только в среду, 27, срезали два рабочих дня — 16 марок, гады. Скоро Рамадан. 23.12.00 написал письмо Вадиму. 24.12.00. Утром пошли с Мишей искать русский магазин, там только русские продукты и товары: сало-водко-селечочный ассортимент, еще книги, кассеты, музон, газеты. Проходим мимо старых казарм: квадратный комплекс зданий из красного кирпича, сейчас в нем что-то типа общаги. Наш путь пролегал через этот двор, встретили короля, оказывается, он тут живет, и все эти казармы раньше принадлежали их семье, которая основала этот город.

Потом они отдали городу большую часть своего имущества, но королем города по-прежнему является потомок их семьи. Король, похоже всегда на подаче, нос красный. Проходим мимо, с королем дедок стоял, откололся от него — и к нам, оказалось, русский немец. Здесь живет 9 лет, мужику 72 года. Пригласил к себе в гости, живет тут же. Идем, нормально сидим. Сначала вина выпили, потом хорошо поели, но разговор не получился. Дед даже руки Мише на прощание не дал. Я оказался между двух огней. До магазина не дошли. Вечером пошли на вечеринку. Камиль пригласил к своему другу, хозяину кафе. Пошли опять с Мишей. Кафе, тату, пирсинг, чай, кофе, пиво. Хозяин — Ули, лысый тип, лет 45-ти, скользковатый. За стойкой, на стенах — куча фотографий, всякие пирсинги, на губах, носах, ушах. Все, что можно — проколото, увешано сережками, какими-то шариками. Вокруг — скульптуры, фигурки чернушного содержания. Стрелок. «Замануха», — кричит Миша. Пиво, тем не менее, было неплохое. Постепенно подтянулся народ, накурили — хоть топор вешай, выползали на кислород. Отправил сообщение по e-mail. Сегодня месяц с того достопамятного дня «черной вечеринки в Венеции». Миша приехал без документов, кричит — это верняк, тебя не депортируют, трудно установить, кто ты на самом деле. Новый расклад про Данию. Главное без документов, ну а «беса гнать» на всю катушку. Узнали адрес русского ресторана «Огонек». Ихмед свалил в Мюнхен, Камиль отвисает с кентом из Голландии, индус — у родственников, где-то в Бремене. Тихо. Завтра, с первой звезды — Рамадан, весельем не пахнет. Баварская жрачка — укусная, все в укусе: рыба, салаты, соки. Как в Мексике — перец с фасолью, в Азии — специи, в Баварии — укус. Немецкое радио достало. Иногда слушаю новости at English. Аут. 26.12.00. Пресловутый Рамадан протекает более, чем неприметно: половина народу отвисает у друзей в городе. Тишина, все плотно закрыто, кроме Макдональдса. Вечером звонил домой, все нормально. Автомат сказал: «Кредит — 8 минут», — сожрал половину, гады. Новостей нет. Аут. 26.12.00. Получился зеленый день, зеленая тема запала в душу, потрогала за живое. Абстрактно. Вечнозеленые растения. Вечнозеленые люди? Сравнить вечносиний с вечнозеленым. Символика цвета: изумруд, океан, бесконечность. Вечносиний человек — это нечто неопределенное, вечнозеленый — тоже. Вечносиний — бог, тоже — глупость. Бесконечность — глубокий ультрамарин. Вечнозеленый, вечножелтый, вечнокрасный... Вечная степень всех цветов и состояний. Вечный-вечный-человек. Сегодня резал, клеил коллажи, серия называется «Цифровой аспект повседневной жизни», в качестве носителя использовал каталог швейцарской мебели. Сюжетное разнообразие тем объединяет цифра. Цифра, как знак, как символ, ее взаимодействие с человеком. Цифра, как декоративный элемент, просто пустая декоративная закорючка и ее взаимодействие с чело-

веком. Соотношение декоративных элементов; соотношение символов, как декоративных элементов — безобидно ли это? Манипуляции со знаками создают поля воздействия — или нет? Ох!!! Музон попер, чувак поет, явно чернокожий: «Брось все, все — скука, все — лапша, пойдем с нами, туда, где не был человек». Музыкальный день, индусская музыка тоже бодрит. Сбилсь с темы. Цифра в современном интерьере: цифровая спальня, нет, брутальнее — просто мебель в виде цифр. Аут. 29.12.00. Кладбище, снег, метелка в руках. ЛОПАТА. Вчера повалил хлопьями, как в кино, завалило все. Но подтаивает. Не холодно. Новых тем нет. Брабу завтра едет к сестре, на 5 дней. Алексей старший подогнал шмоток: куртец, легкий, с капшоном, джинсовая рубашка Lee, и белая рубашка в черную вертикальную полосочку, треники «для дома». Куртка и рубахи — реальные. Разминаемся по пиву. Вчера были в русском магазине, ничего не купили, так — экскурсия. Через двое суток — Новый год. Во, попали!!! Аут. 31.12.00. Вплотную, прямо вплотную, уплотняемся вплотную. Бодрое состояние. Вчера было весело, сегодня весело и бодро. Провожаем старый год, последовательно вспоминаю события уходящего года. Зимняя работа над дипломом. Защита диплома, Москва, Солнечногорск, потом Питер. Лена, Наташа, Арбат. Встреча с Бадди на Арбате, американский ресторан с мексиканской кухней, очень дорого. Озеро Сенеж, горячая клубника с грядки, смородина, баня, клинское пиво с зеленой этикеточкой, вечерние битвы с комарами. Автотрип с Александром, Надей, Анечкой и Грифом в Ставрополь. Дни рождения, юбилеи и свадьба Вадима. Шатохин, переходящий по бревну в лесу, одно бревно осталось, которое я не перешел, а Шатохин смог, говорит, что это Ци-гун, можно и на тонкой веточке сидеть, как птица и бегать с закрытыми глазами по лесу. Теперь я в Баварии овладеваю всем на свете. Внимательность. Зачем я тут? Овладеваю Ballantines. Смеемся, жрем, фотографируемся. Завтра на работу, неохота. В 22.00 выпили с Россией, в Москве — 24.00, слились в пространстве, потом выпили в 24, по-местному. На площади несмолкаемая пальба, сверкание фейерверков. Выпили шампанское, проползли мимо русского ресторана, заходить не стали. Без приключений, на базу вернулись в 2 ночи. Аут. 1.01.01. За окном Бавария, солнечный, морозный день, в комнате — никого, все на каникулах. Вчера ночью сочинили балладу о спящем унитазе. Оказывается, сегодня — выходной. 2 января. Письмо из дома, все пучком. Жду интервью, в третий раз. Когда им заблагорассудится? Время летит быстрее. Мелкие корки скрашивают убогие, бестолковые дни. Попали под рекламную акцию, напильсь белого вина, реклама магазина, заодно шампанского, или наоборот. Получил 60 марок, за 8 рабочих дней. Вчера забыл на лавочке перочинный ножик, за 1р. 90к. Вспомнил через 3 часа про него, пошел за ним на лавочку, где пили пиво — лежит на мес-

те, ждет меня. Встреча в миниатюре. 4 января, вечер. В комнату заселили нового типа, показав ему уже занятую койку, какая-то неразбериха с номерами. Мелкие неприятности, в итоге и меня тоже переселили на новую койку, на второй этаж, это косяк, удар по глазам. Комната резко изменилась, еще новый кент появился, куча новых друзей, таких же коряг. Вчера Миша купил «мотороллу», дал чечену, тот нажал какой-то пинкод — телефон заблокировало, пошли в магазин, выяснять. Как разблокировать? Никак. Зачем вы набрали эти цифры? Это ваша вина, ремонту не подлежит. Потом нормализовалось. 22.55 — аут. Безболезненно прошли выходные, мерзкая погода, мокрый снег. Позитива — ноль. У чуваков в 223 зеркало есть небольшое, с одной стороны обыкновенное, с другой — увеличивает. Той стороной, которая увеличивает, подносят зеркало к носу — все смеются, такой юмор. Немецкие словечки впитываются невольно, приобретают новые значения, смешиваются с английским. Хома вместо Хаммер, Блуд вместо Блад, фу, какая гадость. Гольый вассер, шлафэн, шпацирэн, эссэн. Еще турецкий вокабуляр пополняется, надо записывать. Приехал Брабу, угостил индусским печеньем, сестра пекла, музона нового, шриланкийского привез. Читаю В. Пикуля «Псы Господни». Отметили Рождество как положено, на нашем месте, на горе, взирая на Дунай. Городок, освещенный огнями не спал, где-то шумела дискотека, нас тянуло к людям, но куда без лавэ. Сегодня снилась река, вода переливалась через край, затопив берега полностью. Значит — не к деньгам. Аут. Гус=Фарт, Шаш=облегчение, — Камиль научил вчера за пивом. Вчера нашли место в парке: домик бревенчатый, на сваях, чтобы пиво пили, такие как мы, залезли туда, разговор за политику пошел, Америку, Иран, Ирак, Афганистан и т.д. Камиль разговаривает на смеси всех языков, но главное — все понятно. Спросил его, кто такие моджахеды. Моджахед — это друг или брат, моджахеды — военно-братский союз. Второй день пилим деревья на работе, ветки — отдельно, бревна — отдельно, разнообразие. Заработал лишние 15 марок за один день. Купил чеснока и хлеба с геркулесом. Тихо радуюсь. Брабу зовет меня играть в футбол — отказываюсь. 9.01.01 Аут. К недостаткам Whiskey я отношу его высокое качество. Можно очень много выпить, а ПОТОМ... мотор с цепи срывается. Утки плавают в реке, головы у них зеленые, блестящие, как у мух — зеленые зимние речные мутки. Работаем, спим, просыпаемся, снова работаем. 11.01.01 Аут. Прошедшая неделя была боевой, оттянулись неплохо. Но, как всегда, не обошлось без потерь. Леха в темноте налетел на трубы, металлические скобы в земле — стоянка для велосипедов. Сильно ушиб ноги, теперь еле ходит. Передвигается как робот, аж самому смешно. Марья простыла, второй день колбасит, пиво отказалась пить, предпочтя ему немецкие лекарства. Один кормил уток, прикольное занятие. Нашли два новых супермаркета. Пишта — турецкая игра в карты.

Говорят, что на трансфере тоже живут в хайме, только стос меньше, блок на 3-4 семьи, общий толчок, душ, кухня. Я-я, да-да, ес-ес. Ка-ка-ка-ка. Шарап — вино (Афган). Стокин, так Брабу произносит talking. Могильный, так меня теперь иногда называют, пора увольняться с кладбища. Вчера полчаса ходил за картами в соседнюю комнату, прозвали — Быстрый Олень. Это мне больше нравится, делаю все быстро. Разговоры, нет, даже споры о гигиене, КТО ЧИЩЕ?

**17.01.01.** Видел очень невеселый сон. 18 января. Звонил Санчесу, Любане и матушке. Пятница 19.01. Утро, колотун, дядюшка Гиннес не вдохновил. Фрау Феррер опять не пришла. Тянет, тянет резину — времени вагон. Кто прав, кто виноват? И смуглый афганец, и сутулый курдюк, прокуренный турок, красноглазый индус, Шри-Ланка, и Ангола страдают и плачут, они приходят в каритас со своими тревогами и чаяниями-отчаяниями. У меня — тетя под Мюнхеном, а у меня — брат бабушки под Нюрнбергом, а у моего ребенка — понос, семья, дети, мы хотим жить в Германии. Как мне жить в одной комнате с русским, китайским или турецким? Внимательная женщина средних лет слушает вас, проникается, трудно сказать, насквозь или нет, хлопочет: нужно сделать запрос куда-то, написать бумагу туда-то. И ждать, ждать... Лема историю рассказал страшную, сигареты забрали, 8 суток в камере просидел, ничего не ел, в дверь если постучишь — прикладом в лоб. Лема — чеченец, в первую кампанию воевал, был в розыске, потом удалось отмазаться, уже во время второй кампании загребли. Здесь с женой брата, брата убили, и четырьмя детьми. Общаемся. Тучи сгущаются. Миша, портрет в полный рост, на фоне решетчатых ворот азия. Хитрая улыбочка, веселый взор, руки в карманах. Что случилось? Марья кричит, Миша пытался ее задушить, на шее видны слабые синяки. Степень достоверности трудно определить, но кипиш подняла, вызвала полицейских. Разборка. Мишу в тот же день отправляют в штрафной лагерь в Реген. Марья подает на развод, для Миши это облом. Во вторник он будет здесь, встретимся, поговорим. Опять кормили уток с Лехой, сначала ели нехотя, потом раскочегарило, подлетели чайки, неудачное место, чайки хватают хлеб налету и шугают уток. Пошла молва про мой цап-царап, надо заканчивать этот бизнес. Закрываемся. Что реальное, а что нереальное? Какой предмет, тело или символ того и другого, или это нематериальная категория? Или нечто, то, что может быть одновременно реальным и нереальным, фальшивым, как деньги, например. Только как найти такой предмет, который был бы символом, критерием реальности? Сир (чеснок афг.) BLAIRMHOR может стать последней, пару раз уже спалились. Внимательность. Лампочка мигает красная, громкий сигнал тревоги, как в бункере перед взрывом, сирена. Бесконечный, запутанный коридор, торопиться — бесполезно, но он бежит, как ему кажется. Аут. 23 января. Смешная беседа с Мамедом, он

спрашивает меня, знаешь, что такое рэзис, пару минут я думаю, переспрашиваю, оказывается, так он произносит, расист. Хаус у него просто получается аус, и много других перлов. Несколько спокойных вечеров в азиюле, родился сюжет: в январский вечер русский, чернокожий и желтокожий у окна. 24 января. Состоялось интервью, началось в 9, кончилось в 10.20, прошло без напряжения. Гора с плеч, все кругом говорят — появился турист. Утки. Длинный азияльский коридор. Дети на трехколесных велосипедах. Хмурые женщины в платках. Мусор, вонь, шефы в халатах, шефы в форме. Много чужого языка. Бесконечный чужой музон. Этника. Азиянты играют в футбол. Растяжение кисти получил Брабу. Тема из серии рэзис: на интервью переводчик в конце мне сказал, ну это все — рулет, я его не понял сначала, переспрашиваю, опять — рулет, вижу по глазам — я его не понимаю, потом он повторяет слово с легким добавлением «ка», что потребовало от него умственного напряжения, рулетка — наконец-таки понял я, а он сумел произнести правильно. Звучало это все так: ну, это все — рулет. Афоризм готов, жизнь — это рулет. Появляются мысли, которые нельзя записать. Аут. 25 января. Новый отсчет времени, решение можно ждать через 10 дней. Пришла идея: в Баварии издается газета на русском языке — «Вечерняя Бавария», а в азиюле надо выпускать — «Вечерний Азияль», или «Азияльский вестник», на русском и английском языке, где писать все новости, кому и куда трансфер, кто спалился в магазине и прочие тревоги. Разные рубрики, национальные рецепты, анекдоты, легенды. Еще можно сделать азияльский альбом, по типу дембельского, с серией рисунков на самые типичные ситуации: азияльский коридор с узкоглазыми детьми на велосипедах, носящихся по йогурту, столовая, очередь за добавкой. «Компенсация» и как здесь говорят цап-царап в супермаркете. Кладбище, могилы баварцев, процесс похорон. Непосредственно комната, интернациональное чаепитие с термосом вместо самовара. Азияльский натюрморт: кусочек масла, круглый экмек (хлеб афг.), колбаска, бледенькая, ломтиками с тетрадный лист, салатик в мьельнице, апельсин, яйцо. Выдача денег — отдельная тема. Туалет — отдельная тема. Кормление уток. Пьянство в меру. Интернациональные симпатии, искры напряжения, проскакивающие, играющие между плоскозатылочниками и овальнозатылочниками. И т.д. Забрели с Лехой в заброшенный дом: стекла разбиты, двор заросший, дверь заколочена, половина — проломлена, заползли. Нашли кучу интересных бумажек, полно всяких журналов, книг, записных книжек, газет, открыток, все в жутком беспорядке, раскидано на полу, между пивными банками и всяким старым тряпьем. Нашел билеты 40-50 годов, газету 39 года, фашистскую, много всяких справок, квитанций, аусвайс какого-то Георга Зильберга за 54 год, протер его, взял с собой. Судя по количеству специальной литературы по математике, биологии, физике, химии, умный был чувак. Ка-

кая участь постигла герра Зильберга? Почему дом его пришел в такой жуткий упадок? Нашел еще книжки на английском языке: Шекспир, биография Марии Кюри, «Два города», Чарльза Диккенса, «Старые мастера», рассказы о художниках Возрождения, их я тоже взял с собой. В подвале обнаружили всякие разные бутылочки, скляночки, в некоторых, запечатанных, что-то бултыхалось, дегустировать не решились. Темнело, ушли, решили вернуться потом. Вечером, после 23.00, возникло оживление, оказывается, афганцы подняли забастовку, недовольства следующие: трансфера нам не дают, шефы — плохие, жрачка — гадость. Иракцам, курдам паспорта дали, а афганцам — нет, одно яйцо на вечер — это не годится. Биас переспал с Марьей, кто-то кинул сплетню, что Марья — сифилисная, оба загруженные пошли в поликлинику. Биас — турок, любит выпить, в Мюнхене у него — дядя, хозяин крупной фирмы. 26 января. Наконец-то я добрался до пива, Лехе не понравилось, пришлось пить одному, выпил огромную бутылку. 27 января. Просыпаюсь я утром, специфический пивной бодун. Пошел опять в заброшенный дом, один. Ковыряюсь на чердаке в куче бумажек. Вдруг слух уловил шаги внизу, сначала показалось, потом — отчетливый хруст стекла, я, как зверь, пойманный в западне, закаменел, бесшумно двигаясь, продумал отход, путь один — вниз по лестнице. Медленно двигаюсь вниз, спустился на второй этаж, контакта — не избежать, непонятный чувак выходит мне навстречу, спрашивает что-то, стоя на месте, перекрывая мне дорогу. Их вайс ништ, — единственное, что я мог ответить. Улучив момент, я проскользнул мимо загадочного посетителя, может быть это был герр Георг, но на измену я сел конкретно. Больше решил туда не ходить. Ходит по азиюлю благообразный старичок и журнальчики подкидывает, миссионерские, на всех языках. Читать — просто угар. «Каждый день, каждую секунду, даже когда мы спим, мы настолько подвержены риску, что любой момент может стать последним в нашей жизни», — это точно про мой поход в дом Георга, «жизнь полна риска», — это про азиюль в целом. «Горькие последствия безнравственности» — сладкий плод запретно-горек. «Преодолевая пагубные привычки», — выпить два стакана пива, закусить черемшой и дышать на людей в троллейбусе. «Нет смертельно опасным пристрастиям», — не ешь ядовитых пауков, не закусывай чесноком. «Жизнь большого числа людей сопряжена также и с финансовой неопределенностью. Но и тут Библия приходит на помощь», — жизнь особенно сопряжена — это очень сильно сказано, целый лозунг. «Что если сомнения не рассеются», огромная толпа заполонила площадь, вид сверху, камера медленно спускается, лица крупным планом. Люди взволнованы. Все хотят знать, что, если не рассеются?! «Хотели бы вы, чтобы вас посетили?», — громоподобный голос задает этот вопрос на английском языке в полном мраке горного ущелья. «Сотни молодых свидетелей сохрани-

ли непорочность в испанских тюрьмах», «на что вы настроились?», «когда кто-то задел твои чувства», — где старый конь прошел по борозде. «Если ты чем-то удручен», — это сложнее, когда кто-то лохматый проходит по борозде, в тот момент, когда ты уже удручен. Сложно. «Помощь близка!», «Оптик сеет семя», достаточно. Ставим точку, сам Оптик сеет семя, да уф, уф, уф. Громко звучит индусская музыка, в куче белья спит незнакомое тело, сильно утомленное. 28 января. Юбилейчик. 2 месяца в азиюле. Штормовое море терзает шхуну, ее несет на скалы. Фантастический оттяг. Выпив бутылочку пива, брели в лагерь, по легкой нужде свернул в узкий проход, прям в центре города, пристроился в притык к двери, поливаю, по ходу замечаю, что дверь приоткрыта. Время позднее, народу — никого, тихо, легонько толкаю дверь. Небольшая прихожая, прохожу несколько шагов, с правой стороны — ящики с пивом, на автомате достаю пиво, бутылоч 6, тихо на выход. Показываю Лехе, киваю на открытую дверь, он тоже затаривается. Спокойно уходим. Кто-то забыл закрыть служебный вход в бар. 10 бутылоч пива спрятали на автостоянке, 2 бутылочки я уже выпил, решили сходить еще, затариться на завтра. Взяли еще, спрятали возле кирхи, закопали в листву, снега не было. Насвинячились. Еле дошли до лагеря. С утра прямым ходом — в кирху, за пивом. Пьянствовали весь день. Хожу по Германии, типа, вот мы идем и наступаем на Германию, угарали с этой фразы. Вороны кашляют и чихают, как люди, ходят возле нас, когда мы сидим на лавочке и пьем пиво. Или, вот черепаха, может долго не есть, удобна в хозяйстве, ползает себе на здоровье, голову задвигает-выдвигает. 29 января. Отправил почту по e-mail. Забалаш просек тему про литературу. Читать — значит пить. Новая девушка из Югославии, Славица. 31.01. Получил пачку писем, это самое радостное за весь январь. Один конверт от мамы и три от Колбасникова. Куча всяких вестей. Сегодня большой трансфер, ушел Камиль, Сабир, Тимур со своим семейством. Пошло движение, но мне рано. Раньше конца февраля ждать нечего, Камиль торчал больше ста дней, Тимур — тоже, всего отправили больше сорока. Событие сподвигло меня избавиться от лишних вещей, особенно всяких бумажек. Отпускаю бороду, ем чеснок, чтобы не болеть. 1 февраля. Новый типок повадился ходить в нашу комнату, афганец, тарыхтит без умолку, птица-говорун, что называется. Говорит, говорит, говорит, три секунды тишины и опять включение. Каждый день в столовой утром — яйца. Каждый день приносит яйцо. Безжизненное яйцо. Страшно. Яйцо — символ жизни в цивилизованном мире, в азиюле — нет. Черное яйцо, каменное, прозрачное, философское. Трещина. Беседу подхватывает Расул, из тенистой ниши провисшей койки, плавно вступает Шер, Абдулла с ним спорит. Бесконечная беседа. 2 февраля. Выпал снег, опять пришла зима. Кладбище. Когда могила готова, траурная процессия двигается к ней. Впереди идет священник, за

ним — директор кладбища с крестом в руках. Гроб с телом покойника запечатан, его везут на специальной тележке, по два человека с каждой стороны и один — впереди, все управляют тележкой, осторожно подталкивают ее по дорожке. «Водители» тележки и директор одеты в специальную форму: черные штаны, черные рубашки, черные туфли, серый пиджак, на голове фуражка, тоже черная, вместо кокарды — блестящий белый крест. «Могильные войска», — подумал Штирлиц. Собираемся в гости к Мише в Реген. Поехали с Максом и Вадимом, обошлось без приключений, остались довольны. Миша накормил нас яичницей с тушенкой. Живет с Афганцами. Познакомил нас с Саидом. Мишу уважают и боятся. 2 февраля. Гуляя вдоль речушки, через парк, до Дуная и обратно, потихонечку, полегонечку, выпил бутылку «Капитана Кука», гадкий и коварный напиток, но, как говорится, голод — не тетка, смерть нам не чай, а тоска не одноразовый велосипед. Пришел, вернулся в азию хорошо. На морозе ничего не чувствовал, но как меня в тепле расколбасило, это нечто. Устроили турнир по борьбе, я боролся с афганцем в вестибюле первого этажа. Собралось много зрителей и болельщиков, в том числе и шефы. В итоге никто никого не победил. Победила дружба, главное было весело. 3 февраля. Наступила расплата. Не нашел цепочки серебряной, с медальоном Николая Угодника. Вот засада! Точно помню, я снимал ее перед «турниром», вешал на батарею, какие-то гады сперли. Я наказан. Вылез на крышу босиком гулял по снегу, не холодно, но скользко. Легче не становится. Повесил объявление с просьбой вернуть цепочку по адресу. Полным ходом валит снег, тихо-тихо, спать. Когда закончатся чистые страницы уеду в другое место. Когда растает снег. Когда исчезнет большое белое покрывало за окном. Когда придет ответ из Бундесамта. 100 когда. Сваливать надо уже 67-й день здесь. Интересно, какой может быть памятник азиянту? Образ азиянта. Не беженца, а именно азиянта. О-хо-хо! Мирный вечер в Азюле.

5 февраля. Тимур оставил телефон некой Иры, а Лема отдал его мне, у него, мол — жена, дети, ему не пригодится. Тимур говорил, что, если будет скучно, можно позвонить, отдохнуть с нашими девочками. Пошли звонить с Лехой, сначала Ира долго спрашивала, какой Тимур, потом, что нам надо, так ничем и не кончилось. Непатриотичные девушки. Сегодня проводили Забалаша, он же албанец, он же просто Алекс, он же Алексей Иванович, он же Папа-мафия. Провожали его до Бундесамта, собрался целый стос. Трансфернули 11 человек, провожающие тоскливо смотрели им вслед. Заседал у Феррер, чесали языками.

6 февраля. Получил письмо от Жеки Склярова, альтернативность формата не оставила меня равнодушным. В антропологическом отношении представленные в азюле челы могли быть разделены на два условных типа: плоскозатылочники и круглозатылочники, что особенно наглядно прочитывается в очереди столовой. Снег тает.

7 февраля. Пришло письмо из Бундесамта, распечатка моего интервью на немецком. К чему это? Оказалось, такой порядок.

8 февр. Прокатились с фрау Феррер к ее подруге в магазин стильной одежды, ей нужно оформить витрину, сделать шары, маски из папье-маше.

9 февр. Фрау Феррер узнала о моей итальянской визе, для нее это была неожиданность. Почему я не сказал ей раньше, спрашивает меня. Это осложняет дело. Даже если сейчас твой вопрос будет решен положительно, в любой момент будет сохраняться вероятность того, что тебя отправят в Италию, поскольку визу тебе открывало итальянское посольство, это может произойти даже через год.

10 февр. Вечером Лема рассказывал ужасы про Грозный. Где правда? Пили пиво. Снились всякие сны. Слушаем музыку Шри-Ланки.

12 февр. Как это часто было за последние месяцы, кратковременное отдохновение предыдущих нескольких дней сменилось новой порцией гнетущей неопределенности и тревоги. Говорят, если отправят в Италию, то полиция придет ночью или рано утром, без предупреждения, забирает тебя как дракон и департирует. Нужно вовремя просечь этот момент и свалить в неизвестном направлении. Новости о Забалаше: приезжал Тимур и сказал, что Забалаш в пампасах, т.е. в глухой маленькой деревушке. Тимур попал тоже в такое место. В деревне 30 или 50 домов, один магазин. Работать официально можно только через год. Пособие минимальное. Теперь вместо Забалаша — Владимир из Тбилиси. Занял ему 20 марок. Поменял белье.

13 фе. Три месяца, как уехал из дома. Сейчас весело вспоминать, как я уезжал и не мог предугадать, в какой окажусь ситуации. Четвертый день подряд опаздываю на работу. Уже смотрят косо. Объясняя: вчера водили детей в школу, сегодня — к врачу, меня таскают с собой в качестве переводчика. Смешно разговаривать с немцами на английском, но они тщательно скрывают свою неприязнь. Хорошая новость: нашлась булавка. Отметили памятный день, наказали «Реал», я взял Loch Lomond, бутылку, с которой в первый раз спалился из-за погремухи. Специфический вкус, не резкий, но горький. Памятный день — это 77 день в азюле.

14 фе. 78 день. Мне опять почта, получать после двух. Скрип двери, сложный резной орнамент скрипа. Качество и количество скрипа. Думает ли плотник о том, что дверь будет скрипеть, он такой вопрос себе не задает. Пионер с горном в солнечный день, вокруг тишина, только вместо звука горна — скрип двери. Скрип калитки, старой деревянной калитки в огород, где старый шерстяной козел устало щиплет зеленую траву. Скрип двери, звон колокольчика на шее козла, вдалеке — детский смех. Надо полоть огород, тяпка — тупая, но ручка отполирована мозолистой рукой. Тяпка в гараже или в сарае? Запах парного молока, смешанный с запахом навоза, сена и тепла, куриный пух. После обеда — на озеро. Мед на большой тарелке, соты, липкие и сладкие. Солнце уже не так печет, сидишь возле

- яблони и жуешь соты. Туалет на улице. Ночные трели сверчков. Шаркаешь по полу в резиновых галошах. Деревенский магазин, безногий нищий на ступеньках просит милостыню. Злой дед проехал на тракторе, ругаясь на кого-то. Старые фотографии на стене его хибары, полинялый коврик с оленями у озера, нехитрая утварь и газовый баллон на кухне. Железная кровать, старая, как удав. Патрубок. Где купить новый патрубок? Бензонасос барахлит. Потная кепка, сметает ей усталость в никуда. Променад с Владимиром по магазинам, отоварили его чек. Вован прошел боевое крещение в «Норме». Нужно было видеть Вована на измене. Получил почту: письмо из полиции, с предложением уплатить штраф в размере 100 марок, в случае чего инцидент будет стерт.
- 17 фе.** Отправил письмо Санчесу. Изменил свой неясный внешний облик — подстригся. Вчера колотились в ТВ, присели на палево. Наказали «Деггс». Вечером вышли на охоту за девушками — безуспешно. С Владимиром работали в «Карлштате», потом в «Лидле». Улов небогатый.
- 17-18 фе.** Мощный сон. Стою на балконе высокого дома, смотрю на солнце. Солнце серебристого цвета, яркое, но не слепит, к нему подползает другое небесное тело, типа Луны, медленно находит на него, по цвету они близки, но яркость солнца ослабевает. Когда солнце оказывается полностью перекрытым, происходит соприкосновение, будто они слились, начинает меняться цвет, подобно перемешиванию краски или масла. Происходит это все в течение 2-3 секунд, я продолжаю за всем наблюдать, и в тот момент, когда они полностью перемешались, произошел мощный взрыв, прогремел оглушительный гром, я подумал — это конец света, все небо и пространство наполнилось лопнувшим серебристым солнцем и грохотом. И тут я проснулся. Еще был ряд менее значительных сюжетов.
- 19 фе.** Утром ходили в госпиталь к Валиду. Вчера вечером его забрали на скорой. Прежде, чем увезли, два или три раза вызывали врача, те дают беспонтовые таблетки, а старик себе от боли не находит места. Меня опять брали в качестве переводчика. Мед.персонал прилично разговаривает на английском. Госпиталь — супер: просторный холл, вестибюль, палаты, койки на колесиках, широкие двери, везде аппаратура. Сначала сканировали желудок, печень, почки, работу всех органов и даже движение крови можно увидеть на экране. Общее изображение черно-белое, но, используя определенную функцию, изображение может становиться цветным. Нездоровый участок будет выделен синим или красным цветом. Пока похоже на желудочную инфекцию. Окончательный диагноз после анализов. Были в арбайтсамте, искали работу для Лемы и Вована. Был у Феррер, она звонила в Нюрнберг по моему вопросу, я подписал бумагу, согласно которой я доверяю ей быть моей поверенной. Опять спрашивала у меня, какое место я хочу на трансфер, предложила небольшой городок Платлинг, это недалеко отсюда.
- 20 фе.** Все по графику. Компенсация. Вечером Эмиль играл на гитаре. Бизнес обламывается. Кочегар, Вертикальный — это новые друзья нашего говорливого афганца.
- 21 фе.** Нашел новую работу. Мою туалет. Сегодня первый сеанс туалетной работы, на нашем этаже туалет мыл Брабу. Сегодня его отправили по трансферу. Я добровольно выразил желание занять это достойное место. Убираешь каждый день с 8 до 9 утра, кроме воскресенья. Надо испытать себя туалетом. Все очень просто и удобно: переодеваешься в резиновые сапоги, шлангом заливаешь весь пол, все само стекает. Дверь закрываешь — никто не мешает. Ходить далеко не надо и сам работаешь, без ансамбля. Платят 50 марок в неделю.
- 24 фе.** Хотелось выпить и закусить. Организовались. Выдвинулись группой в «Зеленый», я, Леха и Камиль. Время 6 вечера. Взяли сыра, рыбы, воды и, конечно, пепси. Лехе говорю, мы все взяли, встречаемся на выходе. Ждем Леху на улице, прошло 40 минут, к магазину подъезжает полиция. Думаем, точно, Леха спалился. Менты уехали, а Лехи все нет. Может тупо разминулись? Поплелись на базу. Лехи нет и там. Ждем, появляется через 15 минут. Так и оказалось, Леху поймал детектив. Как правило, в больших магазинах есть штатные детективы, которые под видом покупателей следят за подозрительными типами, вроде нас. Со временем их узнаешь с первого взгляда. Это приходит с опытом. Леха заплатил штраф 100 марок прямо в магазине. А то, что не вышел сразу, оказывается, ему запретили выходить через центральный вход. И еще бумагу он подписал, в этом магазине ему нельзя появляться 1 год. Сели по-наглomu в нашей комнате, решили снять стресс. Алкоголь категорически запрещен в азиюле. Еда — реальная, приговорили все, что купили. Все путем, пошли подышать на кислород. Камиль в холле чуть не подрался с Суперменом, их вовремя разняли. Мы с Лехой поднимаемся в мою комнату, Маду — мерзкая рожа, начал наезжать на Леху, закрой дверь, говорит, Леха, наоборот, ее настезь. Маду вскакивает с койки и начинает выталкивать Леху из комнаты. Сцепились, как борцы сумо, уперлись друг другу в плечи и толкаются, никто никого не бьет, пока никто не вмешивается, все смотрят. Движения соперников стали более резки и порывисты, Леха стал прогибаться, сдавать позиции, тут я встречаю, скользким ударом я заехал по лицу Маду, несильно, но стало больше шума и суеты, возникла агрессия, Маду явно испугался, выскользнул из круга и выбежал в коридор. Понятно, что побежал за охранниками. Голову берем в кучу, что делать. Надо быстро соображать, у меня в шкафу еще бутылка «Джоника». Протягиваю бутылку Лехе — беги, прячь ее. Он хватает ее, но в коридоре его ловят с ней. Все из-за маленького афганца. В комнату заваливают охранники, поднялся шум, народ собрался, яблоку упасть негде, вызвали полицию, начали обыскивать наши ящики, мы еще трезвые, к счастью. Приехала полиция, меня — в одну машину, Леху, в наручниках — в другую, пинком под зад. Переночевали в полиции, в разных

камерах. Камера с унитазом, лежак, на нем еще чувак загорал какой-то. Чего ждать? Могут отправить в штрафной лагерь, в Реген. Отпустили в 11 утра. Как вчера забрали в одной рубашке, так пришлось через весь город возвращаться. На дворе не май месяц. На проходной меня встретила новая смена, спрашивают, что произошло вчера. Я говорю, вина только в том, что выпили, а кипиш афганцы начали, а без алкоголя терпеть бесконечный базар, тупой музон ихний — невозможно, с ума сводит. Если по их вине у меня будут неприятности с шефом, я покажу этому маленькому афганцу, где раки зимуют. После обеда меня вызывают к шефу. У вас, что, проблемы с афганцами? Переселили меня в комнату № 013, на первом этаже, в комнате больше никого, как меня наказать, еще не решили. Ключи от туалета забрали, отлучили от работы. Теперь вид из окна у меня на другую сторону. Мимо проходят маленькие электрички, по 2 вагона, я называю их колбаски. Они ассоциируются. Месяц, как прошло интервью. Сегодня с Феррер были в «Реале», она купила мне гипс, клей, проволоку, кисти, пленку, наждачку, глину. Лепи, говорит, пожалуйста. Там, где у нее офис, нашла мне маленькую комнату, где можно работать. Попросила сделать ей маску, скоро весна и у них тут есть какой-то праздник, когда сжигают чучело зимы, а все ходят в нарядах и масках. Если нужна литература с иллюстрациями, объяснила, как взять книги в библиотеке. В иллюстрациях я не нуждался, ведь они все были у меня в голове, о чем я ее сразу же и сказал. Комната оказалась маленьким коридором перед прачечной. Забыли купить пластилин. Как можно забыть, когда он был первый в списке материалов?! Самолет сегодня в небе кружил, с какой-то рекламной простыней. Видели короля. Кормили уток. Хочется ничего. Наверное, приближаюсь к совершенству, двигаюсь в направлении Нирваны. Вот она, Нирвана, на расстоянии вытянутой руки, бери ее, а лень. Ощущений нет, чувствую пустоту.

**26 фе.** Меня окончательно уволили с работы, лишили единственной радости, шеф смотрел на меня своими водянистыми, выцветшими глазами, спрашивал вопросы. В субботу допоздна резались в кости, в моей комнате. Я, Леха, Вован, Камиль, никто не мешал. Пошел снег крупными хлопьями.

**27 фе.** Три месяца с того памятного дня в Мюнхене.

**27 фе.** Получил письмо от Жени, она выслала фотографии. Начал лепить маску. Нашли пластилин, но это оказался не совсем он, скорее пластик. В руках быстро сохнет, потом не разминается, в работе неудобен. Маску назову «100 дней в аэроле». Работаю в своей комнате. Инцидент исчерпан.

**3 марта.** Пришли в каритас. На сегодня намечена акция: сбор вещей, всякого барахла. Часть народа на машинах собирают в специально отведенных местах оставленные людьми мешки с тряпьем. Другая команда разгружает эти машины на вокзале, перекидывая кульки в вагон. Пошли я, Камиль и Владимир. Я остался на вокзале с другими индейцами. Сначала машин не было, потом они

пошли одна за другой, дело подпортил дождь. Кульки рвутся, тряпки вываливаются, пачкаются, небрежно сваливаются в кучу. Мы все извозились, мой оранжевый комбинезон стал совершенно мокрым. На ходу переоделся, в подвернувшиеся малиновые джинсы. Работаем в безостановочном режиме. Машины идут одна за одной. По ходу разгрузки индейцы ковыряются в шмотках, набивая себе целые кульки. Под конец уже не смотришь ни на что. Загрузили один вагон, выпили горячего чая, начали грузить второй. Больше я не соглашусь на такую работу.

**4 марта.** Владимир познакомился с семьей молдаван, которые живут здесь 7 лет. Были у них в гостях. Хорошо посидели, отвели душу. Вернулись на базу поздно, еще успел закончить маску. С чувством удовлетворения лег спать.

**5 марта.** Леху отправляют по трансферу. Все известно. Он едет в Дингольфинг, к отцу. Это тоже недалеко от Мюнхена. Появился новый коллега. Зовут Вячеслав, из Туапсе. Последние 2 года жил в Праге, вот решил перебраться в Германию. С маленьким рюкзаком перешел границу. Это важные сведения. Делится опытом, другой информацией. Перед отъездом у Лехи из кошелька насадили последние 40 марок. Крыса завелась. Леха уехал без копыя. Читаю Чжуан Дзи, загружаюсь. Взял почитать в русском магазине. Надо взять что-нибудь повеселее.

**6 марта.** Феррер, оказывается, по мужу Перрес, он у нее мексиканец. Рассказала мне еще о своей учебе в Лондоне, встречах с дочерью Фрейда. Завтра буду лепить.

**8 марта.** Лепка в предбаннике прачечной. Глина белая с мелким шамотом, очень пластичная, цвет даже скорее не белый, а охристо-оранжевый. Рукам потребовалось некоторое время, чтобы вспомнить глину. Сделал двух собак, потом еще несколько вещей. Проковырялся около 5 часов. Фрау уехала по делам, теперь увидимся после 14-го. А где обжигать, спрашиваю я? Не беспокойся, у меня есть знакомая, которая работает «на том же самом поле». Сегодня 100 дней в аэроле. Пришли направление на рентген. Что за дела? Каждый день можно ждать трансфера.

**12 марта.** Вчера вечером были в гостях у Луизы, Вована хотят на ней женить. Наелисьпельменей как дома, от души. Выпили ликерчика, поговорили за жизнь эмигранта. Пахнет весной.

**13 марта.** Вован мощно продвинулся, наказывает магазины каждый день. Его шкаф уже не вмещает новые вещи. Обуви около 6 пар: туфли, кроссовки, босоножки. Он оказался способней, чем можно было предположить. Неприятность вышла следующая. Мы втроем (я, Вован и Слава) вышли на дежурную прогулку по магазинам. Сначала зашли в «Зеленый», набрали кто чего смог, по мелочи: пожрать, парфюм, фотопленка, карандаши, все складно. Потом пошли в «Реал», вещи, которые набрали сложили в один пакет, который был у Славы. Про пакет все забыли. В «Реале» я засунул себе за пояс электрическую зубную щетку и еще что-то из еды, Слава тоже что-то взял. На кассе мы с ним оказались вместе, у каждого была банка

пива, я, расплатившись, отхожу, за мной — Слава, вижу, кассир просит показать его, что у него в кульке. Он показывает паленные вещи из предыдущих магазинов. Кассир начинает подозревать, Слава зовет меня, объясни, что это мы купили в другом магазине. Как я могу объяснить, об этом он не думает. Я сначала повелся, в это время кассир уже вызвал начальника отдела, который повел нас к отдельной стойке. Вещи из пакета выложили, все шло к тому, что нас будут шмонать, с минуты на минуту могла приехать полиция. Улучив удобный момент, я выскользнул из магазина, оставив Славика разбираться самого. Вернулся на базу, там уже ждал Вован. Я рассказал ему ситуацию. Через некоторое время приехала полиция. В комнату зашел охранник, позвал меня вниз, к этому времени я засунул зубную щетку в свой рюкзак, что было второй непростительной глупостью. Внизу меня встретил полицейский, мы узнали друг друга, это был тот самый чувак, который приезжал в «Реал», когда я спалился в первый раз. Естественно, я сразу попал под его подозрение, меня посадили в машину, не забыли и про Вована, его тоже зачихнули на заднее сиденье. Повезли нас в «Реал». Начальник отдела видимо сказала полиции, что Слава был не один. Теперь ей оставалось только показать на меня пальцем, что она и сделала. Нас привезли обратно в лагерь, устроили шмон, все вещи перевернули вверх дном, нашли в моих вещах новенькую зубную щетку «Браун», еще ряд вещей вызывал у них подозрения, но ограничилось изъятием только этой одной вещи. Меня забрали второй раз. Теперь в камере я был один. Но этим не кончилось. На меня открыли досье, меня фотографировали раз 6, сидя, стоя, в очках, без, измерили и проверили все, что можно, только в брюки не заглянули. Еще придумывали какое-то расследование по поводу вещей в пакете, в итоге они установили из каких они магазинов, не смотря на то, что Славик говорил, что взял их у друга.

**14 марта.** Опять сгущенные ожидания. Знак «жди» в квадрате.

**15 марта.** Ничего примечательного, кроме мокрого дождя.

**16 марта.** Отдыхали до упора. Слава Богу, целы очки. Отделался синяком под глазом, огромной шишкой на лбу и ссадинами с правой стороны фэйса. Просто асфальт поднялся и ударил меня в лицо. Вытрезвителей в Германии не существует. Сильно пьяного чела забирает скорая. Ситуация мне знакома. Просьпаюсь непонятно где, вокруг все белое, капельница, еще додумались катетер засунуть. Очухался, перевезли в просторную палату, сделали анализы, проверили деятельность печени и почек на сканере. Все заботливо, четко, но ни одну царапину даже йодом не смазали. Про был в госпитале чуть больше суток.

**18 марта.** Рано утром ушел из госпиталя. Мой аусвайс опять у шефа, завтра на допрос.

**20 марта.** Получил бандероль от Колбасникова, с кучей интересных вещей, очень прикололся со статьи Ежи Гротовского «Перформер». Все материалы

наполнили меня противоречивым состоянием: с одной стороны вдохновили, с другой — я увидел себя в очень неприглядном свете, в ситуации никчемной и отупляющей. Что я здесь делаю?! Надо двигаться отсюда.

**21-22 марта.** Сняты керамические печки, обжиг, опять взрыв, на этот раз керамической печи, разбрасывает камни и изделия, я ощущаю испуг от того, что вещи лопнули, но они оказались целы, и люди, которые находились рядом, стали хватать их, но, так как они раскалены, тут же с криком их бросают и тут они бьются.

**22 марта.** Приезжал Миша из Регена, рассказывал о своих тяжбах с Марьей. Обсуждали с ним интересный проект.

**24 марта.** Ощущение потери времени все время усиливается. Что предпринять, если не дают трансфер? Остается его самому организовать.

**25 марта.** *Воскресенье.* Перевели часы на летнее время. Устроили прогулку в Реген. Сели на электричку, 30 минут и мы на месте. Баварская глубинка мне понравилась. Лагерь в лесу. Лес густой, сплошные ели, как на картинах Васнецова. Птицы поют. Красота. Оказывается, здесь гораздо спокойней, народу меньше. Обсудили планы, назначили отвал на 7 апреля. Проехали бесплатно в оба конца. Густая заселенность близлежащих земель.

### Часть третья.

#### *Александр Рейтер*

Март месяц проходил в безостановочной компенсации, изощрались как могли. Прибывали новые земляки. Приехал Ара с семьей, любитель русского шансона, горячий парень. Как-то во время совместного веселья бросился с ножом на татарина, успели разнять. Молдаванин Толик — крученый чел, полицейские сняли с автобуса в Пассау, ехал транзитом из Австрии в Бельгию к брату. В Австрии сидел в тюрьме за воровство, объявил сухую голодовку вместе с негром, через 10 дней выпустили, признался — ночами пил воду, блэк был честный, воду не пил, посадил почки, стал болеть беспрерывно. Толик рассказал много интересного, как монеты доставать из сигаретных автоматов, как определить под сигнализацией автомат или нет, и срывать их вообще, раскурочивать потом. Появился здоровый чечен с дочерью, Магомед, классный мужик, для него выполняли разные заказы, таскали дорогие шмотки, для дочери — парфюм. Договаривались за полцены. Магомед с зеленью был. Потом был еще Воха с Донецка. Толик уболтал его — свалили в Бельгию. Вадим из Ярославля. Держался особняком, в пьянках и компенсациях участия не принимал, занимался спортом, бегал по утрам вместе с сыном Ашота. Жизнь пошла бурная, но тупая, что становилось тошно. Последний раз, когда были у Миши в Регенте, он закинул идею: уехать в Швейцарию. Миша разговаривал с югославом, который 2 года нелегально прожил в Швейцарии. Расклад был такой (с его слов): хаймов, типа немецких, там вообще нет, вопрос о предоставлении временного убежища решается



в 2-3 недели, это время живешь в лагере, а потом, получив трансфер, чуть ли не в отдельной квартире. Посobie платят больше, легально работать можно уже через полгода и нелегально — работы валом. Ну и поскольку Швейцария не входит в Шенген, народу там меньше, т.е. бродяг типа нас, но самое главное, типа у них нет базы данных по азиюлю, только Интерпол. База данных это прежде всего отпечатки пальцев, можно изменить фамилию, год рождения, назваться кем угодно, но пальчики, один раз снятые в той же Германии, засвечены на весь Шенген. Согласно положению о предоставлении статуса беженца, лицо, претендующее на это, не имеет права самовольно покидать не только страну, в которой просит убежища, но и сам лагерь (как правило 30 км зона), обязано давать правдивую информацию о себе, запрещается просить убежище в другой стране, если в первом случае нет официального отказа и дело рассматривается. Наш случай именно такой, официального отказа нет, все документы находятся в Бундесамте, т.е. предстояло изменить свои данные, что было рискованно, ибо в случае идентификации грозила депортация, возможно через депорт-тюрьму. Я подозревал, что и половина информации не соответствует действительности, большие сомнения вызывало и качество Мишиной интерпретации. Миша не знал ни одного языка, кроме нескольких чеченских слов, всегда было интересно наблюдать, как он общался с иностранцами, со всеми он находил общий язык, практически без слов, использую язык жестов, мимику. Несмотря на то, что Миша был мощным интерпретатором, понять, о чем говорит югослав, можно с точностью до наоборот, например, если театр у них — позорище, актер — глумак. Но это не суть, в любом случае я был готов рискнуть, более того, мне было безразлично, что — правда, что — нет. Образ жизни последнего месяца становился невыносим, расклад вынуждал предпринять некую акцию, дорога представлялась избавлением. Оставалось набрать побольше воздуха и нырнуть. Договорились на 6 апреля. Я, Миша и Слава встречаемся после обеда на ж/д станции, едем в Платлинг, где ночуем у индуса Римпала и рано утром в субботу, 7-го, сваливаем. Где именно будем пересекать границу, определимся в поезде. Было три варианта: первый — маленький городок, показал на карте югослав, где нет постов и пешком по мосту можно перейти, второй — через Базель, город трех границ, третий — через Линдау. 6 апреля. Встретили Мишу у Бундесамта, он сразу предложил уезжать, не ждать обеда. Зачем тянуть? Поехали к Римпалу, сегодня оттянемся, а завтра — в дорогу. Слава в последний момент подался в отказ, зарубился, проводил нас на вокзал и пожелал нам удачи. Приехали в Платлинг с Мишей, дозвонились до Римпала, дыра, в которой он жил, была редкостная, а это тот самый, долгожданный трансфер. Старый 2-х этажный дом, прям возле трассы, все в грязи, вонища, двери не закрываются. Кинули шмотки, пошли на пиво,

вечером решили сходить в русскую дискотеку. Русская дискотека в Платлинге — убогое заведение, толкутся в основном малолетки, гремит примитивная русская эстрада, пиво втридорога, накурено — дышать нечем, я не выдержал и полчаса, ушел. Миша с Римпалем вернулись поздно. 7 апреля. 7-ми часовой поезд проспали, что неудивительно. Легкий бодунец. По-быстрому собираемся, около 8 утра, взяв билет до Базеля, уезжаем. До Мюнхена — туман. К 15 часам доехали до Линдау, где нужно было пересаживаться на другой поезд. По карте прикинули, что можно взять билет до Санкт-Галена, это уже в Швейцарии. Линдау — приграничный город на берегу Боденского озера. Субботний день, народу негусто, полицейских не видно, поезд через 20 минут. Взяли 2 билета до Санкт-Галена, отдали около 50 марок. Аусвайсы азиюлянтов при себе. В вагоне человек пять, никто не разговаривает, мы тоже молчим, где именно была граница не заметили, через час мы были в Швейцарии, что было видно по номерам автомобилей. Дорожной полиции не было, контролер в поезде проверил билеты, больше ничего не спросил. Санкт-Гален. Первым делом зашли в туалет, уничтожили аусвайсы, разорвав на мелкие кусочки, запихали часть в пивную банку, часть, как положено, спустили в унитаз. Поменяли деньги, для подстраховки обратились к девушке, из 320 марок получилось около 150-170 франков. Берем билеты на Цюрих, приблизительно в 17.00 мы в Цюрихе. Центральный банхоф. Смешанное чувство удовлетворения. Первый этап позади. В центральном зале вокзала под потолком надувная скульптура Ники де Сант-Фале «L'ange de protecteur». Ноги сами куда-то ведут, выходим к старому замку, какой-то музей, во дворе — выставка «Die Erde von oben», огромного размера фотографии, виды рукотворных фактур и природных ландшафтов, джунглей, атоллов, водопадов, пустынь с высоты птичьего полета. Здесь же во дворе парк, деревья с огромными малиновыми, розовыми соцветиями, прохладный аромат весны, умиротворенность, бесшумное поползновение внутренней лавины. Вдруг обнаруживаешь себя в другом пространстве и времени, это состояние не исчезает, пока движемся по городу в неизвестном направлении. Начинает темнеть, нужно найти адрес центрального офиса по азиюлю. Находим. Обыкновенный жилой дом, у подъезда различные таблички, есть и азиюльская с графиком работы. Смотрим. В выходные офис закрыт. Откроется в 10 утра в понедельник. Проникли в подъезд. Может быть соседи знают какие-нибудь подробности. Одна квартира, другая — никто ничего не знает, кроме как «офис закрыт, приходите в понедельник утром». Поднялись на чердак. Приличное место для ночлега, но спать еще рано. Идем, расслабимся. При выходе всовываем спичку в замок, чтобы дверь не захлопнулась. Заходим в ближайший бар, заказали пиво, оставили последние деньги. Возвращаемся к подъезду: дверь закрыта. Странно. Значит, спичку кто-то вытащил.

Нам остается прогулка по ночному Цюриху. На улицах мощное «движение». Попали в район ночных клубов, стриптиз-баров, притонов всяких. Народ вокруг чумовой. Еще прохладно, но некоторые метелят в майках, как марафонцы. Проходим мимо дискотеки: молодежь школьного возраста, в пряном облаке похмелья, кто-то смеется, кто-то сосредоточенно замер в луже. Медленно проплываем дальше, в сквере стоит специальный фургон. Сначала непонятно, что за служба. Это для конкретных любителей выпить. Служба экстренной помощи. Рядом на земле загорают несколько ребят. Издалека видна витрина drug shopa, флуоресцирующий красным вопящий череп, сквозь накинутаю на него ткань, жутко и одновременно симпатично. 12 часов ночи. Что будем делать? Решили через полицию. Таксист вызывает нам полицию. Ждем на трамвайной остановке. Через 5 минут мимо нас медленно проезжает патрульная машина. Непонятно. Провожаем ее взглядом. Потом также медленно проползает вторая. Останавливается за остановкой. Я иду на переговоры. В машине — две молодые женщины. Коротко объясняя суть проблемы: документов нет, денег нет, ночевать негде, азияль, нам нужен азияль. А в чем проблема? Нам звонил таксист, какие у вас были с ним проблемы? Азияль?! Нет, не знаем, это не к нам. До свидания. Машина также тихо уезжает. Короче, пока ты ничего не натворил, ты никому не нужен, даже полиции. Америка, чувак. Ищем дальше, где прибиться. Кружим возле трамвайного парка. Проходная открыта, людей не видно вообще, можно зайти в трамвай переночевать. Нет, не годится. Утром, когда самый кайф, трамваи начнут просыпаться и нас выкупят. Уходим. Миша вспомнил, в том баре, где мы оставили последние деньги, туалет был в соседнем подъезде, подъезд же не закрывался. Я тоже это вспомнил. Это спасительная идея. 4-ый час ночи. Петляя, находим тот самый бар и ту самую дверь. Дверь открыта. Миша, ты гений! Крадучись, поднимаемся на последний этаж, лестничные пролеты широкие, на жилье не похоже, двери на площадках стеклянные, на каждом этаже 2 туалета. Поднялись наверх, связки газет, картонные коробки, расплющенные, детская коляска, бутылки, кирпичи, кроссовки, классический чердачный набор. Из подручного материала соорудили «постели». Здесь же, на чердаке, но скорее это была мансарда, обнаружили приличный туалет. Состояние туалетных принадлежностей свидетельствовало, что мансарда обитаема, в пользу чего говорила еще одна дверь. Легли спать, прошло немного времени, как вдруг раздался щелчок замка «секретная дверь» открылась, скрип, настоящие шаги, мимо нас кто-то прошел в туалет. Миша шепнул: не шевелись. Сжавшись в пружину, притворились кирпичами. Неопознанное тело вновь прошло мимо, дверь закрылась. Больше нас никто не тревожил.

**8 апреля.** *Воскресенье.* Проснулись около 8 утра. Пугающая тишина. Стараясь не издавать ни единого

звука, убрали свидетельства ночлега, оперативно умылись, Миша переобулся в кроссовки. Спускаемся этажом ниже, осматриваемся, на площадке 2 туалета, двери открыты, все чисто, убрано, везде полотенца, мыло. С другой стороны площадки — стеклянная дверь, ради интереса, поворачиваю ручку двери, и она открывается, приглашая войти. Офис. Прямо еще двери, направо — коридорчик, налево — стол, кофеварка, пластиковые стаканы, бутылка с водой, бутылка водки «Горбачев». Не верю своим глазам. Может она с водой? Нет, закупоренная, целая, новая, блестящая бутылка водки. Поворачиваю налево: ксерокс, коробки с бумагой, дальше — коридор заканчивается маленькой кухней. Глаз останавливается на холодильнике. Без раздумий содержимое холодильника перегружаю в пакет. Пиво, сок, сыр, оливки и т.д. На выходе прихватываю «Горбачева» и пару стаканчиков. Миша потерял дар речи. «Горбачева» перелили во флягу, пустую бутылку вернули на место, аккуратно закрыв крышечкой. Бесшумно спускаемся вниз. Эвакуация проходит успешно. Выходим во двор, беззвучно моросит дождик. Во дворе небольшой навес, плетеные кресла, столик. Расположились с комфортом, торопиться некуда. Миша, продрогший за ночь, потягивает водочку. Я ограничиваюсь пивом. Настроение заметно улучшается. Из подъезда выходит дядька, кинув на нас любопытно-настороженный взгляд. Уходим отсюда. По пути, как это ни странно, встречаются только люди в черном: черное пальто, туфли и пейсы. Это хасиды. Некоторые с детьми, которые ничем, кроме маленького роста, не отличаются от взрослых. Идем прямо, вдруг взгляд привлекает эмблема — красный щит с надписью «Army de salut». Миша: «Мы пришли по адресу, сейчас нас будут спасать». Заходим в холл: кожаные кресла, столик с проспектами, плакаты разные вокруг, слышны песнопения. Через пару минут появляется очаровательная спасательница, улыбаясь, встречает нас как самых почетных и долгожданных гостей. Она одета в форму, и напоминает мне стюардессу. Она нас куда-то приглашает. Миша наотрез отказывается идти, я иду за стюардессой в зал. Мероприятие в зале напоминает торжественное собрание или концерт, большинство людей в форме. Группа из 15 человек с музыкальными инструментами на сцене, тут же кафедра, за ней — средних лет женщина торжественно что-то рассказывает. Время от времени музыканты включаются, люди в зале встают и поют хором, у многих в руках то ли ноты, то ли тексты гимна. Мне тоже вручили подобную бумажку, я два или три раза открыл рот. Потом концерт закончился, все стали расходиться, между тем моя стюардесса представила меня председателю. Пара формальных фраз. После серии зондирующих вопросов, уловив подходящую паузу, я раскрылся, выложив самый главный вопрос: где у вас тут переночевать можно? Мы ищем политическое убежище, денег нет, документы не успели захватить, скрываясь от карательных отрядов демократической Рос-

сии. Лицо председателя сильно изменилось. В руках у меня оказался небольшой буклетик близлежащего хостела, уточнив адрес, оказалось, что это недалеко, т.е. можно смело обратиться по этому адресу. По пути осталось придумать новые имена. Миша стал Белхароевым, а я назовусь Семен Хомич. Пришли. Вкратце описали суть вопроса. Хорошо, погуляйте до 18, окончательно вопрос решим к вечеру, вещи оставить можно. Достав бутылку с пепси и другие продукты, отправились гулять по Цюриху. К вечеру все было улажено. Нам разрешили остановиться, но конкретно все нюансы — завтра, в понедельник, когда будет начальство. Место исключительное, типа 3-х звездочной гостиницы, публика — в основном пенсионеры и подозрительные типы с безумным взглядом. Наше появление не осталось незамеченным. Нас накормили, выдали чистое белье, в комнатах оказались разных, но самое главное — приняли ванну, настоящую ванну. Ванну последний раз я видел месяца 4 назад, Миша тоже. Отбились рано.

**9 апреля, понедельник.** Первым делом отправились по известному адресу, в аэропольский офис, оказалось, там просто некая структура, которая занимается теми, кто живет в кантоне Цюрих и получил статус уже давно. Дали другой адрес. Нашли его. Часы работы: 2 или 3 часа после обеда. Возвращаемся в свой приют, разговариваем с шефом. Мужик нормальный, ситуацию понял, говорит, максимально можете жить здесь до 16, но вам нужно найти то, что вы ищете. Всю информацию сообщайте мне, может быть, чем поможем. После обеда узнаем, что в Цюрихе уже больше года аэрополя нет, нам дают список городов, в которых есть специальные лагеря, куда можно обращаться и где оформляют соискателей. Города: Креуцлинген, Базель, Киассо, и еще один на австрийской границе. До недавнего времени в Цюрихе был аэрополь, и в Берне, но потом все приемные пункты перенесли в пограничные города. Куда поедем? Креуцлинген — на немецкой границе, наверняка у них налажен контакт с немецкой стороной, не зря же на границе. В сторону Австрии — далеко вато. Киассо — вообще еле нашли на карте, на итальянской границе деревушка в горах. Остался Базель. Доложили расклад шефу, можно было не торопиться, нормально пожить, отдохнуть, но Миша колотился: поехали быстрее куда-нибудь.

**10 апреля.** Оставался еще один адрес: Красный крест. Идем прогулочным шагом, в городе уже ориентируемся, переходим через мост, навстречу на велосипеде едет пожилой мужик, в ничем неприметной одежде, в носу — огромное кольцо на цепочке, цепочка уходит во внутренний карман куртки — красавчик. В Красном кресте было безлюдно, явно мы были не первые, вокруг попадались стенды с информацией для беженцев, буклеты разные. Больше всего мы не рассчитывали на финансовую помощь, однако нам повезло: по некоему положению нам выплатили на нос по 15 франков, потом, разговорившись с девушкой,

которая записала наши данные, получили лично от нее еще 50 франков, хотя денег откровенно не просили, на память я подарил ей один из своих «грибных» рисунков, которые у меня были с собой, рисунок ей очень понравился. Все счастливы.

**11 апреля.** Шеф выписывает бумагу, согласно которой в кассах вокзала нам должны оплатить дорогу до Креуцлингена, ближайшего лагеря. Выбора не было. Мы не могли сказать, что приехали из Германии и нас в Креуцлингене могут вычислить, оплатите нам дорогу в Женеву. На вокзале купили пива, соблазнились, пиво + виски шотландский, через час мы приехали в Креуцлинген, идем, ищем нужную нам улицу. К своему ужасу обнаруживаем, она на немецкой территории. Город поделен пополам, чтобы прийти по адресу нам нужно пересечь немецкое КПП. Народ свободно ходит туда-сюда, машины притормаживают, жесткого контроля нет. Глупо, но мы идем, проходим мимо немецких флагов. Улицу нашли, прошли ее из конца в конец, она короткая. Нигде и признаков зверинца. Обыкновенные жилые дома. Кто-то явно не того разбудил. Уходим, обратно пересекаем немецкое КПП. Деньги решили не тратить. Вышли за город, по пути ловим машину. Моросит мерзкий дождь. Первая проба автостопа. Идем по трассе, проходим мимо фермы, в молочном автомате набрали молока, по очереди протягиваем руки, что-то не получается. На Мише длинное зимнее пальто. Водители, наверное, думают: у него под пальто винтовка. Предлагаю Мише снять пальто, надеть спортивную куртку. Через 5 минут машина останавливается, договорились: куда повезут — туда и поедем, только убраться отсюда. Едем опять на Цюрих. Через час нас высаживают прямо на автобане, перед въездом в Цюрих, впереди — развязки, куда идти не совсем ясно. Стоим под мостом, разглядываем смачное граффити. Взгляд привлекают огромные гильзы в кустах, присматриваюсь — это ржавые баллончики от краски. Идем по трассе в сторону города, дождь не прекращается. Кое-как выбрались к торговому центру, по карте определили, где мы. Пробовали опять ловить машину — бесполезно. Возвращаемся на центральный вокзал, ничего другого не придумали. Время идет. Куда поедем, спрашиваю Мишу. Давай в Берн. Миша, ты в туалете никогда не путешествовал? Поезд через 10 минут. Деньги пока не тратим. 60 франков — н.з. Заходим в вагон, чтобы не видел проводник, потом в туалет, дверь не закрываем, если дверь закрывать, контроллер обращает на это внимание. Поезд скоростной, интер-сити, т.е. на мелких станциях не тормозит. Как правило, через 10-15 минут контроллер успеваешь проверить билеты, кроме того, он помнит, кто заходил и когда. Миша мается. Выждав 20 минут, рискуем, выходим из своего убежища, садимся в салоне. Повезло. Около 8 вечера мы в Берне. Выходим на привокзальную площадь. И тут дождь. Идем вдоль светящихся витрин дорожных магазинов, бесшумно двигаются трамваи. Что дальше,

Миша? Поехали дальше, на юг. На этот раз не рискуем, отдаем 64 франка за 2 билета до Лозанны. Едем как люди. В вагоне несколько человек, за спиной кто-то на английском пытается заговорить с попутчиком, попутчик — молодая девушка, подозрительно, но она не понимает, что от нее хотят, это странно для Европы — английский знают все. Все просто — это Маша, с «Уралмаша». Подсаживаемся к ней, Миша пытается Машу, я общаюсь с американцем. Внятный, понятный английский, чувак из Далласа. Я признаюсь в любви к Америке, разговор заходит о политике, джинсах «Ли», Фрэнке Заппе и кантри-музыке, как зовут чела не запомнил. Американец угостил пивом, получив исчерпывающий ответ на свои вопросы, кто мы и куда едем, протягивает 50 франков. Американец в Швейцарии не первый раз, говорит, в Женеве есть русская церковь, советует ехать в Женеву. Нарисовал схему, как от вокзала найти церковь. Он выходит в Лозанне. В знак признательности, я оставляю ему несколько марок P\С, коротко объясняю, что это такое. Мы едем дальше, уже без билетов. Добрались до Женевы около 12 ночи. Вокруг — французский. Воздух другой, теплее. Идем по ночной Женеве, обнаруживаем себя. Русскую церковь находим без проблем. Освященная прожекторами, она выделяется среди окружающих ее серых зданий. Ищем ночлег. В церковь пойдем завтра утром. Насобирав достаточное количество бумаги и картонных коробок, спускаемся в гараж под дом, где и соорудили «постель».

12 апреля. Попадаем в церковь, отстояли службу, обратившись к отцу Павлу, объясняем ситуацию и спрашиваем совета. Узнаем, что в Женеве нет азия. Лагерь для беженцев в 30-ти километровой зоне на французской границе, городок Vallorbe. Это новость, в цюрихском списке его не было. Во второй половине дня приехали в Vallorbe. Опять — двадцать пять. Тщательно обшмонали, отправили на мед.комиссию. Лагерь в здании тюрьмы, дисциплина жестче. Утром подъем. Порядок уборки добровольно-принудительный: охранник молча показывает на тебя пальцем, ты идешь с ним, и он показывает, что мыть, можно отказаться, но есть риск, что не выпустят на прогулку. В город выпускают только в определенное время. Питание 2-х разовое, получше, чем у немцев. Публика: большинство — черные, много македонцев, встретили земляков — два кента из Киева, ара — Артур и Вовчик из Мин. Вод. Все процедуры проходим быстро: снимают отпечатки пальцев, фотографируют. Теперь я Александр Рейтер, быть Семеном оказалось неудобно, при знакомстве автоматически называешь себя Александром, надо выбирать похожее по звучанию имя и подпись легче изменить, еще я изменил дату рождения, адрес и придумал новую легенду. Когда будет интервью, никто точно не знал. Миша предлагал такой вариант: мы — сверхсрочники, служили в Чечне, выпустили из плена двух чеченок, которые ни в чем не виноваты, нам за это грозила тюрьма, к

тому же Миша косил под чеченца — полукровка, сироту, папа был чечен, которого он ни разу не видел, мама умерла, когда ему было 2 года, вырос в воинской части, сын полка, короче. Я предпочел другой вариант, полагаясь на свою версию: преследование по национальному признаку. Предстояло продумать детали, подготовиться к каверзным вопросам.

13 апреля. На выходные из лагеря отпускают, называют это «уик-энд». Можно уехать во второй половине пятницы до утра понедельника. Мы сомневались, так как приехали вчера, нас могли не выпустить, у нас еще не было полноценных азиатских удостоверений, только бумажки, их заменяющие. Решили в пятницу не ехать, попробуем в субботу. Хохлы и Вовчик уехали в пятницу, с ними договорились встретиться на вокзале в 9 утра, в субботу. У хохлов — кенты в Женеве, у Вовчика — тетя. Им есть, где зависнуть.

14 апреля. Суббота. Нас отпускают. Благоприятный фактор — завтра Пасха. Не пустить верующего человека в церковь — это нереально. Благополучно приезжаем к 9-ти в Женеву. Встретили Вовчика и хохлов, обсудили планы на вечер. Хохлы убежали по делам, мы с Вовчиком идем на прогулку по местным магазинам. Гуляем вдоль набережной: причудливо подстриженные деревья, солнечно, сувенирные лавки, идем к фонтану. Достопримечательность Женевы (одна из) — огромная струя, которая бьет вертикально, прямо с поверхности воды в заливе. Зрелище, которое особенно впечатляет вечером, при искусственном освещении прожекторов, с определенных мест в городе струя по силуэту, фактуре, свету спорит с каменными шпилями, растворяющимися в ночном небе. Струя воды светится зеленым, прозрачный, живой шпиль. Обнаруживаем себя. Пьяных в меру, в определенных местах — торговцы, похожи на македонцев или албанцев, есть, конечно, черные. Возле русской церкви — пузатые мерсы и джипы, неподалеку — сквер, в центре — легко узнаваемая скульптура Генри Мура. С юго-восточной стороны город окружают горы. Весь день бродим. Договорились насчет ночлега. На стене красный щит Армии спасения. Место называется «Accueil de nuit». Время — около 18. Порядок такой: после 11 вечера уже никого не пускают, утром, до 10 должен покинуть помещение. С нашими бумажками азиатских нам разрешили переночевать только одну ночь. Договорившись с хозяином, опять уходим, на встречу с хохлами. Пришли к их кентам, те уже получили временный статус около года назад, живут в бывшей гостинице. Здание путевое. Они собрались на пасхальную службу. Идем вместе с ними. Время — 11-й час, на автобусной остановке покурили. Состояние бодрое. Мы с Мишей возвращаемся в свою ночлежку, по пути меня мутит. Еда-то плоховатая. Хоум-мастер Пикассо, карие глаза навывкате, коренастый, просверливает меня взглядом: «Значит, вы приехали в церковь?». Он напоминает мне Луи Цайфера из

«Сердца ангела». Я с трудом говорю: «Да». Больше произнести что-либо не в состоянии, даже думать страшно. Поднимаюсь в свою комнату, заваливаюсь на кровать. Миша остался есть суп.

**15 апреля.** Накануне познакомился с Вачиганом, армянин, но с греческим гражданством. Неделю живет в этой норе. Вчера вечером, до того, как я вернулся еле живой, Вачиган предложил подзаработать. Он художник, предложил на Пасху перед церковью продать его работы, говорит: «Посмотри на меня, я здоровый черный дядька, рожа жалости не вызывает, у меня никто ничего не купит, ты — русский, тоже художник, язык подвешен хорошо, еще и английский. Давай, вот — работа, вариант — железный, деньги — пополам». Договорились. Утром он нас уже ждал в холле, день оказался гадкий: пасмурно, ветер. Пришли к церкви. «Не переживай, с отцом Павлом я договорился, он меня знает». «Картины» представляли собой замызганные, грязные этюды на картоне, пестренькие натюрморты а-ля русский импрессионизм, цветочки всякие, астры, ромашки, розы, под Врубеля. Картонки пришлось прижимать камнями, чтоб не уносил ветер. Миша с Вачиганом кружили за оградой, с надеждой поглядывая в мою сторону, взгляд особенно светился, когда я с кем-то торговался. Удивительно, несколько картонок удалось продать, естественно, я старался и превозносил достоинства работ, молот всякую чепуху, на какую был способен. За три часа замерз как собака, натрговал 140 франков. Одному иудею продал за 10 франков марки Р\С, которые отложил на телефонную карту. 140 франков отдал Вачигану, он повел нас в кебаб. В воскресенье почти все закрыто, но только не турецкий кебаб. Взяли бутылку пива, хейникена и много кебаба. По-человечи отметили праздник. Честно заработанные деньги, честно поели. В Женеве есть также армянская церковь, взяли адрес. Отправились искать новое жилье с Мишей. У нас было несколько адресов от «Пикассо». Второй адрес в списке — удачно, договорились. Смурникового вида хозяин норы показал 2 койки, не спросив ничего, издал только пару булькающих звуков. Сюда можно приходиться даже ночью. Прощальная прогулка по вечерней Женеве. Меня все пугало: трамваи, витрины, бумажки на тротуаре, прохожие. Вернулись в нору. В темноте нашли свои койки, забрались на второй ярус. Откинулись не раздеваясь. В комнате — калеки, негр — бегемот. Просыпаюсь в 2 часа ночи от чудовищного храпа. Ассоциируюсь. Воздух, преодолевая невероятные препятствия, как корень в каменистой почве, врывается в земляные меха, потом с отчаянной мукой вырывается из потрохов легких, прорывая дыры в покрывале носоглотки. Пару раз за ночь обитатели норы пытались сбить звуковой напор, остановить клокочущее бульканье. Кто-то хлопал в ладоши, кто-то даже свистел. Бесполезно. Локального значения бог храпа? По меньшей мере — жрец. Или это общество храпунов? И мы имеем честь присутство-

вать на сольной программе председателя клуба. После этой дыры два дня нос был забит, чихали и кашляли. Такой выхлоп бегемота.

**18 апреля.** Утром трансфер. В списке я, Миша, Серега, Дадаш, Вовчик и Санек из Геленжика. Автобус ждет во внутреннем дворе, я не успеваю выйти в город, где в телефонной будке спрятан фотоаппарат с отснятой Женевской пленкой. Фотоаппарат подрезали. Легко пришло — легко ушло, жаль кадры. Куда едем — неизвестно, знаем только — в другой лагерь. Через 2 часа мы в Базеле. Противоположный конец страны. Какого черта? В Базеле — центральный лагерь, рядом с лагерем, через забор — департационная тюрьма, в другую сторону, через 100 метров — немецкая граница, КПП, флаги. Впечатляет. Всего прибыло 20 чел.

Шмонают по-особому. У того, кто одет поприличнее, смотрят лейблы на одежде, какая обувь, часы, записывают название фирмы, обращают внимание на разные детали, типа: в какой пакет что завернуто. Изымают все записные книжки, делают ксерокопию каждой страницы. Запрещается любой хавчик, запрет на музон, сотовые, фото. Все утомительно, особенно вопросы из серии «откуда это и что это». Распорядок дня, дисциплина также как в Валлорби. Нас поселят в комнату, где одни «наши», Советский Союз в миниатюре. Все бараки одноэтажные, в комнате 12 человек.

**19 апреля.** Получили опять новые бумажки, нас выпускают на улицу. Первая прогулка по Базелю. Я, Миша и Вовчик — гуляем. Рейн разделяет город пополам, условно: старый город и новый. Вода быстро убегает прочь. Раздавили первую бутылку пива на мосту, утыканном пестрыми флагами. Отправили Вовчика за мороженым, детское задание. Ждем минут 30 его. Куда делся? Шухера не видно. Выползает. Че так долго? Полно деков, пасли меня, еле схватил. Достает из-за пазухи три брикета. Тебе какое, спрашивает? Синхронно кусаем, секунда — елки, это сливочное масло или маргарин. Ну, ты болван, надо умудриться вместо мороженого взять масло, еще спрашивает, какое, значит он выбирал. Город пуганный, что чувствуется в магазинах. Азюлянт здесь давно известный экземпляр, «работать» опасно. По городу огромные плакаты «Mark Rotco — retrospection», хотелось бы попасть, полукать медитативную живопись звенящей пустоты. Фонтан сдвигающимися металлическими каркасами — скульптура Жана Тенгели. В городе его музей, тоже неплохо бы посмотреть. Вернулись к 17-ти часам. На входе — досмотр, любая новая вещь, если на нее нет чека, изымается, т.к. считается украденной. Когда оформляют документы, спрашивают, деньги есть, если есть — все изымают, поэтому деньги нужно тщательно прятать. У большинства — денег нет, либо говорят, что нет.

**20 апреля.** Наше окно выходит на автостоянку перед департационной тюрьмой. Вечером, когда все «дома», иногда приходят гости, крикнут, поз-

вать кого, передать, узнать. Сегодня пришел ара с подругой, позвал Карена. Спрашивает у него, в какой машине переночевать можно. Карен объясняет ему, какая из машин, возможно, без сигнализации и открыта. За автостоянкой — небольшой рынок подержанных автомобилей, некоторые из них, действительно, остаются незакрытыми, только нужно знать конкретно, какая. Для этого есть наблюдатели, в нашей комнате это Карен, не будешь же ходить от машины к машине и дергать за ручки перед департационной тюрьмой. Долго стоять перед окнами запрещено, тем более что-либо перекидывать через сетку. Народ делится информацией, расклад такой: база данных по европейскому азиюлю в Швейцарии, естественно, существует и они имеют к ней доступ, но швейцарцы — самые хитрые, они могут запрашивать информацию о интересующем их лице в другой стране, но сами подобную информацию не разглашают. Делается это для того, чтобы избавиться от тех, кто ранее засветился. Наши пальцы рано или поздно всплывут. Успокоили. Но поскольку народу очень много, невозможно проверить сразу всех, существует очередь. В первую очередь проверяют самых подозрительных, это которые без документов. Большинство — без документов, под вымышленными именами. Идентифицировать таких можно только по пальцам, но это тоже долго. Минимальный срок — 1-3 месяца, максимум — 6 месяцев, 1,5 года. Если пальцев нигде нет, доказать кто ты и откуда практически невозможно. К сожалению, наши пальцы есть в Германии, но мы не одиноки. Что говорить на интервью — никого не волнует. Мише назначили интервью на завтра, мне — на понедельник, 23-е.

**21 апреля. Суббота.** Гуляем по городу. Пошли с Саньком в музей, Миша — на интервью. Действующий музей бумаги и книгопечатания в старой мельнице. Прошмыгнули без билетов. Монотонное постукивание ступы, хлюпанье бумажной массы, характерный запах свежееотжатой, просушенной бумаги, прессы, сушилки, производственный процесс наглядно представлен, любой желающий может отлить себе лист бумаги с водяным знаком, гербом Базеля. На втором этаже — история печати, печатные станки, формы. Старая часть города. Уютно. Маленькие студии, галереи, салоны. Гуляем вдоль набережной. На подиуме высотой 1,2-1,5 метра — бронзовая плита с рельефом, текст — для слепых. Миша после обеда свободен, отмучился, интервью прошло без провокационных вопросов, но это еще не все. На новом месте будет еще одно интервью. Расслабились.

**22 апреля.** Утром с эстонцем пошли в библиотеку, по выходным любой желающий пользуется интернетом бесплатно, главное — прийти пораньше. Эстонец смотрел сайты знакомств, а я залез в «Независимую газету». Эстонец объездил всю Европу, рассказывал много интересного, больше всего ему понравилось в Испании, был на

Канарах, там ловить нечего, кроме дорогих гостиниц и песка — ничего, через 2 недели смертельно надоедает, отдыхающие — пенсионеры, 90%. Он хочет зависнуть в Швейцарии, уже третий раз подает заявление. Бродили по городу. Все закрыто. Народ оттягивается в кафе, барах. Случайно наткнулись на презентацию корейских автомобилей, нагло угощались вином.

**23 апреля.** Мишу отправляют по трансферу в Люцерн. Известно только место центрального офиса по кантону, подробностей — никаких. Пальцы не всплыли. Пока. Главное не говорить, как ехал, где пересекал границу. В случае, если скажешь, через Австрию или Германию, моментально туда делается запрос, и если ты там действительно был — вычисляют, и высылают туда, если не был, могут долго проверять. Железный вариант, так говорит большинство азиюлянтов с опытом — приехал в фургоне, ел-спал в машине, никуда не выходил, ничего не видел, ничего не помню, водителю заплатил 3 тысячи долларов, это были мои последние сбережения. По этому поводу много разных анекдотов. Отличать правду от вымысла не имеет смысла. Азиольский фольклор. Одного грузина спрашивают, как попал в Швейцарию, — сам не знаю, вышел из дома покурить, вдруг — яркая вспышка света, ничего не видно, только сияние, потерял сознание, очнулся — не пойму, где я, стою на мосту, с сигаретой (достает из кармана окурки, показывает комиссии), спрашиваю у людей, где я, а они на другом языке говорят, а я в тапочках домашних, по воздуху перенесся. Это инопланетная версия. Или другого спрашивают тот же вопрос. С парашютом прыгнул, друг — летчик, а я парашютным спортом занимался. Просят показать место, выезжают в лес за город, в ветках болтается парашют. Дали временный статус. Или вопрос, что заставило вас покинуть родину. Один грузин отвечает: «Вори зашли, жену избили, изнасиловали, а собаку любимую застрелили, не могу жить в такой стране». Комиссию ужаснул факт убийства пуделя. Дали временный статус. Главное — без пальцев. Популярная тема — полукровки, мама русская, папа — чеченец, или наоборот. Никто не признает, нет жизни. Одни грозят убить или требуют убивать, другие обвиняют в пособничестве бандитам. Киевляне, оказывается, из Франции привалили, Карен — из Германии. Не одни мы мучаемся вопросом, когда всплывут пальцы. Большое помещение, типа кухни, вдоль кафельной стены тянется длинный ряд газовых плит, на каждой плите — здоровая кастрюля с мутной бурдой, на кастрюле — имя, например, Василий Табуреткин. Маркус в белом халате ходит с большим черпаком, периодически помешивая содержимое кастрюль, в надежде, что в некоторых кастрюлях всплывут пальцы, выловить всплывшие пальцы — это его задача. Всплывшие пальцы Маркус, с нескрываемым злорадством, вылавливает, откладывает в специальный ковшик, кастрюля помечается, ассистенты отставляют ее на стеллаж у противополож-

ной стены. Предстоит сравнить имя на кастрюле и на пальцах. Другой сотрудник в халате ходит с большой лупой, внимательно осматривает выловленные пальцы, делает пометки в блокноте. Кастрюли постоянно передвигают, переносят, каждый день появляются десятки, а то и сотни новых кастрюль, но каждую надо проверить. Соседнее помещение — цех слива, за день несколько кастрюль выливают в большое, никелированное жерло в центре цеха, пальцы из этих кастрюль поступают в специальный фонд и хранятся. Главное блюдо — рулет из пальцев, выпекается в другом, главном цеху. На рулет идут пальцы, которые не всплыли. Интервью прошло успешно. Длилось 1.20, не пытали, но это не все — главное потом ничего не перепутать. Вчера появился чел из Голландии, рассказывает, там еще строже, если без документов, держат в изоляции, никуда не выпускают, до тех пор, пока на 100% не узнают, откуда этот человек и кто он. Многие не выдерживают и сами признаются. Раньше почти всех брали, теперь — наоборот. Азюль в Завеларе, ехать от Амстердама в сторону Ахена.

**24 апреля.** Меня отправляют в кантон Арау. Едем вместе с Саньком из Геленджика. Он, похоже, не представлял, как все будет выглядеть, приехал с огромным чемоданом, полным разных шмоток. Но что-то он знал, наивно на что-то рассчитывает, привез и отдал все свои документы, включая свидетельство о рождении, аттестаты и т.д. Пришли в офис, отметились, дорога заняла чуть больше часа. Выдали новые аусвайсы, корочки — средней жесткости, фотографии с голографией. Длинный одноэтажный барак у дороги — наше новое жилье. Городок Сур. Хоум-мастер — Оскар, мужик с мутными глазами, 60-ти лет. Поселили в комнату с югославом. В комнате 4 койки. Югослава зовут Стойко, длинный верзила. Деньги платят через день, из расчета 11 франков в сутки. Обитатели — курды, Шри-Ланка, один афганец, один дагестанец, и Серега из Питера. Терпимо.

**25 апреля.** Написал письма, осматриваюсь в городе. Прогулка по магазинам, разведка боем. Жить можно. Ничего примечательного.

**26 апреля.** Прогулка в соседние бараки с Серегой. Две остановки на трамвае в сторону Арау, их так и называют «бараки», там есть наши, но это гнилое место, бардак, воровство, никакого покоя. Общаюсь с коллегами, можно делать сигареты.

**27 апреля.** Едем в Цюрих. Решили через Зуг, электричками безопаснее. Солнечно. Получили 33 франка. В Цюрихе сняли пленку, ходили в дендрарий, который окружает этнографический музей. Хотел съездить в гости к Гигеру, у меня был его адрес. В Цюрихе есть и музей Гигера. Гигер — создатель «Чужих». Никуда не успели.

**28 апреля.** Проснулись мухи.

**30 апреля.** Серега познакомил с марокканцем-нариком, он торгует в Цюрихе, живет в нашем легере, появляется раз в неделю, за вечер зарабатывает больше 1000 франков, 400-600 тратит

на себя за это же время. Шоколад не отстирывается в холодной воде. Многоярусная конструкция автостоянки: верхняя платформа — вид на горы, индустриальный кусочек города, закат. Разговор с облаками, долина бирюзовой реки в пылающих песках дней. Я уехал. Аромат жасмина, тюльпаны на газонах, цветут яблоки, вишни. Кlorане — местечко, где похоронен Набоков, это где-то на юге.

**2 мая.** Были с Серегой в Бадене, приятный городишко, парочка средневековых замков, развалины, конечно. Наказали несколько магазинов. Встретили коллег, правильно, большинство предпочитают работать подальше от лагеря. Пристрастился к оливковому маслу, берем самое дорогое. Югослав ушел по трансферу, живу один. За продуктами ходим с Серегой, работать вдвоем — малое дело, наказываем «Мигрос».

**3 мая.** Поправляю здоровье, бегаю в парк. Перешли на французское вино. Серега, оказывается, приехал из Дании, странный чувак. Его лучший друг — доктор Паркинсон. Опять будет интервью (второе) и надо ждать новой отправки, но уже по этому кантону. Для семейных больше шансов и лучше условия жизни. Прогулка по магазинам, проявили фотопленку.

**4 мая.** Стирка. Я дежурный на кухне. Бордо — вечером, авокадо — утром, божественно.

**5 мая.** Весенняя сочная зелень, желто-зеленый свет. После дождя влажные тротуары покрываются, откуда ни возмись, проросшими улитками, коричневые, маслянистые сгустки. Липкие капли сверху (?) или продавленные снизу, сквозь асфальт, животные соки земли. Асфальтовое масло.

**6 мая.** Пробегка утром — лучшая разминка. Вечерняя разведка новых территорий.

**7 мая.** Бег, парк, турник, здоровый образ жизни. Надо хорошо отдохнуть, через 2 дня — интервью.

**8 мая.** Пошли с Серегой на гору, взяли джоника, завтра у Сереги — трансфер. Говорит, надоело ему все, как собака жить, на малое он не согласен. Достаточно опьянев, рассказал мне свой план: он присмотрел подходящую бензозаправку, можно реально взять кассу, вот уже дней 10 гуляет вокруг, деньги забирают раз в 5-7 дней, самое лучшее время — вечером, за 5-3 минуты до закрытия, пистолет — игрушечный, главное — быстрота и серьезность намерений, чтобы испугались, деньги отдадут, у них инструкция, по его расчетам должно быть около 20 тысяч, риск минимальный. Серега не новичок, в Дании сидел в тюрьме за вооруженный грабёж. Я сказал, что на меня он может не рассчитывать. Одно дело — стащить поесть, выпить, шмотки там, туфли переодеть, пару джинсов на себя натянуть, но грабёж — это не для меня.

**9 мая.** Интервью. Задушевная беседа в 3,5 часа длинной, медленно задают вопрос, медленно переводят, секретарь набирает на компьютере, присутствует юрист, делали перерыв. Второе интервью делается для того, чтобы поймать на каком-нибудь противоречии. Что было и в моем слу-

чае, выкрутился. Самые неприятные вопросы — как вы можете это доказать, как это видно. Теперь ждать трансфера. Серега свалил. Надеюсь, больше его не увижу.

**10 мая.** Утренний сюрприз — Серега, явился — не запылился. Вчера, приехав на новое место, сразу влип, не вошел в коллектив: подрались по пустяку. Клавы непонятные какие-то, в комнате с хохлами, весь день курят и пьют. Спрашивает, вы че, ребята? А нам уже надоело. Напряг меня, пойдём в кантон, в центральный офис, будем просить, чтобы перевели в другое место. В офис не попадаем. К 12-ти Серега изрядно пьян. Разминулись. Приперся через пару часов, бутылка «Баварии», пакет с хавчиком, фрукты, угощает меня, собрался прощаться, т.е. один идти на дело. «Сейчас посидим, выпьем, потом ты меня больше не увидишь». Временами Серега мощно икал, прямо-таки ик пронзал его. Вступил в телепатическую связь со своей женой. «Это меня жена вспоминает, будь она неладна». Серега схватился за голову и метнул харчи на мой чистый пол. Фу-у-у!!! Достал пистолет, стал готовить оружие к операции. Такой примитивной игрушки мне не попадалось давно. Где он его откопал? Главный прикол — заматать ствол изолентой (такая примета), сбивает с толку, трудно заметить, что оружие не настоящее. Налетчик невооруженным глазом. Тазик на всякий случай в ногах, сам пьяный в зюю и детский пистолет в руках, обмотанный изолентой. Скелет слоней. Уметелил. На 100% я был уверен, что его свяжут. Вышел в холл, сел смотреть телевизор. Надо быть наготове, напряженно смотрю женский теннис: мощный удар ракеткой по мячу, стон. Прошло пара часов, все тихо.

**11 мая.** Отправил письмо Александру. Открыл купальный сезон: нырнул в местную речушку, бурное течение унесло метров на 200-ти. Повеселился. Рядом — парк, клетки с тропическими птицами, уже тепло, солнце шпарит вовсю. Лохматый африканский попугай с черным языком, пух серый, ноги мощные, сам здоровый, как петух, золотой фазан, маленькие желтенькие птички, с морковного цвета клювом, всяческие утки. С другой стороны — аквариум.

**12 мая.** Удар ниже пояса. Появляется Серега, получилось, говорит, все прошло гладко. Высыпает из кармана остатки денег. Вчера был в Цюрихе, через Western Union отправлял деньги жене, сходил в ресторан, по-человечи, в кинотеатр, купил дорогие шмотки. Сколько там было, спрашиваю. Чуть больше трех. Получилось, короче. Осталось около 800 франков. Никто не приезжал, полиции не было? Нет, все тихо. Просит меня выслать остатки денег. На ж\д станции показав свой аэрольский аусвайс, сказали, триста франков — максимум, больше — запрещено. Жаль. Отправил 300. Потом пошли на центральную почту, предварительно спрашиваю, какую сумму можно перевести. Да любую, отвечают. Показываю свой аусвайс, по такому документу? Да, пожалуйста. Отправил 500 франков. Странная система. Пошли взяли хорошего вина. Серый рассказал по-

дробности ограбления. Перепугались, бабу в лицо ударил, несильно, мужика — по колену, упал, потом бабе плохо стало. Сначала из кассы все вытряхнули, потом сейф открыли. Вино хорошее, амортизирует серегин бред. По ходу рассказа Серега улыбался. Пошел сходил, взял 2 бутылки австралийского сухого. Серегу стало колотить. Пистолет выкинул в речку. Полиция приехала минут через 15. Переночевал на стройке. Кто-то ночью на первом этаже лазил, искал, на второй не поднялись, на измене сидел. Ну, че дальше? Все просто, надо сдаваться. Позвонили его жене, деньги она уже получила. Серега сам хотел в тюрьму. В тюрьме поправит здоровье, кто по криминалу, тем зубы делают, тренажерный зал, библиотека, разрешается работать. Вся кухня известна, Серега сидел в Дании. Западный кичман — не чета нашим, это я слышал уже не первый раз. Но мне не улыбалось тянуть срок. Каждому — свое, короче. Оставил Серегу на лавочке, он заснул. Договорились, он сам пойдет в полицию, центральный офис по кантону — в двух кварталах. Я взял еще вина, пошел купаться. Вернулся часов в 18, Серега спал у меня в комнате, растолкал его. Ты что здесь делаешь? Меня он стал напрягать. Говорит, я не могу, не знаю, что сказать, башка болит, языка не знаю, просит меня позвонить в полицию. Я соглашаюсь, чтобы от него отвязаться наконец. Метелим к телефону, набираю номер полиции, говорю, возле меня человек, который два дня назад ограбил бензоколонку. Шибуршание в трубке, щелчок, спрашивают что-то. Проходит буквально 3 минуты, слышна сирена, еще секунда, подруливают две полицейские машины. Кто звонил? Я звонил. Серегу сразу в браслеты, в одну машину, меня — в другую. Я немного синий, это минус. Приехали в управление, Серого сразу увели, меня просят подождать. Начались «варум-варумные» дела, пытать стали, где, что, когда, все без напряга. Длилось это неопределенное время, потом один офицер заметил, что я синий, спрашивает меня, выпил? Да, я отдыхал сегодня, купался в речке, пил вино, вечером пришел этот человек и ужаснул меня своим признанием. Меня отпустили, попросив прийти завтра в 12 часов для дачи показаний. Когда я вышел, оказалось, что уже поздно. В кармане оставались копейки, зашел в пивной бар «Гиннес». Пешком возвращаться не хотелось, последний трамвай через 10 минут, бегу, чтобы успеть, времени — двенадцатый час, запрыгиваю в трамвай буквально перед отходом. Двери плавно закрываются, через минуту замечаю, что я еду в другую сторону, причем туда, где я не был. До следующей остановки оказалось далеко. Вышел, куда я заехал? Безлюдно. Куда идти — непонятно. Трамвайные пути, как правило, не совпадают с пешеходными и автобусными маршрутами. Значит, по шпалам. Иду. Впереди — длинный участок, с обеих сторон огороженный высокой сеткой, место не надежное, внутренний голос подсказывает, не ходи туда. Сворачиваю, оказываюсь в парке, все не знакомо, потом вышел на улицу. Безлюдно. Иду по



запаху, повернув в небольшой переулок, обратил внимание на стоящий у стены велосипед. Транспортное средство не помешает. Велосипед без замка, шины плотные, видон новенький, руль поворачивает, педальный конь ждет своего наездника. Сажусь на велосипед и быстро кручу педали. Дорога немного под уклон, оказывается, не отрегулировано сиденье, оно ходит влево-вправо и падает вниз. Не могу разобраться со скоростями. Педали то прокручиваются, то скорость увеличивается в два раза, рывками еду достаточно быстро. Велосипед экстремальный. Кое-как выехал в знакомое место, северную часть Арау. До дома еще далеко, но дорога мне известна. Прибавляю оборотов. Велосипед время от времени заносит, начинает барахлить рулевое управление. Велосипед постоянно клонит к бордюру, к обочине дороги, таким образом, я стараюсь ехать ровно, не садиться на сиденье и справляться со скоростью. Первый раз я упал на узком тротуаре, велосипед сам съехал в кювет. Потом еще раз грохнулся. Ехать медленно не получалось. Подъезжая к бассейну, дорога пошла под уклон, велосипед набрал приличную скорость и въехал в толстенный парапет, стремительное падение, прижало ногу. Выбрался из-под велосипеда, сильно ушиб ногу. Жалко было расставаться с велосипедом. Довез его до стоянки возле бассейна, оставил его там. До дома доковылял в первом часу.

**13 мая.** Нога сильно опухла. Елки-палки! В 12 пошел в полицию. Доковылял, прихрамывая, как ветеран. Дал показания. Офицер набирал текст и задавал вопросы. Самые главные были: он был один, оружие было настоящее (я сказал нет), говорил ли он про деньги, куда он их дел, где они (я сказал, он их спрятал) и т.д. Тут я понял, что я могу быть соучастником, раз помог переправить часть денег, естественно, об этом я умолчал. Я подписал свои показания, потом офицер спросил, что я могу добавить от себя, хочу ли я сказать что-нибудь. С невозмутимым видом я сказал, что, на мой взгляд, такое способен сделать только ненормальный человек, подозреваю, что он больной. Все. Меня предупредили, что я могу понадобиться в любой момент, будет следствие, поэтому возникнут новые вопросы. Я сказал, конечно, буду рад помочь. Встретил Умита, пошли к нему, он живет в семейной общаге. Умит — узбекский еврей, мужику за 60. Сначала он относился ко мне подозрительно, потом, когда узнал, что я Рейтер, принимал за своего. У него повернута крыша на масонах, мировом заговоре, тайнах каких-то мудрецов, сионизме и прочей ерунды. Когда он входил в раж, напоминал существо, которое можно встретить в глубинах галлюциноза. Идиот, короче. Я рассказал ему о случившемся. Умит страдал еще синдромом «мгновенного понимания», новости его насторожили, особенно моя эпизодическая причастность. Он сидел в тюрьме в Узбекистане, как политический, за книгу о местной мафии или ментах, тираж книги был арестован. Конечно, это не узбекская тюрьма, нам там

борщ наливают в полиэтиленовые кульки, ничего нет, ни ложек, ни тарелок, борщ как кипяток, кульки сразу лопаются, обжигают руки, ноги. Здесь легко, пусть сидит, раз сам этого хотел. В Швейцарии есть организация в защиту репрессированных и преследуемых писателей, Умит рассчитывает на ее протекцию. Пишет книгу, в комнате полно разных книг.

**14 мая. Понедельник.** Вывесили списки по трансферу, завтра мой. Пытаюсь узнать, куда именно, не хотелось бы попасть в гадюшник. «Очень хорошее место». Гуляю один, прокручиваю события последних дней, поднялся на холм, вокруг — кирхи, кладбище, гуляю среди могил, ловлю себя на мысли: ощущение, которое возникало, когда работал на кладбище в Дегендорфе, коммуникация вычитаний, характерная практика, которая неизбежно возникает во время кладбищенских прогулок, ловишь себя на том, что постоянно, полусознательно, механически вычитаешь из года смерти год рождения, подсчитываешь продолжительность жизни погребенных, сравниваешь. Сходил к врачу, сделали рентген ноги, кость целая, выписали какую-то мазь. Нога побаливает.

**15 мая.** Получаю бумажки, указан адрес нового места, если не ошибаюсь, это семейное общежитие, там, где Умит, две остановки. Странно. Приезжаю. Еще больший сюрприз, поделяют в комнату к Умиту. Он испугался. «Ты что, не знаешь, это общежитие только для семейных, тебя полиция завербовала. Иди к начальнику, проси, чтобы в другую комнату перевели. Сто процентов, это работа полиции». Умит конкретно напрягся, твердит, это полиция, ты на крючке, все, ты под подозрением, сваливать тебе надо, посмотришь, через пару дней тебе придет повестка. Весь день Умит рассказывает мне про местную полицию. Один из примеров: в нашем общежитии девушка Оля с ребенком, ее муж третий месяц в тюрьме, просто по подозрению. Они с женой были в гостях у друга, в соседней комнате жил барыга, на него сделали облаву, всех подозрительных из соседних комнат тоже забрали. Это семейный человек, а ты кто? Документов нет, данные левые, пальцы в Германии, сейчас будут заниматься тобой. Швейцария — полицейское государство. Неизвестно еще, что Серый на допросе скажет. Такие дела.

**16 мая.** Умит меня убедил. После обеда, когда ушел мастер, большинство спать легло, собрал шмотки, в 16 часов уехал в Базель. Больше половины вещей оставил, чтобы не было подозрения. Приехал, погода мерзкая, дождь. Был адрес агентства автостопа, без толку проплутал. Агентства нет. Пришел к лагерю, подошел к окну нашей комнаты, сразу увидел Вовчика, удивился, что он еще там, прошел уже месяц, значит что-то не в порядке. Спрашиваю, где переночевать можно, срочно, у меня неприятности. Появляется Серега, киевлянин, перекидывает мне номер телефона, позвони Дадашу. Договорились завтра утром встретиться. Моросит мерзкий дождь. Чертовы сотовые, не могу дозвониться. Зашел в армян-

ское кафе. Один раз видел Ларису, которая здесь работает, она хорошо знает и Серегу и Дадаша. Артуру рассказал ситуацию, советует мне не дергаться. Дозвонился, жду Дадаша. Встретились, говорит тоже самое, если сейчас уедешь, наоборот, подозрения будут. Western Union никто не пробивает. А вдруг? Скажешь, я не придумал этому значения, типа сначала попросил перевести деньги, я спросил, откуда такая сумма, он не отвечал, и когда выпили, он сознался во всем, и я сам позвонил в полицию. Это мелочи. Дадаш получил трансфер здесь, в Базеле, общага за городом, 15-20 минут езды. Поехали к нему. Порядок строгий, посторонним запрещается ночевать. Прощмыгнул незамеченным. Помещение казарменного типа, такого чуда я еще не видел. Огромная длинная комната, плотно уставлена 2-х ярусными койками. Маленькие окошки под потолком, маленькие шкафчики для одежды перед входом — вот и вся радость. Свободных мест много. Завалились спать.

**17 мая.** Опять дождь. Встретился с Вовчиком и Сергой, они на нервах. Целый месяц морочат голову. Это очень долго, но они сделать ничего не могут. Сначала идем к Сабиру. Сабир был вместе с нами в комнате, чувак из Казани. Он попросил стоп-азюль. Оказывается, это очень удобно, тех, кто просит стоп, сразу переводят в отдельное жилье, платят около 90 франков в неделю и перед выездом домой дают около 1000 франков. Процедура стоп-азюля может длиться месяц, но такие условия только для тех, кто с документами. Сумма, которой тебя снабжают может быть и больше, она зависит от времени, которое ты провел в Швейцарии, минимум — три месяца. Ждем Сабира у подъезда многоэтажного дома. Появился. Какие-то разборки с Сергой, кто-то кому-то что-то должен (где мой телефон, я его оставил у тебя). Заходим в квартиру: две комнаты, аппаратура казенная, приличные апартаменты. У Сабира в руках картонная коробка, высыпает содержимое на кровать, в ней полно обуви, женская, детская, это все ворованное, наворовал за полдня. Сабир — человек, который ничего не боится, вчера тут «Маски-шоу» были, полиция приезжала, изъяли 20 блоков сигарет, несколько пар кроссовок, туфли, джинсы, вся квартира была затарена шмотьем. Раз он запросил стоп-азюль, ему ничего не делают. Ворованные вещи нужно сразу отсылать домой. Начинают с Вовчиком выяснять, кто виноват, вещи таскали вдвоем. Потерян улов за неделю. Ясно, что Сабир напортачил. Им не до меня, у меня не проблемы, а мелочи, по их мнению. Уехать — значит навредить себе. Убедили меня вернуться. Вечером возвращаюсь в Арау. Умит сильно удивлен, недоверчиво смотрит на меня, косится. Делюсь с ним вновь приобретенными доводами, он гнет свое, «они ничего не знают, как они могут такое советовать, послушай умного человека, ты уже на примете у полиции, мастер о тебе вчера спрашивал». Ложусь спать, терзаемый сомнениями. Кого слушать?

**18 мая.** Утром мастер встречает меня, спрашивает, где был, зовет в свой офис. Захожу, протягивает бумагу, подпиши здесь. Это повестка из полиции. Нужно быть 24 в 10 утра. Так, так, так. Показываю Умиту. «Вот, видишь, что я тебе говорил». Ну и что, это только повестка. «Этого достаточно, за тобой никто не будет приезжать, пришлют повестку, сам придешь и не выйдешь, им выгодно, чтобы был створ, чем больше людей они разоблачат, тем лучше для них. Опять-таки, неизвестно, что говорит Серега на следствии, и не забывай, могут всплыть твои пальцы, только за фальсификацию данных — департационка». Есть над чем подумать. Жаль, придется расставаться со Швейцарией. Не успел посмотреть музей Вагнера в Люцерне, музей Пикассо там же, надо было съездить к Мише в Люцерн. Не судьба увидеть Виви, Кур. Но...Завтра обязательно поеду в Лозанну, на прощание.

**19 мая.** Еду в Лозанну, проскальзываю в «интер-сити», дорога занимает 2,5 часа. Не вычислили, доехал без билета. Около 11 я в Лозанне. Больше всего я хотел посмотреть коллекцию арт-брют, произведения душевнобольных и заключенных, в замке Болье. Прекрасная погода, солнечно, Лозанна. Нашел замок, билет — 6 франков. Безумные произведения, большинство работ можно охарактеризовать как «космачки», т.е. объекты хаотичной фактуры. В фойе — массы литературы, специальные издания, журналы, буклеты. Все дорого. Коллекцию смотрел, пока не устал ходить. Впитать нужно было как можно больше. Понравилось. Отправил 2 открытки домой, гулял по городу, наслаждаясь открывающимся видом гор. Есть специальные обзорные площадки. Лозанна на берегу Женевского озера. Величественный Монблан. Уезжать не хотелось. Около 18 отправился домой, можно поехать как человек. Сел на скоростной поезд, ни от кого не прятался, позволил себя оштрафовать, пусть присылают счет, завтра же меня тут не будет. Смотрю в окно, на юге много виноградников: «Ношатель», «Увердон». Во французских кантонах другое состояние.

**20 мая.** 6-ти часовой электричкой уезжаю в Базель. Решил не испытывать судьбу. Деньги на дорогу были. Из Базеля взял билет до небольшого городка в Германии. Главное, пересечь границу, а там куплю «вохен-тикет». Благополучно пересек границу, контролер один раз посмотрел билет. Вышел на своей станции. Промаяхнул, станция маленькая, касса закрыта, надо было не выходить из поезда. Следующий поезд через час. В билетном автомате взял билет. На этот раз проехал свою станцию, притворился спящим. Благополучно доехал до Линдау. Это узловая станция, кассы работают. На Мюнхен. Покупаю билет, о чем потом жалел, можно было сэкономить. В дороге прошел весь день. Мюнхен, 17.30. Рюкзак, портфель оставляю в камере хранения. Торопиться некуда. Первым делом — срочно на пиво. Иду в Hofbrauhaus, это центральная, самая знаменитая пивная города. Говорят, здесь в свое время собирались нацисты. 18.00 открыл автономную пивную сессию. Пивные бокалы литровые, четыре сорта пива, цена пример-

но одинаковая, около 11 марок — бокал. Фирменное блюдо — квашеная капуста, пюре, две жирных сосиски, горчица, тоже 11 марок. Не торопясь, пью пиво, оглядывая посетителей, вокруг много японцев. Играет баварский оркестр. Прodeгустировал три сорта, разговорился с супружеской парой из Канады. Около 21, вышел во внутренний двор, там меньше гомону, по-русски заказал 4-ю кружку, с соседнего столика машут рукой. Поляки, муж и жена, молодые. Чувак понимает по-русски и неплохо шпарит на английском. Они из Любляны. Он криминалист, эксперт по стрелковому оружию. В 23 часа покинул заведение. Прихожу по известному адресу, никакой очереди, заполнил анкету, через 10 минут я в комнате. Аут.

**21 мая.** К обеду все закончено, выяснили кто я и где мои документы. Оплачивают дорогу до Дегендорфа. Можно идти. Времени — вагон. В Дегендорфе можно быть вечером. Весь день гуляю по Мюнхену. Вечером приезжаю в Дегендорф. Я наивно надеялся, что больше не увижу этот вонючий городок. Встретил пацанов, мое появление — большая неожиданность. Вован обижается, почему я не звонил. Появилась масса нового народа. Вадим, который все бегал по утрам, забежал в какой-то лес, его укусил какой-то клещ, чувака парализовало, лежит в госпитале, врачи не поймут, что с ним. Будут переправлять в Нюрнберг. Вот беда.

**22 мая.** Утром иду в Бундесамт, на проходной внятно говорю «стоп-азюль», равнодушный ганс кивает, проходи, кабинет 16. Захожу в кабинет, спрашивают, где твой аусвайс, говорю, что потерял. Нужно идти в полицию, сообщить где и когда потерял документ, полиция дает временный аусвайс, после этого нужно опять идти в Бундесамт. Иду в полицию, там меня помнят. Так и так, потерял аусвайс. Через некоторое время я в кабинете старшего офицера, он записал мои показания, спросил, где я был это время, я говорю ему — в Дортмунде, у друга. Потом офицер достает из папки лист бумаги, распечатка какая-то, показывает мне, и спрашивает, это ты. На листе напечатаны все мои данные, под которыми я сдавался в Швейцарии, все четко. Я делаю сильно удивленное лицо, это не я, вы же знаете, кто я. Вопросы закончились, дает мне справку, иду в Бундесамт, где мне выписывают временный аусвайс, я подтверждаю свое намерение ехать домой, по чрезвычайным обстоятельствам, назначают дату следующего визита. В это же день, в 16 часов, еду в Реген, в штрафной лагерь, это в 25 км от Дегендорфа, на север. Лагерь в лесу, вокруг — леса и поля, баварская глубинка, ближайший поселок в 5-ти км. Наш лагерь называется Camp-Mau, это старая военная база, натовская. Определили в комнату, в главном корпусе, именно там, где жил Миша и в комнату, в которой был Миша. Саид меня вспомнил, начал спрашивать про Мишу. В комнате два афганца, Саид и Забихулла.

**23 мая.** *Среда.* Продукты выдают раз в неделю, две корбке, в одной — овощи, фрукты, в другой — крупа, масло, мука, мясо, рыба, консервы. Готовишь

сам, рядом кухня. Гуманно. Здесь больше свободы, никто никого не контролирует, не отмечает, никакой вахты. Хочешь — пей, хочешь — пляши всю ночь.

**24 мая.** Предпринял прогулку в Реген. Какая-то мерзость, но везде асфальт, нигде грязи. Жизнь и уклад баварских фермеров, пасутся коровы, в ушах у них желтые пластиковые сережки, какие-то бирки. Потом ходил в лес, в противоположную сторону, производит впечатление дикого, минимум следов цивилизации. Бродил по лесу три часа, наткнулся на маленький молитвенный домик, трудно определить конфессиональную принадлежность, думаю, лютеране. Потом вылез в огромный рудник. Приехали грузины из Эссена, по трансферу.

**25 мая.** Саид с Забихуллой меня кормят, готовить мне не разрешают, потому, что я старший среди них. Едим один раз в день, у них такой режим, но я вписался. В течение дня гоняем чай, к вечерней трапезе основательно готовимся. Надо успеть занять свободную плиту. Режим питания у большинства аналогичный. Каждый день: рис, курица, еще афганские штуки, типа «нахуд», кефир собственного приготовления, еще консервированный роган, маис. Едим на полу, расстилаем одеяло, все блюда ставятся в центр, каждый садиться на свое место, иногда приходят другие коллеги, часто заходит Сафихулла, заходят грузины, каждый раз они пытаются расколоть афганцев, но у них ничего нет, грузины не верят. Афганцы почти все говорят по-русски, особенно, что касается ругательств или обыкновенные слова используют не по назначению, например, слово «заходи» может использоваться, когда тебя чем-то угощают, наливают чай или показывают на кастрюлю с курицей, и говорят, заходи, еще слово «потом», в самом неожиданном контексте, как до свидания, не желания, удовлетворения. Загораю во дворе, читаю Грэма Грина «Третий человек».

**26 мая.** Пометелились с грузинами в Реген, сообразить поесть. Суббота — не самый лучший день, полно народу. Договорились встретиться в парке. Взял пива, грузины тоже пришли с пивом и хавчиком. Солнечно. Вечером расслабились у них в комнате, пригласили Саида, пить отказался.

**27 мая.** Воскресенье проходит бездарно, брожу в окрестностях, денег нет, магазины закрыты.

**28 мая.** Сафихулла пек лепешки «нан». Жара. Отправился пешком к башне на горизонте, оказалось, не так далеко. Вайсштейн — крепость XV века, хорошо сохранилась, все открыто, можно подняться на самый верх башни, на обзорную площадку, подозреваю, что с восточной стороны уже Чехословакия.

**29 мая.** Мастер говорит, мне деньги не положены. Козлы. Перед отъездом тебе дадут на дорогу 50 марок. Поехал в Дегендорф, штрафы по барабану, пусть оплачивает Бундесамт. Встретился с чуваками, договорились завтра съездить в Платлинг, наказать «Глобус», там типа даже свистулек нет. Ладно, посмотрим.

**30 мая.** Никуда не поехал, идет дождь. Засада. Маета.

**31 мая.** Денег нет, опять дождь, он не прекращается.

**4 июня.** Приехал в Дегендорф, в Бундесамт, уточнить детали отъезда, билет заказан на 7 июня, самолет в 7 утра из Мюнхена, до Франкфурта, оттуда — до Санкт-Петербурга, время прибытия 14 часов. В Мюнхене нужно быть 6-го числа, для меня заказано место в аэропорту, где можно будет провести ночь. Вонючие 50 марок они дадут мне в день отъезда. Им же хуже. Прощальная прогулка по Дегендорфу, последняя показательная компенсация, взял 2 бутылки пива, одну спрятал на дорогу, возле кладбища, другую — на вечер, выпьем с афганскими друзьями, переобулся в новые кроссовки в «Дейхмане», взял часы для Александра, пару фирменных рубашечек, ремень, штаны, детям — игрушки, еще всякой лабуды. Работать уже тяжелее, зимой можно много напихать под куртку, летом требуется большой профессионализм и сноровка. Добытые вещи каждый раз прятал в новом месте на улице, трудился весь день.

**5 июня.** Надо же посетить «Глобус». Югослав тоже говорил, дорогие майки легко можно подрезать. Едем автобусом. Анекдот: автобус сломался, надо же, это первый раз за все время. Может быть это знак? Нет, слабость проявлять недопустимо. «Глобус» — огромный супермаркет, действительно, никаких алармов, переобулся в новые туфли и напялил на себя две рубашки, этого хватит. Дождь, на обратном пути добирался сам, промок.

**6 июня.** Надеюсь, сегодня последний день, когда я вижу этот мерзкий городишко. К 17 часам я дол-

жен быть в мюнхенском аэропорту. Фрау Сайхерт будет ждать меня в социал-динст. В Мюнхене я еще успеваю вдоволь погулять по городу, со спокойным сердцем, оба моих паспорта мне вернули, никаких особых отметок в загранпаспорте нет, на прощание — бокал пива. В аэропорт идет ветка метро, дорога из центра города занимает 45 минут. Приехал в социал-динст, выдали билет, показали место, где я могу переночевать, оставили меня одного. До поздней ночи шатался по аэропорту, везде, где можно, внутри, снаружи.

**7 июня. 6.45,** на борту «Люфтганзе». Кресло К-31. Домой!!! Снежная пустыня облаков. В 8.12 совершаем посадку во Франкфурте, нужно переходить в другой терминал. Багаж должен быть переправлен автоматически. Переход оказался длинным, длиннющие туннели с эскалаторами, неоновый свет, тихая музыка. Таможенный офицер спрашивает, где моя виза, я протягиваю ему ксиву из Бундесамта, прохожу в самолет. Странно, международный рейс, а самолет не такой солидный, как на внутреннем рейсе. Соседи из Гонконга. Совершили посадку в 11.17, вышло 2 часа лету. Была тревога, что будут лишние вопросы с нашей таможней. Поэтому я не торопился пролезть первым, даже здесь, в очереди, чувствовалось, что уже дома. Офицер внимательно посмотрел на меня, полистал мой паспорт, что вы делали в Германии? Сделав самое невинное и бесхитрое лицо, сказал, отдыхал у друзей. Офицер молча вернул мне паспорт. Выловив свой рюкзак, я направился к выходу, где в дверях уже заметил Александра и Алексея, которые встречали меня. Я вернулся домой. Все.

## ИСПОВЕДЬ БЛУДНОГО СЫНА: ФЕНОМЕН ИСКРЕННОСТИ

К.Э. Штайн  
Р.М. Байрамуков  
Ставрополь

Александр Ре — дизайнер, скульптор, гончар, живет и работает в Ставрополе. Мало кто не знает в нашем крае и за его пределами его изумительных произведений. Вот как пишет о нем С.Ф. Бобылев: *«Г-н Ал. Ре изготавливает объемные малые фигуры, одна из которых, воспроизводимая в бесконечном числе модификаций так называемая «собака ре», стала клубным фетишем (имеется в виду PARTYСИМПОЗИУМ — объединение графических дизайнеров Ставрополя. — К.Ш., Р.Б.). Даже если бы он не воспроизводил никаких фигур, одного его географического и антропологического опыта было бы достаточно, чтобы стать неперенным участником симпозиумов. Фигуры же его таковы, что рука не поднимается украшать ими журнальные столики. Г-ну Ал. Ре удается реализовать посредством мелкой пластики с трудом различимые под культурными слоями остатки архаического сознания, неспособного воспринимать окружающее отстраненно, но только в виде близких и значимых образов, исполненных важного значения. В результате получаются вещи, похожие на предметы культа или фрагменты ритуальных обрядов. Весьма логично выглядит, в контексте, исследовательская деятельность г-на Ал. Ре последнего времени, посвященная тайнам скифских технологий обжига глины и восстановления в виде действующей модели древней земляной печи. Глядя на труды г-на Ал. Ре, клубное общество теперь не только вертит головой по сторонам, но и пытается заглядывать вниз, под землю, предполагая найти там новые интеллектуальные и эмоциональные залежи».*

Публикуемый текст А.Е. Ре «Дорога в куда» — образец современного постмодернистского мышления, и в динамике «голосов времени» это уже «голос» нашего современника. Текст написан на пределе возможной откровенности, когда читателя посвящают не только в лицевую, но и изнаночную сторону события, и можно даже сказать, «низовой пласт» жизни человека. Для современного постмодернистского мышления полнота описания, по-видимому, обеспечивается одинаково пристальным вниманием к духовному и телесному, обращением к разным языковым пластам, которые причудливо смешиваются в тексте.

Как художник времени постмодерна, А.Е. Ре занимается исследованием творчества. Им написана работа о гончарном деле «В поисках огня».

Но Ре стало интересно проанализировать жизнь как текст, сделать ее объектом пристальной рефлексии. Это уже не дневник. Это разглядывание событий жизни «под микроскопом» и фиксация этого процесса с точки зрения некоего наблюдателя. Наблюдатель — жесткий документалист, ставящий сам факт и событие во главу угла, позволяющий им говорить самим за себя. Оценочность возникает в результате такого представления событий, когда в их отборе не отдается предпочтение «выигрышным моментам»; хорошее и плохое (иногда даже очень плохое) имеют одинаковое право на существование

в тексте жизни. В этом раскачивании от плохого к хорошему, по-видимому, человек определяет свое место, позицию в мире.

«Дорога в куда» — это путевые заметки художника, принявшего поездку за границу по ряду причин. Первая, а может быть и главная, — это надежда на то, что голодный, никому ненужный в России художник в более благополучном обществе может быть востребован, сможет получить работу и обеспечить себе достойную жизнь трудом художника. Вторая цель, вполне осознанная для времени постмодерна, — произвести эксперимент над собственной жизнью, поместить себя в иную среду, прожить в непривычных условиях и зафиксировать новый опыт в виде «этнографических» записок, критерием ценности которых становится точность, документальность описания, беспощадность к себе, готовность выносить порой «постыдные» поступки на всеобщее обозрение.

Вера российского человека в «светлую жизнь» за рубежом, в то, что уже только отъезд изменит его жизнь к лучшему, становится начальной установкой путешествия — путешествия «в куда». Название записок фокусирует внимание на значении этого поступка для художника: дорога с неясной целью («в куда») как поиск места обетованного. Имея два предположительных конечных пункта назначения — Италия и Германия, — герой оказывается вне социума, когда необходимо постоянно корректировать представление о себе, вступая во все новые контакты с «чужим» миром. В благополучном обществе, где «все места распределены», он становится человеком ниоткуда и попадает в низовые пласты, пласты маргиналов, которым надо пройти круг ада, для того чтобы занять свое место в общественном сознании граждан чужой страны, чтобы преодолеть формальные препятствия для получения хотя бы вида на жительство. В самые критические ситуации нет-нет и дрогнет человек, уходя в брань, выпивку... Но не дрогнет рука А.Е. Ре, правдиво фиксируя происходящее с ним. Нарратор не дремлет в нем, идет своим путем, поднимаясь по спирали от конкретики быта к бытию художника.

Рассуждая об искусстве, Ре утверждает, что любая фальшь — категория духовного порядка. Нравственные императивы его души — это неподдельность искусства и искренность мастера, красота. По А. Ре, мастер должен работать. За границей творческая программа художника, его этические и эстетические ценности оказались невостребованными в тех слоях общества, к которым он имел доступ. В одной из статей Ре пишет: «Созданные из природных материалов вещи обладают как реальной, так и отраженной красотой, являются посредником между человеком и природой. Сама природа, энергия материала служит учителем, мастером в его творческом труде, а сам процесс творчества способствует тому, чтобы более глубоко ценить

красоту окружающего мира. Творчество становится аналогом гармоничного и целесообразного природного процесса. Непосредственное общение с природой — необходимый элемент творческого акта в народном искусстве прошлого и должен являться таковым для художников нашего времени». Подлинный художник сохраняет национальные традиции, где бы он ни жил. Ре постоянно говорит о подлинности национального искуст-

ва. Путевые заметки фиксируют попытки художника остаться самим собой, верным своим идеалам даже в экстремальной ситуации полного непонимания. А может быть, последнее — это и есть несовпадение «реальной» и «отраженной» красоты.

«Дорога в куда» — рефлексия становящегося сознания современного художника. Но, как говорит А. Ре, «поиск огня продолжается»!

# IX. СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДИСКУРСА

- 1/ Н.Ф. Алефиренко / Волгоград / **Дискурсивные основы вторичного семиозиса**
- 2/ И.А. Манкевич / Санкт-Петербург / **Литературная культура как социально-коммуникационная система: текст — контекст — интертекст**
- 3/ Г.Д. Чеснокова / Санкт-Петербург / **Научность, нравственность и правда, или некоторые тонкости языка и стиля исторических документов Ставропольского края**
- 4/ Е.Н. Атарщикова / Ставрополь / **Становление проблемы взаимосвязи языка и права**
- 5/ О.М. Бочарова, Л.Ю. Буянова / Краснодар / **Гендер как когниция: становление и перспективы развития в лингвистике текста**
- 6/ Г.Д. Гриценко / Ставрополь / **Право как текст: некоторые подходы к проблеме**

## ДИСКУРСИВНЫЕ ОСНОВЫ ВТОРИЧНОГО СЕМИОЗИСА

Н.Ф. Алефиренко  
Волгоград

Дискурс — это речемыслительное образование событийного характера в совокупности с прагматическими, социокультурными, психологическими, паралингвистическими и др. факторами, что, собственно, и делает его «привлекательным» и многообещающим для лингвокультурологии. Однако «привязка» этого понятия исключительно к живой речи привела к тому, что термин (и стоящее за ним понятие) «дискурс», в отличие от термина «текст», не применяется к древним текстам» (1, с. 136). Для лингвокультурологии — дисциплины преимущественно исторической — такое понимание дискурса является своего рода «табу» на его использование. И все же определение дискурса как связанного текста, погруженного в человеческую жизнь и взятого в совокупности лингвистических и экстралингвистических (событийных) факторов не позволяет отказаться от него, поскольку его лингвокультурологический потенциал слишком очевиден.

Обращение к дискурсу как речемыслительному полигону<sup>1</sup>, в недрах которого зарождаются, возникают и развиваются языковые знаки вторичной номинации, дело весьма рискованное уже хотя бы потому, что понятие дискурса до сих пор остается весьма загадочным феноменом, не получившим необходимой терминологической определенности. Как справедливо отмечает Е.С. Кубрякова, «мы по-прежнему очень далеки от создания единой и целостной теории дискурса» (6, с. 9). Диапазон понимания и определения этого понятия настолько широк, что возникает ощущение или его исключительной формальности (и даже аморфности), или его функционального тождества понятию «речь», в сосюрровском понимании. А в более поздних работах подобное отождествление приобретает психолингвистический смысл: *дискурс — это текущая речевая деятельность*. Впрочем, столь очевидная неоднозначность данного термина присуща ему изначально, во французском языке.

По мнению Н.С. Автомоновой, переведившей сочинения М. Фуко (он, как никто другой активно вводил в научный обиход понятие дискурса) термин «discours» не поддается однозначному переводу на русский язык. В нестрогом терминологическом смысле это и «речь», и даже «рассуждение». Как специальный термин — это «расчлененные мыслительные представления, выраженные последовательным сочетанием словесных знаков» (7, с. 26; ср.: 10). При таком широком понимании дискурса сложно представить его генетические связи с процессами вторичного лингвосемиозиса. Более очевидными оказываются знакопорождающие возможности дискурса, если под ним понимать цепочку взаимосвязанных высказываний (Д. Шиффрин). Однако в таком случае возникает недоумение другого порядка: чем отличается дискурс от текста, поскольку последовательно связанные между собой высказывания — это не что иное, как хрестоматийное определение текста? С другой стороны, вполне очевидно, что не любая последователь-

ность взаимосвязанных высказываний способна служить деривационной базой для вторичного семиозиса. Выйти из данного «тупика» — значит найти дифференциальные признаки дискурса и текста. Таким разграничителем выступает оппозиция *процесса и его результата*: дискурс — процесс речевого общения, а текст — его продукт; первое связано с динамикой, второе — со статикой (ср.: 9).

Принятая оппозиция, однако, может быть в некотором роде спасительной для теории дискурса, но не для теории вторичного семиозиса. Ведь знаки вторичной номинации как продукты речемышления при таком противопоставлении скорее соотносимы с текстом, чем с дискурсом. И не целесообразнее ли отказаться от поиска дискурсивной природы вторичного семиозиса и обратиться исключительно к его текстовой сущности? Однако это означало бы согласиться с ранее отвергнутым тезисом: последовательная цепочка высказываний самостоятельно порождать знаки вторичной номинации не может. Для этого необходимы еще какие-то исключительные, специфические условия. Таковыми, на наш взгляд, являются синергетические свойства речедеятельности: «грамматика текста», социокультурная событийность, интенциональность высказываний (мнения, намерения, чувства, эмоции и установки коммуникантов — членов определенного культурно-языкового сообщества), этноязыковая специфика и т. п.

Таким образом, сущность вторичного лингвосемиозиса определяется коммуникативно-прагматической природой его речемыслительной базы, реализующейся в разного рода дискурсах. Дискурс в таком его понимании обретает свои специфические черты: а) как коммуникативное событие — это сплав языковой формы, знаний и коммуникативно-прагматической ситуации; б) образуя собой своеобразное ценностно-смысловое единство, дискурс предстает как лингвокультурное образование; в) в отличие от речевых актов и текста в его традиционном толковании (последовательной цепочки высказываний), дискурс следует рассматривать как социальную деятельность, в рамках которой ведущую роль играют когнитивные образования, фокусирующие в себе различные аспекты внутреннего мира языковой личности; г) как «речь, погруженная в жизнь», или «текст, взятый в событийном аспекте» (2, с. 136-137), преломляя и интерпретируя поступающую в языковое сознание информацию, становится своеобразным смыслогенерирующим и миропорождающим «устройством», экзегетическим «текстом» культуры, ментальным фрагментом «возможного мира» (возможного положения дел, вариативного развития событий) (3, с. 6). Согласно первому критерию, дискурс становится знакообразующей базой в силу своей многоплановой структуры, на разных уровнях которой осуществляется когнитивная обработка информации, исходящей от всех участников коммуникативно-прагматической ситуации (внеязыковой дейст-



вительности; намерений, установок и понимания коммуникантов; семантики языковых единиц и т.п.). В связи с этим смысловое содержание такого дискурса значительно шире и глубже семантики высказываний. Означающее дискурса оказывается асимметричным по отношению к означаемому — последовательной цепочки высказываний. В результате означающее дискурса требует своей актуализации новым знаком; нередко отдельные фрагменты такого означаемого получают разное знакообозначение. Так, всем известно, что знаком хорошего тона считается в нашей речеведческой культуре предложение вошедшему присесть, сопровождающееся фразой «*В ногах правды нет*». Смысловое содержание данной дискурсивной ситуации на самом деле шире того, которое заключено в высказывании. Его обогащает уже почти забытый культурно-прагматический компонент, который, собственно, и послужил смыслообразующей основой поговорки. В XV-XVII веках на Руси существовал жестокий обычай понуждать должников на правож (суд) к уплате долга: бедняку били по босым ступням и пяткам. Понятно, что даже такое наказание не могло заставить вернуть долги тех, с кого они взыскивались несправедливо. Именно тогда и появилось это выражение: намек на «бега» должников — от угрожавших им в правож истязаний. Существовал и менее жестокий обычай: в виде наказания вообще или пристыжения за неуплату долга снимать шапку с виноватого. К нему восходят поговорки *шапку снимать с кого* 'уличать', *шапки не снимешь* 'с кого-л. 'невозможно вернуть долг' и ироническое выражение «*Вор с мошенника шапку снял*». Означающее идиомопорождающего дискурса в силу своей асимметрии к означаемому и необходимости в разных коммуникативно-прагматических ситуациях актуализировать соответствующий фрагмент своего смыслового содержания нередко требует нового или модифицированного знакообозначения. Ср. совсем иное означающее рассматриваемой дискурсии: и *на правож не поставить*. У В.И. Даля: *Что с ним делать станешь: на правож не поставишь* (т. III, 372) и вариативное: *в правож — не деньги* 'иск, правка по суду ненадежна'; *правда в ногах, душа согрешила, а ноги виноваты, искать правду в ногах*. В современной речи поговорка *в ногах правды нет* приобрела обыденный, житейский смысл 'лучше сидеть, чем стоять'.

Семантическое единство дискурса — второй его признак — важнейший фактор вторичного семиозиса: когезия и информационная связанность обусловлены, как правило, целостностью событийного восприятия коммуникативно-прагматической ситуации, которая, во-первых, привязана обычно к месту и времени; во-вторых, интерпретирована в соответствии с ценностно-смысловыми ориентирами общества. Поэтому такой дискурс сообщает порождаемому знаку определенную лингвокультурную ценность (хронотопного и аксиологического характера).

Сочетание социального и интроспективного в третьем признаке дискурса — те факторы, без которых

возникновение знаков вторичной номинации не имеет смысла, поскольку их востребованность связана с необходимостью обозначать коннотативные аспекты мыслительного содержания. Это свойство дискурса формирует, пожалуй, главный конститутивный компонент знаков непрямой номинации — экспрессивно-образный. Его основное содержание формируется в процессе фиксации социально значимых проявлений внутреннего мира человека.

Смыслогенерирующая и миропорождающая способность дискурса обуславливаются тем, что его «погружение в жизнь» осуществляется главным образом в процессе лингвокреативного осмысления событийного содержания. Это приводит к тому, что знаки вторичной номинации нередко до неузнаваемости отдалены по своей семантике от содержания породившего их события. А в результате экзегетики событийного содержания дискурса и моделирования виртуального мира один и тот же дискурс способен порождать разные языковые знаки. Слова и выражения *клюковка* 'очень пьяный человек', *клюкнуть* 'выпить', *наклюкаться* 'напиться', *натянулся (напился, пьян) как клюковка* 'об очень пьяном, напившемся человеке' своим возникновением обязаны коммуникативно-прагматической ситуации, в которой извне (со стороны) дается негативная оценка человеку, чрезмерно увлекающемуся алкогольными напитками. Типичными и весьма частыми являются коммуникативно-прагматические ситуации, когда в общении необходимо выразить отношение к людям, имеющим яркое внешнее сходство: *как две капли «воды», на одно лицо, на один покрой, на одну колодку*. Коммуникативно-прагматические ситуации, в которых определяется не внешнее подобие, а сходство черт характера, качеств и свойств человека, породили другие идиомы: *одним миром мазаны, одного поля ягода, испечен (-а, -ы) [сделан (-а, -ы)] из одного «и того же» теста, два сапога пара, ваш брат, наш брат, свой брат, ваша сестра, наша сестра* и др.

Таким образом, деривационной базой знаков вторичной номинации выступают не высказывание (лексико-грамматико-интонационная структура) и не текст (целостная структура взаимосвязанных высказываний), а *дискурс — коммуникативно-прагматическое событие социокультурного характера*. Поскольку же его содержание формируется в процессе лингвокреативного осмысления денотативной ситуации, он является одновременно формообразующим и смыслогенерирующим источником вторичного семиозиса. В его недрах происходит не только когнитивно-синергетическое обработка событийной, социокультурной, коммуникативно-прагматической и языковой информации, но и ее трансмутация при погружении в особый виртуальный мир для семиотической репрезентации ментальной структуры одного из возможных миров (в понимании Л. Витгенштейна, П. Сгалла, Ю.С. Степанова). Именно в результате таких лингвокреативных преобразований смысловых конститuentов дискурса для образования знаков вторичной но-

минации и порождается национально-языковое видение картины мира (8, с. 111). Это становится возможным потому, что человек (субъект дискурсивной деятельности) в процессе лингвокреативного мышления сам «погружается» в особое ментальное пространство, переносится в им же картируемый виртуальный мир, существующий вне реального хронотопа (не в линейном, а в пространственном времени). В связи с этим следует отметить весьма существенный во вторичном семиозисе момент: роль интенциональности в смысловой аранжировке дискурса. Интенциональность незримыми нитями увязывает языковую и речевую семантику единиц-конституентов дискурса, то есть координирует языковые значения слов и словоформ с намерениями и коммуникативными целями общающихся. В результате такого взаимодействия возникает необходимая для вторичного семиозиса энергетика, под воздействием которой возникающий знак вторичной номинации становится одним из средств кодирования и выражения социально значимого речевого смысла, интерпретированного и «переплавленного» в когнитивно-дискурсивном «котле». Эта столь конструктивная для вторичного семиозиса деталь требует, однако, по крайней мере двух уточнений.

Первое из них обращено на дискурс с точки зрения формы его существования. Ведь можно говорить о знакообразующем потенциале дискурса вообще (как коммуникативном событии), а можно рассматривать семиозисные возможности конкретных типов дискурса (религиозного, политического, рекламного и т.п.). С точки зрения закономерностей порождения знаков вторичной номинации наибольший интерес представляет естественный, или разговорный, дискурс, позволяющий рассмотреть культурологическую сущность вторичного семиозиса в разных коммуникативно-прагматических ситуациях. В других типах дискурса отмечаются лишь фактуальные, статистические и прагматические вариации его основного механизма, дискурса разговорного. Ср.: *лыка не вяжет* 'так пьян, что не в состоянии связно говорить', *не лыком шит* 'не хуже других в каком-л. отношении; не лишен знаний, способностей', *лыком шит* 'неотесанный, не имеющий знаний, простак'. Действительно, коммуникативно-прагматические ситуации, представляемые этими идиомами, разные, хотя и связаны с единым культурно-значимым предметом — лыком. Старая Русь не могла обойтись без лыка — липовой коры. Известно, что из лыка плелись коробки, туески и основная обувь русских крестьян — лапти. Каждый крестьянин должен был уметь если не плести, то хотя бы ремонтировать их. Поэтому употребить в разговорном дискурсе выражение «*он лыка не вяжет*» значило, что человек, к которому оно обращено, либо не в своем уме, либо пьян до предела. Именно в последнем смысле и сохранилось это выражение в качестве дискурсивной идиомы. Но в то же время лапти, лычная обувь были верным признаком бедности. Вот почему не *лыком шит*, означавшее в условиях прямой номинации 'не из простых людей',

стало, в качестве знака вторичной номинации, обозначать 'не такой уж он простак, себе на уме', и наоборот, *лыком шит* 'простак'. Значение этой идиомы сформировалось в процессе преобразования предметных смыслов в ассоциативно-образные; их метафорическое обобщение и привело к возникновению знака косвенно-производного характера, означающее которого требует историко-культурного толкования. Полоски лыка для плетения назывались строками. Чтобы получилась качественная обувь, следовало употреблять в строку не всякое лыко, а только чистое, отбрасывая лычки с неровностями, дырочками от сучков и т. п. Выражение *не всяко лыко в строку* стало употребляться в значении 'не всякую мелочь вводи в дело', т.е. приобрело все признаки знака вторичной номинации (мотивированного прямономинативным прототипом), и лишь после второго этапа переосмысления оно преобразовалось в знак косвенно-производной номинации. Образовалась деривационная цепочка означаемых: 'на строку в лаптях идет только чистое лыко' — 'не всякую мелочь вводи в дело' — 'нельзя упрекать кого-л. по мелочам'. Последнее звено в цепочке означаемых вызвало вариативные изменения в означаемом — *не всякое слово в строку*.

Второе уточнение касается проблемы типизации коммуникантов, поскольку от него зависит тот или иной статус дискурса. Поскольку интенциональность речевого произведения является важнейшим звеном дискурсивного механизма вторичного семиозиса, необходимо выяснить, что собой представляют автор и получатель сообщения (дискурса): это реальные люди, идеальные участники дискурса или некая абстракция? Видимо, возможны все три случая. В первом случае мы имеем дело с дискурсом, создаваемом в обычном общении, в режиме *online*, когда имеется конкретный отправитель и реальный получатель информации. Во втором — речь может идти только о дискурсах определенного типа (действительно, религиозный, политический и рекламный дискурсы создают своих идеальных адресантов и адресатов, разных по своим речевым актам (речевым действиям), речевым тактикам, речевым стратегиям речевому поведению). Наконец, в третьем случае отправитель и получатель информации обладают ярко выраженным социальным статусом: они оказываются выразителями не личностных, а усредненных, т и п ч н ы х для своего этнокультурного сообщества намерений, оценок и толкований дискурсивного содержания.

При таком подходе дискурс — это, как и в первом случае, функционирование языка в реальном времени (А.А. Кибрик, В.А. Плунгян), хотя само определение «реальное время» здесь следует понимать, вслед за Е.С. Кубряковой, как время исторически определенное, время формирования текста и коммуникативного события.

При исследовании дискурсивных основ вторичного семиозиса речь идет главным образом о дискурсах третьего типа, категориальной (отличительной) характеристикой которого является «исчезновение авторства» (выражение П. Серии), напрямую под-

водящее к идее бессубъектного естественного дискурса.<sup>2</sup>

Таким образом, вторичный лингвосемиозис экспрессивно-образных средств обычно осуществляется на базе бессубъектного естественного дискурса, включающего в свой состав высказывания, тексты, а также разного рода прагматический и социокультурные контексты. По утверждению П. Серию, в отличие от речевого акта «в повествовании, по сути дела, нет «лица». Во время как речь целиком включена в отношения между первым лицом, которое производит высказывание, вторым лицом, которому адресовано сообщение, и третьим лицом, которое, не участвуя в самом акте говорения, тем не менее, присутствует» (5, с. 14). Поэтому в теории речевой деятельности все сконцентрировано вокруг центрального понятия «субъект в языке». В лингвопрагматике смысловая дистрибуция, определяющаяся несколько иной поисковой стратегией, выглядит иначе: в центре внимания оказывается «отправитель речи» в его отношениях к получателю и ситуации речи. Теория речевой деятельности, создаваемая в 60-е годы XX века французскими учеными, исходит из разграничения высказывания-результата (*enonce*) и высказывания как речепорождения (*enonciation*). В связи с этим во Франции рассматриваемое учение называют теорией высказывания (Э. Бенвенист). Ее непосредственным объектом является высказывание во второй его разновидности — акт производства речевой структуры (*enonciation*). Поскольку же процесс производства речи немислим без его инициатора и реализующего лица, то в центре этой теории оказывается субъект высказывания, которого следует отличать от говорящего. Если говорящий — реальное существующее лицо, индивидуум из плоти и крови, то субъект высказывания — категория дискурса, то есть существует только когда говорит, образуется только в акте высказывания и до этого акта не существует. Думается, что в данном ракурсе теория высказывания прямого отношения к рассмотрению проблематики вторичного семиозиса не имеет.

Обратимся к разработке теории высказывания в первой его ипостаси — высказыванию-результату. В центре этой теории оказывается сам процесс порождения высказывания-результата субъектом речевого акта. Именно в этом смысле теория высказывания-результата была использована в качестве краеугольного камня при построении теории дискурса. На начальном этапе ее становления необходимо было показать роль и место субъекта в смыслопорождении высказывания-результата, выяснить, является ли он абсолютным хозяином над смыслом. Задача настолько многосложная, что она и спустя полвека (с 60-х гг. XX в.) остается в эпицентре научных дискуссий. Поэтому изначальная установка (гипотеза) французских ученых была сформулирована однозначно: «абсолютного хозяина над смыслом высказывания быть не может» (5, с. 16), а теория дискурса создавалась с целью преодоления буквального восприятия текста и недостатков контент-анализа (метода обработки

информации). Слово (фразеологизм) в теории дискурса рассматривается не только как средство передачи информации, а прежде всего как строевой элемент текста. Теория дискурса по своей сути является дисциплиной текстового анализа. В рамках этой теории текст рассматривается с точки зрения способа функционирования дискурсов в соответствии с исходной установкой исследования.

В связи с тем, что стратегию нашего исследования определяет лингвокультурологическое осмысление дискурса как когнитивной базы вторичного семиозиса, текст рассматривается в социокультурной и филологической проекции. При таком подходе к тексту необходимо постоянно обращаться к подтекстовой и затекстовой информации, стремиться разгадать замысел и намерения того, чье слово сохранилось в тексте. Следовать этой установке — значит проникать в ту социокультурную среду, в которой данный текст появился. Реализация такого подхода требует, разумеется, переосмысления и самого понятия «дискурс» и принципов его анализа. Прежде всего, речь идет о необходимости преодоления «узкого» понимания дискурса (как эквивалента речи, высказывания).

Одной из первых попыток такого преодоления следует считать определения дискурса, данные основоположниками дискурсивного анализа путем соотношения нескольких смежных понятий (высказывание, текст, дискурс).

В ы с к а з ы в а н и е — последовательность фраз, заключенных между двумя семантическими пробелами, двумя остановками в коммуникации; д и с к у р с — высказывание, рассматриваемое с точки зрения когнитивного механизма, который им управляет. И все же проблема соотношения высказывания и дискурса все еще остается дискуссионной. С одной стороны, утверждается, что вне дискурса высказывание не может существовать как самостоятельная единица текста. С другой стороны, принцип иконичности наводит на мысль о том, что высказывание, порождаемое в дискурсе как его структурный элемент, не только вне дискурса семантически самодостаточно, но и в силу своей иконичности способно отражать концептуальную структуру дискурса, сохранять семантическую память о предтексте и посттексте, и, наконец, отражать концептуальные доминанты породившего его дискурса. Поэтому дискурсивный анализ лингвокультурологических условий возникновения знаков непрямого номинации и кодирования в них историко-культурного опыта позволяет эксплицировать заложенную в их семантике синергетическую и когнитивно-прагматическую информацию. Без такого рода изысканий так и останется загадкой, например, идиома *несолоно хлебавши*, хотя и будет известно ее значение 'ни с чем, не получив ничего'. А суть смыслового содержания идиомы — в предметно-практическом значении соли, которая на Руси была дорогим продуктом. Везти ее приходилось издалека, дороги были плохие, налог на соль высокий. Поэтому варили и выпекали в те времена без соли, а солили уже за столом. Хозяин солил пищу своей рукой. Выражая особое почте-

ние дорогому гостю, он нередко пересаливал. Сидевшим же в дальнем конце стола соли иногда не доставалось вовсе. Им приходилось уходить *несолоно хлебавши*. Кстати, изначально выражение *несолоно хлебавши* употреблялось в сочетании с глаголом уйти и означало 'уйти неудовлетворенным'. Известная ситуация, напомним, отображена Н.А. Некрасовым:

*Пропали люди гордые,  
С уверенной походкою,  
Остались вахлаки,  
До сыта не едавшие,  
Несолоно хлебавшие,  
К которым голод стукнется  
Грозит.*

Когнитивно-прагматический смысл идиомы проясняется после декодирования отраженной в дискурсе эмпирической (основанной на жизненном опыте) информации.

Текст — также высказывание, если рассматривать его как динамический процесс текстообразования; в последнем определении текст фактически отождествляется с дискурсом (и то, и другое рассматривается как высказывание в динамике). Чтобы устранить принципиальное совпадение понятий *Luuesrip* через высказывание определяет только текст, а условия производства текста называет дискурсом. Другие исследователи в понятие «дискурс» включают не только условия текстообразования, но и его продукт — текст. Данное уточнение позволяет материализовать предмет дискурсивного анализа — текст социокультурного содержания, отражающего культурно-историческую позицию не говорящего индивидуума, а всего этноязыкового сообщества, позицию, которая обуславливается социальными и хроно-топными факторами, получившими вслед за «архиологией знаний» М. Фуко (7, с. 69) название «дискурсивной формации». В таком случае приходится расширить предмет дискурса: таковым может быть не только «живая речь», но и древние тексты, если представленные ими дискурсы послужили источниками образования идиом современного языка. Ярким примером таких текстов могут служить евангельские притчи и возникшие на их основе идиомы. Например: *бросать [кидать, швырять, пускать] камнем [грязью] в кого 'осуждать, обвинять; чернить, порочить кого-л.'* (существовавшую в древней Иудее казнь — побивать камнями и евангельский дискурс: когда книжники и фарисеи, искушая Иисуса, привели к нему женщину, уличенную в прелюбодеянии, он сказал: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». Ср. *вавилонское столпотворение 'беспорядок, шум, суматоха, неорганизованность', волк в овечьей шкуре 'лицемер'* и др. Кстати, если первая идиома возникла метафорически на базе прямого прототипа — имеющегося в тексте Евангелия словосочетания, то последние две обязаны своим появлением в нашем языке исключительно дискурсии (синтаксически свободных прототипов не имеют).

Введение данного понятия помогает разъяснить природу субъекта высказывания. Им признается любой член культурно-языкового сообщества, способный данным высказыванием выразить социально и исторически сформированную позицию относительно вербализуемой денотативной ситуации. Таким образом, субъект речи говорит не от своего имени: он не говорящий, а субъект высказывания, статус которого обусловлен соответствующей дискурсивной формацией. Понятие дискурсивной формации, оставаясь важным элементом теории дискурса, все же не должно абсолютизироваться. Оно служит лишь необходимым фоном порождения смысла высказывания. Сам же смысл не может быть результатом постоянной и однородной проекции «коммуникативного намерения», так как процесс высказывания не замыкается на одних лишь намерениях субъекта коммуникативного акта. Смысл высказывания формируется скорее в конфликтном пространстве разных дискурсивных формаций, а сам дискурс в таком случае превращается в «печь» («котел»), где бурлят и переплавляются смыслы, отражающие разные дискурсивные формации. Поэтому за знаком вторичной номинации, образовавшемся на базе дискурса, следует восстановить пути передвижения смысловых потоков, сплава ранее вербализованного и говоримого сейчас, чтобы всесторонне раскрыть механизмы формирования смысловой структуры лингвокультурного знака. Распутать образовавшийся в дискурсе клубок разноаспектных смысловых нитей — значит выделить и структурировать основные смысловые узлы дискурса: разного рода «цитации», элементы чужой речи, выявить их структурно-смысловые преобразования эксплицитного и имплицитного характера. Все это, разумеется, усложняет методологию дискурсивного исследования знаков вторичной номинации. Существует опасность оказаться в одной из двух крайностей: подменить дискурсивный анализ изучением текста (собственно лингвистический уклон) или устремиться в экстралингвистику, совершенно исключив из своего поиска лингвистические методы. Стратегия дискурсивного анализа вторичного лингвосемиозиса требует тонкого и глубокого сочетания семасиологических, ономасиологических и социокультурных методов и приемов. Такой синергетический симбиоз предопределен самой природой дискурса, тесным сплетением в нем языка, культуры и субъекта высказывания.

М. Пеше полагал, что природа и сущность дискурса определяется взаимосвязями двух его важнейших конституентов: субъекта коммуникативного акта и идеологии<sup>3</sup> как системы знаковой интерпретации действительности в соответствии с устоявшимися в данном культурно-языковом сообществе духовными ценностями. Неотъемлемой частью дискурса признаются содержательные импликации социокультурного характера, что напрямую ведет к понятиям пресуппозиции, интердискурса и интрадискурса.

**ПРИМЕЧАНИЯ**

1. Понятие и слово «полигон» в своем этимологическом смысле — «многоугольник» (гр. *poly* — «много», *gōnia* — «угол») — наиболее точно передает сущность того коммуникативно-когнитивного пространства, в котором происходят зигзагоподобные и многоканальные процессы ассоциативно-образного порождения знаков непрямого номинации.
2. ИмPLICITно эта идея содержится в известном новаторском труде Б.М. Гаспарова (4, с. 52-62) при обосновании положений о репродуктивной стратегии языкового существования.
3. В отличие от русского языка, в котором слово «идеология» обозначает организованную систему идей, для основоположников теории дискурса это слово обозначало любой языковой и — еще шире — любой семиотический факт, освещаемый с точки зрения его общественной значимости и исторической обусловленности (5, с. 20). Такое понимание идеологического компонента в составе знакообразующего дискурса крайне существенно, поскольку позволяет заглянуть за теньевую завесу речемышления, где формируются те имPLICITные смыслы дискурса, ассоциативные связи которых нередко играют главную роль во вторичном семиозисе. Имеется в виду явное несоответствие эксплицируемых знаний внеязыковым реалиям в силу их искажения, субъектного видения или химерического характера. Поэтому следует прислушаться к предостережению М. Пеше: дискурс нельзя смешивать с эмпирической речью, производимой субъектом, ни с текстом. Ученый рассматривает дискурс как новое осмысление и новое видение сосюрговской речи, освобожденное от субъективных импликаций.

**БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК**

1. Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры. — М., 1990.
2. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. — М., 1999.
3. Бабушкин А.П. «Возможные миры» в семантическом пространстве языка. — Воронеж, 2001.
4. Гаспаров Б.М. Язык, память, образ. — М., 1996.
5. Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса. — М., 1999.
6. Кубрякова Е.С. О понятиях дискурса и дискурсивного анализа в современной лингвистике // Дискурс, речь, речевая деятельность: Сб. обзоров. — М., 2000.
7. Фуко М. Археология знания. — Киев, 1996.
8. Черемисина Н.В. Семантика возможных миров и лексико-семантические законы // Филологические науки. — 1992. — № 2.
9. Givon T.J. Iconicity, isomorphism and non arbitrary coding in syntax // Iconicity in syntax / Ed. by J. Haiman. — Amsterdam Philadelphia, 1985.
10. Revesz I. Denken und Sprache // Acta Psychologica. — 1954. — V. 10. — N. 1-2.

## ЛИТЕРАТУРНАЯ КУЛЬТУРА КАК СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА: ТЕКСТ — КОНТЕКСТ — ИНТЕРТЕКСТ

И.А. Манкевич  
Санкт-Петербург

Активное вхождение в широкий научный оборот таких лингвистических символов постсоветской эпохи как «информация», «коммуникация», «культура» и производных от них понятий — «социальные коммуникации», «информационная культура», «коммуникационная культура», «социально-коммуникационные системы» и т.п. свидетельствует о сложении в современном гуманитарном знании новой эпистемологической ситуации, ориентирующей на развитие социально-коммуникационного подхода к познанию явлений культуры. Данная работа представляет собой опыт культурологического анализа сущности и взаимосвязи феноменов «социальные коммуникации» и «литературная культура». Ключевыми для избранного контекста исследования соответственно являются такие понятия, как «литературная культура», «социальные коммуникации», «социально-коммуникационный подход», «языки социальной коммуникации», «коммуникационная культура», «коммуникационное сообщество (текст)», «литературная коммуникация», «язык литературной коммуникации».

С позиции системного подхода литературная культура традиционно рассматривается как подсистема культуры, функционально ориентированная на задачи литературной деятельности. Последнее определяет ее бытие, как минимум, в семи измерениях:

- 1) субъектно-объектном (творцы и потребители литературной культуры, носители литературных смыслов);
- 2) духовно-содержательном (общественная и индивидуальные картины мира, литературные смыслы — образы, их отражающие);
- 3) функционально-деятельностном (литературное творчество, порождение и функционирование литературных текстов);
- 4) материально-идеальном (литературные тексты, овеществленные литературные смыслы);
- 5) институциональном (социальные институты литературной культуры — цензура, критика, образование, журналистика, книгоиздание, реклама, книготорговля, архивы, библиотеки, музеи);
- 6) внеинституциональном (устное народное и непрофессиональное литературное творчество, литературные движения, мода, самиздат);
- 7) морфологическом (литературные направления, жанры, стили, языки литературы).

Однако, как известно, понятие «культура» не имеет однозначной дефиниции. Исключив бытовые, ведомственные и богословские трактовки культуры, все многообразие научных концепций можно с известной долей упрощения свести к пяти вариантам: социоатрибутивная, антропоцентрическая, трансцендентная, информационно-семиотическая, духовно-смысловая (6). Очевидно, что исследование явлений литературной культуры (текстов, жанров, стилей) с позиции какой-либо из этих концепций будет акцентировать внимание специалистов на соответствующий культурный контекст их функционирования. Так, в рамках социоатрибутивной

концепции литературный текст — вещный продукт интеллектуальной деятельности «производителей» и «потребителей» литературной культуры. В рамках антропоцентрической — выражение духовного потенциала и гуманистических устремлений субъектов литературной культуры, способ и мера формирования личности, ее этических и эстетических идеалов, мировоззренческих убеждений. С позиции трансцендентной концепции, литература — сверхличностное, сверхсоциальное духовное образование, инобытие культуры, смыслы которой обитают в вечности, а не в социальном пространстве и времени, что и обеспечивает их возрождение после периодов забвения. Информационно-семиотическая концепция трактует литературные тексты как тексты культуры коммуникационной и символической природы. Духовно-смысловая концепция определяет литературу как мир искусственных смыслов, бытующих в овеществленной (книга, рукопись) и неовеществленной (естественный язык, традиции, менталитет) формах.

Следует отметить, что независимо от исходной концепции культура всегда выступает в качестве основополагающей характеристики явлений окружающего мира и, в этом смысле, является своего рода интегральным показателем их уровня зрелости (состояния). Соответствующий смысловой контекст по отношению к эпохам, регионам, нациям, субъектам культурной деятельности обретает и понятие «литературная культура». Так, семантическое пространство литературной культуры как образа эпохи образуют понятия, характеризующие историческое бытие «литературных смыслов» в религиозных, национальных, региональных, политических, экономических, этических, технологических аспектах. Семантическое пространство литературной культуры как образа субъекта литературной деятельности дополняется понятиями, которые характеризуют соответствующих носителей культурных смыслов и среду (время, пространство) их «обитания» в социально-психологических, этических, эстетических, демографических, профессиональных, ситуативных и событийных и других координатах. Семантическое пространство литературной культуры как художественного образа обретает новые контексты, обусловленные «траекторией» движения и взаимодействия внехудожественных и художественных смыслов, а также уровнем социально-психологической совместимости реципиентных «горизонтов» художника и читателя, слушателя, зрителя.

Новые возможности осмысления феномена литературной культуры предоставляет социально-коммуникационный подход (СКП), синтезирующий теоретический потенциал системного, деятельностного и семиотического подходов. Благодаря «информоемкости» исходной дефиниции социальной коммуникации (СК) как движения смыслов (знания, эмоции, умения, стимулы и их производные — убежде-

ния, идеалы, верования, ценностные ориентации) в социальном времени и пространстве и гибкой структуре категорийного аппарата СКП, любой феномен культуры может быть представлен как социально-коммуникационная система (СКС) и «прочитан» как коммуникационное сообщение (4, 5). Центральное звено СКС — категория «смысл», а все остальные (социальное пространство, социальное время, социальная память, социально-коммуникационная деятельность, коммуникационные каналы, коммуникационные потребности и т.д.) — суть различные состояния бытия «смысла» и приобретаемых им свойств и отношений в процессе движения и взаимодействия с другими смыслами. Основу категорийной структуры СКС составляют концепты «социальная память» и «социально-коммуникационная деятельность». Социальная память — память общества, воплощенная в мире рукотворных вещей, социальных документов, естественном языке, менталитете, живом недокументированном знании, социальных нормах, технологических умениях. Социально-коммуникационная деятельность реализуется в форме диалога (субъект-субъектные отношения, взаимодействие равноправных партнеров), управления (субъект-объектные отношения, целенаправленное воздействие коммуниканта на реципиента), подражания (объектно-субъектные, социализация, заимствование культурных образцов). Сущность феномена СК выявляется в различных социокультурных срезах: хронологическом, региональном, национальном, институциональном и на разных уровнях социально-коммуникационного взаимодействия: макро (массовые, международные, межцивилизационные), миди (социально-групповые), микро (межличностные). В макро-СК в качестве субъектов коммуникации действуют исторические общества, государственные образования, массовые общности. В миди-СК эти функции выполняют социальные группы. В микро-СК — отдельные личности, индивиды. Различают и смешанные типы СК, опосредованные коммуникационной деятельностью субъектов разного уровня (индивид — массовая общность, индивид — социальная группа и т.д.). При идентификации типов СК имеет значение «точка зрения», т.е. конкретный вариант коммуникационной ситуации (социально-коммуникационный контекст), выбираемый исследователем в качестве объекта познания. Использование СКП в познании сущности различных явлений культуры позволяет выявлять доминирующие типы СК, определяющие «закон и меру» их эволюции (рождение и функционирование в социуме).

Применительно к области литературной культуры СКП реализуется путем раскрытия ее сущности как системы литературных коммуникаций (3). В свою очередь, литературная коммуникация (ЛК) трактуется как движение литературных смыслов в социальном пространстве и времени. На теоретическом уровне этот процесс может быть представлен следующим рядом коммуникационных циклов.

- движение смыслов из социального пространства в психическое пространство субъекта ЛК (рождение литературного замысла);

- движение смыслов из психического пространства субъекта ЛК в социальное (реализация замысла, фиксирование литературного смысла на материальном носителе, рождение литературного текста);
- движение смыслов в социальном времени (сохранение и наследование литературных традиций, текстов);
- движение смыслов в социальном пространстве (распространение материально-духовных ценностей литературной культуры, институциональные и внеинституциональные формы их общественного потребления);
- движение смыслов из социального пространства в психическое пространство субъекта ЛК (восприятие, познание, оценка, интерпретация литературных смыслов субъектами литературной культуры);
- *движение смыслов из психического пространства субъекта ЛК в социальное пространство (социализация литературных смыслов, обновление культурных образцов, формирование новой литературной среды, смена художественного мировоззрения).*

В свою очередь, семантическое пространство литературной культуры (включая отдельные ее явления) как СКС или компонента (подсистемы) другой СКС может быть представлено на основе категорий СК (социальное пространство, время, социальная память, социально-коммуникационная деятельность, субъекты коммуникации, коммуникационные потребности, каналы и др.). Используя последние в качестве системы координат, становится возможным, изменяя статус исследуемого явления в зависимости от коммуникационного контекста исследования, смоделировать различные коммуникационные ситуации из его «жизни». Так, например, в отношении литературного текста возможны следующие модификации: литературный текст — социальное время; литературный текст — социальное пространство; литературный текст — социальная память; литературный текст — мировоззрение; литературный текст — социально-коммуникационная деятельность (диалог, управление, подражание); литературный текст — коммуникационная культура и язык СК; литературный текст — коммуникационная потребность; литературный текст — коммуникационное средство и / или коммуникационный барьер; литературный текст — коммуникационные отношения; литературный текст — СКС; литературный текст — эффект СК и т.д.

Представленная выше траектория движения литературных смыслов, охватывая все жизненные циклы художественного текста, начиная от рождения его образа в сознании творца, далее «успения» (овеществление), «вознесения» (распространение) и «воскресения», но уже в другой жизни и в другом обличье, потенциально заключает в себе различные «срезы» бытования социальной информации. С позиций академического источниковедения в качестве источника социальной информации может быть рассмотрен любой стабильный материально-вещественный объект, являющийся продуктом социокультурной деятельности людей (артефакты, социальные документы) и потенциально несущий в себе в фиксированном виде информа-

цию о времени, пространстве, субъектах культуры (личность, социальная группа, историческое общество), причастных к его рождению и бытию (2). В свою очередь теория социальной информатики трактует культурологическую информацию как специальную (т.е. ориентированную на целевые профессиональные группы потребителей, в отличие от массовой, предназначенной для широкой аудитории) информацию о фактах (событиях, явлениях, людях) и также концепциях (идеях, теориях) в истории культуры (7). При таком подходе статус «культурологичности» в глазах исследователя (в сознании познающего субъекта) обретают самые разные явления культуры, явно или скрыто «живущие» в тексте литературно-художественного произведения (идеалы и символы эпохи, общественные настроения и мнения, ценностные ориентации и модели поведения, духовно-предметная среда и интеллектуальная мода, социальные нормы и эстетика повседневности). Соответственно литературно-художественный текст и его источниковедческий потенциал рассматриваются как феномены культуры. Будучи «прочитанным» на языке своей культуры литературный текст обретает статус источника культурологической информации.

Каждый из упомянутых выше «срезов» бытования культурологической информации фиксирует взаимосвязь и взаимодействие (коммуникационную ситуацию) различных компонентов СКС, ядром которой является триада «автор — произведение — читатель», например: социокультурная среда — писатель; писатель — литературный текст; литературный текст — литературный текст; писатель — литературные герои; литературные герои — литературные герои; литературные герои — читатель; литературный текст — читатель; писатель — читатель; литературный текст — социокультурная среда; писатель — социокультурная среда.

Применительно к предметной области «литературная культура» в сферу действия СКП попадают такие проблемы как: взаимодействие индивида, коллектива, общества в процессах создания, распространения, восприятия, оценивания литературных произведений; взаимовлияние литературной, и шире, социокультурной среды и личности писателя; феномен воздействия личности писателя и конкретных произведений на индивида, социальную группу, массовые или исторические общности; взаимодействие и взаимовлияние субъектов литературной культуры различного статуса в процессе диахронической и синхронической коммуникационной деятельности; взаимосвязь литературных текстов и их трансформация в тексты иных социокультурных уровней (биографический, научный, повседневный); общее взаимоотражение всех типов общественных отношений в истории мировой литературной культуры, формирование новых значений (контекстов) «старых» литературных текстов и расширение семантического гипертекстового пространства культуры («эффекты» СК). Приоритет письменной словесности как средства фиксации культурного опыта придает литературной коммуникации особый статус в системе СК,

на базе которых органично взаимодействуют другие ее разновидности (литературно-музыкальные, театральные, кино, телевизионные, электронные).

Благодаря уникальности феномена слова как основополагающего «атома» и первичного элемента текстового взаимодействия любого уровня (обыденного, внутрилитературного, внелитературного, общекультурного), филологическое знание оказалось наиболее благоприятной почвой для распространения самого влиятельного интердисциплинарного подхода второй половины XX века к интерпретации текстов культуры, каким является постструктурализм (1). Одной из основополагающих установок постструктурализма как феноменологического подхода к объекту является рассмотрение одного и того же лингвистического феномена как литературного и в то же время внелитературного текста в зависимости от того, в каком историческом, институциональном или ином контексте он исследуется. Подобное видение «образа» текста оказывается близким коммуникационной интерпретации смысла (сообщения) в контексте конкретной ситуации, «координируемой» какой-либо из форм коммуникационной деятельности субъектов СК (диалог, управление, подражание).

Новое звучание в контексте СКП получают и такие традиционные для филологического знания проблемы как порождение и функционирование литературного образа, восприятие и интерпретация литературного текста, идентификация его функционального «статуса» (протекст, интекст, метатекст, гипертекст) на разных стадиях культурной эволюции. Именно «эффекты» СК лежат в основе таких явлений культуры как: синтез культурных традиций, художественный синтез (взаимодействие искусств), взаимодействие жанров, стилей внутри одного искусства (внутрилитературный синтез). Коммуникационная природа лежит в основе феномена интертекстуальности, как художественного приема (отсылки, аллюзии, цитаты), как метода прочтения любого текста и как область функционирования взаимодействующих текстов разных культурных традиций. С позиций СКП текст — знаковое оформление коммуникационной ситуации, события, смысла. В процессе функционирования («чтения») текст («письмо») приобретает многозначность, становясь одновременно фрагментом гипертекста культуры и отражением многих ее контекстов.

Эффект литературной коммуникации как движения литературного образа (смысла) в социальном времени и пространстве достигается благодаря языку литературной СК. В общем случае язык СК может быть определен как совокупность коммуникационных средств и методов, доступных, освоенных и используемых обществом в различных сферах социально-культурной деятельности в целях обеспечения информационно-коммуникационного взаимодействия субъектов культуры. Иными словами, язык СК — это язык коммуникационной культуры личности, социальной группы, массовой общности, исторического общества, посредством которого ими осуществляется созидание, фиксирование, хранение, распространение, освоение культурных



смыслов. В теории СК четыре первых уровня коммуникационной культуры определяют специфику СКС, соответствующих крупным вехам в истории человечества: словесная (общинная СКС), письменная (рукописная СКС), книжная (мануфактурная и индустриальная СКС), экранная (электронная СКС). Каждый из последующих уровней отражает специфику СКС конкретного социального пространства и времени. В свою очередь, в природе и сущности бытия каждого явления культуры отражается уровень коммуникационной культуры, соответствующий специфике той СКС, в которую это явление включено.

Язык СК функционирует в пределах «русла» коммуникационного канала — реальной или воображаемой линии связи между коммуникантом и реципиентом. Функционирование коммуникационной триады «автор — текст — читатель» обуславливает как минимум трехуровневую структуру языка СК, включающего:

**1.** Язык коммуникационной культуры «Автора» сообщения, обусловленного спецификой его реципиентного горизонта (социально-психологический опыт, влияние среды).

**2.** Язык коммуникационного сообщения («текст — письмо»), носителя культурных смыслов (повседневных, биографических, художественных, научных и др.), порожденного языком коммуникационной культуры «Автора».

**3.** Язык коммуникационной культуры «Читателя» сообщения и одновременно соавтора «текста — чтения», содержание которого обусловлено не только тезаурусом последнего, но и коммуникационной ситуацией «прочтения» (социальное пространство, время, прагматические и эмоциональные аспекты восприятия).

Все сказанное выше в полной мере относится и к языку литературной коммуникации, но с поправкой на «соучастие» в создании литературного текста, таких соавторов, как: социальные заказчики (государство, партии, движения, экономические структуры, общественные организации, криминальные группировки), посредники (цензоры, меценаты, редакторы, переводчики, издатели, распространители, критики, исполнители, интерпретаторы литературных произведений и др.). При этом каждый из участ-

ников СК испытывает на себе влияние макро-, миди- и микросреды, в которых он формируется как личность и в которых создается, распространяется, воспринимается и интерпретируется произведение литературы. Наконец, все участники СК могут находиться в большей или меньшей степени социально-психологической совместимости или несовместимости между собой. Уровни интертекстуальности сознания субъектов культуры и порождаемых ими текстов как истоков и следствий интертекстуальности (интермедиальности) информационно-культурного пространства в целом, обуславливает и уровень коммуникационной культуры субъекта литературной деятельности (8). Взаимодействие и взаимовлияние этих очень разных по характеру и функциям участников СК, в конечном итоге, и определяют эффект функционирования литературной культуры как СКС.

Осознание «эффекта» СК как объекта реального мира закономерно приводит к выводу о том, что сам феномен земной человеческой культуры в своем мировом целом и множестве исторических частных — есть «сумма коммуникаций», «слагаемых» и «вычитаемых», «умножаемых» и «делимых» одновременно бесконечным множеством истоков и следствий коммуникационных взаимодействий. Благодаря «эффекту» СК многие явления литературной культуры имеют богатую и зачастую запутанную родословную. Ветви ее древа, многократно переплетаясь, образуют множество сюжетных «узоров», в мозаичной палитре которых скрыты тысячи еще непознанных наукой смыслов. Будучи коммуникативными по своей природе, «сюжеты» литературной культуры логично вписываются в описанную выше структуру СКС («фабулу»), являя собой благодатное поле для будущих исследователей эволюции литературной культуры как «суммы коммуникаций» и «разности технологий» ушедших и грядущих культур.

В качестве иллюстраций приведем несколько примеров, представляющих различные варианты коммуникационных ситуаций в сфере литературной культуры, возникающих на разных уровнях коммуникационного взаимодействия. В зеркале метатеории СК эти коммуникационные ситуации могут быть «прочитаны» как «жанры» коммуникационных сообщений, текстов, как «жанры» ЛК.

**Таблица 1** Коммуникационные ситуации в литературной культуре

| Коммуникант — «Автор»           | Коммуникационное сообщение — «Текст»    | Форма коммуникационной деятельности | Реципиент — «Читатель»          |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|
| Индивид — субъект               | Мемуары, исповеди                       | Диалог                              | Историческое общество — субъект |
| Индивид — субъект               | Завещания, эпитафии                     | Управление                          | Историческое общество — объект  |
| Историческое общество — субъект | Мифы, летописи, классическая литература | Диалог<br>пословицы, сказки         | Историческое общество — субъект |
| Индивид — субъект               | Басня, памфлет,                         | Управление<br>эпиграмма             | Социальная группа — объект      |
| Социальная группа — субъект     | Литературные манифесты,                 | Управление<br>реклама               | Социальная группа — объект      |

| Коммуникант — «Автор»           | Коммуникационное сообщение — «Текст»                            | Форма коммуникационной деятельности | Реципиент — «Читатель»          |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|
| Историческое общество — субъект | Литературные переводы   | Диалог                              | Историческое общество — субъект |
| Массовая общность — субъект     | Анекдоты  | Диалог                              | Массовая общность — субъект     |
| Индивид — субъект               | Детективы, фантастика   | Диалог                              | Массовая общность — субъект     |
| Индивид — субъект               | Интеллектуальный  | Диалог бестселлер                   | Социальная группа — субъект     |
| Историческое общество — объект  | Литературные традиции, ушедших эпох                             | Подражание                          | Социальная группа — субъект     |
| Историческое общество — субъект | Вестернизация литературной культуры                             | Управление                          | Массовая общность — объект      |
| Индивид — объект                | Заимствование поведения   | Подражание литературных образцов    | Социальная группа — субъект     |
| Массовая общность — объект      | Мода на литературные жанры                                      | Подражание                          | Массовая общность — субъект     |
| Историческое общество — объект  | «Ренессансы» в литературных традициях, «Вечные» сюжеты и образы | Подражание                          | Историческое общество — субъект |
| Историческое общество — объект  | «Возвращенная» литература                                       | Подражание                          | Социальная группа — субъект     |
| Социальная группа — субъект     | Литературное субъект  | Управление образование              | Социальная группа — объект      |
| Социальная группа — субъект     | Книжные ярмарки, выставки                                       | Управление                          | Массовая общность — объект      |
| Индивид — субъект               | Литературные встречи  | Диалог                              | Социальная группа — субъект     |
| Индивид — субъект               | Презентация произведения  | Управление литературного            | Социальная группа — объект      |

### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. — М., 1996.
2. Источниковедение: Теория. История. Метод. — М., 2000.
3. Манкевич И.А. Литература в зеркале метатеории социальной коммуникации // Пушкинские чтения — 2001. — СПб., 2001. — С. 98-109.
4. Манкевич И.А. Социально-коммуникационный подход в системе культурологического знания // Методология гуманитарного знания в перспективе XXI века. — СПб., 2001. — С. 83-87.
5. Соколов А.В. Введение в теорию социальной коммуникации. — СПб., 1996.
6. Соколов А.В. Культура и информация: методология и сопоставления // Ученые записки факультета культуры. Актуальные проблемы гуманитарной культуры. — СПб., 1999. — Вып. 1. — С. 15-20.
7. Соколов А.В. Социальные информатики в системе научного знания // Социология и общество. Тезисы Первого Всероссийского социологического конгресса «Общество и социология: новые реалии и новые идеи». — СПб., 2000. — С. 347-348.
8. Тишунина Н.В. Методология интермедиального анализа междисциплинарных исследований // Методология гуманитарного знания в перспективе XXI века. — СПб., 2001. — С. 149-153.

## НАУЧНОСТЬ, ПРАВСТВЕННОСТЬ И ПРАВДА, ИЛИ НЕКОТОРЫЕ ТОНКОСТИ ЯЗЫКА И СТИЛЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Г.Д. Чеснокова  
Санкт-Петербург

*Посвящается памяти ставропольского ученого и педагога Авксентьева Анатолия Васильевича*

Раскрытие и последующее изучение документов фонда Р-1260, хранящегося в государственном архиве Ставропольского края, к настоящему времени позволило исследователям связать его с некоторыми редкими публикациями исторического характера, полузабытыми именами и убедиться в великой силе языка, русского и иноземного, которая в разные времена могла определять судьбу человека или его произведения, события или целого направления в науке, искусстве, литературе. Достаточно было усомниться в научности библейского по своему истоку слова «Яфетидология» — и вместе с водой выплескивалось «новое учение о языке», а вместе с ним — первые классификации языков и народов, исчезало само имя ученого и его последователей из учебников, справочников и научных библиографий: из словарей и самого языка напрочь исчезли слова «яфетический», «яфетидология», употребительные в языкознании 30-х годов. Имя академика Н.Я. Марра, бывшего в свое время руководителем многих крупных научных учреждений страны и, в частности, директором публичной библиотеки в Санкт-Петербурге, ректором Ленинградского института живых восточных языков, крупнейшим этнографом, лингвистом, историком, осталось на титульных листах редких научных изданий, а его труды упокоились на стеллажах центральных архивов России. В государственном архиве Ставропольского края также имеется материал о Н.Я. Марре и его школе, отдел редкой книги СГУ располагает богатой коллекцией публикаций Марра и о Марре. В то же время в России публикуются энциклопедические справочники без единого упоминания об этом ученом, который стоял у истоков российской этнографии и этнолингвистики (8).

Другой пример: достаточно было в 30-е годы приклеить к имени ученого кличку «троцкист», и закрылось научное учреждение, им возглавляемое (СКГНИИ), а его исследования исчезли из научного обихода. Только случайностью можно объяснить тот факт, что одна из работ Х. Ошаева «Мюридизм в Чечне» упомянута в энциклопедическом словаре «Ислам на территории бывшей Российской империи» (1998 г.). Остальные его труды и материалы биографического характера, по-видимому, до сих пор хранятся в спецархивах.

Имя крупного историка начала XX века М.Н. Покровского почти исчезло из библиографических списков современных исследований, потому что в 30-е годы, как написано в архивных документах, он вместе с Ефремовым, Холодным, Дубровским и Пиантовским «извратил учение Маркса-Ленина и присоединился к механистической методологии Богданова и Бухарина» (ГАСК. Д. 59. с. 249). По данным архива, другой Покровский (Н.И. — Г.Ч.) осуществил редакцию и комментирование перевода известного произведения «Хроника Мухаммада Тахира» на арабском языке по рукописям, которые, как выяснилось позже, не были известны даже самому И.Ю. Крачковскому, однако ни перевод, ни тексты рукописей не увидели свет, потому

что институт СКГНИИ ликвидировали, а все материалы научного и делового характера разбросали по спецархивам и другим учреждениям. Вот почему опубликованный в 1941 году перевод «Хроники...» А. Барабановым необходимо сличить с переводом под ред. Покровского, чтобы отвести всякие подозрения в нарушении этических норм учеными и восстановить историческую хронику времени Шамиля во всем объеме. Вот что пишет по поводу перевода, хранящегося сегодня в Ставрополе (бывшем Ворошиловске), А. Барабанов: «Первым наиболее удачным русским переводом следует признать перевод некоего Сапи из аула Энгеной. По отзывам Покровского (инициалы не указаны. — Г.Ч.), долгое время занимающегося историей Дагестана, этот перевод, хотя и неточный и неокончательный, все же является наиболее приближенным и верным.<sup>1</sup> По неизвестным мне причинам, перевод этот опубликован не был и в течение 7-8 лет считался утерянным. Обнаружен он только в начале 1940 года в Ворошиловске. Сделанный Сапи русский перевод и арабский оригинал перевода в данное время хранятся в рукописном отделе библиотеки Педагогического учительского института в г. Ворошиловске.<sup>2</sup> О его местонахождении нам стало известно только в феврале 1940 года, когда предпринятый мною перевод был уже в основном закончен» (2, с. 15). Можно предположить, что перевод Ворошиловской рукописи, редактируемый Покровским и готовый к печати (в одном из документов института СКГНИИ имеется запись о сдаче рукописи в печать), не увидел свет из-за совпадения фамилии редактора с фамилией опального М.Н. Покровского.

Известный исламовед на Северном Кавказе, ныне покойный Анатолий Васильевич Авксентьев еще в 1971 году в статье «История изучения ислама на Северном Кавказе» подметил неоднозначное отношение к Покровскому современников: «В советской литературе оценка этой работы («Дипломатия и войны царской России в XIX столетии». — Г.Ч.), как и всех трудов М.Н. Покровского, изменялась и очень резко, начиная от не критического восприятия каждого утверждения автора до огульного охаивания не только его отдельных работ, но и всей концепции...» (1, с. 66).

История, как известно, ходит по кругу. Уже в постперестроечное время имя самого А.В. Авксентьева, отдавшего свою жизнь изучению народов и религий Северного Кавказа, имеющих ценные исследования по истории религии, крупного ученого и педагога, оказалось представлено в негативном плане: «... вплоть до начала 90-х годов продолжали активно публиковаться имевшие лишь самое отдаленное отношение к науке работы авторов (Л.И. Климович, А.В. Авксентьев, Р.Р. Мавмонов, С.И. Джаббаров и др.), занимавших воинственно-атеистическую позицию» (4, с. 54). Поистине, слово не воробей! Где гарантия, что обвинение в антинаучности навсегда не закрепится за А.В. Авксентьевым? А между тем даже непосвя-

ценному читателю его исследования по истории религии и особенно обработанный им фактический материал и документы архивов представляют важными и ценными для науки.

Аналогичная история произошла с трудами Б.В. Скитского, который вслед за М.Н. Покровским «неправильно оценивал роль шейха Мансура» и озаглавил свою докторскую диссертацию «Завоевание Северо-Восточного Кавказа и борьба горцев за независимость». Если М. Покровский считал шейха Мансура «первым кавказским революционером», то Б. Скитский посмел употребить слово «независимость» применительно к кавказским горцам (9)! Можно представить себе, как отреагировали бы в 30-е годы, а возможно, и сейчас некоторые ученые на заголовок исторического очерка Т. Лапинского «Горцы Кавказа и их борьба за свободу ПРОТИВ РУССКИХ!» О нюансах языка этого очерка, сохранившегося в первоизданном виде без цензурных исправлений, — чуть позже.

В XIX-XX веках в Российском государстве неоднозначно оценивалось движение горцев на Северном Кавказе, неоднозначны и порой прямо противоположны были и слова, определяющие людей и события. Приведем некоторые примеры: в 1859 году революционер-демократ Н.А. Добролюбов назвал действия русских на Кавказе «подвигами» (Современник, 1859, «О значении наших последних подвигов на Кавказе»). Как известно, русское слово «подвиг» многозначно и стилистически емко. Один Добролюбов знает, что он имел в виду. Однако можно и придаться, если захотеть. В 1906 году изданы сочинения другого революционера-демократа, писателя Н.Г. Чернышевского. С целью обойти цензуру он дал своим сочинениям «Кормило кормчему» и «Знамение на кровле» подзаголовки «Перевод с татарского». Отправив очерки с оказией из сибирской ссылки, он едва ли предполагал, что потомки оценят его сочинения и сделают правильный вывод об идее — «необходимость прекращения бесполезности войны горцев с Россией» (1, с. 39).

Любопытно сопоставить оценочную лексику, связанную с движением горцев в XVIII-XIX вв. и его лидерами: «Лжепророк Мансур», «Авантюрист XVIII века» (А. Терещенко, 1856, 1884); «История войны и ВЛАДЫЧЕСТВА русских на Кавказе» (Дубровин Н., 1871); «Шамиль (ПОКОРЕНИЕ Кавказа)» (Ковалевский, 1912); «Турецкая агентура под флагом ислама» (Н.А. Смирнов, 1950) — эти и подобные названия сочинений и высказываний свидетельствуют о пророссийской, имперской направленности оценки движений горских племен и их руководителей. С конца 30-х годов XX века отмечается пересмотр точек зрения на Кавказские войны. Эта позиция прослеживается в заглавиях научных работ: «Борьба горцев за независимость под руководством Шамиля» (Р. Магомедов, 1939), «Народно-освободительное движение» (Ш.Б. Ахмадов, 1991), «Народное движение» Un mouvement populaire (А. Benningesen, 1964, 1988). Ученые 90-х годов, освобожденные от партийного давления цензуры и «генеральной линии» в национальном вопросе, стали смелее оценивать события на Северном Кавказе, появилась возможность информирования и анализа национально-религиозных движений (Д. Халидов, А.В. Кудрявцев, В.О. Бобровников,

С.Ц. Умаров, В.Х. Акаев, А.Р. Шихсаидов и др. — см.: 4, с. 33, 108). Термин «народно-освободительная война» применяется без всяких оговорок к войнам на территории современной Чечни и Ингушетии под руководством имамов шейха Мансура, Абдул-Кадыра, шейхов Авко, Мух. Маиртупского, имамов Ауха, Гази-Мухаммада, Гамзат-бека, Шамиля (4, с. 106). Обратим внимание на необходимость детализирования в данном контексте воюющей стороны: если уместно выражение «народно-освободительная» и тем более «народная война» в устах горца, то возможно ли оно в употреблении российского подданного, русского патриота, защитника Отечества? Два безобидных слова — но за ними стоит мировоззрение, убеждения, политика и высочайший такт, который требуется для оценки прошлого своей родины. Далеко идущие последствия от выбора того или иного термина при описании исторических событий, как это ни прискорбно для ученого, влекут за собой табуированные темы и, соответственно, «белые пятна» в истории.

Уместным в связи с общей тенденцией объективности оценки национально-освободительных войн горцев и недостаточной, на наш взгляд, характеристикой их лидеров представляется обращение к некоторым историческим документам архивного фонда ГАСК, содержащим на своих страницах (листах) свидетельства неадекватной оценки событий тех лет, не соответствующей представлениям российского общества того времени. Мы назвали бы эти свидетельства «взглядом изнутри», не с позиций русских генералов и их хроникеров, а с позиции их военных противников, каковыми являлись сами горцы (по крайней мере, их большинство) и командиры европейского легиона, сражавшегося на стороне Турции.

Обыкновенному читателю, не знакомому с историей и политикой царского правительства на Кавказе в XVIII-XIX вв., может показаться, что Кавказские войны — это войны русских против горцев и наоборот. Но ведь в этих войнах были заинтересованы и задействованы военные силы Турции, Англии, Пруссии, Польши и др. Какова бы ни была оценка событий и лидеров «изнутри», внимания заслуживают слова Теофила Лапинского (Тефик-бея), командующего польским легионом (отрядом) на стороне Турции с привлечением некоторых горских племен: «Обязанность всех индогерманских рас (! — Г.Ч.) стать во фронт против близящегося Восточного урагана. Недостаточно выставить Польшу на отдаленнейшие границы, отдать Финляндию ее законным собственникам, освободить и организовать Кавказ, также необходимо эту чудовищную вполне державу (Россию. — Г.Ч.) изолировать, чтобы она не имела влияния на судьбы Европы... Англия и Франция должны стараться по крайней мере избавиться от русского завоевания Японских островов» (7, Д. 188, с. 174).<sup>3</sup>

В тексте Т. Лапинского отчетливо прослеживается тенденция противопоставить Россию Европе. С одной стороны — «индогерманские расы», с другой — «близящийся Восточный ураган», «чудовищная вполне держава», «русское завоевание...». Звучит призыв — «стать во фронт против...», «изолировать», «освободить и организовать Кавказ». В подтексте — великодержавное стремление переделать мир за счет пере-

смотра границ и «освобождения» некоторых территорий Российской империи. Выражение «организовать Кавказ» как нельзя более соответствует желанию некоторых держав установить свои порядки, выгнав с Кавказа Россию. И это — в середине XIX века!

Другие строки исторических записок польского полковника похожи, выражаясь словами басни И.А. Крылова, на беседу Моськи и Слона — и боязно, и укусить хочется: «Финско-татарские москвичи сперва были русскими, а потом — европейцами» (об указе № 1773 Екатерины II о причислении русских к европейцам — ГАСК. Д. 188. Л. 59 б); «Рост московского могущества на Востоке. Успехи в Туркестане и Китае. Единство московитов, туркменов, монголов и китайцев в отношении расы... Необходимость для Европы приготовиться против непредотвратимого вторжения с Востока» (ГАСК. Д. 188. Л. 167). Рассказывая о племени Шамиля в 1859 году и выражении им верноподданничества русскому царю, что соответствует исторической правде (12, с. 173-174; 11, с. 200), полковник Лапинский иронизирует: «Герой Дагестана в плену и напевает хвалебные песни царю. Его мюриды записываются в казачьи полки; Грузия ждет с ужасом указа, отбирающего у нее ее оружие и ее национальные учреждения. Только горсть абхазцев противостоит еще чудовищному колоссу...» (ГАСК. Д. 188. Л. 167; Д. 164. Л. 122). Называя Россию «чудовищным колосом», автор признает ее могущество и вместе с тем отмечает непрочность «глиняных ног» империи.

Память автора неоднократно возвращается к колониальной истории России: Петр Великий и покорение киргизских казаков (Д. 188. Л. 168); И.С. Тургенев и теория «разделения земли» (Д. 188. Д. 170); Екатерина II и ее «заботы» о польской республике как первый шаг к разделу Польши (Д. 188. Л. 173). Упомянут и Наполеон I в связи с тревогой автора за судьбу Европы: «Величайший гений этого столетия Наполеон I сказал известные всему миру слова: «Через 50 лет Европа будет республиканской или казацкой» (Д. 188. Л. 173 б). Используя термины «казакизм» и «республиканизм», автор не в первый раз противопоставляет Европу дикой Азии. Впрочем, к неотесанным азиатам относит поляк и своих друзей по войне — турок, также противопоставляя их цивилизованной Европе: «Европейские языки, их алфавит и литература незнакомы этому народу, который до восточной войны имел ограниченные знания о существовании Европы и весь свет делил на русских и турок» (Д. 188. Л. 37). Любопытно, что Т. Лапинский на протяжении всех своих записок проводит идею о разделении народов Европы и Азии — «индогерманские (венедийские и арийские)», «уральские» и «туранские» народы...; «Индогерманцы — индиане (брамины), туранцы — белые монголы, китайцы — желтые монголы» (Д. 188. Л. 170), пытаясь определить в этой классификации место народов Кавказа.

Попытки поляка навести порядок в расположении рас и народов по отношению друг к другу неудивительны: в 60-е годы XIX века не существовали еще общепринятые классификации народов и языков на основе их генетического сходства, поэтому вслед за неким Душинским (Д. 188. Л. 170) полковник Лапинский вынашивал идею расового превосходства «индогерманцев» и пытался по-своему разобраться в расах и

народах Кавказа.<sup>4</sup> Достаточно проанализировать подзаголовки «отрывков» в рукописи, имеющие отношение к описанию им этнографических и лингвистических реалий Кавказа: «Народы Кавказа. Деление по расам и народным группам. Грузино-армяне (? — Г.Ч.). Абазы. Туранские народы. Русские и европейские насельники (поселенцы. — Г.Ч.) (Д. 188. Л. 1); «абхазы — индо-европейский народ, родственник жителям христианского княжества Абхазии с шуханатами и осетинами» (Д. 188. Л. 34-35); «абасехи, убухи, шапсухи, черкесы» (Л. 37-38); «Язык и диалекты Адыгеи. Письменность. Магометанские школы. Сказания и сказки. Толкователь слов. Сказание о Прометее...» (Л. 36); «... о языках в Кабарде и арабском письме, об использовании турецкого и русского языков» (Л. 37); «Короткий обзор новейшей истории Абхазии. Турки, тартары, черкесы... Христианство» (Л. 77); «О названии Абхазии турками (Черкасия)» (Л. 85 б); «шуганиты — христианский народ, живут среди адыгеев, диалект похож на убухский, но многие говорят на адыгейском языке» (Л. 159-160).

Можно представить, что изыскания польского офицера периода польской безгосударственности, ставшие достоянием общественности накануне пятого польского восстания 60-х годов XIX века, были новы и интересны для европейского читателя. В России же к этому времени уже было довольно много публикаций по этнографии и истории Кавказа, чего не скажешь о лингвистике. Так, А.В. Авксентьев называет среди первых источников сведений о народах Кавказа записки И.А. Гюльденштенда (1772-1773), опубликованные Г.Ф. Германом в 1809 году; описание путешествия по Кавказу акад. П. Палласа, изданное в Лейпциге в 1803 году на немецком языке; «Описание горских народов» П.С. Потемкина, генерал-поручика царской армии (1794 г.); записки на немецком языке врача Якоба Рейнеггса, опубликованные в С-Петербурге в 1796 году; путевые заметки Дж. Клапрота на немецком языке, опубликованные в 1812 году; исследования А.М. Шегрена (1846). Истории и этнографии адыгских народов были посвящены работы С.М. Броневского (1823), Ш.Б. Ногмова (1847), И.А. Добродеева (1828), Хан-Гирея (1841, 1842). К середине прошлого века в России были известны сборники адатов, составленные во Владикавказском округе и на Черноморской линии и систематизированные капитаном Генерального штаба М.Я. Ольшевским. Именно в эти годы активно работает над этнографией Кавказа А.П. Берже, публикует свою работу «Путешествие по Дагестану и Закавказью с картами, планами и видами замечательных мест» профессор Казанского и С-Петербургского университетов И.Н. Березин. Особо проф. А.В. Авксентьев отмечает публикации офицеров царской армии: штабс-капитана Генерального штаба К.И. Прушановского, офицера Нижегородского драгунского полка, позже — адъютанта заместителя Кавказа графа М.Б. Воронцова Лобанова-Ростовского, подполковника Генерального штаба Н. Околыничего, майора Татарова, офицера Г. Гордеева, погибшего в 1838 году во время разведки горных путей из Аварии в Кахетию. Интерес в списке вызывает фамилия поляка Бентковского, исследователя истории Северного Кавказа, сосланного в

этот край за участие в польском восстании 1830-31 гг., жившего в Ставрополе с 1857 года и активно публиковавшегося в «Ставропольских губернских ведомостях» (1, с. 4-100). Возможно, что где-то пути двух поляков, свидетелей Кавказской войны середины прошлого века, могли пересечься.

И все же, вопреки обилию информации о народах Северного Кавказа, которой располагали русские ко времени публикации дневника Т. Лапинского, этот исторический документ по-своему интересен исследователю: терминология в области лингвистики Северного Кавказа и этнографии не устоялась, поэтому в тексте дневника присутствуют странные на сегодняшний день этнонимы — грузино-армяне, индогерманцы, туранские народы, индияне, монголы белые и желтые, венецианцы, шуханаты и шуганиты, тартары, черкесы и черкасы, народ абхазы причислен к индоевропейцам.

Действительно, слово «черкес» в современной этнонимике имеет несколько другое значение, нежели в XIX веке, так грузины называли всех адыгов, нередко — всех горцев. Сегодня черкесы — новая адыгская народность, близкая по языку и культуре кабардинцам. В XVII-XVIII вв. «черкесами» называли украинцев, позже — «малороссами». Что касается «тартар», то, по-видимому, автор имел в виду общее название тюркских народов, которые до недавнего времени, действительно, назывались «татарами» («горские татары» — карачаевцы, балкарцы, ногойцы, «закавказские татары» — азербайджанцы). Термином «шапсухи» Лапинский называет народ «шапсуги», одну из субэтнических групп адыгейцев, «шуганиты» в современной этнонимике не фигурируют.<sup>6</sup>

Не только тонкостями военно-исторического и этнографического характера примечательна рукопись Лапинского. Представленная в архиве ГАСК в виде русского перевода, она интересна своими маргинальными текстами, которые составляют примечания автора, примечания и исправления редактора, языковые свидетельства работы переводчика<sup>7</sup>, пометы переписчика и др. Особый стиль концентрированного изложения тем повествования, заимствованный автором из приключенческой литературы XVIII-XIX вв., дает возможность читателю быстро сориентироваться в поиске необходимой информации. Этот прием — своего рода условия для быстрого чтения. Развернутые подзаголовки «отрывков», собранные вместе, дают краткое изложение основных тем дневника: географическая и этнографическая характеристика местности и населения, отношения польского отряда к русским и некоторое комментирование российской армии, дипломатические отношения с Турцией и ее военачальниками, дипломатические связи с горцами и Шамилем, в частности, судьба польского отряда после завершения военных действий. Маргинальные тексты — отличный источник сведений о русской, турецкой и местной кавказской лексике. Повествование на некоторых страницах, и без того интересных своей экзотикой, оживляется использованием художественных образов, восточных притч и армянских анекдотов. Приведем некоторые примеры: легенда об абхазах (Л. 36), сказание о Прометее в Адыгее (Л. 36), о празднике вознесения матери Божьей в Адыгее (Л. 53 б), русские де-

зертиры и военнопленные, их печальное положение (Л. 58), примеры поощрения и деморализации русских, обмен беглых рабов и беглых солдат (Л. 61), о военных арестантах в России, о женитьбе русских офицеров на девушках гарема паши (Л. 59 б), о пословице горцев «Я мирный, но мое ружье непокоренное» (Л. 69), реплика «Со времен царицы Екатерины II более полутора миллиона солдат погребено в горах Кавказа» (Л. 70), о кличке «шеф контрабандистов», данной русскими Т. Лапинскому (Л. 122), о сборе пошлины в горах и на Кубани (Л. 130), об обмене сына Шамиля на княгиню Чавчавадзе и Орбелиани и о смерти его в 1859 году от медленного яда (Л. 141 б), военный анекдот о хлебе и порохе (Л. 151), об «изящной птице» Измаил-паше и его приключениях (Л. 163) и др.

Некоторые детали маргинальных помет рукописи свидетельствуют о работе над ней ее читателей. Не случайно ведь она сохранилась в документах СКГНИИ, не случайно также наличие рабочей тетради (ГАСК. Д. 164), которая, судя по текстологическим приметам, является рукописью переводчика, а не переписчиков (сохранилась не полностью, соответствует листам 99-143 машинописного варианта). На наш взгляд, незнакомый читатель, по-видимому, работник СКГНИИ интересовался темой писем Шамиля. Действительно, упоминания о письмах Шамиля и его дипломатической деятельности присутствуют на многих страницах рукописи (Л. 77, 84, 96, 100, 105, 123, 113, 140, 141, 155, 158, 159, 167).

Фотокопии писем Шамиля и его набобов представлены в ГАСК в деле № 260, которое до сих пор значится как «Фотоснимки с рукописи на неизвестном языке». 24 копии размером 9x14 связаны плотной белой ниткой, заключены в самодельный конверт из бумаги картонного типа, на котором — три штампа ГАСК и бывшие архивные номера — 763 и 122. Все копии отражают поперечные и продольные сгибы писем, по которым можно определить размер посланий — от 2x3 до 3x9 и 4x8 см (в масштабе копии). Количество строк в письмах и записках — от 5 (Л. 9) до 19 (Л. 22). Все строки написаны по-арабски горизонтально, с диагональными надписями и приписками на полях некоторых писем (Л. 22, 2, 3, 5, 68 и др.). Основной почерк — скоропись, диакритические знаки на письме Л. 8. Печати в негативном воспроизведении на листах писем — 4 (овальная с двухъярусной записью имени), Л. 5 (две овальные печати, на одной из которых — два треугольника, образующие звезду), Л. 8 (прямоугольная печать с именем Шамиля), Л. 9 (маленькая овальная печать), Л. 24 (две печати — круглая маленькая и овальная большая с шестиконечной звездой и именем Шамиля в ней). Поскольку автор настоящего описания не владеет арабским языком, но может ориентироваться в арабских текстах по датам, именам и некоторым элементам грамматики, он лишен возможности ознакомить читателей с содержанием писем. Однако кое-какие детали могут принести пользу арабисту или историку, интересующемуся эпохой русско-турецко-шамилевской дипломатии. Почти все письма содержат формулы традиционного эпистолярного приветствия по-арабски. Арабские предлоги ориентируют читателя в отношении автора и получателей писем. Специфическое написание имени «Шамиль»

через арабский «вав» — Шамвиль, Шамуиль, характерное также для рукописи «Хроники Мухаммада Тахира», а также его титулы «эмир правоверных» и «имам» не дают усомниться в авторстве многих писем. Редкие даты относятся к 1272 году мусульманского исчисления, т.е. 1855 году н.э., Л. 2 содержит дату (? — Г.Ч.), написанную дробью как 610/1913. Интересно, что это письмо получено из Мекки. Возможно, оно может пролить свет на источник писем Шамиля.

Нам не известно местонахождение оригиналов писем, с которых были сделаны фотокопии СЕГНИИ и ГАСК. Возможно, они хранятся среди других документов Северного Кавказа, о которых писал И.Ю. Крачковский, в архиве Азиатского музея в С-Петербурге: «Мне прежде всего пришлось привести в порядок более чем тысячу рукописей так называемой Кавказской коллекции, поступившей с Кавказского фронта. Они каждую неделю доставлялись посылками в музей... Впервые для меня делалась наглядной картина литературной образованности в одной из провинции мусульманского мира <...> перед моими глазами проходили и учебники, и схоластические ученые произведения, одним словом — весь «круг чтения», которым до XX века питались целые поколения» (6, с. 94). Если след шамилевских писем не обозначается в настоящее время, фотокопии ГАСК, несомненно представляют научную и историческую ценность.

Отдельные письма наибов и Шамиля найдены нами среди фрагментов на арабском языке, собранных в дело № 262 и дело № 259 ГАСК. Рукописи № 262 и 259 до 2000 года не могли быть прочитаны и исследованы по одной простой причине: почти 70 лет они хранились с неправильным расположением листов, перевернутыми арабскими текстами, пропущенными листами, подшитыми в конце, середине или начале основного текста и др. Летом 2000 года автор этих строк с согласия работников архива заново скомпоновал листы рукописей, руководствуясь восточной пагинацией страниц. Как оказалось, рукопись 262 неоднородна. Соотносится с рукописями Д. 259 и Д. 261. Общее описание представлено в печати (11, с. 63-68), здесь обратим внимание на письма. Они содержатся на листах 31-21, 59-57, 23-01. Различима дата 1271/1853 г. Рукопись № 259 без начала (начальные 5 листов обнаружены Н.А. Кононировой в отделе редкой книги СГУ) представляет собой копию рукописи 262, доказательства чего надо искать на листе 4а и др. Мелкие детали текста, пометы на полях, стилистические особенности позволяют отнести содержание рукописей к периоду с 1824 года по 1869 год. Художественные вставки и описания сражений под руководством Гази-Мухаммада и Шамиля позволяют сопоставить рукописи с «Хроникой Мухаммада Тахира» и сочинением «Три имама». Кстати сказать, карандашная помета на листе 13 рукописного перевода «Хроники» (дело № 191) свидетельствует, что редактор перевода, осуществляемого в 30-е годы, также обратил внимание на необходимость сличения некоторых строк «Хроники» и «Трех имамов».

В качестве примера приведем письма наибу Чима (? — Г.Ч.), содержащегося на листе 8 рукописи 191 ГАСК: «От атабая наибу Чима. Мир Вам! Амины! За сим: недопустимо, чтобы ты срочно не прибыл в аулы, располо-

женные в районе реки Чой, ибо я выявил среди влиятельных людей аула лиц, которые настроены против твоей власти. По этому же делу необходимо прислать и кадия (судью. — Г.Ч.) Надира. Затем ты подумай о том, что сказал Магомет в своем ответе по твоему адресу «надо принять то, что служит общей пользе». Они желают тайно поддерживать связь с русскими, так как это и предсказано в Коране. Тебе необходимо пресечь все это. Ни перед кем не раскрывайся».

Языковые тонкости письма помогают определить автора письма: атабай, или верховный правитель одного из тюркских народностей Кавказа (ногайцы, кумыки, балкарцы и др.), просит наиба, наместника Шамиля, прибыть в район какой-то реки к местному населению. И название реки, и название территории — тюркского происхождения (чим, чой или чуй). Следовательно, в письме — свидетельство неповиновения одного из тюркских народностей или одного поселения власти наиба.

Настораживает и вызывает улыбку фраза из письма о предсказании в Коране союза с русскими. Между прочим, эта мысль неоригинальна. В России в конце XIX века были известны слова самого Шамиля, якобы сказанные им русскому царю: «Мой священный долг... внушить детям их обязанности перед Россией и ее законными царями. Я завещал им питать вечную благодарность к тебе, Государь, за все благодеяния, которыми Ты меня постоянно осыпаешь. Я завещал им быть верноподданными царям России и полезными слугами новому нашему отечеству» (12, с. 174). Прокомментируем слова старого Шамиля, если они были сказаны, таким образом: возможно, неадекватное отношение к Шамилю на его родине, в Дагестане и Чечне, объясняется его верноподданническими чувствами к русскому царю, принятием им «нового отечества» т.е. фактической изменой своему делу, своей борьбе. Недаром у горцев существует пословица «Я покорился, но ружье мое стреляет» (перифразировку пословицы см. у Лапинского).

О непримиримости в характере и менталитете горцев с русскими, передаваемой из поколения в поколение, можно судить по финальным словам героя киносценария 20-х годов некоего И.Г. Трабского под названием «Зелимхан» (вариант — «Алимхан»), сохранившегося в деле № 6 ГАСК. Детективно-публицистический сценарий, представляющий конгломерат беллетристики, документального очерка и народной легенды, посвящен депортации нескольких чеченских семей в 1905 году в Сибирь за уголовное преступление. Главный герой повествования на поприще произносит патетическую речь, обращаясь к односельчанам: «Когда наш народ волчью шкуру сбросит<sup>8</sup>, тогда Магомет этот карабин на дно речки бросит. А пока носить будет, крепко пусть его в руках держит» (Д. 6, Л. 76). Слова сказаны... Эхо раздастся и в начале другого тысячелетия, через сто лет после Зелимхана и через полтора века после Шамиля.

Другим доводом относительно неадекватности оценки Шамиля его соотечественниками является обращение к терминам мусульманских адатов, т.е. собраний обычного права, по которым отступник, вступивший в сношения с врагом, достоин презрения. А. Барабанов, переводчик печатной «Хроники Мухаммеда Тахира», в

примечаниях к переводу пишет: «В рукописи на полях сделана глосса: «Мюрид — на языке находящихся в вилайете Шамиля — это тот, кто трудится под управлением шариата и хотя бы внешне ему повинуется. Отступник (мунафик) — тот, кто склонился к неверному врагу или убежал к нему, или жил под его управлением, хотя и был бы по религии мусульманином» (10, с. 33). Обидное арабское слово «мунафик» (отступник), приблизительно соответствующее слову «гяур», известному по художественной литературе, вряд ли в открытую могло быть связано с имамом Шамиля. Его духовный сан, бывшее могущество и власть над горцами в середине XIX века, его «священные войны» против русских перевешивали в памяти потомков его пленение и примирение с «гяурами». Так ли это? Тема почти запретная и в России, и на Кавказе.

Мухаммед Тахир, писавший «Хронику...» в период 1851-1856 г., вносил в нее дополнения вплоть до своей смерти в 1882 г. Позднее, до 1904 года добавления в рукопись вносил сын Тахира. Трудно определить по причине отсутствия автографа, кому принадлежат следующие фразы: «Люди Дагестана в эту последнюю эпоху называли себя мусульманами. Но не было у них того, кто призвал бы их к выполнению предписаний шариата и запретил бы то, что отрицается исламом...» (10, с. 33). Безусловно, с таким явно оскорбительным намеком рукопись не могла быть опубликована российским правительством. В другой рукописи содержались нелестные для русских генералов эпитеты, похожие на проклятия: «проклятый Аргут», «собака Воронцов», «свинья Пулло», «проклинаемый Кюки» и др. Русские повсюду назывались «неверными» (10, с. 26). По свидетельству А. Барабанова, нашедшего в Махачкале письмо Мухаммада Мирзы Мавраева, который должен был представить рукопись в цензуру, для издания «Хроники...» необходима была тщательная редакция языка и стиля перевода. Мавраев пишет: «Я раньше хотел печатать «Блеск горских шашек», но печатание ее в данном виде невозможно. А если бы ты выбросил из нее то, что порочит российское правительство и переименовал бы ее название на «Кремни Дагестана» или что-либо подобное, я, может быть, смог бы взять разрешение для ее напечатания. Поистине, как часто цензура смотрит на название книги и на их начала и концы без внимательного рассмотрения того, что находится в самой книге. Пойми это, и с миром» (2, с. 25).

Цензура не разрешила печатать «Блеск дагестанских сабель...» (она же — «Хроника»), и рукопись была похоронена в цензурных архивах. В 30-е годы по инициативе И.Ю. Крачковского на основе известных 5 рукописей было подготовлено критическое издание, а в 1941 году издан перевод в исполнении А. Барабанова. Само собой разумеется, что все скользкие места, стилистические двусмысленности и пр. были ликвидированы. В связи с проблемой цензуры интересен вопрос о стиле Ворошиловских (Ставропольских) рукописей «Хроники», которые на сегодняшний день не прочитаны.

Что заставило автора настоящих заметок объединить под заголовком о научности, нравственности и правде имена академика Н.Я. Марра, профессора М.Н. Покровского, бывшего директора СКГНИИ Х.Д. Ошае-

ва, профессора СГУ А.В. Авксентьева, дагестанского имама Шамиля Али ал-Гимри с кавказскими хрониками поляка Т. Лапинского и ученого из Дагестана Мухаммеда ал-Карахи? Чем XX век на Северном Кавказе напоминает век XIX? Почему случилось так, что границу века XXI и XXII не перешагнули люди, бывшие некогда сильными и знаменитыми, а некоторые исторические произведения остались за бортом быстро текущего времени?

Обдумывая ответы на эти вопросы, автор прежде всего руководствовался своими впечатлениями от знакомства с архивными историческими документами фонда Р-1260 ГАСК, в котором каким-то чудом уцелели более 300 единиц архивных дел, в том числе рукописные монографии ликвидированного в 1937 году СКГНИИ, от знакомства с редкими изданиями научных книг библиотеки того же СКГНИИ, влившихся в фонды Ставропольской университетской библиотеки. Эти впечатления можно сравнить с чувствами археолога, нащупавшего в земле бесценные сокровища древности, или ощущениями золотоискателей Клондайка: просеешь тонны земли и песка, но найдешь клады и золото. Второе впечатление — с ощущением недоумения и досады — от знакомства с современными ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИМИ словарями и справочниками, в которых пытаешься найти редкие имена и произведения, но — тщетно. Нет в них места ученым, которые копались в пыльных архивах, собирали по крохам материал для исследований, высказывали идеи, которые не вписывались в рамки последующих теорий и учений.

Пересмотр проблемы НАУЧНОСТИ исследовательского труда, начатый в 30-е годы, имеет тенденцию волнообразно возрождаться в конце XX века. Новая вспышка оценочного характера научности возникла в конце 90-х годов. Если, например, имя Л.И. Климович в конце 80-х стоит в одном справочнике чуть ли не рядом с именами Маркса, Энгельса, Ленина (8, с. 34), то в другом справочнике, не менее солидном, это же имя удостоилось чести занять место в ряду авторов работ, «имеющих самое отдаленное отношение к науке» (4, с. 54). В связи с этим возникает вопрос — а где же ПРАВДА? В. Шукшин когда-то подметил: «Нравственность — это правда». Нет правды — нет нравственности. Вот почему подсознательно мы обратились к двум замечательным документам прошлого века — одно произведение написано офицером, сражавшимся на стороне Турции, военного противника России. Другое написано приближенным лицом мятежного горца, второго противника России в кавказской войне середины XIX века, дополнено другим горцем после поражения Шамиля. Оба произведения имеют интересную судьбу, их историко-филологический анализ может внести дополнительные документальные сведения, которые когда-нибудь лягут в основу многолетних исторических романов: русского писателя — о России на Северном Кавказе и кавказского писателя — о национальном герое горских народов. А пока — исторические документы, содержащие правду, какой должны отличаться любая история, хранят имена российских академиков, профессоров и поверженных героев Кавказа.

И последний комментарий: в одном из исторических доку-



ментов архива ГАСК читаем следующие слова: «Со времен царицы Екатерины II более полутора миллиона солдат погребено в горах Кавказа» (! — Г.Ч.). Где их могилы? Где обелиски? В каких библиотеках повести и романы о солдатах, погибших на Кавказе в прошлые века и в веке XX-ом! Может быть, стоит задуматься над вопросом — а почему забываются имена ученых, которые занимались языком, этнографией, историей Северного Кавказа и на слуху героические имена Ермолова, Клюки, Пулло, Граббе, Пассека, Бярятинского, Аргутинского и др.? Удивительное дело в связи с кончиной исторического романа и победой постмодернистских бестселлеров в современной художественной литературе России непревзойденными произведениями художественного творчества о Северном Кавказе остаются сочинения А. Пушкина, М. Лермонтова, Л. Толстого. Заданный вопрос — почему забываются имена? — никак нельзя адресовать ставропольским историкам-краеведам и удивительному человеку, неутомимому искателю Пятигорского музея-заповедника М.Ю. Лермонтова, главному хранителю фонда Н.В. Маркелову. В недавно вышедшем сборнике научно-методического семинара «Текстус» «Принципы и методы исследования в фило-

логии: конец XX века» опубликованы три статьи Н.В. Маркелова, заметки В.Н. Кравченко, зав. отделением Ставропольского государственного краеведческого музея им. Г. Прозрителева и Г. Пправе и теоретическое исследование зам. директора по научной работе этого же музея В.С. Плохотнюка, которые наглядно показывают потенциал ставропольских ученых, открывающих новые интересные страницы в истории Северного Кавказа 2 половины XIX века. В частности, особый интерес представляют сведения о поездке на Кавказ в 1859 году Александра Дюма, результатом которой явились три тома путевых заметок под названием «Кавказ», роман по мотивам повести А. Бестужева-Марлинского и публикация потерянного стихотворения М. Лермонтова. Маркелов приводит новые интересные сведения о «Несторе кабардинской истории» Шоре Ногмове, могила которого, кстати сказать, до сих пор не найдена.

Не могу не назвать еще два имени ставропольских ученых, зам. директора ГАСК В.В. Белоконов и профессора П.К. Чекалова, возрождающих научные традиции Северного Кавказа, восстанавливающих имена, временно забытые в истории кавказоведения XX века.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. А. Барабанов, определивший в 1940-м году перевод «Хроники...» как неточный и неоконченный, не знал, что перевод рецензировался и был сдан в печать еще в 1935 г. (ГАСК. Д. 120. Л. 48).
2. В настоящее время 3 рукописи на арабском языке, рукописный перевод «Хроники...» и его машинописные копии хранятся в ГАСК (Фонд Р-1260. Д. 261, 262, 259, 191, 193).
3. Т. Лапинский цитируется по рукописи ГАСК, хранящейся в документах СКГНИИ. (Фонд Р-1260. Д. 188, 164). Немецкий оригинал был издан в 1863 г. в Гамбурге. Русский перевод В.К. Гарданова (1995, Нальчик) хранится в Государственной Публичной Исторической библиотеке.
4. Тенденция европейских исследователей делить народы по расовому признаку имела следствием ряд оригинальных классификаций народов и языков в начале XX века, в том числе классификации П.К. Услара, А.М. Дирра, Н.Я. Марра и др.
5. Сравним деление народов Кавказа А.М. Дирром (6, с. 653). Классификации, основанные на противопоставлении «европейцев» и «туземцев», не дают оснований вычеркивать имена их авторов из истории науки.
6. В примечаниях Т. Лапинского (Л. 85б) Черкасия — турецкое название Абхазии. В современной терминологии «индоевропейской расы» нет. Есть «европеоидная». Термин «индоевропейский» применяется в лингвистике.
7. Текстологический анализ рукописей ГАСК Д. 164 и 188 позволяет утверждать, что первым переводчиком Т. Лапинского с немецкого на русский является носитель немецкого языка, но совсем хорошо владевший русским языком, не знавший турецкого и местных кавказских языков. Примеры стиля перевода см. на Л. 10, 37, 42, 48, 62, 67, 69, 80, 92 и др. («Полчаса впереди нас увидели мы» — исправлено редактором на «На расстоянии получаса пути мы увидели»; «гросс войска» исправлено на «главные силы»; «Цан-оглу» исправлено на «Зан-оглу»; «шапзухи» исправлено на «Шапсухи»; «сделала на меня впечатление» — «произвела впечатление»; «Um 7 ? Uhr» исправлено на «в 7 ? часов»; вместо «взимали пошлину» переводчик пишет «снимали пошлину»; вместо правильного «переправился» — «перебрел через брод»; фраза, звучащая впоследствии после правки как «Различные должностные лица действовали регулярно» в переводе почти не обработана: «Die Machkiamah, чиновники, судьи и Mur tazik действовали регулярно»).
8. Волк — символ чеченского эпоса, присутствует на гербе Ичкерии.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Авксентьев А.В. История изучения ислама на Северном Кавказе // Ученые записки Ставропольского государственного пединститута. — Ставрополь, 1971. — Вып. 1. — С. 4-100.
2. Барабанов А.М. Введение и перевод с арабского «Хроники Мухаммеда Тахира Ал-Карахи». — М.-Л., 1941. — С. 7-30.
3. ГАСК. Государственный архив Ставропольского края. Фонд Р-1260. Опись 1. Д. 6, 59, 195, 170, 120, 164, 188, 191, 193, 259, 261, 262.
4. Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. / Отв. ред. и составитель С.М. Прозоров. — М., 1998 — Вып. 1.
5. Кононирва Н.А. Библиотека Северо-Кавказского научно-исследовательского института в фонде отдела редкой книги Ставропольского государственного университета // Принципы и методы исследования в филологии: конец XX века. Сб. статей научно-методического семинара «TEXTUS». — СПб.-Ставрополь, 2001. — Вып. 6. — С. 646-666.
6. Крачковский И.Ю. Над арабскими рукописями. — М., 1965.
7. Лапинский Т. Горцы Кавказа и их борьба за свободу против русских. По собственным наблюдениям. — Перевод с немецкого издания 1863 г., Гамбург. Рукописи ГАСК. Д. 164, 188.
8. Народы мира: Историко-этнографический справочник / Гл. ред. Бромлей Ю.В. — М., 1988.
9. Ученые записки исторического факультета Р-на-Дону государственного пединститута. — Ростов-на-Дону, 1941. — Т. 1.
10. Хроника Мухаммеда Тахира Ал-Карахи о дагестанских войнах в период Шамиля. — М.-Л., 1941. (см. также: Труды института востоковедения АН СССР. — М.-Л., 1941. — Вып. 35.)
11. Чеснокова Г.Д. Особенности технологии исследования истории текста в современной текстологии // Принципы и методы исследования в филологии: конец XX века. — СПб.-Ставрополь, 2001 — Вып. 6. — С. 61-68.
12. Чеснокова Г.Д. Рецензия на книгу Чичаговой М.Н. Шамиль на Кавказе и в России // Текст: Узоры ковра. Сб. статей научно-методического семинара «Текстус». Актуальные проблемы исследования разных типов текста. — СПб.-Ставрополь, 1999. — Вып. 4. — Ч. 2. — С. 173-174.
13. Чичагова М.Н. Шамиль на Кавказе и в России: Библиографический очерк. — СПб., 1889. (Репринтное издание, «Тонар», 1991.)

## СТАНОВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ЯЗЫКА И ПРАВА

Е.Н. Атарщикова  
Ставрополь

Жизнь общества состоит из взаимосвязей элементов — взаимосвязей, часть которых осуществляется в ходе сиюминутных действий и реакций на них, а часть воплощена в виде устойчивых образований — в учреждениях и законах, установленных порядках о предметах собственности, в языке и средствах коммуникации. Все социальные взаимовлияния и взаимодействия возникают на основе определенных интересов, целей, стремлений, образующих в то же время единую ткань культуры, которая обретает свою общественную реализацию в действиях индивидуумов, выступающих рядом друг с другом и достигающих своих целей совместными усилиями, равно как и отстаивающих свои частные интересы и противоборствующих с остальными членами общества. Такой материал жизни общества может существовать достаточно долго, все то время, пока эти многообразные формы по очереди, время от времени вбирают его в себя; и наоборот, неизменная форма взаимовлияний может наполняться самими различными содержаниями.

Так, некоторые нормы и результаты общественной жизни в равной мере могут быть обусловлены как взаимодействием противоборствующих сил, так и регламентацией низших элементов социальной структуры высшими; многочисленные социальные интересы порой охраняются семейной организацией, чтобы впоследствии или в другом месте перейти под контроль чисто профессиональных объединений или государственной администрации. Одной из наиболее типичных форм общественной жизни, тех прочных, устойчивых жизненных норм, посредством которых общество обеспечивает целесообразное с его точки зрения поведение своих членов, является обычай — в обществах с низким уровнем развития культуры это вообще типичная форма регулирования социально необходимой деятельности.

Именно эти условия, необходимые для выживания общества, которые позже, с одной стороны, кодифицируются в виде права, и государственная власть обязывает соблюдать их, а с другой стороны, их выполнение во многом предоставляется на усмотрение отдельной личности, ставится в зависимость от их свободной воли, — в узких и примитивных социальных образованиях и структурах их соблюдение гарантируется с помощью того своеобразного надзора окружающих над индивидуумом, который зовется обычаем. Обычай, право, свободные нравственные убеждения индивидуума — все это различные способы связи социальных элементов, содержанием которых являются одни и те же заповеди, существующие у различных народов в различные времена.

Формы, посредством которых людское сообщество создает для себя гарантию правильного поведения индивидуума, не могут быть устойчивыми, если они не закрепляются в языке, который является уникальным средством хранения и передачи социальной информации, а также управления поведением личности.

Именно здесь его функции пересекаются с функциями права, накладываются друг на друга, взаимодей-

полняют друг друга. Трудно найти науку, которая имела бы такие многообразные связи с юриспруденцией, как языкознание. Это объясняется спецификой предмета науки — самого языка, и той областью человеческой культуры, которой занимается право. Язык, как и право, представляет собой прежде всего явление социальное, так как оба феномена создаются обществом, обслуживают его членов как основное средство общения и взаимодействия в обществе и является одним из необходимых условий существования государства.

Поэтому как право, так и язык входит в круг общественных дисциплин и связан с философскими, историческими и социологическими науками, также изучающими жизнь общества. Язык и право — специфически человеческое явление; язык — одновременно и продукт мышления человека, и материальная форма мышления, выражающая правовые нормы. С помощью языка люди выражают свои идеи, мысли, делая их доступными для себя и для других.

Поскольку язык и право представляет собой средство реализации человеческой мысли, они делают возможным само существование и развитие как культуры в целом, так и правовой культуры в частности. Оба феномена являются инструментом, регулятором во всех областях человеческой деятельности во всех областях.

В эпоху античности и в средние века языкознание и правоведение в Европе было неотъемлемой частью философии; они еще не отпочковались от нее в качестве самостоятельной дисциплины, что объяснялось господством философской мысли, с одной стороны, и неразработанностью самого языкознания, с другой.

Только в XVIII-XIX веках происходит становление языкознания и юриспруденции как самостоятельных отраслей науки, но их тесная связь с философией, логикой и психологией сохранилась.

Вопросы языкознания никогда не обходили вниманием крупнейшие мыслители прошлого, внесшие значительный вклад в самые разные области теоретического знания, особенно в сфере правоведения. Это обогащало науку о языке и праве, но вместе с тем затрудняло научное исследование, так как границы предмета науки оставались нечетко очерченными. Локк и Лейбниц, Пуфендорф и Гоббс, Гердер и Кант рассматривали проблемы языка в контексте правовой проблематики, а в своих правовых произведениях касались, в том числе, и вопросов о роли языка в жизни общества и государства<sup>1</sup>. Большой вклад в теоретическое осмысление проблематики языка внесли работы И.Г. Гердера «Исследование о происхождении языка», «Идеи к философии истории человечества», Ф.В.И. Шеллинга «Система трансцендентальной философии», Г.В.Ф. Гегеля «Феноменология духа».

Если говорить о языкознании, то первая попытка отделить эту область знания от общественных дисциплин относится к середине XIX века, к эпохе рас-

цвета естествознания, в развитии которого был произведен переворот благодаря учению Дарвина. Влияние дарвинизма сказалось и на науке о языке. В языкознании появилась натуралистическая школа, возглавляемая немецким ученым Шлейхером. Шлейхер пытался перенести законы биологии на «языковой организм», рассматривая языкознание как науку естественную. Для языкознания это не означало «освобождения», так как оно оказалось «в плену» у естественных наук.

Несколько забегаая вперед, отметим, что первые десятилетия двадцатого столетия проходили под знаком борьбы за обособление языкознания от смежных дисциплин, за размежевание, за точное ограничение предмета исследования. Крайним проявлением этого стремления был провозглашенный швейцарским ученым Фердинандом де Соссюром лозунг изучать язык «в себе и для себя» (2). Предоставив «беллетристам» заниматься смежными вопросами, такими, как связь с культурой, историей, правом и пр., названными им «внешней лингвистикой», Соссюр призывал лингвистов не выходить за пределы «внутренней лингвистики», под которой он понимал структуру языка. Эти положения легли в основу современного структурного направления. Структуралисты резко противопоставляют «внутреннюю лингвистику», или «микрولينгвистику», «внешней лингвистике», или «макрولينгвистике». Они стремятся изолировать языкознание от общественных дисциплин, в том числе и от правоведения и сделать это не только в отношении границ предмета, но и в отношении методов.

Однако, поскольку язык, как и право по своему происхождению, по своим основным функциям, по характеру своего развития и изменения — явление общественное, наука о языке относится, безусловно, к наукам общественным и тесно связана с правом. Как и всякая наука, она должна иметь свою область исследования. Таковой является язык как средство общения и выражения мыслей, что не в последнюю очередь связано с формулированием законов.

Из всех наук языкознание и правоведение наиболее органично связано с философией. Философия образует ту базу, на которой развивается языкознание и правоведение: она указывает принципиальные пути решения основных методологических проблем для обеих наук: сущности права и языка, роли права, развитие языка и права.

Поскольку сознание человека реализуется в форме языка, постольку ни одна философская система не может оставить без внимания вопроса, как в языке отражается процесс мышления, иными словами, процесс познания человеком окружающей его действительности. Это проблема решается в зависимости от исходной философской позиции, способность логического рассуждения. Диалектические идеи Канта и особенно его учение об антиномиях полностью определили исходные позиции герменевтики М. Хайдеггера и В. Гумбольдта. Из концепции Канта о равноправии объективно-чувственной и интеллектуально-понятийной сфер познания В. Гумбольдт выводит антиномии языка. В различных аспектах об-

наруживается единство противоположных признаков. Язык есть одновременно интеллектуальное и чувственное, деятельность и продукт деятельности, субъективное и объективное, индивидуальное и социальное, частное и общее, форма и сущность.

Язык и духовная деятельность (мышление) образуют такое единство, в котором они различаются и одновременно образуют тождество. «Язык народа, — утверждает Гумбольдт, — есть его дух, а дух народа есть его язык — трудно себе представить что-либо более тождественное» (1, с. 68).

Язык есть явление индивидуальное и одновременно социальное. Как деятельность духа, язык реализуется в индивидуальных актах речи; здесь он индивидуален как со стороны деятельности духа, так и со стороны артикулирования звука. Однако этот индивидуальный аспект языка целиком детерминирован социально-правовыми и экономическими условиями. Индивидуальное и социальное слиты в языке столь тесно, что нет возможности разграничить их.

Обосновав имманентную противоречивость понятий, суждений, мышления в целом, Гегель раскрыл тем самым их диалектическую сущность. Значимая сторона языка есть непосредственное выражение мышления, а суть языка Гегель видит в значении; этим самым Гегель подчинил диалектике и язык, что дало основание Е. Альбрехту заявить: «...понимание Гегелем языка глубоко диалектично» (9, с. 144).

В развиваемой В. Гумбольдтом теории языка обнаруживаются прямо противоположные суждения. Обратим внимание на два взаимоисключающие положения о связи языка с мышлением. Утверждая, что «язык связан с народным духом», Гумбольдт представляет язык лишь формой выражения последнего, его орудием, его оболочкой, будучи феноменом идеальным, дух лишь «связан» с языком, не включаясь в его сущность. «Язык, — утверждает Гумбольдт, — есть как бы внешнее проявление духа народа» (1, с. 71). Здесь дух явно вынесен за рамки языка. Эта позиция отражается и в толковании взаимоотношения содержательного (внутреннего) и формального (внешнего) аспектов речевого процесса: «Умственная деятельность, совершенно духовная, глубоко внутренняя и проходящая в известном смысле бесследно, посредством звука материализуется в речь и становится доступной для чувственного восприятия» (1, с. 75). Язык и умственная деятельность противопоставляются не только как внутреннее и внешнее, но и как два различных явления: «Умственная деятельность и язык способствуют созданию только таких форм, которые могут удовлетворить их обоим» (1, с. 71). Итак, умственная деятельность — это одно, а язык — это другое.

С другой стороны, Гумбольдт столь же убежденно и аргументированно отстаивает положение о неразрывном единстве языка и духовной деятельности народа: «Язык народа есть его дух, и дух народа есть его язык — трудно себе представить что-либо более тождественное» (1, с. 68). Следовательно, духовная деятельность и язык образуют тождество? «Хотя мы разграничиваем интеллектуальную дея-

тельностью язык, в действительности такого разделения не существует» (1, с. 68). Поэтому мыслительная деятельность не может совершаться без языка, ибо они — тождество. Из этого положения вытекает толкование слова как билатеральной единицы. Слово — не просто знак, а единство знака (звука) и значения (понятия). Он пишет: «В слове всегда наличествует двоякое единство — звука и понятия» (1, с. 90). Понятия и их соединения образуют «идеальную сторону языка». Вследствие этого языку приписывается «мыслящая, творящая сила», он понимается как «созидающий процесс». С этой точки зрения, язык выступает как явление билатеральное: «Уже в самых своих первичных основах образование языка есть синтетический процесс в самом точном значении этого слова, когда синтез создает нечто такое, чего не было ни в одной из соединившихся частей» (1, с. 107).

Таким образом, в теории языка В. Гумбольдта представлены два различных понимания природы языка (слова): в одном случае, он понимается как явление однородное, унитарное, материальное; в другом случае — как явление синтетическое, билатеральное, материально-идеальное.<sup>2</sup>

Во многом эти и другие идеи обусловили проблему толкования которая является одной из центральных в юридической науке и политике, поэтому, как было показано выше, не случайно с древнейших времен и по сей день она привлекает к себе самое пристальное внимание юристов как теоретиков, так и практиков.

Таким образом, философия и логика представляют собой науки, на которые правовед опирается в первую очередь при анализе выражаемого содержания.

Из числа правоведов первыми поставили вопрос о взаимодействии права и языка в процессе их естественного развития представители так называемой «исторической школы права», у истоков которой стоял К. Савиньи.

Историческая школа права возникла в Германии в начале XIX века из исторического направления в юридической теории, специфической формой которой она была и оставалась на протяжении всего своего существования.<sup>3</sup> С точки зрения генезиса исторической школы ее появлению теоретически предшествовали в философии идеи Г.В. Лейбница и Ш. Монтескье, а в области собственно юридической науки — эlegantная геттингенская школа. Обнаруживается и определенное взаимное созвучие некоторых положений исторической школы права, немецкого романтизма и немецкой классической философии (Ф.В.И. Шеллинг и Г.В.Ф. Гегель).

Хотя Г. Гуго как один из крупнейших представителей геттингенской школы и был во многом родоначальником идей, составивший теоретическую программу исторической школы, тем не менее ее непосредственными создателями являются все же немецкие юристы Фридрих Карл Савиньи (1779-1861) и Герог Фридрих Пухта (1798-1846), так как именно их работы и определили качественное своеобразие данной юридической теории как антитезы доктрины естественного права. Теоретическое кредо исторической школы было сформулировано ее осно-

вателем Ф.К. Савиньи в 1814 году в его знаменитом памфлетном сочинении «О призвании нашего времени в области законодательства и юриспруденции», направленном против брошюры А.Ф.Ю. Тибо «О необходимости одного общего гражданского права для Германии», в которой Тибо с позиций естественно-правовой доктрины выступил за полную отмену всей существовавшей в Германии в то время системы гражданского законодательства, видя в ней лишь результат неразумной замкнутости и безрассудного произвола.

По мысли Пухты, право основано не на разуме, а на свободе, поэтому из понятия разума нельзя прийти к понятию права. Для него без признания свободы как возможности выбора в принципе невозможно существование права. Только вследствие наличия свободы у человека он становится субъектом права. Из свободы как возможности воли вытекают все юридические отношения. Следовательно, согласно Г.Ф. Пухте, правоведы, «выводящие право из разума, находятся вне своего предмета; они или вовсе не доходят до понятия права или доходят, делая скачки» (6, с. 6). Более того, как подчеркивает Пухта, разум «не есть принцип свободы, а напротив, элемент, противоположный свободе и таковым являлся искони. Разумно только необходимое; поэтому философия, имеющая в виду исключительно «постижение разумного», должна отречься от постижения свободы; и если она для спасения своей универсальности все действительное включает в круг разумного: что разумно, то действительно и что действительно, то разумно (необходимо), то она лишает нас свободы, которую этим самым признает недействительной» (6, с. 5).

Отстаивая центральную идею исторической школы о национальном развитии права, Г.Ф. Пухта утверждает, что только с возникновением народов начинается собственная история права, становится возможным его чистое развитие. Для Пухты источником человеческого (т. е. естественного) права (в отличие от божественного, имеющего сверхъестественный характер и получаемого путем откровения), является народный дух, который трактуется им как сознание, «проникающее члены народа, как нечто общее, прирожденное им и делающее их духовно членами этого народа» (6, с. 22).

Однако то, что источником права является общее сознание народа, объединяющее людей в единый союз, основанный на телесном и духовном родстве, ведет к тому, что право одних народов по необходимости отличается от права других народов: «... особенность юридических воззрений также, как и язык, принадлежит к характерологическим признакам различной национальности. Как общность права есть одна из духовных связей, поддерживающей народ, так и своеобразное развитие юридического сознания образует один из элементов, отличающих один народ от других» (6, с. 22). В то же время необходимо отметить, что у Г.Ф. Пухты как и у Ф.К. Савиньи, учение о национальном развитии права не было теоретически узким, а характеризовалось широкой степенью эластичности объяснительных возможностей.

В частности, не игнорируя реальных фактов рецепции

права, которые были связаны в истории человечества с взаимодействием различных народов и не укладывались в рамки исключительно национального правообразования, Пухта, хотя и объясняет их через признание существования общечеловеческих связей, но делает это таким образом, чтобы тем самым теоретически не разрушить основополагающую идею исторической школы о национальном развитии права: «Сами народы представляют собою различные индивидуальности различного рода и направления. Эта индивидуальность составляет то, что мы называем характером народа, поэтому права народов различны; особенность народа проявляется в его праве точно так же, как в его языке и нравах. Различие прав может быть отчасти одновременное (между правами существующих народов), отчасти последовательное во времени. Уже у отдельного народа замечается это последовательное различие, право его переживает исторические периоды развития; такой процесс развития права бывает и в человечестве, в котором каждый народ имеет свое особенное участие. Каждый народ есть звено великой цепи, простирающейся от сокрытого во мраке начала сего века до его грядущего конца. Право отдельного какого-либо народа не есть право исключительно принадлежащее этой народной индивидуальности, оно таковым кажется, когда мы ограничиваемся современностью народов, в преемстве же народов оно одинаково принадлежит всему человечеству. Этот процесс развития права передается от одного члена к другому, от одного народа к другому, следующему за ним, отчасти инстинктивно, отчасти сознательно» (6, с. 20).

Возникнув из народного духа, право, по мысли Г.Ф. Пухты, не сводится только к законам, а выражается в трех формах: во-первых, как обычное право, то есть как непосредственное убеждение членов народа, проявляющееся в их действиях; во-вторых, как законное или промульгированное право, т.е. как осуществляемое верховной властью воплощение общей воли посредством законов; в-третьих, как право науки или право юристов.

Как отмечает Г.Ф. Пухта, наиболее непосредственно с народным духом, как источником всякого человеческого права, связано обычное право. В промульгированном праве согласование содержания закона с народным духом осуществляется таким образом, что «закон, изданный конституционным порядком, имеет уже силу права, общей воли, не ради содержания его, а по форме выражения» (6, с. 30). Данное понимание природы права для Г.Ф. Пухты с необходимостью предполагает, что право «создается впервые не государством, напротив последнее предполагает уже правовое сознание, право, в охранении которого состоит главная задача государства... Начало права лежит вне государства, причем имеется в виду не только сверхъестественное его происхождение — путем заповедей Божьих, но также и естественное — путем национальной воли. Эта воля не есть воля народа, как составной части государства, но народа, как естественного союза, составляющего фундамент

государства. Государство предполагает право, но в свою очередь служит необходимым восполнением последнего...» (6, с. 55).

Право и язык — те сферы, в которых отчетливо проявляется и реализуется себя историческое и культурное своеобразие народов: «Сами народы представляют собою различные индивидуальности различного рода и направления. Эта индивидуальность составляет то, что мы называем характером народа, поэтому права народов различны; особенность народа проявляется в его праве точно так же, как в его языке и нравах» (6, с. 55). Пухта отмечает, что подобно тому как общность права есть одна из духовных связей, поддерживающих народ, так и своеобразное развитие юридического сознания образует один из элементов, отличающих один народ от других. Когда один народ распадается на многие народы, то между ними замечается родство как в праве, так и в языке, но с другой стороны, каждый из этих народов будет в обоих отношениях развиваться своеобразным образом. Так, немецкому народу, подчеркивает Г.Ф. Пухта, соответствует немецкое право и немецкий язык, как достояние всех его племен и ветвей, на которые он распадается, но вместе с тем находим у каждого племени особенности как в праве, так и в языке, позволяющие признать их отдельными племенами. Право обладает своими провинциализмами так же, как и язык (6, с. 14-16).

Отдельные юридические положения, образующие право народа, находятся между собой в органической связи, объясняющийся прежде всего возникновением их из народного духа, ибо единство этого источника распространяется на все им произведенное. Однако, согласно Г.Ф. Пухте, этим не исключается несогласие, прерывающее гармонию отдельных частей права, так как и дух народа подвержен, по его словам, «разрушающим симптомам», что легче всего может случиться от неосторожных действий законодательной власти, когда законодатель «должную энергию заменяет произвольным нерадением, быстрое содействие — импровизацией юридических постановлений». Еще раз сопоставляя право и язык, Г.Ф. Пухта подчеркивает: как язык народа основывается на известных принципах и правилах, которые в нем самом лежат сокрытыми, но приводятся к сознанию и ясности посредством науки, так и право.

Особое внимание он уделял роли языка в процессе законодательства, указывая, что для законодательного права важнейшим средством познания служит слово, в котором оно выражено, документ, в котором оно изложено. С одной стороны, это — средство выявления самого простого и доступного всякому правового знания, но с другой стороны — «выяснение законодательного права соединено и известными особенностями затруднениями, преодоление которых предполагает не всем доступное знание дела».

«Сказанные затруднения, — пишет Г.Ф. Пухта, — вытекают частью из свойства вышесказанного важнейшего способа познания из слов закона, частью также из природы самого законодательного права. Что касается до первых, то прежде всего может быть сомнительной подлинность слов. Слова могут

быть намеренно искажены и чем старше закон, тем более это возможно. Эти сомнения могут касаться как всего документа в целом, так и отдельных слов и положений его. Научная деятельность, посредством которой должно быть достигнуто определение подобной подлинности, исследование верности документа в целом или в отдельных его частях, одним словом — критика и составляет юридическую задачу. Она необходима для всех юридических положений, дошедших до нас из документов (а также для правомочий, которые должны быть доказаны документами), а в особенности для законодательного права» (6, с. 18-20).

Кроме того, Г.Ф. Пухта указывает на то, что может быть сомнителен сам смысл слов. Слова служат выражением воли законодателя, которая должна быть определена, выведена из них, но законодатель может употребить слова, имеющие разные значения. «Это зло случается тем чаще, чем меньше составитель закона владеет языком или чем подвижнее будет дело законодательства, но и самое строгое внимание не всегда будет в состоянии устранить его. Исследование смысла слов, следовательно воли законодателя, называется интерпретацией» (6, с. 18-20).

Как нам представляется, этот представитель исторической школы права одним из первых в юридической науке поставил саму проблему интерпретации, применительной к сфере законодательства. Согласно его разъяснениям, интерпретация в праве основывается на научных принципах, поэтому ее следует отличать от установления смысла прежнего закона посредством позднейшего или посредством «общего народного убеждения». Такого рода толкование он называет легальной интерпретацией, разделяя ее на ту, которая исходит от законодателя и на ту, которая совершается путем «народного убеждения». Легальная интерпретация в его трактовке — это не что иное, как установление нового юридического положения (законодательного или обычного права), поставленного в такое отношение к интерпретированному закону, что при применении следует его рассматривать, как бы оно уже содержалось в этом законе.

Основы собственно интерпретации (которую для отличия от легальной Г.Ф. Пухта называет доктринальной) он выделяет следующие:

1. Смысл должен быть выведен из слов, он должен соответствовать им, ибо закон есть воля законодателя, выраженная в словах. Если бы оказалось, что законодатель хотел выразить совершенно другое, а не то, что он высказал, то его воля не имела бы силы, потому что она не высказана.
2. Наряду со словами интерпретация должна обращать внимание на другие обстоятельства, из которых выясняется воля законодателя: на юридические принципы, призванные им и из которых можно вывести данное определение, если иное понимание его слов казалось бы отклонением от них. А между тем, продолжает автор «Энциклопедии права», такое отклонение или вовсе не мыслимо, или по крайней мере не было никакого повода допустить его.
3. В процессе интерпретации следует обращать внимание на цель, которую имел в виду законода-

тель и вообще на все обстоятельства, которые могли иметь влияние на волю законодателя и из которых, следовательно, можно делать заключение о самой его воле.

Определение смысла закона из слов и по лингвистическим правилам Г.Ф. Пухта называет грамматической интерпретацией, определение же смысла по другим указанным основаниям — логической интерпретацией. Здесь Пухта подчеркивает недопустимость их изоляции друг от друга. Нельзя упускать из виду, подчеркивает он, что именно разрешение вопроса: «целесообразен ли смысл?» лежит уже вне сферы так называемой грамматической интерпретации.

Суть дела он видит здесь в следующем: когда в словах не заключается ничего сомнительного и принятие определенного смысла, вытекающего из них, не представляется невозможным или нецелесообразным, то не следует волю законодателя представлять сомнительной на основании вероятностей, получаемых по другим соображениям, ибо иначе в действительности невозможно было бы даже при самом тщательном выборе выражений обеспечить имеющийся в виду смысл закона от произвольного толкования. Поэтому, подчеркивает Г.Ф. Пухта, о разделении грамматической и логической интерпретации в вышеупомянутом смысле не может быть и речи.

Он отмечает также и то, что может возникнуть сомнение в существовании самого закона как действующего в настоящее время. Его внешнее существование в письме, из которого он познается, продолжается также и после его отмены: никто не видит в тексте документа, содержащем закон, что он заменен другим позднейшим законом. Поэтому недостаточно знать один только закон, устанавливающий юридические положения для известного отношения, нужно быть еще знакомым со всеми законами, чтобы не впасть в ошибку — считать отмененный закон за действующий. Совсем другое при обычном праве; если оно изменяется, если вместо прежнего является другое убеждение, то прекратится и внешнее проявление, соблюдение прежнего юридического положения (6, с. 22-24).

Интересны рассуждения Г.Ф. Пухты о том, что одно из затруднений, которые представляет познание законодательного права, вытекает из природы самого права. «Закон возникает посредством промюльгации (установление юридического положения согласно конституции) и публикации (обнародования его), следовательно, посредством определенного акта в определенное время. Закон получает свою силу и применяется с момента публикации, если законодателем не назначен позднейший срок (т.е. не определена *vacatio legis* после публикации) или, наоборот, начало действия закона приурочено бывает к прошедшему моменту. Этот последний случай молчаливо заключается уже в том, что закон издается в виде аутентической интерпретации прежнего закона. Его определение должно так рассматриваться, как бы уже оно содержалось в прежнем законе, поэтому он с этого времени должен применяться везде, где наступает применение

прежнего закона; случаи, подлежащие прежнему закону, будут решаться по-новому. Затем каков ни был момент, с которого начинается действие закона, момент ли обнародования или какой-либо другой, ранний или позднейший, закон может быть применен только к случаям, наступившим после этого момента, а не к бывшим прежде. Как ни просто это правило, однако его применение может быть иногда затруднительно вследствие неизвестности, относится ли известный случай к *facta futura* или *praeterita*, именно, когда подлежащий обсуждению случай обнимает не один момент, а целый период времени, к которому относится начало закона. Закон, например, изменит время, с истечением которого должно приобретаться или уничтожаться какое-либо право, то как применять его к таким случаям, где это время уже началось, но еще не окончилось? Или он изменит последствия какого-либо факта, которые не вполне еще образовались или еще не наступили?» (6, с. 26).

При решении этих вопросов, указывает Г.Ф. Пухта, нужно обращаться преимущественно к природе фактов, о которых идет дело, но при этом учитывать следующие два правила: 1) неоконченный еще факт не может называться установленным фактом, 2) права уже приобретенные, хотя бы время их исполнения еще не наступило, не должны лишаться своей силы применением нового закона (6, с. 26-27).

Особое значение имеет правовая интерпретация в судебной деятельности. Часто судье приходится обсуждать отношения, с которых не содержат точного постановления ни обычное право, ни законодательство. Здесь, справедливо отмечает Пухта, дело науки как третьего источника права дать судье юридические положения, по которым он решал бы дела.

Согласно своеобразной позиции младшего представителя исторической школы, эти положения не основываются на внешнем авторитете, а имеют силу настолько, насколько вытекают с внутренней необходимостью из принципов существующего права и потому имеют такое же значение, какое и положения, коренящиеся в народных убеждениях и законах. «Это право познается по внутренним основаниям; невозможно преподавать для этого познания с известной полнотой особенных правил; вся наука должна служить руководством для этой цели. Каждый юрист, каждый судья призван к этому; в этом случае помогает также юридическая литература. Предположение в пользу научной истинности известного положения возникает вследствие единомыслия знаменитейших юристов и продолжительного его применения в судах; но ни распространенность известного научного взгляда, ни практика сами по себе не имеют авторитета; оба они должны уступить лучшему способу познания истины там, где дело идет о научном праве. Обычное право и законодательное, именно в юридических положениях, способных иметь более внутреннюю основу, должны получить последнюю путем науки; только таким способом обработки, посредством которого дойдем до сознания внутренних основ, мы обеспечим верное понимание непосредственного народного права и законов» (там же).

Все эти рассуждения немецкого правоведа показывают, что специальная разработка проблем интерпретации в праве, к которой он специально не обращался, становилась все более и более актуальной. Многие правоведы, как в Германии, так и в других странах, со вниманием вместе с тем критически отнеслись к теоретическим выкладкам Г.Ф. Пухты. Во многом это объясняется их расхождением с ключевыми позициями исторической школы Савиньи.

Примером может служить работа Р. Иеринга «Борьба за право».

Критикуя основные положения исторические школы, Р. Иеринг писал: «Согласно этой теории, право образуется столь же незаметно и безболезненно, как и язык; для него не требуется напряжения, борьбы, не требуется даже искания: здесь действует тихая сила истины, без потрясений, медленно, но верно пробивающая себе дорогу, власть убеждения, постепенно покоряющего людей и получающего себе выражение в их деятельности, — новое положение столь же легко вступает в жизнь, как какое-нибудь грамматическое правило. По такому воззрению положение древнеримского права, что властолюбивец может продать несостоятельного должника в иноземное рабство или что собственник может оспаривать свою вещь у всякого, у кого он ее найдет, должно было образоваться в древнем Риме таким же, по всей вероятности, путем, как правило, что *sum* управляет творительным падежом» (2, с. 387-388).

Приведем еще один характерный фрагмент, в котором речь идет о проблемах права, языка и интерпретации: «Человеческому уму, бессознательно работающему над образованием языка, не приходится при этом преодолевать каких-либо враждебных противодействий; у искусства не бывает никакого другого врага, кроме его собственного прошлого, представляемого господствующим вкусом. Право же, как целевое понятие, будучи поставлено среди хаотического движения человеческих желаний, стремлений, интересов, постоянно должно ощупью отыскивать надлежащий путь, а, отыскав его, уничтожать преграждающие его препятствия. Нет сомнения, что и развитие права точно так же отличается закономерностью, единством, как и развитие искусства и языка; тем не менее оно весьма отличается от последнего по способу и форме своего проявления, так что в этом смысле мы должны решительно отвергнуть выставленную Савиньи и так быстро получившую всеобщее признание параллель между правом, с одной стороны, языком и искусством — с другой. Ложная, но безопасная как теоретическое воззрение, в качестве политического принципа параллель эта заключает в себе одно из самых роковых заблуждений, какие только можно представить: в области, где человек должен действовать, притом действовать с полным, ясным сознанием цели и с приложением всех своих сил, она успокаивает его тем, что все здесь делается само собою, что самое лучшее для него сложить руки и с полным доверием ожидать того, что мало-помалу будет произведено на свете народным правовым убеждением, этим якобы первоисточником права» (2, с. 389-390).

В эту полемику включились и русские правоведы и философы права. Нужно сказать, что влияние исторической школы в России было достаточно велико, а потому проблематика отношения языка и права не была абсолютно новой и неизведанной. Так, ученик Савиной К.А. Неволин, разрабатывая энциклопедию законоведения, выводил право из того факта, что по «самой природе своей нравственные существа находятся в необходимом общении со всеми нравственными существами» (3, с. 40). Важнейшим средством такого общения является язык, поэтому он важен для познания сущности права и для интерпретации его норм (правда, сам Неволин не употреблял еще этого термина).

В своем философском учении о праве В.С. Соловьев различал право положительное и право естественное. Возникновение права Соловьев также трактует в духе идей исторической школы права. «Право, — отмечает он, — возникает фактически в истории человечества наряду с другими проявлениями общечеловеческой жизни, каковы язык, религия, художество и т.д. Первоначально право как «непосредственная деятельность родового духа» — это обычное право, но в нем уже есть естественное начало, т.е. начало справедливости, которое действует здесь не как теоретически сознаваемый мотив, а как непосредственное практическое побуждение» (2, с. 441-446).

Сходным образом высказывался также и Е.Н. Трубецкой: «Подобно языку и нравам, право развивается естественно, само собою; никакой законодатель не в состоянии остановить этот естественный рост права или существенно изменить его направление. Рядом с писанным законодательством существует обычное право, в котором находят выражение веками сложившиеся обычаи и воззрения народа; законодатель, который не захочет считаться с этими вековыми обычаями, бывает обречен на бессилие» (8).

И все же разработка специального методологического инструментария правовой интерпретации оказалась связана только со становлением феноменологического учения уже в XX столетии.

Именно для этого учения оказались особенно важны вопросы о месте и роли языка в жизни социума и в историческом становлении общественных и государственных институтов. Мы видели, что в истории правовой науки — как в теории права, так и обществознании — отчетливо формируется потребность в постижении внутренней взаимосвязи языка и социальных феноменов и на этой основе разработки и лингвистики, и социально-политических и социально-правовых учений.

Уже у Шлейермахера имели место попытки выделения предметно-содержательной стороны текста и ее отношения с индивидуально-личностным подходом в истолковании социальных и социально-правовых феноменов. Представляется, что именно в этом пункте зарождалось отличие гуманитарной трактовки объективности от естественнонаучной, которое привело в дальнейшем к осознанию специфики интерпретаторской работы с правовыми текстами, где основными процедурами являлись: абстрагирование субъекта из предмета познания,

элиминирование всех субъективных моментов, адекватность познания, изучение роли языка в становлении интерпретируемых социальных и социально-психологических феноменов и т.п.

Предшественником феноменологических разработок в области методологии научного познания был немецкий ученый прошлого века Ф. Brentano. С учетом достижений немецкой классической философии Brentano опирался на содержание докантовской философии, прежде всего — Аристотеля. Основанием для принципиального различия физического и психического мира, по Brentano, является интенциональность психических феноменов, под которой понималась изначальная направленность сознания на объект. В основе понятия истины, согласно Brentano, лежит переживание очевидности. И именно это должно стать основанием для всякой интерпретации социальных феноменов.

В своем стремлении теоретически оправдать методологическое своеобразие наук о духе Дильтей отделяет отношения духовного мира от причинных взаимосвязей природы, полагая, что первые являются жизненно-историческим процессом, а не простой констатацией фактов. Исторические науки, согласно ему, лишь продумывают то, что мыслится в жизненном опыте. Это определяет суть объективности в гуманитарном познании. В связи с этим он выдвигает метод «понимания» как непосредственного постижения жизни. Целостность исторических образований Дильтей рассматривает через призму целостности человеческой личности.

Именно эта идея целостности личности должна была, по мысли немецкого мыслителя, стать ведущей в процессе конструирования правовой теории.

Плодотворной в решении данной проблемы является деятельность феноменологической школы, связанной с идеями Э. Гуссерля. Наивные рассуждения об объективности, считает Гуссерль, упускают из поля зрения конкретно-деятельную субъективность. Его идеи придали совершенно новый фон вопросам объективности в гуманитарных науках, ибо понятие научной объективности оказалось лишь частным случаем объективности жизненного мира. Тем самым утверждается, что объективность имеет место не только в рациональном отношении к миру, но и в иррациональных моментах самой жизни, что позволяет говорить о целостности жизненного мира.

Под влиянием идей Э. Гуссерля феноменологический метод интерпретации правовых явлений разрабатывал видный немецкий правовед конца XIX века А. Рейнах. В основу феноменологии Рейнаха, в которой можно усматривать некоторые варианты позднейшей герменевтики, был положен принцип построения априорного учения о праве. Его подход предполагал необходимость первоначального исследования гносеологических и лингвистических предпосылок постижения права в качестве фундамента правовой теории. Вместе с тем правовое учение Рейнаха, формировавшееся под мощным влиянием идей кантианства, было отмечено значительной печатью субъективизма.

Под влиянием идей феноменологии Э. Гуссерля развива-



лась и методология другого видного немецкого мыслителя — Макса Шелера. Ставя задачей преодолеть с помощью феноменологического метода абстрактность кантовской этики, Шелер разрабатывал вопрос об иерархии объективных ценностей. Ввел различие между абсолютными ценностями и «эмпирическими переменными», утверждая, что относительны не ценности, а их исторические формы. Феноменологическую редукцию, предложенную Гуссерлем в качестве метода достижения чистого сознания, Шелер трактовал как своеобразный акт сопричастности бытию, «прорыв к реальности». Для творчества М. Шелера характерна тема противопоставления идеального мира ценностей и наличного реального бытия. Поэтому в интерпретации права и разработке вопро-

сов о роли языка в праве Шелер исповедывал ярко выраженный аксиологический подход.

На этом фоне впечатляющей была разработка данной проблемы М. Хайдеггером. Суть его «герменевтики фактичности» состоит в том, чтобы в разработке герменевтической рефлексии научная тема гарантировалась самими фактами. Понимание смысла текста должно прежде всего быть заверено системой фактов и осуществляться с «методологической осознанностью». А это есть не что иное, как требование объективности в гуманитарном познании. Хайдеггер и Гадамер стремились преодолеть субъективизм герменевтической методологии своих предшественников, особенно там, где речь шла об истолковании социальноправовых феноменов.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

1. В качестве примера см.: 2, с. 251.
2. В.М. Павлов считает, что «в теории В. Гумбольдта гораздо сильнее выступает направленность на неразличимое слияние мышления со смысловой стороной языка. Язык представлен как отношение «звук: мысль», ... как отношение «звучание :: мышление» (5, с. 154).
3. Подробнее см.: 4, с. 96.

#### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. — М., 1984.
2. История философии права / Под общ. ред. В.П. Сальникова. — СПб., 1998.
3. Неволин К.А. Энциклопедия законоведения. — Киев, 1838.
4. Новгородцев П.И. Историческая школа юристов ее происхождение и судьба — М. 1987.
5. Павлов В.М. Проблема языка и мышления в трудах В. Гумбольдта и внегумбольдтианском языкознании // Язык и мышление. — М., 1967.
6. Пухта Г.Ф. Энциклопедия права. — Ярославль, 1872.
7. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. — М., 1916.
8. Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. — СПб., 1998.
9. Akbrecht E. Sprache und Philosophie. — Berlin, 1975.

## ГЕНДЕР КАК КОГНИЦИЯ: СТАНОВЛЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В ЛИНГВИСТИКЕ ТЕКСТА

О.М. Бочарова  
Л.Ю. Буянова  
Краснодар

В различных современных науках существует несколько концепций гендера. Это обусловлено, в первую очередь, относительной «молодостью» гендерного подхода (первые работы появились около двадцати лет назад).

Базовым положением в исследовании этой проблемы является различие понятий пол (sex) и гендер (gender). Пол — это термин, который обозначает те анатомо-биологические особенности человека (в основном — в репродуктивной системе), на основе которых люди определяются как мужчины или женщины. Его следует употреблять в отношении только тех характеристик и поведения, которые вытекают непосредственно из биологических различий между мужчинами и женщинами. Гендер — это сложный социокультурный конструкт, который включает в себя различия в ролях, поведении, ментальных и эмоциональных характеристиках мужчин и женщин.

В рамках этого подхода гендер понимается как организованная модель социальных отношений между женщинами и мужчинами, не только характеризующая их межличностное общение и взаимодействие в семье, но и определяющая их социальные отношения в основных институтах общества (а также и определяемая — или конструируемая ими). Гендер, таким образом, трактуется как одно из базовых измерений социальной структуры общества, которое вместе с другими социально-демографическими и культурными характеристиками (раса, класс, возраст) организует социальную систему.

Гендер конструируется через определенную систему социализации, разделения труда и принятые в обществе культурные нормы, роли и стереотипы, которые в определенной степени определяют психологические качества (поощряя одни и негативно оценивая другие), способности, виды деятельности, профессии людей в зависимости от их биологического пола. При этом гендерные роли и нормы не имеют универсального содержания и значительно различаются в разных обществах. В этом смысле быть мужчиной или женщиной означает вовсе не обладание определенными природными качествами, а выполнение той или иной социальной роли.

В современных социально-гуманитарных исследованиях гендер как понятие используется не как неизменная и универсальная конструкция. У некоторых исследователей понятие гендер означает не вещь или предмет, не много вещей или предметов, а комплексное переплетение отношений и процессов. Необходимо «мыслить отношениями», чтобы из аналитической категории гендера вывести культурную реальность — как в прошлом, так и в настоящем (3, с. 20).

Понятия «феминный» и «маскулинный» стали активно использоваться вместе с разработкой концепции гендера и употребляются в гендерных исследованиях для обозначения культурно-символического смысла «женского» и «мужского».

Выделяются социокультурные, психологические и лингвистические аспекты гендера. «Большой толковый социологический словарь» дает следующее определение: «Гендер (gender) 1. (Общее значение) — различие между мужчинами и женщинами по анатомическому полу. 2. (Социологическое значение) — социальное деление, часто основанное на анатомическом поле, но не обязательно совпадающее с ним. Таким образом, социологическое использование термина может отличаться от повседневного.

Социологи и социальные психологи утверждают: пол относится к биологическим характеристикам, в соответствии с которыми люди делятся на категории «мужчина», «женщина» или в редких случаях «гермафродит» (когда характеристики обоих полов фактически или явно объединены), а гендер — к социальным и социально-психологическим атрибутам, подразделяющим людей на категории «мужской», «женский» или «гермафродитный» (когда характеристики обоих гендеров преднамеренно или непреднамеренно объединены)» (1, с. 109). По мнению многих социологов, в социологическом дискурсе гендер должен применяться тогда, когда он касается социально созданного деления общества на тех, кто относится к мужчинам, и тех, кто — к женщинам. В то время как «мужчина» и «женщина» являются терминами, репрезентирующими биологические различия между ними, а также между мальчиками и девочками, «мужское» и «женское» относится к сформированным культурой чертам поведения и видам темперамента, считающимися социально-соответствующими полам.

Авторы «Большого толкового социологического словаря» подчеркивают, что «гендер определяется не биологически, а социально и посредством культуры, являясь культурно и исторически относительным. Его значение, интерпретация и выражение изменяются и внутри, и между культурами, служа объектом исторических перемен. Социальные факторы — класс, возраст, раса и этнос — тоже образуют особое значение, выражение и опыт гендера, выделяя тот факт, что его нельзя уравнивать каким-либо упрощенным способом с полом или сексуальностью» (1, с. 109).

Современное обществознание последовательно и весьма продуктивно разрабатывает данное понятие как одно из важнейших для анализа оснований социальности и ее форм. Смысл понятия «гендер» заключен прежде всего в идее социального моделирования или конструирования пола. Социальный пол конструируется социальной практикой. В обществе возникает система норм поведения, предписывающая выполнение определенных половых ролей; соответственно возникает жесткий ряд представлений о том, что есть «мужское» и «женское» в данном обществе. «Гендер — совокупность социальных репрезентаций, а не природой закрепленная данность. Гендер — культурная маска пола, то, что мы думаем о поле в границах наших социокультурных представлений. Более того, пол и есть

только гендер, т.е. то, что стало полом в процессе его социализации» (7, с. 178). Не гендер принадлежит человеку, а человек гендеру. Он определен политической, социальной властью и языком. В современном обществе все труднее провести границу между биологической предопределенностью пола и его социальным моделированием.

При всем многообразии подходов и позиций в отношении определения гендера имеет смысл выделить две концепции: теорию социальной конструкции гендера и теорию гендерной системы.

В логике первого подхода (гендер как социальный конструкт) называют три группы характеристик: биологический пол, полоролевые стереотипы, распространенные в том или ином обществе, и т.н. «гендерный дисплей» — многообразие проявлений, связанных с предписанными обществом нормами мужского и женского действия и взаимодействия. Понятие «гендерный дисплей» введено И. Гоффманом и выражает множество проявлений культурных составляющих пола. В соответствии с данным подходом гендер предстает как измерение социальных отношений, укоренившееся в данной культуре (см.: «Современный философский словарь», 1998).

Понятие «гендерная система» включает разнообразные компоненты и по-разному определяется разными авторами. «Гендерная система есть совокупность отношений между полами (и внутри полов). Поскольку гендерная система предполагает гендерное измерение публичной и приватной сферы, соотносит систему гендерной иерархии с другими социальными иерархиями и системами доминирования, то в анализе такого рода большая роль отводится изучению роли социальных институтов, реализующих гендерные технологии» (7, с. 179). Властные смыслы гендерных отношений во многом открылись в развитии именно такого подхода. Так, пологендерная система конструируется как набор соглашений, которыми общество трансформирует биологическую сексуальность в продукт человеческой активности.

Д. Лорбер показывает предпосылки и компоненты гендера. Их можно представить как этапы становления гендера как статуса и структуры:

— пол (sex) как биологическая категория — непосредственно данное сочетание генов и гениталий, дородовой, подростковый и взрослый гормональный набор;

— пол (sex) как социальная категория — предназначение от рождения, основанное на типе гениталий;

— половая (sex — gender) идентичность — осознание себя как представителя данного пола, ощущение своего женского или мужского тела, осознание своей принадлежности к полу в социальном контексте;

— пол (gender) как процесс — обучение, научение, принятие роли, овладение поведенческими действиями, уже усвоенными в качестве соответствующих определенному гендерному статусу;

— пол (gender) как статус и структура — завершение оформления гендерного статуса индивида как части общественной структуры предписанных отношений между полами, особенно структуры господства и подчинения (см.: «Современный философский словарь», 1998).

Гендер как культурная метафора осмысливается в философии постмодернизма и является еще одним весьма продуктивным аспектом анализа предмета, который в большей степени выражает культурно-символическую природу гендера. Наличный культурно-символический гендерный ряд представляет не всегда явные ценностные ориентации и установки, оформляет образы феминности и маскулинности в их социокультурной конкретике, выражает культурно-символическую иерархию внеполовых дихотомий, которые оказываются предзаданы всей онтологией мужского и женского. Встроенность мужского и женского как онтологических начал в систему других базовых категорий трансформирует и их собственный, первоначально природно-биологический смысл. Пол становится культурной метафорой, а данная метафора способна выполнять функцию не только описания, но и оформления социальной реальности. Данная линия анализа развивается в основном французской постструктуралистской традицией, где весьма заметно влияние идей Деррида.

В несколько иной терминологии эта же линия анализа гендера развернута в аспекте изучения полового символизма. Так, этнографы, исследуя на своем материале проблемы половой дифференциации в рамках изучения брачно-семейной обрядности, воспитания детей и т.д., заострили внимание на формах полового символизма и показали, что тотальная половая дифференциация представлена и закреплена на первичных уровнях человеческого существования через половой символизм. Символика мужского и женского, данная через противопоставление, выполняет классифицирующую роль в построении модели мира. Мощностью и разрешающей силой оппозиции мужское / женское заложена в том, что полярность требует активного, творческого взаимодействия оппозитивов, что является сутью творения, существом мира и его гарантом. Отсюда универсализующая роль классификации по признаку мужское / женское, когда под нее подстраиваются объекты, явления и действия, реально с сексуализацией универсума не связанные. Так, на уровне культуры весь мир (и природный, и вещно-предметный) оказывается сексуализированным, т.е. разделенным на две части по признаку мужское / женское.

Категория «гендер», введенная в понятийный аппарат науки в конце 60-х — начале 70-х гг. и используемая сначала, как мы уже говорили, в истории, историографии, социологии и психологии, была воспринята лингвистикой и оказалась плодотворной для прагматики и антропоцентрического языкознания в целом.

В конце XX века беспрецедентно расширились масштабы лингвистических исследований в области гендерной проблематики.

На ранних же этапах изучения проблемы, как отмечает Ганжина И.М., научные работы в данной области, «по сути, являются комментариями по вопросу о речевом этикете девушек и молодых женщин. Так, Вайвз (Vives, 1523) в своей публикации «О воспитании женщины-христианки» (*De Institutione*

*Christianae Feminae*) представил замечания по поводу речевого поведения женщины того времени. Это всего лишь небольшое исследование на тему гендера в языке на тот момент, однако то, как обществом рассматривалась проблема «лингвистического поведения» (*linguistic behaviour*) женщины, несомненно, представляет огромный интерес с исторической точки зрения» (2, с. 12-13).

К концу XIX в. в лингвистической литературе в первый раз четко был поставлен вопрос употребления обобщающего местоимения *he* — проблема, которая и по сей день остается актуальной, например, «*the student should leave his coat at the back of the hall*».

На следующем этапе (1900 — конец 1960-х гг.), в соответствии с классификацией Клива Грея, работа велась по следующим направлениям: гипотеза о кардинальном различии мужского и женского типов речи; вопрос валидности новых словоформ, таких как *doctress*, *authoress* и т.д. (8). Развитие проблемы безличных местоимений: употребление *you* вместо *one* (характерного аристократической речи); работы на тему коннотативных различий словоформ *lady* и *woman* и другие свидетельствуют о потенциале, динамике и эволюции гендерной проблематики в современной теории языка.

Одним из аспектов гендерной лингвистики 1970-х гг. стала теория противопоставления «женского сотрудничества» (*female cooperativeness*) «мужскому соперничеству» (*male competitiveness*) в речевом поведении. Английские исследователи (Коатс Дж., Камерон Д.) утверждают, что по своей сути английский язык изначально предрасположен к установлению превосходства мужчин в обществе (9; 10). Это заявление спровоцировало бурную дискуссию по проблеме: действительно ли подобные явления обусловлены тем, что язык творит реальность, или же слова, которые люди имеют в своем распоряжении, иррелевантны к мыслительным процессам.

Интересен тот факт, что в 1975 году Министерство труда США приняло решение о пересмотре профессионально-номинативной номенклатуры с целью избежания сексистских названий профессий.

Следующий этап гендерных исследований датируется началом 1980-х гг. вплоть до 1985 г. К этому времени

уже появилось большое количество трудов по целому ряду аспектов: по социолингвистике, психолингвистике, лингвистике человеческой мимики и жестов и т.д., которые так или иначе затрагивают вопросы гендерной лингвистики. Одними из наиболее актуальных направлений, по мнению А.В. Кирилиной, были: сексизмы в языке (например, вопрос употребления *Ms*), социум и сексизмы (ситуативные варианты мужской и женской разговорной речи), межполовое взаимодействие и коммуникативная компетенция (непонимание между полами), специфика женской письменной речи (5).

Еще один этап в истории развития теории гендерной лингвистики (1985-1990 гг.) отличается пристальным вниманием общества к рассматриваемой проблеме ввиду подъема феминистского движения во всех европейских странах.

Для России, однако, гендерные исследования не были характерны вплоть до последнего десятилетия. Впрочем, корректнее говорить не об отсутствии интереса к проблеме гендера в России, а об отсутствии соответствующей дискурсивной практики, потому что в отечественной психолингвистике были исследования речи мужчин и женщин (Т.Б. Крючкова, Л.И. Реснянская), анализировалось воздействие фактора «пол» на поведение информантов в ассоциативном эксперименте (Ю.Н. Караулов) и многие другие проблемы (4).

В конце 90-х гг. XX в. в российской лингвистике прочно утвердилось мнение, что гендерный подход представляет собой полезный познавательный конструкт. Гендерная проблематика оказывается в центре многочисленных (в том числе международных) конференций, симпозиумов, круглых столов и выставок, что свидетельствует о перспективности данного направления.

Гендерный подход к языковому (текстовому) материалу предполагает макро- и микроуровни анализа. Последний дает возможность сосредоточиться на исследовании новой лингвистической парадигмы — когнитивной, в центре внимания которой находится изучение человека со всеми его экзистенциальными, в том числе и гендерными характеристиками.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Большой толковый социологический словарь (Collins). — М., 1999. — Т. 1 (А-О).
2. Ганжина И.М. Состав женских именованных в писцовых книгах XVI века // Язык, литература, культура: традиции и инновации: Материалы конференции молодых ученых. — М., 1993.
3. Гендерные исследования: Харьковский центр гендерных исследований. — М., 1999. — № 1.
4. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. — М., 1987.
5. Кирилина А.В. Гендер: Лингвистические аспекты. — М., 1999.
6. Кирилина А.В. Категория *gender* в языкознании // Женщина в российском обществе. — М., 1997. — № 2. — С. 15-20.
7. Современный философский словарь. /Под общ. ред. В.Е. Кемерово. — М., 1998.
8. Bergval V.L., Bing J.M., Freed A.F. Rethinking Language and gender Research: Theory and Practice. — London, 1996.
9. Cameron D. Verbal Hygiene. — London & New York, 1995.
10. Coates J. Women, Men and Language. A Sociolinguistic Account of Sex Differences in Language. — New York, 1986.

## ПРАВО КАК ТЕКСТ: НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ

Г.Д. Гриценко  
Ставрополь

Современное российское общество в последние годы претерпевает значительные изменения. Важная роль в происходящих сегодня в России переменах принадлежит праву. Являясь регулирующим центром современной политико-правовой системы, право оказывает решающее влияние на характер изменений в обществе, особенно, если эти изменения осуществляются с использованием правовых средств.

Условием реформирования российского общества и его интеграции в европейское сообщество, с точки зрения многих юристов и политиков, является ориентация на модели политико-правовых преобразований, разработанных в рамках западноевропейских теорий. Пропагандируя необходимость искать правовые ориентиры исключительно на Западе, отечественные правоведы все чаще выдвигают тезис об отсутствии собственных правовых традиций, которые можно было бы использовать в юридических реформах, о правовой отсталости России по сравнению с «цивилизованным миром».

При раскрытии причин правовой ущербности российского общества нередко в научной литературе указывают на исторические корни. Например, отмечают отсутствие в древнерусской мифологии такого важного и абсолютно необходимого для внедрения в жизнь правовых начал символа права, как весы, который свидетельствует об осознании людьми понятий меры, соразмерности деяния и воздаяния за него.

Между тем, тезис об отсутствии собственных правовых традиций России основан, скорее, не на анализе фактического культурно-правового развития, а на искушении, имея достаточно систематизированную и категориально отработанную историю западноевропейского права, уложить в нее исторический процесс России. Тем более что сторонники юридического позитивизма связывают право только с письменной формой выражения текста.

В то же время в последние годы появились работы, которые на основе достижений социокультурной антропологии рассматривают право как явление этнокультурной системы, возникшее до появления государства в форме обычного права. Основной методологической посылкой здесь является положение, согласно которому письменная текстуально-нормативная форма выражения права выступает лишь наиболее развитым видом текста. Под текстом же в науке понимается система знаков, созданных культурой. «Мы понимаем язык, — пишет российский правовед И.Н. Грязин, — в достаточно широком смысле как некую систему знаков, допускающих создание их различных комбинаций — текстов. ... В качестве таких знаков в праве выступали как ритуальные действия, так и предметы, которым придавалось символическое значение» (4, с. 29-31). Это означает, что своеобразным языковым текстом права служат, например, и терракотовые фигурки, олицетворяющие одобряемое и порицаемое поведение у некоторых племен в Танзании. Определенную текстовую форму права, его

язык, знаковую замену действительности представляют собой также действия, которые совершал «варвар», желающий отказаться от родства. Он должен был, например, явиться в судебное заседание и там сломать над своей головою три ветки мероу в локоть, затем разбросать их в четыре стороны и сказать, что он отказывается от наследства.

Именно так понимая текст права, И.Н. Грязин еще в 80-е годы XX века выделял три стадии становления текстуальной формы права. «Во-первых, это уровень реального поведения, в котором непосредственно природное отношение первобытного человека не обладает еще характером осознанной деятельности и роднит его с животным миром. О наличии некой культуры в данном случае можно говорить лишь с явными натяжками... Следующим представляется уровень, когда выделяется культура и общественное сознание, еще не расчлененное на отдельные формы. Здесь право, пожалуй, уже существует, но лишь как некое предправо, которое таковым еще не осознается. Право столь переплетено с общей культурной средой (в том числе с мифом, религией), что может быть оценено как право лишь с более высокого уровня культурного развития, ретроспективно... И наконец — третий уровень, когда существует право как особая форма общественного сознания и когда, по крайней мере, начинается его письменная фиксация. Этот уровень четко отделяет право от религии и религиозных форм знания» (4, с. 32).

Историко-культурологическая трактовка понятия правового текста позволяет существенным образом изменить устоявшиеся представления о том, «откуда есть пошло Русское право» (8). В этом контексте заслуживает серьезного внимания гигантский культурный пласт мифологического творчества, народных преданий, пословиц и поговорок, тех архетипических форм, на которые веками наслаивались обычаи и стандарты поведения, создавая фундамент правовой ментальности восточнославянского этноса. В русской историко-правовой науке досоветского периода неоднократно указывалось на проявление обычного права в народном творчестве. Так, русский историк права второй половины XIX в. М.Ф. Владимирский-Буданов приводил целый ряд юридических пословиц, «из которых некоторые позднее стали формой закона, а многие пословицы уцелели до наших дней со времен древнейших». Например: «Молодой на битву, а старый — на думу»; «На одном вече, да не одни речи»; «Братчина судит, как судья»; «Железа и змея боится» (намек на ордалии); «В поле — две воли, кому Бог поможет» (о судебном поединке); «Вор ворует — мир горюет»; «Кинешма да Решма кутят да мутят, а Сойдогда убытки платит» (о круговой поруке при уплате вир и продаж); «Чей хлеб кушаешь, того и слушаешь» (ограничение правоспособности договором личного найма); «На чью долю потянет поле, то скажет Юрьев день»; «Что город, то норев; что деревня, то обычай» (3, с. 110-111).

Другой дореволюционный правовед А. Чебышев-Дмитриев проводит параллели между правом и поэзией русского народа, которые, «будучи голосом предания, идущего от времен незапамятных», обладали для всего общества и каждого его члена силой «святого завета предков» (19, с. 35-46).

Интересным с точки зрения культурно-исторического анализа является текст древнего восточнославянского этноса, получившего название «Велесова книга». Ее исследователь С.Я. Парамонов отмечает, что наши языческие предки делили мир на три основные субстанции: Явь, Навь и Правь. Явь — это видимый, материальный, реальный мир. Навь — мир нематериальный, потусторонний мир мертвецов. Правь — это истина, или законы Сварога, управляющие всем миром и, в первую очередь, Явью. Хранительницей тайны Прави была великая богиня — небесная мать Мокось. «Она следит за соблюдением обычаев и обрядов... дает свободу выбора между добром и злом, где добро — суть следование Пути Прави, а зло — отклонение от него» (2, с.16, 26, 38; 7, с. 250). Анализ текста эпоса, таким образом, позволяет утверждать, что древнеславянская «Правь» — это один из ранних образов правового мира.

Если же говорить об идее весов как символе права и правосудия, то следует вспомнить, что знаковыми символами правового текста в равной степени являются и рисунок, и слово. Следовательно, у нас есть веский аргумент в признании существования у древневосточных славян словесного символа права — это Путь Прави, который обозначает мир «добра» и «законов Сварога» — правовой мир.

Значимым здесь является то, что глубинный первоначальный смысл древнеславянского мифа сохранился спустя многие тысячелетия в современном русском языке: в словах «правда», «правое дело», «справедливость», «правосудие». Можно вспомнить и другие однокоренные слова, значение которых не всегда опосредуется сознанием с понятием «право», но их смысл как бы предопределен понятиями: «правое дело», «правда». «Справить» — означает отметить что-либо по правилу, по «правильному» обычаю; «справиться» — одолеть в борьбе, побороть противника за правое дело; «праведник» — человек, живущий по правде.

В рассматриваемом плане интересны и результаты лингвистических исследований, которые показывают, что праславянская лексика уже VI в. содержала все основные понятия, относящиеся к суду и судопроизводству: «sgdъ» (суд), «zakopъ» (закон), «pravo» (право), «pravda» (правда), а также систему представлений, связанных с правонарушением и наказанием, в основе которых содержится основной миф, посвященный первопреступлению и возмездью за него (6, с. 63; 14, с. 241, 121, 129; 18, с. 372, 507, 794). Например, мифологический сюжет о преступлении и наказании, перешедший в русский былинный эпос, связан с нарушением обычая гостеприимства. Известно, что у восточных славян гостеприимство считалось обязанностью и нарушитель правил гостеприимства подвергался возмездью, когда каждый получал право поджечь дом виновного (2, с. 119-120; 19, с. 37).

О существовании в праславянской лексике терминологического аппарата древнерусского права свидетельствует также имеющиеся различия между правовыми понятиями, например, обозначающими меру ответственности, в частности, между «продажей» как публичным штрафом в пользу князя и «вирой» как компенсацией за убийство и другие (17, с. 47-53).

Также следует отметить, что социолингвистический анализ текстов древнеславянских летописей позволяет утверждать о том, что такие древнейшие термины, как «правда», «пошлина», «ряд», «покон», «закон», относятся к правовым понятиям. Важным в рассматриваемом аспекте является то, что в летописях прослеживается различие между собственно законом и обычаем. Например, М.Ф. Владимирский-Буданов приводит выдержки из летописей, в которых говорится, что древние славяне «имеяхуть *обычаи* своя, и *законы* отец своих и *преданья*, кождо свой *норов*» или «комуждо языку — озем *исписан закон* есть, другим же *обычаи*».

В свете вышеизложенного можно с большой долей уверенности предположить, что задолго до образования Киевской Руси у восточных славян активно протекали процессы правогенеза и что образовывались «этажи» правовой культуры этноса. В частности, одним из фундаментов российской правовой культуры был Путь Прави как система нравственно-правовых и этических воззрений наших предков с ее четким разграничением добра и зла, преступления и наказания.

Итак, доводы о правовой отсталости России опровергаются антропологическим, историческим, лингвистическим и культурологическим материалом. Установлено, что древневосточные славяне имели не только устные, но и письменные памятники права, ничем не уступающие аналогичным памятникам западноевропейских народов.

Такова, например, Русская Правда, преимущество которой перед германскими и скандинавскими «варварскими законами» отмечают авторитетные западные исследователи (5, с. 154).

В частности, при сравнении с Баварской Правдой, Тюрингской Правдой или с Саксонской Правдой в Краткой редакции (древнейшая редакция) Русской Правды можно обнаружить новации по сравнению с первыми. Например, в ст. 38 Краткой Русской Правды говорилось о безнаказанности убийства вора на месте преступления в ночное время и о запрещении убивать его утром под угрозой денежного штрафа, если вор схвачен и оставлен живым. В то время как в германских Правдах исходной нормой являлось право безнаказанного убийства вора на месте преступления в любое время (17, с. 89-90). В таком содержании норма, как известно, соответствует более ранней стадии развития права.

Даже такой критически настроенный по отношению к России автор, как шведский профессор Эрик Аннерс, вынужден признать, что «уровень права Древнерусского государства в целом соответствовал уровню правового развития Англии и Скандинавии того времени» (1, с. 253).

Насколько хорошо удовлетворяла Русская Правда потребностям правового регулирования обществен-

ных отношений, свидетельствует тот факт, что только в 1497 г. в Московском государстве был издан Судебник, который заменил Пространную редакцию Русской Правды в качестве основного источника светского писаного права.

Не вызывает сомнения утверждение, что такой «совершенный по содержанию судебник», как Русская Правда, не мог возникнуть на пустом месте. На это обратили внимание еще дореволюционные ученые-правоведы. Так, Н. Ланге видел главное достоинство Русской Правды в ее преемственности с ранее существующими источниками права. «Если Правда была бы только беспорядочным сборником законов без всяких *общих* начал, — писал он, — то она не могла бы служить основанием к дальнейшему развитию нашего права» (9, с. 209).

Однако попытки реконструировать эти «общие начала» восточнославянского права осложнены ограниченностью документально-источниковой базы, поскольку древнерусских юридических письменных текстов сохранилось немного.

В то же время глубокий и всесторонний анализ внешнеполитической истории Древнерусского государства IX-X вв. свидетельствует о наличии давно устоявшихся источников права (12; 15; 16). В частности, русско-византийские договоры первой половины X века (например, 911 г., 944 г.) указывают на существование Закона Русского, который при заключении письменных договорных актов в равной мере учитывался наряду с писанным византийским правом — «Законом Греческим».

В договоре 911 года записано: «Аще ли ударить мечем или бьеть кацем либо сосудом, за то ударение или бьенье да вдасть литр 5 сребра *по закону Рускому*» (ст. 5). Договор 944 года содержит указание на Закон Русский в частности в ст. 6: «Аще ли ключится украсти русину от грек что, или гръчину от Руси, достойно есть да възвратитъ [е] не точью едино, но и цену его; аще украденное обрящеться продаемо, да вдасть цену его сугубо, и то [и] покаженн будетъ по закону Гречьскому [и] *по уставу, и по закону Рускому*» (11, с. 7, 34).

Взгляд на Закон Русский как на право восточных славян высказался сначала в дореволюционной историографии, затем был поддержан советскими исследователями. Например, для С.В. Юшкова Закон Русский означал «систему права, сложившуюся в основных центрах Руси, той социальной группы, которая возникла в результате разложения первобытнообщинного строя восточного славянства» (20, с. 85, 145). Эта система предшествовала Русской Правде. По мнению В.В. Мавродина, Закон Русский являлся правом, «создававшимся столетиями на Руси» (10, с. 245).

Последняя точка зрения действительно представляется более убедительной и подтверждается лингвистическим анализом текста данных договоров. Например, В.Я. Петрухин, известный как последовательный сторонник скандинавского происхождения самого термина «русь», вынужден признать наличие в лексике легенды о призвании варягов и договора руси (то есть княжеской норманнской дружины в трактовке этого автора) с греками «значительного пласта

славянской правовой терминологии, имеющей истоки в обычном праве: «правда», «володеть и судить по праву», «наряд», «творить ряд» и т. д.» (13, с. 123).

Сам факт существования общего названия «Закон Русский» подразумевает своего рода устную кодификацию норм обычного права восточных славян и, соответственно, высокий уровень развития этноправовой культуры. Во всяком случае, именно нормы Закона Русского были положены в основу Русской Правды, в особенности ее древнейшей части — Краткой Правды. Так, М.Б. Свердлову удалось на основе сопоставления текста русско-византийских договоров и «архаичных» норм Русской Правды с более древними германскими «варварскими правдами» реконструировать содержание тех норм Закона Русского, которые были затем воспроизведены в Русской Правде (17, с. 69-70).

Известно, что важнейшей формой выражения обычного права служат договоры. Ярким примером таких договоров можно считать договоры между князьями или русскими землями, договоры «рядов» князя с народом своей земли, которые устанавливались не произволом сторон, а на основании обычного права. Если договоры нарушали это право, они признавались недействительными. Причем о «ряде» князя с народом оговаривалось в отделе о верховной власти в данной земле. В частности, отношения князя и вече устанавливаются не частными условиями каждый раз, а опираются на известные устои государственного строя: «*Изначала новгородцы и вся власти на вече сходятся*».

Еще одним примером могут служить договоры между частными лицами. Только те из них считались правомерными, которые возникали на основании права; «прочие или ничтожны, или даже преступны». Для иллюстрации таких договоров М.Ф. Владимирский-Буданов приводит следующие примеры. «Господин хочет продать своего закупа в рабство другому; состоялась сделка купли-продажи, но такая сделка не только ведет к уничтожению ее гражданских последствий, но и к высокому уголовному штрафу в 12 гривен. Кто-то захотел купить заведомо чужого холопа; но за то «кун ему лишнему быти». Некто поймал вора с поличным и вошел с ним в соглашение — взять с него деньги и отпустить на все четыре стороны; кажется, сделка правильная; однако нет, это — «самосуд», подлежащий наказанию» (3, с. 295-296).

Юридические, исторические, лингвистические исследования и комментарии, посвященные изучению разных форм проявления правового текста, таким образом, подтверждают существование права на самом раннем этапе древнерусской истории. Аргументы сторонников тезиса о правовой неразвитости восточных славян и отсутствия у них развитой системы правового регулирования не подтверждаются результатами культурно-антропологических, лингвистических и историко-юридических исследований. Следовательно, при реформировании современного российского права надо учитывать не столько достижения западноевропейского права, сколько исходить из преемственности русского права, из особенностей российской правовой культуры.

**БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК**

1. Аннерс Э. История европейского права. — М., 1994.
2. Асов А.И. Златая цепь. Мифы и легенды древних славян. — М., 1998.
3. Владимировский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. — Ростов-н/Д., 1995.
4. Грязин И. Н. Текст права: Опыт методологического анализа конкурирующих теорий.— Таллин, 1983.
5. Давид Р. Основные правовые системы современности. — М., 1988.
6. Иванов В.В., Топоров В.Н. Древнее славянское право: архаичные мифологические основы и источники в свете языка // Формирование раннефеодальных славянских народности. — М., 1981.
7. Кайсаров А.С., Глинка Г.А., Рыбаков Б.А. Мифы древних славян. Велесова Книга. — Саратов, 1993.
8. Кулыгин В.В. От Пути Прави к Русской Правде: этапы правогебеза восточнославянского этноса // Правоведение. — 1999. — № 4.
9. Ланге Н. Исследование об уголовном праве Русской Правды. — СПб., 1860.
10. Мавродин В.В. Образование Древнерусского государства. — Л., 1945.
11. Памятники русского права. — М., 1952. — Вып. I
12. Пашуто В.Т. Внешняя политика Древней Руси. — М., 1968.
13. Петрухин В. Я. Начало этнокультурной истории Руси IX-XI веков. — М., 1995.
14. Преображенский А.Г. Этимологический словарь русского языка. — М., 1959. — Т. I, II.
15. Сахаров А.Н. Дипломатия Древней Руси: IX — первая половина X вв. — М., 1980.
16. Сахаров А.Н. Дипломатия Святослава. — М., 1982.
17. Свердлов М.Б. От Закона Русского к Русской Правде. — М., 1988.
18. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. — М., 1871. — Т. 4.
19. Чебышев-Дмитриев А. О преступном действии по русскому допетровскому праву. — Казань, 1862.
20. Юшков С. В. Общественно-политический строй и право Киевского государства. — М., 1949.



# X. ИСКУССТВО В УСЛОВИЯХ ТОТАЛИТАРНЫХ РЕЖИМОВ

- 1/ Н.Н. Тропкина / Волгоград / Идеи «поэтархии» в русской поэзии 1917-1921 годов
- 2/ Е.Г. Романова / Барнаул / Политический подтекст классических реминисценций в произведениях Н.Р. Эрдмана
- 4/ Губина Н.В. / Барнаул / Пространство Власти в ранних повестях Е.И. Замятина «Уездное», «На куличках»
- 6/ П.К. Чекалов / Ставрополь / Личность В.И. Ленина в эпосе А.И. Солженицына
- 7/ Т.Д. Куликова / Ставрополь / Солженицын и власть
- 8/ Ф. Листван / Краков, Польша / В мире антиутопии — Москва 2042 В. Войновича
- 9/ И. Папай / Краков, Польша / Проза Владимира Войновича как документ времени
- 10/ К.В. Зуев / Ставрополь / Отражение идеологического прессинга в публицистике (на материале статей тихона холодного, опубликованных в газете «Власть Советов» за март—май 1922 года)

## ИДЕИ «ПОЭТАРХИИ» В РУССКОЙ ПОЭЗИИ 1917-1921 ГОДОВ

Н.Н. Тропкина  
Волгоград

Проблема соотношения художника и «высшей власти» — одна из традиционных в искусстве. Эта проблема может быть интерпретирована в русле темы «поэт и царь», а может — и темы «поэт-царь». Особую значимость проблема художника и власти обретает в поворотные моменты истории, когда художнику нередко предстоит заново определить свою гражданскую позицию, ответить для себя на вопрос «принимать или не принимать?», определить свою собственную роль и роль человека искусства вообще по отношению к верховной власти в новой политической реальности. В контексте русской поэзии конца 1910 — начала 1920-х годов эта тема обретает невиданную прежде остроту. Произошедшая на глазах людей смена высшей власти дважды в течение одного года, года надежд и во многом их крушения, актуализировала обширный потенциал проблемы «поэт и власть». Актуальность проблемы предопределена самой исторической ситуацией, однако само восприятие этой ситуации и новой роли поэта в ней было, несомненно, подготовлено всем предшествующим развитием русской литературы. Тема соотношения поэта и власти может быть прослежена на обширном материале, начиная с древнейшего периода развития русской прозы, поэзии, драматургии. Однако столь обширная задача не является целью данной статьи — эта цель гораздо более скромная и локальная. Предмет нашего рассмотрения — круг идей, нашедших выражение в поэзии и в составляющих ее непосредственный контекст фактах литературной жизни России в 1917-1921 годах. И этот круг идей связан с мотивами властвования творца, художника как альтернативы политической власти. В метатексте русской поэзии исследуемого периода этот круг идей занимает, на наш взгляд, очень важное место. Прежде всего следует обратить внимание на обширный характер и многообразие проявлений идей такого рода, которые обозначены нами как идеи «поэтархии». В отдельных своих проявлениях эти идеи власти поэта исследованы достаточно широко, например, их проявление в творчестве Велимира Хлебникова через его идею «Председателей Земного Шара» — сошлемся лишь на одну работу — исследование М.С. Киктева «Хлебниковская «Азбука» в контексте революции и гражданской войны» (см.: 9), где особо значимым для нас представляется неологизм В. Хлебникова «звукoderжец». Иные аспекты этой темы исследованы в гораздо меньшей степени.

Прежде всего отметим, что идеи власти поэта во многом соотносятся с широким кругом философско-религиозных идей русской литературы того периода, который непосредственно предшествовал годам революции и гражданской войны — литературы конца XIX — начала XX века. Подробное рассмотрение этого вопроса выходит за рамки нашей работы, однако необходимо отметить, что представления о художнике как о теурге и демиурге, сложившиеся в первую очередь в круге символист-

ской поэзии, однако присущие некоторыми своими гранями и поэтам постсимволистских направлений, наряду с идеями жизнетворчества стали той основой, которая дала толчок формированию идей власти поэта, ставших столь существенными для русской поэзии рубежа десятилетий. Происходит трансформация жреческой власти поэта в подобие политической власти, и эта потенциальная политическая власть поэта рассматривается как атрибут совершенного жизнеустройства, которое в короткий период, разный для различных поэтов, кажется достижимым и осуществимым, близким к реальному воплощению.

Сама идея харизматической призванности поэта на роль правителя, истинного «вождя народа» была характерна для сознания определенных кругов России начала XX века. В дневнике М. Пришвина имеется запись, датированная 31 января 1953 года: «Вспоминается день, когда вождь секты «Новый Израиль» Павел Михайлович Легкобытов сказал Блоку: *Поймите, Александр Александрович, что мы здесь представляем из себя кипящий чан, в котором все мы со своими штанами и юбками сварились в единое существо. Бросьтесь вы в наш чан, и мы воскресим вас вождем народа*» (2, с. 334).

Реально осуществимой и даже отчасти осуществленной эта идея прихода поэта во власть оказывается в ситуации, которая наступила после событий мартовской (позднее названной февральской) революции 1917 года, и героиней этого «осуществления» стала З. Гиппиус. Ее позиция отразилась в дневниковых записях революционных лет и в сборнике «Последние стихи». В обширном литературном наследии З. Гиппиус тема поэта и власти занимает особое место прежде всего в связи с общим кругом тех идей, которые складываются в обществе старших символистов и в первую очередь связаны с религиозно-философскими исканиями Д. Мережковского, З. Гиппиус, Д. Философова. К ним не случайно применяется определение «символисты-общественники». Этот круг идей подробно рассмотрен в обширном ряде специальных исследований, включая работы столь близкого к Гиппиус и Мережковскому В. Злобина (8), а также исследователей позднейшего времени — Т. Пахмусс (22), О. Матич (21), С.Н. Савельева (17). Особо следует сказать об одной из ранних работ — книге Е. Лундберга «Мережковский и его новое христианство» (13). В этой работе содержится ряд важных положений, существенных для понимания позиции З. Гиппиус в период революции 1917 года, как и в целом понимания сквозных идей, существенных для метатекста русской поэзии 1917-1921 годов. Анализируя религиозно-философские концепции Д. Мережковского, Е. Лундберг акцентирует внимание на одной из особенностей: «Для меня несомненно, что вся его деятельность есть упорная, порою однообразная проповедь» (13, с. 12). И в этой проповеди весьма существенны проблемы грядущих переворотов, «вера Мережковского в грядущее обновление жизни» (15).

З. Гиппиус и Д. Мережковским была создана религиозно-философская система, основанная на идее Третьего Завета, Откровения трех в Едином, идеи создания новой церкви — Церкви Третьего завета, которая должна открыть человеку «сокровище, находящееся в исторической церкви пока еще за семью замками — тайну святой Троицы, трех в Одном» (16, с. 158). Именно в контексте религиозно-философской системы З. Гиппиус вырабатывается, а затем претерпевает существенную эволюцию ее отношение к идее власти, в том числе и власти имперской. По замечанию Т. Пахмусс, «русское самодержавие теперь рассматривалось ими как религия от дьявола (как и всякая другая форма власти человека на земле)» (16, с. 70). Одним из условий воплощения церкви Третьего Завета было создание новой формы государственности — религиозной «теократии», в которой идеал Богочеловечества мог реализоваться во Вселенской церкви. Теократия Мережковских должна была осуществиться русской интеллигенцией, о роли которой в этом «великом задании» много говорилось на заседаниях Религиозно-философского общества, в создании которого принимали весьма активное участие З. Гиппиус и Д. Мережковский. В идее создания религии третьего завета роль, отведенная самим его создателям, то есть «Троице», воплотившим в своем союзе эти идеи, была очень значительна, и такую же она должна была быть в иерархической и системе теократического государства. За этими идеями З. Гиппиус были не просто слова и идеи, но непрерывные деяния, направленные на их осуществление.

В период революции 1917 года З. Гиппиус в известном смысле слова на практике реализовала идеи «поэтархии». Ее активнейшая политическая позиция проявилась в первую очередь в первые месяцы после прихода к власти А.Ф. Керенского. Взаимоотношения круга Мережковских и Керенского проанализированы в работах Б.А. Колоницкого (11). Для нас же в общем контексте идеи поэтархии важна позиция З. Гиппиус, воспринимающей себя как прямого наставника правителя. Характерна дневниковая запись от 11 февраля 1917 года: «На днях у нас был Керенский и возмущенно рассказывал недавнюю историю ареста рабочих из военно-промышленного комитета и поведение, всю позицию Милюкова при этом случае. Керенский кипятился, из себя выходил — а я только пожимала плечами. Ничего нового. Милюков и его блок верны себе. Были слепы и пребывают в слепоте (хотя говорят, что видят, значит, «грех останется на них»)» (5, с. 71). Круг этих идей находит прямое отражение не только в дневниковых записях и различного рода фактах политической деятельности, но и непосредственно в поэтическом творчестве З. Гиппиус, в ее произведениях из книги «Последние стихи». Именно позиция поэта как наставника «высшей власти» и лица, способного эту власть в себе воплотить, обусловила возникновение многих стихотворений этой книги. Сошлемся лишь на один пример — стихотворение, датированное мартом 1918 года, «Кто он?». Посвящен-

ное А.Ф. Керенскому, оно воспроизводит образ слабого и безвольного властителя через образ трагикомического шута, Пьеро:

*Забвенья нет тому, что было.*

*Не смерть позорна — путь умрем...*

*Но увенчает и могилу*

*Пьеро — дурацким колпаком.*

(6, с. 226)

Отметим, что подобная ассоциация возникает и в стихотворении столь далекого от З. Гиппиус поэта, как И. Северянин. Известно, что в мае 1918 года он посвятил Керенскому два стихотворения. Одно из них — «Самарский адвокат», второе — Александр IV». Оно завершается строфой:

*Да, он поэт! да, он фанатик,*

*Идеалист stile decadance!*

*Паяц трагичный на канате.*

*Но идеальность — не баланс...*

(20, с. 38)

Это совпадение знаменательно. В нем отразилась закономерность художественного языка русской поэзии 1917-1921 годов, о которой мы скажем далее.

В контексте идеи власти поэта по-новому «прочитывается» известное действие, состоявшееся 27 февраля 1918 года в зале Политехнического музея — «Избрание короля поэтов». Знаменательно, что сама процедура, описанная в многочисленных воспоминаниях, является своего рода артефактом, пародирующим современную ему политическую жизнь, и в этом пародировании ее воспроизводящую. «Король поэтов» избирался по всем правилам избирательных процедур: «1) Вступительное слово учредителей трибунала. 2) Избрание из публики председателя и выборной комиссии. 3) Чтение стихов всех конкурирующих поэтов. 4) Баллотировка и избрание короля и кандидата» (15, с. 10). Не менее знаменательно и другое: сама роль «короля поэтов» по замыслу выходит за рамки чисто литературного действия, наполняя происходящее общественно-политическим смыслом и отчасти пародируя этот смысл: «Результаты выборов будут объявлены немедленно в аудитории и *всенародно на улицах*» (курсив мой. — Н.Т.) (15, с. 10). Известно, что борьба за «королевское звание» развернулась между Маяковским и Игорем Северяниным, и в итоге званием короля был увенчан Северянин. При характерной особенности его поэзии, позволявшей ему определить себя словами «лирический ироник» и сказать о себе: «Ирония — вот мой канон», избрание в «Короли поэтов» было воспринято им вполне серьезно, как признание его особой роли в поэзии и как знак его поэтической харизмы. Факт избрания дал толчок к написанию ряда произведений, и в первую очередь созданного под непосредственным впечатлением события «Рескрипта короля». В стихотворении не только характерные для поэта мотивы «упоения славой», но и изображение атрибутов власти:

*Отныне плащ мой фиолетов,*

*Берета бархат в серебре.*

(19, с. 294)

И, как положено властителю, мысли о государственном устройстве и подданных:

*Я так велик и так уверен  
В себе, настолько убежден,  
Что всем прощу и каждой вере  
Отдам почтительный поклон.*

*В душе — порывистых приветов  
Неисчислимо число.  
Я избран королем поэтов, —  
Да будет подданным светло!*  
(21, с. 294) (курсив мой. — Н.Т.)

Стихотворение не случайно названо «Рескрипт короля» — указание на то, что речь идет о короле поэтов, опущено. Намерения же и замыслы «новоизбранного монарха» скорее похожи на намерения просто короля по отношению к своим подданным, чем короля поэтов, подданные которого едва ли нуждаются в его прощении и покровительстве, да и едва ли могут быть названы подданными. Конечно же, все это следует воспринимать под знаком игры, но это игра всерьез, за этой игрой прослеживается очень важная для сознания поэтов рубежа десятилетий идея поэта не только как властителя дум, но и как просто властителя. Отметим как продолжение темы строки из северянинского стихотворного портрета В. Брюсова:

*Он — президент среди поэтов.  
Мой царский голос за него.*  
(19, с. 297)

Продолжением и развитием темы стало написанное И. Северяниным в 1919 году стихотворение «Самопровозглашение». Начало его интонационно перекликается с монологом пушкинского Бориса Годунова:

*Еще семь дней, и год минует, —  
Срок «царствования» моего.  
Кого тогда страна взыскует:  
Другого или никого?*  
(20, с. 50)

Серьезным и драматическим, отчасти даже трагическим прозрением оборачивается для Северянина осознание истинной цены своей мнимой, но всерьез воспринятой им идеи власти:

*Где состоится перевыбор  
Поэтов русских короля?  
Какое скажет мне спасибо  
Родная русская земля?  
И состоится ли? — едва ли:  
Не до того моей стране, —  
Она в мучительном развале  
И в агоническом огне.*

*Да и страна ль меня избрала  
Великой волею своей  
От Ямбурга и до Урала?  
Нет, только кучка москвичей.*  
(20, с. 50)

В финале стихотворения И. Северянин звучит идея отречения от власти королевской во имя власти уже чисто поэтической:

*Я отрекаюсь от порфиры  
И, вдохновляем февралем,  
За струнной изгородью лиры,  
Провозглашаюсь королем!*  
(20, с. 50)

Знаменательно, что здесь «образцом поведения» для поэта становится реальный монарх Николай Второй, его отречение от престола в феврале 1917 года.

Одним из свидетельств своего рода унификации поэтического языка как общей особенности структуры метатекста русской поэзии 1917-1921 года стало своего рода «схождение» в мотивах власти поэта столь разных художников, как З. Гиппиус, И. Северянин, Н. Гумилев. Позиция Н. Гумилева в годы, предшествовавшие гибели поэта, стала одним из ярких проявлений идеи «поэтархии». Для поэта последние годы были годами необычайного творческого подъема. Это было время, когда собственно, происходит позднее становление подлинного Гумилева как поэта — самого непрочитанного, по определению А. Ахматовой, поэта (см.: 18). Знаменательны в этом аспекте свидетельства современника, близкого к Гумилеву — Г. Адамовича: «Погибшая монархия сама по себе, но сильнее всего увлекала его мысль о переустройстве общества на каких-то старинных, священных началах... И вот, наконец, представлялась возможность перейти от слова к делу: в России производится гигантский общественный опыт. Кто знает, чем все кончится? Не попытаться ли дать свое направление эксперименту? Гумилев вспоминал о Д'Аннунцио и его роли во время войны. Он хотел сыграть роль в революции, но покрупнее, поярче» (1, с. 187). Идея «поэтархии», увлекавшая Гумилева, воспринималась поэтом как атрибут совершенно государственного устройства будущего. В сознании Гумилева эта идея, по свидетельству того же Г. Адамовича, возникла еще в начале 1910-х годов. Вспоминая об их встрече в 1912 г. в стенах Петербургского университета, Адамович замечает: «О чем говорил он? Больше всего о поэзии, конечно. Еще о далеких прекрасных временах, когда поэты, несомненно, станут во главе государства и общества» (1, с. 185). Однако мысль о реализации этой идеи, пусть реализации скорее умозрительной, чем реальной, возникает у Гумилева именно в послереволюционные годы. В исследовании Н.А. Богомолова это связывается с оккультными мотивами в творчестве поэта: «Для Гумилева, склонного рассматривать историю как неуклонное движение от одного типа цивилизации к другому, долженствующее привести в конце концов к господству друидов, эта концепция должна была представляться весьма убедительной. В «Поэме конца» — очевидно, в связи с пореволюционными изменениями — эта схема представлена в несколько трансформированном виде: «... в основу его (действия. — Н.Т.) положена концепция автора о последовательной смене четырех классов — творцов (Друидов), воинов, купцов и народа», однако в обычном представлении Гумилева дело должно было обстоять как раз наоборот:

*Земля забудет обиды  
Всех воинов, всех купцов,  
И будут, как встарь, друиды  
Учить с высоких холмов.*

*И будут, как встарь, поэты  
Вести сердца к высоте,  
Как ангел водит кометы  
К неведомой им мете.*

Напомним, что возле этих стихов в подаренном ему экземпляре Блок записал: «Тут вся моя политика, сказал мне Гумилев» (З, с. 117). Однако природу этой идеи можно интерпретировать и в контексте общей для метатекста русской поэзии 1917-1921 года обращенности к теме власти поэта в обществе и государстве.

Знаменательно, что именно в дальнейшем в позиции таких художников, в чем-то столь близких к Гумилеву, как А. Ахматова и О. Мандельштам, эти идеи власти поэта нашли своеобразное продолжение и развитие. Так, С. Марголина, анализируя позицию О. Мандельштама начала 1921-1924 годов, отмечает сложившуюся у поэта идею государственности как иерархически организованной теократии, и место художника в этой иерархической системе было, согласно представлению поэта, достаточно

высоким (см: 14, с. 100). И отголосок этих воззрений можно видеть в позднейшей позиции О. Мандельштама: «Для понимания поведения Мандельштама, особенно в 30-х годах, нельзя сбрасывать со счетов внутреннюю убежденность поэта, что ему предстоит сказать государству нечто важное, могущее повлиять на судьбы русской культуры» (14, с. 133). И далее отмечается, что поэт ощущает себя в ситуации «харизматической призванности, не обеспеченной признанием ее народом или государством» (16, с. 133). Еще более дальний отголосок этой идеи можно усмотреть в своеобразной поведенческой модели, которая была характерна для поздней А. Ахматовой. Эта модель достаточно подробно, хотя и, несомненно, в чем-то с шокирующими читателя Ахматовой обертонами рассмотрена в статье А. Жолковского «Анна Ахматова — пятьдесят лет спустя» (см.: 7). Однако сама идея интерпретации модели поведения А. Ахматовой как своеобразной монархической модели, идея ее веры в харизму, порождающая представление о поэте как своего рода альтернативе властителю, равновластной с ним, идее поэта-царя во многом восходит к кругу представлений, сформировавшихся в метатексте русской культуры конца 1910 — начала 1920-х годов.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Адамович Г. Гумилев (к предстоящему десятилетию со дня его расстрела) // Дружба народов. — 1995. — № 10. — С. 184-187.
2. Блок в дневниках Пришвина и новонайденное письмо Блока Пришвину // Александр Блок. Новые материалы и исследования. — М., 1987. — С. 328-226.
3. Богомолов Н.А. Гумилев и оккультизм // Русская литература начала XX века и оккультизм. — М., 1999. — С. 113-145.
4. Вишняк М. З.Н. Гиппиус в письмах // Новый журнал. — New York, 1954. — Кн. XXXVII. — С. 183-210.
5. Гиппиус З. Петербургские дневники. 1914-1919. — Нью-Йорк-Москва, 1990.
6. Гиппиус З.Н. Стихотворения. — СПб., 1999.
7. Жолковский А. Анна Ахматова — пятьдесят лет спустя // Звезда. — 1996. — № 9. — С. 211-228.
8. Злобин В. Тяжела душа. — Вашингтон, 1970.
9. Киктев М.С. Хлебниковская «Азбука» в контексте революции и гражданской войны // Хлебниковские чтения. Материалы конференции 27-29 ноября 1990 г. — СПб., 1991. — С. 15-39.
10. Колеров М.А. «Лига русской культуры» в Москве (1917) // De visu. — М., 1993. — Кн. 9. — С. 55-57.
11. Колоницкий Б.И. А.Ф. Керенский и круг Мережковских // Петроградская интеллигенция в 1917 году: Сб. статей и материалов. — М.-Л., 1990.
12. Колоницкий Б.И. Керенский и Мережковские в 1917 году. // Литературное обозрение. — М., 1991. — № 3. — С. 98-106.
13. Лундберг Е. Мережковский и его новое христианство. — Пб., 1914.
14. Марголина С. Мировоззрение Осипа Мандельштама. — Marburg/Lahn, 1989.
15. Муравьев В. Первое пятилетие // В Политехническом «Вечер новой поэзии»: Стихи участников поэтических вечеров в Политехническом. 1917-1923. Статьи. Манифесты. Воспоминания. — М., 1987. — С. 3-17.
16. Пахмусс Т.А. Маленькая Тереза // Мережковский Д. Меленька Тереза. Письма Д. Мережковского к З. Гиппиус. — Ann Arbor, 1984.
17. Савельев С.Н. Жанна д'Арк русской религиозной мысли: интеллектуальный профиль З. Гиппиус. — М., 1992.
18. «Самый непрочитанный поэт». Заметки Анны Ахматовой о Николае Гумилеве // Новый мир. — 1990. — № 5. — С. 219-223.
19. Северянин И. Стихотворения и поэмы. 1918-1941. — М., 1990.
20. Северянин И. Стихотворения. — М., 1988.
21. Matich O. Paradox in the Religious poetry of Zinaida Gippius. — München, 1972.
22. Pachmuss T. Zinaida Hippus: An Intellektual Profile. — Carbondale (Illinois). — 1971.

**ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОДТЕКСТ КЛАССИЧЕСКИХ РЕМИНИСЦЕНЦИЙ  
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Н.Р. ЭРДМАНА**Е.Г. Романова  
Барнаул

В условиях тоталитарного режима цензура резко сужает спектр предельно допустимых отклонений от нормы. Идеологические рамки задают схему построения художественного произведения. Однако искусство демонстрирует в такой жесткой ситуации поразительную живучесть, находя посредством процесса медиации компромисс между официальной догмой и собственными интересами. Многие видные представители литературы 20-х годов (М. Булгаков, М. Зощенко, Ю. Олеша, И. Ильф и Е. Петров и др.) ищут свой оригинальный путь в искусстве, скрепляя, как пишет А.К. Жолковский, «общечеловеческие ценности с советскими», ибо «история советской литературы в значительной мере и есть история попыток приспособления писателей к режиму». (1, с. 36). Но если в первой половине 20-х годов государство относится к этому явлению достаточно лояльно, то к 30-м годам, когда происходит ужесточение режима, подобные гибриды уже вызывают подозрение.

Н.Р. Эрдман причислялся критикой 20-х годов к лагерю «попутчиков». Нельзя сказать, что он был в оппозиции к советской власти: революцию 1917 г. он воспринял положительно, поскольку она обещала коренное изменение социокультурной ситуации и повлекла за собой подъем литературного движения. Он, совсем еще молодой человек, входит в имажинистский кружок, пишет стихи, разнообразные тексты для эстрады. Однако, уже первая его пьеса 1924 г. «Мандат» соединяет в себе сатирическое изображение жизни «бывших» людей в новых условиях с элементами критического подхода к советской действительности. Вторая пьеса 1928 г. «Самоубийца» продолжает эту линию уже на уровне трагикомическом. Чтобы поставить «Мандат» на сцене своего театра, В. Мейерхольд был вынужден завуалировать вторую составляющую сатирического пафоса, определяя пьесу как «бытовую комедию». Она имела оглушительный успех, однако со стороны официальной критики расценивалась как идейно невыдержанная. Пьеса «Самоубийца» же, как «безнаказанный памфлет на советскую власть» (5, с. 287), и вовсе запрещена к постановке лично И. Сталиным. Во время съемок фильма «Веселые ребята» по сценарию Эрдмана, он был арестован и подвергнут репрессиям. После освобождения Эрдман уже не возвращается к большой драматургии.

Произведения Эрдмана, наряду с находящейся на поверхности бытовой сатирой, обладают подтекстом, который как раз и смущал официальную критику. Одна из составляющих этого подтекста — политическая, выраженная в том числе и интертекстуальными средствами. Текстам драматурга свойственна литературоцентричность, интертекстуальная игра с предшествующей и современной литературными традициями. Так, к примеру, пьеса «Самоубийца» может быть прочитана через призму гоголевского «Ревизора», при этом у Эрдмана обыгрываются также различные элементы произве-

дений А. Грибоедова, И. Крылова, А. Пушкина, Ф. Достоевского, У. Шекспира и др.

Цитата в текстах Эрдмана может выполнять несколько функций. В произведениях эстрадного жанра, как в прочем и в большой драматургии, цитата, поставленная в заведомо снижающий ее контекст, служит средством достижения дополнительного комического эффекта. Эту же цель преследует и использование мнимой цитаты. Однако, зачастую реминисценция выполняет не только и не столько комическую функцию. Она всегда актуализирует свой первоначальный контекст со всем присущим ему идейно-философским комплексом; такой контекст усиливает со своей стороны те или иные мотивы в новом окружении, вносит дополнительные смыслы.

Нередко классическая цитата у Эрдмана служит имплицитным выразителем политического подтекста. Таковой, к примеру, является отсылка к «Гамлету», появляющаяся в «Самоубийце». Надо отметить, что для пьесы в целом актуален весь нравственно-философский комплекс этой трагедии. В тексте Эрдмана можно выделить отдельные мотивы, преломленные через шекспировскую традицию: мотив бездейственной рефлексии, взаимоотношений власти и человека, комплекс потенциального самоубийцы. В пьесе поднимаются «гамлетовские» проблемы бренности всего сущего, неизведанности загробного существования, вообще — тема бытия/небытия. Образ Подсекальникова представляет собой пародию на «высокого» героя классической трагедии, однако, поскольку он обрисован в трагикомическом ключе, порой его монологи (например, монолог о цене секунды) поднимаются до поистине гамлетовского трагизма.

Прямая цитата появляется в сцене похорон. Курьер Егорушка не знает как поминальную речь, и писатель Виктор Викторович подсказывает ему известное «не все спокойно в королевстве Датском». Комизм сцены кроется в том, что персонажи, обладающие различным культурным багажом и политическими взглядами, по-разному толкуют подтекст цитаты. В обоих случаях имеет место политическое толкование, но скептически настроенный по отношению к советской власти писатель намекает на ее нестабильность, а также на ожидаемый от самоубийства Подсекальникова общественный резонанс, Егорушка же в силу своей принадлежности к «классу-гегемону» и элементарного невежества, воспринимает фразу буквально, а потому он радостно поздравляет всех присутствующих с началом рабоче-крестьянской революции в буржуазной Дании. Через обращение к социально-политическому аспекту «Гамлета» Эрдман имплицитно определяет современное политическое положение как ситуацию власти, которая берет начало в насилии (убийство царя/убийство отца Гамлета) и оказывается в недостойных руках (Советы/дядя Гамлета). Цитата актуализирует также ситуацию «распавшейся связи времен» и кризиса ценностей.

В 1932 г. по заказу театра Эрдман создает интермедии к этой трагедии Шекспира («Разговор о приезде актеров» и «Сцена могильщиков»). Шекспировские темы получают современное звучание. Эрдман как бы помещает героев «Гамлета» (могильщиков) в новые социальные условия. Они рассуждают на тему «пить или не пить — вот в чем вопрос» (5, с. 190); проблема загробного существования снимается утверждением, что теперь Бога нет («он всемогущий, куда захотел, туда и девался» (5, с. 190)), а взаимоотношения власти и человека трансформируются в оппозицию могильщиков и начальства:

Первый шут. *Рыть или не рыть — вот в чем вопрос.*

Второй шут. *Какой же это вопрос?*

*Раз начальство приказало рыть, ты и будешь рыть.*

Первый шут. *Разве я отказываюсь рыть? Рыть я буду.*

*Я хочу только сначала посомневаться.*

*Кто мне может запретить сомневаться?*

Второй шут. *Начальство может* (5, с. 188).

Современному зрителю пассаж о начальстве, которое запрещало даже сомневаться, был более чем понятен, поэтому сцена в конце концов до постановки не дошла. Тема власти в интермедиях оформляется в типичной для Эрдмана оппозиции индивидуум/власть, государство, бездушный социум. Самоубийство в этой системе ценностей рассматривается как акт антигосударственный. Рассуждая о трагической кончине Офелии, один из могильщиков говорит: «Это даже, можно сказать, форменное воровство. <...> Ежели человек убивает себя сам, значит его никто другой не может убить. Даже власть. Он, значит, обворовывает в некотором роде государство» (5, с. 188). Таким образом, власти изначально приписаны репрессивные свойства. Мотивы противостояния власти и человека являются значимыми для центральных пьес Эрдмана. Так, «Мандат» показывает ситуацию возможного приобщения «маленького человека» к власти, ее тоталитарность и порочное воздействие на собственных носителей. В «Самоубийце» также вскрываются взаимоотношения человека и власти, государственной машины, при этом ценностный приоритет отдан отдельному, хотя бы и бесцельно существующему человеку.

Подобный пример выражения политического подтекста путем интертекстуального сигнала можно обнаружить и в первой пьесе Эрдмана «Мандат», где появляется цитата из драмы Пушкина «Борис Годунов». Со свойственным для него отношением к классическому наследию, драматург, используя прием эстрадной комедии, помещает ее в чуждый стилистический контекст. С другой стороны, аллюзия к «Борису Годунову» усиливает трагическое звучание «Самоубийцы», имеет политический смысл.

В третьем действии все герои ликут по поводу приближения свадебной процессии Насти (мнимой царевны) и Валериана, и, когда «ура» замолкает, слышен чей-то протяжный стон. Читатель (зритель) знает, что это стонет Иван Иванович, спрятавшийся от страха в сундуке.

Голоса. *Вы слышали?*

*Что такое?..*

Олимп Валерианович. *Господа, господа, возможно, это ликует народ!*

Ариадна Павлиновна. *Неужели народ узнал?*

Олимп Валерианович. *Конечно, узнал.*

*Зачем бы он стал кричать «ура»?*

Зотик Францевич. *А вы уверены, что это было «ура»?*

Олимп Валерианович. *Я ясно слышал.*

Степан Степанович. *Значит, народ с нами. Ура!*

Все. *УРА!*

Олимп Валерианович. *Теперь слушайте.*

Голос Ивана Ивановича. *Караул!*

Зотик Францевич. *Вы слышали?*

Автоном Сигизмундович. *Нет, а вы?*

Зотик Францевич. *Тоже нет.*

Степан Степанович. *Попробуем еще раз.*

Все. *Уррра-а-а!*

Олимп Валерианович. *Слушайте.*

Автоном Сигизмундович. *Народ безмолвствует.*

Пафос сцены снят завершающей репликой Насти:

«Не дай бог опять закричит» (5, с. 75).

Крылатая фраза отсылает нас к финалу «Бориса Годунова». После бурного всплеска народной активности, приведшего к бунту, все чаяния возлагаются на молодого самозванца-царя. Однако, оканчивается драма Пушкина тем, что народ, подавленный жестокостью новой власти, в ужасе молчит после убийства Ксении и Федора, детей Годунова. Бунт сменяется бессилием и покорностью.

Народ в ужасе молчит.

Мосальский. *Что же вы молчите?*

*Кричите: да здравствует царь Дмитрий Иванович!*

Народ безмолвствует (2, с. 259).

Это молчание, однако, можно расценить и как нежелание славить нового царя-убийцу. В центре драмы — социально-политическая ситуация Смутного времени: насильственная смена власти, неразбериха и путаница; при свержении одного правителя и воцарении другого для народа ничего по сути не меняется. Природа власти всегда одинаково репрессивна, оба царя оказываются убийцами (Бориса Годунова обвиняют в убийстве царевича Дмитрия, а сам этот якобы живой царевич, в свою очередь, убивает его детей) и т.п. Несомненно, что появление прямой цитаты из произведения с подобной проблематикой актуализирует политический подтекст «Мандата». Постреволюционная ситуация уподоблена Смуте — и в самом деле, исторические условия оказываются схожими: социальная дестабилизация, бунт, идеализация новой власти, на которую народ возлагает большие надежды. В результате приходит осознание того, что новая власть, адекватная старой (цареубийство), строится, в первую очередь, на насилии. В пьесе Эрдмана уже происходит как бы третья революция (вслед за февральской и октябрьской — воцарение Лже-Анастасии), но народ, уставший от катаклизмов, уже молчит. Серьезное у Эрдмана всегда слито со смешным, и здесь излишняя патетика снята тем, что «ужаснувшегося» народа как такового нет, он существует только в возбужденном от мнимого успеха сознании монархически настроенных героев. Цитата из «Бориса Годунова», несущая политический подтекст, появляется и в сцене к обозрению «Москва с точки зрения», которая была создана в одно время

с «Мандатом» (1924 г.). Сцена «Красный самоучка» посвящена пародии на официальные торжества по поводу знаменательных дат, а именно — юбилея А. Пушкина. Подчеркивая торжественность события, председатель несколько раз повторяет, что «вот уже семь лет...» и завершает фразу так: «Вот уже семь лет, как 88 лет назад предательской пулей белогвардейца Дантеса был убит один из нас» (4, с. 89). Однако ниже этот комический отсчет любого события от революции 1917 г. оказывается цитатой из монолога Годунова. Идеологически перетолковывая стихи Пушкина, выступающий упоминает, что «обращаясь к советской власти он <А.С. Пушкин> устами Бориса Годунова восклицал: «Так, вот уже семь лет, как я царствую спокойно» (4, с. 92).

Заявленный монолог пушкинского героя отнюдь не отвечает позитивному толкованию председателя поэтического кружка.

*Шестой уж год я царствую спокойно.*

*Но счастья нет в моей душе* (2, с. 199).

Мотив цареубийства, тягостные раздумья и предчувствия Годунова (Напрасно мне кудесники сулят // дни долгие, дни власти безмятежной... // предчувствую небесный гром и горе. — 2, с. 199), неспособного добиться народной любви — все это продолжает комплекс социально-политических вопросов, акцентированных контекстом пушкинской драмы в «Мандате». Следовательно, можно сказать, что мотив «власть ценою преступления» имеет в творчестве Н. Эрдмана устойчивый характер.

Интертекстуальный анализ произведений Н.Эрдмана позволяет эксплицировать политический подтекст пьес и драматических отрывков. В результате такого эксплицирования становится ясной двойственность политической позиции автора, который, с одной стороны, критически оценивает сложившуюся ситуацию, а с другой, — вынужден к ней приспособливаться.

### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Жолковский А.К. Блуждающие сны и другие работы. — М., 1994.
2. Пушкин А.С. Собрание сочинений: В 10 т. — М., 1975. — Т. 4.
3. Шекспир У. Собрание сочинений: В 8 т. — М., 1994. — Т. 8.
4. Эрдман Н.Р. Красный самоучка // Новый журнал. — 1998. — № 2. — С. 86-95.
5. Эрдман Н.Р. Пьесы. Интермедии. Письма. Документы. Воспоминания современников. — М., 1990.



**ПРОСТРАНСТВО ВЛАСТИ В РАНИХ ПОВЕСТЯХ Е.И. ЗАМЯТИНА  
«УЕЗДНОЕ», «НА КУЛИЧКАХ»**Н.В. Губина  
Барнаул

Проблема пространства актуализируется в повестях Е.И. Замятина «Уездное», «На куличках» на уровне заглавия, предопределяет структуру и образную систему произведений, задает направление их интерпретации.

Пристрастие автора к пространственно ориентированным названиям в сочетании с «сюжетной анемией» (1, с. 17) заставляет задуматься. Вялотекущий сюжет нравоописательного типа, когда «события просто присоединяются друг к другу» (1, с. 9) связан с особенностями хронотопа повестей. Роль временной составляющей существенно уменьшена в пользу пространственной, которая приобретает дополнительную значимость.

Ю.И. Лотман: «Пространство в художественных произведениях моделирует разные связи картины мира: временные, социальные, этические и т. п.» (3, с. 414).

Какие же не пространственные отношения моделируют структуру ранних повестей Е.И. Замятина? Поиски ответа следует начинать уже с первого произведения автора — повести «Уездное».

Исходя из названия произведения, «Уездное» — это, во-первых, территориальная единица (в повести — город и его окрестности), что соответствует горизонтали художественного пространства; во-вторых, административно-политическая единица, что соотносится с вертикалью пространства; в-третьих, название училища, из которого выгоняют Анфима Барыбу — главного героя повести.

Все три трактовки слова «Уездное», а также особенности организации художественного пространства повести связаны с феноменом Власти.

Возникающая внутри общества Власть как таковая в различных своих модификациях (власти Закона, Слова и Текста, Традиции и Нормы) имеет в качестве объекта собственного приложения человеческое тело. Вроде бы полностью ментальный феномен Власти, тем не менее реализуется в сугубо материальном телесном пространстве. Под терминами «телесное» и «материальное» в этой статье подразумевается пространство, заполненное различными формами материи (вещами, едой, деньгами и, прежде всего, телами), которые, взаимодействуя между собой, составляют единый континуум. Внутри человека, как бинарной оппозиции «телесное — духовное», Власть если и пытается достичь духа, то лишь через тело, посредством регламентации места и времени.

Все вышесказанное предопределяет особенности построения художественного пространства повести «Уездное», где можно выделить два основных подпространства.

1. Сугубо телесное материальное пространство, его же можно назвать пространством Власти и «уездным» пространством.

2. Антителесное, антиматериальное пространство, где осуществление власти невозможно по каким-либо причинам. Это же пространство является сферой обнаружения духовного начала в повести.

Примечательно, что на территории «уездного» пространства духовное начало тоже может проявляться, но лишь в хрупких и больных телах. Власть теряет свою силу над ними: «ледащая» безграмотная Польшка имеет мечту, не блюдет законов, по кото-

рым живет Чеботариха, чахоточный Тимоша и вообще испытывает власть на прочность своими крамольными речами и вызывающим поведением.

Художественное пространство произведений Е.И. Замятина мифологизировано. В сцене экзамена по закону божию «уездное» трактуется как травестированный рай, населенный горожанами — «месопотами»:

«Поп кивнул как будто очень ласково. Барыба приободрился. — Это кто же — с месопотамы-то? А Анфим? Объясни-ка нам, Анфимушка.

— Месопотамы... Это такие. Допотопные звери. Очень хищные. И вот в раю они. Жили рядом...» (2, с. 46).

Аномальный рай имеет собственного Адама-Барыбу, тело которого многократного маркируется пространством Власти: «Тяжкие железные челюсти, широченный четырехугольный рот и узенький лоб: как есть утюг, носиком кверху. Да и весь-то Барыба какой-то широкий, громоздкий, громыхающий, весь из жестких прямых и углов. Но так одно к одному пригнуто, что из нескладных кусков, как будто и лад какой-то выходит: может, и дикий, может, и странный, а все же лад» (2, с. 45).

Роль Анфима-Адама совсем не случайно проясняется именно в стенах уездного училища, так как при этом мы сталкиваемся с культурно-идеологическим наполнением пространства Власти и с такими ее формами, как власть Слова и Текста. Примечательно, что в «уездном» пространстве может быть воспринято только слово, которое рано или поздно станет текстом, то есть Слово письменное, закрепленное материально. Так статус Анфима-Адама подчеркнут тем, что его имя стоит первым в списке учебного журнала.

Любой письменный текст в «уездном» пространстве призван репродуцировать знания, разрешенные Властью и укрепляющие ее. А потому каждый текст особо значим. Среди них, помимо списка из журнала уездного училища, городские газеты (источник информации о внешних, неуездных, событиях), книжонки Анфима («Тяпка-лебедянский разбойник», «Преступный монах и его сокровище», «Кучер Королевы Испанской» — в этом списке зашифрован путь восхождения Анфима по вертикали пространства Власти), записанные купца Игумнова, показания свидетелей, записанные прокурором. Особенность Слова и Текста в уездном пространстве в том, что они неистинны, несут псевдоинформацию, псевдознание. Поэтому роль обучения и функция училища в уездном пространстве тоже весьма специфичны.

В стенах последнего не просто осуществляется сотрудничество Власти и знания. Власть использует училище, школу подобно другим институтам для подчинения тела через систему упражнений, поощрений, наказаний. Значимо и то, что одной из первых в повести поставлена сцена экзамена:

«Взаимоналожение отношений власти и отношений знания обретает в экзамене весь свой видимый блеск...», «экзамен в школе был постоянным обменом знаниями: он гарантировал переход знаний от учителя к ученику, но и извлекал знание, предназначенное и приготовленное для учителя» (4). Не случайно в тексте Е.И. Замятина: «Восемнадцатого, на царицу Александру, по закону экзамен — первый из выпускных» (2, с. 46).

Анфим не сдает экзамена, так как тело его не подчинено Власти. Перефразируя М. Фуко — это тело, наделенное животным сознанием, нежели тело, которым манипулирует Власть, что и соответствует начальному, низшему уровню вертикали «уездного» пространства, организованного иерархически.

На первом уровне находятся бедные мещане, мужики, извозчики, солдатка Апрося — все низшие социальные слои, которые напрямую связаны с землей («преют как навозец в тепле»). Власть государства и церковные законы воспринимаются лишь как свод ритуалов. Особым знаком принадлежности определенному уровню является одежда — закон, наложенный властью на тело со времен Адама и Евы. На этом уровне одежда символически прикрывает тело холщовым полотном. Бессознательное тело, хотя и пытается освободиться от одежды, вместе с тем является фундаментом пространства Власти, подпитывает его. Так, стоит Барыбе «попрозрачнеть, почеловечеть», как он вспоминает голые тела на Стрелецком пруду, и инстинкты вновь оживают.

На втором уровне тело чувствует собственную силу и достигает критических объемов (Чеботариха). Здесь царит уверенность в том, что можно купить благосклонность Закона и церкви. Знак принадлежности этому кругу — купеческая одежда.

Третий уровень — это уровень Власти и Закона «уездного» пространства (исправник, казначей и его зять, почтальон, дьякон, батюшка Покровский). Особым знаком этого круга становится форма (ряса — как церковная форма). Любое тело, облеченное в законенную одежду, получает дополнительную значимость и причащается Власти.

Четвертый уровень — высший, наиболее значимый, он выходит за пределы пространства Власти. Здесь находятся персонажи, в которых каким-либо образом проявляется духовное начало (Тимоша, Моргунов, Урванка, отец Барыбы и др.). Первые двое выполняют креативную функцию в «уездном» пространстве. Хриstopодобный Тимоша «перекраивает мозги» горожан, Моргунов, которого автор наделяет inferнальными чертами, творит порочный Закон материального пространства. Специфической чертой всех героев четвертого уровня является не одежда, а их обладание истинным знанием, которое, однако, не может быть вербализовано. В силу своей нематериальной сущности слово правды либо запрещено в «уездном» пространстве, либо не понято, не услышано: так Тимошу казнят за «слова всякие», а Урванка<sup>1</sup>, греющийся «духом» цыплят, говорит на чужом для горожан языке.

Горизонталь «уездного» пространства тяготеет к дискретности, что вполне естественно: Власть, в том числе такая ее форма, как власть Традиции, стремится разделить пространство, закрепляя за каждым объектом (телом, вещью) определенное место, «отгораживает» их. «Калитки на засовах железных, по дворам псы цепные на рыскалах бегают. Чужого чтоб в дом не пустить, так раза три из-за двери спросят: кто такой да зачем. У всех окна геранью да фикусами позаставлены. Так-то оно дело вернее: никто с улицы не заглянет» (2, с. 78).

Заполненное материей пространство также тяготеет к сгущению в центры — Дворянская улица, Чуриловский трактир, Стрелецкий пруд — места, куда повествование возвращается вновь и вновь, и где скрываются магические источники «уездного» пространства. При

этом вертикальные уровни пространства Власти имеют топологическую закрепленность в каком-либо из центров на горизонтальной плоскости: первый уровень — Стрелецкий пруд; второй уровень — Чуриловский трактир; третий уровень — Дворянская улица, где находятся все административные здания городка; четвертый уровень не закреплен топологически в «уездном» пространстве, так как выходит за его пределы.

Вместе с тем при формировании центров, которые предполагают наличие периферии, внешние границы пространства Власти размыты и смутно угадываются в упоминании о мифологических Вавилонах, где новые люди не подчиняются Закону и даже «ухлопали» министра. Единственным локусом, реально противопоставленным «уездному» пространству на горизонтали, является балкашинский двор. Телесное умирает здесь вместе с купеческим семейством, высвобождая задушенный дух. О-дух-отворенное место, вызывает суеверный ужас у жителей городка: «Ай хозяин-дворовой остался на балкашинском дворе?» (2, с. 47). Это место — антирай, пространство хаоса, распада материи, что для «уездного» равносильно небытию, смерти. Балкашинский забор, за который выбрасывают умирать слепых котят и щенят, разделяет пространства Власти и безвластия. Дыра в заборе дает возможность наблюдать за анархическим пространством со двора Чеботарихи. «Каждый взгляд — сколок с глобального действия власти» (4). Голодное существование Барыбы на балкашинском дворе есть нереализованная возможность зарождения души: «Бывали дни — целый день Барыба метался по двору балкашинскому, искал людей, людского чего-нибудь» (2, с. 47). Но сгусток уездной материи — тело Барыбы — не дает «проклюнуться» душе: «... от худобы еще жестче, углами выперли челюсти и скулы, еще тяжелее, четырехугольней стало лицо» (2, с. 47). Забота о еде возвращает Анфима в привычный мир, а «людское» становится горячим чаем и теплым одеялом на дворе Чеботарихи.

Продвижение Анфима Барыбы по горизонтали и вертикали художественного пространства повести (эволюция героя) связаны с толкованием «уездного» как училища и актуализацией библейских мифологем «отца и сына». В повести явные отсылки к сюжетам о блудном сыне, о Боге-отце, посылающем в мир Бога-сына и испытывающем его. Отец Анфима, «человек правильный», обладает истинным знанием, символом которого являются очки. Он отправляет сына учиться. Этим жестом задается путь восхождения Анфима из бессознательного тела на четвертый одухотворенный уровень. Но гипертрофированная телесность Барыбы не дает ему выйти за пределы материального пространства. Голод и одиночество на балкашинском дворе не пробуждают в герое душу. Анфим попадает не на четвертый, а на второй уровень, в спальню Чеботарихи.

Библейская пространственная мифологема рая дважды обыгрывается в повести «Уездное». Если город — это рай, населенный «месопотамскими» и первыми людьми, то монастырь — это рай в своем каноническом виде — без людей:

«Любили именитые тут хорониться; всякому лестно в монастыре лежать, и чтоб денно и ночью о нем ангельские чины молились» (2, с. 63).

Монастырь в повести — один из центров «уездного» пространства, что не удивительно, так как в мировой

культуре и истории институт монашества, наряду с армией, судом, училищем, — опора Власти.

Библейская легенда о рае в произведениях Е.И. Замятина часто контаминируются с образами и сюжетами русской народной мифологии. Так, уездный город воспринимается как град Китеж, расположенный на дне мутного сонного озера, а монастырь — омут, населенный рыбообразными монахами (стекляноглазый Евсей, губошлепый Иннокентий, Савка-послушник с красными рачьими ручищами).

Сравнение пространства Власти с озером, омутом, ядовитым болотом становится ключевым в следующей повести Е.И. Замятина «На куличках», где эта пространственная метафора применяется к армии.

Подобно «Уездному» Е.И. Замятин выстраивает художественное пространство как оппозицию: «пространство Власти» — «пространство свободы».

Последнее соотносится с двумя локусами:

1. Центр России, черноземная полоса, Тамбов, Тамбовская губерния — родина Андрея Ивановича Половца. Это пространство одухотворенно, и ассоциируется для него с мечтой, любовью, свободой выбора. Другим офицерам оно предоставляется недостижимым.

2. Таким же недоступным и непонятым остается океан и светлая жизнь, мерцающая, как огни далеких кораблей. Океан — единственная реально обозначенная граница пространства Власти в повести. Голубой океан и голубое небо — это пространство мечты, присутствия духа, в то время как пространство Власти приземленное и материальное, заполненное вымуштрованными и порочными телами, едой, деньгами, сигаретным дымом, туманом.

«Да ведь какой туман-то: оторопь забирает. Густой, лохматый, как хмельная дремя, муть от него в голове — притчится какая-то несуразная нелюдь, и заснуть страшно, нельзя: закружит нелюдь» (2, с. 136).

Главный герой из Тамбова попадает на Дальний Восток, на болото, населенное водными чертями и чертенятами (генерал Азанчеев — мерзкая жаба, водяной из «бучила»; бородавчатый, с телячьей мордочкой Молочко; лохматый Нечеса; кликуша Агния и т. д.).

Подобно тому, как уездный рай населен вымышленными месопотамскими, кулички — места обитания неизвестного науке, дикого и воинственного народа — ланцепупов. Пространство Власти в повести монолитно, поэтому на краю земли, у океана ланцепупами являются практически все: солдаты, офицеры, офицерские жены и дети. А китайцы стали дичью, на которую охотятся кровожадные дикари:

«Ваше превосходство... Да ведь они — манзы. Нешь, они человеки? Так, знычть, вроде куроптей больших. За их и бог-то не взыщет..., ведь ребятонки, есть-пить... рты разинули...» (2, с. 167).

Наказания за убийство человека на куличках практически нет, самое большее «...домашним поряд-

ком — плеточкой..., и — под арест на десять суток». Это не случайно. Кулички и есть территория наказания, куда власть ссылает провинившихся: Шмидта — за оскорбление действием, Молочку — за публичное непотребство, Нечесу — за губошлепство. Власть разработала для наказания индивидов целое искусство, которое не карает, но «...оказывает на них постоянное давление, чтобы привести их к одной и той же модели...», что с блеском воплощается в пространстве Власти на куличках.

Даже Андрей Иванович Половец, прибывший на Дальний Восток по собственному желанию, в конце повести становится совершенным ланцепупом. Как и в «Уездном», такая эволюция или скорее деградация героя задана с первых строк его пространственной маркированностью: «И такое у Андрея Ивановича — лоб: ширь и размах степной. А рядом нос — русская курнофеечка, белобрысые усики, пехотные погоны. Творил его господь бог, размахнулся: лоб. А потом зевнул, чего-то скушно стало — и кой как, тят-ляп, кончил: сойдет» (2, с. 136). Внутри героя изначально запрограммирована победа ущербного, безбожного пространства Власти, которое влечет, притягивает и не выпускает из своей паутины.

Организация художественного пространства повести «На куличках» имеет свои особенности: пространство Власти здесь не иерархизировано, а монолитно и одинаково сильно на всей своей территории. Видимо, это связано с тем, что, желая оживить нравоописательный сюжет повести, Е.И. Замятин вводит в текст любовную интригу. Внимание автора сосредоточено на тех героях, которые могут любить: Андрей Иванович, Шмидт, Маруся. Но первых двух даже любовь не может избавить от участи быть ланцепупами, слишком сильно в их телах пространство Власти (власть армии). Лишь по-детски тоненькая и хрупкая Маруся находит в себе силы выйти, уехать за пределы пространства, убившего ее любовь.

Только Маруся и полоумная генеральша отмечены знаком духовности — им отдана привилегия сказать слово правды. Все остальные речи и тексты на куличках глут, и не только потому, что слово правды запрещено или неприлично. Поручик Тихмень умирает потому, что истины никто не знает, ее просто не может быть в пространстве Власти.

В заключении можно сказать, что способ интерпретации через выявление структуры и особенностей пространства Власти применим не только к повестям «Уездное» и «На куличках», но к целому ряду произведений Е.И. Замятина: «Островине», «Алатырь», «Африка», «Пещера» и др. Особенно интересной представляется возможность построить инвариантную модель восприятия автором феномена власти и проследить метаморфозы этой модели в раннем, дореволюционном, и более зрелом, послереволюционном творчестве писателя.

## ПРИМЕЧАНИЕ

1. Имя Урванка восходит к имени иранского животного божества дозораострийского периода Геуш-Урван (Душа быка. — 5, с. 139).

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Давыдова Т.Т. Евгений Замятин. — М., 1991.
2. Замятин Е.И. Избранные произведения. — М., 1989.
3. Лотман Ю.М. Проблема художественного пространства в прозе Гоголя // Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. — Таллин, 1992. — Т. 1. — С. 413-448.
4. Фуко М. Надзирать и наказывать. — М., 1999.
5. Элиаде М., Кулиано И. Словарь религий, обрядов и верований. — М., СПб., 1997.

**ЛИЧНОСТЬ В.И. ЛЕНИНА В ЭПОПЕЕ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА  
«КРАСНОЕ КОЛЕСО» И ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ КНИГЕ  
Д.А. ВОЛКОГОНОВА «ЛЕНИН. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ»**

П.К. Чекалов  
Ставрополь

Образ В.И. Ленина издавна волновал и привлекал Солженицына, и потому не случайно, что его личность в главах исторической эпопеи «Красное Колесо» занимает свое определенное место: в «Августе Четырнадцатого» ему посвящена одна глава, в «Октябре Шестнадцатого» — 7, в «Марте Семнадцатого» — 3.

О том, как формировался художественный образ В.И. Ленина, существуют признания самого писателя: «О Ленине я думал просто с того момента, как задумал эпопею, вот уже 40 лет, я собирал о нем по кусочкам, по крохоткам все, решительно все (...). Я составлял даже каталоги отдельных случаев его жизни по тому, какие черты характера из того вытекали (...). Я не имею задачи никакой другой, кроме создать живого Ленина, какой он был, отказываясь от всех казенных ореолов и казенных легенд» (4, № 10, с. 193).

Из «Путеводителя» П. Паламарчука узнаем, что, оказавшись на Западе, Солженицын первым делом попадает в Цюрих, где протекла почти вся эмигрантская жизнь Ленина во время первой мировой войны. «Дом Ленина на Шпигельгассе в Цюрихе писатель посетил на следующий же день по приезде. Написанные ранее главы подверглись «на натуре» коренной переработке» (4, № 10, с. 193).

Результатом проделанной работы стало то, что в 1975 г. в парижском издательстве «ИМКА-Пресс» Солженицын выпускает книгу «Ленин в Цюрихе», в которой объединил все 11 ленинских глав «Красного Колеса».

С первых страниц книги «Ленин в Цюрихе» перед нами предстает человек властный, с большим «бесмысленным лбом», «общипанной рыжей бородкой», с неприятными и «хитрыми» калмыцкими глазами, с головой, похожей на перевернутый котел, злой, расчетливый, жадный... Внешний портрет Владимира Ильича, как и образ его в целом, выступает в совершенно негативном свете. Солженицын старается не упустить ни одного момента, ни одного поворота, движения, взгляда Ленина без того, чтобы не придать им отрицательной окраски. Ленин предстает обязательно «плешатым», с «выскубанной бородкой», с «куполом» вместо головы, со взглядом «непробиваемым» и «неустрасимым». Взгляд Владимира Ильича, по Солженицыну, хитрый, разящий, бурящий, выкапывающий: «И — выплеском взгляда *разящего* из монгольских глаз...»; «Ленин *хитро*, щелками глаз смотрел»; «но в ленинские глаза, *бурящие, выкапывающие*, нельзя было войти, как нельзя войти в шило», «*остро, колко, допытливо, исследовательски* досматривал, проверял»...

Создается впечатление, будто Ленин не мог просто взглянуть, просто посмотреть, просто обратить на что-либо внимание, но всегда — с умыслом, всегда — с подтекстом, всегда — недружелюбно.

В самостоятельный негативный образ превращается и ленинская усмешка. Солженицын подчеркивает,

что Ленин почти не способен был улыбаться, а только усмехался: «Усмешка — часто была у Ленина; улыбка — очень редко, — вместо того он прищуривался, еще пряча, пряча, природой запрятанные глаза»; «и — с усмешкой, с прорезающей своей усмешкой при вздернутых бровях, в издевательской естественной стихии усмешки, когда краснеет радостное в глазах»; «Ленин выпячивался в издевательскую насмешку и еще подрагивал при этом, и еще подрагивал»...

Солженицынский Ленин рассматривает друзей и единомышленников исключительно как орудие для реализации своих политических амбиций, как средство для достижения политических целей. За очень редким исключением он ни о ком положительно не отзывался. Наоборот, его оценки сподвижников и товарищей по работе всегда критичны, высокомерны, пренебрежительны. Так, например, Бронский, по мнению Ленина, просто глуп, Горький — недоумок, тленок архибесхарактерный; Троцкий говорит благоглупости, занимается сбором дешевой популярности ...

Набор бранной лексики резко увеличивается в количественном и качественном отношении, когда речь заходит о политических противниках Ленина. Ревизионисты — трухлявые, сволочь обывательская; меньшевики — сволочь, польская оппозиция — паршивая, ультрасоциалисты — ослы, европейские социалисты — сволочь обывательская, швейцарские левые — архидрянь, безнадежные, бесхарактерные люди; европейские социалистические партии — гнилы...

Арсенал оскорбительных выражений лидера большевиков богат и разнообразен, и касается не только соратников или противников, но и представителей всех классов и социальных слоев. Так, например, галицийские мужики — тупые, как все мужики в мире; поронинские жители — дремучие, австрийский вахмистр — болван. Интеллигенция у Ленина выглядит «мерзкой интеллигентщиной», их среда — болото, походить на них — идиотство; австрийские аристократы — слабоумны, дипломаты — дубины...

В солженицынском герое нет ни капли чувства благодарности ни стране, которая его взрастила и воспитала, ни чужому государству, которое приняло и приютило его во время зарубежных скитаний. По его мнению, в «затхлой» Швейцарии «торжествует бацилла мелкобуржуазного тупоумия», она характеризуется проклятой, чванной, безнадежно тупоумной, а швейцарцы — косолапые, самодовольные, мордатые, туповатые; они способны только «жевать, мычать, попивать», вследствие чего рождается резкая и категорическая оценка: «Республика лакеев! — вот что такое Швейцария!»

Но никакая страна мира не могла соперничать в отрицательной оценке Лениным «проклятой» России и всего, что с ней связано. На протяжении всех глав мы не найдем ни одного положительного, даже

снисходительного суждения о своем отечестве. На страницах книги «Ленин в Цюрихе» герой представлен человеком, которому омерзительно и ненавистно все российское. В его представлении, это — разляпистая, растяпистая, вечно пьяная страна; он не знал ничего противнее русского амикошонства, трактирных слез раскаяния, рыданий «якобы загубленных натур». Герой считает русский народ «безнадежнее всех» оттого, что не способен на протест, на восстание, оттого, что «нет на Земле народа покорней и бессмысленней русского. Границ его терпению не существует. Любую пакость, любую мерзость он слопаёт и будет благодарить и почитать родного благодетеля». Перспектив развития революции в России Ленин не видел, революционное дело в ней он считал проигранным, и потому приходил в отчаяние оттого, что ничего нельзя «вымесить из российского кислого теста!»

В книге Солженицына Ленин представлен преимущественно как политик, маниакально поглощенный одной революционной идеей, посвятивший ей всю жизнь и кипучую деятельность. И выглядит он при этом совершенно примитивным, плоско мыслящим человеком. Наиболее полно эти его качества раскрываются в 38 главе «Октября Шестнадцатого», где он читает лекцию молодым швейцарским активистам в ресторане Штюсихоф.

Состоящая из потока внутренних мыслей, наблюдений и оценок глава время от времени прерывается отдельными обрывистыми фразами — фрагментами лекции, которые несут в основном лозунговый, призывный характер, служащие как бы руководством к действию для вожаков молодежи. Эти фразы как раз и дают представление как об уровне мышления Ленина, так и о способности осмысливать реальную действительность. Так, в октябре 1916 года он уверенно провозглашал, что Швейцария — революционнойшая страна в мире, и основанием для такого глобального заключения служит тот факт, что «Швейцария — единственная в мире страна, где солдатам отдается на дом, на руки — и оружие! и амуниция!», в связи с чем он предполагал, что «социалистическое преобразование в Швейцарии вполне осуществимо и настоятельно необходимо». Чересчур упрощенно понимается героем и сама революция: «Захватить банки! вокзал! почту-телеграф! и крупные предприятия! И — все, революция победила!»

В понимании Ленина, от революции в Швейцарии до мировой — лишь один шаг. Вот как мыслит он общеевропейскую революцию по Солженицыну: «Пока вся Европа воюет — а в Швейцарии баррикады! А в Швейцарии — революция! А у Швейцарии — три главных европейских языка! И по трем языкам в три стороны па-льется революция по Европе! Расширится союз революционных элементов — до пролетариата всей Европы! Сразу вызовется классовая солидарность в трех приграничных странах! Уж если вмешаются — то революция вспыхнет по всей Европе!!! Вот почему ШВЕЙЦАРИЯ — ЦЕНТР МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ СЕГОДНЯ!!!» (разрядка и выделение автора. — П.Ч.).

Подобные легковесные умозаключения Ленина-политика очень близко напоминают Хлестакова-литератора. Так и хочется сказать о видении им революционных перспектив в общеевропейском масштабе словами незабвенного гоголевского персонажа: легкость в мыслях необыкновенная!.. И таким образом профессиональный революционер, отдавший подпольной политической работе всю сознательную жизнь, низводится Солженицыным до уровня грибоедовского Репетилова, обычного обывателя, понаслышке разглагольствующего о вероятной революции.

Слово «разрушение» Ленин воспринимал не только в теоретическом аспекте: уничтожение монархической власти, старой государственной системы и т.д., он реально представлял себе и вполне конкретную картину разгрома: при виде уютных особняков, маленьких дворцов швейцарских буржуа, украшенных фигурной кладкой, изразцовыми плитами, шпилями, фонтаном, им овладевает «взбурливающее раздражение», и единственное, что приходит ему в голову в этот момент, — «как бы славно *привалить* сюда снизу *толпой*, да погромить эти калитки, окна, двери, цветники — камнями, палками, каблуками, прикладами винтовок, — **что может быть лучше, веселей**».

Так в очередной раз образ Ленина снижается до уровня невежественного вандала, уличного разбойника, получающего удовольствие от разрушения каблуками, камнями, палками... Таким образом в Ленине раскрывается природная страсть к разрушению, которая, по мысли Солженицына, будет реализована уже в России, куда он собирается в экстренном порядке для захвата власти после отречения царя.

Солженицынский Ленин не просто жесткий, в нем много злобы и ненависти. По признанию самого героя, ошибок он вообще не прощал: «Ничьей ошибки он не мог забыть никогда до смерти». Помимо всего, Ленин представлен и обычным трусливым обывателем. Когда поронинские крестьянки пригрозили, что «они сами выколят ему глаза! сами вырежут ему язык», Владимир Ильич приходит в страшное замешательство: «А что? — и выколют, ничего удивительного! А что? — и вырежут, ничего невозможного! Очень просто: придут с вилами и ножами... Такой (разрядка автора. — П.Ч.) колоссальной опасности не подвергался Ленин никогда за всю жизнь». Несобственно-прямая речь, произносимая как бы от лица самого персонажа, раскрывает все душевное смятение вождя. Эпизод наполняется тем большим сарказмом, что угроза исходила от обычных деревенских женщин.

И лишь единственный раз в самом конце книги мелькнет в образе Ильича естественное, человеческое, когда во время прогулки он встретит струнно сидящую на светло-рыжей лошади всадницу. При виде ее у Ленина возникает обычная для всякого мужчины мысль: «Если вдруг освободить мысли от всех необходимых и правильных задач — ведь *красиво! Красивая женщина!*»

Фраза построена таким образом, что становится ясно, что, в сущности, ничто человеческое Ленину не

чуждо, но, чтобы проявилось это естественное и природное начало, нужно, оказывается, всегда освободиться «от всех необходимых и правильных задач», которыми он будто бы искусственно начал всю свою жизнь, отгородившись от мира простых человеческих радостей и ощущений...

Уже во введении к солидной двухтомной документальной книге «Ленин. Политический портрет» автор Д.А. Волкогонов отмечает: «Конечно, наши взгляды на Ленина меняются не только потому, что мы узнали НЕЧТО (выделено автором. — П.Ч.) иное, нежели нам внушали долгие десятилетия. Мы засомневались в безгрешности вождя прежде всего потому, что «дело», которое он начал и которое оплачено десятками миллионов жизней (!), огромной кровью, страданиями и лишениями великого народа, потерпело крупное историческое поражение» (1, кн. 1, с. 10).

Вероятно, подводить итоги историческому поражению идеи социализма еще рано, но то, что мы узнали о Ленине «НЕЧТО иное», — это факт, и факт прискорбный, как прискорбно бывает всегда, когда рушится идол, которому поклонялся искренно и беззаветно. И сама книга Волкогонова дает большой материал **иного** Ленина, вследствие чего его политический портрет и получается преимущественно негативным.

Исходя из того, что по большевистской традиции жизнь Ленина «всегда показывалась только с той стороны, которая была освещена солнцем. А что в тени вождя — не принято было говорить» (1, кн. 2, с. 182), Волкогонов основное внимание сосредоточил именно на «теневой» стороне В.И. Ленина, в результате чего, на наш взгляд, снова получился перекокс, но в другую сторону: в тень ушли многие позитивные черты живого Ильича. Тому в немалой степени способствовали использование автором многочисленных уникальных документов, сокрытых в тайниках секретного фонда Политбюро. В их числе — 3724 до того не опубликованных ленинских документов и около 3000 официальных материалов Совнаркома с подписями В.И. Ленина. Они представляют реального вождя русского пролетариата хитрым, коварным, циничным, жестоким, прагматичным, фанатично преданным делу революции и оправдывающим любые средства во имя ее торжества.

Несмотря на заметную односторонность книги Волкогонова, она вызывает больше доверия не только потому, что полностью основана на документальном материале, но еще и потому, что здесь ощущается отсутствие предвзятости, злопыхательства, наличие желания искренно разобраться в феномене человека, радикально преобразившем политическую карту мира XX столетия. История еще расставит свои акценты относительно Ленина и большевизма, и, возможно, они будут отличаться от оценок, выставленных Д.А. Волкогоновым, и тем не менее созданный им политический портрет Ленина на сегодняшний день, наверно, можно признать наиболее близким к объективности.

Уже при обзоре литературы автор двухтомника ссылается на историко-художественные произведения А.И. Солженицына, подчеркивая их огромное зна-

чение для понимания феномена Ленина: «Великий писатель смог, продолжая великую традицию Достоевского, заглянуть в подвалы сознания людей, «перевернувших Россию» (1, кн. 1, с. 23). К оценке глав «Красного Колеса» Волкогонов возвращается неоднократно, выражая свое согласие с художественным воссозданием образа Владимира Ильича Солженицыным. Так, например, касаясь внутреннего состояния Ленина, хода его мыслей после февральской революции, исследователь замечает: «Никто сейчас точно не скажет, о чем думал Ленин в триумфальные дни Февраля в уютном буржуазном Цюрихе. Александр Исаевич Солженицын попытался, правда, с помощью художественно-исторического инструментария исследовать космос ленинского сознания в Цюрихе. И делает это, на наш взгляд, **весьма убедительно**» (1, кн. 1, с. 195). А после приведения цитаты из «Марта Семнадцатого» добавляет: «Никто с уверенностью не скажет, что именно так думал Ленин, но Солженицын, по моему мнению, **очень близок своим воображением к тому, что могло быть**» (1, кн. 1, с. 196). По другому поводу автор-историк снова апеллирует к Солженицыну и выражает свою солидарность: «Великий писатель осмыслил ситуацию художественными средствами, но **очень близко к тому, как все было**» (1, кн. 2, с. 302).

Таким образом, ученый-историк свидетельствует о достоверности образа В.И. Ленина в книге Солженицына «Ленин в Цюрихе». Документальный материал самой книги Д.А. Волкогонова убедительно показывает, что А.И. Солженицын действительно сумел выхватить и верно отразить многие черты реального Ленина. В пользу писателя свидетельствуют, например, такие факты и суждения, так или иначе перекликающиеся с затронутыми нами вопросами: «Я думаю, что Ленин никогда не любил Россию и ее народ. Он любил только власть и свои безумные идеи» (1, кн. 2, с. 161); «Нередко к России и русским он относился, мягко говоря, непристойно» (1, кн. 1, с. 31); «Ленин умел ненавидеть сильнее, чем любить» (1, кн. 2, с. 462); «Он смог «доказать» и убедить партию, что аморальность, если она в интересах партийного дела, может быть «моральной» (1, кн. 1, с. 32); «Ленинский словарь ругательств и общения неповторим и неистощим: «дайте мне полаяться», «пустозвон Троцкий», «шельмец Троцкий», «ренегат Каутский», «пиявка Пятницкий»; «Чужак — дура петая, махровая, с претензиями»; «болтун Суханов»; «надо русского дикаря учить с азов», «ученые шалопаи, бездельники и прочая сволочь», «профессорский вой», «идейное труположество» (1, кн. 2, с. 461)...

Но та же книга Волкогонова представляет немалый материал и для опровержения некоторых черт и качеств, приданных Солженицыным своему герою. Так, если у автора «Красного Колеса» Ленин изображен одиноким, не признающим обычной дружбы между людьми, придирчивым и нелюдимо отзываются о своих соратниках, то на страницах двухтомника мы встречаемся с другим отношением Ленина к товарищам. Правда, и там подчеркивается, что «близких друзей у него не было», и при-

чина такого положения вещей обосновывается тем, что «своим интеллектуальным «ростом» он как бы держал людей на расстоянии» (1, кн. 2, с. 7). Но в то же время ученый отмечает: «Правда, в отдельные ранние периоды своей жизни Ленин был дружески весьма близок то к Ю.О. Мартову, то к Н.Е. Федосееву <...>, то к А.А. Ванееву. Позже, накануне революции, его теснее, чем с кем-либо, связывали узы теплых товарищеских отношений с Г.Е. Зиновьевым и Л.Б. Каменевым. Временами Ленин проявлял заметное дружеское расположение к Свердлову, Дзержинскому, Подвойскому, Луначарскому или к кому-либо еще» (1, кн. 2, с. 7). По отношению к Григорию Евсеевичу говорится, что, «пожалуй, Ленин **любил** Зиновьева больше всего за преданность ему самому» (1, кн. 2, с. 56), а по сравнению с ним чувства Ленина к Л.Б. Каменеву «**были глубже**» (1, кн. 2, с. 60). Чуть дальше следует даже авторское предположение: «Пожалуй, что Ленин даже любил Каменева» (1, кн. 2, с. 61). Еще ниже об отношении к Бухарину говорится: «А ведь Ленин **любил** Бухарина... Ленин любил беседовать с Бухариным, **нередко проявляя просто отеческую заботу** о молодом соратнике» (1, кн. 2, с. 76).

Материал книги Волкогонова опровергает также солженицынскую установку на то, что Ленин безжалостно отсекал от себя друзей после того, как отпадала необходимость в их помощи. Старой дружбы Ленин не забывал и по возможности помогал товарищам в делах житейских. Так, получив в апреле 1922 г. письмо от Г.Л. Шкловского с просьбой найти ему хорошее место, Ленин письменно просит Сталина пойти навстречу «старому партийцу», так как «нелегко приспособиться в холодной и голодной России». Примечательно и то, как Ленин заканчивает письмо к Сталину: «Нельзя «швыряться» людьми, надо повнимательней отнестись» (1, кн. 2, с. 36). И затем мы узнаем, что Ленин частенько писал «записочки» с просьбами оказать «содействие», «помощь», «поддержку» людям, которые когда-либо делали ему одолжение» (1, кн. 2, с. 37).

Из усвоенных на всю жизнь принципов Солженицын в своем герое выделяет не просто отсутствие сентиментальности, а ее категорическое недопущение в отношениях с людьми: «ни к кому никогда ни мазка сентиментальности» (1, кн. 2, с. 7). А в действительности вождь большевиков, оказывается, «мог шутить, смеяться, даже быть фамильярным». Со ссылкой на Валентинова Волкогонов отмечает и то, что «Ленин, говоря о матери, своих близких, становился сентиментальным» (1, кн. 2, с. 261). У солженицынского персонажа, как правило, улыбка на лице отсутствует, а вместо нее выступает усмешка. Волкогонов свидетельствует, что Ленин, хотя и был строг, но часто улыбался (1, кн. 1, с. 298).

Солженицын в главах «Красного Колеса» подчеркивает трусость Ленина. Автор документального двухтомника утверждает: «Его могли видеть взбешенным, раздраженным, взволнованным, потрясенным. Но его никто никогда не видел испуганным, подавленным, смятенным. Он умел управлять собой!» (1, кн. 1, с. 265). Помимо того, Д.А. Волкогонов затрагивает сюжеты трех покушений на В.И. Ленина, но

при этом ни разу не упоминается о проявлении какой-либо трусости в этих экстремальных ситуациях. Наоборот, всегда и везде он сохраняет спокойствие и хладнокровие. А после покушения Ф. Каплан, прибыв к подъезду здания, где находилась его квартира, раненный двумя пулями Ленин «отказался от помощи и, сняв пальто и пиджак, самостоятельно поднялся на третий этаж. Открывшей дверь перепуганной Марии Ильиничне бледный Ленин с вымученной улыбкой бросает: — Ранен легко, только в руку...» (1, кн. 1, с. 392-393).

Выше мы говорили о том, что на страницах «Красного Колеса» Ленин как политик выступает достаточно примитивным, плоско мыслящим человеком. Волкогонов же отмечает «мощный интеллект» вождя, хотя при этом и оговаривается, что «слово «мощный» не говорит о его нравственной направленности» (1, кн. 1, с. 30).

Хотя у Волкогонова Ленин тоже представлен несколько односторонне, в нем все же заметно стремление подойти к фигуре вождя диалектически: историк отмечает в вожде как нелицеприятные, так и простые его человеческие свойства: «Ленин, будучи человеком внешне весьма мягким, добродушным, часто весело похотывающим, любящим тепло домашних животных, способным на сентиментальные воспоминания, — когда дело касалось классовых, политических вопросов, весь преобразался. Он сразу становился жестко-колючим, бескомпромиссным, беспощадным, мстительным. Но даже в такой ситуации был способен на смех, который выглядел в этом случае весьма необычно» (1, кн. 1, с. 357).

Н. Бердяев прежде, чем сказать о Ленине, что его «исключительная одержимость одной идеей привела к страшному сужению сознания и нравственному перерождению, к допущению совершенно безнравственных средств в борьбе», все же не забывает отметить, что он же «не был дурным человеком, в нем было и много хорошего. Он был бескорыстный человек, абсолютно преданный Идее, он даже не был особенно честолюбивым и властолюбивым человеком, он мало думал о себе» (1, кн. 2, с. 252).

Думается, что Солженицыну явно не достает диалектичности Бердяева и Волкогонова при изображении фигуры вождя революции. Солженицынский Ленин — сплошной негатив и сплошная отрицательность. Он слишком одномерен в своих качествах, чтобы мог восприниматься за истинное отражение облика реального вождя. В целом, образ Ленина у Солженицына, на наш взгляд, получился неправдоподобным, в каком-то смысле даже опереточным. Это скорее памфлет. Вряд ли человек, подготовивший и совершивший грандиозную революцию (или переворот), мог быть столь однолинейным, плоским, примитивным, узколобым.

А.И. Солженицын — великий писатель. Но и великие подвержены эмоциям. У них свои симпатии и антипатии, собственная шкала ценностей, этическая и нравственная система оценок. И естественно, что все эти субъективные данные так или иначе сказываются на описываемом объекте, деформируя портрет исторической личности в ту или иную сторону. На наш взгляд, нечто подобное произошло с

А.И. Солженицыным по отношению к В.И. Ленину: он слишком ненавидел его, чтобы быть к нему объективным и беспристрастным. И потому нельзя не согласиться с мнением Г. Померанца, высказанным в статье «Сквозь несогласия»: «Солженицын человек страстный и пристрастный, великий в своих благородных страстях и слепнувший от ненависти в своих пристрастиях, в своей неспособности различать оттенки очень нелюбимых вещей» (5, с. 94).

А сомневаться в недружелюбности писателя к своему персонажу не приходится. Об этом свидетельствует публикация секретных документов из фондов Центра хранения современной документации в журнале «Вопросы литературы». Так, в адресованной ЦК КПСС докладной записке заместителя председателя Комитета госбезопасности Цвигуна от 22.08.68 г. сообщается: «Рассказывая об отношении Солженицына к В.И. Ленину, мать жены Солженицына заявила: «Он о нем и слышать не может, говоря — «Я его ненавижу. Я ему не прощу, что он натворил» (2, с. 361).

Существует отзыв писателя о Ленине и из других источников. В интервью немецкому еженедельнику «Ди

Цайт», данному 8 октября 1993 г., автор «Красного Колеса» подчеркнул: «Я утверждаю, что этических представлений у него (В.И. Ленина. — П.Ч.) не было вообще. У него была только убежденность, что взяв власть, он может сделать, что хочет. Он может строить так, как хочет. Создатель ГУЛАГа — совсем не Сталин. Создатель ГУЛАГа — Ленин» (7, с. 54). И если при этом иметь в виду другое признание писателя, что «автор как живой человек не может не иметь своего отношения к тому, что описывает» (7, с. 52), думается, можно предположить, что непримиримое отношение Солженицына к Ленину сказалось и в художественном построении образа вождя. Личное отношение писателя к Ленину определило эмоциональную и политическую оценку этой исторической фигуры и односторонность ее художественного воплощения. Читатель вправе не соглашаться с приведенной выше художественной трактовкой фигуры Ленина у Солженицына, противопоставить им свое понимание образа вождя революции. Наша задача заключалась в том, чтобы объективно представить взгляд писателя на одну из величайших и противоречивых фигур русской истории.

#### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Волкогонов Д.А. Ленин. Политический портрет. В двух книгах. — М., 1994.
2. Из фондов Центра хранения современной документации // Вопросы литературы. — 1993. — Вып. 3.
3. Нива Ж. Солженицын. — М., 1992.
4. Паламарчук П. Александр Солженицын. Путеводитель // Москва. — 1989. — № 9-10.
5. Померанц Г. Сквозь несогласия // Новое время. — 1994. — № 35.
6. Солженицын А.И. Ленин в Цюрихе. — Париж, 1975.
7. Солженицын А.И. Интервью немецкому еженедельнику «Ди цайт» // Звезда. — 1994. — № 6.



**СОЛЖЕНИЦЫН И ВЛАСТЬ**Т.Д. Куликова  
Ставрополь

*Слагаемые «политического театра».* Не могу забыть спор с одним из своих коллег. Говорили мы, помнится, о возвращении на родину после восемнадцатилетнего изгнания А.И. Солженицына. Мой собеседник, человек вроде начитанный, неплохо разбирающийся в истории, с неожиданным пренебрежением сказал тогда: «А что? Александр Исаевич в пору популярности всегда был при власти. Хрущев его обогрел, Брежнев устроил «долгосрочный санаторий» в Вермонте, при Горбачеве опубликовали все его книги и вернули гражданские права; с Ельциным он несколько раз беседовал лично и даже с Путиным уже успел пообщаться тет-а-тет». И подумалось мне тогда: как все-таки легко иногда выстроить ложный логический ряд «под себя», под свое заблуждение. С первого взгляда факты не передернуты. Однако если сделать хотя бы небольшую, но честную попытку вернуться к событиям тех далеких лет, то со всей очевидностью окажется, что никогда, даже в пору своей популярности, Солженицын не «ложился» под власть, не угодничал и не старался ей понравиться. Более того, значительную часть жизни он (зачастую в одиночку) противостоял режиму, мужественно шел на риск, ценой которому была — ни много, ни мало — жизнь.

Подобно героям своих рассказов, писатель всегда имел свою «точку зрения», которая, как он сам не раз замечал, «дороже жизни». Сохранить достоинство и твердость позиций в условиях тоталитарного давления было чрезвычайно трудно. «Это настоящий подвиг, требующий постоянных жертв», — писала одна из исследователей творчества Солженицына, Т. Лопухина-Родзянко. «Подвиг — это образ жизни, утверждающий нравственный принцип или идею вечной справедливости во враждебном лагере, и потому он влечет за собой целый ряд последствий. Каждое последствие — это новая трудность, пока нравственный принцип не восторжествует» (10, с. 24).

Приведу еще одно высказывание, директора Центра «Социальная технология» А. Добрушина. Это ответ серьезного специалиста на попытку «вечного» оппонента Александра Исаевича Владимира Войновича (имеется в виду одна из последних дискуссий на страницах журнала «Новое время») принизить значение писателя в глазах современной общест-венности.

«... Солженицын — гигант, вы только вспомните, как он в 70-е тряс здание империи КГБ — Политбюро, советский Союз писателей. Солженицын вбил такие клинья под колосс на глиняных ногах, такой осиновый кол в здание развитого социализма! А как самостоятельно, достойно вел себя Солженицын в Америке, где жил!» (5).

Для того, чтобы судить об истинных отношениях, сложившихся между писателем и властью, есть смысл сделать небольшое отступление. По мнению социолога Д. Цыганкова, поле политики является относительно независимой областью политических отношений, «... вырастающих из социального взаимодействия

позиций, занятых индивидуальными и коллективными агентами. Эти взаимодействия и есть не что иное, как борьба за власть — тех, кто уже находится у власти, и тех, кто этой власти добивается. <...> В поле политики нет иного бытия, кроме борьбы за власть, или за право распоряжаться универсальным метакапиталом государства»<sup>1</sup>.

Современное нам государство существует не только как механизм присвоения и распределения ресурсов, оно воплощается в неких символических действиях, которые в обиходе часто называют «политическим театром». Ощутимые толчки, побуждающие к действию этот, самый жестокий и трудно предсказуемый из «театров», возникают, как правило, в результате «концентрации различных видов капиталов: капитала физической силы, т.е. средств принуждения (армия, полиция); капитала экономического, капитала культурного... капитала символического; концентрации, превращающей государство в обладателя своеобразного метакапитала» (20, с. 34). Ситуация такова, что, сосредоточивая в своих руках все имеющиеся в наличии ресурсы физического насилия, государство постоянно наращивает свой, если так можно выразиться, потенциал силы. Последнее потребовало предельной концентрации в своих руках еще и информации (кто владеет информацией — владеет миром), то есть, капитала культурного. Как уже было сказано, само существование метакапитала порождает пространство борьбы за обладание им. Это и есть поле политики, или «поле борьбы» (20, с. 34).

В тоталитарных обществах, подобных Советскому Союзу, государство практически поглощает поле политики и всячески преследует попытки инакомыслящих вступить с ним в борьбу, которая может вестись самыми разными методами. И в том числе — в форме «невинной», с первого взгляда, издательской деятельности неподцензурной литературы. Такой способ противостояния подрывает монополию власти на производство и распространение информации. Подцензурная литература способна к мобилизации определенных социальных групп общества, а значит, к преумножению оппозиционных сил в обществе.

Только для демонстрации обозначенной мысли, забегаю вперед, приведу в качестве примера скрытый диалог (про себя), который А.И. Солженицын ведет с кандидатом в члены Президиума ЦК КПСС П.Н. Демичевым, на прием к которому он был вызван летом 1965 года. На одну из реплик высокого лица писатель, как бы выступая от имени всей прогрессивной литературы (и публицистики), прямо «угрожает» партийной верхушке: «А русской литературы они уже отучились бояться. Сумеет ли мы вернуть этот навык?» (17, с. 113).

Это не значит, что отношения Солженицына с властью основывались только на противостоянии. Сам он, прежде всего, стремился к диалогу. Заместитель главного редактора журнала «Новый мир» (А. Твардовского) В. Лакшин так писал о Солженицыне:

«Он хоть и неохотно, но шел на компромиссы, чтобы печататься, <...> бывал на приемах у секретаря ЦК по идеологии, готовился принять, как заслуженную награду, Ленинскую премию. <...> Займи руководство лично к нему более лояльную позицию, не помешай оно получить ему в 1964 году Ленинскую премию, дай напечатать на родине «Раковый корпус» и «В круге первом»... <...> Надо отдать должное Александру Исаевичу. Он долго проявлял известную гибкость и терпимость в отношениях с Союзом писателей, не отвергал возможность разумных компромиссов, но и не его вина, что ему не пошли навстречу. <...> они оттолкнули его и сделали своим злейшим врагом» (8, с. 352).

Если отойти от позиции некоторого «обывателя» автором цитаты отношений писателя с властью (Солженицын никогда не шел на перемирие по принципу «ты — мне, я — тебе»), в сути своей замечание Лакшина верное. Лишь тогда, когда диалог с властью оказывался невозможным, всю силу слова, как оружия защиты и средства вынужденного нападения, писатель обращал на то, чтобы отстоять свою «точку зрения», свою позицию, свои убеждения.

Слава Богу, уже в 60-е он был хорошо для этого оснащен, имел «капитал». С точки зрения науки — «символический», а с позиций профессиональной практики — самый что ни на есть реальный. К 1965 году Александр Исаевич Солженицын был признанным писателем. «Природа этого признания не измеряется ни коммерческим успехом — оно скорее противоположно ему, — ни простым социальным посвящением: принадлежностью к академикам, получением премий и т.п.; ни даже простой известностью, которая, если приобретена нечестным путем, может дискредитировать» (22, с. 210).

Несмотря на то, что к концу 60-х Солженицын почти не публиковали (увидели свет лишь пять его рассказов), он был в ряду самых известных и читаемых авторов. Ранее закрытые данные опроса, проведенного «Литературной газетой» среди читателей, свидетельствовали, что в 1967 году Солженицын считался первым из четырех наиболее известных в СССР авторов (23, с. 81).

Чтобы судить о роли Солженицына в борьбе с тоталитарным режимом, необходимо трезво отдавать себе отчет в том, что представлял из себя механизм власти в СССР до и после XX-XXII съездов КПСС.

Почти сразу после смерти Сталина начался (в значительной мере сверху) пересмотр его роли в истории страны. «Мертвый стал мешать живым вождям» (14, с. 131). Сама жизнь требовала реформ. Понемногу отходя от жесткой сталинской установки, в августе 1953 года власти страны снизили налоги на крестьянские хозяйства и повысили государственные закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию. Новое правительство СССР приняло меры по улучшению международного положения страны в плане снижения уровня военного противостояния СССР с потенциальными противниками. Была достигнута договоренность с американским президентом Д. Эйзенхауэром о перемирии и прекращении огня в корейской вой-

не. (Есть смысл напомнить, что советская авиация, воевавшая на стороне Северной Кореи, к тому времени уже потеряла 335 самолетов и 120 летчиков) (15, с. 210).

В августе 1953 года, выступая на сессии Верховного Совета, Г.М. Маленков впервые употребил слово «разрядка». В пору возникшей ядерной опасности таким образом новое правительство послевоенной России как бы подтверждало своё понимание того, что силовыми средствами желаемых политических результатов добиться невозможно. Однако во многом такое поведение было лишь выражением одной из позиций, которая не совпадала с мнением, скажем так, других членов Политбюро ЦК КПСС. 12 августа 1953 года в СССР было произведено испытание водородной бомбы, разработанной А.Д. Сахаровым и его коллегами. Одновременно шли успешные разработки (и испытания) ракет, позволявших доставлять ядерный заряд в любую точку Европы (ракета Р-5) и мира (баллистическая ракета Р-7).

В руках политического руководства СССР оказалось мощное средство давления на своих внешнеполитических партнеров. В этой ситуации слова Маленкова о ядерной войне, как угрозе гибели мировой цивилизации, вызвали резкий протест со стороны первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева. Вместе с тем, и он отдавал себе отчет в том, что мир изменился. Недаром на XX съезде КПСС именно Хрущев подверг ревизии сталинскую теорию о том, что пока существует капитализм, война неизбежна.

Пересмотру и переоценке подверглись и другие крайние угольные камни социалистической пролетарской идеологии. Первые признаки ослабления давления идеологического пресса породили у интеллигенции надежды на политические перемены.

Главной особенностью того времени стал клубок проблем, связанных с восстановлением прав осужденных по политическим обвинениям и установлением политической ответственности конкретных лиц за содеянное — тех, кто принимал в репрессиях непосредственное участие. Через тюрьмы и лагеря прошли родные и близкие практически всех представителей политической элиты СССР. Подобно тому, как в 1938 — 1939 годах вся ответственность за «перегибы» в карательной политике была возложена на бывшего наркома НКВД Н.И. Ежова, Г.М. Маленков и Н.С. Хрущев теперь обвинения в организации террора обратили против Л.П. Берии. Он был лучше других осведомлен об их вкладе в репрессии. И вопрос состоял в одном: кто кого опередит — любимец Сталина, Л.П. Берия, или два других претендента на «коммунистический престол» (Г.М. Маленков и Н.С. Хрущев). Последний этап борьбы между политическими соперниками превращал вопрос восстановления прав невинно пострадавших от сталинского режима в орудие политической борьбы. Усиление противостояния радикализировало сам процесс реабилитации. Что же касается «боя быков» за право быть первым лицом советского государства, то, не заостряя внимания на подробностях, остановимся на констатирующей части.

Январский Пленум ЦК КПСС с подачи Хрущева публично обвинил Маленкова в сотрудничестве с Берией, и в том, что он лично ответствен за «ленинградское дело», за ряд других политических процессов 40-х — начала 50-х годов. Таким образом, более хитрый и предусмотрительный Хрущев избавился сразу от двух опасных соперников. Что же касается вопроса о репрессиях, то он все в большей мере становится основным аргументом в укреплении позиций нового коммунистического лидера. И соответственно тому — тема отношения к Сталину оказывается важнейшей на XX съезде КПСС — первом после смерти Генералиссимуса политическом форуме.

Доклад Н.С. Хрущева о кровавых последствиях культа личности для большинства делегатов стал настоящим потрясением. В зале царил полная тишина. Даже в финале не было привычных аплодисментов. Взрыв произошел позже. И это был в полном смысле слова общественный взрыв. Люди хотели знать, **почему** культ личности оказался возможным в принципе, кто в этом виноват и **что** нужно сделать, чтобы подобное не повторилось никогда. Нетрудно понять, что на определенном этапе осуждение репрессий и культа личности Сталина было выгодно политической элите страны, сохранившей за собой теплые места и высокие посты. Чем более жесткой становилась критика Сталина, тем меньше — спрос с них самих.

Но был у решений съезда и другой, чрезвычайно важный аспект. Доклад Хрущева уничтожил однозначность оценок роли партии в истории страны. Хотел того или нет первый секретарь ЦК КПСС, он спровоцировал обсуждение вопросов о цене общественных преобразований, о том, что из трагедий прошлого было порождено лично Сталиным, а что — определено самой партией и идеей строительства «светлого будущего». Разрушение одномерности в восприятии прошлого, отход от канонов «Краткого курса истории ВКП(б)» не могли не побуждать к критичности в оценках. Таким образом, в числе важных итогов хрущевских преобразований необходимо вычленить как самое существенное то, что произошла **десакрализация власти коммунистов**. Хрущев лишил ее ореола неприступности и неприкосновенности, а значит, и признания за ней высшей мудрости — основная мифологема коммунистической идеологии страны.

Существует положение, что «всякая власть есть власть лишь постольку и до тех пор, пока она — больше власти, т.е. — возрастание власти <...> Коль скоро власть останавливается на какой-то ступени власти, она уже становится немощью власти» (6, с. 38).

Впрочем, до «немощи» власти коммунистов шестидесятых годов было еще далеко. Это в теоретических выкладках все выглядит убедительно и просто. Иначе — в жизни. Противостояние системе террора чревато большими жертвами. Когда борьба начинается, никто не знает и не может знать, как и чем всё закончится. Борьба, которую в Стране Советов в середине 60-х повели инакомыслящие (за соблюдение советских законов советским государством), в конечном итоге привела к смене по-

литического режима и исчезновению СССР. Символом и знаменем этой борьбы стал Александр Исаевич Солженицын, который не вошел, а, подобно комете, ворвался в литературное поле страны повестью (сам А.И. Солженицын настаивает на жанре рассказа) «Один день Ивана Денисовича».

*Стратегия последовательных действий.* «Иван Денисович» был написан в период между 1956 и 1958 годами, однако до конца 1961 года Солженицын даже не пытался его опубликовать. Как известно, уже на XX съезде партии в 1956 году приводились материалы о преступлениях Сталина, но делалось это в форме «закрытой», никогда не публиковавшейся речи Н.С. Хрущева. На XXII съезде члены Президиума ЦК КПСС сами рассказывали о «незаконных казнях и массовых репрессиях».

В конце декабря 1961 года по просьбе Солженицына его друг Л. Копелев отнес рукопись в редакцию «Нового мира». Тогда она не имела названия и была озаглавлена «ЦВ-854» — по номеру, который носил на груди, на спине и на шапке герой повести, Иван Денисович Шухов. Главный редактор журнала А.Т. Твардовский взял рукопись домой, начал читать ее в постели, но уже после прочтения нескольких страниц был так взволнован, что встал, оделся и дочитал текст уже за письменным столом, не заметив, как наступило утро.

Решив опубликовать вещь не известного никому автора, Твардовский, тем не менее, хорошо понимал, что одобрения главного редактора в данном случае недостаточно. Разрешение на публикацию повести было решено просить в ЦК КПСС. Чтобы добиться положительного ответа, Твардовский разработал целую стратегию последовательных действий. Во-первых, Александр Трифонович заручился одобрительными рецензиями на повесть ведущих литераторов Москвы (экземпляры рукописи заблаговременно были направлены К. Чуковскому, С. Маршаку, В. Каверину, В. Лакшину).

После этого вместе со своим заместителем А.Г. Дементьевым он составил письмо Первому секретарю ЦК КПСС Н. С. Хрущеву. Ссылаясь на единодушные члены редколлегии журнала и мнения ведущих литераторов Союза писателей, редколлегия просила Никиту Сергеевича решить вопрос о публикации повести положительно. Надо сказать, что главный редактор популярнейшего тогда журнала был хорошо знаком с Хрущевым и до этого неоднократно встречался с ним накоротке. Однако, чтобы придать весомость происходящему, Твардовский отказался от персонального вручения письма, а направил его через аппарат Первого секретаря. Письмо вместе с повестью было вручено личному помощнику Н.С. Хрущева — В.С. Лебедеву. Искушенный в тонкостях механизма принятия решений, главный редактор «Нового мира» учел и тот момент, что Лебедев, который отвечал за вопросы культуры, был в известной степени независим от сектора литературы Идеологической комиссии ЦК КПСС, возглавляемой человеком крайне консервативных взглядов, сталинистом Д. Поликарповым.

Личный помощник прочитал генсеку повесть вслух во время отдыха в Пицунде. Хрущев позвал А.И. Микояна,

отдыхавшего неподалеку, и, похвалив произведение, попросил того также ознакомиться с текстом. Естественно, Микояну повесть тоже «пришлась по душе». Лишь после этого вопрос о публикации произведения был включен в повестку заседания Президиума ЦК КПСС. «Новый мир» получил указание отпечатать 20 экземпляров повести с грифом «Верстка» для членов Президиума ЦК КПСС.

Возникало много гипотез, почему Н.С. Хрущев, которому повесть понравилась, не дал личной директивы о ее публикации. Будучи человеком эмоциональным, он мог бы поступить и так. Но в данном случае возобладал трезвый расчет. Партийная власть (даже самого высокого порядка) имела целый ряд серьезных ограничений, особенно в той части, которая касалась работы средств массовой информации. Главлит (цензура), как организация во многом секретная, действовал на основании инструкций, утвержденных Президиумом ЦК КПСС, Советом Министров СССР и КГБ. Если Главлит, на основании имеющихся у него инструкций, запрещает какую-то публикацию, то изменить его решение может лишь постановление Президиума ЦК КПСС или Секретариата ЦК КПСС. Как показали дальнейшие события, придав делу официальный ход, Твардовский поступил в высшей степени мудро и предусмотрительно. Сразу после выхода в свет повести, неизвестный писатель стал одним из самых популярных писателей в стране.

22 декабря 1962 года в газете «Правда» была опубликована речь председателя Идеологической комиссии и секретаря ЦК КПСС Л.Ф. Ильичева. «С одобрения ЦК КПСС в последнее время опубликованы сильные в художественном и в политическом смысле произведения, в которых правдиво и смело разоблачается произвол, допускаявшийся в период культа личности. Достаточно назвать повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», — говорилось там.

В редакцию журнала «Новый мир» пошел целый вал мемуарных и художественных «лагерных» произведений. Однако для того, чтобы готовить к публикации наиболее достойные, следовало если не отменить, то ослабить цензурные ограничения. Понятно, каждый раз Твардовский не мог обращаться за разрешением в ЦК КПСС. И тогда редактор самого популярного в стране «толстого» журнала решил на беспрецедентный шаг: поставить перед руководством партии вопрос об ослаблении ограничений ЛИТО. Предварительная беседа с Хрущевым по этому поводу показала Твардовскому обнадеживающей. Никита Сергеевич даже вспомнил о недавней отмене цензуры на статьи иностранных корреспондентов, аккредитованных в Москве (до 1961 года все сообщения зарубежных журналистов из Москвы подвергались обязательной цензуре, что вызывало постоянные конфликты с репортерами из-за рубежа). «Вот отменили мы цензуру для иностранных корреспондентов, — вспомнил Хрущев, — и ничего не случилось. Меньше врать стали» (11, с. 29).

Однако дальше этого дело не пошло. Вопрос об ограничениях на цензуру натолкнулся на огромные труд-

ности. В партаппарате было много тех, кто, мягко говоря, не желал никаких перемен. В начале марта 1963 года у Н.С. Хрущева состоялась встреча руководителей партии и правительства с работниками литературы и искусства. В очередной раз Никита Сергеевич похвалил повесть «Один день Ивана Денисовича», которая «правдиво, с партийных позиций освещает действительность тех лет...». Но при этом тут же и оговорился. «Поверьте, — сказал он, — это очень опасная тема. На такое «жареное», как на падаль, мухи набросятся, огромные, жирные мухи, поползет всякая буржуазная нечисть из-за рубежа» (11, с. 29).

Возникает закономерный вопрос: почему Хрущев, первоначально активно поддержавший реформы, пошел на попятный? Здесь следует трезво отдавать себе отчет в том, что сталинский режим во многом держался организацией советского политического сыска (НКВД — МВД — КГБ), которая пронизывала всю «плоть» государства. После Сталина произошло перераспределение сил. Партия и армия объединились, чтобы ликвидировать ставшее опасным (для них самих, в первую очередь) доминирование чекистов. Вынашивался план поставить «органы» под контроль, как это было при Ленине. Реализовать его партия могла, лишь заручившись поддержкой народа. Игра, которую повела хрущевская фракция, оказалась сложной и весьма опасной. Посвягая на «чекизм», тем самым «реформаторы» первой волны подрывали не только авторитет Сталина, но и во многом — свой собственный, поскольку вся партийная элита тех лет выросла под одним крылом «отца народов». Тем не менее, партаппарат, поддержанный армией, пошел на риск. Было объявлено, что все преступления совершены чекистами (во главе со Сталиным), а всеми успехами страна обязана в мирное время — партии, а в военное — партии и армии. Повесть бывшего политзаключенного А.И. Солженицына, оказавшегося к тому же талантливым автором, как нельзя лучше пришлась «ко двору» и ко времени.

Укрепившись, заручившись поддержкой народных масс, «реформаторы» потихоньку-понемногу стали возвращаться на исходные позиции. Наследники Сталина хорошо понимали, что без системы политического сыска и политического контроля (Главлит — политическая цензура — его важная часть) коммунистический строй существовать не может. Хрущевская фракция выступала не против тоталитарной сущности государства, а всего лишь добивалась перераспределения правил игры, в результате партия из вспомогательной силы полиции стала силой доминирующей, а полиция — вспомогательной силой партии. Важно заметить, что вплоть до падения Хрущева глава КГБ В.Е. Семичастный числился лишь кандидатом в члены ЦК, а профессиональных чекистов вообще не вводили в его состав. Соответственно утвердившемуся раскладу сил КГБ был «опущен» до уровня комитета при Совете Министров СССР.

...Тем не менее, откат начался. После встречи Н.С. Хрущева с деятелями культуры, организованной по

его инициативе, на публикации разоблачительных произведений о произволе, связанном с «культом личности» Сталина, были наложены строгие запреты. В конце 1963 года началась работа специально созданной комиссии по Ленинским премиям. Как одна из наиболее ярких работ, редакцией «Нового мира» на Ленинскую премию по литературе была выдвинута повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Заметим, что эту акцию поддержал только Государственный архив литературы и искусства. Правление Союза писателей СССР, Правление ССП РСФСР, Правление ССП Москвы и другие литературные объединения выдвинули на Ленинскую премию иные работы. Список кандидатов был опубликован в «ЛГ» 28 декабря 1963 года.

Близкий друг А.И. Солженицына Жорес Медведев в своей книге так описывает страсти, разгоревшиеся вокруг одного из претендентов. «Позднее от А.Т. Твардовского и от М.И. Ромма я узнал о том, какие меры были приняты для того, чтобы заблокировать в Комитете по Ленинским премиям повесть А.И. Солженицына. Твардовский еще в феврале был уверен в успехе «Одного дня», он сам был членом Комитета по Ленинским премиям, и ему были известны симпатии многих других членов комитета. Однако в марте настроение где-то «наверху» резко изменилось. 21 февраля в «Известиях» публикуются материалы о якобы большом недовольстве советской общественности деятельностью Комитета по премиям, который «тенденциозно» подошел к подбору кандидатов на Ленинскую премию. Эту статью немедленно поддержала «Советская Россия». 23 февраля здесь появляется письмо Л.С. Соболева «Общественность — действительный член Комитета». Одновременно под видом обсуждения выдвинутых на главную творческую премию в стране произведений ведет непрекращающуюся стрельбу по Солженицыну «Литературная газета». Так с февраля 1964 года «Новый мир» вступает в решающую схватку с консервативными и ортодоксальными изданиями за Ленинскую премию для «своего» автора. А значит, — и за сохранение приоритетов для себя, как ведущего «толстого» журнала страны.

В апрельский номер готовится передовица «По ленинскому пути», полная безудержных восхвалений в адрес Хрущева и как бы ненароком напоминающая читателю о поддержке А.И. Солженицына первым лицом государства. Особого внимания заслуживает коллизия, случившаяся в то время с телевизионной передачей на Гостелерадио. В ней ведущие знакомили зрителей с основными кандидатами на Ленинскую премию. От лица «новомировцев» А.И. Солженицына представлял Лакшин. Даже поверхностный анализ черновика выступления известного литературоведа и публициста показывает: он блестяще использовал имеющуюся в распоряжении аргументацию. Упомянул о том, что общий тираж изданий «Одного дня...» достиг в стране миллиона экземпляров; сказал о положительных отзывах таких известных писателей, как Федин, Маршак, Чуковский, отбивался от критиков Со-

лженицына, ссылаясь на мощный авторитет Толстого. Вытащил папку и прочитал письма в поддержку своего кандидата от «простонародья»: рабочих, солдат, колхозников. А закончил речь эффективным призывом к справедливости, имея в виду, что единственно правильным будет решение Комитета в пользу автора «Одного дня Ивана Денисовича». На этой фразе эфирное время передачи истекло. Одного из кандидатов в итоге так и не удалось представить.

Уже на следующий день разразился скандал. Никита Сергеевич в то время был в зарубежной поездке, «на хозяйстве» оставался Брежнев. Леонид Ильич немедленно высказал свое возмущение явной необъективностью организаторов передачи. В нем еще жили воспоминания о том моменте, когда под давлением Хрущева члены Президиума должны были принять решение о публикации «сомнительной» повести Солженицына. Брежнев однозначно расценил прошедшую передачу как сознательную (или бессознательную) поддержку определенного автора. Председатель Гостелерадио Харламов получил выговор. Так, впервые в открытой борьбе судьба столкнула Брежнева и Солженицына (впоследствии в ней будут и письма писателя Генсеку, и страстные обвинения, отказывающие Леониду Ильичу в праве именоваться русским; а в конечном итоге — смерть одного и прижизненный триумф другого).

Как редактор, представивший «Один день...» на премию, Твардовский написал обстоятельную статью, разбивавшую литературные достоинства этого произведения. Но напечатать ее отказались в центральных газетах отказались. Твардовский попросил В.С. Лебедева выяснить, что произошло. Когда же тот при случае действительно задал такой вопрос Генсеку, тот весьма резко ответил: «Не будем этим заниматься, пусть решает Комитет по премиям».

Комитет по Ленинским премиям принимал решение тайным голосованием после обширной дискуссии. При обсуждении «Одного дня» стало очевидным, что большинство творческих работников, входивших в Пленум комитета, стоит за Солженицына. Административные и идеологические лидеры были против. (В составе комитета всегда присутствуют министры культуры и просвещения, секретари ЦК ВЛКСМ, ответственные работники Идеологической комиссии.). При такой ситуации начинать тайное голосование было нельзя. На следующий день председатель комитета Н.С. Тихонов внес предложение — исключить повесть Солженицына из списка для тайного голосования, то есть присоединить ее к тем произведениям, которые были отвергнуты на предварительной стадии рассмотрения в начале февраля. Такой отвод производится **открытым голосованием**. Но это предложение было незаконным, список допущенных к тайному голосованию работ был уже опубликован. А.Т. Твардовский резко возражал. Особенно волновался Михаил Ильич Ромм. «Что делают, что делают, — возмущался он, — выкручивают руки». Тихонова, однако, поддержала Е. Фурцева, министр культуры. Но убедить большинство комитета не

удавалось. Тогда встал первый секретарь ЦК ВЛКСМ С.П. Павлов. Он заявил, что Ленинская премия не может быть присуждена Солженицыну по политическим соображениям. По словам Павлова, Солженицын во время войны сдался в плен, а впоследствии был осужден за уголовное преступление и, вопреки слухам, не был реабилитирован до настоящего времени. Мгновенно встал Твардовский. «Это ложь», — сказал он. «Вам нужно доказать, что это ложь», — ответил Павлов.

Секретарь ЦК ВЛКСМ является ответственным лицом, заявление которого принимается серьезно. Кроме того, С.П. Павлов считался другом председателя КГБ Семичастного, и ему могла быть доступна информация, о которой не знали другие. Повесть Солженицына была исключена из списка для тайного голосования, но Твардовский и группа деятелей кино все же подняли руки, голосуя против этого решения» (11, с. 35-37).

В сжатые сроки А.Т. Твардовский добился, чтобы ему на руки выдали все документы, и в том числе, полный текст решения Верховного суда СССР. После того, как оно было зачитано, секретарь ЦК ВЛКСМ С.П. Павлов публично принес А.И. Солженицыну свои извинения.

Казалось бы, инцидент, как сказал поэт, «исперчен». Однако вот что интересно. Обнародованная главным комсомольцем страны клевета не исчезла. Правильно говорят: главное — вымазать человека грязью, а как он будет отмываться — не важно (и лучше, если не отмоеся вообще). В случае с Солженицыным и Павловым, скорее всего, был запущен первый, пробный шар развязывания клеветнической кампании против писателя. Начало клубку всякого рода инсинуаций и измышлений стоило искать в недрах КГБ. Тоталитарный режим обкатывал одну из технологий, когда «официальный дискурс» разрешал только негативные высказывания о «врагах» и только позитивные — о «друзьях» (11, с. 36).

То, что таким образом бывший кумир самого Хрущева отодвигался в стан «недругов» (за что пришлось расплачиваться и журналу, опубликовавшему Солженицына), подтвердилось очень скоро. Сам А.И. Солженицын по этому поводу писал в автобиографической повести: «Так оно и сказывалось. После отказа мне в премии <...> стало журналу совсем невыносимо, придирались в цензуре к каждому пустяку» (17 с. 93). И еще одно замечание по этому поводу. «Уже и тогда, в апреле 1964-го, в Москве поговаривали, что эта история с голосованием была «репетицией путча» против Никиты: удастся или не удастся аппарату отвести книгу, одобренную Самим? За 40 лет на это никогда не смелели. Но вот осмелели — и удалось. Это обнадеживало, что и Сам-то не крепок» (17, с. 92-93).

14 октября 1964 года к власти пришло «коллективное руководство»: Л.И. Брежнев стал первым секретарем ЦК КПСС, А.Н. Косыгин — председателем Совета Министров, а Н.В. Подгорный (вскоре) был избран Председателем Верховного Совета СССР.

Для А.И. Солженицына это означало, что его «врастание» в официально разрешенную советскую литературу

закончилось. В апреле 1965 года руководство «Агитпропом» было поручено секретарю ЦК КПСС Демичеву, который до этого курировал химическое производство. Вновь испеченный главный пропагандист страны выразил желание встретиться с А.И. Солженицыным. 17 июля randevу состоялось. На встречу Александр Исаевич шел «с такой задачей: как можно дальше продвинуть ничейное сосуществование. <...> Это был исконный привычный стиль, лагерная «раскидка чернухи». И прошло великолепно. Сперва очень настороженный и недоверчивый, Демичев в ходе двухчасовой беседы потеплел ко мне и во все поверил» (17, с. 110). Но КГБ не дремал.

Продолжая «раскручивать» Солженицына, вскоре на одной из квартир они записали рассказ писателя о том, как он «дурил Демичева». Пленку сразу же положили на стол секретарю ЦК КПСС. Демичев был в ярости. С легкой руки высокого чиновного лица Солженицын, теперь уже с негласного разрешения власти, надолго был записан в стан врагов.

В 1965 году на торжественном заседании, посвященном юбилею Победы, в докладе нового лидера коммунистов Л.И. Брежнева впервые после XX съезда с высокой трибуны было упомянуто о заслугах Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина в годы войны. Эти слова потонули в громе аплодисментов. Другая часть общества отреагировала на возрождение просталинских настроений протестующим письмом. Его подписали 25 выдающихся деятелей культуры: А.А. Арцимович, П.Л. Капица, А.Д. Сахаров, И.Е. Тамм и т.д. Обращение было направлено в адрес руководства страны.

Отношение к Сталину, к решениям XX-XXII съездов КПСС разделило общественное мнение на две противостоящие друг другу группы. Позицию приверженцев политики тоталитаризма выражал журнал «Октябрь» во главе с его главным редактором В. Кожевниковым. Лидером и символом антисталинизма стал А.И. Солженицын. В 1965 году КГБ начал систематическую слежку за писателем и охоту за его рукописями. В соответствии с указаниями КГБ к преследованию писателя подключилось руководство Союза писателей СССР, которому было предписано дать заключение о литературной и политической ценности некоторых незаконно изъятых рукописей.

10 марта 1967 года на заседании Секретариата ЦК КПСС специально обсуждался вопрос о Солженицыне. Вот несколько выдержек из стенограммы, зафиксировавшей отклики высоких чиновников о писателе, чей талант и мужество уже были признаны огромной страной под названием СССР. Солженицын — «свихнувшийся писатель... с ним надо вести решительную борьбу» (П.Н. Демичев); «он клеветает на все русское, на все наши кадры» (В.В. Гришин); это человек, «который ведет антисоветскую работу» (Ю.В. Андропов) (7, с. 81-83).

Последовавшее за этим исключение Александра Исаевича из Союза писателей СССР (4 ноября 1969 г.) стало началом открытого противостояния с властью. Солженицын отказался играть по правилам бесчисленных идеологических отделов и в том числе,

самых главных — ЦК КПСС и КГБ. Вместо испуга и замешательства (реакция, на которую рассчитывали «особисты») со стороны писателя последовала целая серия демаршей с требованиями: отмены цензуры («Письмо IV съезду писателей»), извинений за оскорбления, нанесенные ему партийными пропагандистами. Кроме того, нобелевский лауреат Солженицын обратился напрямую к западной общественности. Все это вызвало «наверху» переполох, следствием которого стало исключение Солженицына из Союза писателей. Последнее событие одновременно спровоцировало мощную кампанию поддержки как в своей, так и в западной прессе, где было опубликовано «Открытое письмо секретариату Союза писателей РСФСР» А.И. Солженицына. Против исключения писателя из рядов Союза высказались С. Антонов, Г. Бакланов, Б. Окуджава, В. Тендряков, Б. Можяев, А. Арбузов и многие другие. Исключить Солженицына из Союза писателей было просто, но вот изъять его имя из литературы — российской и мировой — оказалось делом уже невозможным. По прошествии недолгого времени Солженицын был выдвинут на Нобелевскую премию в области литературы и, несмотря на усилия советских пропагандистов очернить его имя, 8 октября 1970 года писатель был провозглашен Нобелевским лауреатом.

В ответ на откровенные преследования со стороны власти Солженицын обращается с письмом к главному партийному идеологу тех лет, «серому кардиналу» Брежнев — М.А. Суслову. Писатель требует издания двух своих новых романов, «Раковый корпус» и «Август четырнадцатого». Естественно, дать такое разрешение никто не мог. Но и найти аргументы, почему это невозможно, оказалось делом непростым. Несгибаемый писатель становится для властей нештучной проблемой. Председатель КГБ Ю.В. Андропов предлагает свой выход из положения: дать официальное разрешение на выезд Солженицына в Швецию якобы для получения Нобелевской премии, а затем признать его возвращение назад нецелесообразным.

Однако Александр Исаевич довольно быстро понял, что за подобной «лояльностью» кроется ловушка, и от поездки за рубеж отказался. Неожиданную позицию в разрешении почти неразрешимого конфликта занял министр внутренних дел Н.А. Щелоков. Свое особое мнение он выразил в записке, которая, судя по многочисленным пометкам, заинтересовала самого генсека Брежнева. Идея Щелокова состояла в том, что «надо не публично казнить врагов, а душить их в своих объятиях. Это элементарная истина, которую бы следовало знать тем товарищам, которые руководят литературой. <...> Короче говоря, — писал он, — за Солженицына надо бороться, а не выбрасывать его. Бороться за Солженицына, а не против Солженицына» (6, с. 83-86) — выделил и подчеркнул собственноручно Брежнев.

Надо сказать, что Секретариат ЦК КПСС весьма сдержанно отнесся не только к почину Щелокова, но и к мнению самого Брежнева. Поэтому Суслов, который проводил заседание (7.10.71 г.), попросту

бойкотировал высказанные мнения по «вопросу» А.И. Солженицына и свел все к одному — давать писателю прописку в Москве или не давать. «Секретари считали, что лучше бы выселить его в Рязань или, на худой конец, разрешить построить дом под Малым Ярославцем, но лучше все-таки посоветоваться с КГБ. В политике кнута и пряника предпочтение отдавалось кнуту» (14, с. 357). Жесточайшая, подчас с реальной угрозой для жизни, кампания, развернутая против писателя, заслуживает отдельного исследования. В этой статье позволю себе лишь констатацию фактов.

В 1990 году одной из самых популярных тем СМИ была дискуссия о гласности, необходимости открыть людям всю правду о прошлом. СССР. Это на словах. А на деле некий работник госбезопасности, явно по указанию «свыше», 3 июля 1990 года составил документ, в котором запротоколировал «мнение», надо думать, вышестоящего лица: «В настоящее время находящиеся в оперативной подборке материалы, а также приобщенные к ней материалы дела оперативной разработки на «Паука» (арх. № 33518) и дело формуляра ПФ, архивный № 11375, утратили свою актуальность, оперативной и исторической ценности не представляют» (9, с. 13).

Сразу же внесем ясность: «Паук» — не кто иной, как Нобелевский лауреат, всемирно известный писатель А.И. Солженицын. А результатом не подлежащего обсуждению «мнения» стало то, что 105 увесистых томов дела, заведенного на Солженицына органами, были навсегда уничтожены для потомков. Как поется в песне, «и чтоб никто не догадался...».

Однако, пока жив писатель, за него и о нем говорят его книги, хотя бы власти предрержащие или нет. Другой вопрос, возьмут ли их в руки, прочтут ли те, для кого понятия «ГУЛАГ», «Сталин» и даже страна под названием «СССР» — принадлежность далекой истории. Сам писатель во время возвращения в Россию говорил об этом с великой горечью. «Я знаю, что, к сожалению, большую часть моих книг Россия не прочитала. Ведь Горбачев держал мои книги до последнего. Уже тогда разрешили всех эмигрантов, всех так называемых антисоветчиков — меня не разрешали. Наконец разрешили. Но через три-четыре месяца разрушилось все государство, и книги мои уже некому было издавать. Раньше я думал, что приеду в Россию после своих книг, и меня уже будут знать, как автора. Сегодня же меня как автора почти не знают. Больше знают как публициста. Ну, что есть. Я и письменное, и устное слово буду употреблять. Смогу помочь — я буду счастлив» (13, с.21).

С первым (и последним) Президентом СССР у Солженицына отношения складывались тяжело. Достаточно вспомнить реакцию нашего высокого земляка на до сих пор не оцененную по достоинству (во многом, и с его «легкой руки») программную статью «Как нам обустроить Россию», вышедшую 27-миллионным тиражом. Вот как свидетельствует об эффекте, который произвела публикация на современников, журналист-огоньковец Д. Быков: «Более популярной статьи все перестроечное время (условно ограничимся периодом 1985-1991)

не было. Ее выхватывали друг у друга, изучали в школах, ругали, хвалили и, что самое невероятное, — читали. На фоне разоблачительной публицистики, то надрывно-истеричной (а-ля сегодняшняя «Новая газета»), то глумливо-издевательской (а-ля сегодняшний «МК»), текст Солженицына казался очень труден для восприятия и попросту скучен, — и однако масштаб имени и масштаб ожиданий сделали свое дело. Статью прочли, а название вошло в пословицу» (2).

Оставив на совести автора субъективизм оценок, остановлюсь на высказываниях М.С. Горбачева на сессии Верховного Совета СССР (1990 г.) по поводу программной работы Солженицына. Об этом в свое время рассказала статья в «МК». «Не без оттенка досады признав Солженицына все-таки несомненно великим человеком», посоветовал ему (Солженицыну. — Т.К.) тем не менее «не ходить по этой земле с ножницами или плугом» и не пытаться разделить ее и размежевать» (3).

Тут же Михаил Сергеевич и отмежевался от писателя, заявив, что ему «чужды политические взгляды Солженицына», потому что «он весь в прошлом», а «прошлая Россия, монархия — для меня это неприемлемо» (3). Когда лица, получившие признание не только в родной стране, но в мире, во благо родины высказывают серьезные, масштабные предложения, очевидно, и уровень их обсуждения должен быть соответствующим. Ведь в статье А.И. Солженицына речь шла, ни мало ни много, о государственном строительстве.

«Важнейшей функцией государства в системе мобилизационного развития является инициирование импульсов развития (подчеркнуто автором. — Т.К.), поэтому именно глава государства <...> под давлением внутри- или внешнеполитического кризиса выступает субъектом импульса модернизации... В этих условиях верховная власть выступает в роли «кнута», подстегивающего развитие» (4).

Что ж, «кнут» задействовали в очередной раз, теперь уже не в тоталитарной, а в демократической России, — только удар пришелся по как раз по тем идеям, которые могли бы дать толчок к строительству новой, на нравственных и разумных основах, — жизни.

В который уж раз получила печальное подтверждение мысль о том, что в России «поэт» (писатель) и «царь» — понятия несовместные. Александр Радищев был сослан в Сибирь за книгу «Путешествие из Петербурга в Москву». «Он бунтовщик хуже Пугачева», — откомментировала свое царское решение Екатерина II. Александр Пушкин стал проблемой для Николая I, а Александр Герцен — для Александра II. Александр III и Николай II подумывали о заточении в монастырь Льва Толстого, как известно, тоже писавшего царям пространные письма о том, как, с его точки зрения, следует «обустроить Россию».

И отношения А.И. Солженицына с первым российским Президентом Б.Н. Ельциным имеют свою теперь уже историю. Первое письмо Александр Исаевич отправил Борису Николаевичу после событий 19-21 августа 1991 года. По настроению оно мало

чем отличается от общего — радужно-приподнятого, которым жила Россия тех лет. «Горжусь, что русские люди нашли в себе силу отбросить самый вцепчивый и долголетний тоталитарный режим на Земле...» (14). Дальше Солженицын советует Ельцину, как, с его точки зрения, необходимо решать самый непростой «национальный вопрос». Он, например, считает, что Президент должен предпринять все усилия, чтобы Россия не отдавала Украине не только Крым, но и бывшую Новороссию. Также, по мнению писателя, несправедливо в свое время были отданы Казахстану Южная Сибирь и уральские казачьи земли. И вообще, пишет он, «Крайне опасно сейчас поспешно принять для России какой-либо не вполне проясненный экономический проект, который в обмен на соблазнительно быстрые внешние субсидии потребует строгого подчинения программе дателей, лишив нас самостоятельности экономических решений, а затем и скует многолетними неисчислимыми долгами».

Ельцин в ответ вежливо поблагодарил писателя. Популистский лозунг о том, что каждая республика бывшего Союза может взять себе «суверенитета, сколько унесет», положил начало откровенным националистическим настроениям, распаду страны и опасным настроениям на национальной почве. В сентябре 1991 года по предложению российского Президента Генеральная прокуратура СССР сняла с Солженицына все прежние обвинения, устранив тем самым последние препятствия к его возвращению на родину. Известно, что во время первого визита Ельцина в США в 1992 году у него с Александром Исаевичем состоялся разговор о судьбе Курильских островов. Тогда же Солженицын высказал Борису Николаевичу свою позицию по поводу проблемы с Чечней. «Он предложил свой план отделения Чечни от России и Левобережья Терека от Чечни, с одновременной высылкой криминальных чеченцев из России. Но Ельцин, как известно, в этом вопросе не согласился с Солженицыным» (12).

Видя, как сложно идут в России реформы, писатель критикует не столько самого президента, сколько его команду, которая, как он считает, «заворожена диктатом Международного валютного фонда и не мешает громадному разграбу национального достояния. Дремлет и бездействует также судебная власть» (12). В декабре 1993 года Борис Ельцин позвонил писателю, чтобы поздравить его с 75-летием. В ответном письме Солженицын не только искренне поблагодарил президента, но предложил свою помощь и поддержку в борьбе с коррупцией «и безнаказанностью криминальных шаек», а также со всем кольцом бед и язв, одолевающих российское общество, включая и злонамеренную приватизацию». Однако и это письмо не появилось в российской печати и, соответственно, оно не получило со стороны президента общественно обозначенной реакции. Естественно, что при обстоятельствах, складывающихся подобным образом, перед возвращением в Россию Александр Исаевич испытывал немалую тревогу и не раз в интервью западным корреспондентам говорил о



том, что предвидит трудности для своей общественной деятельности на родине.

В июне 1994 года, когда Солженицын еще находился на пути в столицу, было объявлено, что между писателем и президентом обязательно состоится встреча. Во время долгого следования по России Солженицын не раз критиковал Гайдара и Чубайса, о Ельцине же высказывался очень осторожно. 16 ноября 1994 года писатель — Гражданин Земли и первый президент России встретились. Беседа продолжалась беспрецедентно долго — около четырех часов. Сообщения в прессе об этом событии были лаконичны: что в разговоре затрагивались «самые масштабные и острые проблемы жизни России и российского общества», а также «пути возрождения народной нравственности и народного самосознания». И все!

Начиная с 1995 года, какие-либо новые контакты стали невозможными, так как Солженицын подверг острой критике новую операцию федеральных войск в Чечне. «Открытие военных действий, — заявил он, — это тяжелая политическая ошибка. В любом случае — и при успехе военных действий, и при неудаче — это принесет нам политический ущерб — и в отношениях с Кавказом, и с мусульманским миром вообще». В том, насколько пророческими оказались эти слова, мы убеждались не раз, войне с Чечней не видно конца. Недавний теракт в Москве, с захватом заложников в Театральном центре — продолжение полосы жесточайших терактов. К слову сказать, автору этой статьи известны имена по меньшей мере двоих наших земляков, погибших во время теракта. Одна из жертв — известная на Ставрополье журналистка Тамара Войнова, долгое время проработавшая в газете «Ставропольская правда».

Табу, которое до поры до времени было наложено на тему о первом президенте России, закончилось весной 2000 года, когда после долгого молчания Александр Исаевич Солженицын согласился на интервью для НТВ. Затем состоялась встреча с читателями и работниками Российской государственной библиотеки. Впервые за десять лет писатель жестко и нелюбезно отозвался об эпохе правления Ельцина. «...В результате ельцинской эры разгромлены все основные направления нашей государственной, народнохозяйственной, культурной и нравственной жизни. <...> Вот среди этих руин мы сегодня живем и ищем выхода. Мы бросили 25 миллионов наших соотечественников в странах СНГ, вернее, бросили их не мы, а Президент Ельцин, бросил, как собак, без всякой защиты их прав, без всякой заботы об их нуждах, без попытки помочь им переселиться к нам. Ельцин предпочитал обниматься и целоваться с диктаторами и вручать им награды российские».

К чести писателя, сам он отказался принять из рук Бориса Николаевича высшую награду Российской Федерации — орден Святого апостола Андрея Первозванного, — которую Президент страны собирался вручить юбиляру в связи с его 80-летием. На встрече с читателями Российской библиотеки Солженицын высказался еще более определенно.

«Снятие с Ельцина ответственности я считаю позорным. И Ельцин, и еще сотня-другая с ним должны отвечать перед судом» (16).

Жесткая определенность суждений А.И. Солженицына вполне соотносится с его представлениями о совести, об ответственности человека (сколь высокое бы положение он ни занимал) перед Богом, перед собой и перед людьми за свои действия. Критерий делам, которые вершит человек, один — во благо они делаются или во зло. Иного не дано. Самым страшным злом ельцинских реформ Солженицын называет «разрыв культурного пространства»: «возрастной» (отчуждение поколений); географический, исторический (историческое беспамятство); национальный (кризис национального самосознания). И как результат общего распада — жесточайший духовный кризис, в который повержена страна.

«Источником силы или бессилия общества — духовный уровень жизни, а уж потом — уровень промышленности. Одна рыночная экономика и даже всеобщее изобилие — не могут быть венцом человечества. Чистота общественных отношений основной, чем уровень изобилия. Если в нации иссякли духовные силы, никакое наилучшее государственное устройство и никакое промышленное развитие не спасет ее от смерти. С гнилым дуплом дерево не стоит» (18, с. 25).

Об этом «гнилом дупле», но иными словами, А.И. Солженицын упомянул еще раз, в интервью, которое он дал «Российской газете» после своей встречи со вторым российским Президентом — В.В. Путиным, в доме писателя под Москвой (в Троице-Лыкове). «Я страдаю от того, что наше нынешнее государство основано на воровском фундаменте и воровской идеологии <...> Мы не можем исправить сейчас свою репутацию в мировом масштабе, какие бы ни проводили международные встречи, — на нас поставлено клеймо: это государство пропитано воровством, аппарат пропитан взяточничеством, основан на грабеже».

Эту свою позицию писатель обрисовал В.В. Путину — и, насколько можно судить, был со вниманием выслушан. «Президент Владимир Путин отлично понимает все невероятные трудности — и внутренние, и внешние, которые достались ему в наследство и которые сегодня надо разгребать. <...> Вообще, у него живой ум и быстрая сообразительность. У него никакой личной жажды власти, упоения властью от пребывания во власти — этого совсем нет. Он действительно занят интересами дела напряженно, потому что сами задачи исключительно напряженные» (18).

Несколько раз в ходе общения с журналистами разного уровня Владимир Владимирович Путин подчеркивал: «Я — человек, которого нанял народ для выполнения определенной работы». Что и говорить, такие заявления нравятся. Они как нельзя лучше соответствуют идеальной ситуации, когда от личной ответственности государственного чиновника (какой бы пост он не занимал) зависит построение эффективного государства. То есть, речь идет о таком жизнеустройстве, при котором власть работа-

ет не на себя, любимую, а прежде всего, — на своих сограждан. Самым большим «достижением» последних лет является то, что, несмотря на обилие всякого рода ЧП и разгул бандитизма ощущение катастрофичности ситуации у россиян отступило на второй план. У нас 40 млн. человек находится за чертой бедности. Тем не менее, свои надежды, как показывают социологические исследования, люди связывают с будущим, что, между прочим, свиде-

тельствует о возросшем доверии к власти. Дай Бог, чтобы слова Президента страны о том, что он всего лишь «нанят» народом, были не просто пиаровской акцией. Тогда есть надежда, что впервые за многие годы мнения честных и мужественных людей, болеющих душой за свою Родину, и в том числе — слово Писателя Солженицына о необходимости нравственной и справедливой власти в России будет не только услышано, но и воспринято.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Бурдые. Поле интеллектуальной деятельности как особый мир // Начала. — 1993. — № 1.
2. Быков Д. Как нам обустроить «Титаник» // Огонек. — 2000. — №3.
3. Виноградов И. Глазами не восторженными, а ясно открытыми // Московские новости. — 1990. — 7 октября.
4. Гаман-Голутвина О. Бюрократия или олигархия // Независимая газета. — 2001. — 10 апреля.
5. Добрушин А. Рано списывать Солженицына // «Новое время». — 2002. — 8 сентября.
6. Кочанов Ю.Л. Опыт о поле политики. — М., 1991.
7. Кремлевский самосуд. Секретные документы Политбюро ЦК КПСС о писателе Солженицыне. — М., 1994.
8. Лакшин В.Я. Солженицын, Твардовский и «Новый мир» // Берега культуры. — М., 1994.
9. Лиханов Д. Смертельная жара // Совершенно секретно. — 1992. — № 4.
10. Лопухина-Родзянко Т. Духовные основы творчества Солженицына. — Франкфурт-на-Майне, 1974.
11. Медведев Ж. Десять лет после «Одного дня Ивана Денисовича» // Воронеж. — 1991. — № 6-7.
12. Медведев Р. Поэт и царь. Ельцин и Солженицын // Российская газета. — 2001. — 10 мая.
13. Мокроусов А. Он вернулся // Огонек. — 1994. — № 27-28.
14. Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти. 1945-1991. — М., 1998.
15. Почепцов Г.П. Коммуникативные технологии XX века. — М., 2001.
16. Советская внешняя политика в годы «холодной войны» (1945-1985): новое прочтение. — М., 1995.
17. Солженицын А. Великое горе ходит сначала в одеждах счастья // Труд. — 2002. — № 20. — 20 мая.
18. Солженицын А.И. Бодался теленок с дубом. — М., 1996.
19. Солженицын А.И. Как нам обустроить Россию? Посильные соображения. — Париж, 1990.
20. Солженицын А.И. У нас был живой перекрестный диалог // Российская газета. — 2002. — 25 октября.
21. Цыганков Д.Б. Социологический анализ воззрений и общественной деятельности А.И. Солженицына. Диссертация. — СПб., 1997.
22. Bourdieu P. Esprits d'Etat. Genese et structure de champ bureaucratique // Actes de la recherche en Sciences sociales. — 1993. — № 96/97.
23. Goffman E. Strategic interaction. — Oxford, 1970.
24. Skhlapentokh V. Soviet intellectuals and Political Power. The Post-Stalin Era. — London/New-York, 1990.

## В МИРЕ АНТИУТОПИИ — «МОСКВА 2042» В. ВОЙНОВИЧА

Ф. Листван  
Краков, Польша

Владимир Войнович принадлежал к инакомыслящим гражданам СССР, видевшим изъяны советской действительности, не побоявшимся изображать теневые стороны общества, устремляющегося к светлому будущему, «заслуживающим» порицания и исключения из Союза писателей. В этом контексте появление романа «Москва 2042», «хоронящего» коммунизм, следует считать вполне естественным, ибо он продолжает линию *anti*, намеченную уже в рассказах Войновича 60-х годов («Мы здесь живем», «Хочу быть честным», «Два товарища»), в которых изображались молодые честные люди, борющиеся с лицемерием, ложью и равнодушием окружающей среды, в романах 70-х годов («Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» (1976), «Претендент на престол. Новые приключения солдата Ивана Чонкина» (1979)), сатирически изображающих Красную Армию во время Второй мировой войны и содержащих первый в русской литературе гротескный образ Сталина, а также в сборнике рассказов и статей «Антисоветский Советский Союз» (1985).

Для романа «Москва 2042» Войнович избрал жанр антиутопии, в котором скрещиваются черты поэтики, свойственные утопии, научно-фантастическому, детективному и общественно-психологическому роману (4, с. 41). Войнович избрал для своего романа жанр неновый как для русской (Е. Замятин, А. Платонов, Л. Лунц), так и для мировой литературы (О. Хаксли, Дж. Оруэлл), неново и само желание заглянуть за завесу времени (В. Одоевский, А. Богданов, В. Маяковский, Л. Леонов), но от этого «Москва 2042» не становится произведением менее интересным для читателей и исследователей.

В романе Войновича использованы прежде всего приемы, свойственные поэтике утопии. Во-первых, изображенная действительность в романе «Москва 2042» распадается на два мира — реальный и фантастический. Первый охватывает события, предшествующие путешествию Карцева в будущее (1 глава), происходящие в Мюнхене и Торонто (июнь-август 1982 года) и Москве (студенческие годы героя-рассказчика — знакомство с Зильберовичем и Сим Симиным Карнаваловым), а также события, завершающие роман — встреча с Зильберовичем и Букашевым в сентябре 1982 года (Мюнхен). Таким образом, события реальной действительности открывают и завершают роман, обрамляя события, происходящие в фантастическом мире в течение одного месяца. Фантастический мир — это построенный в «Москве 2042» мир коммунистической утопии, «бесстроевое, бесклассовое» общество Москорепа.

Во-вторых, Войнович использовал применяемый авторами утопий мотив переброски героя из реального мира в фантастический. В утопиях, как правило, выходец из реального мира попадает в утопическое пространство «случайно», путешествуя по морям, как, например, в «Утопии» Т. Мора, «Городе Солнца» Т. Кампанеллы, «Новой атлантиде» Ф. Бэкона, во время сна («Путешествие в Землю Эфирскую» А. Су-

марокова, «Сон смешного человека» Ф. Достоевского, «Что делать?» Н. Чернышевского — сон Веры Павловны) или благодаря поэтическому воображению («Дорога на океан» Л. Леонова). В романе Войновича использован прием из области научной фантастики — писатель Карцев покупает в «райзбюро» билет на космоплан, т.е. машину, способную перенести пассажиров в любое время и место на земле. Автор прибегает и к более правдоподобной, вполне реальной мотивировке переживаемых героем событий в «Москве 2042» — у Карцева под влиянием алкоголя наступает выключение сознания. В романе фиксируются не только очередные моменты «заправки»: «высав два пузырька», «опорожнив еще три пузырька», «принял еще два «Смирнофа», «я прикончил последний пузырек «смирновки» (5, с. 102, 105, 108), но и ее результаты: «о полете имею весьма смутные воспоминания. Потому что, как только мы оторвались от земли, я тут же опять заснул», «сознание мое помутилось, так что дальнейшую часть полета я зафиксировал тоже урывочно. Временами я настолько ничего не сообщал, что...», «Я решил, что, видимо, задремал и спяну мне что-то такое вот примерещилось», «...меня так развезло, что сознание мое вскоре опять помрачилось, и я заснул» (5, с. 102, 105, 108). Описанные Карцевым сцены, образы и пережитое им за время пребывания в Москорепе переносятся с помощью слов: «возможно», «видимо», «вероятно», «показалось», «кажется» в сферу неопределенного, мотивированного психическим состоянием героя.

В-третьих, с жанром утопии «Москву 2042» сближает выдвигание на первый план фантастического (утопического) мира. В романе Войновича, как в большинстве утопий, ознакомление героя, пришельца извне, с жизнью обитателей «земного рая» является фактором, стимулирующим развитие сюжета. Главный герой романа, писатель Виталий Никитич Карцев, прибывший из «Третьего Кольца Враждебности» с жизнью комунян (жителей Москорепа) знакомится с момента приземления космоплана на площадке московского аэродрома, заметив за окном висевшие на фронтоне аэровокзала портреты москореповских «святых» (третья глава второй части романа). Ознакомление героя с действительностью Москорепа продолжается до момента ухода из гостиницы «Социалистическая» (четвертая глава шестой части), т.е. занимает 230 страниц произведения из 380. С разными сферами (общественно-политической, религиозной, семейной и интимной) жизни комунян герой знакомится лично, то проходя очередные этапы обязательной для приезжающих приемной процедуры (пункты проверки, пункт санитарной обработки, встреча с приветствующими его в зале аэровокзала, «Кабинет удовлетворения ритуальных потребностей»), то попадая в разные учреждения («прекомпит», «Дворец Любви», внубез), то наблюдая сцены на улице (очередь у пункта сдачи «продукта вторичного», «воспитательный» урок у памятника

Гениалиссимусу, проезд колонны машин, сопровождающих Председателя Верховного Пятиугольника), то знакомясь с многочисленными лозунгами, объявлениями, правилами или... читая в уборной газету «Правда», напечатанную в виде рулона туалетной бумаги. Увиденное и пережитое шокирует героя, оно для него часто оказывается совершенно непонятным, потому Карцев часто нуждается в «переводе», в комментарии. Важным источником информации о структуре Москорепа являются для Виталия Никитича члены Верховного Пятиугольника: «главкомпис» Смерчев (рассказывает об организации творческого труда писателей), генерал БЕЗО Сиромяхин (говорит о функционировании органов власти и госбезопасности), «переводчик» Искрина Полякова, от которой он узнает о Реформированной Церкви, о семье и браке, о воспитании и интимной жизни комуняна).

В-четвертых, связь романа Войновича с поэтикой утопии проявляется в акцентировании оппозиционности двух миров — фантастического и реального. В сфере топоса она выражается наличием границ: Москорепа отгорожен от остального мира шестиметровой железобетонной стеной, колючей проволокой, минными полями и «автоматическими стреляющими установками, убивающими даже воробьев, случайно пролетавших мимо ограды» (5, с. 206). Ограда необходима, так как, по словам Комуня Смерчева, «бесстроевое, бесклассовое коммунистическое общество вызывает не только восхищение, но и зависть отдельных групп населения, живущего во вне. От этого, понятно, в отношениях комуняна и людей, живущих за пределами Москорепа возникает некоторая напряженность и даже враждебность» (5, с. 206). Мир за железобетонной стеной в сознании комуняна существует как три «Кольца Враждебности». Первое Кольцо составляют советские республики, называемые также «сыновними», Второе кольцо — это «братские» социалистические страны. В состав Третьего Кольца входят «вражеские» капиталистические страны. Оппозиция выражается и в темпоральном плане. Время делится на осуждаемое прошлое (все возникшее и существующее до Августовской революции) и настоящее — после революции, поэтому комунянами осуждается не только капитализм, но также социализм, соцреализм и «примитивный коммунизм», которые жителями Москорепа считаются отсталыми. В плане личных отношений оппозиция выражается местоимениями «мы» — «они», «наш» — «не наш». Комуняне убеждены в том, что они лучше всех, что уровень благосостояния людей снижается по мере удаления от Москорепа и люди, проживающие в капиталистических странах, питаются исключительно «продуктом вторичным», а по улицам их городов ходят лишь ослы да верблюды. Прибывший из страны, причисляемой к Третьему Кольцу Враждебности, Карцев считается «дикарем», человеком отсталым, «дурачком». Своё отличие жители москореповского «рая» подчеркивают и внешним видом — стрижкой (под ноль), одеждой (униформ, короткие штаны), поэтому «длинноштанная» Карцев навлекает на себя подозрения и вызывает чувство враждебности. В рома-

не несколько раз, словно припев, повторяются слова «тетки, понимающей по иностранному»: «Штаны длинные носит, говно сдавать не хочет, пищей брезгует, да еще бога какого-то поминает!» (5, с. 181). То и дело попадавший впросак Карцев в «коммунистическом царстве» чувствует себя неудобно.

Как уже отмечалось, жанровый профиль антиутопии определяется и некоторыми чертами поэтики, присущими детективному и психологическому роману. В антиутопиях Замятина («Мы»), Хаксли («Новый дивный мир») и Оруэлла («1984») сюжетобразующим фактором является внутренняя эволюция героя, его душевный рост. Из собирательного образа «осчастливленных» выделяется образ человека, начинающего осознавать себя личностью. Именно так происходит духовное становление замятинского Д-503, Уинстона Смита («1984») и героя Хаксли — Маркса. От полной преданности соответственно Благодетелю, Великому Брату, Форду они приходят к прозрению и бунту, начинают видеть настоящий облик окружающего мира. В процессе душевного вызревания героев стимулирующую роль играет контакт с прошлым и любовь к женщине. С прозрением и внутренней эволюцией героев тесно связаны свойственные детективному роману мотивы: преступления, следствия, слежки, разоблачения. Разоблаченный герой антиутопии подвергается перевоспитанию, притом положительный результат «перековки» обеспечивает возвращение в ряды правоверных, как в случае Д-503 и Смита, а негативный — к «распылению» (И-330) или ссылке (Маркс). В романе Войновича эти вопросы решаются несколько иначе. У главного героя «Москвы 2042» другой статус, чем у героев Замятина, Хаксли и Оруэлла: он не «свой», а «чужой», пришелец извне, из Третьего Кольца Враждебности, не комунянин, преданный душой Гениалиссимусу и коммунизму, а «человек прошлого», исключенный из союза писателей эмигрант, который и в прошлом не был сторонником социализма. Правда, Карцева реабилитируют, делают генералом, ему выдают униформ, причисляют к категории людей повышенных потребностей, но «перетарификация» героя и причисление к категории «наш» имеют внешний характер, хотя властям они дают основание для того, чтобы с ним поступать, как со «своим». Этим практически снимается вопрос «прозрения» героя, хотя на возможность наступления такого перелома в жизни Карцева в прошлом могут указывать «преступления», перечисленные им в юбилейном выступлении: «... свои книги писал обычно в пьяном виде, не сообщая, что делаю, и иногда совершенно не считался с тем, что от меня ожидали партия, народ и госбезопасность. Обладая отсталым мировоззрением, я часто не замечал всего того хорошего, что происходит в нашей жизни, в ее, так сказать, революционном развитии, и искажал действительность в угоду своим заокеанским хозяевам» (5, с. 350). Мотив бунта выступает и в москореповском эпизоде биографии Карцева. Он бунтует против некоторых требований властей, не соглашается произнести клятву гражданина коммунистической республики, обязывающую к сотрудничеству с органами госбезопасности. «Если у вас такой коммунизм, — говорит Карцев, — что

без доносов никак нельзя, то я вообще в вашей московской репе не желаю оставаться ни одного лишнего часа» (5, с. 161). Второй раз герой бунтует против требования вычеркнуть из романа Сим Сими́ча Карнавалова. Первый бунт еще не преступление, так как он наступил до произнесения клятвы, и для членов Пятиугольника Карцев еще не «наш». Второй бунт — уже после клятвы, потому от Карцева требуют повинения как от «своего». Разница между двумя случаями явно ощущается властями и проявляется в их реакции на неповиновение. Первый бунт вызывает у генерала БЕЗО Сиромехина злость, обиду, огорчение: на угрозу Карцева вернуться в Штокдорф он отвечает: «Сейчас я прикажу вернуть вам ваши вещи, и вы можете возвращаться. Если вам неинтересно посмотреть, как мы живем» (5, с. 161). Во втором случае повторяется решение Карцева вернуться к себе в Штокдорф, но на этот раз оно вызывает улыбку, удовлетворенность и желание пошутить над героем. Причиной перемены является изменение статуса Карцева: для властей реабилитированный «человек прошлого» уже «свой». С ним поступают как со своим, т. е. наказывают. Приговоренного к забвению героя лишают всех привилегий, перевозят из гостиницы «Коммунистическая» в гостиницу «Социалистическая», бойкотируют.

Итак, из детективного романа почерпнут Войновичем лишь мотив преступления, нет следствия, нет желания властей поймать героя в капкан путем провокации, хотя за Карцевым следят и власти о нем знают все, даже его сны. У героя появляется мысль о провокации, но она подсказана горьким опытом прошлого. Несмотря на факт, что герой — бунтарь, а значит и преступник, нельзя здесь говорить ни о прозрении, ни о духовном вызревании, внутренней эволюции, и если уж так, то в каком-то обратном для антиутопии порядке. «Слабак» Карцев идет на уступки, не отстаивает свою позицию. При первом бунте уступка мотивируется желанием посмотреть, как живут комуняне, при втором — осознанием безвыходности положения и бессмысленности дальнейшего сопротивления. Карцев после нескольких дней голодания «все свои туманные идеалы, свои незрелые убеждения и любые секреты (...) готов был предать за чечевичную похлебку» (5, с. 334). Доведенный до отчаяния герой рассуждает: «Я же не идиот и не сумасшедший, сохраняя здравый смысл, я еще в состоянии понять, что моя жизнь первична, а выдумки вторичны (...) Как бы мне ни было жалко Сим Сими́ча, но себя самого-то жалче» (5, с. 338). От мысли о самоубийстве герой приходит к решению подчиниться властям: «Я им скажу, и сразу все станет на свои места, меня отвезут в Упопот, и я в первую очередь удовлетворю все свои потребности, а потом... Да, я сделаю все, что они хотят» (5, с. 339). И герой во время юбилейного выступления произносит речь, в которой он выражает глубочайшую благодарность партии, ее Верховному Пятиугольнику, органам БЕЗО и религиозного просвещения, а также «славному, дорогому, любимому и неподражаемому Гениалиссимусу» (5, с. 349). Уступки Карцева играют однако и положительную роль: они не только указывают на отсутствие у героя стойкости, принципиальности, но и выявляют механизмы власти, ведущие к обезличению человека.

Как уже отмечалось, Войнович свою антиутопию строит, опираясь прежде всего на поэтику утопии, в романе изображается осуществленная коммунистическая утопия, а главным фактором, стимулирующим развитие сюжета, является ознакомление героя с жизнью «идеального» общества. Следует однако подчеркнуть, что при внешнем сходстве между «Москвой 2042» и жанром утопии существует и принципиальная разница в подходе к утопической действительности. Правда, в романе Войновича, как и в утопиях, объектом всех усилий автора является определенным образом организованный Мир. Утописты, как правило, «ищут пути для создания идеального мира, который будет базироваться на синтезе постулатов добра, справедливости, счастья и благоденствия, богатства и гармонии (...) Они околдовывают строением и логикой действий прекрасно работающей государственной машины» (8, с. 50). Войнович же, как и другие утописты, стремится понять, как человеческая личность чувствует себя в этой образцовой атмосфере, строит свое произведение на опровержении такого рода государства. В «Москве 2042» утопия не строится, а опровергается и опровергается, как и в других антиутопиях, «не логическими рассуждениями, а через показ осуществления и доведения до абсурда самих утопических идей» (7, с. 71). В романе Войновича мир изображен таким, каким он мог бы стать в случае провала перестройки (2, с. 54). Высказанные Карнаваловым в конце романа слова, с которыми он обращается к возвращающемуся в Мюнхен и в 1982 год Карцеву: «... всем плюралистам расскажи, что их ожидает в светлом будущем» (5, с. 385), в контексте изображенной в романе коммунистической утопии звучат как явное предостережение. Именно на коммунистическую утопию направлена сатира в «Москве 2042». Критика ведется в определенном порядке. В начале романа устами молодого террориста формулируется утопическая идея. Идеи, высказанные террористом, повторяются в произведении, но уже в форме образов в сонном видении Карцева. Сказанное и увиденное содержит, несомненно, намек на сонное видение Веры Павловны из романа Чернышевского «Что делать?» Слова террориста и сон Карцева говорят о счастливой и беззаботной жизни людей и в этом отношении они контрастируют с действительностью Москорепа, в котором увлекательная идея доведена до полного абсурда. Поборник коммунизма — террорист, который отправился в будущее, надеясь «увидеть коммунизм своими глазами и привезти убедительные доказательства его полного превосходства над всеми остальными системами» (5, с. 103-104), — становится предметом зверского эксперимента и подвергается жестоким пыткам. По словам профессора Эдисона Комарова, заведующего ИНСОНОЧЕЛом (Институт Создания Нового Человека), террориста после извлечения достаточного количества генетического материала ждет «гуманный» конец: его усыпят, забальзамируют и выставят в музей. Контраст между действительностью Москорепа и сонным видением Карцева подчеркивается в разговоре последнего со Смерчевым. «Я думал, — говорит Карцев, — у вас и правда коммунизм такой, какой я видел вчера, а он совсем не такой» (5, с. 162). В Москорепе на первое место

ставится не жизнь, а только идеология, которая маршалом Берией Взрослым понимается как сон, иллюзия: «Мы все, — говорит герой, — живем иллюзиями. Сон первичен, а жизнь вторична» (5, с. 254).

Карцев — «человек прошлого», потому жизнь в Москорепе воспринимается им как продолжение эпохи развитого социализма или ее во многом «усовершенствованная» модель. Для Карцева прошлое, время, когда его «обзывали хулиганом, алкоголиком, контрабандистом, сексуальным разбойником, прислужником иностранных разведок, лакеем международного империализма, спекулянтом, фарцовщиком, паразитом-клеветником, свиньей под дубом, волком в овечьей шкуре, шавкой, которая лает из подворотни, Иваном, не помнящим родства, Иудой, продавшим родину за тридцать сребренников» (5, с. 131-132), является отправной точкой при оценке настоящего-будущего, т.е. увиденного и пережитого им за месяц пребывания в «Москве 2042». В романе то и дело появляются сигналы-мостики в прошлое: «Я вспомнил то время, когда в Москве меня постоянно сопровождали машины, набитые агентами КГБ»; «Вы мои книги проходили, но читать их запрещено, как и раньше»; «Со мной затеяна та идиотская игра, с правилами которой я достаточно близко познакомился в своей прошлой жизни» (5, с. 99, 151, 331). К прошлому отсылают и некоторые прозрачные «звездные имена». Так, например, генерала БЕЗО зовут Д з е р ж и н Гаврилович Сиромахин, а первого заместителя Гениалиссимуса по БЕЗО — Б е р и й Ильич Взрослый (разрядка моя. — Ф.Л.). Первое имя отсылает к основателю ЧК, Феликсу Дзержинскому, второе — к Лаврентию Берии, близкому сотруднику Сталина.

Жизнь в «Москве 2042» изображается как перевернутый мир, опрокинутый с ног на голову, абсурдный. Абсурд в романе Войновича строится по принципу нетождественности, когда  $A = \text{He-}A$ , и противоречия, когда  $A$  и  $\text{He-}A$  вместе (6, с. 43, 50). По принципу нетождественности строится, например, информация об органах госбезопасности. По словам Сиромахины, БЕЗО, по сути дела, не БЕЗО, так как оно состоит из американских агентов ЦРУ. В свою очередь, ЦРУ сплошь состоит из агентов БЕЗО. Абсурдно также приравнение писателей к другим категориям «комслужащих» (у них точно определены часы работы и отдыха) и обязывающие их нормы выработки — «кто дает хорошее качество, для того норма снижается, у кого качество низкое, тот должен покрывать его за счет количества» (5, с. 217). В Москорепе и Церковь не- Церковь. Коммунистическая Реформированная Церковь устами генерал-майора религиозных дел, отца Звездония вещает, что «никакого Бога нет, не было и не будет» (5, с. 122), что Христос не Сын Божий, а первый коммунист, великий предшественник Гениалиссимуса (автора Евангелия), словом, Церковь, «младшая сестра КПГБ», проповедует веру не в Бога, а в коммунистические идеалы и лично в Гениалиссимуса. Она внушает пастве, что «настоящий праведник — это тот, кто выполняет производственные задания, соблюдает производственную дисциплину, слушается начальство и проявляет постоянную бдительность и непримиримость ко всем проявлениям чуждой идеологии» (5, с. 212), своей целью ставит воспитание ко-

мунян в духе коммунизма и горячей любви к Гениалиссимусу. У москореповской Церкви есть свои святые — Карл, Фридрих, Владимир, многие герои всех войн и революций, герои труда. В храмах проводятся службы в честь Августовской революции, дня рождения Гениалиссимуса, Дня Коммунистической Конституции и т.д. Так, в Москорепе Бог подменяется Гениалиссимусом, православие — коммунистической доктриной, сфера *sacrum* — сферой *profanum*, что нашло отражение и в языке комунян, которые вместо выражений «слава Богу», «ради Христа», «о, Господи» употребляют другие: «слаген» (слава Гениалиссимусу), «ради Гениалиссимуса!», «о, Гена!».

В Москорепе также гуманизм — антигуманизм. Москва 2042 года славится тем, что в ней смертное наказание «навечно отменено» и потому «гуманное» общество Москорепа провинившихся высылает в Первое Кольцо Враждебности, где смертная казнь еще не отменена. В Москорепе, по словам Искрины Поляковой, смертность практически ликвидирована, а ликвидация достигнута «надежным и экономным» способом. «Просто, — поясняет героиня, — тяжелобольные люди, а также пенсионеры и инвалиды, если они, конечно, не члены Редакционной Комиссии или Верховного Пятиугольника, переселяются в Первое Кольцо и заканчивают свою жизнь там» (5, с. 208). В «гуманном» обществе Москорепа человек часто является не субъектом, а предметом, подопытным кроликом, объектом зверских экспериментов, пыток. В Институте Создания Нового Человека ученые работают над выведением разных пород людей (явная переключка с романом О. Хаксли «Новый дивный мир»). Для этого «сочетают соответственные пары», «скрещивают», всячески манипулируют генетическим материалом. Желая, например, создать такого писателя, который «совмещал бы в себе художественный талант с высокой коммунистической идейностью» (5, с. 293), они скрещивают писателя с профессором марксизма. Работая над созданием супермена, профессор Эдисон Комаров не удовлетворяющий его экземпляр «обычного интеллектуала» просто растворяет в серной кислоте, мотивируя это действие фактом, что таких и сама природа создает в несметных количествах.

Действительность Москорепа во многом противоречива, лжива, полна притворства. На принцип противоречия опирается деятельность подкомписов-сержантов, работающих в безбумлите. В нем официально работает компьютер, обрабатывающий тексты, написанные подкомписами, но Карцев лично убеждается, что компьютера нет. Для тех, кто не знает тайны сиромахинского «изобретения», компьютер существует, для знающих тайну — его нет. В конечном счете это знание ни к чему не ведет, ибо знающие притворяются незнайками. «Наше общество, — объясняет Сиромахин, — интересно тем, что все все знают, но все делают вид, что никто ничего не знает» (5, с. 233).

Так же дело обстоит и с равенством. В Москорепе оно существует, но только теоретически, на практике же Москва разделена на зоны (каки), а ее жители на категории (самообеспечиваемых потребностей, общих потребностей, повышенных потребностей, вне потребностей, т.е. привилегированных). Противоречивы также многие нормы поведения. Так, например, тамож-

ник информирует Карцева, что в Москорепе можно фотографировать «что угодно, где угодно и кого угодно. Но только без пленки» (5, с. 148). То же правило относится и к магнитофону. Карцев может им пользоваться сколько угодно, но без кассет и батареек.

Абсурдность действительности не могла не проявиться в языке комунян, которому присуща та же двойственность, противоречивость. В нем часто появляются выражения, составленные по принципу оксюморона: «свинина вегетарианская», «безбумажная литература», «колбаса деликатесная мясная из рыбной муки», «Сыновнее Кольцо Враждебности», «Братское Кольцо Враждебности» (5, с. 177, 214, 352, 141). «Русско-коммунистический язык», которым пользуются жители Москорепа, теряет свою основную функцию — средства общения. Так как он непонятен для Карцева — россиянина, но эмигранта, прибывшего из Третьего Кольца Враждебности и нуждается в переводе из одной идеологической системы в другую и комментарии. Причиной непонимания является усиление значения идеологического содержания слова, ведущее к появлению в языке комунян новых слов, образованных, в большинстве случаев, путем контаминации: «упопот» (удовлетворение повышенных потребностей), «инизин» (институт извлечения информации), «пукомрас» (пункт коммунистического распределения) и т.п. Иногда расшифровка слова, требует дополнительного комментария. Так, например, название «Кабинет Естественных Отправлений», появившееся как результат расшифровки слова «кабесот», остается непонятным. «Кабесотом» заменяется функционирующее в «предварительном» языке слово «уборная», которое устарело вследствие «безыдейности», «кабесот» же связан с очень важным для идеологии Москорепа соотношением «продукта первичного» и «продукта вторичного». Употребление в большом количестве подобных слов ведет к сгущению красок, к гиперболизации<sup>1</sup> и делает речь комунян абсурдной. Нечто подобное наблюдаем в случае лозунгов. Они могут появиться в любом месте, в том числе и в уборной. Однако наряду с «высокоидейными» лозунгами типа: «Наша сила в пятиединстве!», «Да здравствует Гениалиссимус!», «Мы лучше всех», «Слава КПГБ!» (5, с. 127) появляются и такие: «Кто сдает продукт вторичный, тот питается отлично» или «Кто сдает продукт вторичный, тот сексуется отлично» (5, с. 177, 183). К абсурду ведет перенесение

лозунга из «высокого» плана в «низкий», его «профанация». Ярким примером последней является судьба известного лозунга-призыва: «Пролетарии всех стран, объединяйтесь», появившегося в уборной в искаженной форме, но в соответствующей ей обстановке: «Пролетарии всех стран, подтирайтесь» (5, с. 134). Аналогичное явление наблюдаем в случае аббревиатур. Среди многочисленных, но известных, «прижившихся» аббревиатур, относящихся к учреждениям (КГБ, ЦРУ) или организациям (КПГБ) появляются совершенно новые типа НБГ (Напиток Бессмертия Гениалиссимуса) или ГЕОЛПДИК (Государственный Экспериментальный Ордена Ленина Публичный Дом Имени Н.К. Крупской). В сферу абсурда включаются также имена героев. Среди «звездных» имен, указывающих на занятия комунян, наряду с нейтральными типа Классик, появляются «идиотские» имена: Ракета, Пропаганда, Съездий. Войнович высмеивает и такое явление, как пристрастие к всякого рода анкетам, опросам. Так, например, Карцеву в уборной дежурная выдает бланк, в котором он должен «указать свою фамилию, звездное имя, год и место рождения и цель посещения кабесота» (5, с. 134). Такой же бланк герой заполняет в публичном доме.

Высмеивая москореповскую действительность, Войнович нередко прибегает также к иронии. Она звучит и в рассказе о гнувшихся гвоздях, сработанных «передовой и прогрессивной промышленностью Москорепа», и о напечатанной в виде рулона туалетной бумаги газете «Правда», доказывающей, что «забота о человеке в коммунистическом обществе стоит на высоком уровне», и о «смелых экономических экспериментах» (5, с. 364, 135, 211), т. е. выращивании на балконах овощей и продуктивных животных: свиней, коз, овец. Тем сильнее в контексте подобных «достижений» Москорепа звучит ирония, вложенная в уста одной из комунянок Искрины Поляковой: «Мы, я думаю, во многих отношениях ушли далеко вперед» (5, с. 225).

Итак, желая предостеречь людей об опасности коммунистической утопии, автор «Москвы 2042» следует мысли, выраженной разжалованным Гениалиссимом-Букашевым: «Для того, чтобы разрушить коммунизм, надо его построить» (5, с. 370), — и конструирует образ организованного «идеально» мира, «непостижимая красота» которого им же и разрушается доведением до полного абсурда.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Некоторыми исследователями гипербола считается основным сатирическим средством в «Москве 2042» (см.: 3).

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Duda K. Antyutopia w literaturze rosyjskiej. — 1995. — С. 160-177.
2. Janowski A. Wladimira Wojnowicza «Moskwa 2042» // «Kieleckie Studia Rusycystyczne». — Kielce, 1996. — Т. 7. — С. 51-62.
3. Supa W. Obrazowanie satyryczne w «Moskwie 2042» Wladimira Wojnowicza // Satyra w literaturach wschodnioslowianskich III. — Bialystok, 1999. — С. 197-203.
4. Wojtczak D. Siodmy krąg piekła. Antyutopia w literaturze i filmie. — Poznan, 1994.
5. Войнович В. Москва 2042 // Сказки для взрослых. — М., 1996.
6. Воронин В. С. Структура абсурда в антиутопии (Е. Замятин и Дж. Оруэлл) // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня. Научные доклады, статьи, очерки, заметки, тезисы. — Тамбов, 1997. — Кн. V. — С. 43-50.
7. Гордович К. Д. Жанр антиутопии в литературе 20-х годов и развитие его традиций // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня. Научные доклады, статьи, очерки, заметки, тезисы. — Тамбов, 1997. — Кн. V. — С. 70-77.
8. Потанина Н. Л. Роман Е. Замятина «Мы»: К проблеме антиутопизма // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня. Научные доклады, статьи, очерки, заметки, тезисы. — Тамбов, 1997. — Кн. V. — С. 50-58.

## ПРОЗА ВЛАДИМИРА ВОЙНОВИЧА КАК ДОКУМЕНТ ВРЕМЕНИ

И. Папай  
Краков, Польша*Я лично предпочитаю книги, которые сквозь цензуру протащить не удалось.***Владимир Войнович**

«Великая Октябрьская социалистическая революция и начало строительства первого в мире социалистического общества явились гигантским ускорением движения мировой литературы к социализму, создали основу для развития подлинно свободной литературы не только в Стране Советов, но и во всем мире...» (20, с. 198).

Подобные, полные уверенности мнения<sup>1</sup> были стандартными на протяжении последнего полувека в литературно-критических и научных высказываниях многих авторов. Цитированное изречение — лишь типичный пример точки зрения определенной среды советского общества. Очень пригодными для ее характеристики оказываются свидетельства Владимира Войновича, помещенные в его документальную прозу, тем более достойной признания, что в ней описана социалистическая жизнь современно, раньше всяких критических и публицистических статей. Каждый текст выдающегося, хотя раньше проклятого властью писателя, поэта, драматурга и, наконец, публициста Войновича, достоверен и незаменим как источник информации о всех признаках советской жизни. Тема цензуры в советской культуре, литературе, авторов и героев творческого процесса в соцреалистических пределах, а также проблема эмиграции — неотделимы от советских будней. Они представляются нам интересными для рассуждений в настоящей статье.

Цензура, социалистический реализм, партийность (лживо называемая «народностью») управляли советским искусством во всех его областях по первое августа 1990 года, и вряд ли бы остались при этой власти (хотя бы частично) также и после названного числа.<sup>2</sup>

Представленные в 1934 году М. Горьким (первым председателем Союза советских писателей, на Первом съезде новооснованной организации) принципы социалистического реализма стали единственными действующими директивами во всякой творческой деятельности будущих «инженеров человеческих душ», художников, актеров, ученых. Названный позднее «лакировкой» творческий метод популяризовался его идеологами в завуалированной форме как «пафос жизнеутверждения, сущность которого состоит в правдивом, исторически конкретном отражении действительности в ее революционном развитии в свете коммунистического эстетического идеала, в социалистической идейности, таком же гуманизме и интернационализме, наконец — историческом оптимизме» (25, с. 443). В дальнейшем это должно было привести к сомнениям граждан в правдивости всей дооктябрьской, буржуазной литературы.

Хотя энтузиасты этого оптимистического и прогрессивного «художественного метода» отличали партийность от народности, Андрей Синявский, который после заключения в лагере, а затем, благодаря «гуманному» разрешению власти в 1973 году покинул родину, «упорно» их отождествляет (24, с. 167). Ленинское понятие «свободной» (т.е. советской) литературы, для многих вышеназванных популяризаторов являющееся-

ся синонимом слова «социалистическая», он прямо определяет «чем-то выгодной писателям несвободой» (24, с. 157).<sup>3</sup> «Золотой век — социализм!»<sup>4</sup> вместе с восхваляющими его литераторами не получают признания А. Терца.

«Большевики», «чека», «советская власть» — на этих трех словах, — говорит он, — стоял и стоит строй. И без названных слов литературный процесс в России, мягко говоря, — непонятен» (24, с. 172).

Принимая во внимание многие доступные сегодня источники (в том числе произведения Владимира Войновича), нельзя отрицать неотделимость «органов» от охарактеризованного Терцом процесса.

Созданное 6 июня 1922 года Главное управление по делам литературы и издательств (Главлит) «теснейшим образом связано с КГБ (один из заместителей начальника управления — генерал КГБ по должности)», — объяснял в 1984 году Валерий Головский, компетентный исследователь этих проблем, бывший редактор нескольких московских издательств и публицист американской прессы (10, с. 155). «Нет сомнения, — пишет он дальше, — во влиянии этой организации на литературу и искусство» (10, с. 163). Разоблачая процедуру «отнюдь не простой» (10, с. 162) парацензорской (так как называть эту деятельность чистой цензурой, на его взгляд, неверно) работы кагебешников, Головский сообщает: «Они как огня боятся гласности и какой-либо документации. Предпочитают форму устной консультации, советов, предварительной работы с авторами...» (10, с. 163).

Не такую ли «предварительную работу» описал один из этих авторов — Владимир Войнович — в своей «Были, похожей на детектив»? (5).

Приглашенный на встречу Войнович, ведомый свойственным ему любопытством, беззаботно (в чем сам признается) шагает в названную в телефонном разговоре (устная форма общения) гостиницу «Метрополь». Загадочное «происшествие» случается 11 мая 1975 года, т.е. после его исключения из Союза писателей, после зарубежной публикации «Чонкина», после четырехлетнего запрета публикации в СССР и после целого ряда меньших «преступлений» писателя вроде подписей под открытыми письмами в защиту преследованных писателей. В сделанном по телефону, значит, — секретно, предложению, ему было велено абсолютно никому не сообщать о назначенной встрече и прийти одному в точно определенное время (пугающая «органы» как огонь гласность и всякая документация?). В размышлениях автора о сути загадочного свидания с приветливыми и улыбчивыми офицерами КГБ мелькает даже мысль о переменах в культурной политике «там, наверху» (5, с. 70). Культурное поведение следователей вызывает даже кратковременную, но тогда очень желаемую не только среди писателей, надежду, будто там, на этом вершине, «кому-то жалко стало выкидывать на Запад писателей, художников, музыкантов, и, может, до кого-то дошло, что не книги, а борьба с ними приносит вред государству. Вы скаже-



те, странно надеяться, что такие перемены начнутся в полицейском участке, — продолжает автор свои раздумья, — а я ничего странного в этом не вижу. Если они когда-нибудь и начнутся, то именно там. А пока не начнутся, любые литературные проблемы в Союзе писателей обсуждать так же бессмысленно, как в КГБ. Потому что за спиной говорящего с вами секретаря Союза писателей все равно стоит тот же Лжепетров!» (5, с. 70). Который — добавим — все еще спрашивает: «Разве может быть писатель аполитичным?» (5, с. 66).

Кажется, никакие перемены не намечаются, и прав как Войнович, уже из заграницы горько утверждающий, что «истинных писателей из официальной литературы рано или поздно всегда изгоняли» (4, с. 440), так и вышецитируемые критики.

Сеть цензорских служб, с их высшей инстанцией — ЦК КПСС (14, с. 820), за долгое время своей деятельности наложила мало похвальный, а, вернее, недопустимый отпечаток на русское искусство. Исследователями доказан уже факт, что существовала должность «постоянных представителей КПСС во всех редакционных советах в издательствах, в большинстве редакций газет и журналов всего Советского Союза, а контроль над всей переводной литературой, идущей из заграницы и за границу, осуществлялся ВААП-ом (Всесоюзное агентство авторских прав)» (14, с. 820).<sup>5</sup>

Общезвестно и то, что «критерии цензуры менялись в соответствии с изменением партийной линии» (14, с. 821). Этим фактором было обусловлено даже содержание школьных учебников. Неограниченные возможности в области официальной фальсификации истории показал 1954 год, когда, согласно самокритичной линии партии, «на некоторое время было изъято из обращения имя Сталина» (14, с. 823). Если же такое случилось с самым «гениалиссимусом», не очень удивляет отсутствие в учебниках имен писателей, не только погибших в годы сталинских чисток (Бабея, Мандельштам, Пильняка), но и оставшихся в живых, и даже в свое время оцененных по достоинству — В. Аксенова, В. Некрасова, В. Войновича (14, с. 823).<sup>6</sup>

«Достижением» цензуры, ее проникновения даже в тексты издаваемой переписки является тот факт, что «нет полного собрания сочинений ни одного из советских писателей (включая также Горького и Маяковского)» (14, с. 823), хотя многие издания так и озаглавлены. Никогда нельзя быть уверенным, что текст произведения или же какие-либо опубликованные в СССР изречения отвечают авторскому замыслу (14, с. 825).<sup>7</sup> Такая мучительная повседневность толкнула лучших писателей на эмиграцию, среди них был и В. Войнович. Раньше чем авторы «эмигрировали» и «издавались» на Западе, были «сочинены без разрешения» и названы исследователями документальными повестями «Иванькиада» (1976) и «Происшествие в «Метрополе» (1975), которые стали свидетельством многолетней травли автора.<sup>8</sup> Эти два произведения, а также близкие им по тематике: «Шапка» и ее инсценировка авторства Григория Горина, составляют беспрецедентную, в высшей степени достоверную литературу.<sup>9</sup>

Именно Войновича литературоведы считают творцом парадоксальной и одновременно паралитературной формы, представляющей собой запись конкретного события, регистрирующей абсурд и ужас советской

действительности (29, с. 266). Благодаря его пронизательным свидетельствам мы можем сегодня широко взглянуть на культурную жизнь СССР, а также на такие объединения, как «Союз писателей», власть, рядовые члены Союза, их многотиражные издания. Нам известна и жизнь посетителей Московского Центрального дома литераторов, ЗАСРАК-ов, т.е. заслуженных работников культуры. Звание «остряки, конечно, сократили и превратили в эту неприличную аббревиатуру» (7, с. 251). Вряд ли таких остряков подбадривал голос, провозгласивший в 1952 году «с самой высокой трибуны: нам нужны свои Гоголи и Щедрины» (23, с. 536).

Из «Шапки» Войновича узнаем, с одной стороны, о творческом процессе соцреалистического «лакировщика», а с другой о плановом «моральном терроре против диссидентов, сорповажающемся материальным давлением на них, так как им просто не давали зарабатывать на жизнь» (19, с. 9). Порожденная сознанием абсурда советского времени, его скукой и безнадежностью, сатирическая литература оказывается не фантастичной деформацией, но документом времени (30, с. 141).

Превозносимый до небес, тошнотворно бравый герой соцреалистической продукции, вместе с его творцом — одна из интереснейших для Войновича тем для наблюдений о советской действительности. Потеряв все силы и нервы на спокойную и законную борьбу за принадлежавшую ему квартиру, автор на каком-то этапе решил, что «ко всему надо относиться с юмором», что его, как говорит, и «спасло. Я, — пишет он, — уже не боролся, я собирал материалы для данного сочинения» (3, с. 124).

В другой небольшой повести-эпюде Войнович описал «табель о рангах» в так называемой творческой организации. «Табель о рангах», структуру и состав соответствующие строению, устройству и составу всего советского общества» (12, с. 10). Собранный им материал, как обычно, удостоверен личным опытом — опытом члена этой творческой организации, а затем, выкинутого из нее «хулигана». Чтобы правильно оценить значение подобного наказания для писателя, надо иметь в виду, что в СССР до и после Сталина, функционирование литератора вне Союза оказывалось, как правило, невозможным, так как именно в Союзе принимались решения о направлении книги в печать, ее переиздании, или о других, неимоверно важных и детерминирующих материальный статус писателя, делах (28, с. 117). В семидесятые годы, т.е. в годы третьей волны эмиграции, исключение из Союза писателей не совпадало уже с полным замалчиванием, не предсказывало конца писателя, но окончательно перенесло его в сферу сам- или тамиздата (27, с. 35).

Изображенный Войновичем Союз писателей — это совокупность чиновников, сотрудников «органов», и вообще в 90 процентах неписателей, в противоположность писателям, т.е. людям талантливым, — как думал автор. Но, как говорили (совсем не шутливо) сами управляющие организацией, «у нас же не союз талантливых писателей, а союз советских писателей» (3, с. 137), к чему Г. Горин добавляет: «А их книги рассчитаны на советского читателя» (9, с. 47).<sup>10</sup>

Советская «табель о рангах» состоит из следующих «чинов»:

выдающихся писателей (секретари Союза писателей СССР), известных писателей (секретари Союза писателей РСФСР), и видных писателей (Московская писательская организация) (7, с. 229). Литературным примером выдающегося писателя является Василий Степанович Каретников — государственный и общественный деятель, Герой Социалистического Труда, Депутат верхнего Совета СССР, член ЦК КПСС, лауреат Ленинской премии, лауреат Государственной премии, лауреат... Долго бы еще перечислять, лучше проверить в источнике (7, с. 248).<sup>11</sup>

Увековеченный в «Иванькиаде» способ приема в Союз кандидатов в писатели, несомненно, правдив, так как описан выполняющим функцию члена бюро секции прозы автором. Он не скрывает, что многие, «хуже всякой кастрюли», кандидаты, без всяких оснований вступали в должность писателя. Но некоторым автору удалось, к счастью, помешать (3, с. 137). Не наказанием, а честью считает он также свое исключение из Союза, вызывая этим, конечно, большое возмущение оставшихся в нем писателей (5, с. 94).

Воплощенные в образе главного персонажа «Шапки» (Рахлина) члены Союза в большинстве «лишь исполняющие разные должности чиновники, исписывающие некоторое количество бумаги текстом, который потом набирается, печатается, заключается в твердую или мягкую обложку и перед сдачей в макулатуру выставляется на прилавках магазинов» (3, с. 137). Количество и качество в понимании Рахлина — совпадающие термины. Для него очевидно то, что автор одиннадцати книг, «пользующийся широким читательским интересом» (что, конечно, доказывают тиражи) и остающийся двадцать лет в Союзе писателей, заслуживает уважения, орденов или хотя бы юбилейной заметки с фотографией в газете (7, с. 213). Творческий процесс в понимании Рахлина заключается в ежедневном выполнении определенной нормы (примерно четыре страницы). Важно также, чтобы название произведения способствовало его популяризации, например легко включалось в кроссворды (7, с. 224). Положено, чтобы сюжет строился по следующей схеме: сначала первая фраза, а потом все своим чередом! Появятся описания природы, появятся люди, они вступят между собой в какие-то взаимоотношения (7, с. 224), «в подходящем моменте включится какое-нибудь центральное драматическое происшествие: пожар, буря, землетрясение, после чего хорошие люди (герои Рахлина) бегут, летят, плывут, ползут на помощь и охотно делятся своей кровью, кожей, лишними почками и костным мозгом...» (7, с. 212).

Вот такие книги «примерно по штуке в год» писал и пишет не один Рахлин. Затем без особых столкновений с цензурой или редакцией издавал их. Со временем многие книги перекраивались в пьесы и киносценарии, по ним делались теле- и радиопостановки, что самым положительным образом сказывалось на благосостоянии автора (7, с. 211), в то время, как другие писатели-отщепенцы оставались без всяких средств к жизни.<sup>12</sup> Подобные «творческие инициативы» поддерживали и щедро награждали также оплачиваемые властью критики и ученые, хотя, вернее сказать, псевдокритики, так как подлинные мыслители от критики отошли, ибо — согласно мнению Войновича — все-

речь заниматься ею не дают, а не всерьез ею заниматься не стоит» (7, с. 214). Сложные мировоззренческие дилеммы чужды пропагандистам «прогрессивного литературоведения». Получив дачу, «Жигули» или заграничную путевку, они охотно подключаются к очковитательству: «Романтика, как дух революции, как устремление к будущему, как утверждение идеального прекрасного, как эмоциональное отношение к социалистической действительности, к успехам ее развития — неотъемлемая черта искусства социалистического реализма...» (21, с. 188).<sup>13</sup>

В моменты сомнений преданные «инженеры» пускаются и в запой. Не секрет, что многие советские писатели заканчивали жизнь алкоголизмом или самоубийством. И эту правду Войнович не скрывает от своего читателя. «Они знают! — жалуется в книге один из выдающихся писателей по преданию. Это и Толстому и Фадееву разрешалось! Если человек — классик соцреализма, ему позволено. Иначе организм не выдерживает...» (9, с. 49). В случае угрызений совести для гигиены этого особенного организма полагается даже сказать себе: «Из меня такой же писатель, как из говна пуля» (7, с. 265). Но официально и в трезвом состоянии классика соцреализма нельзя сомневаться в чрезвычайности своей чиновничьей функции писателя-депутата, писателя-лауреата, писателя-героя, в добавок уже тридцать лет остающегося редактором настоящего партийного журнала» (7, с. 264).<sup>14</sup>

К чему ведет подобная культурная политика? Она ведет к тому, что «блестяще и воздушно, смешно и драматично запечатлел в своих книгах Войнович — к псевдолиберальному двоедущию советской интеллигенции» (12, с. 10). У А. Терца также нет сомнений в уничтожении творческой среды в России, в том, что «искусство в Стране Советов улетучилось, сгинуло, чтобы жизнь на время получила эстетический привкус кошмарного и кровавого фарса, разыгранного по правилам сцены и изящной словесности» (24, с. 160). «Сторонники Сталина стирали грань между действительностью и вымыслом, — характеризует причины такой ситуации автор, — Сталин включил магические силы, заключенные в языке. И русское общество поддалось этой жуткой иллюзии жить в мире чудес, колдовства, вероломства, искусства, которые у всех на глазах правят реальностью» (24, с. 162).<sup>15</sup>

Войнович — неутомимый борец за правду, весь свой творческий талант подчинил борьбе с ложью и защите чистого, ясного языка. Такая же цель и его литературных свидетельств. Искреннее возражение вызывают у него всякие рассуждения о пользе цензуры. «Цензура, — утверждает, — кому-то, может, и нужна, но истинному писателю она ничего, кроме вреда, принести не может, писатель, как и крестьянин, нуждается в свободе» (4, с. 443). Таков его ответ на появившиеся в Советском Союзе и за его пределами мнения, согласно которым именно цензура в некоторой степени способствовала развитию русской литературы. Несомненно, «благодаря» ей образовался «эзопов язык». Решительность Войновича позволяет догадаться, что он не одобряет подобные поэтические явления и видит в них лишь свидетельство отказа писателя от полной свободы слова и согласия для внутренней цензуры.

Принимая активное участие в обсуждении прошлого советской культуры, в том числе и литературы, Войнович не забывает и о ее будущем. Результатом глубоких размышлений на эту тему, хотя неизменно воплощенных в «банальной» форме, являются романы «Москва 2042» и «Монументальная пропаганда», содержание которых не менее документально, чем в предыдущих произведениях. Современная культура, как и ее советский вариант, также очень благоприятная для наблюдений тема. Мировоззрение, чувства, истина по-прежнему не очень важные факторы в творческом процессе. Оказывается, что сегодня, как и тридцать лет тому назад, самое большое внимание писателей уделяется жилищному вопросу... Другой писатель, Данил Гранин охарактеризовал в 1990 году эту творческую организацию следующим образом: «Он (Союз писателей) давно не устраивает самих писателей, потому что сохраняет окостеневшую структуру со времен сороковых годов, которая уже укрепляется и твердеет в своем министерском виде. Перестройка ее не коснулась... Союз писателей СССР существует как административная контора, куда приходят с просьбами...» (16, с. 112). Сюжет, организуемый в «Шапку» и «Иванькиаду», не только продолжается, но и усложняется, так как вместо одной творческой организации существуют несколько (31, с. 34). С опорой на текущий материал можно было бы сочинить актуальную «Иванькиаду». Верным остается суждение А. Терца о «выгодной неволе» писателей. «Автор, которому удобнее считать себя левым, провозглашает себя левым, а если захочет стать правым, выступает как правый», — добавляет Войнович (31, с. 34). Появилось однако новое интересное обстоятельство — «свободная рыночная экономика намного требовательнее советской власти, при ней оказалось, что среди писателей значительное количество тех, которые вообще никому не нужны» (31, с. 34). И сегодня, через двенадцать лет после отмены цензуры отсутствует истинно свободная постсоветская культура, поражает низкий уровень произведений, сохранившаяся культурная обрядность, бывшие «простутированные слова» в коммуникации (17, с. 165), прежняя ограничивающая внутренняя цензура, или же, наоборот — названные Войновичем «детскими болезнями» — злоупотребление вульгарными выражениями и сующийся везде секс (31, с. 35).<sup>16</sup>

Жорж Нива — организатор международного симпозиума на тему советской культуры в 2000 году в Женеве — призывал своих собеседников к беспристрастному взгляду на советское прошлое, к серьезному подходу в изучении советской культуры, так как, правду говоря, «Сталин умер недавно» (18, с. 202). Его отношение к проблеме напоминает рассуждения Войновича.

Правда о культуре и обществе — постоянная составляющая его произведения, и совсем неважно, назовем ли мы его анекдотом или антиутопией. Подобная терминология излишня в понимании самого автора. Даже приключения Чонкина являются «абсолютно реалистическими и не содержат в себе какой бы то ни было деформации действительности, — уверяет Виолетта Иверни. — Они обнаруживают нарушение логики. Отсюда мы вынуждены

сделать вывод, что нарушения логики присущи описываемой действительности» (13, с. 432). Именно такой подход кажется правильным.

Далеко не все современные писатели способны прямо высказываться на актуальные темы. И сегодня многие авторы, наподобие одного из книжных персонажей Войновича, могли бы «объяснить» свое творчество следующим образом: «Меня сейчас волнует ситуация в Чили» (6, с. 27).

Определяющие культурную жизнь народа (как и литература), нынешние торжества, праздники, собрания также не очень отличаются от соцреалистических. Итоги удивляют самого их автора и наблюдателя — Алексея Кондратовича. Как при советской власти открытый разговор в обществе являлся невозможным, так и сегодня искренность допускается лишь в узком кругу друзей, «публично говорится так же, как и при Сталине! — уверяет он. — Мы продолжаем жить в мире множества иллюзий, читаем ежедневно слова, в которые давно не верим. Но они, как сохшаяся паутина, облепили нас, и ничем их не отодрать от нашей жизни...» (17, с. 179). Но вряд ли виновата лишь паутина... Писатели, режиссеры, люди искусства принимали «паучьи» правила игры, стремились играть с цензурой, чтобы потом уверять: «цензура, мол, мне не помешала», или же писать книги о благом ее влиянии (18, с. 201). Отдавая себе отчет в том, что «высшее начальство требует идейности и еще раз идейности!» (26, с. 197), а эта идейность меняется согласно постановлениям очередного съезда партии, снимались советские фильмы (как и писались советские книги), рассчитанные на советского зрителя. Ожидание объективного комментария со стороны легендарных «вражеских волн» также оказывалось безнадежным. Детская наивность Запада изображена Войновичем в таком примерном высказывании «голоса Америки»: «Западные корреспонденты передают из Москвы, что, по сведениям из достоверных источников, ведущий советский писатель Ефим Рахлин совершил покушение на управляющего Союзом писателей Василия Каретникова. Причина покушения неизвестна, но наблюдатели полагают, что в нем, возможно, отразилось недовольство советских писателей отсутствием в Советском Союзе творческих свобод» (7, с. 275).

Не все, однако, в русской литературе идет так плохо. Ведь «как долго можно, — цитируем А. Терца (24, с. 176), — большому и самостоятельному государству обходиться без литературы и искусства...?» В периоды исторических потрясений, как считает Войнович, нет литературы. Но сегодня есть поводы к оптимизму. Для Войновича большим утешением оказался факт возникновения новой дебютантской прозы, которой никак не подходят бывшие определения «советская» или «анти-советская», ибо ее произведения не вмещаются уже в эти пределы. Автору нравится, что молодая литература занялась подлинной жизнью, что она игнорирует политику, что описывает жизнь, а главное, что она вполне свободна от морализирования (31, с. 35).

Если так, то вместе с Войновичем надо порадоваться, что пророком он оказался «никудашным» и казарменная жизнь литераторов Москорепа осталась несбывшимся предупреждением (31, с. 33).

**ПРИМЕЧАНИЯ**

1. С должным пафосом говорит об этих ускоривших литературный прогресс заслугах революции Г. Бровман (см.: 1, с. 3).
2. Сомнения кажутся оправданными в связи с мнением М. Золотоносова: «Естественно, что тоталитарный контроль уже невозможен, однако сохранение некоторых форм зависимости прессы вполне реально, а продолжение борьбы необходимо для компартии, терпящей поражение за поражением». Двумя годами раньше секретарь ЦК КПСС В.А. Медведев утверждал на совещании ЦК, что «партия от своего политического влияния на деятельность прессы никак отказываться не может. Это сильнейшее оружие, и кто владеет им, тот и делает погоду, тот владеет ключевыми позициями формирования общественного мнения». Свои замечания Золотоносов подытоживает: «Последний год доказал, что борьба компартии за влияние продолжается...» (11, с. 134).
3. Писательское корыстолюбие, оправдывающее принадлежность к номенклатуре — не вызывающее сомнений у цитируемого Л. Суханком М. Геллера — явление советской действительности (см.: 27, с. 23).
4. Лозунг С. М. Петрова (21, с. 194).
5. Эта провоцирующая массу критических комментариев институция оказалась поводом для остроумных шуток и анекдотов. Примерное объяснение аббревиатуры авторства Льва Халина приводится Войновичем в одном из его произведений: ВАХРАП — вооруженная охрана авторских прав (5, с. 80).
6. О подлинности признания дебютов этих писателей свидетельствует множество литературно-критических статей в журналах 60-х годов. Именно Войновичу адресовано радостное восклицание В. Тендрякова: «Свежий голос — есть!» в рецензии его повести «Мы здесь живем» (22, с. 72). Или же произнесенные В. Кардиным на год раньше — в 1961 — похвалы в адрес того же Войновича, а вместе с ним и В. Аксенова, за самостоятельность и оригинальность изображения главных героев и сюжетов, в которых усмотрел он даже «нечто примечательное для сегодняшней молодежи, для духа наших дней, непримиримых ко лжи, двоедущию, которые охотно драпируются в пестрые одеяния из красивых слов» (15, с. 28). Никто не подозревал даже, что, спустя 20-30 лет, именно над этими, — как выразился один из героев Аксенова, — «словесными фетишами, которые только мешают видеть реальную жизнь» (15, с. 28), будет смеяться и он. Следует однако отметить и неодобрительные отклики на опубликованные повести молодых дебютантов, поприщем для которых в 1963 году оказался, например, журнал «Вопросы литературы» (1).
7. В подлинности этого Войнович имел возможность лично убедиться, читая высказывания на свою тему в советской печати (31, с. 33).
8. Годом раньше такое решение принял Виктор Некрасов. Прежде чем покинуть родину, он написал письмо-прощание (напечатанное в «Литературной газете» от 24 января 1990 г.), что и отмечает в «Иванькиаде» Войнович (3, с. 204).
9. Как чрезвычайного рода допрос, осуществленный над Гориним, представляет Войнович процесс создания пьесы «Кот домашний средней пушистости» (2, с. 28). Также из фактов жизни и из личного опыта берет книжные сюжеты писатель (8, с. 83).
10. Пропорции сохраняются и в оценке «плодов вдохновения» советских писателей: «Графоманская проза представляла собой не менее 90 % книжной продукции СССР», — пишет Алексей Кондратович (17, с. 186).
11. С отвращением высказывается Войнович о подобных «плановых гениях» в анкете «Континента»: «Гений не совместен с умением заседать в президиумах, произносить казенные речи, травить своих собратьев и плести чиновничьи интриги в партийно-государственных сферах. Я не могу себе представить ни одного действительно крупного писателя, ни Булгакова, ни Платонова, ни Пастернака, заседающими в райкомах, обкомах или президиумах, награждаемых казенными премиями и орденами. В так называемой советской официальной литературе ни один крупный писатель не располагался с комфортом» (4, с. 136).
12. Комфортно оборудованная Рахлиновская квартира не единственное доказательство «идейных» забот сталинских инженеров. На творческую среду как место пребывания больших денег указывают данные Войновичем интервью (см., напр.: 31, с. 34), а также сделанное М. Золотоносовым замечание о доходах издательской деятельности как одной из причин, по которым компартия не хочет отказаться от «культурнической работы» (11, с. 134).
13. Подходящей кажется здесь следующая цитата из хрущевской речи: «Мы самые решительные противники очковтирательства, партия всегда призывала и будет призывать к разоблачению очковтирательства, она была и будет против приукрашивания действительности. Наша советская действительность не терпит фальши...» (см.: 1, с. 11). Фальшь однако, как и все в понимании партии, — явление относительное. То, что абсолютно запрещается одним, разрешается другим. Чингиз Айтматов, например, в противоположность «неверным тенденциям» Аксенова и Войновича, создает своих героев правильно, — учит Г. Бровман. Айтматов, высказываясь в «Правде» о своем полном обаянии и духовной красоте образа коммуниста в повести «Первый учитель», признается, что он «сознательно идеализировал» героя. Но ведь «здесь нет нарушения правды жизни, — продолжает свой доклад Бровман. — Писатель любит своего героя и придает ему черты идеала, почерпнутые из реальной действительности. Идеальное, растущее в самой жизни, должно быть воплощено в искусстве. Но, разумеется, дело художника показать это эмоционально грамотно, правдиво, впечатляюще» (1, с. 17). Вообще Айтматов ставится этим критиком в пример, в отличие от не способных писать «эмоционально грамотно» Войновича и Аксенова.
14. «Двойничество, — называет дело по имени один из публицистов, — стало образом жизни» (17, с. 167). «Двоемыслие, двоедумие, расколотость живого на две части — самая отличительная черта советского человека» (17, с. 167).
15. Язык не рассматривается в статье, так как, из-за своей обширности, он заслуживает подробного изучения в отдельной работе.
16. Присутствие «матерной речи» в современной печати порождает отрицательное отношение среди исследователей. Интересно, что американские исследователи (16) связывают проникновение обсценной (табуированной) лексики на страницы советских изданий с осуществлением совместных проектов сотрудничества с Западом, улучшением рыночной конъюнктуры, свободой...» Эти итоги кажутся странными упомянутому ранее М. Золотоносову. Такое понимание «мата» считает он односторонним и фальшивым, доказывающим поверхностную ориентацию американских исследователей. «Для русского менталитета, — замечает Золотоносов, — свобода есть нечто иное, и свободная культура представляется по-другому» (11, с. 132).

**БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК**

1. Бровман Г. Пафос жизнеутверждения или жупел лакировки? (Критико-публицистические заметки) // Вопросы литературы. — 1963. — № 12. — С. 3-24.
2. Войнович В. Два дня спустя, в Мюнхене // Московские новости. — 5-10 июня 2001 г. — № 23. — С. 28.
3. Войнович В. Иванькиада // Войнович В. Хочу быть честным. Повести. — М., 1989. — С. 123-210.
4. Войнович В. О литературе разрешенной и написанной без разрешения // Континент. — 1983. — № 37. — С. 439-445.
5. Войнович В. Присшествие в «Метрополе» (Быль, похожая на детектив) // Континент. — 1975. — № 5. — С. 51-97.
6. Войнович В. Трибунал. Судебная комедия в трех действиях // Театр. — 1989. — № 3. — С. 3-37.
7. Войнович В. Шапка // Войнович В. Хочу быть честным. Повести. — М., 1989. — С. 211-295.
8. Войнович В. Я все эти годы жил надеждой // Юность. — 1988. — № 10. — С. 81-83.
9. Войнович В., Горин Г. Кот домашний средней пушистости. Трагикомедия в двух частях // Театр. — 1990. — № 5. — С. 38-61.
10. Головский В. Существует ли цензура в Советском Союзе? (О некоторых методологических проблемах исследования советской цензуры) // Континент. — 1984. — № 42. — С. 147-173.
11. Золотоносов М. Маркетто-критика // Вопросы литературы. — 1991. — № 1. — С. 131-145.
12. Иванова Н. Смех и слезы Владимира Войновича // Войнович В.Н. Антология Сатиры и Юмора России XX века. — М., 2000. — Т. 7. — С. 7-10.

13. Иверни В. Комедия несовместимости // *Континент*. — 1975. — № 5. — С. 427-454.
14. Казак В. Энциклопедический словарь русской литературы с 1917 г. — London, 1988.
15. Кардин В. «Вечные вопросы» — новые ответы (О молодом герое молодой прозы) // *Вопросы литературы*. — 1961. — № 3. — С. 25-48.
16. Конди Н., Падунов В. Макулакультура, или Вторичная переработка культуры // *Вопросы литературы*. — 1991. — № 1. — С. 101-126.
17. Кондратович А. Нас волокно время... // *Знамя*. — 2001. — № 3. — С. 162-194.
18. Нива Ж. Можно ли подытожить советскую культуру? // *Знамя*. — 2001. — № 4. — С. 201-202.
19. Павлов А. История зачистки перьев // *Московские новости*. — 22-28 января 2002 г. — № 4. — С. 8-9.
20. Петров С. М. Октябрьская революция и социалистический реализм // *Октябрь*. — 1967. — № 7. — С. 195-203.
21. Петров С. М. Октябрьская революция и социалистический реализм (Окончание) // *Октябрь*. — 1967. — № 8. — С. 185-197.
22. Рассадин С. О настоящем и похожем // *Юность*. — 1962. — № 4. — С. 70-75.
23. Сарнов Б. Естественный человек в неестественных обстоятельствах. О герое этой книги и ее авторе // Войнович В. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. — М., 1990. — С. 523-540.
24. Терц А. Литературный процесс в России // *Континент*. — 1974. — № 1. — С. 143-190.
25. *Философский словарь*. — М., 1986.
26. Юрский С. Миф о фабрике мифов // *Знамя*. — 2001. — № 4. — С. 195-200.
27. Dac świadectwo prawdzie: Portrety współczesnych pisarzy rosyjskich. — Krakow, 1996.
28. Klimowicz T. Obywatele Arkadii: Losy pisarzy rosyjskich po roku 1917. — Wrocław, 1993.
29. Suchanek. L. Rosyjska literatura emigracyjna. Proba spojrzenia całosciowego // *Slavia Orientalis*. — 1993. — № 2. — S. 257-270.
30. Wat A. Swiat na haku i pod kluczem: Eseje // *Oprac. K. Rutkowski*. — Warszawa, 1991.
31. Wojnowicz W. Zawsze starałem się zmieniać role: Rozmowa W. Dłuskiego z W. Wojnowiczem // *Res Publica Nowa*. — 1994. — № 12. — S. 32-36.

**ОТРАЖЕНИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕССИНГА В ПУБЛИЦИСТИКЕ**

(на материале статей тихона холодного, опубликованных в газете «Власть Советов» за март—май 1922 года)

К.В. Зуев

Ставрополь

Проблема связи языка с культурой, народными обычаями и представлениями, с народом и нацией для лингвистики не нова. О воздействующей функции языка писал еще В. фон Гумбольдт. Он отмечал, что отношение человека к предметам полностью обусловлено языком (5). Гумбольдт закладывал основу для изучения отношения «язык — мышление народа». Американский лингвист и антрополог Э. Сепир развивает основные положения В. фон Гумбольдта и показывает зависимость культуры народа от языка, поддерживая идею о том, что отношения людей к окружающему миру в значительной степени зависят от языковых форм. В то же время он выступает против тенденции установления прямой корреляции между культурой народа и структурой его языка. Идеи Сепира подхватил американский инженер, языковед Б. Уорф. Утверждения Уорфа о влиянии языка на мышление, мировоззрение, поведение людей являются порой весьма категоричными. Ученый полагает, что вся культура данного народа или народов, говорящих на языках сходных структур, их цивилизация детерминирована именно характером языка. Он стремится показать, что даже основные категории субстанции, пространства, времени могут трактоваться по-разному в зависимости от структурных качеств языков. На основе таких предпосылок Уорф делает вывод о том, что «весь мыслительный мир детерминирован лингвистически» (12, с. 230, 276). В итоге формируется принцип лингвистической относительности: «Мы сталкиваемся, таким образом, с принципом лингвистической относительности, который гласит, что сходные физические явления позволяют создать сходную картину вселенной только при сходстве или по крайней мере при соотносительности языковых систем» (12, с. 280). Данная концепция вызывала и вызывает множество споров у лингвистов, социологов по поводу исходных теоретических положений Б. Уорфа. Ученые, в частности, В.А. Звегинцев, А. Вежбицкая, говорят о том, что различные языковые формы мышления не могут привести к созданию разных логических образований (категории субстанции, пространства, времени). Лингвисты выдвигают тезис о наличии семантических универсалий, объясняющий «психическую общность человека» (3; 6). Однако, несмотря на множество мнений по поводу гипотезы Сепира-Уорфа, общепринятым остается тот факт, что язык оказывает влияние на мышление человека, его поведение. Данное свойство языка активно используется в политике в целях управления общественным сознанием. Сознание, как индивидуальное, так и общественное, материализуется в языке. Будучи связанным с функционированием политической идеологии, язык является средством формирования в сознании людей определенных принципов поведения. Таким образом, через язык осуществляется власть. Понятие «власть» нами используется в обыденном, доста-

точно широком значении, подразумевающим, что каждый, кто оказывается в состоянии воздействовать на кого-либо, осуществляет власть (2). Всякое использование языка предполагает такой воздействующий эффект. Другими словами, выразиться «нейтрально» невозможно. Даже стилистически нейтральные слова, будучи использованными в определенном контексте, наделяются той или иной оценочностью. Языковая форма способна подчеркнуть и выдвинуть на первый план отдельные признаки и оставить в тени другие. Таким образом, с помощью различных языковых средств можно представить те или иные явления в привлекательном виде и протянуть цепь негативных ассоциаций к противоположным фактам.

В настоящее время в трудах ученых Крючковой Т.Б., Лассан Э., Штайн К.Э., в работах зарубежных социолингвистов Блакара Р.М., Руммвейта Р., широкое распространение получил термин «язык власти». «Обязательным условием всякой власти, — пишет Э. Лассан, — является ее выражение в языке, а политика есть не что иное, как кодифицированные знаки, развертываемые при помощи акта высказывания в социально-семиотическом процессе. <...> Всякая власть создает свою речевую практику, которая стремится утвердить себя в качестве универсальной, истинной и справедливой и тем самым ставит другие речевые практики в подчиненное положение» (9, с. 16). «Язык власти» — довольно широкое понятие, которое включает в себя язык политики, язык пропаганды, язык убеждения, язык рекламы и т.д. Язык власти реализуется через публичные выступления, теле- и радиопередачи, средства печати. Основными функциями языка политики являются следующие: — направленное информирование о проводимой политической линии, ее задачах и перспективах; — прямое пропагандистское воздействие на массы с целью управления их социальным поведением в своих интересах.

Именно вторая функция является ведущей, поскольку первая на деле выступает лишь поводом для пропагандистского воздействия, причем сама информация зачастую оказывается достаточно «неточной», т.к. целый ряд фактов попросту искажается. Таким образом, основная цель языка власти состоит в том, чтобы «... не убеждать, а контролировать, не передавать информацию, а скрывать ее или искажать, не побуждать к размышлению, а препятствовать ему» (14, с. 138).

Язык, будучи связанным с идеологией, активно используется ею и является основным средством воздействия на сознание и мышление людей. Рассмотрим, как отражаются основные аспекты социалистической идеологии на Ставрополье в публицистике, в частности, в статьях Т. Холодного, которые опубликованы в газете «Власть Советов» за март-май 1922 года.

Историческая эпоха двадцатых годов XX века поставила проблему создания обновленного общества, глав-

ным действующим лицом которого должен стать новый человек. Содержание воспитательного процесса в тот период времени, в основном, определяли идеологи большевизма. Политическую задачу построения социализма они связали с педагогической — с созданием коммунистического типа личности. Главную роль в достижении поставленной цели играла идеологическая переработка населения страны. Государственные и общественные организации, печать, литература рассматривались политиками в качестве основных средств формирования мировоззрения, морали, психологии будущего человека (7).

1921-1922 годы отмечены тяжелым голодом по всей стране, в частности, на Ставрополье. Голод способствовал формированию у беднейшей части крестьянского населения России идеологии, основанной на уравнилельных социалистических принципах. В осуществлении этих принципов эта часть населения увидела для себя путь избавления от нищеты и голода. Именно поэтому крестьянство, в основном из беднейших слоев, оказалось готово к восприятию идеологии большевиков, которая и стала их социальной базой.

Отделение церкви от государства и школы от церкви понималось как начало и усиление борьбы с религией и церковью, в которой виделся основной противник Советской власти. «Из учебных планов всех типов школ было исключено преподавание Закона Божия и церковнославянского языка. ... Из школьных библиотек были изъяты книги религиозного содержания и книги, противоречащие принципам Советской власти» (8, с. 306). Подмена научно-просветительской работы среди населения навязыванием антирелигиозной идеологии без учета степени зрелости сознания людей, как показали последующие годы, не принесли ничего хорошего Советской власти, а, напротив, настроили многих верующих против нее.

Проводилась кампания ликвидации безграмотности. Для привлечения внимания населения к делу ликвидации безграмотности широко использовались возможности местных газет. Газеты наряду с учреждениями культуры играли большую роль в политическом просвещении населения. Центральные газеты «Правда», «Известия», а также местные газеты «Власть Советов», «Терек», были не только основными источниками информации о происходящих событиях в стране, но и оказывали большое влияние на формирование общественного мнения и сознания людей (8).

В двадцатые годы на Ставрополье начал свою литературную деятельность журналист, поэт, впоследствии ставший редактором альманаха «Ставрополье», Т.М. Беляев (Тихон Холодный). Его литературное творчество практически не исследовано. Стихи, пьесы, публицистические статьи Тихона Холодного представляют собой пример тесного взаимодействия языка и идеологии при большом влиянии последней. В газете «Власть Советов» в статьях он поднимает актуальные проблемы своего времени.

Тематика статей в газете разнообразна: международные отношения, общественные ситуации в различных

областях и регионах страны. Однако особое место занимает тема голода жителей различных уездов Ставропольской губернии и тема изъятия ценностей из храмов и монастырей. При этом решение первой проблемы (большое количество голодающего населения, а следовательно, высокая смертность) в статьях различных публицистов связывается с решением второй — изъятием церковных ценностей. Именно эта проблематика становится доминирующей в творчестве Тихона Холодного в газете «Власть Советов» за март-май 1922 года. В этом заключается информативная сторона его публицистики. Но нередко на первое место выдвигается воздействующая функция. Функция воздействия обуславливает острую потребность языкового материала в оценочных средствах выражения. По сравнению с другими стилями доля средств и способов достижения экспрессивности в публицистической речи оказывается, в целом, высокой. Неслучайно характеристику публицистического стиля в современных учебниках по стилистике обычно ограничивают описанием экспрессивных средств (10).

Учеными определяются различные средства осуществления власти в языке. Так, социоллингвист Р. Блакар в статье «Язык как инструмент социальной власти» (2) называет следующие способы воздействия:

**1.** Выбор слов и выражений. Одно и то же сообщение может быть передано несколькими способами. Как известно, точные синонимы найти практически невозможно. Следовательно, в этих иногда тонких различиях между синонимическими выражениями заключена воздействующая функция языка.

**2.** Создание новых слов. В различных видах текстов появляется большое количество новых слов и слов, принимающих новые значения. Это обусловлено несколькими причинами: появляются новые явления, нуждающиеся в названиях (пролетариат, ревком, губпомгол и др.); возникают условия для изменения имени уже существующего предмета, процесса, явления (собственник — буржуй) и т.д.

**3.** Выбор грамматической формы. Использование активной и пассивной форм в предложении также оказывает воздействие на восприятие. Это изменение приводит к переосмыслению ситуации в отношении того, о ком идет речь. Ср.:

*«Ставрополье было занято белогвардейской армией Деникина...» и «Красные войска освободили ряд ставропольских уездов...» (Власть Советов, 1922).*

Подобный выбор активной или пассивной формы нередко приводит к переосмыслению ситуации в отношении того, кто является «главным действующим лицом».

**4.** Выбор последовательности. Даже последовательность отдельных лексических единиц (существительных, глаголов и др.), по мнению Р. Блакара, оказывает воздействие на создаваемое впечатление:

*«Рассказывали о товарищах, показавших храбрость, критиковали тех, кто плохо ухаживал за оружием, клеймили позором трусов...» (Власть Советов, 1922).*

**5.** Суперсегментные характеристики (интонация, сила голоса и др.).

Т.М. Бережная (14) акцентирует внимание на следующих средствах воздействия идеологии на язык:

1. Лексико-семантические средства, заключающие эмоционально-оценочный компонент в своем предметно-логическом значении (например, доброта, гордость и т.д.).

2. Контекстуально-семантические средства, коннотации которых возникают в определенном контексте.

3. Морфолого-семантические, приобретающие эмоционально-оценочную функцию за счет аффиксации.

В процессе анализа текстов Т. Холодного наиболее значительными нам представляются следующие языковые средства отражения идеологии:

— выбор наиболее точных лексических единиц;

— создание новых слов;

— выбор грамматической формы слов;

— использование особых синтаксических конструкций.

В идеологизированной литературе выбор слов является особо важным моментом для характеристики той действительности, о которой идет речь. Эта «типичная для публицистического стиля» черта связана со стремлением выразить мысль точно, броско. И уже по характеру языка можно определить идеологические взгляды писателя, его общественную позицию. Ведь «в любом письме можно обнаружить двойственность, свойственную ему как особому объекту, который одновременно является формой языкового выражения и формой принуждения» (1, с. 315). Вот несколько примеров, характеризующих духовенство и конкретно патриарха в статьях Тихона Холодного: «... Так ответил мой «святейший тезка» представителям голодающих крестьян Поволжья»; «Большой руки делец отец Тихон»; «... Но нет, святейший и рассвятейший...» и др. (Власть Советов, № 603). Все эти языковые средства наделены ярко выраженной пейоративной оценкой. Характерно также описание в текстах представителей «старого» и «нового» порядков: «**Видный коммунист** заседал рядом с **какой-то** духовной персонай»; «**Бравый крепкий комиссар в красной фуражке** расспрашивал о чем-то еще молодого, но как бы **ушедшего от жизни** гражданина в **плохо вычищенном пальто**» (Власть Советов, № 601).

Данная дихотомия наглядно показывает симпатии и антипатии автора к тому или иному кругу лиц, подчеркивает контраст между ними, и тем самым осуществляется воздействующий идеологический эффект. Для этого даже не нужны сложные контексты. Однако в некоторых случаях для выявления оценочности лексем контекст необходим: «мертвая рука церкви», «смиранный тезка» и др. Примечательно, что при характеристике лиц духовенства для их характеристики автор использует средства церковнославянского языка: отдельные слова (вкупе, воззвание) и целые конструкции («собирающие в житницы своя...», «... прильпе язык к гортани...», «он твердо положи дверь ограждения о устах своих...» и др.).

В лексике начала XX века активно протекает процесс образования новых слов и введение их в активное употребление. Немалая часть слов образована путем слоговой аббревиации: губком, губпомгол, ревком, нарком и др. У другой части слов появляются новые значения за счет расширения од-

ного из лексико-семантических вариантов слова.

На уровне словообразования и морфологии воздействующая функция проявляется в следующем: активно используются формы превосходной степени с негативной оценочностью (святейший, благочестивейший), используются оценочные существительные с финальными частями -чина, -щина (купчина, духовенщина), -е, (кулачье, офицерье) и т.д.

В статьях нередко используются риторические вопросы, приемы противопоставлений и другие средства, которые концентрируют внимание читателей на той или иной проблеме:

*...Какие еще знаки восклицания могут усилить эти страшные выводы? <...> Это дарохранительница, представляющая по наружному своему виду точную копию местного кафедрального собора. Зачем копии быть непременно из серебра? (Власть Советов, № 602, с. 3).*

Своеобразный воздействующий эффект производят авторские комментарии, характеристики описываемых событий. Они позволяют управлять сознанием читателя:

*...Копия копией, а весит она мало-мало не пуд: вся из литого серебра... Копию можно сделать во всякое время из дерева или другого менее ценного металла... лет через десять даже и из серебра можно. Но только не теперь — не такое время (Власть Советов, № 607).*

В синтаксическом строе функция воздействия проявляется также и в разного рода лозунговых конструкциях. Статьи изобилуют императивными предложениями. Создается впечатление, что чтение данных текстов должно осуществляться непременно с повышением тона:

*«... Вот куда загнул мой святейший тезка, вот на что намекнул он!»; «Смерть шагает гигантскими шагами!»*

Автор использует прием дистантного повтора таких слов как «смерть», «голод», словосочетаний «святейший тезка», «шаг смерти» и др. в разных синтаксических конструкциях. При этом повышается общая экспрессия речи. Данный прием служит способом акцентирования наиболее важных, с точки зрения автора, содержательных элементов речи.

Характерно то, что не только большая часть публикаций в газете «Власть Советов» имеет императивный характер, но и заголовки статей Т. Холодного похожи на призывы, лозунги: «*Голодной смерти — нет!*», «*Ценности церковей — на помощь голодающим!*», а также отражают насущные проблемы: «*Голод в ауле*», «*Голодный набат*», «*Горбатый класс*» и др.

Все перечисленные средства идеологического воздействия являются наиболее эффективными в условиях, когда происходящие события непонятны для человека, когда отсутствуют привычные ориентиры, социальные идеалы, способные обеспечить целостность сознания. Создаются благоприятные условия для манипулирования общественным сознанием.

Публицистическая речь, как указывалось выше, помимо воздействующей функции выполняет также и другую — информативную. Как же эта функция реализуется в исследуемых текстах?

Она реализуется в основном через логико-понятийную сторону речи, проявляется в использовании общественно-политической лексики, специальной терминологии, употреблении собственных имен и т.д. (10).



В исследуемых текстах газеты «Власть Советов» информативная сторона выражается:

- в использовании географических названий: Ставропольская губерния, Благодарненский уезд и др.;
- в приведении статистических данных.

Неотъемлемой чертой информативной функции публицистики должна являться правдивость описываемых общественных процессов и различных ситуаций. На критерии истинности речевых высказываний указывает К.Э. Штайн: «Если речевой акт соответствует пропозициональному содержанию высказывания, а оно, в свою очередь, соответствует определенной ситуации и действие говорящего / слушающего не идет вразрез с действительностью, язык и языковое сознание говорящего, а также система его поведения не «смещаются» относительно речи. Можно говорить о «прозрачности» того или другого высказывания, о его референтности к миру. Если же пропозициональное содержание не соответствует ситуации, то имеет место «непрозрачное» относительно ситуации употребление того или иного выражения. При этом поведение говорящего детерминировано уже не ситуацией, а языком (речью). В результате конфликт речевой деятельности и действительности, т.е. расхождение слова с делом» (13, с. 115). В исследуемых статьях некоторые описываемые факты действительности представлены искаженными. Многие статьи в газете «Власть Советов» информируют читателей, что, дескать, церковь не осознает масштабов голода и оказывается безучастной в делах помощи голодающему населению. Однако в этой же газете № 574 приводится указ настоятеля кафедрального собора г. Ставрополя епископа Дмитрия.

Таким образом в статьях информируется о точных количествах ценностей, изъятых из различных церквей, о масштабах голода в губернии и т.д.

- послать в благополучные губернии священников из голодающих сел с призывом помочь им;
- регулярно, во время всех богослужений производить в церквях сборы (распоряжение по всем церковным приходам);
- обратиться к мирянам с призывом открыть в г. Ставрополе при двух церквях питательные пункты для голодающих, которые будут содержаться на средства верующих.

Следовательно, сведения о полной безучастности церк-

ви в делах помощи голодающим оказываются неверными. Все это способствует искаженному восприятию действительности, общественных процессов. В языке идет тесное взаимодействие психологических и идеологических компонентов.

В газете № 570 была опубликована выдержка из обращения патриарха Тихона к настоятелям церквей:

«Мы допускаем возможность духовенству и приходским советам использовать драгоценные вещи, не имеющие богослужебного значения, как-то: подвески в виде колец, браслетов и ожерельев и другие предметы, жертвуемые на украшение святых икон, на помощь голодающим» (Власть Советов, № 570).

При этом указывалось, что изъятие церковной утвари должно проводиться специальной комиссией, в которой обязательно должны были быть представители духовенства и археологии. В случае затруднения в оценке вещей, имеющих археологическую ценность, данные вещи должны были отправляться в Москву на экспертизу. Газета информирует, что после изъятия ценностей в церквях нередко оставалось всего лишь «несколько иконок, крестов и панагий» (Власть Советов, № 607).

В языке публицистики 20-30-х годов желаемое выдается за действительное, то есть творится миф. Этот миф, как правило, является реальностью для человека, живущего в его власти. При этом характерными особенностями данного мифа является упрощенное и некритическое объяснение действительности (при подаче материала за основу берется эмоциональный аспект, а не информативный), подмена действительного желаемым. В итоге, выражая доверие к источнику информации, ее достоверности, читатель идет на поводу у власти.

Газета в обществе играет роль орудия управления общественным сознанием в интересах того класса, в чьих руках это орудие находится. Стараясь осуществить агитационно-пропагандистскую деятельность, авторы статей зачастую не следят за точностью информации, и целый ряд фактов подается в тенденциозном истолковании или попросту искажается. Язык газеты представляет собой одну из наиболее существенных форм пропагандистского идеологического воздействия, цель и функция которого — распространение и внедрение в массовое сознание тех или иных идей и представлений.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Барт Р. Нулевая степень письма // Семиотика. — М., 1983.
2. Блакар Р.М. Язык как инструмент социальной власти // Язык и культура социального взаимодействия. — М., 1987.
3. Вежицкая А. Язык. Культура. Познание. — М., 1996.
4. Власть Советов. — 1922. — № 570-630.
5. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. — М., 1984.
6. Звегинцев В.А. Теоретическая и прикладная лингвистика. — М., 1968.
7. Калинин С.Б. Проблема производства «нового» человека во взглядах политиков и ученых 20-х годов // Новые страницы истории отечества. — Ставрополь, 1996. — Вып. 1.
8. Край наш Ставрополье. Очерки истории. — Ставрополь, 1999.
9. Лассан Э. Дискурс власти и инакомыслия в СССР: когнитивно-риторический анализ. — М., 1995.
10. Солганик П.Я. Стилистика текста. — М., 2000.
11. Степанов Ю.С. Альтернативный мир. Дискурс. Факт и принцип Причинности // Язык и наука конца XX века. — М., 1995.
12. Уорф Б. Отношение норм поведения и мышления к языку // Звегинцев В.А. История языкознания XIX-XX веков. — М., 1965.
13. Штайн К.Э. Заумь идеологического дискурса в свете лингвистической относительности // Текст. Узоры ковра: Сб. статей научно-методического семинара «TEXTUS». — С-Пб — Ставрополь, 1993. — Вып. 4.
14. Язык и стиль буржуазной пропаганды. — М., 1987.



## ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СОДЕРЖАНИЯ ТЕКСТОВ ИНТЕРНЕТА

Е.Г. Новикова  
Ставрополь

Современная революция в области массовой коммуникации влечет за собой кардинальные изменения средств массовой информации, с помощью которых люди постигают окружающий мир. «Постоянная доступность образов и идей, их быстрая передача с континента на континент имеет значительные как положительные, так и отрицательные последствия для психологического, морального и социального развития людей, для общественных структур и функционирования обществ, межкультурного общения; для восприятия и передачи ценностей, мировоззрений, идеологий и религиозных верований» (9, с. 4).

Появление и бурное развитие Интернета при переходе из второго тысячелетия в третье — одно из наиболее ярких проявлений информационной революции. Распространение Интернета влечет за собой проблему осмысления этических и культурологических последствий новых информационных и коммуникационных технологий. «Этический вопрос заключается в том, действительно ли новый вид коммуникации является вкладом в подлинное развитие человечества, и помогает ли он отдельным людям и народам сохранять верность своему предназначению» (10, с. 1). Решением данного вопроса занимаются культурологи, социологи, философы, языковеды, духовенство, журналисты и многие другие специалисты. Большинство из них сходятся во мнении, что новые возможности коммуникации посредством Интернета оказывают положительное влияние на образование и культурное обогащение общества, способствуют участию его представителей в деловой и политической активности на международном уровне и процессу становления взаимопонимания культур.

Несмотря на все имеющиеся положительные тенденции, есть и другая сторона медали. Средства коммуникации, которыми можно пользоваться во благо людей, могут быть также применены с целью эксплуатации, манипулирования, господствования и развращения. Так, в современном Интернете, наряду с ростом числа пользователей, наблюдается увеличение количества негативной информации. Тексты Интернета переполнены информацией, проповедующей насилие, грубость, вульгарность, нарушающей этические и моральные нормы общества.

Эта проблема носит глобальный характер, ее обсуждают во всех странах мира, где развит Интернет. В современном обществе проводятся конференции, форумы, публикуются научные работы, статьи, книги по данной теме. Да и сам Интернет не находится в стороне от решения подобных вопросов.

Цель нашей работы — попытка представить обзор мнений и суждений современных ученых, теологов, рядовых пользователей, занимающихся изучением и анализом этических аспектов содержания интернет-текстов, информация о которых имеется на сайтах самой системы.

Нами осуществлен поиск в Интернете материалов, посвященных этическому анализу информации в Се-

ти и определению адекватных методов контроля; систематизирован отобранный материал; обобщены различные точки зрения по поставленной проблематике.

В процессе анализа содержания отобранной информации в первую очередь нам бы хотелось обратить внимание на существование двух диаметрально противоположных точек зрения, затрагивающих проблему влияния Интернета на развитие и становление мировоззрения современного информационного общества. Условно данные точки зрения можно обозначить как про- и антиинтернетовские.

В рамках определенной темы наибольший интерес представляют мнения представителей Института прикладной информатики (г. Киев), Института проблем информатики РАН (г. Москва), Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации РАН, Института философии РАН (г. Москва), Государственной комиссии по информатизации при государственном комитете Российской Федерации по связям и информатизации, Понтификального Совета по средствам массовой информации при Ватикане (Т. Гринченко, Л.Г. Гордон, В.Б. Наумов, И.Ю. Алексеева, А. Трунов, А. Мотовилов, П. Парфентьев). Авторы публикаций указывают как на положительные, так и на отрицательные стороны Интернета с точки зрения этики.

Многие специалисты полагают, что при этической оценке Интернета, как и в случае других средств массовой коммуникации, личность и общество занимают центральное место. «Вторым критерием этической оценки Сети является общее благо, позволяющее создать условия, при которых общество в целом и его отдельные личности способны целостно развиваться и достигать своего совершенства. Добродетель, побуждающая людей защищать общее благо и содействовать его достижению, известна как солидарность, приобретающая в современном мире значительный международный аспект» (4, с. 26). Интернет должен стать средством укрепления солидарности в служении общему благу как на национальном, так и на международном уровнях, средством, направленным на решение глобальных проблем человечества и создание мира, управляемого справедливостью и любовью, но лишь при условии пользования данным средством коммуникации в соответствии с разумными этическими принципами.

В то же время подчеркивается, что распространение Интернета приводит к появлению таких этических проблем, как секретность и конфиденциальность данных, авторское право и право интеллектуальной собственности, порнография, сайты, пропагандирующие ненависть, распространение слухов и клеветы. Автор статьи «Интернет. Этические проблемы», опубликованной на электронной страничке журнала «Телеком-Медиа» № 5 2000 г., Т. Гринченко полагает, что причина данного явления кроется в сопоставлении извечных понятий «добра» и «зла». «Если следовать понятиям «добра» и «зла», то

людей — носителей злой информации было предостаточно во все времена. Сейчас, в эпоху Интернета, каждый, кто имеет доступ к Сети, может так или иначе выразить свое «я», этому также способствует определенная анонимность Интернета...» (5, с. 1).

Действительно, предоставленная пользователям Интернета анонимность рождает у некоторых из них желание писать «на заборе», что наблюдается сплошь и рядом во всевозможных чатах, форумах, электронных конференциях (чат «Беспредел», чат «WEST-EAST.NET», «CELEBRATION CHAT 2001»). Ярким примером может послужить сайт [www.udaff.com](http://www.udaff.com), где представлены «произведения» «лучших» сетевых писателей. Язык данных работ пестрит нецензурной лексикой, а их содержание не входит ни в какие этические рамки. Так, большинство рассказов повествует о жизни алкоголиков, воровстве, приготовлении, употреблении и распространении наркотических средств и оружия, дает описание актов насилия, издевательства.

Вот несколько подобных примеров:

*Сидор был младше Князева на пару лет, но по алкогольному стажу значительно мудрее, так как был алкоголиком в третьем поколении. Обладал незаурядным умом с филолого-лингвистическим уклоном. Размышлял, например, так: «ЫЫЫЫЫ, а отчего это ногти на руках называются ногти? Про те, что на ногах — да, справедливо, а на руках должны быть рукти, по логике если...» Без водки он не мог мыслить, а следовательно — существовать» (2, с. 20).*

*«Дома у Князева они выпили одну двухлитровку пахнущей еловыми опилками мерзости, а затем принялись развлекаться: швыряли стаканами о стену (стаканы взрывались как гранаты, засыпая пол мелким стеклянным крошевом), гоняли кота, по глупости решившего, что сухой корм принесли для него, и выкинули в окно кастрюлю, чуть не лишив местное ЖЭУ штатной единицы в лице пожилой дворничихи. Потом подрались и легли спать. А утром все началось с начала» (2, с. 22).*

*«Князев же с воодушевлением согласился, вроде бы справедливо рассудив, что воровать — не работать...» (2, с. 37).*

*«Гашиш редко бывал в гостях, гашиш они с собой принесли. Но иногда предпочитали его заранее употребить, а потом уже — в гости» (2, с. 47).*

Авторы предполагают, что технологические принципы, лежащие в основе Интернета, оказывают значительное влияние на этические аспекты работы с ним. «Эта «новая» система в действительности восходит к периоду холодной войны 60-х годов, когда ее намеревались использовать для срыва ядерной атаки путем создания децентрализованной сети компьютеров. Именно децентрализация явилась ключевым моментом в создании системы, поскольку при этом потеря одного или даже многих компьютеров не означала бы потерю всей информации» (10, с. 3). Его децентрализованная структура оказалась тем фактором, который способствовал уклонению от всяких правовых и общественных норм и допускал любой способ самовыражения, где единственным законом явилась абсолютная свобода делать все, что захочется. Подобный образ мышления приводит к появлению серьезных этических проблем, самой острой из которых является проблема содержания интернет-сайтов.

Всеобщую обеспокоенность вызывает попытка насаждения с помощью Интернета определенных культурных ценностей: способов осмысления социальных и семейных отношений, религии, условий существования людей. Нельзя отрицать факт желательности межкультурного диалога и взаимообогащения культур, но этот диалог должен быть двусторонним. Представители культуры могут многому научиться друг у друга, но навязывание мировоззрения, ценностей и языка одной культуры другой отнюдь не является диалогом. «Положение дел сегодня складывается так, что Интернет передает информацию, пропитанную ценностями западной культуры, народам, которые во многих случаях не готовы правильно оценить послание и не поддаются его влиянию. В этих обстоятельствах необходима культурная тактичность и уважение к ценностям, исторической самобытности других народов» (9, с. 47).

Интернет является высокоэффективным средством для быстрого предоставления людям новостей и информации. Но экономическая конкуренция и природа интернет-журналистики способствует также склонности к сенсациям и распространению слухов, смешению новостей, рекламы и развлечений, что приводит к уменьшению количества серьезных журналистских отчетов и комментариев. Таким образом, достоверность и точность публикуемой в Интернете информации представляет собой еще одну проблему.

Специалисты различных областей науки не только указывают на определенные недостатки Всемирной Паутины, но и вносят многочисленные предложения по борьбе с неэтичной информацией в текстах Интернета, полагая при этом, что создание и развитие систем контроля за содержанием информации не может сводиться к простым запретительным актам.

Глобальная цензура является недопустимой, так как это нарушение прав человека на свободу слова и информации.

Анализируя различные точки зрения: правовую (В.Б. Наумов. Особенности правового урегулирования сети Интернет), теологическую (А. Трунов, А. Мотовилов, П. Парфентьев. Понтифискальный совет по средствам массовой информации), информационно-технологическую (Т. Гринченко. Интернет. Этические проблемы; Л. Гордон. Этический и эстетический анализ содержания Интернета), можно прийти к выводу, что основной способ контроля информации в Интернете видится в создании профессиональных этических кодексов внутри самой системы. «Решение проблем, которые возникают в связи с неконтролируемой коммерциализацией средств массовой информации и с неумеренным влиянием на них собственников, заключается не в государственном контроле над этими средствами, а, скорее, в усилении роли критериев служения обществу и ответственности перед обществом в их регулировании» (9, с. 4).

В связи с этим предлагается организовать обмен мнениями по содержанию кодекса чести разработчиков информации для Интернета с учетом мнений специалистов в области информатики, социологов, пси-

хологов, юристов, экономистов, лингвистов, которые могли бы внести значительный вклад в разработку соответствующих норм поведения в социальной среде будущего. При разработке подобных норм необходимо опираться на уже существующие полисы и кодексы этики, разработанные сетевым сообществом. Особенный интерес, с точки зрения специалистов Киевского института прикладной информатики, представляют формируемые в настоящее время «этические кодексы в области компьютерной техники и компьютерных систем», включающие разработку «глобальной информационной этики (этики инфосферы), внедрение в практику различных профессиональных правил поведения, формирование этики создателей информационного наполнения (контента) Интернета» (5, с. 2).

Кроме того, авторы публикации предлагают руководствоваться такими этическими постулатами, как «не навреди», «не укради», особенно при отсутствии соответствующего юридического контроля, который порой просто недопустим. Данные заповеди содержат послы не творить зло, не наполнять Сеть аморальным содержанием, предоставлять пользователям информацию, удовлетворяющую потребности человека в самосохранении, самореализации, любви, привязанности, принадлежности к определенному кругу, в уважении и признании; относиться к чужой интеллектуальной собственности с должным почитанием, сознательно следовать закону об авторских правах.

Подчеркивается необходимость поддержки государственной политики в создании и функционировании подобных этических кодексов. В качестве примера приводится Программа создания национальной информационной инфраструктуры США, предложенная ее экс-президентом Биллом Клинтонем, которая служит целям развития образования, науки, культуры, здравоохранения, подготовки подрастающего поколения в жизни в XXI веке.

Российское правительство тоже не стоит в стороне. При разработке Концепции формирования информационного общества в России (Решение Государственной комиссии по информатизации при государственном комитете Российской Федерации по связям и информатизации № 32 от 28 мая 1999 г.) были одобрены следующие положения, касающиеся этических проблем Интернета:

- выработать государственную политику по развитию российской части Интернета;
- принимать меры по укреплению многонациональной культуры в Сети, способствовать широкому функционированию русского и национальных языков;
- противостоять информационно-культурной экспансии других стран, осуществляемой через СМИ и открытые информационные сети;
- способствовать сохранению языковой и культурной самобытности через обеспечение сферы информационных услуг духовным содержанием, которое отвечает российским культурно-историческим традициям;
- разрабатывать методы контроля за распространением по Интернету непристойной и оскорбляющей общественную нравственность информа-

ции, недобросовестной рекламы, мошеннических операций и прочих материалов, оказывающих негативное воздействие на физическое, психологическое и моральное здоровье людей;

— способствовать формированию высокой информационной культуры населения путем повышения уровня компьютерной образованности в использовании Интернета (7).

Б.В. Наумов считает, что, несмотря на невозможность строгой цензуры информации в Сети, многие исследователи полагают, что государственные власти имеют право и обязанность проводить в жизнь законы, направленные на борьбу с такими преступлениями в киберпространстве, как пропаганда в текстах Интернета ненависти, клеветы, обмана, а также с распространением детской порнографии. Кроме того, определение законодательной ответственности провайдеров и владельцев сайтов за содержание их серверов также является задачей правительства.

В ряде стран уже принято несколько специфических нормативно-правовых актов, регулирующих указанные отношения. Так, в статье Т. Гринченко «Интернет. Этические проблемы» (электронная страничка журнала «Телеком-Медиа. — 2000. — май. — № 5) описываются методы борьбы голландской полиции с сетевыми преступниками. Правительством была создана команда так называемых киберполисменов, которая должна патрулировать информационное пространство страны в поисках онлайн-преступников. Сотрудники данного отдела имеют возможность пользоваться современным компьютерным оборудованием в целях мониторинга информации и контроля за ней.

Следует также обратить внимание на уже существующие в современной компьютерной Сети практические методы контроля за негативной информацией. Л.Г. Гордон, автор статьи «Этический и эстетический анализ содержания Интернета», приводит пример различных уровней блокировки. «Наиболее известна технология присвоения определенным сайтам информационной метки об уровне насилия, обнажения, секса и ненормативной лексики в содержимом сайта (технология RSACi MS Internet Explorer v 4.0 и Netscape Communicator v 3.5). Аналогичный инструмент заложен и в поисковой машине Яндекс, которая с сентября предлагает «Семейный поиск», основанный на лексическом и графическом анализе содержимого сайта, где вопрос об отборе информации решается добровольной самооценкой. Любой пользователь имеет возможность поставить преграду для нежелательной для него и его детей информации, которая может оказаться у него на компьютере» (6, с. 1).

Кроме этого, все исследователи сходятся во мнении, что системы образования различных стран должны участвовать в подготовке разборчивых пользователей Интернета «путем обучения не только техническим навыкам компьютерной грамотности, но и умению осмысленно и разборчиво оценивать содержание информации» (10, с. 5).

Особенности Интернета с его международным и независящим от государственных границ характером тре-

буют международного сотрудничества в создании механизмов контроля за содержанием информации. В отношении коммуникативных технологий, как и в отношении многих других проблемных аспектов, «существует все возрастающая необходимость поддержания справедливости на международном уровне» (10, с. 6). Так, представители католической церкви полагают, что Всемирный форум Информационного общества, проведение которого планируется на 2003 год, сделает свой положительный вклад в обсуждение этических аспектов содержания интернет-сайтов.

При обсуждении мирового взаимодействия в решении существующих этических проблем Интернета хотелось бы обратить внимание на выход в свет книги «Этика Интернета» издательства Макмиллан (оригинальная версия Internet Ethics / Edited by D.Langford Houndmills etc.: Macmillan press, 2000. — 281 p. ISBN 0-333-77626-7), над которой трудились представители различных государств. По мнению автора статьи «Этика Интернета: опыт международной команды» И.Ю. Алексеевой, «данная книга представляет собой первую попытку систематического, профессионального исследования соответствующей проблематики с участием философов, языковедов, правоведов, ученых и практиков в области информационных технологий. Книга «Этика Интернета», над созданием которой трудились авторы и комментаторы из различных стран, представляет собой закономерный и весьма заметный шаг в развитии компьютерной этики. В ходе ее подготовки внимание было сконцентрировано на взаимосвязи развития сетевых технологий с моральными и социальными ценностями» (1, с. 1).

В книге «Этика Интернета» рассматриваются вопросы о том, какие ценности глобальная Сеть поддерживает, а какие оказываются под угрозой в «сетевом мире», как взаимодействуют ценности различных культур. Особое внимание уделено проблемам приватности, интеллектуальной собственности и ответственности.

Глобальный характер Сети определил интернациональный состав команды, куда вошли представители США, Австралии, западной Европы (основные авторы); представители Гонконга, Японии, Сингапура, Бразилии, России, Швеции и других стран выступили в качестве комментаторов.

И.Ю. Алексеева, будучи российским комментатором, полагает, что основная ценность данной работы содержится не столько в ответах, сколько в вопросах, которые она ставит, ограниченность же состоит в том, что «Интернет рассматривается «изнутри», «внесетевой контекст» принимается во внимание как источник тех или иных традиций, нежели как область влияния сети. Кроме того, невозможность охвата всех вопросов и согласования различных позиций является прямым следствием полифонии объекта исследования» (1, с. 2).

Если первая точка зрения связана с рассмотрением Интернета с двух сторон — положительных и отрицательных, — предлагает различные методы борьбы с нарушениями этических и моральных принципов общества, то вторая, условно названная нами ан-

тиинтернетовской, считает Сеть в контексте этики безусловным злом.

Так, автор статьи «Интернет как гиперлиберализм» Пауль Треанор, выражая свое резко негативное отношение к Интернету в плане этических понятий, полагает, что «Сеть угрожает навязать себя миру в образе новой идеологии «сетизма», агрессивной пропаганды Интернета» (11, с. 1). Единственным способом борьбы с данной идеологией он считает полную ликвидацию Интернета, которая в первую очередь должна начаться в Европе.

Конечно, в нашей стране такое неприятие либеральных и демократических принципов, а вместе с этим и Интернета, многих смутит. Но отвергнуть данную точку зрения всецело никак нельзя, поэтому необходимо обратиться к ней в рамках нашего обзора.

Автор также указывает на то, что сейчас не существует какого-либо официального утверждения идеологии «сетизма», но приводит в пример два документа, подходящие к этому очень близко: «Киберпространство и Американская мечта: Великая Хартия вольностей для Века знания» (при участии Элвина Тоффлера) и «Люди и общество в киберпространстве» Дж. А. Кейворта из Фонда прогресса и свободы, и указывает ряд причин, по которым распространение «сетизма» является чрезвычайно опасным. К их числу он относит устремление сетевых технологий не к объединению, а, наоборот, к разъединению: утверждается, что «никогда ранее не было технически возможным существование такого количества разрозненных сетей. Связывание сетей воедино — это сознательный выбор некоторых людей, который затем навязывается другим. Этот экспансионизм, принудительность, основополагающая несвобода выхода приводят к нарушениям этических постулатов общества, обуславливая тем самым отрицательное воздействие Интернета» (11, с. 3).

Сеть воздействует не только на своих пользователей, но и на других людей, при этом пользователи не имеют права сами устанавливать правила поведения в Сети. В связи с этим возможность внутреннего регулирования Сети, создания каких-либо этических норм и кодексов отсутствует полностью, поэтому вести речь об установлении индивидуального контроля за информацией, считает Треанор, не представляется возможным.

Кроме того, в публикации акцентируется внимание на доминирующем влиянии английского языка в Сети. Так, в русскоязычном сегменте Интернета тексты переполнены варваризмами, словами, образованными на базе заимствованных с помощью калькирования, грамматическими и синтаксическими конструкциями, чуждыми русскому языку. Конечно, подобные элементы составляют специфику русского языка в Сети, но вопрос в том, способствуют ли они улучшению языковой культуры русского человека, остается до сих пор открытым.

При этом, несмотря на возникающие тенденции в использовании национальных языков, влияние американского мировоззрения посредством языка на образ жизни других народов будет сказываться и в дальнейшем.

Для киберидеологии величайшим преимуществом Интернета является модель свободы обмена информацией. Информационное общество является обществом гиперобмена, где граждане передают, принимают и перенаправляют поток идей. Нам хотелось бы особо выделить мнение П. Треанора о том, что Интернет приводит не к утверждению свободы, а к появлению консерватизма и установлению доминирующего влияния определенного круга людей.

Особый интерес для анализа содержания интернет-текстов представляют этика коммуникации и этика диалога, которые, считает автор, уже установили политические рамки для киберпространства. С точки зрения этики коммуникации, фундаментальная прочность диалога объясняется возможностью подразделения идеи на две категории: планы и аргументы. «Планы» являются предложениями по изменению, «аргументы» — суть идеи, препятствуют осуществлению планов. Обмен идеями приносит пользу аргументам (и консерватизму), обособление идей приносит пользу планам (и изменениям) (11, с. 5).

В связи с этим предполагается, что участие в диалоге, как универсальное моральное предписание, неэтично. Не всякое общение, по мнению П. Треанора, благотворно, и, возможно, большая его часть вредна для изменений, а значит, и свободы мнений. Интернет в силу своей специфики, направленной на обмен идеями, «усиливает» консервативное преимущество. В подобной ситуации и речи быть не может ни о какой свободе выбора информации и свободе слова.

При этом, подчеркивает автор, «метафора Сети сама по себе выражает свое предназначение: «сеть» и «паутина» используются для того, чтобы ловить жертву. К тому же слово «Интернет» всегда пишется в единственном числе, как и слово «киберпространство» (11, с. 5).

«Объединить все коммуникационные сети — намерение, высказываемое в явном виде... Интернет — есть монополия по определению, и его характерной чертой является упор на единство, на невозможность выхода и отсоединения: одно глобальное общество, один глобальный мозг, ведущий к одному космическому сознанию» (11, с. 4).

П. Треанор сопоставляет Интернет с либеральными государствами XIX века и приходит к выводу, что, с точки зрения истории, возникновение Сети не является поворотным моментом, это всего лишь продолжение стародавних принципов, что люди должны жить в сообществах, «приклеенные друг к другу клеем самоотжествления и связанные друг с другом сетями взаимодействия» (11, с. 5).

Автор приходит к выводу, что «сетизм» не предоставляет выбора и не предполагает никакого сосуществования: либо за Сеть, либо против. Интернет, киберпространство способствуют становлению идеологии элиты, не имеющей права насаждать ее всему миру, поэтому решение отключиться от Сети вполне обоснованно в этическом смысле.

Таковы две различные точки зрения на Интернет, его влияние на развитие общества, мировую культуру,

мировоззрение отдельных народов. На наш взгляд, вторая точка зрения, хотя и аргументированна, является субъективной.

Интернет становится неотъемлемой частью современного общества, активно проникает в различные сферы человеческой деятельности. Мы уже привыкаем делать покупки через Интернет, получаем информацию о различных событиях в мире, читаем книги в электронных интернетовских библиотеках. Интернет не просто входит в нашу жизнь, он меняет общепринятые правила и принципы коммуникации.

В статьях Е. Буториной «А поговорить? Интернет как лингвистический феномен», Г.Н. Трофимовой «Мысль изреченная, или акт коммуникации», Г.А. Трофимовой «О чем пока молчит Рунет», «Electronical Mail is a Fundamentally New Medium» RAND, С. Belilos «CHIC Hospitality Consulting Services», С. Харламова «Этика общения в Интернете» рассматриваются основные принципы организации общения в Интернете, их влияние на развитие языковой культуры пользователей, этические критерии организации интернет-сообщений.

Авторы подчеркивают, что общение в Интернете строится на основе письменной разговорной речи, сочетающей в себе элементы письменного литературного и разговорного языка. По мнению Е. Буториной, речь в Сети представлена двумя основными жанрами: делового и фатического общения. В рамках данных жанров выделяются также игровой жанр, жанр сайтов для изучающих иностранный язык, жанр интернет-эссе, жанр рекламы в Интернете, жанр интернет-письма.

В качестве примера делового жанра приводится отрывок из письма, опубликованного на сайте Сергея Кириенко.

*«После создания Немцовым совместно с Вами (я как бы к Сергею Кириенко обращаюсь) партии у меня возникли вопросы к Борису Немцову. Нашел сервер и с радостью обнаружил, что на нем каждый может написать письмо... Написал... Прошел месяц. Ничего» (3, с. 3).*

Данный текст построен по модели делового жанра, его длина ограничена, основной функцией является информирование и воздействие, хотя принципы построения текста, использованные синтаксические конструкции близки к разговорному стилю, что свидетельствует о взаимопроникновении различных стилей в Интернете.

Фатическое общение (общение ради самого общения) представлено многочисленными чатами, форумами, гостевыми книгами, конференциями. Тексты этого жанра аналогичны текстам обыденной речи. Недостаток невербальных средств общения (миимики, жестов, модуляции голоса) компенсируется особой системой «смайликов», условных значков, использованием заглавных букв, пунктуационных знаков и многим другим.

Например:

09:48:50 АриэльКА fara: ☺☺☺☺☺☺

09:48:58 Wilma АриэльКА: рада бачить ☺☺

09:49:10 Черный\_ангел Амурский\_Партизан: хоршо, а можно я тогда спрошу, а во что веришь ты?

09:49:14 fara Амурский\_Партизан: нуно...так то....эт я шоб и на будущее не сомневались!!!!!!!!!!!! ☺





5. Для того, чтобы отсеять нежелательные контакты, можно использовать статус «невидимый» (Invisible Mode) в сочетании с отметками «видим для данного контакта» (Alert / Accept Mode) (14).

Авторы публикаций, посвященных этике поведения и общения в Интернете, считают, что, следуя данным правилам, пользователь заслуживает репутацию воспитанного человека, умеющего общаться с людьми.

На наш взгляд, эти и другие закономерности позволяют существенно сократить количество негативной, оскорбительной, аморальной, безграмотной информации в Интернете. Отрадно, что простые человеческие истины имеют место и в этой, казалось бы, неуправляемой среде. Если подобные этические вопросы волнуют не только ученых, но и самих пользователей, значит Интернет способен стать средством коммуникации, способствующим гармоничному развитию общества.

Подводя итог, мы можем отметить, что большинство специалистов, ученых и пользователей полагают, что Интернет является новым средством коммуникации, имеющим как положительные, так и отрицательные стороны.

С одной стороны, при использовании Интернета в соответствии с существующими в обществе этическими и моральными постулатами, нормами этики человеческого общения он способствует экономическому, политическому, социальному и культурному взаимодействию людей как в рамках одной нации, так и на международном уровне, служит средством объединения людей и решения глобальных проблем.

С другой стороны, существование таких проблем, как нарушение конфиденциальности, авторских прав, насаждение культурных и социальных ценностей, наличие информации, пропагандирующей насилие, терроризм, порнографию, создание и распространение компьютерных вирусов, нарушение прав и свобод человека, приводит к необходимости объединения всех специалистов в борьбе с засильем текстов Интернета подобным злом. И данная проблема уже находит решение на профессиональном и государственном уровнях. Люди во всем мире понимают, что влияние Интернета на последующее развитие человечества огромно, поэтому современное общество должно заниматься решением не только технических, но и культурных, этических проблем, связанных с данным средством информации и коммуникации.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Алексеева И.Ю. «Этика Интернет»: опыт международной команды // Выступление на семинаре «Информационное общество: экономика, социология, психология, политика и развитие Интернет-коммуникаций» 28 июня 2000. — Институт философии РАН // <<http://www.ialexeev@iph.ras.ru>>.
2. Альманах «Сборник произведений лучших сетевых писателей» № 1 — udaff.com 2002 г. // <<http://www.udaff.com>>.
3. Буторина Е. «А поговорить? Интернет как лингвистический феномен» // Справочно-информационный портал «Русский язык» // <<http://www.gramota.ru>>.
4. Второй Ватиканский Собор, «Gaudium et spes» // Катехизис Католической Церкви. — 1906.
5. Гринченко Т. Интернет. Этические проблемы // Журнал Телеком-Медиа. — 2000. — № 5. — май // <<http://www.telecom-media.com.ua/mirsvjazi/05-2000/index/shtml>>.
6. Гордон Л.Г. Этический и эстетический анализ содержания Интернета // Институт проблем информатики РАН. — М., 2002 // <<http://www.iis.ru/library/riss/riss.ru.html>>.
7. Концепция формирования информационного общества в России // Государственная комиссия по информатизации при Государственном комитете Российской Федерации по связям и информатизации от 28 мая 1999. — № 32 // <[http://www.isn.ru/российская\\_сеть\\_информационного\\_общества](http://www.isn.ru/российская_сеть_информационного_общества)>.
8. Наумов В.Б. Особенности правового регулирования сети Интернет // Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН. — СПб., 2002 // <<http://www.armenia.ru/info/publications/index.html>>.
9. Понтификальный Совет по средствам массовой коммуникации, пастырская инструкция «Aetatis Novae» по средствам массовой коммуникации по случаю 20-й годовщины энциклики «Communio et progresio».
10. Понтификальный Совет по средствам массовой коммуникации. Этика в Интернете // Ватикан 22.02.2002 г. в торжество Кафедры Св. Ап. Петра // <<http://www.agnuz.info/holysea/ethics.html>>.
11. Треанор П. Интернет как гиперлиберализм, 2002 // <<http://www.web/inter.nl.net/users/Paul.Treanor/net.hyperliberal.html>>.
12. Трофимова Г.А. «О чем пока молчит Рунет» // Справочно-информационный портал «Русский язык» // <<http://www.gramota.ru>>.
13. Трофимовой Г.Н. «Мысль изреченная, или акт коммуникации» // <<http://www.gramota.ru>>.
14. Харламов С. Этика общения в Интернете, 2001 // <<http://www.exler.ru>>.
15. Belilos C. CHIC Hospitality Consulting Services, 1998 // <<http://www.easytraining.com/networking.html>>.
16. Electronic Mail is a Fundamentally New Medium, RAND, 1985 // <<http://www.rand.org/publications/MB/R3283>>.
17. Global Bangemann Challenge // <<http://www.challenge.stockholm.se>>.
18. International Bigeye.com, Inc // <<http://www/bigeye.com>>.
19. Welcome to Kiev // <<http://www.kiev.com.ua>>.
20. Welcome to Ukraine // <<http://www.ukraine.online.com.ua>>.

# XII. КРУГЛЫЙ СТОЛ

1/ К.Б. Жогина / Ставрополь / **Круглый стол «Этика и социология текста»**

## КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЭТИКА И СОЦИОЛОГИЯ ТЕКСТА»

К.Б. Жогина  
Ставрополь

28 декабря 2001 г. состоялся итоговый круглый стол межрегионального научно-методического семинара «Textus: Текст как явление культуры».

По традиции заседание открыла руководитель семинара «Textus» **доктор филологических наук профессор К.Э. Штайн**. Итогом этого года стали два сборника: «Принципы и методы исследования в филологии: Конец XX века» и «Языковая деятельность: переходность и синкретизм», посвященный проф. В.В. Бабайцевой. Ведется работа над еще одним большим проектом — исследованием наследия Я.М. Неверова, директора Ставропольской мужской гимназии в середине XIX века.<sup>1</sup> На круглом столе были подведены итоги разработки приоритетной темы года — темы этики текста, намечена тема «Этика и социология текста» в качестве ведущей на следующий год.

Для обсуждения были предложены следующие темы: моральный кодекс художника («искусство при свете совести»); реализация морального сознания в тексте, моральное сознание автора и героя; текст и моральный порядок; текст и положительные ценности, утверждение добродетели и «лакировка» действительности; взаимосвязь этического и эстетического в тексте; жестокость и насилие в разных типах текста (кино, телевидение, радио, литература) в ситуации постмодерна; этика интерпретации текста; модели толерантного поведения в тексте; этические концепты в разных типах текста; социально-психологические аспекты исследования этических и эстетических проблем текста; текст и социальный конфликт; общественное мнение, критика и художественное произведение; художественный текст и национальное самосознание; современный мир и ангажированность художника; искусство в условиях тоталитарных режимов; власть выражения «литература — учебник жизни»; функционирование в социуме различных семиотических систем (кино, телевидение, радио, музыка, живопись, литература) и другие.

Особое внимание было обращено на очень сложную проблему социологии текста, на необходимость войти в эту проблематику. В этой связи были упомянуты работы 70-х годов XX века Швейцера, работа А. Моля «Социодинамика культуры». Культура и любой тип текста действуют в т.н. социальном поле. Функционирование текстов происходит как функционирование сообщений — музыкальных, печатных, научных, лингвистических, изобразительных и т.д., и в этом плане важным становится исследование каналов их распространения. Мы живем в технической цивилизации и естественный порядок — ускорение технического прогресса. Роль художника и гуманитарных наук в этой сложной активно развивающейся действительности очень непростая, однако гуманитарное знание неизбежно найдет свое место в социуме. У сильных мира сего отсутствует достаточно ясная цель — нет определенной идеологии. Люди, которые могли бы взять власть в свои руки, не испытывают

жажды власти. Налицо общая неорганизованность современного общества, в котором пропаганде противопоставляется пропаганда, рекламе — реклама, благодаря чему у индивидуума вырабатывается своего рода иммунитет по отношению к средствам и целям пропаганды, а его душа превращается в поле сражения между грубыми схематичными лозунгами, вносящими хаос в умы усиливающими мозаичный характер культуры. В результате возникают системные связи, противодействующие этим тенденциям изнутри и разрушающие тоталитарные режимы. Что касается современного общества, находящегося в состоянии постмодерна, то моральное сознание и художественная практика художника приобретают особый характер. Художнику надо выжить, а для этого работать либо в русле тоталитарной культуры либо в русле развлекательной литературы (в желтой прессе). То ли быть сытым и работать на потребу, то ли быть голодным и работать исходя из собственных идеалов и представлений. Одной из примет нашего времени является огромный поток порнографической литературы, в которой делается особая установка на вседозволенность и отсутствие морального сознания. Однако в человеке заложен инстинкт самосохранения, благодаря которому он испытывает потребность в подлинных ценностях. Наряду с интересом к литературе постмодерна (Сорокину, Кибирову, Пелевину и др.) сохраняется интерес к классическому наследию.

Обсуждение положения и состояния современной культуры продолжил **доцент кафедры лингвистики и лингводидактики С.И. Красса**, который указал на то, что проблемы этики текста сегодня приобретают особую актуальность. Это, по его мнению, может быть связано с двумя моментами. Во-первых, в современной культуре нет единой нормы, в одном аксиологическом ряду оказываются поиски веры и секс, апология и протест, уникальность и растиражированность. Такое положение характерно как для массовой культуры, так и для той, что претендует на элитарность.

Массовая культура с ее установкой на потребительство, на производство того, что потребляется, и на формирование того, кто все это будет потреблять, в последнее десятилетие откровенно жировала, создавая блистательные описания пороков и преступлений, образы воров-джентльменов и романтических мошенников. В то же время культура отрицает все, что напоминает о добре. Ее отличает всеобщая тяга к низменному, к пародии, к фарсу, к Эросу и Танатосу. Современная культура живет капиталом традиции, но при этом стремится к ее разрушению.

Во-вторых, необходимо иметь в виду, что эти процессы протекают в условиях новой информационной среды. Те или иные ценностные установки, образы, метафоры и символы могут не только тиражироваться гораздо более мощно, чем в традиционной культуре, но и подвергаться (намеренно или

нет) эффекту резонанса, когда одно и то же (текст, имя, идея, символ и т.д.) раскручивается в различных информационных средах — вербальные тексты, радио, телевидение, Интернет, воздействуя на визуальную, аудиальную и кинестетическую системы восприятия, репрезентирования и переработки информации.

Таким образом, тексты и идеи, в них заложенные, могут быть использованы для формирования нового человека общества потребления, по существу, биороботов, в целях маскировки называемых мастерами пиара средним классом.

Проблема состояния умов подрастающего поколения живо затронула участников дискуссии. **Старший научный сотрудник кафедры средств массовой информации Г.Н. Манаенко** развил эту тему в своем выступлении. Этика текста, сказал он, предполагает его «обращенность» к читателю. Этично построенный текст, в свою очередь, ориентирован на равного партнера по коммуникации, именно поэтому текст высокохудожественный или строго научный, но соблюдающий этические установки, служащие достижению целей коммуникации, обеспечивает свое «принятие». Показательно в этом плане знакомство и реакция современных студентов и старших школьников, казалось бы, полностью сформировавшихся под влиянием текстов массовой культуры, поглощенных стихией постмодернистских принципов коммуникации и стереотипов желтой прессы, на тексты сочинений гимназистов середины XIX века, в свое время опубликованных в «Ставропольских губернских ведомостях».

Изучение сочинений ставропольских гимназистов середины XIX века показало, что авторы-гимназисты не «выпячивают» свою собственную персону, а с глубоким уважением настроены на своего потенциального читателя, что и находит свое проявление в этих текстах. Можно даже сказать, что сочинения как бы льстят своему читателю, подразумевая в нем гармонично развитую личность, обладающую не только большими и разносторонними знаниями, но и собственным мнением по поводу предлагаемых тем, и в то же время координируют интенциональные состояния партнеров по коммуникации, превращая их в единомышленников, участников своеобразного мозгового штурма. Языковые средства организованы так, чтобы информация обязательно воспринималась критически и принималась осознанно, что, кстати, кардинально отличает тексты сочинений гимназистов от подавляющего большинства текстов желтой прессы и массовой культуры, опирающихся и воздействующих главным образом на подсознание читателей, использующих языковые средства для манипуляции с целью не критического восприятия предлагаемой информации и, соответственно, мировоззренческих позиций и оценок, да и навязываемых моделей поведения.

Этичный текст действительно обогащает читателя, действительно обращается к нему как личности, апеллирует к его чувству собственного достоинства и действительно обязывает участников общения к кропотливой работе по отбору и организации язы-

ковых средств, определяющих успешность коммуникации.

**Старший преподаватель кафедры прикладной математики СевКавГТУ А.Н. Силантьев** отметил, что для проблемы «Этика текста» важен выбор некоторых начальных, базисных текстов, задающих контекст и парадигму развития темы. Возможная программа начинается с Л.Н. Толстого: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Здесь налицо и концепция «семейного сходства» Л. Витгенштейна, и общий вывод учителя Л. Витгенштейна, Дж. Мура о принципиальной невозможности уложить эстетическую проблематику в рамки формализма. Добро, по Дж. Муру, постижимо лишь интуитивно. Но сегодня можно предположить, что системы типа Fuzzy Logic (размытые логики) способны достаточно адекватно интерпретировать интуицию такого рода. Детализация смысла упомянутого текста Л. Толстого показывает, что и каждая счастливая семья может быть счастлива тоже только по-своему. Действительно, в «Моцарте и Сальери» А. Пушкин как раз показывает конфликт наличного «счастья по-своему», не по правилам, и догматической *mauvais foi* в алгебру, которой поверяется гармония, т.е. «всеобщее счастье». Интертекстуальные связи, определяющие базисный корпус текстов для нашей проблемы, таким образом, проходят от житийной литературы II века («Житие св. Перпетуи», предположительно авторство Тертуллиана) до систем логической семантики XX века (известная теорема К. Гёделя).

**Докторант кафедры новейшей русской литературы А.А. Дуров** поднял вопрос интерпретации концептов, связанных с этической сферой. Каждый концепт обусловлен как минимум тремя уровнями смысла: *картиной мира* — сферой денотатов (онтологических утверждений), *моделями мира*, прежде всего языковыми и фольклорными (этническими и суперэтническими концептосферами), и *моделями универсумов* (личностных концептуальных систем). В каждой из этих системных образований концепт входит в определенные подсистемы (сферы смыслов): этическую, эстетическую, правовую, религиозную и т.п., а также вступает во взаимоотношения с концептами других подсистем. Таким образом, смысл концепта раскрывается на пересечении *вертикали*, заданной диалогом онтологического, концептуального и личностного смыслов, и *горизонталей*, заданной диалогом между концептами одной сферы смысла и диалогом между концептами различных сфер смысла.

Наименее изученной, по мнению А.А. Дурова, является вертикаль смысла, особенно это касается этических концептов. Так, например, концепт Правды, довольно основательно исследованный в отечественной науке, чаще всего рассматривался либо как собственно этический концепт, либо в связи с его местом и ролью в языковой (национальной) модели мира и практически не рассматривался с точки зрения его онтологического статуса, места и роли в фольклорной модели мира и личностного универсума того или иного деятеля культуры.

Определенный прорыв в этом отношении сделала, как это часто бывает в России, художественная литература. Так, в последнем романе Л. Леонова «Пирамида» при исследовании места и роли Правды в России писатель обратился к онтологическому статусу этой категории, применив в качестве метаязыка, т.е. языка описания этого статуса, язык синергетики. Прежде всего он возвел категорию Правды к универсальному мотиву «смены / смерти»: этот мотив пронизывает весь универсум, все его сферы — от сферы космической до сферы («бездны») души человеческой. На языке Леонова момент смены / смерти — это «критический нуль». Леоновскому понятию «критического нуля» соответствует, по мнению А.А. Дурова, синергетическое понятие «точки бифуркации», обозначающее порог устойчивости, при котором происходит выбор траектории дальнейшего развития системы. Мостиком от объективированного (онтологического) смысла концепта к персонифицированным смыслам является хроно-топический, т.е. пространственно-временной и эмоционально-ценностный смысл. Здесь следует говорить о Правде как о моменте истины, рождающейся при сведении пространства и времени к точке («к порогу» и «магометову мгновению»). Фольклорный смысл этого концепта персонифицирован в фигурах (выразителях правды): кликушах, юродивых, странниках «не от мира сего»... Одни фигуры (кликуши) выражают правду напрямую, другие (юродивые) разворачивают диалог правды (слез) со смехом, третьи (странники) инициируют рефлексию «о правде». В романе «Пирамида» каждый персонаж, связанный с концептом Правды, да, в конечном счете, и сам автор, восходят к той или иной фигуре народной культуры, выражающей Правду. Однако кроме актуализации онтологического и фольклорного смыслов Правды интерес представляют и новые обертоны смысла этой категории, связанные с ее местом и ролью в личностном универсуме Л. Леонова.

**Доцент кафедры истории России С.И. Маловичко** перевел проблематику этики текста в несколько иную плоскость. Он предложил обратить внимание на исторические дискурсы XVIII века, которые обнаруживают очень примечательную тенденцию. Дело в том, что существовала разница в традиции историописания не только между сообществами исследователей, находящихся в разных временных точках, но и в пространственных.

Отечественной исторической мысли XVIII века достались в наследство сообщения о древнерусских городах, содержащиеся в летописях, а также в позднесредневековых московских, польских и украинских исторических памятниках. Многие русские исследователи в вопросе о времени возникновения городов последовали за сообщениями позднесредневековых книжников, содержащими северорусскую мифологию о строительстве предшественника Новгорода — города Славенска (и Русы) в 3099 г. от сотворения мира и польской басней о происхождении Москвы от Мосоха.

Сюжет о Славене и его брате Русе описывали М.В. Ломоносов, И.Ф. Богданович, М.Д. Чулков, Ф.Г. Дильтей,

И.П. Елагин, М.Н. Муравьев и другие историки. О происхождении названия «Москва» от Мосоха, внука Ноева, говорили Ломоносов, В.К. Тредиаковский, Ф.А. Эмин, А.И. Мусин-Пушкин и др., а некоторые отнесли Славенск и Русу к первой половине V в. н.э. (Г.Ф. Миллер, М.М. Щербатов, И.Н. Болтин, Екатерина II, П.Ш. Левек, И.М. Стриттер и др.). Но все перечисленные исследователи работали в Петербурге и Москве. Не реализовали северорусскую мифологию провинциальные историки: смоленский архиепископ Геден, П. Иродионов, В.В. Крестинин, И. Васьков, Я.Я. Фриз, Д.И. Карманов, священник Амвросий (Гиновский) и др. Почему последние не стали удревять время возникновения городов, хотя сообщения о Славене и Русе, а также басня о Мосохе были принципиально доступны всем?

Следует учесть, что в XVIII веке границу между историей и литературой проводили не все историки, тем более что многие из них пробовали свое перо на поприще изящной словесности. Литература той поры как раз переживала эпоху классицизма. Русские писатели, поднаборов на сюжетах, взятых из античной истории и мифологии, обратили свой взор на легендарных героев из прошлого своего народа. Но правила классицизма не предусматривали, чтобы таких героев брали из «мужицкого» эпоса, поэтому их находили в древнерусских и московских исторических сочинениях.

Если признать, что язык, вне зависимости от сферы своего применения, неизбежно художественен, т.е. всегда функционирует по законам риторики и метафоры, то из этого следует, что и само мышление человека как такового, в принципе, художественно, и любое научное знание существует не в виде строго логического изложения-исследования своего предмета, а в виде художественного произведения, художественность которого просто не ощущалась и не осознавалась людьми XVIII века. Исторические сочинения всегда риторичны, но в тот период историописатели чуть ли не щеголяли красочностью слога перед читателями.

Известный американский историк Хейден Уайт по этому поводу сказал, что история как форма словесного дискурса обычно имеет тенденцию оформляться в виде специфического сюжетного модуля. Другими словами, историки, рассказывая о прошлом, скорее заняты нахождением сюжета, который смог бы упорядочить описываемые ими события в осмысленно связанной последовательности. Такими модулями для Уайта являются «романс», «трагедия», «комедия» и «сатира», т.е. историография для него способна существовать лишь в жанровых формах. Если мы обратимся к социальной психологии, то увидим аналогичную картину. М. Фуко ввел термин «эпистемы», под которыми следует понимать символические образцы — индикаторы должного поведения. Современникам «открыть», увидеть свою собственную эпистему невозможно, поскольку мы говорим, находясь внутри этих правил. Эпистема отечественной историографии XVIII века, как и европейской вообще, раскрывает «трагедию» (по Уайту). Она стала утверждением разными группами

лиц, писавших о русской истории, своего привилегированного статуса в структуре научно-коммуникативного порядка. Творчество историков того времени, как и творчество вообще — это своеобразный театр, в котором человек не просто следует какому-то закону, но вступает с этим законом в своего рода игровые отношения. Оно опосредовано некими неявными смысловыми мотивами, некими неявными смысловыми установками, порожденными эпохой классицизма.

Для столичных историков такими кодами для описания прошлого и стали Славен и Рус, а в какой-то степени и Мосох. По мнению одного из лидеров французской семиологии Р. Барта, коды, присутствующие в культуре того или иного времени, страны, города и т.д., вполне могут противоречить научной системности и рациональности. Именно это мы и видим в исторических текстах указанных исследователей.

Первоначальная вера историков первой половины XVIII века в реальность Славена и Руса сменилась во второй половине этого столетия сомнением, которое нередко приводило к критике и отнесению этих героев к легендарным персонажам, что можно увидеть в текстах М.М. Щербатова, И.Н. Болтина, Екатерины II и других историков, но что не мешало им вспоминать мифологему о Славене. Отмеченные места в произведениях столичных историков явно были связаны с их отношением к его, и свое к нему отношение историописатели выражали в определенной коммуникативной направленности. Значит, мы можем говорить о применении широким кругом столичных исследователей определенной позднесредневековой мифологемы, которую почти не использовали провинциальные историки. Это позволяло первым находиться в определенной общественной среде, члены которой, в более широком смысле, следовали некоторым паттернам (образцам правильности, нормальности) и психологически ощущали эту среду как свою. По текстам же историков, не принадлежавших к этой столичной среде, видно, что они были менее подвержены духу классицизма, меньше использовали риторический слог, были как бы скованы другими правилами и больше следовали за голосом авторов источников.

Это частный вопрос, связанный с исследованием древнерусского города историками XVIII века, но он показывает, что дальнейшее изучение поднятой проблемы позволит увидеть интересные стороны жизни науки.

Далее дискуссия развернулась вокруг проблемы «литература — учебник жизни». Насколько сегодня это актуально и верно? Может ли художник быть одновременно аморальным, безнравственным и гениальным? Может ли «аморальный гений» создавать талантливые произведения, на которых учится не одно поколение?

**Зав. кафедрой новейшей русской литературы профессор Л.И. Бронская** вспомнила слова В. Шкловского в «Тетиве» о том, что гениальный писатель должен быть обязательно человеком нравственным, а-моральный или им-моральный художник может быть только талантливым, но не более. Сегодняшний Круглый стол рассматривает эту же проблему,

но только с иной позиции: может ли считаться эстетически совершенным произведение, заключающее в себе заведомо безнравственную идею. Разрешая эту проблему «абстрактно», мы приходим к однозначному выводу: нет, не может. Дело значительно осложняется, когда мы обращаемся к конкретным художественным текстам. Здесь на читателя оказывают сильнейшее влияние представления о писателе и его творчестве, устоявшиеся на протяжении нескольких десятилетий (или столетий), прочно закрепившаяся за писателем литературная репутация, «модность» его произведений. Тогда при ответе на заявленный вначале вопрос мы начинаем колебаться и вспоминать о возможностях исключения из общего правила.

В этом плане интересным будет обращение к роману В.В. Набокова «Лолита». Набокова справедливо называют одним из лучших писателей русского зарубежья; считается, что Набоков-романист оказал заметное влияние на писателей многих литератур мира, в том числе на русских писателей и в России, и в эмиграции. Из девяти романов, написанных на русском языке, и восьми на английском, особое место занимает «Лолита» — роман о любви пожилого мужчины к тринадцатилетней девочке. Роман вызвал скандал, был переведен на многие языки (на русский — самим Набоковым), часто переиздавался и принес Набокову богатство. Эротически привлекательную девочку писатель назвал нимфеткой, и это слово вошло в разные языки.

Российский читатель встретился с романом сравнительно поздно. Впрочем, как и со всеми другими произведениями, созданными в русском зарубежье. До появления в печати, то есть в течение 30 лет, он трактовался среди тех, кто знал о романе понаслышке, как антибуржуазный роман. В начале девяностых, когда роман был опубликован в России, критики подготавливали «невинного читателя» размышлениями, которые можно свести к следующему: Гумберт Гумберт по-настоящему глубоко, страстно любит Лолиту, не его вина, что предмет его любви — не взрослая женщина, а нимфетка, но подлинная любовь ни в коем случае не может быть грязной. «Невинный читатель» начал искать красоты стиля в дошедшем наконец и до него творении великого мастера и находил их. Однако какие-то смутные подозрения начинали терзать его доверчивую душу: можно ли назвать подлинной любовь человека, по меньшей мере больного, да и кому из нас захочется в нашем реальном, а не романном мире видеть дочь-подростка в объятиях какого бы ни было рефлектирующего Гумберта Гумберта? Вслед за смутными подозрениями пришла и догадка: писатель переходит черту дозволенного, герой романа вполне осуществляет свои намерения относительно Лолиты, тем самым попирая права ребенка, Лолита не ограждена от вожделений сексуального маньяка.

Реакция на набоковскую «Лолиту» в России начала девяностых вполне напоминала читательскую реакцию на этот же самый роман в Америке конца пятидесятых. Кто-то утверждал право героя на подлинную любовь, кому-то нравилось чтение «погорячее»,

многим было неловко говорить об очевидном: писатель-то хороший, по-своему великий, может быть, за историей взаимоотношений нимфетки и духовно ущербного героя скрываются какие-то непостижимые глубины. Однако со временем пыл первооткрывателей поутих и «наивный читатель» перестал быть наивным: Набоков действительно талантливый писатель, изысканный стилист, тонкий психолог, но и достаточно расчетливый человек, который, совершенно точно учитывая конъюнктуру книжного рынка, создал произведение, в сюжете которого проявилось доведенное до предела представление о свободе человеческой личности, о правах сексуальных меньшинств, которое принесло ему богатство. Таким образом, «Лолита» постепенно перестала вызывать у читателей «горячие» эмоции и превратилась в «роман для филологов».

В продолжение темы морального кодекса художника выступила **докторант кафедры современного русского языка К.Б. Жогина**, которая заметила, что при обращении к теме соотношения этического и эстетического вряд ли можно обойтись без статьи Цветаевой «Искусство при свете совести». В этой статье Цветаева высказала много противоречащих друг другу и самому заглавию мыслей. Уподобляя поэта стихии, она пишет о нетождественности силы и правды, чары и святости, о «грешности-стихийности своих «русских вещей». Рифмуя искусство с искусом, соблазном, она сравнивает искусство с чистилищем, из которого «никто не хочет в рай», с «сомнительным пойлом» в котле колдуньи, в котором что только не варится. Поэт, как ребенок, безответствен во всем, кроме игры. Эти рассуждения приводят Цветаеву к такому выводу: «Художественное творчество в иных случаях некая атрофия совести, больше скажу: необходимая атрофия совести, тот нравственный изъян, без которого ему, искусству, не быть. Чтобы быть хорошим (не вводить в соблазн малых сил), искусству пришлось бы отказаться от доброй половины всего себя. Единственный способ искусству быть заведомо хорошим — не быть».

Эту тему продолжила **доцент кафедры новейшей русской литературы И.Н. Иванова**, по мнению которой, к сожалению или к счастью, прошли те времена, когда литература — по крайней мере, в России — всерьез воспринималась как «учебник жизни», со всеми вытекающими отсюда для автора последствиями. А вот другое, почти столь же известное, стэндалевское сравнение книги с зеркалом, которое несут по грязной ухабистой дороге (и которое, естественно, все это отражает), все еще не потеряло актуальности. Проблема нравственно-этической ответственности писателя как производителя текстов, потенциально влияющих на другие как литературные, так и жизненные тексты, — не ровесница постмодернизма и не исчерпывается вопросом о допустимости некоторых тем и необходимости использования эвфемизмов или многоточий в соответствующих местах. Насколько, например, ответствен Гете за самоубийства, вызванные его «Вертером»? А насколько будет виноват автор детектива, если кто-то, допустим, совершит пре-

ступление по придуманному им сценарию? Конечно, литература так или иначе воспитывает, но не очень-то верится в то, что книга может кого-нибудь развратить (равно как и исправить). Читатель, избегающий того, что ему кажется «порнографией», просто отложит книгу и возьмет другую. Читатель, ищущий порнографии, все равно ее найдет и не станет хуже оттого, что некоторое количество таковой просочилось в «высокую» или претендующую на это литературу. Можно прочитать столько раз упомянутую сегодня «Лолиту» как порнографию, но ведь и статую Венеры можно увидеть как «голую бабу» и сказать по этому поводу нечто вроде «гы-гы».

**И.Н. Иванова** считает, что основной вопрос, который должен возникнуть при попытке оценить текст с точки зрения этики, — это не «что описывается» и даже не «как», а «для чего». Остальное уже вопрос читательской культуры и подготовленности к восприятию текста.

**Профессор кафедры новейшей русской литературы Л.П. Егорова** продолжила разговор об этике интерпретации и предложила рассмотреть с этой точки зрения «Скифов» А. Блока, которым «не везет» с интерпретациями. В начале перестройки, во втором номере «Знамени» за 1991 г. Александр Агеев в статье «Варварская лира. Очерки «патриотической» поэзии» писал, что Блок якобы подавляет читателя, и не только «своей тяжеловесной риторикой». Он не мог принять «из рук рыцаря поэзии, оседлавшего вдруг мохнатую степную лошадку», ни «вероломства», ни «азиатской рожи», ни «мяса белых братьев», ни «комплекса неполноценности пополам с гордыней», ни «степного хвостовства слепой биологической мощью («Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы. Попробуйте сразиться с нами!»). По словам Агеева, он «еще мог понять традиционную для русской культуры «ненависть-любовь» к Европе, ибо ненависть, как и любовь, — чувство высокое». Признавая, что «Скифы» гениально логичны, он писал, что это логика простодушного восточного вероломства, способная вызвать у адресата лишь недоверие и страх.

Спустя 10 лет в ноябре 2000 года «Знамя» в лице А. Эткинда, автора известных книг «Эрос невозможно» и «Хлыст», предприняло более суровую экзекуцию: «Если кто хочет искать у Блока подтверждение или опровержение тревогам текущего момента, пусть читает «Скифов». Это основополагающий текст недоразвившегося, но вечно актуального русского фашизма, его «Майн Кампф». Это любимые стихи левых эсеров, евразийцев, сменовеховцев и возвращенцев. Я не знаю, как относятся к Блоку и «Скифам» нынешние национал-большевики, но всячески рекомендую читать и ссылаться». Далее Эткинд советует не учить эти стихи в школе, поскольку они пользуются популярностью «среди людей, которые приходят в негодование от одного слова «фашизм».

Задаваясь вопросом, стоит ли обращать внимание на подобные выпады, проф. Л.П. Егорова уверенно отвечает: стоит, ибо авторитетный журнал читают и школьные учителя. Она предлагает в сборник

«Textus'a» свою интерпретацию «Скифов». Их, напротив, надо изучать наряду с другими произведениями Блока, разяснять глубокую пророческую мысль поэта, раскрывать его миротворческий пафос, прозвучавший в строфе кульминационной как по смыслу, так и по композиционному принципу «золотого сечения». Очевидно, работа с текстом этого стихотворения даст возможность сделать вывод о параметрах этического подхода к интерпретации текста. Нужна соотнесенность стихотворения с социально-философскими проблемами, его породившими, причем рассматривать их нужно в большом историческом контексте от Чаадаева и Пушкина до Достоевского и религиозных философов XX века.

Эткинд хотел бы знать, в чем различие между скифами и гуннами, но об этом можно прочесть в любой энциклопедии и понять метафорическое разделение возможных противников Европы на «скифов» (россиян) и «гуннов». Отсюда и блоковское предупреждение об угрозе для европейской цивилизации именно со стороны гуннов: «Но сами мы — отныне — вам не щит, / Отныне в бой вступаем сами! / Мы поглядим, как смертный бой кипит, / Своими узкими глазами!». Обвинение в неэтичности блоковских образов («Не сдвинемся, когда свирепый гунн / В карманах трупов будет шарить, / Жечь города, и в церковь гнать табун, / И мясо белых братьев жарить!..») — таким образом снимается. Необходимо также рассматривать «Скифов» в контексте всего творчества Блока, учитывать, например, его стихи о поработанной царизмом Польше, и тогда отпадут обвинения в азиатчине и шовинизме.

Исторический опыт не позволяет забывать о военных столкновениях с Европой, в которых далеко не всегда была повинна Россия. Последствия таких столкновений в будущем, по мысли Блока, будут ужасны для европейцев («Мы повернемся к вам своею азиатской рожей», «Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет в тяжелых нежных наших лапах»), что и подтвердилось в гитлеровской Германии, да и в так называемых соцстранах. Мир как условие, при котором не должно быть места не только исламскому терроризму, но и произволу российских военных, — тема серьезных публицистов, освещающих ход чеченской кампании. Так зачем же тогда распинать Блока, видя в его стихотворении хвастливую угрозу, а не предсказание фактов, подтвержденных потом историей? Пророчество Блока может и для отдаленного будущего оказаться пророчеством (кстати, пророческим произведением называл «Скифов» Н. Бердяев), если иметь в виду возможность экспансии со стороны Центральной Азии (о чем не без тревоги пишут современные публицисты).

Надо, наконец, учитывать природу неклассической парадигмы поэзии Блока, «нерасчлененность» лирического субъекта в «Скифах», которое смущает Эткинда и о котором на примере «Итальянских стихов» хорошо писал в свое время С.Н. Бройтман: у автора «Скифов» субъект речи вмещает в себя Я и другого, поэт переходит на позиции каждого из них, и в этом особенность лирики неклассического типа. Другими словами, этический пафос истол-

кования художественного текста должен определяться и теоретико-литературной подготовленностью интерпретатора. Как видим, рассмотрение этических проблем интерпретации блоковских «Скифов» весьма поучительно и подводит к методологически важным выводам.

#### Докторант кафедры современного русского языка

**К.Б. Жогина** продолжила тему этики интерпретации текста и шире — биографии писателя, поделившись собственными наблюдениями. На проходившей в октябре 2001 г. в Доме-музее М.И. Цветаевой Международной цветаевской конференции большой отклик вызвала статья Ирмы Кудровой «в защиту» Марины Цветаевой от Бориса Парамонова, посвятившего ей главу «Солдатка» в своей книге «Конец стиля». Задаваясь вопросом, почему же Цветаева, не замечая быта, обладающая «сверх-силой» и «сверх-волей» и находящая жизнь даже в кровопускании («Вскрыла жилы: Неостановимо, невосстановимо хлещет жизнь»), покончила жизнь самоубийством, Парамонов видит разгадку во взаимоотношениях ее с Муром, в своеобразном инцесте, желании матери полностью владеть сыном, быть «единой плотью». Любовь Цветаевой всегда вела к поглощению любимого и его уничтожению, в любимом она видела свою проекцию, она его, по свидетельству многих, выдумывала, после чего начинался процесс вдумывания в него (ее желание «взять», «поглотить» «в пещеру утробы» перемалывало многих). Ближе всех, как считает критик, к истине подошла сестра Анастасия, свидетельствующая, что конфликт между матерью и сыном был столь силен, что сосуществовать они не могли (сам Мур говорил, что одного из них вынесут отсюда ногами вперед). Об этом — в стихах, эссе, письмах, дневниковых записях Цветаевой: инцестуозные мотивы «После России», записи «О любви», рассказ «Страховка жизни», эссе «Кедр» и другие.

Миф Цветаевой, как его определяет Парамонов, — Федра (кровосмесительство, инцест), что «в стиле Цветаевой, всей ее бунтарской, не считающейся с условиями и законами сути, соразмерно ее «безмерности». Это, по мнению критика, повышает градус отношения к ней, подлинный модус которого — *«благотворительный ужас»*. Говоря о сверхличном значении цветаевской судьбы, ее архетипичности, Парамонов видит Цветаеву как символический образ России, вмещающей в себе все бывшие и будущие русские судьбы, образ русской земли и — одновременно — ее гибели и разорения.

Думается, что интерпретатор имеет право на свое видение и свою интерпретацию произведений и — сквозь их призму — на свою трактовку судьбы поэта. При этом обязательны следующие составляющие: художественный вкус, образованность и тактичность исследователя, а также опора его выводов на тексты. Однако то, что «герменевтически увидел, узрел» Парамонов — лишь одно из возможных объяснений, которое мы можем либо оппорить либо дополнить.

Как отметила проф. **К.Э. Штайн**, цветаевские тексты сложны, поэт жила в эпоху имморализма. В ее тек-



стах бросается в глаза обилие элемента *не* — черты апофатического мышления. Противоречия жизни и творчества она преодолела своим уходом.

Тема этики интерпретации вызвала наибольший отклик. В частности, многие высказывались о том, что для понимания текстов совершенно не важны некоторые личностные обстоятельства жизни автора: например, как он окончил жизнь, было ли это самоубийство или насильственная смерть. Такую точку зрения, в частности, высказали **проф. Л.И. Бронская и старший научный сотрудник Г.Н. Манаенко**.

Продолжая обсуждение проблемы этики интерпретации и отвечая своим оппонентам, **докторант К.Б. Жогина** обратилась к теме интерпретации литературного процесса. Помимо Парамонова, из числа критиков и литературоведов-постмодернистов нельзя не вспомнить и Вадима Руднева, давшего в книге «Прочь от реальности: Исследования по философии текста» свое видение смены художественных направлений, согласно которому реализм является скорее не реальным обозначением литературного течения, а неким социально-идеологическим ярлыком. По Рудневу, это скорее литература позднего романтизма. Пушкин с этой точки зрения — первый модернист, в чьих произведениях налицо разговоры между автором и читателем, богатая цитатная техника, предваряющая технику русского символизма и акмеизма, мощный культурный слой ассоциаций, игра на внутренней и внешней прагматике текста. Выводя признаки модернистского дискурса, Руднев определяет его как невротический, когда реальное подавляется воображаемым: тексты модернистских текстов при сохранении традиционной прагматики (коммуникативной основы языка) опережают культурную норму своего времени на уровне синтактики и семантики, при этом важнейшей особенностью такого дискурса становится интертекст. Постмодернистские тексты Руднев относит к психотическому дискурсу, в котором подорвана сама прагматика языка, смонтирован новый язык, родственник языку параноидального или маниакального бреда (футуристы, сюрреалисты, обэриуты, из современников Сорокин, Мамлеев и Виктор Ерофеев), в результате чего отрезан путь к пониманию языка автора другими субъектами.

Что это: новый взгляд на историю литературы или очередная спекуляция, ловкое манипулирование терминами и подгонка под заранее выстроенную литературоведом модель? Однозначно ответить трудно, но такие работы интересны своей смелостью.

Во вступлении к «Концу стиля» Парамонов пишет о постмодернизме как о явлении не узкоэстетическом, но общекультурном, и в том числе политическом, в этом смысле синонимичном понятию демократии, а демократия как культурный стиль — это отсутствие стиля, то есть отсутствие застывшей формы. В этом смысле предтечей постмодернизма является Пушкин и другие писатели XIX века. Для критика-постмодерниста важен не только писатель в снятом виде, а человек, являющийся писателем, поскольку обстоятельства его жизни ничуть не менее свидетельствуют о культуре эпохи, нежели его стихи. Сам он — ключ к расшифровке своего творчества.

По мнению Парамонова, русские люди, в отличие от европейцев и американцев, недемократичны, благоговейт перед классическими образцами репрессивной культуры. Постмодернизм, напротив, провозглашает «смерть морализма как отвлеченного начала», работает на сближение старых ценностей с новыми, реализуя формулу Гегеля: истина не только результат, но и процесс, тем самым воспитывая искушенного, готового к любым «результатам» человека. Не отрицая «высокого», он принимает «низкое».

**Аспирант кафедры современного русского языка В.П. Ходус** затронул этические вопросы продолжения художественного текста. Он обратился к нашумевшему в последнее время продолжению «Чайки» А.П. Чехова Борисом Акуниным. Нельзя не заметить рекламного проспекта, опубликованного на обложке пьесы Акунина: «Наконец-то это свершилось! То, чего русская читательская публика ожидала уже более ста лет, теперь Вы держите в своих руках! Теперь «Чайка» Чехова обрела свое продолжение...» Ощущение избранности автора-продолжателя не покидает читателя. Не припоминается ожидания русской интеллигенцией продолжения событийной линии «Чайки».

При сравнении текста-оригинала и текста-продолжения В.П. Ходусом не было выявлено основных принципов, по которым бы второй текст мог соответствовать первому. Текст продолжения ни сюжетно, ни структурно не соответствует первоисточнику: основой развития действия избрана одна-две ремарки — афишная и последняя, а внутренняя структура наводит на мысль о том, что работа носит экспериментаторский характер: ремарки скупы и не имеют ничего общего с магией драматургического комментария А.П. Чехова, фразы прямолинейные и «сериально-детективные». И хотя для драматургического действия избрана оригинальная форма (каждое действия начинается с последней ремарки текста-оригинала и предлагает свой вариант развития сюжетной линии), однако подобный прием постмодерна выглядит в контексте чеховской пьесы уныло и беспомощно. Создается ощущение бесконечной латиноамериканской новеллы, а самое главное, автор опять возвращается к открытому финалу (как это внешне представлено у Чехова), так и не раскрыв загадки убийства. Помимо этой загадки, по мнению В.П. Ходуса, Акунину не удалось разгадать, наверное, вечную загадку Чехова и его пьесы. Возможно, ему стоило бы прислушаться к мнению одного из самых талантливых интерпретаторов Чехова — К.С. Станиславскому, которому принадлежат театральные тексты-продолжения (режиссерские экземпляры пьес), заметившему: «Сумерки, заход солнца, его восход, гроза, дождь, первые звуки утренних птиц, топот лошадей на мосту и стук уезжающего экипажа, бой часов, крик сверчка, набат нужны Чехову не для внешнего сценического эффекта, а для того, чтобы раскрыть нам жизнь человеческого духа».

Скорее всего, «Чайка» в данном случае послужила элементом саморекламы, а текст был написан как развлечение, игра в стиле «ход конем». Правиль-

ность решения Акунина о собственном продолжении «Чайки» рассудит время, оно же укажет на долговечность сегодняшних театральных премьер «Чайки № 2». И, возможно, наряду с другими «продолжениями», которых будет великое множество, издания «пересказов классики» также станут нормой. Но в русской культуре в литературном соперничестве «Бабарыкин — Чехов», победа достанется автору бессмертной «Чайки».

**Проф. К.Э. Штайн** подвела итоги дискуссии, выразив уверенность в том, что вопросами этики и социологии текста следует заниматься сейчас, особенно в нашей стране. Если в европейских странах эти проблемы, хотя и актуальны, но традиционно решаемы, то в нашей стране смена социальных формаций породила множество вопросов, на которые трудно ответить. Ну, например, что такое хорошее поведение и хороший («правильный») с точки зрения этики текст. Постмодерн, в условиях которого мы обитаем, в различных сферах общественной, художественной, научной практики разрушает границы добра — зла, сложившихся устоев человеческой морали... Как реагировать на агрессию текстов Сорокина, на цинизм Ерофеева и Пригова? Отгородиться, не читать? Но тексты взыскиют, требуют. Это и телевизионный экран, и жизнь как текст, наконец...

В конце концов, кто мы, живущие в этой стране и порождающие тексты, которые нас же и ужасают? Как будет обстоять дело с функционированием в социуме классических текстов, направленных на утверждение нравственного идеала? Что вообще является благом для человека, какие нравственные ценности несет текст и должен ли он их отстаивать сейчас, когда такое внимание к прежде запретному — «низовому» — началу?

Мы попытались ответить на эти вопросы, причем пришли к исследованию вопросов этики и социологии не с пустыми руками. Участниками семинара выделена уникальная область знания, которая практически не была предметом исследования. Эту область мы

именуем метапоэтикой. Такого рода тексты называют автометадискрипцией. Сейчас мы осваиваем область исследования поэтами собственного творчества.<sup>2</sup> Это помогает решить достаточно большое количество задач, связанных с проблемами этики интерпретации текста, взаимодействия с ним читателя, исследователя. Тексты поэтов о творчестве энциклопедичны, иначе как бы художник построил в своем творчестве плотный сущностный воображаемый мир? Поэтому, чтобы приступить к исследованию или грамотному прочтению текста (например, в школе), надо знать посылки самого автора, в том числе и нравственно-этические, социальные проблемы, которые связаны с порождением текста. Зная отправные точки в понимании художником текста и проблем функционирования его в социуме, можно перейти к следующей стадии восхождения в процесс «посвященности» в художественное творчество: важно увидеть, какое место занимают посылки художника в связной структуре идей его времени — в эпистеме, каково их место в ней, а тогда уже подключиться к современной парадигме в исследовании.

Таким образом, сам текст и диалог с ним автора, введение его текста в эпистемологическое поле, расширяющее интеллектуальное пространство текста, позволяет сделать о нем достоверные выводы и самому определить приоритеты, в том числе и нравственные. Метапоэтика со времени Феофана Прокоповича и Симеона Полоцкого до наших дней в целом показала, что русская поэзия в ее лучших образцах говорит о человеке, освещая разные ипостаси его поведения, духовной жизни. В русской литературе приоритетны нравственные законы христианской этики, которые не нами придуманы, но, к сожалению, нами не выполняются.

Обсуждение проблем этики и социологии текста прошло заинтересованно, горячо и плодотворно. Было решено продолжить разработку этой темы в будущем году, так как многие вопросы остались неисчерпанными.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Нельзя не отметить, что этот проект завершился изданием двухтомника «Глагол будущего: Педагогический дискурс Я.М. Неверова и речевое поведение воспитанников Ставропольской губернской гимназии середины XIX века: Сб. тр. научно-метод. семинара «Textus». — Ставрополь, 2002. — Вып. 8.
2. Был издан первый том антологии русской метапоэтики: Три века русской метапоэтики: легитимация дискурса: Антология в 4 т. — Ставрополь, 2002. — Т. 1.

# XIII. ВРАЧЕБНАЯ ЭТИКА. ТЕКСТЫ

- 1/ В.В. Хуснутдинов / Ставрополь / **Индивидуальная библиотерапия (воздействие текстом) с элементами аудио- и видеоподдержки**
- 2/ В.В. Хуснутдинов / Ставрополь / **Искусство над этикой текста (из личных наблюдений)**
- 3/ К.Э. Штайн, Р.М. Байрамуков / Ставрополь / **Мышление в стиле «постмодерн»**

**ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕРАПИЯ (ВОЗДЕЙСТВИЕ ТЕКСТОМ)  
С ЭЛЕМЕНТАМИ АУДИО- И ВИДЕОПОДДЕРЖКИ**В.В. Хуснутдинов  
Ставрополь

*Знаешь, что подумал мальчик,  
которого ты вчера спрашивал, почему он грустный?  
Он подумал: «Да отстань ты от меня».*

**Януш Корчак**  
(Генрик Гольдшмидт)

На консультацию прислали мальчика. Он пришел с мамой. Был крайне напряжен, глядел все время в окно, на вопросы отвечал с неохотой. За последнюю неделю несколько раз ходили к стоматологу. Решался вопрос о лечении под общим наркозом.

Посмотрев в полость рта и на обзорный рентгеновский снимок (ортопантомограмма), я понял, что объем работы по времени получится очень большим (множественный и осложненный кариес). Анестезиолог, проводящий общее обезболивание, при определении вводимой дозы наркотического вещества ориентируется на массу ребенка и время моей работы. Стало ясно, что шприц с лекарством окажется почти таким же, как в ягоде у Моргунова из фильма Гайдая «Кавказская пленница». Это было неприемлемо.

Все попытки наладить контакт:

1. Попробовал выяснить, какую музыку он слушает;
2. Спросил насчет спортивной секции;
3. Не любит ли футбол;
4. Какую литературу читает;
5. Не встречается ли с девочкой (ему 14) — оказались совершенно бестолковы. Пришлось назначить через день (острой боли не было). Пациент радостно и быстро выскочил из кресла. Сразу вспомнилось:

*«Что лучшее в приходе к стоматологу?*

*— Уход от него!»*

*Мама расстроилась, и у двери я тихо спросил об интересах сына.*

*— Вообще Сережа малообщительный, часто сидит дома, любит свою собаку (пудель), компьютерные игры и когда на ночь читают.*

*Весь день думал о ситуации и к вечеру решил написать для мальчика рассказ про собаку. Тут же испугался. Никогда (кроме диссертации и писем родителям из Советской армии) ничего не писал. К тому же я не Антон Павлович Чехов, не Акутагава Рюноске и не Эдгар По. Взять хотя бы первого:*

*«Если жена тебе изменила, то радуйся, что она изменила тебе, а не Отечеству».*

Здесь и психология, и сексология, и профилактика преступлений, и любовь к Родине. Тут на удачу вспомнился журнал «Иностранная литература», где недавно в разделе «Литературный гид» были опубликованы произведения, написанные от лица либо животного, либо растения, либо предмета. В ту же сторону смотрели когда-то АПУЛЕЙ, БУЛГАКОВ, ЭСТЕРХАЗИ, КАФКА и мн др.

Так родился рассказ от имени собаки ТИШИ, которая дворняжкой породы и живет у нас вот уже шесть лет.

**Я — ТИША**

*Участь сынов человеческих и участь животных одна — как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом, потому что все суета.*

ЕКЛЕСИАСТ (3, 19)

Меня зовут Тиша. Почему именно так?

Вспоминаются благородные собачьи имена: Ральф, Клод, Эльза, Рэкс, Норд, а также космические, например, Белка или Стрелка. Кстати, о космонавтике. Это неправда, что первый космонавт Ю.А. Гагарин. Он третий. У него почетная бронзовая медаль. Серебряной не было, т.к. золото поделили мои сородичи.

Возвращаемся к имени. Сразу прошу прощения за то, что рассказ будет несколько туманным — раннее детство мною так туманно и воспринимается.

Теплая, пахнущая молоком мама. Как и любая современная мама, она занята поиском хлеба насущного. Целая куча братьев и сестер. Все норовят отобрать у меня вкусный сосок. Манящая мусорка, где много всякой всячины:

1. Кости.
2. Консервные банки.
3. Остатки булочек и пирожков
4. Колбасные обертки.
5. Хрустящие бумажки от шоколада (СЧАСТЬЕ!).

Но как и во всем хорошем, для компенсации есть отрицательная сторона. Эта сторона — мальчишки. Вообще, я им прощаю многое, а именно:

1. Непопадание из рогатки.
2. Дерганье за хвост и уши.
3. Спутывание меня с маленькой лошадкой — пони.
4. Кидание снежками.
5. Всякие дразнилки типа:

Кобелино, Шарик, Тузик, Бобик, Кабыздох, Собакевич и проч.

Единственное, что забыть не могу, — бешено звенящую в ушах, разрывающую на куски воздух, ядовито пахнущую ПЕТАРДУ.

Да простит меня Господь за вслух произнесенное название этого жуткого продукта.

Из-за НЕЕ новогодний праздник для моих новых родителей проходит не так весело, как им хотелось бы. Беденькие мучаются мыслью не о покупке подарков детям, а тем, что близкое существо в это время сидит под ванной, дрожит и даже не хочет выходить на прогулку с отправлением собачьей физиологической нужды.

Не будем о нужде. Поговорим об имени. Начало такое. Апрель. Холодно. Братья и сестры разбежались по теплым местам:

1. Подъездам.
2. Подвалам.
3. Котельным
4. Стройкам.
5. Люкам канализации.

6. Магазинам.

7. Столовым.

8. Картонным ящикам.

Пищу в виде колбасной кожуры потребляла два дня назад. Захожу в подъезд. Пахнет теплой батареей и едой. КАКОЙ ЗАПАХ! Еще дрожу, но уже лучше. Шаги. Мальчик. Чую бутерброд с колбасой, второй с медом, чай. Между прочим, чай и кофе не люблю.

Взял на руки. Занес в какой-то грязный страшный ящик с кнопками, иностранными и нецензурными надписями, жвачками, наклейками и плевками на стенах.

Дверь. За ней (о Боже!) запах мяса, но не с любимой мусорки. Свежий и ароматный. Аж в дрожь от голода бросает!

Дзызынь. Дверь открывает мой будущий папа:

— О! А это что за волкодав?

— Мама, папа! Мне не нужно никаких подарков. Пусть вот ЭТО (ЭТО — это Я) будет подарком на день рождения.

— Гм.....

Не сговариваясь, родители вспомнили Астрид Линдгрэн и ее «Карлсона, который живет на крыше», впоследствии мною не раз слышанную:

«— Похоже, что так всю жизнь и проживешь без собаки, — с горечью сказал Малыш, когда все обернулось против него. — Вот у тебя мама есть папа; и Боссе с Бетан тоже всегда вместе. А у меня никого нет!....»

— Дорогой Малыш, ведь у тебя есть мы! — сказала мама. — Не знаю... — с еще большей горечью подумал Малыш, потому, что ему вдруг показалось, что у него действительно никого и ничего нет на свете....»

— Давай так, Антон: если мальчик — берем, если девочка — нет, т.к. девочки вырастают в женщин, а потом рожают детей. Куда мы их девать будем? Грех потопления щенков мы на себя не возьмем. А раздать дворняжек в хорошие руки шансов нет. Так что проверим его половую принадлежность....

Папа внимательно рассматривает мои половые органы, а он их так и называет, имея на это полное право: врач-стоматолог, на тот момент совершенно не владеющий вопросом собачьей анатомии.

— Что-то торчит, значит, мальчик. Берем.

10 раз УРА!!! Сбылась заветная мечта. Есть на земле счастье, и вот оно этому подтверждение. Такое событие надо отметить. Захожу в комнату и оставляю визитную карточку в виде лужи.

Тут же меня берут за шиворот, и впервые в жизни окунаюсь носом в родную мочу. Больше моих визиток здесь не будет.

— Слушай, Антон, как его называть будем? Так, так, так, так, так. Кого-то он мне напоминает... так, так.... ЕСТЬ! Помнишь дядю Тихона, такой застенчивый и добрый. Вот он на первый взгляд довольно застенчивый и добрый. (Интересно, а какое же выражение морды я должна была сотворить?!)

— Назовем ТИХОН!

Антону все равно, хоть завучем назови. Как-то Саша (брат Антона) рассказал нам, кто такой ЗАВУЧ. Оказывается, это существо, не позволяющее бегать по школе, что, с моей точки зрения, является полной несуразницей, т.к. даже взрослой собаке за столом и двух секунд не высидеть, а тут первокласснику после 45 минут не разрешают порезвиться. БЕЗОБРАЗИЕ.

Но вернемся ко дню Антонова рождения. Еще вкуснее ни-

когда не пахло. Бегаю туда-сюда за мячиком, а на диване сидит Ваня (друг папы). Он родом из села и в собаках разбирается. Внимательно на меня смотрит. Особенно его интересует место ниже хвоста:

— Валер, так это СУКА!!

Берет на руки и демонстрирует папе собачьи прелести. Тот на меня поглядел и, видимо, решил, что членов семьи на улицу не выгоняют.

— Что делать? Придется со сменой пола менять и имя.

Вот такая у нас семья: МАМА, ПАПА. Братья — АНТОН с САШЕЙ, и я — Т И Ш А!

(После этого Сергею Н. (14 лет) общая анестезия не потребовалась. Остальное для взрослых.)

Теперь подробнее. О МАМЕ. Юрист, красивая, умная, добрая. Когда очень добрая, называет меня Тишильдой. Основной пищевой рацион — от нее.

Поэтому при входе в кухню необходимо смотреть четко в глаза и сильно поверить, что:

1. Я на свете самое несчастное существо.

2. Пухну с голоду.

3. Если сейчас не поем, то наверняка умру.

4. Если поем, то буду практически человеческой ДОЧКОЙ.

Так меня мама называет, когда совсем добрая.

У нас женская солидарность.

Уверена, что если в моду войдет ношение собаками платьев и украшений, она с удовольствием займется моим гардеробом.

О ПАПЕ. Прощаю ему все! А знаете за что?

За ПРИНЦЕССУ.

Как-то воскресным утром играла музыка П.И. Чайковского из балета «ЩЕЛКУНЧИК». Лежу в своей будке, а будкой мне служит кресло. Подходит. Почесал за ухом. Смотрит в глаза:

— Ты, ТИША — заколдованная красавица. Придет время и появится принц. Поцелует, и ты превратишься в принцессу. ТАК он это сказал, что Я ПОВЕРИЛА, и до сих пор верю.

Недавно к нам друг зашел, и, когда мной любовался, папа у него спросил:

— Как ты думаешь, если действительно придет принц и Тиша превратится в девушку, что мы с этой красавицей делать станем? Не будет же она в кресле спать?!

— Переживать нечего, за ней же ПРИНЦ настоящий явится и заберет в свой НАСТОЯЩИЙ красивый замок.

Я как про ЗАМОК услышала, так его себе и представила.

Недавно по телевизору (он из будки хорошо виден) по каналу «КУЛЬТУРА» показывали ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ДВОРЕЦ в г. Пушкине. Вот это и есть МОЙ ЗАМОК (или ЭРМИТАЖ, или САН-СУСИ или др.), надеюсь, там и заживем. По-моему, А.В. Растрелли в середине 18 века его для НАС перестроил в праздничных и пышных формах барокко. Из Большого зала вообще выходить не буду. Это такое ЧУДО, когда окна чередуются с зеркалами. И создается впечатление, что Ты находишься в огромной беседке с прекрасным видом на природу, позолоченной деревянной резьбой. А вид из окон! Волшебный парк с:

1) прудами,

2) каналами,

3) клумбами,

4) скульптурой итальянских мастеров.

А Янтарная комната, а Картинный зал, а Колонада, а Парадная лестница!

Кстати, А.С. ПУШКИН именно там учился:

В те дни, когда в садах Лицея  
Я безмятежно расцветал,  
Читал охотно Апулея,  
А Цицерона не читал,  
В те дни в таинственных долинах,  
Весной, при кликах лебединых,  
Близ вод сиявших в тишине,  
Являться муза стала мне.

В здании Лицея своих братьев и поселю, чтоб муза ИМ являлась. А мы с принцем в Большом зале с утра до вечера будем БАЛЫ устраивать. Я в белом платье, а ОН в черном фраке. И танцуем непременно вальс. К сожалению, современные композиторы в этом ритме музыку почти не делают, пожалуй, кроме англичанина Гевина Фрайдея. Вот под нее мы и танцуем.

#### GAVIN FRIDAY «The last song ill ever sing» (3:48)\*

Спасибо телевизору за то, что ДВОРЕЦ показал. К «ящичку» у меня двойственное чувство. Зачем по нему столько ГАДОСТЕЙ показывают?:

1. Насилие — БОЛЬ.
2. Драки — БОЛЬ.
3. Отрезанные головы — БОЛЬ.
4. Разрушенные города — БОЛЬ.

Когда видишь такое, понимаешь Марка Твена: «Человек был создан в последний день творения, когда Бог уже утомился».

Не пойму людей. У нас собак так: «Мне больно, даже когда недругу больно».

Зачем же смотреть на это?

А сериалы? Такое ощущение, что все они там сумасшедшие (кроме Альфа), если их целыми днями даже СЛУШАТЬ, и то таким станешь!

Футбол нравится. Всегда наблюдаю за мужской половиной, особенно когда сборная играет. Только наши ГОЛ забили, так они, как щенки, прыгают, обнимаются и целуются. А еще в специальную ФЭНовскую дудку дудят. Как дунут, так в радиусе 100 метров у всей живности колени подгибаются.

Я даже пару кричалок выучила:

1. СПАРТАК — чемпион по нырянию в бетон.

А в этой чувствуется любовь к животным:

2. АРМЕЙЦЫ Москвы — КОНИ, ЛОШАДИ, ОСЛЫ!

Про зверей очень уважаю «телик» смотреть, только если ИХ не обижают.

К нам как-то знакомый зашел (а он врач) и рассказал, что был в Штатах и у коллеги спросил, как они на охоту ходят. Тот долго не понимал вопроса, а потом сказал, что ВРАЧ и ОХОТА (по биологическим законам) понятия несовместимые. За это УВАЖАЮ, хотя американцев не люблю, у них даже президент одеваться не умеет. Другое дело Французский. Элегантен, как ДОЛМАТИНЕЦ. Кстати о ФРАНЦИИ.

Влюблена в ПАРИЖ с тех пор, как бабушка Антону «Трех мушкетеров» вслух читала. А как посмотрела передачу «Ночные города мира», так обомлела.

1. Эйфелева башня вся как елка в огоньках.
2. Древний изумруд — Собор парижской Богородицы.
3. Прогулочные катера со светящимися окнами плывут по Сене.
4. Запах цветущих каштанов.

А в голове Генри Миллер:

«Елисейские поля в сумерках — как ГАРЕМ с темноокими гуриями, под открытым небом. Деревья в полном цвету, и их зелень так свежа и чиста, что кажется, они все еще влажные от росы. Пространство между Лувром и Триумфальной аркой — точно вариации для фортепиано».

И все ЭТО было озвучено музыкой композитора и пианиста Тома Вейтса.

#### TOM WAITS «Blue Valentine's» (5:50)\*

Классная музыка! И крайне четко подходит, но, наверное, только к ночному городу. Видимо, потому что Вейтс в темных Нью-Йоркских кафе играл и пел.

Если б Я имела счастье быть звукорежиссером этого фильма, то, вспоминая Виктора Гюго, Жоржа Сименона, Генри Миллера, Романа Гари, запустила бы туда как на ночной, так и на дневной вариант Ирмина Шмидта.

#### IRMIN SCHMIDT «Verdi prati walze» (3:31)\*

Кстати, в Париже много красивых автомобилей. Вот на них и остановимся. Общее впечатление — ГОРА ЖЕЛЕЗОК с мрачным запахом. Только машина во дворе появляется — в меня как бес входит. Ничего не вижу, никого не слышу, хочется побыстрее прогнать ВОИ! Сколько раз получала поводом за это. Ничего поделать не могу. Как наши предки бегали за телегами, повозками, каретами, так и мне, видимо, суждено. Может, Я людей к ним ревную?

Некоторые двуногие так в эти железки влюблены, что просто диву даешься. Брюки настолько измяты, что мне стыдно, а на АВТО смотрят томными глазами, с утра до вечера намывают, поглаживают и даже разговаривают. Очень похоже на СЕКС. Такие, скорее, машине поменяют колеса, чем детям игрушки.

Из подслушанного моим Другом с автостоянки: «Когда сажусь за руль, то ощущение полного СЛИЯНИЯ. Мы один организм! Чувствую ЕЕ каждой клеткой! Все, что вокруг — незначительно! Есть только ОНА и Я». ЭРОТИКА!

Иногда машина и мне нравится. Когда она нас в Кисловодск везет. Люблю в окно смотреть, особенно вечером под Ирмина Шмидта (Из папиного сборника — «Музыка в Дорогу»). СКОРОСТЬ, МУЗЫКА:

ПОЛЯ, ЛУГА, КОРОВЫ, ОВЕЧКИ, ДЕРЕВЬЯ, ДЕРЕВНИ, СОБАКИ...

СКОРОСТЬ, МУЗЫКА, ЗАПАХИ:

1. Скошенной травы.
2. Асфальта.
3. Цветов.
4. Азота.
5. Лисьего хвоста.
6. Соломы.
7. Бензина.

Справа красное небо и фиолетовый ЭЛЬБРУС. ЗАПАХИ:

8. ГАИшников (ГИБДДешников).
9. Костров.
10. Курсавки.
11. Ларьков.
12. Лесополосы.
13. Мин-Вод.

14. Гор (Верблюд, Кинжал, Змейка, Бештау, Машук) Вправо. СКОРОСТЬ. МУЗЫКА. Воздух — не дышишь, а пьешь. ЗАПАХИ:

15. Железной.
16. Игрушечного города.
- Влево. ЗАПАХИ:
17. Эссенцуков.
18. Подкумка.
19. Кисловодска.
- СКОРОСТЬ. МУЗЫКА. Ирмин Шмидт.
- Ударные — Трилок Гурту.

#### IRMIN SCHMIDT «Surprise» (9:25)\*

Приехали. КИСЛОВОДСК. Вспоминается байка, рассказанная папе одним студентом:

*«КАВМИНВОДЫ, санаторий, грязевые ванны.*

*Сидит пациент в грязи (прописали врачи для поддержания иммунитета). В помещении — стоит тумбочка. На ней — упаковка колготок и бутылка кефира. Все предметы принадлежат медсестре, которой нет. Посадила пациента в ванну и пошла с подружками поболтать.*

*Заходит другой мужик. В руках бумажка с печатями и подписями:*

*— Слышь, друг! Я, типа, с УРАЛА и здесь первый раз, прописали какие-то грязи. Не знаю, что делать?*

*Показывает сидящему направление.*

*— А ты раздевайся ДОГОЛА. Видишь на тумбочке колготки?*

*Одеваешь их, забираешься в грязь (чтоб только голова торчала) и пьешь кефир маленькими-маленькими глоточками.*

*Сам моется, одевается и уходит.*

*Приходит сестра... Цитата: «В грязи сидит КАКОЙ-ТО НАГЛЫЙ ГАД в моих колготках, смотрит старательными глазами и пьет мой кефир!»*

Главная КИСЛОВОДСКАЯ достопримечательность — КРАСИВЫЕ Собаки. Долго думала почему? Да потому, что ПОВЕРИЛИ, что они такие. Причем сразу ВСЕ. Как говорил испанец Мигель де Унамунто:

*«ВЕРА — прежде всего и превыше всего — ТВЕРДАЯ УБЕЖДЕННОСТЬ; в себя верит тот, кто на себя спокоя полагается, именно на СЕБЯ, а не на свои летучие помыслы».*

Как же им на себя не полагаться, если в их красоте убеждает СОЛНЦЕ и КРИСТАЛЬНЫЙ ВОЗДУХ, а главное, их сочетание. Это сочетание дает такой ЗАПАХ, что все становится красивым:

1. Дома и горы.
2. Улочки и машины.
3. Минералка и пиво.
4. Парк и белочки.
5. Речка и камни.
6. Собаки и люди.

Если бы КЛОД МОНЕ хоть раз здесь побывал, то красивых картин в 5 раз больше написал. А мы ими восхищались бы под музыку Ирмина Шмидта.

#### IRMIN SCHMIDT «Ritas tune» (4:38)\*

Теперь о сокровенном — о ЕДЕ. Самая вкусная пища — ТАМ. А знаете почему? Потому что повара там красивые и плохо готовить просто не умеют. Плюс традиции. Кто в прошлом и позапрошлом веке сюда приезжал? Знатные собаки со своими хозяевами. А хозяйева какие! ПУШКИН, ЛЕРМОНТОВ, ТОЛСТОЙ, ШАЛЯПИН, ПАВЛОВА, КШЕСИНСКАЯ, РЕПИН, КУИНЖИ, СТАНИСЛАВСКИЙ. Уж они-то понимали толк в еде. И с собой лучших поваров везли. А те своих учеников рядом ставили, а эти своих, так что пло-

хому научить не могли. В моем родном городе, к сожалению, при посещении едалных заведений сразу КАРЛСОН вспоминается: «Попадешь к Вам в дом, научишься есть всякую гадость».

Могу разболтать один секрет: лучше всего кормиться возле такого кисловодского кафе или ресторана. Здесь можно найти:

1. Остатки ШАШЛЫКА (Если кафе на улице, нужно тихо подойти к столику, лечь перед самым добрым на землю и смотреть пристально в глаза. В это время думать: «Вот Ты сейчас счастливый, а я с голоду пухну!»);

2. Макароны;

3. Рыбные объедки;

4. Хрящики;

5. Косточки (НЯМ!).

Возле «Макдональдс» или «Флора-Бургер» клевать нечего. Там даже мясо мясом не пахнет. Сильно удивляюсь, чего это ОНИ к нам в Россию насчет ЕДЫ наладились? Ведь как оно раньше (лет 100 назад) было:

1. Лучшее ВИНО — из Франции;

2. Лучшая ШЕРСТЬ — из Англии;

3. Лучшие КОВРЫ — из Ирана;

4. Лучшие МАШИНЫ — из Германии

5. А вот лучшая ЕДА — из России

(кстати и ДЕВУШКИ самые красивые у нас).

А ведь еда — это НАСЛАЖДЕНИЕ. Почти такое, как СЕКС. Как-то подружка с соседней стройки насчет этого меня просветила, говорит:

«Если хочешь узнать какой в сексе кобель, посмотри как он ест».

Есть хорошо под музыку с усиливающимся темпом, например, под «БОЛЕРО» Равеля или «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ» А. Хачатуряна. Я предпочитаю под «БОГЕМСКИЙ СТЕП» Ирмина Шмидта:

#### IRMIN SCHMIDT «Bohemian step» (6:24)\*

О МУЗЫКЕ. Вспомнился У. Шекспир:

*Кто музыки не носит сам в себе,  
Кто холоден к гармонии прелестной,  
Тот может быть изменником, лжецом,  
Грабителем. Души его движенья  
Темны как ночь, и как Эреб черна  
Его приязнь. Такому человеку  
Не доверять.....*

Как-то папа готовился к лекции. И тут я узнала, что:

1. В древних армянских манускриптах были описаны рецепты музыки, останавливающей кровотечения.

2. Еще в Парфянском царстве в 3 в. до н.э. с помощью специальных мелодий лечили от тоски, нервных расстройств и сердечных болей.

3. Однажды Пифагор с помощью музыки успокоил разъяренного мужчину, который из чувства ревности хотел спалить дом.

4. В России в 1913 году под руководством В.М.Бехтерева было основано «Общество для выяснения лечебно-воспитательного значения музыки и ее гигиены».

5. В нескольких отделениях гемодиализа во Франции при переливании крови включают музыку, подобранную, исходя из характера заболевания и индивидуальных пристрастий пациента.

А знаете, кто первый РОК-музыку придумал. По моему мнению это Тибетские монахи. Еще сотни лет назад с помощью барабанов и хорового пения они при строительстве передвижали большие каменные валуны. Берусь утверждать, что это был РОК и, кажется, сильный. А он, как и все, бывает и таким и не таким.

Антон с Сашей иногда ТАКУЮ музыку включают, что мне хочется под ванну спрятаться. В этот момент понимаю дельфинов, шарахающихся от гидроакустики с РОКом. Но здесь нужно уточнить, какой РОК дельфины слышали. Если МАНОВАР, ДЖУДАС ПРИСТ или МЕТАЛЛИКУ, то Я бы тоже сбежала.

Кстати, МЕТАЛЛИКА недавно такое учудила, что даже бабушки их слушать начали. Они с хорошим симфоническим оркестром пластинку записали. Здорово получилось!

Но такие эксперименты — не новость. Еще в 70-х в эту сторону и Эмерсон, Лэйк энд Палмер и Томито и Пинк Флойд смотрели. Но с моей стороны видится, что всех группа ЙЕС обскакала. Приехали они в Швейцарию, на Женевское озеро. Там, между Лозанной и Монтре, есть городок ВЕВЕ. А в нем один из лучших церковных органов. Посадили своего клавишника Рика Вейкмана за этот аппарат, пригласили знаменитый хор и ТАКОЕ сотворили, что аж мурашки по спине бегают. Причем в одном месте даже прыгают. Есть момент, где дуэтом играют на самом большом (органа) и одном из самых маленьких инструментов — треугольнике. Считаю это вершиной РОКа.

#### YES «Avaken» (13:29)\*

От РОКа у некоторых представителей флоры и фауны может СТРЕСС развиваться. Как же с ним бороться? У каждого СВОЯ индивидуальная методика. Есть способы ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ:

1. Собрание (Косточек, марок, колбасной кожуры, значков, этикеток от бутылок, спичек, жвачек и др.).
  2. Общение с природой. Кто-то из великих сказал: «Ничто нас так не сближает с природой, как МУЗЫКА».
  3. Алкоголь (но мало).
  4. Секс (но много).
- Как говорил Д. Болдуин: «Секс — это то же, что деньги: если их нет, ни о чем другом не думаешь; если есть — думаешь обо всем, только не о них».
5. Футбол и др. виды спорта (как смотреть, так и участвовать) (УРА! — скоро ЧМ по футболу!).
  6. Чтение. Д. Дидро писал: «Люди перестают мыслить, когда перестают читать». Особенно про ЖИВОТНЫХ, например, про ПТИЦ у Ильфа и Петрова: «На последние деньги отец Федор доехал до Тифлиса и теперь шагал на родину пешком. При переходе через Крестовый перевал (2345 метров над уровнем моря) его УКУСИЛ орел». Представляете, не клюнул, не царапнул, а УКУСИЛ.
  7. Кино (хорошее).
  8. Театр (все).
  9. Телевизор (не все).
  10. Компьютер (только по делу).
  11. Музыка (не Моисеев с Пенкиным).

#### ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ:

1. Кино (в основном — американское).
2. Телик (боевики, триллеры, сериалы (кроме АЛЬФА)).
3. Чтение (о политике, желтая пресса, книжки под общим названием «Люби меня, как я тебя»).

4. Музыка (типа из телика).

5. Алкоголь (но много). Б. Гладстоун сказал: «Алкоголизм делает больше опустошения, чем три исторических бича вместе взятые: голод, чума, и война».

6. Наркотики (от наркоманов пахнет хуже, чем от автомобиля, у любой собаки спросите).

7. Компьютер (не по делу). Несколько лет назад один американский младший школьник взял (плохо хранившийся) пистолет отца и расстрелял свою одноклассницу. Когда спросили: «Зачем ты это сделал?». Он ответил: «Я думал у нее 5 жизней».

Д.М.Н., профессор Ю.А. Федоров (1999) предлагает ввести новую нозологическую единицу: КОМПЬЮТЕРНЫЙ НЕКРОЗ ЭМАЛИ (Это когда фронтальные зубы в пришеечной области поражаются так, что ни на что не похоже. Протекает бессимптомно, только вид страшный и пломбы практически не держатся). В общем сплошной СТРЕСС!

Я слышала, что лучший рецепт от него, если умеешь играть на клавишных, сесть и сыграть что-нибудь ГРУСТНОЕ. Например, «Ветер» из Парижского концерта Кейта Джаррета или любое из Харольда Бадда. К сожалению, на фортепиано не могу, но есть музыка, которая у меня снимает на 100%, даже при прослушивании. Называется «ТАНГО». Композитор ГОРАН БРЕГОВИЧ, который с ЭМИРОМ КУСТУРИЦЕЙ в 1995 году за фильм «АНДЕГРАУНД» на Канском кинофестивале Золотую Пальмовую Ветвь получили:

#### GORAN BREGOVIC «Tango» (3:56)\*

В плане снятия стресса очень люблю телеспектакли. (Вот бы в настоящий театр попасть!) Чувствую в них доброту не только у тех, кто появляется на сцене, но и каких-то других. Не знаю, как театр устроен, к сожалению, туда собак не пускают, а жаль.

Я даже в некоторых артистов влюбилась (Олег Табаков, он же Матроскин, Андрей Миронов, Евгений Евстигнеев, Нона Мордюкова, всех не сосчитаешь).

Наивные негры из пригородов Нью-Йорка думают, что это они РЭП придумали. Глубоко заблуждаются. Первый РЭПер — ВИННИ ПУХ, которого артист нашего Ленкома Евгений Леонов озвучил.

«Хорошо живет на свете ВИННИ ПУХ, Оттого поет он эти песни вслух» — лучшего РЭПа не слышала (сказано — КЛАССИКА).

Николай Васильевич ГОГОЛЬ писал: «Сцена — это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра».

Мама с папой, когда из театра приходят, раз в 10 добрее становятся. В этот момент главное — не растеряться, посмотреть долго прямо в глаза и подумать: «Вот как Вам хорошо, а Я с голоду умираю».

Мне кажется, что в нашем театре лучшие спектакли — ДЕТСКИЕ. После них Антон с Сашей какие-то сказочные получают. РУСАЛОЧКУ, ГОЛОГО КОРОЛЯ, СТОЙКОГО ОЛОВЯННОГО СОЛДАТИКА и ЗОЛУШКУ Я и не посмотрев, уже люблю.

Есть такая музыка, только услышу — сразу театр вспоминаю. Вижу театр, и она где-то в глубине играет. Опять же это Ирмин Шмидт:

#### IRMIN SCHMIDT «Le weekend» (4:46)\*

Долго думала, почему ТЕАТР — такое классное место? В конце концов поняла, он дает возможность побывать в сложнейшем психологическом опыте, причем результат



всегда один — ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ:

1. Грустное, но хорошее.
2. Веселое и хорошее.
3. Задумчивое, но хорошее.
4. Радостное и хорошее.
5. Критичное, но хорошее.
6. Умиротворенное, но хорошее.
7. Удивленное и хорошее.
8. Потрясенное, но хорошее.

Вообще НАСТРОЕНИЕ — это ВСЕ. Особенно если в его

создании участвуют такие люди, как Ирмин Шмидт. У него даже ПОПсу ИСКУССТВОМ можно назвать. И если кто-то возразит, я приведу своего папу, и он скажет, что под эту МУЗЫКУ половина детей в стоматологическом кресле начинают ПОДПРЫГИВАТЬ. Как говорил Марк Твен: «Самый лучший способ подбодрить себя — это подбодрить другого». На этом заканчиваю. Прыгайте вместе со МНОЙ и другими ДЕТЬМИ.

**IRMIN SCHMIDT «Roll on Euprates» (3:50)\***

**ИСКУССТВО НАД ЭТИКОЙ ТЕКСТА**

(из личных наблюдений)

В.В. Хуснутдинов

Ставрополь

«Истинная этика начинается там, где перестают пользоваться словами»

Альберт Швейцер

**1990 г.****Лето. Жарко. 9. 05.**

Принесли № 7 журнала ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА (ИЛ). Там «Тропик рака» Генри МИЛЛЕРА.

**Глава 1.****7 абзац.**

«... Это не книга. Это ... плевок в морду Искусства, пинок под зад Богу, Человеку, Судьбе, Времени, Любви, Красоте...»

«... Я буду петь, пока вы подышаете; я буду танцевать над вашим грязным трупом».

**11 абзац.**

«... Отдыхающий кит со своим двухметровым пенисом. Летучая мышь — *penis libre*. Животные с костью в пенисе».

**21 абзац.**

«... О Таня, где сейчас твоя теплая п.....»

СТОП! По классификации моего друга детства п..... — РУГАТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПОЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

**9. 15.**

Закрыв ИЛ. Бросил журнал на полку.

**1991 г.****Лето. Тепло. 9.30.**

Принесли № 5 ИЛ. Там «Гений и богиня» Олдоса ХАКСЛИ. Герой романа говорит:

«... все-таки груб наш язык. Если умалчивать о физиологической стороне эмоций, грешить против фактов, А если говорить о ней, это выглядит как желанье прикинуться пошляком или циником, страсть или тяга мотылька к звезде, нежность или восхищение, или романтическое обожание — любовь, всегда сопровождаются какими-то процессами в нервных окончаниях, коже, слизистой оболочке, железах и пещеристой ткани. Те, кто умалчивает об этом, — лжецы. К тем, кто не молчит, приклеивают ярлык развратников. Тут конечно сказывается несовершенство нашей жизненной философии; а наша жизненная философия есть неизбежный результат свойств языка, абстрактно разделяющего то, что в реальности всегда нераздельно. Он разделяет и вместе с тем оценивает: одна из абстракций «хороша», а другая «плоха»... Но природа языка такова, что не судить мы не можем. Иной набор слов — вот что нам нужно. Слов, которые смогут отразить естественную цельность явлений».

Дальше идет вывод, что таких слов нет в природе и их надо выдумать, но так, чтобы никого не оскорбить и в то же время точно сказать о предмете.

Видно, что О. Хаксли чуть-чуть нашего Антона Павловича не дочитал. По-моему, тот ближе всех к проблеме подошел. Вот как он описывает брань гребцов в очерках своих путешествий:

«Слушая их отборную ругань, можно подумать, что не только у моего возницы, у лошадей и у них самих, но и у воды, у паромы и у весел есть матери» (А.П. Чехов. Из Сибири).

**1991 г.****Осень. Холодно. 9. 10.**

Принесли № 9 ИЛ. Там наши комментируют «Улисс», «Тропик рака» и др.

**В. Лакшин:**

«Наш век, по-видимому, приучил нас, что само изображение чувства требует известной степени точности и конкретности в показе возникающих между людьми отношений, не одной психологии, но даже физиологии. Только вот вопрос: есть ли тут какие-то границы, существуют ли они и есть ли ограничители, пределы этой откровенности».

**А. Зверев:**

«Решаясь на публикацию «Тропика рака», журнал, конечно, отдавал себе отчет в том, что ломает один из самых устойчивых стереотипов общественной психологии, как, впрочем, и литературной морали в обыденном ее понимании». «... если бы книгу прочли — не говорю, с интересом и сочувствием, но внимательно и беспристрастно, — сразу стало бы понятно, что это, разумеется, никакая не порнография, но факт искусства, причем очень значительный, оставивший в истории культуры неизгладимый след».

**Д. Затонский:**

«Человеку, который искусства не чувствует, вообще нелегко объяснить, отчего эта книга хороша, а та дурна».

«... современные хулители «Тропика рака» выпестованы Ждановым, Поликарповым, Шауро».

**К. Степанян:**

«... вспомните рассуждения его героя, бредущего по набережной после похода в бордель с заезжим индусом — это же отчаянно-одиноким Раскольниковым на мосту после убийства старухи».

**В. Лакшин:**

«Генри Миллер привлекает не тем, что возбуждает чувственность, и не тем, что эпатирует читателя. Он привлекает тем, что воссоздает сугубо жизненный поток».

**10. 30.**

Кладу на полку ИЛ № 9 (1991).

**10. 31.**

Беру с полки ИЛ № 7-8 (1990).

Там «Тропик рака» Генри МИЛЛЕРА.

На ходу прыгаю в паровоз из видеоклипа группы QUEEN и с бешеной тахикардией несусь по Парижу 30-х.....

**19.00.****Последний абзац:**

«... Солнце заходит. Я чувствую, как эта река течет сквозь меня — ее прошлое, ее древняя земля, переменчивый климат. Мирные холмы окаймляют ее. Течение этой реки и ее русло вечно».....

**20.00.**

Кладу ИЛ №7-8 себе НА СТОЛ.

«На самом деле ИСКУССТВО отражает не жизнь, а зрителя». Оскар УАЙЛЬД.

**МЫШЛЕНИЕ В СТИЛЕ «ПОСТМОДЕРН»**

К.Э. Штайн  
Р.М. Байрамуков  
Ставрополь

Мы публикуем монтажную композицию В.В. Хуснутдинова, которая является результатом его работы и многих увлечений.

Валерий Валентинович Хуснутдинов — стоматолог, детский врач, кандидат медицинских наук доцент Ставропольской государственной медицинской академии.

Традиционно в сфере медиков довольно много интересных, талантливых людей, мыслящих свободно, современно, творчески, иногда даже авангардно. Это традиция ставропольской медицинской интеллигенции. В.В. Хуснутдинов — образованный человек, которому мало быть просто преподавателем, просто детским зубным врачом. Оторопев от необразованности нынешней студенческой молодежи, он стал исподволь приучать своих студентов слушать музыку, читать книги, смотреть хорошее кино. Иногда он это делает сознательно прямолинейно, устраивая психологический шок, прерывая лекцию музыкальными паузами или начиная их музыкой. Подчас идет на поводу своих чувств — хочется поделиться тем, что узнал.

Его медицинская практика, его пациенты — дети, часто очень маленькие. Так вот, пациенты с радостью и надеждой бегут к зубному врачу и совсем не боятся садиться в зубоорудное кресло. В.В. Хуснутдинов говорит с мальчишками о пистолетах, дальних странах и тиграх, с девочками — о куклах, сказках, песенках. Ну, а в процессе разговора, уже попутно, — какую музыку включить или телевизионный фильм поставить: приключенческий, о слонах или о собаках, тогда уже доверие полное — и рот открывается сам собой. Психологические практики: работу со студентами и детьми — Хуснутдинов объединяет. Получаются монтажные композиции в стиле постмодерн: произведения — обобщающие в рамках одного многомерного текста стили, образные мотивы и художественные приемы, заимствованные у авторов разных историко-культурных эпох, стран, регионов. Объединяет их какой-либо автобиографический мотив, тема, в данном случае «собачий бред» — кусочки фраз, разговоров, наблюдений собаки Хуснутдинова. Ну почему, считает он, в сознании собаки не могут отложиться впечатления — плохие и хорошие, настроения — радостные и грустные. И вообще: какими мы предстаем в глазах этого «другого» — нашего верного и преданного друга? Может быть, просто прием, возможность спрятаться за спину гипотетического рассказчика.

В его «монтажах» переплетаются вербальные, музыкальные, живописные, графические, фотографические нити — весь наш объемный и многомерный мир культуры. Но в этом мире есть у Хуснутдинова свои приоритеты: все его невероятные усилия объединить разнородную массу сообщений и музыкальных, живописных впечатлений (аппаратура всегда

самая современная) сводятся по сути к одному — к простой мысли, к которой тем не менее сложно прийти, что надо жить по-доброму, по-человечески, легко и свободно — как дети живут — без вранья, дикой вражды и ненависти. Словом, по-божески, даже если вы и в Бога не верите!

В эпоху кризиса социокультурной сферы, который обнажил гендерные, экологические, информационные, образовательно-воспитательные проблемы, в нашем городе нашлся человек, который серьезно решает их каждый день на своем рабочем месте. Иногда он собирает аудитории в университетах, чтобы сообщить об обдуманном и придуманном. Вопросы: «Что делать?»; «Кто виноват?» — мало волнуют В.В. Хуснутдинова. Он из тех, кто идет и делает свое дело мастерски, артистично — дело врача, педагога.

Эклектика, свойственная мышлению в стиле постмодерн, может обернуться ничем, безвкусицей, отсутствием отбора элементов. Но только не у Хуснутдинова. Множество цитат, обращенность к индивидуальному лицу и одновременно к диалогу с широкой публикой, многомерность концептуальных обобщений, универсальная множественность, мультиплетность и утонченная интимность его композиций — все это органично, свободно, иногда иронично. Порой «разговор» принимает рискованный по откровенности характер, но грани, за которой тривиальное, пошлое, он никогда не переходит. Все многомерно ново, широко, но необычайно тепло и проникновенно, лечебно даже: уходишь от Хуснутдинова, испытав какое-то освобождающее очищение. Это воздействие сейчас именуется арттерапией.

Все мечтают о прекрасном добром мире, какими бы жесткими ни родились. Композиции Хуснутдинова, тяготеющие к синтезу и конструированию новых текстов на основе культурных накоплений человечества, напоминают Вавилонские башни — все хрупко и призрачно. Но красота — прочная основа. Попадать в такие «башни» нужно, хотя бы для того, чтобы не озвереть, подлечиться... Терапевтическое действие красоты голографических композиций Хуснутдинова парадоксально: он лечит подобное подобным, вытаскивая нас из состояния постмодерна, постмодерном же: реально-профанное время, с его обыденным течением и «многомерными» устремлениями в нем прагматичного человека, он преобразует в единое, не ведающее временных и территориальных границ «четвертое измерение» культуры, где все подчинено иным ценностям. Тяготение нынешней культуры к эстетике «низа» нейтрализуется лечебным действием эстетики «верха». Как все это соединить в реальной жизни? Опыт Хуснутдинова позволяет дать ответ: трудно, но интересно...

# XIV. РЕЦЕНЗИИ

1/ С.Ю. Данилов / Екатеринбург / Салимовский.

## Жанры речи в функционально-стилистическом освещении

(научный академический текст. — Пермь: изд-во Перм. ун-та, 2002. - 236 с.

Научный редактор - проф. Н.А. Купина)

**В.А. САЛИМОВСКИЙ**  
**ЖАНРЫ РЕЧИ В ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКОМ ОСВЕЩЕНИИ**С.Ю. Данилов  
Екатеринбург(научный академический текст. —  
Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2002. — 236 с.  
Научный редактор проф. Н.А. Купина.

Важнейшим вопросом современной лингвистики давно уже стал вопрос о речевой системности, о ее проявлениях в конкретном произведении и в целом корпусе текстов. Владимир Александрович Салимовский, много лет продуктивно занимающийся исследованием научной речи и последние годы углубленно разрабатывающий теорию речевых жанров, пополнил лингвистическую библиотеку монографией, в которой развиваются ключевые темы функциональной стилистики русского языка. Здесь и вопросы реализации макростилия в конкретных текстах, и вопросы соотношения познавательной деятельности с объективацией этой деятельности в текстах, и вопросы универсального жанрового строения текстов как специфической нормы, и, в конечном счете, вопросы теории языка и его осмысления разными, часто противопоставленными, направлениями современной лингвистики.

Рецензируемое исследование посвящено актуальной интегративной проблеме целостного функционального описания научных текстов в аспекте речевых жанров. Несомненная новизна и научная ценность работы связаны с пошаговой моделью описания, которая может быть применена для изучения произведений, порождаемых человеком в сопровождение духовной деятельности разных типов. На первом этапе устанавливается типовая коммуникативно-познавательная цель автора и реализующая ее макроуровневая репродуктивная система познавательно-речевых действий. Далее крупные коммуникативно-познавательные действия разделяются на более мелкие, иногда вплоть до элементарных, реализующихся в речевых актах. Заключительный этап анализа состоит в описании функционирования разноуровневых единиц, используемых при совершении определенных коммуникативных действий. Исследование выполнено на материале русских научных академических текстов, реализующих собственно научные (не учебные и не популяризаторские) целеустановки, но результаты работы выходят далеко за пределы собственно научной речи, что соответствует заявленной автором цели – разработать теоретические положения, представляющие собой функционально-стилистическую трактовку феномена жанров речи, проверить эти положения на основе речевых жанров русского научного текста и раскрыть эвристический потенциал развиваемых представлений для лингвистической стилистики.

Исследование состоит из четырех разделов, первый из которых освещает соотношение функциональной стилистики и жанроведения. В этом разделе указывается на то, что представление о современной функциональной стилистике как о теории макростилей не может быть признано полным. Более то-

го функциональная стилистика и активно сегодня развивающееся жанроведение исходят из одних и тех же базовых положений о включении речевой деятельности в деятельность высшего порядка, о связи речевых произведений и культуры, об отборе языковых единиц в соответствии с замыслом автора, при этом замысел может осознаваться как типизированный и должен быть представлен на разных уровнях абстракции.

Во втором разделе обосновывается понимание речевого жанра как функционально-стилистического феномена. Особую ценность, на наш взгляд, представляет предложение стилистической классификации жанров речи на основании видов социокультурной деятельности с дальнейшей дифференциацией жанров согласно структуре типовых действий внутри отдельных видов духовной культуры общества. Также в этом разделе обосновывается идея о вопросно-ответной природе субтекстов в составе речевых жанров. «Жанровая форма, следовательно, организует систему вопросов, требующих ответа» (с. 38). Концептуальным следует признать и введенное в четвертой главе понятие жанрового стиля, которое определяется как «взаимосвязь актов речи на основе взаимосвязи их типовых целеустановок, объединенных типовой целью более общего характера; эти целеустановки детерминируют особенности построения дискурса, его функциональную окраску, закономерности отбора и использования языковых средств» (с. 57).

Третий раздел посвящен проверке изложенных ранее теоретических положений на большом объеме фактического материала. Автор последовательно реализует свой замысел, прослеживая путь от вида социокультурной деятельности к типовым конкретным действиям, целеустановки которых реализуются как системы субжанров, отвечающие на типовые вопросы, системы субжанров и соответствующих субтекстов при этом своеобразно организуют лингвистические элементы, что и удается описать исследователю. При этом в эмпирических текстах выделяются такие речевые жанры, как «Описание нового для науки явления», «Классификационный текст», «Сообщение об эмпирической закономерности причинно-следственного типа». В теоретическом тексте описаны речевые жанры «Постановочный теоретический текст» и «Экспликация научного понятия», «Верификационный текст (проверка теории экспериментальным методом)» с субжанром «Описание методики проведения эксперимента». Анализ становится особенно убедительным, так как лингвистические элементы повторяются в текстах разных специальностей. Теоретически плодотворной представляется мысль о том, что далеко не все жанры лексикализованы и отражены в языковой картине мира

Четвертый раздел, по мысли автора, посвящен эвристическим следствиям единства функциональной стилистики. Здесь окончательно сводятся разнообразные стилистические и собственно лингвистические концепции (А.В. Бондарко, Б.М. Гаспарова, К.А. Долинина, Г.А. Золотовой, М.Н. Кожинной, Н.А. Купиной, Т.В. Матвеевой и др. исследователей) и указывается на внутреннюю непротиворечивость функциональной стилистики, на возможность взаимодополняющих определений понятий стиль высказывания, жанровый стиль и функциональный стиль. Таким образом, В.А.Салимовский открывает путь новым фундаментальным исследованиям дискурса и текста на деятельностной основе в ответ на вопросы, поставленные еще в 20-х годах XX века виднейшими русскими и зарубежными филологами и культурологами.

В целом рецензируемая книга, продолжая замечатель-

ные традиции Пермской школы функциональной стилистики, открывает пути выявления еще не описанных жанров русской речи в самых разных сферах человеческой деятельности. Кроме того, необходимо сказать, что перед нами не только целостное монографическое исследование специальной проблемы, перед нами книга, которая интересна по многим причинам. Студентам и аспирантам разных специальностей она будет интересна и полезна потому, что может быть использована в прикладном аспекте как пособие в создании собственных научных и учебно-научных произведений. Ценителям словесности она будет «любезна тем», что вместо традиционного «пафоса сожаления о чужих заблуждениях и просчетах» (выражение профессора Т.В. Шмелевой) предлагает пафос созидательного снятия противоречий на основе анализа конкретного материала.



## СПИСОК АВТОРОВ

- Алефиренко Н.Ф.** — доктор филологических наук профессор, зав. кафедрой русского языка Волгоградского государственного педагогического университета.
- Атарщикова Е.Н.** — доктор юридических наук профессор, зав. кафедрой методики преподавания русского языка Ставропольского государственного педагогического института (СГПИ).
- Ахмадеева С.А.** — кандидат филологических наук, Кубанский государственный университет (КубГУ).
- Байрамуков Р.М.** — кандидат филологических наук доцент кафедры общего и прикладного языкознания Северо-Кавказского государственного технического университета (СКГТУ).
- Баранов С.Т.** — доктор философских наук профессор кафедры философии СКГТУ.
- Беньковская Т.Е.** — кандидат педагогических наук доцент кафедры русской классической литературы и методики преподавания литературы Оренбургского государственного педагогического университета.
- Бочарова О.М.** — преподаватель кафедры иностранных языков Кубанского государственного аграрного университета (КубГАУ).
- Бронская Л.И.** — доктор филологических наук профессор, зав. кафедрой истории новейшей отечественной литературы Ставропольского государственного университета (СГУ).
- Буров А.А.** — доктор филологических наук профессор, зав. кафедрой русского языка Пятигорского государственного лингвистического университета.
- Буянова Л.Ю.** — доктор филологических наук профессор кафедры общего языкознания КубГУ.
- Буянова О.Н.** — кандидат филологических наук доцент КубГУ.
- Видергольд С.В.** — аспирант кафедры русского языка Челябинского государственного педагогического университета.
- Войтехович Р.** — кандидат филологических наук доцент Тартуского государственного университета (Эстония).
- Ворожбитова А.А.** — доктор филологических наук профессор кафедры современного русского языка Сочинского филиала Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (РГПУ им. А.И. Герцена).
- Гаврилова Г.Ф.** — доктор филологических наук профессор кафедры русского языка Ростовского государственного педагогического университета.
- Голев Н.Д.** — доктор филологических наук профессор кафедры современного русского языка Алтайского государственного университета.
- Гольденберг А.Х.** — кандидат филологических наук доцент кафедры литературы Волгоградского государственного педагогического университета.
- Григораш А.** — кандидат филологических наук доцент Киевского государственного университета (Украина).
- Гриценко Г.Д.** — кандидат философских наук доцент кафедры политологии и социологии СГУ.
- Грязнова А.Т.** — кандидат филологических наук доцент кафедры русского языка Московского педагогического государственного университета.
- Губина Н.В.** — аспирант кафедры теории, истории и методики преподавания литературы Алтайского государственного университета.
- Гурьева З.И.** — кандидат филологических наук доцент кафедры иностранных языков КубГУ.
- Данилов С.Ю.** — аспирант кафедры риторики и стилистики русского языка Уральского государственного университета (УрГУ).
- Десятов В.В.** — кандидат филологических наук доцент кафедры теории литературы Алтайского государственного университета.
- Долотова Т.Н.** — кандидат филологических наук доцент кафедры русского языка СГПИ.
- Егорова Л.П.** — доктор филологических наук профессор кафедры новейшей отечественной литературы СГУ.
- Ефанова Л.П.** — доктор филологических наук профессор кафедры общего и славяно-русского языкознания СГУ.
- Жогина К.Б.** — кандидат филологических наук доцент кафедры СМИ СГУ.
- Зуев К.В.** — аспирант кафедры современного русского языка СГУ.
- Иванова И.Н.** — кандидат филологических наук, докторант кафедры истории новейшей отечественной литературы СГУ.
- Козловская Н.В.** — кандидат философских наук доцент кафедры русского языка РГПУ им. А.И. Герцена.
- Колмогорова А.В.** — кандидат филологических наук старший преподаватель кафедры французского языка Новокузнецкого педагогического института.
- Колодина Н.И.** — кандидат филологических наук доцент кафедры иностранных языков Тамбовского государственного технического университета.
- Коломийцева Е.Ю.** — кандидат филологических наук, преподаватель кафедры литературы и методики ее преподавания Армавирского государственного педагогического института.
- Корженевска-Берчинска И.** — доктор филологических наук профессор Варшавского университета (Польша).
- Котюрова М.П.** — доктор филологических наук профессор, зав. кафедрой русского языка Пермского государственного университета.
- Кравченко В.Н.** — старший научный сотрудник, зав. отделом хранения Ставропольского государственного краеведческого музея им. Г. Прозрителева и Г. Пправе.
- Краснова И.А.** — доктор исторических наук профессор, зав кафедрой истории древнего мира и средних веков СГУ.
- Кузьмина Н.А.** — доктор филологических наук профессор кафедры русского языка Омского государственного университета.
- Куликова Т.Д.** — консультант секретариата губернатора Ставропольского края, старший преподаватель кафедры средств массовой информации СГУ.
- Лассан Э.Р.** — доктор филологических наук профессор Вильнюсского государственного университета (Литва).
- Лебедева Н.Б.** — доктор филологических наук профессор кафедры общего и русского языкознания Барнаульского государственного педагогического университета.
- Леденев Ю.И.** — доктор филологических наук профессор кафедры современного русского языка СГУ.
- Листван Ф.** — доктор филологических наук профессор Краковской педагогической академии (Польша).
- Лихачева А.Б.** — кандидат филологических наук доцент Вильнюсского университета (Литва).
- Максименко М.С.** — кандидат филологических наук доцент кафедры электронных СМИ и журналистского мастерства КубГУ.
- Манкевич И.А.** — кандидат педагогических наук доцент кафедры русской и зарубежной литературы Ленинградского государственного областного университета.
- Мартыанова И.А.** — доктор филологических наук профессор кафедры русского языка РГПУ им. А.И. Герцена.
- Маслова В.А.** — доктор филологических наук профессор Витебского государственного университета (Беларусь).
- Михайленко Т.Д.** — доктор филологических наук профессор кафедры лингвистики Московской гуманитарно-социальной академии.
- Мороз О.Н.** — кандидат филологических наук доцент кафедры аналитической журналистики и литературно-социологических проблем КубГУ.
- Нарлох А.** — кандидат филологических наук доцент университета им. Адама Мицкевича, Институт русской филологии, Познань (Польша).
- Новикова Е.Г.** — аспирант кафедры современного русского языка СГУ.
- Новосельцева В.А.** — соискатель кафедры современного русского языка КубГУ.
- Пазио Д.** — магистр Фонда Центра КАРТА.
- Папай И.** — преподаватель Краковской педагогической академии (Польша).
- Погребная Я.В.** — кандидат филологических наук, докторант кафедры русской и зарубежной литературы СГУ.



- Попова Е.С.** — соискатель кафедры риторики и стилистики русского языка УрГУ.
- Романова Е.Г.** — аспирант кафедры теории, истории и методики преподавания литературы Алтайского государственного университета.
- Рыбникова В.А.** — преподаватель КубГУ.
- Свиридова А.В.** — кандидат филологических наук доцент кафедры русского языка и методики преподавания русского языка Челябинского государственного педагогического университета.
- Седов К.Ф.** — доктор филологических наук профессор, зав кафедрой психолингвистики Педагогического института Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.
- Сергеева Е.В.** — доктор филологических наук профессор кафедры русского языка РГПУ им. А.И. Герцена.
- Силантьев А.Н.** — зав. группой обработки информации СКФ ПНИИИС.
- Сороченко Е.Н.** — ассистент кафедры современного русского языка СГУ.
- Сулименко Н.Е.** — доктор филологических наук профессор кафедры русского языка РГПУ им. А.И. Герцена.
- Тарасова И.А.** — кандидат филологических наук доцент кафедры русского языка и методики преподавания Педагогического института Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.
- Токарски Р.** — доктор филологических наук профессор, Люблин (Польша).
- Толпаева Г.П.** — кандидат филологических наук доцент кафедры истории новейшей отечественной литературы СГУ.
- Томашевская К.В.** — кандидат филологических наук доцент кафедры русского языка и литературы Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов, докторант РГПУ им. А.И. Герцена.
- Тропкина Н.Н.** — доктор филологических наук профессор Волгоградского государственного педагогического университета.
- Филиппова Е.В.** — аспирант кафедры русского языка СГУ.
- Фисенко Т.С.** — художник, член Союза художников России, Ставрополь.
- Фрикке Я.А.** — преподаватель Пятигорского государственного лингвистического университета.
- Хуснутдинов В.В.** — кандидат медицинских наук, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии детского возраста Ставропольской государственной медицинской академии.
- Чекалов П.К.** — доктор филологических наук профессор кафедры новейшей отечественной литературы СГУ.
- Чернышова Т.В.** — кандидат филологических наук доцент, заведующий кафедрой русского языка, стилистики и риторики Алтайского государственного университета.
- Черняк В.Д.** — доктор филологических наук профессор, зав кафедрой русского языка РГПУ им. А.И. Герцена.
- Черняк М.А.** — кандидат филологических наук доцент РГПУ им. А.И. Герцена.
- Чеснокова Г.Д.** — кандидат филологических наук доцент кафедры русского языка Ленинградского государственного областного университета.
- Штайн К.Э.** — доктор филологических наук профессор кафедры современного русского языка СГУ.
- Щербовский Т.** — доктор филологических наук профессор Краковской педагогической академии (Польша).
- Ярош Н.** — аспирант, Люблин (Польша).